



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

PS 12-176.25

Bound

JAN 9 1909



Harvard College Library

FROM THE

PRICE GREENLEAF FUND

Residuary legacy of \$711,563 from E. Price Greenleaf,
of Boston, nearly one half of the income from
which is applied to the expenses of the
College Library.

ВѢСТНИКЪ
Е В Р О П Ы

СОРОКЪ-ТРЕТІЙ ГОДЪ. — ТОМЪ IV.

ГОДЪ МХХІІІ. — ТОМЪ СДХХVІ. — 1/4 ЮЛИ 1908.

ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ

ЖУРНАЛЪ

ИСТОРИИ — ПОЛИТИКИ — ЛИТЕРАТУРЫ

ДВѢСТИ-ПЯТЬДЕСЯТЬ-ВТОРОЙ ТОМЪ

СОРОКЪ-ТРЕТІЙ ГОДЪ

ТОМЪ IV

РЕДАКЦІЯ „ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ“: ГАЛЕРНАЯ, 20.

Главная Контора журнала:
Васильевскій-Островъ, 5-я линія,
№ 28.

Экспедиція журнала:
Петербургская-Сторона,
Кронверкская ул., 21.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

1908

1356-11

~~Slav 302~~

P Slav 176.25



3763

С. М. Соловьев



ВЪСЛѢШЪ ЕВРОПѢ

ЖУРНАЛЪ

ИСТОРІИ-ПОЛИТИКИ

ИЗДАЮЩІЙСЯ

СОРОКЪ-ТРЕТІЙ ГОДЪ. — КНИГА 7.

ЮЛЬ, 1908.

ПЕТЕРБУРГЪ

КНИГА 7-я. — ЮЛЬ, 1908.

I.—РАЙНЕ ГОДЫ И. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО.—Изъ исторія русскаго общества и литературы.—I-IV.—В. Е. Вятринаго	8
II.—ВЪ СТЕПЕХЪ СЪВЕРНАГО КАВКАЗА.—Очерки.—Очерки.—IV. У багратиона.—V. Изъ степей Кара-агайской.—VI. Пляжи-долинныя и багратион-собственики.—С. Васильева	93
III.—„ОГНЕННОЕ КРЕЩЕНИЕ“.—Разсказы и сказы изъ очень недавняго прошлаго.—I-XV.—В. К. Павлаева	55
IV.—ВЪ ДНЕВНИКА ЮНОШ „ТРИДЦАТЫХЪ ГОДОВЪ“.—Событ. Т. Сивердаль-Полладова	97
V.—СТАНИСЛАВЪ ВЫСИЛСКИЙ.—1869-1907.—Изъ исторія поэзіи польской литературы.—I-V.—Тад. Валеринскаго	121
VI.—НАША КОНСТИТУЦІЯ И ЕЯ ОСОБЕННОСТИ.—I-III.—Л. З. Словинскаго	145
VII.—ПРЕДВІ.—Романъ Джерардъ Асертанъ.—„Ancestors“, by Gertrude Atherton.—Часть вторая.—I-IX.—Съ англ. О. Ч.	158
VIII.—ВЪ ПЕТЕРЪ.—Стихотвореніе.—М. Ватсонъ	198
IX.—ДОЧЬ ТУСИ.—Эссея по польскому роману Габриэля Жаловской.—I-IX.—Л. А.—на	199
X.—СТИХОТВОРЕНІЯ.—I-II.—В. С. Ляхачева	249
XI.—ИСТОРИЯ МОЛОДОЙ ДВУШКИ.—С. Fattère, Mademoiselle Dax, jeune fille.—Часть вторая. I-VIII.—Часть вторая. I-XI.—Съ франц. З. В.	251
XII.—І. НАДЪ МОГИЛОЮ СЮЛМИ-ПРОДОМА.—II. СОНЕТЪ СНУ.—А. Мейенера	265
XIII.—ХРОНИКА.—ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Первое самостоятельное выступленіе крестьянъ въ третьей Думѣ.—Характерна черты приближенія къ правды.—Крестьяне и агрономы-аграріи.—Замыслы о измѣненіи языка Думъ восточнаго содержанія.—Пренія Госуд. Думы о сѣбѣ администраціи народнаго присяженія и объ универсальности имени А. Э. Шаляскаго.—Вопросъ о возмездствительныхъ — Итоги перваго періода дѣятельности третьей Думы.—М. П. Щенякъ ф. Р. С.	307
XIV.—ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.—I. Пушкинъ и его современники, изд. VI.—II. В. Короленко, Отошедшіе.—III. Изъ Нахичиванъ, Голосъ природы, изд. I.—IV. С. Бондуринъ, Сарискіе разсказы.—V. М. А. Лехманъ (Либера), Стихотворенія: Перехи заплаты.—VI. С. Ауслендера, Золотая обложка.—VII. М. Гавиулюс, Маленькія дѣтки.—М. Р.—VIII. П. Бриттиса, Исторія цивилизаціоннаго движенія во Франціи.—IX. М. Фришманъ, Современныя теченія мысли на предметъ потребленія.—X. Н. Денъ, Очерки по этнографической географіи, ч. I: Сельское хозяйство.—Д. Морель, Очерки анимированной географіи и хозяйственной статистики Россіи.—В. В.—Поэма языка и брошюра	325
XV.—ЛИТЕРАТУРНАЯ ЗАМѢТКА.—Американецъ о русско-японской войнѣ.—И. А. Тверского	363
XVI.—ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Путешествія короля Эдуарда и обсужденіе ихъ въ парламѣтѣ общаго.—Протесты англійской рабочей партіи противъ сближенія съ Россіей.—Смысль и языкъ англо-русскаго союза.—Законопроектъ и возмездія президента Фальбера въ Россіи и французскіе радикалы-соціаллисты.—Германская политика и прусскія дѣла.—Конедя перекрѣпкахъ конституціонныхъ мечтаній	505
XVII.—НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.—I. Arthur Schnitzler, Der Weg ins Freie, Volkm. 908.—II. Jakob Wassermann, Kaspar Hauser, Roman. 908.—З. В.	577
XVIII.—ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.—По поводу воспоминаній А. Ф. Копп.—А. И. Калюша	595
XIX.—ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ.—„Голосъ Москвы“ и грядущій законъ въ годъ Іюля.—Дѣтели или отказались?—Вопросы государственной обороны въ исполненіи А. И. Гутмана.—„Безотвѣстность“ лица въ арміи.—Пренія въ Думѣ о системныхъ аудитахъ.—Парламентская дума.—Какъ близъ принимать проектъ о депутатскомъ жалованьи.—Еще о ген. Думбаге.—Съездъ представителей печати.—И. А. Римскій-Корсаковъ и С. П. Валленбергъ ф.	595
XX.—ИЗВѢЩЕНІЯ.—I-V.	411
XXI.—ВИЗНОГРАФИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ.—Генералъ Ибсенъ, Полное собраніе сочиненій. Т. I.—В. В. Гавинскій, Борьба за конституцію.—Г. Б. Градильскій, Итоги, 1882-1907.—Григорій Валомовъ, Государственный и экономическій строй современной Японіи.—Генъ-э. Познанскій-Линяцкаго, Македонская реформа и русско-англійскіе проекты	

РАННИЕ ГОДЫ

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКАГО

ИЗЪ ИСТОРИИ РУССКАГО ОБЩЕСТВА И ЛИТЕРАТУРЫ.

Ранніе годы жизни всякаго виднаго писателя и общественнаго дѣятеля представляютъ для его біографа значительный интересъ: тотъ періодъ его жизни, когда складывалась его личность и возрѣнія, нерѣдко даетъ ключъ къ пониманію, болѣе ясному, всей послѣдующей жизни и дѣятельности. Съ этой точки зрѣнія заслуживаютъ вниманія и изученія и ранніе годы жизни Чернышевскаго, до сихъ поръ весьма мало освѣщенные. Въ предлагаемой вниманію читателей статьѣ мы и имѣемъ въ виду съ нѣкоторою подробностью разсмотрѣть, чѣмъ былъ и какъ жилъ и думалъ Чернышевскій до того времени, когда онъ выступилъ въ литературѣ, при чемъ, какъ извѣстно, сразу заявилъ себя, какъ писатель рѣзко опредѣленнаго и законченнаго образа взглядовъ, и быстро приобрѣлъ выдающееся вліяніе на умы въ русскомъ обществѣ.

Ранніе годы Чернышевскаго во многомъ были типическими для духовной жизни русскаго общества сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ прошлаго вѣка. Въ это время сложились основныя черты его взглядовъ и вся его нравственная личность, его характеръ опредѣлили вліяніе Чернышевскаго въ эту тяжкую пору его жизни, когда тюрьма, каторга и ссылки прервали его публицистическую работу: долгіе годы его самая простота испытаннаго имъ мученичества были причиной той величайшей тогда въ освобожденію молодой Россіи вели-

кимъ символомъ и напоминаніемъ. „Яркій свѣточъ науки опальной“, — Чернышевскій, когда отъкрываются интимныя стороны его жизни, выростаеъ въ нашемъ сознаниіи еще выше, именно какъ характеръ, и ключъ къ его характеру—въ его раннихъ годахъ.

Въ настоящее время для Чернышевскаго настало уже время всесторонней исторической оцѣнки. Мы имѣемъ, наконецъ, полное собраніе его сочиненій, — подробно разсказанъ его процессъ и опубликованъ длинный рядъ воспоминаній о немъ разныхъ лицъ. Далекое не все еще ясно и полно для детальнаго исчерпывающаго изслѣдованія, но пора дать основныя черты его біографіи въ связи съ характеристикой его среды и времени.

При составленіи настоящаго очерка мы воспользовались всѣмъ существеннымъ, что появлялось въ печати о Н. Г. Чернышевскомъ и кромѣ того, нѣкоторыми сообщеніями гг. И. Горизонтова, С. Стахевича, Г. Г. Шапошникова и М. Чернышевскаго, а также четырьмя письмами Н. Г. Чернышевскаго къ Иам. И. Срезневскому, любезно присланными намъ сыномъ послѣдняго, Всев. И. Срезневскимъ. Приносимъ искреннюю признательность, какъ названнымъ лицамъ, такъ и всѣмъ, доставившимъ намъ, въ отвѣтъ на приглашеніе чрезъ газеты, свои воспоминанія, замѣтки, статьи и указанія о Н. Г. Чернышевскомъ, большая часть которыхъ относится къ позднѣйшему періоду его жизни и войдетъ въ матеріалы для дальнѣйшихъ частей нашего труда о Чернышевскомъ и его эпохѣ.

I.

Родной городъ Чернышевскаго, Саратовъ, былъ, въ тридцатые-сороковые годы прошлаго столѣтія, въ полномъ смыслѣ слова глушь. Волненія понизовой вольницы, пугачевщина, — все это уже было и былѣемъ поросло, и городъ жилъ обычно жизнью губернскаго города средней руки, въ родѣ описаннаго въ „Мертвыхъ Душахъ“. Ко времени освобожденія крестьянъ въ немъ было только около 70 тысячъ жителей. Мѣстный тогдашній сатирикъ рисуеъ свой родной городъ такими чертами:

Хорошъ Саратовъ—заглядѣнье!
 Въѣзжай въ него и осмотрись:
 На улицахъ, между строеній,
 Рельи кустами разрослись.
 Порой по улицѣ широкой
 Встрѣчаеъ козу или свинью,
 Или кошки остова одинокій,
 Сложившей голову въ бою.

Ужь если грязь, такъ грязь такая,
 Что люди вязнуть съ головой,
 Но, мать природу обожая,
 Знать не хотять о мостовой.
 Гостиный дворъ у насъ отличный,
 Въ немъ будетъ лавокъ пять иль шесть,
 Есть также и портной приличный,
 И магазины тоже есть.
 Есть и театр, онъ съ виду страшенъ
 И мохомъ древности обросъ,
 Отъ сотворенья не былъ крашенъ
 И вѣтеръ ходять въ немъ насквозь...

Захолустный отпечатокъ города смягчала лишь Волга. Она оживала весной и лѣтомъ съ наплывомъ струговъ и баржей, живой источникъ жизнерадостныхъ впечатлѣній для городской молодежи всякаго званія, напоминаніе, что бѣль-свѣтъ не клиномъ на Саратовѣ сошелся.

Время крѣпостного права... Центръ степной полосы, Саратовъ отражалъ всѣ отрицательныя стороны „степного“ помѣщичьяго быта. Бытописатели края въ изобиліи отмѣчаютъ такіа черты, какъ: административный произволъ, взяточничество полиціи, простота нравовъ, съ какою отсылали въ полицію провинившагося кучера или лакея получить полсотни „горячихъ“, за что полагалась синенькая; разбои, въ которыхъ принимали участіе пристава; примѣры произвола и самодурства среди помѣщиковъ надъ незащитными крестьянами, иногда оканчивавшіеся кровавой мезью; злоупотребленія чиновниковъ и духовенства при преслѣдованіи старообрядчества и сектантовъ. Горожанамъ время отъ времени приходилось любоваться зрѣлищемъ торговой казни кнутомъ или плетью; ежегодно осенью городъ оглашался воплями женъ и матерей парней, сдаваемыхъ въ страшную, со смертнымъ боемъ, 25-лѣтнюю солдатчину, и отчаянной гульбой рекрутовъ, а на солдатскихъ ученьяхъ можно было наблюдать палочныя эзекуціи.

Всероссійская неумность, запечатлѣнная Гоголемъ, царила и въ томъ чиновномъ и духовномъ слоѣ, изъ котораго вышелъ Чернышевскій, этотъ представитель разночинства, выступившаго въ общественной жизни въ шестидесятыхъ годахъ прошлаго вѣка. О наиболѣ замѣтныхъ чиновникахъ всесильнаго губернскаго правленія, носившаго характерное прозваніе „чугунный заводъ“, современникъ говорить не иначе, какъ о „наказаніи божіемъ“. Не болѣ лестно говорится въ нашихъ свѣдѣніяхъ и о духовномъ сословіи. Когда отецъ Н. Г. Чернышевскаго въ 1817 году

поселился въ Саратовѣ, онъ былъ только третьимъ въ городѣ „ученымъ“ священникомъ, т.-е. кончившимъ курсъ духовной семинаріи. Другіе были или малограмотны, или едва умѣли писать и читать, или не кончившіе курса, а въ 1828 г. пензенскій преосвященный Ириней (Саратовъ принадлежалъ къ пензенской епархіи) въ указѣ Г. Чернышевскому, какъ благочинному, сравниваетъ саратовскихъ пастырей „съ самыми горькими пьяницами“ ...

Размѣренно однообразная и скудная жизнь Саратова того времени возмущается лишь божими попущеніями, вродѣ холеры или пожара, или слухами объ „оборотиѣ“, смотрѣть котораго сбѣжится весь городъ, а то—легенда о „вольной землѣ“ на Дарьѣ-рѣбѣ или Анапѣ вдругъ смутить крѣпостныхъ, и начнется бѣгство ихъ отъ помѣщиковъ цѣлыми семьями.

Мѣстные лѣтописцы не безъ труда насчитываютъ въ короткое время десятковъ фактовъ, говорящихъ о ростѣ культурныхъ, умственныхъ интересовъ: 1820-ый годъ—открытие мѣстной гимназіи; 1830-й годъ—открытие духовной семинаріи, и въ томъ же году появляется въ городѣ первая книжная лавка, вскорѣ однако, за очевидною ненадобностью, закрывшаяся; 1831-й годъ—по мысли адмирала Мордвинова и предложенію министерства внутреннихъ дѣлъ учреждается городскою думою библиотека, находившаяся въ завѣдываніи директора гимназіи, но—безъ выдачи книгъ; 1837-й г.—первая публичная выставка произведеній саратовскаго края, устроенная по распоряженію правительства къ проѣзду Наслѣдника; 1838-й г.—первый пароходъ на Волгѣ и первая газета—„Губернскія Вѣдомости“; 1840-й г.—первая женская школа; 1841-й г.—первая частная типографія; 1843-й г.—открытие сельскихъ школъ министерства государственныхъ имуществъ; 1846-й г.—вторая книжная лавка. Большая часть и этихъ культурныхъ фактовъ явились, такъ сказать, сверху, волею и потребностью начальства.

Въ Саратовѣ было тоже, что не безъ удивленія въ 1837 году замѣтилъ въ Вяткѣ, сосланный въ нее изъ Москвы Герценъ: „управленіе губернское въ интегралѣ идетъ несравненно лучше, нежели я думалъ, и, находясь въ центрѣ онаго, я могу судить о необъятныхъ трудахъ министерства внутреннихъ дѣлъ для матеріальнаго благосостоянія, и болѣе, прогрессивное начало, сообщаемое министерствомъ, гораздо выше понятій и требованій. Сколько журналовъ присылаютъ оттуда, сколько подтвержденій о составленіи библиотеки для чтенія, и кто же виноватъ, что журналы лежатъ неразрѣзанные до тѣхъ поръ, пока какой-нибудь

Герценъ вздумаетъ ихъ разрѣзать?“. Вообще нельзя не признать, что, въ сравненіи съ низкимъ уровнемъ провинціи въ умственномъ отношеніи, тогдашнее центральное правительство нерѣдко играло роль культуртрегера не совсѣмъ въ дурномъ смыслѣ слова, и если случались такіа конфузныя недоразумѣнія, какъ распространеніе картофеля силою оружія, то все же „служба“ была единственнымъ путемъ въ провинціи къ проведенію пороку чего-то разумнаго и культурнаго. Для людей, вкладывавшихъ въ свою служебную дѣятельность нѣкое подобіе разумнаго содержанія, и перечисленные выше, болѣе чѣмъ скромныя, факты были серьезнымъ шагомъ и большимъ умственнымъ для родного угла, для родины, завоеваніемъ. И эти же люди не могли не относиться къ своей служебной роли, какъ къ осуществленію нѣкотораго весьма важнаго дѣла. Конечно, такіе люди были немногочисленны: Это были, такъ сказать, тѣ праведники, которыми держалась система и не становилась для жителя совершенно невыносима.

Къ числу этихъ *лучшихъ* людей, состоявшихъ на службѣ государства въ провинціи, принадлежала семья Чернышевскихъ-Пыпиныхъ, изъ которой и вышелъ Н. Г. Чернышевскій.

II.

Выходцемъ той же среды, которая воспитала Чернышевскаго, былъ другой писатель, Глѣбъ Успенскій. Онъ сохранилъ объ этой чиновно-духовной полосѣ русской жизни сороковыхъ годовъ только самыя мрачныя воспоминанія. Ребенкомъ, онъ „не помнилъ, чтобы сердце у него было на мѣстѣ, и чтобы день да не плакать, не зная почему“.

Иныя впечатлѣнія, отрадныя и свѣтлыя, окружили дѣтскіе годы Чернышевскаго, родившагося, какъ связано, въ семьѣ лучшихъ представителей этой среды. Центромъ этой семьи была замѣчательная личность отца его, Гавріила Ивановича Чернышевскаго.

Сынъ бѣднаго дьякона с. Чернышева пензенской губерніи (отсюда и фамилія), Г. И. Чернышевскій родился 5 іюля 1793 года; мать его, вдова, успѣла пристроить его на казенный коштъ въ тамбовское духовное училище; въ 1803 г. онъ опредѣленъ въ пензенскую семинарію, а по окончаніи курса въ 1812 г. оставленъ въ ней преподавателемъ и бібліотекаремъ. Семинарія дала ему основательное знаніе древнихъ языковъ: онъ не только свободно читалъ классиковъ и отцовъ церкви, но и говорилъ и пи-

салъ по-латыни; понималъ также по-французски, явленіе, для семинариста того времени — совершенно исключительное. Ему предстояла видная ученая карьера; повидимому, обратили на него вниманіе и въ свѣтскихъ кругахъ: семейное преданіе говоритъ, что знаменитый Сперанскій (съ 30 августа 1816 г. пензенскій губернаторъ) желалъ видѣть его своимъ чиновникомъ.

Но Г. Чернышевскій попадаетъ въ Саратовъ по слѣдующему характерному случаю. Въ 1818 г., умираетъ въ Саратовѣ настоятель сергіевской церкви, въ приходѣ которой былъ домъ губернатора А. Д. Панчулидзева. И вотъ, губернаторъ проситъ пензенскаго архіерея назначить въ священники этой церкви семинариста, по-умѣ, чтобъ онъ могъ бы учить губернаторскихъ дѣтей; избраннику предстояло жениться на дочери умершаго священника, за которою былъ закрѣпленъ приходъ. Владыка остановилъ свой пастырскій выборъ на Г. Чернышевскомъ, ибо онъ — „былъ поведенія отличнаго, въ чтеніи и служеніи хорошъ, и по нотамъ пѣть умѣлъ“.

Невѣстѣ съ приходомъ, которой покровительствовалъ самъ губернаторъ, Евгеніи Георгіевнѣ Голубевой, было только лѣтъ 15. 7-го іюня состоялась свадьба; на ней къ зависти всего духовенства присутствуетъ самъ губернаторъ съ женою. 24-го іюня Г. Чернышевскій рукоположенъ въ священники, съ назначеніемъ въ сергіевскій приходъ, и быстро занимаетъ среди саратовскаго духовенства одно изъ первыхъ мѣстъ.

Въ теченіе ряда лѣтъ, онъ занимается педагогической дѣятельностью; преподаетъ греческій языкъ въ духовномъ училищѣ, гдѣ былъ одно время инспекторомъ, и нѣсколько разъ исполняетъ обязанности ректора, законоучительствуетъ въ пансіонѣ для благородныхъ дѣвицъ, и т. д. Съ 11 октября 1825 года, онъ уже протоіерей, а съ 1828 года членъ духовной консисторіи (открыта саратовско-царицынская епархія) и благочинный саратовскихъ городскихъ церквей. Тогда же его награждаютъ за увѣщанія раскольниковъ скуфьею ¹⁾, командируютъ въ 1837 г.

¹⁾ Миссіонерство здѣсь началось собственно съ 1834 г. „Цѣлыми толпами, — вспоминаетъ очевидецъ:—пригнали ихъ (старообрядцевъ) въ Саратовъ для увѣщанія, и здѣсь они подвергались разнымъ интарствамъ: по цѣлымъ недѣлямъ они ходили въ консисторію, чтобы имъ назначили увѣщателя. Увѣщатели обращались съ ними грубо; вмѣсто увѣщанія и бесѣды, тоже держали у себя по цѣлымъ недѣлямъ, иногда въ самую страдную пору, желая этимъ вынудить ихъ обращеніе въ православіе, а нѣкоторые употребляли ихъ для своихъ работъ“. Иногда увѣщатели назначались изъ учителей семинаріи, жившихъ въ самомъ зданіи ея, и тогда семинаристы любовались, какъ человекъ тридцать просятъ увѣщателя отпустить ихъ домой: „на

присоединить къ единовѣрію старообрядческой монастырь на Иргизѣ, (награда — наперсный крестъ); въ 1844 г.—обращать вольскихъ евреевъ въ православіе. Въ 1843 г., по какимъ-то недоразумѣніямъ съ архіереемъ Іаковомъ (Вечерковымъ) онъ уволенъ отъ благочинія и отъ консисторіи. Позднѣе онъ назначенъ (1856) протоіереемъ Александро-Невскаго кафедральнаго собора, и въ этой должности онъ и скончался 23-го октября 1861 г. скоропостижно.

О личности Г. И. Чернышевскаго сохранилось довольно много воспоминаній со стороны лицъ весьма разнообразныхъ, и сообщенія совершенно сходятся въ свидѣтельствѣ о немъ, какъ о человѣкѣ рѣдкихъ моральныхъ качествъ и большого ума. Его честность и прямота были извѣстны всему приходу. Къ нему шли по дѣлу, съ религіознымъ своимъ настроеніемъ, и дворянство, и купечество, и столь же довѣрчиво шли къ нему за совѣтомъ и помощью бѣдняки: послѣ его смерти нашлось довольно много денегъ, довѣренныхъ ему бѣднотою на храненіе. „Это былъ одинъ изъ самыхъ религіозныхъ священниковъ, какихъ на своемъ вѣку я зналъ, — говорить про него преосвященный Ниваноръ:—Это былъ рѣдчайшій типъ духовнаго лица, священника Божія“. И съ другой стороны, авторъ статьи въ „Колоколѣ“: „Это былъ не попъ, или по крайней мѣрѣ—очень мало попъ“, что, конечно, было вышею хвалою въ устахъ сотрудника „Колокола“. Много говорятъ о врожденной его или выработанной кротости всего его обращенія. По отзыву сына (Дневникъ, стр. 50), „онъ никогда никому не былъ помѣхою: у него характеръ чрезвычайно мягкій и вѣжливый“... „Онъ имѣлъ осанку, неволью внушавшую уваженіе; тихая, плавная поступь, чистое, замѣчательной бѣлизны лицо, съ легкимъ оттѣнкомъ румянца, шелковистые, отчасти волнистые свѣтло-русые волосы, самыхъ скромныхъ размѣровъ такого же цвѣта борода; дышащіе неподдѣльной добротою глаза; тихій, отзывавшійся какою-то задумчивостью голосъ (съ слабымъ оттѣнкомъ шепелявости); необыкновенная плавность и логичность рѣчи; сосредоточенность взора надъ тѣмъ, къ кому онъ былъ обращенъ, какъ будто чрезъ эту сосредоточенность говорилось: смотри на меня, сердце мое откровенно съ тобою“ (Палимпсестовъ).

„Г. И. Чернышевскій,—вспоминаетъ о немъ его племянникъ,

вопросъ увѣщателя: обратятся ли они въ православіе, раскольники обыкновенно отвѣчали: „Въ какой вѣрѣ жили наши отцы и прады, въ такой и мы будемъ жить. Попадѣи, кормилецъ!“ — „Ну васъ, къ чорту!“ — говорилъ увѣщатель и уходилъ“.

Ф. Духовниковъ). Такимъ увѣщателемъ Г. И. Чернышевскій, конечно, не былъ.

А. Н. Пыпинъ:—въ предѣлахъ его школы, и даже дальше ихъ, былъ человѣкъ образованный и начитанный“. Его библіотека заключала, кромѣ изобилія чисто духовныхъ книгъ, древнихъ классиковъ и много историческихъ сочиненій начиная съ восемнадцатаго вѣка: исторія римскаго народа Роллена, исторія аббата Милога, Исторія государства Россійскаго Карамзина, и т. д. Къ этому присоединились новыя сочиненія общеобразовательнаго характера: энциклопедическій словарь Плюшара, путешествіе Дюмонъ-Дюрвиля, „Живописное Обзорѣніе“ Полевого, „Картины свѣта“ Вельтмана и т. д. На библіотеку Г. Чернышевскаго, какъ въ Саратовѣ очень цѣнную, обратилъ вниманіе даже Костомаровъ въ бытность свою въ ссылкѣ въ этомъ городѣ. Интересуясь исторіей, Г. Чернышевскій составилъ „Церковно-историческое и статистическое описаніе саратовской епархіи“. Выдѣляясь въ городѣ умомъ и начитанностью, онъ и въ своей педагогической дѣятельности, въ ту жестокою пору господства розги и кулачной расправы съ учениками, выдѣляется своею гуманностью: онъ врагъ розги, и гдѣ то отъ него зависѣло, допускалъ ее въ учебныхъ заведеніяхъ только въ исключительныхъ случаяхъ, и то только—по прямому требованію начальства.

Тѣмъ же въ этомъ образѣ, полномъ благочиннаго, умнаго отношенія къ людямъ, могутъ казаться заслуги Г. И. по миссіонерству, награды за которое едва ли могли быть въ то время выдаваемы людямъ особо терпимымъ. Повидимому, счастливая уравновѣшенная натура позволила Г. И. Чернышевскому сочетать „кротость голубя и мудрость змія“ и въ тѣхъ служебныхъ моментахъ, когда спокойная совѣсть и служебный долгъ грозили столкнуться. Можетъ быть, конечно, онъ и въ самомъ дѣлѣ имѣлъ значительный успѣхъ въ качествѣ миссіонера, дѣйствуя обаяніемъ кроткаго и терпливаго, въ противоположность рядовымъ миссіонерамъ, обращенія.

Повидимому, именно этотъ столь необходимый для спокойной жизни тактъ имѣлъ въ виду его сынъ, когда, изображая въ „Старинѣ“ („Воспоминанія“ Шаганова) отца своего героя, писалъ о немъ и его средѣ: „Это—народъ, по большей части добродушный, даже не безличныи; но только они всѣ идутъ въ тѣсныхъ рядахъ бюрократической арміи и ихъ отношеніе къ старшимъ можетъ быть только одно—слѣпое повиновеніе. И его отецъ,—онъ тоже не выдается изъ ихъ числа,—хотя человѣкъ и не глупый и даже могущій серьезно критиковать строй своей служебной жизни, но зачѣмъ и критиковать его, когда измѣнить невоз-

можно? Надо только, насколько возможно, обходить въ ней, въ этой служебной жизни, пропасти и западни, грозящія своей со-вѣсти и человѣческому достоинству“...

Въ общемъ, Чернышевскій-отецъ рисуется предъ нами типическимъ представителемъ устоявшейся, опредѣлившейся въ духѣ государственности, культуры; это не передовой дѣятель, не безпокойная ищущая новыхъ путей натура, но умный и добрый консерваторъ по убѣжденію и темпераменту, принимающій, какъ непреложный законъ, традицію своей среды, все, что внушено ему съ лѣтъ молодости богословскимъ семинарскимъ воспитаніемъ. Благоразумное благочиніе — идеаль его въ общественной жизни, имъ послѣдовательно и проводимый во всемъ. И на складъ семейной жизни имъ наложенъ тотъ же отпечатокъ: все въ домѣ дѣлается по разъ навсегда заведенному имъ порядку. Сынъ его долженъ былъ воспринять и это всегдашнее ровное обращеніе, систематически, какъ вторая натура, проводимое въ домѣ, и любовь къ книгѣ, окруженной въ этомъ домѣ не въ примѣръ саратовцамъ особымъ почтеніемъ, — и въ Чернышевскомъ, какъ характеръ, намъ придется отмѣтить не одну черту, близко напоминающую забытаго саратовскаго протоіерея.

О матери Чернышевскаго у насъ гораздо менѣе данныхъ. Повидимому, ранній бракъ неблагопріятно отразился на ея здорovy, и о ней рассказываютъ, какъ о женщинѣ болѣзненной и нервной. Вліяніе ея не простиралось, повидимому, далѣе мелочей обыденнаго обихода жизни, но въ нихъ за то она проявляла себя не мало: „въ характерѣ маменьки лежитъ во все вмѣшиваться“, записано у Чернышевскаго въ одномъ мѣстѣ Дневника. Говорять о ней также, какъ о женщинѣ, отъ природы умной и доброй, но умъ ея, надо думать, спалъ въ заботахъ о домѣ и въ особенности о страстно любимомъ сынѣ. Онъ платилъ ей нѣжной привязанностью, самою кроткою покорностью. Но въ этой ласковости и покорности взрослого сына, чувствуется снисходительность взрослого къ капризному ребенку: говорятъ, онъ иногда носилъ ее на рукахъ и ласкалъ, какъ ребенка („Колоколь“). И въ беллетристическѣ Чернышевскаго, охотно обращающагося въ ней къ автобіографическимъ деталямъ, совершенно отсутствуютъ, напр., тѣ высокія черты материнства, которыя дали столько возвышенныхъ, сильныхъ и прекрасныхъ страницъ въ поэзіи Некрасова.

Г. И. Чернышевскій жилъ въ домѣ Голубевыхъ, вмѣстѣ съ тещею и свояченицею (сестрой жены) Александрой Егоровной, бывшей въ замужествѣ первымъ бракомъ за офицеромъ Котля-

ревскимъ и вторымъ—за чиновникомъ-помѣщикомъ, Н. Д. Пыпинимъ. Черезъ эту вторую семью и была связь дома Чернышевскихъ съ міромъ чиновенства и мелкаго дворянства. Въмѣстѣ, это была какъ бы одна, тѣсно, дружески связанная, семья.

Отношенія къ крѣпостнымъ крестьянамъ, къ дворовымъ были здѣсь мирныя и патриархальныя, и А. Н. Пыпинъ вспоминаетъ осужденія со стороны старшихъ злоупотребленіямъ крѣпостного права, слухи о которыхъ и о трагическихъ развязкахъ, вродѣ убійства помѣщиковъ, доходили до дѣтей. Много лѣтъ спустя, бывшіе крѣпостные продолжали смотрѣть на Пыпиныхъ какъ на „своихъ“ господъ, сохраняя къ нимъ хорошія „сосѣдскія“ отношенія. Такъ и съ этой стороны, дѣйствительно, можно сказать, что дѣтство Н. Г. Чернышевскаго проходило между лучшихъ представителей воспитавшей его среды.

III.

Николай Гавриловичъ Чернышевскій былъ первымъ и единственнымъ ребенкомъ въ семьѣ и родился 12 іюля 1828 года.

„Скромная жизнь, простые нравы, строгое благочестіе“ (Пыпинъ) и нѣжная родительская ласка окружали дѣтство будущаго писателя. „Я нерѣдко видалъ,—вспоминаетъ землякъ:—какъ Гаврилъ Ивановичъ велъ за руку своего малютку, идя изъ церкви, или сидѣлъ съ нимъ на берегу широкой Волги, прислушиваясь къ плеску ея волнъ. Врѣзались въ моей памяти черты лица этого малютки, котораго многіе называли не иначе, какъ херувимчикомъ. Чистое, бѣлое личико съ тѣнью румянца и едва замѣтными веснушками, открытый лобикъ, кроткіе, пытливые глаза; изящно очерченный маленькій ротикъ, окаймленный розовыми губами; шелковистые рыжеватые кудерьки; привѣтливая улыбка при встрѣчѣ съ знакомыми; тихій голосъ, такой же, какъ у отца... Таковъ былъ Н. Г. Чернышевскій, проходя и отроческій возрастъ даже во время пребыванія его въ семинаріи“ (Палимпсестовъ).

Мальчикъ росъ окруженный заботливымъ участіемъ, но безъ лишней холи и извѣженности. Ему былъ предоставленъ широкій просторъ для игръ на чистомъ воздухѣ, чему вполне благопріятствовало самое положеніе дома Чернышевскихъ близъ Волги. Буквально изъ устъ народа, чрезъ няньку-сказочницу, впитывался ребенкомъ міръ народной сказки, легенды, суевѣрій, что потомъ дополнялось болѣе сознательно воспринимаемыми впечат-

тѣвними провинціальной и простонародной русской жизни. Игры съ дѣтьми сосѣдей и дворовыхъ, ютившихся въ обширномъ дворѣ Чернышевскихъ-Пыпинныхъ, воспитывали въ мальчикѣ естественно безсознательное, столь типичное для разночинца, чувство демократизма.

Сохранились рассказы сосѣдей Чернышевскихъ объ играхъ и развлеченияхъ ихъ дѣтскаго возраста, о волчкахъ, лаптѣ, бумажныхъ змѣяхъ, бабкахъ, катаньи на салазкахъ и дровняхъ со спуска на Волгу, и проч. Рисуеться предъ нами типичное дѣтство провинціаловъ-разночинцевъ, близкихъ къ улицѣ тихаго захолустья, безъ развращающихъ впечатлѣній. Въ этихъ воспоминаніяхъ выдѣляется лишь теплое чувство, съ какимъ мохомъ обросшіе провинціалы вспоминаютъ на склонѣ лѣтъ о мальчикѣ Чернышевскомъ. Коноводъ и затѣйщикъ многочисленныхъ игръ и гимнастическихъ упражненій, онъ вѣчно хлопочетъ объ участіи въ играхъ малышей, и подросткомъ развлеченъ столько же ихъ игрой и весельемъ, сколько собственнымъ участіемъ въ интересной и для него игрѣ. Такъ растетъ онъ здоровымъ и крѣпкимъ ребенкомъ, несмотря на вѣшнюю нѣжность облика, которой соотвѣтствуетъ—въ отца—ровность и мягкость въ обращеніи. „Ангелъ во плоти“ — говоритъ о немъ вышесцитированный Палимпсестовъ, врагъ всей послѣдующей его дѣятельности и роли.

Необыкновенныя способности Чернышевскаго обозначились очень рано. Его старшей подругой и частью учительницей была его двоюродная сестра, Любовь Николаевна Котляревская, имѣвшая на него вліяніе, какъ дѣвушка, любившая чтеніе, музыку и проводившая съ нимъ много времени. Подъ ея и отца руководствомъ и надзоромъ ученье далось ему очень легко: въ противоположность тогдашнему обычаю морить дѣтей за книгой, Г. И. урывками между дѣломъ, но изо-дня-въ-день, умѣлъ выбрать время, чтобы объяснить что-нибудь сыну, или рассказать или сказать, что сдѣлать, предоставляя ему свободу дѣлать свое время между дѣломъ и игрой. Ученье и далось Чернышевскому, дѣйствительно, играючи.

6-го сентября 1836 года, мальчикъ зачисленъ въ духовное училище, но, кажется, не посѣщалъ его, а только являлся держать экзамены изъ класса въ классъ. Отецъ избавилъ его отъ „бурсы“, воспользовавшись своимъ вліятельнымъ въ духовномъ мѣрѣ положеніемъ,—обстоятельство, конечно, очень благопріятное для болѣе нормальнаго развитія ребенка, ибо, какъ достаточно

извѣстно, духовныя училища въ старину менѣе всего могли похвастать педагогической, рациональной постановкой.

То уваженіе къ книгѣ, которое царило въ домѣ Гавріила Ивановича, развило и въ мальчикѣ раннюю страсть къ чтенію. Шло оно довольно безсистемно.

„Мы помнимъ про себя,—писалъ самъ Чернышевскій:—какъ въ дѣтствѣ съ восторгомъ перечитывали разъ двадцать въ Римской исторіи Роллена періодъ Самнитскихъ войнъ, по которому тянется непрерывный рядъ сраженій: никакой романъ не занималъ насъ такъ, какъ эти страницы, которыхъ не въ состояніи прочесть взрослый человѣкъ по ихъ невыносимой монотонности. Около того же времени попался намъ въ руки какой-то скандализавшій романъ покойнаго Степанова, кажется, „Тайна“, а можетъ быть „Постоялый дворъ“: мы не прочли и половины первой части, такъ скучна показалась намъ эта книга. Черезъ нѣсколько времени было прочтено нами нѣсколько романовъ Поль-де-Кока. Насъ очень забавляли въ нихъ уморительныя приключенія... Циническая сторона... совершенно не была замѣчена нами“ (Соч., т. VI, стр. 279).

Страсть къ чтенію настолько, уже въ это время, развивается въ немъ, что онъ и за обѣдомъ, и ужиномъ не расстаётся съ книгой, и эта привычка остается у него навсегда: и впоследствии за обѣдомъ, онъ обыкновенно просматриваетъ газеты и журналы. Непомѣрнымъ чтеніемъ онъ испортилъ зрѣніе и ранняя близорукость заставила его носить очки.

„Его видимыя успѣхи обращали вниманіе даже людей малоопытныхъ. То, чему онъ учился, онъ быстро схватывалъ и прочно сохранялъ, въ чемъ помогала ему необыкновенная память“ (Пыпинъ). Кромѣ пестрой и нестройной груды самыхъ разнообразныхъ свѣдѣній, онъ овладѣваетъ очень рано нѣсколькими языками: латинскимъ, греческимъ, изъ новыхъ—французскимъ, нѣмецкимъ, настолько, что вскорѣ, если не говорить по латыни, напрямѣръ, то свободно читаетъ Цицерона, находя смыслъ и интересъ въ немъ, чѣмъ не могло бы похвастать большинство питомцевъ позднѣйшихъ „классическихъ“ гимназій.

„Но домашнее ученіе было, наконецъ, сочтено недостаточнымъ. Отецъ думалъ направить сына на собственное поприще. Это былъ человѣкъ глубоко благочестивый, и, безъ сомнѣнія, этому поприщу онъ придавалъ великое значеніе. Поэтому той школой, въ которую долженъ былъ вступить сынъ, была семинарія, за которою дальше предполагалась духовная академія“ (Пыпинъ).

IV.

Семинарія имѣла въ то время шестилѣтній курсъ, раздѣлявшійся на три отдѣленія—реторики, философіи и богословія. Отъ всего преподаванія вѣяло глубокой стариной и схоластичкой. Предшественникъ Чернышевскаго, Г. Благосвѣтловъ, рассказываетъ, что руководства семинаристамъ служили старые учебники, большею частью изданные въ концѣ восемнадцатаго вѣка, во время преобразованія семинарій. По предмету словесности была принята латинская реторика Бургія, шитика Аполлоса, философія преподавалась по книгѣ Баумейстера, теоретическая часть богословія — по трактату Теофилакта — De credendis et agendis, а практическая—по „Чертамъ дѣятельнаго ученія“ Кочетова. Все преподаваніе задавало громадную работу памяти, развивало способность чисто схоластической игры словесными формальными понятіями, готовыми схемами и проникнуто было, конечно, строго православнымъ направлениемъ, заранѣе предвосхищавшимъ рѣшеніе всѣхъ возникающихъ въ умѣ семинариста вопросовъ.

Къ воспріятію семинарской науки Чернышевскій былъ подготовленъ очень хорошо отцомъ, усвоившимъ не одну формальную сторону православія, но пронесшимъ чрезъ жизнь и христіански настроенное сердце. Семинарская наука не смогла всецѣло поработить и сына.

Саратовская семинарія того времени была, повидимому, типическимъ для тогдашняго духовнаго образованія учебнымъ заведеніемъ съ двумя-тремя хорошими по познаніямъ преподавателями и съ общимъ суровымъ и жесткимъ тономъ.

Ректоръ, архимандритъ Спиридонъ, былъ „человѣкъ не большой учености, не высокихъ дарованій, но доброй души и полезный наставникъ юношей“; между прочимъ, онъ „строго слѣдилъ за ученическими сочиненіями, чтобы они писались исправно и не менѣе исправно просматривались профессорами“. Ближе къ ученикамъ стоялъ вкрутого нрава инспекторъ, іеромонахъ Тихонъ, неоднократно вызывавшій даже жалобы архіерею на жестокое обращеніе, человѣкъ для характеристики котораго хорошо служить семинарскій анекдотъ. Ученикъ, сидѣвшій въ постоянно кѣмъ-нибудь занятомъ карцерѣ, при приближеніи о. инспектора запѣвалъ церковнымъ напѣвомъ: „Изведи изъ темницы душу мою“. — „Мене ждуть праведницы, —отходя отъ карцера,

отвѣчаетъ инспекторъ:—а ты, дуракъ, посиди еще“. На урокахъ этотъ педагогъ требовалъ буквальнаго повторенія учебника (церковная и библейская исторія) и за изложеніе своими словами ставилъ единицу: „Развѣ ты лучше скажешь, чѣмъ въ книгѣ написано?“

Свѣтиломъ семинаріи считался Г. С. Воскресенскій, лекторъ словесности, поэтъ, библейской исторіи и латинскаго языка, знатокъ своего дѣла, прозвищемъ—почему-то, но не уничижительнымъ, а похвальнымъ: „Зотка“. По своимъ воспитательнымъ приемамъ этотъ человекъ, которымъ семинарія гордилась—былъ, увы! совершеннымъ чудовищемъ даже и для того жестокаго времени. Какъ вспоминаетъ его ученикъ, онъ „билъ насъ всѣхъ чѣмъ попало и насколько хватало на это его силъ. Уроки читались ему буквально, и за пропускъ какого-нибудь „и“ или за неправильный переводъ съ латинскаго на русскій, онъ билъ насъ и Библией, и Лактанціемъ (соч. Лактанція), и кулаками, и колѣнками въ грудь и животъ, и плевалъ въ лицо, и харкалъ въ глаза, словомъ—онъ доходилъ до изступленія“ [протоіерей Р. (Розановъ?)]. Былъ случай, что избитый имъ Библией по головѣ семинаристъ пролежалъ въ больницѣ нѣсколько мѣсяцевъ.

Выдающимися преподавателями считались еще И. Ѡ. Синайскій, составитель греческо-русскаго словаря и нѣкоторыхъ другихъ трудовъ, преподаватель греческаго языка, и Гордій Семеновичъ Саблуковъ, впоследствии академикъ, переводчикъ Корана, преподававшій въ семинаріи общую гражданскую исторію и еврейскій языкъ. Впрочемъ, Синайскій былъ уже на склонѣ своей ученой карьеры. По воспоминаніямъ ученика его по саратовской гимназій, тамъ онъ больше занимался болтовней съ учениками о своихъ домашнихъ дѣлахъ да поругиваніемъ новой русской литературы, противопоставляя „болванамъ“—Пушкину и Лермонтову—Эсхила и Софокла съ Ломоносовымъ и Херасковымъ. Въ семинаріи ученики нерѣдко „заводили“ его на разсужденія о какихъ-нибудь тонкостяхъ греческаго языка и ничего не дѣляли.

Саблуковъ „оставилъ по себѣ добрую и заслуженную память. Онъ обладалъ огромнымъ запасомъ свѣдѣній не по своимъ только предметамъ, но и по другимъ предметамъ семинарскаго курса, имѣлъ весьма здравый взглядъ на вещи и отличался тактомъ простого, всегда равнаго отношенія ко всѣмъ“ (Покровскій). Это былъ единственный преподаватель, съ которымъ и лично, внѣ классовъ, сблизился Чернышевскій, бравшій у него уроки татарскаго (необязательнаго) языка. Кажется, Саблуковъ приходился

дальнимъ родственникомъ Чернышевскимъ. Онъ искалъ болѣе вліятельнаго круга занятій, нежели въ семинаріи только, и, можетъ быть, заронилъ въ своего ученика одну изъ искръ стремленія къ иному міру, нежели духовная карьера.

Вообще же, въ самой семинаріи ничто не могло зародить въ ея питомцахъ стремленій къ свѣтской наукѣ. Палимпсестовъ, апологетъ саратовской семинаріи отъ обвиненія, будто она воспитала Чернышевскаго, какъ главу революціи, признаваясь, что „не мало въ этой школѣ было грубоватаго, противнаго эстетическому образу жизни“, — восхищенъ крѣпкимъ духомъ православной церковности, воспитываемой въ семинаріи, и полной отрѣшенностью семинаристовъ отъ „лжеученій“.

„Питомцы саратовской семинаріи, равно какъ и другихъ, были такъ поставлены, что любой грамотный дворянинъ настоящаго времени (напечатано въ 1890 г.) легче и скорѣе можетъ напитаться разнаго рода лжеученіями, чѣмъ питомцы духовныхъ среднихъ учебныхъ школъ 20-хъ, 30-хъ и начала 40-хъ годовъ. Трудно повѣрить, но это такъ. Мы не слышали даже слова: политика. Еще, можетъ быть, труднѣе повѣрить, если я скажу, что едва ли изъ ста питомцевъ семинарій (по крайней мѣрѣ, саратовской) одинъ видѣлъ въ печати басни Крылова, стихотворенія Пушкина, Жуковскаго и т. д. Положительно можно сказать, что ихъ не было и въ самой библиотекѣ семинаріи“.

Если семинаристы и знали имена, гремѣвшія тогда въ русской литературѣ, то исключительно по рукописнымъ тетрадкамъ, которыя играли роль общедоступныхъ хрестоматій, и куда записывалось все, понравившееся семинаристу.

„Учебники и книги духовнаго содержанія — вотъ чѣмъ духовно питались мы, — продолжаетъ тотъ же Палимпсестовъ: — и начальство довольно строго преслѣдовало чтеніе свѣтскихъ книгъ, даже такихъ невинныхъ, какъ Юрій Милославскій, Рославлевъ и т. д. Не вѣрится мнѣ самому, что я въ теченіе всего семинарскаго курса ни разу не видѣлъ листа газеты. Разъ какъ-то мнѣ привелось увидѣть какую-то книжку „Библиотеки для чтенія“.

„Въ рукахъ семинаристовъ бывало очень мало книгъ“, — подтверждаетъ это и самъ Чернышевскій (Соч., т. IX, стр. 9).

А потому въ семинаріи самой по себѣ не было ничего, что могло бы побудить Чернышевскаго разорвать съ традиціей духовной карьеры.

Онъ былъ „посвященъ въ стихарь и писалъ пробныя проповѣди. Необыкновенныя способности молодого семинариста по-

могли ему въ основательномъ изученіи Библіи и древнихъ языковъ. И то, и другое онъ зналъ въ совершенствѣ; православію онъ былъ преданъ, пока не работалъ еще мозгъ самостоятельно; онъ признавалъ рѣшительно всѣ догматы ортодоксін, не находя надобности думать о нихъ хорошенъко и занимаясь древними языками“ („Колоколъ“, № 190).

Каждый праздникъ семинарскихъ воспитанниковъ водили ко всенощной и литургіи въ старый (Троицкій) соборъ. Н. Г., какъ своекоштный, могъ бы туда не ходить, однако онъ не пропускалъ ни одной службы и вмѣстѣ съ другими посѣщалъ эту церковь, а не свою (Сергіевскую), гдѣ настоятельствовалъ его отецъ.

Это былъ во всѣхъ отношеніяхъ примѣрный ученикъ семинаріи, пользовавшійся неизмѣннымъ благоволеніемъ начальства, которое дѣлало уже надежду увидѣть въ немъ новое свѣтло православной церкви.

„Въ семинарскомъ преподаваніи осталось много средневѣковыхъ обычаевъ,—вспоминаетъ онъ самъ:—къ числу ихъ принадлежатъ диспуты ученика съ учителемъ. Кончивъ объясненіе урока, учитель говоритъ: „кто имѣетъ сдѣлать возраженіе?“—Ученикъ, желающій отличиться,—отличиться не столько предъ учителемъ, сколько предъ товарищами,—встаетъ и говоритъ: „я имѣю возраженіе“. —Начинается диспутъ; кончается онъ очень часто ругательствами возразившему отъ учителя; иногда возразившій посылается и на колѣни; но за то онъ приобретаетъ между товарищами славу генія. Надобно сказать, что каждый курсъ въ семинаріи имѣетъ человѣкъ пять „геніевъ“, передъ которыми совершенно преклоняются товарищи“...

Чернышевскій былъ однимъ изъ такихъ признанныхъ не только его курсомъ, но и всею семинаріею „геніевъ“. Онъ дерзалъ вступать въ „диспуты“ даже въ присутствіи архіерея, предъ которымъ трепетали и сами „профессора“, такъ что однажды былъ посаженъ на мѣсто сердитымъ окрикомъ преосвященнаго, явившагося на урокъ.

„Достоинство лучшихъ учениковъ,—продолжаетъ далѣ Чернышевскій:—оцѣнивалось въ семинаріи не по знанію уроковъ, а по достоинству „задачъ“, или сочиненій на темы, задаваемыхъ преподавателемъ. Уроки спрашивались у учениковъ только начиная съ осьмаго или десятаго имени въ спискѣ, который составлялся не по алфавитному порядку, а по успѣхамъ. Первый „пятокъ“ въ мое время вовсе никогда и не училъ уроковъ, зная, что никогда не будетъ спрошенъ въ учебное время. За то,

онъ работалъ надъ задачами, собраніе которыхъ приносилось каждымъ ученикомъ и на экзаменъ. У кого эти задачи составляли толстую кипу, тому было обеспечено благоволеніе начальства.

„Количество темъ, находившихся въ обращеніи при заданіи задачъ, было не слишкомъ многочисленное: „страданія приближаютъ насъ къ Богу“; „о пользѣ терпѣнія“, „дурное общество развращаетъ нравы“, и т. п. въ реторическомъ классѣ или низшемъ отдѣленіи семинаріи; „о различіи души и тѣла“; „о преимуществѣ умозрительнаго метода надъ опытнымъ“ и т. п. въ философскомъ классѣ или среднемъ отдѣленіи; всѣхъ различныхъ темъ, задававшихся въ теченіе цѣлыхъ 5 или 6 курсовъ, т.-е. 10 или 12 лѣтъ, набралось бы не больше ста; а каждый годъ писалось нѣсколько десятковъ „задачъ“, стало быть, одаѣ и тѣже темы очень часто повторялись. Поэтому старыя „задачи“ заботливо хранились, передавались отъ одного курса къ другому въ наслѣдство, на случай неизбежнаго повторенія тѣхъ же темъ. У меня были товарищи, у которыхъ по большому сундуку было набито такимъ запасомъ. „Геніи“, конечно, презирали этотъ способъ отличатся чужимъ трудомъ, и онъ носилъ имя сдувательства“. (Соч., т. IX, стр. 9—10).

Впослѣдствіи онъ будетъ горько сожалѣть о времени, потраченномъ на эти упражненія, съ неизбѣжнымъ заранѣе подсказаннымъ и обязательнымъ выводомъ. Но въ самой семинаріи они производили фуроръ. „Такъ развивать тему сочиненій могутъ только профессора академіи“, — говорилъ о нихъ учитель словесности, и „задачи“ Чернышевскаго, по распоряженію преосвященнаго хранились въ библіотекѣ семинаріи. Впослѣдствіи, они исчезли изъ семинарскаго архива, очевидно, въ то время, когда Чернышевскій окончательно не оправдалъ ожиданій.

О своихъ отношеніяхъ съ многочисленнымъ классомъ товарищей самъ Чернышевскій рассказываетъ слѣдующее:

„Мой отецъ былъ священникомъ губернскаго города въ богатомъ приходѣ (доходы моего отца простирались до 1.500 рублей ассигнаціями и мы жили безбѣдно). Всѣ товарищи были мнѣ пріятелями; человекъ десять изъ нихъ были со мной задушевные друзья. Сколько разъ яли мы бока другъ-другу въ шуточной борьбѣ,—счета нѣтъ; словомъ сказать, въ классѣ и „бурсѣ“¹⁾ (куда я ходилъ чуть не каждый день для дружеской бесѣды) со

¹⁾ Подъ „бурсою“, повидимому, разумѣется не духовное училище, а общежитіе семинаристовъ.

мною церемонились товарищи такъ же мало, какъ со всякимъ другимъ. Но въ гости ко мнѣ ходили только двое или трое изъ товарищей, и то изрѣдка; и надобно сказать, что они вовсе не были изъ числа ближайшихъ моихъ друзей: они были не больше, какъ приятели; но они не совѣстились посѣщать меня въ моемъ семействѣ потому, что у нихъ была приличная одежда и обувь. Ничто не можетъ сравниться съ бѣдностью массы семинаристовъ. Помню, что въ мое время изъ 600 человекъ въ семинари только у одного была волчья шуба, — эта необычайная шуба представлялась чѣмъ-то даже не совсѣмъ приличнымъ ученику семинари, вродѣ того, какъ еслибы мужикъ надѣлъ брилліантовый перстень. Помню, какъ покойный Миша Левицкій, не имѣвшій другого костюма, кромѣ синяго зипуна зимой и желтаго нанковаго халата лѣтомъ, — помню, какъ этотъ первый мой другъ не рѣшался навѣстить меня, когда я недѣли три не выходилъ изъ дому, будучи боленъ лихорадкой: а между тѣмъ, мы съ Левицкимъ не могли пробыть двухъ дней не видавшись, и когда онъ не ходилъ въ классъ, я каждый день приходилъ къ нему. Короче сказать, какъ ни умѣренна была степень знатности моей семьи, но почти для всѣхъ моихъ товарищей войти въ мой домъ казалось такъ же дико, они чувствовали бы себя въ немъ такими же бѣдняками и ничтожными людьми, какъ я чувствовалъ бы себя въ салонѣ герцога девонширскаго. (Соч., т. IX, стр. 9—10).

Нѣкоторые изъ этихъ товарищей, въ преклонные годы, когда умеръ товарищъ ихъ по школьной скамьѣ, съ теплымъ на рѣдкость чувствомъ вспомнили о немъ, чья судьба такъ непохожа была на ихъ, большей частью проторенною дорогою прошедшихъ существованіе. Таковы, напримѣръ, воспоминанія протоіерея А. Розанова и рассказы, собранные Духовниковымъ.

„Мы всѣ просто благоговѣли передъ нимъ“, — вспоминаетъ Р. Приведемъ еще отрывокъ изъ воспоминаній Палимпсестова, смотрѣвшаго на одноклассника, какъ на „падшаго ангела“.

„Дѣвственная скромность, чистота сердца, легкая застѣнчивость, нерѣдко выступавшая румянцемъ; вдумчивость или углубленіе въ самого себя; молчаливая привѣтливость ко всѣмъ и каждому; все это рѣзко выдѣляло его изъ круга семинарскихъ товарищей, которые, ради того, и называли его красною дѣвицей... Эти черты, конечно, инымъ товарищамъ не нравились; но едва ли кто изъ нихъ позволялъ себѣ чѣмъ-нибудь оскорбить дѣвственно скромнаго юношу. Ходила въ то время въ нашихъ духовныхъ школахъ, въ истинномъ смыслѣ классическая пого-

ворка, неизвѣстно когда сложившаяся: *si rufus bonus—optimus, si rufus malus—pessimus*; т.-е. если рыжій хорошъ, то хорошъ въ превосходной степени, а если дуренъ, то въ той же степени. Дѣлая силлогизмъ по отношенію къ Н. Г. Чернышевскому, товарищескій кругъ выводилъ заключеніе: *ergo Чернышевскій optimus...* Но было въ немъ еще другое отличительное свойство: это несообщительность, однако не отталкивающая, не плодъ какой-нибудь холодности или презрѣнія. Да, Чернышевскій былъ какъ бы чужой среди товарищей; онъ казался погруженнымъ въ самого себя“...

Не умножая цитатъ, достаточно сказать, что, по товарищескимъ воспоминаніямъ, юноша-Чернышевскій единодушно рисуется, несмотря на эту тѣнь отчужденности—его не могли не коробить грубоватость среды, неизмѣнная выпивка при товарищескомъ собраніи и т. п.—рисуется неизмѣнно ровнымъ и ласковымъ; онъ всегда неизмѣнно готовъ придти каждому на помощь своими знаніями, безъ тѣни нетерпѣнія готовъ принять участіе въ товарищеской шуткѣ или оторваться отъ занявшей его книги для того, чтобы показать свое искусство въ шахматахъ и т. п. „Не было случая, чтобы онъ при какомъ бы то ни было принужденіи выразилъ свое неудовольствіе“ (Розановъ). Видимо, въ немъ особенно цѣнили это отсутствіе „гордости“, тѣмъ молчаливо признавая за нимъ право на это чувство.

О ближайшемъ другѣ Чернышевскаго М. Левицкомъ, рано умершемъ, къ сожалѣнію, почти не сохранилось свѣдѣній. „Онъ былъ талантливая личность, — передаетъ о немъ разсказы Духовниковъ:—его живая натура не могла помириться съ тѣми схоластическими приѣмами, которые тогда царили въ семинаріи; поэтому, онъ рѣдко былъ согласенъ во мнѣніяхъ, какъ съ учениками, такъ и съ учителями“. Одинъ изъ нихъ укорялъ Левицкаго въ склонности къ лютеранству. Онъ особенно принималъ къ сердцу отиѣченные нами приемы увѣщанія старообрядцевъ... Это былъ одинъ изъ тѣхъ немногихъ товарищей Чернышевскаго, съ которыми послѣдній могъ дѣлиться и тѣми книжными и жизненными впечатлѣніями, какія онъ воспринималъ извнѣ, отъ круга внѣ-семинарскаго.

Дома его товарищемъ, младшимъ годами и страстно къ нему привязавшимся, былъ А. Н. Пыпинъ. Послѣдній вспоминаетъ, что внѣ семинарскаго круга науки юноша Чернышевскій носится съ Шиллеромъ, Жуковскимъ и Пушкинымъ. „Его увлекали не только поэтическія картины, но и возвышенныя человѣческія идеи“. Отецъ-Чернышевскій ничего не имѣлъ противъ новѣйшей свѣт-

своей литературы, и въ домѣ его бывали постоянно новыя журналы, въ томъ числѣ „Отечественныя Записки“, въ которыхъ, въ это время какъ разъ, Бѣлинскій вышелъ на широкую дорогу реалистическаго пониманія литературы и ея общественнаго значенія, а Герценъ излагалъ исторію философіи и ея задачи въ духѣ лѣваго гегеліанства и Фейербаха.

„Кто изъ моихъ сверстниковъ не помнить „Отечественныхъ Записокъ“ того времени? — пишетъ одинъ современникъ этой эпохи, и свидѣтельство его тѣмъ драгоцѣннѣе, что это былъ въ тѣ годы юноша, а позднѣе — человѣкъ совершенно средній, ничѣмъ въ литературѣ или общественности не выдвинувшійся. — Въ настоящее время уже каждый школьникъ знаетъ, чьи произведенія печатались тамъ, и какое значеніе имѣли они. Читалъ я все: и повѣсти, и переводные романы, и критику, и библиографію, и исторію консульства и имперіи, и даже „Космосъ“. Многое, конечно, въ то время было не вполне мнѣ понятно, но все-таки много мыслей и ощущеній возбуждало во мнѣ чтеніе, и много мучили и волновали меня разные вопросы. Да кто же всѣ эти люди, которые написали, напримѣръ, „Письма объ изученіи природы“ или „Запутанное дѣло“? — думалось мнѣ. — Зачѣмъ говорятъ они только намеками и не высказываютъ прямо то, что, повидимому, у нихъ спрятано въ мысли? Зачѣмъ скрываютъ свои имена и не показываютъ всѣмъ, какимъ путемъ достигли они тѣхъ глубокихъ идей, которыя, какъ сквозъ туманъ, проглядываютъ и остаются полускрытыми въ ихъ твореніяхъ? Иногда мнѣ даже приходило въ голову на мысль, что они сами не вполне сознаютъ, что именно хотятъ сказать, а только чувствуютъ въ себѣ какіе-то высокіе, могучіе и необъятные порывы; но зато раздѣлять съ ними эти порывы я привыкъ еще въ то время, и эти порывы мучительно бродили во мнѣ... Эти мысли постоянно возбуждали во мнѣ ощущеніе, конечно, очень смутное, какой-то ненормальности тогдашнихъ человѣческихъ отношеній, и раздѣленіе людей на господъ и слугъ рано стало мнѣ казаться несправедливымъ... Во мнѣ родилось рано какъ будто какое-то угрызненіе совѣсти: я чувствовалъ словно неловкость въ отношеніи къ людямъ вообще, и эта неловкость лишала меня охоты къ жизни и къ какой бы то ни было энергіи“... („Воспоминанія смоленскаго дворянина“, „Русская Старина“, 1895 г., № 7, стр. 114—115).

Вотъ именно такихъ юношей-дворянъ, частью уже разобравшихся въ томъ, что вѣяло въ тогдашней передовой литературѣ, черезъ семью Пыпиныхъ и знавалъ юноша-Чернышевскій во

время семинарской учёбы. Имена ихъ не дошли до насъ, да и не въ именахъ дѣло. „Кромѣ Левицкаго и семинаристовъ,— рассказываетъ Пыпинъ,— бывали у него другіе сверстники, съ которыми онъ любилъ проводить время въ долгихъ прогулкахъ и долгихъ разговорахъ. Это были молодые люди изъ того помѣщичьяго круга, съ которымъ бывалъ знакомъ его отецъ, молодые люди съ извѣстнымъ свѣтскимъ образованіемъ, между прочимъ— университетскимъ. Большая разница лѣтъ дѣлала для меня чужимъ это товарищество, но, судя по болѣе позднимъ воспоминаніямъ, въ этихъ бесѣдахъ затрагивались именно темы идеалистическія и первыя темы общественныя“.

Но эти возбужденія самостоятельной мысли, независимыя отъ вліянія школы, не были еще, конечно, рѣшающими; въ эту пору, 1844—45 г., развѣ только начинался тотъ процессъ душевнаго перестроя, который долженъ былъ вскорѣ сдѣлать Чернышевскаго свободнымъ мыслителемъ. Недоговоренность журнальныхъ статей и недостаточная, вѣроятно, опредѣленность взглядовъ его товарищей изъ среды дворянства—достаточное тому объясненіе. „Онъ читалъ только такія книги, какія можно достать въ провинціальнхъ городахъ, гдѣ нѣтъ порядочныхъ бібліотекъ. Онъ былъ знакомъ съ русскими изложеніями системы Гегеля, очень неполными (очевидно, Герценъ въ его статьяхъ о „Диллетантизмѣ въ наукѣ“ и въ „Письмахъ объ изученіи природы“.— Ч. В—ій.),— это говоритъ онъ о себѣ самъ (Соч. т. X, ч. 2, стр. 191—192). Въ это же время онъ уже начиналъ, надо думать, привязываться въ Бѣлинскому „любовью преданныхъ и благодарныхъ учениковъ“, наравнѣ съ Гоголемъ, тою степенью „уваженія и сочувствія, когда всякія похвалы утверждаются, какъ нѣчто, не выражающее всей полноты чувства“ („Очерки гоголевскаго періода русской литературы“, гл. IV, стр. 119—120, соч., т. II). Но вполнѣ сознательное преклоненіе предъ обоими мы найдемъ въ немъ лишь въ Петербургѣ, въ его университетскіе годы.

А въ Петербургѣ не могло не потянуть въ ту пору, какъ въ единственный центръ умственной жизни всей Россіи, не могло не потянуть талантливаго юношу съ сильно возбужденнымъ, не удовлетворяемымъ школою умомъ, съ пробудившимися тревожными запросами мысли обо всемъ, что окружало и что шевелилось въ цашней литературѣ робкими намеками. Чернышевскій заявляетъ, отецъ, родителямъ желаніе идти въ университетъ.

„Отецъ, вѣроятно, понималъ преимущества университета, но, лько мнѣ помнится, долженъ былъ, очевидно, нѣсколько перечить себя, когда уступалъ желаніямъ сына“ (Пыпинъ). Обстоя-

тельствомъ, которое повліяло, вѣроятно, на то, что уступилъ онъ довольно скоро, была неожиданная опала, передъ тѣмъ, въ 1843 г., обрушившаяся на Гавріила Ивановича. За неумышленную ошибку въ метрическихъ записяхъ архіерей смѣнилъ его изъ благочинныхъ и изъ членовъ консисторіи. 29-го декабря 1845 года, Н. Г. Чернышевскій подалъ прошеніе о желаніи продолжать образованіе въ одномъ изъ университетовъ, съ помяткою „объ согласіи на то отца“. „Инспекторъ семинаріи Тихонъ, встрѣтивши Евгенію Егоровну у кого-то въ гостяхъ, спросилъ ее: „Какъ вы вздумали взять вашего сына изъ семинаріи? Развѣ вы не расположены въ духовному званію?“ На это мать Н. Г. отвѣтила ему: „Сами знаете, какъ унижено духовное званіе: мы съ мужемъ и порѣшили отдать его въ университетъ“. — „Напрасно вы лишаете духовенство такого свѣтила“, — сказалъ ей инспекторъ“ (Духовниковъ). Каково бы ни было впечатлѣніе въ духовномъ мірѣ о выходѣ изъ семинаріи лучшаго кандидата въ академію, 9-го января 1846 года семинарское начальство выдало семнадцатилѣтнему Чернышевскому увольнительное свидѣтельство съ слѣдующими отмѣтками: по философіи, словесности, гражданской, церковно-библейской и російской исторіи — „отлично хорошо“; по православному исповѣданію, священному писанію, математикѣ, латинскому, греческому и татарскому языкамъ — „очень хорошо“, „при способностяхъ отличныхъ, прилежаніи неутомимомъ и поведеніи очень хорошемъ“.

Такъ прошли годы ученія, неоконченнаго Чернышевскимъ въ семинаріи. Онъ вынесъ оттуда уже готовое умѣнье владѣть перомъ, стройно, шагъ за шагомъ, развивать и излагать мысли, но писать пока ему было не о чемъ. Между прочимъ, уже упомянутый преосвященный Іаковъ пытался привлечь его къ своимъ работамъ по собранію сырого матеріала по исторіи края, — верхъ учености, каковой до сихъ поръ составляетъ удѣлъ большинства провинціальныхъ вѣдуниверситетскихъ центровъ. Ревнитель православія и любитель археологіи, Іаковъ въ связи со своими изслѣдованіями остатковъ татарскаго владычества въ саратовскомъ краѣ, засадилъ способнаго семинариста, вдобавокъ знающаго татарскій языкъ, за составленіе списковъ топографическихъ названій въ краѣ, именъ сель, деревень и урочищъ и проч., съ написаніемъ ихъ на татарскомъ языкѣ и переводомъ на русскій. Разбирался вопросъ, откуда и какъ взялись татарскія названія, произошло ли вытѣсненіе прежнихъ жителей или ихъ обрусеніе и т. п. Чернышевскій выполнилъ эту первую свою научную работу, показавъ уже здѣсь „неутомимое прилежаніе“, какое тре-

буется для подобныхъ сырыхъ работъ и какое составило всегдашнюю его черту.

И долгое время страсть къ накопленію и собиранію знаній, безъ достаточной осмотрительности, насколько важны для него тѣ или нынѣ частности той или иной отрасли науки, разбрасывающаяся разносторонность, составляли отличительную черту въ Чернышевскомъ, въ годы его накопленія знаній. Такъ, со смутнымъ пока представленіемъ, что можетъ дать ему не-семинарская наука, къ которой онъ стремился, собирался Чернышевскій въ университетъ.

Семинарское воспитаніе и вліяніе отца-протоіерея, несомнѣнно, наложили на него свой отпечатокъ.

Мировоззрѣніе, воспитываемое семинарскимъ образованіемъ, было стройно и законченно. Истиннымъ его носителямъ оно всегда даетъ завидную увѣренность на жизненномъ пути и полное спокойствіе, ибо все и навсегда разрѣшено „отцами“, на всякій случай жизни имѣется готовая формула, магически устраняющая сомнѣнія и колебанія, пока сохланена вѣра въ основное, въ традицію и авторитетъ „отцовъ“. Отъ этой непогрѣшимости и спокойной самоувѣренности часто вѣетъ холодомъ и мракомъ замкнувшейся въ себѣ черствой души. Здѣсь играютъ чужими душами, и дѣло утишенія и умиренія пасомыхъ душъ подмѣняется холодностью, обрядностью и готовностью прислуживать государственной власти. За всей этой формой сплошь и рядомъ гибнетъ всякое содержаніе, и въ духовенствѣ нужно быть совершенно исключительною личностью, какимъ былъ Гавріилъ Ивановичъ Чернышевскій, чтобы чрезъ внѣшность православія свѣтило и грѣло горячее религиозное чувство и живая память о Создателѣ христіанской религіи.

Форма семинарскаго образованія, съ ея схоластицизмомъ, не могла не отразиться и на тѣхъ питомцахъ русскихъ семинарій, кто разрывалъ узы традиціи, имъ налагаемыя. Поверхностные наблюдатели литературно-общественной жизни нашихъ 60-хъ годовъ очень просто представляли себѣ роль въ ней людей семинарскаго образованія, роль бурсы: пришли-моль въ литературу невоспитанные люди и стали направо-налѣво „загибать салазки“ авторитетамъ и дѣтелямъ, дѣлать „смазь вселенскую“. Карриатурный „нигилизмъ“ въ его обыденномъ грубомъ выраженіи, пожалуй, могъ зависѣть и отъ этого, отъ появленія въ обществѣ литературѣ некультурныхъ „вислоухихъ“, по выраженію Салыкова. Дѣло глубже было, конечно,—не въ одной грубоватой внѣшности. Но люди, только-что освобождающіеся отъ тради-

ціоннаго авторитета, по естественной психологической чертѣ, не могли не искать новаго бога, и ихъ умъ, воспитанный только формально, легко бросался на всякое новое міровоззрѣніе, лишь бы оно было построено сколько-нибудь наукообразно и могло служить исходной точкой для мышления, двигающагося по привычнымъ схоластически-разсудочнымъ рельсамъ.

Отсюда—усвоеніе, напримѣръ, философскаго матеріализма, какъ нѣкоей всѣ вопросы рѣшающей вѣры, поклоненіе утопіи Фурье, какъ формѣ общежитія, которая можетъ быть осуществлена съ легкостью усвоенія умомъ ея основныхъ особенностей, и т. п. Семинаризмъ придавъ всѣмъ этимъ понятнымъ интересамъ къ новымъ теченіямъ человѣческой мысли особый отпечатокъ иногда доктринерства, а иногда и необыкновенной серьезности и сосредоточенности.

Не чуждъ оказался вліянію семинаріи и Чернышевскій. Только у человѣка семинарскаго воспитанія, кажется, могла развиться эта безусловная вѣра въ „книгу“, которая отличаетъ Чернышевскаго и объясняетъ различіе философскаго и нравственнаго воззрѣнія людей незнакомствомъ ихъ съ тѣми или другими книжками. Какъ извѣстно, въ своей полемикѣ съ Юркевичемъ, въ „Полемическихъ красотахъ“, Чернышевскій по отношенію къ оппоненту считаетъ споръ исчерпаннымъ—предложеніемъ ему познакомиться съ „небольшимъ запасомъ книгъ“, каковымъ располагалъ самъ Чернышевскій. Послѣ семинаріи, онъ продолжалъ изучать словесныя науки, и хотя столкнулся, во виѣ университетскихъ вліяніяхъ, съ высокимъ представленіемъ о естествознаніи, на которое должны опираться выводы о занимавшихъ его „основныхъ вопросахъ человѣческой любознательности“,—всегда оставался чуждъ его строгихъ методовъ изслѣдованія и обобщенія, имѣя объ этомъ лишь книжное, чисто теоретическое понятіе. Отсюда и понятно, что на вѣру, въ качествѣ выводовъ науки—впрочемъ, это было и не съ нимъ однимъ, а съ цѣлымъ поколѣніемъ—могли быть приняты взгляды, также, въ сущности, метафизическаго свойства, вмѣсто идеалистической, съ рѣзкой матеріалистической окраской. То міровоззрѣніе, которое вскорѣ усвоилъ Чернышевскій, при всемъ рѣзко отрицательномъ отношеніи къ традиционнымъ основамъ религіи, государственности и общественности (въ особенности въ формулѣ „православіе, самодержавіе, народность“), по существу, въ его психологической формѣ, было не критическимъ, а представляло лишь извѣстную комбинацію и логическое развитіе изъ книгъ же усвоенныхъ общихъ понятій и идей. Въ этомъ отрицательномъ отношеніи къ основамъ традиционнымъ, однако,

и было все значеніе поворота во взглядахъ Чернышевскаго, какъ лично для него, такъ и для исторіи нашего общества. Никакого примиренія съ этой традиціей не могло быть. Въ его спокойной увѣренности въ правильности его сокрушительныхъ для традиціи взглядовъ было нѣчто, напоминавшее достовѣрность вѣры его родителя въ эту самую традицію. У сына и отца мы видимъ ничѣмъ невозмутимую ясность спокойной души, для которой неразрѣшенныхъ, неразрѣшимыхъ вопросовъ не существуетъ; что дала отцу вѣра и семинарская наука, а сыну—тоже вѣра, только не въ то, что указывала традиція, а въ то, о чемъ говорила новая философія и новыя соціальныя ученія той эпохи.

В. Е. ВѢТРИНСКИЙ.



ВЪ СТЕПЯХЪ СѢВЕРНАГО КАВКАЗА

О ЧЕРКИ.

Окончаніе.

IV *).

У баптистовъ.

Изъ Святого-Креста, минуя ямы и болдобины, мы спустились снова къ берегамъ Кумы, но уже съ другой стороны. Мостъ, который мы проѣхали, представлялъ собою форменную на-смѣшку надъ подобнымъ сооруженіемъ. При переѣздѣ по такой прелести, нашъ экипажъ застрялся особенною дрожью, причемъ подъ колесами послышалось жалобное всхлипыванье. Но—впередь!.. съ моста въ мрачную лужу, затѣмъ въ гору, и мы снова въ степи. Слава Богу, Кума осталась за нами, вмѣстѣ съ ея чувствительными мостами и дорогами, усѣянными трупами животныхъ.

Теперь мы ѣхали среди полей пшеницы, ячменя, кое-гдѣ виднѣлись небольшіе баштаны арбузовъ и дынь.

— Далеко-ли до хутора баптистовъ?

— Верстъ сорокъ... впрочемъ и того не будетъ... Часа черезъ три съ половиной, навѣрное, пріѣдемъ.

Чѣмъ дальше мы углублялись въ степь, тѣмъ впечатлѣніе было безотраднѣе, — сѣрый колоритъ принималъ однообразный

¹⁾ См. іюль, стр. 547.

характеръ. На горизонтѣ и по дорогѣ, ни жилья, ни постройки. Хлѣба совсѣмъ не такіе, какіе мы встрѣчали раньше: на короткихъ и рѣдкихъ стебляхъ качались слабые колосы пшеницы, видъ которыхъ не радовалъ взора.

— Не особенный здѣсь урожай, — замѣтилъ я. — Почему? Земля, вѣрно, хуже...

— Нѣтъ, дождей въ этой сторонѣ не было. Весной было любо глядѣть на всходы, а теперь одна жалость!.. Вотъ начинаются трукменскія степи... Вотъ участокъ № 10, а за нимъ № 11, на которомъ нашъ хуторъ...

— Участки сдаются въ аренду самими трукменами?..

— Въ томъ-то и дѣло, что нѣтъ... Участки сдаются съ торговъ, а то и безъ нихъ, православнымъ, которые по возвышенной цѣнѣ, конечно, сдаютъ ихъ севтантамъ... Участокъ № 11 сдается баптистамъ Томулуевскимъ обществомъ, сдается только на годъ, а затѣмъ, какъ случится... Тяжелое житье субъарендаторамъ — это пытка какая-то... Подумайте, жить въ постоянномъ страхѣ быть выгнанными съ мѣста, гдѣ столько годовъ хозяйствовали; какія затраты, постройки, колодцы...

Все это мой спутникъ-баптистъ говорилъ печальнымъ голосомъ, какъ бы раздумывая и не понимая, о прошломъ, трудномъ, даже тяжкомъ времени.

— Ну, какъ-нибудь устроитесь...

— Не вѣрится что-то... Сколько на Кавказѣ земель, — продолжалъ онъ, — земель, которыми владѣютъ въ истинномъ смыслѣ разбойники, которымъ человека убить все-равно, что мнѣ въ степи косяк махнуть, — и живутъ, а намъ нѣтъ ничего... за что-же?!..

„Дѣйствительно, нѣтъ надежды и нѣтъ радости“, — думалъ я, смотря въ даль степи, которая мнѣ казалась теперь еще сырѣе, еще безотраднѣе. Эхъ, матушка, вольная степь, степь кормилица, много тяжелыхъ вздоховъ, много думъ пронеслось надъ твоей богатырской грудью, и не мало слезъ пролилось тамъ, гдѣ теперь вѣтеръ качаетъ тѣ цвѣтики синіе, что къ колосьямъ нагибаются, шепча будто мысли тайныя... Размечи, развѣй, вѣтеръ буйный, вздохи степные и страданія, пронеси скорѣй тучу черную, грозовую и поставь солнце яркое, радостное, выскоки на свѣтломъ небѣ!.. Пусть всѣмъ будетъ свѣтло и радостно!

— Вотъ поднимаемся въ эту гору, и хуторъ будетъ виденъ... Немного осталось теперь...

Вечерѣло... Спалдалъ томительный жаръ дня; сухой, даже гучій вѣтеръ улегся, и по степи ложились едва замѣтныя тѣни.

Хотѣлось отдыха, покоя, и было—почему-то—грустно и такъ си-рогливо на трухменской землѣ кочевыхъ народовъ.

Поднялись—и внизу въ небольшой балкѣ на сѣромъ фонѣ степи показались сѣрыя изъ самана постройки хутора бапти-стовъ, известнаго подъ названіемъ „Буйвола“. Сѣро, кѣтъ зе-лени, ни садочковъ, только около одной хаты торчатъ два не-большихъ дерева. Что-то казенное, монотонное, представляя собою хуторъ.

— Отчего нѣтъ деревьевъ?.. Развѣ не растутъ въ вашей степи?

— Какъ не растутъ?!..— отвѣчалъ баптистъ:—превосходно принимаются даже фруктовыя деревья... Вонъ, видите два дерева акацій, еще молодыя, а ростъ добрый!.. Не растутъ, потому что не позволяетъ начальство... Хуторяне посадятъ, а начальство прійдетъ и прикажетъ вырвать съ корнями. Не знаю, какъ эти акаціи уцѣлѣли!.. Будь деревья фруктовыя, навѣрное, были бы уничтожены...

„Что же это такое?“ — думалъ я. — „Варварство грубое, средневѣковое!“

Дворовъ сто расположились кучно, хотя улицы широкія, дворы не особенно малые, но не такіе, какъ въ постоянныхъ селеніяхъ, окружены невысокими загородами изъ соломы, рѣдко изъ самана. Тѣмъ не менѣе все хозяйственно, аккуратно, а если принять во вниманіе, что всѣ эти владѣнія годовые, и субарендаторы всегда могутъ быть удалены съ правомъ оставить всѣ постройки и колодцы въ пользу арендаторовъ, то при такихъ жестокихъ условіяхъ хуторское хозяйство баптистовъ прево-сходно. Невольно напрашивается вопросъ: если бы это была ихъ собственная земля или въ крайнемъ случаѣ въ долгосроч-ной арендѣ, то что бы здѣсь было?!.. Я увѣренъ, что и впе-чатлѣніе было бы иное... Здѣсь, навѣрное, разрослись бы фрук-товыя сады, среди которыхъ были бы не такія на-спѣхъ по-строенныя хаты, а цѣлыя домины, просторныя, удобныя, не кучныя загороди окружали бы дворы, а настоящіе, крѣпкіе за-боры... Да, на этомъ угрюмомъ сѣромъ мѣстѣ расцвѣла бы жизнь, выросла бы богатѣйшая трудовая колонія!.. Развѣ не добро бы то было, и для народа, и для государства?!..

Когда мы уже выѣхали на хуторъ, мое вниманіе обратила на себя большая постройка, похожая на сарай, сплошь по-крытая брезентами.

— Это наше общественное собраніе,—пояснилъ баптистъ.— Завтра соберется народъ въ день Святого Духа и васъ пригла-

сать. Ну, вотъ и моя хата, — прибавилъ онъ, когда мы вѣзжали на чистый и просторный дворъ съ порядочнымъ базомъ для сѣота, окруженнымъ довольно высокой стѣной изъ соломы. Не прошло и пяти минутъ, какъ началъ собираться народъ: всѣмъ интересно было посмотрѣть на своего повѣреннаго. Людей въ маленькой комнатѣ хаты было полно, стояли во дворѣ — такому многолюдству, конечно, помогала день праздничный.

Разговаривая, я присматривался къ лицамъ, серьезнымъ, вдумчивымъ. Это не была толпа русскихъ крестьянъ, стадная, сѣрая, всегда готовая выпить и закусить и даже просто выпить „за здоровье барина“. Нѣтъ, здѣсь настроеніе совершенно иное: на каждомъ лицѣ легла дума и затаенная, глубокая печаль... „Да“, — думалъ я, — „вѣдь непрестанно людей гнали за вѣру, за то, чѣмъ они дорожили, можетъ быть, больше жизни“. Дѣйствительно, передо мной были люди вѣрующіе, а не суевѣрные („годится — молиться, не годится — бабамъ горшки покрывать“ — православная наша пословица о „богомазахъ“), это можно было видѣть по тому глубокому огню, который не то мрачно, не то грустно свѣтился у нѣкоторыхъ. Это были сильные, статные, рабочіе люди, какъ мнѣ сразу показалось, съ характеромъ — и я не ошибся. Да, сильные, а иные прямо богатыри, и я вспомнилъ слова моего спутника баптиста: „у насъ не можетъ выдержать русский рабочий, несмотря на то, что харчи у насъ хорошіе: рѣдкій можетъ поспѣть въ работѣ за хозяиномъ“.

Обильное угощеніе слѣдовало непрерывно. Баптисты большіе любители чая, за которымъ слѣдуютъ разныя блюда, главнымъ образомъ, молочнаго характера: вареники, блинцы и проч. Сектанты ѣдятъ и мясо, ѣдятъ все, что даетъ трудъ и природа, не пропагандируя постовъ и особеннаго воздержанія. Работай и кормись, но непременно при землѣ; всякая другая работа — второстепенная, а главное, далекая отъ природы и, слѣдовательно, отъ постоянныхъ размышленій о Богѣ и его величіи.

Баптисты не признаютъ семи таинствъ православія, у нихъ всего два: крещеніе (водное) и причащеніе, причемъ крестятъ взрослыхъ; маленькихъ дѣтей, какъ не понимающихъ, не причащаютъ. Къ такого рода важнымъ явленіямъ, по ихъ мнѣнію, нужно относиться совершенно сознательно.

Вѣнчать можетъ каждый взрослый баптистъ, но обыкновенно благославляютъ на совмѣстную жизнь ихъ пресвитеры т.-е. выборные духовные отцы, которыхъ они во всякое время могутъ смѣнить и замѣнить другими. Въ мое у нихъ пребываніе разбирался одинъ изъ пунктовъ Высочайшаго указа о вѣротерпи-

мости, тотъ самый пунктъ, чтобы ихъ священники утверждались правительствомъ. Насколько я понялъ, баптисты не поймутъ на это изъ боязни, что при такихъ обстоятельствахъ пострадаетъ выборное начало. Можетъ быть, они и правы. Несмотря на полную свободу въ отношеніяхъ между молодыми людьми обоого пола, не наблюдается и тѣни разврата. Въ самомъ дѣлѣ, полюбивъ дѣвушку—женись, женись сегодня, завтра—запрета нѣтъ; пону платить не надо, всякихъ негѣпыхъ до смѣшного обрядовыхъ обычаевъ не полагается: во-первыхъ они и дороги и времени много отнимаютъ, а баптисту прежде всего нужно работать и кормить себя и семью. Правда, баптистики постоятъ за себя: такихъ здоровыхъ и рослыхъ женщинъ я не встрѣчалъ въ нашихъ русскихъ селеніяхъ, да и добрыя, и не болтливыя.

Пить вино, водку и проч. у баптистовъ не считается зазорнымъ: пей сколько хочешь и можешь, но только не напивайся. Лицъ, заподозрѣнныхъ въ пьянствѣ по нѣскольку разъ, отлучаютъ отъ церкви, но не навсегда,—по исправленіи, снова принимаютъ въ свое духовное общество.

Баптисты живутъ сравнительно ровно—имѣются между ними люди съ порядочными хозяйственными средствами, но бѣдняковъ, вродѣ нашихъ безлошадныхъ, бездомовыхъ, нѣтъ, а если случилось съ кѣмъ несчастье (падежъ скота или что другое) помогутъ немедленно, толково и умно. Однимъ словомъ, ихъ общество крѣпкое, сильное, дѣйствительно христіанское по существу, а не по названію.

Я прожилъ на хуторѣ три дня, и для меня стало совершенно ясно, что всѣ хуторяне-баптисты одна семья. Не разберешь, кто откуда, изъ какой-хаты, гдѣ только-что былъ и закусывалъ, чьи лошади, на которыхъ ѣздилъ на другой, маленькій хуторъ. И всегда они—серьезные, выдержанные, сосредоточенные. Признаться, мнѣ было хорошо и странно проводить время среди такихъ вдумчивыхъ людей, или я дѣйствительно въ первый разъ видѣлъ трудовыхъ и искренно вѣрующихъ людей, не только знающихъ, но понимающихъ Евангеліе, ученіе Христа, но и прилагающихъ эти высокіе принципы къ простой практической жизни. А какъ они привязаны къ своимъ степямъ, къ вольному труду—удивительно!

На другой день было собраніе баптистовъ въ томъ обширномъ временномъ помѣщеніи, о которомъ я упоминалъ. За нами прислали, должно быть, часовъ въ восемь утра, когда уже всѣ вѣрующіе собрались.

Сыпалъ мелкій дождь, и было сѣро и пасмурно, когда по

улицамъ хутора мы спѣшили въ молитвенному дому. Настроение было грустное. Гармонировала ли съ этимъ природа, или оттого, что казалось — весь этотъ уютъ, всё эти постройки придеть и разбѣтъ по вѣтру Добрыня... Не подумайте читатель, что это богатырь Никитичъ; нѣтъ, просто Добрыня изъ „писарьковъ“, приставъ кочевыхъ Турменскихъ народовъ, царекъ послѣднихъ, отъ котораго зависятъ баптисты, въ которыхъ почему-то не благоволятъ мѣстные администраторы... Отчего? право, не знаю. Сектанты въ работѣ организованы вѣршко, „политикой“ не занимаются. И таковой-то полезный, производительный народъ совершенно не обезпеченъ!

Но войдемъ въ собраніе.

Въ большой пристройкѣ, покрытой брезентами, народа не менѣе 500 человекъ; часть сидитъ честно другъ съ другомъ на скамьяхъ, за которыми стоятъ люди. — Справа отъ входа — мужчины, слѣва — женщины. Прямо, у самой стѣны — столъ, покрытый зеленымъ сукномъ, на столѣ, въ переплетахъ, Евангеліе, посланія апостоловъ и псалмы. За столомъ сидѣли три пресвитера, а надъ ними возвышался портретъ Императора Николая II.

Пѣли стройнымъ хоромъ псалмы. Сильные голоса мужчинъ и женщинъ привычнымъ тѣмпомъ исполняли вполне музыкально свое дѣло. Послѣ я узналъ, что у баптистовъ всегда имѣется регентъ.

Каждый разъ вставалъ пресвитеръ съ книгой псалмовъ и толково, съ удареніемъ, прочитывалъ стихъ, который за нимъ въ пѣніи повторялся всѣми баптистами.

Второй пресвитеръ прочиталъ изъ посланій апостола Павла со своими объясненіями. Наконецъ, третій съ евангеліемъ въ рукахъ съ чувствомъ прочелъ главу о мытарѣ и фарисеѣ. Эта высокая страница изъ ученія Христа произвела очевидное впечатлѣніе на присутствующихъ, которые слушали не только съ благоговѣніемъ, но всѣми своими нервами воспринимали святые слова: „Мытарь терпѣлъ, терпѣлъ, страдая, — звучалъ голосъ проповѣдника-пресвитера — но онъ былъ ближе къ Христу и духомъ и плотью, нежели надменный, гордый фарисей!“.. „Терпѣніемъ и вѣрой мы живемъ; пусть враги наши творятъ намъ зло, мы не станемъ платить имъ такой же монетой, а будемъ страстно желать, чтобы они познали истинный духъ Бога. Братья и сестры и всё здѣсь присутствующіе, этимъ я хочу сказать: мы боремся не матеріально, а духовно, и мы убѣждены, что духъ побѣдитъ грубую силу!“

Эти слова были подходящи къ положенію баптистовъ. Сколько дѣйствительно накопилось въ нихъ терпѣнія отъ преслѣдованія и неустойчивости ихъ жизни. Терпѣливая, неустанная работа на землѣ, съ которой могутъ завтра согнать, запечатать володцы и т. п.; — въ теченіе десятковъ лѣтъ гоненія и трудъ, трудъ безъ конца.

Поневолю выработываются характеры, но и нервы даютъ себя знать.

Когда голосъ проповѣдника возвышался и доходилъ до сердечнаго волненія, я замѣтилъ не только у женщинъ, но и у мужчинъ на глазахъ слезы, а нѣкоторые просто плакали, что называется, во всю. Мнѣ понравилось пѣніе баптистовъ, впрочемъ, нѣсколько однообразное, но въ манерѣ много простоты и искренности. Хоръ волюнѣ выдержанный.

Очень торжественно звучалъ народный гимнъ, когда сотни голосовъ слились въ „Боже, Царя Храни“, который они пропѣли полностью, но лишь съ однимъ измѣненіемъ: вмѣсто — „Царь Православный“ — Царь Всероссийскій.

Послѣ гимна наступила очередь дѣтей. Выходили мальчики и дѣвочки, прочитывали эпизоды изъ священнаго писанія, декламировали стихи. Я нарочно говорю: „декламировали“, потому что меня неподдѣльно изумила маленькая десяти-лѣтняя дѣвочка съ такимъ чувствомъ, такъ прекрасно и просто сказавшая недурные стихи.

— Что это за стихи, которые говорила въ собраніи дѣвочка? — спросилъ я моего хозяина-баптиста.

— А это мой братъ Михай сочиняетъ... Вотъ она и выучила...

— Очень и очень хорошо!.. Однако какая нервная дѣвочка! точно артистка-продекламировала...

— Эта дѣвочка способная...

— А что у васъ всѣ грамотные?..

— Да, всѣ пишутъ, читаютъ...

— А школы специальной нѣтъ?..

— Нѣтъ, такъ учатся другъ отъ друга, бываютъ временные учителя. Да развѣ намъ позволять открыть свою школу?!

— Удивительно, школы нѣтъ, а грамотные, и я вспомнилъ, что у насъ въ Архипосиновкѣ, черноморской губерніи, двѣ школы (министерская и церковная), а почти всѣ безграмотные. Дѣтей мало учится, — не отдають родители, вслѣдствіе домашнихъ работъ... Но развѣ работъ у баптистовъ меньше?!..

Собраніе продолжалось. Теперь рассказывали дѣти трога-

тельную исторію Іосифа, проданнаго въ рабство своими братьями. Оригинально велся этотъ библейскій разсказъ: началъ мальчикъ, послѣ котораго вышла дѣвочка и продолжала, на чемъ тотъ остановился, затѣмъ другая, третья, — дѣти разсказали всю исторію по частямъ, разсказали превосходно, совершенно сознательно, незаученно, а въ нѣкоторыхъ, особенно патетическихъ мѣстахъ, искренно плакали, своей живой фантазіей переносясь въ далекія времена горя, отчаянія и радости семьи Іакова.

Не только съ удовольствіемъ, но съ интересомъ слушаль я свѣжіе звонкіе голоса дѣтей, порой дрожащіе отъ волненія, и вспоминалъ свои дѣтскіе, безвозвратные годы. Каждый маленькій разсказчикъ былъ по своему оригиналенъ и, прибавлю, серьезенъ. Это не былъ казенный экзамень, и дѣти вносили свою интеллигентную, духовную лепту въ собраніе взрослыхъ, что производило впечатлѣніе полной гармоніи общаго настроенія.

Окончилось собраніе словами проповѣдника о крѣпкой организаціи вѣрующихъ, о дружной работѣ, братскихъ отношеніяхъ и истинной вѣрѣ, которая краситъ и возвышаетъ человѣка.

По выходѣ изъ собранія я былъ приглашенъ на обѣдъ въ одну изъ самыхъ большихъ хатъ, гдѣ народу собралось достаточно, — люди все почтенные, пожилые, уважаемые. Передъ трапезой, какъ и послѣ ея, кто-нибудь изъ присутствующихъ приноситъ молитву, которую, стоя, выслушиваютъ остальные.

Дѣловые, хозяйственные разговоры, японская война, печальное внутреннее положеніе Россіи, были предметами нашихъ разговоровъ. Всѣ баптисты выписываютъ и читаютъ газеты, причемъ дешевое изданіе „Биржевыхъ Вѣдомостей“ преобладаетъ, получаютъ впрочемъ и другіе органы печати. Во все мое пребываніе среди сектантовъ, какъ стариковъ, такъ и молодыхъ, я не былъ свидѣтелемъ не только какой-либо ссоры, но даже спора. Въ бесѣдахъ преобладалъ характеръ эпическій, причемъ разсказывалось не мало интереснаго, но исключительно изъ ихъ жизни.

Вечеромъ меня пригласила молодежь, которая устроила чисто-юношеское угощеніе. Была водка, въ изобиліи красное прасковьевское вино и скромная закуска. Въ молодежи я замѣтилъ нѣкоторое скептическое отношеніе къ обрядовымъ сторонамъ баптистскаго ученія.

— Зачѣмъ всѣ эти торжественные обряды?! Развѣ безъ нихъ вѣрить нельзя... Чѣмъ проще, тѣмъ лучше и искреннѣе!..

Молодежь страстно интересуется русской литературой. Соиняютъ стихи, пишутъ прозой; стихи, впрочемъ, страдаютъ

отсутствіемъ размѣра, хотя дышать искренностью и теплотой; прова односторонняя, пессимистическаго характера...

На другой день я осматривалъ колодцы. Это дѣйствительно цѣлое сооруженіе, основа и фундаментъ степной культуры, для развитія которой вода нужна въ такой же степени, какъ и воздухъ. Въ глубинѣ колодцевъ разница не большая—36, 38 и до 40 сажень, діаметръ около сажени, доставка воды, посредствомъ ворота, лошадиной или воловѣй силой. Около колодца огромная вадка и корыто для водопоя скота. Двѣ пятиведерныя бадьи медленно—одна погружается, другая тинетъ воду изъ колодца. И такъ цѣлый день; къ такой работѣ приставленъ обыкновенно наемный обществомъ человекъ. У колодца постоянно народъ, а по вечерамъ цѣлое собраніе. Въ послѣднее время, во многихъ мѣстахъ степи бурятъ артезіанскіе колодцы. Но у баптистовъ, какъ на хуторѣ Буйвола, такъ и на другихъ сосѣднихъ, колодцы простые, вырытые ими самими и замѣйте—на арендованныхъ, лишь на годовыхъ условіяхъ, земляхъ!

Посѣтилъ я и другіе хутора, которыхъ два. Первый, въ 2-хъ верстахъ, небольшой изъ 12-ти дворовъ поселокъ производитъ вполне хозяйственное впечатлѣніе; то же построеніе, такіе же серьезные, вдумчивые люди. До второго хутора, Михайловскаго, 12 верстъ вольнаго степного пути. Калмыцкіе лошади бѣшено мчали нашу легкую точанку. Хлѣбныя поля смотрѣли значительно лучше, нежели тамъ внизу, на большомъ хуторѣ. Травы были недурныя; привычно работали сѣновосилки.

Скоро и широко раскинулся хуторъ Михайловскій, всего 25 дворовъ, но зато и дворы, обширные со множествомъ хозяйственныхъ пристроекъ. Сколько скота, сколько птицы у нѣкоторыхъ хозяевъ, которые работаютъ и смѣло живутъ на краткосрочной арендѣ.

Михайловцы—не субъ-арендаторы, они арендуютъ непосредственно отъ собственниковъ станицы Михайловской. Но развѣ это не все равно? Не захочетъ по какимъ-либо соображеніямъ общество, и пожалуйста, берите свой скотъ, сельско-хозяйственные машины и отправляйтесь... Куда?—неизвѣстно.

Обстановка и жилия помѣщенія у Михайловскихъ баптистовъ—лучшія, имѣются деревянные полы; здѣсь почти всѣ выписываютъ журналы, газеты.

Вообще жизнь и положеніе баптистовъ ставропольской губ. напомнили мнѣ пословицу о пресловутомъ Николаевскомъ солдатѣ, которому „вѣкъ служить, и не выслужиться, какъ чиститься и не вычиститься“... Въ самомъ дѣлѣ: баптисты вѣкъ

строятся и не устроятся, вѣкъ работаютъ, приспособляются и... начинай... сначала!..

V.

Въ степяхъ Кара-ногайцевъ.

Опять намъ пришлось проѣзжать селеніе Прасковьевское, которое послѣ пребыванія у баптистовъ, среди ихъ небольшихъ построекъ, аккуратности, чистоты и хозяйственности, произвело неприятное впечатлѣніе неустройства, грязи и скученности. И что за хаты, что за огорожи?!.. покосившіяся, съ дырявой крышей, разбитыми стеклами оконъ, съ оторванными вѣтромъ ставнями. Да, здѣсь Русью пахнетъ православной. На дворѣ разбитая бочка, исковерканная повозка, посрединѣ навалена вуча не то навоза, не то сора,—что-то коричневое, вонючее...

— А богатые люди прасковьевцы! Сколько у нихъ земель!.. Сколько виноградниковъ!..

Въ самомъ дѣлѣ, эти православные—собственники, а тѣ—вѣчные странники! Отчего же первые дики и невѣжественны при благопріятныхъ условіяхъ, а вторые культурны при постоянно критическихъ обстоятельствахъ?!..

Широкой балкой лежалъ нашъ путь къ ногайцамъ. Сначала было жарко, и солнце палило по степному, но когда оно стало подвигаться къ западу и на хлѣбныя поля стали падать легкія тѣни, тогда хорошо было ѣхать впередъ и впередъ по мягкому, черноземному полю прасковьевскихъ крестьянъ. Въ балкѣ, которая тянется почти на сорокъ верстъ, чудный урожай и пшеницы, и ячменя, и льна... Подъ-вечеръ дышалось особенно легко. Ароматный воздухъ такъ и врывался въ легкія, которыя навстрѣчу ему ширились, захватывая сколько можно благодатной степной струи. Впередъ и впередъ!.. Ни жилья, ни хаты!.. Потемнѣла плотная зелень хлѣбовъ, на темно-синемъ небѣ заблистали, замигали звѣзды.

Проѣхали верстъ тридцать—и ни души. Правда, при самомъ началѣ изъ Прасковьевку два или три человекъ косили траву надъ горкой, а теперь мы ѣдемъ по роскошной пустынѣ.

Наконецъ, кто-то ѣдетъ навстрѣчу, послышался шумъ, позвались будто всадники.

Проѣхала арба, три ногайца верхами. Остановились, мы росили ихъ дорогу и опять двинулись той же ровной рысью.

Свѣжій воздухъ навѣвалъ дремоту, но спать не хотѣлось, а хорошо бы, еслибъ кто подъ тихую качку экипажа рассказывалъ бы о степяхъ, о кочевыхъ народахъ.

— Что это такъ пахнетъ хлѣбомъ?—спросилъ я.

— Когда ячмень созреваетъ, отъ него всегда хлѣбный запахъ.

— А чтó эти трухмены, ногайцы, сѣютъ что-нибудь и вообще занимаются хозяйствомъ?

— Теперь стали заниматься, но все больше скотоводствомъ...

— Хорошіе они люди?..

— Ничего. Ногайцы лучше трухменъ,—во-первыхъ, они промышленнѣе, а, во-вторыхъ, не такіе отчаянные трусы, какъ трухмены. Но въ общемъ и тѣ, и другіе, народъ вырождающійся.

— Не знаете, какія причины?

— Главнымъ образомъ, раннее замужество. Я говорю относительно дѣвушекъ, которыя двѣнадцати лѣтъ уже выходятъ замужъ за возмужалыхъ и богатыхъ мужчинъ. Какіе же они жены и матери!.. Не могутъ вынести, болѣютъ послѣ родовъ и рано умираютъ. Вообще у нихъ женскаго населенія меньше, нежели мужскаго... Да и народъ далеко не вѣрпкій—вотъ сами увидите. Скоро граница, и на ихъ землѣ будемъ.

— А ночевать гдѣ?

— Часа черезъ два аулъ будетъ. Забылъ только какъ онъ называется...

— Гдѣ мы остановимся?

— Во всякомъ случаѣ, „армяшка“ есть... постоянный дворъ содержитъ, торгуетъ...

Дѣйствительно, ресторанъ армянина былъ освѣщенъ, но почему, не знаю, мы завернули къ старшинѣ.

Небольшой дворъ, въ которомъ едва можно повернуться; двѣ крохотныя хаты, изъ которыхъ одну занималъ старшина, еще молодой человекъ въ халатѣ, съ припиленнымъ къ нему знакомъ.

Мы вошли въ его маленькую комнату, облеенную обоями. Столъ, на которомъ стоялъ небольшой самоваръ, зеркало на стѣнѣ, уродливая деревянная кровать, хотя оба супруга спали на полу—вотъ и вся обстановка жилища представителя администратіи.

Добродушный старшина и молодая скуластая съ черными глазами жена предложили поставить самоваръ. Мы отказались.

Старшина, съ гордостью посмотрѣвъ на обстановку своей квартиры, проговорилъ: „надо жить чисто, чище жить лучше“.

Но, Боже, какая вонь въ этой спальнѣ-комнатѣ. Мы поспѣшили удалиться, и я предпочелъ спать на дворѣ.

Аулъ Біашъ состоитъ изъ ста дворовъ (хотя и кибитокъ); осѣдлый аулъ, имѣеть три мечети и одного „армяшку“. Въ прошломъ году аулу нарѣзаны надѣлы по три поля на дворъ, сѣнокосъ и выгонъ. Земель много. Мнѣ понравился старшина. Его искренній тонъ, добродушные глаза возбуждали къ нему симпатію. Онъ спросилъ, кто я и зачѣмъ пріѣхалъ?.. „Ты братъ нашъ?“

Меня это удивило и стало любопытно. Кого собственно считаютъ кара-ногайцы-магометане братьями? Я понялъ такъ, что тѣхъ изъ христіанъ, которые ихъ не обманываютъ и не обижаютъ.

— Вотъ они, — указывалъ татаринъ на баптистовъ, — братья... Онъ братъ!

— А православные, — спросилъ я, — тѣ, прасковьевскіе?

Старшина замаялся.

— Нѣтъ, не братъ, обижалъ насъ, всегда обижалъ... Баптистъ такой, какъ нашъ... Нашъ въ дорогѣ коранъ поеть, баптистъ отъ Христа поеть, а православный... красна парня, красна дѣвка! — быстро проговорилъ послѣднюю фразу кара-ногаецъ.

Дѣйствительно, въ дорогѣ далекой, однообразной и степной пѣть надо, а то скучно, въ особенности одному ѣхать!..

Чуть начало свѣтать, на другой день мы уже тронулись въ путь. Аулъ еще спалъ, и только однѣ женщины и доили, и выгоняли на пастбу скотъ. Невеселое впечатлѣніе произвело это дикое, полукочевое населеніе.

— А колодцы у нихъ есть?

— Колодцы неглубокіе — сажени двѣ, но вода плохая. Во время холеры сколько ихъ перемерло!..

Степь раннимъ утромъ хороша. Свѣжо, тихо и бодро себя чувствуетъ человѣкъ, и легко, непринужденно обгуть отдохнувшія лошади. Я не успѣлъ хорошенько разобраться въ своихъ впечатлѣніяхъ, какъ мы миновали уже двадцать верстъ, и вдали показались деревья и основательныя постройки.

— Ставка Ачикулакъ!..

Скоро мы были на мѣстѣ, остановились у „армяшки“, чело- вѣка достаточно веселаго, у котораго нашелся и чай, и баранина, и кочлярское вино.

Мнѣ хотѣлось повидаться съ приставомъ вочевыхъ народовъ и поговорить съ нимъ о характерѣ и жизни кара-ногайцевъ. Но это оказалось не такъ легко: скорѣй снизойдетъ до бесѣды съ русскимъ журналистомъ президентъ Соединенныхъ Американскихъ Штатовъ, нежели этотъ чиновникъ изъ писарей

волостного правленія! Мое свиданіе съ этимъ господиномъ такъ любопытно и назидательно, что я остановлюсь на немъ подробнѣе.

Въ самомъ дѣлѣ, пришлось проѣхать по степямъ сотни верстъ, попасть къ дикимъ народамъ и получить отъ представителя русской администраціи приемъ, который не позволитъ себѣ сдѣлать ни одинъ татаринъ!

Было рано, часовъ семь, и армянинъ сказалъ, что приставъ еще спитъ, но письмоводитель уже всталъ. Пойдемъ пока къ письмоводителю, который, можетъ быть, что-нибудь расскажетъ.

Скоро нашли его квартиру и слугу-ногайца. „Онъ еще не вставалъ, но я его разбуду,—самоваръ готовъ“,—сказалъ послѣдній.

Я далъ ему визитную карточку и мы сѣли на бревнышко у воротъ. Вышелъ толстый человѣкъ, прошелъ мимо насъ черезъ дворъ и снова вернулся въ домъ. Ждемъ. Но вотъ бѣжитъ камердинеръ, несетъ назадъ мою карточку и говоритъ: „идите къ приставу!“

Что такое? Можетъ быть, онъ принимаетъ насъ за просителей? Я написалъ на карточкѣ, не можетъ ли онъ удѣлить нѣсколько минутъ для бесѣды? Опять слуга и опять обратно карточка, значитъ—принять не желаетъ. Отправляемся не спѣша къ приставу. Проходимъ мимо калмыцкой кибитки,—одинъ калмыкъ чинитъ кабую-то часть костюма, другой что-то варитъ.

Внутри кибитки стоитъ комодъ, на немъ посуда, коробка съ сахаромъ, а въ другомъ углу кошмы, сундукъ и подушка. Ничего, довольно чистая и просторная комната. Эти калмыки смотрятъ и пасутъ племенной заводскій скотъ, прибрѣтенный на ногайскія деньги для улучшенія мѣстной ногайской породы. Мѣстные лошади дѣйствительно слабосильны и тощи.

Отправились дальше.

Въ широко раскинувшейся ставкѣ каменные, казенныя зданія канцеляріи, квартиры пристава, и т. д. Садъ по рѣчкѣ Горькой съ соленой водой представляетъ довольно печальную картину: жалкія яблони, худосочный ясень и кленъ плохо растутъ на солонцеватой почвѣ.

Походили, погуляли—интереснаго мало.—Было около девяти часовъ, когда мы рѣшили побезпокоить особу пристава кочевыхъ народовъ. Подходя къ его квартирѣ, мы услышали зычный голосъ человѣка, власть имѣющаго и кого-то распевающаго. Что-жъ? Это въ порядкѣ вещей: гдѣ гнѣвъ—тамъ и милость! Подошли. Приставъ и его семейство на террасѣ кушали чай. Я отрекомендовался русскимъ журналистомъ, подавъ ему свою карточку.

— Что же вамъ угодно? — спросилъ меня довольно строго приставъ кочевыхъ народовъ.

— Хотѣлъ бы побесѣдовать съ вами, получить кое-какія свѣдѣнія...

— А вы „бумагу“ имѣете?

— Какую „бумагу“?! У меня есть редакціонныя удостовѣренія, по которымъ вы изволите увидѣть, что я имѣю честь принадлежать къ сословію русскихъ журналистовъ.

Я показалъ ему это удостовѣреніе.

— Это для меня ничего не значить, — продолжалъ приставъ, просматривая карточки... Даже на нѣмецкомъ языкѣ, — прибавилъ онъ, усмѣхаясь...

— Извините, на французскомъ, — поправилъ я чиновника.

— Казеннаго удостовѣренія нѣтъ?..

У меня мелькнула мысль.

— Я вамъ могу показать бумагу бывшаго министра земледѣлія А. Е. Ермолова на производство разслѣдованія крестьянскаго хозяйства черноморской губерніи въ прошломъ году...

— Это не подойдетъ... покажите мнѣ отъ настоящаго министра и на нынѣшній годъ — тогда я съ вами буду разговаривать.

Что тутъ дѣлать? Мы стояли другъ передъ другомъ. Вѣжливый приставъ не предложилъ даже мнѣ сѣсть. Впрочемъ, можетъ быть, у кочевыхъ народовъ это не принято... Но нѣтъ, и я вспомнилъ добродушную, милую фигуру „брата“, старшины аула Біашъ.

— Позвольте, — настаивалъ я, — никакими канцелярскими тайнами я не интересуюсь, мнѣ бы хотѣлось знать ваше мнѣніе о способности къ культурѣ кочевыхъ народовъ, о ихъ современномъ экономическомъ положеніи, характерѣ народа. Русское общество вообще интересуется своей родиной, а у васъ, вѣроятно, не было ни одного литератора...

— Въ первый разъ дѣйствительно вижу.

Оставалось только уйти, что я и сдѣлалъ немедленно и быстро.

— Поѣдемъ сейчасъ отсюда! — сказалъ я баптисту, который отъ злости и недоумѣнія даже не могъ говорить. Дѣйствительно, онъ былъ свидѣтелемъ, какъ предупредительно и вѣжливо меня принимала ставропольская администрація, исправники и проч., а тутъ, изволите видѣть!.. и говорить не хочетъ...

— Да, вѣдь, онъ дикій, — утѣшилъ я спутника, и мы порѣшили выѣхать изъ Ачикулака.

Потомъ пришлось прибѣгнуть въ памятной книгѣ Ставропольской губерніи за 1904 г. Скучна, очень скучна свѣдѣніями (всякими) эта книга, торжественно заявляющая, что ставропольская губернія не изслѣдована и не изучена. Печальная книга!.. Нѣмой, но опредѣленный упрекъ администраціи въ полной ея неосвѣдомленности, что дѣлается подъ носомъ, и чѣмъ собственно она управляетъ и чѣмъ хозяйствуетъ!..

Площадь губерніи содержитъ 47.716 квадратныхъ верстъ или 4.970.426 десятинъ, причѣмъ осѣдлое русское населеніе занимаетъ 3.678.624, т.-е. 74⁰/₀ пространства и 1.291.802 десят., или 26⁰/₀ всей площади приходится на инородческое населеніе. Это инородческое населеніе состоитъ изъ Большедербетовскаго улуса калмыковъ, занимающихъ территорію пограничную съ землей войска донскихъ казаковъ. Всего калмыковъ 8.571, другихъ народностей (какихъ? не объяснено) 3.185, итого 11.574 человекъ. Осѣдлыхъ трухменъ, живущихъ въ аулахъ, 11.360, а кочующихъ и пришлаго (какого?) населенія 6.546, а всего, что значится подъ графой трухменскихъ народовъ, 17.886. Земли кочующихъ кара-ногайцевъ протянулись въ Каспійскому морю и занимаютъ самую большую площадь среди кочевыхъ народовъ. Осѣдлаго въ аулахъ населенія 6.840, а кочующаго и посторонняго населенія 10.243.

Такимъ образомъ, по памятной книгѣ ставропольской губерніи мы не можемъ утвердительно сказать: сколько именно кочевого инородческаго населенія въ данное время находится въ губерніи, и что такое за элементъ, значащійся вмѣстѣ съ кочевниками подъ именемъ: а) другихъ народностей, б) пришлаго населенія и с) посторонняго? Однимъ словомъ, горе-статистика!

Теперь будемъ продолжать путь и въ то время, когда мы уже знойной степью двигаемся въ Накусъ-аулу, я разскажу маленькій эпизодъ.

Живу я на черноморскомъ побережьѣ, гдѣ рыбной ловлей занимаются до сихъ поръ малоазіатскіе турки, приходящіе на побережье на фелюгахъ и со своими рыболовными принадлежностями. Эти турки — настоящіе моряки, превосходные рыбаки и очень хорошіе прямые и честные люди. Среди нихъ у меня есть знакомые, которые посѣщаютъ меня, какъ гости. Я люблю бесѣдовать съ этими простыми мужественными рыбаками. Между нами часто рѣчь заходила о вопросахъ религіозныхъ, и я говорилъ: „у насъ Богъ одинъ, но пророки разные. Неужели Богъ создалъ насъ, русскихъ и турокъ для горя и страданія, для войны и разныхъ бѣдствій?! Развѣ мы, христіане и мусульмане,

не можемъ, мирно работая, трудами помогать другъ другу?“ Такія и другія разсужденія, мы вели съ турками, и тѣ не возражали, а, какъ мнѣ казалось, молча соглашались со мной.

Въ самый день моего отъѣзда въ ставропольскую губернію пришелъ ко мнѣ одинъ изъ нихъ болѣе развитой и авторитетный.

— Куда ѣдешь?—спросилъ онъ.

Я отвѣтилъ.

— Зачѣмъ?

— Посмотрѣть, какъ живутъ тамъ люди, русскіе, сектанты, магометане...

— А развѣ наши тамъ есть?

— Да, трухмены, кара-ногайцы.

Мой турокъ полѣвъ въ карманъ и, вынувъ небольшую въ довольно изящномъ переплетѣ брошюру на турецкомъ языкѣ, подаль ее мнѣ со словами: „отдай тѣмъ, куда ѣдешь—большой почетъ будетъ!“ Я спросилъ, что въ книгѣ напечатано?

— Все то, что ты говорилъ, все въ книгѣ есть, и Христось, и Магометъ!

Нашъ путь теперь былъ въ колонію нѣмцевъ-менонитовъ, но дороги мы хорошо не знали, да, впрочемъ, ея и не было,—мы надѣялись на указанія. Когда подѣвжали къ Нокусъ-аулу, я рѣшилъ отдать книгу, полученную отъ турка.

Остановились среди селенія и попросили позвать муллу, который охотно и спѣшно подошелъ къ экипажу. Поздоровались. Подали ему книгу; я спросилъ, что за книга? Мулла сталъ читать вслухъ, человекъ десять ногайцевъ внимательно слѣдили за чтеніемъ.

— Твоя книжка,—сказалъ мулла,—Христось тамъ...

— Ну, давай обратно, если моя...

— Постой, постой!—и онъ сталъ опять читать. Оживленіе среди слушавшихъ увеличивалось, подходили еще поселяне.

— Наша книга,—продолжалъ чтець,—Магометъ, пророкъ нашъ... Гдѣ взялъ такая книга?..

— Пріятели турки дали.

— Гдѣ ты живешь?.. Отдай намъ книга... Тебѣ зачѣмъ?.. Это наша книга... Иди, иди, отдыхай!.. нашъ гость будешь...

Я, конечно, подарилъ муллѣ книгу, и онъ попросилъ записать свою фамилію и адресъ, говоря, что они пріѣдутъ ко мнѣ въ гости. Любезности и угощенія не было предѣловъ: добродушные кара-ногайцы ничѣмъ не напоминали своего пристава, про котораго я отъ нихъ узналъ не мало интереснаго; между прочимъ, они жаловались, что бѣднымъ не даютъ для случки казенныхъ бугаевъ и жеребцовъ.

На что бѣдному?..—можетъ и на плохихъ лошадяхъ ѣздить и держать слабую скотину. Но мы спѣшили и, прощаясь, просили указать дорогу. Наши новые знакомцы были такъ привѣтливы, что дали намъ проводника, который проводилъ насъ до „двухъ бороздъ“. Такъ называется степная тропа. Мы ѣхали хлѣбными полями; было жарко, знойно, хотѣлось пить, но до колодцавъ было далеко.

Томительно однообразная дорога, ни жилища, ни постройки, ни деревца—степь да степь, куда ни взглянешь—одинъ горизонтъ!..

Я думалъ: пройдутъ года, исчезнуть трухменскіе и кара-ногайскіе народы, и когда-то вольныя, кочевыя степи, станутъ культурными, если... если займутъ ихъ сектанты. Вырожденіе, какъ я узналъ послѣ, идетъ довольно быстрыми шагами и въ большей прогрессіи среди трухменъ, нежели кара-ногайцевъ.

Утомляясь лошади, но все-таки бѣгутъ рысью. Какая дивная порода черкесская!..

Скучно и томительно!

Но вотъ что-то показалось близъ самой дороги,—шалашъ не шалашъ, хата не хата. Когда подѣхали ближе, то увидали съ верхомъ большую повозку, около которой паслись кони, а въ тѣни ея сидѣли загорѣлые, сильные люди и что-то хлебаи изъ деревянной чашки.

— Здравствуйте! Что кушаете?—спросилъ я.

— Кирпичный чай,—отвѣчали крестьяне,—милости просимъ.

Я съ наслажденіемъ пилъ посредствомъ деревянной ложки горячій, оригинальный напитокъ и понималъ его степное значеніе, въ особенности тамъ, гдѣ воду au naturel пить невозможно.

— Когда же ты намъ свою землю отдашь?—спросили меня ховяева чай.

— Какая же у меня земля,—всего 800 квадратовъ.

— Ну, этого мало. А кто же ты будешь и зачѣмъ сюда заѣхалъ? Купецъ, что-ли?

— Я писатель... книги сочиняю, понимаете?..

— И объ насъ пишешь?

— Пишу.

— Ты самъ откуда же?

— Изъ Петербурга.

— Вонъ откуда!.. Ну, братъ, похлопочи объ насъ, о мужикахъ тамъ, замолви слово большимъ чиновникамъ. Пусть помогутъ нашему брату. Тогда въ Петербургѣ самый лучшій и дешевый хлѣбъ будетъ!..

Я усмѣхнулся на такую наивную просьбу.

— Да ты не смѣйся, правду говоримъ. Трудно стало!.. Драли двѣ шкуры, а теперь третью деруть... мужику и то не вынести! Похлопочи, братъ, а то сами придемъ въ Петербургъ!..

— Откуда же вы ѣдете?

— Къ Каспiю сѣно косить ѣздили, а сѣно-то все погорѣло... вотъ назадъ и тянемъ...

— А сами ставропольскіе?..

— Тутюшніе, давно живемъ и земли ждемъ...

Въ этотъ день это была послѣдняя встрѣча въ пути. Проѣхали еще версть тридцать и уже вечеромъ были въ колоніяхъ нѣмцевъ—Ольгинѣ и Романовѣхъ.

VI.

Нѣмцы-колонисты и баптисты-собственники.

Мы остановились у старшины А. А. Шмидта, который принялъ насъ вѣжливо и, какъ свойственно нѣмцу — выдержанно.

— Я — журналистъ и пріѣхалъ сюда познакомиться съ вашимъ хозяйствомъ. Могу рассчитывать на вашу любезность?

— О, мы покажемъ всю нашу культуру.

— Давно живете здѣсь?

— Вотъ уже десять лѣтъ, какъ мы начали работать въ степяхъ.

— И довольны результатами?..

Старшина усмѣхнулся довольной улыбкой.

— Признаться, мы не ожидали, что такъ пойдетъ, главное—винодѣліе...

— Много васъ колонистовъ?

— Въ Ольгинѣ тридцать дворовъ, въ Романовѣхъ сорокпять; послѣдній хуторъ въ двухъ верстахъ, сейчасъ же за лѣсомъ.

Начну съ общаго впечатлѣнія, которое производитъ колонія Ольгино. Впечатлѣніе особенное, совершенно не степного характера. Въ самомъ дѣлѣ, послѣ ауловъ, хуторовъ, степныхъ, однообразныхъ русскихъ селеній, нѣмецкія колоніи поражаютъ богатствомъ зелени: просторные, чистые дома—утопаютъ среди фруктовыхъ деревьевъ, окружающихъ уютныя жилища, около

которыхъ раздѣланы пестрые цвѣтники. Широкая улица, нѣчто вродѣ тротуара, прекрасные огороды, сквозь которые съ улицы можно любоваться садами...

Да, хорошо у нѣмцевъ! Сразу видишь и чувствуешь, что умѣлая рука производила здѣсь обдуманную, строгую работу, Ничего „на авось“—все рассчитано, введено въ систему.

Колодцы здѣсь такіе же глубокіе, какъ у балтистовъ, — до 40 сажень.

Колонисты-менониты въ 1895 году надѣлены землей въ постоянное безсрочное подворное пользованіе въ размѣрѣ по шести-десяти десятинъ на семью или дворъ.

Въ условіе таковаго пользованія, имъ поставлены слѣдующія обязательства, которыя нѣмцами уже выполнены точно въ десяти-лѣтній срокъ, а именно: заложить по двѣ десятины на каждый дворъ виноградниковъ, посадить фруктовыхъ садовъ по одной десятинѣ и наконецъ развести по двѣ десятины смѣшаннымъ лѣсомъ дубъ, кленъ, ясень и проч.

Вся эта культура исполнена и притомъ блестящимъ образомъ. Я уже упоминалъ, что десятина фруктоваго сада расположена около каждаго дома члена колоніи. Сзади усадебныхъ мѣстъ идутъ виноградники, а затѣмъ хлѣбныя поля. Все правильно, ровно, удобно, потому что близко. Мы подробно осматривали сначала виноградники.

Стройно, аккуратно, какъ солдаты во фронтѣ, растутъ вусты подѣ тщательнымъ уходомъ опытныхъ нѣмцевъ.

- Какіе сорта винограда культивируете?
- Кoberне, пиво и рисшагъ...
- Въ среднемъ, какой урожай?
- Приблизительно четыреста ведеръ съ десятины.
- И хорошее вино?
- А вотъ попробуйте.

Вино, особенно коберне, превосходное, нѣсколько оригинальное по букету и вкусу, но густое и вѣршкое вино. Такія натуральныя и прекрасныя вина нѣмцы продаютъ по три рубля ведро, что очень дешево. Я никакъ не ожидалъ встрѣтить въ степи такого выдержаннаго, пріятнаго коберне.

Осмотрѣли хлѣбныя поля. Урожай пшеницы просто изумительный.

- Землю не навозите?
- Нѣтъ, только двоимъ.—Старшина усмѣхнулся и продолжалъ:—Русскіе про насъ говорятъ, что мы съ чортомъ въ дружбѣ состоимъ, и что онъ у насъ въ землѣ сидитъ! Пусть думаютъ!..

Хорошая, неспѣшная обработка пашни есть уже залогъ урожая. А вѣдь хороши хлѣба?

Дѣйствительно, мы стояли передъ плотной, густой стѣной пшеницы, и мнѣ казалось, что сдѣлай шагъ, два, и на третьемъ, пожалуй, остановишься среди сильной густоты стеблей съ пышными, тяжелыми колосьями.

Огороды у колонистовъ прекрасны. Коровы и лошади содержатся, какъ въ отношеніи помѣщенія, такъ и кормовъ, совершенно правильно. Коровы молочныя, лошади сильныя. Во дворахъ много имѣется птицы.

Въ колоніи Ольгинѣ помѣщаются волостное правленіе и двухклассное училище министерства народнаго просвѣщенія, а также общественная лавка, мельница и проч. Сельско-хозяйственное товарищество „Фромъ“ въ с. Ольгиномъ содѣйствуетъ мѣстнымъ сельскимъ хозяевамъ въ пріобрѣтеніи необходимыхъ предметовъ, а также принимаетъ участіе въ выгодномъ сбытѣ произведеній ихъ хозяйствъ, какъ въ сыромъ, такъ и обработанномъ видѣ. Кромѣ того, товарищество выдаетъ ссуды подѣ обезпеченіе товарами, принятыми на комиссію для продажи отъ мѣстныхъ хозяевъ, а также получаетъ ссуды подѣ тѣ же товары за счетъ и по порученію товаровладѣльцевъ изъ разнаго рода кредитныхъ учрежденій и исполняетъ разнаго рода порученія „сельскихъ хозяевъ, относящихся до ихъ промысла“.

Чего только нѣтъ въ лавкѣ и складахъ товарищества: земледѣльческія машины, мануфактура и проч.—однимъ словомъ, все нужное для обихода, хозяйства и жизни, все найдетъ покупатель въ Ольгинѣ—и въ городъ ѣздить не надо!

И учатся, но, къ сожалѣнію, не православные, а сектанты!

Старшина А. А. Шмидтъ познакомилъ меня съ многими членами колоніи, изъ которыхъ трое—съ высшимъ образованіемъ.

— По русскимъ законамъ,—замѣтилъ старшина,—лица съ высшимъ образованіемъ должны покидать податное сословіе и выходить изъ общества. Но мы и они этого не желаемъ. Въ самомъ дѣлѣ они и учились для общества и его пользы,—и вдругъ, пожалуйста вонъ!..

Вѣрный, правильный взглядъ, до котораго, когда мы доживемъ, русскіе!

Въ этомъ же дворѣ, гдѣ помѣщаются склады товарищества, находятся и подвалы, гдѣ хранится вино. Мы провели остатокъ дня за большимъ столомъ, за стаканами вина въ дружеской бесѣдѣ. Нѣмцы—люди освѣдомленные по русской литературѣ, они выписываютъ серьезные, изъ Петербурга, газеты и журналы.

Было очень пріятно провести время въ такой компаніи образованныхъ, но простыхъ сельскихъ труженниковъ.

— Вотъ вы, менониты, — спрашивалъ я, — люди — противъ войны, оружія, а какъ же относительно воинской повинности?

— Мы отбываемъ работой... Насъ берутъ въ казенные сады, занимаемся при виноградьяхъ, отработываемъ свой срокъ...

— Въ общемъ, ваше положеніе недурно и даже совсѣмъ хорошо... Какъ къ вамъ относятся русскіе крестьяне?

— Тѣ, которые знаютъ насъ, имѣютъ дѣла, тѣ относятся хорошо и дружелюбно, но другіе, дальніе, недовѣрчивы!.. Мы все-таки нѣмцы!.. не-православные!..

Но спасибо такимъ нѣмцамъ, которые на опытѣ, какъ дважды два — четыре, показали, на что способна степная ставропольская губернія и какія сельско-хозяйственныя культуры производить можетъ. Ольгино и Романовку смѣло можно назвать образцовыми хозяйствами.

— Русскіе надъ нами смѣялись, когда мы выкладывали виноградники на возвышенности, а теперь не смѣются, — замѣтилъ старшина, — стали внимательно присматриваться... Мы никому не отказывали въ помощи и добромъ совѣтѣ... Милости просимъ!..

Послѣ обильнаго и сытнаго ужина мы, несмотря на просьбы погостить еще, рѣшились направиться за 14 верстъ, въ сел. Никольское, гдѣ живутъ собственники-балтисты.

Передъ отъѣздомъ колонисты не совѣтовали ѣхать, какъ я думалъ, на Прохладную станцію Владикавказской желѣзной дороги, гдѣ, близъ станціи у рѣки Терекъ, грабятъ горцы, ингуши.

— Отъ разбоевъ тамъ житья нѣтъ... — говорили нѣмцы. — Землевладѣльцы бросаютъ земли и уходятъ, — нѣтъ возможности не только хозяйствовать, но жить... Наши, нѣмцы... еще держатся, но какъ!? Ужасно!.. Въ нашей колоніи на Терекѣ, Нанденбургѣ, каждую ночь 20 человекъ колонистовъ вооруженныхъ стерегутъ жилища и людей, да еще 25 казаковъ съ офицеромъ... Вотъ какое житье по Кавказу!..

Послѣ я узналъ, что по Тереку дѣйствительно грабятъ и совершенно свободно разбойничаютъ.

Мнѣ называли фамиліи богатыхъ крестьянъ, ограбленныхъ около Прохладной ингушами.

Эти ингуши, вообще разбойники по характеру и привычкамъ, не только грабятъ, но и издѣваются надъ своими жертвами. Остановятъ, оберутъ деньги, вещи, которыя понравятся, и затѣмъ, взявъ въ руки нагайки, заставляютъ плясать. Несчастнѣй,

въ страхѣ, танцуетъ, а довольные грабители подстегиваютъ плетми невольнаго танцора...

И нѣтъ управы!.. Отчего кавказскихъ разбойниковъ, разныхъ ингушей, лезгинъ, не переселить мелкими партіями хотя бы на Уральскія горы?! Тамъ бы они не были страшны, а на ихъ прекрасныя, плодородныя мѣста посадить уральскихъ казаковъ или крестьянъ. По моему, это единственный исходъ борьбы съ разбойными племенами Кавказа, съ людьми, которые не хотятъ жить трудомъ!..

Селеніе Никольское состоитъ изъ 130 дворовъ баптистовъ. Земля—купленная у частнаго владѣльца, землевладѣніе общественное, выпасъ общій, покосъ—тоже, запахиваютъ землю съ плуга, причѣмъ тотъ имѣетъ право на большую запашку, кто при покупке внесъ больше денегъ.

Хлѣба у нихъ прекрасныя; какъ и нѣмцы, баптисты ввели у себя черныи паръ, т.-е. двоеніе.

Несомнѣнно образцовое хозяйство нѣмцевъ имѣло сильное вліяніе на организацію сельско-хозяйственнаго дѣла въ селѣ Никольскомъ, гдѣ замѣчается стремленіе къ высшимъ культурамъ. Заведены, по-нѣмецки, виноградники и фруктовыя насажденія.

Воловъ въ работахъ баптисты не употребляютъ, пользуясь лошадьми, которыя не хуже нѣмецкихъ, какъ и коровы.

Лошадей въ каждомъ дворѣ по двѣ пары, преимущественно породы черкесской; коровъ, въ среднемъ, по четыре на дворъ.

Хорошо живутъ баптисты, дружно и зажиточно. Молочныхъ продуктовъ обиліе, хлѣбъ свой отъ посѣва до посѣва, много птицы, въ жилищахъ чистота, аккуратность и стремленіе къ нѣкоторому комфорту. Всѣ грамотны, выписываютъ газеты.

Я провелъ цѣлый день въ Никольскомъ, и не могу до сихъ поръ забыть тотъ привѣтъ и ту любезность, которую мнѣ оказывали эти простые, искренніе люди; фальши не было никакой—все откровенно и именно по-христіански.

Никольское стоитъ при рѣчкѣ Горькой и озерѣ того же названія. Вода не пригодна для употребленія. Въ настоящее время копаютъ артезіанскій колодезь, и работа подходитъ къ концу.

Между прочимъ, я слышался отъ баптистовъ о цѣлительныхъ свойствахъ Горькаго озера.

Говорятъ, что имѣющіе разныя навозныя заболѣванія, сыпи и проч., послѣ двухъ, трехъ разъ купанья выздоравливаютъ совершенно. Озеро стало поэтому популярнымъ, и много простого народа прїѣзжаютъ сюда лечиться. Я взялъ съ собою бутылку

воды изъ озера, и въ Кисловодскѣ отдалъ въ лабораторію для анализа, сообщивъ подробно мѣсто нахождения озера.

Я купался въ этомъ озерѣ, дно котораго состоитъ изъ ила, вода на вкусъ горькая и довольно непріятная.

Когда мы шли отъ озера, то встрѣтили православнаго священника, и на мой вопросъ, каковаго онъ прихода, мнѣ отвѣчали, что священникъ здѣшній, сел. Никольскаго.

Оказалось, что этотъ священникъ, купившій у одного изъ баптистовъ небольшой кусокъ земли около самаго селенія, устроилъ сначала церковно-приходскую школу, а затѣмъ—и церковь. Это—въ сплошномъ селеніи баптистовъ. И что же? Въ училищѣ никто не учится, въ церковь не ходятъ.

Развѣ не рациональнѣе было бы затратить деньги болѣе производительно, а именно: построить и школу, и церковь въ православномъ селеніи или ближайшемъ окружномъ хуторѣ!

Теперь я остановлюсь на отбываніи воинской повинности въ ставропольской губерніи, гдѣ, какъ мы видѣли, населеніе разнообразное, какъ по племенному различію, такъ и по вѣроисповѣданію.

Мы знаемъ, какъ отбываютъ воинскую повинность менониты. Кочующіе народы,—ногайцы, трухмены и калмыки—тоже освобождены отъ этой натуральной повинности, или платятъ за воинскую повинность отъ каждой вибитки, и отъ головы скота также уплачиваютъ государству.

Относительно „рекрутчины“ у православныхъ, намъ извѣстно. Но вотъ, что касается баптистовъ,—дѣло состоитъ въ исключительномъ положеніи. У баптистовъ въ настоящее время почти всѣ взрослые сыновья находятся на войнѣ или отбываютъ повинность натурой внутри Россіи. Берутъ каждаго взрослога септанта на глазъ, по невѣстной метрицѣ и другихъ бумагъ, которыя признавались администраціей.

Я обратилъ вниманіе на нѣкоторые факты.

Въ с. Никольскомъ, у вдовы Великохарькова молодой сынъ-мальчикъ находится при ней, а двое взрослыхъ сыновей служатъ. Положеніе ея, старой женщины, трудное.

— Какъ подростеть, возьмутъ и меньшого, — увѣренно говоритъ женщина.

У Сологуба двое сыновей служатъ, а третій сидитъ въ тюрьмѣ за просрочку, которую онъ сдѣлалъ, при призывѣ на службу.

На „Буйволѣ“ у Ивана Гаврилова четыре сына, изъ которыхъ одинъ отслужилъ свой срокъ, два другіе служатъ въ настоящее время, а четвертый еще малолѣтній.

Однимъ словомъ, у баптистовъ, повидимому, воинскую повинность отбываютъ всѣ дѣти мужского пола, что отзывается на экономическомъ состояніи семействъ сектантовъ довольно печально, если къ тому же прибавить ихъ невыносимое положеніе въ земельномъ и общественномъ отношеніи. Это—волы, съ которыхъ деруть не менѣе полудюжины шкуръ, волы терпѣливые, какъ само терпѣніе.

Да, терпѣніемъ Богъ не обидѣлъ русскихъ людей. „Терпи казакъ, атаманомъ будешь“, говоритъ одна пословица, а другая остроумно прибавляетъ: „улита ѣдетъ, но когда-то будетъ“...

Недалеко отъ Никольскаго находятся казенные добрые участки земель, сдающихся въ аренду и притомъ на шесть лѣтъ. Тутъ же неподалеку, въ Соломенскомъ, въ ожиданіи земли уже 12 лѣтъ живутъ 370 семей русскихъ мужиковъ, которые, мнѣ кажется, имѣютъ нѣкоторые права—хотя бы на аренду?!

Но ничего подобнаго не кажется и не думается гг. чиновникамъ министерства земледѣлія, которые 20.000 десятинъ, по участкамъ въ 1.000 десятинъ каждый, сдали богатому кулаку Б., который и блаженствуетъ на глазахъ у безземельныхъ, чающихъ получить кормилицу, уже 12, а то и болѣе лѣтъ!..

Это между прочимъ, но вообще едва-ли другая губернія нуждается въ земельной и земской организаціи больше, нежели богатая ставропольская. И своеобразная красота и сила земли, и даль, и ширь—все тѣмъ богаты и крѣпки черноземныя степи, все дала природа!

Когда мы возвращались черезъ Воронцовку на ст. Незлобную былъ вечеръ, и великанъ Эльборусъ выступалъ въ своемъ серебряномъ панцырѣ надъ разнообразными облаками, которыя неслись къ намъ въ степи, мѣняя свои причудливыя фигуры. Вотъ медвѣдь въ движеніи, вотъ рельефная фигура молящагося чело-вѣка, направо еще и еще облака, среди которыхъ, какъ живая, гигантская фигура женщины съ простертыми къ Шанчъ-горѣ руками и съ распущенной косой. Опять образы, еще и еще, новые, мѣняющіеся... А степи?.. Просторъ и воля! богатство, привольное, удивительное!..

Я кончилъ мои бѣглыя замѣтки и буду доволенъ, если заинтересовалъ немного читателя нашей далекой степной окраиной сѣвернаго Кавказа. Официальныхъ свѣдѣній о краѣ нѣтъ, нѣтъ издѣваній, и это не предвидится, повидимому, въ близкомъ будущемъ. Въ „Памятной книгѣ“ мы читаемъ: въ „климатическомъ

отношеніи ставропольская губернія представляется совершенно неизученной. Далѣе, переходя къ характеристикѣ производительности и разнообразію почвъ губерніи, необходимо оговориться, что за отсутствіемъ специальныхъ изслѣдованій въ указанномъ направленіи "... и т. д.

Величина душевыхъ надѣловъ государственныхъ крестьянъ въ среднемъ 7—8 дес. на мужскую душу, надѣлы же бывшихъ помѣщичьихъ отъ 2 до 5 дес. на душу. Скотоводство, средн коренного крестьянскаго населенія выражается 55⁰/₀, а у иногороднихъ составляетъ 3⁰/₀, частнымъ владѣльцамъ принадлежитъ 25⁰/₀, арендаторамъ на земляхъ кочующихъ народовъ 9⁰/₀, иногородцамъ 7⁰/₀ и городскимъ жителямъ 1⁰/₀.

Овцеводствомъ занимаются молokane, которые извѣстны въ ставропольской губерніи подъ именемъ тавричанъ. Они привели съ собой мериносовыхъ овецъ. Занимаются они также разведеніемъ краснаго калмыцкаго скота. Живутъ тавричане хуторами, народъ они довольно коммерческой, ничего общаго съ баптистами не имѣющій.

Цифры, довольно почтенныя, свидѣтельствуютъ о высокомъ производствѣ зерновыхъ продуктовъ, а главное—пшеницы.

Что касается виноградарства, то въ рациональномъ отношеніи оно дѣлаетъ первые шаги. Общая площадь виноградниковъ—3.200 дес., причемъ на прасковьевскій уѣздъ приходится 2.800 десятинъ, но мы, уже говорили, какое вино „прасковьевское“!.. Невозможное состояніе дорогъ по степи, недостатокъ подвижнаго состава Владикавказской дороги—все это вредно отражается на реализаціи урожая.

Изъ всего, сказаннаго нами, необходимость организаціи земскихъ учреждений въ этой мѣстности ясна совершенно, и земство при самомъ своемъ возникновеніи, надѣмся, прибѣгнетъ къ точному и систематическому изслѣдованію этой степной губерніи, которое мѣстному самоуправленію дастъ живыя, фактическія данныя, могущія служить стимуломъ экономическаго управленія губерніей съ тѣмъ, чтобы поставить ховяйство такъ, какъ требуютъ этого мѣстныя обстоятельства и земледѣльческая культура.

С. Васюковъ.

„ОГНЕННОЕ КРЕЩЕНИЕ“

РАЗСКАЗЫ И ОЦЕНКИ ИЗ ОЧЕНЬ НЕДАВНЯГО ПРОШЛАГО.

I.

... На ближайшемъ собраніи „Союза русскаго народа“, послѣ ряда рѣчей, Иванъ Кожевниковъ произнесъ свою первую рѣчь. Она была довольно нескладна, прерывиста, но поразила даже привычныхъ слушателей своею страстностью, разгуломъ злобнаго настроенія, отчаяннымъ призывомъ къ „уничтоженію враговъ родной земли“.

Кожевникова почтили аплодисментами и криками:

— Правильно! Въ самую точку! Чевань ихъ, бѣсовыхъ дѣтей!

И Кожевниковъ, еще впервые слышавшій по своему адресу бурныя выраженіе одобренія толпы, чуть не заплакалъ отъ жгучаго пріятнаго самоупоенія и патріотическаго восторга...

— За царя-батюшку животь положимъ! Положимъ животь свой за царя и за родную матушку-землю!—крикнулъ онъ уже нѣсколько осипшимъ голосомъ, потрясая большимъ моволистымъ кулакомъ, и сошелъ съ досчатой, скрипучей эстрады—красный, взволнованный, счастливый.

Когда онъ пришелъ домой, въ маленькую, грязную, сырую комнату,—тотчасъ-же почти заспорилъ съ своимъ свободомыслящимъ сожителемъ Семеновымъ. Они пили чай, аппетитно, чашку за чашкой, вытирая со лба потъ рукавами заношенныхъ ситцевыхъ рубахъ. Прихлебывая съ блюдечка, Кожевниковъ ворчливо толковалъ:

— По настоящему... должно бить... такихъ, какъ, примѣрно, ты... Слыхалъ?

— А что я сдѣлалъ тебѣ, али кому?—спросилъ Семеновъ. Кожевниковъ лукаво и вмѣстѣ злобно прищурилъ свои маленькіе сѣрые глаза.

— Ничего не сдѣлалъ... вѣрно!.. Но подожди, голубь, пройдетъ малое время, и ты... по той-же дорожкѣ пойдешь...

— Больно ужъ много желательно тебѣ народу перебить... Не подавись, Аника-воинъ... беспортошный, прости Господи!

— А чтожь, много!—вдругъ кривнулъ Кожевниковъ, стави недопитое блюдечко на столъ.—Ну, а ежели это самое нужно для будущихъ временъ? Земля кровью держится! Такъ жизнь сложена... Все идетъ чрезъ эту самую кровицу! Калачики-съ не даромъ ѣдятъ...

— Кровь... ну, хорошо... Но вызываетъ она новую кровь. А когда конецъ?

— Конецъ положится силой.

Семеновъ ничего не отвѣтилъ, только рукой махнулъ.

— Не махай... ненарокомъ промахнешься, — сказалъ Кожевниковъ.—А ты погоди,—вдругъ оживленно заговорилъ онъ, вставая, — ты вотъ толкуешь о крови... А сами-то вы не убиваете?!

— Ну, это ты оставь! Я никого еще убивать не собирался, да и не собираюсь... А ежели ты про тѣхъ-то, про разныхъ тамъ генераловъ... такъ...

— Что такъ?—нетерпѣливо спросилъ Кожевниковъ.

— Ничего...

— Нѣтъ ужъ, замахнулся—такъ ударь!

— Ладно!—вышелъ изъ себя Семеновъ. — Хочу я сказать: можешь меня понимать, такъ понимай, а не можешь,—какъ хошь...

— Та-акъ...—насмѣшливо и зло протянулъ Кожевниковъ.

— Да, и такъ! — кривнулъ уже виѣ себя Семеновъ. — Чортовы дѣти!.. за слово вы готовы утопить человѣка! Да, нечего зенки-то паялить... Тоже—мы-ста! Еще и году нѣтъ, какъ изъ деревни пріѣхалъ, а ужъ... Зенки-то бы свои сначала продралъ хорошевько, да посмотрѣлъ округъ себя... Больно, вишь, тебя на фабригѣ-то закормили, что *изъ* руку тянешь!..

— Не знаемъ мы, поди, чью руку вы тянете?—язвительно сказалъ Кожевниковъ, снова прищуривая злые глаза.—Эхъ вы, жидовскіе прихвостни!

Они частенько такъ препирались, укрѣпляясь каждый въ своихъ противоположныхъ взглядахъ.

Семеновъ по самой своей натурѣ былъ мягкій и робкій человѣкъ;

онъ не ходилъ ни на какія собранія, стоялъ въ сторонѣ отъ политики. Но и ему, наконецъ, тяжело стало жить съ своимъ самоувѣреннымъ и злобно настроеннымъ сожителемъ, и онъ переехалъ отъ него въ другую квартиру.

II.

Мѣсто Семенова занялъ фабричный рабочій Терентій Прохоровъ.

Прохоровъ былъ худенькій, маленькій, мелочно-придирчивый и несчастный человѣкъ, часто кашлявшій тяжелымъ долго не превращавшимся кашлемъ. Отъ него ушла къ другому жена, красивая и здоровая баба. И это обстоятельство Прохоровъ ставилъ въ связь съ общимъ рабочимъ движеніемъ.

— Люди пошли, — къ лысому бѣсу подъ хвостъ всѣхъ! — ворчалъ онъ. — Ни Бога, ни чорта, ни пресвятой Богородицы... Въ скорости никакихъ законовъ не будетъ. Хоть съ матерью родимой живи... Тьфу!

Онъ шипѣлъ, точно старая беззубая змѣя, такъ какъ не имѣлъ ни нравственной, ни даже физической силы. Но тѣмъ болѣе сердито, желчно было его шипѣніе.

Онъ оказался подходящимъ собесѣдникомъ для Кожевникова.

— Это стриженные-то дѣвки... ххе! Да посмотри ты на нихъ, голубчикъ мой! — Все больше жидовочки, — хошь икону снять. Эти-то и гамятъ и мутятъ. Ну, а старые-то жида, понятное дѣло, въ мутной водицѣ рыбку ловятъ... Очень просто. И студенты эти самыя, хоть большая часть и русскіе, и православныя, да ужъ давненько крестъ свой продали...

— Имъ какая же корысть?

Прохоровъ многозначительно pokrивилъ ротъ и подмигнулъ своимъ острымъ чернымъ глазомъ.

— Корысть? А жидовочки? Понялъ, куда Машка бѣгала? Оно, конечно, дѣло молодое... да и тѣ юбками-то своими шш... шш...

Во многое изъ того, что говорилъ Прохоровъ, — онъ и самъ не вѣрилъ. Но всё, — чему онъ вѣрилъ и чему не вѣрилъ, — тотъ передавалъ одинаково развѣреннымъ, спокойно-правдивымъ тономъ очевидца, человѣка, выдаваемаго на своемъ вѣку всякіе виды и котораго удивить чѣмъ-либо очень трудно.

— А какъ ты полагаешь, — спрашивалъ его Кожевниковъ, — почему они ужъ больно стараются? Я-то разное слышалъ...

— Очень даже просто, — не задумываясь отвѣчалъ Прохоровъ. — Жиды хотятъ изъ Россіи всѣмъ кагаломъ въ Америку ѣхать. Есть у нихъ Герцъ, Гирцъ и Вирцъ... это, значить, ихніе вожаки... А въ Америку ѣхать, известное дѣло, не до бани дойти. Многіе милліоны нужны. Понятное дѣло, стагнулись съ японцами. Японія на нашу Сибирь давно зубы точить. Дала имъ Японія крупную сумму. Дала и говоритъ: „Должны вы за это мутить православныхъ“.

— А дураки все-таки...

— Кто?

— Жиды. Денежки получили, такъ чего тутъ?

— Слово, голубчикъ мой, и жиды держать.

— Врешь все. Выходить, жиды-то лучше другого православнаго... И вовсе не стагнулись. А хотятъ они царемъ и министрами завладѣть и нами править. Допрежь того многіе народы посылались на это дѣло... Ну, и эти туда-же. Но будетъ еще между насъ крупный разговоръ! Спать еще православные. Да это ничего! Намъ вѣдь только плечиками тряхнуть... всякая тля и соскочить.

Прохоровъ вдругъ заартачился и не захотѣлъ уступить своей позиціи.

— Пускай-бы и такъ. Выходить, они показали вотъ что... Понялъ, куда Машка бѣгала?

Кожевникову показалось, что предъ нимъ неожиданно открылся свѣтъ „сути вещей“...

На слѣдующемъ-же сборищѣ „истинно русскихъ людей“ онъ произнесъ новую рѣчь.

— Гнать всѣхъ жидовъ! Не оставить ни разьединаго жида во всей Россіи-матушѣ! — восклицалъ онъ, возбужденный, точно виномъ, и своими собственными словами, и призывами прежнихъ ораторовъ, и жаднымъ вниманіемъ злобно настроенной публики.

III.

Однажды вечеромъ Кожевниковъ, немного захмелѣвшій, сидѣлъ въ пивной. За разными столами усѣлось еще нѣсколько рабочихъ, незнакомыхъ ему. Неподалеку отъ него двое оживленно разговаривали.

Кожевниковъ прислушался.

— Я и спрашиваю теперь: какимъ родомъ правительствъ не будетъ держать руку помѣщика? — говорилъ одинъ изъ р

бочихъ.—Врагъ ему помѣщикъ?—Онъ обвелъ присутствующихъ торжествующе-веселымъ взглядомъ человѣка, знающаго истину.

Кожевниковъ быстрыми глазами скользнулъ по лицамъ рабочихъ, понимая, что онъ — одинъ, и покраснѣлъ. Разсказчикъ пристально посмотрѣлъ на него и тоже какъ-будто осѣлся. Онъ снова заговорилъ, но уже тише:

— Пойми, голова садѣва, всѣмъ лучше жить хочется! И это называется бунтъ? — Онъ снова бросилъ косой взглядъ на Кожевникова.

Кожевниковъ началъ испытывать смутную тревогу и странное чувство какъ-бы личной обиды, точно онъ считалъ присутствующихъ виноватыми въ своемъ одиночествѣ. Мысленно онъ успокаивалъ себя: „не больно гдѣ... здѣсь улица... и постоянно разный народъ“.

Но тревога его усилилась, когда рабочій замолкъ и затѣмъ еще разъ — случайно или умышленно — взглянулъ въ его сторону.

„Знаеть онъ что-ли меня? видѣлъ гдѣ? — съ досадой подумалъ Кожевниковъ и опустилъ глаза въ полъ. — „А ежели и знаетъ, такъ чего глазомъ-то язвить?—Злобное чувство подымалось въ немъ.“

На нѣсколько секундъ въ пивной, какъ это иногда бываетъ во всякомъ людномъ помѣщеніи, воцарилась полная тишина.

И вдругъ Кожевникову показалось, что всѣ на него смотрятъ — не то насмѣшливо, не то подозрительно и даже злобно... Стараясь не смотрѣть ни на кого, съ похолодѣвшимъ вдругъ потнымъ лбомъ, онъ подтянулся и, выпитивъ широкую грудь, повелъ плечами.

— Да, всячина бываетъ... — глубоко вздохнувъ, негромко сказалъ одинъ изъ рабочихъ своему собесѣднику.

Кожевниковъ метнулъ въ говорившаго быстрый подозрительный взглядъ... Онъ еще сдерживалъ себя, ни однимъ движеніемъ не обнаруживая своего волненія; но уже чувствовалъ, что еще — одинъ косой взглядъ, еще одинъ кивокъ въ его сторону, — и онъ быстро и отважно помчится къ темной безднѣ безудержной вражды къ этимъ людямъ... Кровь бросилась ему въ голову и покрыла щеки пламенными красными пятнами. И въ этотъ моментъ внутренней голосъ шепнулъ ему: „смѣлость — тсему голова. Увидать, что робѣешь, — хуже...“

Онъ поднималъ злые, смѣлые глаза, какъ-бы желая вполнѣ удостовѣриться въ справедливости своей тревоги, и — встрѣтилъ порный взглядъ рабочаго, говорившаго о правительствѣ. Взглядъ

точно щупаль и сверлягъ вспыхивающее, горячее лицо Кожевникова...

Неподалеку отъ Кожевникова раздался веселый, беззабѣтный хохоть. И хохоть этотъ, словно бичемъ, больно ударилъ Кожевникова... Рабочій продолжая колотъ его лицо своимъ острымъ взглядомъ, вдругъ криво усмѣхнулся...

— Вотъ подлецъ!—крикнулъ въ углу густой бась; гигантъ-рабочій съ большой русой бородой при своихъ словахъ тяжелымъ движеніемъ откинулся на спинку стула. — Знаетъ кошка, чье мясо скушала. Право, черти!

„Сильность города беретъ!“ Кожевниковъ подался корпусомъ впередъ, ухарски уперся руками о колѣна, повелъ плечами и голосомъ, въ которомъ звучалъ вызовъ, неожиданно для себя самого, сказалъ смѣрившему въ его глаза рабочему:

— Аль признаешь?

— Гдѣ-то видалъ. А гдѣ собственно, мнѣ про то лучше извѣстно...

Слова гулко и твердо звенѣли насмѣшкой.

— А все-таки?

Въ этихъ двухъ словахъ всѣмъ явно послышалась и угроза, и вражда. Въ пивной стало тихо.

— Изволь. Въ манежѣ видали мы васъ. Въ пятницу такое дѣло было. Но еще освѣжу воспоминаніе, ужъ если такъ желательно знать. Глотка у васъ великолѣпная! Многоль бунтарей пришибъ? Аль еще не доводилось?

Мертвая, жуткая тишина царилла всего лишь нѣсколько секундъ. Злая насмѣшка словъ ножомъ вонзилась въ сердце поблѣдѣвшаго парня.

— Н-ну... и что-о?—негромко сказалъ онъ, вставая.

Но и врагъ его всталъ.

— Чего ёршишься-то? Не испугались!.. Мерзавецъ—ты! Рабочее дѣло губишь... въ свою кашу плюешь!

Каждое слово вылетало изъ высоко вздымавшейся груди рабочаго, какъ ярко блестящій и твердый вусокъ стали, и со всего размаха ударяло въ лицо Кожевникова. И всѣ они, больно и рѣшительно ударая, вдругъ отняли у Кожевникова силу, вогнаали въ душу его смутный страхъ и выгнаали злобу. Его прежде злые, а теперь жалкіе глаза забѣгали, и самъ онъ сдѣлалъ растерянное движеніе, чтобы оглянуться. Голова ушла въ плечи. Наконецъ, съ какою-то страстной убѣдительностью въ голосъ, но почти не соображая, онъ сказалъ:

— Ты... братъ... русскій... и я...

Онъ задыхался, точно ему не хватало воздуха.

— Да, я—русскій,—хлопнувъ по груди ладонью, снова началъ бросать слова, точно куски стали, рабочій,—а ты—истинно-русская... сволочь! Да!

Онъ былъ худощавъ, блѣдень, черные усики его пробивались рѣзкой линіей, тонокъ, но мускулистъ, а въ большихъ карихъ глазахъ сверкала ненависть, освѣщенная сознаниемъ своей правоты.

— Пусть платитъ за пиво, да убирается вонъ! — раздался спокойный басъ огромнаго человѣка съ русой бородой.

Слова худощаваго рабочаго били Кожевникова; но басъ придавилъ его своею ровной, густой тяжестью. Дрожащей рукой онъ вынулъ изъ кармана мѣдяки и бросилъ на поднось.

Худощавый посторонился. Его подвижное лицо изображало теперь одну лишь игривую иронію.

— Наше вамъ!—галантно произнесъ онъ. — Же-ву-адъе! а по-русскому діалекту—до свиданья... милое созданье!

— Просмѣшься... дай срокъ!—глухо сказалъ Кожевниковъ.

— Же-ву-при...

Кожевниковъ сталъ у двери. Теперь его блѣдное скуластое лицо было искажено ненавистью, почти отвращеніемъ къ этимъ людямъ, которые, смѣясь, выгоняли его. И тихо, но со страшной силой злости, онъ почти прошепталъ, стиснувъ зубы:

— Жи-до-вскіе слу-ги!

Огромная мускулистая рука протянулась къ нему; предъ его глазами мелькнуло спокойное большое лицо съ свѣтлой окладистой бородой; рука быстро повернула его и вышвырнула на улицу. Кожевниковъ задѣлъ ногой за тумбу и упалъ внизъ лицомъ на землю.

Съ минуту онъ лежалъ неподвижно, потомъ поднялъ голову, тихонько приподнялся и пошелъ...

Была темная ночь. Казалось, все спало въ узкомъ глухомъ переулкѣ, — спали люди, спали длинные, высокіе, темные дома. Въ далекомъ небѣ искрились звѣзды. Было тихо.

IV.

Кожевникова замѣтилъ нѣкто Чешуйкинъ. Въ средѣ „истинно-скихъ“ считали его богатымъ человѣкомъ, относились съ уваженіемъ и говорили, что онъ — одинъ изъ видныхъ членовъ шествія активной борьбы съ анархіей“. Но никто не могъ сказать что-либо опредѣленное относительно его прошлаго. Съ

его именовъ, между прочимъ, связывали крупный еврейскій погромъ въ одномъ изъ южныхъ городовъ.

Послѣ второй рѣчи Кожевникова о „жидовскихъ помыслахъ“, Чешуйкинъ поманилъ пальцемъ взволнованнаго парня и сказалъ ему:

— Хорошо, хорошо. У васъ—умъ.

Кожевниковъ вспыхнулъ.

— Какъ умѣлъ,—смущенно отвѣтилъ онъ.

— Приятно съ вами покороче познакомиться. Заходите ко мнѣ въ среду вечеркомъ? Я живу...—Онъ сказалъ свой адресъ.

Кожевниковъ поклонился, тряхнувъ волосами.

— Очень даже радъ...

Въ среду вечеромъ онъ надѣлъ чистую рубаху, новый пиджакъ, тщательно причесался и пошелъ. Глаза его сіяли тихой радостью польщеннаго самолюбія, и онъ старался предугадать вопросы, съ которыми обратится въ нему „солидный господинъ“, и заранѣе обдумывалъ отвѣты, чтобы показать свой „умъ“.

Тихо поднялся онъ по чистой широкой лѣстницѣ въ третій этажъ, постоялъ немного и, наконецъ, рѣшился нажать пуговку электрическаго звонка. Горничная, чистенькая, маленькая, вертлявая, отперла дверь и, прищуривъ маленькіе, ясные, голубые глазки, скользнувъ ими по всей фигурѣ рабочаго, впустила его.

Когда Кожевниковъ увидѣлъ сравнительно огромный, съ высокимъ потолкомъ, полутемный корридоръ, а потомъ — залъ съ блестящимъ паркетомъ, съ рядомъ красивыхъ стульевъ, съ солидной мебелью, съ огромными тяжелыми занавѣсами на дверяхъ и окнахъ, когда прислушался къ важной тишинѣ,—его охватила легкая жуть. „Безъ ума такъ жить не будешь. И на средственную жизнь надо ума“... А за этой мыслью гомозилась уже другая: „И вотъ я, деревенскій сапогъ, въ этакое чертогъ въ нѣкоторомъ родѣ какъ гость. Увидала бы мать!..“

По указанію горничной, Кожевниковъ на цыпочкахъ прошелъ въ кабинетъ. Это было небольшое помѣщеніе съ богатымъ письменнымъ столомъ, съ коврами на полу, съ круглымъ, въ золоченой рамѣ портретомъ государя на одной стѣнѣ; на другой же были красиво развѣшаны ружье и нѣсколько револьверовъ разныхъ системъ.

Чешуйкинъ сидѣлъ въ креслѣ съ видомъ чловѣка, только что оторвавшагося отъ глубокихъ и важныхъ размышленій. При входѣ смущеннаго рабочаго, онъ подалъ ему два пальца, связавъ горничной подать чаю и пригласилъ садиться.

— Да-да... помню. Хорошо помню. Вы давно здѣсь?

— Побольше восьми-то мѣсяцевъ...

— Вы на заводѣ?

— На фабрику Вахмана... ткацкая и бумагопрядильная...

— Та-акъ... Кстати о жидкахъ. Видите, цѣлая книга... Здѣсь приведены случаи, что жиды пьютъ кровь христіанскихъ младенцевъ...

Кожевниковъ дернулъ плечомъ и покраснѣлъ.

— Значить, объ этихъ дѣлахъ пропечатано?

Чешуйкинъ усмѣхнулся.

— Какъ видите, — сказалъ онъ, хлопнувъ ладонью по книжкѣ, факты изъ жизни съ показаніями цѣлаго ряда свидѣтелей. — И онъ прочиталъ одинъ изъ „фактовъ“.

— Какъ же такъ? И ничего? Не дошли до нихъ за это окаянство? — воскликнулъ возмущенный Кожевниковъ.

— Де-нежки! — протянулъ Чешуйкинъ. — Начальство то же всякое... Это вотъ только теперь за умъ берутся.

— А чего жъ православные?

— А они, надо правду сказать, — дураки. За носъ ихъ водятъ. — Онъ помолчалъ немного. — Есть тутъ одинъ жидокъ. Крамола здѣшняя готова молиться на него... Ученый считается, книжки пишетъ. А въ душу къ нему не залѣзешь. Чортъ его знаетъ, что у него на умѣ!..

— Кто таковъ?

— Есть таковой... Да можетъ статься, и сотни такихъ. Тутъ шайка. Это называется заговоръ... противъ царя и всего народа русскаго.

Сердце Кожевникова мучительно сжалось. Нѣтъ! православные не дадутъ себя въ обиду. Не окончательно дураки. Увидятъ обманъ, не дадутъ закрѣпить себя. И тогда достанется всѣмъ врагамъ родной земли. За ними хитрость, за нами правда. Онъ, Иванъ Кожевниковъ, первый готовъ сложить голову.

Сверкая сѣрыми, влажными глазами, тряхнувъ русой головой, онъ сказалъ тихо и убѣжденно:

— Этому не бывать... чтобы окончательно вдалились въ обманъ! Крикнуть имъ: „убирайтесь изъ нашей земли!“

— Такъ и убрался! Уберется кошка отъ курянаго крышка...

— Ну, ежели добромъ... такъ ужъ тогда...

Онъ покрутилъ головой и глубоко вздохнулъ.

— Добромъ не уйдутъ, — сказалъ Чешуйкинъ.

V.

Время шло.

Кожевниковъ сдѣлался довольно замѣтнымъ членомъ „патріотическихкихъ“ сборищъ. Съ него нѣсколько спала деревенская неулюжность; движенія стали увѣреннѣе, обращеніе смѣлѣе и спокойнѣе. Чешуйкинъ не всегда являлся на собранія; но когда приходилъ, съ улыбкой подавалъ рабочему пухлые, украшенные кольцами, пальцы.

— Вотъ что, Егоръ Трофимычъ, — обратился разъ къ Чешуйкину Кожевниковъ, — слышалъ я, что можно того... револьверчикъ бы мнѣ...

— Зачѣмъ больше?

— А такъ что случается обида... — И онъ разсказалъ о случаѣ въ пивной.

Чешуйкинъ усмѣхнулся.

— Слышали мы, конечно, будто можно достать...

Чешуйкинъ помолчалъ немного, загадочно посмотрѣлъ въ пространство прищуренными глазами и потомъ негромко сказалъ:

— Для царскаго слуги все можно...

Черезъ два дня Кожевниковъ пошелъ къ Чешуйкину. Всю дорогу онъ делялъ мечту о револьверѣ, этой „недешевой штучкѣ“, которая сдѣлаетъ его безбоязненнымъ.

— Барина дома нѣтъ, — сказала горничная.

Кожевниковъ и удивился, и смутился.

— Неужто нѣтъ? — спросилъ онъ, краснѣя.

— Чего-жъ тутъ такого? Очень просто: ушли къ знакомымъ, или на прогулку для моціону.

Она всматривалась въ смущенное простое лицо парня, и вдругъ живые глаза ея заиграли. Хихивнувъ, она сказала, показывая рядъ ровныхъ, мелкихъ, бѣлыхъ зубовъ:

— Но если время ваше, такъ очень просто: можно подождать. Весьма можетъ статься, что баринъ ушли на прогулку...

Глаза ея задорно свергнули. Она продолжала:

— А если къ знакомымъ, такъ даже лучше...

„Подождать, или нѣтъ?“ — раздумывалъ Кожевниковъ, смутно слыша ея слова и не замѣчая ни ея веселыхъ, точно поддразнивающихъ глазъ, ни быстрыхъ движеній ея маленькой фигурки. Наконецъ, просто и серьезно онъ сказалъ:

— Подожду малость.

Онъ прошелъ въ залъ и сѣлъ около круглаго столика съ вазой визитныхъ карточекъ. Его глаза остановились на маленькомъ лоскуткѣ бумаги, лежавшемъ на столикѣ. Онъ склонился и прочиталъ: „Очень сожалѣю, что не засталъ. Есть кое-что сказать. Что касается рабочаго, то, по характеристикѣ вашей, полагалъ бы, что сначала ему нужно обязательно дать „воспитаніе“ и, какъ я уже говорилъ вамъ, послать... понимаете?“

За дверной портьерой вдругъ раздался не громкій, но очень задорный смѣхъ. Кожевниковъ слегка вздрогнулъ и обернулся. Изъ-за портьеры выглядывало смѣющееся лицо... „Что за рабочій? куда послать? зачѣмъ?“ — думалъ Кожевниковъ.

— Какой вы сурьезный, — не унималась дѣвушка.

„Чего ей надо?“ Онъ нетерпѣливо тряхнулъ волосами и, съ недоумѣніемъ посмотрѣвъ на горничную, хмуро произнесъ:

— Не съ чего веселымъ быть...

— А вы веселитесь, вотъ и будетъ весело.

Кожевниковъ молчалъ.

— Баринъ иной разъ по вечерамъ уходитъ и не приходитъ очень долго...

„Что за рабочій? какое дѣло?“ И было ему почти неприятно щекотанье дѣвушки. А она уже вошла въ залъ и продолжала:

— Иной разъ бываетъ, что и въ нимъ заходятъ знакомые. Разные и даже большіе господа. У барина очень хорошее знакомство. Но бываетъ, что заходятъ и вашъ братъ, мастеровой...

Кожевниковъ пристально, но безучастно смотрѣлъ на нее, и быстрая, звонкія, точно порхающія въ большомъ и пустомъ залѣ, слова ея, лишь механически касаясь его слуха, не входили въ сознаніе.

— Одинъ смѣшной такой, черненькій и немножко повыше меня, — такъ самую малость... въ меня влюбленъ. Скажите, вѣдь я во всякомъ разѣ не очень дурная?

„Чего она?“ — снова подумалъ Кожевниковъ и разсѣянно сказалъ:

— Дурная? какъ то-есть? А-а-а... во всякомъ случаѣ не очень дурная...

Дѣвушка звонко расхохоталась.

— Ахъ, какой вы кокетъ!

Кожевниковъ всталъ.

— Ужъ видно, въ другой разъ... идти надо.

— Куда торопитесь?

— Да надо... чего-жъ...

— А я не пуцу!

Она встала въ дверяхъ и въ рамѣ темныхъ драпри, маленькая и улыбающаяся, казалась веселой жанровой картинкой.

— Вы все съ шуткой, — смущенно пробормоталъ парень и, отстранивъ дѣвушку плечомъ, вышелъ въ переднюю.

Глаза дѣвушки широко раскрылись, и въ нихъ отразились изумленіе и досада... И тотчасъ же она стала совсѣмъ другой. Холодно и важно она сказала:

— Ну, да, конечно, баринъ могутъ придти поздно. Не сидѣть же...—Но дышала она тяжело, и грудь ея порывисто поднималась...

Кожевниковъ медленно, — съ такимъ чувствомъ, точно онъ забылъ что-то въ квартирѣ Чешуйкина и не могъ вспомнить, — спускался съ лѣстницы... и вдругъ остановился. Чтò это? почувдилось ему? Его слухъ ясно уловилъ какъ бы брошенное ему вслѣдъ какое-то слово...

Кожевниковъ вышелъ на улицу съ тяжестью въ головѣ и неяснымъ, нуднымъ чувствомъ недовольства собою. Онъ прошелъ улицу, другую. Досадное чувство росло, дѣлалось жгучимъ... Онъ уже входилъ въ свой переулокъ, какъ вдругъ, совершенно неожиданно, образъ маленькой дѣвушки, точно живой, всталъ въ его воображеніи — со всѣми ея быстрыми движеніями, игрою смѣющихся голубыхъ глазъ, звонкими, словно порхающими, словами и негромкимъ, коварно подрадаывающимъ въ душу, смѣхомъ... Его точно ослѣпило, — онъ понялъ все.

И всю остальную дорогу, и весь вечеръ преслѣдовалъ, манилъ и дразнилъ его образъ дѣвушки. Онъ дивился своей глупости. Чешуйкинъ и револьверъ были основательно забыты. Онъ говорилъ себѣ:

— Деревня-матушка! сапогъ!..

VI.

Кожевниковъ лежалъ на кровати и говорилъ своему тоже лежавшему сожителю:

— Хороша... очень даже. Но жаль: съ одного маху пополамъ перешибить можно.

— Не жениться вѣдь...—повѣвывая, сказалъ его сожитель, Прохоровъ.

— А если и того... жениться?

Прохоровъ крикнулъ и ничего не сказалъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, — продолжалъ Кожевниковъ. — Въ на-

шемъ деревенскомъ быту бываетъ такъ: другая цыголица—отъ земли не видать, а почище всякой великой Федоры будетъ. Я про силу и сносливость сказываю.

Прохоровъ молчалъ съ многозначительнымъ видомъ.

— Конечно, какія у ней деньги? Да мнѣ много-то и не нужно. А кто-е знаетъ? Можетъ, какія и деньжонки имѣются...

Прохоровъ сбросилъ босыя ноги съ кровати и заговорилъ:

— Вотъ это таеъ. Чтò она? — служить. У кого? — у богатаго господина. Тутъ-то вотъ и штука!.. — Прохоровъ замолчалъ, закрылъ одинъ глазъ, а другой скосилъ на сторону, и принялъ видъ человѣка, желающаго выяснитъ вопросъ крупной важности. — Но... — продолжалъ онъ, — но у таково господина и богатое знакомство. Таеъ? — такъ. Слушай, да прислушивайся... Господа какъ? Подать она пальто... шинель... на мѣху, а по лѣтнему сезону на шелковомъ подкладѣ разнаго цвѣту... Понятное дѣло, не наша рвань... аглицкое сукно, заграничный материалъ... Она подать... А подать-то тоже умѣючи надо... за какую часть руками взять и все такое, прочее... Для всякаго дѣла наука требуется. Подать, умильность въ зенкахъ изобразить, — тою же секундой ей... — и дѣлу-то, всему минуты нѣтъ!.. — полтина въ зубы летитъ! ру-убль! А ты какъ думалъ? А почему? — Слушай. Мелочи у господина, случается, нѣтъ... а не дать барину стыдно... сдачу требовать въ такихъ случаяхъ не полагается. Да и никакъ не можно: „нѣтъ сдачи!“ — и все. Тотъ полтину, тотъ двугри-венный, этотъ рубль... посчитай-ка!.. Но... все-таки скажу, что на это дѣло наплюй ты... Зачѣмъ? почему? — Живымъ манеромъ окрутить она тебя... слыхалъ, что у коровы со лба растутъ? Ну, вотъ... Баба и вообще такъ, а этимъ и Богъ велѣлъ. По вѣтру ходить — вѣтеръ носить. Къ разнокалиберности при-вывши.

— Мила очень.

— Гульнуть съ ей—это можно.

— Зря, значить?

— Задаю задачу: глупъ ты? — и отвѣчаю: глупъ, какъ стое-росовая дубина!.. — Прохоровъ засмѣялся короткимъ скрипучимъ смѣхомъ и закашлялся.

— Это про что ты?

— Про то же самое. Скажи по правдѣ: хоть разъ имѣлъ ты такое дѣло... жилъ съ еѣмъ ни есть...

Кожевниковъ приподнялся на локтѣ, посмотрѣлъ съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ въ сверкавшіе любопытствомъ плотоядные глазки Прохорова, снова легъ, помолчалъ немного и сказалъ:

— Нѣтъ.

Острые, черные глазки Прохорова вылупились, а брови полѣзли на лобъ.

— Врешь, подлецъ! — закричалъ онъ. — Врешь, суконное твое рыло?!

— Почто врать. Въ нашей деревѣ на этотъ счетъ скромно, — просто отвѣтилъ Кожевниковъ. — Бываетъ, конечно, дегтемъ ворота мажутъ, да это въ большую рѣдкость. А здѣсь не довелось...

— Н-ну, съ тобой, значить, и разговоръ имѣть — самое пустое занятіе. А что касается дѣвчонки этой, такъ скажу тебѣ и не совру: она, можетъ, съ цѣлой ротой любила.

— Ну-ну, говори, да не заговаривайся! Ври, да мѣру знай... Понимаешь...

Прохоровъ ядовито и презрительно хихикнулъ и снова закашлялся.

На другой день Кожевниковъ прифрантился и отправился въ Чешуйкину. Дорогой онъ придумывалъ слова, какія скажетъ дѣвушка; отдѣльныя фразы незамѣтно сливались въ умныя и горячія рѣчи. Затѣмъ шли мечты, жгучія представленія ласкъ и разныхъ выраженій любви, какими подарить его любящая дѣвушка съ живыми глазами и звонкимъ щебечущимъ говоромъ. Его сердце и мучительно, и сладко ныло.

— Дома? — тихо спросилъ онъ дѣвушку и робко посмотрѣлъ въ ея глаза.

На ея маленькомъ, подвижномъ лицѣ скользнула тѣнь усмѣшки. Она отвѣтила сухо:

— Дома.

— Такъ, говорите, дома? — Онъ попробовалъ улынуться, но улыбка вышла робкая, кислая...

Ея лицо оставалось спокойнымъ, холоднымъ.

— Сказала вѣдь, что дома? Проходите. — И оскорбительнымъ взглядомъ служанки богатой квартиры она окинула Кожевникова съ головы до ногъ.

Парень съежился, точно его ударили. Въ немъ вспыхнуло самолюбивое чувство обиды и какое-то странное, — правда, мгновенное, — желаніе причинить ей даже физическую боль: сжать руки, толкнуть... Онъ посмотрѣлъ на нее пристальными, злыми глазами. Она спокойно выдержала его взглядъ. Смутныя мысли вихремъ закружились въ его головѣ...

Чешуйкинъ встрѣтилъ его привѣтливо.

— Оказывается, вы у меня были... Знаете все дѣло...

„Ужъ не свалалъ ли я дурака?—между тѣмъ мелькнуло въ головѣ Кожевникова.—Можетъ, ничего *такого* и не было? Померещилось мнѣ, будто“...

— Начинается полная война, — продолжалъ Чешуйкинъ. — Жиды усиленно фабрикують бомбы...

„А можетъ, и злится, что никакого отъ меня въ ней участія не было“...

— Хотятъ, должно быть, оставить страну безъ правительства...

Онъ вдругъ остановился, замѣтивъ, что Кожевниковъ не слушаетъ его, хотя и смотритъ на него въ упоръ.

— Безъ правительства?—встрепенулся Кожевниковъ и продолжалъ съ дѣланной горячностью: — Да развѣ это можно? Видно, такъ... я такъ полагаю, что надо взяться за дѣло въ сурьезъ! Да, нечего время терять...

„Зачѣмъ я пришелъ?“—мысленно задалъ онъ себѣ вопросъ.

— Если въ такое время да канитель тянуть,—снова началъ онъ, — такъ что же это будетъ? Вѣдь это, можно сказать, все единственно, что пропадать!.. Да-а...

— У васъ, кажется, просьба была?

Парень покраснѣлъ, напрягая свою память.

— Да-да-а... просьбица... — тянулъ онъ, краснѣя, страшно волнуясь, и, вдругъ вспомнивъ, радостно крикнулъ:—револьверчикъ бы!

Чешуйкинъ мелькомъ взглянулъ на ящикъ стола, перевелъ взоръ на оправлявшагося отъ своей растерянности парня и на нѣсколько мгновений задумался.

— Какая однако неприятная вещь,—наконецъ сказалъ онъ, разводя руками,—ужъ видно, зайдете въ другое время...

— Хорошо,—оживился Кожевниковъ,—я зайду.

— Обѣщали принести и...

Высматривая и, словно крадучись, Кожевниковъ вошелъ въ переднюю.

„Надо посмѣлѣе, — думалъ онъ, — деревенщину-то надо по боку“.

— Какъ ваше имя? — спросилъ онъ дѣвушку, слегка стѣбывая.

Дѣвушка сердито сверкнула глазами.

— А какое вамъ дѣло? — грубо сказала она и твердой укой захлопнула за нимъ дверь.

— Сволочь!—тихо выругался парень.

На улицѣ, въ сумеркахъ быстро убѣгающаго дня, его все-

цѣло охватила мучительная тоска, почти отчаяніе... Домой идти не только не хотѣлось, а было почти противно подумать о своей комнатѣ, гдѣ шушленькій и злобный Прохоровъ вѣчно тянетъ свою томительно-скучную канитель о „бабахъ да жидкахъ“, гдѣ такъ неуютно, тѣсно, грязно и пахнетъ потомъ. А между тѣмъ все изнывающее существо парня въ настоящій моментъ смутно, но сильно жаждало воздуха, простора, живой жизни, отъ которой закружилась бы голова и, быть можетъ, на время хотя бы, забылось все, весь „ядъ жизни, обманъ и потемки“...

VII.

Кто-то неожиданно хлопнулъ Кожевникова по плечу и вслѣдъ за тѣмъ онъ услышалъ громкій веселый окрикъ:

— Чего задумался, братанъ, аль милка бросила?

Рядомъ съ Кожевниковымъ шелъ молодой рабочій. Острое, веснучатое лицо его расплылось въ ясную, широкую улыбку и сіяло, каріе глаза искрились отъ избытка радости существованія на бѣломъ свѣтѣ. Онъ былъ маленькій, рыжеватый, подвижной и твердый.

— Коли бросила, плюнь,—не послѣдняя.

Кожевниковъ покосился на его жидкую, встрепанную рыжую бородавку и хиумо сказалъ:

— Иди, куда шелъ.

— Да намъ по дорогѣ, пожалуй. Ты что, — на Митькины именины?

— Ку-да-а?

— Аль не слыхалъ? За Пгѣшовой горой, въ перелѣскѣ... въ городу нельзя, такъ... Оно и лучше!—на лужайкѣ... въ тѣнѣ лѣсовъ... природа!..

— Намъ не по дорогѣ...

— Не по дорогѣ? вотъ какъ!.. Н-ну... значить, пардонъ... заграничное извиненіе и русскій поклонъ!.. — Онъ лихо сдвинулъ на затылокъ полинявшую фуражечку, засвисталъ и быстро направился дальше.

— Бра-а-та-анъ...—угрюмо протянулъ Кожевниковъ.

Но теперь онъ уже обращалъ вниманіе на обгонявшихъ его людей — рабочихъ и даже женщинъ и подростковъ. Онъ своротилъ въ переулокъ. Но уже не могъ думать ни о чемъ, какъ только о митингѣ и о народѣ, идущемъ за-городъ. „Развѣ и мнѣ?“ — внезапно подумалъ онъ. — Тутъ ему вспомнилась сцена

въ пивной. Съ какимъ-то жгучимъ, страннымъ удовольствіемъ онъ воссрасталъ теперь всѣ подробности своего униженія. Однако, — и это ему казалось удивительнымъ, — онъ уже не испытывалъ обычнаго злобно-мстительнаго чувства, какъ-будто для этого чувства въ сердцѣ его уже не находилось мѣста... какъ-будто и сцена-то самая была давно и успѣла „быльемъ порости“. Вдругъ до слуха Кожевникова донеслись мѣрные и тяжелые звуки скачущихъ галопомъ лошадей. Кожевниковъ вошелъ въ первые попавшіеся ворота. Мимо проскакала сотня казаковъ. Кожевниковъ усмѣхнулся. „Вотъ-те и братаны!“ Онъ вышелъ изъ-за воротъ, прибавилъ шагу и, уже ни о чемъ не думая, скоро очутился за-городомъ.

Начинало темнѣть. На землю легли тѣни. Передъ глазами Кожевникова у самаго края темной земли алѣла багрово-золотистая полоса съ какъ бы застывшими въ ней острыми темносиними, рѣзко очерченными, облаками. Недалекѣ, вгѣво угрюмо и одиноко высилась гора съ бѣлѣвшими въ сумрагѣ мѣловыми выступами. У Кожевникова было острое зрѣніе, и онъ могъ видѣть, какъ казачья сотня сѣла на лошадей, и потомъ, раздѣлившись, поскакала въ обходъ горы.

— Зададутъ баню!—мысленно произнесъ парень.—Узнаютъ кувькину мать... узнаютъ, какъ жиловъ слушать!.. Эхъ, и бабы туда же... ребятишки... А все изъ-за... Н-ну, жидовскія морды,—громко сказалъ онъ и сжалъ кулаки, — бе-ре-ги-и-сь! Изъ-за васъ бьютъ...

Непонятная сила рванула Кожевникова съ мѣста, и онъ побѣжалъ. Напряженный слухъ его уже улавливалъ отдаленный шумъ, неясные звуки голосовъ, точно тамъ вдали гдѣ-то всполошилась огромная стая птицъ и захлопала крыльями, волнуетъ дремлющій воздухъ. Кожевниковъ бѣжалъ, — словно летѣлъ, ощущая странную легкость во всемъ тѣлѣ. Вотъ люди темными точками, словно гигантскіе муравьи, поползли по склонамъ горы, закарabalились по выступамъ... Кожевниковъ остановился, перевелъ духъ и крикнулъ:

— Стой, братцы... сто-ой!

Народу изъ-за горы прибывало; люди, какъ саранча, оснвали гору, и съ горы лавиной спускались внизъ.

— Стой! одумайся! стой!!

Онъ бѣжалъ, тяжело дыша, но не чувствуя усталости, и старался лишь побольше набирать въ грудь воздуху, чтобы крикнуть громче. Его услышали. Скоро женщины, подростки окружили его, кричали, иныя плакали...

— На гору! назадъ! — въ какомъ-то изступленіи заоралъ Кожевниковъ во всю силу своихъ легкихъ. — Ихъ—сотня, насъ—тысячи! На гору!..

Навстрѣчу ему продолжали бѣжать новыя, объятые паникой, люди. Толпа, бѣжавшая за Кожевниковымъ, останавливала ихъ, удерживая за руки, за одежду, иногда даже пускала въ ходъ кулаки и, подражая Кожевникову, не помня себя, тоже орала.

— На гору! Ихъ сотня, насъ тысячи! На гору!

Гора усѣялась народомъ.

Обратная сторона ея круто спускалась къ лощинѣ, поросшей рѣдкимъ, молодымъ березнякомъ. Въ лощинѣ было темно. Оттуда неслись отдѣльные вопли и крики. Было чуть замѣтно, какъ изъ стороны въ сторону бросаются обезумѣвшіе отъ ужаса люди; они остались въ лощинѣ, какъ наиболѣе хилые, слабые, которыхъ слишкомъ легко и всецѣло охватывалъ ужасъ. Черные, слабо выраженные, силуэты всадниковъ мчались по перелѣску. Были слышны мягкіе удары копытъ по влажной, поросшей мохомъ и травой землѣ. Масса, сгрудившаяся на вершинѣ горы, со злобой и страхомъ смотрѣла внизъ и издавала шумъ, подобный шуму прибой морскихъ волнъ...

Кожевниковъ подбѣжалъ къ обрыву.

VIII.

— Э-ей, воинство православное!—гаркнулъ онъ.

„Великолѣпная глотка“ сдѣлала свое первое дѣло, — толпа затихла. Последнее слово тяжелымъ камнемъ ударилося въ недвижный воздухъ спускающейся ночи. Не пропали для Кожевникова даромъ и его прежнія обращенія къ толпѣ, его прежняя трибуна. И внизу стало гораздо тише. Снова загремѣлъ сочный, твердый, увѣренный голосъ.

— Казачество православное! Одумайся! Православныхъ бьешь. Обманутыхъ бьешь! Японцевъ? Жидовъ? Нѣтъ. Братьевъ кровныхъ! Стыдно жрать православнаго брата!..

Казачи сгрудились. Быть можетъ, ихъ смутилъ неожиданный оборотъ дѣла; возможно, что среди нихъ произошло нѣкоторое замѣшательство.

— Ежели палить хощь...—подожди малость! Бабъ еще довольно въ этихъ мѣстахъ. Много бабъ въ родимой землѣ! Напалишься вдосталь!!

Шумный смѣхъ тысячной массы, — словно всплески играю-

щих волнъ,—взвился вверхъ, къ потемнѣвшему небу, на которомъ уже сверкали рѣдкія одинокія звѣзды.

— А ежели больно охочи... съ бабами воевать... ступайте въ свои деревни. Къ своимъ бабамъ! Тамъ... на каждаго... у всякой бабы... по здоровому ухвату найдется!!

Снова смѣхъ тысячной массы, какъ веселый гулъ играющихъ волнъ, постепенно растущій, сверкающій, наполнилъ шумными всплесками тишину ночи.

— Только смотри!..—вдругъ угрожающе прокатился голосъ.—Здѣсь не одни бабы... Палить? Подожди малость. Самимъ накладно будетъ. Васъ—сотня... а насъ, братьнички... тысяча! А можетъ, и не одна... тысяча!!

Сердитый гулъ, какъ тихое ворчаніе далекаго грома, пробѣжалъ въ толпѣ и внезапно смолкъ.

— Не въ помощь пальба...

Снова загудѣла толпа.

— Поворачивай коней!..

Сердитый гулъ ширился, росъ, какъ бы грозя захватить, сдвинуть, сокрушить въ своихъ страшныхъ объятіяхъ тихую ночь, все пространство—отъ далекаго темно-синяго неба до черной земли...

— Слышь, сердчаетъ народъ?.. На ножъ съ голыми руками полѣзеть!.. Въ клочья разнесетъ!..—Кожевниковъ сдѣлалъ большую паузу, набралъ въ грудь воздуху и гаркнулъ, отчаянно махая фуражкой въ высоко поднятой рукѣ: —У-те-ка-а-ай!!—И онъ даже слегка присѣлъ отъ напряженія, выгнувъ колѣна.

— Народъ бьютъ... сволочь паршивая!—раздался нервный, звонкій, негодующій женскій голосъ.

— У-те-ка-а-ай!—оралъ Кожевниковъ.

— Бей ихъ, подлецовъ! — фальцетомъ выкрикнулъ какой-то рабочій.

Часть казаковъ внезапно повернула лошадей и помчалась галопомъ по перелѣску. Хаосъ разнохарактерныхъ, дикихъ, ужасныхъ своей стихійностью, буйно-торжествующихъ криковъ потрясъ воздухъ. И ночь содрогнулась... Люди,—и мужчины, и женщины,—воспламененные гнѣвомъ, готовые умереть, страшные этой беззавѣтной готовностью, лавиной бросились по крутому спуску внизъ, увлекая съ собою Кожевникова.

— Ага-а, и эти поворотили оглобли!

— На утѣбъ... паршивцы!

— Душегубцы проклятые...

Отдѣльные выкрики, ругательства, впрочемъ, тонули въ цемъ грозно-отчаянномъ гулѣ и крикѣ: „а-а-а! а-а-а!“ И

Кожевниковъ вмѣстѣ съ другими оралъ, потрясая кулакомъ, полный безудержной злобы.

...Крики стали стихать; люди затоптались на мѣстѣ, окутанные жуткой темнотой ночи; въ мозгу каждаго шевелилась безпокойная мысль: что-же дальше? Кожевниковъ стоялъ, ошеломленный, подавленный. Все происшедшее казалось ему въ эти минуты какимъ-то удивительнымъ сномъ. И самое странное въ этомъ снѣ для него было не то, что онъ прибѣжалъ сюда въ минуту опасности, что произнесъ рѣчь, что, наконецъ, бросилъ вмѣстѣ съ другими слова проклятія и угрозы, а то, — что въ данный моментъ не чувствовалъ онъ ни капли обычной отчужденности, одиночества въ этой массѣ, жившей однимъ всезахватывающимъ духомъ гнѣвнаго протеса... Да, конечно, это — сонъ! Несомнѣнно, что онъ, Кожевниковъ, прямо отъ Чешуйкина, съ мучительно-острой тоской въ душѣ, направился домой, легъ и уснулъ. Началомъ сна былъ тотъ моментъ, когда его обликнулъ безпечно-веселый „братанъ“... — И Кожевникову хотѣлось проснуться.

Толпа постепенно стала стихать. Люди, подтапливали другъ друга, говоря: „слушай... тише!“ — поворачивались въ одну сторону. Кожевниковъ оглянулся и слегка вздрогнулъ. Въ бѣлосивомъ сумракѣ ночи замѣтно было, какъ кучка рабочихъ подняла на рукахъ дюжого товарища съ большой окладистой бородой, который протянулъ огромную руку, призывая къ молчанію.

Кожевниковъ узналъ его. „Сонъ!“ — снова пронеслось въ его сознаниі.

— Товарищи! — густымъ металлическимъ басомъ заговорилъ рабочій при вдругъ воцарившейся мертвой тишинѣ. — Въ субботу митинга не будетъ. Не выбрано мѣсто. О мѣстѣ будетъ извѣстно потомъ. Разойдемся. Тихо. Отдѣльными кучками. По разнымъ дорогамъ. Съ разныхъ сторонъ. Не пойте. Не кричите. Товарищи! Еще два слова, Развивается черносотенная агитація. Среди рабочихъ! Убѣждайте, разъясняйте, въ чемъ суть. Хотятъ расколоть нашу силу! Но... великая рабочая армія не поддастся на удочку... правокаторской хитрости... и лжи. Больше — ни звука, товарищи!

Ораторъ опустилсѣ внизъ и скрылся въ тѣсной кучкѣ рабочихъ. Всѣ разбивались на группы, толковали, какимъ путемъ идти. Тамъ и сямъ сновали, какъ тѣни, люди, перекликаясь между собой.

IX.

— Здорово, товарищ!

Кожевниковъ быстро обернулся. Предъ нимъ стоялъ, улыбаясь, ораторъ-рабочій.

— Здорово...

— Я вѣдь сразу узналъ тебя. Помнишь?

— Какъ не помнить,—хмуро произнесъ Кожевниковъ.

— Не сердись. Попадись кто изъ насъ въ ваши лапы, хотя бы въ манежѣ, али въ вашей чайной, небось цѣлымъ не выпустили бы... такъ вѣдь, поди?

— Пожалуй, что такъ.

— То-то. Ну, а ты, братъ, что-же... значить, того... отъ воротъ поворотъ, какъ говорится?

Кожевниковъ пристально взглянулъ въ открытое лицо, въ слегка прищуренные серьезно-спокойные глаза богатыря-рабочаго, и ему почему-то показалось, что тотъ смѣется надъ нимъ. Помолчавъ немного, онъ твердо сказалъ:

— Нѣтъ.

Тогда рабочій воскликнулъ, широко раскрывъ глаза:

— Я ничего не понимаю!

— И я тоже самое... — съ кривой усмѣшкой сказалъ Кожевниковъ и потомъ нерѣшительно прибавилъ:—Такъ что даже по началу думалъ, — во снѣ... Да и по сю-пору не во снѣ-ли?

— Идемъ вмѣстѣ.

— Идемъ.

— Какъ такъ? — вслухъ размышлялъ рабочій, разводя руками.—Смѣлымъ языкомъ говорилъ... и здорово влетѣть могло...

— А такъ что... можетъ и у васъ... какая ни есть малая капля правды есть?

Рабочій усмѣхнулся.

— Можетъ статься, та и правда, что бьютъ насъ?

— А что,—ты? И впрямь... Да нѣтъ! За дѣло надо бить...

Нѣкоторое время они молчали.

— Ага! — вдругъ воскликнулъ рабочій. — Ты... какъ-будто вродѣ того, какъ... посылалъ ихъ евреевъ бить?

— Вродѣ того...

— Такъ. Православныхъ-то, значить, ты того... пожалѣть?

— Не знаю. Бабъ, это дѣйствительно... И чего онѣ-то съ грязнымъ подоломъ своимъ суются не въ свою печь! — вдругъ крикнулъ онъ раздраженно.

— А евреевъ, значить, можно?

— Ихъ нужно бить,—убѣжденно и горячо сказалъ Кожевниковъ.

— А за что больше?

— За что?.. А хоть-бы за то, что православныхъ бьютъ... а они... напавостятъ, да въ уголь... знаемъ!.. ровно блудивая кошка... Били бы и насъ, да мы поумнѣе васъ...—Онъ хотѣлъ прибавить: „и не дались жидамъ въ руки“,—но сдержался.

Рабочій помолчалъ въ раздумьи и затѣмъ сказалъ:

— Это вѣрно, что насъ бьютъ. Видишь ли, всѣхъ трудящихся бьютъ. Не одни пули, нагайки... главное, — насъ бьютъ нужда... пуще пуль всякихъ. Но мы,—рабочіе и крестьяне,—все создали... все! А сами частенько голодны!..

— Знаемъ, слыхали,—хмуρο перебилъ Кожевниковъ.—Но отъ смуты хуже только. Все своимъ чередомъ. И правда по череду ходить. Были мы крѣпостными... И наши бабы, случалось, барскихъ щенятъ своими грудями вскармливали... Но царь далъ намъ волю. И поджали хвосты эти псы! Подожди, все уладятъ... А смута—пуще горе родинѣ. И все—отъ жидовъ, да!

— Да ты зналъ хоть одинаго?

— Единаго-то зналъ. И довольно. Сытъ. Больше и не надо. Махонькій, быстренькій—безъ мыла въ душу влѣзеть... Съ души воротить!—вдругъ крикнулъ Кожевниковъ.—Оно вѣрно, что хитростью жидъ все возьметъ, да только недолго владѣть будетъ! Да, недолго...

— Не любишь ты ихъ, а они не при чемъ...

— Вѣрно, что не люблю! Вонючаго пса сворѣй полюблю...

— Зря...

Кожевниковъ остановился и, смотря въ глаза собесѣдника своими сверкавшими ненавистью глазами, тихо произнесъ задыхаясь:

— А хошь бы и зря?!—И ударивъ себя кулакомъ въ грудь, онъ, все болѣе волнуясь, продолжалъ:—Я—сильный... я прямо иду... я пружу и буду переть... Вѣрь... вѣрь, братъ!—вдругъ съ какою-то особенной задумчивостью крикнулъ онъ, схвативъ за плечо рабочаго.—Не мѣсто всякой гнидѣ у насъ... вѣрь!.. Будетъ, что я и ты... да, и ты!.. и вся матушка Россія найдетъ ее на своемъ вороту и... ногтемъ!.. Мы—сильные, братъ... а хитрыхъ, слабыхъ не надо намъ! Почему у нихъ своей земли нѣтъ?—Силѣнки нѣтъ! Тараканы и тѣ въ одномъ углу живутъ... Расползлись по всему свѣту... Нѣтъ у нихъ Бога!.. Правильно тутъ одинъ у насъ сказывалъ: пожалѣй жиды бѣднаго, такъ онъ,

когда богатый будетъ, на тебя и не взглянетъ, а то такъ и въ бараній рогъ согнетъ... Душа у ихъ на рубли размѣнялась!..

— Всѣ народы цѣлые вѣка ихъ гнали...—сказалъ рабочій.

— А мое какое дѣло?—тряхнувъ головой, отвѣтилъ Кожевниковъ.—Дурного пса всякій ногой пнѣть... Почему такому я нѣмца, примѣрно, пальцемъ не трону? — Сила, вотъ почему! Идетъ нѣмецъ и зенками своими говорить: „заѣдешь по мордѣ,—сдачи дамъ!“ И—мое къ нему уваженіе... А этотъ поровитъ потихоньку на тебя верхомъ сѣсть, потому прямой силы нѣтъ!..

— Ну, про силу-то ты мнѣ не сказывай, — возразилъ рабочій,—евреи, можно сказать, всѣмъ денежнымъ рынкомъ владѣютъ... государствамъ въ долгъ даютъ...

— Когда ни есть кусалъ тебя клопъ? — неожиданно спросилъ Кожевниковъ.

— Случалось,—невольно улыбнувшись, удивленно отвѣтилъ рабочій.

— Ну, вотъ... Что есть клопъ?—тьфу! махонькая пакость... А поди иной разъ до бѣлаго каленья доводила... Ты его тутъ шаршишь, а онъ ужъ тебя въ другомъ мѣстѣ чкалить... и очень больно чкалить, чортъ! Огонь зажжешь — хошь бы единый!—попрятались... Тоже, братъ, сила... да только плевать я хочу на эту силу!..

— А сила ума! Какіе средь ихъ умы родятся?

— Это у клоповъ-то? — съ легкой ироніей спросилъ Кожевниковъ.

Оба посмотрѣли другъ на друга и вдругъ засмѣялись.

— Я про евреевъ...

— Ну... я полагаю, и у насъ умы были... и у нихъ... На счетъ ума это вѣрно, что всѣ люди—одни... Что у коровы, что у лошади одинъ умъ—траву жрать.

— А по моему такъ: всѣ рабочіе — братья, — началъ рабочій,—турокъ-ли, еврей-ли, русскій, нѣмецъ—все едино. Евреи? Не мѣшало бы тебѣ взглянуть, какъ живутъ они тамъ, гдѣ сгружены, гдѣ ихъ, можетъ, миллионы... Нищіе — не лучше, а похуже еще насъ. Тотъ же рабочій, ремесленникъ, что и мы. Есть, конечно, и богачи—евреи, заводчики—евреи, такъ вѣдь эти господа—наши общіе враги. А рабочій еврей—нашъ другъ—по общей нашей нуждѣ! И всѣ мы турки, евреи, русскіе—рабочіе должны бороться съ общимъ своимъ врагомъ. Но общая сила рабочихъ всего міра страшна богачамъ. И теперь богачи коварно расщепляютъ нашу силу...

Густой, спокойный басъ не громкими, но твердыми звуками

давалъ жизнь тишинѣ и сумраку ночи. Во всей фигурѣ рабочаго, въ его движеніяхъ, въ голосѣ чувствовалась ровная, увѣренная въ себѣ сила. Онъ долго говорилъ о тѣхъ разныхъ способахъ „расщепленія“, къ какимъ прибѣгаютъ люди, желающіе „подольше посидѣть на своихъ денежныхъ мѣшкахъ“. Соображенія рабочаго были совершенно новы для Кожевникова, котораго вообще чуждались сознательные рабочіе, да и самъ онъ чуждался ихъ. И Кожевниковъ молча слушалъ. Иногда ему хотѣлось возразить, или просто задать вопросъ вродѣ того, что— „не пьютъ ли жиды кровь христіанскихъ младенцевъ?“ Однако онъ сдерживался, желая выслушать все до конца. А главное въ томъ, что все существо Кожевникова невольно влеклось къ спокойному, сильному человѣку—рабочему съ его ясными, простыми словами... И долго, забывъ о домѣ, они блуждали по окрестностямъ города. Пороку Кожевниковъ уже начиналъ ощущать огромную тяжесть новыхъ, невѣдомыхъ ранѣ, мыслей. И бывали моменты, когда имъ овладѣвало страстное желаніе стряхнуть съ себя новое бремя... Вихрь неясныхъ вопросовъ завружился въ его головѣ. И онъ смутно сознавалъ, что не теперь, въ теченіи какой-нибудь двухъ-часовой прогулки, можно всѣ эти вопросы поймать, собрать и расположить въ ихъ естественной послѣдовательности.

Время шло своимъ чередомъ. Востокъ заалѣлъ. Блѣдный молочно-сѣроватый свѣтъ исподоволь разливался въ сонномъ воздухѣ. Подулъ свѣжій утренній вѣтерокъ. Рабочіе вошли въ предмѣстье. Разной величины, деревянныя и каменныя зданія угрюмо смотрѣли на улицу рядами тусклыхъ темныхъ оконъ; за ними тамъ и сямъ высились фабричныя трубы. Городовой дремалъ, сидя на тумбѣ. По каменной пустынной мостовой иногда лишь, звонко и раскатисто, пугая тишину, дребезжала вздрагивающая пролетка возвращающагося домой извозчика.

Солидный басъ продолжалъ гудѣть, напоминая шмелиное жужжанье, и легкимъ эхомъ отдавался въ узкихъ переулкахъ и тѣсныхъ дворахъ, какъ бы отскакивая отъ мертвыхъ, высокихъ стѣнъ.

— Миѣ сюда, — сказалъ Кожевниковъ, съ своей обычной угрюмостью смотря въ блѣдное при утреннемъ свѣтѣ и утомленное лицо своего новаго знакома.

— Надо полагать, еще увидимся?

— Пожалуй, что такъ. Какъ звать...

— Парфень Николаичъ.

Они разстались.

X.

Какъ только Кожевниковъ остался одинъ, имъ овладѣло тяжелое чувство неудовлетворенности, что-то вродѣ недовольства собой, и снова, какъ и въ тѣ моменты, когда онъ напряженно слушалъ Парфена Николанча, имъ начало овладѣвать страстное желаніе стряхнуть съ себя бремя новыхъ мыслей. „Онъ говорить... А мнѣ надо было сказать“...—Готовое, выраженное точными словами, удивительно разумное, какъ ему казалось, возраженіе являлось въ его мозгу, поддразнивало его своимъ блескомъ, упрекало за неумѣнье во-время воспользоваться имъ. „И вотъ что еще забылъ я сказать“... И то, что Кожевниковъ „забылъ сказать“, представлялось ему однимъ изъ убѣдительнѣйшихъ доводовъ въ пользу его мыслей.

...При входѣ Кожевникова, Прохоровъ зашевелился подъ старымъ ситцевымъ одѣяломъ, помычалъ, открылъ сонные, мутные глаза, осмотрѣлся, подумалъ о чемъ-то и, наконецъ, вяло сказалъ:

— Видать, приглянулась дѣвча-то?

— Убирайся ты! — сердито пробормоталъ Кожевниковъ.

Прохоровъ вздохнулъ и повернулся на другой бокъ.

— Видать, промарьяжила... — произнесъ онъ и тотчасъ же началъ похрапывать и посвистывать носомъ.

„Вотъ, лягу и окончательно обдумаю на полной свободѣ“, — подумалъ Кожевниковъ. Но какъ только легъ, такъ сейчасъ же и уснулъ вѣрѣкимъ, глубокимъ сномъ. А когда проснулся, первую его мыслью была мысль о новомъ знакомствѣ. И эта мысль была ему почти пріятна. Его потянуло къ новому знакомому; хотѣлось поскорѣ увидѣться съ нимъ, потолковать, обмозговать кое-что, возразить на его слова... Въ тотъ же вечеръ онъ отправился къ Парфену Николанчу...

Едва ли еще не въ первый разъ Кожевниковъ испытывалъ жгучее удовольствіе отъ самаго процесса усиленно работающей мысли и не менѣе сильное желаніе узнать „суть вещей“. Разумѣется, онъ не могъ еще ясно формулировать даже вопросовъ, онъ скорѣе лишь чувствовалъ ихъ... И вся жизнь представлялась ему въ данное время рядомъ вопросительныхъ знаковъ, которые настоятельно требуютъ разрѣшенія.

На столѣ у Кожевникова появились брошюры и листовки, взятые у Парфена. Тутъ же, впрочемъ, лежали и газеты отъ

Чешуйкина. Кожевниковъ внимательно читалъ и перечитывалъ и эти газеты; но рѣшительныхъ заключеній уже не дѣлалъ. Въ его душѣ постоянно сталкивались два противорѣчивыхъ мировоззрѣнiя; и, благодаря этому обстоятельству, Кожевникова мало-по-малу всецѣло охватывала дѣйствительная, глубокая жажда знанiя.

Присущiя ему угрюмость и несообщительность продолжали держать его въ нѣкоторомъ отдаленiи отъ товарищей по работѣ. А сидѣвшiй съ нимъ рядомъ, пожилой, со впалой грудью, чахоточный рабочiй — такъ же, какъ и онъ, правившiй нѣсколько часовъ подъ рядъ, въ одной и той же позѣ, кромки безконечной лентой уходящаго впередъ сырого, пахнущаго краской холста, — тоже не отличался болтливостью; — онъ молча умиралъ медленной смертью, служа безропотно господину Капиталу, который однимъ изъ своихъ безчисленныхъ щупальцевъ пiявкой присосался къ его грязному, потному тѣлу. Но работалъ ли Кожевниковъ, переживался ли изрѣдка словами съ товарищемъ, или дѣлалъ себѣ роздыхъ, — всѣмъ существомъ своимъ онъ былъ дома за книжкой, которую перечитывалъ уже не въ первый разъ. И часы работы тянулись, казалось ему, безконечно долго.

Шли дни.

Жажда знанiя съ каждой прочитанной книжкой, съ каждымъ разговоромъ съ Парфеномъ, становилась напряженнѣе. Предъ Кожевниковымъ еще чуть-чуть открывалась завѣса будущей жизни человѣчества; но его голодное воображенiе уже было поражено слабымъ еще, лучезарно-красивымъ сiянiемъ грядущихъ „золотыхъ временъ“. „Въ суткахъ маловато часовъ“, — мысленно говорилъ онъ и просиживалъ почти ночи напролетъ, съ великимъ трудомъ осиливая какую-нибудь крошечную брошюрку. Это было пока чистое стремленiе къ познанiю, — безъ примѣси желанiя передавать новыя мысли другимъ. Кожевниковъ пока ревниво таилъ въ себѣ новое настроенiе.

Мало-по-малу глаза его стали блестѣть болѣе веселымъ, жизне-радостнымъ блескомъ. При разговорахъ съ Парфеномъ Николаичемъ онъ, вперемежку съ разными вопросами, съ присущей ему страстностью фантазировалъ объ „общей миролюбивой жизни людей“, о будущемъ „лучистомъ порядкѣ жизни“...

— Ку-да-а намъ... намъ не дожить! — восклицалъ онъ. — Ну, а хоть бы брызжущiй краешекъ солнца увидать... Если все это правда, — неизмѣнно добавлялъ онъ. — А ты подожди... Какимъ родомъ уладится вотъ что: не будетъ войска... а вдругъ

гдѣ ни есть, на краю свѣта, объявится такой народъ, да и захветъ на насъ силу?..

— А вотъ это какъ!—Огромнѣйшихъ размѣровъ такая хранина... на десятокъ тысячъ народу... тысячерожковая люстра... ослѣпляющій свѣтъ огня... Понятное дѣло, граммофонъ,—должна быть его труба сажени двѣ... Органище—саженъ пять въ высоту и соразмѣрная ширина... Тутъ, примѣрно, танцы и вообще разный беляндрасъ; тамъ—просвѣтительный и иной-прочій разговоръ и, понятное дѣло, десятисаженный столъ съ внижкой, газетой... А я—парень сурьезный и, не говоря худого слова,—баць по зубамъ! Вотъ те и мирная жизнь?

— Да не бацнешь.

— Почему?

— Умственная полировка будетъ.

— Знаемъ эту полировку ума! Да не далече ходить... Рядомъ съ нашей деревней—тоже барская деревня. Баринъ не только что... лѣтъ до тридцати все учился и за-границей учился. Видное дѣло, полированный господинъ. А случилось вотъ что. Застаетъ онъ свою жену въ спальнѣ съ докторомъ. Тра-ахъ! и уложилъ обоихъ. Спалъ вмѣстѣ—и въ могилу вмѣстѣ!.. Вотъ те и полировка ума!

— Какъ-нибудь все удумается...

— Да, удумать придется!

— Ну, а какъ, братъ, въ тѣ времена еврей?

— Не говори ты мнѣ этого, Парфенъ Николаичъ! Что хошь ты... не люблю я ихъ... н-ну, вотъ, не люблю и больше ничего!

— А нѣмцы?

— Съ этими еще туда-сюда...

— Армянинъ?

— Тоже ничего.

— Татаринъ?

— А-а, —весело воскликнулъ Кожевниковъ:— „Сала-мали-ымъ“, „внзъ“... да за милую душу!

— Куда-жъ ты евреевъ-то дѣнешь?

— У нихъ свое особливое царство будетъ. Мало ли остро-отъ на свѣтѣ? Но пускай десятисаженной стѣной отгородятъ и вода запрутъ...

XI.

Съ своимъ сожителемъ Кожевниковъ почти пересталъ говорить. Иногда Прохоровъ, понимавшій, что съ парнемъ происходитъ какая-то перемѣна, нарочно выдумывалъ какую-нибудь неблизкую, точно хотѣлъ поддразнить его, и плелъ свою обычную спокойную разбѣренную канитель. Кожевниковъ молча слушалъ, смотря на Прохорова слегка прищуренными и ничего не выражающими глазами.

— Это было въ городѣ Севастополѣ. Большой и богатѣйшій городъ, потому что стоитъ онъ при морѣ,—тянулъ Прохоровъ.—Устроили въ ѣмъ жиды складъ бомбъ,—разсылать ихъ, гдѣ бунты...

— По почтѣ? заказной посылкой?

— Нечего! не дуракъ я, слава Богу... Во всякомъ разѣ у ихъ своя почта. Хорошо. Губернаторъ... вру!—генераль-губернаторъ бумагу министру: дать въ полное распоряженіе войска. Сейчасъ же изъ столицы цѣлый полкъ курьерскимъ поѣздомъ — маршь! Окружили наши солдатки этотъ складъ. А *ты*, богоборцы-то, вышли изъ склада, — народъ все видный, здоровенный... и встали въ рядъ я,—которые были при этомъ, считали,—было ихъ ровно тринадцать человѣкъ. Тутъ вышелъ одинъ и манитъ пальцемъ самого командира.— „Что такое?“ — „Имѣю, говорить, сказать вамъ, что ежели вы хоть единый выстрѣлъ дадите, взорвемъ мы бомбы и...“ — Снялъ онъ съ головы шляпу, а на башкѣ у него ни единого волосика,—сіяетъ на солнцѣ плѣшь! — „Вотъ, говорить, видите мою плѣшь?“ — „Вижу“, — отвѣчаетъ командиръ. Бравый старикъ, еще въ турецкой кампаніи участвовалъ... забылъ его фамилію,—и фамилію называли...—Вижу, но къ чему ваши слова?“ — „А вотъ, говорить, взорвемъ мы бомбы, и будетъ весь городъ подобенъ моей плѣши“. Шутникъ-то какой! Докладываютъ генераль-губернатору фонъ... фонъ... фонъ-Лицшицу, да. Задумался миляга.— „Не жаль, говорить, мѣй города, а жаль людей, а особливо малыхъ ребятъ и младенчиковъ“. Такъ этотъ складъ и остался, покуда всѣ бомбы въ разные города не разослали...

Онъ помолчалъ, вздохнулъ, потомъ добавилъ:

— А на складѣ, сказываютъ, все время сидѣла дѣвица-жидовка; въ одной рукѣ бомбочка, въ другой—револьверъ...

— И дни, и ночи?

— Мѣнялись, понятное дѣло. И тутъ же, на древкѣ — красное знамя... А на знамѣ бѣлымъ по черному обозначено: „долой православную вѣру“.

— Чортова голова! самъ же говоришь—красное!

— Извѣстно, красное.

— А какъ же по черному-то?

— Деревенщина! Малый ребенокъ пойметъ... Бѣлое обозначеніе... понялъ?.. въ черныхъ этакихъ... лучахъ. Учить меня нечего! Книжекъ хваталъ, такъ ужъ и... Да я, можетъ, такихъ-то сотни на своемъ вѣбу видывалъ! Что это?—тфу! Бывало, другую, кая поменьше... отъ строки до строки... да! ровно „богородицу“...

Рѣчи Прохорова не смущали Кожевникова. Но, временами, пережитки прошлаго давали о себѣ знать, и тогда мучительныя сомнѣнія овладѣвали душой парня. „Много врутъ и про смуту, и про жидовъ, это вѣрно. А что какъ и на самомъ дѣлѣ весь разговоръ Парфена—обманъ и книжки врутъ? Если тутъ и въ самомъ дѣлѣ жидовская пружина?“ Онъ припоминалъ рѣчи на собраніяхъ „истинно-русскихъ“ людей и снова перечитывалъ газеты, данныя ему Чешуйкинымъ. Онъ, между прочимъ, не связалъ Парфену ни разу о своемъ знакомствѣ съ Чешуйкинымъ и что у него имѣются „истинно-русскія“ изданія. Зато онъ чуть не навзрусь заучивалъ наиболѣе поразившія его своимъ правдоподобіемъ мысли въ этихъ газетахъ. Случалось, что Парфенъ Николаичъ и самъ не могъ хорошенько опровергнуть иныхъ словъ Кожевникова и прямо съ своей обычной, нѣсколько грубоватой откровенностью говорилъ:

— Чортъ-те побери! совсѣмъ этого дѣла, какъ бы слѣдовало, окрутить своимъ умомъ не могу!

И эта откровенность нравилась Кожевникову и нисколько не утверждала его въ вѣрности данной мысли, даже напротивъ,—заставляла усиленнѣе работать мозгъ парня.

Однажды Кожевниковъ засталъ у Парфена Николаича студента, пишущаго въ газетахъ. Студентъ говорилъ обо всемъ плавно, безъ запинки и самымъ увѣреннымъ тономъ. Со стороны казалось, что въ его круглой коротко остриженной головѣ съ широкимъ лбомъ еще очень давно, едва ли не съ пеленокъ, образовалось что-то вроде множества отдѣльныхъ прекрасно оборудованныхъ влѣтушекъ, и въ каждой влѣтушкѣ въ удивительно стройномъ, мудро-хозяйственномъ порядкѣ, расположились грузы знаній одного какого-либо опредѣленнаго характера. Въ одной влѣтушкѣ, напримѣръ, грузы историческихъ свѣдѣній въ самой

строгой послѣдовательности, начиная съ эпохи крестовыхъ походовъ и кончая новѣйшимъ временемъ; въ другой — рядъ грузовъ по части экономическо-политическаго развитія народовъ; въ третьей — статистическія данныя о развитіи формъ крупнаго землепользованія въ Европѣ, и т. д. Этотъ въ высшей степени удивительный и даже странный въ глазахъ Кожевникова человѣкъ, ни на мгновение не задумываясь, самымъ пространнымъ образомъ, съ разныхъ сторонъ, логически и точно опровергалъ какое-угодно возраженіе.

Кожевниковъ былъ пораженъ, какъ былъ бы, напр., пораженъ мужикъ медвѣжьяго угла, увидѣвшій въ первый разъ мчащійся на всѣхъ порахъ локомотивъ, и никогда ранѣе не слыжавшій о немъ... И уже послѣ, оправившись отъ перваго впечатлѣнія, онъ не разъ говорилъ Парфену:

— Этого человѣка надо бы вставить въ большую золоченую раму и повѣсить на высокомъ мѣстѣ, на башнѣ, гдѣ много народу... И пускай чрезъ трубу поучаль бы народъ — гдѣ, что и какъ... А съ другой-то стороны въ такую же раму посадить бы... Прохорова. Этого — на потѣху... Хо-ро-шее представленіе въ лицахъ!..

Всезнайство студента какъ бы придавило Кожевникова. И несмотря даже на вниманіе, которое студентъ ему, видимо, оказывалъ, онъ какъ-то съежился и за весь вечеръ не сказалъ почти ни слова. Какая-то тѣнь ничѣмъ не вызываемаго недо-вѣрія омрачала душу парня. И когда студентъ ушелъ Кожевни-ковъ сразу повеселѣлъ и даже началъ ораторствовать.

— Наши-то слова, — сказалъ онъ, между прочимъ, и безъ всякой непосредственной связи съ предыдущимъ разговоромъ, — мозолью и ломотой костей спаяны и утрамбованы. Они, значить, и покрѣпче будутъ... Не гляди, что не казисты, безъ вырѣзныхъ коньковъ, да за то изъ башки-нутра... А что, Парфенъ Николаичъ, — вдругъ обратился онъ, — вѣдь на каждую, прамѣрно, ученую голову, можетъ, ведро рабочей крови ушло?

— Есть головы, что намъ же служить...

— А есть, что и свои карманы головами набиваютъ... Нѣтъ, Парфенъ Николаичъ: не всему голова — голова! Нуженъ трудъ жизни... мученіе жизни!..

XII.

Кожевниковъ получилъ письмо отъ Чешуйкина. Чешуйкинъ освѣдомлялся, почему парня не видно, и просилъ его зайти къ нему.

— Ужъ не отъ дѣвушки ли? — полюбопытствовалъ Прохоровъ.

Кожевниковъ ничего не отвѣтилъ.

— Случилось разъ на фабрикѣ Неймана такое дѣло, — началъ Прохоровъ, поудобнѣе расположившись на кровати. — Полюбилась парню красивая фабричная дѣвица. А потомъ, ужъ неизвѣстно какъ, вышло ли что промежъ ихъ, или чего, но только прынулъ онъ ее ножомъ до сердца. Хорошо. Стали ее рѣзать въ анатомическомъ музеѣ. И что же, братъ ты мой? — Нашли у ней самыя-то вотъ скверныя болѣзни...

Кожевниковъ, не говоря ни слова, взялъ фуражку и вышелъ.

Темнѣло. Фонарщики зажигали фонари. Народъ сновалъ взадъ и впередъ. Раздавались звонки стучащей и звякающей конки. Дребезжали экипажи. Дробный говоръ, подчасъ смѣхъ, подчасъ ругань — носились въ воздухъ. Было пыльно.

Кожевниковъ зашелъ въ первый попавшійся трактиръ и спросилъ бутылку пива. Народу было много. Говорили громкими рабочими голосами, размахивали руками. Органъ шумно наигрывалъ „Послѣдній нынѣшній денечекъ“. Слуги съ подносами въ рукахъ, съ грязными салфетками подъ мышкой, слегка раздвинувъ локти, какъ бы порхали, ловко лавируя между рядами стульевъ.

Мысль парня не могла сосредоточиться на чемъ-либо опредѣленномъ. Прохоровъ, горничная, Парфенъ Николаичъ, фразы изъ книгъ, обрывки разговоровъ, начитанный студентъ, Чешуйкинъ... всѣ эти представленія плыли, не задерживаясь въ слегка затуманенномъ трактирной сутолокой и пивомъ сознаниіи.

Но по мѣрѣ того, какъ образы и представленія, какъ бы конспектируя жизнь Кожевникова въ городской суетѣ, среди борьбы противорѣчивыхъ интересовъ, среди самыхъ разнообразныхъ по духовному складу людей, все быстрѣе мѣнялись, чередуясь между собою, — въ глубинѣ души Кожевниковъ росъ, дѣлаясь съ каждымъ мгновеніемъ все замѣтнѣе, одинъ вопросъ, какъ тутъ жить, какъ устроить себя, чтобы не затеряться мелкой

пылинкою, не погибнуть безслѣдно... И этотъ важный, огромный вопросъ, придавилъ, наконецъ, своею тяжестью разноцвѣтную ленту отрывочныхъ картинъ.

— Разъ на всю жизнь сказать себѣ, гдѣ правда, и жить... Вонъ тамъ сидитъ одинъ за столомъ, устался въ свой стаканъ и пьетъ... И нѣтъ для него никого. Такимъ родомъ и надо сѣсть въ жизни. Покрѣпче. Съ единой правдой. На одно мѣсто. И сидѣть до конца. И самъ чортъ не брать! По своей волѣ... По своей правдѣ...

— Здорово, голова садова! — вдругъ услышалъ онъ пьяный голосъ.

Возлѣ него едва стоялъ на ногахъ портновскій подмастерье Илья Лупандинъ, который нерѣдко бывалъ на митингахъ „истинно-русскихъ“ людей. Это былъ подслѣповатый, сгорбленный, хотя еще и молодой, худой, какъ скелетъ, съ блѣдно-темнымъ испитымъ лицомъ, человекъ. Онъ и самъ бы не могъ сказать, почему считаетъ себя „истинно-русскимъ“. Работалъ онъ мастерски, но вѣчно былъ подъ хмелькомъ, билъ жену, не упускалъ удобнаго случая, чтобы запустить камнемъ въ мимо бѣгущую собаку, артистически ругался, очень любилъ охотиться въ чуланахъ и погребахъ на крысъ и радовался, оживлялся, какъ ребенокъ, когда крыса попадалась въ капканъ; въ ранней молодости былъ страстнымъ любителемъ кулачныхъ боевъ. Ни къ какому ино-племеннику онъ антипатіи не чувствовалъ, исключая развѣ нѣмцевъ и то, главнымъ образомъ, потому, что жившая съ нимъ на одномъ дворѣ очень чистоплотная и очень сварливая нѣмка, когда видѣла его, неизмѣнно и аккуратно отпускала по его адресу одну и ту же брезгливую фразу: „На горизонтъ фвошоль руски швинъ“. Еврейскіе погромы онъ представлялъ себѣ собственно въ видѣ побоищъ— „стѣнка на стѣнку“; и если всегда бывало такъ, что русскіе били евреевъ, то иначе, по его мнѣнію, и быть не могло. „Скажи, нелѣпая твоя образаина, собачій племяшъ, ховайскому пѣтуху зять, кто устоитъ противъ нашего удара; вотъ я тебѣ морду подставлю,—на, искровяни!“ — Никогда онъ такъ отчаянно не напивался „отъ огорченія“ и никогда такъ жестоко не избивалъ жену, какъ во время русско-японской войны; но даже къ японцамъ, ни во время войны, ни послѣ ея, не чувствовалъ особенной вражды... Въ пьяномъ видѣ онъ плакалъ, скрежеталъ зубами, скандалилъ, слушая извѣстія о русскихъ пораженіяхъ и отступленіяхъ (отступленій онъ въ особенности не понималъ), и однажды, въ пьяномъ же видѣ, явился въ воинское присутствіе проситься въ добровольцы.

Кожевниковъ, увидя его, хотѣлъ-было расплатиться и уйти, но Лупандинъ съ бессмысленно-упорнымъ видомъ крѣпко вцѣпился въ его рукавъ и самъ грузно опустился на стулъ.

— Слыхалъ?—сказалъ онъ заплетающимся языкомъ, подмигивая подслѣповатымъ глазомъ. — Въ... какъ его... а-а, ну его къ... жидовъ будутъ...—Онъ сдѣлалъ свирѣбое лицо и скрипнулъ зубами — По... поѣхалъ бы... э-эхъ!.. Не вѣришь? Вотъ те истинный Христосъ!—И снова онъ скрипнулъ зубами.

Кожевниковъ пристально вглядѣлся въ свирѣбое и наивное даже въ своемъ свирѣбомъ выраженіи, пьяное, истощенное лицо Лупандина и съ какой-то особенной задумчивостью сказалъ:

— Э, другъ, что жидъ, что русскій—одна скотина!

Внезапно имъ овладѣло странное любопытство.

— А скажи-ка, братъ,—быстро спросилъ онъ, слегка встряхивая Лупандина,—за что ты жидовъ-то не любишь?

— Кого? жидовъ?—И Лупандинъ уставился въ Кожевникова бессмысленными округлившимися глазами.

— А-а, чортъ... говори, за что?

— За что?—Лупандинъ скрипнулъ зубами, стукнулъ кулакомъ по столу, молча помоталъ головой и потомъ внезапно съ пьяной слезливой торжественностью, поднявъ вихляющуюся грязную, рабочую руку, выгнуто протянулъ:—Господа нашего, Иисуса Христа... продали они...

— А нашъ братъ, русскій, не продаетъ Бога на каждомъ шагѣ?

Но Лупандинъ уже ничего не слушалъ; точно не своимъ, тонкимъ, звенящимъ голосомъ онъ продолжалъ тянуть, смотря въ пространство остановившимися глазами и нахмуривъ брови:

— ...Отреклись они... отъ Господа нашего, Иисуса Христа... за грѣхи наши... — Слезы брызнули изъ его глазъ. — За грѣхи наши... распятаго... во кресту пригво... пригвожденнаго... Исходилъ Господь нашъ всю землю-матушку... босыми ноженьками... пришелъ Онъ въ Россію-матушку... сѣлъ на камешекъ... на камешекъ сѣлъ... „Вотъ моя Господня земелька... земелька моя... сердешная... кровь моя!.. Вотъ люди мои... Возлюбилъ... воз... возлю... билъ“...

Вдругъ голова Лупандина ушла въ узкія плечи, и весь онъ задрожалъ мелкой дрожью, темное лицо перекошилось,—онъ зарыдалъ. Глаза Кожевникова свергнули злобой. Онъ крѣпко сжалъ плечо Лупандина и крикнулъ:

— А жену бьешь?!

Лупандинъ продолжалъ рыдать пьянымъ, внушавшимъ отвращеніе и жалость рыданіемъ.

— Больше тебѣ ничего не осталось, какъ убить себя!

— Ссе-бя...— очнувшись, пробормоталъ Лупандинъ.

— Да, себя убить... убить себя, какъ паршивую собаку!!

— Убить?— бормоталъ Лупандинъ, мотая опущенной головой.

А что? Ну... и ничего... и убью... и убью!— внезапно закричалъ онъ и, схвативъ пустую бутылку, замахнулся надъ своей головой.

— Брось, дуракъ!

Кожевниковъ выхватилъ бутылку, расплатился за пиво и почти вынесъ Лупандина изъ трактира.

— Эй, землячокъ,— обратился онъ къ проходившему рабочему,— проводимъ-ка человѣчка-то до-дому.

XIII.

На другой день вечеромъ Кожевниковъ, захвативъ газеты, отправился къ Чешуйкину. Волнуясь, онъ позвонилъ у двери и вздохнулъ съ облегченіемъ, увидѣвъ дѣвушку. Она радостно блеснула глазами.

— Здѣсь еще?— сказалъ Кожевниковъ.

— А почему-бы не здѣсь?— отвѣтила дѣвушка и какъ-то подозрительно взглянула на него.

Она сильно измѣнилась: похудѣла и смотрѣла совсѣмъ дѣвочкой; на блѣдномъ потускнѣвшемъ лицѣ появились кое-гдѣ легкія черточки.

— Какъ вы... должно, хворали?— тихо воскликнулъ Кожевниковъ.

— Да, нездоровилось. Проходите.

— Давненько?— спросилъ Чешуйкинъ.

— Да все что-то... нездоровилось...

— Дѣйствительно, съ лица вы точно спали, да и краски прежней нѣтъ... да-да...— Онъ пристально всматривался въ лицо рабочаго.

— Газеты принесъ...

— Ага! прочитали?

— Прочиталъ. — Онъ посмотрѣлъ на Чешуйкина и прибавилъ:— Есть любопытныя мѣста.

Чешуйкинъ молчалъ.

— Вотъ, напримѣръ...

По мѣрѣ того какъ Кожевниковъ все больше распростра-

нялся, цитируя нѣкоторыя мѣста изъ статей почти наизусть, лицо Чешуйкина утрачивало свое деревянное выраженіе. „А парень не глупъ“,—думалъ онъ. И временами восклицалъ:

— Вотъ видите? какая подлость? Безобразіе!

— Все это пишутъ,—заключилъ Кожевниковъ.

— А скажите пожалуйста,—быстро спросилъ Чешуйкинъ:— среди васъ, конечно, ходятъ слухи... Какой-то молодецъ изъ рабочихъ на митингъ за Лысой горой произнесъ, говорить, удивительную рѣчь въ казакамъ...

Кожевниковъ вѣрнею сжалъ рукой спинку стула.

— ...Казаки были смущены и удрали!

Кожевниковъ сдѣлалъ серьезно-вдумчивое лицо и, смотря въ сторону, сказалъ:

— Не мало, конечно, болтаютъ...

— А не слыхали, какъ его зовутъ? Онъ выступилъ на рабочемъ митингѣ въ первый разъ.

Кожевниковъ поднялъ голову и, спокойно смотря въ глаза Чешуйкина, отвѣтилъ:

— Называли разное, а больше—Иваномъ.

— Иваномъ? — Чешуйкинъ карандашомъ черкнулъ имя въ своей памятной книжкѣ.—Вашъ, значитъ, тезка...

Кожевниковъ усмѣхнулся.

— Выходить, такъ.

— Нѣтъ, какова бестія? Казаковъ смутилъ!

— Отчаянный...

— А не знаете, съ какого завода?

— Да онъ, слышно, только еще изъ деревни пріѣхалъ и будто... — Глаза Кожевникова заиграли: въ нихъ на мгновеніе мелькнуло что-то острое, невыразимо хитрое. — Будто изъ крещенныхъ татаръ...

— Ага!—Снова карандашъ забѣгалъ по книжкѣ.

— И, сказываютъ, въ ту же ночь съ поѣздомъ уѣхалъ. Не мало разговору... на щекѣ, пожалуй, верхковый рубецъ, ухо малость отсѣчено... какое ухо, не могу сказать.

— Бывалая шельма!..

— На рукѣ,—ужъ тоже не могу знать, на которой, пальца нѣтъ... — Онъ искося и какъ-будто нѣсколько удивленно посмотрѣлъ на пишущаго Чешуйкина, и снова въ глазахъ его мелькнуло нѣчто почти „зоологическое“.—Ужъ ежели, Егоръ Трофимычъ, амъ надо было знать это, я бы на хворостъ не посмотрѣлъ... Цнемъ ничего, а къ вечеру знобить.

— Что-жъ ты, братецъ, не написалъ? — перешелъ въ фа-

миллярно-отеческій тонъ Чешуйкинъ.—Можетъ быть, лекарство тамъ... я-бы съ полнымъ удовольствіемъ...

— Пустое дѣло. И въ голову не пришло беспокоить...

— Хочешь бить жидовъ?

— То-есть, какъ это?

— Очень просто, — засмѣялся Чешуйкинъ.—У насъ въ губерніи затѣвается исторія. Въ томъ мѣсяцѣ тамъ убили полицмейстера...

— Ъхать не на что... да и опять-же какъ отъ работы уѣдешь?

— Объ этомъ нечего беспокоиться; все устроимъ. Умные люди нужны намъ.

— Когда ѡхать?

— Хоть завтра?

— Повременю малость. Пожалуй, что сестра скоро изъ деревни пріѣдетъ.

Дѣствительно, сестра писала ему, что мать гонитъ её на заработки въ городъ.

— Твою сестру мы устроимъ.

— Малость и повидаться хочется. Можетъ, на дняхъ будетъ.

— Ну... заходи тогда черезъ недѣлю.

— Зайдемъ.

— Васъ что-то не видно?—спросила Кожевникова дѣвушка.

— Да такъ что-то...

— А я дождалась...

Кожевникову вдругъ стало почему-то мучительно жаль её. Онъ всмотрѣлся въ ея лицо, вздохнулъ, но ничего не сказалъ. И только, когда дѣвушка уже хотѣла затворить за нимъ дверь, онъ неожиданно для себя самого произнесъ:

— Аль что не ладно?—И нерѣшительно прибавилъ шопотомъ:—Заходите ко мнѣ...

Дѣвушка вышла на площадку лѣстницы и спросила:

— Гдѣ вы живете?.. Такъ. Ну, я, можетъ, и найду.

„Что-то не того... что-то худо“, — подумалъ Кожевниковъ, и снова жалость къ дѣвущкѣ вспыхнула въ немъ.

XIV.

Черезъ три дня къ Кожевникову пріѣхала изъ деревни сестра.

Это была дѣвушка высокаго роста, крѣпкая, сильная, съ

грубыми мужскими руками. Видно было, что на все смотрѣла она просто и прямо, „не мигаючи“, не охала и ничему особенно не дивилась. И одинъ лишь вопросъ былъ у нея: какъ жить, чтобы быть сытой, одѣтой и посылать лишній грошъ въ деревню матери.

Даже о потрясающихъ деревенскихъ исторiяхъ говорила она ровно, голосисто и спокойно при этомъ смотрѣла на собесѣдника своими большими, круглыми карими глазами съ длинными черными рѣсницами. Но отъ этого непринужденно-безстрастного тона содержанiе ея рѣчей получало въ глазахъ слушателя особенно важный смыслъ и невольно внушало жуткое чувство, почти страхъ...

— Вотъ и стали въ ту-пору хватать мужиковъ по дворахъ, на кого покажетъ барскiй приказчикъ, — голосисто пѣла она высокимъ, сильнымъ голосомъ, — а потомъ привели ихъ въ волю, связали, стянули порты и высѣкли. Вотъ въ тѣ-поры какъ высѣкли ихъ, надѣли они порты, исправникъ говоритъ: „ахъ вы, такiе-сякiе!“ А потомъ:— „Бунтовщики! злодѣи! до новыхъ вѣнниковъ помнить будете, какъ поджигать господскiе амбары“.

— А былъ поджогъ?—спросилъ Прохоровъ.

— Былъ. Да, подожгли. Своего хлѣба нѣтъ, какой и былъ—прѣли. А у барина, знамо дѣло, прѣпасть. Это—худо. Собака на сѣнѣ лежитъ, сама не жрѣтъ и другимъ жрать не даетъ. Подожили. Спервоначала просили честию, до умолота, въ ссуду. Гдѣ ужъ отдать; сразу видать было, что съ новой ржи на сѣмена не выйдетъ. Приказчикъ и не далъ. Не далъ... Покричалъ такъ-то исправникъ, а мужички наши рядомъ стоятъ, ровно замороженные гуси; округъ ихъ, знамо дѣло, стражники. Покричалъ, да потомъ въ тѣ-поры къ ближнему мужичку—Егору Мосеву,—подошелъ и кулачищемъ вотъ въ это мѣсто изъ-подънизу чикъ... Зубы—хрясь! Къ другому—чикъ! къ третьему—чикъ! къ пятому-десятому — чикъ! И всѣхъ, — а было ихъ десять съ однимъ, — отчикалъ. Отчикалъ. Былъ тутъ Семиха, — знаешь, Иванушка? — робкiй мужикъ, яблони у него въ огородѣ, ротъ разинулъ, зенки вылупилъ, стоитъ—изъ ума вышибло. Вотъ его чивнули, языкъ промежь зубовъ и попалъ. Какъ завылъ Семиха! — „А-а, ты орать, мать твоя курица!“ По мордѣ ему—щъ! А тутъ у него изо-рта кровища показалась съ пѣной... ровнища.

Кожевниковъ сидѣлъ молча, блѣдный, со стиснутыми зубами.

Дѣвушка продолжала, смотря брату въ лицо большими чными глазами:

— Забыла я. Чикнетъ и окромя ругательныхъ словъ вымолвить:— „Вотъ те и крумѳла!“ Чикъ и— „вотъ те крумѳла!“ А въ нашихъ мѣстахъ прослышали, что у исправника допрежь того неподавныя дѣла были. Въ другихъ-то мѣстахъ онъ въ становыхъ былъ. Вотъ разъ и удумалъ онъ въ самыя заморозки рѳдныхъ дѣтишекъ въ рѳчѣ искупать (пьяный, али что былъ, прости его Господи!).. Лютъ!..

— Все это сказки,—возразилъ Кожевниковъ.

— Не знаю. Тебѣ наливать что-ли чаю-то?

— А ты вотъ что, дѣвица красная,—замѣтилъ Прохоровъ,—языка-то здѣсь очень не развертывай. Привяжи языкъ.

Кожевниковъ спросилъ о своихъ товарищахъ.

— А парни ровно бѣлены объѣлись,—сказала дѣвушка.— Карпушку въ острогъ упрятали... Въ острогъ. Хвастался, что заставить землю отъ господъ всю отобрать и запретныя книжки у него нашли... По банямъ, по увражкамъ собираются, говорятъ страшное и эти самыя книжки читаютъ, за которыя въ острогъ сажаютъ. Кто и точить на нихъ зубы, да молчать, боятся. На Семку, да на Гришку пригрозилъ попу донести по начальству, такъ они что?—возьми, да и подучи попову кухарку:— „Скажи попу, ежели кого изъ насъ сплпакуютъ, такъ его, то-исъ попа-то, темной ночью безъ портовъ на улицу выгонять“. Какъ хошь, такъ и понимай.

Прохоровъ сокрушенно вздохнулъ.

— Такъ опосля такихъ словъ не то-что доносить,—засмѣялась дѣвушка,—а, поди, ужъ боится, какъ бы другой-кто не донесъ, да на него, попа, не подумали! Ну, и урядникъ тоже самое животишки имѣеть, дѣти малыя... Опосля того, какъ стражники-то наѣзжали, да исправникъ выпоролъ мужиковъ, такъ ужъ тутъ, — ба-а-тюш-ки-и! — и старики взбѣленились... Старики взбѣленились. Готовы съ парнями по банямъ бѣгать. Артѣмъ Кривой этта на сходѣ бороденку выставилъ, какъ козелъ, отъ земли не видать, кричить—горланить:— „Изничтожимся, прахомъ падемъ, безъ покаянья помремъ, а землю должно добыть. Черѣдъ нашъ пришелъ, старички, и до конца краю крестьянство подымается!“ Лаптами по правленскому крыльцу топъ-топъ, ровно родимчикъ нашелъ.

— Сама что-ли на сходѣ была? — уже серьезно спросилъ Прохоровъ.

— А то какъ? Нонѣ и дѣвки на сходъ бѣгаютъ. Такъ... „Добудемъ!“ — ерничить Артѣмъ. — „Добудемъ!“ — галдятъ мужики. — „Добудемъ!“ — пуще того ореть Лексѣй поротый, ореть

Трифонъ поротый, ореть Мокей поротый, въ истощну-головушку орутъ всѣ поротые... Орутъ.

XV.

Разказы сестры точно оглушили Кожевникова. Онъ, деревенскій парень, „безъ году — недѣля“ жившій въ городѣ, думалъ и не могъ понять, что за чудеса произошли въ деревнѣ за какіе-нибудь семь-восемь — не лѣтъ! — мѣсяцевъ! Словно муха какая укусила деревню! Давно-ли все, по крайней мѣрѣ повидимому, спало какъ-будто крѣпкимъ сномъ? Кожевниковъ, конечно, зналъ, что и раньше были — и горькая нужда, и разные смутные, часто загадочные толки о „прирѣзкахъ“, „передѣлѣ“, „царской грамоткѣ“, которую „съѣли министры“. Въ общемъ однако все было болѣе или менѣе спокойно. Люди иногда пухли съ голоду, работали на пустой желудокъ, въ болѣе счастливые годы — питались картошкой, настоящимъ ржанымъ хлѣбомъ, даже заводили самовары, а дѣвки шили шерстяные сарафаны, — и день шелъ за днемъ, мѣсяцъ за мѣсяцемъ... — въ общемъ ровные, безъ какихъ-бы то ни было особенно рѣзкихъ проявленій протеста. Деревня дремала. И вдругъ! — Все, что спало и лишь во снѣ грезило о „кисельныхъ берегахъ и медовыхъ рѣкахъ“, о тѣхъ сказочно-чудныхъ мѣстахъ, „гдѣ дѣвки лень прядутъ, прялки на небо владутъ“, — все проснулось, заворчалось, зажило необычайно-бурной жизнью... Правда, когда Кожевниковъ думалъ уйти изъ деревни на заработки, только-что кончилась непонятная для народа война, — и уже тогда деревня начала шевелиться; но это были движенія соннаго предъ пробужденіемъ, и трудно было-бы навѣрняка предположить, что этотъ сонный гигантъ проснется, а не перевернется на другой бокъ, чтобы заснуть еще крѣпче.

Живя въ городѣ, Кожевниковъ, разумѣется, не разъ слышалъ, а иногда случалось вычитывалъ изъ газетъ, что народъ рубить господскій лѣсъ, увозить господскій хлѣбъ, поджигаетъ господскія усадьбы; но всѣ эти слухи на него, какъ на чело-вѣка, стоящаго вдали отъ мѣста дѣйствія, а съ другой стороны — неспособнаго охватить воображеніемъ всю картину волнующаго крестьянскаго моря, — не производили особенно сильнаго впечатлѣнія; кромѣ того, была и извѣстная доля недовѣрія. Намець, и самая „смута“ въ рѣчахъ „истинно-русскихъ“ людей исовалась въ общихъ чертахъ, да и все дѣло сводилось къ

„подстрекательству подкупленныхъ жидами (и японцами) крамольниковъ“. Сейчасъ-же, изъ устъ родной сестры, только что прїѣхавшей изъ деревни и ни къ какимъ „партіямъ“ не имѣющей ни малѣйшаго отношенія, Кожевниковъ слышалъ несомнѣнные факты съ хорошо извѣстными ему именами.

Артема Кривого Кожевниковъ еще мальчишкой обзывалъ на улицѣ „мочальнымъ рѣшетомъ“, такъ какъ изъ всѣхъ бѣдныхъ мужиковъ это былъ самый бѣднѣйшій. Съ Гришкой и Сѣмкой онъ гонялся за дѣвчатами и лущилъ сѣмяны на посидѣлакъ. Кроткаго Семаху съ окровавленнымъ ртомъ и выпученными голубыми глазами, онъ представлялъ себѣ, точно вчера его видѣлъ. Онъ не разъ воровалъ еще не созрѣвшія семахины яблоки. Семаха заряжаетъ ружье сухимъ горохомъ и стрѣляетъ въ вороватыхъ ребятишекъ. Въ Первый-Спасъ Семахина баба приноситъ попадѣ въ даръ самыя спѣлыя яблоки и пьетъ чай за поповскимъ столомъ. И съ другими поротыми мужиками у Кожевникова были свои дѣла и счеты.

Но особенно жалко ему было Карпушку. Они вмѣстѣ кончили курсъ въ сельской школѣ и получили хорошія свидѣтельства съ раскрашенной узорчатой каймой и двухголовымъ орломъ. Карпушка—тихий задумчивый парень съ большими черными глазами. Учился онъ прекрасно, былъ склоненъ къ уединенію и къ вдумчивымъ разговорамъ о Богѣ, о „трехъ лицахъ“ у Бога и о томъ „Словѣ“, которое было, по евангельскому сказанію, въ началѣ всего существующаго. — „И начало въ словѣ, и конецъ въ словѣ,—говорилъ Карпушка,—потому слово и свято. Надо говорить меньше. Пустынники въ пустыню уходили, чтобы молчать“. У него была лишь мать, и онъ батрачилъ у барина.

— За чтò посадили Карпушку?—спросилъ Кожевниковъ сестру.

— Связываютъ, хвастался. Почитай, съ него и началось. До-прежъ не трогали. ...По началу прїѣзжалъ на село мудрѣннй человекъ, вродѣ торгующаго. Какой тамъ торгующій! Заѣхалъ къ Филипу Харчову, а къ Филипу въ тѣ-поры сынъ съ войны пришелъ. Толчея у нихъ каждый вечеръ. Прїѣхалъ и этотъ человекъ. Разложилъ тесемочки, пояски, книжечки, а самъ, между прочимъ, чай пьетъ. Тары-бары... Солдаты-то смекнулъ, что человекъ-отъ мудрѣннй,—тою же минутой на село къ тому, другому. Набилось народу—полна изба. А тотъ и радъ. И почалъ, и почалъ! И про землю, и про выкупные... да на цифрахъ все,—гладко! А солдатъ въ его же голось про свое начальство, да какъ ихъ кормили, да какъ одѣвали-обували, да какъ денежки

себѣ въ карманъ клади... Провѣдалъ бакалейщикъ Спиридонъ Павлычъ. Пришелъ, да и стоитъ себѣ, притулился за народомъ... Притулился. Слушалъ-слушалъ, да и протискался къ столу. И говорить: „Что же вы, православные, слушаете этого мерзавца? За такія рѣчи его въ Сибирь надо! Вязите его, негодяя, да въ волость!.. И ты тоже... еще служивый, царю-батюшкѣ служил!“ Молчитъ народъ. Вотъ тутъ Карпушка-то и вскинулся. Ровнехонько, тихохонько началъ, а потомъ и пошелъ, и пошелъ... откуда что берется! Все отчиталъ Спиридону Павлычу — и про покось, и про мельницу, и про всё-то его дѣла супротивъ міра. Вышло, будто самъ-то Спиридонъ Павлычъ несусвѣтный воръ и грабитель. Позеленѣлъ Спиридонъ Павлычъ. — „Н-ну, говорить, Карпъ, не забудь свои слова, а я твои попомню“. И ушелъ. Ушелъ. Въ скорости Карпушку съ барскаго двора прогнали. А онъ тому даже радъ! Денно и ночью потайныя книжки читаетъ. Видать, не мало оставилъ ему тотъ-то человѣкъ. И солдаты съ ѣмъ. Толкуютъ... Въ тѣ-поры николи еще наши парни такъ не читали. И пошло! Евстигнѣйка Гладковъ смѣется разъ, — разыгрался съ Артёмовой Дунькой на заваленѣхъ: — „Нашей свадьбѣ у Покрова не бывать!“ — „А пошто?“ — „Къ Карпушкѣ на казенный харчъ пойду“. — „Подождѣ-емъ! — „Не побрезгуешь?“ — „Чай не по худому дѣлу пойдешь!“

— О-хо-хо-хо-о! — скорбно вздохнулъ Прохоровъ.

А Кожевникову вдругъ захотѣлось имѣть крылья, чтобы перелетѣть въ свою деревню. И чѣмъ больше онъ думалъ по поводу разсказовъ сестры, тѣмъ сильнѣе разгоралось въ немъ желаніе. Онъ и очень бы скоро рѣшилъ ѣхать, да останавливало то, что тамъ ему нечего дѣлать. Помимо простого любопытства, его тянуло въ деревню желаніе потолковать съ земляками, выяснитъ многое и для себя, своими ушами услышать требованія и запросы земляковъ.

Здѣсь, въ городѣ, интересы рабочаго класса были особенныя, отличныя отъ интересовъ крестьянской массы. Да и сами рабочіе съ ихъ привычками, жизнью, даже до извѣстной степени по ихъ духовной структурѣ — не то, что крестьяне, хотя порядочное число рабочихъ еще и не порвало связи съ деревней, а нѣкоторые имѣютъ тамъ братьевъ, сестеръ, отцовъ и матерей — очень немногіе, — даже женъ. Здѣсь разговоры — объ увеличеніи заработной платы, объ уменьшеніи рабочаго дня, о разныхъ рѣшимахъ со стороны „старшихъ“ и заводууправленій, о конкуренціи со стороны пришлаго люда и, наконецъ, объ измѣ-

неніи государственнаго строя на такой, который давалъ бы больше простору для самодѣтельности человека...

Какія же требованія предъявляетъ деревня? Разумѣется, Кожевниковъ не сомнѣвался, что толки идутъ главнымъ образомъ о „землѣ“. Но какимъ образомъ рѣшается тамъ земельный вопросъ, чего ждутъ отъ правительства, какія формы принимаетъ старая думка о всеобщемъ „перехѣлѣ“, какія, наконецъ, опредѣленныя требованія предъявляются къ помѣщикамъ, — ничего этого Кожевниковъ, какъ слѣдуетъ, знать не могъ, — и не зналъ.

В. К. Измайловъ.



ИЗЪ ДНЕВНИКА

ЮНОШИ „ТРИДЦАТЫХЪ ГОДОВЪ“

Разбирая письма и дѣловыя бумаги моего дѣда, я наткнулся недавно на пачку какихъ-то тетрадей, туго связанныхъ веревкою, покоробленныхъ отъ сырости и даже покрытыхъ плѣсенью. Связка эта валялась долгіе годы въ нижнемъ ящикѣ стараго шкафа; въ ней оказались преимущественно различные счета, накладныя, росписки въ полученіи товара и даже, между ними, паспортъ какого-то крестьянина калужской губерніи, Ивана Архипова; онъ ходилъ по оброку отъ помѣщика Тимирязева; при немъ была записка, что крестьянинъ состоялъ грузовымъ извозчикомъ и взялся везти въ Оптиный монастырь, въ Введенскій скитъ, разные товары и книги для братіи по два рубля ассигнаціями съ пуда.

Все это было мало интересно, и я хотѣлъ уже снова завязать пачку, какъ вдругъ замѣтилъ маленькую по формату тетрадку, но довольно толстую, въ розовомъ бумажномъ переплетѣ. Я открылъ ее... Между листами книжки лежала вѣтка сирени, совершенно коричневая отъ времени, но спрессованные цвѣточки хорошо сохранились и даже, какъ будто, дышали чуть-чуть ароматомъ.

Кудрявымъ, но неустойчивымъ еще почеркомъ пестрѣли страницы тетради; никакой системы веденія въ короткихъ записяхъ не было замѣтно, — писалось порывомъ, съ налета. Молодая душа, сдерживаемая строгими правилами отцовскаго дома, вырывалась наружу въ этой маленькой книжкѣ.

Мой дядя, Александръ Егоровичъ, старшій братъ моего отца, родившійся въ 1813 году, былъ авторомъ этихъ сердечныхъ изліяній, этой исповѣди души...

Несмотря на свою молодость (онъ умеръ на двадцатомъ году жизни), Александръ Егоровичъ, окончивъ курсъ Высшаго училища, теперь 2-й петербургской классической гимназіи, былъ очень развитой человѣкъ по тому времени, обладалъ мягкимъ поэтическимъ характеромъ и, какъ это ни странно, увлекался двумя совершенно противоположными предметами—религіей и... театромъ. Онъ былъ лично знакомъ съ митрополитомъ Серафимомъ, и въ то же время велъ знакомство съ нѣкоторыми артистами императорской сцены.

Несмотря на всѣ старанія дѣда пристроить сына въ своему дѣлу по окончаніи училища, ему не удалось это сдѣлать,—Александръ не годился для торговли. Дѣдъ пробовалъ отдать его на службу въ другимъ купцамъ, но онъ, прослуживъ въ Выборгѣ, вернулся въ Петербургъ больнымъ горячкою и вскорѣ утонулъ, пытаясь перейти вбродъ черезъ Черную рѣчку, около Смоленскаго кладбища.

Маія 1-го дня 1830 года.

Слава Богу, окончилъ Училище; — старанія мои были, дабы утѣшить родителей познаніями. Папенька чрезвычайно доволенъ, но не выказываетъ своего довольства; маменька сказывала: „не должно, чтобы дѣти знали, сколь довольны ихъ родители“.

Папенька всѣхъ насъ любитъ, — зачѣмъ онъ скрываетъ это отъ насъ? Отчего мы не можемъ съ нимъ подѣлиться нашею радостью?

Я люблю его, уважаю, но боюсь; — маменька добрее, она, порою, готова все для тебя сдѣлать. Что-жь, все—дѣло душевное, а „за души нѣтъ цѣны“; — будь воля Божья, вотъ и все!

Маія 6-го.

Большое наслажденіе доставило мнѣ чтеніе стиховъ, вотъ они:

Я люблю языкъ прекрасный
Чудной русской стороны;
Русской рѣчи строй согласный,
Будто лепеть сладкогласный
Переватистой волны;
Будто звучный громъ потока,
Эхо музыки живой,
Будто гимнъ пѣвца Востока
Друга розы молодой!
Грусть-ли на-сердцѣ заносеть,
Горе-ль въ душу западетъ,
Въ сердцѣ грусть оно омоетъ,
И душа въ немъ отдохнетъ.

Вотъ каковъ языкъ державный
Царства русскаго органъ
Голосъ Руси православной
Чудодѣйный талисманъ.

Душевно желалъ бы написать подобныя сему стишки, но мысли такъ не складываются. Ахъ, отчего я не могу этого совершить!

Николинъ день.

Вернулся съ кладбища. Сердце влечетъ туда невольно, и напоминаніе о друзьяхъ, пришедшихъ за предѣлы могилы, извлекаетъ слезы.

Многіе въ стѣнахъ мертвой обители сей имѣютъ залогъ, ввѣренные земнымъ нѣдрамъ. Гулять на кладбищѣ, или вблизи его, имѣетъ въ себѣ нѣчто благоговѣйное.

Жизнь есть смѣсь радости и грусти. Душа и сердце живѣе возносятся къ Тому, Кто разстилаетъ цвѣтушіе ковры по лугамъ, и Кто озлащаетъ нивы благодатною жатвою. Настоящее исчезаетъ, душа живетъ воспоминаніемъ, симъ послѣднимъ союзомъ съ жизнью, тѣхъ скоротечныхъ земныхъ странниковъ, которые покоятся въ хладной могилѣ.

Іюнь, начало.

Какой чудесный день! Своею прелестью онъ меня утомляетъ. Папенька сегодня сказывалъ мнѣ за обѣдомъ: „Довольно, Александръ, погулялъ, пора и за дѣло браться!“

Я радъ доставить пріятство папенькѣ, но къ какому дѣлу онъ меня приспособить?

Я помолчалъ, папенька опять сказалъ мнѣ: „Ты будешь писать мнѣ письма, почеркъ у тебя кудрявый, разбористый, опосля къ разборкѣ пеньки тебя приучу“. Коли папенька желаетъ, волю я его долженъ исполнить; сегодня воскресный день, а завтра примусь за писаніе.

Понедѣльникъ.

Пишу письма съ папенькиныхъ черниковъ, написалъ четыре: въ Зубцовъ, Ливону Афончикову; въ Козельскъ, отцу Леониду; въ Карачевъ, дѣдушкѣ Ильѣ Бочарову; туда же, Андрею Ивановичу Найденову, вѣрительное письмо на покупку людей...

Господи! Сколь велика наша жестокость! Какъ скотовъ, прѣать живыхъ людей; сказываютъ, опричь Россійскаго государя, только въ Американской странѣ людьми торгуютъ; неужели югда препоны этому торгу не будетъ? Очень тяжело слыть про сіе позорное торжище.

Въ писаніи сказано: „Убивающіе тѣло, не убійютъ душу живу“. Чичо такъ! Но торгомъ подобнымъ затемняется и душа.

Черезъ нѣсколько дней.

Спрашивалъ маменьку по этому, что она полагаетъ?

— Не нами это, сынокъ, задѣлано, не нами и закончится, на то высшія власти существуютъ.

Задумался я. Почему же такъ? Отчего каждый человѣкъ не говоритъ супротивъ этого?

— Маменька, — сказываю я ей, — а когда всѣ російскіе люди супротивъ такой кабалы возстали бы и твердое рѣшеніе свое поставили, чтобы людского торго больше не было?

— Глупый ты, сынокъ, сколь возможно такую затѣю надумывать; вѣдь отъ нея помѣщикамъ одинъ раззоръ будетъ. Кто же станетъ землю обрабатывать, хлѣбъ сѣять? Всѣ тогда разбредутся по сторонамъ. Кому жъ охота чужую землю обрабатывать?

Маменька правду сказываетъ. Чужое дѣло, ой, не сладко!

— А если бы мужикамъ землю дали?

Разсердилась на меня маменька.

— Ахъ сколь у тебя неразумныя сужденія! Вѣдь тогда всѣ помѣщики нищими стануть.

Слушаю это, вижу, что маменька истину толкуетъ, но какъ же быть-то, чтобы все по божескому вышло?

Тихона брата именины.

Пришли сверстники Мошнины. Товарищей не звали, гдѣ ихъ нинѣ найдешь, всѣ разбрелись, лѣтняя пора. Папенька послѣ обѣда легъ спать, а мы всѣ и сестры пошли въ садъ. Молодежь веселилась, бѣгала взапуски, а я сидѣлъ подъ липою и все думалъ о моемъ разговорѣ съ маменькою. Послѣ вечерень пріѣхалъ отецъ Ааронъ съ дьякономъ, Силою; они не велѣли будить папеньку. Я подошелъ подъ благословеніе отца Аарона.

— Что-жъ ты въ веселію не прилежишь? — спросилъ онъ меня, — юность веселится, а ты сидишь, погруженный въ задумчивость.

Мы были одни, молодой дьяконъ бѣгалъ съ братьями. Я не сталъ скрывать своей думы и все рассказалъ о. Аарону.

— Ишь ты, сколь юнъ еще, а бунтовать мыслишь.

Но я внялъ, что въ голосѣ его не слышно гнѣва, осмѣлился его спросить:

— А вы, батюшка, какъ о семъ торгѣ мыслите?

Задумался от. архимандритъ, пристально посмотрѣлъ на меня.

— Мудренъ ты, Александръ, монаха о житейскомъ вопрошать желалъ, — уклонился онъ отъ прямого отвѣта, но, положивъ мнѣ на голову руку, кротко добавилъ:

— Мысль я также, что негоже торгъ чинить созданіямъ, по образу Божію сотвореннымъ.

Взбунтовались мои мысли, взошли въ голову.

— Если вы таково мыслите, почему же не сказываете вашихъ мыслей по открытости?

Усмѣхнулся.

— Не все должно сказывать, что лежитъ на сердцѣ. Иной разъ и Творецъ Небесный правду видитъ, да не скоро скажетъ.

Въ садъ пришелъ папенька, разговору нашему конецъ.

Іюль.

Пишу письма папенькѣ, хожу съ нимъ на разборку пеньки на каменный буянь, хотя рвенія особеннаго къ этому дѣлу не чувствую. У папеньки вышла большая неприятность насчетъ Данила Николаева. Продали ему мы солонину, что съ Карачева прислали, за деньгами многожды къ нему ходилъ, но сыскать не могъ, все сказываютъ: на Площадку ушелъ. Папенька сердится, видимость имѣется, что Николаевъ банкротомъ объявить себя думаетъ и прячется.

Наши деньги за нимъ, хотя и небольшія, а папенькѣ все-же жалко.

Казанская.

Съ Николаевымъ сладилось. Папенька деньги всѣ получилъ, повеселѣлъ сразу, отписалъ дяденькѣ Сергѣю Ильичу въ Карачевъ, что такъ-то лучше удалось, а новые судьи въ коммерческомъ не знаютъ, что дѣлать и какую резолюцію въ такихъ случаяхъ полагать.

Обрѣзалъ онъ вечеромъ въ саду сушь и мнѣ сказалъ, что въ биржѣ собрана особая коммиссія для опредѣленія съ точностью линейной мѣры въ Англии.

— Упреждали, что для російскихъ купцовъ есть наставленіе, какъ торговать требуется, а то, болѣе кто изъ молодыхъ, не по правдѣ торговать зачали. Биржевой комитетъ надумалъ спосылать въ аглицкую землю купеческихъ сыновей для уразумѣнія торговой науки. Коли тебѣ желательно, я не прещу твоему желанію и отправлю за море.

Сердце у меня такъ и застучало отъ радости, но боялся я родителю сказать всю правду. Перемѣнчивъ онъ и упрямъ больно, коль замѣтитъ, что ты на дѣло сразу льстишься.

Долго мы съ нимъ еще въ саду находились, но объ аглицкой емлѣ не толковали.

Недѣлю спустя.

Папенька не вспоминаетъ о послыжѣ меня въ аглицкую землю;

но не состоялась биржевая комиссія. Хотѣлъ я у Николая Григорьевича Калгина спросить, когда къ намъ онъ заходилъ. Онъ биржевикъ, маклеромъ значится, да побоялся, чтобы папенькѣ не передалъ. И то неприятность вышла. Крестьяне, что въ Александровой слободѣ приписаны, на мануфактурѣ работаютъ, воспротивились картофелю копать.

Сказываютъ, какой-то странникъ подговорилъ ихъ, чтобы противъ приказа идти.

— Глупые люди, чортовымъ яблокомъ произрастанія полезныя прозываютъ, Эдвердца, механика своего, что уговаривать ихъ принялся, чуть не убили. Служащій отъ Джемсъ Лиделя вчера на буйнѣ мнѣ сказывалъ, что въ Лондонѣ русскому для мысли большой просторъ имѣется и всякая наука открыта. Отчаянью подобно мое сожалѣніе, что не удастся мнѣ въ сей странѣ побывать.

Спасовъ день.

О сей день ходили на воду. Все наше семейство было тоже; отъ Николы Мокраго вплоть до самой воды крестный ходъ вытянулся, промежъ барокъ съ пенькою шли, папенька крестъ за престольный несъ. Идетъ, а самъ пѣвчимъ подпѣваетъ и такъ высоко, что превыше дисканта оказывается. Отецъ Николай воду святилъ. Красота на Невѣ была, въ ялики народу много понасѣло съ Васильевской стороны, къ плоту не подчаливали, а держались на веслахъ посерединѣ, и оттуда смотрѣли.

На буйнѣ тоже много богомольцевъ стояло,—новѣ барокъ въ приходѣ много, коренныхъ и разборщиковъ поболѣ сотни четыре. Молебствовали торжественно, пришли домой къ часу.

Вася Мошнинъ принесъ мнѣ сегодня новые стишки очень чувствительные; я списалъ.

Со дня созданія подъять не смертныхъ родомъ
Незримый, вѣчный мечъ Судьбы;
Его не избѣжать обдуманнѣмъ уходомъ,
Его не искупать чистѣйшихъ устъ мольбы!
Онъ слѣпо падаетъ, вращаемъ въ длани твердой
На слабый цвѣтъ, на идолъ гордый.
Разить безъ выбора земныхъ племенъ толпы!
А человекъ—игра живая
Коварныхъ сновъ, надеждъ, суетъ,
Въ мечтахъ торжественныхъ до неба досягая,
Не помнить грозныхъ близкихъ бѣдъ.
Какъ бурный вихрь онъ нагрянуть,
Его блаженство разметутъ,
И никогда потомъ отрады не заглянуть
Въ его развѣнчанный пріютъ!

Возможно раздуматься надъ сими стихами, столь они правильно сказаны. Развѣ человекъ — не малая песчинка передъ Творцомъ, ничтожество существенное, а все же мнить себя горделиво.

Преображенъевъ день.

О сего дня прїѣзжалъ къ папенькѣ градской голова, Василій Григорьевчъ Жуковъ; папенька съ нимъ по зимамъ торговое дѣло имѣеть, покупаетъ для Карачева и для другихъ городовъ табакъ курительный и цыгарки и по зимнему пути отправляетъ гужомъ.

Веселый такой, хотя личность по столицѣ единственная, прїѣзжалъ звать все наше семейство въ воскресенье въ Катерингофъ на яботахъ покататься, пѣсенниковъ его послушать.

Папенька пѣнье любитъ, обѣщаль прїѣхать и меня захватить хотѣлъ.

— Коли линейка свободна будетъ, Графчикъ и дочерей возму, — сказалъ онъ Жукову.

Машеньку онъ Графчикомъ прозываетъ.

— Прїѣзжай, свать, — упреждалъ его Василь Григорьевчъ. — Ни вздыхать, ни зѣвать не придется, пѣвцы у меня молодцы. Коли заслушаешь, всяку печаль-тоску съ сердца соскребутъ.

Градскій голова уѣхалъ рано, чаю у насъ не напившись. Папенька былъ сильно польщенъ его званьемъ, весь вечеръ въ саду пѣлъ: „Среди долины ровныя“.

Ужъ коли пошли гости, такъ на всю недѣлю. Въ понедѣльникъ прїѣзжалъ къ папенькѣ сахарный заводчикъ, Василій Абрамычъ Алферовскій, и просилъ чтобы Карачевскіе купцы долго векселей его у себя на товаръ не держали, а подписывали и слали сейчасъ же обратно. По немъ во вторникъ прїѣхалъ изъ Черни, черныскій купецъ, Василій Алексѣевичъ Поповъ, тоже нашъ давалець.

Постъ Успенъю дня.

Писали изъ Болхова, чтобы выслать туда поснаго сахара, а его здѣсь нѣтъ, хотя и говорятъ, что онъ посный, но только для того, чтобы его продать. Алферовскій надъ папенькой даже посмѣялся.

Прїѣзжалъ къ намъ опять отецъ Ааронъ и о. Викторъ, протоиерей.

Отговалъ меня отъ архимандритъ въ сторону и говоритъ мнѣ:

— Ну что, бунтовщикъ? Раздумалъ что-ль мужиковъ на свободу пускать? — а самъ улыбается.

Я понялъ, что онъ шуткой мнѣ говоритъ. Отвѣчаю:

— Нисколько, батюшка, не передумалъ.

— А умомъ раскинуть все же не можешь, какъ все это произвести надобно?

— Нѣтъ, — отвѣчаю я.

— Ты вотъ къ намъ въ Лавру къ вечернямъ о Воскресѣньи приходи, апосля я тебя съ такимъ человѣкомъ сведу, что онъ тебѣ все доподлинно разъяснить, къ истинѣ доведеть.

Недоумѣвалъ я, снова спрашиваю.

— Кто таковымъ человѣкомъ обозначится?

Усмѣхнулся от. Ааронъ.

— Вотъ приходи, тогда и увидишь. Не теперь, дай прежде „вручѣ лѣто“ отправимъ. Вѣдь у насъ по канонамъ съ 1-го сентября зачатокъ года значитса.

Маменька спросила, когда от. архимандритъ съ протодьякономъ уѣхали, о чемъ они со мной говорили. Отозвался, что звали на лаврскую службу приходить. Очень довольна этимъ званьемъ маменька осталась.

Александровъ день.

Былъ съ папенькой въ Катерингофѣ. Чудесно здѣсь. Взору просторъ. Природа соединилась съ искусствомъ. Берега покрыты зеленью, каждагодно поправляемой, отчего получается лучший видъ.

Тутъ рѣдѣютъ аллеи тѣнистыхъ деревьевъ, тамъ красуются цвѣтники и простыя бесѣдки, тамъ возвышаются высокіе ряды густыхъ березъ, заслоняющихъ солнце. На гуляньѣ этомъ тѣснѣе соединяются всѣ сословія жителей и иногородныхъ гостей, представляя зрѣлище разнообразное. Въ одеждѣ видна красивая опрятность, въ поступкахъ вѣжливость; взаимныя свиданія, учреждаемыя привычкою и пріятностью ума, и незнакомыхъ дѣлаютъ знакомыми.

Здѣсь пріятно гулять и въ то время, когда порывы осенняго вѣтра сбиваютъ съ деревьевъ разноцвѣтные листья и устилаютъ землю узорчатыми коврами.

Папенька встрѣтилъ одного знакомаго. Онъ состоялъ здѣсь на службѣ при строеніи береговъ и носилъ званіе служилаго гидраулика.

— Вотъ, смотри, Александръ, — сказалъ мнѣ папенька, указывая на статнаго господина съ небольшими темными усами: — это самый лучший придворный ахтеръ Россійскаго театра, г. Каратыгинъ.

Когда-бъ сей знаменитый актеръ обратилъ въ ту пору на меня вниманіе, онъ прочелъ бы въ моемъ взорѣ высочайшее уваженіе и восхищеніе къ своему таланту.

Къ моему отчаянію до сихъ поръ мнѣ не довелось быть въ театрѣ, хотя все мое стремленіе направлено, чтобы видѣть знаменитѣйшее театральное представленіе: „30-ть лѣтъ, или жизнь игрока“, въ которомъ господинъ Каратыгинъ столь прелестенъ, какъ мнѣ сказывали люди его видѣвшіе, также какъ и въ „Юріи Милославскомъ“.

— О-зиму, когда навигація привончится, я тебя отпущу, Александръ, въ театръ, — сказалъ мнѣ папенька, точно напередъ провидѣвшій мое желаніе.

Доходили съ папенькой до городского вѣзда у Петровскаго моста; отсюда открывается новый, отличительный отъ прочихъ, видъ столицы.

8-ю Сентября, день праздника Рождества Богородицы.

Сколь радостенъ для меня, новѣшній день, не могу и выразить.

Папенька сперва желалъ вмѣстѣ со мною проѣхать въ Лавру въ поздней обѣднѣ, но недомогся что-то, вернулся отъ ранней изъ прихода, сказывалъ мнѣ:

— Ступай въ Лавру одинъ, послѣ обѣдни побывай у о. Аарона, передай ему мое почтеніе, можешь и вечерни тамъ отстоять.

Я не пошелъ, а побѣгъ, столь меня влекло скорѣе съ тѣмъ человѣкомъ повидаться, о которомъ сказывалъ о. Ааронъ, что онъ мнѣ все пояснить можетъ. Послѣ обѣдни въ соборѣ во имя Животворящей Троицы, о. архимандритъ повелъ меня до трапезы въ митрополичій садъ.

— Жалости достойно, — сказалъ онъ, — сколь въ Александровъ день порушенъ садъ и разоренъ городскими богомольцами, кои въ единожды въ сей день сюда допускаютъ.

Цвѣтники, увеселяющіе взоръ, разливающіе свои ароматы, грузныя вѣтви, зыблившіяся на разнородныхъ яблоняхъ, — все расъянно кинута на землю въ безпорядкѣ. Около парниковъ, защищающихъ безчисленныя прозябанія отъ воздушныхъ пережъ, хлопоталъ старый монахъ, съ большой сѣдой бородой; ему помогали два другихъ.

Замѣтивъ насъ, онъ поманилъ насъ рукой. Мы подошли. О. Ааронъ преклонился передъ старцемъ, я тоже.

— Ваше преосвященство, вотъ тотъ юноша, о которомъ я вамъ сказывалъ, купеческій сынъ, Александръ Полиловъ.

Я чуть не упалъ со страху. Предо мной стоялъ митрополитъ Серафимъ.

Вотъ кто былъ тотъ знающій человѣкъ, на котораго указы-
валъ о. Ааронъ.

Онъ отряхнулъ землю со своей ряски, пристально на меня поглядѣлъ и ласково сказалъ:

— Подойди, юноша!

Я подошелъ. Онъ благословилъ меня.

— Много о тебѣ сказывалъ о. архимандритъ; юношеская живость окрыляетъ радужной надеждой мысли, но помни, юноша, не всегда можетъ человѣкъ осуществить свои благіе порывы. Увы, многіе изъ нихъ несказанно цѣнныя, и цѣнность ихъ еще болѣе возрастаетъ, марево жизни заслоняетъ возможность ихъ исполненія. На дняхъ я слышалъ отъ схимника слѣдующія справедливыя слова: „Боже мой, изъ чего бѣется весь людской родъ, неужели кусокъ насущнаго хлѣба при жизни и сажень земли по смерти стоитъ столькихъ заботъ и хлопотъ съ утра до поздней ночи?“ Онъ былъ правъ по-своему, ибо Самъ Господь Богъ сказалъ: „Надъ каждымъ днемъ довлѣетъ злоба его“. Но мы печемся о большемъ, забывая о томъ, что каждую минуту душа наша можетъ быть вынута у насъ, и мы превратимся въ прахъ. Я много о тебѣ слышалъ, мысли твои открыты, намѣренія честны, да пошлетъ тебѣ Творецъ исполненіе всѣхъ твоихъ надеждъ и стремленій. Потолковалъ бы съ тобою и больше, но нужно идти трапезовать. Зайди ко мнѣ иной разъ, поговоримъ.

И онъ, вторично благословивъ меня, отправился въ трапезную.

Вотъ поистинѣ Богоданная встрѣча! Моя затаенная мысль снова вышла изъ-подъ-спуда, я сталъ думать, чѣмъ поспѣшествовать, дабы не чинили торгъ людьми.

Здѣсь записки прерываются на нѣсколько мѣсяцевъ; видимо, что автору ихъ не было времени записывать, или же онъ былъ въ отъѣздѣ. Новыя записываются къ Рождеству того же года...

Святки.

Слава въ вышнихъ Богу! Дожилъ до великаго Господня праздника;—сколь это утѣшительно!

О. Ааронъ съ о. Іоанниіемъ и лаврской братіей приѣзжали славить Христа. О. Іоанникій оставилъ маменькѣ собственноручную записку; я списалъ ее,—столь любезна она моему сердцу: „Просите святыхъ угодниковъ о ходатайствѣ ихъ предъ престоломъ Божиимъ о вѣчномъ спасеніи души вашей... Это поистинѣ самая важная просьба — не о временномъ и тщетномъ наслажденіи, но вѣчномъ, преславномъ и никогда нескончаемомъ пребываніи тамъ, гдѣ безчисленное множество ангеловъ, гдѣ

свѣтъ и радость, никакимъ умомъ непостижимыя... Вотъ куда стремится душа наша и ищетъ научиться, покуда въ тѣлѣ еще, какъ бы ей попасть на этотъ путь, что ведетъ въ царство Божіе. Аминь“.

Святки, еще.

Былъ опять въ театрѣ. Не смѣлъ беспокоить папеньку деньгами, попросилъ господина Рязанцева посадить меня къ музыкантамъ; видѣлъ „Братъ за брата“. Очень занимательно представляли. Г. Каратыгинъ 2-й чрезвычайно трогательно разыгрываетъ,—у меня потекли даже слезы.

30-го декабря.

Въ театрѣ папенька больше не пускаетъ, говоритъ: „Довольно, можно посидѣть дома съ сестрами“.

Скучно мнѣ, читать принялся. Вася Мошинъ „Исторію русскаго народа“, соч. господина Зотова, принесъ, ее читать началъ.

Новый Годъ.

Папенька послѣ ранней обѣдни ѣздилъ по купечеству, меня съ собою не бралъ, но приказалъ идти въ Лавру о. Аарона и о. Іоанникія поздравить. Я было хотѣлъ идти, да занедужилось что-то, знобитъ всего, а морозъ нынѣ великъ.

— Не ходи-ка лучше, Саша; папенька ради хвори твоей сердиться не станетъ,—сказывала маменька. Я и не пошелъ.

5-го святили воду въ церквахъ. Былъ я въ Лаврѣ. Послѣ вечерни ходилъ вмѣстѣ съ о. Аарономъ,—онъ нынѣ лаврскимъ настоятелемъ назначенъ,—къ его преосвяществу. Ждали недолго; вышелъ къ намъ, лицо утомленное, но радостное. Распрашивалъ меня обо всемъ, вспомнилъ и о торгѣ людьми.

— Все на мысли еще держишь, юноша. Дерзай, благое замышленіе, уповай, милостивъ Господь, не оставитъ тебя безъ особеннаго Своего промысленія. О, сколь счастливо было-бы наше отечество, когда бы многіе также думали. Буду съ высшими властями видѣться и нарочито вопрошать о семъ важномъ дѣлѣ стану. Вопрошать открыто—нажить себѣ недруговъ и загубить не провябшее зерно человѣческаго милосердія, и произростаніе его отложить на долгія времена.

Вотъ, что мнѣ сказывалъ митрополитъ, и слова его ловилъ я памятью своею, дабы доподлинно записать ихъ на бумагу.

— Ступай съ Богомъ, милосердный юноша, — сказалъ онъ мнѣ и отпустилъ съ благословеніемъ, а самъ съ о. Аарономъ прошелъ въ свои покои толковать о дѣлахъ лаврскихъ.

Выразить желательно родителю весь мой восторгъ по сей

бесѣдѣ, но опасаясь, гнѣваться станеть на мои размышленія о торгѣ людьми. Прискорбно таятся, на душѣ тяжесть обозначилась. Раздѣленная забота выносятся легче.

Безъ попытки.

Разсказалъ о своихъ мысленіяхъ ахтеру Рязанцеву и получилъ облегченіе.

Благодарное сердце у него, съ великою радостью принялъ онъ мое откровеніе. Просилъ совѣта у него, какъ поступать надлежить. Отвѣтилъ:

— Спѣшить въ такомъ дѣлѣ великомъ не слѣдуетъ, надобно помнить нашу пословицу: семь разъ отмѣрь—одиножды отрѣжь.

По его рѣчи сужу, тажежде толкуеть, какъ и его преосвященство; осуждаетъ поспѣшность.

— Въ иной разъ пойдемъ вмѣстѣ въ Василю Андреевичу (Каратыгину), онъ человекъ души отзывчивой, не преминеть, что для ради пользы въ этомъ дѣлѣ посовѣтовать.

Пока упредилъ меня таятся и не сказывать свои мысленія никому.

— Опасно сіе дѣло, дворянство всяку препону ему положить, — повторилъ онъ мнѣ. Въ театръ звалъ приходить, но я не общавался, на папенькино разрѣшеніе не надѣюсь.

— Скоро, на конецъ этого мѣсяца, въ бенефисъ Василя Андреевича, „Горе отъ ума“ г-на Грибоѣдова представлять будемъ, какъ есть цѣликомъ, не то, что раньше. Поди, видѣлъ лѣтомъ-то?

Отозвался, что не довелось.

— Тогда всенепремѣнно слѣдуетъ повидать, вся царская фамилія въ театрѣ будетъ. О мѣстечкѣ ты, Саша, не безпокойся, найдемъ.

Не посмѣлъ я ему открыться, что безъ дозволенія родителя придти въ театръ не осмѣлюсь.

Пришелъ подъ-вечеръ домой. У насъ въ гостяхъ сестрица Александра съ дѣтми; совсѣмъ упаматовалъ, что нонѣ Татьянинъ день и сестрица Таня—имянинница.

Папенька очень разсердившись былъ, что меня долго не оказалось, когда онъ съ биржи пріѣхалъ, маменьку упрекать зачалъ.

Со мной говорить даже не сталъ, а какъ ужинать сѣлъ, ложкой по лбу меня стукнулъ.

Допрежь того, какъ съ дѣтми и зятемъ Иванъ Ѳедотычемъ въ пѣтушки играли, не велѣли мнѣ съ ними въ игру садиться.

Но на сонъ грядущій благословилъ меня папенька, какъ и всѣхъ остальныхъ.

15 января 1831 года.

Подсчетъ по комиссіямъ за прошлый годъ закончили, папенька доволенъ.

Брату Тихону пошелъ осенью семнадцатый годъ; папенька хочетъ послѣ Высшаго училища по веснѣ приучить его къ своему дѣлу, меня же отъ него освободить.

— Не какъ слѣдъ ты къ нему прилежишь, старанье хотя и имѣется, а не погоже оно для тебя. Сыщу другое, или въ люди отдамъ.

И въ правду, не лежитъ у меня къ торговому дѣлу сердце, хочется что-то иное работать.

Онаднясь слушалъ, какъ г. Рязанцевъ на віолончели играетъ, заслушался,—точно проснулся, когда онъ игру свою закончилъ. Не въ здѣшнемъ мірѣ какъ бы находился.

Людей папенька купилъ на выкупъ, на имя сестры Александры—купцамъ нельзя, а ейный мужъ—чиновникъ, благородный.

Снова заняло мое сердце, снова обуяла его тоска.

Скоро купленные люди въ Петербургъ къ намъ съ гужевымъ обозомъ пріѣдутъ.

Господи! Гдѣ обрѣтается такая страна, гдѣ нѣсть ни раба, ни господина? У Тебя Одного Господи, только у Тебя, Пресвѣтлаго Создателя, въ селеніяхъ небесныхъ...

Безъ числа.

Папенька спосылалъ меня отобрать товару для отправки въ Корачевъ, къ В. Г. Жукову на фабрику.

Самъ меня на фабрикѣ встрѣтилъ, расцѣловался, радостенъ, ласковъ, такъ къ себѣ и манить, всю бы душу ему открылъ.

Хотѣлъ-было высказать ему свои помыслы, но вспомнилъ совѣты преосвященнаго и поудержался.

— Что-жъ, молодой человекъ, къ намъ не жалуешь, спѣсивымъ оказываешься, наши пѣсенки слушать не по нраву, а пѣсенники мои хоть куда, самъ государь императоръ ихъ слушать изволилъ, мнѣ ласковое слово вымолвилъ, „молодцомъ“ назвалъ.

— Пріѣзжай, Александръ Егорычъ, и папеньку упроси пріѣхать ко мнѣ—напоследокъ сказалъ мнѣ Жуковъ.

Безъ числа.

Былъ у папеньки Тимофѣй Михайлычъ Тихоновъ, купецъ въ Выборга, пріѣзжалъ по дѣламъ.

— Что это старшой-то твой больно молчаливъ, Егоръ Тихоновичъ?—спросилъ онъ про меня у папеньки.

— Въ меня, говорить не любить.

Гость засмѣялся.

— А у насъ чухны къ пѣтуху приравняли бы его. Да ты не сердись, паренекъ, я не къ тому, чтобы тебя обидѣть: пѣтуха они великимъ колдуномъ почитаютъ и увѣрены, что онъ умѣетъ говорить, но молчитъ единственно отъ злости.

Мнѣ было горестно слышать, что меня приравняли къ злому существу, а я никому человѣку зла не пожелалъ никогда.

Безъ числа.

Открылъ книгу, прочелъ:

„Поучительно было бы проврѣть бездну своего существованія: иногда въ семъ мракѣ является мнѣ стройное, небесное существо: иногда какое-то безобразное созданіе стоитъ передо мною...“

„Сердце, погружаясь въ душный хаосъ сомнѣнія, въ каждомъ предметѣ природы находитъ новую пищу для своего мученія“.

Какъ все это вѣрно сказано, надо удивляться господамъ сочинителямъ: они всюду находятъ пищу для своего ума и воображенія.

„Нашъ міръ можно сравнить съ возмужалымъ человѣкомъ; онъ много знаетъ, много помнитъ, но забылъ не только мигъ своего рожденія, но даже и нѣсколько лѣтъ своего дѣтства; о сихъ лѣтахъ повѣствуютъ ему няньки... вѣрить ли имъ?“

„Ветхая старость ихъ близка къ бессмысленному младенчеству. Забывая свои слова, онѣ часто сами себя противорѣчатъ...“

„Что же остается ему? Примѣнить настоящее къ прошедшему, дабы узнать грядущее.“

„Но можетъ ли возмужалый человѣкъ познать самого себя, если онъ забылъ свое младенчество?“

„Можетъ ли онъ постояннымъ наблюденіемъ, пробуждая рядъ забытыхъ чувствъ, наконецъ оживить и первое впечатлѣніе своего дѣтства?“

Въ первый разъ мнѣ пришлось читать такую книгу. Голова закружилась. Я не могъ отъ нея оторваться и сталъ выписывать въ тетрадь: и къ чему намъ собственность, когда каждый мигъ приближаетъ насъ къ могилѣ? Отъ колыбели до гроба — мы постепенно умираемъ... Младенчество и старость нельзя называть жизнью... что же наша жизнь?..

Улучу время, пойду въ воскресенье къ о. Аарону, буду просить его разъяснить мнѣ эту книгу.

Сколь она загадочна, таинственна и манитъ прочитать ея отъ доски до доски.

Откуда она у меня появилась, недоумѣю, развѣ кто изъ

Мошнинныхъ? Сказываютъ, что не приносили... Должно, братъ Тихонъ изъ училища по ошибкѣ вмѣстѣ съ своими книгами привезъ.

Срѣтенье.

Были всѣ въ церкви. Послѣ обѣда на бѣга на Неву ходили: смотрѣли, какъ лошади бѣгаютъ. Все больше биржевыхъ нашихъ, Пономарева, Рахманова и другихъ.

Студно было очень, сильно зазнобились, вернулись домой еще засвѣтло было.

Безъ числа.

Просилъ папеньку разрѣшить мнѣ поступить на публичныя лекціи, что нынѣ въ Петербургѣ открылись. Сказывали мнѣ товарищи, что большая польза и нужда для многихъ въ нихъ вмѣстѣ.

Папенька сначала разсердился, апосля какъ съ Фомой Эдмундичемъ Харвеемъ перетолковалъ, по ласкѣ со мной разговаривалъ.

— Ужъ коли хочется тебѣ высшее ученье превзойти, я не прещу, поѣдемъ вмѣстѣ въ господину Гасфельду, что аглицкому языку обучаетъ, наперво порядиться съ нимъ нужно.

Ѣздили къ аглицанину, папенька торговаться съ нимъ пожелалъ; г. Гасфельдъ на уступку не пошелъ, сошлись въ цѣнѣ все-таки. Сурьезный мужчина, сказывалъ, что нужно и французскому языку мнѣ учиться: „легче аглицкій переймешь“.

— Это апосля, напередъ пусть одно нарѣчье превзойдетъ, — рѣшилъ папенька.

Платить будемъ г-ну Гасфельду сорокъ два рубля ассигнаціями по май мѣсяць.

12 февраля.

О своей радости не преминулъ сообщить г-ну Рязанцеву.

— Хорошее дѣло ты, Александръ Егорычъ, задумалъ: иностранныя языки просторъ уму и знанію открываютъ! Какъ сожалѣю, что самъ имъ не обученъ, — сказалъ онъ мнѣ.

Пошли вмѣстѣ съ нимъ къ Василю Андреевичу, я его съ той поры, какъ комедію „Горе отъ ума“ въ генварѣ смотрѣлъ, еще не видѣлъ.

— Понравилось-ли вамъ, какъ представляли? — спросилъ меня в нонѣшній разъ.

Кромѣ похвалы, что возможно сказать иное! Особливо понравился мнѣ братъ Василя Андреевича, Петръ Андреевичъ, — бѣтуна Загорѣцкаго представлялъ чрезвычайно справедливо и же.

Г. Каратыгинъ тоже одобреніе свое мнѣ высказалъ, что я на лекціи вступилъ.

— Можетъ, и переводить потомъ сами разныя театральныя комедіи станете.

Вспомнилъ мои мысленія о прекращеніи торговли мужиками, какъ скотомъ безсловеснымъ, упредилъ, что при случаѣ съ театральнымъ директоромъ, княземъ Гагаринымъ, разговоръ имѣть будетъ.

— Ненарокомъ онъ господину министру можетъ благоую мысль подать, а тамъ и дальше двинется,—объяснилъ онъ мнѣ.

Почему невозможно все это мышленіе написать и Государю Императору преподнести?—думалось мнѣ,—онъ пойметъ, сколь тяжель этотъ людской торгъ!

Но сихъ мыслей я не пояснилъ.

Василь Андуренчъ новую ролю учить. „Кровавая рука“ трагедія прозывается, переводилъ ее Петръ Андуренчъ.

Великій постъ.

Все время талая погода.

Въ аглицкомъ языкѣ успѣваю хорошо; г. Гасфельдъ одобреніе свое мнѣ связывалъ и повторно говорилъ, что надлежитъ и за французскій приняться. Боюсь сказать папенькѣ, но по совѣту г. Гасфельда ходилъ къ А. Лавинскому, что лекціи французскія задаетъ.

Мое видя рвеніе, согласился за недорогую плату учить...

Безъ числа.

Былъ у о. Аарона въ Лаврѣ, митрополита не видѣлъ,—онъ болѣетъ, о чемъ я душевно сожалѣлъ.

— Приходи, Александръ, на пятой недѣлѣ къ Богородничнымъ похваламъ,—сказалъ мнѣ батюшка о. Ааронъ,—тогда его преосвященство и увидишь.

Купленные люди проживаютъ у насъ, всего трое: Матрена, Александръ и Василій. Матрена и Александра кухарютъ и за коровой ходятъ, а Василій на оброкъ ушелъ,—колотъ ледъ на Невѣ подрадилъ.

— По лѣту, на тоняхъ у Борховой дачи, вѣроть вертѣтъ стану, крылья и мотню съ рыбой тянуть,—пояснилъ онъ мнѣ,—апосля деньгами собьюсь, выплату за себя и за Александрю сдѣлаю, на свободу уйду.

Александра—его жена, а Матрена безродной значится.

Тяжело моей душѣ!

Разсужденіе слышалъ сегодня у г. Гасфельда на лекціи—нѣкого господина Бонифанта, помѣщичьяго брата, объ оброчныхъ

крестьянахъ. Негодовалъ онъ на сестру свою, г-жу Парсуну, что многихъ своихъ людей на оброкъ перевела.

— Проживая по городамъ по прибытію безъ должности, они тратятъ скопленные деньги, теряютъ нравственность и для хлѣбопашества становятся непригодными и въ городахъ нуждаются въ пропитаніи.

Не христіанское разсужденіе сего господина! Гдѣ же тогда нажать имъ деньги, чтобы хотя подъ-конецъ жизни выкупить себя и свои семьи на свободу! Безжалостное сужденіе его меня сильно огорчило.

Суббота 5-й недѣли.

Былъ вчера у преосвященнаго, удостоилъ меня своей душе-спасительной бесѣдой, спрашивалъ, сколь много наторѣлъ я въ англискомъ языкѣ, далъ мнѣ на немъ святое евангеліе, заставилъ переводить. Похвалилъ за успѣхи.

— Радуюсь, юноша,—прилежаніе твое похвально; сколь жалѣю, что мысленія твои о прекращеніи торговаго людими до сихъ поръ не могу передать власть имущимъ. Не робѣй, пожди — авось всѣмъ подневольнымъ людямъ на Руси облегченіе будетъ.

Сколь благодатныя слова! Отъ умиленія я заплакалъ, припалъ къ его пастырскимъ рукамъ и облобызалъ ихъ.

Пасха Господня—Пасха! Другъ друга обьемемъ...

Яркое солнышко встрѣтило великую вѣсть о воскресеніи Господа нашего.

Шли изъ церкви отъ свѣтлой утрени, оно играя восходило.

Сколь радостно на душѣ у меня!

Разговѣлись всѣмъ семействомъ вкупѣ, были зять съ сестрою Сашей и ихъ малютками.

Вмѣсто меня, папенькѣ помогать станетъ братъ Тихонъ,—скоро кончить и онъ училище.

Мнѣ папенька сказалъ сегодня:

— Учись разнымъ языкамъ, Александръ, апосля я тебя въ Оумѣ Эдмундичу въ контору устрою, можетъ, онъ тебя въ Англію перешлетъ.

Спасибо папенькѣ, столь радостную Пасху я о сего день встрѣчаю.

Записки прерываются снова; перерывъ до августа. Вѣроятно, автора ихъ не было въ Петербургѣ, или онъ былъ очень занятъ.

Успенскъ день.

Должно сказать: слава Тебѣ, Создателю Благому, все наше

семейство живо и здорово, но многіе наши знакомые покоятся на кладбищахъ, сраженные жестокимъ бичемъ Божьяго гнѣва.

Холера овладѣла столицей. — Плачь повсюду, люди людей боятся, дабы не захватить заразительный недугъ.

Были съ папенькой на бунѣ, упалъ на землю одинъ скивдоръ, биться зачалъ съ пѣной у рта. Всѣ боязно отошли отъ него; я съ Максимомъ разборщикомъ подняли его, уложили на бунтъ съ пенькой. Насъ стали сторониться—побѣжали за Андрей Егорычемъ Шестаковымъ въ кадетскій корпусъ. Пока пришелъ онъ, а скивдоръ ужъ Богу душу отдалъ.

Со мной и Максимомъ ничего дурного не приключилось, благодареніе Богу, но папенька очень сердился на меня.

— Не разумный ты, Александръ, развѣ возможно къ холерному подходить, на явную смерть напрашиваться.

А я того разумнѣя: кому что суждено, то съ нимъ и приключится! Да будетъ воля Божья. Г. Гасфельдъ сказывалъ, что отъ холеры надлежитъ теплый набрючникъ носить и какія-то капли пить.

Погибъ мой благопріятель, придворный ахтеръ Рязанцевъ; сердечно жаль мнѣ его,—душевный былъ человѣкъ; товарищи сказывали, что жизни своей онъ не щадилъ, невоздержанно самъ себя содержалъ.

О кончинѣ его узналъ случайно; въ городъ папенька не пускаетъ изъ-за холеры, театры позакрыли, ахтеры разѣхались, Василь Андренчъ тоже мнѣ невѣдомо куда отбылъ.

Въ церквахъ молебствуютъ объ избавленіи отъ холеры. Отецъ Ааронъ заѣзжалъ къ намъ на-спѣхъ, сказывалъ, что больные у нихъ въ Лаврѣ имѣются, но ради хорошаго ухода многіе поправились.

Привезъ папенькѣ письмо, митрополитомъ полученное отъ его друга. Я списалъ его:

„Получилъ письмо Ваше Преосвященство. Прочиталъ. Грустно стало на сердцѣ. Печальное извѣстіе. Плачевныя событія. Страждетъ Петербургъ. Люто онъ страждетъ, бѣдный, и не оцѣнимо болью физической. Пламя безвѣрія, безбожія, матеріализма, деизма, атеизма, вольномыслія, вольнодѣйствія, жгетъ его со всѣхъ сторонъ ужаснѣе, страшнѣе, опаснѣе пламя физического. Въ разгарѣ страстей, издающіеся современные журналы и газеты служатъ подожкой; потерявшіе чувство страха Божія, какъ агенты сатаны, образуясь въ фальшивый свѣтъ, лживое просвѣщеніе и образованіе распространяютъ, мракъ и тьму. Универсальная система воспитанія и ученія, въ ушахъ и сердцахъ юнаго поко

дѣнія посвящаетъ лишь сѣмяна зла и гибели. При торжествѣ этой системы, спасительные уставы святой православной церкви — поруганы. Въ училищахъ православіе остается лишь въ одной теоріи, и то чуть-чуть, на показъ, для публичнаго акта. На самомъ же дѣлѣ, практически господствуетъ духъ Папы, духъ Лютера и Кальвина. Постъ, который содержалъ самъ Христосъ Спаситель, и обязательно узаконилъ для всѣхъ вѣрующихъ, въ Петербургѣ не существуетъ. Современный лестчій духъ, врагъ Бога и нашего спасенія, шепчетъ, что это маловажность, мелочность, ничтожность. И преимущественно, имѣющіе претензію на просвѣщеніе, образованіе, утвердивъ въ сферѣ своей столь лютеранскій, властію своею, дѣлаютъ преткновеніе бѣднымъ, немощнымъ, причиняютъ соблазны и паденія простѣйшимъ. Кажущіся лучшими въ смыслѣ гражданскомъ, дѣлаются худшими въ смыслѣ христіанскомъ. Бѣдные и жалкіе просвѣщенные забываютъ, что постъ есть божественное учрежденіе святой православной церкви, что нарушеніе его есть ослушаніе; а ослушники и преслушники святой церкви ставятся на ряды съ язычниками и мытарями, — какъ бы ни были, по вѣшнему, просвѣщены и образованы; при язычникѣ же и мытарѣ нѣтъ Божьей благодати. Нарушитель поста, и тѣмъ болѣе несознающій виновности своей и грѣховности въ томъ, — положительно язычникъ, если бы и назывался христіанинъ. Слово Божіе такъ говоритъ: буди тебѣ, яко язычникъ и мытарь. Правильное осѣненіе себя знаменемъ креста изгнано въ Петербургѣ. Въ новѣйшее время, богопротивное, антиправославное просвѣщеніе и образованіе, искаживъ знаменіе креста, ввело въ употребленіе бессмысленное, кощунное маханіе на груди рукою. Словно свинцовая, или парализемъ разбитая она, не можетъ (а справедливѣе не хочетъ) осязательно воснуться ни чела, ни груди, ни персей. Въ понятіи просвѣщенныхъ и образованныхъ, мелочность, ничтожность — и это. Тогда какъ по ученію вселенскаго учителя, святаго Златоуста, искаженіе знаменія креста — именно маханіе по груди рукою — составляетъ утѣшеніе бѣсовъ, а искажающій и презирающій симъ святымъ знаменіемъ креста есть жертва сатаны. Духъ тьмы, какъ пламени, боится правильно возлагаемаго крестнаго знаменія. А къ искажающему удобно подступаетъ и удобно уловляетъ его въ свои адскія сѣти; путаешь въ самыхъ благихъ намѣреніяхъ и предпріятіяхъ.

„Въ Петербургѣ, самое главное несчастіе: изгнана благодать Божія изъ всѣхъ училищъ, университета, лицей, институтовъ, инсіоновъ, изгнано то, что истинно освящаетъ и просвѣщаетъ,

хранить и спасаетъ. Всѣ училища осквернены учебною программю. Языческое существуетъ ученіе и воспитаніе. Наравнѣ съ Закономъ Божиимъ преподается и беззаконіе діавола, и сіе послѣднее столько же обязательно, сколько и первое. Официально, по системѣ, методически: Законъ Божій... и танцевальный классъ. Кошунство, насмѣшка надъ Господомъ Богомъ и его святымъ Закономъ. Какое общеніе свѣту во тьмѣ! Правительственно, отъ народнаго просвѣщенія, преподается въ училищахъ искусство Иродіадиной дочери—пляска. И видимъ плоды: у воспитанниковъ болѣе образованы ноги, нежели голова. Тщательно исполняютъ они уставъ танцмейстера, но еще тщательнѣе нарушаютъ уставъ Церкви, вначасъ тому и другому по системѣ существующаго просвѣщенія. Смотрѣтъ сквозь пальцы на изученіе пляскамъ и танцамъ—въ домахъ и семействахъ частныхъ, предоставить проволу и совѣсти родителей—это другое дѣло. Но вводить, официально, во святилицѣхъ ученій, было, есть и будетъ страшно. И думать нельзя, чтобы при такомъ положеніи было у насъ благополучно въ Россіи.

Словомъ, и ученіе, и воспитаніе, и жизнь идетъ у насъ, особенно въ Петербургѣ, безъ Христа, безъ креста, безъ поста,—не говоря еще о томъ, что въ шумѣ Невскаго проспекта, изумительныхъ игръ, забавъ и веселій, въ центрѣ города, островахъ, паркахъ—имени Господа нашего Иисуса Христа вовсе не слышно; практика жизни поведена, не по слабости только, а по принципу преимущественно, врозь съ церковностію: что удивительнаго, что все это привлекло кару гнѣва Божія? Воспламеняется жестокимъ недугомъ Петербургъ. Избави, Господи, не было бы хуже и злостастіе, если не обратимся съ молитвою и моленіемъ къ Господу, не покаемся и не исправимся*.

Неужли такое осужденіе справедливо? Недоумѣю. Что отвѣтить на это письмо митрополиту?

Неужли въ самомъ дѣлѣ танцы столь грѣховны и помѣхой служатъ религіи?

Не спрашивалъ объ этомъ ни папеньку, ни отца Аарона, при случаѣ спрошу самого митрополита. Онъ напрямки мнѣ ствѣтитъ,—я его норовъ знаю хорошо.

Сентябрь.

Слава Творцу-Зиждителю, холера ослабѣла, покойниковъ все съ каждымъ днемъ меньше и меньше.

Лекціи наши снова начались; учусь теперь французскому,

шведскому языку, а кромѣ того у пастора на Конюшенной улицѣ изучаю и финское нарѣчіе.

Папенька, по моему настоянію, хотѣлъ-было отдать сестру Клавдію въ пансіонъ г-жи Цаппетини, что на Адмиралтейской площади, гдѣ содержательница очень хорошо умѣетъ возбуждать соревнованіе къ наукамъ разными поощреніями, но раздумалъ.

— За дѣвченку платить 144 рубля ассигнаціями въ годъ не приходится; пусть къ дѣячихъ побѣгаетъ, и того съ нея довольно.

Возражать родителю я не посмѣлъ, но маменькѣ пытался объяснить, сколь полезенъ и удобенъ способъ взаимнаго обученія, изобрѣтенный Велемъ и Ланкастеромъ.

Она послушала меня съ малымъ вниманіемъ и только сказала:

— Не должно дѣтямъ быть умнѣе родителей!

Раздумался я о маменькиныхъ словахъ, сколь невѣрными онѣ мнѣ объяснились. Благоденствія будущихъ поколѣній созиждутся на образованіи будущихъ матерей семействъ, первыхъ руководительницъ челоуѣка на поприщѣ жизни, первыхъ наставницъ и въ добрыхъ нравахъ, и развитіи ума.

Братъ Тихонъ замѣнилъ меня въ подмогѣ папенькѣ.

Безъ числа.

Былъ у Василя Андреича. Пожалѣли съ нимъ о безвременно умершемъ Рязанцевѣ; добраго собесѣдника потерялъ я въ немъ, хотя о знакомствѣ моемъ съ нимъ папенька относился неодобрительно.

— Отчего вы не были въ новомъ театрѣ, Александръ Егорычъ?—спросилъ меня Василій Андреичъ.

Отозвался большими занятіями и недавнимъ печальнымъ состояніемъ столицы по случаю холеры; обѣщаль придти посмотрѣть столь дивное созданіе Росси.

Спросилъ меня онъ и о моихъ знаніяхъ французскаго языка, заставилъ прочесть и перевести по книжкѣ, — то и другое исполнилъ я весьма хорошо. Онъ изумился, въ сколь короткое время оказалъ я таковыя богатые успѣхи.

— Вы можете брату моему Петру быть чрезвычайно полезнымъ помощникомъ. Я скажу ему и познакомлю васъ съ нимъ.

Это польстило очень мнѣ, я поблагодарилъ его и ушелъ.

Генваря 15-го 1832 года.

По желанію папеньки написалъ по французски письмо въ нѣмецкій городъ Лейпцигъ съ предложеніемъ прислать на ихъ пасхальную ярмарку образцы русской пеньки чесаной, пряжи, поташа, свѣчъ салныхъ и самаго сала.

— Покажемъ мы нѣмцамъ, какіе товары у насъ въ Россіи имѣются,—радовался папенька,—слыхано-ли дѣло: нашу пеньку и сало черезъ англичанъ покупаютъ!

На другой день.

Пасторъ, у коего я по-фински учился, рассказывалъ мнѣ столь благопріятно про свою страну, что я возгорѣлъ желаніемъ въ ней побывать. Сказалъ папенькѣ, изумился.

— Коль желаешь туда ѣхать, напишу я своему благопріятелю Тимофѣю Михайловичу: онъ тебя къ себѣ на дѣло приметъ. И написалъ. Ожидаю съ упованіемъ добраго отвѣта.

Срѣтенье.

Были всѣмъ семействомъ въ театрѣ на представленіи очень потѣшной комедіи: „Новый домъ сумасшедшихъ“. Всѣ, даже папенька надрывали животы отъ смѣха. Вася Мошнинъ принесъ мнѣ новыя стишки господина Глинка, весьма чувствительныя; я ихъ тотчасъ же переписалъ.

Синее небо! Синее небо!
Алмазныя звѣзды!
Залягте, утоньте,
Въ раскрытую душу,
Какъ тонете вы величаво
Въ хрустальномъ, глубокомъ потоцкѣ!..
Ахъ! какъ-бы я веселъ, ахъ! какъ-бы я счастливъ
И радостенъ былъ,
Когда-бы я могъ слышать, когда-бы я могъ вѣрить,
Что небо въ душѣ я ношу!..

Вторникъ. 18-го февраля.

Отъ Тихонова папенька о завчера получилъ благопріятный для меня отвѣтъ: онъ беретъ меня къ себѣ на дѣло и будетъ платить 650 рублей ассигнаціями въ годъ,—опослѣ-завтра поѣду къ нему въ Выборгъ, пачпортъ и подорожную завтра выправятъ.

Смотрѣлъ въ дорожникъ, тамъ сказано:

„Прогоны платятся по шести копѣекъ съ версты (мѣдью), изъ городовъ вдвое, акромъя того за почтовую телѣгу или сани взимается съ проѣзжаго по 3 коп. за милю (10 верстъ). Начиная отъ Финляндской границы у проѣзжихъ не прописывается подорожная; на каждомъ гасиберствѣ ¹⁾ есть книга Dag-bok, т.-е. дневная, куда проѣзжій записываетъ званіе, фамилію, число взятыхъ лошадей и претензію на тихую ѣзду или какія неисправности, замѣченныя на тракту.

¹⁾ Постояльчій дворъ.

„Проѣзжій за самовольную расправу съ подвозчикомъ, подвергается значительному денежному взысканію“.

Затѣмъ слѣдуетъ описаніе Выборгской жизни:

„Выборгскій форштадтъ, гдѣ я живу, довольно обширенъ, и застроенъ частными деревянными домами, заселенъ болѣе русскими. При выѣздѣ изъ форштадта, Выборгская крѣпость представляется во всей ея красотѣ и величіи.

Громадныя, гранитныя стѣны, нося печати вѣковъ, утрумо привѣтствуютъ странника, а изъ-за нихъ смиренно выглядываютъ крыши частныхъ домовъ скромныхъ Выборгцевъ.

Все Выборгцы—ужасные домосѣды. Чудной народъ! и что-жъ они дѣлаютъ въ своихъ скромныхъ домикахъ? какъ убиваютъ время? Мужчины утромъ на службѣ, а потомъ сидятъ себѣ остальное время въ своихъ каморкахъ, курятъ коротенькія трубки, да поплевываютъ по сторонамъ (ужъ это ихъ метода куренія). Женщины все утро хлопочутъ около печки на кухнѣ, а потомъ сидятъ себѣ по угламъ, да вяжутъ чулки.

Въ домашнемъ быту Выборгцевъ, отсутствуетъ роскошь, и присутствуетъ экономія, доходящая до скупости. Роскошь выше состоянія есть порокъ, но и скупость не есть добродѣтель. Финляндцы не расточительны, но за то и средства ихъ такъ ограниченны, что поневолѣ заставляютъ ихъ жить съ расчетомъ и думать о черномъ днѣ. Жить по состоянію и не знаться съ долгомъ—черта похвальная.

Финны превосходные мореходы; страсть ихъ къ морю превышаетъ всякое вѣроятіе; страсть эта родится съ ними и растетъ съ годами. Не можетъ существовать отважнѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ искуснѣе мореходовъ, каковы Финны. Несчастные случаи въ плаваніи въ Финляндіи весьма рѣдки, суда и даже люди ходятъ по открытому морю и совершаютъ всегда свои рейсы благополучно. Финнъ не страшится ни бурной погоды, ни темной ночи и, дѣйствуя всегда смѣло и даже слишкомъ отважно, всегда достигаетъ своей цѣли; нужно видѣть съ какимъ обычнымъ хладнокровіемъ во время бури, мореходъ Финнъ сидитъ на рудѣ, и съ какимъ искусствомъ онъ ведетъ судно, извиваясь между страшныхъ валовъ бурной стихіи“.

Новый перерывъ записокъ. Авторъ вернулся въ Петербургъ. Онъ сильно простудился въ Выборгѣ и заболѣлъ горячкою. Пе-

репуганный его болѣзнию, Тихоновъ написалъ объ этомъ Егору Тихоновичу. Дѣдушка самъ отправился за сыномъ въ Выборгъ и привезъ его полубольного въ Петербургъ.

Это было въ концѣ мая. Изъ дальнѣйшаго изложенія видно, что Александра Егоровича вызывали въ какую-то канцелярію; объ этомъ въ дневникѣ записано слѣдующее:

„Чиновникъ спросилъ мое имя и званіе и затѣмъ, удостоившись въ этомъ,—сказалъ мнѣ:

— На тебя возводится обвиненіе, что ты бунтуешь народъ, ищешь для тягловаго люда какой-то свободы. Правда это?

Я отозвался, что мои слова иначе пересказаны были.

На это чиновникъ сказалъ, что напрасно я запираюсь: всѣ мои слова переданы взаправду,—какъ я ихъ сказывалъ.

На это я усмѣхнулся и попросилъ чиновника мнѣ прочитатъ ихъ, на что онъ недоумѣлъ и молчаніемъ отвѣтствовалъ.

— Наказанію тебя подвергать не стануть, но долженъ ты подписью своею скрѣпить обѣщаніе, что никогда не будешь подобными рѣчами смущать народъ и высоставленныхъ лицъ тревожить!

И передалъ мнѣ бумагу; я прочелъ ее и, увидя пустоту ея содержанія, смѣючи подписалъ. А послѣ чиновникъ отпустилъ меня изъ канцеляріи“.

Этимъ сообщеніемъ и оканчиваются записки Александра Полилова.

Вскорѣ онъ отправился на похороны старушки Мошнина на Смоленское кладбищѣ. Онъ рискнулъ, не желая дѣлать дальній обходъ, переправиться по рѣчкѣ Черной вбродъ. Вѣроятно, во время перехода съ нимъ сдѣлалось дурно; его нашли утонувшимъ, при чемъ вода еле покрывала его голову.

Въ записной книгѣ дѣдушки записано его собственной рукой:

„1832 года 10-го іюня умеръ сынъ Александръ, которому житія было 19-й годъ“.

Полиція не разрѣшала хоронить его, подозрѣвая самоубійство, и только благодаря вмѣшательству самого митрополита, его похоронили.

Сообщ. Т. Сѣверцевъ-Полиловъ.

СТАНИСЛАВЪ ВЫСЯНСКІЙ

(1869—1907 г.)

ИЗЪ ИСТОРИИ НОВАЙШЕЙ ПОЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Недавно скончался польскій поэтъ Высянскій, съ именемъ котораго почему-то связано представление о современномъ польскомъ мессіаниззмѣ, выразившемся преимущественно въ его аллегорическихъ, узко-національныхъ поэмахъ, и его имя потому никогда не могло быть популярнымъ за предѣлами Польши. Впрочемъ, и среди польской интеллигенціи оно часто наводило какой-то безотчетный страхъ; не мудрено, поэтому, что на вѣсть о смерти поэта не откликнулись въ Россіи даже тѣ немногіе, кто, задумываясь надъ трагическою судьбою исторической націи, совершенно добросердечно пытаются найти ключъ польской души и разгадку гибели польской культуры въ многотомныхъ апоэозахъ шляхты и Рима у Сенкевича, въ цѣломудренныхъ христіанскихъ романахъ Оржешко, въ „мѣщанскомъ“ добромъ юморѣ Болеслава Прусса. Правда, есть и среди русскаго образованнаго общества поклонники польскихъ „модернистовъ“. Случается, писатели эти выходятъ полными переводами, и произведенія Пшибышевскаго принадлежать въ Петербургѣ и Москвѣ къ самымъ современнымъ, хотя на родинѣ поэта уже отрекаются отъ его идей, борются съ его беспросвѣтнымъ, рововымъ туманомъ возмездія даже недавніе ярые адепты всѣхъ выводовъ и послѣдствій, вытекающихъ изъ лозунга „искусство для искусства“. И это потому, что Пшибышевскій, создавая на переломѣ двухъ столѣтій

новые храмы, зажигая новые жертвенники на алтаряхъ чистаго искусства, высокоумно назвалъ въ своемъ „Confiteor“ все не абсолютное, не космополитическое и не самоцѣльное— „книгами нищихъ“—biblia pauperum, т.-е. не умѣющихъ мыслить...

Великолѣпно, царски величественно творчество Пшибышевскаго. Подъ грохотомъ или волшебными чарами музыки его поэмъ и драмъ всегда грузно, тяжело рокоцуть въ трагической мукъ міровыя загадки, развѣтвляются проблемы, гудятъ проклятія;— въ дикихъ оргіяхъ его фантазій, въ бушующемъ океанѣ человѣческихъ страстей—встаетъ безнадежный обликъ распинающагося страдальца— и проносятся въ безумномъ вихрѣ пляшущіе „танецъ любви и смерти“. Онъ часто выбѣгаетъ за область доступнаго „невсклоченной душѣ“; онъ можетъ казаться холоднымъ и безжалостнымъ тому, кто въ литературѣ ищетъ разгадокъ, совѣта и ласки. Но никто не въ состояніи назвать его фразеологомъ; никто не сравнитъ его съ поэтически кощунствующими рыцарями догмы—высокопарными Тредьяковскими двадцатаго вѣка. И можетъ быть потому именно, что при всей своей неприкосновенности къ бытію во времени и пространствѣ, Пшибышевскій, „der geniale Pole“,—все-таки полякъ; потому что душа его вскормлена грустью сѣрыхъ Куявскихъ холмовъ и разбросанныхъ, какъ бѣгущіе по міру стоны колокола, влажныхъ черныхъ полей. И онъ, и Каспровичъ—сыны земли, притаившей въ себѣ весь плачь и скорбь души Шопена.

Таковъ магъ польскаго слова, оргіастъ и фантастъ всемірнаго искусства, блеснувшій, какъ метеоръ, на фонѣ берлинскихъ и скандинавскихъ „кабаретовъ“, чтобы затѣмъ съ боя революціонизировать очагъ польскаго искусства—Краковъ. То были необыкновенные годы—не только для Кракова, но и для всей Польши—последніе годы минувшаго вѣка. Ознаменовались они неслыханнымъ подъемомъ творческихъ силъ, какимъ-то внутреннимъ, невѣроятно электризующимъ атмосферу, напряженіемъ;— не кончились они совсѣмъ, хотя первый пылъ давно пропалъ, и давно канула въ бездну минута выжиданія, улавливанія смутныхъ грезъ, надеждъ, чуда.

Въ живописи—изъ старшихъ одинъ только Матейко умеръ,—живутъ всѣ прочіе. И уже домятся такіе гиганты, какъ Мальчевскій, Хелмонскій, Вычулковскій, Станиславскій—и съ ними цѣлый легіонъ молодыхъ, крайнихъ и умѣренныхъ, или геройски индивидуальныхъ.

Въ литературѣ—живутъ еще люди и идеи позитивизма, еще

блуждаетъ въ душахъ эхо романтики. Еще слышенъ мощный голосъ совѣсти и разума интеллигента: поэта-публициста съ Герценовскимъ пыломъ и Ибсеновской логикой—Александра Свентоховскаго, вѣждителя варшавской „Правды“; еще полна душа поэзія Асныка, Ковоппицкой, Сенкевича, а уже надвигаются такіе художники слова и знатоки народной души, какъ Реймонтъ, Сѣрошевскій—живописцы безъ кисти, какъ, наконецъ, величайшій изъ современныхъ,—поэтъ „Бездомныхъ Людей“, обездоленныхъ, пѣвецъ истлѣвающихъ судебъ, человекъ съ сердцемъ-факаломъ—Стефанъ Жеромскій, этотъ Христосъ Польши, распятый мучительнѣе Мицкевича.

Всюду волненіе, лихорадочное исканіе. Въ Краковѣ директоръ Павликовскій, необыкновенный художникъ, сумѣвъ привлечь талантливѣйшихъ артистовъ изъ всей Польши, заставляетъ вспомнить золотое время польскаго театра. Переданный прѣхавшему изъ Берлина Пшибышевскому художественный журналъ „Życie“ („Жизнь“) сосредоточиваетъ въ себѣ всѣ крупныя силы и заставляетъ о польскомъ модернизмѣ говорить Европу.

Тонкіе эстеты восхищались иногда не столько внутреннимъ содержаніемъ журнала, сколько необыкновенно изящной, своеобразной внѣшностью. Чья-то рука разбрасывала среди искусно разверстанныхъ столбцовъ печати, среди разнокалибернаго шрифта, какіе-то причудливые, узорчатые, и въ то же время простые рисунки, орнаменты, виньетки. Отъ первой до послѣдней страницы, до самаго провала „Жизни“ въ 1900 году, всѣ эти типографскія чудеса задумывалъ и исполнялъ съ вдумчивостью и стремленіемъ къ гармоніи, напоминающими Леонардо да-Винчи, тридцатилѣтній свѣтлорусый дикарь-художникъ. Таковъ былъ Станиславъ Выспянский.

I.

Люди разныхъ возрѣній, разныхъ лагерей, разной степени одухотворенности такъ характеризуютъ Выспянскаго: у алтаря народныхъ тайнъ—онъ верховный жрецъ, творчество котораго „тировенно“. Выспянский—поэтъ—драматургъ и трагикъ, художникъ—живописецъ и декораторъ, революціонеръ въ области математическаго искусства. Иностранцы, слышавшіе объ его драмѣхъ, удивляются, почему польское общество до сихъ поръ медлитъ съ открытіемъ „театра Выспянскаго“—второго Байрейта. (Сынъ дитя Кракова, въ которомъ родился, жилъ и умеръ, но онъ

же и самый родной всей тріединой Польшѣ. Онъ—прямой наслѣдникъ великихъ „вѣщихъ“ поэтовъ, какъ называются въ Польшѣ Мицкевичъ, Словацкій и Красинскій; но онъ переплавилъ ихъ желѣзные завѣты въ огнедышащій металлъ новыхъ подвиговъ. Выспянский—горькій и трагическій иронистъ, но онъ же вдохновенный и вдохновляющій лучезарный геній. Онъ—всѣхъ и онъ—ни чей, скажетъ еще кто-нибудь, и это будетъ весьма близко къ правдѣ.

Дитя Кракова... Словами этими сказано очень много сердцу поляка, — не сказано, пожалуй, ничего воображенію русскаго. Кто не бывалъ въ Краковѣ—городѣ, „гдѣ камни живы, а люди мертвы“, гдѣ на каждомъ шагу тихо, въ ржавчинѣ вѣковъ, во въ непогасшемъ величій вздымается окаменѣвшая слава, и въ сумрачномъ раздумьи проносится съ померкнувшихъ башенъ, поблекшихъ и сырыхъ дворцовъ плачь *de profundis*; гдѣ въ одну таинственную музыку средневѣковья сливаются и домики, и переулки, и диковинныя ставни, и статуи, — кому не пришлось слышать въ одно изъ праздничныхъ утръ, какъ раскатывается по камнямъ, стелется по холмамъ и пажитямъ, подобно необъятному стону, мощный и мягкій „звонъ Сигизмундовъ“; или кто не озиралъ съ вершины кургана Костюшки всей величавой панорамы города, съ горделиво рисующимся профилемъ королевскаго Вавеля, —тому трудно приблизиться къ жрецу трагическаго мавзолея, поэту королевскихъ сновъ, королевскаго блеска, порфиры и смерти. Выспянский—весь въ этой замирающей на пути ввысь молитвенной готикѣ. Онъ, какъ тотъ фламандецъ Роденбахъ, *envoûté par une ville*, чья фантазія преломляла все видимое и незримое сквозь заколдованный кругъ „полночной Венеціи“—ветхаго Брюгге. Его очарованная душа полна сумрачныхъ, тайныхъ шопотовъ, мягкихъ вѣяній и дерзкихъ сновъ. Изъ міра, давно и безслѣдно отошедшаго, выползаютъ дивные облики, диковинныя олицетворенія, — разстилаются передъ замершимъ отъ восторга воображеніемъ, видѣются въ трепещущую, броненосную грудь. Сонъ, видѣніе въ душѣ художника, начинается граничить съ реальнымъ переживаніемъ, становится откровеніемъ. Вдохновенные крики, призывы, народъ, войска, славу, видитъ онъ. Онъ слышитъ и кричитъ самъ—дышитъ жизнью, въ экстазѣ бросаетъ толпу на дѣло, и даже когда рухнуло все, что было сномъ, онъ остается, застывъ въ мгновеніи вѣщей импровизаціи — какъ нѣкогда въ кровавые годы возстанія — застылъ богоборецъ Конрадъ Мицкевича, этотъ воплотившій народное сердце герой „Поминовъ“, — дерзкій смиренникъ, кающійся

молніевержець. „Конрадъ“ Выспянского влечетъ за собою заключительное звено въ эволюціи самосознанія польскаго челоуѣкобога, отвергающаго мѣрку, по которой созиданіе считается благотворной, цѣлительною силой, а разрушеніе—зломъ. О, какъ противны ему народныя судбы и демагоги, какъ обливается сердце его кровью при воспоминаніи горькихъ словъ, брошенныхъ въ лицо Польши другими вѣщимъ поэтомъ:

„Павою народовъ была ты и поугаеми!“ (Словацкій).

Первые мѣсяцы надвигающагося новаго вѣка ознаменовались въ Краковѣ проваломъ того, что для многихъ—какъ выражались тогда—было „путемъ къ абсолюту“: распался, не выдержавъ свирѣпой кампаніи озлобленнаго мѣщанства, журналъ „Жизнь“. На всю „декадентину“ брошена была анаема; разсѣялись по міру хоругвеносцы новыхъ теченій; изъ потайныхъ норъ клерикальнаго подземелья выползли „снобы“, рыцари оппортунизма, блюстители общественной косности. Трагическій въ исторіи искусства фактъ цѣломудренныя горожане постарались раздуть до размѣровъ радостнаго скандала. Гордо, не понутивъ головы, уступилъ Пшибышевскій и его единомышленники. Краковъ и Польша остались безъ апостола. Нельзя вѣдь было признать такимъ апостоломъ пытающагося воскреснуть изъ мертвыхъ Сенкевича...

Но вотъ на сценѣ Краковскаго театра группою Павликовскаго была разыграна трехъактная драма Станислава Выспянского — „Свадьба“. Нельзя пересказать словами чувствъ, овладѣвшихъ вдругъ тѣми, кому довелось быть на этомъ представленіи. Со сцены, точно волшебная музыка, понеслись не слова, скорѣе задушевные звуки; сто лѣтъ приучалась жить ими польская душа, и она почувала, что сорвались они съ вѣщихъ струнъ. Чѣмъ-то роднымъ, близкимъ и въ то же время трагически-далекимъ повѣяло отъ нихъ. Такова была Выспянского „Свадьба“, но когда завѣсь 3-го дѣйствія медленно хоронилъ безнадежно, бездыханно кружащуюся толпу разнаряженныхъ, разухабистыхъ краковскихъ парней и бабъ—хотѣлось рыдать. Отеликнулось сердце—израженное, истерзанное, но живое, благородное сердце. Всю боль, всю несознанную тоску души народа бросилъ на сцену Выспянский, представъ впервые передъ всѣми, какъ непреодолимый народный магъ, чародѣй сновъ—тотъ, кому суждено воплотить тоску и радость, свѣтъ и тьму—народную совѣсть. О поэтѣ заговорили вдругъ всѣ. Какъ ни странно, до тѣхъ поръ мало приодилось о немъ слышать, хотя имя Выспянского было тѣсно связано съ многими художественными исканіями. Ходили злобо-

дневные афоризмы о величайшемъ поэтѣ среди художниковъ-живописцевъ и о лучшемъ живописцѣ среди поэтовъ. Но послѣ „Свадьбы“ вдругъ вспомнили, что, какъ писатель-драматургъ, Выспанскій—не дебютантъ. Перу его принадлежала написанная въ Парижѣ „Легенда“, пѣсня 1831 года „Варшавянка“, драма „Лелевель“, классическія трагедіи „Мелеагръ“ и „Протесилай и Лаодамія“, наконецъ, печатавшаяся въ „Жизни“ современная трагедія „Проклятіе“, проводящая идею возмездія. И страннымъ казалось, что при столь большой разнородности сюжетовъ—поэтъ всегда бралъ одинъ и тотъ же тонъ: трагическій, отъ жизни отвернувшейся смерти. Обратились къ его художественному творчеству, и разгадка стала ясною: не было сильнѣе выраженнаго польскимъ духомъ ужаса тлѣнія, и не было болѣе убійственнаго трагизма славы, какъ на огромныхъ, навѣянныхъ не отъ міра сего скорбью, картонахъ и витражахъ Выспанскаго.

Послѣ „Свадьбы“ появилось сразу нѣсколько монографій о гениальномъ сердцевицѣ. Авторы всѣхъ статей, характеристикъ и комментаріевъ пытались дать его образъ какъ художника, такъ и поэта, отыскать его философема, какъ народнаго мыслителя и предтечи. Они не догадывались, что „Свадьба“ была только первымъ словомъ, что она только распахнула дверь, ведущую въ сокровищницу вѣщаго наслѣдія. Въ моментъ ея появленія можно было говорить еще о другомъ синтезѣ: о полнотѣ творческихъ силъ и о совершенствѣ техники. Послѣ трехлѣтнихъ парижскихъ студій, авторъ „Свадьбы“ успѣлъ уже заявить о себѣ, какъ о совершенно оригинальномъ художникѣ. Освободившись отъ гнета гениальной индивидуальности своего краковскаго мастера, Яна Матейки, Выспанскій ухитрился отстоять свою самобытность и среди лабиринта скрещивающихся въ Парижѣ художественныхъ теченій. Но слишкомъ велико было обаяніе фресокъ Пюви де-Шаванна: декоративный геній французскаго мастера раскрылъ Выспанскому глаза на его собственное призваніе,—поэтъ тогда и не замышлялъ своихъ будущихъ трагедій; эпоха 90-хъ годовъ, ея „Sturm und Drang“, была для него прежде всего исканіемъ формы, въ которой могла бы высказаться его душа. Подъ вліяніемъ ли парижской школы, или по личному наятію, поэтъ, вернувшись въ Краковъ, предался работамъ по реставраціи старыхъ краковскихъ костеловъ. Ему поручили полихромію францисканской готической церкви.

Чувство ангельскаго неземнаго ритма, созвучія красокъ и линий, которое пробуждаютъ въ зрителѣ фрески Пюви-де-Шаванна, окутываетъ душу, и при входѣ въ мрачный на видъ, суровы

краковскій костель, гдѣ, сквозь „Четыре Стихіи“ витражей, проливаются и, скользятъ по зелено-фіолетовой полихроміи стѣнъ радужныя струи свѣта. Вся декорація этого храма принадлежитъ творческой мысли Выспянского. Полихромія его наглядно рисуетъ новый оригинальный методъ воспроизведенія стили. Выспянский чувствовалъ, что декоративная живопись, требующая отъ художника схематическихъ способностей, т.-е. умѣнія сводить стилизуемые предметы къ наиболѣе простымъ, основнымъ и характернымъ ихъ чертамъ, а вслѣдствіе этого къ частнымъ мотивамъ какаго-то большаго цѣлаго, должна силою необходимости впасть въ шаблонъ, такъ какъ въ теченіе вѣковъ накопилось определенное число схемъ, прибавлять къ которымъ что-либо отъ себя художнику не дозволяется. Современный декораторъ уже не утруждаетъ себя почерпаніемъ мотивовъ непосредственно съ натуры, какъ это было въ дѣйствительности на зарѣ стили и орнаментики; мѣсто вдохновляющей творческой мысли заняла объединяющая, сглаживающая шероховатости комбинація, которой такъ помогаютъ печатаемые толковыя руководства и альбомы.

II.

Выспянский, ненавидя всякія нормы, хотя бы безсознательно вводимыя въ искусство, въ полихроміи готической церкви предался исключительно своей собственной сокровенной стилизаціи. Такова цѣлая галерея его стилизованныхъ рисунковъ, портретовъ, цвѣтовъ, знаменитые королевскіе витражи: „Умирающая Польша“, „Легенда о святой Саломеи“, баснословный „Сезамъ“ и друг. Но все творчество Выспянского передъ „Свадьбою“ отпугивало широкую массу грандіозностью парящей въ высотахъ или увязшей въ хаосѣ мысли, пугало мертвящимъ холодомъ загробныхъ тайнъ, похороненныхъ давно вѣковъ, отшельническимъ мистицизмомъ. Только тогда, когда поэтъ бросилъ на жизнерадостный сельскій фонъ краковского пригородья картины, въ сущности во много разъ трагичнѣе его монументальныхъ твореній — къ нему нахлынула толпа-народъ, а за нею, вострепунувшись, и онъ — живой народъ Мицкевича, Словацкаго, Краснаго — нація.

Чтобы лучше, полнѣе уловить соотношеніе „творческихъ ловниъ“ — *Wahrheit und Dichtung* — въ душѣ поэта, любопытно ввести эпизодъ, послужившій Выспянскому для „Свадьбы“,

какъ мотивъ. И тогда понятно станетъ, почему поэтъ раздѣляетъ выступающія лица на просто „лица“ и — *dramatis personae*.

Въ деревнѣ Броницы, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Кракова, имѣла мѣсто свадьба поэта Рыделя съ крестьянской дѣвушкой. Въ просторной избѣ хозяина, художника Владимира Тетмайера, собрались на веселую трехдневную пирушку и танцы, кромѣ всей деревни, еще приглашенные изъ Кракова гости, „интеллигенты“, и въ числѣ ихъ Выспянской, пріятель жениха. Тоскливая ноябрьская ночь, свѣтлолазуревые мягкіе тона свѣтлицы, крики веселья, шумъ, гамъ и музыка, своеобразная деревенская декоративная прелесть и волшебный колоритъ разошедшаго во-всю народа, цѣлая гамма настроеній и личныхъ переживаній — все это навѣяло поэту оригинальную мысль. Полу-реально, полу-во-снѣ раскинулся передъ его взоромъ рядъ картинъ фантастическихъ и интимныхъ въ то же время. И вотъ такова его грѣза.

Дѣйствіе происходитъ въ этой самой избѣ, въ эту самую ночь, при тѣхъ же танцахъ, но въ смежной комнатѣ. Дочь хозяина выходитъ замужъ за „пана“, а потому въ избѣ все наполовину крестьянское, наполовину панское: рядомъ съ бѣлѣной печью столикъ *empire* и старинные часы съ алебастровыми колонками. Изъ сосѣдней просторной избы нѣтъ-нѣтъ да и забѣжитъ какая-нибудь пара гостей, поговорить, наберетъ воздуха и обратно. Сквозь полуоткрытую дверь видно танцующій, свадебный, яро разодѣтый, бойкій подкраковскій народъ, доносятся незатѣйливые звуки сельскаго оркестра — скрипки, кларнета и баса.

Начинается вереница діалоговъ между попарно заходящими въ спальную лицами. Коротка, сжата ихъ рѣчь, но полна жизни. Вотъ появляется хлопъ Чепецъ съ журналистомъ. Усталый, желчный редакторъ консервативной газеты, сидящій по горло въ политиканствѣ, пріѣхалъ, конечно, не ради диспута, да еще съ мужикомъ. А между тѣмъ Чепецъ любознателенъ: ему хотѣлось бы знать, что тамъ, въ желтомъ Китаѣ: кто кого? Его здравый смыслъ иронизируетъ надъ разслабленнымъ интеллигентомъ, и онъ вдоволь надсмѣхается:

А я думаю, что паны
Много-бъ ужъ могли имѣть:
Не хотать они хотѣть!

Нѣтъ взаимнаго пониманія — эта главная бѣда выясняется въ слѣдующихъ сценахъ, гдѣ передъ глазами зрителя проходитъ рядъ лицъ старшаго и молодого поколѣнія обонихъ сословій. Вотъ Совѣтница, немного жеманная представительница краковскаго

high life'a; она немного умилена, обрадована весельемъ, но все-таки не можетъ отрѣшиться отъ природной щепетильности и боязни передъ „хамствомъ“. Зато вполне демократичны ея дѣти: сынъ танцуетъ въ избѣ напрапалую, такъ что Климина, старая сваха, собирается его сейчасъ же женить. И дочери Совѣтницы глядятъ не наглядятся на невиданное зрѣлище; послѣ короткихъ переговоровъ мать отпускаетъ ихъ танцовать съ молодцами-парнями. Хороши краковскіе парни Касперъ и Ясекъ, подметающіе въ пляскѣ избу павлинными перьями шапокъ. Кипить, переливается въ нихъ горячая порывистая удалъ, здоровье и сила. А вотъ и Ксендзь; онъ самъ изъ народа, но честолюбивъ—его мечта получить изъ консисторіи пелеринку — костюмъ болѣе почетный. Не любить его Выспанскій, и еврей, арендующій корчму, не хуже Ксендзя; оба общими усилиями спаиваютъ народъ, умѣло пользуясь „властью тьмы“ для округленія своихъ доходовъ. И въ дальнѣйшихъ сценахъ Ксендзь не лучше; онъ тотъ же „жидъ“, только крещеный. Несдерживающій себя Чепецъ въ порывѣ злости ударяетъ кулакомъ по столу:

Кто же воръ моихъ грошей?
Жидъ поганый—али добродѣй?

И заключаетъ...—Собачья души!

Но за это время, какъ въ калейдоскопѣ, промелькнули по сценѣ все тѣ же и другіе гости: крестьянствующій женихъ-баринъ со своей разудалой молодухой невѣстой, и поэтъ съ ловко парирующей его флиртерскіе удары свѣтской барышней; со сцены бѣжить діалогъ, несравнимый по характеру, музыкальности, подслушанный у самого сердца народной рѣчи, отливающейся искрами здороваго остроумія. Изъ женскихъ лицъ замѣчательно еще одно: это Рахиль, дочь еврея-корчмара. Ея старикъ-отецъ деретъ съ „хамья“ сколько можетъ, но дочь его „барышня совсѣмъ модернъ, какъ звѣзда — читаетъ всѣ книги, что ни попадетъ, сама мѣситъ тѣсто, была въ Вѣнѣ въ оперѣ, стиркою занимается сама тоже, знаетъ „всего Пшибышевскаго“, волосы носить полукругами, à la Ботичелли, любить хлопозъ и отпускаетъ имъ въ кредитъ, такъ что у меня даже сердце сжимается“. Сантиментальная красавица-еврейка появляется на свадьбѣ, привлеченная, какъ гипнозомъ, магическимъ дѣйствіемъ раздающейся музыки, радугами нарядовъ. Она поэтизируетъ, сражаясь съ извѣстнымъ ее за ея необычную, „музыкальность души“ Женихомъ — она вся въ упоеніи, и когда на смѣну Жениху приходитъ Поэтъ, какіе-то неосязаемые, тонкіе узлы начинаютъ ихъ

связывать въ общую нить, общее предугадываніе, и, убѣгая все дальше и дальше вмѣстѣ съ избою отъ реализма момента, начинаютъ что-то чутя и призывать. Встаютъ кругомъ нихъ грезы, и, полусуто, полусерьезно, увлекшись радужною прядью разговора съ Рахилью, Поэтъ теряетъ скептицизмъ. Въ пробудившейся жадѣ чудесной, неземной красоты, они заклиняютъ всѣ дивы, цвѣты, вусты, молніи, жужжанія, пѣнія и соломеннаго „хохола“¹⁾—прийти на свадьбу въ избу. Что это такое—капризъ ли, фантазія ли среди упоенія минуты?..

Изъ предыдущихъ смутныхъ, печальныхъ рѣчей томшагося Поэта видно только, что онъ тоскуетъ, смертельно тоскуетъ по грезящимся героямъ, по желѣзнымъ рыцарямъ. Скучно, пошло ему на свѣтъ: сердце зарыто глубоко, „гдѣ-то подъ четвертой пашней-бороздой“ — не достать его... Хозяинъ указываетъ ему на крестьянъ: у нихъ дѣйствительно „что-то изъ Пяста“. И прямолинейный, восолапый, но вспыльчивый Чепецъ, какъ бы укрѣпляетъ это мнѣніе. Но Поэтъ—перелетная птица—не полюбить ему земли,—онъ потерялъ кровные съ ней узы. И потому, когда вдумчивой, ловкой, легко поддающейся внушенію и умѣющей угадывать чужую душу Рахили удастся попасть въ общій съ нимъ тонъ, у Поэта мелькаетъ мысль: пригласить незримое: „что кому снится, кто по чѣмъ тоскуетъ—пусть явится“. И въ вихрѣ веселаго смѣха молодые приглашаютъ соломеннаго хохола:

Ха-ха-ха!

Когда полночь ударить

Приходи къ намъ сюда въ избу!.. ха-ха-ха...

Близка полночь, — на сценѣ маленькая Ися. Ей страшно хочется посмотрѣть на старшихъ; мать же велитъ баюкать ребятшекъ. Осталась, бѣдненькая: не увидѣть ей знатныхъ обрядовъ... Но ей суждено увидѣть чудо. Ровно въ полночь въ открытую дверь вваливается званый гость — соломенное чучело, Хохолъ. Но не тутъ-то было: Ися слишкомъ наивна и дѣтски безобязненна, чтобы испугаться смѣшного пришельца, но и достаточно рѣшительна, чтобы вступить съ нимъ въ разговоръ. Она рѣшительно гонитъ его прочь. Хохолъ, качаясь и монотонно повторяя, что его звали, оповѣщаетъ прибытіе всѣхъ званыхъ гостей:

Что у кого звучитъ въ душѣ.—?

Что кто видитъ въ своихъ снахъ—?

¹⁾ Соломенный покровъ, которымъ обертываютъ на зиму забкія дерева.

Грѣхъ ли это, смѣхъ-ли это,
 Канцанъ ли онъ или панъ,
 Придетъ на свадьбу танцовать...

Онъ ушелъ. И въ этотъ моментъ начинается драма. Приходятъ, чередуясь, всѣ знакомыя намъ лица, но попавъ въ заколдованный кругъ встревоженныхъ заклятіемъ Поэта и Хохола сновидѣній, души ихъ мечутся въ смутномъ, неразгаданномъ безпокойствѣ. Сперва Молодые. Печаленъ онъ сталъ вдругъ, тоскливую пѣсню напѣваетъ, идя съ невѣстой подъ пологъ. Что-то неладно и въ ея сердцѣ, и когда она осталась одна, ей является первый изъ Гостей — призракъ умершаго перваго милаго. Привидѣніе тянетъ ее танцовать хоть одинъ разъ кругомъ избы — „живетъ Духъ, живетъ Духъ — я напрягъ весь свой слухъ, голоса привлекли меня изъ хатъ“... Еле живу, блѣдную Марысю спасаетъ отъ объятій призрака появленіе живого жениха. Едва ушла эта пара, входятъ двое: впереди Станчикъ ¹⁾, за нимъ знакомый уже Журналистъ. „Кто-то за мною все время тянется“, — говоритъ на ходу королевскій шутъ. „Кто-то идетъ все предо мною“, — вторитъ Журналистъ. „Маленькій домикъ, студная хата: Польша, свои, собственные слезы и тревоги, возни, сны, грязь свою и подлость, ложь — знаю, слишкомъ хорошо знаю я“, — продолжаетъ, усѣвшись, Станчикъ. Журналистъ, вожакъ массы, узнаетъ его — „великаго мужа“ — преклонится и вступаетъ въ откровенную бесѣду. Но воскресшій и воплотившійся призракъ терзаетъ его каждымъ словомъ, сбрасываетъ маску лжи съ каждой мысли и жеста современныхъ творителей исторіи. „На! — бери caduceus! (шутовская палочка — символъ паденія Польши). Мути имъ воду, мути! иди!.. мути чанъ народный, отравляй сердца, теряй голову! На свадьбу, на свадьбу! Становись во главѣ!“ — хлещетъ онъ современника.

Поэтъ старается успокоить отчаявшагося Журналиста. Но тотъ, разъ попавъ въ искренній, исторгнутый чудомъ изъ забытья тонъ, не поддается бессознательно-лживымъ утѣшеніямъ. „Не скрывай, не притворяйся — ты самъ въ огнѣ. Это напускное спокойствіе — только маска твоя — ложь...“ — отвѣчаетъ онъ Поэту. И дѣйствительно, едва тотъ остался одинъ, является и передъ нимъ его вѣчная волшебная греза. Опущенъ шлемъ у рыцаря, желѣзомъ скована рука, латы и панцырь скрываютъ тѣло... Онъ юветъ его на бой — „спѣши, лежатъ тамъ груди тѣлъ; раскрыты мною стѣнки гроба — пора вставать, пора мнѣ встать!“ И смотритъ Поэтъ въ лицо его, приподнявъ забрало — тамъ смерть: Ночь.

¹⁾ Придворный шутъ короля Сигизмунда-Августа.

Рыцарь исчезъ. Вмѣсто него отрезвить Поэта собирается молодой Женихъ. Но Поэтъ продолжаетъ парить на высотахъ, куда вскинуло его видѣніе. „Ты будешь сонетъ писать или октаву?“—спрашиваетъ его пріятель. „Нѣтъ,—отвѣчаетъ посвященный въ вѣщую жизнь—я предвижу иную забаву; я почувалъ на шеѣ петлю; Польша—это великое дѣло: отбросить подлость вонъ, начертить на щитѣ святое дѣло, какъ идею, знамя, и прицѣпить орлиныя крылья, стянуть гусарскія крылатыя перевязи—и уже встанетъ кто-нибудь великій, уже воспрянетъ польскій святой“. Жарко ему, какъ въ аду, въ заколдованной избѣ, и онъ убѣгаетъ.

Дальнѣйшія видѣнія. Новобрачному является измѣнникъ Гетманъ. Дьявольскій хоръ жжетъ, палитъ его раскаленнымъ продажнымъ золотомъ. Едва исчезъ предатель—новое привидѣніе: зачинщикъ кровавой галицкой бани 46 г.—упырь Шеля. Онъ является затесавшемуся на свадьбу Старому Дѣду: онъ пришелъ руки мыть, поплясать на свадьбѣ...

И опять, то въ развеселомъ шаловливомъ ритмѣ пляшущихъ, то въ полусерьезномъ полудержкомъ разговорѣ Журналиста съ Барышней, то въ экзальтаціи Поэта и Рахили, чередуются сцены—дивныя, томныя, призрачныя. Среди общаго ожиданія начинаютъ доноситься слухи о прибытіи какаго-то всадника. „Конь—великанъ. И баринъ этотъ, должно быть, важный. Платье на немъ красное, сѣдая борода, лира у сѣдла“... „Хозяинъ спѣшитъ навстрѣчу. Онъ не знаетъ, какъ подчивать, чѣмъ почтить знатнаго гостя“. Лирникъ ¹⁾ объясняетъ, какъ онъ попалъ такъ странно: былъ далеко, а вышло, что близко; и вотъ, заставъ какъ-то на этой свадьбѣ всѣхъ вмѣстѣ—и шляхту, и хлопство—давай говорить о „Союзѣ“. Онъ даетъ хозяину „велѣніе“, три приказа: разослать гонцовъ до разсвѣта—кликнуть кличъ въ народѣ; вторыхъ: собрать народъ у костела, пусть ждутъ, пока не послышится конскій топотъ съ Краковской дороги: это будетъ ѣхать онъ съ Архангеломъ. Третье—даетъ хозяину золотой рогъ: „при звукѣ его воспрянетъ Духъ и подниметъ Рокъ. Завтра—великая тайна. Завтра, когда они соберутся, пусть совѣта не держать, только стоять въ тишинѣ. А ты, вставъ рано утромъ, лишь взойдетъ солнце, напряги слухъ въ сторону дороги“...

Исчезъ чудесный лирникъ. Рванулся конь его, оставивъ золотую подкову. Хозяинъ еще не вѣритъ, не можетъ опомниться,

¹⁾ Старецъ Верныгора, украинскій бардъ, провозвѣстникъ союза шляхты съ крестьянами.

но чуеть что-то великое; онъ подавленъ огромнымъ бременемъ только-что принятой на себя отвѣтственности. Пораженъ и взволнованъ надеждою, неяснымъ, ослѣпительнымъ будущимъ:

Издалека ѣхалъ онъ, а близко было ему...
 Гонецъ, вѣстникъ Верныгора...
 Тамъ—уже какой-то великій Союзъ—
 Начало и конецъ Дѣла.
 Онъ велѣлъ. Слово. Слушать надо—
 Я появился душою...

И онъ посылаетъ красавца-парня Ясьва будить, скликнуть народъ; пусть съ косами соберутся до разсвѣта у часовни. Кличъ—золотой рогъ. „Вернись прежде, чѣмъ пропоеть третій пѣтухъ. Тогда стань здѣсь и труби въ рогъ, что есть силы—и возстанетъ такой Духъ, какого не было сто лѣтъ. Но не потеряй; рогъ золотой—его шлетъ намъ ясный Богъ“...

Ускакалъ Ясекъ. Рогъ перекинулъ черезъ плечо, лихо нагнувъ шапку съ павлиньими перьями. Хозяинъ волнуется—мерещится ему Диво—онъ ждетъ и ругается... Противенъ ему хищникъ настроеній: разукрашенная толпа.

Въ третьемъ дѣйствіи все то же. Но близокъ разсвѣтъ. Опьянѣли, устали, шатаются загулявшіе гости. Самъ хозяинъ, похोдивъ немного, прилежъ вздремнуть. Слава Богу—вторые сутки сплошь пляшутъ молодые... Хоть и появился Верныгорѣ хозяинъ исполнить его приказъ, слишкомъ ужъ спать хочется... Пьяны всѣ и мертвецки блѣдны. И когда Чепецъ съ отточенной косой въ рукахъ приходитъ будить хозяина, тотъ ничего уже не помнитъ. Много труда стоитъ Чепцу поднять на ноги того, кому собственно слѣдовало начинать „Дѣло“. Отрезвѣлъ послѣ сильныхъ ругательствъ Чепца хозяинъ—спохватился. Надо ждать—напрягать слухъ, услышать золотой рогъ. Тамъ, на Вавелѣ, Божія Матерь въ польской коронѣ указъ народу пишетъ... Сейчасъ прискачетъ гонецъ. Затрубить въ рогъ, появится Духъ,—пойдутъ они всѣ. Ихъ много. Чепецъ поднималъ на ноги не одну деревню. Весь лугъ запруженъ бѣлыми суманами, у всѣхъ косы блестятъ. Всѣ ждутъ, слушаютъ, ждутъ страстно, ловятъ первые звуки зари. Зловѣщая тишина, зловѣщія знаменія: вотъ ураганъ черныхъ вороновъ промчался навстрѣчу выжидающимъ; облака принимаютъ чудовищныя формы, въ огнѣ зари горитъ какое-то войско. Въ воздухѣ суматоха. Какая-то птица-великанъ переломала вѣтки дерева. Въ молчаніи, въ безбрежной тоскѣ ждутъ всѣ съ горячей молитвенной вѣрою, какъ будто кровь въ ихъ жилахъ приостановилась. Какъ будто замерло сердце. Помер-

твѣли. Но вотъ и онъ—Ясекъ: коня загналъ, но явился. Видитъ всѣхъ въ нѣмомъ ожиданіи. Вспомнилъ. Трубить надо. Сейчасъ пойдутъ... Гдѣ же рогъ... Смотритъ Ясекъ—потерялъ. Вслѣдъ за парнемъ влѣзаетъ Хохоль: подсказываетъ ему все случившееся. Ясекъ вспоминаетъ: вѣтеръ сорвалъ у него шапку, красную молодецкую шапку съ павлинными перьями... Онъ нагнулся поднять... Тогда, вѣроятно, и рогъ свалился съ плеча... Хохоль, слѣдуя за нимъ по пятамъ, велитъ соединить всѣхъ застывшихъ въ ожиданіи попарно, и волдуетъ ихъ по своему. Подъ звуки его фантастической скрипки медленно, сонно начинаютъ кружиться пары; мертвецы блѣдны маски ихъ лицъ. Несказанно печальны, безнадежны. Какая-то смертная тоска и скорбь застыла на нихъ. Танцуетъ и Ясекъ. А Хохоль напѣваетъ:

Былъ у тебя, хама, золотой рогъ,
 Была у тебя, хама, шапка навоперая—
 Шапку вѣтеръ носить,
 Рогъ ореть въ лѣсу,
 У тебя же только шнуръ...

III.

Драматическій остовъ „Свадьбы“, независимо отъ всей художественной ея прелести, указываетъ русло, въ которое попала творческая мысль Выспанскаго. Остановившись, притаившись у родника народныхъ страданій, у источника трагического безсилія, онъ „напрягъ слухъ“—слушаетъ, ждетъ. Откуда услышать ему и выжидающему въ изнеможеніи народу вѣщій зовъ? Откуда взять или похитить, магическое расколдованіе, бросить толпу „на Дѣло“?..

Я думаю, что, именно благодаря своей туманной недосказанности, „Свадьба“ сдѣлалась столь родною польской душѣ, всегда склонной къ мистицизму; каждый старался ее разгадывать по своему, быть въ этомъ творцомъ. И ни одно изъ произведеній текущей новой литературы не взволновало въ Краковѣ такъ сильно умы. За бортомъ остались, конечно, тѣ, кому Гетманъ въ „Свадьбѣ“, Станчикъ и другіе *dramatis personae* приходились роднею. Отсюда понятно уже возмущеніе, адская злоба противъ революціонера-поэта всѣхъ живыхъ Станчиковъ двадцатаго вѣка...

Что хотѣлъ на самомъ дѣлѣ сказать поэтъ въ своихъ свадебныхъ сценахъ? Симпатіи и антипатіи его къ выведеннымъ

лицамъ, конечно, распознать не трудно. Но въ общемъ отношеііе его ко всей драмѣ совершенно аналогично отношеіію воскрешенныхъ имъ призраковъ прошлаго къ реально-дѣйствующимъ лицамъ. Поэтъ гдѣ-то за всѣми. Онъ отвѣчаетъ и страдаетъ за всѣхъ—онъ ихъ совѣсть. Какъ драматургъ, онъ не воплощается, подобно Ибсену, въ одно изъ дѣйствующихъ лицъ—въ леденящую совѣсть, въ разумъ, логику—онъ витаетъ надъ драмой, какъ бы могучій тяжелый сонъ. „Свадьба“ Выспянского—навѣяна мистицизмомъ вѣковыхъ переживаній народной души. Для поэта она какъ бы опытъ, формы, нащупанныя рукою посвященной, вдохновенной, но еще не распознающей отчетливо идеи осязаемаго предмета. Но онъ—ясновидецъ, и это даетъ ему возможность стремиться къ синтезу въ идеологию, къ царству того, кто въ Польшѣ именуется „Королемъ-Духомъ народа“. И на этомъ пути поэтъ отрѣшается отъ всякихъ узъ—ему безразлична форма, въ которую выльется его идея.

Двѣнадцать фантастическихъ сценъ, озаглавленныхъ „Легіонъ“ (1900), бурно и мощно рисуютъ эту идею. Дѣйствіе происходитъ въ 1848 г. въ Римѣ. Мицкевичъ и Красинскій боготворятъ Польшу за то, что она „пріяла страданія и мученичество“. Это—любимая идея мессіанистовъ того времени; ея pendant въ Россіи—мистицизмъ славянофиловъ и вѣра въ „Народъ Христовый“ Достоевскаго. Въ Польшѣ идея эта была живительною влагою для изстрадавшагося послѣ 1831 г. поколѣнія. Она вдохновила трехъ „вѣщихъ“ поэтовъ; ею живя, написалъ Мицкевичъ въ Дрезденѣ „Поминки“, Словацкій поэму „Ангелы“, Красинскій „Разсвѣтъ“. У Выспянского всѣ эти вѣрованія рушатся въ бездну; освобожденіе у него одно—не Христось, а Смерть, какъ путь къ новой жизни Легіона. Его Мицкевичъ ведетъ Легіонъ по пути Чистаго Духа, послѣдняго отреченія отъ земли и ея плѣна. И вотъ Ладыя общаго Дѣла брошена одна въ море волнъ, въ которыхъ клубятся тѣла, а надъ ними носятся гарпіи, привидѣнія, Эринніи. Зарево окутываетъ дерзающихъ пловцовъ. „Танатось“—Смерть, остается, какъ единый Кормчій.

Душа Выспянского, разъ окунувшись въ бездну Владыки Духа, достаетъ оттуда такіе перлы, какъ рапсодіи: „Пясть“, „Казиміръ Великій“, „Болеславъ Смѣлый“. Въ этихъ строгихъ истинно-польскихъ поэмахъ дивнымъ ритмомъ октавъ рокочутъ замогильныя видѣнія великихъ королей Польши. Поэтъ воскрешаетъ короля-трупа со своего собственного витража и зоветъ его на исповѣдь. Казиміръ Великій, пожалуй, самый признанный

изъ всѣхъ королей Польши быть ея добрымъ гениемъ—Царемъ-Духомъ. Онъ—символь мудрой, заботливой власти, онъ—не повторяющееся въ исторіи Польши олицетвореніе не какой-либо части, но всего цѣльнаго и нераздѣльнаго, работающаго пахаря-народа. Окутанный порфиромъ, онъ дремлетъ въ золотомъ гробѣ на Вавельскомъ холмѣ, и грезится ему „рѣка вѣчная забвенія“. Но вотъ онъ прозрѣлъ: онъ понялъ, почему столпились кругомъ его гроба, почему народъ его такъ прекрасенъ и такъ могильно мертвененъ. Его народъ „такъ ушелъ въ грезы о своемъ прошломъ, что въ непрерывныхъ слезахъ и плачѣ плесневѣлъ и старѣлся, глядя все въ болѣе далекія могилы“. Этотъ народъ до того потерялъ чувство жизни, что даже королевское величіе мѣрилъ мѣрою не Дѣла, а своихъ грезъ. И поднялся грозный король, схватилъ молотъ и разбилъ имъ грудь народному витію, возлюбившему красоту могилъ: „Онъ палъ. А народъ увидѣлъ себя свободнымъ“.

Эти рапсодіи Выспанскаго—глубоко продуманная національная поэма, замѣчательная по силѣ замысла, по выразительной энергіи въ передачѣ грандіознаго, царскаго видѣнія, въ которое воплотилась у родниковъ своихъ душа народа. Стихъ перестаетъ здѣсь быть словомъ. Онъ становится тѣмъ-то вродѣ евангельскаго откровенія, и каждый его взмахъ высѣкаетъ въ гранитной глыбѣ былинной рѣчи новую черту, новую мысль, новый обликъ. Въ немъ Выспанскій отдалъ всю душу своему великому сну, и сонъ этотъ далъ Польшѣ продолженіе единственной въ своемъ родѣ метафизической поэмы: начатаго Словацкимъ „Короля-Духа“.

Оставляя въ сторонѣ чисто художественныя произведенія Выспанскаго, какъ ни характерны они для его творчества, стараемся не упускать изъ виду чисто народной его поэзіи, къ которой непосредственно принадлежатъ „Свадьба“, „Легионъ“ и „Королевскія расподіи“.

Тема спора и убійственной борьбы короля Болеслава Смѣлаго со св. Станиславомъ, патрономъ Польши, привлекающая издавна многихъ поэтовъ, послужила Выспанскому для трехъ произведеній: рапсодіи „Болеславъ Смѣлый“, драмы подъ тѣмъ же названіемъ и драмы „Скалка“. Это влеченіе къ исключительно трагическому моменту зари польской исторіи понятно уже по одному тому, что дѣйствіе—конфликтъ короля Болеслава съ епископомъ Щепановскимъ—разыгралось именно въ излюбленныхъ Выспанскимъ мѣстахъ: на Вавелѣ и ближайшей Скалкѣ, на холмистомъ берегу песчаной Вислы, навѣявшей

поэту его первое созданіе—„Легенду“. Въ „Болеславѣ Смиломѣ“ и въ „Скалкѣ“ сталкивающіяся силы разрастаются въ двѣ враждебныя стихіи. Трагизмъ ихъ борьбы — не одно богоборчество: и язычникъ король, и христіанскій епископъ считаютъ себя равно посланными отъ Бога. Но идея возмездія неумолима и здѣсь: надъ убійцею, королемъ, свершается Божій судъ,—его гнететь и душитъ гробъ епископа.

Въ „Ноябрьской ночи“ (1904) поэтъ почерпнулъ тему изъ менѣе отдаленнаго прошлаго. Нѣтъ среди поляковъ романтика, которому бы не грезилась памятная ночь варшавскихъ заговорщиковъ 1831 г. Выспянский сумѣлъ воскресить не только рядъ дѣйствующихъ лицъ того времени, но и общее настроеніе романтизма—эпохи юношескихъ порывовъ, идеалистическихъ увлеченій и суетныхъ надеждъ—эпохи, подарившей Польшѣ ея поэзію. Сцены его, заклатаго врага всякихъ мечтаній, интересны еще и оригинальнымъ художественнымъ замысломъ. Въ разгаръ битвы появляются на улицахъ Варшавы и вступаютъ въ дѣло миеологическія фигуры: Паллада, Аресъ и Кора. Подобно „Варшавянкѣ“ — „Ноябрьская ночь“ представляетъ поэтическую драматизацію трагическаго момента польской исторіи. Это—фантазія на патріотическую тему, въ высшей степени художественная, но не вступающая, подобно „Легиону“, въ область національной метафизики. Въ этихъ драмахъ столько же поэзіи, сколько грусти въ пѣсняхъ тѣхъ временъ, столько же идеи, сколько боли въ сердцахъ. Онѣ воспроизводятъ дѣйствительность, преломляя ее сквозь пламенное воображеніе поэта. Въ этомъ смыслѣ, какъ ни близки онѣ душѣ Польши, ихъ нельзя назвать истинно-национальными, ибо поэтъ въ нихъ переживаетъ и заставляетъ переживать моменты, не прикасаясь ко *всей* нераздѣльной, огнедышащей жизни Короля-Духа.

IV.

Важнѣйшее послѣ „Свадьбы“ созданіе Выспянскаго появилось годомъ раньше. Поэтъ уже былъ привязанъ къ театру въ Краковѣ. Подъ его руководствомъ поставили до тѣхъ поръ не игравныя, какъ пьеса не сценичная, „Поминки“ Мицкевича. Ставили ихъ полностью, т.-е. и всю третью часть, гдѣ герой-романтикъ Густавъ перевоплощается въ героя дѣла, любящаго и страдающаго за народъ—Конрада. Это появленіе Конрада 30-хъ годовъ на убогой сценѣ въ двадцатомъ вѣкѣ вдохновило

непосредственно, какъ эпизодъ, уже подготовившагося „поднять Рокъ“ Выспанскаго. Онъ написалъ „Освобожденіе“ — драму въ 3-хъ дѣйствіяхъ.

Какъ-то подъ-вечеръ, за часъ до начала представленія, на подмосткахъ браковской сцены появляется Конрадъ. На немъ черный плащъ, какъ въ „Поминкахъ“, на рукахъ кандалы. Издалека пригнало его отчаяніе, вопль: „Месты!“ Это тотъ самый Конрадъ, который нѣкогда, въ 1824 или 1831 году, клялся: „Местъ, местъ врагу—съ Богомъ, или хотъ безъ Бога!“ — тотъ самый, которому грезилась родина, „счастливая какъ пѣсня“. Конрадъ, который „былъ въ каждомъ человѣкѣ, жилъ въ каждомъ человѣкѣ, жилъ въ каждомъ сердцѣ“...

Первыми встрѣчаютъ его на сценѣ рабочіе театра, и Конрадъ требуетъ отъ нихъ, „одинъ часъ службы“. Они — сила, необходимая для него, чтобы дойти въ цѣли. Онъ поясняетъ имъ свое намѣреніе „поставить и уничтожить — церковь, замокъ, могилу“. Необходима ихъ помощь. Но какъ строить? Конрадъ не знаетъ, каковъ матеріалъ, какова эта самая Польша, въ которой онъ умеръ вотъ уже три четверти вѣка. Ему нужно увидѣть современную Польшу, и потому онъ созываетъ ее на сцену. Подоспѣвшій Режиссеръ и Муза въ восторгѣ отъ этой идеи Конрада, они помогаютъ ему поставить „Comedia del arte“, понимая ее, конечно, по-своему. Сцена, по велѣнію Конрада, превращается во внутренность вавельскаго собора. Послѣ патетической декламации „вдохновенной“ Музы и безпощаднаго грома усерднаго машиниста, представленіе начинается рядомъ діалоговъ, „какъ полонезъ, игранный звукомъ словъ“. Красный шляпчикъ и голытьба, пропивающіе остатки „фортуны“, раздутые честолюбіемъ пышныя паны, блестящая гниль... А вотъ Предсѣдатель — руку на сердце положивъ, велитъ глядѣть въ прошлое — все дальше, дальше — и никогда не произносить слова „Польша“; а за нимъ его pendant: вожакъ массы, дѣлающій политику, агитаторъ: „только зовите все время—Польша, Польша! — въ братскій союзъ сплетемте длани, въ узелъ неразрывный, нераздѣльный, освященный словомъ Польша!..“ *Ambo meliores*... За ними проповѣдникъ зоветъ толпу въ высь, гдѣ Богъ, призываетъ ихъ клясться въ вѣчной Любви, попать тѣла... Является Примась, могучій представитель Рима въ католической Рѣчи-Посполитой; онъ велитъ пасть ницъ передъ своимъ княжескимъ плащемъ. *Roma locuta*: нужно ждать, только ждать... Сладкорѣчивый Ораторъ занимаетъ его мѣсто, начинаетъ говорить о любви, о путяхъ сердца, не видя пустоты и тлѣна, развѣдающаго его

апсееозъ. Приходить Отецъ съ Сыномъ. Горемъ исполнено сердце Отца, при мысли о тысячѣ искушеній, ожидающихъ Сына. Странствующая Арфистка—дѣвушка-греза—поетъ пѣснь о тоскѣ, переполняющей душу Юноши. „Я веселю твою душу. Она тоскуетъ въ тебѣ грустью, пѣснью, гдѣ родной твой уголокъ, гдѣ твой дворъ, деревья липъ и ихъ сладкій запахъ,.. гдѣ съ отцемъ воюетъ сынъ, кому дѣло въ руки взять; гдѣ въ дѣсовѣ шумящемъ вихрѣ томно стонетъ рогъ златой...“ Она всколыхнула море тоски въ душѣ Юноши, и душа его съ ней... Приходитъ Отшельникъ, ученый книжникъ. Ему мерещится, что спаситель народа—онъ, но эхо подсказываетъ ему, что для людей и для Бога онъ — Смѣхъ. Волшебная фея, какъ Ариель, подбѣгая то къ одной, то къ другой группѣ, наводитъ еще бодшее смущеніе—и всѣ недоумѣваютъ: гдѣ же онъ, тотъ, кто спасетъ, освободитъ?.. Дряхлаго Старца, пріѣхавшаго изъ далекой окранны съ дочерьми взглянуть на храмъ сердца Польши, поражаетъ красота, величіе, но онъ далекъ отъ пониманія того, что стало нынѣ съ Польшею. И вотъ появляется вдругъ Онъ — ожидаемый всѣми Геній. Молчаливо его появленіе: онъ,—какъ статуя, какъ бронзовое покрывало — его одежды, и Слава — его уборъ. Кто онъ?.. Дѣйствіе кончается.

Этотъ Геній—всѣ чары великаго, великолѣпнаго и горькаго прошлаго. Онъ—мрачныя готическія святыни, мраморныя статуи рыцарей, хоругви всецильной хвалы. Онъ — память умершихъ, онъ плачъ „Войны“ и „Литуаніи“ поэта возстаній—Гроттгера...

Дѣйствіе второе далеко не сценично. Оно представляетъ рядъ діалоговъ Конрада съ масками, олицетворяющими разнѣнную монету народной мудрости. Его можно считать также безвѣчно длиннымъ монологомъ разсужденій вслухъ героя, которому приходится съ трудомъ искать и добывать правду изъ хаоса лжи и притворства. Отбросивъ техническую сторону этого дѣйствія, и слѣдя лишь за развитіемъ идеи, мы видимъ, что въ результатѣ Конрадъ гонитъ всѣ лживыя маски и, оставшись одинъ, принимаетъ изъ руки богини Гестіи горящій факелъ. Поэтъ самъ объясняетъ сущность такого символа. Горящій факелъ есть стихійная сила, свойственная свободной душѣ; онъ свѣтитъ и въ то же время сжигаетъ, несетъ благо теплоты и мощь огненнаго стреленія. Кто его потеряетъ, хотя бы жертвуя имъ для народа,—погибнетъ. Мстительныя Эринніи настигнуть его, и вѣчно удетъ онъ вопрошать—что дальше?..

Конрадъ знаетъ это. Но ему предстоитъ борьба не на жизнь, на смерть съ обаятельной силою прошлаго, съ „Гарпіею на-

рода — съ Геніемъ. Геній всеильно властвуетъ въ третьемъ дѣйствіи внутри вавельскаго зрѣмля. Онъ чаруетъ всѣхъ своимъ прикосновеніемъ, словомъ и тайною, онъ зоветъ всѣхъ низойти въ королевскую гробницу, въ нѣдра застывшаго въ мраморныхъ саркофагахъ величія, въ каменное прошлое. Тамъ — замогильная свободная Польша, зачатая въ Духѣ. Но толпа недоумѣваетъ, колеблется въ ужасѣ. Какъ?.. Освобожденіе только въ смерти? Только могилы, гробы для насъ?.. Развѣ золотой рогъ — это смерть? Геній увѣренно, властно зоветъ ихъ.

Но тутъ врывается съ горящимъ факеломъ Гестин Конрадъ. „Слава — народъ — слава“, кричитъ онъ мощно, и — устремившись къ Генію — выбиваетъ у него факеломъ изъ руки золотую чашу; она скатывается въ бездну гробницы. Конрадъ захлопываетъ каменную плиту, укрѣпляетъ въ ней горящій свой факель, который тутъ же потушаетъ.

Comedia del arte кончена. Какъ нѣкогда въ импровизациі Мицкевича, такъ и теперь, Конрадъ изнемогъ въ высшемъ напряженіи всѣхъ силъ. Онъ еще паритъ, сражается съ Высшимъ... Но на сценѣ спектакль оконченъ, — пора все прибрать и идти спать. Пробила полночь. Режиссеръ, актеры, муза, реквизиторы давно разошлись. Конрадъ остается одинъ на опустѣвшей сценѣ. Онъ проклялъ развалины величія, проклялъ и отрекся отъ тираниа поэзіи. Но факель его погасъ — вмѣстѣ съ нимъ исчезла вѣра, увѣренность, и изъ изнемогающей души струится ядъ немощи и сомнѣнія.

Выползаютъ свирѣпыя Эриннии и начинается преслѣдованіе, травля. Змѣяныя вѣдмы хлещутъ его тѣло, выгрызаютъ глаза и слѣпого гоняютъ по сценѣ.

И поэтъ кончаетъ отъ себя въ стихотворномъ сценаріи: „можетъ быть, когда-нибудь поденщикъ или босая дѣвушка распахнетъ ворота, и тогда Конрадъ-Эриннисъ съ мечомъ въ рукѣ выбѣжитъ на свѣтъ съ вѣликомъ: — узы долой!“

Идея Выспянского, тускло зарисованная въ сельской земной „Свадьбѣ“, обрывается здѣсь. Что освобожденіе не въ смерти и не въ ожиданіи — это ясно. Оно — это высшее Erlösung: въ дѣйствіи — въ дѣлѣ. Конрадъ Мицкевича, послѣ вышаго въ лѣтописи народнаго духа богоборческаго порыва, палъ въ изнеможеніи, покорился намѣстнику свободы на землѣ, кроткому священнику. Ибо Конрадъ 30-хъ годовъ не вознесся еще до дѣла. Ангелы Словацкаго не съ освобожденіе въ смерти, какъ исходъ тихій и добровольный. Въ страну могилъ и крестовъ посылалъ Иридіона Красинскій. То было разрѣшеніе проблемы великими

мессіаністами; терновый путь Христоваго страданія указывали Польшѣ ея вѣщіе поэты. Цѣлое повольтіе до 1863 года жило завѣтомъ гениальныхъ пророчателей, и только гибель всѣхъ надеждъ послѣ злосчастнаго январскаго возстанія могла проложить дорогу нарождающемуся „здравому смыслу“ — самокритикѣ. Сколько желчи, самобичеванія и отчаянія принесли народному сознанію поповстанческіе годы! Казалось, въ алчномъ огнѣ, который накинута на прошлое — испепелится и будущность. Если Польша, какъ народъ — нѣвогда великая, но порочная нація — лишена навѣки животворныхъ силъ, то не лучше ли безпрекословно, пассивно поддаться отрицательной мудрости, уйти въ ущелія и похоронить ее навѣки? Это и было видѣніе смерти, призракъ которой витаетъ надъ истерзаннымъ королемъ-духомъ.

V.

Изъ краткой передачи содержанія „Освобожденія“ видно, насколько революціонной является эта драма Выспянскаго. Несмотря на цѣлые годы совидательной работы позитивизма, несмотря на обиліе крупныхъ талантовъ, направляющихъ народное дѣло, — сорокъ лѣтъ конца вѣка не подвинули ни на шагъ извѣстнаго, расслабленнаго духа. Идеи прогресса медленно подталкивали впередъ культуру; искусство и поэзія расцвѣтали сами, но все безнадежно катился колокольный звонъ Сигизмундовъ. О немъ забыли, его перестали понимать. И стонъ его равнялся memento mori — страшной, какъ незажившая зіяющая рана, — смерти.

Черезъ годъ послѣ „Освобожденія“ Выспянский закончилъ свою мысль, издавъ какъ бы послѣднюю часть идеологической трилогіи, сгруппированной у Вавеля: драму „Аврополисъ“.

Въ пасхальную ночь Воскресенія Христова послѣ ухода священниковъ совершается на Вавелѣ чудо. Со стѣнъ, саркофаговъ, съ гобеленовъ и съ мраморныхъ группъ, — отовсюду, гдѣ въ мракѣ собора запечатлѣны человѣческой, ангельскій или божескій образъ, сползаютъ и оживаютъ лица. Ожили серебряные ангелы, поддерживающіе гробъ св. Станислава, за ними снизошли съ монументальныхъ статуй жены, пробуждаются и всѣ другія фигуры: Аморгъ, Клію, Дѣвица, Владиміръ Потоцкій. Исполненные страстной вѣги, она игриво, шаловливо нашептываютъ другъ другу слова любви, и попарно теряются въ сумракѣ святини. Воскресаютъ съ троянскаго гобелена Парисъ и Елена, — влюб-

ленная чета, спрыгающая на всѣ лады глаголь „люблю“. Классическіе Гекторъ и Андромаха, Пріамъ и Гекуба предстаютъ во всей строгости гомеровскихъ добродѣтелей. Пажъ и Поликсена довершаютъ картину всеобъемлющей любви, тлѣющей, какъ чудодѣйственный свѣточъ у семейнаго очага. Мирную, беззаботную картину эту прерываетъ сцена преслѣдуемой вѣронами Кассандры.

Далѣе оживаютъ библейскія лица съ фландрійскаго гобелена, изображающаго исторію Іакова. Исавъ долженъ получить благословіе Исаака, но его хитро предупреждаетъ Іаковъ. Исавъ уходитъ въ чащу за звѣремъ. Когда онъ вернулся, Исаакъ обѣщаетъ ему, что придетъ время, и онъ сброситъ иго. Іакову везетъ, отъ возвращается богачомъ. Исавъ прощаетъ ему обиду и они начинаютъ жить вмѣстѣ по-божьи. И когда въ послѣднемъ дѣйствіи Король-Пѣвецъ зоветъ въ псалмахъ бога радости и печали своего народа, Аврора прогоняетъ Ночь, и въ священномъ трепетѣ толпа слышитъ приближенія Воскресенія. Въ блескѣ молніи и въ ударѣ громовъ слышенъ голосъ Сальватора-Спасителя, а съ вершины алтаря стѣзжаетъ на божественной колесницѣ Аполлонъ. Языческая лучезарная жизнь святитъ волшебный союзъ съ христіанскимъ Спасителемъ, въ ночь Воскресенія на польскомъ Акрополѣ. Въ чудесной одѣ славить поэтъ это Воскресеніе.

Здѣсь конечное звено національной идеи Выспянского. Дальше поэту-предтечѣ идти некуда; фантазія художника, непрестанно лавируя между величіемъ смерти и весенней красотой жизни, приостановилась, подобно царской птицѣ, взлетѣвшей на высокой одинокой курганъ. Поэтъ нашелъ синтезъ—вѣщее Слово. Теперь онъ ждетъ — когда грядетъ Дѣло. И въ ожиданіи, какъ бы на досугъ, онъ провѣряетъ всѣ пути, всѣ русла, по которымъ бурно промчался потокъ его творчества. Наступилъ часъ анализа. Выспянский въ послѣднихъ своихъ пьесахъ занимается переоцѣнкою своихъ мыслей, перевоплощеніемъ теорій. Онъ пишетъ студіумъ о Гамлетѣ (1905), классическія драмы „Ахиллесъ“, „Возвращеніе Одиссея“ (1907), бытовую драму „Судьи“, могучій архаическій гимнъ „Veni, Creator“ (1906).

Какъ бы злобно издѣваясь надъ тѣмъ, кто водворилъ божественнаго Аполлона въ замокъ благочестивыхъ христіанскихъ королей — тяжелая роковая болѣзнь начинаетъ подступать къ поэту. Трагическое начало двойственности бытія, такъ глубоко пережитое имъ въ періодъ творчества, постепенно начинаетъ представать въ конкретной обнаженной формѣ, во всемъ ужасѣ

злой, разрушительной материи. Ядъ тлѣнія неутомимою струею одолеваетъ слабую плоть; отверженная поэтому во всѣхъ небожественныхъ видахъ, она торжественно празднуетъ свое „Дѣло“. Поэтъ прикованъ къ одру — его духъ напрасно мечется въ отчаяніи, мѣря ничтожество своихъ силъ. Въ печальномъ предсмертномъ посланіи къ одному изъ друзей больной поэтъ уже побѣдилъ въ себѣ жажду жизни. Спокойно, какъ мудрецъ, но съ горячей вѣрою жреца, созерцающаго потустороннюю жизнь, онъ пишетъ:

Уже слышу—гудятъ колокола
Высоко у небснаго свода...
Трупъ давно преданъ землѣ,
Но духъ несетъ полный сонъ.

Ахъ—который же я живой?..
Тотъ ли, что въ высь летать—
Иль тотъ, что счастливо умеръ,
Въ рукѣ креста распяты?..

Но не замѣтили люди,
Что довольно свазалъ я уже —
Чтобы слышать силу хора,
Чтобы хоръ мой вторилъ мнѣ..

Еще раньше Выспянскому пришлось бросить совсѣмъ кисть и палитру; на много мѣсяцевъ до смерти онъ лишается возможности даже писать, но оставаясь при полномъ сознаниіи, несмотря на всѣ страданія, творить. Онъ заканчиваетъ всѣ начатія когда-либо драмы: помогаетъ друзьямъ разобраться въ неизданныхъ отрывкахъ „Сигизмунда Августа“, и заканчиваетъ эту драму, диктуя. Ему читаютъ французскій текстъ и подъ диктовку сразу нѣсколькихъ страницъ записываютъ его поэтическій переводъ корнелевскаго „Сида“. Такой выборъ сюжета и такая работа въ подобную минуту!.. До самыхъ послѣднихъ дней короткой жизни рвалась душа его къ творчеству. 10—15 лѣтъ непрерывныхъ внутреннихъ исканій и опыта дали ей столько силы, зрѣлости и ясности, что ничто не могло ни столкнуть поэта съ его пути, ни затемнить этотъ путь. Онъ, какъ Будда, близился къ концу своихъ мытарствъ и, уступая плоть тлѣну, уже кончалъ свои поиски за Душой.

Въ мірѣ пластической красоты, въ мірѣ безгрѣшныхъ формъ предъ нимъ открылись ея первыя очертанія. Поэтъ почерпалъ изъ нихъ красоту вѣчности, писалъ свои первыя трагедіи — „Мелеагръ“, „Протесилай“ и „Лаодамія“, и послѣднія — „Ахиллесъ“ и „Смерть Одиссея“.

Въ лѣтописи польской мысли и слова Выспявскій занялъ совершенно исключительное мѣсто. Онъ принадлежитъ къ числу рѣдкихъ художниковъ, умѣющихъ совершенно послѣдовательно, вполне сознательно „мыслить до конца“ не только въ геніально-задуманныхъ общихъ планахъ, но и въ исполненіи деталей. Его особенность — декораторскій талантъ, и не подающее ни на минуту даже при метафизическомъ строительствѣ чувство пластики, соразмѣрности, музыки линий. Онъ — полная психическая противоположность декадентовъ, съ легкой руки Гартмана такъ охотно признающихъ надъ творческимъ моментомъ власть Безсознательнаго. Выспявскій — сама Жизнь: онъ — человѣкъ Возрожденія и, какъ тотъ, жаждетъ полноты, синтеза во имя: „*Nil humani a me alienum, puto*“...

Выспявскій, какъ поэтъ, одинокъ. Его идеи не только не вошли еще въ жизнь, но и не развернулись достаточно ясно передъ глазами современнаго поколѣнія. Громадныя глыбы традицій, духовный дальтонизмъ, домики изъ національныхъ и художественныхъ теоремъ, леги баррикадою поперегъ единственной ведущей къ его душѣ дороги „внутренняго опыта“, когда въ десятокъ лѣтъ переживаются столѣтія. Не исцѣлить ему разслабленныхъ, не оздоровить больныхъ. Онъ — одинъ изъ призванныхъ высшею силой вступить въ смертный бой съ „Грядущимъ Хаомомъ“ — и побѣдить.

Тад. Налепинскій.



НАША КОНСТИТУЦІЯ

И

ЕЯ ОСОБЕННОСТИ

I.

Многіе до сихъ поръ еще не уяснили себѣ, существуетъ ли у насъ конституція, или нѣтъ. Эта неясность зависитъ отъ того пониманія, которое вкладывается у насъ въ самое слово: „конституція“.

Въ сущности, каждое государство имѣетъ и должно имѣть свою конституцію, хотя бы и нигдѣ не записанную,—иначе оно впадаетъ въ анархію, или, при видимомъ наружномъ спокойствіи и могуществѣ, постепенно теряетъ свои жизненные силы и неминуемо клонится къ упадку.

Даже тѣ правительства, которыя отрещиваются отъ всякихъ конституцій, обыкновенно имѣютъ и свято соблюдаютъ какую-нибудь свою конституцію,—дворянскую, бюрократическую или иную,—напоминая въ этомъ отношеніи того Мольеровскаго героя, который, проживъ весь свой вѣкъ, не зналъ, что онъ всегда говорилъ прозой.

Съ реальной точки зрѣнія, конституція есть совокупность законовъ, правилъ и обычаевъ, опредѣляющихъ характеръ и способы дѣйствія верховной власти въ государствѣ, общій строй и порядокъ управленія, права и обязанности народа и отдѣльных лицъ по отношенію къ правительству и его органамъ.

Конституція предполагаетъ опредѣленный внутренній строй государственнаго организма, дѣйствующій болѣе или менѣе пра-

вильно, по извѣстнымъ постояннымъ нормамъ. Государство, лишенное конституціи, похоже на организмъ, въ которомъ всѣ функціи перемѣшаны и исполняются случайными, не приспособленными въ нимъ органами: желудокъ или печень играетъ роль мозга, ноги берутъ на себя работу рукъ, голова превращена въ органъ для сидѣнія. Въ такомъ государствѣ элементы низменнаго качества господствуютъ надъ высшими, и вся жизнь страны направляется по пути, противоположному требованіямъ разумной цѣлесообразности и справедливости. Разумное становится чѣмъ-то случайнымъ и мимолетнымъ; иногда оно водворяется на нѣкоторое время только для того, чтобы усилить быстроту послѣдующаго паденія.

Нѣтъ надобности доказывать невозможность правильнаго развитія государствъ, не имѣющихъ прочной внутренней конституціи; достаточно лишь сослаться на общезвѣстные историческіе факты. Многія великія имперія погибли только потому, что основою ихъ существованія было неограниченное владычество случая и произвола. Римская республика сдѣлалась жертвою внутреннихъ раздоровъ и честолюбія отдѣльныхъ лицъ вслѣдствіе отсутствія или слабости учреждений, которыя обезпечивали бы интересы всего государства и народа. Императорскій Римъ предрѣшилъ свою судьбу, усвоивъ принципъ, что воля случайнаго правителя есть законъ: высококультурное государство терпѣло надъ собою безумства Нероновъ, Калигулъ и Гелиогобаловъ и подверглось полному внутреннему разстройству, котораго не могли уже поправить случайные добродѣтельные императоры изъ дома Антониновъ. Китай, Персія и Турція давно омертвѣли и превратились въ безформенныя политическія тѣла; онѣ не живутъ, а прозябаютъ цѣлые вѣка, потому что не имѣли прочной внутренней организаціи, и судьба ихъ была поставлена въ зависимость отъ случайной смѣны неограниченныхъ деспотовъ, окруженныхъ хищниками. Японія оставалась ничтожною и безсильною до политическаго переворота шестидесятихъ годовъ; она пробудилась отъ вѣковаго сна и вступила въ рядъ сознательныхъ, предприимчивыхъ націй только съ тѣхъ поръ, какъ получила правильное государственное устройство, соотвѣтствующее потребностямъ и интересамъ народа.

Конституціонное государство отличается отъ неконституціоннаго не тѣмъ, что обладаетъ особымъ законодательнымъ актомъ, именуемымъ конституціею, а тѣмъ, что оно живетъ подъ властью твердыхъ законовъ и порядковъ, не зависящихъ отъ личнаго произвола правителей и ихъ приближенныхъ, — тогда какъ въ

державахъ другого типа безраздѣльно господствуетъ перемеживая воля центральной фигуры, направляемая въ ту или другую сторону разными случайными побужденіями и непредвидѣнными посторонними вліяніями. Такою центральною фигурою можетъ быть не только наследственный монархъ, но и выдвинувшійся счастливый полководецъ, популярный демагогъ, президентъ республики или могущественный министръ, сумѣвшій сосредоточить всю власть въ своихъ рукахъ, подъ прикрытіемъ авторитета оффиціального повелителя, съ устраненіемъ общественнаго контроля. Южно-американскія республики, снабженныя бумажными конституціями, но не обеспеченныя активнымъ участіемъ сознательной части населенія въ законодательствѣ и управленіи, страдаютъ отъ того же зла, которое губить восточныя монархіи.

Россія не составляетъ исключенія изъ общаго правила: и она всегда страдала отъ господства случая и произвола въ ея государственной жизни, отъ отсутствія органическаго постоянства и порядка въ ея внутреннихъ отношеніяхъ.

Въ древней Руси были зачатки опредѣленнаго политическаго уклада—сначала народно-вѣчевого, потомъ земско-представительнаго; но съ образованіемъ и усиленіемъ Московскаго государства владычество надъ народомъ переходитъ всецѣло къ служилому классу. Такъ называемое единеніе между властью и народомъ, придуманное позднѣйшими славянофилами, выражалось въ томъ, что главная масса русскаго народа — крестьянство — вмѣстѣ съ своими землями отдается въ полное распоряженіе и затѣмъ въ собственность служилыхъ людей. Почти вся исторія Московской Руси проходитъ въ нескончаемыхъ смутахъ, народныхъ бѣдствіяхъ и потрясеніяхъ: послѣ разорительной эпохи Іоанна Грознаго верховная власть въ государствѣ достается то слабоумному ничтожеству, то ловкому честолюбцу изъ татаръ, то какому-то темнымъ самозванцамъ, и едва не становится добычей польской королевской династіи, по рѣшенію и выбору русскаго боярства. Избранный на царство юноша, почти мальчишъ, изъ рода Романовыхъ, не могъ возстановить прочный порядокъ въ странѣ; смуты продолжались и при его преемникѣ, царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, которому удалось, однако, совершить многое въ области законодательства. Насталъ опять тяжелый періодъ междуцарствія, когда власть перешла номинально къ двумъ мальчишкамъ, подъ опекою честолюбивой и неразборчивой въ средствахъ старшей сестры; государствомъ распоряжаются буйные стрѣльцы и казаки, пока наконецъ не выступаетъ на сцену гениальный Петръ. Но и Петръ Великій оставилъ

государство неустроеннымъ, такъ какъ не позаботился обезпечить правильный порядокъ преемства верховной власти и не обставить эту власть надлежащими, прочно организованными національными учрежденіями. Послѣ него начинается женское владычество, связанное съ господствомъ и раздорами фаворитовъ: во главѣ государства оказываются—то креатура Меншикова, то несчастный безхарактерный мальчикъ, то недалекая принцесса съ невѣжественнымъ и злобнымъ курляндцемъ Бирономъ, то опять другая принцесса съ иностранными любимцами, и все это обрушивается на страну неисчислимыми бѣдствіями. Попадшая въ правительницы Россіи Анна Леопольдовна, какъ говоритъ извѣстный консервативный историкъ, профессоръ С. Θ. Платоновъ, „была совершенно неспособна не только къ управленію, но и къ дѣятельности вообще; дѣтски близорукая и неразвитая, она была избалована, любила роскошь и тѣсный кружокъ веселыхъ людей, желала жить для себя и подальше отъ дѣлъ;— не только къ государственнымъ дѣламъ, но и къ окружающимъ ее отношеніямъ придворнаго круга она не могла присмотрѣться сознательно, не могла примирить безчисленныхъ ссоръ и распрей, происходившихъ между людьми, близкими къ власти“. И однако, отъ свойствъ и слабостей этой нѣмецкой принцессы зависѣла судьба русскаго государства. Иноземные выходцы и дипломаты, при помощи гвардейскихъ полковъ, устраиваютъ въ Россіи государственные перевороты, назначаютъ и смѣняютъ правителей и правительницъ, и этотъ безнадежный хаосъ тянется непрерывно десяти лѣтъ. Голштинскій принцъ, призванный управлять Россіею послѣ Елизаветы Петровны, былъ, по выраженію С. М. Соловьева, „взрослымъ ребенкомъ“, проводилъ время въ игрѣ съ оловянными солдатиками, забавлялся съ лакеями и не стѣснялся открыто выражать свою ненависть и презрѣніе къ Россіи. Единственною и притомъ невольною заслугою его былъ бракъ съ даровитою женщиною, получившею вполнѣдствіи возможность сдѣлаться императрицею—Екатериною II. А послѣ знаменитой императрицы, прославившейся своимъ умомъ и дѣлами, опять прямая противоположность—своевольный, жестокой оригиналь, беспощадный любитель игры въ солдаты, покорный слуга прусскаго короля въ роли русскаго неограниченнаго правителя. И если, несмотря на эти послѣдовательныя крутыя перемѣны курса и внезапные толчки и порывы въ разныя стороны, подъ руководствомъ неумѣлыхъ, случайныхъ кормчихъ обоего пола, государственный корабль не разбился оковчательно, то это должно быть припи-

Само исключительно великой стихійной силѣ и необыкновенной выносливости многомилліоннаго русскаго народа.

Русское государство осталось по внѣшности цѣлымъ и могущественнымъ; оно расширяло свои границы и играло крупную, нерѣдко первенствующую роль въ дѣлахъ европейско-азиатскаго материка, но существовало и крѣпло какъ бы внѣ народа, подавляло его всею тяжестью и истощало его жизненные соки, именно потому что оно не имѣло опредѣленнаго внутренняго строя, который органически связывалъ бы народъ съ каждымъ даннымъ правительствомъ и придавалъ бы послѣднему характеръ цѣлесообразности и устойчивости. Въ этомъ смыслѣ Россія не имѣла прочной государственной конституціи, способной парализовать и обезвредить губительное самовластье Бироновъ и Аракчевыхъ; она лишена была правильныхъ, постоянно дѣйствующихъ самостоятельныхъ учреждений, въ которыхъ интересы страны и народа всегда находили бы своихъ вѣрныхъ выразителей и заступниковъ.

Многочисленный, хорошо организованный служилый классъ есть только послушное орудіе въ рукахъ смѣняющихся временщиковъ, могущественныхъ царедворцевъ и министровъ, иноземныхъ и отечественныхъ предпринимателей, дѣйствующихъ отъ имени верховной власти и подъ прикрытіемъ ея авторитета. Весь сложный аппаратъ правительственнаго механизма — всегда и безусловно къ ихъ услугамъ. Располагая довѣріемъ монарха, приобретеннымъ какими-нибудь закулисными путями, они могутъ распоряжаться силами и средствами страны по своему усмотрѣнію; и для того, чтобы никто не мѣшалъ имъ беспрепятственно пользоваться этой возможностью, создана особая теорія самодержавія, по которой народъ лишался права голоса въ государственныхъ дѣлахъ, и всякая попытка возраженія или протеста противъ произвола властей признавалась преступленіемъ не противъ нихъ, а противъ царя, или „крамолой“.

Цѣль и назначеніе конституціи — установить дѣйствительное, а не воображаемое единеніе между властью и народомъ, опредѣлить точныя границы правительственныхъ полномочій, обезпечить обдуманную расчетливость и цѣлесообразность внутренней и внѣшней политики государства. При существованіи конституціи сами правители были бы избавлены отъ важныхъ и иногда роковыхъ ошибокъ: Россіи не пришлось бы воевать для пользы русскаго или сардинскаго короля, жертвовать собою поочередно для чужихъ и отчасти враждебныхъ державъ, бросать сотни милліоновъ народныхъ денегъ и десятки тысячъ человѣческихъ

жизней на осуществленіе фантастическихъ плановъ гг. Безобразова и Абазы, искусственно возбуждать противъ себя раздраженіе и вражду поляковъ, кавказцевъ и т. п. Россія свободно развивалась бы для блага и процвѣтанія своего собственнаго народа, безъ ущерба для инородцевъ и иновѣрцевъ и безъ самоотверженныхъ заботъ о западно-европейскихъ династіяхъ, о Китаѣ или о Манчжуріи.

Конституція, такимъ образомъ, не ограничиваетъ верховную власть, а напротивъ, сообщаетъ всѣмъ ея дѣйствіямъ широкую національную основу; она стѣсняетъ не монарха, а его случайныхъ совѣтниковъ, министровъ и фаворитовъ. Таковъ истинный практической смыслъ конституціи, которую многіе, по непониманію или недомыслію, или же по сознательнымъ корыстнымъ мотивамъ, считаютъ тѣмъ-то враждебнымъ народу и несогласнымъ съ требованіями и условіями русской государственности.

II.

Вопреки общепринятому мнѣнію, верховная власть въ Россіи фактически давно уже перестала быть неограниченною; она сама ставила себѣ извѣстные предѣлы, которыхъ никогда не переступала—въ интересахъ правильнаго хода государственныхъ дѣлъ.

Такъ, ни одинъ изъ новѣйшихъ русскихъ государей не приписывалъ себѣ права казнить кого-либо по своей собственной волѣ, отнимать у подданныхъ имущество, разрѣшать гражданскіе споры и тяжбы между частными лицами, принуждать иновѣрцевъ къ переменѣ вѣроисповѣданія или нарушать господствующее положеніе православной церкви. Со времени изданія Судебныхъ уставовъ 1864 года правосудіе, особенно гражданское, считается совершенно изъятымъ отъ непосредственнаго воздѣйствія верховной власти и ея правительственныхъ органовъ. Въ этой области, какъ и въ другихъ указанныхъ выше областяхъ, несомнѣнно существовала и соблюдалась на дѣлѣ нѣкотораго рода конституція.

Неограниченность власти есть вообще условная формула, означающая возможную широту и самостоятельность власти, а не ея безграничность. Никакая человѣческая власть не можетъ быть безграничною; она неизбѣжно ограничена, во-первыхъ, человѣческою природою ея носителя и постояннымъ вліяніемъ окружающихъ его лицъ, ихъ интересами, понятіями и стремленіями; и во-вторыхъ,—тѣми цѣлями и задачами, которыя она

призвана осуществлять въ своихъ проявленіяхъ. Неограниченный правитель въ дѣйствительности ограниченъ уже въ томъ отношеніи, что долженъ имѣть въ виду общее благо своей страны и не можетъ предпринимать ничего завѣдомо вреднаго для государства. Но исполнители и довѣренные сановники могутъ имѣть другія, чисто-личныя цѣли: они могутъ выдавать свои частныя или сословныя интересы за общегосударственныя и проводить ихъ подъ флагомъ неограниченной верховной власти. Оттого приближенные совѣтники монарха всегда съ особеннымъ упорствомъ отстаиваютъ неограниченность его власти, подъ предлогомъ горячей преданности престолу и благоговѣйнаго уваженія къ исконнымъ историческимъ традиціямъ: эта неограниченность власти нужна имъ самимъ, а не монарху.

Бюрократія всегда ограничивала личную власть государей и пользовалась самодержавіемъ, какъ орудіемъ для расширенія и утвержденія своего собственного безраздѣльнаго господства. Императоръ Николай I сознавалъ во многихъ случаяхъ свое безсиліе предъ „столоначальниками“, управлявшими Россією. При восшествіи на престолъ Александра III высшая бюрократія, въ лицѣ Побѣдоносцева и его единомышленниковъ, открыто предъ-являла притязаніе на „руководительство“ верховною властью и даже отрицала право государя призывать выборныхъ изъ народа для непосредственнаго ознакомленія съ народными нуждами и желаніями, помимо министровъ и чиновниковъ ¹⁾.

Для того, чтобы государственная дѣятельность не шла въ разрѣвъ съ насущными потребностями народа, нѣтъ и не можетъ быть другого способа, кромѣ существованія постоянного выборнаго народнаго представительства, уполномоченнаго активно участвовать въ обсужденіи и рѣшеніи вопросовъ законодательства и управленія. Если бы представительное собраніе обладало только правомъ совѣщательнаго голоса, то его мнѣнія и пожеланія легко устранялись бы министрами и близкими къ престолу лицами, и придворная бюрократія была бы по-прежнему всецѣльною; поэтому всѣ проекты народнаго представительства, создававшіеся до манифеста 17 октября 1905 года, были заранѣе обречены на безплодіе, такъ какъ въ сущности они сохраняли неприкосновеннымъ принципъ бюрократическаго самовластія.

Манифестъ 17 октября заключаетъ въ себѣ обычные главные признаки конституціоннаго акта и ничѣмъ существеннымъ не

¹⁾ См. брошюру: „О великой лжи нашего времени“. К. П. Побѣдоносцевъ и кн. В. П. Мещерскій. Слб., 1903, стр. 57—70.

отличается отъ западно-европейскихъ актовъ подобнаго рода. Выборной Государственной Думѣ предоставлены въ общемъ тѣ же права, какія принадлежатъ иностраннымъ парламентамъ: право самостоятельнаго участія въ законодательствѣ, право разсматривать и рѣшать бюджетные и финансовыя вопросы, право запроса министрамъ по поводу текущихъ правительственныхъ дѣлъ и злоупотребленій. На обязанность правительства возложено „выполненіе непреклонной воли“ — даровать населенію „незыблемыя основы гражданской свободы на началахъ дѣйствительной неприкосновенности личности, свободы совѣсти, слова, собраній и союзовъ“.

Наша „хартія“, правда, не была выработана при участіи народнаго представительства, какъ прусская конституція 31-го января 1850 года, и монархъ не далъ торжественной присяги въ ея соблюденіи, подобно королю Фридриху-Вильгельму IV; но неоднократное публичное подтвержденіе „непреклонной воли“ Государя соблюдать „незыблемыя“ основы новаго строя — вполнѣ равносильно прусской королевской присягѣ и не можетъ быть поколеблено никакими произвольными толкованіями. „Неизмѣнное намѣреніе“ сохранить дарованныя народу права выражено и въ манифестѣ 9-го іюля 1906 года, при роспускѣ первой Думы; то-же самое повторено и въ манифестѣ 3-го іюня 1907 года, при роспускѣ второй Думы.

Однако, придворная бюрократія не остановилась предъ авторитетомъ категорическихъ заявленій верховной власти и счумѣла внести существенныя перемѣны въ то, что объявлено было незыблемымъ и неизмѣннымъ. Въ манифестѣ 17-го октября ясно высказано было обѣщаніе расширить участіе населенія въ государственной Думѣ, „предоставивъ засимъ дальнѣйшее развитіе начала общаго избирательнаго права вновь установленному законодательному порядку“; вмѣстѣ съ тѣмъ установлено, „какъ незыблемое правило, чтобы никакой законъ не могъ воспріять силу безъ одобренія Государственной Думы, и чтобы выборнымъ отъ народа обезпечена была возможность дѣйствительнаго участія въ надзорѣ за закономѣрностью дѣйствій“ властей. Въ позднѣйшемъ манифестѣ — 20-го февраля 1906 года — точно формулировано правило, вошедшее потомъ въ основные законы, о предѣлахъ дѣйствія временныхъ правительственныхъ мѣръ, принимаемыхъ во время промежутка между двумя сессіями и требующихъ обсуждения въ законодательномъ порядкѣ: такая мѣра „не можетъ вносить измѣненій ни въ основные государственныя законы, ни въ учрежденія Государственнаго Совѣта

или Государственной Думы, ни въ постановленія о выборахъ въ Собрѣтіе или Думу". Между тѣмъ, противники новыхъ началъ государственнаго строя добились кореннаго измѣненія и сокращенія избирательныхъ правъ народа, внѣ установленнаго основными законами порядка, помимо Государственной Думы, — въ виду несоотвѣтствія состава и настроенія народнаго представительства желаніямъ и интересамъ бюрократіи и солидарной съ нею части общества. Въ то-же время вся программа преобразованій государственнаго управленія на „незыблемыхъ основахъ гражданской свободы“ оставлена безъ исполненія, и званія возвышенныхъ началъ „дѣйствительной неприкосновенности личности, свободы совѣсти, слова, собраній и союзовъ“ вновь укрѣплена система безотчетнаго административнаго усмотрѣнія и произвола. И что всего удивительнѣе — наиболѣе вліятельная часть русскаго общества, нашедшая свое вѣрное выраженіе въ третьей Государственной Думѣ, обнаруживаетъ полное пренебреженіе къ этимъ основнымъ началамъ гражданской свободы и къ тому законному „порядку на основѣ права“, о которомъ говорилось въ Высочайшемъ привѣтственномъ словѣ къ первой Государственной Думѣ (см. „Правит. Вѣстникъ“, 1906, № 94).

Само русское общество какъ будто не вѣритъ въ превосходство новыхъ началъ законности и права надъ старою системою административнаго самовластия и съ необыкновеннымъ малодушіемъ преклоняется предъ мнимою прочностью режима, который еще недавно принято было называть не иначе какъ „умирающимъ“. А недостатокъ твердой вѣры въ жизненную силу и безусловную необходимость конституціи для блага государства создаетъ именно ту психическую атмосферу, которая подготавливаетъ торжество приверженцевъ безправія и произвола.

Такимъ образомъ, при несомнѣнномъ попустительствѣ со стороны общественнаго мнѣнія и новыхъ народно-государственныхъ учрежденій, у насъ вновь водворяется господство всемогущей полицейской опеки надъ жизнью страны и народа. Основною государственнаго управленія остается понынѣ знаменитое Положеніе 14 августа 1881 года о мѣрахъ къ охраненію государственнаго порядка и общественнаго спокойствія, несмотря на показанную многолѣтнимъ опытомъ полную несостоятельность этихъ мѣръ въ дѣлѣ обезпеченія порядка и спокойствія. Первая часть указаннаго Положенія подчиняетъ всѣ задачи государственнаго управленія чисто-полицейскимъ функціямъ и полномочіямъ, сосредоточеннымъ въ рукахъ министра внутреннихъ дѣлъ.

Рядомъ съ новыми конституціонными началами сохраняются

и поддерживаются несомѣстимые съ ними элементы стараго порядка, и весь нашъ современный государственный строй получаетъ крайне пестрый и своеобразный видъ. Основные черты этого строя и связанной съ нимъ правительственной практики характеризуются слѣдующими положеніями:

I. Въ области общаго законодательства и государственнаго бюджета установленъ твердый конституціонный порядокъ, несомнѣнно ограничивающій власть правительства. Вопросы внутренней и виѣшней политики свободно обсуждаются въ Государственной Думѣ; дѣйствія министровъ критикуются публично безъ всякихъ стѣсненій, и оппозиціонныя рѣчи, не исключая и социаль-демократическихъ, беспрепятственно печатаются во всѣхъ газетахъ имперіи, какъ это принято въ другихъ культурныхъ странахъ.

II. Полномочія высшей административной власти и ея мѣстныхъ органовъ чрезвычайно расширены сравнительно съ прошлымъ и фактически почти ничѣмъ не ограничены, обнимая всѣ сферы общественной и частной жизни населенія. Администраціи присвоены и законодательныя, и судебныя, и карательныя функціи, вплоть до права ссылки обывателей въ отдаленные края безъ суда и разбирательства. Роль верховнаго административнаго судьи надъ населеніемъ всей Россіи возложена на министра внутреннихъ дѣлъ, какъ одна изъ безчисленнаго множества его обязательныхъ функцій; мѣстные генераль-губернаторы, губернаторы и градоначальники, сверхъ своихъ обычныхъ многосложныхъ занятій, пользуются также правами самостоятельныхъ законодателей и судей въ своихъ областяхъ, губерніяхъ и городахъ.

Эти исключительныя полномочія, не предупредившія ни одной „экспропріаціи“ и ни одного погрома, направлены главнымъ образомъ на борьбу противъ болѣе умѣренной части общества. Всякое подобіе открытой оппозиціи и вольнодумства сурово преслѣдуется; приверженность къ манифесту 17 октября принимается за крамолу; распространенныя частныя газеты произвольно закрываются или облагаются высокими денежными штрафами, и прямое официальное покровительство оказывается лишь такъ называемымъ „патріотическимъ“ или черносотеннымъ организаціямъ, отрицающимъ законныя права Государственной Думы и отстаивающимъ прежній порядокъ неограниченнаго самовластья.

III. Россія раздѣлена на цѣлый рядъ автономныхъ генераль-губернаторствъ и градоначальствъ, изъ которыхъ каждое управляется по своимъ особымъ законамъ и правиламъ, въ зависимости отъ личнаго усмотрѣнія мѣстныхъ носителей власти; го-

сударственное и правительственное единство нарушено, какъ полагають, въ цѣляхъ лучшаго и скорѣйшаго успокоенія страны, ибо упраздненіе законнаго порядка и замѣна его административнымъ произволомъ издавна признаются у насъ, вопреки очевидности, вѣрнѣйшимъ способомъ къ утвержденію законности и „порядка на основѣ права“.

То, чего никогда не дѣлала и не можетъ дѣлать сама верховная власть, — карать безъ суда, уничтожать частное имущество и законныя частныя права — предоставлено мѣстнымъ гражданскимъ и военнымъ властямъ, на основаніи исключительныхъ положеній, дѣйствующихъ въ значительной части Россіи съ 1882 года и пережившихъ на практикѣ не только великую политическую реформу 17-го октября 1905 года, но и двѣ Государственныя Думы.

Найти правильный законный выходъ изъ этихъ непримиримыхъ и пагубныхъ для страны внутреннихъ противорѣчій — важнѣйшая задача настоящаго времени.

III.

Источникъ нашего современнаго политическаго кризиса заключается не въ недостаткахъ и противорѣчіяхъ правительственной системы, а въ понятіяхъ, чувствахъ и интересахъ тѣхъ общественныхъ группъ, которыя поддерживаютъ и оправдываютъ эту систему.

Не только правительство, но и господствующая консервативная часть общества, вѣрнѣе, съ одной стороны, въ спасительную силу узаконеннаго или „закономѣрнаго“ беззаконія, а съ другой — не придаетъ значенія основнымъ началамъ права, какъ необходимымъ элементамъ разумнаго и спокойнаго общежитія. Въ этомъ — корень великаго зла, разъѣдающаго государственныя органы Россіи.

Безправіе вошло въ плоть и кровь русскаго общества; оно кажется уже чѣмъ-то естественнымъ, нормальнымъ и въ лучшемъ случаѣ представляется „печальною необходимостью“, — ибо оно нечувствительно для господствующихъ классовъ, не касается ихъ, и даже ставитъ ихъ въ привилегированное положеніе надъ массою заурядныхъ обывателей, подвластныхъ дѣятельной административно-полицейской опекѣ. Люди, независимые по положенію, обладающіе извѣстными средствами и связями, болѣе или менѣе равнодушны къ общественнымъ и національнымъ интересамъ,

могутъ фактически навлекать крупныя выгоды изъ общаго безправія и наслаждаться спокойнымъ сознаниемъ своихъ личныхъ и сословныхъ преимуществъ, ограждающихъ ихъ отъ непосредственныхъ столкновений съ неудобствами даннаго режима; имъ можетъ казаться, что самыя рѣзкія нарушенія и стѣсненія частныхъ правъ и интересовъ всегда имѣютъ какую-нибудь основательную причину и обрушиваются только на тѣхъ, которые дѣйствительно въ чемъ-либо виновны передъ властью. Такъ и въ восточныхъ монархіяхъ правовѣрные слуги и привилегированные подданные падишаха или богдыхана не сознаютъ и не чувствуютъ на себѣ губительнаго дѣйствія царящей системы безправія; они спокойно уживаются съ переменчивымъ произволомъ сановниковъ и благополучно устраиваютъ свои дѣла при общемъ упадкѣ и разореніи главной массы населенія, отданной всецѣло во власть мѣстныхъ пашей, сатраповъ или мандариновъ.

Вліятельные консервативные элементы русскаго общества настолько прониклись этимъ восточнымъ міровоззрѣніемъ, что потеряли уже вкусъ къ идеѣ права и справедливости, столь сильно волновавшей наши образованные классы еще въ шестидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія. Вслѣдъ за правительствомъ, руководящіяе круги общества смотрятъ на произвольныя репрессивныя мѣры, на неустанныя преслѣдованія оппозиціи и на массовыя смертныя казни, какъ на практическіе способы водворенія общественнаго порядка и спокойствія: въ этомъ отношеніи горькій опытъ послѣдняго сорокалѣтія прошелъ для насъ безслѣдно. Но чувство страха не существуетъ для самоотверженныхъ защитниковъ лучшаго будущаго, для юныхъ борцовъ, радостно идущихъ на смерть во имя идеи,—и общественное движеніе, загоняемое насильственно внутрь и вглубь, становится только скрытымъ и тѣмъ болѣе грознымъ, полнымъ возможныхъ неожиданностей. Бюрократія, съ ея рутинными приемами борьбы противъ „крамолы“, слѣпо идетъ на встрѣчу новымъ катастрофамъ и готовитъ странѣ дальнѣйшія тяжелыя испытанія, не встрѣчая надлежащаго отпора въ общественномъ мнѣніи. Безполезно винить въ этомъ властвующую бюрократію: она остается лишь вѣрною своей природѣ и своимъ традиціямъ. Отвѣтственность лежитъ на обществѣ, получившемъ законную возможность вліять на законодательство и управление черезъ посредство Государственной Думы.

Во всемъ культурномъ мірѣ фундаментомъ правильнаго конституціоннаго строя признается принципъ неприкосновенности основныхъ гражданскихъ правъ, личныхъ и общественныхъ. 51

эти „незыблемыя основы гражданской свободы“ настойчиво и упорно боролись, въ теченіе столѣтій, лучшіе люди и истинные патріоты различныхъ націй; за эти основныя права одинаково стоятъ представители всѣхъ партій и направлений въ Западной Европѣ, и во многихъ случаяхъ консерваторы оказываются въ этомъ отношеніи даже болѣе послѣдовательными, чѣмъ передовые прогрессисты и радикалы. У насъ же вопросъ о неприкосновенности личныхъ и гражданскихъ правъ обывателей служить еще предметомъ сомнѣній и споровъ; эти основныя права съ легкимъ сердцемъ приносятся въ жертву бюрократическимъ требованіямъ, опирающимся на практику печальнаго прошлаго.

Наша современная конституція представляетъ пока безформенное зданіе, съ заманчивымъ лицевымъ фасадомъ и съ недодѣланною, кое какъ подправленною крышею, но безъ необходимаго фундамента. Пока не проведены въ жизнь, возвѣщенные Верховною властью, „незыблемыя основы гражданской свободы“, — до тѣхъ поръ весь новый государственный строй Россіи остается, такъ сказать, висѣть на воздухѣ, подвергаясь разнообразнымъ случайнымъ вліяніямъ перемѣнчивой политической атмосферы; а безъ устойчивой и прочной конституціи немислимо правильное развитіе государства.

Л. Слонимскій.



П Р Е Д К И

Романъ Джертруды Асертонъ.

„Ancestors“, by Gertrude Atherton.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ *).

I.

Для Изабеллы Отисъ „Genius loci“ обладалъ болѣе могущественною притягательной силой, чѣмъ для всѣхъ другихъ, съ кѣмъ ей случалось сталкиваться. Она ощущала ее еще безсознательно во времена своего ранняго одинокаго дѣвчества, проведеннаго ею у озеръ Розуотера. Среди своихъ странствованій по Европѣ она перебивала въ самыхъ очаровательныхъ уголкахъ, неизвѣстныхъ большинству туристовъ, но ни одинъ край таеъ не волновалъ, не раздражалъ ее, не захватывалъ всѣ корни ея существа, какъ ея родная Калифорнія.

Ея воспоминанія дѣтства витали то воеругъ дома на такъ называемомъ Русскомъ холмѣ, гдѣ самыми радушными сосѣдями были козы пастухи, то воеругъ залива въ бурные дни и среди окружавшихъ его почти отвѣсныхъ скалъ. Изрѣдка вспоминались дѣтскіе праздники въ богатыхъ домахъ въ долинѣ. Она сохранила очаровательныя воспоминанія о матери, когда та въ вечернемъ туалетѣ, предусмотрительно скрытомъ подъ дорожнымъ плащомъ—заходила поцѣловать ее на сонъ грядущій прежде,

*) См. выше: июнь, 645 стр.

тѣмъ спуститься по лѣстницѣ въ свалѣ въ ожидавшему ее внизу экипажу. Но за два года до своей смерти м-съ Отисъ при-
нуждена была разстаться съ домомъ въ Санъ-Франциско на
Русскомъ холмѣ и скрыть свое разочарованіе въ Розуотерѣ. Ея
мужъ, искусный стряпчій, человѣкъ недюжиннаго ума, все болѣе
предавался страсти къ пьянству и кончилъ тѣмъ, что потерялъ
послѣдняго кліента. Изабеллѣ пришлось побывать въ Санъ-Фран-
циско уже шестнадцатилѣтнею дѣвочкою. Это случилось во
время одного изъ краткихъ промежутковъ трезвости ея отца.
Онъ долженъ былъ навѣстить свою приемную дочь, жившую съ
мужемъ и ребенкомъ круглый годъ въ городѣ, и взялъ съ собою
свою надзирательницу и жертву. Изабелла бродила, какъ очаро-
ванная вокругъ ихъ дома, куда сидѣвшій въ качалкѣ у окна
спальни арендаторъ не пригласилъ ее войти. Она была заин-
тересована блестящими магазинами, толпою на улицахъ, ресто-
ранами, но, къ сожалѣнію, м-ръ Отисъ, не пившій болѣе полгода,
выбралъ это время для „рецидива“, напумѣвшаго отъ Теле-
графнаго холма до Market-Street и напомнившаго въ мѣстныхъ
„салонахъ“ тѣ дни, когда „Джимъ Отисъ“ былъ самой отчаян-
ной головою въ самомъ отчаянномъ городѣ на свѣтѣ. Его по-
двиги относились къ эпохѣ шестидесятыхъ годовъ; въ восьми-
десятыхъ онъ уже исчезъ съ горизонта, и забывчивый городъ
успѣлъ о немъ позабыть. Въ семидесятыхъ и въ началѣ восьми-
десятыхъ онъ, увлеченный духомъ реформъ, только-что женив-
шійся на красивой и смѣлой дѣвушкѣ, Мэри Бельмонтѣ, попы-
тался сыграть партію въ политической игрѣ и очистить адми-
нистративныя Авгіевы конюшни. Его столкновеніе съ город-
скимъ совѣтомъ, имѣвшимъ Бекли во главѣ, надолго осталось
памятнымъ. Неудача, равнодушіе безпечнаго города къ тому,
что творилось въ его вертепахъ—озлобили его, подорвали вѣру
въ себя и привели въ концѣ концовъ въ Розуотеръ, гдѣ онъ
кое-какъ перебивался, гордяся тѣмъ, что женѣ его все же не
приходится справлять домашнюю работу. Зять Изабеллы пока-
зывалъ дѣвочкѣ городъ, и она въ сопровожденіи его извлекла
отца изъ четырнадцати счетовъ „салонныхъ“. Когда она увезла
его обратно въ Розуотеръ, имъ овладѣлъ одинъ изъ обычныхъ
лгтпадковъ раскаянія, во время котораго онъ былъ такъ милъ,
что она простила ему и даже стала надѣяться на лучшее. Кон-
чилось однако продажею вотчѣдѣ въ Розуотерѣ, и имъ пришлось
перейти въ ранчо, къ которому прилегали нѣсколько сотъ
доброй земли, доставшіяся имъ отъ дяди Гирама. Отецъ умеръ
въ это время,—ранѣе, чѣмъ онъ успѣлъ безповоротно омрачить жизнь

дочери. Свобода была дарована ей какъ разъ въ ту пору, когда она уже перестала ненавидѣть съ нетерпимостью ранней юности и уже научилась жалѣть. Душеприказчикомъ отца и дяди былъ судья Лесли, но черезъ годъ миссъ Отисъ была уже госпожею своего имущества и своей свободы.

Счастливейшею минутою ея жизни была та минута, когда, сидя въ конторѣ нотариуса въ Санъ-Франциско, она получила обратно закладную на домъ. Джемсъ Отисъ сдержалъ данное женѣ слово и не продалъ его, хотя проценты выплачивалъ послѣдніе годы дядя Гирамъ, по своему преданный племянницѣ. Передъ отъѣздомъ въ Европу Изабелла сдала домъ молодому журналисту со средствами, но по возвращеніи жена его заявила ей, что она примирилась съ карьерой мужа, но не съ перспективой паденія со скалы его самого или кого-нибудь изъ дѣтей. Довольно съ нея „живописнаго вида!“

Миссъ Отисъ съ восторгомъ вступила во владѣніе своимъ домомъ, хотя пять-шесть дней въ недѣлю она принуждена была проводить въ своемъ ранчо, гдѣ цыплячья колонія находилась въ такомъ цвѣтущемъ состояніи, что она уже начинала богать. Со временемъ она займетъ выдающееся положеніе въ городѣ и совсѣмъ переѣдетъ туда, а пока она просиживала чуть не весь день у окна, любясь видомъ, который даже и въ дурную погоду былъ для нея самымъ привлекательнымъ въ своей дивной красотѣ.

Эта часть Русскаго холма представляла собою громадный почти отвѣсный утесъ, поднимающійся на сѣверномъ выступѣ Главнаго холма, который въ свою очередь почти свѣшивался надъ крутымъ спускомъ въ долину. Въ „ранніе дни“ по этимъ холмамъ карабкались однѣ козы, но затѣмъ упорная культура преодолѣла всѣ трудности пути, и теперь это мѣсто считалось аристократическимъ. Потомки старинныхъ испанскихъ фамилій — Аргуэлло, Гурба, Бельмонты — поселились тамъ раньше, чѣмъ вновь испеченные милліонеры загромодили городъ постройками, свидѣтельствовавшими не столько о вкусѣ ихъ, сколько о фантазіи. Когда Мэри Бельмонтъ — впоследствии м-съ Джемсъ Отисъ — принимала у себя калифорнійское высшее общество, молодежь охотно взбиралась въ дождь и туманъ по скользкимъ ступенямъ лѣстницы въ скалѣ и съ радостью ползла бы и луно ради любезнаго приѣма гостепріимной и веселой молодой хозяйки.

Изабелла часто мечтала о томъ, что она будетъ въ числѣ первыхъ владѣльцевъ, которые на этихъ дикихъ скалахъ возве

дуть зданія, достойныя древнихъ Аѳинъ, когда въ городѣ пробудится сознаніе его вины противъ чистаго архитектурнаго стиля. Покуда, будучи человѣкомъ практическимъ, она прежде всего укрѣпила фундаментъ своего дома, что было очень важно въ виду постоянныхъ землетрясеній, и продала кое-что изъ безвкусной старой мебели, сохранивъ въ приемной длинныя зеркала въ узкихъ золоченыхъ рамахъ. Въ *pendant* къ нимъ она велѣла выкрасить стѣны въ бѣлый цвѣтъ; для обивки мебели и драпировокъ она выбрала темно-голубой неопредѣленный цвѣтъ, а въ столовой, украшенной портретами испанскихъ и англійскихъ предковъ, замѣнила обои — кожею. Кромѣ кухни и людскихъ, внизу были три комнаты, а громадная приемная вмѣстѣ съ тремя другими — наверху. Ихъ она приготовила для своихъ англійскихъ родственниковъ, но они не спѣшили посѣтить городъ своихъ предковъ. Гвиннъ уѣхалъ изъ Англій еще въ прошломъ октябрѣ, годъ тому назадъ; узнавъ отъ мѣстнаго юриста, что онъ можетъ хлопотать о правахъ гражданства не ранѣе, какъ на третій годъ по прибытіи, онъ сообщилъ Изабеллѣ о своемъ намѣреніи побывать въ отдаленныхъ мѣстахъ востока, юга и запада и основательно ознакомиться съ новымъ своимъ отечествомъ. Съ тѣхъ поръ онъ нѣсколько разъ писалъ ей, но всегда — по дѣлу.

Въ январѣ она вернулась домой и стала приводить его домъ въ порядокъ. Гвиннъ выслалъ ей полную довѣренность, и она отдавала ему дѣловой отчетъ, не пускаясь въ дружескую откровенность, къ которой онъ, очевидно, не стремился.

О лэди Викторіи она имѣла свѣдѣнія черезъ Флору Сэнгъ. Цвѣтущее здоровье милэди, къ ея собственному изумленію и скрытому бѣшенству, нѣсколько пошатнулось послѣ сильнаго приступа инфлуэнцы, и докторъ не совѣтовалъ ей пускаться покуда въ дорогу. Тѣмъ не менѣе она уже сдала въ аренду Аббатство и Кэпитонъ и готовилась прибыть въ Калифорнію въ концѣ года.

Изабелла надѣялась, что вслѣдствіе отсутствія сына материнскія чувства лэди Викторіи нѣсколько поостыли. Миссъ Отисъ имѣла опредѣленное намѣреніе руководить новою карьерою Элтона Гвинна и не желала капризнаго вмѣшательства его матери.

II.

Стоя въ это солнечное сентябрьское утро у себя въ пор-
тѣ, Изабелла не жалѣла о томъ, что не осталась въ Англій

на лондонскій сезонъ, сулившій ей блестящій успѣхъ. Она не только съ пользою употребила время, но и вернула себѣ свой домъ, который ея повѣренный снова сдалъ бы въ аренду. На Тихомъ океанѣ свирѣпствовали вѣтры и туманы, но городъ, расположившійся внизу, въ видѣ неправильнаго амфитеатра, рѣзко вырисовывался въ золотистомъ свѣтѣ. Ей казалось, что солнце черпаетъ новые запасы свѣта изъ золотыхъ копей на сѣверѣ и югѣ. На ближайшихъ отрогахъ видѣлись слѣды невиданнаго нигдѣ въ мѣрѣ архитектурнаго разгула: деревянныя строенія въ стилѣ Возрожденія, готическій замокъ изъ дерева со сводчатыми окнами, большой коричневый каменный домъ нью-іорскаго образца и проч. Внизу, въ долинѣ, видѣлись постройки изъ кирпича и желѣза, магазины и склады. Гордые куполы Сити-Голль, зданіе редакціи большой газеты, нѣсколько церковныхъ шпилей и большой отель изъ бѣлаго камня на горѣ—одни могли претендовать на красоту. Миссъ Отисъ, подобно большинству согражданъ, отличалась патриотизмомъ. Граждане Санъ-Франциско привыкли къ независимости, отчасти вслѣдствіе изолированнаго положенія города, но еще болѣе—благодаря старинному духу ихъ предковъ-золотоискателей, отчаянныхъ игроковъ и головорѣзовъ, привыкшихъ спать съ револьверомъ въ рукѣ.

Лѣтъ десять тому назадъ во главѣ городского управленія стояли вполне порядочные люди. О подкупахъ или такъ называемой „подмазкѣ“ тогда не было и рѣчи; городъ былъ свободенъ отъ долговъ, но безкорыстные люди опочили на лаврахъ, а голодные и корыстные снова появились, какъ крысы, ищущія добычи. Они выползли изъ разныхъ подозрительныхъ притоновъ и, раздувая недовольство недостаточныхъ классовъ, подготовили перемѣну. Въ одно неприятое утро Санъ-Франциско проснулось съ сознаніемъ, что оно опутано сѣтями компаніи съ Бекли и его присными во главѣ. Но безпечное большинство продолжало не обращать на это особеннаго вниманія. Беззаботность и легкость, чувствовавшіяся въ самомъ климатѣ, скрывали отъ нихъ перспективу полнаго развращенія города, когда жизнь среди дерзкихъ грабителей, проституткозъ и анархистовъ—сдѣлается совершенно невозможной.

Группа болѣе разумныхъ и любящихъ свой городъ гражданъ дѣлала при помощи единственной боевой газеты все возможное для того, чтобы предотвратить вторичное избраніе мэра. Изабелла со страстнымъ интересомъ слѣдила изъ своего уединенія за перипетіями этой борьбы, и у нее часто являлось искушеніе покинуть свое ранчо и вступить въ сношеніе съ видными избира

телями. Но она была слишком скромна и не доверяла своим силамъ. Теперь, глядя на купавшійся въ солнечномъ свѣтѣ городъ, она желала, по крайней мѣрѣ, подѣлиться съ вѣмъ-нибудь своими стремленіями.

Думая объ этомъ, она замѣтила, что кто-то идетъ по тропинкѣ, ведущей къ ступенямъ. Фигура человѣка—высокая, тонкая, но совершенно лишенная граціи, показалась ей странно знакомою, а въ слѣдующую минуту она уже летѣла внизъ по лѣстницѣ ему на встрѣчу.

Гвиннъ, увидѣвъ ее, тоже побѣжалъ. Ей казалось, что онъ поцѣлуетъ ее, но онъ въ теченіе цѣлой минуты только пожималъ ее руку.

— Никогда въ жизни моей никому не былъ такъ радъ!—воскликнулъ онъ съ увлеченіемъ пріѣхавшаго на каникулы шкельника,—вотъ было счастье узнать, что вы—въ Санъ-Франциско.

— Но почему же вы не телеграфировали? Я даже разочарована, какъ я ни рада васъ видѣть. Я хотѣла встрѣтить васъ въ Оклендѣ и проводить въ ваше ранчо Lumalitas, гдѣ мы приготовили бы вамъ торжественную встрѣчу. Но какъ же вы узнали, что я—въ городѣ?

— За завтракомъ,—я пріѣхалъ сегодня утромъ,—просматривая мѣстную газету, я замѣтилъ ваше имя и прочелъ, что „очаровательная молодая хозяйка стариннаго дома Бельмонтъ, на Русскомъ холмѣ, возбудившая за послѣднее время такой интересъ къ себѣ, прибыла, какъ всегда, на воскресенье въ городъ“.

— Право?—Изабелла, какъ замѣтилъ Гвиннъ, вспыхнула въ первый разъ за все время ихъ знакомства.

— Это еще впервые имя мое упоминается въ газетахъ,—исключая розуотерскихъ, конечно,—и я въ восторгѣ, какъ были, вѣроятно, и вы, впервые увидѣвъ ваше имя въ печати?—прибавила она нѣсколько вызывающе, но въ улыбкѣ Гвинна не было ни малѣйшаго оттѣнка насмѣшки.

— Понимаю,—отвѣтилъ онъ просто.

Когда улыбка сбѣжала съ его лица, миссъ Отисъ замѣтила, что оно казалось старше и худощавѣе, а вмѣстѣ съ тѣмъ утрачло отчасти свою надменность. Голову онъ держалъ уже не такъ высоко, и волосы его были острижены. Въ немъ замѣчались какая-то растерянность, и материнскій инстинктъ Изабеллы сразу пробудился.

Они вмѣстѣ поднялись на лѣстницу. Она указала ему на чинное бамбуковое кресло и въ виду того, что завтракъ будетъ

готовъ не ранѣе перваго часа, а теперь только десять часовъ, предложила сварить ему чашку настоящаго испанскаго шоколаду.

Когда она вернулась, неся чашку съ пѣнящимся, ароматнымъ напиткомъ, она застала его стоящимъ у периль, съ руками, засунутыми въ карманы. Онъ быстро обернулся, но въ глубинѣ его глазъ было страдальческое выраженіе, хотя онъ сейчасъ же плотно сжалъ губы, а потомъ улыбнулся.

— Благодарю васъ. У меня слабость къ шоколаду. Я терпѣть не могу пива и въ Мюнхенѣ постоянно пилъ шоколадъ. Знаете, кафе Луитпольдъ съ маленькими столиками въ саду?..

Онъ вдругъ остановился и прищурился. Изабелла поблѣднѣла.

— Я долженъ выслушать вашу исторію, — сказалъ онъ спокойно, — вы здѣсь — мой единственный другъ и были причиною переменъ въ моей жизни. У насъ совершенно особенныя отношенія, требующія полной откровенности. Я рассказалъ вамъ о неприятомъ окончаніи моего романа съ м-съ Кэй. Я ненавижу тайны и уже замѣтилъ, что вы блѣднѣете при упоминаніи о Мюнхенѣ. Исповѣдь — хорошее дѣло. Это — не пустое любопытство и вѣщательство въ чужія дѣла, но я долженъ знать васъ. Вы словно окружены стѣною, а въ этой проклятой Богомъ странѣ вы — мой единственный другъ! — вырвалось у него неожиданно.

Изабелла, уже успѣла оправиться.

— Я все вамъ расказу, но не сейчасъ. Надо быть въ настроеніи. Теперь я интересуюсь только вами. Садитесь. Что было съ вами въ теченіе этихъ мѣсяцевъ? Вы пережили что-то неприятое? Были у васъ какія-нибудь приключенія? Васъ гдѣ-нибудь узнали?

Онъ выпилъ шоколадъ и откинулся на спинку кресла, заложивъ руки за голову.

— Нѣтъ, — сказалъ онъ сумрачно, — меня нигдѣ не узнали. Сначала я изъ осторожности избѣгалъ большихъ отелей, но затѣмъ расхрабрился. Въ курительной комнатѣ нью-іорсксихъ отелей и въ поѣздѣ я разговаривалъ со всѣми, кто былъ расположенъ говорить. Не то, чтобы я самъ былъ расположенъ, но это входило въ мои планы. Вы совѣтовали мнѣ измѣнить манеру, сдѣлаться доступнымъ. Въ Нью-Йоркѣ мнѣ самому приходилось желать, чтобы люди были доступнѣе. Бостонцы оказались любезнѣе. Тамъ я по-долгу бесѣдовалъ даже съ журналистами; они знали, что я — англичанинъ, но никто не догадался о томъ: кто я? Обо мнѣ не появилось ни одной замѣтки.

Онъ засмѣялся, но глаза его были такъ сощурены, что она

не могла уловить ихъ выраженія. Она улыбнулась ему очень ободряюще и нѣжно.

— Насталъ мигъ, когда я почувствовалъ себя выброшеннымъ на берегъ мореходомъ. Забыть! Покинуть! Кончилось тѣмъ, что я готовъ былъ рискнуть всѣмъ для того, чтобы напомнить о себѣ. Я пріѣхалъ въ Чикаго поздно вечеромъ и записался въ книгѣ отеля подъ своимъ именемъ: Эльтонъ Гвинниъ. Я пробылъ тамъ три дня. Ни одинъ репортеръ не занесъ своей карточки, ни одна строка не появилась въ газетахъ. Это былъ весьма охлаждающій экспериментъ. Онъ долженъ послужить мнѣ на пользу; мое я почувствовало, что сразу убавилось въ вѣсѣ, но все же это больно царапнуло меня...

— Ничего. Это будетъ интереснымъ эпизодомъ для вашей біографіи. Ничто легко не дается. А какъ вамъ понравилась ваша родина?

— Я ненавижу ее! Вашингтонъ—деревня, Нью-Йоркъ—кошмарный городъ, описанный романистомъ извѣстнаго сорта въ новеллѣ подъ заглавіемъ „*Миръ въ 2000 году*“. Чикаго—брюхо вселенной. Города и мѣстечки восточныхъ штатовъ—настоящіе мавзолеи; нѣкоторые мѣстности на югѣ мнѣ понравились, но онѣ безжизненны, какъ ихъ негры. Западные города—ульи, и это видѣлъ одинъ, тотъ видѣлъ ихъ всѣ. Гудзонова рѣка, прерія и пустыни—многое искупаютъ. Послѣднія три недѣли я провелъ въ южной Калифорніи. За Санта-Барбарою это—пародія на пустыню; ничего кромѣ низкорослыхъ кустарниковъ и до-исторической грязи. Я радъ, что ранчо въ хорошихъ рукахъ. Не желаю видѣть этихъ мѣсть. Это вѣчно раскаленное небо! Эга мертвенная атмосфера! Конечно, я не ожидалъ найти земной рай, но все же...

— Но вы должны полюбить Калифорнію, должны!—воскликнула Изабелла въ тревогѣ,—тутъ ваша родина, ваша будущность!..

— Хорошо, менторъ, постараюсь. Отсюда съ вашей вышки, напрямѣръ, все кажется гораздо лучше, но мнѣ хотѣлось бы вонъ изъ города. Нельзя ли поѣхать сегодня же послѣ обѣда въ ранчо?

— Почему же нѣтъ? — Изабелла незамѣтно вздохнула, но она чувствовала, что онъ—на ея попеченіи. Она предложила отправиться въ четыре часа на ея катерѣ. Нужно захватить приливъ. Если бы онъ зналъ, какъ у него въ домѣ уютно! Она уже отравила туда всю сельско-хозяйственную и юридическую бібліотеку.

— Я переговорила съ судьей Лесли; онъ считается первымъ

здѣсь законовѣдомъ, и вы можете сейчасъ же поступить къ нему въ контору. Кромѣ него, васъ знаетъ только вашъ банкиръ, м-ръ Кольтонъ, и сынъ его Томъ. Кстати, онъ принадлежитъ къ демократической партіи, и если вы уже рѣшили...

— Да, рѣшилъ. На практикѣ одна не лучше другой, но демократическая программа болѣе совпадаетъ съ моею. Притомъ эта партія теперь числится побѣжденной, и потому именно мои симпатіи—на ея сторонѣ. А теперь пройдемся по этимъ холмамъ.

III.

— Неужели вы сами управляете этой штукой? — спросилъ Гвиннъ, когда они подошли къ катеру, стоявшему на якорѣ у подножія Русскаго холма.

— Конечно. Какъ же вы хотите, чтобы я разбогатѣла, если я не буду работать сама? Приходилось на практикѣ учиться экономіи. Старый катеръ принадлежалъ дядѣ Гирану; я исправила его и три раза въ недѣлю сама привожу мои продукты и яйца въ Розуотеръ. Такимъ образомъ, я непосредственно сношусь съ покупателями, и мой катеръ служитъ мнѣ конторою. Въ немъ же я прѣзжаю сюда по воскресеньямъ. Желѣзную дорогу я не люблю, а лодка идетъ слишкомъ медленно.

Катеръ имѣлъ двадцать футовъ въ длину, маленькую каюту и былъ выкрашенъ въ коричневую краску. Онъ легко несся по глади залива. Гвиннъ сидѣлъ на крышѣ каюты, свѣсивъ свои длинные ноги, и смотрѣлъ съ нѣкоторою завистью на сновавшія вокругъ сотни яхтъ. На островахъ зелень давно уже была сожжена, но сухая трава горѣла въ солнечномъ блескѣ, какъ потемнѣвшее золото. Горная цѣпь по той сторонѣ залива казалась отлитой изъ бронзы, но вулканической конусъ Чертовой Горы былъ окутанъ голубовато-блѣднымъ туманомъ. Сѣверная часть Золотыхъ воротъ и поднимавшіяся за ними вдаль горы были такого яркаго, рѣзко-синяго цвѣта, что, выдѣляясь на безоблачномъ небѣ, онѣ производили на Гвинна впечатлѣніе чего-то жуткаго, нереальнаго.

Катеръ направлялся къ западной сторонѣ острова Ангеловъ, и Гвиннъ съ любопытствомъ оглядывался вокругъ. На материкѣ и на нѣкоторыхъ островахъ земля густо поросла деревьями—дубами, буками, ивами, за которыми прятались виллы изящной легкой постройки съ верандами, обвитыми виноградомъ. У под-

ножія Бельведера и городка Тибурона видѣлись плавучіе дома, гдѣ люди жили по восьми мѣсяцевъ въ году.

И всюду былъ народъ, народъ, народъ... Яхты, берега, дорожки, веранды кишѣли народомъ. Наряду съ богатыми яхтами и катерами — тутъ были рыбацкіе челны съ цѣлыми семьями итальянцевъ и китайцевъ; въ это свѣтлое солнечное послѣ-обѣда надъ заливомъ стоялъ гулъ всевозможныхъ нарѣчій. Въ гавани стояли корабли всѣхъ странъ, цѣлый лѣсъ мачтъ и трубъ, между прочимъ — старинная итальянская шкуна и китайская джонка.

Когда насыщенный электричествомъ вѣтерокъ сталъ обвѣвать Гвинна, пріятно возбуждая нервы, онъ ощутилъ нѣкоторую гордость при видѣ страны, въ которой ему придется работать и завоевывать себѣ положеніе; его предки способствовали ея провѣтанію, разработкѣ ея многочисленныхъ богатствъ. Онъ улыбнулся Изабеллѣ, которая шурилась, сидя противъ солнца, и втайнѣ вздыхала о забытой дома вуали. Гвиннъ нашелъ ее очень хорошею въ ея модномъ костюмѣ и шляпѣ-канотьерѣ; она болѣе понравилась ему, чѣмъ въ Кэфитонѣ, гдѣ она одѣвалась въ болѣе строгомъ стилѣ, хотя онъ помнилъ, что тамъ много говорили о ея красотѣ, и онъ самъ не былъ къ ней нечувствителенъ. Но въ Калифорніи она казалась ему красивѣе. Взоръ ея былъ оживленнѣе, голосъ менѣе однотоненъ, а черныя родинки казались особенно обольстительны на бѣлоснѣжной кожѣ при яркомъ дневномъ свѣтѣ. Онъ думалъ, что они естественнымъ путемъ должны придти къ браку, а то обстоятельство, что она казалась настолько же равнодушной и безстрастной, насколько она была хороша и умна — вполне соответствовало его теперешнему настроенію. Его любовь къ м-ссъ Кэй умерла насильственною мгновенною смертью, и это закалило его противъ женскихъ чаръ. Со временемъ ему понадобится жена, и, конечно, Изабелла будетъ идеальной супругой политическаго дѣятеля. Тѣмъ не менѣе все, что онъ сказалъ ей, было:

— У васъ будутъ веснушки на носу. Я уже замѣтилъ одну — маленькую.

Она презрительно пожала плечами. Это не понравилось ему, — онъ не любилъ чуждыхъ воекетства женщинъ. Втайнѣ Изабелла была огорчена веснушкой. Она вспомнила времена ранняго дѣвчества, когда обѣ онѣ съ Анабель Лесли вздумали пробовать разные рецепты для наведенія красоты и чуть было не заплатили за это.

Гвинну всегда нравилась въ его вузинѣ способность молчать, когда не хочется говорить, и соответствующее этому отношеніе

въ молчанію другихъ. Они не обмѣнялись ни словомъ, покуда не выѣхали на болѣе широкое мѣсто; онъ любовался горами и холмами слѣва, съ ихъ веселыми городками и темными чащами лѣсовъ. Кое-гдѣ фабрики и склады нарушали прелесть почти первобытной природы, но сегодня паутина дыма не застлала сіяющаго неба.

Они миновали послѣдній городокъ. Башни и остроконечныя кровли виллъ выглядывали изъ-за массы культивированныхъ деревьевъ парка: тутъ были сосны и пальмы, эвкалипты и дубы, мадроны, лавры и аваціи. Сады были полны птицъ и дѣтей. Лица людей утратили свойственное имъ дѣловое, озабоченное выраженіе. Сидѣвшій на палубѣ своего катера одинъ изъ мѣстныхъ миллионеровъ широко улыбался; даже ротъ у него былъ открытъ и жадно втягивалъ чистый бодрящій воздухъ.

Изабелла объяснила, что онъ не „заработался“, такъ какъ получалъ свои миллионы въ наслѣдство, да и вообще у здѣшнихъ дѣльцовъ здоровый видъ: это зависитъ отъ климата и отъ кухни, которая въ Калифорніи превосходна.

Когда они вошли въ каналъ залива Санъ-Пабло, Изабелла стала править очень осторожно, — мѣсто было узкое и опасное. За подъемнымъ мостомъ они не только оказались одни на серебряномъ водяномъ просторѣ, но имъ перестали попадаться на встрѣчу и загородные дома. За то горы становились все грознѣе и внушительнѣе по мѣрѣ приближенія къ Розуотерской бухтѣ. Катеръ вошелъ въ зеленоватую воду озера, превратившагося затѣмъ въ каналъ, извивавшійся подобно гигантскому змѣю и порою настолько суживавшійся, что можно было достать рукою траву съ берега. Тутъ и тамъ попадались на встрѣчу рыбацкія лодки. Это зрѣлище напоминало Голландію, но было гораздо прекраснѣе въ виду дикаго грандіознаго характера мѣстности и величественныхъ горъ.

Изабелла указала на островокъ, гдѣ красовался среди деревьевъ бѣлый домъ. Въ тѣни ихъ сидѣли и полулежали мужчины безъ скрутокъ.

— Это — мѣстный клубъ. Томъ Кольтонъ введетъ васъ въ него, но если вы не расположены охотиться въ компаніи, вы можете стрѣлять утокъ сколько вамъ будетъ угодно — на моей землѣ. Какъ? Вы не знаете, что это — лучшее въ мірѣ мѣсто для охоты на утокъ? Она начинается съ 15-го октября. Я не сдала нынче въ аренду моихъ болотъ и намѣрена стрѣлять утокъ на продажу. Вы поможете мнѣ, а барышъ — по-поламъ.

Глаза Гвинна засверкали, — онъ былъ страстный охотникъ.

Тѣмъ временемъ небо померкло, стало блѣдно-голубымъ, горы уходили налѣво, солнце сѣло, и лишь на западѣ еще оставалась алая полоса. Вдали показались деревни, обработанныя поля; на-двинулись сѣрыя сумерки, и обширное пространство приняло унылый пустынный видъ.

— Вотъ Розуотеръ—тамъ, гдѣ свѣтятся огни. Мы приѣхала, — сказала Изабелла.

Задумавшійся Гвиннъ вздрогнулъ и увидѣлъ, что она готовится причалить къ небольшой пристани. Позади нея лежала группа невысокихъ холмовъ, бѣлыхъ домиковъ и полей. Среди нихъ выдѣлялся двухъэтажный большой домъ безъ всякой претензiи на архитектурный стиль, но съ совершенно плоскою кровлею и просторною верандою. Въ саду стояли голые розовые кусты и цвѣтуція хризантемы, но деревьевъ совсѣмъ не было. Далѣе видѣлись многочисленныя службы.

— Неужели вы здѣсь живете?—спросилъ Гвиннъ, ожидавшiй живописной мѣстности въ калифорнiйскомъ духѣ.

— Дядя Гирамъ продалъ красивѣйшiя мѣста, но я не горюю о томъ, чему помочь не могу; зато изъ оконъ прекрасный видъ. Но гдѣ же мальчикъ?

Она возвысила голосъ и позвала:

— Дзума! Дзума!

На зовъ ея выбѣжалъ мальчикъ-японецъ. Она объяснила Гвинну, что двое слугъ проводятъ воскресенье въ Розуотерѣ, но ея „япончикъ“ умѣетъ дѣлать „всего понемножку“. Притомъ онъ очень услужливъ, чѣмъ большинство ихъ не отличается. Онъ—и поварь, и горничная.

— Неужели же у васъ нѣтъ женской прислуги?

— Ни одна женщина не станетъ жить въ такой глуши. Старикъ Магъ, служившiй тридцать лѣтъ дядѣ Гираму, спитъ въ домѣ. Прежде тутъ была гостинница, его до сихъ поръ зовутъ Ольдъ-Иннъ. Это было въ дни романческаго грабительства, и у дома есть свои „страшныя исторiи“, но нѣтъ привидѣній.

Было рѣшено, что Гвиннъ будетъ обѣдать у Изабеллы и ночевать въ гостинницѣ въ Розуотерѣ. Она телефонировала япончику, и въ каминѣ гостиной былъ разведенъ огонь. Поеуда миссъ Отисъ переодѣвалась наверху, Гвиннъ съ любопытствомъ смотрѣлъ комнату. На стѣнахъ онъ увидѣлъ массу фотографiй, скизовъ,—онъ вспомнилъ объ ея жизни за границей и спросилъ ея: какъ она пользовалась своею свободою? Онъ былъ убѣжденъ, что она не могла злоупотребить ею: въ ней чувст-вова-

лась даже нѣкоторая чопорность, унаслѣдованная отъ предковъ-пуританъ.

Было, однако, очевидно, что она чувствовала себя въправѣ наслаждаться полнымъ отдыхомъ послѣ дневного труда. Въ комнатѣ стояли съ полдюжины кресель и широкій диванъ съ множествомъ подушекъ. Коверъ и подушки были краснаго цвѣта, и вся комната, хотя удивительно уютная и симпатичная, могла принадлежать холостяку—до такой степени въ ней недоставало никакихъ чисто женскихъ украшеній. За то полки были уставлены массою книгъ, среди которыхъ Гвиннъ нашель выдающіяся произведенія современныхъ русскихъ, нѣмецкихъ, французскихъ, итальянскихъ авторовъ и лишь нѣсколько томиковъ англійскихъ критиковъ.

Изабелла сошла внизъ—очень хорошенькая въ голубомъ платьѣ, достаточно простомъ для того, чтобы не представлять слишкомъ большого контраста съ его собственнымъ дорожнымъ костюмомъ. Затѣмъ она пригласила его пройти въ ея комнату, гдѣ онъ могъ привести въ порядокъ свой туалетъ.

— Мнѣ нужно было бы меблировать комнату для гостей, но въ такомъ случаѣ моя пріемная сестра Паула непременно стала бы прѣзжать ко мнѣ съ дѣтьми въ самое неудобное время.

Гвиннъ скорчилъ гримасу, сѣвъ со щеткою въ рукѣ передъ ея туалетнымъ столикомъ. Онъ, словно извиняясь передъ обладательницею спальни, оглядѣлся кругомъ—она была такъ скромна и дѣвственна, что доставила ему смутное удовольствіе.

Окна, туалетъ, постель—все было задрапировано бѣлой кисеей; въ углу стояла качалка, полъ прикрывался голубыми японскими циновками, и два громадныхъ банта того же цвѣта украшали пологъ у постели и туалетъ. Спускаясь по лѣстницѣ, онъ рѣшилъ, что она обладаетъ вкусомъ и пониманіемъ комфорта, и это нѣсколько примирило его съ мыслью объ его собственномъ уединенномъ ранчо.

IV.

Между Розуотеромъ и ранчо Ольдъ-Иннъ было всего три мили, и, хотя Изабелла ѣхала рысью и наслаждалась опьяняющею свѣжестью утренняго воздуха, дѣлавшею ее порою нечувствительною къ человѣческимъ сторонамъ жизни, мысли ея постоянно возвращались къ пріятному вчерашнему вечеру у камина, къ ужину въ низкой съ балками комнатѣ перваго этажа, ужив

изъ жареныхъ пылять, прозрачной спаржи и содовыхъ бисквитъ, отъ котораго Гвиннъ пришелъ въ мальчишескій восторгъ. Они говорили о сотнѣ постороннихъ предметовъ, такъ что Абъ, второй слуга, которому предстояло проводить Гвинна въ Розуотеръ, трижды приотворялъ дверь и капаялъ. Изабеллѣ еще ни разу не приходилось поговорить здѣсь съ кѣмъ-нибудь по душѣ о томъ, что составляло широкій кругъ ея интересовъ. Въ уютной домашней обстановкѣ, полулежа въ креслѣ передъ огнемъ, Гвиннъ тоже „отоселъ“ и разговорился о своихъ любимыхъ книгахъ и видѣнныхъ имъ странахъ, скользя взоромъ по оживленному лицу кухни. Онъ заворчалъ, когда пришлось собираться въ путь, и попросилъ ее захватить за нимъ пораньше въ гостинницу: безъ нея онъ не поѣдетъ въ свой ранчо.

Несмотря на удовольствіе, доставленное ей этимъ вечеромъ, миссъ Отисъ не была въ сантиментальномъ настроеніи; она только удивлялась: какъ могла она такъ долго обходиться безъ товарища? Одночество и независимость—были главными идеалами ея жизни, но пріятное общество могло придать имъ новую привлекательность. За этотъ годъ она ни съ кѣмъ не видѣлась, за исключеніемъ судьи Лесли, и не имѣла другихъ разговоровъ, кромѣ дѣловыхъ. Розуотерское общество могло, конечно, очень немного дать ей, но и оно словно забыло объ ея существованіи. При встрѣчѣ въ магазинахъ бывшія пріятельницы увѣряли, что „стремятся къ ней“, но ни одна въ ней не заглянула. Не пугало ли ихъ ея превращеніе въ „дѣловую женщину“?

Загадка разъяснилась, благодаря ея встрѣчѣ съ первой мѣстной красавицей—миссъ Долли Баутсъ. Оказалось, что въ Розуотерѣ всѣ женщины поголовно, молодыя и старыя, не исключая дѣвицъ—увлечены до такой степени карточной игрой, что не выходятъ по цѣлымъ днямъ изъ клубовъ. Изабелла улыбалась, вспоминая этотъ эпизодъ. Она радовалась утру, солнцу и тому, что сумѣла заинтересовать Гвинна.

Услышавъ отъ слуги, что миссъ Отисъ ожидаетъ его внизу, Гвиннъ быстро сбѣжалъ по лѣстницѣ. Абъ держалъ въ поводу другую лошадь, при видѣ которой Гвиннъ милостиво объявилъ, что она дѣлаетъ честь Калифорніи. Онъ плохо спалъ,—въ гостинницѣ давала представленіе бродячая труппа, и всю ночь былъ шумъ и гамъ... Они сейчасъ же ѣдутъ? Отлично.

Во время медленнаго подъема на холмъ, ведшій на Main-Street, Гвиннъ украдкой поглядывалъ на кухню. На ней былъ костюмъ для верховой ѣзды свѣтло-каштановаго цвѣта: разрѣзанная юбка въ видѣ шароваръ, мягкая фетровая шляпа и пер-

чатки того же оттѣнка, что очень гармонировало съ золотистою мастью ея кобылы.

Изабелла лукаво поглядѣла на него.

— Вамъ не нравится, когда женщина ѣздитъ по мужски? Но здѣсь такія дороги, что иначе невозможно, особенно—зимомъ; онѣ позоръ для нашей цивилизаціи. Вотъ здѣсь—центръ вашей будущей дѣятельности на многіе годы. Main-Street для этой части нашего края, тоже что Wall-Street—для Соединенныхъ Штатовъ.

Въ концѣ улицы у двойной рѣшетки уже стоялъ рядъ пыльных повозокъ, запряженныхъ сильными, крупными лошадьми. За рѣшеткою тянулось массивное длинное зданіе, нѣчто вродѣ безконечнаго базара или пассажа, въ которомъ были сконцентрированы всѣ склады и магазины, обыкновенно разбѣянные по всему городу. Общій ихъ видъ напоминалъ рядъ каютъ, выходящихъ въ корридоръ парохода, только всѣ онѣ были большихъ размѣровъ. Тутъ помѣщались банки, салоны, курятники, фруктовая и бакалейная торговли, магазины готоваго платья и шляпъ, ювелирные лавки, пять аптекъ. Витрины нѣкоторыхъ изъ нихъ могли поспорить въ блескѣ съ витринами въ Санъ-Франциско. Къ одной части зданія примыкала крытая галерея, и на ея кровлѣ красовались самыя эксцентричныя по формѣ и цвѣту вывѣски.

Гвиннъ разсматривалъ это очевидно старинное, напоминавшее время пионеровъ сооруженіе съ тѣмъ интересомъ, котораго, за исключеніемъ Санъ-Франциско и Миссисі, ничто въ Калифорніи не возбуждало въ немъ. Ему почти захотѣлось жить въ это время. Голосъ миссъ Отисъ отвлекъ его отъ мечтаній. Она говорила:

— Розуотеръ — финансовый и торговый центръ громаднаго земледѣльческаго района. Здѣсь есть четыре банка — очень солидныхъ, они однихъ лѣтъ съ американскою Калифорніею. Ежедневный оборотъ — въ полмилліона долларовъ, а жителей здѣсь менѣе пяти тысячъ человекъ...

Она говорила сухимъ дѣловитымъ тономъ, и Гвиннъ почти не узнавалъ ее: вчера она была нѣжна и женственна. Онъ рѣшилъ, что скорѣе женится на портретѣ Джорджа Вашингтона, но въ этотъ мигъ, въ отвѣтъ на чей-то окликъ, Изабелла быстро обернулась съ порозовѣвшими отъ удовольствія щеками и блестящими глазами, и тотчасъ же подсакала галопомъ къ кабриолету, въ которомъ сидѣла очень хорошенъкая блондинка. Послѣ первыхъ привѣтствій Изабелла поспѣшила ихъ познакомить.

— Это—мой лучший другъ—Анабель, м-съ Томъ Кольтонъ. Она вернулась только вчера вечеромъ.

Гвиннъ пожалъ руку молодой женщины, глядѣвшей на него веселыми, смѣющимися глазами. Она держалась изящно, увѣренно, и вмѣстѣ съ тѣмъ казалась такой любезной, радушной и сердечной, что сразу произвела на Гвинна самое лучшее впечатлѣніе. Она говорила безъ „slang“, не употребляя никакихъ „словечекъ“, и ея простой полотняный костюмъ былъ, очевидно, произведеніемъ первокласснаго портнаго.

— Анабель — прелесть, — сказала миссъ Отисъ, когда они отѣхали, — я гораздо больше люблю ее, чѣмъ мою приемную сестру Паулу, хотя у насъ нѣтъ рѣшительно ничего общаго. Она обожала дѣтей еще въ ту пору какъ играла съ куклами. Разумѣется, она сейчасъ же вышла замужъ. Ея мать, м-ссъ Лесли, принадлежитъ къ мѣстной старинной фамиліи и знала мою мать. Я очень ее люблю, но не скажу, чтобы мнѣ ея не доставало. Полнота счастья наступаетъ, пожалуй, только тогда когда намъ не будетъ никого не доставать.

Гвиннъ уже вздыхалъ отъ жары и нѣсколько разъ отиралъ покрывавшееся пылью лицо, но Изабелла сказала смѣясь, что она нарочно повезла его въ объѣздъ для того, чтобы онъ могъ полюбоваться своими владѣніями.

Внизу, подъ ихъ ногами, разстилалась окаймленная съ одной стороны горнымъ краемъ долина, перерѣзанная холмами и тѣсами; далеко за ними поднималась гигантская гора св. Елены, названная такъ въ честь русской княжны, жены послѣдняго изъ русскихъ губернаторовъ въ сѣверной Калифорніи. Долина пестрѣла золотистыми полями, фруктовыми садами, эвкалиптовыми деревьями, разсаженными для защиты скота отъ непогоды или нестерпимой жары. Тамъ паслись большія стада рогатаго скота; въ одномъ мѣстѣ все казалось отъ него бѣлымъ. Дальше паслись лошади. На горахъ лежала нѣжно-алая и блѣдно-лазурная дымка съ постоянно переливавшимися оттѣнками.

— Это все ваше! — сказала Изабелла, выходя изъ роли простаго чичероне, — неужели вы не чувствуете гордости?

Гвиннъ былъ въ восторгѣ, но успѣшилъ себя увѣрить, что причиною тому красота мѣстности, а не девятнадцать тысячъ акровъ земли. Не было ли у его дѣда вчетверо больше? Правда, тѣ имѣнія были заложены, а это все принадлежало ему безусловно. Раньше онъ какъ-то не думалъ о своихъ владѣніяхъ (даже въ смыслѣ дохода), какъ о чемъ-то реальномъ, и даже описанія Изабеллы ничего не говорили его воображенію.

Но теперь, не отрывая глазъ отъ дивнаго простора (даже часть горной цѣпи принадлежала ему), онъ ощутилъ перепол-

нившую его сердце великую благодарность въ Отису, имя котораго онъ забылъ. Онъ вспыхнулъ подъ пристальнымъ взглядомъ Изабеллы, сознавая, что чувства его отражаются на лицѣ его, но вдругъ былъ пораженъ изумленіемъ, лишившимъ его дара слова, когда она неожиданно обвила его шею руками и крѣпко поцѣловала его.

— Вотъ!—воскликнула она,—до сихъ поръ я не настоящимъ образомъ любила васъ, хотя и не отрицала, что вы очень интересный человѣкъ. Мужчины въ сущности — взрослые мальчики. Одни бываютъ милы, другіе — нѣтъ. Вы милы. И я съ этихъ поръ беру васъ на свое попеченіе: раньше я лишь исполняла свой долгъ. А теперь посмотрите на эти гѣры. Чертова гора и гора св. Елены—бывшіе вулканы...

Болѣе взволнованный, чѣмъ онъ считалъ это для себя возможнымъ, юной теплотою и магнетизмомъ этого поцѣлуя, хотя было очевидно, что она такъ же точно поцѣловала бы маленькаго мальчика, Гвиннъ сталъ машинально смотрѣть по направленію ея хлыстика.

— Здѣсь постоянно говорятъ о вулканахъ и землетрясеніяхъ, сказалъ онъ,—что это значить?

— Если бы вамъ пришлось здѣсь расти—вы не удивлялись бы? Существуетъ теорія, въ силу которой калифорнійцы такъ легко относятся ко всякимъ невзгодамъ. Помимо воздуха, насыщеннаго электричествомъ, и восьми мѣсяцевъ солнечнаго сіянія, они обязаны этимъ постоянному ожиданію землетрясеній. Стоитъ ли заботиться о завтрашнемъ днѣ?

Домъ Гвинна былъ некрасивъ, но просторенъ и окруженъ съ трехъ сторонъ рощею изъ сѣрыхъ дубовъ. Пріѣзжихъ встрѣтилъ взрослый слуга-японецъ, нанятый Изабеллою, и совмѣщавшій амплуа буфетчика, горничной и выѣздного.

Внутреннее убранство дома вызвало полное одобреніе Гвинна; тутъ были его кресло, книги изъ его библіотеки, портреты друзей. Онъ замѣтилъ кипу англійскихъ газетъ и умышленно отвелъ глаза. Изабелла провела его по всѣмъ комнатамъ и наконецъ на кухню, гдѣ представила ему кухарку, пожилую мексиканку, привѣтствовавшую его съ большимъ достоинствомъ. Кромѣ нея, было еще двое рабочихъ на фермѣ. Исполнивъ все это, она стала прощаться съ нимъ, такъ какъ обѣщала завтракать у Анабель Кольтонъ.

— Неужели вы покинете меня?—воскликнулъ онъ въ огорченіи.

— Тяжелая минута должна была наступить рано или поздно!—сказала она лукаво.

Она кивнула ему головою, взмахнула хлыстикомъ и скрылась въ облакъ пыли. Гвиннъ, недовольный, пожалъ плечами и вошелъ въ домъ, гдѣ его ожидали письма изъ Англіи.

V.

Несмотря на обѣщаніе провести съ нею цѣлый день, Изабелла едва могла просидѣть у подруги дѣтства два часа и уѣхала подъ благовиднымъ предлогомъ вскорѣ послѣ завтрака.

Изящный домъ, безукоризненная сервировка стола, прелестныя избалованныя дѣти и любезная, милая хозяйка, оживленно говорившая о непомѣрныхъ претензіяхъ рабочаго класса, о воспитаніи дѣтей, о страсти къ картамъ, проявившейся въ Розуотерѣ,— все это нагнало на нее такую безумную скуку, какой она не испытывала даже въ беспорядочномъ домѣ своей пріемной сестры Паулы. Вырвавшись оттуда, она только въ силу своей благовоспитанности воздержалась отъ громкаго возгласа облегченія и понеслась по улицѣ съ быстротою, всполошившей сонный городокъ. Дорогою она напѣвала испанскія пѣсенки, а вернувшись домой, почувствовала себя такою счастливою, что не легла спать до полуночи, наслаждаясь сознаніемъ своего одиночества.

Между тѣмъ Гвиннъ принялся за почту. Мать извѣщала его о скоромъ пріѣздѣ, но его огорчило отсутствіе письма отъ Флоры Сэнгъ—всегда интереснаго и живого. Первымъ его движеніемъ было—сжечь газеты, но онъ не утерпѣлъ и принялся пробѣгать ихъ, стыдясь сознаться самому себѣ, что онъ ищетъ въ нихъ чего-нибудь, относящагося къ нему, и огорчается тѣмъ, что не видитъ своего имени. Наконецъ онъ схватилъ шляпу и отправился въ отдаленныя мѣста своихъ владѣній.

Приливъ горечи уступилъ мѣсто сомнѣніямъ, рѣдко тревожившимъ его въ прежніе годы, когда всѣ благодѣтельныя феи осыпали его дарами, а мелкія неудачи лишь подстрекали его энергію. Но со времени отъѣзда изъ Англіи онъ не встрѣчалъ ни поощренія, ни лести. Правда, онъ являлся въ роли слушателя, наблюдателя, но онъ слишкомъ давно привыкъ смотрѣть на себя, какъ на выдающуюся личность: съ дѣтства его прочили въ великіе люди. А что, если таланты его были не болѣе какъ плодомъ самолюбія, самообольщенія, поощряемаго сцѣпленіемъ благоприятныхъ для него обстоятельствъ?

Въ настоящее время онъ менѣе всего чувствовалъ себя „великимъ человѣкомъ“, но еще болѣе его удручало отсутствіе въ

немъ симпатій къ новой отчизнѣ. Она была ненавистна ему со всей своей политикой, обѣими партіями, открытой грубой борьбой за власть и деньги. Ни одинъ изъ „реформаторовъ“ не сумѣлъ удержаться на высотѣ своей первоначальной миссиі, хотя многіе изъ нихъ теперь занимали высокія мѣста.

Ему вспомнился разговоръ въ вагонѣ съ молодымъ политическимъ дѣятелемъ, говорившимъ напрямикъ:

— Или надо примѣнуть къ „смазчикамъ“, или вамъ крышка! Вся эта борьба съ трестами — одинъ разговоръ. Преуспѣваетъ не честнѣйшій, а тотъ, кто половчѣе. Партія труда кричитъ противъ капиталистовъ, а изъ ея же рядовъ выходятъ капиталисты, которые спѣшатъ наступить на горло бывшимъ товарищамъ. Они знаютъ, какъ знаю я, и какъ узнаете впоследствии и вы, что на свѣтѣ только и есть стоящаго вниманія что власть и деньги...

Эту же тему передъ нимъ развивали безъ конца разные люди, заранѣе охлаждая его рвеніе. Для того, чтобы испытать прежній пылъ восторга, жажду борьбы, увѣренность въ себѣ, возвышавшую его, какъ ему казалось, надъ простыми смертными, онъ отдалъ бы теперь все на свѣтѣ.

Гвиннъ поднялся до половины горы и осмотрѣлся. Передъ нимъ разстилалась громадная долина; съ сѣвера и съ юга очертанія горъ казались воздушными и заволакивались нѣжною дымкою, переливавшею изъ одного отгѣнка въ другой. Но самая красота картины пугала его, — въ ней было нѣчто не реальное, неправдоподобное, — то, что зачастую охватывало его съ самаго его пріѣзда въ Америку. Тутъ все было слишкомъ грандіозно. Онъ почувствовалъ вдругъ такую тоску по знакомымъ роднымъ пейзажамъ старой Англіи, что ему захотѣлось уѣхать съ первымъ поѣздомъ. Если онъ и обладалъ какими-нибудь дарованіями, онъ могъ проявить ихъ лишь тамъ.

Но до дому было далеко, и онъ вернулся поздно, очень усталый и очень голодный. Когда онъ вошелъ въ свою уютную, полную цвѣтовъ гостиную, его охватило внезапное спокойствіе, а послѣ холодной ванны и прекраснаго ужина онъ пришелъ къ убѣжденію, что лучше всего было выдержать съ собою эту борьбу въ самомъ началѣ.

Ему не пришлось видѣть Изабеллу цѣлыхъ три недѣли. Онъ отнесся къ женскому непостоянству съ нѣкоторой философійю, быть можетъ, потому, что онъ былъ очень занятъ приведеніемъ въ порядокъ дѣлъ по имѣнію. Главною доходною статьею были сѣнокосъ и скотоводство; фруктовый садъ и огородъ могли при

нѣкоторыхъ реформахъ тоже давать доходъ, но молочная ферма шла плохо. Управляющій, взятый м-ромъ Кольтономъ старшимъ „на испытаніе“, посоветовалъ Гвинну заняться разведеніемъ цыплятъ, но это предложеніе привело владѣльца въ ярость. На управляющаго можно было положиться, судя по словамъ м-ра Кольтона, лишь наполовину: онъ былъ человѣкомъ свѣдущимъ, но, пожалуй, охулки на руку не положить. Гвиннъ пришелъ къ убѣжденію, что ему лучше всего сдѣлаться своимъ собственнымъ управляющимъ. Къ сожалѣнію, на это потребовалось бы слишкомъ много времени и труда, и онъ сталъ подумывать о совѣтѣ судьи Лесли и Тома Кольтона—продать половину своихъ владѣній, разбивъ ихъ на небольшіе участки, на которые былъ громадный спросъ.

Окончательно рѣшившись, онъ поѣхалъ въ городъ—сдать объявленіе въ обѣ мѣстныхъ газеты, а также—отправить публикацію въ Санъ-Франциско.

Въ городѣ былъ большой съѣздъ у торговаго ряда. Двери „салоновъ“ такъ и хлопали. Большинство фермеровъ было въ полотняныхъ накидкахъ и широкополыхъ соломенныхъ шляпахъ, во дамы ихъ принарядились. Мѣстныхъ дѣвицъ можно было узнать по свѣжей кисеѣ и бѣлымъ шляпкамъ. Несмотря на стеченіе разномастной публики, не было видно ни одного полисмена, ни одного револьвера. Прошли дни, когда люди напивались до того, что ихъ пистолеты стрѣляли сами собой.

Гвиннъ встрѣтилъ въ толпѣ Изабеллу и направился къ ней, позабывъ о своей обидѣ. Она вся просіяла и объяснила, что вернулась наканунѣ изъ Санъ-Франциско отъ Паулы и проспала, а потому не успѣла протелефонировать ему. Зато она приглашаетъ его охотиться на утокъ. Сезонъ открывается именно сегодня. Она только окончитъ здѣсь нѣкоторыя дѣла, и они отправятся.

Дорогою Изабелла весело разсказывала ему о томъ, какъ она ѣздила сначала въ Los Angeles—выставлять своихъ цыплятъ, а оттуда—въ Санъ-Франциско; ея зять-художникъ знакомилъ ее съ городомъ. У нихъ мало денегъ, но онъ беззаботенъ, любитъ повеселиться, съ нимъ постоянно бываютъ забавныя приключенія.

Гвиннъ слушалъ ее, смѣялся, но потомъ вдругъ смолкъ. Она напомнила его измѣнившимся къ лучшему въ костюмѣ для верховой ѣзды, въ высокихъ сапогахъ, съ загаромъ на лицѣ. Была еще и такая-то неудовимая перемѣна, но сразу она не могла ее определить.

Гвиннъ воздержался отъ выраженій радости при видѣ миссъ Гвиннъ. Онъ не только огорчился ея забвеніемъ, но не хотѣлъ,

чтобы она знала, какъ сильно нуждался онъ за это время въ бѣльшемъ, чѣмъ простой совѣтъ. Ему недоставало ея симпатіи, ея поддержки, но онъ рѣшилъ, что долженъ закалить себя и въ этомъ отношеніи и одинъ выдержать борьбу.

Онъ ничѣмъ не выдалъ своихъ чувствъ, но когда они подъѣхали къ ранчо, его первое замѣчаніе было немного странно для него самого.

— Много интересныхъ молодыхъ людей встрѣтили вы въ вашемъ возлюбленномъ Санъ-Франциско?

— Конечно. Черезъ часъ жара спадетъ, и мы поѣдемъ, захвативъ съ собою чай и сэндвичи, такъ что намъ не надо будетъ спѣшить къ ужину. Кстати, я сохранила охотничье платье дяди Гирама. Оно будетъ вамъ какъ разъ впору.

Она вдругъ указала хлыстикомъ на холмистый лугъ позади дома. Все пространство было покрыто бѣлоснѣжными мохноногими, съ красными гребешками цыплятами, и ихъ бѣлые дома сверкали на солнцѣ. Зрѣлище было не лишено красоты, но Гвиннъ презрительно вздернулъ носъ. Онъ ненавидѣлъ цыплятъ.

— Видѣли вы что-нибудь красивѣе?—спросила она съ гордостью,—всѣ они знаютъ меня, и я всегдаго изъ нихъ люблю.

— Конечно, они даютъ доходъ,—сказалъ онъ сухо,—но въ смыслѣ предмета любви я предпочелъ бы даже кота.

— Я возжусь съ ними только въ случаѣ ихъ болѣзни. Кстати, я нахожу вашу идею насчетъ продажи половины Lunalitos — превосходной. Вы можете выгодно помѣстить деньги въ Санъ-Франциско, а въ другой половинѣ ранчо — устроить питомникъ для цыплятъ...

— Нѣтъ, сударыня!

Гвиннъ оглянулся на нее, сверкая глазами, какъ затравленный звѣрь, и затѣмъ расхохотался.

— Я слышу это предложеніе отъ перваго встрѣчнаго и слышалъ его ежедневно отъ моего управляющаго, покуда не отказалъ ему. Не потерплю ни одного цыпленка, ни одного куренка на моей землѣ! Помимо скуки—какой превосходный сюжетъ для карикатуръ: „Гвиннъ до отъѣзда въ Америку и Гвиннъ въ Америкѣ“. На заднемъ планѣ—Вестминстеръ, на переднемъ Гвиннъ, обращающійся съ рѣчью къ избирателямъ отъ цыплятъ Гвиннъ Мохноногий! Депутатъ отъ цыплячьяго округа! Благодар васъ. Это курамъ на смѣхъ!

VI.

Октябрьскій вечеръ былъ мягкій и колоритный, озеро тонуло въ золотистомъ блескѣ. Гвиннъ, держа ружье на когнѣхъ, осторожно гребъ, Изабелла сидѣла почти спиною къ нему, также держа ружье на готовѣ. На ней былъ мужской костюмъ, и ее можно было принять за мальчика. Гвиннъ неохотно облекся въ широкую куртку и доходившіе ему до пояса сапоги дяди Гирама. Они уже сдѣлали порядочный конецъ, но не видѣли еще ни одной утки. Вдругъ Изабелла взяла на прицѣлъ. Они обогнули мысокъ, и открывшаяся имъ поверхность плёса и узкій каналъ оказались черны отъ спящихъ утокъ. Оба они сразу выстрѣлили направо и нѣлво, и испуганныя птицы поднялись стаей. По-крайней мѣрѣ съ полдюжины ихъ упало, и пока Изабелла заряжала ружье, Гвиннъ полѣзъ за утками и вернулся торжествующій, но весь въ грязи. Выстрѣлъ всполошилъ сосѣдній стан: со всѣхъ сторонъ поднялись темныя тучи птицъ, но сейчасъ же снова сѣли.

Изабелла взяла на себя обязанность заряжать ружья, а Гвиннъ стрѣлялъ безъ промаха, но черезъ нѣкоторое время онъ объявилъ, что съ него довольно: слишкомъ легкая добыча.

— Всѣ мужчины — дѣти, — сказала миссъ Отисъ снисходительно, — привяжите лодку и пойдемъ пѣшкомъ.

Они отправились по болотамъ, въ которыхъ она знала каждый уголокъ; тутъ утки попадались рѣже, и Изабелла радовалась при видѣ очевиднаго восторга своего спутника. Она никогда не видѣла его вполне счастливымъ. Въ Кафитонѣ послѣ побѣдоноснаго возвращенія съ выборовъ онъ держалъ себя такъ безстрастно, какъ этого требовали традиціи. Въ день своей помолвки онъ показался ей глуповатымъ. Но сегодня, со сдвинутою назадъ фуражею, съ раздувающимися ноздрями и сверкающими глазами, онъ казался юношей, для котораго настоящее — все! Изабелла не безъ сарказма подумала, что возможность кого-нибудь убить — примиряетъ людей зъ жизнью. Но она сама была страстнымъ охотникомъ и понимала его настроеніе. Она нѣтъ-льво разъ предлагала ему вернуться на лодку, выпить горячаго чаю и закусить, но онъ не соглашался, хотя охотничья сумка уже оттягивала ему плечи; сумка Изабеллы тоже была олна, и ноги ихъ еле двигались.

Наконецъ онъ согласился, соблазненный перспективою вкус-

наго ужина изъ утокъ, но когда они добрались до лодки, Изабелла вскрикнула отъ ужаса и съ досадою сбросила свою пошу на землю. Лодка стояла среди густого ила, облѣпившаго ее со всѣхъ сторонъ: начался отливъ.

— Не могу простить себѣ, что повѣрила на слово безпмятному старому Маку. Онъ никогда не помнитъ времени прилива и отлива, а сама я забыла. Вотъ, что значить развѣзжать по гостямъ вмѣсто того, чтобы сидѣть дома и заниматься дѣломъ!

— Ну что жъ такое? Посидимъ, подождемъ прилива!

— Шесть часовъ!

— Что за бѣда? Охотничье приключеніе, вотъ и все! У насъ есть чай и сэндвичи.

Для Гвинна это было первою возможностью утѣшить кого-нибудь, и онъ воспользовался ею.

— Мы тепло одѣты, погода чудная; если озябнемъ, можно будетъ походить...

— Въ этихъ-то сапогахъ? Я и такъ чуть жива.

У нея явилось желаніе прислониться головою къ его плечу и заплавать, но гордость явилась ей навстрѣчу, и она покачала плечами. Ей только досадно, что она была такой идиоткой! Она изжарить утокъ не хуже Дзумы, а онъ пусть завариваетъ чай.

Гвиннъ развелъ костеръ изъ хворосту, они заварили чай и съ жадностью слѣдили за птицами, жарившимися на крюкѣ отъ лодки. Жаркое пришлось ѣсть пальцами, но они этимъ не смущались, выпили весь чай и съѣли до кусочка взятую съ собою провизію. Изабелла, вспоминая, какъ негодовали ея отецъ, дядя и зять на всякое нарушеніе ихъ комфорта, почувствовала истинную симпатію къ Гвинну, который былъ веселъ и добродушенъ. Вымывъ руки въ болотной травѣ, онъ растянулся во всю длину и закурилъ трубку; она тоже достала папиросу, но сейчасъ же вскочила на ноги.

— Надо садиться въ лодку! Становится все сырѣе, и скоро поднимется таковой туманъ, что мы почувствуемъ себя какъ въ склепѣ, если не будемъ сидѣть на сухомъ.

Она указала на сѣверъ, и Гвиннъ увидѣлъ призрачную гору, двигавшуюся по гладкой поверхности болота, подобно кораблю, идущему подъ всѣми парусами. Странныя очертанія туманной массы заинтересовали Гвинна, и онъ смотрѣлъ на грозное приближеніе этого ночного пришельца, несшагося съ сѣвера и что-то того, казалось, окутать цѣлый міръ. Онъ прыгнулъ въ лодку и помогъ войти Изабеллѣ, а затѣмъ туманъ надвинулся на нихъ.

такимъ густымъ облакомъ, что оставалось лишь смиренно сидѣть и слѣдить за свѣтившимися во мглѣ огоньками трубки и папиросы.

— Онъ разсѣется, какъ только взойдетъ луна, — сказала Изабелла, слегка вздрагивая, — вы не озябли?

— Что за вопросъ? Вы — не мать мнѣ. Я долженъ былъ бы спросить васъ объ этомъ. Мы можемъ время отъ времени грѣться чаемъ.

— До начала прилива осталось еще часа два.

— Я прекрасно себя чувствую и вообще никогда не сержусь ни на какія приключенія. Но вотъ подходящее время и мѣсто для той исторіи, которую вы обѣщали мнѣ рассказать. Долженъ же я, наконецъ, узнать васъ.

— Зачѣмъ вамъ знать меня?

— Я держусь другого взгляда на этотъ предметъ. Вы — мой единственный другъ среди 80-ти милліоновъ чужихъ людей.

— Хорошо, — слышался изъ тумана спокойный голосъ, — кажется, мнѣ и самой хочется рассказать ее вамъ. Это тѣмъ удобнѣе, что вы даже не можете убѣжать: пропадете въ туманѣ...

Гвиннъ рѣдко интересовался чьею-нибудь прошлою жизнью, но искусство, съ которымъ она дала новое направленіе его жизни, встревожило его мужское чувство независимости и побудило его предъявить на нее нѣкоторыя права. Если дѣло дойдетъ до того, что ихъ воли когда-нибудь столкнутся, онъ долженъ выйти побѣдителемъ изъ борьбы.

Она въ свою очередь тоже встревожилась давленіемъ, которое онъ незамѣтно оказывалъ на нее, и тоже рѣшила, что при безмолвномъ столкновеніи ихъ — она во всякомъ случаѣ не будетъ побѣждена, и оказанное ею Гвинну довѣріе — только дастъ ей возможность болѣе твердо и незамѣтно управлять его дальнѣйшею судьбою.

Миссъ Отисъ рассказала о томъ, какъ до смерти отца она жила двойною жизнью: у нея достаточно было съ нимъ хлопотъ, не говоря уже о стараніяхъ свести концы съ концами, но она вѣрнѣе спала въ тѣ ночи, когда ей не приходилось бѣгать за нимъ по холмамъ съ фонаремъ въ рукѣ. Отецъ не выносилъ никакого общества, и ей почти не случалось бывать на танцевальныхъ вечерахъ и церковныхъ праздникахъ, на которыхъ везлилась молодежь. На нее смотрѣли, какъ на жертву, и это развивало въ ней нездоровую сантиментальность. Она жила книгами и мечтами. Она считала себя сказочной принцессой и цала принца.

Когда умеръ отецъ — все измѣнилось. Она отправилась въ

Европу; чувство свободы, путевыя впечатлѣнія оцѣнили ее, особенно въ первое время, но призракъ принца не переставалъ ее тревожить; по временамъ ей начинало казаться, что молодость ее уже прошла (это особенно сильно чувствуется между восемнадцатью двадцатипятью годами). Ей встрѣчались интересные люди, но сердце ее оставалось холодно.

Въ Парижѣ, гдѣ она прожила довольно долго и посѣщала мастерскую художника, она познакомилась съ дѣвушкой-американкой, болѣзненнаго вида, поражавшей ее своимъ необыкновеннымъ прилежаніемъ. Когда онѣ сошлись ближе, дѣвушка созналась, что страшно нуждается, что у нея въ прошломъ—большое горе, и она не можетъ вернуться домой.

„Я упросила Веронику переѣхать ко мнѣ. Стоило большого труда удержать ее; послѣ краткаго отдыха она желала вернуться къ работѣ, но я знала, что если отпущу ее, то она бросится въ Сену. Герой ея романа оказался женатымъ человекомъ, и въ довершеніе всего она все еще любила этого негодяя. То, что я узнала отъ нея—сразу втоптало въ грязь мои мечты, внушило мнѣ отвращеніе къ мужчинамъ. Сказочный принцъ оставилъ меня наконецъ въ повоѣ.

„Послѣ смерти Вероники я долго путешествовала по Германіи. Тяжелое впечатлѣніе мало-по-малу изглаживалось; въ такомъ настроеніи я пріѣхала въ Мюнхенъ, гдѣ безумно увлеклась искусствомъ, оперой, театромъ, и гдѣ на раутѣ баронессы Л. я встрѣтила человѣка, при видѣ котораго мнѣ показалось, что врата блаженства наконецъ распахнулись предо мной.

„Онъ былъ богатый американецъ, любилъ искусство, много путешествовалъ, презиралъ все пошлое. Ему шель сорокъ второй годъ; онъ, очевидно, уже пережилъ періодъ пылкихъ страстей, но мною онъ сильно увлекся, вѣроятно, потому, что я представляла собою нѣчто для него новое.

„Я жила въ пансіонѣ, онъ не бывалъ у меня, но мы проводили цѣлыя дни въ странствованіяхъ по Мюнхену, заглядывая въ разные очаровательные готическіе уголки, гуляя по зеленымъ берегамъ Изара, завтракая на террасахъ ресторановъ, осѣненныхъ зелеными вѣтвями, и, конечно, постоянно бывали въ оперѣ. Мы посѣтили вмѣстѣ замокъ Людвига Баварскаго, любовались лебедями, словомъ, переживали настоящей сонъ любви.

„Я была такъ счастлива, что не могла ни о чемъ думать даже оставаясь наединѣ съ собою: я сидѣла, какъ въ трансѣ, и мозги мои еле функционировали. Мой молодой энтузіазмъ, вѣроятно, пробудилъ и въ немъ отблескъ его собственной мол

дости, но это не могло продолжаться безконечно. Не знаю, съ какихъ поръ я стала догадываться о томъ, что основная часть всего его существа была рожденная пресыщеніемъ скука, и что всякая надстройка надъ нею рисковала внезапно рухнуть. Мы ничего не рѣшали. Я не хотѣла выходить замужъ, но черезъ мѣсяцъ послѣ нашего знакомства, когда ему почти удалось убѣдить меня уѣхать въ Англію и тамъ обвѣнчаться, онъ однажды опоздалъ на свиданіе. Придя на него, онъ былъ такъ очарователемъ, такъ извинялся, что, будь я нѣсколько постарше, я заподозрила бы неладное.

„На слѣдующій день я заболѣла инфлуэнцою и сообщила ему, что мнѣ не придется выходить цѣлую недѣлю. Онъ писалъ мнѣ по два раза въ день и присылалъ цвѣты. На четвертый день я послала ему записку съ извѣщеніемъ, что буду завтракать на террасѣ ресторана Nepe Bögse. Онъ не ожидалъ меня, онъ совсѣмъ не явился. Позднѣе я увидѣла его въ коляскѣ въ обществѣ замѣчательно красивой и, какъ мнѣ показалось, чуждой всякихъ иллюзіи женщины.

„Нельзя передать испытанныхъ мною мукъ ревности и негодованія. Въ пять часовъ я получила отъ него записку. Онъ извѣщалъ, что уѣзжалъ изъ города, и просилъ меня придти въ кафѣ Луитпольдъ, гдѣ мы часто пили шоколадъ, любясь безконечною толпою. Я пошла, но въ душѣ моей гнѣвъ и обида боролась съ надеждою. Никогда онъ не былъ со мною такъ обворожителемъ, а я торжествовала отъ сознанія, что онъ—лжець, такъ какъ знала, что это поведетъ меня по пути открытій. Наконецъ я не выдержала и сказала, что видѣла его въ придворномъ саду. Онъ страшно поблѣднѣлъ, но принялся увѣрять меня, что дѣйствительно уѣзжалъ, только-что вернулся и не успѣлъ прочесть моей записки. Я знала, что онъ лжетъ, но тутъ же онъ сталъ настойчиво умолять меня ѣхать въ Англію и обвѣнчаться.

„Я впала въ мучительныя колебанія, притомъ я не могла уѣхать изъ Мюнхена,—деньги были посланы мнѣ сюда, а на его счетъ я не хотѣла ѣхать. Слѣдующія двѣ недѣли были самыми для меня тяжелыми. Я видѣла его съ этою женщиной три-четыре раза и все болѣе убѣждалась, что я утратила для него яніе новизны. Его пресыщенная натура требовала возбужденія другого рода. Боясь поддаться его очарованію, я написала ему, что не рѣшаюсь выйти за человѣка, которому не могу вѣрить, и уѣхала въ Вѣну, оттуда—въ Венгрію. Я перепрыгнула съ мѣста на мѣсто, нигдѣ не находя покоя. Я оставила

распоряженіе моему мюнхенскому банкиру относительно того, чтобы въ банкѣ сохранялись письма, которыя могли получиться на мое имя. Послѣ мучительной борьбы съ собою я рѣшила наконецъ сложить оружіе. Быть можетъ, мнѣ и удастся удержать его любовь?

„Я вернулась въ Мюнхенъ въ яркій, солнечный прохладный день—было, какъ я помню, 1-го ноября. Трамвай были переполнены, у людей—цвѣты въ рукахъ. На мой вопросъ: не праздникъ ли сегодня?—мнѣ сказали, что сегодня—день поминовенія усопшихъ.

„Я уже видѣла празднество этого рода въ Венеціи, и мнѣ захотѣлось сравнить его съ мюнхенскимъ. Письмо въ банкъ было мною отослано (я не рѣшилась зайти сама); я написала также его банкиру, прося переслать отъ меня письмо м-ру П. Оставалось одно—ждать извѣстій. Машинально купивъ вѣнокъ у женщины въ живописномъ головномъ уборѣ, я послѣдовала за всѣми на кладбище, обнесенное съ трехъ сторонъ высокою стѣною. Я оказалась въ хвостѣ цѣлой массы народа. Нѣкоторые съ любопытствомъ заглядывали въ находившуюся у воротъ мертвецкую, и я вспомнила, что здѣсь имѣютъ обыкновеніе выносить покойника по прошествіи шести часовъ въ мертвецкую, во избѣжаніе погребенія заживо. Я тоже заглянула туда и отшатнулась при видѣ желтаго, какъ воскъ, лица старухи, покоившейся въ ближайшемъ гробу. У меня остался въ памяти даже узоръ кружева, украшавшаго ея чепецъ...

„Я долго бродила по аллеямъ среди нарядной толпы. Могилы и памятники утопали въ цвѣтахъ; ленты, цвѣтные фонари, высокіе свѣтильники, пламя которыхъ казалось призрачно блѣднымъ при дневномъ свѣтѣ подъ яркимъ синимъ небомъ Баваріи—все напоминало какой-то Элизіумъ, но у меня не выходило изъ памяти желтое лицо старухи, ея костлявыя руки; оно преслѣдовало меня, и единственнымъ средствомъ отдѣлаться отъ навязчивой идеи было—пойти туда.

„Стиснувъ зубы, я пошла по Leichenallee и вошла въ покойницкую. Гробы были поставлены по наклонной плоскости, и подножья ихъ утопали въ цвѣтахъ и зелени, такъ что покойники казались полу-сидящими, полу-лежащими и словно принимали посѣтителей...

„Я долго смотрѣла на двоихъ мужчинъ во фракахъ, на старую дѣвушку въ подвѣнечномъ нарядѣ, на молодую мать съ ребенкомъ. Затѣмъ я увидѣла гробъ, стоявшій рядомъ съ гробомъ старухи, и сразу словно окаменѣла. Мнѣ вдругъ представи

лось, что я сижу у озера въ Розуотерѣ и вижу наяву страшный сонъ...

„Въ гробу лежалъ онъ! Въ первую секунду я еле узнала его — такъ онъ былъ желтъ, и его нижняя челюсть такъ безобразно отвисла, измѣняя слегка насмѣшливое выраженіе рта. Дневной свѣтъ беспощадно изобличалъ каждую черту, проведенную на лицѣ его жизнью, посвященной одному наслажденію, морщинки вокругъ глазъ, дряблость коленныхъ рукъ... Онъ былъ невыразимо старъ и ужасенъ. Я никогда не думала, чтобы такой блестящій духъ могъ оставить за собою такую жалкую оболочку! Я видѣла мертвымъ только отца, но онъ не казался мнѣ страшнымъ.

„Моя любовь мгновенно умерла. Я содрагалась отъ ужаса при мысли, что я могла любить эту жалкую плоть. Это было не болѣе, какъ вспышка молодости, потребность любви, инстинктъ ея, не затронувшій духовной стороны моего существа. Вънокъ былъ еще у меня въ рукахъ, и я машинально положила его среди другихъ цвѣтовъ, о покупкѣ которыхъ позаботился, вѣроятно, его слуга.

„Въ тотъ же день я послала за его слугою и узнала, что онъ и консулъ Соединенныхъ Штатовъ уже исполнили нужныя формальности для перевезенія тѣла въ Нью-Йоркъ. Онъ умеръ отъ Брайтовой болѣзни, обнаружившейся черезъ два дня послѣ моего отъѣзда.

„Въ тотъ же день я уѣхала изъ Мюнхена. Смутно помню мое душевное состояніе во время долгихъ скитаній по Италіи и Швейцаріи. Я умышленно воздерживалась отъ анализа своихъ ощущеній. Наконецъ, я почувствовала, что пришло время откинуть черную завѣсу, задернутую мною между моимъ сознаниемъ и тайниками моего существа, и выпустить на свѣтъ Божій новаго гостя. Гостемъ этимъ оказалась свобода, которой я ждала всю жизнь.

„Я почувствовала себя невыразимо сильной, легкой, свободной. Тиранія любви пала. Я заплатила неизбежную дань моей молодости и моему полу. Впервые я ощутила, что живу въ реальномъ мірѣ, не въ мірѣ мечтаній. Есть женщины и женщины. Ихъ достаточно для продолженія человѣческаго рода, но среди ихъ есть другія, и число ихъ все растетъ, которыя прождаются къ жизни уже послѣ того, какъ онѣ прошли сквозь это неизбежное безуміе и посвятили себя высшимъ интересамъ, за которыми материнство — счастливое или несчастное — обыкновенно хлопываетъ двери. Когда-нибудь я изложу вамъ мою теорію

относительно дѣятельности такихъ женщинъ, а покуда—довольно съ васъ, и разсказу моему конецъ”.

VII.

Подъ влініемъ тумана и этого разсказа Гвиннъ почувствовалъ ознобъ съ головы до ногъ.

Уже во второй разъ ему приходилось бросать взоры въ тайники чужой души: въ первый разъ это было въ ту ночь, когда онъ выслушалъ предсмертную исповѣдь лорда Зила. Теперь онъ еще не рѣшилъ: привлекаетъ или отталкиваетъ его признаніе Изабеллы? Она была жестоко откровенна, но онъ все же сомнѣвался въ томъ: понимаетъ ли ее и теперь?

— Не нахожу ничего подходящаго, что бы я могъ сказать вамъ, и потому лучше ничего не скажу. Когда все это случилось?

— За восемь мѣсяцевъ до моего прїѣзда въ Англію. По возвращеніи сюда я предалась безумному восторгу, отъ радости я танцевала по комнатамъ. Калифорнія до того не похожа на все остальное, что не надо быть здѣшнимъ уроженцемъ для того, чтобы увлечься ею. Это приходитъ со временемъ. Если бы я такъ не думала, я не рѣшилась бы наставлять на вашемъ прїѣздѣ...

Гвиннъ улыбнулся. Туманъ разсѣялся, и луна взошла. Теперь онъ ясно видѣлъ Изабеллу. Она спустила шарфъ, волосы ея растрепались, и темный шарфъ производилъ впечатлѣніе ленты, перехватывающей косу, на подобіе прически, какую носили предки-революціонеры, портреты которыхъ онъ видѣлъ въ домѣ на Русскомъ холмѣ. На минуту голова у него закружилась. Ему показалось, что онъ видитъ старинный портретъ-медальонъ.

— Итакъ, вы не вѣрите въ любовь, какъ въ величайшее благо въ мірѣ.

Она подняла на него свои ясные, задумчивые глаза.

— Я вѣрю въ любовь, какъ вѣрю въ смерть, какъ — во многое, чего отрицать нельзя. Но я не вѣрю, чтобы она была первымъ благомъ жизни, даже—для убѣжденныхъ семьянинокъ, если только онѣ не безнадежно тупы. Для женщины, рождающей дѣтей—любовь такова, но другія женщины пришли къ убѣжденію, что она — случайность, и это отертіе принесло имъ счастье. Женщины типа Анабель знаютъ лишь одну свободу—ту которую дають богатство и снисходительный мужъ, но для другихъ она нѣчто высшее—абсолютная свобода души, для г

торой внешняя независимость служить лишь символомъ. Мы находимъ ее, лишь успѣвъ покончить съ божьей любовью. Когда умныя женщины поймутъ, что онѣ составляютъ особый полъ и помедлить (по крайней мѣрѣ до окончанія первой молодости) съ выборомъ товарища и друга, принадлежащаго къ другому полу, болѣе интересному для насъ, конечно, чѣмъ нашъ,—лишь тогда человѣчество сдѣлаетъ первый шагъ по пути къ истинному счастью.

— Недурная идея, такъ какъ товарищество — одна изъ лучшихъ вещей въ мѣрѣ. Женщина во многомъ полезнѣе мужчине, чѣмъ товарищъ его пола. Очевидно даже, что она не уступаетъ ему въ различныхъ видахъ спорта...

— Если бы вы знали, какъ я бываю счастлива, ложась каждый вечеръ въ постель съ убѣжденіемъ, что я засну сноу-младенца! Я люблю трудъ. Люблю жизнь подъ открытымъ небомъ. Люблю долги вечера наединѣ съ моими книгами, мечтами и планами на будущее — моими собственными. Я радуюсь при мысли, что я никого не люблю и никогда уже не буду несчастной. Я любила моего отца и была несчастна. Этого человѣка, о которомъ я говорила вамъ, я, безъ сомнѣнія, любила. Теперь я питаю къ людямъ лишь симпатію и дружескія чувства. Мой зять любитъ Паулу, но онъ требуетъ, чтобы даже мысли ея принадлежали ему. Семья любила Анну Монгомери — вы узнаете ее, — она заласкала, опутала ее, и дѣвушка съ большимъ музыкальнымъ талантомъ и нѣжною красотою цвѣтка — бесплодно завяла...

— Настоящее счастье, быть можетъ, заключается въ забвеніи того, что любовь — эгоистична.

Снова наступило долгое молчаніе. Все окружающее приняло невыразимо зловѣщій, мертвенный видъ. Необычайная яркость луны усиливала черноту ночи, зато ближайшіе предметы вырисовывались съ такою отчетливостью, словно они были изъ хрустала. Все кругомъ походило на землю, надъ которою навѣки зашло солнце, или на планету, еще не вошедшую въ солнечную систему. Гвиннъ вспомнилъ, какъ, стоя ночью на палубѣ корабля, подходившаго къ Санъ-Франциско, онъ испыталъ тоже такое впечатлѣніе. Эта отрѣшенность отъ остального міра дѣла для него понятнѣе характеръ народа, создавшаго въ теченіе полувѣка такой городъ — изъ пустыни. И снова онъ ощущалъ смутное чувство гордости при мысли, что у него есть связь этимъ народомъ.

— Здѣшнія пустыни и озера бываютъ почти страшны

при лунномъ сіяніи,—сказала Изабелла,—такъ и кажется, что они притаились, насторожились и втайнѣ собираются съ силами для взрыва. Страна землетрясеній не можетъ быть вполнѣ нормальной и прекрасной. Но вотъ и приливъ. Воображаю, какъ старый Макъ будетъ ворчать на насъ! Но все же я думаю, что плита у него топится, и я не отпущу васъ домой безъ чашки горячаго кофе.

VIII.

На слѣдующій день Гвиннъ всталъ поздно и былъ отъ этого не въ духѣ. Покуда онъ одѣвался, ему принесли записку отъ Изабеллы.

„Дорогой товарищъ! Сейчасъ Анабель мнѣ телефонировала, что Томъ, м-ръ Лесли и двое другихъ вліятельныхъ здѣшнихъ гражданъ собираются къ вамъ послѣ завтрака, и, какъ я подозреваю, не просто для знакомства. Не будьте слишкомъ англичаниномъ; хотя вы уже сдѣлали успѣхи въ этомъ отношеніи, но все еще впадаете въ погрѣшности. Довольны ли вы вашимъ японцемъ? Онъ, вѣроятно — не менѣе чѣмъ принцъ, и надменность его можетъ по временамъ сравниться съ вашею. Онъ не снизойдетъ до кражи вашихъ сигаръ, но будетъ брать ихъ по праву. Зато онъ станетъ содержать вашъ домъ въ чистотѣ. Если онъ исчезнетъ, дайте мнѣ знать немедленно, я позабочусь о вашихъ удобствахъ. Подождите судить о насъ, покуда не увидите Санъ-Франциско.—Изабелла“.

Гвиннъ улыбнулся словамъ „дорогой товарищъ“, но нахмурился при совѣтѣ быть поменьше англичаниномъ.

— Буду чѣмъ мнѣ вздумается, чортъ побери!—воскликнулъ онъ къ изумленію Имуры - Кизобуры - Хиномото, входившаго въ эту минуту съ выпятомъ для бритья.

Тѣмъ не менѣе онъ принялъ гостей очень любезно и предложилъ имъ сигаръ и виски.

Судья Лесли былъ умный и тактичный юристъ, одно изъ свѣтилъ адвокатуры на сѣверѣ, человѣкъ настолько прямой, что онъ не долго просидѣлъ на судейскомъ креслѣ: для этого надо было ладить съ политическими заправялами. Онъ былъ толстъ, мѣшковатъ, просто одѣвался, принадлежалъ къ республиканцамъ и не особенно восхищался своимъ зятемъ, виднымъ членомъ демократической партіи.

Этотъ молодой человѣкъ заинтересовалъ Гвинна. Блѣдно

лицей, блѣсоватый, съ длинной фигурой и лицомъ, освѣщеннымъ блѣдно-голубыми невинными съ виду глазами, онъ произвелъ на Гвинна впечатлѣніе человѣка сильнаго съ циничнымъ складомъ ума.

М-ръ Уитонъ, одинъ изъ „отцовъ города“, бывшій золотоискатель и фермеръ, теперь—банкиръ, былъ наоборотъ широколицъ, костистъ, съ рѣзкимъ ртомъ и жесткими глазами. М-ръ Баутсъ, толстый, маленькій человѣкъ, казался всегда на-сторожѣ. Онъ былъ одѣтъ очень чисто, даже элегантно; глаза его показались Гвинну плутовскими. Репутація у него была сомнительная, но нѣкоторыя „уклоненія“ въ сторону отъ законности прощались ему ради его привязанности къ родному Розуотеру, процвѣтанію котораго онъ много способствовалъ.

Послѣ прелюдій въ видѣ разговора о погодѣ и хозяйствѣ, гости перешли къ дѣлу. М-ръ Баутсъ высказался отъ лица остальныхъ. Узнавъ о намѣреніи Гвинна продать часть земли, они собрали митингъ и вынесенную собраніемъ резолюцію—выбють честь сообщить м-ру Гвинну. Послѣ изгнанія китайцевъ, о которомъ многіе весьма сожальють, въ Калифорнію начался наплывъ японцевъ, съ которымъ скоро придется серьезно бороться. Китайцы были безобидны,—они были усердными, нетребовательными слугами и не добивались ничего большаго.

Японцы—не то. Они являются въ нашу прекрасную страну не въ всего для того, чтобы быть слугами. Они скупаютъ земли въ самыхъ плодородныхъ мѣстностяхъ. Крупныя владѣнія, подобныя Lualitas, теперь разбиваются на участки, и многіе изъ нихъ уже перешли въ руки японцевъ, которые удивительно ловки. Они прибываютъ съ каждымъ пароходомъ, скоро они образуютъ настоящее нашествіе. Сами же они нѣсколько лѣтъ тому назадъ, когда еще только формировались изъ полудикаго племени въ націю, громко заявили, что Японія—для японцевъ. И здѣсь необходимо заявить: Калифорнія—для калифорнійцевъ. Въ здѣшнемъ округѣ это уже сдѣлано.

— А теперь, м-ръ Гвиннъ, мы явились просить васъ не продавать вашей земли японцамъ. Это и есть молоко въ кокосовомъ орѣхѣ, какъ говорится, т.-е. главная причина нашего вѣдѣна.

Не давая времени отвѣтить Гвинну, котораго подобное колѣтливое вмѣшательство могло взбѣсить, заговорилъ судья Лесли, пержавшій доводы м-ра Баутса.

— Этотъ маленькій желтый народъ, передъ которымъ я готовъ во многихъ случаяхъ снять шляпу,—нежелательный элементъ

въ странѣ бѣлыхъ. Не только всѣ ихъ взгляды и вѣрованія настолько разнятся отъ нашихъ, что ни о какой ассимиляціи не можетъ быть и рѣчи, но главное для здѣшняго края то обстоятельство, что они — угроза нашей промышленности и торговлѣ. При ихъ удивительной воздержности и работоспособности они могутъ подорвать любое предпріятіе. Наша задача — выкурить ихъ отсюда. Если мы нуждаемся въ мелкихъ собственникахъ, то для этого у насъ есть наша молодежь. Наконецъ есть эмигранты изъ Европы, которыхъ мы всячески должны поощрять. Но несмотря на нашъ желудокъ страуса, мы не можемъ переварить японца. Это — чувство всего народа.

Повуда говорилъ судья, Гвиннъ быстро соображалъ. Ему не хотѣлось уступать давленію, а съ другой стороны — было нежелательно сдѣлать ошибку въ самомъ началѣ. Въ сущности ему было, выражаясь вульгарно, наплевать на японцевъ, но въ тоже время — и на Калифорнію. Тутъ онъ замѣтилъ, что Кольтонъ лѣниво приподнялъ вѣки и посмотрѣлъ на него, словно предупреждая. Гвиннъ отвѣтилъ съ изысканной вѣжливостью.

— Очень благодаренъ всѣмъ вамъ, господа, за то, что вашимъ обращеніемъ ко мнѣ вы избавили меня отъ возможности совершить крупную ошибку. Я вовсе не жажду имѣть японцевъ сосѣдями. Я былъ однимъ изъ немногихъ, всегда признававшихъ опасность Японіи для нашей цивилизаціи — еще въ то время, когда всѣ выказывали имъ симпатіи по случаю войны съ русскими. Не я, во всякомъ случаѣ, буду ихъ поощрять. Можете на меня рассчитывать.

— Вашу руку! — сказалъ басомъ м-ръ Уитонъ.

Всѣ четверо торжественно пожали руку новому сосѣду и съ увлеченіемъ выпили за его здоровье. Помня мѣстныхъ традиціи, Гвиннъ пригласилъ ихъ къ ужину на утокъ, но трое отказались, принялъ приглашеніе одинъ Кольтонъ, жена котораго обѣдала у судьи. Онъ зайдетъ за нею попозже. Марианна приготовила утокъ съ искусствомъ настоящаго мастера и подала къ нимъ еще другія кушанья, названія которыхъ были извѣстны лишь ей одной. Кольтонъ ѣлъ какъ-то механически, а затѣмъ, когда они перешли на веранду, вытащилъ изъ кармана свертокъ съ орѣхами, безъ которыхъ, какъ онъ замѣтилъ, всякая ѣда — не ѣда. Гвиннъ отказался отъ національнаго лакомства, такъ какъ вся дипломатія есть границы, и закурилъ трубку. Разговоръ естественнымъ образомъ перешелъ на политику.

— Я неожиданно сдѣлался вашимъ повѣреннымъ и потому не вижу препятствій къ тому, чтобы довѣриться вамъ, — заго-

риль Кольтонъ, шелкая орѣхи, и тотчасъ перешелъ къ изложению своей программы. Онъ—демократъ, такъ какъ всѣ шансы—на сторонѣ демократіи. Земледѣльческій классъ, избалованный легкою жизнью, становится все требовательнѣе и недовольнѣе; демократическая партія систематически раздуваетъ его недовольство, воюетъ посредствомъ печати съ трестами, возмущается неравнымъ распредѣленіемъ капиталовъ, и, конечно, все это дѣлается для того, чтобы стать во главѣ земледѣльцевъ. Люди эти невѣжественны, но демократы держатъ ихъ въ уздѣ, хотя и соблазняютъ ихъ чуть-ли не анархистскими теоріями.

— Я самъ одѣваюсь въ тряпье, при видѣ котораго моя бѣдная жена чуть не плачетъ, и развѣзжаю въ старомъ кабріолетѣ по фермерамъ, а карманы мои набиты сладостями для ребятишекъ—все за тѣмъ, чтобы показать: какой я добрый демократъ. Черезъ пять лѣтъ я буду въ конгрессѣ и надѣюсь при первой вакансіи пройти въ сенаторы. Въ президенты я не мѣчу; большинство ихъ если и уходитъ изъ Бѣлаго Дома живыми, то все равно уже они—„мертвые люди“. И отвѣтственность слишкомъ велика. Конечно, для моей жены я желалъ бы такого положенія, но и въ качествѣ жены сенатора она будетъ прекрасно поставлена. У меня имѣются двѣ тысячи акровъ, оставленныхъ мнѣ теткою. Они находятся въ безводной мѣстности, и владѣлецъ озера, къ которому они прилегаютъ, надѣется скупить ихъ у меня за гроши, но не на такого онъ напасть. Я не даромъ состою членомъ законодательнаго учрежденія, и мнѣ удастся провести законъ объ отчужденіи озера въ пользу штата. Тогда я окажусь владѣльцемъ хорошо орошенной земли, которую распродамъ по участкамъ—тысячъ за сто долларовъ, а деньги помѣщу частью въ строительной компаніи въ Санъ-Франциско, частью—въ акціяхъ новой электрической дороги Баутса—совѣтую и вамъ взять ихъ. Тогда я построю домъ въ Вашингтонѣ, и жена будетъ выписывать платья изъ Парижа по четыре раза въ годъ...

Онъ съ сіяющими глазами обернулся къ Гвинну.

— Вы видѣли ее лишь мелькомъ, и совсѣмъ не видѣли ребятишекъ. У насъ самый уютный домикъ на свѣтѣ, и мы рады—вамъ васъ видѣть во всякое время.

Гвиннъ разсѣянно поблагодарилъ его. Все въ немъ кипѣло негодованія и отвращенія.

Циническая откровенность молодого провинціала съ его вѣрою свою звѣзду—напомнила ему въ карикатурѣ его собственную юношескую самоувѣренность. Въ то время какъ онъ коле-

бался между желаніемъ высказаться откровенно о причинѣ своего пріѣзда въ Америку и опасеніемъ обнаружить свою игру передъ возможнымъ соперникомъ, Кольтонъ, уже повончившій съ орѣхами и сбросившій на полъ массу скорлупокъ, вытащилъ изъ кармана большое красное яблоко и принялся осторожно чистить его своимъ ножомъ.

— Не могу сказать, чтобы мнѣ нравилась изнанка политики. Жена моя всегда утверждаетъ, что я — честнѣйшій человекъ. Во всякомъ случаѣ мнѣ пріятнѣе сдѣлать другому хорошее, чѣмъ дурное. Но если онъ станетъ мнѣ поперекъ пути — какъ съ этимъ быть въ странѣ, гдѣ политика подобна машинѣ, каждый зубецъ и винтикъ которой нуждаются въ смазкѣ? Я радуюсь тому, что мнѣ не придется брать взятокъ. Давать или брать самому — большая разница.

— А мнѣ все же кажется, что лучший путь къ славѣ и могуществу заключается въ той высшей силѣ, которая связана съ безукоризненною честностью. Человекъ, владѣющій массами и мѣтащій въ государственные люди, долженъ идти къ цѣли чистымъ путемъ.

Гвиннъ не безъ краски въ лицѣ (онъ достаточно ознакомился съ Америкой) рискнулъ изложить эти теоріи. Кольтонъ фыркнулъ.

— Ничего не выйдетъ. Это — взгляды Изабеллы. Говоря откровенно, развѣ ваша политика лучше?

— Много лучше, хотя и она далека отъ совершенства. И у насъ много негоднаго, но это — пустякъ въ сравненіи со здѣшнимъ цинизмомъ. Странная аномалія: очень немногіе изъ американцевъ, взятыхъ по одиночкѣ, производятъ впечатлѣніе людей нечестныхъ, но едва они вступаютъ на общественную арену, какъ становятся неузнаваемы. Зато здѣсь меньше лицемерія, чѣмъ въ Европѣ.

— Можеть быть, не спору. И у насъ бывали судорожныя попытки реформъ въ этой области. Но одна сессія въ Сакраменто обыкновенно излечивала нашихъ идеалистовъ. Знаете что? Вамъ надо жениться. Сначала я думалъ, что вамъ подойдетъ Изабелла, но нѣтъ. Возьмите жену такую, какъ моя, не отличающую одну партію отъ другой. Я знаю самую подходящую для васъ невѣсту — очаровательную дѣвушку... Это — Долли Баутсъ. Она свѣжа, какъ персикъ, и такая же хозяйка, какъ Анабель.

Гвиннъ хранилъ молчаніе, — онъ былъ до того взбѣшенъ, что не рѣшался говорить. Кольтонъ ничего не замѣчалъ. Онъ еле помнилъ имя Гвинна, такъ какъ мало занимался вѣдѣніемъ поли

тивую, и рѣшилъ, что тотъ прїѣхалъ въ Америку специально съ цѣлью поправить дѣла и зажить землевладѣльцемъ.

— Я прїѣхалъ въ Калифорнію съ единственною цѣлью — работать здѣсь на политическомъ поприщѣ, такъ какъ мое неожиданное пѣрство лишило меня возможности дѣлать это въ Англии. Я избралъ демократическую партію именно потому, что она нуждается въ людяхъ и болѣе подходитъ къ программѣ виговъ. Но если она такова, то нечего торопиться. Ранѣе четырехъ лѣтъ я не буду избирателемъ, и если въ концѣ концовъ вступлю въ ряды республиканцевъ, мы, по крайней мѣрѣ, не будемъ соперниками.

— Что вы?—воскликнулъ невинно Кольтонъ, но Гвиннъ замѣтилъ, что глаза его блеснули, — хотя въ извѣстномъ смыслѣ объ партіи недорого стоять, но демократы должны побѣдить и дать намъ возможность сдѣлать карьеру. Соперники? Ничуть! Для всѣхъ найдется мѣсто, а вы именно такой человекъ, какой намъ нуженъ. Изабелла разсказывала, что вы — удивительный ораторъ. Я и забылъ. Что до меня касается, я совсѣмъ не умѣю говорить, и у насъ никого нѣтъ, кто бы могъ увлечь толпу. Еще на дняхъ въ комитетѣ объ этомъ сокрушались. За четыре года вы можете многого достигнуть. Вы будете бывать на всѣхъ митингахъ и собраніяхъ и говорить за меня рѣчи. Судья Лесли вамъ также поможетъ, и какъ только вы осилите здѣшніе законы, вы можете выступить на судѣ. Затѣмъ я возьму васъ съ собою въ будущемъ году въ Сакраменто—къ тому времени я буду сенаторомъ—въ качествѣ моего личнаго секретаря. Сначала у васъ волосы встанутъ дыбомъ, но это—пустяки. Для того, чтобы попасть въ конгрессъ—вамъ нужно семь лѣтъ, для сенаторства—девять. Только вы должны принять насъ цѣликомъ: такими, какіе мы есть. Конечно, мы потребуемъ реформъ, и тутъ-то вы можете развернуть ваше краснорѣчіе, громя республиканцевъ, которые грабятъ вдову и сироту, земледѣльца и фермера. Мы пообѣщаемъ рабочимъ нѣчто вродѣ подсахареннаго социализма, но не больше того. Иначе нашей партіи—конецъ. Обдумайте это. Теперь я долженъ ѣхать. Моя жена не любитъ поздно возвращаться домой. Заходите къ намъ, когда будете въ городѣ.

Гвиннъ позвонилъ, чтобы подавали экипажъ гостя, поблагодарилъ его за совѣтъ, затѣмъ приказалъ подать себѣ лошадь и утѣ не половину ночи проѣздилъ по своему ранчо.

IX.

Недѣли черезъ двѣ Изабелла устроила вечеръ въ честь своего кузена, съ которымъ жаждали познакомиться мѣстные красавицы. Давно не отворившійся парадный залъ былъ приведенъ въ порядокъ и очищенъ отъ всякаго хлама — трудами незамѣнимаго Дзумы. Гвиннъ съ Изабеллою украсили стѣны пальмовыми вѣтвями и вѣтвями апельсиновыхъ деревьевъ, густо усѣянными мелкими желтыми плодами—первыми въ этомъ году. Приглашенъ былъ оркестръ. Томъ Кольтонъ и мѣстный „левъ“ Хилиардъ Уитонъ съѣздили въ Lunalitas для того, чтобы узнать—будетъ ли Гвиннъ во фракѣ? Анабель, Кольтонъ, Долли Баутсъ, Серена Уитонъ, послѣ долгихъ переговоровъ по телефону, рѣшили надѣть открытыя платья. Изабелла, вопреки мѣстнымъ традиціямъ, рѣшила „поразить“ гостей и предложить имъ выпитый изъ города ужинъ.

— Кажется, вы честолюбивы, — засмѣялся Гвиннъ, — вы намѣрены разбогатѣть и стать самою модною женщиной въ Санъ-Франциско? Кстати, я уже цѣлый годъ не видѣлъ васъ въ бальномъ платьѣ. Я помню, какъ вами восхищались въ Аркотѣ. Изъ любви къ вашей родинѣ вы отказались отъ блестящаго положенія, и этого я тоже не забуду...

Вечеръ оказался очень оживленнымъ. Всѣ приглашенія были приняты. На хозяйкѣ было платье изъ чернаго шиффона съ блѣдноголубою отдѣлкою, и Гвинну, видѣвшему ее то въ охотничьемъ, то въ верховомъ костюмѣ или въ простыхъ вечернихъ платьяхъ—какъ-то странно было увидѣть ее съ открытыми плечами и руками.

Вальсируя съ нею, онъ даже удивился, что такая красавица не производитъ на него никакого впечатлѣнія, какъ женщина, хотя она сошла со своего пьедестала и была оживлена и мила. М-съ Уитонъ, смотрѣвшая на нихъ въ лорнетъ, рѣшила, что Изабелла слишкомъ независима для того, чтобы нравиться мужчинамъ, а мѣстная сплетница м-съ Минерва Хейтъ замѣтила, что ей во всякомъ случаѣ слѣдовало бы выйти за своего кузена: о нихъ уже начинаютъ говорить. На дняхъ, встрѣтивъ ми въ Отисъ въ городѣ, она высказала ей свое мнѣніе, состоявшее въ томъ, что ей слѣдуетъ взять въ домъ „chargeon“, и что е отвѣтила эта гордячка? Ровно ничего! Она поглядѣла черезъ и , словно ея совсѣмъ тутъ не было. *Но она за это заплати*!

М-ссъ Хэйтъ произнесла эту фразу, поведя носомъ, словно почувствовавъ неприятный запахъ: такъ выражалась у нея надменность. Присутствующимъ была хорошо знакома эта фраза болѣзненно завистливой, самолюбивой, истерической женщины, считавшей, что судьба обездолила ее, хотя она имѣла прекраснаго мужа и состояніе.

Гвиннъ много танцевалъ съ Долли Баутсъ, обладавшей, несмотря на распѣтъ своей немного яркой красоты, умомъ шестнадцати-лѣтней дѣвочки; Изабелла уже знала, что Кольтонъ прочилъ ему Долли въ невѣсты, и, повидимому, ничего противъ этого не имѣла. Кромѣ Гвинна, вокругъ Долли кружился цѣлый рой молодежи: такой типъ красоты всегда влечетъ мужчинъ.

Ужинъ произвелъ сенсацію; втайнѣ Изабеллу осуждали за мотовство, но всѣ сдѣлали честь ея пиру. А сама хозяйка подъ конецъ почувствовала тоску. Все это показалось ей такъ мелко, такъ неинтересно! Она завидовала Долли съ ея плебейскою кровью въ жилахъ и полной неспособностью мыслить. Она нѣсколько удивилась вниманію къ Долли Гвинна, но вѣдь мужчины могутъ судить о дѣвушкахъ лишь по наружности, а всѣ прелести Долли были выставлены наружу въ лучшемъ свѣтѣ, какъ товаръ въ витринѣ.

Гости благодарили „очаровательную молодую хозяйку“, восхищались вечеромъ, и, конечно, Изабеллѣ не стоило бы труда искоренить карточную эпидемію, но она рѣшила, что съ нею довольно.

Послѣ вечера Гвиннъ съ особеннымъ усердіемъ засѣлъ за законы, и судья Лесли не могъ имъ нахвалиться. Его настроеніе сразу удивительно поднялось: онъ вдругъ почувствовалъ себя на твердой почвѣ. Мозгъ его послѣ долгаго бездѣйствія жадно поглощалъ новую умственную пищу. Онъ вспомнилъ слова одной умной женщины, говорившей, что каждый разъ, какъ она чувствовала себя blasée, она начинала изучать новый языкъ, и это сразу молодило и оживляло ее.

Однажды послѣ визита Анабель, пріѣхавшей въ новомъ экипажѣ, запряженномъ парюю чудныхъ лошадей—последній подарокъ мужа—поговорить съ Изабеллою по поводу м-ра Гвинна и Долли, миссъ Отисъ на слѣдующій же день предложила молодой дѣвушкѣ поѣхать въ Limalitas, гдѣ ей нужно было сдѣлать выписки изъ сельско-хозяйственныхъ книгъ кузена.

Долли, краснѣя, согласилась, и въ условный часъ заѣхала нею—нарядная, въ красной шляпкѣ съ перьями и въ яркомъ цвѣтѣ, похожая на пышную махровую розу.

Гвиннъ выбѣжалъ къ нимъ на встрѣчу. Когда онъ снялъ ватерпруфы, онъ подумалъ, что никогда еще не видѣлъ рядомъ двухъ такихъ красавицъ. Изабелла была проще одѣта, но ея черная жакетка сидѣла безукоризненно, блѣдно-голубой рюшъ у шеи и такой же рюшъ, обрамлявшій подкладку большой черной шляпы, отбѣняли синій цвѣтъ ея глазъ и длинныя густыя рѣсницы. Никогда она не казалась ему такой невинной и дѣвственной. Она не глядѣла на него, и онъ видѣлъ только ея улыбающіеся глаза и полуоткрытыя губы.

— Приличія запрещаютъ мнѣ бывать у васъ одной, вотъ я и убѣдила м-съ Баутсъ пріѣхать со мною. Вы займете другъ друга на верандѣ, покуда я буду сидѣть за работой. Хорошо?

Уходя она замѣтила, что Гвиннъ обратился къ Долли съ оживленіемъ, какового она не замѣчала въ немъ со времени его увлеченія м-съ Кэй. Удобно усѣвшись въ креслѣ, она стала прислушиваться къ дуэту голосовъ, превратившемуся затѣмъ въ соло. М-съ Долли знала, что американка должна быть интересна, оживлена и „занимать“ англичанина, который это любить. По временамъ слышалась мужская реплика, но смѣхъ становился рѣже, оживленный тонъ замѣтно понижался. Изабелла брала томъ за томомъ, снова ставила ихъ на мѣсто, одну книгу она уронила... Пропшелъ часъ. Она придвинула чернильницу съ перомъ и, казалось, прилежно дѣлала отмѣтки. Вдругъ въ комнату вошелъ хозяинъ.

— Не хотите ли вы чаю? Еще немного рано, но можетъ быть съ дороги?..

— Слишкомъ рано,—сказала Изабелла разсѣянно. Ея подбородокъ покоился на рукѣ, глаза были устремлены на страницу,—Маріанна еще, навѣрно, спитъ. Ступайте назадъ къ Долли, она не выноситъ, чтобы ее оставляли одну. Я не затѣмъ привезла ее сюда, чтобы она скучала.

— Не затѣмъ? Но куда вамъ всѣ эти замѣтки? Не собираетесь же вы писать руководство?

— Конечно нѣтъ. Ступайте отсюда.

Гвиннъ вернулся на веранду. Еще въ теченіе цѣлаго часа оттуда продолжали доноситься звуки дѣвическаго — немного въ ностъ—щебетанія. Затѣмъ наступило молчаніе, прерываемое короткимъ „staccato“ случайныхъ замѣчаній, и наконецъ водворилась тишина. На порогѣ снова показался Гвиннъ.

— Изабелла!—позвалъ онъ тихимъ, злымъ голосомъ.

Она задумчиво обернулась и увидѣла блѣдное лицо и свежающіеся глаза.

— Я никогда не прощу вамъ! — шепнулъ онъ.

— Чего?

— Чего? Да вы хотите свести меня съ ума? Увезите ее домой.

— Какъ? Вамъ не было весело?

— Весело? Это сущая пытка.

— Ну, вотъ! А я еще думала, что угадала вашъ вкусъ?

— Оставьте пожалуйста!

— Что такое?

Они стояли другъ противъ друга: Гвиннъ — красный и взбѣшенный, Изабелла — холодно вопросительно. Гвиннъ почувствовалъ, что обязанъ сдержаться. Было слишкомъ дерзко сказать женщинѣ, что онъ проникъ въ ея умыселъ — разочаровать его въ соперницѣ. Это значило бы — идти на ссору, а онъ этого не хотѣлъ, хотя и сердился на нее за ея вѣшательство, и въ особенности — за эту послѣднюю ея побѣду. Поэтому онъ проговорилъ насколько могъ сповойнѣ.

— Пожалуйста, увезите ее домой. Я верну вамъ всю библиотеку, если угодно.

— Я уже кончила. Мнѣ жаль, что вы проскучали.

Она тщательно собрала свои бумаги и пошла на выручку усталой м-съ Баутсъ, куда Гвиннъ приказывалъ подавать экипажъ.

По дорогѣ домой Долли замѣтила, что англичане ей не нравятся, а вообще она больше молчала.

Такъ окончилась реформа общественной жизни въ Розуотерѣ.

Съ англійск. О. Ч.



ИЗЪ ПЕТЭФИ

Ты спишь, природа, зимнимъ сномъ объята,
Предчувствуя, быть можетъ, въ сновидѣнны,
Что ждетъ тебя въ день свѣтлый пробужденья
Печальная и горькая утрата.

Сойдетъ къ тебѣ въ цвѣтахъ весна младая
И встрѣтитъ соловей васъ сладогласный.
Но былъ иной пѣвецъ, пѣвецъ прекрасный,
Пѣлъ слаще соловья, свой стихъ слагая.

Проснешься ты — а нѣтъ его съ привѣтомъ.
И спросишь ты съ тоской: „Гдѣ-жъ онъ, родимый?
„Гдѣ-жъ мой пѣвецъ, гдѣ мой поэтъ любимый?“
И холмъ могильный будетъ лишь отвѣтомъ.

Природа, береги рукою сильной
Тотъ холмъ, гдѣ спитъ пѣвецъ твой вдохновенный,
Всю жизнь къ тебѣ пылавшій неизмѣнной
Любовью. Береги его пріютъ могильный!

М. Ватсонъ.



ДОЧЬ ТУСИ

ЭСКИЗЪ

ПО ПОЛЬСКОМУ РОМАНУ ГАВРИЕЛИ ЗАПОЛЬСКОЙ.

I.

На улицѣ Варецкой, во дворѣ, занималъ скромную квартиру дѣлопроизводитель или бухгалтеръ въ какомъ-то учрежденіи въ Варшавѣ, Жебровский. Человѣкъ уже пожилой, онъ казался еще старше своихъ лѣтъ, такъ какъ принадлежалъ къ многочисленной категоріи „обремененныхъ семей“. Нелишенный образованія, онъ въ свое время прочелъ все, что слѣдовало, и стремился къ нѣкоторымъ идеаламъ.

Но время его было тяжкое, суровое; оно подавляло порывы, принижало личность, ставило передъ каждымъ шагомъ человѣка роковое нелзя, нелзя и нелзя. Борьба была не мыслима, да она и не соответствовала мягкой натурѣ Жебровскаго.

Единственный идеалъ, который дался ему въ руки, былъ случайный — хорошенькая жена. О, пани Туся — въ самомъ дѣлѣ хорошенькая! Еще и теперь взглянуть, такъ нелзя не обратить вниманія. Высокая, стройная, глаза, какъ небо Италіи, правильные овалъ и черты лица, а волосы! Настоящій ореолъ мягкаго, густаго, золотистаго шелка.

Вотъ уже трое подрастающихъ дѣтей, а посмотрите, какая чья атласная шейка, какъ нѣжно розовѣетъ она на минуту, то ея вдругъ коснулся первый лучъ зари... А полный ласки, ебристо щебечущій голосъ пани Туси! И теперь она иногда. Представьте себѣ, какой же она была тому лѣтъ... сло — давно, когда выходила замужъ.

вышла она за Жебровскаго просто потому, что надо же

дѣвицѣ выйти за кого-нибудь. Она была изъ такой же „приличной“ и бѣдной семьи, какъ та, которую они теперь составляли съ мужемъ и дѣтьми. Мужъ лѣтъ на двадцать старше Туси, неинтересный, впоследствии совсѣмъ одеревенѣвшій на службѣ и подъ гнетомъ вѣчной нужды въ деньгахъ. Но хорошо, что хоть такой попался; все лучше, чѣмъ сидѣть старой дѣвой.

Но лучше ли для Жебровскаго, что для него осуществился идеалъ хорошенькой жены? Едва ли не лучше ему было бы не жениться совсѣмъ, и если ужъ жениться, то не на идеалѣ, котораго онъ съ самого начала сдѣлался рабомъ, — не на идеалѣ, который надо было одѣвать, хоть и съ дешевымъ шикомъ, а все же не по средствамъ, и усиленно гнуть спину надъ работой, самому отказываться отъ всего, да еще рѣдко-рѣдко когда слышать за все это доброе слово. А когда появились дѣти, бѣдняга прямо обратился въ ходячую машину. И жена, когда сердилась, называла его, про себя, деревяннымъ дядькой.

Вотъ, онъ пришелъ изъ должности къ обѣду и, пройдя въ столовую, выпилъ воды. Столъ еще не накрытъ, и хозяйинъ дома, видимо уставшій, присѣлъ тутъ же, закрылъ глаза и, какъ автоматъ, выдвинулъ по худымъ колѣнямъ руки впередъ. Усталъ. Хорошо бы прилечь въ ожиданіи обѣда, но негдѣ было. Пани Туса, сама, иной разъ, въ пополуденное время, по цѣлымъ часамъ нѣжилась на раскрытой постели. Но она терпѣть не могла, когда мужъ вздумывалъ повалиться на свою кровать, приведенную въ порядокъ и покрытую классическимъ верхнимъ одѣяломъ изъ тисненнаго полотна. Да еще повалится съ сапогами, точно мастеровой.

Правда, въ гостиной былъ крытый голубымъ плюшемъ диванъ, „подъ орѣхъ“, диванъ, который могъ служить украшеніемъ приѣмной комнаты у зубного врача. Но диванъ этотъ не предназначался для того, чтобы сами домашніе садились на немъ, не то что еще валяться. А своего угла у хозяина дома не было.

Впрочемъ, и ни у кого въ домѣ не было своего угла. Каждому изъ нихъ приходилось безпрестанно переноситься со своей работой, со своими мыслями, изъ комнаты въ комнату, убѣгая отъ другихъ. Точно они присѣдали тутъ и тамъ на минуту, какъ птицы, поклевать или отдохнуть. А между тѣмъ, они такъ жили.

— Послушай, Эдэкъ—говорила Жебровская младшему сыну Эдварду— перейди теперь учиться въ гостиную; здѣсь будутъ накрывать столъ чай пить.

Или вотъ, старшаго сына, Эдмунда, она приглашала:

— Ты бы пошелъ въ другую комнату, Мундэкъ. Питѣ надо теперь учиться на фортепьяно. Поди, мой другъ, хоть въ спальню.—Пита это—ихъ сестра, подростокъ, панна Юзефина. Съ самаго рожденія ее почему-то стали называть на итальянскій манеръ Пепита, а она сама, ребенкомъ, сократила это имя на „Пита“.

И такъ они поочередно кочевали.

Жебровскому пришлось просидѣть въ столовой съ четверть часа, а хозяйки все еще не было дома. Обязанность накрывать столъ и убирать съ него все то, что ставилось и складывалось въ буфетъ, лежала на Питѣ, потому что вся прислуга у Жебровскихъ состояла изъ кухарки Марты, которая приносила и уносила только миски, блюда, тарелки и мыла посуду. Пита накрывать не торопилась, такъ какъ матери не было дома. Но только что дѣвушка принялась за работу, какъ пани Туся возвратилась, и Питѣ достаточно было взглянуть на мать, чтобы замѣтить дурное ея настроеніе.

Проходя мимо мужа, Жебровская спросила:

— По какому это случаю сегодня такъ рано изъ должности?

— Неособенно. Да я только что и пришелъ.

Пита слышитъ, какъ мать порывисто выдвигаетъ и захлопываетъ въ спальнѣ ящики.

Эдакъ не можетъ дождаться обѣда, — схватилъ кусокъ хлѣба, подошелъ къ буфету, намазалъ горчицы и улетаетъ съ жадностью.

— Не ѣшь горчицы — шепнула Пита — еще больше прыщиковъ на лицѣ вскочить.

— А тебѣ что за дѣло? И вскочить, такъ вѣдь не у тебя.

Вдругъ въ двери спальни показывается Жебровская и обращается къ мужу:

— Войди сюда на минутку... Миѣ надо поговорить съ тобой.

— Хорошо — быстро произноситъ онъ, но идетъ медленно.

Дѣти ждутъ обѣда. А изъ разговора родителей за дверью до нихъ долетаютъ слова:

— А я серьезно прошу тебя, чтобы у меня въ домѣ этого не было.

— Но увѣряю тебя...

— Пожалуйста, не увѣрай, я знаю, что говорю. Ужъ я речувствую. У каждой порядочной жены бываетъ предчувствіе такихъ случаевъ. Впрочемъ, вѣѣ дома дѣлай, что хочешь... съ этимъ я уже примирилась... Но тутъ... возлѣ жены и гей...

— Даю тебѣ честное слово...

— Охъ, ваше честное слово! У васъ, мужчинъ, въ этихъ случаяхъ всегда готово честное слово... Постыдился бы... съ служанкой!

— Да тише же! Вѣдь дѣти слышать.

— Для нихъ это не новость, сами видятъ. Впрочемъ, сынки-то, вѣрно, ужъ мечтаютъ по папенькинымъ слѣдамъ...

— Полно, полно. Да, наконецъ, развѣ ты не видишь, какое это чучело?

— Ахъ, извини, пожалуйста... Мнѣ служанка нужна для работы... я не могу выбирать ихъ для иной цѣли.

Изъ двери показывается голова Жебровскаго. Онъ блѣденъ, окидываетъ дѣтей тупымъ взглядомъ и говорить:

— Пята... Поди, поиграй пока на фортепьяно.

И дѣтямъ въ самомъ дѣлѣ не нова эта сцена, которую мать дѣлаетъ отцу. Имъ больно и стыдно. Пята пошла въ гостиную, отлично понимая, что отецъ выслалъ ее отъ сцены. И лучше играть гаммы, чѣмъ слушать это.

Но что такое — *это*? Дѣвочка чувствуетъ, что „это“ — одна изъ тѣхъ нехорошихъ вещей, которыхъ она должна избѣгать. Однако, въ чемъ собственно мать упрекаетъ отца? Когда она была маленькая, такихъ сценъ у нихъ вовсе не бывало, а теперь онѣ случаются все чаще. Мама становится какой-то сердитой. Злятся и на отца, и на нихъ, дѣтей, и особенно на служанокъ, которыхъ часто мѣняетъ. Что съ мамой сдѣлалось?

Да, Туся, неужели эта тривиальная женщина — ты? А гдѣ же та, прежняя Туся, что всего шесть лѣтъ тому назадъ, въ живописномъ Закопанскомъ курортѣ, на фонѣ высокихъ Татръ, восхитала веселившееся интеллигентное общество? Туся — чудесное видѣнье, вся — красота и вся — чувство. Сфинксы съ розовыми пальцами, вѣнцомъ золотыхъ волосъ, глазами сиявшими, какъ звѣзды... То была вторая молодость твоя, но ты торжествовала въ ней, дышала нѣжностью и побѣдой... Одна улыбка твоя уже дарила отрадное мгновенье, — ты — чудная и гордая Діана, соблазнительная и какъ будто непрístupная...

Неужели это — ты, та самая, только что говорила за дверь? О, Туся, что случилось съ тобой? Все тѣ же розовые пальцы и золотые кудри, но чарующей улыбки уже нѣтъ. Уголки и а частенько жмутся внизъ съ недовольствомъ. А то губы тѣ и стягиваются безмолвной злостью. Что произошло съ тобой?

То, что когда тамъ, въ горахъ, надъ тобой грозой разра -

лась любовь и прошла огнемъ по твоимъ жиламъ, у тебя не хватило смѣлости—или робости—замереть подъ грозой, пасть передъ ней и ей беззавѣтно отдаться... Это была судьба твоей красоты, увѣнчаніе шедшаго отъ тебя соблазна, осмысленіе всей твоей жизни... О чемъ же ты всегда мечтала, для чего жила, каково вѣчно жаждала счастья?

Нѣтъ, ты имѣла мужество бороться, спасаться. А по задачѣ твоей жизни, по существу твоей природы, это-то и была настоящая трусость. Пусть бы грозовой огонь изсушилъ твои силы навсегда, но ты извѣдала бы единственное доступное тебѣ счастье и могла бы уже съ покорностью отказаться отъ него въ дальнѣйшей жизни. Въ сердцѣ твоемъ навсегда тлѣлся бы пепелъ воспоминаній. Пускай бы затѣмъ солнце потускнѣло на все остальное время, пусть бы влячилась жизнь сѣрая, дюжинная, мапинальная. Ты все-таки жила.

Но ты не отдалась бурѣ, ты отъ нея бѣжала, ты плакала, но уносила съ собой прежнія возжелѣнія. Тусклая, обиденная жизнь здѣсь, на Варецкой улицѣ, не могла удовлетворить тебя, а обѣщала только горечь отсутствія того, что уже не повторится, вдобавокъ къ горечи воспоминанія о потерянномъ, о брошенномъ тобой.

Когда въ вагонѣ ты съ нимъ прощалась и плакала, онъ положилъ тебѣ на грудь маленькую Питу, какъ цвѣтокъ утѣшенія, и вышелъ. И слезы твои падали на ея волосы, отблескъ твоихъ. Но ты отстранила дѣвочку, не желая, чтобы грѣшныя слезы твои пятнали святость дочери. А если ты бѣжала отъ грѣха, то будь же послѣдовательна и не носи его болѣе въ твоихъ мечтахъ. Не говори себѣ передъ зеркаломъ, что для тебя еще не все кончилось. И не злись, что искушеніе для тебя не повторилось, да и не повторится, какъ сама ты, втайнѣ отъ себя, уже предчувствуешь.

Правда, въ то время, когда ты бѣжала отъ „его“ поцѣлуевъ и отъ любовной горячки, которой не достало только одного момента забвенія, ты думала иначе. Ты еще была тогда „сезонной“ очаровательницей, увѣренной въ своемъ обаяніи, державшей въ рукѣ свою будущность. Но когда за тобой замкнулась дверь въ шумномъ, прозячскомъ, тѣсномъ жилищѣ на Варецкой улицѣ, тогда на тебя пахнулъ невывѣтрившійся запахъ нафталина, когда ты увидѣла потертый плюшъ мебели, гардины, истрепанные многолѣтней чистой и вѣчные, неподдающіеся никакой тряпкѣ слѣды или по деревяннымъ узорамъ супружескихъ кроватей, въ тебѣ же впервые мелькнуло сознаніе, что здѣсь ты себя хоронишь,

что дальше для тебя уже ничего не будетъ. Отъ старой квартиры на тебя повѣяло атмосферой „поконченныхъ существованій“.

И вотъ, теперь, Туся, ты еще хороша. Но чтожъ изъ этого, въ чему это, бѣдное ты, поконченное существо. Твоя красота здѣсь, на Варецкой, совсѣмъ излишня, никому не нужна. Отрекись, Туся, отъ всякихъ стремленій и мечтаній. Не обзаводись больше шиварными туфельками, донашивай дома старыя калоши и заведи себѣ красную фланелевую юбку.

Здѣсь тебя, все равно, будутъ уважать и любить. Ты начнешь по-немножку старѣть, а тебя будутъ любить по-прежнему и уважать еще болѣе.

Мало по малу, въ эти шесть лѣтъ Жебровская освоилась съ положеніемъ. Но нельзя сказать, чтобы она покорилась, такъ какъ изъ тогдашняго акта отреченія въ ней доселѣ еще всплывалъ бунтъ.

Присмѣтрится подольше въ зеркало — ничего еще. Но на что ей это? Да и если бы пришла охота испробовать еще разъ силу красоты, такъ вѣдь красотѣ, какъ и цѣнному камню, нужна еще оправка. Только ужъ сдѣлать ее не на что. А нѣтъ оправы, нельзя блеснуть красотой. Значитъ, какъ бы нѣтъ и красоты: на что вещь, которой нельзя пользоваться.

Какія чувства вызываются подобными размышленіями? Если не полное отчаяніе, то нѣчто—очень похожее на ненависть ко всему міру, во всякомъ случаѣ—злость на все окружающее. И не только на того деревяннаго дядьку, да на служанку, но и на дѣтей, которыхъ Туся все-таки любитъ.

Дѣти, дѣти... Надо ихъ кормить, одѣвать, за сыновей платить въ гимназію, за дочь—въ частную школу. Платить за квартиру, отопленіе, освѣщеніе, покупать учебники... Семья—интеллигентная, приличная; дѣтямъ надо дать образованіе, надо, чтобы все было прилично, было, что слѣдуетъ. Но откуда взять на все это? Мужнино жалованье, какъ его ни растягивай, слишкомъ недостаточно. На все идетъ въ обрѣзъ.

Вотъ семья за обѣдомъ. Старшій сынъ Мундэкъ позволяетъ себѣ не ѣсть слишкомъ жидкаго супа. Пята попробовала ложки двѣ и перестала. Но мать сердито приказываетъ ей опорожнить тарелку. Жебровский по голосу жены предчувствуетъ „сцену“ и старается обратить вниманіе на что-нибудь другое.

— Ты видѣла новое пальто, которое принесли для Мундка, — спрашиваетъ онъ жену.

— Видѣла.

— Заплатила портному?

— Нѣтъ.

— Вѣдь я еще третьяго дня далъ тебѣ на это деньги.

— Они вышли на хозяйство.

— А...

Младшій сынъ Эдекъ находится въ томъ возрастѣ, когда диссертантъ мальчишка переходитъ въ альтъ, но порой еще проскакиваютъ рѣзкіе, высокіе звуки.

— Мама, теперь старое пальто Мундэа мнѣ? — выкрикиваетъ онъ съ примѣсью пѣтушійхъ нотъ.

— Я только-что хотѣлъ просить, — говоритъ Мундэкъ, — чтобы вы мнѣ позволили отдать старое одному товарищу.

Жебровская отгибается, хмурясь:

— Вѣрно, Тарнавичу, сыну этой пьяной, что живетъ наверху.

— Кому — все равно. Но такому товарищу, который мерзветъ.

— И мнѣ въ моемъ пальто холодно, да я и выросъ изъ него, — ворчитъ Эдекъ. Но братъ порывисто „осаживаетъ“ его.

— Все-таки у тебя есть что-нибудь на спинѣ, а онъ теперь въ морозы въ одномъ мундирѣ ходить.

Но мать не соглашается.

— Старое пальто я должна продать.

— Ну что за него дадутъ, — вмѣшивается отецъ.

— А сколько бы ни дали. Мальчикамъ надо купить калоши, а то они по снѣгу совсѣмъ испортятъ сапоги.

— Правда, — соглашается Жебровский.

Но Мундэкъ взглядываетъ на мать своими красивыми черными глазами.

— Я буду ходить безъ калошъ.

— Да, будешь ходить, а черезъ мѣсяцъ сапоги лопнуть. Нѣтъ, другъ мой. У насъ на сантиментальности нѣтъ средствъ.

— Но кто же поможетъ такому бѣдному?

Туса, опять нахмуривъ брови, заключаетъ:

— А кто намъ поможетъ?

II.

Да, хотя она въ мечтахъ не отреклась отъ той власти, кою даетъ красота, но, подобно королевѣ въ изгнаніи, она освоилась съ утратой короны. Прошли цѣлыхъ шесть лѣтъ съ поры, когда она была героиней Закопанскаго вурорта, какъ временно славный артистъ Поржицкій былъ тамъ героемъ.

Она даже играла вмѣстѣ съ нимъ на благотворительномъ спектаклѣ и имѣла шумный успѣхъ.

Теперь все поблекло, и нужда сдавливала ее въ своихъ тискахъ все сильнѣе. Но развѣнчанная королева, подобно Бурбонамъ, не только ничего не забыла, но и ничему новому не научилась. А вѣдь, казалось бы, какъ было не замѣчать въ новомъ самаго рельефнаго явленія, а именно того, что вѣнецъ красоты переходилъ къ преемницѣ низложенной королевы!

Питѣ шель уже пятнадцатый годъ, а пани Туся все еще считала ее тѣмъ ребенкомъ, котораго Поржицкій положилъ на ее грудь при разставаніи.

Пусть, по лѣтамъ, Пита и теперь была еще дѣвочкой. Но она—дочь Туси, и если бы мать была менѣе занята собой, она должна была бы видѣть то, что замѣчалъ любой прохожій на улицѣ. Пора было позаботиться не только о платьицахъ и ботинкахъ своей преемницы, но и о душѣ ея. Пита ходила въ школу, ходила еще учиться живописи на фарфорѣ, и дома брала уроки танцевъ на общій счетъ съ нѣсколькими знакомыми дѣвочками, наконецъ, училась у матери играть на фортепьяно.

Но нравственное воспитаніе дѣвочки ограничилось катехизисомъ и часто повторяемыми матерью правилами о томъ, что паненка должна умѣть „держать себя“, всѣмъ нравиться, избѣгать всего грубаго, грязнаго и неприличнаго. Эти эстетическія правила пришлись по натурѣ Питы, въ которой лежалъ аристократизмъ красоты. Поэтому маму она ставила гораздо выше папы, въ красивомъ задумчивомъ Мундкѣ видѣла херувима, а прыщеватаго и докучливаго Эдва считала вульгарнымъ, не вдавалась въ разговоры со служанкой и даже съ подругами была очень сдержана.

Но самая эта сдержанность съ другими дѣвочками и скрытость передъ матерью, которая не заботилась приобрѣсти ея довѣріе и продолжала смотрѣть на нее, какъ на совсѣмъ глупаго еще ребенка, обусловили то, что умъ и впечатлительность Питы развивались въ полномъ одиночествѣ.

Она была очень похожа на мать, но имѣла болѣе „стиля“. Надо было видѣть ее на цвѣтистомъ лужкѣ, когда она шла задумчиво, какъ ея старшій братъ, но съ мягкими изгибами женственности, нѣсколько приподнявъ непокрытую маленькую головку обрамленную мягкими, какъ пухъ, золотистыми прядями, будучи угадывая что-то вдали своими лазоревыми глазами, полны свѣта и какого-то удивленія, въ короткомъ платьицѣ, тонкія на длинныхъ ножкахъ, которыя едва прикасались къ травѣ,

почти плоской еще грудью и бессознательной прелестью каждого движения.

Была ли это маленькая женщина? Нѣтъ, это былъ пока еще только силфъ, который, развившись въ женщину, долженъ былъ еще превзойти мать красотой—благородной, идеальной.

И думала Пита немало; умъ ея быстро развивался, но вмѣстѣ съ тѣмъ въ немъ часто возникали вопросы, на которые она ни у кого не стала бы искать отвѣта, развѣ у матери. Но мать, навѣрное, назвала бы ихъ глупостями, да еще и „турнула“ бы ее за нихъ.

На нее надвигалась и охватывала ее жизнь, исполненная обѣщаній, опасеній и странностей, которыя для нея были загадками. Богъ устроилъ все премудро, но такъ много въ этомъ непонятнаго и страшнаго. И задумавшись на эту тему, Пита начинаетъ горбиться. Да, вотъ, и это еще бѣда, неизвѣстно откуда она берется. Потому-то на Питѣ шнуровка, да еще съ чѣмъ-то вродѣ панцыря на спинѣ. А все-таки Пита, нѣтъ-нѣтъ, а забудетъ и горбится. А то еще Эдекъ смѣется, что у нея въ глазахъ телячье выраженіе.

— Пита, держись прямо!—напоминаетъ ей мать.

— А шведскую гимнастику ты сегодня продѣлала?

— Пита, садись за фортепяно. Только смотри, считай; вѣчно забываешь.

— Ты видишь, какъ я постоянно чѣмъ-нибудь занята. Отъ праздности и глупыя мысли приходятъ.

— Пита, держись прямо! Смотри на меня, какъ я всегда держусь.

Такъ заботливо и гигиенично воспитываетъ пани Туся свою дочь. „Мамѣ легко говорить, когда она все знаетъ, — думается Питѣ,—а мнѣ кажется столько страннаго, что поневолѣ на минутку задумываешься“.

Разъ, когда служанки не было дома, Пита, на раздавшійся звонокъ, пошла открыть дверь. Вошелъ высокій, стройный и приличный кавалеръ; блондинъ съ красивой, причесанной бородой, и, узнавъ, что отца нѣтъ дома, спросилъ, нельзя ли видѣть маму.

— Она спитъ, но я ее разбужу, если надо. — И, возвращая изъ спальни, Пита сказала:—Мама сейчасъ выйдетъ.

— Извините меня, mademoiselle, за беспокойство.

Господинъ этотъ скоро ушелъ. Но на Питу онъ произвелъ вѣдливое. „Такой тонкій, мужественный и любезный... Ахъ, тамомъ дѣлѣ похожъ... Живой Кетлингъ“... Для Питы муж-

чина начинался съ тридцати лѣтъ, не ранѣе. Братья и товарищи ихъ, это были школьники. Да иные, уже и взрослые, все еще были мальчики. А въ романѣ Сенкевича „Панъ Володыевскій“ Питу увлекалъ одинъ только рыцарскій, изящный Кетлингъ, хранившій втайнѣ свою любовь. А Заглоба внушалъ ей просто отвращеніе.

Кетлингъ! И Питѣ часто думалось потомъ: „Что, если бы такой мужъ, какъ тотъ господинъ!..“ Скоро она узнала, что это былъ управляющій домою, который приходилъ за квартирными деньгами, что онъ былъ вдовецъ съ тремя малыми дѣтьми. Сперва она не хотѣла этому вѣрить, а потомъ рѣшила: „Ну, такъ что-жъ, что управляющій? Все-таки онъ—милый?“ И съ тѣхъ поръ, когда кто-нибудь упоминалъ объ управляющемъ, Пита краснѣла.

На урокахъ танцевъ она замѣтила, что одна изъ соученицъ ея Яся кокетничала съ учителемъ, который служилъ въ балетѣ. Послѣ одного урока дѣвочки вышли вмѣстѣ на улицу. Имъ было по дорогѣ: Ясѣ—къ учителю стенографіи, а Питѣ—къ учительницѣ живописи на фарфорѣ. И Яся вдругъ спросила:

— Хочешь, я расскажу тебѣ что-то очень занятное?

— Что?

— Нѣтъ, ужъ лучше не буду рассказывать.

— Нѣтъ, такъ нѣтъ.

— Ну, какая ты нелюбопытная! А мнѣ такъ все хочется знать. И вотъ, теперь я уже знаю все: отчего и какъ. Но ты остановись, это можно сказать только на-ухо.

— Что-нибудь нехорошее? — И Пита взглядываетъ на подругу съ недоумѣніемъ.

— Ну, само собой, только очень интересное. Мнѣ наша горничная рассказала.

— Нѣтъ, перестань, я не хочу.—Какой-то инстинктъ, можетъ быть, тотъ, который побуждаетъ цвѣты закрываться передъ вечернимъ холодомъ, охраняетъ Питу.

— Право, не пожалѣешь, что узнала.

— Отстань, пожалуйста... Потомъ еще придется признаваться на исповѣди.

Яся надуваетъ губы.

— Я такъ всегда исповѣдаюсь въ общихъ словахъ. Говорила о неприличныхъ вещахъ, вотъ и все.

— А если спросить, о какихъ?

— Тогда сказать: ну, объ „этикихъ“... И сейчасъ, скоро скоро начать перечислять другіе грѣхи.

- Нѣтъ, я не хочу.
- Потому, что ты—глупая.
- Можетъ быть.

Онѣ прошли нѣкоторое время въ молчаніи. Начала опять Яся:

— А я увидѣла вашего управляющаго. У него смѣшной вѣкъ.

Пита точно спотынулась. Кажъ будто ее вывелъ изъ равновѣсія тотъ жаръ, который внезапно прошелъ по ней и былъ виденъ теперь на шейкѣ, на ухахъ, на щекахъ.

- Пита!?
- Что такое?
- Чего ты такъ покраснѣла?
- Такъ...
- Ну, ужъ... было въ кого...
- О комъ ты говоришь?

— Да, пожалуйста. Я понимаю. Но только и вкусъ же у тебя.

И та, которая „уже все знаетъ“, бросаетъ Питѣ на прощанье слова.—Нечего притворяться, ты въ него влюбилась.

„Влюбилась!“ Какое это страшное, а вмѣстѣ и сладкое слово... Но любить можно только мужа. А онъ—вдовець и у него трое дѣтей. Пита чувствуетъ нѣкоторую къ нимъ нѣжность. Она ихъ видѣла на дворѣ и хотѣла бы приласкать ихъ, но такъ, чтобы ихъ отецъ не зналъ. А его она будетъ избѣгать.

Съ семьей Жѣбровскихъ стала обѣдать приходящая на цѣлый день швея. Но она обѣдала на углу того стола, на которомъ стояла швейная машина. Блюда приносить ей Пита.

Съѣли супъ. За нимъ отдѣльно подаетъ кухарка говядину изъ супа. Пита не любитъ этой кухарки, не только некрасивой, но еще какой-то ехидной. Такъ, теперь она ухмыляется: принесла на второе кушанье говядину изъ супа.

И швея Питѣ не нравится. Она слегка рябоватая, и губы у нея такія красныя, точно горять. А когда она хочетъ поправиться, то показываетъ рядъ бѣлыхъ зубовъ. Мундѣкъ ничего не говоритъ. Онъ, повидимому, весь погруженъ во что-то, причесанное изъ гимназіи или съ собранія у одного изъ товарищей. Можетъ быть, у того Тарнавича, который живетъ на улице и имѣетъ пьяную мать.

„Только страннаго кругомъ! О чемъ бы думать такому мальчишкѣ? Смѣшно же, если бы онъ былъ влюбленъ.“

Послѣ вареной говядины, швея, по имени Владислава,

уходить на кухню, а Эдекъ показываетъ сестрѣ пальцами, какъ у „той“ черти на лицѣ рожи молотили.

— Очень порядочная дѣвушка—внушительнымъ тономъ произноситъ Жебровская.

— Рыбая такая—замѣчаетъ Эдекъ. Но Жебровская, которой швея понравилась отчасти именно потому, что она работата, замѣчаетъ сыну: — Не ея вина. А тебѣ-то что за дѣло? Можетъ быть, у нея душа самая прекрасная. Во всякомъ случаѣ я увѣрена, что эта дѣвушка порядочнаго поведенія.

Опять—странное слово. Пята не знаетъ, въ чемъ состоитъ поведеніе непорядочное. Но она давно слышала, что есть такія женщины, которымъ оно приписывается, и что женщины эти носятъ и въ будни красивыя шелковыя платья и длинныя, бѣлыя перья, ежедневно пьютъ по нѣсколько разъ шоколадъ и для нихъ—каждый день праздникъ. Но зато ихъ на томъ свѣтѣ будутъ припекать черти. Пята видѣла даже разъ на одномъ изъ лотковъ передъ костеломъ, въ день праздничнаго „кермаша“, въ числѣ лубочныхъ картинокъ, изображеніе очень декольтированной дамы въ платьѣ травяного цвѣта съ жемчугомъ величиной въ картофелину на шеѣ. Даму эту охватывало пламя, а черный демонъ съ пунцовымъ языкомъ колотъ ее вилой въ самое девольтѣ.

Почему такимъ дамамъ живется хорошо, пока онѣ еще на этомъ свѣтѣ, Пята не знала. Но ей было понятно, что, отрекшись отъ блаженства въ будущей жизни, онѣ покамѣстъ жили въ свое удовольствіе, въ противоположность монахинямъ, которыя здѣсь отказались отъ всего, постытса и молятся, съ тѣмъ, чтобы зато жить на томъ свѣтѣ—уже въ изобиліи всякихъ благъ.

Однако, въ послѣдствіи Пята встрѣтилась съ фактомъ, который ей уже не удалось подвести подъ это мировоззрѣніе. Въ подвалѣ того же дома, гдѣ жили они, поселилась-было какая-то рыжая дѣвка, вѣчно сонная, растрепанная, едва одѣтая, въ блузѣ грязно-краснаго цвѣта. Пята нѣсколько разъ встрѣчалась съ этимъ существомъ въ воротахъ и, проходя мимо него, ощущала испугъ, вродѣ того, какъ еслибы мимо ея головы пронеслась летучая мышь. При мысли объ этой женщинѣ, у Питы пробѣгалъ холодъ по спинному хребту.

Это впечатлѣніе у дѣвочки еще усилилось, когда мать, рапри ней, сказала отцу:—Какъ эту рыжую не выгнать вон изъ дома... Это—тварь самаго худшаго поведенія...

Но вѣдь у нея нѣтъ шелковыхъ платьевъ... Она едодѣта и занимаетъ уголокъ въ подвалѣ. Странно... И на это

свѣтъ ей жить нехорошо, и на томъ свѣтъ будетъ худо, такъ какъ она самаго худшаго поведенія. Значить, такія женщины бывають и богатныя, и бѣдныя. Но все-таки, должно быть, и тѣ, и другія веселятся. Но какъ? „Вѣрно, пьютъ“—рѣшила Пята.

Однажды Пята, въ отсутствіе кухарки, гладила себѣ въ кухнѣ кружевной воротничекъ. Дверь на лѣстницу была только слегка приперта, и слышно было, какъ Мундэкъ и Тарнавичъ—тотъ гимназистъ сверху,—возвращаясь домой, оканчивали у самой двери серьезный разговоръ, который, видимо, ихъ обоихъ волновалъ...

— Терпѣть его придирокъ и оскорбленій нѣтъ больше силъ.

— Но вотъ—сказалъ Тарнавичъ—такой единодушный протестъ всего класса можетъ послужить выходомъ...

— Какъ бы не такъ. Во-первыхъ, совѣтъ бросить этотъ протестъ подъ столъ, въ корзину. А во-вторыхъ, единодушнымъ протестъ все-таки не оказался бы, потому что непременно нашлись бы мерзавцы, которые бы его не подписали.

— Ну такъ что? Что-же остается дѣлать?—горячо спросилъ Тарнавичъ.—Сносить далѣе его преслѣдованія не возможно.—Необходимо что-нибудь ему устроить такое, что не могло бы быть скрыто.

А Мундэкъ отвѣчалъ какъ-то глухо:—Я знаю, что слѣдуетъ сдѣлать. Но пока не могу: нѣтъ еще силы...

— Мундэкъ!

— Ну, еще поговоримъ. Прощай.—Само собой разумѣется, что Пята не хотѣла быть найденной Мундэкомъ въ кухнѣ и вышла раньше послѣднихъ словъ разговора.

Что бы значилъ этотъ невольный подслушанный обмѣнъ словъ между братомъ и его товарищемъ? Пята, конечно, знала, что мальчикамъ, да и дѣвочкамъ въ правительственныхъ школахъ было тяжело. Говорить между собой по-польски было строго запрещено. Найденныя въ ящикѣ стола польскія книжки немедленно отбирались. Но ужъ были такія правила. А попадались, и нерѣдко, такіе учителя, которые относились къ всему польскому съ особенной злобой. По поводу неправильнаго ударенія на какомъ-нибудь русскомъ словѣ такіе учителя не только ставили дурныя отмѣтки, но еще пользовались случаемъ, чтобы издѣваться надъ польскимъ языкомъ, коверкая его и относясь къ нему не только какъ вовсе ненужному, но еще и какъ къ чему-то заторному, почти постыдному. Въ преподаваніи исторіи люди эти также старались унижить все польское. Словомъ, такіе учителя вели преподаваніе въ духѣ враждебномъ всему тому,

что въ семьѣ дѣти учились уважать. Притомъ они грубо бранились, а иныхъ особенно неугодныхъ учениковъ доводили до отчаянiя несправедливыми наказанiями и непосильными задачами.

Все это было извѣстно Питѣ, какъ всѣмъ дѣтямъ и юношамъ въ Польшѣ. И въ этомъ не было ничего новаго или неяснаго. Но для Питы казалось странно, что могъ задумывать Мундэкъ, что онъ могъ бы сдѣлать противъ тѣхъ учителей, за которыхъ были и городовые, и войска, и пушки, и цитатель, о которой при ней упоминалось нерѣдко: тотъ взять, тотъ выпущенъ, а тотъ отправленъ куда-то далеко и уже никогда не вернется.

Не совсѣмъ понятны, а по меньшей степени неясны были для дѣвушки и ходившiе слухи о чемъ-то новомъ, что какъ будто подымалась изъ земли, и о чемъ мальчики говорили на тѣхъ товарищескихъ собранiяхъ, съ которыхъ Мундэкъ возвращался иногда такъ поздно, успокаивая родителей, будто онъ ходилъ заниматься съ тѣмъ или другимъ изъ лучшихъ учениковъ.

III.

Но что показалось дѣвушкѣ совсѣмъ необъяснимымъ, это было нѣсколько вопросовъ, заданныхъ ей Мундкомъ послѣ болѣзни. Пита заболѣла въ это время, и жаръ у нея сперва быстро усилился, такъ что она потеряла сознание и передъ тѣмъ сказала, что умираетъ. Но вскорѣ болѣзнь эта оказалась просто вѣтрянной оспой. Братьевъ въ Питѣ не пускали. Но разъ ночью ей сильно захотѣлось пить, а воды вблизи не было. Она набросила юбку и, босая, пошла въ столовую, гдѣ спалъ Эдэкъ.

Но Эдэкъ не спалъ. Онъ стоялъ на колѣняхъ подлѣ вшетенки съ постелью и, опираясь на локти, что-то усиленно повторялъ, поглядывая въ книгу.

Удивленная Пита остановилась.

— Эдэкъ, что ты дѣлаешь?

— Учусь, видишь—учусь. „Два великана“, русскiе стихи— на завтра, и непременно спросить.

— Что жъ ты, до сихъ поръ не выучилъ?

— Да не могу я—тоскливо отвѣчалъ Эдэкъ и прибавилъ своимъ пѣтушьямъ регистромъ:—Ну, поди вонъ, не мѣшай.

Пита выпила воды.

— Отчего жъ ты на колѣняхъ стоишь?

— Да потому что иначе засну, поняла? Ступай спать, чегъ ты бродишь по ночамъ.

Онъ сжалъ голову ладонями и сталъ опять долбить громкимъ, сердитымъ шопотомъ стихотвореніе Лермонтова.

Пита вошла назадъ въ гостиную, гдѣ сама спала. Вся въ бѣломъ, она была обутана почти до колѣнъ своими золотыми волосами и опять остановилась въ удивленіи. На ея постели сидѣлъ Мундэкъ, въ пальто. Изъ кухни былъ корридоръ въ переднюю, и служанка только что впустила его съ парадной лѣстницы.

— Я заглянулъ и вижу—тебя нѣтъ. Ходишь, совсѣмъ поправилась, значить?

— Мнѣ еще не велятъ, но страшно захотѣлась пить.—Она присѣла возлѣ брата.

— Надо спать... А скажи мнѣ, Пита, когда ты теряла сознание, вѣдь ты думала, что умираешь?

— Мнѣ казалось, будто я все падаю куда-то, въ пропасть...

Мундэкъ всталъ и оперся о печку.

— Въ бездну, черную такую, въ ничтожество? И тебѣ страшно было?

Онъ самъ спрашивалъ какъ будто съ робостью.

— И страшно — сказала Пита, подумавъ. — Но точно и сладко вмѣстѣ... Я даже видѣла свои похороны и за моимъ гробомъ шель Тарнавичъ... А улицы всѣ были пустыя, даже ворота были заперты.

Она приподнялась на колѣна на постели. Волосы рассыпались и окружили всю ея фигуру. Она казалась картиной ангела.

— Это были мои похороны, а не твои — тихо произнесъ Мундэкъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, мои.—Я лежала въ гробу, а другая я какъ будто летѣла и видѣла все.

Онъ поднялъ на нее свои чудные, задумчивые глаза.

— А скажи мнѣ, Пита, жалѣешь о чемъ-нибудь, когда жажется, что умираешь?

Она закрыла руками глаза и старалась вспомнить.

— Нѣтъ, ни о чемъ не жалѣешь.

— Не чувствуешь сильнаго желанія жить?

— Нѣтъ... Все-равно.

Теперь онъ прижалъ руки къ глазамъ и стоялъ неподвижно.

— Мундэкъ, что съ тобой?—Она схватила его за руки, но въ прижаты были крѣпко, а сквозь нихъ пробивались слезы.

Въ Питѣ вздрогнуло сердце.

— Мундэкъ! О чемъ ты плачешь... Мундэкъ?

Но онъ вырвался изъ ея рукъ, убѣжалъ и заперъ за собою дверь.

Что ужъ было ей совсѣмъ необъяснимо.

На слѣдующій день она справилась у Эдка, спрашивали ли его русское стихотвореніе, и зналъ ли онъ.

— Спрашивалъ. И ругался, бестія, за удареніе.

— Это съ васъ, мальчиковъ, такъ строго требуютъ ударенія.

Намъ оно не такъ нужно.

— И намъ не будетъ нужно. Я въ университетъ поѣду въ Галицію.

— И будешь тамъ жить?

— Разумѣется. Да мы всѣ такъ сдѣлаемъ.

— Кто это вы всѣ?

— Ну, такіе, какъ я? Сказано тебѣ всѣ, отстань, пожалуйста.

Черезъ нѣсколько дней, когда Пита все еще не сумѣла объяснить себѣ страннаго поведенія старшаго брата, а спрашивать его боялась, чтобы не привести его опять въ такое состояніе, въ какое онъ впалъ тогда, ночью, она сидѣла въ гостиной съ Эдкою, который въ тѣ дни не ходилъ въ гимназію, потому что у него сдѣлался нарывъ въ ухѣ. Боль злила его, и онъ грубо отвѣчалъ сестрѣ, которая пыталась его утѣшить.

Вдругъ въ двери показался Мундэкъ, возвратившійся изъ гимназіи. Онъ былъ еще въ пальто и фуражкѣ и въ первую минуту остановился въ нерѣшимости, какъ будто не ожидалъ, что застанетъ кого-нибудь въ гостиной. Потомъ онъ произнесъ нѣсколько сдавленнымъ голосомъ:

— Выйдите отсюда, пожалуйста; оставьте меня одного.

— Вѣдь мы тебѣ не мѣшаемъ — съ неудовольствіемъ пропѣлъ своимъ расколотымъ голосомъ Эдэкъ...

— Уходите прочь!—При этомъ Мундэкъ не раздѣвался.

Пита придумала какъ угодить обоимъ братьямъ.

— Пойдемъ, Эдэкъ, въ столовую, я тебѣ дамъ хлѣба съ масломъ.

— А швейцарскій сыръ еще есть въ буфетѣ?

— Есть...

Эдэкъ пошелъ за ней, но ворчалъ на брата.

— Ты бы хоть шапку-то снялъ. Стоить чурбаномъ...

Получивъ порядочный бутербродъ, Эдэкъ зализъ съ нимъ на свою кушетку въ столовой. А Пита думала о Мундѣѣ. Онъ казался ей особенно блѣднымъ. Пожалуй, съ нимъ опять что-нибудь случилось въ гимназіи... Такое, что вотъ, онъ, уже почти мужчина, а можетъ быть плачетъ, какъ въ тотъ разъ. Прямо въ гостиную она не пошла, чтобы за ней не послѣдовалъ младшій братъ. Но черезъ кухню она пробралась въ корридоръ

остановясь въ передней, видитъ Мундеа, который стоитъ на ко-
лѣняхъ, спиной къ двери, передъ этажеркой съ разными фи-
гурками и семейными сувенирами.

Сзади его пальто растопырилось на полу, а онъ перебираетъ
разные предметы на этажеркѣ и опять ставитъ ихъ на мѣсто.
Но вотъ, онъ снялъ серебряный, червленый стаканчикъ, пода-
ренный Питѣ крестнымъ отцомъ въ самый день крестинъ и,
подержавъ его въ рукѣ, быстрымъ, какъ бы вынужденнымъ дви-
женіемъ, сунулъ стаканчикъ въ карманъ пальто.

Потомъ онъ вытеръ себѣ платкомъ лобъ и упирается го-
ловой въ полку этажерки. Полная тишина, только издали слышно
медленно ѣдущую телегу. А Питѣ кажется, что она слышитъ
біеніе сердца.

Мундэкъ снова протягиваетъ руку, снимаетъ съ полки кѣмъ-то
подаренную отцу серебряную пепельницу и еще позолоченную
печатку, украшенную бирюзой. И эти вещи онъ опускаетъ въ
карманъ. Сдѣлавъ это, онъ встаетъ и блѣдный-блѣдный идетъ
къ двери. Пята стоитъ, какъ бы прикованная ужасомъ къ мѣсту,
и чувствуетъ, что она не въ силахъ промолвить хотя бы одно
слово.

Подойдя къ двери, Мундэкъ увидѣлъ сестру, такую же блѣд-
ную, какъ онъ самъ. Глаза ихъ встрѣтились, и расширенные
зрачки обонхъ ихъ темнѣютъ на лицахъ бѣлыхъ, какъ полотно.
Пята, первая, опускаетъ вѣки, но стоитъ молча, какъ бы давая
понять брату, что она не хочетъ знать видѣннаго. Она поняла,
что братъ совершилъ обыкновенную кражу, чувствуетъ и беско-
нечную жалость къ нему, и какую-то силу, которая заста-
вляетъ ее молчать.

Мундэкъ отвернулся отъ нея и медленно вышелъ на лѣст-
ницу. А Пята все еще стояла, пораженная тѣмъ, что произошло,
и точно не рѣшаясь прервать ужасъ этого момента. Она не по-
нимала, какъ это могло случиться, и только чувствовала сильнѣе
страхъ передъ надвигавшимися на нее непонятными явленіями
жизни.

Эти явленія быстро слѣдовали одно за другимъ, точно куда-то
торопясь. Такъ, мама стала въ послѣднее время одѣваться иной
лучъ какъ можно лучше и съ какимъ-то оживленіемъ спѣшила
и а-то изъ дома. И возвращалась она какая-то недовольная и
и то раздражалась на всѣхъ. А швея Владка, въ отсутствіи
и ш, старалась разнымъ манеромъ угождать отцу, вытягивала
е въ разговоръ, шутила и лестила ему. Онъ же сперва
и будто смущался такой ея фамиллярностью, но потомъ сталъ

ей отвѣчать, даже поддразнивать ее, причѣмъ немножко смѣшно выпячивалъ грудь.

Въ тотъ день, когда Мундэкъ сдѣлалъ такую страшную и вмѣстѣ странную вещь, онъ все-таки явился къ обѣду, но молчалъ и едва прикасался къ кушаньямъ, а на Питу не взглянулъ ни разу. Она также почти ничего не ѣла.

— Отчего ты не ѣшь?—спросила мать.—Нездорова, что ли? За Питу отвѣтилъ Эдэкъ.

— И Мундэкъ не ѣстъ. Они сегодня, кажется, поссорились... Должно быть изъ-за управляющаго. Смотрите,—злорадно прибавилъ мальчикъ,—она ужъ покраснѣла.

— Какого управляющаго?

Владка, которая уже обжила въ этой семьѣ, укоризненно обратилась къ Эдку.

— Фи, какъ это нехорошо.

Мальчикъ смѣрилъ ее презрительнымъ взглядомъ.

— А вамъ нечего совать свой носъ.

— Ахъ ты, дурень!—неожиданно крикнулъ Жебровский на сына. У нихъ въ семьѣ никогда не бранились и не кричали. Но, повидимому, всегда соблюдавшаяся въ ней сдержанность начинала ослабѣвать.

— Я, папаша—ей, этой...

— Да какъ ты смѣешь? Пошелъ прочь отъ стола!

Минута тяжелаго молчанія. Вдругъ изъ-за стола всталъ не Эдэкъ, а Мундэкъ и, положивъ салфетку, вышелъ въ гостиную.

Жебровский съ удивленіемъ проводилъ его взглядомъ.

— Куда же ты? Я не тебѣ говорилъ, а Эдку.—Но изъ гостиной слышится тихій голосъ:

— Не могу.

Туся сложила руки и оперлась на нихъ подбородкомъ надъ своей тарелкой съ макаронами.

— Милыя манеры вводятся у насъ... Нечего сказать, дождались мы утѣхи отъ дѣтей.

Вотъ это было, хотя и не бранное, но большое слово. Одно изъ тѣхъ, которыя подрываютъ въ дѣтяхъ условленную привычку, официальную благодарность родителямъ. Почему же тебѣ, Туся, слѣдовала утѣха отъ дѣтей? Развѣ ты желала произвести ихъ на свѣтъ и именно—тѣхъ, которыя теперь передъ тобой! Они и не просили тебя объ этомъ, такъ какъ не существовали.

Ты просто хотѣла выйти замужъ и ужъ, конечно, скорѣе за кого-нибудь другого, а не за деревяннаго дядьку. Но взяла и

... потому что тебѣ нуженъ былъ работникъ. И вовсе ты не
... могла рожать, да еще тронхъ дѣтей. Ну, такъ и молчи.

Пита поблѣднѣла еще больше. Она опирается одной рукой
... столъ, и одинъ глазъ ея невольно закрывается.

— Кушай, Пита,—настаиваетъ мать. Но Пита, открывъ ротъ,
... только старается вдохнуть воздухъ. Потомъ она опускается на
... спинку стула, вертится на немъ и прерывающимся голосомъ
... вторяетъ нѣсколько разъ:—я не могу, не могу...

Этотъ нервный припадокъ не имѣлъ никакихъ физическихъ
... послѣдствій. Но въ немъ отразилось для дѣвушки новое жиз-
... ненное испытаніе. На нее пошло вдругъ столько неожиданнаго
... неразгаданнаго...

IV.

Дня черезъ два, когда стемнѣло и служанка ушла къ ве-
... чернѣ, Пита вошла въ кухню, повернула край и вдругъ за-
... била, зачѣмъ она пришла. Струя воды журчала, вливаясь въ
... раковину. Вдругъ Питѣ показалось, будто кто-то дернулъ дверь
... на черную лѣстницу. Но никто не входилъ. Пита испугалась,
... однако пошла запереть дверь... Но она встрѣтила руку и услы-
... шала голосъ Тарнавича.

— Добрый вечеръ, пани,—сказалъ онъ, но голосъ его дро-
... жалъ.

— Вы къ Мундеу?

— Нѣтъ, я его недавно видѣлъ, но не могъ его уговорить.
... Потому-то и попытался увидѣть васъ... Но, Боже мой, не знаю,
... какъ сказать.

Пита чувствуетъ дрожь. Опять что-то неожиданное.

— Что случилось?

— Пока ничего. Но умоляю васъ, примите серьезно то, что
... я вамъ скажу. Просите Мундеа, отъ меня и отъ товарищей, чтобы
... онъ не дѣлалъ этого, чтѣ хочетъ сдѣлать. Просите его... умо-
... ляйте... станьте передъ нимъ на колѣни... пока онъ не дастъ
... вамъ слова, что не сдѣлаетъ.

Тарнавичъ дрожитъ, а Пита въ страхѣ и недоумѣніи про-
... сл...

— Скажите мнѣ прямо все... Я теперь не понимаю Мундеа.

— Есть вещи, которыхъ нельзя говорить женщинамъ... Но
... дайте мнѣ просить его изо всѣхъ силъ... передать ту же
... чѣбу отъ меня и товарищей. Иначе случится нѣчто страшное.

Дѣвушка невольно отступила на шагъ.

— Но съ кѣмъ же случится это страшное?

— Съ вами... Боже мой... со всѣми нами!

— Общаю. Я передамъ то, что вы сказали, и буду умолять его, чтобы онъ не дѣлалъ... того.

— Вѣдь онъ любитъ васъ? Онъ для васъ откажется? Одна надежда на васъ.

Теперь Питѣ хотѣлось только успокоить Тарнавича. Она твердо сказала—да. Снизу послышались шаги. Это возвратилась кухарка. Тарнавичъ отскочилъ отъ двери и поспѣшно вышелъ наверхъ.

Вечеромъ, когда собрались съ чаю, Мундка еще не было дома. Всѣ сидѣли молча.

— Чѣмъ дальше, тѣмъ лучше — иронически замѣтила Жербовская.—Нѣжныя семейныя отношенія!—Никто не отозвался. Передъ тѣмъ, какъ идти спать, Пита зашла въ гостиную, но Мундка не было. Ночью она просыпалась и прислушивалась, такъ какъ ей казалось, что кто-то украдкой пробирается чрезъ гостиную. Но ничего не было слышно.

Рано утромъ Пита опять заглянула, но увидала только служанку, которая, собравъ съ вешетки постель Мундка, уносила ее.

— Паничъ приходилъ поздно ночью, но въ восьмомъ часу вышелъ опять, — сказала она Питѣ.

Это отсутствіе брата сильно беспокоило дѣвушку. Приготовлялось что-то страшное, а Мундэкъ не придетъ до конца уроковъ въ гимназію. Нельзя было исполнить данное Тарнавичу обѣщаніе и отвратить предсказанное имъ несчастье. А можетъ быть, Мундэкъ не пойдетъ въ гимназію и не вернется домой. Вѣдь онъ укралъ. Пожалуй, это какъ-нибудь стало извѣстно товарищамъ, и Тарнавичъ хотѣлъ только, чтобы Мундэкъ не продалъ вещей, а возвратилъ ихъ. Пита невольно поглядывала на наружную дверь въ передней. Она была заперта на ключъ, на толстую задвижку и на предохранительную цѣпь. Такъ крикъ! Но что это значить для несчастья? Оно войдетъ.

Въ половинѣ двѣнадцатаго послышался какой-то шумъ на дворѣ.

— Запереть ворота! — крикнулъ повелительный голосъ по-русски. Собѣгавшая внизъ служанка, возвратясь впопыхахъ, растворила обѣ половинки двери. Слышны тяжелые шаги и въ дверь вносятъ Мундка, лежащаго на носилкахъ. Его привязываетъ пальто. Надъ правой щекой и ртомъ повязка. Но кривые глаза его открыты и уставлены впередъ. Однако они не смотрятъ на то, что передъ ними, а только выражаютъ то

него въ душѣ: въ нихъ и страданіе, и вмѣстѣ какое-то блаженство.

Пита не вскрикнула, не окликнула раненаго брата. Она съ полнымъ присутствіемъ духа указала врачу на кушетку.

— Сюда, пожалуйста. Онъ здѣсь спитъ. Я сейчасъ накрою ему постель. — И принеся подушку съ простыней и одѣяломъ, Пита накрыла кушетку, не допустивъ служанку, которая хотѣла взять у нея изъ рукъ эти вещи. Потомъ встала вблизи и глядѣла, какъ люди укладывали брата.

Повади ея прошепталъ незамѣченный ею Тарнавичъ. — Онъ выстрѣлилъ въ себя изъ револьвера, въ классѣ.

Пита обернулась къ нему и, увидя у него въ рукахъ окровавленные воротничекъ и носовой платокъ, взяла ихъ и завернула въ газету.

Туси не было дома. Черезъ нѣсколько минутъ вбѣжалъ, запыхавшись, Жебровскийъ, которому дано было знать дворникомъ въ присутствіе.

Тарнавичъ остановилъ Жебровскаго въ передней.

— Позвольте сказать прежде, чѣмъ войдете... Я былъ тамъ, съ нимъ, когда это случилось... Не гнѣвайтесь на Мундка, — онъ жертвовалъ собой за товарищей, за весь классъ. Учитель такъ насъ преслѣдовалъ, такъ оскорблялъ... Мы жаловались, не помогло. Мундэкъ и сказалъ намъ: „одно только средство, чтобы все раскрылось, надо чтобы кто-нибудь застрѣлился во время урока, и я это сдѣлаю“. И сдѣлалъ. Онъ жертвовалъ собой за насъ всѣхъ.

— За всѣхъ... — тихо повторилъ Жебровскийъ.

— Мы упрашивали его не дѣлать, но видѣли по всему, что онъ это сдѣлаетъ. Сегодня тотъ учитель особенно обижалъ насъ. А Мундэкъ весь поблѣднѣлъ, всталъ и пересѣлъ на заднюю скамейку. Я — къ нему. Вдругъ онъ вынулъ револьверъ и моментально вложилъ въ ротъ. Я схватилъ его за руку, и пуля пробила только щеку. Онъ упалъ въ обморокъ. Его снесли въ учительскую комнату, тамъ былъ инспекторъ. Послали за каретой скорой помощи.

— Откуда у него револьверъ? — спросилъ Жебровскийъ и, не дожидаясь отвѣта, вошелъ въ комнату. Нѣсколько секундъ онъ молча смотрѣлъ на сына. Они, очевидно, поняли другъ друга. Мундэкъ медленно протянулъ отцу руку... И отецъ — неслыханно несогласное съ обычаями дѣло — поцѣловалъ ее.

А на вопросъ, какъ Мундэкъ могъ приобрести револьверъ, Питѣ, вѣсть, могла бы отвѣтить только Пита, видѣвшая „кражу“.

Мундка исключили изъ гимназiи, съ запрещенiемъ принимать его въ какое-либо правительственное училище. Онъ сталъ проситься, чтобы родители отпустили его въ Краковъ. Но у нихъ не было средствъ содержать его отдѣльно отъ семьи. Однако, всѣ съ самаго начала поняли, что удержать его имъ не удастся. А онъ просилъ денегъ только на дорогу и на какой-нибудь мѣсяцъ.

— Я не пропаду — уговаривалъ онъ отца. — Найду уроки, переписку, постараюсь окончить гимназiю, а быть можетъ, попаду и въ университетъ. Въ крайнемъ случаѣ поступлю на фабрику. А при здѣшнихъ условiяхъ учиться я уже не могу, да не могу и жить. Вы сами поймете, что здѣсь мнѣ будетъ худой конецъ... Вы тутъ живете взаперти... ни о чемъ не знаете, всю жизнь проходили съ понишей головой. Вы и теперь не слышите, какъ пахнетъ горѣлымъ, а вѣдь это земля горитъ. Но мы, молодые, уже не можемъ долѣе переносить...

Жебровскийъ смотрѣлъ на сына широко раскрытыми глазами. — Да... мы дѣйствительно не знаемъ. — Ему представлялось страннымъ, что тотъ Мундэкъ, которому они съ такимъ трудомъ справляли мундиръ и сѣрое пальто и водили его къ парикмахеру стричь волосы, вдругъ является передъ нимъ представителемъ какой-то новой силы, говорить „мы“ и еще носить на лицѣ знакъ пролитой, принесенной въ жертву крови.

Передъ этимъ сыномъ-юношей Жебровскийъ чувствуетъ потребность оправдаться.

— У насъ не было случая. Ты не знаешь, какiе тогда происходили ужасы... А силъ уже не осталось. Подъ гнетомъ этого сознанiя и несчастiя, которое пало на страну, мы росли... И мы думали, что...

— Но мы думаемъ иначе. Мы будемъ дѣйствовать!

Родители, занятые однѣми повседневными заботами, люди опытные, но съ будничной душой, очевидно, не могли руководить сыномъ, ни оберегать его, видя, что онъ уже сдѣлалъ.

V.

Послѣ того, какъ Мундэкъ уѣхалъ въ Галицiю, жизнь въ домѣ Жебровскихъ пошла прежней, утоптанной колеѣй. Но она шла неровно, не такъ рутинно-спокойно, какъ въ былое время. Условiя быта нисколько не измѣнились, но въ семьѣ была рашатана прежняя пассивность передъ судьбой. Въ ней рос

рознь. Каждый изъ нихъ наиболѣе думалъ о томъ, чего не могъ повѣрить другимъ.

Пита поняла теперь, отчего ей старшій братъ всегда казался какимъ-то херувимомъ, прекраснымъ и сильнымъ. Ей больно было разстаться съ нимъ, но она отчасти поняла его стремленія и утѣшала себя тѣмъ, что ему въ Краковѣ живетъ привольно. Тамъ никто не станетъ обижать его, и ничто не угрожаетъ его жизни. „Пусть, хоть онъ, одинъ изъ насъ... Пусть, хоть ему хорошо“.

У нея не было такой подруги, которой она могла бы повѣрять свои мысли, а уже, конечно, не съ Эдмомъ можно было говорить о нихъ, да и не съ родителями, которые тотчасъ же сказали-бы — „Это еще что?“ Она задумала писать дневникъ, втайнѣ отъ всѣхъ, конечно. Но цѣлью при этомъ вовсе не было записывать любовныя мечтанія объ идеальномъ рыцарѣ Кетлингѣ, на котораго былъ похожъ управляющій домомъ, гдѣ она жила.

Напротивъ, ея рѣшеніе вести дневникъ случайно совпало какъ разъ съ полнымъ разочарованіемъ въ этомъ Кетлингѣ. Первые отиѣтки Питы въ дневникѣ и представляются скорбными признаніями, что она чувствуетъ себя неспособной записать какія-либо мысли или впечатлѣнія, потому что ей ужасно стыдно и вмѣстѣ больно, но безъ объясненія, въ чемъ дѣло.

А случилось вотъ что. Жебровская пожаловалась управляющему, что у нихъ засорилась труба, которою сливалась грязная вода изъ кухни. Управляющій произвелъ дознаніе и пришелъ къ выводу, что виновата въ этомъ была ихъ же кухарка, такъ какъ въ нижнихъ этажахъ вода протекала въ трубѣ свободно. Тогда мнимый Кетлингъ пришелъ въ кухню и сталъ грубо выговаривать кухаркѣ, что она сама засорила трубу отбросами. Та возражала ему еще грубѣе. Послѣ этого онъ въ разговорѣ перешелъ на „ты“ и метнулъ въ нее нѣсколько площадныхъ ругательствъ, но отступилъ, потому что кухарка замаяхнулась на него помойнымъ ведромъ.

И вотъ, Питѣ было стыдно, что она могла такъ ошибиться, вообразить себѣ въ такомъ тривиальномъ человѣкѣ изящнаго рыцаря Кетлинга и даже „какъ будто“ влюбиться въ него. Слово „любить“, въ разныхъ его наклоненіяхъ, Пита означала лью начальнoй буквой, такъ же какъ и грубыя слова, если ей вѣдалось записывать фактъ, при которомъ они были сказаны.

Вотъ нѣсколько краткихъ отрывковъ изъ журнала Питы.

20 апрѣля.

„Съ тѣхъ поръ, какъ Тарнавича пригласили приготовить Эдка въ урокамъ, намъ часто случается говорить. Онъ такой серьезный и правдивый. У него въ глазахъ видно, что онъ думаетъ. Сегодня, когда онъ подошелъ ко мнѣ, послѣ урока, я спросила, отчего онъ всегда такой грустный? Онъ отвѣтилъ— Да вы сами. Мы—ужь такое грустное поколѣнiе.—И при этомъ онъ смотрѣлъ на мою работу, такъ что мнѣ стало немножко стыдно. Онъ, конечно, думаетъ о чемъ-нибудь важномъ, а я вышиваю звѣздочки. Я ему сказала, что мнѣ грустно изъ-за Мундга. Но хотѣлось-то мнѣ сказать не это, а что и я чувствую, какъ Мундгъ, и, можетъ быть, могла бы сдѣлать тоже, что онъ. А Тарнавичъ сказалъ, что мы—трагическiй народъ“.

1 мая.

„Была съ мамой на майскомъ богослуженiи ¹⁾ у св. Александра. Когда народъ началъ пѣть литанiю, мнѣ сперва казалось неловко пѣть вмѣстѣ съ толпой, какъ прежде, когда я была маленькая. Но мнѣ припомнилось, какъ Тарнавичъ сказалъ, что мы— „трагическiй народъ“. Я посмотрѣла вокругъ и убѣдилась. Вся толпа на колѣняхъ и поетъ такъ печально, а вѣдь уже май мѣсяцъ и какое солнце... И вотъ, я какъ-бы прижалась къ этой толпѣ, и они, то есть люди, точно меня притягивали къ себѣ. Я стала пѣть съ ними, и мнѣ сдѣлалось такъ хорошо въ сердцѣ отъ желанiя всѣмъ имъ добра. Даже и тѣмъ, кто не вѣруетъ. Вѣдь и Мундгъ, и Тарнавичъ, и всѣ взрослые мужчины, а можетъ и старики, всѣ они теперь не вѣруютъ. Говорятъ, и принципы есть такiе. Но все-равно. А я за нихъ отдала бы много, чтобы они были счастливы“.

4 мая.

„Надо мнѣ сказать Тарнавичу, чтобы онъ чистилъ себѣ ногти. А то мама даже вздрагиваетъ отъ отвращенiя. Но какъ это ему сказать? Вѣдь онъ—бѣдный, можетъ, у него и щеточки то нѣтъ. Конечно, не красиво, но странно, что мнѣ въ немъ это не кажется противнымъ“.

8 мая.

„Принесли большой букетъ сирени. Такъ чудно пахнетъ, даже кружится голова. Наша швея Владка, которая теперь сдѣлалась совсѣмъ развязной, поискала тамъ цвѣтовъ со „с а стьемъ“ и подала его папѣ, говоря: „позвольте мнѣ подне ти вамъ счастье“. Папѣ было неловко, и онъ даже не поблаг а-

¹⁾ Мѣсяцъ мой посвященъ Дѣвѣ Марiи.

рилъ ее. А она ему улыбалась такъ непріятно. Постоянно ему улыбается. Не знаю, мнѣ хотѣлось бы, чтобы она уже ушла отъ насъ. Но когда она здѣсь, я дѣлаю видъ вѣжливый и добрый. Значить, я лицемерю, а это дурно. Но какъ ей теперь уйти? Настала весна, и надо шить новые костюмы для мамы и для меня. Теперь носить опять съ таліей. А фіолетовый мамы вышелъ изъ моды; стали носить цвѣта руже. Мнѣ нуженъ новый синій, потому что изъ прошлагодняго я опять выросла, а такъ какъ это англійскаго фасона, то подшить ничего нельзя. Можетъ быть, Влада старается развеселить папу, который очень угрюмъ. Должно быть, его беспокоитъ, что ему пришлось столько издержать на Мундка, когда онъ уѣзжалъ. Вообще, онъ сталъ такой же недовольный, какъ и мама. Должно быть, оба нервничаютъ потому, что намъ на все не хватаетъ.

29 іюня.

„Часто-часто думаю я, каково Мундку тамъ, въ Краковѣ. Не то что какая у него комната. А такіе ли тамъ люди, какъ онъ самъ? Едва ли все-таки тамъ нашелся бы такой, кто рѣшился бы пожертвовать жизнью для класса. Тарнавичъ сказалъ, это онъ не знаетъ, потому что такую силу даетъ только притѣсненіе. А тамъ ихъ не притѣсняютъ. Хотя, впрочемъ, только съ виду. Тарнавичъ говоритъ, что имъ тамъ позволено носить конфедератки и пѣть „*Boże coś Polskę*“, но что они все-таки въ неволѣ.

Пожалуй, лучше бы эту страницу сжечь, а то, если случится обыскъ, будетъ худо намъ всѣмъ. Впрочемъ, я вѣдь сожгу весь этотъ журналъ. Вотъ, прежняго управляющаго продержали подъ арестомъ два мѣсяца, потому что нашли у него переписанные патриотическіе стихи. Но, по счастью, онъ переписывалъ стихи попеременно синими и красными чернилами. Поэтому рѣшили, что у него голова не въ порядкѣ и выпустили“.

30 іюня.

„Боюсь это написать, а то еще, пожалуй, не случится. Папа что-то заговорилъ о дачѣ. Самъ придумалъ, чтобы мы ѣхали на дачу. Мама даже удивилась“.

3 іюля.

„Дача нанята, и мы на дняхъ переѣзжаемъ“.

Это было за Мокотовской заставой. Рядомъ съ лѣтнимъ ретораномъ отдавались двѣ комнаты съ кухней и садикомъ. Для меня пришлось купить то и другое, хотя Туса рѣшилась обойтись самымъ скромнымъ костюмомъ, несмотря на убѣжденія тетки.

— На что мнѣ—какъ бы жаловалась ей Жебровская.— Вѣдь у меня—взрослая дочь.

Разъ Владка, когда ее послали съ Питой прискаты какія-то добавленія къ костюму Питы, завела дѣвушку на минуту въ свою квартиру, которая оказалась совсѣмъ приличной комнатою съ отдѣльнымъ ходомъ и ея фамиліей на двери.

Потомъ онѣ зашли въ Саксонскій садъ, и такъ какъ это было въ седьмомъ часу послѣ обѣда, то Владка повела Питу въ Лѣтнему театру взглянуть, не пройдетъ ли кто изъ актрисъ и актеровъ, которые собирались въ это время.

Да вотъ ихъ трое позади деревяннаго театра, у какихъ-то запасныхъ декораций, сложенныхъ въ саду. Дама и двое мужчинъ, изъ которыхъ одинъ присѣлъ на вынесенномъ въ садъ золоченомъ стулѣ. А вблизи театра садовая рѣшетка съ улицы. Тамъ остановились два гимназиста съ тремя уличными мальчишками и смотрять.

— Панна Юзефина—шептала Питѣ Владка,—взгляните на того, высокаго... Какой красивый.

Пита поражена неожиданностью. Она покраснѣла и улыбается. А артистъ, который въ эту минуту собирался закурить, взглянувъ на Питу, задулъ спичку и высочилъ къ нимъ чрезъ калитку въ палисадникъ.

— Мнѣ вѣжется... Какъ будто панна Жебровская?

— Да, это я,—отвѣчаетъ ему Пита.— Узнали меня?

— Еще бы! Это личико... вѣдь я его помню такъ, что могъ бы нарисовать, даже закрывъ глаза. Но вы вытянулись вверхъ, панна Юзефина, вы—теперь барышня, ой-ой!

Это былъ Поржицкій, тотъ, изъ Закопанскаго курорта. Онъ ухватилъ обѣ ея руки и, не обращая вниманія на выпавшій у нея зонтикъ, продолжалъ разсматривать Питу съ головы до ногъ, улыбаясь.

— Этакая куклолка, этакая прелесть... Ландышъ милый. Такая бѣленькая и высоконькая... Ахъ вы, мое чудо!

Этотъ восторгъ его трогаетъ Питу. Всѣ другія мысли въ этотъ моментъ улетучиваются: и о Тарнавичѣ, и о трагическихъ людяхъ, и объ огромныхъ пораженіяхъ на войнѣ, которыми теперь заняты всѣ. Она стоитъ неподвижная въ своей красотѣ, а вокругъ нея какіе-то блески и ароматы и вдали точно слышится таинственный звонъ.

„Ты—чудо!“

И вотъ, черезъ нѣсколько минутъ, она медленно прохаживается съ Владкой по саду, вблизи театра.

Владва даже раскраснѣлась отъ любопытства.

— Такъ это—закопанскій знакомый, панна Юзя?

— Да, г. Поржицкій жилъ тамъ въ томъ же домѣ, гдѣ и мы съ мамой. Часто у насъ бывалъ. Мы такъ его любили, и онъ насъ. Мама брала его всегда съ собой, куда мы ни ходили. Даже играла съ нимъ одинъ разъ.

— Какъ играла?

— На сценѣ... въ маленькой комедіи. Чуждо играла и имѣла большой успѣхъ. Потому былъ балъ, потому мы съ актерами ужинали. И я тамъ попробовала бенедиктина, но мнѣ какъ-то нехорошо сдѣлалось.

— Бенедиктинъ пахнетъ травами,—рѣшительно проговорила Владва,—и потому противенъ.

— А вы, панна Владва, пили ликёры?

— Ого! Не одинъ разъ.

— А я такъ только разъ... тамъ.

— Вашей мамѣ нравился этотъ актеръ?

— Очень, и она будетъ ужасно рада, когда мы его приведемъ.

— Сейчасъ же и поведемъ. Вѣдь онъ сказалъ, чтобы черезъ десять минутъ зайти за нимъ.

Онѣ привели Поржицкаго на Варецкую улицу.

— Вы идите по парадной, а мы войдемъ черезъ кухню—распорядилась Пята.

— Такъ и я черезъ кухню.

— Нѣтъ, нельзя. Мама бы разсердилась,—тамъ теперь такой беспорядокъ.

Онѣ взбѣгаютъ по черной лѣстницѣ, и Пята хочетъ непременно отворить ему сама. За дверью раздается веселый напѣвъ изъ оперетки.

— Сейчасъ, сейчасъ.

Поржицкій входитъ. — Что у васъ за крѣпость, столько заповорь... Кузуреку! — возглашаетъ онъ фальцетомъ на манеръ тирольскихъ пѣвцовъ.

На этотъ знакомый сигналъ выбѣгаетъ въ гостиную Туса и тотчасъ же скрывается назадъ въ спальню.

— Извините, но я не одѣта.—И въ самомъ дѣлѣ она была всѣмъ по домашнему.

А Поржицкій изъ гостиной проникаетъ въ столовую, чувствуетъ себя, какъ дома, весело болтаетъ, смѣшиваетъ дѣвушкамъ и вторяетъ нѣсколько разъ:—А гдѣ же пани Туса, куда дѣвась пани Туса?

VI.

На дачѣ. Здѣсь было еще тѣснѣе, чѣмъ дома. Зато садикъ былъ довольно большой, съ бесѣдкой, гдѣ можно было обѣдать, и даже съ прудомъ, отъ котораго, впрочемъ, несло гнилью. Но Пята была въ восхищеніи. Ее особенно манила открытая поляна за садомъ, на которой былъ лужокъ, густо покрытый васильками и колосьями, оставшимися отъ прежде засѣявшейся тамъ пшеницы. За этимъ лужкомъ тянулись гряды, засѣянные спаржей.

Тарнавичъ, котораго пригласили продолжать и лѣтомъ занятія съ Эдомъ, увлекался почти также, какъ Пята, этой „природой“, которая была новостью для него, выросшаго въ темной городской квартирѣ съ окнами во дворъ.

На „дачѣ“ за Мокотовской заставой одна комната служила спальней Жебровскимъ, такъ какъ онъ предпочелъ ночевать здѣсь, а не въ городской квартирѣ, гдѣ сильно пахло нафталиномъ послѣ укладки вещей. Рано утромъ, онъ рысцой пускался въ должность, проѣзжая часть дороги трамваемъ. Ночевать въ городѣ онъ рѣшилъ послѣ, когда этотъ запахъ вывѣтрится, а также въ дни дождливые. Въ корридорчикѣ между двумя комнатами устали желѣзную кровать для Эда, а Пята спала въ другой комнатѣ, которая считалась гостиной. Кухня, гдѣ спала служанка, помѣщалась въ пристройкѣ къ дому. Обѣдали, пили чай и вообще проводили большую часть дня въ бесѣдкѣ, по переплету которой вился дикій виноградъ.

Туса знала, что мужъ ея пригласилъ Поржицкаго посѣщать ихъ на дачѣ, и тотъ, охотно принявъ приглашеніе, сказалъ:— Какъ-нибудь въ воскресенье побываю. — Въ первое же воскресенье Туса приодѣлась и вышла въ садъ въ папилюткахъ, которыя забросила-было тому уже года три.

Къ обѣду пріѣхали сперва Владка, потомъ Поржицкій. Владка была одѣта скромно, но очень прилично. Она имѣла видъ учительницы и являлась теперь въ качествѣ не швеи, но гостыи, о чемъ свидѣтельствовали привезенные ею букеты для Туси и корзиночка съ кремовымъ пирожнымъ, которое очень любилъ Жебровскій. Онъ ее очень благодарилъ, но при этомъ какъ-то конфузился. Когда появился Поржицкій, то хозяинъ дома со всей формальностью представилъ его Владкѣ.

— Мы уже знакомы—отвѣчалъ тотъ и сейчасъ же обратилс

ть Питѣ. — А, панна Юзя! Вѣдь васъ теперь уже такъ величаютъ... — И онъ усмѣхнулся, любуясь ею. Потомъ подаль ей коробку конфетъ, которую держалъ за спиною. — Какъ въ Закопаномъ, по прежнему обычаю.

Пита взяла коробку и взглянула вопросительно, — гдѣ же розы? Потому что, по установившемуся у нихъ въ Закопаномъ обычаю, Поржицкій приносилъ ей конфеты, а мамѣ — розы. Но взглядъ дѣвушки тотчасъ перешелъ съ Поржицкаго на деревья, потому что розъ не было.

Послѣ обѣда прогулялись по полю. За ними, немного въ сторонѣ, слѣдовалъ Эдэкъ, который сбоку посматривалъ на Поржицкаго и морщился. Поржицкій не пришелся ему по вкусу, и Эдэкъ уже сказалъ сестрѣ:

— Это — шутъ гороховый.

— Тише — шепнула она. — Это — знаменитый артистъ.

— Гороховый!

Туса все время была молчалива. Она прислушивалась къ голосу Поржицкаго. Сколько лѣтъ она его не видала, но прожила ихъ съ воспоминаемъ о немъ, какъ о минувшей мечтѣ. И вотъ онъ здѣсь, идетъ рядомъ съ ней. Она упивается его присутствіемъ, въ какомъ-то полужабытѣи о всемъ остальномъ. Лишь бы только не принуждали ее говорить.

Изъ-за забора слышатся звуки фортепіано.

— Это что? — спросилъ Поржицкій.

— Рядомъ съ нами ресторанъ „Марцелина“.

Мужчины съ улыбкой переглянулись, а Поржицкій сказалъ:

— Вотъ какъ! Тутъ Марцелинекъ. Надо намъ когда-нибудь всѣмъ собраться туда.

Но вотъ, послышалось пѣніе русскихъ цыганъ.

— Ахъ да, — спохватился Поржицкій. — Я и забылъ. — Онъ вынулъ изъ кармана прибавленіе къ газетѣ и прочелъ вѣсть о морской битвѣ съ японцами. Слушавшіе молчали. Но пѣніе за заборомъ продолжалось, и въ этой нервной пѣснѣ, въ которой порой пробивалось нѣчто вродѣ вопля, связывалось много страсти и неутолимой тоски.

Пита почувствовала что-то похожее на дрожь, и ей подумалось:

— Вотъ, мы — трагическій народъ. А что если — и они?

„Что онъ мнѣ скажетъ? Съ чего начнетъ?“ — думала Туса и лѣ перваго приѣзда Поржицкаго къ нимъ на дачу. До слѣдующаго воскресенья оставалось еще нѣсколько дней. Погода была чудесная, лѣто въ полномъ разгарѣ. И Туса, сиди въ

тѣни деревь, чувствовала, что для нея не все еще миновало. Минувшіе шесть лѣтъ не были для нея осенью, зимой, увяданіемъ и смертью, какъ ей казалось прежде. Солнце надъ ней не заходило. Она сама бѣжала отъ него въ то время, въ испугѣ отъ его лучей, отъ его грознаго пламени. Время, прошедшее съ тѣхъ поръ, было только летаргіей ея: оно не должно было считаться, его не существовало.

И вотъ, неожиданно для нея самой, наступила снова такая пора, что она стремится сбросить тѣ узы и покрывала, которыя наложила на себя послѣ того, какъ разсталась съ Поржицкимъ.

„Что онъ мнѣ скажетъ? Вѣдь выяснить наши отношенія необходимо. Такъ дѣло не можетъ остаться между нами. И въ немъ, конечно, проснулось все; только онъ, какъ актеръ, лучше умѣетъ маскироваться. Забыть меня онъ не могъ. Чувство наше было слишкомъ сильно и, наконецъ, взяло въ немъ верхъ. Не такъ какъ я, онъ можетъ распоряжаться собой, и онъ, наконецъ, явился. По его словамъ, онъ пріѣхалъ на гастроли; но что его влекло именно сюда?.. Вотъ, увидимъ. Уже недалеко воскресенье“.

Но отчего, Туся, у тебя явилась за эти послѣдніе дни новая привычка — опираться на руку подбородокъ? Не оттого ли, что при тщательномъ осмотрѣ у тебя на самой серединѣ шеи, оказалась дотолѣ незамѣтная желтоватая звѣздочка, похожая на рядъ тонкихъ морщинокъ? Впрочемъ, отъ втиранія бензина и обладыванія на ночь шафраномъ, можетъ быть, до воскресенья желтизна и въ самомъ дѣлѣ исчезнетъ...

А кто это идетъ по аллеякѣ, ведущей отъ воротъ? Онъ! Поржицкій въ свѣтломъ модномъ востомѣ.

— „*Salve dimora santa e pura*“... — напѣваетъ онъ арію изъ „Фауста“.

Туся стремительно поднялась съ качающагося тростниковаго кресла.

— Это вы? Какимъ образомъ?

— Сегодня у меня нѣтъ репетиціи, мнѣ и пришло въ голову, не заглянуть ли на Мокотовъ. Слишкомъ долго показалось ждать до воскресенья.

Она, сіяющая радостью, весело привѣтствуетъ его:

— И отлично сдѣлали, отлично! — Туся даже покраснѣла отъ его словъ, что ждать было слишкомъ долго. А какъ сама-т хорошо сдѣлала, что надѣла сегодня новые, пепельнаго цвѣт полуботинки и такъ старательно отшлифовала себѣ ногти. Те перь ей снова надо быть постоянно „подъ ружьемъ“. А въ пальотки? Ну, это ничего; это — интимность.

— Гдѣ же мнѣ васъ здѣсь посадить?

— У ногъ вашихъ.—Онъ снялъ пальто, обернулъ подкладкой вверхъ и сѣлъ на немъ на травѣ, у ея ногъ.

— А мнѣ въ городѣ — началъ Поржицкій, усмѣхаясь, — встрѣтился нашъ мужъ. Торопился безъ памяти по Мѣдовой на Длугую.

— На Длугую? Не знаю, что ему тамъ дѣлать.

Поржицкій прищурилъ одинъ глазъ: — Пропустимъ этотъ абзацъ.

Тусѣ было неприятно его легкомысленное отношеніе къ тому, что она однако считала важнымъ въ жизни, изъ-за чего даже пожертвовала своимъ чувствомъ — „тогда“.

— Вы говорите о моемъ мужѣ?—Она нѣсколько нахмурилась.

Но на Поржицкаго это нисколько не подѣйствовало.

— Разумѣется, о г. Жебровскомъ. Не спѣшилъ ли онъ къ нѣкой недурной и нежестовой... Знаете, въ тихомъ омутѣ...

— Мой мужъ! Скорѣе я повѣрила бы, что этотъ камень ожилъ — сказала Туса, взглянувъ на камень, торчавшій изъ травы. — У моего мужа нѣтъ ни времени, ни темперамента на такія похождения.

Поржицкій засмѣялся.

— Жены о такихъ дѣлахъ не знаютъ.

— Жены?

— Ну да, конечно, онѣ. Какъ и мужа не знаютъ о темпераментѣ своихъ женъ. Объ этомъ могутъ узнать только посторонніе. Пусть это — камешекъ. А кто его знаетъ, не пицать ли тамъ что-нибудь подъ нимъ въ травѣ.

Туса сама сидѣла, какъ вытесанная изъ камня. Ее охватило болѣзненное разочарованіе. Въ ней бушевало море чувства, ей хотѣлось бы повѣдать ему, обливаясь горячими слезами, сколько страданія она вынесла изъ-за него въ эти годѣ... А онъ позволяетъ себѣ шутки, и шутки именно объ этихъ отношеніяхъ.

„Только посторонніе могутъ узнать, не пицать-ли что въ травѣ“.

Вдругъ Поржицкій взглянулъ на нее и со знаемой ей доброй улыбкой замѣтилъ:

— Немножко мы пополнѣли... Немножко того, даже порочно. Вообще люди слишкомъ много ѣдятъ. А если на ночь, къ это даже вредно. Я также началъ толстѣть, а потому зачиномъ сталъ удерживать себя. Какъ-то давило и мѣшало спать.

Она молчала, только вонзила ногти въ плетенныя ручки кресла и слушала.

— Въ давнее время мы не обращали на это вниманія — продолжалъ онъ. — Помните? Ъдали мы на ночь сардинки, даже омары, помните вы? Въ Закопаномъ?

Туся молчала. Она помнила о поцѣлуяхъ, а не о сардинкахъ и омарахъ.

О, ночи синія, о, дрожь сплетенныхъ рукъ, о, арфа ихъ сердцецъ, звучавшихъ однимъ аккордомъ... И вдали замирающія вершины горъ... Тамъ, далѣе, давно.

Какъ-то разъ, когда Поржицкій пріѣхалъ къ обѣду, въ разговорѣ между нимъ и Тусей, какъ будто, промелькнуло нѣчто изъ прежняго. Говоря о Питѣ, онъ называлъ ее прелестнымъ созданьемъ, но прибавилъ, что иной и не могла быть дочь пани Туси. Правда, дальше этого Поржицкій не пошелъ, но Тусю и это обрадовало, какъ признавъ, что она для него осталась тѣмъ, чѣмъ была прежде. Это вызвало въ ней любезное настроеніе, она приняла оживленное участіе въ общей бесѣдѣ, а Тарнавича, который, окончивъ урокъ, собирался уходить, пригласила остаться обѣдать.

Но за обѣдомъ выказалось несогласіе взглядовъ между извѣстнымъ драматическимъ артистомъ и ученикомъ старшаго класса гимназіи. Рѣчь зашла о настроеніи учащейся молодежи и объ участіи ея въ общественныхъ дѣлахъ. Поржицкій говорилъ на избитую тему, что молодые должны учиться и веселиться, а заботу объ общественныхъ дѣлахъ предоставить „зрѣлымъ“. Тарнавичъ возразилъ на это, что такое разсужденіе онъ слышалъ не разъ, но именно отъ такихъ зрѣлыхъ людей, которые ничего не хотятъ дѣлать для своего народа, а думаютъ только о своей карьерѣ и обогащеніи. Впрочемъ, Поржицкій согласился потомъ, что онъ, можетъ быть, неправъ, смотря на вещи здѣсь, въ Варшавѣ, такъ, какъ на нихъ смотрятъ въ свободномъ государствѣ, гдѣ онъ родился и живетъ доселѣ.

Но и на Тарнавича, и на Питу слова его все-таки произвели непріятное впечатлѣніе. Питѣ думалось о Мундѣ, который жертвовалъ жизнью за общее дѣло, и, кромѣ того, ей не понравилось, что Поржицкій относился къ Тарнавичу свысока. Вѣдь Тарнавичъ спасъ ея брата отъ смерти, онъ кормилъ своихъ сестеръ и мать. И вообще, онъ былъ ей близокъ.

Въ другой разъ, когда Поржицкій общался пріѣхать къ обѣду, и Туся постаралась, чтобы обѣдъ былъ получше, купила кое-чего для закуски и, разумѣется, одѣлась, какъ могла, изящнѣе. Поржицкій не пріѣхалъ. Долго его ждали, наконецъ, пообѣдали безъ него и все еще ждали, не пріѣдетъ ли онъ хоть вечеромъ

Жебровский даже пошелъ къ воротамъ, взглянуть, не ѣдетъ ли, и дождался тамъ, но не его, а Владку, которую и привелъ, замѣтно обрадованный.

Она сообщила:

— Г. Поржицкій не пріѣдетъ. Я видѣла его недавно въ Аллеяхъ съ какими-то дамами въ коляскѣ. Всѣ они смѣялись, видно, имъ было весело.

Сѣли за чай въ бесѣдку, но разговоръ не клеился, такъ что Владка возвратилась къ прежней темѣ и рассказывала, какъ были одѣты бывшія съ Поржицкимъ дамы. Но Туся молчала, погруженная въ разочарованіе и ѣдкую досаду на неудавшійся день. Вдругъ, Владку прервалъ Эдвѣ:

— Пусть онѣ тамъ были расфуфырены, какъ имъ угодно, а главное, хорошо, что этого паяца изъ цирка сегодня не будетъ.

Туся задвигалась на мѣстѣ.

— О комъ ты говоришь, невѣжа?

— А объ этомъ комедіантѣ.

— Да какъ ты смѣешь, сверный мальчишка? Вонъ изъ-за стола!—Она была блѣдна, глаза ея были широко раскрыты.

Жебровский смотрѣлъ на жену съ удивленіемъ. А она встала, оттолкнула стулъ и выбѣжала изъ бесѣдки. Владка хотѣла идти за ней. Но Туся обернулась и протянула къ нимъ руку.

— Пожалуйста, оставьте меня одну.

Когда она вошла въ домъ, всѣ встали.

— Видишь, дурень, что ты надѣлалъ — сказалъ сыну Жебровский.

— Да развѣ я? Это — тотъ комедіантъ. — И Эдвѣ пожалъ плечами.

— Я поѣду домой, — сказала Владка. — Мнѣ это дѣйствуетъ на нервы.

Жебровский сталъ передъ ней извиняться, а она отвѣтила:

— Нѣтъ, ничего. Но только, знаете, непріятно. А вотъ, еслибы вы меня проводили... Вы не собирались сегодня въ городъ!

— Разумѣется, съ удовольствіемъ.

Когда они вышли вмѣстѣ за ворота, то оба имѣли видъ шкельниковъ, вырвавшихся изъ класса.

— Такія сцены разстраиваютъ, — замѣтила она.

А Жебровский только вздохнулъ. Всю жизнь работавъ, отзывавъ себѣ во всемъ и никогда не слышавъ сердечнаго, добраго слова. Мудрено ли, что, наконецъ, онъ увлекся тѣми словами, которыми его дарили внѣ дома.

Владка, взглянула на него, проходя мимо освѣщенныхъ оконъ близкой лавочки. Онъ былъ худой, старый, жалкій. Симпатичнымъ жестомъ она взяла его за руку и вложила ее подъ руку себѣ.

— Пойдемъ, вотикъ, — произнесла она своимъ мягкимъ контраalto.

VII.

Спать было еще рано. Пита пошла вглубь сада и, обходя его, услышала за заборомъ сперва веселый разговоръ въ группѣ, проходившей по той сторонѣ забора, въ саду Марцелина. Пита приостановилась, чтобы не привлечь на себя вниманія и дать имъ пройти. Но когда потомъ она сама подошла къ забору, то услышала за нимъ голосъ Поржицкаго.

— Добрый вечеръ, пани... Вѣдь это—вы, панна Юзя?

— Я.

Поржицкій влѣвъ на низкій заборъ и опустил ноги въ садъ Жебровскихъ.

— Что-жъ это вы, милочка, такъ одна? Гуляете?

— Да, такъ... Если вы еще не ужинали, то у насъ все осталось отъ чая.

— Нѣтъ, не могу, долженъ остаться здѣсь. А былъ у васъ кто-нибудь?

— Одна Владка, и папа провожаетъ ее въ городъ.

— Здорво! А гдѣ же *вашъ* флиртъ? Тоже ушелъ? — Она смотрѣла на него, не понимая. — Ну, этотъ репетиторъ, сознательный молодой человекъ. Вѣдь глядитъ на васъ и чуть не молится. — Она качнула головкой. — Нечего-нечего... Да и неудивительно, — на васъ можно заглядѣться. Вѣдь вы же чудо какъ хороши. Говорю совершенно серьезно. Не долго вамъ ждать, какъ посыплются женихи со всѣхъ сторонъ.

— Откуда имъ взяться?

— Откуда всегда берутся къ хорошенькимъ дѣвушкамъ. Да я самъ, если бы не былъ старъ...

Пита взглянула на него съ удивленіемъ.

— Вѣдь вы же молоды.

— Но въ сравненіи съ тобой, Пита, милочка...

— Я еще расту, а вы-то все-таки молодой.

— Ну, пусть я молодой. — Онъ весело засмѣялся и соскочилъ къ ней съ забора.

— Идете къ намъ? — Въ голосѣ ея была радость.

— Нѣтъ, я иду къ тебѣ, панна Юзя. Пожму твою дорогую ланку на прощанье... Ай, какія холодныя!—И поднавъ къ себѣ ея руки, онъ сталъ согрѣвать ихъ дыханіемъ, какъ дѣлають съ поднятыми птенцами.

Но за заборомъ раздался призывъ:

— Поржицкій! Гдѣ ты спрятался?

— Зовутъ. А я завтра опять перескочу черезъ заборъ.

— Отчего же вы не придете къ намъ просто въ ворота?— усмѣхаясь, спросила она.

А онъ отвѣтилъ въ шаловливомъ тонѣ:

— Оттого, что такъ будетъ таинственнѣе и интереснѣе. Будто Ромео и Юлія. Вы видѣли эту пьесу?

— Да, въ оперѣ.

— Все-равно. Вы—Юлія, я—Ромео.—Положимъ, я тяжеловатъ для этой роли. Но Росси былъ много толще меня, а между тѣмъ, валялъ себѣ Ромео, какъ ни въ чемъ не бывало. А вы—настоящій идеалъ Юлія. Вѣдь и ей было четырнадцать лѣтъ.

— А въ оперѣ пѣвица была вдвое полнѣе мамы, и руки у нея были толстыя—такія, толстыя.

— Такъ то была оперная Юлища, а вы—шекспировская Юлечка. Только вы не говорите дома, что сегодня видѣли меня, и приходите сюда завтра въ это же время.

— Отчего же не говорить?

— Потому что они будутъ сердиться, что я не пришелъ въ домъ, съ соблюденіемъ всѣхъ формъ, на долгое сидѣнье. Это такъ мило видѣть васъ украдкой. Потомъ мы все расскажемъ папѣ—мамѣ и будемъ всѣ смѣяться. Ну что? Придете, Жюльеточка, чудо мое, серебряная, золотая... Вамъ холодно? Ну, прощайте, дѣточка, идите бай-бай.

Но второе свиданіе подъ заборомъ не состоялось, такъ какъ на слѣдующій день Поржицкій просто пришелъ къ нимъ въ гости.

Пита стала опять вести свой журналъ. Она нашла мѣсто посреди кустовъ, откуда была видна вся аллея къ дому, такъ что никто не могъ подойти незамѣтно. Писала она карандашемъ, съ тѣмъ, чтобы потомъ, въ городѣ, переписать дневникъ на ѣло.

3 августа.

„Когда я думаю о Поржицкомъ, то мнѣ хочется, чтобы онъ мѣ привазывалъ и занимался бы мною, и чтобы я могла вышлаться передъ нимъ. Точно какъ если бы онъ былъ мнѣ

отцомъ. Однако, чувствую не только это, но больше, и мнѣ хотѣлось бы, чтобы онъ меня всегда цѣловалъ въ лобъ, какъ онъ незамѣтно сдѣлалъ вчера за деревьями, когда мы шли въ бесѣдку, гдѣ мама разливала кофе. Обнялъ за талию, поцѣловалъ въ лобъ и сказалъ: „Ахъ, ты, моя“... Мнѣ сдѣлалось такъ странно, да и теперь, когда пишу это. Прибавлю (со стыдомъ, потому что глупо), что когда я сегодня утромъ мылась, то не трогала лба, чтобы слѣдъ остался.

Прочитала написанное, и мнѣ сдѣлалось почти страшно. Вѣдь не хорошо это и не должно быть. А впрочемъ, и папа цѣлуетъ меня въ лобъ всегда, когда я иду къ исповѣди, на именины и на Пасху.

5 августа.

Онъ приходитъ къ намъ теперь почти каждый день. Эдекъ злится, а папа очень доволенъ. Папа теперь часто остается на ночь въ городѣ. Тарнавичъ—такой грустный. Вчера мнѣ стало его жалко, когда онъ послѣ урока уходилъ по аллеѣ, такой сгорбленный, и мнѣ хотѣлось задержать его, поговорить съ нимъ. Но это было бы похоже на то, будто я думаю, что онъ ревнуетъ. А вѣдь Тарнавичъ не вл..... въ меня.

7 августа.

Дрожу такъ, что карандашъ выпадаетъ изъ рукъ. Но надо записать. Вѣдь это, вѣроятно, самый важный день въ моей жизни.

Я вотъ, какъ теперь, писала и услышала шаги. Узнала сейчасъ, что это—онъ.

— Куку!

Я вдругъ какъ-то смѣшалась, опустилась на колѣни и спрятала эту тетрадку. Говорю ему:—Мамы нѣтъ дома.

А онъ сказалъ, смѣясь:—Знаю, потому что видѣлъ, какъ она шла по Маршалковской.—Сѣлъ возлѣ меня, схватилъ мои руки и началъ цѣловать ихъ по самыя локти и даже выше, такъ какъ я была въ утренней блузкѣ съ широкими рукавами. Мнѣ сдѣлалось холодно въ головѣ и на лицѣ, а по всей мнѣ будто кто кипяткомъ лилъ прямо изъ самовара. Сильно прижалъ меня къ себѣ, самъ дрожалъ и сталъ цѣловать въ лобъ и по волосамъ. А надъ нами щебетали птицы. А я закрыла глаза и не знала, чтѣ со мной. Вдругъ онъ надо мной нагнулся и ужасно крѣпко поцѣловалъ меня въ губы, такъ что было больно. Я даже вскрикнула. Тогда онъ сталъ цѣловать по плечамъ и по шеѣ, такими горячими губами, а мнѣ сдѣлалось страшно жать, что онъ сдѣлался такой недобрый.

Теперь я уже могу все написать, скажѹ сейчасъ, почему.

Подъ этими поцѣлуями я открыла глаза и чего-то испугалась. Сильно испугалась, точно меня кто хотѣлъ убить. Но я не закричала, а стала умолять.

— Прошу васъ, прошу...—А у него глаза какіе-то бѣлые и видъ такой гадкій. Онъ сталъ спрашивать:

— Хочешь быть моею, хочешь быть моею?—А я всё:

— Прошу васъ, ну, умоляю васъ...

— Хочешь быть моею?—Я говорю:

— Хорошо. Но я еще слишкомъ молода, чтобы идти замужъ. Я пошла бы, но родители не захотятъ. — Тогда онъ пристально посмотрѣлъ на меня, рознялъ свои руки, отодвинулся отъ меня и помолчалъ. Потомъ сказалъ мнѣ:

— Ты права, дитячко сладкое... ты права.—Всталъ передо мной на колѣни и сложилъ руки.

— Чудо ты мое весеннее, захотѣла ли бы ты быть моею женою? — У меня въ глазахъ слезы и, чувствую, потекли по лицу. И я сказала ему: — Хочу. — А онъ сталъ цѣловать мнѣ руки, ноги, радовался и смѣялся, повторяя: Жена, жѣнушка.— Послѣ обнялъ меня, но уже слегка, прислонилъ къ себѣ и, глядя по головѣ, повторялъ. — Милочка ты моя... И мнѣ было такъ хорошо, и думалось, что вотъ, такъ будетъ всегда, всю жизнь, а это мой мужъ. Листья на деревьяхъ шумѣли какъ-то тихо и сладко, а отъ клумбы вѣяло цвѣтами. Мнѣ давно хотѣлось, чтобы меня кто-нибудь такъ приласкалъ, но дома на меня всё уже смотрѣли, какъ на взрослую. А я такая глупая, меня такъ тянетъ къ тому, чтобы меня приголубили. И неудивительно, что я его буду очень любить и буду ему благодарна. Лишь бы только онъ меня не оставилъ и позволялъ мнѣ всегда быть при себѣ.

8 августа.

Вчера я перестала писать, потому что увидала маму, которая возвратилась изъ города. Но дальше было такъ. Когда мнѣ думалось, чтобы онъ меня не оставилъ, я шепотомъ спросила его:

— Когда же вы поговорите обо мнѣ съ родителями?—Онъ подумалъ и отвѣчалъ:—Видишь, дорогая, лучше имъ ничего не говорить еще нѣсколько мѣсяцевъ. Я покажѣсть достану себѣ ангажементъ въ казенномъ театрѣ на выгодныхъ условіяхъ, и когда уже буду обезпеченъ постояннымъ жалованьемъ, тогда и посватаюсь.

— Но все-таки я теперь уже ваша невѣста?—спросила я.

Тогда онъ меня опять обнялъ и сказалъ.—Да, разумѣется. Ты—уже моя, а я—твой.

Когда онъ ушелъ, я долго еще оставалась на мѣстѣ, и меня радость точно уносила къ небу, а потомъ мнѣ чудилось, будто меня привели къ моей могилѣ и велѣли мнѣ молиться. Страшно было, какъ я буду теперь людямъ въ глаза глядѣть, а вмѣстѣ и гордость была во мнѣ, что я теперь уже почти замужемъ.

Однако, все это было не такъ, какъ я себѣ прежде представляла обрученіе.

17 августа.

А вокругъ меня всё говорятъ и постоянно думаютъ только о томъ, что происходитъ тамъ, на войнѣ. Особенно Тарнавичъ, несмотря на то, что онъ всегда такой печальный. Иногда онъ долго и странно смотритъ на меня. Конечно, то, что дѣлается тамъ, имѣетъ огромное значеніе. Однако...

На дняхъ состоится его дебютъ. Но несмотря на то, онъ бываетъ у насъ каждый день. И мама такъ къ этому привыкла, что постоянно велитъ готовить на обѣдъ что-нибудь особенное.

На этомъ обрывается дневникъ Питы.

Ей не было охоты записать въ немъ, что Эдэкъ все больше дулся на нее и обращался съ ней грубо. Ей и въ умъ не приходило, что это было изъ-за Тарнавича, который ее ревновалъ къ „такому паяцу“, по выраженію Эда.

Однажды онъ сталъ требовать, чтобы Пита подала ему ѣсть передъ общимъ завтракомъ, потому что онъ хотѣлъ сейчасъ куда-то идти. Пита замѣтила ему, что сейчасъ пойдетъ дождь, а его это взорвало.

— Тебѣ что за дѣло? Ты смотри сама за собой, актѣрша этакая.

— Актѣрша?—повторила она съ изумленіемъ.

— А какже иначе назвать невѣсту актѣра?

— Что ты выдумалъ?

— Нѣчего выдумывать, я отлично знаю.

— Да не кричи, мама услышитъ.

— А пусть она узнаетъ, что выдѣлываетъ мамзель Юзефина. Вотъ, возьму—да и скажу ей.

— Все, что ты скажешь, и будетъ ложь.

— Ложь? Вотъ, сейчасъ увидимъ, кто лжетъ... А ваи дневникъ, панна Юзефина?

— Дневникъ!—Пита бросилась къ своей комнаткѣ.

— Бѣги, бѣги... Найдешь фигу. Надо было лучше прятать, а не на балкѣ подъ крышей, да еще съ кирпичемъ сверху, какъ преспасть. Твой дневникъ у меня, и вотъ, я его сейчасъ отдамъ мамѣ.

Пита сложила руки.

— Эдекъ, умоляю тебя!

— Ага, теперь „Эдекъ“. А кто завлекалъ Тарнавича, потомъ любезничалъ въ кустахъ съ актеромъ? Вотъ, я не только мамѣ покажу, а еще Тарнавичу прочитаю, пусть знаетъ, стоишь ли ты уважающаго себя мужчины.

— Боже мой! Эдекъ, молю тебя, отдай мнѣ дневникъ! Я возьму назадъ слово г. Поржицкаго, я пойду за Тарнавича, только отдай мнѣ дневникъ.

Увлеченные этимъ споромъ, они оба не замѣтили, что въ дверяхъ стояла мать.

— Что это, что у васъ тутъ дѣлается?

— Вотъ, возьмите, мамаша, это собственные мемуары Питы, изъ которыхъ вы узнаете, что она—уже невѣста,—сказалъ онъ, отдавая тетрадь.

— Что такое?

— Сами прочтете.—Эдекъ подошелъ къ буфету, взялъ двѣ булky, положилъ между ними вчерашнюю котлетку и всунулъ все въ карманъ.—Вотъ къ чему приводитъ, когда Богъ знаетъ кого пускаютъ въ домъ.

И онъ вышелъ, въ гордомъ сознаниі, что отомстилъ за „коллегу“, любовныхъ мукъ котораго онъ не одобрялъ, но съ которымъ все-таки былъ солидаренъ, какъ „мужчина“.

Пита лежала, съѣжась, на постели, когда мать вошла къ ней, съ дневникомъ въ рукѣ. Она оперлась о раму двери и спросила какимъ-то измѣнившимся голосомъ.

— Это все правда, что ты написала? — Пита встала, но не могла отвѣчать — можетъ быть, это только такъ, твоя фантазія... Ложь, а?.. Отвѣтъ же!

— Мамаша—произнесла Пита едва слышнымъ голосомъ.— Это правда.— И увидя, что мать вдругъ поблѣднѣла, Пита хотѣла подойти къ ней.

Но Туса махнула на нее рукой.—Прочь!—Ея сознание потемнѣло, и она видѣла теперь въ Питѣ только другую женщину, которая намѣревалась отнять у нея послѣднюю надежду въ зни.

— Ахъ ты,—хотѣла она сказать,—ахъ ты...

— Мама!—воскликнула Пита въ отчаяніи.

Это слово привело Жебровскую въ себя. Да, она была мать, та женщина—ея дочь. И она не виновата, потому что она вѣдь не знаетъ тайны матери. Виновенъ тотъ человекъ, который когда-то пѣловаль ея волосы, ея глаза, о теперь хочетъ жениться на ея дочери.

Но Жебровский нисколько не возмущился, когда узналъ отъ жены о намѣреніи Поржицкаго. — Правда, она еще слишкомъ молода... Но безусловно отказывать ему не слѣдуетъ. Вѣдь Пита — бѣдная дѣвушка... Кто ее возьметъ по нынѣшнимъ временамъ?

— Но я ее не отдамъ за актера.

— А за кого? За такого чиновника, какъ я?

— Упаси, Боже!

— Ну, такъ видишь... А иной актеръ получаетъ хорошее жалованье.

— У тебя все однѣ деньги.

— Сама ты прекрасно знаешь, что это—главное.

На слѣдующее утро Жебровская объявила мужу, что она рѣшила немедленно переѣхать въ городъ.

— Помилуй, какъ же такъ, вдругъ? Вѣдь тамъ нафталинъ намъ глаза выѣсть. Надо же квартиру приготовить.

— А здѣсь, какъ устеречь ихъ? Въ садъ онъ можетъ пройти съ каждой стороны. Можетъ увести Питу, или она сама незамѣтно уйдетъ.

Онъ былъ, видимо, недоволенъ этимъ внезапнымъ переѣздомъ семьи въ городъ. Но и принять на себя отвѣтственность за возможные послѣдствія дальнѣйшаго пребыванія на дачѣ онъ также не хотѣлъ. Совѣщаніе супруговъ окончилось обычнымъ: — дѣлай, какъ знаешь,—съ его стороны.

VIII.

А она знала, что дѣлать. Въ ночь, проведенную безъ сна, плача надъ собой, негодуя на „измѣнника“, опасаясь за дочь, Туся составила планъ рѣшительныхъ дѣйствій. Немедленно заняться съ дочерью и служанкой укладываніемъ вещей, не принимать Поржицкаго въ этотъ и нѣсколько слѣдующихъ дней, подъ предлогомъ беспорядка, вызваннаго переѣздомъ, а потомъ пойти прямо къ нему, уличить его въ двоедушія и безнравственности его дѣйствій и заставить его понять, что послѣ того, „что между ними было“, онъ не долженъ смѣть думать о ея дочери. А Пита—еще ребенокъ, она легко угѣшится.

Одного только Жебровская не предвидѣла, а именно, что на сторонѣ дочери и Поржицкаго станеть Владка, и вообще что она можетъ вмѣшаться въ это чисто-семейное дѣло. А Владкѣ съ тѣхъ поръ, какъ она приобрѣла вліяніе на Жебровскаго, уже не нравилось прежнее покровительственное, но и нѣсколько пренебрежительное обращеніе съ нею его жены. Между двумя женщинами, имѣющими законное или незаконное притязаніе на одного мужчину, столкновение неизбѣжно.

Владка явилась, чтобы помогать при приведеніи въ порядокъ квартиры въ городѣ, какъ только Жебровскіе туда перѣѣхали, а о случившемся у нихъ она уже знала отъ отца семьи. Она тотчасъ начала угѣшать Питу.

— Вотъ, и начнемъ шить приданое для пани Поржицкой. — Пита въ испугѣ оглянулась. Владка продолжала. — Что-жъ, это вѣдь я говорю, а мнѣ нечего бояться. Но ему-то, самому, извѣстно, что его не хотятъ?

— Нѣтъ, и вотъ это — несчастье, что онъ не знаетъ. Его не велѣно принимать, а онъ можетъ подумать, что и я къ нему перемѣнилась и уже не хочу его.

— Такъ я это, милочка, устрою. Я пойду къ нему и расскажу все, какъ было и какъ есть.

— О, дорогая, золотая моя, панна Владя!

— Скажу, что панна Пита остается ему вѣрной, и что все еще устроится.

И Владка не только сдержала свое обѣщаніе, но и стала осторожно уговаривать Жебровскаго, что не слѣдуетъ упускать случая выдать дочь замужъ, а что если она еще не имѣеть лѣтъ, то согласіе-то все-таки можно дать и позволить имъ обручиться, такъ, чтобы Поржицкій былъ уже связанъ, и дѣло бы не разошлось.

Жебровская скрыла отъ Питы тотъ номеръ газеты, въ которомъ былъ помѣщенъ отчетъ объ успѣшномъ дебютѣ Поржицкаго въ „Маркизѣ Приола“. Но Пита узнала объ успѣхѣхъ отъ Владки. Та расцѣловала Питу и рассказала о дебютѣ.

— Я видѣла его, — шептала она. — И онъ сказалъ, чтобы вы не грустили, что онъ это все устроить, какъ слѣдуетъ, и прислать вамъ, вотъ... — Она вынула изъ-подъ перчатки золотое колечко съ бирюзовымъ цвѣткомъ.

— И велѣлъ вамъ сказать, что онъ васъ безумно любитъ и проситъ, чтобы вы носили это колечко, какъ знакъ обрученія съ нимъ... Онъ снялъ его съ часовой цѣпочки. Это — колечко его матери.

Теперь Пята бросилась цѣловать Владку. А та продолжала.

— И папа вашъ согласенъ, я говорила съ нимъ, онъ будетъ за васъ... Ну, а я теперь уйду... Мама ваша что-то восо смотреть на меня. А ему—что сказать отъ васъ?

— Что...

— Ну, что вы его любите и будете ожидать?

— Да, да... И чтобы онъ скорѣе пришелъ.

Пята продѣла въ колечко голубую гарусную нитку, надѣла ее на грудь и уврыла нитку съ вольцомъ подъ рубашкой. А порою, когда она была увѣрена, что никто не войдетъ, она вытягивала колечко вверхъ и цѣловала его.

Между тѣмъ Туся приступила къ исполненію своего намѣренія. Выбравъ по газетѣ день, когда долженъ былъ играть Поржицкій, она отправилась въ лѣтній театръ за часъ до начала представленія. Она вошла корридоромъ въ дверь, на которой была надпись, что входъ постороннимъ воспрещается, и поднялась на двѣ ступени выше, въ другой, внутренней корридоръ, обошла его и замѣтила черную, разграфленную доску, на которой были вписаны мѣломъ фамиліи актеровъ, а сбоку—номера дверей въ ихъ уборныя.

Узнавъ номеръ Поржицкаго, Туся смѣло пошла нѣсколько назадъ и нашла его дверь. Мимо нея медленно прошагалъ какой-то машинистъ или истопникъ, котораго она спросила, здѣсь ли г. Поржицкій. Тотъ удалился, не отвѣтивъ ей; еще прошли двѣ актрисы, тихо разговаривая. Но никто не остановилъ ее, не спросилъ, что ей надо. Всѣ были заняты представленіемъ.

Тогда она постучала въ дверь и, также не получивъ отвѣта, вошла въ уборную и убѣдилась, что она достигла цѣли, такъ какъ на столѣ стояла элегантная шкатулка Поржицкаго съ приборомъ для гримировки и разными туалетными вещами. Шкатулку эту она видѣла въ Закопаномъ, когда играла съ нимъ. Въ дверь вошелъ мальчикъ и положилъ на столъ гарденію, обернутую бумагой.

— Могу я видѣть г. Поржицкаго?—спросила Туся.

— Можно. Онъ уже одѣтъ, вѣрно, въ кому-нибудь зашелъ. А что, вамъ позвать его?

— Пожалуйста.

Мальчикъ поправилъ лампу и вышелъ.

„Пусть онъ мнѣ взглянетъ въ глаза... Пусть скажетъ мнѣ“

чего онъ хочетъ... Нѣтъ, онъ не посмѣетъ". — Но вотъ, отворилась дверь, и появился тотъ, который не долженъ былъ „смѣть“.

Поржицкій остановился и нѣсколько секундъ смотрѣлъ съ удивленіемъ на стоявшую у стѣны женщину.

— Вы здѣсь?

Она молчала. Передъ ней былъ Поржицкій, въ безукоризненно лежавшемъ на немъ фракномъ костюмѣ, красивый, извѣстный всему краю артистъ, съ горделивой осанкой маркиза Приола. Туся, обитательниця Варецкой улицы, онъ прямо импортировалъ, и она сразу почувствовала, что никакихъ шансовъ на успѣхъ у нея нѣтъ.

Онъ придвинулъ ей стулъ.

— Пожалуйста, садитесь. Вы, кажется, устали... А дома у васъ всѣ здоровы? — Онъ взялъ зеркальце и поправилъ галстухъ. Потомъ спросилъ совершенно спокойно. — А Пята?

— Пята? — Жебровская сама не узнала своего голоса. — Пята... Изъ-за нея я и пришла. Не смѣйте думать о ней!

— Почему такъ?

Туся прискивала слова. Ей стыдно было самой сказать причину, когда онъ притворялся, будто ее не знаетъ.

— Послѣ того, что было между нами...

Эту женщину, которая такъ любила и теперь терпѣла униженіе за свое чувство, вдругъ охватила экзальтація.

— Послѣ всего, что между нами было, вамъ жениться на моей дочери?.. Это недостойно, отвратительно, чудовищно! Это грѣхъ, понимаешь, великій грѣхъ!.. Я, ты и она...

Больше словъ Туся не нашла. Она опустила часть лица въ пухъ своего боа и страданіе свое выразила только повтореніемъ этихъ словъ: „Я, ты — и она“. Поржицкій выпрямился, какъ будто сталъ еще выше, и переспросилъ:

— Я, вы и она... Такъ что же?

Но Туся не поддавалась на его стараніе отмолчаться. Быстро переводя дыханіе, она настаивала на своемъ:

— Неужели вы... Вѣдь это же — моя дочь... Какъ же послѣ всего, что между нами было?

— Да что же было между нами? Въ сущности — ничего и не было.

Эти слова пали на нее, какъ ударъ, убившій всю ее жизнь за послѣдніе годы, именно ту часть ее существованія, когда она чувствовала, что жила. Послѣ этихъ его словъ, ей ничего не оставалось сказать. Для него все *то* было ничѣмъ, а для не — *всѣмъ*.

Она молчала. Онъ заговорилъ съ принужденнымъ оживленіемъ о своей привязанности къ нимъ всѣмъ, о томъ, что лучше же имъ довѣрить свою дочь человѣку, котораго они хорошо знаютъ, что положеніе артистовъ теперь не то, что прежде, не говоря уже объ условіяхъ матеріальныхъ, что-ли.

Это былъ потокъ словъ, касавшихся всего, кромѣ того протеста любившей женщины, съ которымъ она пришла. А Туся слушала надъ собой журчанье этихъ словъ просто, какъ приговоръ, не входя въ смыслъ каждаго изъ нихъ отдѣльно.

Эту тягостную сцену прервалъ раздавшійся за кулисами звонокъ. Поржицкій прикололъ къ фразу лежавшую на столѣ гарденію и, извинившись, пошелъ на сцену.

На слѣдующее утро, когда Пята мылась, какъ всегда, въ кухнѣ, подъ краномъ, она забыла спрятать висѣвшее у ней на груди колечко. Она сняла съ шеи нитку съ нимъ и осторожно положила его на столъ, рядомъ съ мыломъ и губкой. „Вотъ такъ—сказала она себѣ—здѣсь ему будетъ хорошо“.

Вдругъ въ кухню вошла Жебровская.

— Это что у тебя? — спросила она, схвативъ гарусъ съ кольцомъ.

Пята въ остоленіи молчала.

— Откуда это у тебя?

— Отъ него—дрожа произнесла дѣвушка.

— Что-жъ, ты видѣлась съ нимъ?

— Нѣтъ, онъ прислалъ мнѣ.

— Съ кѣмъ?—грозно допытывалась мать.

— По почтѣ.

— Лжешь! Говори сейчасъ. Черезъ Владку?

— Нѣтъ, нѣтъ, о нѣтъ...—жалобно повторяла Пята.

— Ага! Очень ужъ торопишься... Теперь я знаю черезъ кого.

Черезъ нѣсколько дней Владка пришла черезъ кухню и, узнавъ отъ кухарки, что Жебровской не было дома, вошла въ комнаты и стала утѣшать Питу, которая со слезами рассказала ей о потерѣ кольца.

Владку сильно занимало все это дѣло. Она увѣряла Питу, что все еще устроится, и бесѣда между нимъ затянулась, такъ что, когда раздался звонокъ, Владка только успѣла проскочить въ кухню, но вошедшая Жебровская замѣтила ее и, призвавъ назадъ въ комнаты, объявила ей, что не нуждается больше въ ея работѣ и запрещаетъ ей приходить къ нимъ и переносить любовныя послылки.

Владка пошла въ кухню, и Пята, въ слезахъ, послѣдовала за ней.

— Не бойтесь—сказала ей Владка, одѣваясь,—вы все-таки получите вашего кавалера. А если мама будетъ очень артачиться, то вы скажите ей такъ: что-жъ, мамаша, дѣлать, была мамина очередь, а теперь моя. Былъ онъ влюбленъ въ васъ, а теперь влюбленъ въ меня.

Питу какъ будто что-то отбросило къ стѣнѣ.

— Что вы говорите?—прошептала она.

— То, что знаю, что сама видѣла.—И Владка вышла на лѣстницу.

„Онъ былъ влюбленъ въ маму, а теперь въ меня“ — вотъ слова, которыя звучали всѣ ближайшіе дни и ночи въ ухахъ ошеломленной дѣвушки.

Объ онѣ страдали, и мать, и дочь. Что чувствовала Туса, понятно. Труднѣе выяснитъ себѣ страданія Питу. Это нѣчто болѣе тонкое, болѣе сложное, смѣсь испуга съ отчаяніемъ,—по внезапной уtratѣ того, что казалось такъ чисто, лучезарно и вдругъ разсѣялось въ нѣчто странное и мутное. Она чувствуетъ, точно кругомъ ея—лѣсъ огромныхъ цвѣтовъ съ ядовитымъ запахомъ. А она среди нихъ стоитъ безпомощная, озлябая, маленькая, слабая.

А отъ тѣхъ цвѣтовъ будто идетъ злобѣщій шелестъ: „былъ влюбленъ въ маму, а теперь въ меня“.

Нѣсколько дней Пита вставала, ходила, садилась къ столу, ложилась, какъ автоматъ—и все слышала тѣ слова. Но, вдумываясь въ нихъ и сопоставляя съ ними то, что сама она могла себѣ припомнить, дѣвушка постепенно поняла, что тѣ слова еще не говорили *всею*. Мало-по-малу, воскресая въ своей памяти то, что слышала и видѣла тамъ, въ Закопаномъ, когда была ребенкомъ, Пита теперь только понимала смыслъ взглядовъ Поржицкаго, его улыбокъ и словъ. И отдавала себѣ отчетъ, что взаимнѣ онъ получалъ тоже самое. Она припоминала себѣ и у матери такіе же взгляды, перерывъ въ голосѣ, призывы... Видѣла, какъ порой они молча сидѣли рядомъ, рука въ рукѣ, плечомъ къ плечу... Понимала, чему мать иногда такъ радовалась, отчего тосковала, иногда даже плакала...

О Боже! Это правда... И мать его любила!

И какъ мама плакала въ вагонѣ передъ отбѣздомъ назадъ, домой, какъ онъ преклонилъ ее, маленькую, къ груди матери и вышелъ. И послѣ, какъ часто мама плакала... Она долго страдала. Да, она любила его и, однако, отказалась отъ него, уѣхала. Она пожертвовала собой для нихъ, дѣтей, и для папы.

При этомъ жертву, принесенную матерью, Пита понимала,

разумѣется, въ такомъ смыслѣ, что мать могла развестись съ отцомъ и выйти за Поржицкаго, но этого не сдѣлала, чтобы не оставить дѣтей и мужа.

И теперь, убѣдясь сама, что любовь находитъ на людей безъ ихъ воли и вины, она не только не винила мать, но почувствовала жалость къ ней и даже удивленіе. Какъ она должна была страдать... И, однако, побѣдила себя:

— Не хочу его, не пойду за него. — Вотъ. выводъ, къ которому пришла дѣвушка.

И вотъ, однажды утромъ, когда Жебровская вышла изъ дома, Пята выбѣжала на улицу и зашла въ магазинъ письменныхъ принадлежностей, купила листокъ бумаги, конвертъ, марку и попросила позволенія написать нѣсколько словъ. Присѣвъ, она писала:

„Многоуважаемый г. Поржицкій, пишу вамъ послѣдній разъ въ жизни и прошу не отвѣчать мнѣ. Я передумала и рѣшила не выходить за васъ. Я убѣдилась, что мнѣ только казалось, будто я чувствую привязанность къ вамъ, а стало быть, я не могла бы быть для васъ доброй женой. Поэтому намъ лучше не видѣться болѣе никогда, и умоляю васъ—не стараться объ этомъ. Прошу, обращаясь къ вашей чести, и клянусь вамъ, что не измѣню своего рѣшенія. Вы—добрый и не захотите дѣлать мнѣ непріятности. А я, такая легкомысленная, поступала, не подумавъ хорошенько, и только сдѣлала всѣмъ непріятность. Умоляю васъ, не приходите на Варецкую. Отъ этого зависятъ спокойствіе и счастье всѣхъ насъ. Прощайте! Будьте счастливы. Прошу извинить меня и не приходите. Это нисколько не помогло бы. Прошу васъ принять увѣреніе въ моемъ уваженіи и желаніи вамъ добра. *Юзефина Жебровская*“.

Этотъ актъ самопожертвованія, заключенный въ конвертъ съ наклеенной маркой, Пята бросила по дорогѣ въ почтовый ящикъ и медленно пошла домой.

Послѣ свиданія съ Поржицкимъ Жебровская вдругъ нѣсколько осунулась. Она больше не упрекала дочери, зная, что и Пята страдаетъ. Только у дѣвочки это легко пройдетъ... Передъ нею жизнь.

И Пята часто присматривалась къ матери. Но теперь уже совсѣмъ иными глазами. Она замѣтила, какъ мать вдругъ измѣнилась въ лицѣ. Обѣ онѣ молчали. Пята нѣсколько дней не выходила на улицу, боясь, что Поржицкій можетъ сторожить гдѣ-нибудь около ихъ дома.

Разъ, присматриваясь къ матери, Пята замѣтила, какъ по-

лицу ея прошло нервное содраганіе. Пята тихонько подошла къ ней и сказала чуть слышнымъ голоскомъ:

— Мама... послушайте... Я хочу сказать, что я рѣшилась не выходить за г. Поржицкаго.

Простыя слова. А въ нихъ заключался прекрасный подвигъ. Такъ милосердно, скромно и бережно одна женщина слагала свое сердце къ ногамъ другой женщины, своей матери.

А мать промолчала. Было мгновенье, что ей хотѣлось обнять и прижать къ груди дочь за это милосердіе, которое вдругъ отвратило все то болѣзненное, что еще могло случиться.

Но Туса не рѣшилась и промолчала. Она сознала, что и дочь узнала ея тайну.

И никто не приласкалъ дѣвочку, какъ ей того хотѣлось всегда, а тѣмъ болѣе теперь.

IX.

Такъ онѣ сидѣли въ тѣсной квартирѣ, обѣ думая объ одномъ и томъ же человѣкѣ и укрываясь передъ внѣшнимъ міромъ. Но въ этомъ мірѣ чувствовалось грозное теченіе, которое проникало сквозь стѣны квартиры и, казалось, колебало скромными тюлевыми занавѣсками, закрывавшими нижнюю половину оконъ. Тарнавичъ приходилъ рѣже и имѣлъ видъ таинственный. Эдэкъ менѣе придирался къ сестрѣ, но строилъ угрюмо-важную мину. Онъ теперь также часто, какъ прежде Мундэкъ, заходилъ по вечерамъ къ Тарнавичу, у котораго собирались и другіе товарищи. Наплывала снова одна изъ волнъ, подобныхъ той, которая унесла Мундка.

— Знаешь, Эдэкъ,—приступила къ брату Пята,—я уже не выйду за Поржицкаго. Говорю тебѣ, чтобы ты уже не упоминалъ объ этомъ ни передъ мамой, ни вообще.

— Можешь быть увѣрена, что я не стану заниматься твоими романами и глупостями. Теперь есть вещи поважнѣе.

И видно было, что вниманіе Эдва въ самомъ дѣлѣ поглощало нѣчто совсѣмъ иное, шедшее съ улицы. Не только „глупости“ перестали занимать его, но и гимназія, ученье, приготовленіе уроковъ, новые учебники. Иногда онъ выходилъ по утрамъ, даже не надѣвъ сумки. Хотя и предполагалось все-таки, что онъ ходилъ въ гимназію, но чувствовалось, что готовится какаля-то перемѣна въ обычномъ порядкѣ жизни. Были признаки, что наступить пора еще болѣе тревожная, чѣмъ Мундково время.

Однажды Эдэкъ возвратился домой гораздо раньше, чѣмъ обыкновенно приходилъ изъ гимназiи и, сѣвъ у стола, подперъ щеки руками и задумался. Пята принесла какое-то бѣлье и, замѣтивъ брата, стала укладывать принесенное въ шкафъ осторожно, чтобы не прерывать его мыслей. Но братъ самъ обратился къ ней, точно что-то вспомнивъ.

— Долженъ тебѣ сказать, что я встрѣтилъ того... комедiанта. Онъ подошелъ ко мнѣ и сказалъ, чтобы тебѣ передать: онъ не ожидалъ отъ тебя, что ты возьмешь назадъ свое слово. Такъ онъ сказалъ. И еще прибавилъ, что это мы тебя такъ передѣляли. Но что если ты передумала теперь, то такъ и лучше, а то позднѣе это было бы совсѣмъ нехорошо или что-то въ этомъ родѣ. Вралъ все! Я чувствовалъ это, что онъ сейчасъ прибѣжалъ бы, но чего-то боялся, и просилъ всѣмъ кланяться и извинить его, что не придетъ прощаться, такъ какъ получилъ „ангажмантъ“ въ другомъ городѣ, а въ Варшавѣ ему нечего дѣлать. Все вралъ, и когда насвистывалъ, уходя, нѣчто дурацкое, тоже вралъ. Все — комедiантство. Просто — боялся прійти. И слава Богу.

Пята ничего не сказала на это. Она поняла, что Поржицкiй не повѣрилъ ея письму, но догадался, что она узнала обо всемъ, а потому и не хочетъ выходить за него. Онъ уѣзжаетъ... совсѣмъ. Она его больше не увидитъ. Сердце ея болѣзненно жалось сознаниемъ безнадежности. Но это было не столько отчаянiе любви, сколько разлука навсегда съ человѣкомъ, который ласкалъ и развеселялъ ее, могъ быть для нея опорой. Такого уже болѣе никого не будетъ.

Эдэкъ спросилъ:

— А что, былъ Тарнавичъ? Онъ обѣщалъ зайти.

— Нѣтъ, его не было.

Въ комнату вошла Жебровская и только-что остановилась передъ каминомъ, какъ вбѣжала, запыхавшись, служанка и очень громкимъ шепотомъ сказала:

— Обыскъ! Полицейскiй комиссаръ, городовые... и дворника взяли.

На лѣстницѣ послышались шаги нѣсколькихъ человѣкъ.

— Не за тобой ли?

Жебровская схватила сына и прижала его къ себѣ. Еще моментъ, и раздался голосъ:

— Не эта дверь. Выше!

— Боже! — вырвалось у Питы. — Они идутъ за нимъ.

Слова ея относились къ Тарнавичу. Но обыскъ шелъ не за

нимъ, такъ какъ ему уже не дали возвратиться домой, а за его вещами, книгами и записками.

И Тарнавичъ, дѣйствительно, исчезъ на нѣкоторое время. Но Пята его уже не видала. А это было для нея новымъ ударомъ. Онъ былъ спаситель ея старшаго брата, „херувима“ — Мундэка, она въ немъ почитала пламеннаго патріота, одного изъ „набранниковъ духа“. И онъ любилъ ее, она это знала, но думала, что онъ любилъ ее, какъ братъ, какъ Мундэкъ.

И когда Пята думала о немъ, представляя его себѣ въ безжалостной тюрьмѣ, предназначеннаго на гибель, въ наболѣвшемъ сердцѣ ея слагалось сознание, что и для нея все въ жизни окончилось. Скорбное это сознание выразилось и на лицѣ, и въ движеніяхъ Питы. Она вся одухотворилась, синіе глаза смотрѣли куда-то вдаль, она едва замѣчала, что происходило вблизи ея.

Новости изъ внѣшняго міра приносилъ Жебровскийъ, возвращаясь изъ должности. Однажды, придя домой, онъ позвалъ всѣхъ и торжественно объявилъ:

— Будетъ реформа школь: во всѣхъ училищахъ будетъ введено преподаваніе на польскомъ языкѣ... Слышишь, Эдэкъ... Это до тебя касается... И Жебровскийъ весело поглядывалъ на семью.

— Охъ, насъ не надуютъ!—сердито отозвался сынъ.

Какъ-то передъ Рождествомъ, служанка вѣжала со словами:

— Пришли какіе-то, погасили газъ и всѣ лампы въ окнахъ на улицу.

Когда пришелъ Жебровскийъ, онъ подтвердилъ это, прибавивъ:

— Сегодня сняли русскія вывѣски!—Но это, должно быть, конецъ демонстрацій, больше ничего не будетъ.

— Дай Богъ!—отозвалась Туса.

Ей въ послѣднее время нездоровилось, и все происходившее еще болѣе ее разстраивало.

Слѣдующій день было воскресенье. Жебровскому не надо было идти въ присутствіе. Однако онъ, часовъ въ десять, собрался зайти въ товарищу по службѣ, какъ онъ говорилъ, по свѣшному дѣлу.

— Это недалеко, на Новомъ Свѣтѣ, я вернусь черезъ часъ.

— Возьмите меня съ собой, папа,—попросила Пята.—Доведете меня до Св. Креста, а потомъ, возвращаясь, зайдите туда за мной.

— Полно, посиди еще нѣсколько дней дома,—совѣтовала мать.—Время теперь опасное.

— Да вѣдь я съ папой... Позвольте мнѣ, мамаша. Мнѣ такъ хочется въ церковь.

Жебровская съ нѣкотораго времени обращалась съ дочерью осторожно. Зная, что и ей тяжело на душѣ, Туся говорила съ дочерью мягко и проявляла такую заботливость о ней, какъ когда Пита была еще ребенкомъ. Какъ было отказать ей въ обычномъ посѣщеніи церкви въ воскресенье? Сегодня тревожныхъ извѣстій не было, да и пойдеть она съ отцомъ. Туся согласилась.

Когда отецъ съ дочерью выходили на улицу, дворникъ снялъ цѣпку на желѣзныхъ воротахъ и выпустилъ Жебровскихъ. На всей Варецкой улицѣ ворота были заперты. Жебровский пошелъ быстрыми шагами, подъ руку съ Питой.

Выйдя на Краковское Предмѣстье, они увидѣли, что во всѣхъ домахъ были заперты и магазины, и ворота. Прохожихъ было мало, и экипажи были очень рѣдки.

— Какъ странно...—замѣтилъ Жебровский.—Варшава точно вымерла.

Пита не отозвалась. Съ тѣхъ поръ, какъ она вышла изъ дома, она не замѣчала ничего. Ей казалось, что она летитъ куда-то вдаль, вся въ обаяніи чего-то будущаго.

Жебровский замѣтилъ табачную лавочку, которой дверь была полуоткрыта.

— Подожди здѣсь минутку, — сказалъ онъ, — я куплю папирсъ...

Пита осталась на тротуарѣ. Она стояла, погруженная въ свое созерцаніе.

Вдругъ, впереди, изъ-за угла слѣдующей поперечной улицы, показались нѣсколько человекъ, бѣжавшихъ по направленію къ дѣвушкѣ. А за ними мелькнули огни. Грянулъ залпъ, и Пита, пораженная въ грудь, упала, какъ сношенный колосъ.

Къ ней бросился вышедшій изъ лавки Жебровский. Сперва онъ растерялся. Потомъ припалъ на колѣни передъ дочерью и сердцемъ отца почувствовалъ, что все кончено,—она мертва. Лазоревые глаза ея смотрѣли въ небо, съ головы свалилась шапочка, и на снѣгу раскинулись связки ея золотистыхъ волосъ. А въ сіяніи ихъ замыкалось это прелестное личико...

Не плачьте надъ ней, прохожіе. Это—чудесная смерть. Кажется, она и не была дѣйствиельно. Но въ собирательномъ дѣйствіи народа и она зачтется.

Не плачьте надъ дѣвушкой. Она была слишкомъ добра, чиста и прекрасна, и жизнь наша была не для нея.

Л. А—въ.



СТИХОТВОРЕНІЯ

I.

Обманъ

(Изъ I. Г. Зейдля).

Посмотри: стоятъ такъ близко
Двѣ горы одна къ другой,
Что на дальнемъ разстояніи
Представляются одной.

А приблизишься, увидишь:
Сверху до низу одна
И расщелиной и бездной
Отъ другой отдѣлена.

Въ этихъ двухъ горахъ, малютка,
Я и счастье мое;
Бѣгло издали посмотришь:
Мнѣ ль на свѣтѣ не житье!

А въ тайникъ души заглянешь—
О, какая предъ тобой
Развернется бездна горя
Между счастьемъ и мной!

II.

Сердце и Вселенная

(Изъ В. Константа).

Огнями горы засвѣтились,
Засеребрилась синева,
Росой алмазной заблестала
Благоуханная трава.

Умолкла жизнь. Въ тиши вечерней
Послѣдній звукъ ея исчезъ;
Природа въ сладостной дремотѣ
Полна плѣнительныхъ чудесъ.

Стоишь, и кажется, что тайну
Вселенной разумомъ постигъ,
И въ маломъ сердцѣ мѣръ великій
Вмѣщаешь властно въ этотъ мигъ.

В. Лихачовъ.



ИСТОРИЯ МОЛОДОЙ ДѢВУШКИ

— *Claude Farrère. Mademoiselle Dax, jeune fille.*—Paris, 1908.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Двадцать-пятого іюля 1904 года, въ день, когда ей исполнилось двадцать лѣтъ, Алиса Давсъ отправилась въ сопровожденіи горничной къ исповѣди. День былъ жаркій, и тяжелыя облака низко висѣли надъ городомъ. Ліонское лѣто обѣщало быть, по обыкновенію, грозовымъ и душнымъ.

— Сядемте въ трамвай, барышня, — предложила горничная.

— Ну, нѣтъ. Воспользуемся тѣмъ, что нѣтъ дожда, и походимъ пѣшкомъ.

Алиса Давсъ не любила дожда и старалась не ѣздить по трамваю, чтобы не наталкиваться на старыхъ дамъ, которыя брюзжатъ на недостаточную скромность молодыхъ дѣвушекъ. И дожда она не любила, потому что отъ дожда все становится грустнымъ и некрасивымъ; жизнь и такъ достаточно печальна, а если еще и небо плачетъ, то совсѣмъ нѣтъ силъ терпѣть. Она быстро направилась къ мосту и перешла черезъ него, увлекая за собой служанку. Рона медленно текла между величественными набережными, и ея мутныя, вздувшіяся воды пересѣкались сѣнями отъ мостовъ. По обоимъ берегамъ разстилался Ліонъ во всей своей пышности стараго города. На лѣвомъ берегу помѣ-

щались новые кварталы съ роскошными домами. Это былъ городъ „шелковиковъ“, фабрикантовъ шелка, которые проводили весь день въ конторахъ на другомъ берегу и возвращались вечеромъ въ свои роскошные дома. Тамъ жила и семья Дагсъ на Avenue du Parc. На правомъ берегу высился старый городъ, трудовой и энергичный, гдѣ непрерывно покупали, продавали, работали и обогащались.

По серединѣ моста Алиса остановилась, обрадовавшись внезапному свѣжему порыву вѣтра, но даже и не взглянула на величественную красоту обоихъ береговъ. Ей было двадцать лѣтъ; она воспитана была въ буржуазныхъ вкусахъ и любила приличные акварели, расчищенные сады, и романы, гдѣ говорилось о невинныхъ нѣжныхъ чувствахъ. Рѣзкая красота жизни не увлекала ее.

Перейдя мостъ, Алиса вступила въ одинъ изъ центральныхъ кварталовъ и пошла по улицѣ, запруженной прохожими, мимо огромныхъ складовъ, откуда вытаскивали изъ настѣжъ раскрытыхъ дверей тюки шелка. Торговцы совершали сдѣлки прямо на улицѣ, подъ шумъ трамвайныхъ рожковъ, и шумъ былъ такой, какъ на людномъ вокзалѣ. Поджидая служанку, которая затерялась въ толпѣ, Алиса остановилась у фонтана въ видѣ огромныхъ лошадей, изъ ноздрей которыхъ шли струи тонкой воды. Стройная, красивая дѣвушка привлекла вниманіе одного прохожаго, который прошелъ совсѣмъ близко отъ нея, слегка задѣвъ ее. Алиса не могла удержаться, чтобы изъ кокетства не взглянуть на него.

Онъ былъ недурень собой, молодъ, и Алисѣ на минуту сдѣлалось досадно, что во второй разъ взглянуть на незнакомца было бы неприлично. Но она была хорошо воспитанная дѣвушка, и тотчасъ же быстро удалилась своимъ нѣсколько мальчишескимъ шагомъ. Продолжая свой путь, она прошла по мосту черезъ Сону, направляясь въ Фурвьеръ, въ старый кварталъ, гдѣ тѣснились церкви и монастыри. Тамъ, на вершинѣ невысокаго холма, стояла знаменитая старая церковь Фурвьерской Богоматери, куда весь католическій міръ Европы ходилъ на богомолье. Духовникъ Алисы занималъ тамъ мѣсто перваго викарія. Фурвьеръ былъ восемнадцать вѣковъ тому назадъ форумомъ Венеры, центромъ и акрополемъ города Клавдія, и христіанскій храмъ помѣстился, какъ на тронѣ, на языческихъ развалинахъ. Онъ — огромныхъ размѣровъ, богато украшенъ гранитомъ и мраморомъ и удивительно красиво сочетается съ равниной, расположенной у подножія его башенъ, — съ лійонской равниной, вѣчно покрытой

туманами и какъ бы придавленной слишкомъ низкими облаками. Мрачному, задумчивому городу подходитъ тяжелый храмъ съ тремя башнями, которыя, какъ стрѣлы, поднимаются къ небу.

Когда Алиса вошла на паперть церкви, изъ разсѣяващаго облака упалъ лучъ свѣта, но онъ не нашелъ ни одного блага мѣстечка на сѣрой, какъ туманъ, церкви, и негдѣ ему было сверкать. Заблестала только на самомъ верху крыши золоченая статуя архангела Михаила, попирающаго ногой рогатаго дьявола.

Алиса состроила гримасу:

— Противный сѣрый городъ,—подумала она.

II.

Духовникъ Алисы, первый викарій, сидѣлъ у себя въ исповѣдальнѣ, и Алиса постучала къ нему въ бѣлую деревянную дверь въ концѣ корридора.

— Войдите!

При входѣ Алисы аббатъ Бюръ отложилъ требникъ. Онъ былъ очень старъ, совсѣмъ сѣдой и такой худой, точно душа его уже освободилась отъ тѣла. Душа у него была прекрасная, чистая и свѣжая, но чуждая людямъ. Тридцать лѣтъ исповѣданія грѣшниковъ не приблизили его къ реальной дѣйствительности, и онъ продолжалъ жить своими химерами и религиозными мечтами. Не понимая жизни, онъ не умѣлъ наставлять своихъ духовныхъ дочерей въ жизненныхъ вопросахъ, и это, можетъ быть, было лучше не только для него, но и для нихъ.

Алиса Даксъ исповѣдывалась у него съ дѣтства. Онъ воевалъ сначала противъ ея дѣтскихъ недостатковъ,—лѣни, вспыльчивости, дѣтскаго тщеславія, а теперь боролся противъ пробуждающейся въ ней чувственности. Борьба, впрочемъ, была не очень трудная, такъ какъ молодая дѣвушка была проникнута пламеннымъ благочестіемъ, и аббатъ Бюръ считалъ ее избранницей среди маловѣрныхъ христіановъ теперешняго времени.

— Господь да хранить васъ, дорогая дочь. Вы пришли исповѣдаться? Но развѣ сѣгодня...

— Нѣтъ, я пришла на недѣлю раньше. Но такъ какъ мы въ среду уѣзжаемъ на лѣто...

Отецъ Алисы былъ кальвинистъ, но женился по непонятному безразсудству на католичкѣ. Однимъ изъ условій брака было то, что дочери, которыя у нихъ родятся, будутъ воспитаны въ католической вѣрѣ. Онъ согласился, но теперь сильно раскаивался

и выражалъ свое раскаяніе въ томъ, что ставилъ всяческія преграды религиозному чувству Алисы. Такъ онъ разрѣшалъ ей только разъ въ мѣсяцъ ходить въ исповѣди.

— Куда же вы ѣдете на лѣто? — спросилъ священникъ.

— Въ Швейцарію, отецъ. Мама нашла тихій уголокъ — Сенъ-Сергъ. Будто бы тамъ хорошо для здоровья Бернара.

Бернаръ былъ младшій братъ Алисы, и его здоровье было главной заботой ея родителей; спорившіе во всемъ остальномъ, отецъ и мать Алисы были вполнѣ солидарны въ своемъ предпочтеніи сына дочери, и оба не скрывали этого предпочтенія.

— А развѣ Бернаръ боленъ? — неосторожно спросилъ аббатъ, и этимъ самъ ввелъ Алису въ грѣхъ зависти.

— Ничуть не боленъ! — воскликнула она. — Онъ выдумалъ, что у него головныя боли, надѣясь, что его пошлютъ въ Трувилъ или въ Дьеппъ, — а докторъ вдругъ отправилъ его въ горы, а не къ морю. Онъ надѣялся на казино, гдѣ играютъ оперетки, а вышло совсѣмъ не то. Впрочемъ, ему по дѣломъ. Подумай бы я жаловаться на мигрени. Никто бы и вниманія не обратилъ.

Алиса говорила это скорѣе печально, чѣмъ гнѣвно, но аббатъ Бюръ все-таки строго остановилъ ее:

— Алиса, Алиса, — сказалъ онъ. — Господь велѣлъ прощать брату не семь, а семьдесятъ разъ семь.

— Простите, отецъ, — тотчасъ же повинилась Алиса. — Я не могу сдержатъ свой языкъ. Въ сущности, я люблю Бернара, но только нахожу, что его слишкомъ балуютъ, а меня слишкомъ мало любятъ.

Но священникъ указалъ ей на то, что никакимъ баловствомъ нельзя возмѣстить бѣдному мальчику несправедливость судьбы, сдѣлавшей его протестантомъ въ то время, какъ сестра его католичка. Алиса опустила голову, такъ какъ дѣйствительно жалѣла отца и брата, не поклонившихся истинному Богу, — тому, которому служить она.

Аббатъ Бюръ сталъ разспрашивать о другомъ, чтобы разсѣять ея грусть. Онъ освѣдомился о здоровьи ея матери, потомъ обезпокоился о томъ, что Алиса все стоитъ, и предложилъ ей стулъ; но она предпочла сѣсть на соломенную молитвенную скамейку, въ дѣтской позѣ, поднявъ колѣни къ подбородку. Аббату Бюру нравилось, что она ведетъ себя, какъ ребенокъ. Онъ видѣлъ въ этомъ залогъ ея невиннаго сердца.

— Ну, а что же у васъ самой новаго, Алиса?

— Ничего, — сказала она, и стала передавать подробности

своей однообразной жизни: уроки фортепьянной игры, закончившіеся публичнымъ исполненіемъ нѣсколькихъ пьесъ въ двадцать-четыре руны, уроки акварели, посѣщеніе бѣдныхъ.

— Ну, а дома?

— Дома все то же, отецъ, — отвѣтила Алиса и вздохнула.

Дома было большей частью не весело, и Алиса не могла утолить подъ родительскимъ кровомъ свою жажду любви. Отецъ ея былъ кальвинистъ и ненавидѣлъ какимъ-то библейскимъ гнѣвомъ всякое баловство и ласковость обращенія. Мать, шумная, вспыльчивая южанка, иногда ее ласкала, но большею частью ругала. Бѣдная Алиса, страдая отъ холодности родителей, не находила опоры и въ братѣ, который эгоистично любилъ только самого себя.

— Все то же самое, — повторила она, и въ этихъ словахъ чувствовались тоскливо и часто въ слезахъ пережитые долгіе дни.

Алиса Даксъ не часто жаловалась на судьбу. Да и кому было жаловаться? Развѣ только аббату Бюру. Но онъ былъ слѣпцомъ занять небомъ, чтобы сочувствовать земнымъ страданіямъ. Къ тому же Алиса думала, что, можетъ быть, она сама виновата до извѣстной степени въ своихъ несчастіяхъ. Можетъ быть, она не заслужила, чтобы ее любили.

Но на этотъ разъ она все-таки не удержалась отъ жалобъ.

— Я знаю, что меня не за что любить. Я не красивая, не умная, не интересная, и характеръ у меня скверный. Чуть что, я сейчасъ плачу. Но все-таки они относятся ко мнѣ безсердечно.

Аббатъ Бюръ пожурилъ ее за самое желаніе нравиться красотой, и сталъ наставлять ее въ томъ, что главное — быть доброй... Но кто-же къ вамъ относится безсердечно? — спросилъ онъ, — прерывая вдругъ свою проповѣдь.

— Всѣ, — тихо пробормотала Алиса: — папа, мама, Бернаръ.

Аббатъ Бюръ съ удивленіемъ посмотрѣлъ на нее. У нея былъ здоровый видъ, румяныя щеки, одѣта она была въ красивое лѣтнее платье — словомъ, не имѣла вида жертвы. Аббатъ нахмурилъ брови:

— Не знаю, на что вы жалуетесь, — сказалъ онъ. — У васъ видъ, который возбуждаетъ скорѣе зависть, чѣмъ жалость.

— Ну ужъ и зависть! — возразила Алиса, грустно качая головой. — По-вашему, весело жить, когда никто тебя не любитъ?

Аббатъ Бюръ внимательно слушалъ молодую дѣвушку, но при послѣднемъ словѣ онъ пожалъ плечами:

— Ну, вотъ, — сказалъ онъ. — Опять старая печаль о томъ,

что васъ не любятъ! А знаете ли, дитя мое, что вы гнѣбите Господа своими жалобами. Господь васъ щедро надѣлилъ своими милостями. Ваша мать еще до вашего рожденія отстояла спасеніе вашей души, настояла на томъ, чтобы вы были католичкой. А вы ее обвиняете въ недостаточной любви къ вамъ! Что значать всѣ радости жизни сравнительно съ залогомъ вѣчнаго блаженства? Да и въ земныхъ радостяхъ вамъ не отказано. У васъ есть здоровье, богатство. Я далекъ отъ мірскихъ дѣлъ, но все-таки слышанъ объ упорномъ трудѣ вашего отца, и о томъ, какъ онъ преуспѣваетъ въ своихъ начинаніяхъ. А для кого онъ трудится? Не грѣшите неблагодарностью, не нарушайте заповѣди:— „чти отца и мать твою“. Скажите, въ чемъ собственно вы можете обвинить своихъ родителей?

— Ни въ чемъ,—проговорила Алиса. Ея отецъ и мать были безупречными родителями, которые заботились о дочери, какъ должно. Но... но Алиса, дѣйствительно слишкомъ требовательная, мечтала о болѣе вѣжномъ, болѣе ласковомъ отношеніи къ себѣ. Она смотрѣла на своего духовника широко раскрытыми черными глазами, безмолвная и задумчивая, и казалась маленькимъ сфинксомъ, который пытается разгадать загадку самого себя.

— Не забывайте,—продолжалъ опять аббатъ Бюръ,—о послѣднемъ доказательствѣ родительской любви со стороны вашего отца и матери: вы невѣста по влеченію сердца. Вамъ еще нѣтъ двадцати лѣтъ, а заботливые родители нашли вамъ достойнаго супруга. И найдя подходящаго человѣка, ваши родители сочли своимъ долгомъ сообразоваться съ вашей волей. Васъ не принуждаютъ. Вы сами дали согласіе. Такъ чего же вамъ?

Аббатъ Бюръ прервалъ свою рѣчь. Было очень жарко; онъ подошелъ къ окну и широко его раскрылъ.

— На что же вы жалуетесь?—спросилъ онъ снова, подходя къ Алисѣ.

— Да,—сказала она.—Это правда. Я дала согласіе и думаю, что буду очень счастлива, выйдя замужъ за доктора Барье... Я его уже очень люблю. Но... Но я боюсь, что онъ недостаточно любитъ меня... Не такъ, какъ я бы хотѣла...

Аббатъ на этотъ разъ разсердился:

— Не такъ, какъ вы бы хотѣли? А какъ же вы хотѣли бы, чтобы васъ любили, Алиса?

Она покраснѣла, пробормотала: — Не знаю, и потомъ, собравшись съ духомъ, продолжала:

— Я не могу точно объяснить... Я бы хотѣла, чтобы со мной говорили, не браня меня, не говоря сердитыхъ словъ.

Я хотѣла бы, чтобъ меня хоть немного баловали. Знаете, отецъ, когда мнѣ было десять лѣтъ, передъ самымъ первымъ причащеніемъ, меня на шесть мѣсяцевъ помѣстили въ пансіонъ, и тамъ и подруги, и всѣ учительницы относились ко мнѣ ласково и нѣжно... Вотъ чтò мнѣ нужно.

Священникъ холодно посмотрѣлъ на нее:

— Берегитесь, — сказалъ онъ. — Васъ соблазняетъ дьяволъ. Любовь, которою онъ васъ прельщаетъ, — не христіанская любовь. Ваши глаза, Алиса, глядятъ на грѣшную языческую химеру. Вамъ двадцать лѣтъ. Это возрастъ зрѣлой женщины. И женщину нужно любить не иначе, какъ въ Господѣ...

Онъ взялъ лежавшую на столѣ раскрытую книгу.

— Слушайте священное слово, — сказалъ онъ: — Женщина подвластна закону. Пусть она станетъ чьей захочетъ женой, но по закону Господа...

Алиса, смятенная до глубины души, закрыла лицо руками. Прошла томительная минута ожиданія. Въ одной изъ четырехъ башенъ раздался звонъ часовъ.

— Половина четвертаго, — сказалъ аббатъ Бюръ. — Исповѣдуйтесь, дитя мое. Вамъ вѣдь нужно поспѣть во-время въ городъ. Вѣдь вы, по-прежнему, ходите за Бернарромъ въ гимназію?

Алиса опустилась на колѣни, и тяжелыя мысли, омрачавшія ее, стихли. Монашеское смиреніе охватило ее передъ исповѣдью. Она провизнесла тихо, какъ говорятъ предъ алтаремъ:

— Благословите меня, отецъ мой, ибо я согрѣшила...

III.

— До свиданья, отецъ. До сентября.

— Да хранитъ васъ Богъ, милая Алиса.

Алиса Даксъ ушла. Аббатъ Бюръ взялъ свой трезникъ.

— Никого больше нѣтъ въ исповѣдальнѣ? — спросилъ онъ, проходя черезъ ризницу.

— Никого, господинъ аббатъ.

До вечера еще было далеко, и аббатъ Бюръ вышелъ подыять воздухомъ на балконъ, съ котораго разъ въ годъ архіепископъ ліонскій, въ торжественномъ облаченіи, благословлялъ родъ. Тамъ, даже въ самую жаркую лѣтнюю погоду, дулъ теръ съ холмовъ. Опершись на перила, аббатъ Бюръ сталъ дѣть вдаль и увидѣлъ удаляющійся силуэтъ Алисы Даксъ.

— Славная дѣвушка, — подумалъ онъ. — Вотъ она идетъ, очищенная исповѣдью. И когда она снова придетъ ко мнѣ черезъ два мѣсяца, едва-ли душа ея будетъ менѣе бѣлой, чѣмъ въ эту минуту.

Аббатъ Бюръ слѣдилъ за удалявшейся дѣвушкой, пока платье ея не скрылось за густыми деревьями. Она спускалась въ Лионъ, откуда доносился глухой шумъ фабрикъ, трамваевъ, вокзаловъ и казармъ. Шумъ этотъ поднимался къ балкону епископскаго дворца, какъ гулъ будничной жизни къ подножью храма.

— Въ этомъ порочномъ мирѣ, — подумалъ аббатъ, — дѣвушка эта сохранила какимъ-то чудомъ чистоту души. А вѣдь она была скверныя міра. Она знаетъ зло. Сатана искушалъ ея плоть. Но благость Господня сохранила ее отъ искушеній.

Раздался звукъ колокола и на минуту заглушилъ шумъ, поднимавшійся изъ города. Но звонъ кончился, и быстро замолъ гулъ металла; тогда снова упрямо и грозно раздался снизу гулъ житейской суеты.

— Алиса Даксъ, — продолжалъ думать священникъ, — вѣрить. Вѣра сохранить ее. Она живетъ покорная Господней волѣ и вскорѣ будетъ женой и матерью, согласно христіанскому закону, и обратитъ на мужа и дѣтей полноту своего сердца, жаждущаго нѣжности.

Аббатъ Бюръ раскрылъ свой требникъ. А въ листьѣ липы, подъ балкономъ епископа раздавалось громкое воркованіе голубей.

IV.

— Даксъ, Даксъ, у тебя украла твои карточки актрисъ.

Даксъ, Бернаръ, ученикъ четвертаго класса въ лионскомъ лицейѣ, сердито пожалъ плечами и ничего не отвѣтилъ. Да и отвѣчать было не къ чему, потому что, дѣйствительно, карточки у него были выкрадены. Замѣтивъ кражу, онъ даже испугался того, что, быть можетъ, у него въ ящикѣ рылся классный наставникъ. Тогда конецъ его репутаціи образцоваго во всѣхъ отношеніяхъ ученика. Но нѣтъ. Это, конечно, продѣлка товарищей. И преглупая! Бернаръ былъ въ бѣшенствѣ.

Уроки только-что кончились. Изъ старой черной тюрьмы вырвалась толпа экстерновъ, и среди растрепанныхъ мальчишекъ съ разгорѣвшимися щеками, сдвинутыми на ухо шляпами, Бернаръ Даксъ, аккуратно одѣтый и причесанный, выдѣлялся своимъ изяществомъ. Онъ былъ красивый мальчишекъ, зналъ это и у

искалъ успѣха у дамъ. Въ четырнадцать лѣтъ онъ былъ уже фатомъ и, кромѣ того, снобомъ. Всѣ товарищи его ненавидѣли.

— Дакъсь,—крикнулъ ему одинъ изъ мальчишекъ,—вонъ тебя тамъ няня ждетъ на панели.

Толпа школьниковъ захохотала. Алиса, пришедшая въ сопровожденіи горничной, ждала брата дѣйствительно слишкомъ близко отъ входа въ лицей. Униженный до глубины души, Бернаръ притворился слѣпымъ и прошелъ мимо, не глядя на сестру. Алиса, сжалившись надъ нимъ, пропустила его впередъ и нагнала его уже тогда, когда школьники скрылись изъ виду.

— Дура! — накинулся онъ на нее въ бѣшенствѣ.—Я тебя научу срамить меня передъ всѣмъ лицеемъ! Не могла подождать меня на набережной подъ деревьями? Ты это нарочно сдѣлала.

Алиса была вспыльчива, унаслѣдовавъ горячую кровь отъ обоихъ родителей. Но недавняя исповѣдь расположила ее къ прощенію ближнимъ. Она ничего не отвѣтила и только съ грустью посмотрѣла на брата.

Они вышли на набережную. Бернаръ, который шелъ впереди, повернулъ на первую улицу.

— Куда?—спросила сестра, но Бернаръ дерзко промолчалъ въ отвѣтъ.

— Ты хочешь пойти по улицѣ Республики? Вѣдь по ней дальше.

Ей не хотѣлось идти по улицѣ Республики главнымъ образомъ потому, что тамъ всегда много публики—и очень нарядной, и потому что слишкомъ много людей глядятъ въ глаза и провожаютъ улыбками. Послѣ исповѣди Алисѣ пріятнѣе было бы пойти по пустынной набережной.

Но она все-таки покорно послѣдовала за школьникомъ. Бернаръ, напротивъ того, сразу развеселился, очутившись на людной улицѣ. Онъ любилъ толпу, нарядныхъ женщинъ, витрины магазиновъ, праздный видъ гуляющихъ. Развеселившись, онъ даже удостоилъ сестру чести идти рядомъ съ нею. Она все-таки была красивой дѣвушкой, хотя онъ и предпочиталъ женщинъ съ подрумяненными лицами. Сдвинувъ немного назадъ соломенную шляпу, упираясь рукой въ бокъ и небрежно держа портфель съ нитками подъ мышкой, онъ старался изобразить изъ себя взрослого молодого человѣка, студента. Ему льстило, что ихъ могутъ принять за влюбленную парочку. Ему было четырнадцать лѣтъ, а онъ уже былъ одинаковаго роста съ сестрой. Онъ любезно редожила Алисѣ нести ей зонтикъ.

— Знаешь,—сказала Алиса,—мнѣ нужно пройти къ папѣ. У меня порученіе отъ мамы.

Бернаръ пожалѣлъ ее съ ироніей въ голосѣ.

— Бѣдная, вѣчно на тебя взваливаютъ порученія!

— Ты пойдешь со мной?

— Да что ты, милая? Мнѣ нужно начать канцелярныя работы.

Учебный годъ почти кончился, но Бернаръ Даксъ былъ образцовый ученикъ, такъ какъ понялъ, какую пользу можно извлечь дома изъ хорошихъ отмѣтокъ и наградъ. Отецъ его, у котораго трудолюбіе превратилось въ какую-то манію, гордился успѣхами своего сына.

Алиса вздохнула. Если Бернаръ вернется одинъ безъ нея, то ей устроить сцену. Но, если Бернаръ запоздаетъ и нажалуется на нее, то будетъ еще хуже.

Въ это время Бернаръ поклонился по направленію проѣзжавшей мимо коляски. Алиса подняла глаза и увидѣла коляску съ великолѣпными рысаками; кучеръ былъ въ роскошной ливреѣ. На подушкахъ, обитыхъ свѣтлой кожей, сидѣла довольно красивая женщина, съ ярко рыжими волосами, съ подведенными глазами, слишкомъ накрашенными губами и въ роскошномъ платьѣ. Она улыбнулась Бернару и проѣхала. Пораженная и возмущенная Алиса схватила брата за руку:

— Ты съ ума сошелъ, Бернаръ? Какъ ты смѣешь кланяться... такой женщинѣ?

Бернаръ вспыхнулъ:

— Это очень шикарная женщина. Ее зовутъ Діаной д'Аркъ.

Алиса пожала плечами. Буржуазная добродѣтель всѣхъ честныхъ бабушекъ и прабабушекъ ихъ семьи закипѣла въ ея крови, преисполнивъ ее негодованіемъ.

— Мама порадовалась бы, услыхавъ, что ты говоришь такія вещи! Гдѣ ты познакомился съ нею?

— Если тебя спросять, ты отвѣтишь, что ничего не знаешь.

Алиса удержалась отъ рѣзкаго слова и отвернулась съ презрѣніемъ отъ рыжей Діаны д'Аркъ.

V.

„Даксъ и К^о—торговцы шелковыми товарами“,—такъ гласитъ мѣдная дощечка на двери, выходящей на улицу Терайл. Улица эта, мрачная и узкая, тянется между огромными урод-

выми домами, пропитанными сыростью. Въ этихъ казармахъ помѣщаются склады шелковыхъ издѣлій. За стѣнами, покрытыми пятнами селитры и сажи, шелкъ отдыхаетъ отъ далекаго пути. Онъ привезенъ очень издалека, изъ Сиріи, гдѣ среди полей высятся бѣлые минареты и черные кипарисы, изъ Персіи, окруженной крутыми скалами, изъ Туркестана, гдѣ населеніе ведетъ бродячій образъ жизни, изъ Кванъ-Тунга въ Китаѣ, пропитаннаго благоуханіемъ дикой мяты, или изъ японскихъ долинъ, прорѣзанныхъ каналами и озерами. Китайки съ уродливо маленькими ножками и маленькія мусмэ пеклись о немъ съ материнскою заботливостью, вскормили его листьями шелковичнаго дерева, грѣли его въ закрытыхъ помѣщеніяхъ. Потомъ, къ шумныхъ прядильныхъ его разматывали въ кипяткѣ маленькими быстрыми метелками. И шелкъ цвѣта шелковичныхъ коконовъ, — золотисто-желтаго, зеленаго, какъ морская вода, или снѣжно-бѣлаго, — сложенный въ бесконечно разнообразныя тюки тысячи наименованій, началъ свой медленный путь. Его везли на сампанахъ большихъ рѣкъ, перевозили въ морскіе порты. Огромные пароходы грузили его въ свои просторныя трюмы, локомотивы возили его цѣлыми поѣздами. Онъ покоился въ докахъ и подъ навѣсами, перевозился на огромныхъ возахъ подъ смолеными покрывалами, и спитъ теперь въ складѣ на улицѣ Терайлъ, въ ожиданіи новыхъ превращеній, краски, пряжи, шитья.

„Даксъ и К^о“: высокая дверь съ вывѣтрившимся каменнымъ порогомъ, темный корридоръ съ западными — четыре зубчатая ступеньки внизъ, мрачный дворъ, плохо вымощенный, съ грязными стѣнами, съ рѣшетчатыми, какъ въ тюрьмѣ, окнами. Все насквозь пропитано нищетой. А между тѣмъ, внутри все полно шелкомъ, полно золотомъ. Въ этихъ мрачныхъ тюрьмахъ нагромождены снизу до верху тюки, завернутые въ холстъ или солому. Прежде всего, постарались помѣстить удобно шелкъ, а затѣмъ уже людей. Людямъ не нужно много мѣста. Имъ не нужно передвигаться. Они должны только, не сходя съ мѣста, работать весь день.

Контора, которая помѣщается въ одной комнатѣ, похожа на классную: выштукатуренныя четыре стѣны, грязный деревянный полъ. На одной изъ стѣнъ большая карта Кореи; въ нее вклинены японскіе и русскіе маленькіе флаги. Побѣды и пораженія на театрѣ войны обозначаютъ для торговцевъ шелковымъ товаромъ миллионныя прибыли или убытки. Затѣмъ другая карта съ множествомъ пункетовъ, отчеркнутыхъ краснымъ карандашомъ — карта Сѣверной Италіи; Даксъ и комп. имѣютъ въ Пие-

монтъ восемь фабрикъ, кромѣ большого дома въ Миланѣ. Даксъ и комп.—одна изъ самыхъ крупныхъ фирмъ въ Лионѣ.

Въ комнатѣ стоятъ шесть столовъ и шесть стульевъ для служащихъ и хозяина. Столъ хозяина, Дакса, ничѣмъ не отличается отъ пяти другихъ. Шесть перьевъ одинаково скрипятъ среди тишины, и молчавіе изрѣдка прерывается только краткими техническими фразами, которыми обмѣниваются сидящіе за столами, и звонками въ телефонъ.

Даксъ, востливыи, угловатый, съ сѣдыми волосами, съ сѣрыми глазами, съ сѣдой бородой, вдругъ спросилъ:

— Миллеръ, вы продали сырецъ?

— Да. По сорока-пяти, господинъ Даксъ.

— По сорока-пяти? А при мнѣ вчера продавали по сорока-шести.

— Цѣна упала, господинъ Даксъ.

— Почему это цѣны всегда падаютъ, когда вы продаете?

Даксъ говорилъ рѣзкимъ, оскорбительнымъ тономъ. Онъ былъ очень неприятный хозяинъ, но при этомъ чрезвычайно ловкій дѣлецъ, такъ что его подчиненные, ненавидя его, вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, преклонялись передъ нимъ.

Дверь со двора открылась.

— Здравствуйте, Даксъ.

Вошелъ толстый, добродушный человекъ и протянулъ фамльярно руку Даксу, который поднялся съ кресла, выпрямляя свое длинное тѣло, и далъ два пальца:

— Вы пришли за кантовскомъ шелкомъ?—спросилъ онъ.

Это былъ фабрикантъ-покупатель, и рѣчь шла о крупномъ дѣлѣ.

— Да, я хочу еще разъ посмотрѣть... Но если вы согласны взять по тридцати-шести франковъ, то дѣло сдѣлано.

— Нѣтъ.

Даксъ по принципу—коммерческому и общему—не произносилъ двухъ словъ, если достаточно было одного. Онъ позвалъ работника, и тотъ, взявъ электрическую лампу, повелъ ихъ въ складъ.

Тамъ размѣщались въ большомъ порядкѣ тюки шелка, поставленные одинъ ва другой. Между рядами тюковъ оставлены были проходы, по которымъ можно было свободно двигаться въ всѣмъ направлевіямъ. Это былъ точно городъ съ очень узкими улицами. Въ концѣ одной изъ этихъ улицъ Даксъ остановился передъ распоротымъ тюкомъ, изъ котораго просовывались вол-

тистыя пряди шелка, похожія на косы свѣтлой блондинки. Даксъ оторвалъ прядь и сталъ мять въ рукѣ скрипучій шелкъ.

— Вотъ вашъ шелкъ, — сказалъ онъ. — Узнаете? Два конца — двадцать-два, двадцать-четыре. Тридцать-шесть франковъ двадцать сантимовъ.

— Чортъ возьми! — воскликнулъ фабрикантъ, — какъ вы дорожите!.. Послушайте, Даксъ. Вѣдь вы знаете, что цѣны упали и еще больше упадутъ. На миръ пока надежды мало.

— Знаю, — сказалъ Даксъ. — Тридцать-шесть двадцать.

— Тридцать-шесть двадцать? Да вы съ ума сошли. Вѣдь говорятъ же вамъ, что черезъ недѣлю вашъ кантонскій шелкъ не будетъ стоить двадцати-пяти. Продавайте же, чортъ возьми! Ну, хотите за тридцать-пять? Вѣдь есть и другой шелкъ на рынкѣ.

— Знаю, — повторилъ Даксъ. — Тридцать-шесть двадцать.

Онъ не уступалъ ни пяди, упрямый, какъ мулъ, безчувственный, какъ кусокъ дерева. Покупатель, напротивъ того, выходилъ изъ себя и стучалъ кулакомъ по шелку.

— Да что вы заладили одно и то же? Неужели изъ-за несчастныхъ шестнадцати тюковъ вы готовы потерять клиента?

Онъ задыхался отъ негодованія. И какъ разъ въ эту неподходящую минуту за спиной Дакса раздался робкій голосъ:

— Здравствуй, папа!

Флегматичный въ разговорѣ съ покупателемъ, Даксъ однако выказалъ гораздо меньше выдержки относительно дочери.

— Ты затѣмъ пришла? — напустился онъ на нее и, не дожидаясь отвѣта, прибавилъ:

— Уходи, пройди въ контору. Я занятъ.

Алиса покорно отступила къ двери. Она почувствовала обиду...

„Что тамъ ни проповѣдывалъ аббатъ Бюръ, все-таки, тяжело, когда такъ обращаются при другихъ... Мнѣ двадцать лѣтъ, я — не маленькая дѣвочка“.

Въ конторѣ было очень неуютно и такъ темно, что даже въ полдень нельзя было затупить лампы. На потолокъ абажуры изъ зеленого картона непрерывно прорѣзывали рѣзко освѣщенные круги.

Тѣмъ временемъ, въ складѣ покупатель шумно доказывалъ ое, и въ отвѣтъ на все, что онъ говорилъ, раздавался рѣшильный отвѣтъ Дакса:

— Тридцать шесть двадцать.

Алиса, къ ужасу своему, услышала громкія ругательства. Истый фабрикантъ съ бѣшенствомъ бросился къ двери:

— Ни за что! Чортъ съ вами!

Онъ натолкнулся на молодую дѣвушку въ коридорѣ и, устыдившись, сталъ извиняться:

— Простите, ради Бога. Я не думалъ, что вы еще здѣсь. Простите...

Онъ бормоталъ что-то несвязное. Гнѣвъ его утихъ передъ улыбкой молодого свѣжаго лица. И когда вслѣдъ за нимъ изъ свѣлада вышелъ Даксъ, онъ обратился къ нему:

— Ну, не будемъ ссориться... И вся-то разница составляетъ сто сорокъ четыре франка... Я беру по вашей цѣнѣ ваши шестнадцать тюковъ. Такъ по рукамъ? Эта красивая дѣвушка— ваша дочь?

Въ теченіе секунды Алиса воображала, что какъ-то таинственно содѣйствовала продажѣ шестнадцати тюковъ шелка. Но послѣ ухода покупателя, отецъ тотчасъ же разубѣдилъ ее въ этомъ.

— А теперъ, скажи, пожалуйста, чего ты пришла мнѣ мѣшать?

Алиса стала говорить очень тихо. Ей казалось, что пять служащихъ, сидѣвшихъ за работой, исподтишка глядятъ на нее и смѣются.

— Меня послала мама,—тихо сказала она.

— Это еще что? Нѣтъ, что-ли, телефона у меня?

— Она просила сказать тебѣ, что у насъ обѣдаетъ сегодня господинъ Барье...

— Такъ что-же?

— И мама хотѣла бы, чтобы обѣдъ былъ не позже половины восьмого.

Даксъ, преданный дѣлу, возвращался обыкновенно домой очень поздно, и жена его, помѣшанная на аккуратности, устраивала ему за это сцены; столкновенія мужа и жены, вѣчно желающихъ настоять каждый на своемъ, очень часто обрушивались на бѣдную Алису. Такъ вышло и на этотъ разъ. Отецъ ея раздраженно пожалъ плечами:

— Я вѣдь здѣсь не для удовольствія сижу. Если твоя мать еще этого не знаетъ, то пойди скажи ей.

Съ этими словами отецъ отправилъ Алису домой.

VI.

Стоя передъ своимъ зеркальнымъ шкапомъ,—поддѣлка подъ Louis XV, очень богатая модель—Алиса Даксъ снимала шляпъ!

Въ зеркалѣ отразилась высокая, стройная, красивая дѣвушка, съ мягкими черными глазами и тяжелыми черными волосами. Но Алисъ не нравилась ей слишкомъ здоровая красота, и она была въ отчаяніи, что у нея не свѣтлые волосы и не блѣдное лицо. Ея эстетическимъ идеаломъ была хрупкость и нѣжность. Алиса бросила шляпу на постель—въ томъ же поддѣльномъ стилѣ Louis XV, какъ и зеркальный шеапъ—и посмотрѣла на каминные часы, стоявшіе между двумя канделябрами. Какъ хорошо, что ей удалось пробраться къ себѣ, не встрѣтивъ на лѣстницѣ или въ коридорѣ мать, которая по всякому поводу устраивала мучительныя сцены, наполнявшія съ утра до вечера домъ несноснѣйшимъ шумомъ. Маленькіе каминные часы очень утѣшили ее: оставалось еще болѣе часа до обѣда. Алиса, очень довольная этимъ, стала ходить по комнатѣ, ища чѣмъ заняться. На письменномъ столѣ лежалъ романъ мадамъ Крѣвентъ, но она не рѣшалась предаться увлекательному чтенію романа; такое чтеніе казалось ей слишкомъ земнымъ и, быть можетъ, даже опаснымъ въ день исповѣди. Лучше заняться рукодѣліемъ. Въ корзинкѣ лежало вышиваніе: она вышивала овечекъ на овальномъ фонѣ—для спинки кресла. Да, лучше всего работать... и мечтать.

Алиса облокотилась на подоконникъ. Домъ ихъ—маленькій особнякъ, устроенный съ большимъ комфортомъ—выходилъ на Avenue du Parc, которая собственно была набережной вдоль Роны. Комната Алисы выходила именно на набережную, но изъ за двухъ рядовъ густыхъ платановъ виднѣлся только треугольникъ тротуара, и небольшое пространство мостовой. Больше ничего не было видно, и мечтательной дѣвущкѣ нечѣмъ было развлечься.

Раздался стукъ въ дверь.

— „Общественное Благо“, барышня...

„Общественное Благо“—большая лѳнская вечерняя газета, напоминающая и по внѣшнему виду, и по духу „Journal des Debats“. Алисъ было разрѣшено читать ежедневно эту благонамѣренную газету—но только не фельетонъ. Газетные фельетоны—не чтеніе для молодыхъ дѣвущекъ.

Алиса развернула „Общественное Благо“.

Передовая статья... Политика... Финансовый бюллетень. Алиса это пропустила и стала читать сначала хронику происшествій, а потомъ извѣстія съ театра войны. Она прочла подробно о несчастіяхъ сначала г-жи Дюпонъ, попавшей подъ чажъ, затѣмъ укротителя звѣрей, у котораго тигръ отъ-

ѣлъ руку, и посочувствовала и женщинѣ, и искалѣченному укротителю звѣрей. Потомъ шли извѣстія о ходѣ военныхъ дѣйствій, и Алиса стала искать въ своемъ атласѣ названія въ газетѣ мѣста. Какъ добрая французенка, она возмущалась японцами и сочувствовала русскимъ.

А вотъ и литературная хроника. Ее составлялъ разборъ одного, повидимому, надѣлавшаго шуму романа. Алису поразило и заглавіе книги, и имя автора. „Неизвѣстно почему“, романъ Карменъ де-Ретцъ... Карменъ де-Ретцъ? Дама? Что это за особа, которая давала такія странныя названія своимъ произведеніямъ? Алиса пробѣжала статью, но не нашла въ ней никакихъ свѣдѣній объ авторѣ. Критикъ, противъ обыкновенія, занялся самимъ произведеніемъ, а не авторомъ. Алиса сразу увидѣла, что, во всякомъ случаѣ, романъ—далеко не банальный; критикъ доказывалъ, что даже недостатки романа говорятъ въ его пользу. Убѣжденный скептицизмъ соединился въ романѣ съ чрезмѣрной страстностью, и хотя это дѣйствительный недостатокъ, но онъ выгодно отличаетъ этотъ романъ отъ всѣхъ обычныхъ литературныхъ издѣлій. Романъ Карменъ де-Ретцъ, по мнѣнію критика, разбиваетъ много предрасудковъ... и даже слишкомъ много: возставая противъ предрасудковъ, укрѣпляющихъ религиозное и нравственное чувство, мятежники не указываютъ, чѣмъ ихъ можно замѣнить. Карменъ де-Ретцъ—именно одинъ изъ такихъ мятежниковъ. „Конечно“, утверждалъ критикъ, „романъ Карменъ де-Ретцъ,—не чтеніе ни для молодыхъ дѣвушекъ, ни даже для молодыхъ женщинъ. Нуженъ твердый духъ для того, чтобы воспринять, не соблазнившись, столько сверкающихъ парадоксовъ, столько увлекательной лжи, въ глубинѣ которой таится полный нигилизмъ—отрицаніе добра и зла... Да, авторъ романа „Неизвѣстно почему“ отрицаетъ добро и зло, но безъ горечи, а съ удивительной беззаботностью, которая, въ сущности, насъ смущаетъ. Публика въ наше время не боится такого отношенія къ жизни, и насъ не удивляетъ поэтому успѣхъ романа Карменъ де-Ретцъ. Успѣхъ этотъ заслуженный, хотя и вредный“...

— Вотъ странно, подумала Алиса, очень удивившись.—Неприличный романъ, и авторъ его—женщина.

Она привыкла думать, что дама-писательница должна быть необыкновенно почтенной особой. Напримѣръ, м-мъ Крэвентъ,—навѣрное, очень внушительная дама въ черномъ платьѣ и съ гладкими начесами сѣдыхъ волосъ. Алиса сразу рѣшила, что Карменъ де-Ретцъ—совсѣмъ въ другомъ родѣ. Можетъ быть, она не совсѣмъ приличная дама. Алиса тотчасъ же представила

себѣ въ образѣ Діаны д'Аркъ, развалившейся въ экипажѣ и съ крашенными волосами... Но нѣтъ, это не мыслимо. Женщина-писательница не можетъ быть такой. Она, навѣрное, носитъ очки или, по меньшей мѣрѣ, пенсне.

И какая у нея, должно быть, странная жизнь. Очевидно, у нея нѣтъ ни домашняго очага, ни хозяйства, ни дѣтей. Библиотека, рабочій кабинетъ, какъ у мужчинъ, и пальцы, запачканные чернилами. Неужели такихъ женщинъ любятъ? Неужели онѣ любятъ?

Дверь быстро открылась, и раздался сердитый, крикливый голосъ матери Алисы, толстой женщины маленькаго роста, съ черными волосами и желтымъ лицомъ.

— Алиса, Алиса! Господи, помилуй! Что съ тобой? Ты еще даже не одѣта? Смѣешься ты, что-ли, надъ своей матерью?

VII.

Габріэль Барье, женихъ Алисы Даксъ, пришелъ къ обѣду только за пять минутъ до восьми, а такъ какъ хозяинъ дома вернулся на четверть часа раньше, то жена его лишена была удовольствія устроить сцену мужу, оказавшемуся менѣе неаккуратнымъ, чѣмъ его будущій зять. Она весь вечеръ сердилась за отнятое у нея удовольствіе.

Вся семья сидѣла въ салонѣ, обставленномъ довольно безвкусно въ смѣшанныхъ стиляхъ Louis XV и модернъ; въ мебели преобладали желтый и красный цвѣта. Габріэль Барье вошелъ, церемонно поклонился хозяйкѣ дома, потомъ дружески пожалъ руку Дакса.

— Я, кажется, страшно опоздалъ? Тысячу разъ прошу извиненія. Меня задержали у полицейскаго комиссара.

— Надѣюсь, ничего непріятнаго?

— Пустяки. Маленькій скандалъ въ больницѣ. Двѣ женщины подрались.

Барье наконецъ отпустилъ руку своего будущаго тестя и подошелъ къ своей невѣстѣ. Стоя подлѣ нея, онъ закончилъ бразу:

— Ихъ пришлось отвести въ полицію.

И онъ прибавилъ, здороваясь съ Алисой.

— Правда, сегодня очень жарко?

Вся семья тотчасъ же направилась въ столовую.

— А гдѣ же мой другъ, Бернаръ?— спросилъ Габріэль Барье.

Бернаръ, которому наскуило ждать въ залѣ, ушелъ въ столовую раньше другихъ.

— Я видѣлъ его отмѣтки, — сказала Даксъ. — У него будетъ пять первыхъ наградъ и двѣ вторыхъ...

— Молодецъ! — похвалилъ Барье и поцѣловалъ въ обѣ щеки молодца, который отлично изображалъ изъ себя скромника.

Всѣ сѣли за столъ.

Доктору Габріэлю Барье, — приѣмъ ежедневно отъ 2 до 4 въ его квартирѣ на улицѣ Президента Карно — было тридцать лѣтъ; онъ былъ высокаго роста, и у него была длинная свѣтлая борода. Красивый и могучій, какъ балаганный борець, онъ годился сворѣе для роли героя, нежели влюбленнаго. Но Габріэль Барье не желалъ играть ни той, ни другой роли. Какъ врачъ, онъ презрительно относился ко всему, что его профессія заключаетъ въ себѣ иногда героическаго или рыцарскаго, и цинично заявлялъ, что леченіе — средство, а цѣль — гонораръ. Сдѣлавшись женихомъ, онъ считалъ болѣе разумнымъ ухаживать за отцомъ и матерью Алисы, чѣмъ за нею самой. Алиса, впрочемъ, не имѣла дерзости жаловаться на это, такъ какъ считала, что уже достаточно очастливлена тѣмъ, что докторъ Габріэль Барье, бывшій интернъ ліонскихъ госпиталей, соглашался взять ее въ жены. Въ дни, когда на нее нападало исключительно романтическое настроеніе, ей даже казалось, что она его любитъ.

— Такъ что же собственно произошло? — спросилъ Даксъ, развертывая салфетку. — Двѣ женщины подрались у васъ въ больницѣ?

Барье показалъ широкимъ жестомъ, что онъ умываетъ себѣ руки, какъ нѣкогда Понтій Пилать:

— Онѣ были пьяны. Всегда все то же. Всему виной пьянство.

Даксъ нахмурилъ свое длинное, угрюмое лицо и произнесъ:

— Нужна была бы большая твердость со стороны правящихъ классовъ, чтобы излечить народъ отъ его пороковъ.

Хозяйка дома запротестовала съ злобнымъ смѣхомъ:

— Бросьте говорить объ излеченіи! Если бы вы не отняли вѣру у народа, онъ бы не такъ предавался порокамъ. А теперь ничего не подѣлаешь.

Она ненавидѣла фразы своего мужа и въ особенности е) протестантство и на зло ему ходила нарочно два раза въ недѣлю въ церковь, хотя сама въ сущности не была набожна. Мужъ сейчасъ же попрекнулъ ее этимъ.

— Народъ такой же вѣрующій, какъ и ты, — сухо сказалъ онъ. — Суевѣріе — еще не вѣра.

— Вот прелесть!—заявилъ докторъ Барье, чтобы деликатно положить конецъ семейной стычкѣ.—Вотъ это—супъ, такъ супъ. Только у васъ въ домѣ и умѣютъ хорошо готовить.

Алиса, привыкшая къ такимъ разговорамъ и сценамъ, не вмѣшивалась въ разговоръ.

Барье вдругъ обратился къ своему будущему шуринау:

— Хорошъ же ты, Бернаръ... Забираешь у меня мою не-вѣсту и ѣдешь съ нею въ Швейцарію. Радъ ты хоть этому путешествію?

— Очень,—твердо сказалъ Бернаръ.—Много пришлось работать въ этомъ году и хочется отдохнуть. А вы къ намъ пріѣдете туда?

— Если смогу, пріѣду. Но докторъ—это все равно, что торговецъ шелковымъ товаромъ. Вотъ, спроси папу, можетъ ли онъ освободиться хоть на два дня, чтобы поѣхать отдохнуть?

Давсъ покачалъ головой и съ гордостью посмотрѣлъ на сына и на жениха дочери, радуясь тому, что оба они такіе трудолюбивые.

— Большой пріемъ былъ у васъ сегодня, Барье?

— Такъ себѣ. Такой, какъ всегда. Вотъ, когда мы устроимся какъ слѣдуетъ послѣ свадьбы, тогда дѣла поправятся.

Алиса робко улыбнулась и подняла глаза на жениха. Но женихъ такъ увлекся мыслями о средствахъ увеличить свои заработки, что былъ безконечно далеко отъ романтическихъ мечтаній.

— Поймите,—говорилъ онъ, обращаясь къ будущему тестю,—улица Президента Карно ничего не можетъ дать путнаго. Тамъ кое-что зарабатываешь, но это не настоящія вѣрныя деньги. Для того, чтобы твердо стать на ноги, необходимо быть дорогимъ врачомъ. Нужно поселиться въ Белькурфъ или на Авепие Ноайль. Вы понимаете меня?..

Давсъ отлично понималъ. Онъ даже подкрѣпилъ доводы Барье сравненіемъ съ торговлей шелкомъ. Разговоръ оживился. Алиса, которая силилась заинтересоваться имъ, узнавала многое, слышанное ею на улицѣ Терайль, въ конторѣ, похожей на классную комнату, вперемежку съ техническими фразами служащихъ, прикованныхъ къ своей работѣ.

Мать Алисы сидѣла нахмурившись.

Чаконецъ докторъ Барье занялся и своей невѣстой:

— Что вы дѣлали сегодня весь день, мадмуазель Алиса?

— Я была въ Фурвиерѣ.

Она боялась насмѣшливыхъ словъ, такъ какъ Барье считалъ ее вольнодумцемъ. Но онъ великодушно рассмѣялся.

— Отлично сдѣлали, что пошли. Если вамъ это пріятно... Даксъ посмотрѣлъ на дочь съ нѣкоторымъ презрѣніемъ:

— Что дѣлать, Барье,—она пошла въ мать.

— Оставьте,—добродушно сказалъ женихъ.—Мнѣ это все равно. Я не такой строгій, какъ вы, папа. Моя жена можетъ ходить въ церковь, сколько ей будетъ угодно. Я—старый либераль и не буду вмѣшиваться въ ея мысли.

Но Даксъ считалъ и себя либераломъ:

— Никто болѣе меня, милый другъ, не уважаетъ то, что достойно уваженія. Но вы увидите, суевѣріе этой дѣвочки истощитъ ваше терпѣніе. Я считаю долгомъ васъ предупредить...

Мадамъ Даксъ въ бѣшенствѣ положила вилку и нетерпѣливо пожала плечами. Докторъ поспѣшилъ умиротворить ее:

— Не сердитесь, не сердитесь,—сказалъ онъ ей.—Когда всѣ будутъ относиться къ религіознымъ вопросамъ, какъ я, вопросы эти перестанутъ волновать людей.

Мадамъ Даксъ довольно рѣзко выяснила положеніе дѣлъ:

— Вы, милый другъ, — сказала она,—говорите умно, какъ книга. Но когда всѣ будутъ думать, какъ вы, то вообще не будетъ глупыхъ людей, а этого еще нельзя такъ скоро ожидать. Вы-то, конечно, достаточно умны, чтобы обойтись безъ вѣры; да и я, хотя я, можетъ быть, и глупая женщина и совсѣмъ не ученая, тоже болѣе или менѣе въ глубинѣ души обхожусь безъ этого. Но вы женитесь на молодой дѣвушкѣ, а ей еще вовсе не въ лицу вольнодумство. Повѣрьте. Пускайте ее къ исповѣди. Вамъ отъ этого будетъ легче житься.

Алиса сидѣла, опустивъ голову и ничего не говоря. Никому не приходило въ голову осведомиться о ея мнѣніи.

— Женщина, все равно, сколько бы ей ни было лѣтъ, — сказалъ Даксъ,—почти всегда настолько слаба умомъ, что нуждается въ опекаѣ. Но у нея есть мужъ, и этого вполне достаточно. Ну, а комедія набожности приносить одинъ только вредъ. Я, конечно, не стану давать вамъ совѣтовъ...

Даксъ, по принципу, никогда никому не давалъ совѣтовъ.

— Но я на двадцать пять лѣтъ старше васъ и имѣю за собой тяжелый опытъ своей семейной жизни. Такъ вотъ, повѣрьте, что для того, чтобы жить счастливо въ семьѣ, вы должны возвысить умственно вашу жену до себя. Алиса не хуже и не лучше другихъ. Воспитайте ее. Будьте терпѣливы и рѣшительны.

Габріэль Барье слушалъ его съ серьезнымъ лицомъ.

— Глупости! — кричала м-мъ Даксъ.— Женщину мѣнье нельзя. Вы берете жену такой, какава она есть. Она немногъ о

безхарактерная и вялая, но честная и хорошо воспитанная дѣвушка—воспитанная мною. Не мудрите и не портите ей жизнь.

Она бросила презрительный взглядъ на мужа.

— Тѣ, которымъ самимъ не удалась жизнь, любятъ проповѣдывать другимъ.

— Будьте спокойны, — поспѣшили твердо заявить докторъ Барье.— Мы съ мадемуазель Алисой будемъ ладить, и я держу съ вами пари, на ваше слѣдующее путешествіе въ Швейцарію, что изъ нея выйдетъ отличная хозяйка дома.

Онъ остановился, чтобы окинуть взглядомъ сначала м-мъ Даксъ, а затѣмъ ея мужа, и убѣжденно сказалъ:

— У нея есть отъ кого унаслѣдовать всѣ нужныя для этого качества.

Мужъ и жена приняли комплиментъ на свой счетъ и успокоились. Съѣдено было мороженое съ киршемъ, великолѣпные персики и груши, пришедшіе утромъ изъ Италіи—подарокъ миланскаго компаньона. Въ ліонской буржуазіи очень хорошо ѣдятъ. Обѣдъ кончился.

Перешли въ залу пить кофе. М-мъ Даксъ шла подъ руку со своимъ будущимъ зятемъ; за нею шелъ ея мужъ, положивъ руку на плечо Бернару, а позади всѣхъ шла Алиса.

VIII.

— Алиса, сыграй что-нибудь на роялѣ,—приказала м-мъ Даксъ.

Алиса поворно сѣла за рояль.

— Хотите выкурить сигару?—предложилъ докторъ тестю.— Мы покуримъ рядомъ и послушаемъ отсюда музыку.

Образовалось два лагеря, какъ всегда. Въ одномъ—женщины, съ ихъ роялемъ и руководѣлемъ, въ другомъ—мужчины съ сигарами и коньякомъ; по турецки, гаремликъ и селамликъ. Такъ медленно тянулся мусульманскій вечеръ до половины двѣнадцатаго. Тогда только мужчины и дамы сходились на самое короткое время, чтобы сейчасъ же распротиться и разойтись.

— Мадемуазель Алиса,—крикнулъ женихъ, закрывая дверь, — я васъ слушаю. Только пожалуйста, что-нибудь веселенькое.

Алиса стала перебирать ноты. Ничего веселаго у нея не было. Все, большей частью, романсы, оперныя аріи, попури, медленные вальсы. Классической музыки совсѣмъ не было,—ея не учили въ семьѣ Дакса, да и сама Алиса предпочитала легкія

и понятныя мелодіи. Что сыграть веселаго? Алиса колебалась между гавотомъ изъ Миньоны и бравурнымъ вальсомъ подъ заглавіемъ „Всегда или никогда“. Но потомъ она вдругъ остановилась на фантазіи—„Мушкетеры въ монастырѣ“, выученной въ послѣднюю недѣлю съ учительницей музыки.

Раздались звуки рояля. Алиса играла не плохо. У нея было пріятное тушѣ и выразительная игра. Когда она кончила, то среди тишины она услышала изъ-за двери громкій, рѣшительный голосъ своего жениха, который заканчивалъ фразу:

— Поймите, милый тещь,—говорилъ онъ,—врачъ можетъ мѣнять свой адресъ въ районѣ полутора тысячъ метровъ; при этомъ теряются только мнимые больные, а какъ разъ таковыхъ у меня почти совсѣмъ нѣтъ, на улицѣ Президента Карно...

Барье остановился, замѣтивъ, что музыка прекратилась. Онъ зааплодировалъ—бѣ сожалѣнію, уже нѣсколько поздно:

— Bravo, мадемуазель Алиса. Еще, еще. Сыграйте еще что-нибудь.

Алиса, задумавшись, опустила руки на клавиши.

— Ну, что же?—окинула ее мать.—Почему ты не продолжаешь играть?

Алиса два раза кашлянула и наконецъ пробормотала:

— Почему бы не посидѣть всѣмъ вмѣстѣ въ залѣ? Было бы пріятнѣе.

— Ты съума сошла?—накинулась на нее м-мъ Даксъ, пожавъ плечами:—Ты хотѣла бы, что ли, помѣшать имъ курить?

Въ десять часовъ Даксъ и Барье вернулись въ залу. Докторъ поглядѣлъ на часы.

— Слѣдовало бы,—сказалъ онъ,—разойтись. Завтра вамъ предстоитъ утомительный день—нужно будетъ укладываться въ дорогу. Да и вообще порядочнымъ людямъ пора идти спать въ такой часъ.

— Да,—сказалъ Даксъ.

Онъ каждый день уходилъ изъ дому въ контору до семи часовъ утра и не любилъ поэтому позднихъ бдѣній.

— Если васъ послушать,—засмѣялась м-мъ Даксъ,—то пришлось бы каждый день ложиться спать съ курами.

— Сегодня,—сказалъ успокаивающимъ тономъ Барье,—не такой день, какъ всегда. Вы послѣ-завтра ѣдете въ Сень-Сергъ и завтра вамъ придется цѣлый день укладываться.

— Да,—сказала м-мъ Даксъ, взглянувъ на дочь, очень молчаливую въ присутствіи жениха.—Это правда. Отъ этой мечты тельницы помощи мало будетъ. Придется все самой дѣлать.

Докторъ Барье взялъ шляпу.

— Завтра, — сказалъ онъ, — я ѣду въ Тараръ, на консультацию, и вернусь только съ послѣднимъ поѣздомъ, такъ что мнѣ уже не удастся повидать васъ. Но послѣ завтра я поѣду провожать васъ на вокзалъ.

— Зачѣмъ? — сказала Даксъ. — Прощайтесь съ нами сейчасъ. Зачѣмъ вамъ уходить изъ дому въ часъ пріема?

— Правда, что я пришелъ бы только на минутку.

— Не стойте. Не приходите.

— Ну, хорошо.

Алиса подумала, что было бы что-то поэтическое въ послѣднемъ поцѣлуѣ на площадѣ вагона, который уже трогается съ мѣста, въ послѣднемъ прощальномъ свистѣ и высовывающемся изъ окна платочкѣ.

— Желаю вамъ пріятнаго путешествія, м-мъ Даксъ, — сказала Барье. — Воспользуйтесь отдыхомъ и поправьтесь.

— Благодарю васъ, вы очень милы. Но мнѣ-то, въ сущности, нечего поправляться. Я и такъ скриплю. Все дѣло въ здоровьѣ Бернара.

— Конечно, конечно. А ты, Бернаръ, возвращайся съ румяными щеками.

При первомъ упоминаніи о своемъ здоровьи, Бернаръ постарался придать лицу какъ можно болѣе болѣзненное выраженіе.

— И вамъ всего хорошаго, мадемуазель Алиса, — сказала наконецъ докторъ. — Счастливаго пути.

Онъ остановился, подыскивая какую-нибудь подходящую къ данному случаю фразу; но, ничего не придумавъ, онъ опять повторилъ:

— Счастливаго пути.

— Два мѣсяца разлуки — не Богъ вѣсть что. Плакать нечего, — сказала Даксъ, стараясь изобразить на лицѣ отеческую улыбку. — Мы назначимъ срокъ свадьбы, когда Алиса вернется изъ Швейцаріи. Ну, а потомъ у васъ будетъ достаточно времени видѣться другъ съ другомъ.

— О да, достаточно, — рѣзко сказала м-мъ Даксъ.

Алиса протянула руку, и докторъ Барье пожалъ ее, не задерживая слишкомъ долго въ своей рукѣ. Потомъ онъ снова сѣлъ общій поклонъ:

— Счастливаго пути, — сказалъ онъ въ третій разъ.

Алиса подошла къ окну и облокотилась на подоконникъ. Она прислушивалась къ шагамъ своего жениха.

Женихъ ея шелъ очень быстро. У него было назначено сви-

даніе въ лондонскомъ барѣ съ оперной хористкой. Докторъ Барье былъ человѣкъ степенный и не имѣлъ никакой компрометирующей его связи. Онъ только иногда завязывалъ мимолетныя интриги.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Надъ деревней Сенъ-Сергъ красивая горная тропинка ведетъ къ маленькому возвышенію, поросшему папоротникомъ; оно расположено такъ высоко, точно виситъ среди вершинъ сосенъ. Эта горная площадка носить названіе „Сигналь“ и расположена въ двухъ шагахъ отъ отеля, такъ что даже больные отправляются туда, когда идутъ гулять. Оттуда открывается болѣе красивый и широкій видъ, чѣмъ со многихъ прославленныхъ высотъ: виднѣтъ темный горный лѣсъ, спускающійся до равнинъ Женевского озера. Видна женевская долина и озеро, которое искрится, какъ на картинѣ Ватто. А дальше, на горизонтѣ, видны альпійскія вершины въ своемъ снѣжномъ саванѣ.

Утро. Алиса, получившая позволеніе гулять одной до десяти часовъ, шла быстрыми шагами по зеленой тропинкѣ. Она жадно пользовалась предоставленной ей утренней свободой. Она обожала росистую свѣжесть альпійскихъ лѣсовъ и дующій еще ночной ароматъ цвѣтовъ, и первое пѣніе птицъ, и, болѣе всего, — одиночество.

Въ этотъ ранній часъ въ гостинницѣ всѣ еще спали или медленно пили утренній шоколадъ. На лѣсныхъ дорожкахъ не видать было слишкомъ шикарныхъ туристовъ, соломенныхъ шляпъ послѣдней моды и цвѣтныхъ зонтиковъ... Алиса наслаждалась полной свободой въ эти утренніе часы. Такъ длилось уже двѣ недѣли. Мать ея была недовольна отельными постелями, какъ почти всѣмъ внѣ своего дома, и сердито говорила, что засыпаетъ только подъ утро. Бернаръ, конечно, не желалъ уходить по утрамъ изъ гостинницы, чтобы не пропустить случая встрѣтить невзначай въ корридорѣ дамъ въ дезабилье. Никто, поэтому, не мѣшалъ Алисѣ гулять одной по утрамъ; она была въ восторгѣ отъ Швейцаріи, какъ дѣвочка, прыгала по лѣсной дорожкѣ и шла вверхъ почти бѣгомъ, нарочно ступая по травѣ, покрытой росой.

Прежде чѣмъ выйти на „Сигналь“, Алиса вдругъ останови-

лась, сильно раздосадованная. Мѣсто было занято. Маленькую площадку заняли какіе-то чужіе люди.

Низкія вѣтви сосенъ скрывали Алису, и она рѣшила тихонько уйти. Но ей захотѣлось посмотрѣть на людей, еще раньше, чѣмъ она, вышедшихъ на прогулку. Она могла взглянуть на нихъ, не замѣченная ими; воспользовавшись этимъ, она оглядѣла ихъ.

Ихъ было двое: мужчина и женщина. Алиса ихъ не знала. Мужчина было лѣтъ двадцать пять, женщины — двадцать или двадцать два. Можетъ быть, это была молодая дѣвушка. Даже по всей вѣроятности. Во всякомъ случаѣ, оба они были красивы: одинаково стройные, высокіе и гибкіе; она — блондинка, онъ почти брюнетъ. Они стояли рядомъ, молча, не касаясь другъ друга, и смотрѣли на озеро и горы. Алиса разсматривала ихъ, удивляясь тому, что не видала ихъ до того. Оба они были просто и изящно одѣты. Молодой человѣкъ медленно снялъ свою фетровую шляпу и, не оборачиваясь, бросилъ ее на землю черезъ плечо.

За ними, въ голубой дали, горы и небо сливали свои блѣдныя краски. Неизвѣстная парочка вырисовывалась благородными линіями на сіяющемъ горизонтѣ.

Они не касались другъ друга, но стояли такъ близко, что постепенно руки ихъ соединились. Тогда они обернулись другъ къ другу. Алиса видѣла, какъ они оба улыбнулись; у него былъ насмѣшливый профиль, съ воинственно закрученными усами, а у нея было чистое и смѣлое лицо, озаренное взглядомъ синихъ, сверкающихъ, какъ сапфиръ, глазъ.

Ихъ уста сближались. Алиса слышала, какъ среди тишины забилось ея сердце. Странное волненіе охватило ее всю. Вдругъ оба силуэта слились въ одинъ. Свѣтлая головка склонилась на плечо молодого человѣка, и пѣніе птицъ точно стало еще болѣе громкимъ и болѣе сладостнымъ отъ звука долгаго поцѣлуя.

II.

Изъ всѣхъ дорогъ, окружавшихъ Сень-Сергъ, мать Алиси признавала только дорогу въ Арзье, потому что только по ней можно было, какъ она говорила, пройти цѣлыхъ четверть часа, не пытая „какъ альпинистъ“. О дорожкахъ, которыя вели въ лѣсъ, она и слышать не хотѣла, такъ какъ боялась змѣй. Поэтому, предъ-обѣденныя семейныя прогулки подъ солнцемъ, въ

пыли, были очень однообразны и довольно мучительны. М-мъ Даксъ сама находила ихъ чрезвычайно скучными, но считала ихъ необходимыми для здоровья Бернара.

Семья возвращалась однажды съ одной изъ такихъ прогулокъ. Бернаръ шелъ шагахъ въ двадцати впереди для того, чтобы при возможной встрѣчѣ съ какой-нибудь интересной дамой, имѣть видъ господина, который гуляетъ одинъ. Алиса, занятая своими мыслями, молча шла рядомъ съ матерью.

— Удивительное удовольствіе гулять съ тобой, — заявила вдругъ сердито ея мать. — Ты цѣлый часъ не произнесла ни слова.

Оторванная отъ своихъ мыслей, Алиса отвела взглядъ отъ черныхъ сосенъ, окаймлявшихъ линію холмовъ.

— Какая скука!

М-мъ Даксъ любила произносить монологи и только справлялась иногда о мнѣніи дочери.

— Какая скука! — повторила она. — Еще сорокъ пять дней такой пустой жизни. И что-то дѣлается дома въ моемъ отсутствіи?

Алиса сдѣлала жестъ, показывающій, что она этого знать не можетъ.

— Дай подумать, — продолжала м-мъ Даксъ, — 30 сентября — пятница? Скажи же, Алиса.

— Да.

— Ты говоришь „да“, а на самомъ дѣлѣ не знаешь. Весело же будетъ съ тобой твоему мужу — могу себѣ представить... Такъ, значить, пятница. Въ такомъ случаѣ, мы поѣдемъ 29-го, чтобы не быть въ пути въ несчастный день. Все-таки выиграемъ сутки, и дадимъ отцу твоему урокъ терпимости.

На дорогѣ показался почтальонъ. При видѣ Бернара, онъ остановился и сталъ рыться въ сумѣ съ письмами.

— Сегодня развѣ понедѣльникъ? — спросила м-мъ Даксъ, ускоривъ шаги.

Аккуратный, въ выраженіи своихъ чувствъ, какъ и въ дѣлахъ, Даксъ писалъ женѣ разъ въ недѣлю, въ опредѣленный день.

Былъ, дѣйствительно, понедѣльникъ. Бернаръ принесъ письмо. М-мъ Даксъ стала искать глазами удобное мѣсто для того, чтобы сѣсть и прочесть письмо.

На краю дороги стояла каменная скамейка. М-мъ Даксъ сѣла и вынула булавку изъ шляпы, чтобы разрѣзать конвертъ. Алиса и Бернаръ стали стоя слушать. Такъ всегда происходило чтеніе писемъ...

„Дорогая моя! Ничего новаго въ Лионѣ. Думаю, что у васъ не такъ жарко, какъ у насъ. Я надѣялся урваться на два дня, чтобы съѣздить къ вамъ на этой недѣлѣ, но оказалось невозможнымъ. Дѣлѣ все больше и больше. Я, конечно, не жалуюсь, даже напротивъ; я работаю, а вы отдыхаете. Каждому свое, по его силамъ.

„Кстати, я попрошу васъ оказать мнѣ одолженіе. Вамъ это не будетъ очень трудно. Нужно сдѣлать визитъ одной дамѣ, которая живетъ, вѣроятно, неподалеку отъ вашего отеля. Я вамъ говорилъ объ одномъ марсельскомъ купцѣ, Терьенѣ. У насъ съ нимъ большія дѣла, и онъ человѣкъ серьезный, къ которому я отношусь съ большимъ почтеніемъ. Онъ былъ вчера проездомъ въ Лионѣ, и говоритъ, что жена его въ Сень-Сергѣ. Они, кажется, почти разошлись, потому что не сходятся характерами. Но они—люди почтенные, и жена также, какъ мужъ. Поэтому, я хотѣлъ бы, чтобы вы навѣстили м-мъ Терьенъ. Ему это будетъ пріятно, и я вамъ буду очень признателенъ за это.

„До свиданья, милый другъ, поцѣлуйте за меня дѣтей и поберегите здоровье Бернара. Барье, съ которымъ я выдаюсь ежедневно, шлетъ почтительные привѣты вамъ, а также своей невѣстѣ. Вашъ преданный мужъ Даксъ“.

— Это все?—спросила Алиса.

— Конечно, все. Чего же тебѣ еще?

М-мъ Даксъ положила снова письмо въ конвертъ и спрятала его въ мѣшочекъ, который носила въ рукахъ.

— Еще и визиты дѣлать приходится! Прямо, силъ нѣтъ. Алиса, мы пойдемъ завтра въ три часа.

— Какъ, и я?

— Разумѣется. А ты думала, что я отправлюсь одна къ незнакомой дамѣ? Если бы ты была не такая безсердечная, ты бы сама предложила матери сопровождать ее и раздѣлить съ ней скучную обязанность. Но ты не такая. Весело съ тобой будетъ твоему мужу!

III.

Подойдя къ оградѣ маленькаго шале м-мъ Терьенъ, мать Алисы поглядѣла вокругъ себя испытующимъ взглядомъ прежде, чѣмъ позвонить.

Рѣшетка вокругъ дома ничего особеннаго изъ себя не представляла, но была красиво обвита боярышникомъ. Большой садъ, обсаженный высокими деревьями лиственницы, отдѣлялъ

домъ отъ дороги. Самый домъ былъ едва виденъ за оградой высокихъ деревьевъ съ низко спускающимися вѣтками. Но все-таки можно было болѣе или менѣе разглядѣть его: низкій фасадъ, совершенно ровный, безъ башенъ, безъ шпица, простой деревянный крашеный фасадъ, темно-красный, на которомъ вырисовывалось зеленое кружево лиственницы. И затѣмъ, много оконъ, одно подлѣ другого, безъ ставень.

— Настоящая казарма, — рѣшила м-мъ Даксъ.

Она дернула звонокъ, представляющій изъ себя лапку горной серны на цѣпочкѣ, и поднялся трезвонъ множества колокольчиковъ, спрятанныхъ въ боярышникѣ. М-мъ Даксъ пожала плечами. Надъ рѣшеткой значилось большими буквами странное названіе дома „Шалэ Кошекъ“.

— Казармы или домъ сумасшедшихъ.

Но м-мъ Даксъ нѣсколько измѣнила это первое сужденіе при появленіи лакея въ желтомъ жилетѣ.

Крыльцо—шесть ступенекъ изъ потрескавшагося камня съ пробивающейся въ расщелины травой (нарочно, что-ли, ее посадили, эту траву), огромная передняя совершенно пустая, маленький салонъ, съ бѣлыми цыновками на полу и стѣнами, обитыми кретономъ; большая гостиная, затѣмъ средняя, и всѣ съ цыновками на полу и обитыми стѣнами. Повсюду множество бамбуковой мебели, вресель, дивановъ, кушетокъ и безконечное количество подушекъ всевозможныхъ цвѣтовъ и формъ, — шелковыхъ, бархатныхъ, батистовыхъ, кружевныхъ, вышитыхъ подушекъ, нагроможденныхъ грудями на восточные ковры и китайскія цыновки. Затѣмъ, разбросанные всюду музыкальные инструменты, скрипки, гитары, альты, мандолины, віолончели, два концертныхъ рояля, органъ. А кромѣ этого, ничего, ни одной бездѣлушка.

Мать и дочь осторожно ступали, натываясь всюду на мѣшавшія ходить подушки.

Было темно, несмотря на отсутствіе ставень у оконъ, потому что всѣ занавѣсы были задернуты для защиты отъ солнца. Къ тому же, вмѣсто ставень, окна были заставлены маленькими деревянными рѣшетками съ переплетомъ, доходившими до середины оконъ—какъ въ турецкихъ гаремахъ. Очень высокіе потолки были выкрашены въ темную краску.

М-мъ Даксъ и Алиса дошли до третьей—средней гостиной.

Сдвигается съ мѣста кушетка, падаютъ подушки. Быстро поднимается съ кушетки и идетъ навстрѣчу посѣтительницамъ

женщина, до того гибкая и стройная, что кажется молодой, не смотря на бѣлые, какъ серебро, волосы...

— Вы мадамъ Даксъ?—говоритъ она.—А я мадамъ Теръень. Мой мужъ извѣстилъ меня о томъ, что вы будете. Я очень рада познакомиться съ вами. Садитесь, пожалуйста, сюда. Это кресло удобно.

Она обернулась къ кому-то, стоявшему за ней.

— Позвольте представить вамъ моего сына Жильбера.

М-мъ Даксъ вспомнила, что съ нею дочь, и тоже представила:

— Моя дочь, Алиса.

Всѣ сѣли и стали оглядывать другъ друга.

Жильберъ Теръень не очень красивъ. Двадцати или двадцатипяти лѣтъ, очень черные глаза, но при этомъ очень маленькій, угловатый, тщедушный, и даже, вѣрнѣе сказать — калѣва: онъ слегка хромаетъ. Алиса Даксъ, здоровая, сильная, представляетъ полный контрастъ съ нимъ.

— Какая у васъ прелестная дочь!—воскликаетъ съ искреннимъ восхищеніемъ мадамъ Теръень.—Садитесь около меня, милая.

М-мъ Теръень говоритъ нѣжнымъ голосомъ, съ какими-то подчасъ дѣтскими интонаціями; Алиса поддается странному обаянію ея голоса и подходитъ къ ней.

— Сюда, сюда, на кушетку. Тутъ есть мѣсто для двоихъ, увѣрю васъ.

Мадамъ Теръень улыбается. У нея дѣлается при этомъ удивительно доброе лицо.

— Какая вы счастливая, что у васъ такая прелестная, свѣжая, розовая дочка!—говоритъ она.—А меня вотъ этотъ мальчишъ прямо измучилъ: онъ больной, у него нервы никуда не годятся. Ему нужно спокойствіе, и ничто ему такъ не вредитъ, какъ музыка. А онъ все-таки занимается днемъ и ночью работою.

— Вотъ какъ,—сказала мадамъ Даксъ, стараясь быть, насколько возможно, любезной.—Вашъ сынъ—музыкантъ?

— Да нѣтъ же,—запротестовалъ, улыбаясь, Жильберъ Теръень.—Я только любитель.

Онъ улыбнулся, совсѣмъ какъ мать, съ такимъ же мягкимъ взглядомъ. Они были вообще очень похожи другъ на друга. Она тоже не была красива. Разговоръ возобновился.

— Вы уже давно здѣсь?—спросила мадамъ Даксъ.

— Скоро уже два мѣсяца, и, вѣроятно, останемся всю зиму.

— Всю зиму!—въ ужасѣ повторила мадамъ Даксъ.—Вы здѣсь замерзаете?

— Можетъ быть, будемъ немного мерзнуть. Но Жильберу хочется видѣть наши лиственницы подъ снѣгомъ.

— Увѣрю васъ,—сказалъ Жильберъ,—что въ Швейцаріи слѣдуетъ жить именно зимой. Только снобы и буржуа предпочитаютъ прїѣзжать сюда лѣтомъ. Не понимаю, какъ это мы съ мамой озутились здѣсь теперь.

— Да мы можемъ уѣхать, если тебѣ хочется.

— А Карменъ и Фужеръ?

— Мы ихъ оставимъ здѣсь. Мы можемъ отлично путешествовать вдвоемъ.

— А моя опера?

— Ахъ, да, это другое дѣло. Въ такомъ случаѣ, останемся.

Мадамъ Терьенъ весело расхохоталась и обернулась къ мадамъ Даксъ:

— Вы, навѣрное, думаете, что мы оба—сумасшедшіе? Да и мой мужъ, вѣроятно, сказалъ вамъ, что я—сумасшедшая. Но что дѣлать? У меня въ жизни только то и есть, что мой сынъ, и я дѣлаю все, что онъ хочетъ, не думая о томъ, благоразумно ли это, или нѣтъ. Но я все же должна прибавить, что и онъ дѣлаетъ все, что я хочу, хотя бы даже это не имѣло никакого человѣческаго смысла. Мы очень смѣшно любимъ другъ друга. Мы совсѣмъ, какъ влюбленные.

Сынъ наклоняется къ ней. Она привычнымъ жестомъ протягиваетъ руку, и сынъ медленно и нѣжно цѣлуетъ ее.

Алиса не спускаетъ глазъ съ этой руки и съ этихъ губъ, точно какой-то магнитъ притягиваетъ ее.

Визитъ длился двадцать-пять минутъ; мадамъ Даксъ поднимается.

— Нѣтъ, нѣтъ,—протестуетъ мадамъ Терьенъ. — Если вы сейчасъ же уйдете, я приму это за личную обиду. Прежде всего, у насъ здѣсь въ гостяхъ двое друзей, съ которыми я хочу васъ познакомить. Я не знаю, куда они ушли, но они сейчасъ вернутся. Теперь время пить чай. Я вѣдь увѣрена, къ тому же, что вамъ совершенно некуда спѣшить.

Мадамъ Терьенъ подходитъ къ столу, на который только-что поставили самоваръ.

— Не думайте, пожалуйста, что мой чай такой, какой подаютъ въ отелѣ. Нѣтъ, это чай для знатоковъ. Фужеръ выпиваетъ его намъ изъ Пекина черезъ посольство...

Она останавливается, не кончая фразы, чтобы точно отмѣрить нужное количество ложечекъ чая.

— Фужеръ, Бертранъ Фужеръ—нашъ лучшій другъ,—го-

ворить она наконецъ. — Я вамъ его сейчасъ представлю. Онъ такъ любезенъ, что согласился провести съ нами три мѣсяца своего отпуска. Онъ — секретарь посольства въ Константинополѣ.

Она отставляетъ шкатулку съ чаемъ.

— Ну вотъ, теперь готово.

Она садится на кушетку и ласково беретъ за талию Алису.

— У насъ тутъ въ гостяхъ одна молодая дѣвушка, тоже, какъ вы, очень хорошенькая. Я увѣрена, что имя ея вамъ знакомо: это Карменъ де-Ретцъ.

Алиса, очень взволнованная, спрашиваетъ:

— Та, которая пишетъ книги?

— Да... та, которая пишетъ книги. Она даже здѣсь написала новую вещь: либретто къ оперѣ, музыку для которой пишетъ мой сынъ.

Мадамъ Даксъ стала изъ вѣжливости выражать изумленіе:

— Какъ, оперу — большую оперу? Какъ же она будетъ называться?

— Огромную оперу, — заявляетъ безъ улыбки мадамъ Терьенъ. — Она будетъ называться „Дочерью Лота“. Жильберъ мнѣ сказалъ, что сюжетъ — неподходящій для матерей семейства. Что-жъ дѣлать, я не пойду на первое представленіе. Да, молодежь стала теперь очень смѣлой. Нашимъ сѣдинамъ приходится краснѣть.

Наступаетъ молчаніе. Мадамъ Даксъ, смутно встревоженная, смотритъ на свою дочь.

— Наконецъ-то! — восклицаетъ вдругъ мадамъ Терьенъ. — Вамъ не придется долго ждать: да и чай какъ разъ настоялся. Вотъ наша повтесса, а съ нею и Фужеръ.

Дверь въ гостиную растворяется, и на порогѣ появляются молодая дѣвушка, свѣтлая блондинка, съ отважнымъ профилемъ, и молодой человекъ, почти брюнетъ, съ насмѣшливыми лукавыми глазами.

Алиса закусываетъ въ ужасъ губы, чтобы не вскрикнуть: она ихъ узнала. Образъ этой парочки запечатлѣлся въ ея памяти. Это были тѣ, которыхъ она видѣла наканунѣ на Сигналѣ, и которые при ней обмѣнялись долгимъ поцѣлуемъ.

IV.

Алиса была въ достаточной степени знакома съ жизнью, чтобы знать о поцѣлуяхъ. Но ея рѣшительный образъ сужденія

строго отличалъ двѣ категоріи поцѣлуевъ: законную, въ которую входятъ поцѣлуи семейные и между супругами, и категорію порочныхъ поцѣлуевъ между легкомысленными молодыми людьми и дурными женщинами съ крашенными волосами, которыя ѣздятъ иногда въ роскошныхъ коляскахъ. Но поцѣлуй, которымъ обмѣнялись на ея глазахъ Бертранъ Фужеръ, дипломатъ, съ знаменитой женщиной Карменъ де-Ретцъ, не входилъ ни въ ту, ни въ другую категорію. Алиса была удивлена и встревожена.

Бертранъ Фужеръ раскланялся съ мадамъ Дабсъ съ утонченной свѣтской вѣжливостью, а Карменъ де-Ретцъ привѣтствовала гостью тоже очень учтивымъ, хотя и слегка романтичнымъ реверансомъ...

Потомъ они подошли къ Алисѣ, которая не спускала съ нихъ глазъ. Они казались ей поразительно прекрасными — еще болѣе тѣмъ на Сигналѣ. Карменъ де-Ретцъ была дѣйствительно очень красива: у нея были волосы золотистаго отлива, глаза сверкавшіе, какъ синеватые угли, и что-то необыкновенно смѣлое въ выраженіи лица, придававшее очень современный оттѣнокъ ея правильнымъ античнымъ чертамъ. Что касается Бертрана Фужера, то онъ очаровывалъ легкой граціей, напоминавшей времена вельможъ и свѣтскихъ аббатовъ XVIII-го вѣка; казалось, что камзолъ старыхъ временъ былъ бы ему болѣе къ лицу, чѣмъ современное платье. Словомъ, онъ былъ вполне достойнымъ героемъ романа.

Алиса не могла не признать этого про себя. И хотя изъ нихъ двухъ Карменъ де-Ретцъ, авторъ „Дочерей Лота“ и романа „Неизвѣстно почему“, была, несомнѣнно, болѣе значительной особой, все же Алиса больше смотрѣла на Бертрана Фужера.

Къ тому же онъ сѣлъ подлѣ нея въ то время какъ Карменъ разливала чай. Мадамъ Терьенъ продолжала разговаривать съ матерью Алисы и открывала ей тайну приготовленія настоящаго турецкаго кофе. Алиса слушала Фужера, который сѣлъ у ея ногъ на грудѣ подушекъ. Онъ не говорилъ ничего очень замѣчательнаго, а повторялъ банальныя любезности, которыя каждый молодой человѣкъ считаетъ своимъ долгомъ говорить каждой молодой дѣвушкѣ при встрѣчѣ. Но онъ умѣлъ придавать самымъ пошлымъ фразамъ нѣкоторую пикантность своимъ остроуміемъ и тѣмъ, что любилъ составлять чрезвычайно академичныя фразы изъ словъ менѣе всего академичныхъ.

Алиса, совершенно не избалованная остроумными разговорами, была въ восторгѣ.

Мадамъ Терьенъ попробовала чай и сдѣлала гримасу.

— Слншвомъ настоялся. Вотъ что значить ждать запаздывающихъ людей. Гдѣ вы собственно были вдвоемъ?

Фузеръ сталъ объяснять:

— Наша муза пожелала искать вдохновенія на какой-нибудь дѣвственной вершинѣ. Я—человѣкъ прозаическій, и это желаніе, долженъ сознаться, показалось мнѣ довольно сумасброднымъ. По моему, „Дочерей Лота“ лучше бы писать въ комнатахъ съ закрытыми ставнями. Но мы все-таки отправились на горную вершину и поднялись на тысячу триста тридцать метровъ надъ уровнемъ моря. Но тамъ насъ ждало величайшее разочарованіе: тамъ кнпѣло швейцарцами, коровами и туристами.

Мадамъ Терьенъ стала со смѣхомъ протестовать:

— Хоть бы, Фузеръ, называли животныхъ послѣ людей въ своемъ перечисленіи.

— Я такъ и сдѣлалъ. Я сказалъ: тамъ кнпѣло швейцарцами, коровами и туристами. Неужели, по-вашему, туристы не животные низшей расы? Это—стадо отвратительныхъ барановъ, которыхъ погоняеть свобизмъ.

— Сударыня,—сказалъ онъ, обращаясь къ мадамъ Даксъ,—позвольте выразить вамъ мои сожалѣнія, такъ какъ вы осуждены, живя въ отелѣ, терпѣть близость вышеозначенныхъ барановъ. Скажите кстати, вы гдѣ живете? Въ шалѣ кальвинистовъ, или въ шалѣ кѣки-уока?

Мадамъ Терьенъ сочла своимъ долгомъ дать нужныя объясненія.

— Этотъ сумасшедшій,—сказала она,—называетъ по причинамъ, которыхъ я не желаю знать, этими названіями два маленькихъ отела Сень-Серга: шалѣ Бротъ и шалѣ Колури.

— Мы живемъ въ Грандъ-Отелѣ, надъ Сень-Сергомъ,—сказала мадамъ Даксъ съ понятной гордостью.

Бернаръ Фузеръ почтительно наклонилъ голову.

— Я васъ съ этимъ поздравляю, сказалъ онъ.—По крайней мѣрѣ, вы избѣжали трапезъ за общимъ столомъ, гдѣ всѣ зовутъ другъ друга по имени черезъ двѣ недѣли. И что за столъ, и что за семья въ этой благословенной странѣ! А кальвинистскій шалѣ, который краснѣеть за свой кальвинизмъ, и называется неизвѣстно почему, отелемъ Бротъ.

— Это фамилія хозяйки,—замѣтилъ Жильберъ Терьенъ, сидѣвшій за органомъ.

— Эта безстыдная женщина не стыдится выставлять на выѣскѣ свое честное вдовье имя! Въ этомъ домѣ чтятъ Господа

на женевскій манеръ. Тамъ не даютъ пріюта никакой четѣ, если она не предъявить предварительно брачнаго свидѣтельства. Мадамъ Бротъ дѣлаетъ сама ночные обходы для облечения и предупрежденія безнравственности, а по воскресеньямъ она запираетъ на ключъ рояль, для того, чтобы ухо Господне не было оскорблено нечестивой свѣтской музыкой. Вотъ, каковъ шалэ Бротъ. Тамъ бы вы, сударыня, спасли свою душу, чего никакъ нельзя сказать про другой шалэ, конкурирующій съ этимъ, и справедливо называемый шалэ вэкъ-уока... Тамъ царство Купидона и Бахуса. Хозяйка — привлекательная особа, чуть-чуть за пятьдесятъ лѣтъ, которая доходитъ въ своей предупредительности къ гостямъ до невообразимыхъ предѣловъ. Насчитывается не менѣе восьми совершенно темныхъ коридоровъ и пять потайныхъ лѣстницъ; много комнатъ имѣютъ двойные выходы, и каждая комната соединена тайнымъ ходомъ съ сосѣдней. Мадамъ Колури заботится о томъ, чтобы одинокія дамы не оставались бы слишкомъ одинокими. И каждый день механическій рояль исполняетъ игривыя мелодіи, призывающія всѣхъ къ танцамъ... Да, сударыня. Живя въ международномъ Грандъ-Отелѣ, вы многое теряете.

Мадамъ Даксъ, слегка озадаченная объясненіями Фужера, сочла все-таки своимъ долгомъ улыбнуться.

— Въ Грандъ-Отелѣ не особенно хорошо, — сказала она. Прислуга очень плохая.

— Грандъ-Отель слишкомъ уродливъ, — рѣшительно заявила Карменъ де-Ретцъ, подошедшая къ музыканту за органъ. — Я провела здѣсь одинъ сезонъ вмѣстѣ съ отцомъ, восемь или девять лѣтъ тому назадъ, и помню еще очаровательную террасу, обсаженную соснами, на которой они имѣли безстыдство построить свой уродливый семизэтажный отель. Теперь нельзя пойти гулять въ ту сторону. Съ каждой дорожки такъ и бросается въ глаза уродливый длинный фасадъ Грандъ-Отеля. Если бы и это знала, Теръень, мы бы отправились куда-нибудь въ другое мѣсто писать нашихъ „Дочерей“.

Карменъ де-Ретцъ вышла на средину комнаты и говорила съ жаромъ, закинувъ за спину обѣ руки, въ красивой, хотя и нѣсколько театральной позѣ. Алиса, въ первый разъ внимательно взглянувъ на нее, удивилась, замѣтивъ, что у нея нарумянены губы и подведены глаза. Какъ странно, что такая молодая красивая дѣвушка считала нужнымъ краситься. Алиса не успѣла предаться своему изумленію: Бернаръ Фужеръ, продолжавшій сидѣть по-турецки на подушкѣ у ея ногъ, иронически отвѣтилъ поэтессѣ:

— Одиночество, чистый воздухъ вершинъ и далекіе горизонты — все это вамъ нужно для того только, чтобы писать потомъ ужасы, которые не рѣшаются читать даже такіе шелопаи, какъ я.

Она презрительно пожала плечами:

— Я пишу то, что чувствую, — сказала она. — Мнѣ нѣтъ никакого дѣла до того, что подумаете вы и толпа.

— Она — анархистка, — оправдывала ее снисходительная мадамъ Терьенъ.

— Конечно. Я — послѣдовательная анархистка. У меня нѣтъ ни вѣры, ни законовъ, и я поэтому не считаю своимъ долгомъ чему-либо повиноваться.

— Да это неправда, — послѣшно возразилъ Фужеръ. — Напротивъ того, — вы перешли въ новую вѣру. Вы молитесь кумиру красоты съ большимъ благоговѣніемъ, чѣмъ итальянка своей Мадоннѣ... Ваше искусство — догматъ, ваше поэзія — служеніе, и у васъ твердая вѣра, — какъ у угольщика. И вотъ я, котораго вы обвиняете въ буржуазности, я — о ужасы! — свѣтскій человѣкъ и дипломатъ, — я — большій анархистъ, чѣмъ вы, ибо я не создаю никакихъ кумировъ. Красота? — условное понятіе. Искусство? — фантазія. Поэзія? — ложь. Любовь? — злоупотребленіе довѣріемъ.

Онъ повернулся на своей грудѣ подушекъ и съ улыбкой взглянулъ на Алису, но она не улыбалась... Она обратила на него почти испуганный взглядъ и очень тихо пробормотала:

— Скажите, это правда, что вы во все это не вѣрите?

Онъ молча поглядѣлъ на нее, и его ироническая улыбка сгладилась. Наконецъ онъ отвѣтилъ еще тише, чѣмъ она:

— Нѣтъ, неправда... Не нужно брать въ серьезъ то, что я говорю.

Онъ провелъ рукой по лбу и Алиса залюбовалась его длинными тонкими пальцами. Онъ уже заговорилъ легкимъ тономъ:

— Конечно, я во все это вѣрю, настолько вѣрю, что я самъ артистъ и поэтъ и, конечно, влюбленъ.

Онъ вскочилъ на ноги:

— Музыкантъ, музыки — крикнулъ онъ.

Но Жильберъ Терьенъ не хотѣлъ играть.

V.

— Эта мадамъ Терьенъ, — разсуждала мадамъ Даксъ, возвращаясь домой по пыльной дорогѣ, которую она предпочитала

лѣсу, — была бы хорошей женщиной, еслибы она только отдалась отъ своего неуязвимаго сына, который не умѣетъ ни слова сказать, и отъ этой шальной парочки, которую она не знаетъ гдѣ подцѣпила.

На западѣ солнце касалось горизонта. Небо, мѣднаго цвѣта, бросало отблески на снѣгъ горъ, и черное кружево сосенъ казалось декорацией огромнаго театра китайскихъ тѣней.

— И почему эта женщина, — продолжала мадамъ Даксъ свой монологъ, — живетъ врозь отъ мужа? Возможно, что ей трудно жилось съ нимъ. Но всѣ мужья таковы, и честная женщина должна умѣть мириться съ этимъ. Вѣроятно, было что-нибудь другое: вѣроятно, онъ измѣнялъ ей. Тогда это, конечно, вопросъ личнаго достоинства. Но все-таки, напрасно она ведетъ себя, какъ одинокая женщина или вдова. Это неприлично...

Въ лѣсу, окаймлявшемъ дорогу, звенѣли колокольчики запоздавшихъ стадъ, и звуки эти смѣшивались съ шелестомъ вѣтра.

— Они, вѣрно, очень богаты, эти Терьени. — Мадамъ Даксъ остановилась, чтобы удобнѣе заняться подсчетомъ. — За такой домъ они платятъ, вѣроятно, очень дорого. Онъ огромный — какъ церковь. Мебель тоже, вѣрно, у нихъ своя. А еще эти проходимцы, которыхъ они держатъ у себя, тоже не мало стоятъ, навѣрно. У мужа и жены, вѣроятно, раздѣльное имущество.

Сгущались сумерки. Изъ лѣса доносился нѣжный аромат.

— И все-таки, заключила мадамъ Даксъ, — они для насъ неподходящіе знакомые. Лѣтомъ, здѣсь еще туда-сюда; но въ городѣ есть, слава Богу, достаточно людей благоразумныхъ, и нѣтъ необходимости знаться съ Терьеними. Они намъ отдадутъ визитъ, и этимъ дѣло кончится. Алиса, да что съ тобой, прости Господи? Почему это ты идешь, поднявъ глаза къ небу и не отвѣчая мнѣ ни слова?

Алиса упорно смотрѣла на вершину Сигнала, видѣвшуюся на высотѣ холма. Золотистые сумерки, музыка вѣтра и колоколовъ, аромат лѣса, проникали ее въ то время, какъ она съ сладкимъ волненіемъ повторяла себѣ, что, навѣрно, сможетъ, если сумѣетъ за это взяться, видаться почти каждое утро тамъ наверху съ тѣми, которыхъ ее мать назвала богемой.

VI.

Алиса, согласно своему желанію, часто встрѣчала своихъ новыхъ друзей во время утреннихъ прогулокъ.

Она продолжала выходить каждое утро, за долго до пробужденія отеля. Она даже теперь жертвовала утреннимъ кофе, для того, чтобы раньше побродить по тропинкамъ, еще обвѣяннымъ дыханіемъ ночи, подъ соснами, на которыхъ нависла роса, сверкавшая подъ солнцемъ разноцвѣтной радугой. Алиса покупала гдѣ-нибудь у пастуха по дорогѣ стаканъ молока, пахнущаго лѣсными травами, или оставалась безъ всякаго завтрака, если ей не встрѣчался по дорогѣ никакой пастухъ.

Самымъ важнымъ для нея было придти первой на мѣсто, выбранное по общему соглашенію наканунѣ, — на Сигналь или на Бельведерь, или на горную равнину, усаженную голыми утесами, и которую они называли Замкомъ. Алиса приходила всегда первая, выбирала лучшее мѣстечко, чтобы сѣсть, и ждала другихъ...

Считая долгомъ скрывать свое нетерпѣніе, она принимала разсѣянный видъ и разглядывала альпійскій пейзажъ, только украдкой бросая взоры на дорожку, по которой должны были показаться свѣтлые зонтики Карменъ де-Ретцъ и м-мъ Терьенъ...

Карменъ не всегда приходила. Ее часто задерживалъ за работой у органа Жильберъ Терьенъ, который совсѣмъ не выходилъ изъ дому. Алису очень поразило то, что „артисты“ такъ много работаютъ. М-мъ Терьенъ, напротивъ того, очень любила гулять. Фужеръ почти всегда ее сопровождалъ. Онъ, повидному, вовсе не стремился быть постоянно въ обществѣ Карменъ, и Алиса такъ и не могла понять поцѣлуй того утра, когда она впервые ихъ увидала.

Они сходились большей частью втроемъ. Нѣсколько времени они проводили, разсматривая альпійскій пейзажъ, а потомъ медленно шли дальше. Они не ходили очень далеко. Фужеръ находилъ всегда гдѣ-нибудь въ сосѣдствѣ очаровательный уголокъ, гдѣ сводъ изъ сосенъ защищалъ отъ солнца. Тамъ они разговаривали, сидя на сухомъ мху или среди папоротниковъ.

Алиса, быстро сблизившаяся съ новыми друзьями, усаживалась у ногъ м-мъ Терьенъ и клала ей голову на колѣни. Она почти ничего не говорила и только слушала въ упоеніи... Тутъ не говорили о политикѣ, не сводили хозяйственныхъ счетовъ и никогда не ссорились.

Вернувшись въ отель, Алиса снова попадала въ колею своей тяжелой семейной жизни. Она, конечно, ни слова не говорила матери о томъ, какъ проводить утренніе часы, и мать ея, увѣренная, что дочь бродитъ утромъ по дорожкамъ вокругъ отеля, не отнимала у нея позволенія, даннаго въ первый день.

VIII.

Однажды Алиса, лежа у ногъ м-мъ Терьенъ, обратилась съ вопросомъ къ Фужеру:

— Послушайте, вотъ вы живете въ Константинополѣ. Скажите, тамъ очень красиво?

Алиса робѣла передъ своимъ отцомъ, матерью и женихомъ, но со своими новыми друзьями она разговаривала совершенно свободно.

— Константинополь? Нѣтъ, не очень красивъ. Даже совсѣмъ не красивъ... А хуже того.

Бертранъ Фужеръ, прислонившись къ вѣткѣ лиственницы, пристально смотрѣлъ на синій дымокъ своей папиросы. Передъ глазами его, быть можетъ, мелькали пятьсотъ мечетей Стамбула, съ минаретами, вытянувшимися, какъ копья. Алиса повторила, не понимая:

— Хуже?

Фужеръ стряхнулъ пальцемъ пепелъ папиросы и опустилъ взглядъ на молодую дѣвушку, растянувшуюся на травѣ.

— Хуже. Прекраснѣе, чѣмъ очень прекрасно. Онъ прекрасенъ значительной и тяжелой красотой, которую вы бы совершенно не могли постичь.

Отецъ и мать Алисы часто говорили ей такія же фразы. „Ты этого не понимаешь“ — было постояннымъ припѣвомъ, который Алиса слышала по сорока разъ на день, и эти слова жгли, какъ огнемъ, ея самолюбіе.

Но Фужеръ произнесъ ихъ такъ, что въ нихъ не было ничего обиднаго. Голосъ его звучалъ такъ вѣрачиво и обаятельно. Алиса поняла, что рѣчь идетъ о слишкомъ сложныхъ вещахъ, недоступныхъ пониманію молодой дѣвушки. Но такъ какъ все-таки Фужеръ старался объяснить, то она съ благодарностью и вниманіемъ слушала его.

— Прежде всего, тамъ очень грязно, — сказалъ онъ. — Представьте себѣ городъ безъ тротуаровъ и мостовыхъ, безъ канализаціи, безъ дорогъ и почти безъ фонарей. Узкія, кривыя улицы, заваленныя отбросами и покрытыя густымъ слоемъ грязи. Какъ это вамъ покажется?

Она съ удивленіемъ подняла голову.

— Затѣмъ, все полуразрушено. Каменные дома въ трещинахъ и покрыты темнымъ слоемъ селитры. Деревянные дома

расшатаны, и кажется, что они, какъ пьяные, не могутъ держаться на ногахъ. Всюду провалы, развалины. Это—какъ бы кладбище города. И, для довершенія грустнаго вида, на каждомъ шагѣ встрѣчаются маленькіе садики, выступающіе на улицу, и садики эти—семейныя усыпальницы. Турки любятъ жить рядомъ со своими мертвыми.

— Какой ужасъ!

— Да, конечно, ужасъ... И городъ—одинаковый изъ конца въ конецъ. Ни бульваровъ, ни аллей, ни набережныхъ. Никакихъ памятниковъ, кромѣ мечетей, которыя—ничто иное какъ большія груды сѣрыхъ камней подъ сѣрыми куполами. Ихъ безконечно много. А надъ крышами бѣлые минареты перемежаются съ черными кипарисами.

— Но вѣдь это ужасно?

— Да. И не забудьте при этомъ палящій зной лѣтомъ, а зимой ежедневный дождь. Грязь, липкая, какъ смола, превращается, высыхая, въ пыль, слѣпящую глаза.

— И вамъ этотъ городъ нравится?

Голосъ Фужера вдругъ сдѣлался болѣе глухимъ и мечтательнымъ:

— Да. Онъ мнѣ нравится больше, чѣмъ Неаполь, больше, чѣмъ Венеція—больше, чѣмъ Парижъ. Стамбуль, Стамбуль! Вы не можете этого понять, милая Алиса, вы, никогда не покидавшая вашу прибранную Францію или Швейцарію, украшенную бантиками, какъ кукольные барашки. И даже, если бы вы побывали въ Константинополѣ, вы бы не поняли нашего города. Я люблю эту мертвую столицу именно потому, что она мертвая. Я люблю ее за ея мертвенную тишину, за пустынность улицъ, похожихъ на улицы Помпей. Я люблю ее за стая вороновъ, карлающихъ въ кипарисахъ. Я люблю ее за ея нѣмые дома, гдѣ за рѣшетками происходитъ что-то невѣдомое, за угрюмыя мечети, послѣднія убѣжища и послѣдній оплотъ послѣдняго изъ боговъ, которому поклонялись люди; люблю ее за покрывала, скрывающія красоту женщинъ, за гордую и честную душу ея народа и за высокую византійскую стѣну, которая окружаетъ ее и отдѣляетъ ее отъ насъ, отъ нашего времени—отъ нашего сѣда, нашей неврастени и нашей гангрены.

Онъ замолчалъ. М-мъ Терьенъ, облокотившись на одно колено и подперевъ рукой щеку, смотрѣла на него съ боку, съ серьезнымъ видомъ.

— Смѣшной вы человекъ, право, Фужеръ. Вы все это искренно любите?.. Или это... только литература?

Онъ нерѣшительно открылъ ротъ для объясненія. Она превала его:

— На половину одно, на половину другое, не правда ли?— сказала она.— Вы мнѣ очень нравитесь, Фужеръ, но мнѣ хотѣлось бы почувствовать васъ въ чемъ-нибудь вполне искреннимъ.

Онъ сталъ со смѣхомъ протестовать:

— Да неужели же вы не чувствуете мою абсолютную искренность, когда я говорю вамъ, что люблю васъ и Жильбера?

Она покачала головой:

— Конечно, конечно. Въ вашихъ чувствахъ я не сомнѣваюсь. У васъ доброе сердце, я знаю,—но голова страшно вѣтренная. Вотъ вы растрогались отъ нѣжности къ вашему варварскому городу. А вѣдь вы о немъ не думали пять минутъ тому назадъ. И я знаю, что прежде, чѣмъ вернуться туда, вамъ нужно прожить мѣсяца два на бульварахъ, насытиться маленькими театрами, парижскими ресторанами, и также, быть можетъ, вамъ нуженъ для этого мѣсяць въ Ниццѣ и Монако.

— Что же, крайности сходятся.

— Вы выражаете свое презрѣнiе къ старой Европѣ съ ея подгнившей культурой. Но развѣ вы сами не чистѣйшій продуктъ этой самой презираемой вами культуры? Точно вы не восторгаетесь тѣмъ, что есть самаго ужаснаго въ этой культурѣ,—декадентскими стихами, непонятыми женщинами, американскими напитками и тонкостями диалектики! Могу вамъ одно сказать...— Она поднялась съ оживленіемъ и пригладила руками гладкіе начесы бѣлоснѣжныхъ волосъ:

— Я отъ всей души жалѣю женщину, которая поддастся обаянію вашихъ лукавыхъ глазъ.

Онъ весело расхохотался:

— А вѣдь знаете,—сказалъ онъ,—такія женщины есть.

— Ну, я не объ этихъ говорю. И несчастье въ томъ, что придетъ та, о которой я говорю, истинная, наивная, которая будетъ вѣрить каждому вашему слову и вѣрить въ искренность чувствъ, а вы ее, глупѣйшимъ образомъ, приобщите ко всѣмъ другимъ, и похороните въ общей могилѣ.

Онъ быстро приставилъ палець ко рту и съ испугомъ остановилъ ее.

— Замолчите, ради Христа,—сказалъ онъ.— Вы помѣшаете мадемуазель Алисѣ влюбиться въ меня.

Мадемуазель Алиса, вся порозовѣвшая, смѣялась отъ всѣхъ души.

III.

Въ другой разъ, подъ соснами надъ дорогой въ Лионъ, разговоръ зашелъ о любви. Погода была пасмурная. Небо было пепельнаго цвѣта, и собирався идти дождь. Но Фужеръ и мадамъ Терьенъ все-таки пришли на свиданіе, условленное наканунѣ.

— Мы не хотѣли измѣнить вамъ, — крикнула мадамъ Терьенъ Алисѣ, едва завидѣвъ ее еще издали. — Но если пойдетъ сильный дождь, я уже буду васъ винить и заставлю васъ лечить мой насморкъ.

Фужеръ злобно смотрѣлъ на угрюмый пейзажъ, на темныя сосны на скатѣ, на долину внизу и на потемнѣвшее озеро.

— Какъ это все ужасно! — сказалъ онъ.

— А вѣдь вы говорили, — замѣтила Алиса, — что любите дождь?

— Да, но не въ этой странѣ розовыхъ и голубыхъ красокъ. Нужно, чтобы все было въ стилѣ. Я, напримѣръ, люблю дождь въ Лионѣ, гдѣ сѣрыя мостовыя окаймлены высокими сѣрыми, какъ туманъ, домами. Кажется, что вокругъ стоятъ монастыри, и что, когда мягкіе звуки дождя заглушаютъ шумъ земли, слышнѣе будутъ колокола монастырей.

— Лионъ ужасенъ подъ дождемъ, — возразила Алиса. — Тамъ тогда невыносимо грустно.

— Да, но грусть эта гармонично сливается со всѣмъ, что вокругъ. А здѣсь что? Взгляните.

Онъ пожалъ плечами и, повернувъ спину къ пейзажу, вынулъ изъ бармана книгу.

Алиса съ любопытствомъ взглянула на маленькую книгу съ краснымъ обрѣзомъ, въ мягкомъ кожаномъ переплетѣ рыжеватаго цвѣта.

— Вы сегодня такой благонравный, — сказала она. — Это что же, вашъ молитвенникъ?

— Боюсь, что нѣтъ, — сказала со вздохомъ мадамъ Терьенъ и наклонилась, чтобы прочесть заглавіе:

— Письма Юліи Леспинасъ? — съ удивленіемъ воскликнула она. — Я и не знала, что вы любите классиковъ, милый Бертранъ.

Онъ запротестовалъ.

— Классики!.. Да что это собственно значить? Я знаю только двѣ литературныя школы — дурную и хорошую. Дурная школа — это тѣ писатели, которые писали, чтобы портить бумагу,

а хорошая—это тѣ, которымъ было что сказать, и которые старались вмѣстить какъ можно больше мыслей, какъ можно меньше словъ. Юлія Леспинась принадлежитъ именно къ этой категоріи. Повѣрьте, что когда она высказывала мысли, которыя ей не давали спать, то дѣлала это не для болтовни.

— Вотъ какъ? — шаловливо спросила мадамъ Терьень. — А для чего же, милый Фужеръ? Скажите мнѣ, пожалуйста.

Онъ обвинулъ ее возмущеннымъ взглядомъ.

— Легкомысленная женщина! — проговорилъ онъ. — Взгляните на эту невинную дѣвушку, которая краснѣетъ отъ вашихъ вольностей, и лучше послушайте, чѣмъ говорить ужасы.

Онъ открылъ книгу на заложеной страницѣ: *

„Одиннадцать часовъ вечера, 1774. Боже, какъ я васъ сегодня мало видѣла, и какъ мнѣ тяжело не знать, гдѣ вы теперь. Какъ чувство мѣняется и какъ бы уничтожаетъ все! То „я“, о которомъ говоритъ Фенелонъ, — полная химера. Я положительно чувствую, что „я“ не я, а вы. И я не должна ни отъ чего отказываться, чтобы стать вами. Ваши интересы, ваши чувства, ваше счастье, ваше удовольствіе—вотъ то я, которое мнѣ дорого. Все остальное для меня—чужое“.

Онъ перевернулъ страницу и перелисталъ дальше:

„Подумайте: вѣдь я могла бы завтра съ вами обѣдать и сегодня быть съ вами. Будьте добры, будьте великодушны: отдайте мнѣ всѣ минуты, которыя не принадлежатъ вашимъ удовольствіямъ и вашимъ дѣламъ. Я хочу, чтобы послѣ нихъ мое мѣсто было первымъ. Если это слишкомъ большое желаніе, то, по крайней мѣрѣ, дозвоьте мнѣ желать. Вы совершенно вѣрно угадали сегодня утромъ: мнѣ нужна была не моя книга, а вашъ отвѣтъ. Я готова отказаться отъ всѣхъ книгъ, которыя были и будутъ написаны, если бы я могла вмѣсто этого ежедневно получать письмо отъ васъ. Я только васъ и хочу видѣть и слышать безпрестанно. Другъ мой, я васъ люблю“.

Онъ остановился и посмотрѣлъ на мадамъ Терьень вызывающимъ взглядомъ. Она покачала головой.

— Да, да,—сказала она.—Я знаю, все это прекрасно. Но согласитесь, что это едва-ли подходящее чтеніе для молодой дѣвушки въ томъ возрастѣ, когда чувства легко пробуждаются.

Алиса, лежа въ травѣ, подперла голову руками и слушала затаивъ дыханіе. Фужеръ прочелъ еще страницу:

„Во всякую минуту моей жизни, другъ мой, я страдаю, я васъ жду, и я васъ люблю“.

— Вотъ самое прекрасное, самое пламенное и самое опрѣ

дѣленное любовное письмо, когда-либо написанное. Прекрасное, какъ ласка, и ясное, какъ теорема. А вотъ еще это, написанное въ часъ смерти, и въ которомъ слышится безшумный плачь, какъ бы плачь статуи мавзолея:

„Я хотѣла бы знать, какова будетъ ваша судьба; я хотѣла бы, чтобы вы были счастливы. Я только что получила ваше письмо; у меня былъ сильный жаръ. Не могу вамъ сказать, какъ много времени и труда мнѣ стоило прочесть его. Мнѣ не хотѣлось оставить до сегодняшняго дня; у меня отъ этого чуть не сдѣлался бредъ. Я жду сегодня извѣстій отъ васъ. Прощайте, другъ мой. Если бы я снова вернулась на землю, я бы опять хотѣла провести всю жизнь въ любви къ вамъ. Но теперь уже поздно“.

Фужеръ читалъ съ увлеченіемъ. Голосъ его становился все болѣе возбужденнымъ, искреннимъ и сильнымъ. На послѣднихъ строчкахъ онъ какъ бы прервался, чтобы передать рыданія умирающей женщины. Потомъ Фужеръ закрылъ книгу и продолжалъ молча стоять, опустивъ глаза.

Алиса поднялась на локтѣ и протянула руку къ маленькой книжкѣ. Она разглядѣла ее вблизи, затѣмъ раскрыла ее съ благоговѣйнымъ чувствомъ. Между страницами влетены были бѣлые листки. Между двумя склеенными листками просвѣчивали помѣщенные тамъ нѣсколько строкъ, очевидно сохранившіеся въ тайнѣ. Алиса изъ чувства деликатности перевернула страницу и стала перелистывать дальше. Она искала послѣднее письмо, написанное „въ часъ смерти“. Предъ глазами ея точно пѣли гимнъ любви возвышенные слова: „Если когда-нибудь я вернусь къ жизни, то я опять хочу жить, чтобы любить васъ“. Это мѣсто было подчеркнуто чѣмъ-то ногтемъ. Можетъ быть, чья-то нѣжная рука отиѣтила это мѣсто. Алиса покраснѣла и закрыла книгу. Тонкій переплетъ точно хранилъ повѣренную ему тайну.

Капли дождя зашумѣли въ соснахъ. Но густыя вѣтви служили надежнымъ кровомъ, сквозъ который дождь еще не проливалъ.

Алиса спросила слегка дрожащимъ голосомъ:

— Кому же она писала эти письма?

Фужеръ поднялъ голову и широко раскрылъ руки.

— Кому? Господи помилуй. Чему же васъ учили въ пансіонѣ?—спросилъ онъ.

— Фужеръ!—побранила его м-мъ Теръень.

— Что-жь, по-вашему не возмутительно, что взрослая молодая дѣвушка не знаетъ, кто такая Леспинасъ?—Къ счастью, она встрѣтилась со мной, и я могу просвѣтить ее. Послушайте,

милое дитя. Леспинасъ, Юлія Леспинасъ, родилась, не знаю гдѣ и отъ какихъ родителей, въ лучшую пору XVIII-го вѣка. Ея рожденіе, которое сильно огорчило ея родителей, принужденныхъ, хотя они и были повѣнчаны, жить врозь, отмѣтило всю ея жизнь особымъ проклятіемъ. Ее пріютила сначала старая, слѣпая и сварливая дама, которая вскорѣ стала ее ненавидѣть за то, что она была красива, граціозна и добра и владѣла такимъ образомъ тѣми качествами, которыхъ не доставало ея покровительницѣ. Изгнанная отъ нея, она попала къ одному своему пріятелю, по имени д'Аламберу. Этотъ д'Аламберъ, философъ, математикъ, но человѣкъ кроткаго нрава, давно ее любилъ, но не рѣшался ей этого сказать. Она сдѣлалась его любовницей.

— Фужеръ!

— Я бы очень желалъ для вашего удовольствія, чтобы этого не было. Но любовь къ истинѣ заставляеть меня отмѣтить этотъ фактъ. И не жалѣйте объ этомъ. Ихъ исторія была бы менѣе прекрасна, если бы она не стала его любовницей, и если бы бѣдная Юлія, обладавшая очень слабымъ сердцемъ, не выказала бы однажды слабости къ благороднымъ чувствамъ своего друга.

Алиса нахмурила брови:

— Почему же они не поженились?

— Это ихъ дѣло. Это насъ не касается.

— Такъ значить, она писала д'Аламберу?

— Ничуть не д'Аламберу. Имѣйте терпѣніе выслушать до конца. Чего ей было писать д'Аламберу, если она видѣла его каждый Божій день до самой смерти? Но въ одинъ весенній вечеръ, неосторожный д'Аламберъ представилъ ей маркиза Мора, а маркизъ Мора былъ, несомнѣнно, самый обаятельный человѣкъ во всей Испаніи. Юлія сдѣлалась его любовницей.

— Фужеръ, перестаньте!

— Это такъ, сударыня. И я долженъ еще сказать мадемуазель Алисъ, чѣмъ, быть можетъ, удивлю ее очень, что любовь маркиза Мора къ дѣвицѣ Леспинасъ не только заслуживаетъ извиненія, но и должна быть признана прекрасной; въ любви этой было столько страсти и столько искренности, что съ нею не могло бы сравниться никакое законное супружество.

— Да простятся ей за это грѣхи ея, — сказала мадамъ Тарьенъ. — Но не забудьте, милый Бертранъ, Юлія Леспинасъ писала письма, собранныя въ вашей книжкѣ, не маркизу Морю.

— Ахъ да, Я чуть было не забылъ. Вотъ до чего доводи

увлеченіе. Я долженъ прибавить еще третью главу къ этому историческому роману. Юлія де Леспинасъ встрѣтила маркиза Мора въ одинъ весенній вечеръ и сразу полюбила его. А въ одинъ осенній вечеръ, она встрѣтила графа Гибера, и тоже сразу его полюбила. Не укорайте ее за это, м-ль Алиса. Есть женскія души,—вы сами это потомъ узнаете—которыя Господь не защитилъ громомъ. Бѣдная Юлія была одной изъ такихъ несчастныхъ жертвъ. Раздѣленная между двумя противорѣчивыми чувствами, изъ которыхъ каждое было властнымъ и тиранническимъ, измученная раскаяньемъ и отчаяньемъ, она провела всю свою жизнь въ слезахъ и рыданіяхъ и столько страдала, что въ концѣ концовъ умерла отъ этого.

— И все это оттого,—заключила мадамъ Терьенъ,— что, какъ вы только что сказали, она сейчасъ же становилась любовницей каждаго изъ тѣхъ, въ кого влюблялась. Не будь этого, у нея было бы трое друзей; она бы всѣхъ ихъ безпрепятственно любила, и все было бы хорошо.

— Да, это было бы прекрасно, но это невозможно. Нѣжность души выражается ясно только тогда, когда раскрываются объятія.

Съ вѣтромъ сосенъ, отяжелѣвшихъ отъ дождя, падали капли. Алиса, сидѣвшая съ опущенной головой, не дрогнула, когда струя воды упала ей на шею.

— Ну вотъ и дождь,—сказалъ Фужеръ.— Уйдемте скорѣе до ливня.

Они быстро побѣжали.

IX.

На высокой лужайкѣ Замка, Алиса и мадамъ Терьенъ сидѣли рядомъ. Было уже начало сентября. Алиса съ грустью смотрѣла вдаль въ сторону Ліона.

— Черезъ двѣ недѣли,—пробормотала она,— я съ вами должна буду проститься.

Мадамъ Терьенъ съ добрымъ материнскимъ чувствомъ поцѣловала молодую дѣвушку:

— И вамъ дѣйствительно грустно уѣзжать?—спросила она.— Да, у васъ такой осиротѣвшій видъ, какъ только вы уходите отъ меня. Такъ у васъ дома очень грустно?

Алиса покачала головой.

— Да, не весело... Никто никого не любитъ,—закончила она свою мысль, помолчавъ.

Алиса и мадамъ Терьенъ очутились случайно наединѣ въ это утро. Жильберъ задержалъ Карменъ де-Ретцъ у органа. Фужеръ, на котораго напало желаніе одиночества, ушелъ одинъ на зарѣ съ книгой подъ мышкой.

— Скажите, мадамъ Терьенъ, — спросила вдругъ Алиса, — почему вы живете врозь отъ своего мужа?

Мадамъ Терьенъ, повидимому, не удивилась этому вопросу.

— Потому что онъ не любитъ меня, и я не люблю его, — просто отвѣтила она.

— А, — проговорила Алиса.

Она страннымъ образомъ предчувствовала такой отвѣтъ и теперь продолжала внимательно смотрѣть на молодое лицо своей пріятельницы — молодое, несмотря на окаймлявшій его вѣнокъ бѣлыхъ волосъ.

— Мнѣ кажется, — мадамъ Терьенъ скорѣе думала вслухъ, нежели говорила, — мнѣ кажется, что моя исторія можетъ васъ заинтересовать. И я думаю, что она можетъ послужить хорошимъ примѣромъ для вступающихъ въ жизнь. Въ прежнія времена старыя женщины вѣдь поучали маленькихъ дѣвочекъ... Меня выдали замужъ въ шестнадцать лѣтъ, и я была тогда такъ наивна, точно мнѣ было семь. Въ этомъ причина всѣхъ несчастій моей жизни. Отецъ мой былъ въ дѣловыхъ отношеніяхъ съ моимъ будущимъ мужемъ — оба они были марсельскими купцами. Между двумя покупателями оливковаго масла или мыла, они подписали мой брачный контрактъ. Отецъ мой былъ не злой человѣкъ. Онъ спросилъ моего согласія и не насилывалъ волю. Но у меня не было воли. Чтобы желать, нужно знать. А я понятія не имѣла о замужествѣ. Мой женихъ присылалъ мнѣ каждый день букетъ бѣлыхъ розъ и тайкомъ цѣловалъ мнѣ руки. Я была очень счастлива до самаго дня свадьбы... Ну, а потомъ, я почувствовала возмущеніе и отвращеніе и безконечно страдала.

Она на минуту замолчала, поглощенная тяжелыми воспоминаніями, и Алиса стала нѣжно гладить ея руку, какъ бы желая утѣшить ее.

— Такъ длилось десять лѣтъ, — продолжала она. — Я была женой дѣловаго человѣка, очень практичнаго, въ мозгу котораго не оставалось ни мѣстечка для мечты и поэзіи; я же оставалась все тѣмъ же сантиментальнымъ ребенкомъ, жаждущимъ поэзіи. А мнѣ приходилось выслушивать теоріи коммерческихъ операцій, прерываемыя совѣтами о томъ, что нужно содержать въ строгости прислугу. И при этомъ я должна была переносить гру

была ласки, которыя казались мнѣ насиліемъ. Я была слишеюмъ наивна—болѣе, вѣроятно, чѣмъ вы. Современныя дѣвушки кое-что да знаютъ. Вамъ будетъ не такъ страшно и не такъ горько. А я терпѣла страшную муку и униженіе цѣлыхъ десять лѣтъ. Мужъ мой не замѣчалъ, что у меня есть умъ и сердце, какъ у него—больше, чѣмъ у него. Ахъ, милая, такихъ мужей множество. Жена для нихъ или хозяйка, или куртизанка. Если они обезпечиваютъ имъ ежедневное пропитаніе въ обмѣнъ на всю ихъ свободу и всѣ ихъ стремленія, они считаютъ, что вполне съ ними расквитались. Въ лучшемъ случаѣ иногда куртизанка, и въ особенности хозяйка, заслуживаетъ ихъ расположеніе. Они согласны иногда сдѣлать ее своей союжницей, они пользуются ея здравымъ умомъ. Но, что касается ея души, ея вкусовъ и жажды нѣжности, спящей во всякой женской душѣ,—до этого имъ нѣтъ никакого дѣла.

Мадамъ Теръенъ, вдругъ замолкнувъ, долго разглядывала альпійскій пейзажъ, обутанный мягкимъ, нѣжнымъ туманомъ.

— Какъ я спаслась?— снова начала она, отвѣчая на настойчивый взглядъ Алисы. — Благодаря моему сыну. Жильберъ родился на второй годъ послѣ моей свадьбы. Онъ росъ, былъ привязанъ ко мнѣ, становился человѣкомъ; въ немъ просыпалась теплая и нѣжная душа. Я чувствовала, какъ онъ страдаетъ отъ соприкосновенія съ грубостью отца. И вдругъ я поняла, что мой долгъ—спасти его и себя вмѣстѣ съ нимъ. Какъ вчера, помню этотъ день... Это былъ понедѣльникъ, утро. Я надѣла шляпу и позвала извозчика. У меня не было даже терпѣнія выждать часъ, когда мужъ мой вернется изъ конторы. Онъ подумалъ, что я съ ума сошла, когда я отправилась къ нему и, безъ всякаго вступленія, потребовала свободы и выдачи мнѣ сына... Помню его растерянное лицо въ первую минуту. Потомъ онъ въ страшномъ бѣшенствѣ грубо обругалъ меня. Я, конечно, этого ждала.

— Такъ что же вы сдѣлали?

— Я... Я знала, что онъ мнѣ измѣняетъ... Какъ всѣ. Мнѣ это, конечно, было совершенно безразлично. Но я воспользовалась этимъ. Я стала шпионить, какъ это ни оскорбляло мою гордость, и уличила его однажды. Подъ угрозой процесса о разводѣ мой мужъ уступилъ. У него былъ дѣтскій страхъ передъ мнѣ, что считается скандаломъ. Подъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы слово „разводъ“ даже не упоминалось, онъ согласился жить навсегда отдѣльно отъ меня и отдать мнѣ Жильера... Онъ его не любилъ изъ-за его хромоты. Во всей этой исторіи счастье мое въ томъ, что я достаточно богата, чтобы

жить независимо и воспитывать сына, не прося ни у кого милостыни. Теперь мой сынъ—взрослый человекъ, Алиса. Мы уже четырнадцать лѣтъ живемъ вмѣстѣ, совершенно свободные. И за эти четырнадцать лѣтъ я ни одного часа, ни одной минуты не пожалѣла о моихъ прежнихъ цѣпяхъ и о томъ, что у меня хватило смѣлости ихъ разбить.

Наступило долгое молчаніе. Алиса съ трудомъ могла объединить обрывки мыслей, носившихся у нея въ головѣ. Наконецъ она съ усиліемъ проговорила:

— Ну, а если бы вашъ мужъ не захотѣлъ... Если бы онъ не отпустилъ васъ? Вы бы вѣдь не развелись? Вы только угрожали ему, чтобы его напугать?

Мадамъ Терьенъ удивилась.

— Конечно, развелась бы.

— Да неужели?

— Васъ это возмущаетъ?—Но мадамъ Терьенъ поняла ее и улыбнулась.—Я и забыла, что вы набожная,—сказала она.

— А вы развѣ нѣтъ?

— Конечно. Но не такъ, какъ вы. Да и мать ваша, кажется, менѣе вѣрующая, чѣмъ вы.

— Это вѣрно,—сказала Алиса.—Она даже совсѣмъ не вѣрующая. Она ходитъ въ церковь, но только по привычкѣ.

— Вотъ какъ! А вашъ отецъ, вы говорили, протестантъ?

— Да.

— Такъ значитъ—ваша мать только потому и воспитала васъ въ религиозныхъ чувствахъ, чтобы сдѣлать это на зло мужу? Очаровательно... Вотъ видите, милая, какъ хорошо было бы для вашихъ родителей, если бы они развелись.

Алиса улыбнулась отъ одного предположенія. Потомъ, выдвинувъ рѣшающій, по ея мнѣнію, доводъ, она сказала:

— Во всякомъ случаѣ, вы бы не вышли вторично замужъ... изъ-за Жильбера?

— Вѣроятно, нѣтъ,—согласилась мадамъ Терьенъ,—во всякомъ случаѣ, не хотѣла бы. Но ручаться нельзя... Бываютъ случаи, встрѣчи... Есть на свѣтѣ любовь, Алиса. Скажемъ лучше, что я, къ счастью, такъ сильно люблю моего сына, что никакому другому чувству нѣтъ мѣста въ моемъ сердцѣ. Но не будемъ осуждать бѣдныхъ женщинъ, которыя послѣ перваго неудачнаго брака пытаются на-ново создать свою жизнь.

Алиса возмущилась:

— Нельзя же, однако, мѣнять мужа, какъ перчатку.

— Это лучше, —убѣдительно сказала мадамъ Терьенъ, —

чѣмъ оставаться съ мужемъ, не любя его, и мириться съ нимъ, подавляя въ себѣ отвращеніе и стыдъ. Любовь прекрасна. Но безъ любви бракъ—отвратительная комедія, отъ участія въ которой всякая честная женщина должна была бы краснѣть. Не будемъ объ этомъ говорить. Я горю отъ стыда при одномъ воспоминаніи.

X.

Мадамъ Даксъ выпила свою чашку кофе и выказала гримасой свое презрѣніе къ отелной бурдѣ, столь сильно отличающейся отъ дивнаго напитка того же названія, изготовляемаго на Avenue du Parc по рецептамъ, извѣстнымъ одной только мадамъ Даксъ.

Послѣ этого она поднялась изъ-за стола, указавъ знакомъ сыну и дочери, чтобы они слѣдовали за ней, и направилась въ салонъ, гдѣ усѣлась работать.

Таковъ былъ ритуаль каждый дня. Между завтракомъ и прогулкой мадамъ Даксъ убивала три часа времени вязаніемъ чулокъ для бѣдныхъ своего прихода. Помѣшанная на аккуратности во всемъ, она исполняла одну и ту же программу въ опредѣленный промежутокъ времени, садилась всегда на тотъ же стулъ и даже ставила его въ одно и то же мѣсто,—туда, гдѣ не была сквозняковъ. И хотя на терасѣ была раскинута палатка, защищавшая отъ солнца, и тамъ можно было отлично работать, наслаждаясь очаровательнымъ альпійскимъ видомъ, все же мадамъ Даксъ предпочитала салонъ, закрытый отъ вѣтра.

Алисѣ, конечно, было бы пріятнѣе сидѣть на терасѣ, глядѣть на мельканіе зелени въ близкихъ лугахъ и лѣсахъ, слѣдить за голубой лентой озера, за свѣжной линіей горизонта... Но приходилось сидѣть въ салонѣ, рядомъ со стуломъ, на которомъ происходило вязаніе... Бернаръ, послушный и хитрый, проводилъ три часа взаперти въ томъ, что просматривалъ классныя тетрадки. Алиса наигрывала гаммы, перелистывала иллюстрированныя журналы на большомъ столѣ и зѣвала, отвернувъ голову, или усаживалась глубоко въ кресло и мечтала неизвѣстно о чемъ, опустивъ голову и подпирая щеки руками.

Мадамъ Даксъ не любила эту позу, которую называла мечтательной. Увидѣвъ Алису опять сидящей такимъ образомъ, она сердито окликнула ее:

— Алиса, опять ты спишь на яву?

Обыкновенно Алиса отвѣчала на материнскій окрикъ съ покорностью хорошо выдрессированной собачки. Но вотъ уже нѣсколько времени какъ она какъ будто эманципировалась: собачка перестала быть поворной. Мадамъ Даксъ должна была повторить свое увѣщаніе:

— Алиса, я съ тобой говорю?

Алиса на этотъ разъ отвѣтила, но ея „слушу, мама“ прозвучало довольно равнодушно, и она не подняла головы съ рукъ.

А мадамъ Даксъ въ эту минуту какъ разъ опустила три петли въ своемъ вязаньи, и эта непріятность не улучшила ея настроенія духа.

— Послушай, милая моя,—энергично начала она. И, повернувшись на стулѣ лицомъ къ дочери, она опустила вязанье на колѣни, чтобы удобнѣе читать проповѣдь. Послѣдовала длинная рѣчь, молніеносное обличеніе тунеядцевъ и пустыхъ мечтателей.

— Посмотрѣть на тебя, какъ ты тутъ сидишь развалившись и такъ зѣваешь, что вотъ-вотъ вывихнешь челюсть,—сказала мадамъ Даксъ въ заключеніе,—и можно сразу догадаться, какъ тебѣ весело въ обществѣ твоей матери. Постыдилась бы передъ жильцами отеля.

Долгіи опыты научилъ Алису, что совершенно бесполезно и даже опасно отвѣчать на грозныя рѣчи матери. Но климать Сеиъ-Серга рождалъ, очевидно, революціонныя чувства.

— Да жильцы отеля,—сказала она,—на насъ и вниманія не обращаютъ, къ счастью для нихъ.

— Къ счастью?

— Конечно. Не весело смотрѣть, какъ мы здѣсь сидимъ, запершись, точно дождь идетъ, и не говоримъ ни слова.

Мадамъ Даксъ разсердилась. Но, чтобы не поступиться своимъ достоинствомъ, поднявъ крикъ, который услышали бы во всемъ отелѣ, она предпочла ироническій тонъ:

— Ну, конечно, для тебя мы не можемъ быть интересны. Для женщины съ высшимъ пониманіемъ, которая проводитъ жизнь, мечтая о лунѣ, вязаніе чулокъ—презрѣнное занятіе. Тебѣ бы хотѣлось развлеченій, достойныхъ тебя? Романы, балы и спектакли—вотъ что тебѣ нужно?

Алиса удержалась отъ отвѣта. Зачѣмъ говорить? Кто ее пойметъ здѣсь? Она перенеслась мечтами къ своей тайнѣ, къ сладкимъ утреннимъ бесѣдамъ съ мадамъ Тербенъ, съ Бертрамомъ Фужеромъ.

— Ну вотъ,—вздохнула мадамъ Даксъ.—Конечно, она ужъ

и не слышать, что ей говорятъ. Положительно, горный воздухъ плохо дѣйствуетъ на тебя. Ты уже въ Лионѣ была достаточно нелѣпа; ну, а здѣсь сдѣлалась настоящей идиоткой. Если бы не здоровье твоего брата, мы ужъ давно вернулись бы домой.

XI.

— Такъ какъ Даксы увѣжаютъ на будущей недѣлѣ, то слѣдовало бы изъ любезности къ бѣдной Алисѣ пригласить ее на какой-нибудь сельскій праздникъ.

Такъ говорила мадамъ Терьенъ, покуривая турецкую папиросу. Въ раскрытое окно свѣтилось мягкое сентябрьское солнце. Большія лиственницы передъ окнами качались на вѣтру.

— Это, конечно, было бы очень мило и любезно, но вѣдь пришлось бы пригласить и ея мать, злую, уродливую и старую буржуазку.

Такъ возразила Карменъ де-Ретцъ.

Онѣ лежали на двухъ кушеткахъ и курили папиросы. На маленькомъ табуретѣ между ними стояла пепельница.

У органа Жильберъ Терьенъ повторялъ речитативъ изъ „Дочерей Лота“. Фужеръ, сидя на подушкахъ, приготовлялъ при помощи сложныхъ мѣдныхъ инструментовъ турецкій кофе.

— Я объ этомъ думала,—сказала мадамъ Терьенъ,—но именно неприятность того, что нужно пригласить ее, навѣрное, изгладить въ книгѣ Господней пятнадцать или двадцать страницъ перечисленія нашихъ смертныхъ грѣховъ.

Фужеръ налилъ кофе въ четыре чашечки, величиной въ скорлупки, и заговорилъ:

— Нѣтъ сомнѣнн, что этотъ пивень, угодный Господу, будетъ очень неприятенъ для насъ, благодаря старухѣ Даксъ. Но я предлагаю нѣкоторое смягченіе условій. У насъ будутъ двѣ коляски и вышеназванная старуха займетъ мѣсто въ одной изъ нихъ вмѣстѣ съ наименѣе добродѣтельными изъ насъ. А другіе, и я во главѣ ихъ, удовольствуемся меньшимъ истязаніемъ духа и плоти и ограничимся юной Алисой, для смиренія дѣла и плоти.

— Фужеръ,—сказала мадамъ Терьенъ,—вы—настоящій са-
и рь.

Карменъ де-Ретцъ поднялась на локтѣ со своего ложа на шестѣ. Остановивъ на Фужерѣ провинцательный взглядъ своихъ смѣлыхъ глазъ, она спросила:

— Вы, конечно, за ней ухаживаете?

Бертранъ Фужеръ небрежно пожалъ плечами:

— Вотъ каковы женщины! И вы еще считаете себя психологомъ. Нѣтъ, я не ухаживаю за молодыми провинциалками, которыя пишутъ голубыми и розовыми аэварельными красками, играютъ вальсы Шеминадъ, читаютъ романы госпожи Флерю и вышиваютъ.

Карменъ де-Ретцъ опять вытянула свое тонкое тѣло среди подушекъ на кушеткѣ и опрокинула свою золотистую голову съ улыбающимся ротомъ.

— Да, я думаю, что вы не подходите другъ къ другу. Но развѣ необходимо сродство душъ для пріятнаго флирта въ темныхъ уголкахъ?

— Я съ вами согласенъ. Но это занятіе меня мало прельщаетъ, какъ я уже имѣлъ честь вамъ часто объяснить. Что дѣлать! Я—человѣкъ стараго времени. Я твердо вѣрю въ то, что вы такъ талантливо разрушили въ пухъ и прахъ въ вашемъ романѣ, вѣрю въ до-историческое чувство, вѣрю въ любовь. Чувственное волненіе мнѣ кажется неразрывнымъ съ нѣжностью сердца. И холодный флиртъ, который вы считаете пріятнымъ, я предоставляю пансіонеркамъ и гимназисткамъ.

Онъ улыбнулся и сталъ предлагать чашечки черного кофе. Карменъ выпила свою, но не отдала.

— Такъ вы не ухаживаете за Алисой Даксъ?.. Тѣмъ лучше для васъ обоихъ. Съ ея стороны это было бы неосторожностью, а съ вашей—безчестнымъ поступкомъ.

— Что такое... безчестнымъ?.. Ничего не понимаю. Вы, проповѣдующая „возрожденіе женщины путемъ свободнаго поцѣлуя“... кажется, я вѣрно процитировалъ?

— Фужеръ!—запротестовала мадамъ Терьенъ со своей кушетки.—Фужеръ! Такія вещи пишутся, но ихъ не произносятъ вслухъ.

— Ихъ даже не слѣдовало бы и писать. Но дѣло не въ этомъ. Вы—феминистка, нигилистка, бунтовщица... вы, говорящая о множествѣ своихъ чувственныхъ капризовъ...

— Ахъ, эти молодыя дѣвушки! Все вѣдь одно воображеніе!..—проговорила мадамъ Терьенъ.

— Я съ вами совершенно согласенъ. Но оставимъ это. I, свободная, вы, которая поцѣловала меня въ губы... Я говорю въ губы... шесть недѣль тому назадъ, на Сигналѣ, въ ясный утро...

— Боже, что я слышу! Фужеръ, стыдно выдавать тайны

— Успокойтесь, успокойтесь. Это былъ эстетическій поцѣлуй, которымъ мы съ Карменъ обмѣнялись въ часъ высокаго поэтическаго настроенія. Но оставимъ это... Вы—Карменъ де-Ретцъ... и это имя все говорить. Вы называете неосторожнымъ и безчестнымъ чувственное увлеченіе—если бы оно было у Бертрана Фужера, человѣка свободнаго, и Алисы Давсъ, тоже свободной дѣвушки?

— Милый мой,—спокойно заявила Карменъ де-Ретцъ,—вы очень краснорѣчивы, но у меня теперь въ рукахъ пустая чашка, которая мнѣ очень мѣшаетъ.

— Простите, ради Бога!

Онъ однимъ движеніемъ взялъ изъ ея рукъ чашку и поцѣловалъ ея руку.

— Благодарю васъ. А теперь я вамъ отвѣчу.

Она выпрямилась, какъ стрѣла, и, обернувшись къ своему противнику, сказала:

— Да, я считаю, что женщина свободна любить кого хочетъ и когда хочетъ, а также любить сколькихъ захочетъ. Но я считаю также, что молоденькая дѣвушка, замуванная въ наслѣдственныхъ или приобрѣтенныхъ предразсудкахъ,—еще не женщина. И если вы насильственно откроете тюрьму и выпустите вдругъ плѣнницу на воздухъ, вы будете безумцемъ или преступникомъ. Вы этимъ бы только ослѣпили ее, и она вышла бы изъ своей тюрьмы не освобожденной, а навсегда искалѣченной.

Она прошла по залѣ, потомъ облокотилась на окно. Фужеръ подошелъ къ ней и тоже облокотился.

— Знаете,—сказалъ онъ,—я почти начинаю сомнѣваться въ вашей искренности. На словахъ вы—самая современная и смѣлая изъ женщинъ. А на дѣлѣ... увы, мы такъ и остались при единственномъ тогдашнемъ поцѣлуѣ. Но вѣдь я вамъ тогда не разонравился?

Она взглянула ему прямо въ глаза.

— Любовь приходитъ, когда ей вздумается, милый мой. Тотъ день, о которомъ вы вспоминаете, связанъ былъ съ голубымъ воздухомъ, съ золотымъ и серебрянымъ туманомъ. Цѣлуя часъ, я цѣловала ихъ. Безъ всего этого, одни ваши уста не привлекали меня. Вотъ и все...

Онъ коснулся ея руки.

— Чита... придите опять на Сигналь завтра утромъ.

Она засмѣялась:

— Нѣтъ, я не хочу предупреждать свои желанія. А за-

тѣмъ, пожалуйста... Не называйте меня Чята: это имя... для близкихъ людей.

Мадамъ Терьенъ поввала ихъ.

— Ну что-же, нужно рѣшиться. Завтра я наберусь храбрости, возьму зонтикъ и пойду въ Грандъ-Отель приглашать мать. Кто пойдетъ со мной?

— Я,—сказалъ Фужеръ. — Я перемѣнилъ рѣшеніе: буду ухаживать за Алисой.

Съ франц. З. В.



I.

Надъ могилой Сюлли Прюдома.

Сонетъ.

Духъ философіи витаетъ надъ тобой.
Поэзія волшебна притаилась
Въ кустахъ, которые надъ каменной плитой
Склоняются... Не разъ ужъ проносила
Надъ этимъ уголкомъ мгновенная гроза,
И солнце жгло его влюбленными лучами,
И падала росы полночная слеза,
И вѣтерокъ игралъ съ послушными листьями.

Все видитъ тѣнь твоя, скользящая кругомъ, —
Все: лучъ и облака, рождающія громъ,
Вечернюю росу и дальнихъ звѣздъ алмазы.
И кажется, что здѣсь, среди живыхъ цвѣтовъ,
Объ имени твоёмъ мнѣ говорить безъ словъ
Осколокъ царственный твоей „разбитой вазы“.

II.

Сонетъ сну.

Священный, тихій сонъ уравниваетъ всѣхъ:
 Онъ съ пошлаго лица стогнаетъ праздный смѣхъ,
 Въ черты шута вдохнетъ онъ міръ покоя,
 Земному дастъ онъ вѣчто неземное.

Вглядись въ недвижныя, заснувшія черты!
 Въ нихъ не прочтешь:—ничтоженъ онъ, иль геній.
 Душа ушла въ далекій міръ видѣній,
 Лицо полно холодной красоты.

Нисходитъ въ спящему полночный богъ забвенья,
 И съ суетной землей онъ разрываетъ звенья.

Уснувшій—чистъ. Струится передъ нимъ
 Лазурь нездѣшнихъ грѣзъ... Онъ отрѣшенъ отъ свѣта:
 Къ нему, съ вѣнкомъ надзвѣднаго привѣта,
 Изъ горнихъ странъ слетаетъ херувимъ.

А. Мейснеръ.



ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ

1 іюля 1908.

Первое самостоятельное выступленіе крестьянъ въ третьей Думѣ. — Характерныя черты вызванныхъ ими преній. — Крестьяне и вѣроисповѣдныя комиссіи. — Законопроектъ о назначеніи членамъ Думы постояннаго содержанія. — Пренія Госуд. Думы о смѣтѣ министерства народнаго просвѣщенія и объ университетѣ имени А. Л. Шанявскаго. — Вопросъ о вольнослушательницахъ. — Итоги перваго періода дѣятельности третьей Думы. — М. П. Щепкинъ.

Прошло немало времени, пока крестьяне, выбранные въ третью Государственную Думу — выбранные, за немногими исключеніями, консервативнымъ большинствомъ избирательныхъ собраній — свыелись сколько-нибудь съ своимъ положеніемъ и рѣшились возвысить голосъ за интересы народной массы. Въ первые мѣсяцы думской сессіи изъ среды депутатовъ-земледѣльцевъ пользовались словомъ почти исключительно тѣ немногіе, которые усвоили себѣ всецѣло и, повидимому, безповоротно взгляды и стремленія крайнихъ правыхъ партій. Теперь положеніе дѣлъ начинаетъ измѣняться. Уже въ засѣданіи 2-го мая, при обсужденіи смѣты министерства внутреннихъ дѣлъ, депутатъ Андрейчукъ (крестьянинъ Волынской губерніи, въ спискѣ членовъ Госуд. Думы значащійся „монархистомъ“) произнесъ рѣчь, исполненную горечи и скорби. Иронически подчеркивая необходимость утвердить полностью всю смѣту, онъ высказался за удовлетвореніе и тѣхъ стражниковъ, которые „зачастую обсѣваютъ крестьянамъ за ихъ плъду спины, уши и глаза“. Обѣщаннаго „солнца правды“ — продолжилъ ораторъ, — „мы не видимъ, и лучей его даже не видимъ... Какъ жь ветъ масса малоземельныхъ и безземельныхъ крестьянъ? Они должны се и обезпечить на весь годъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ, въ страдную пору. Если помѣщики даютъ по 15 коп. въ день, а они хотятъ по 20, то имъ стражники за это уши отсѣваютъ. Даже такой при-

мѣръ былъ: привязали человѣкъ 18 къ хвостамъ лошадей и таскали за семь верстъ. Часто у насъ бываетъ беспорядокъ; министерство говоритъ, что это—аграрные беспорядки, на самомъ же дѣлѣ беспорядокъ дѣлаютъ не крестьяне, а мѣстные власти... Одинъ помѣщикъ нарушилъ свои права, и ему ничего не сказала администрація; а во всякомъ случаѣ пришли двѣсти драгунъ, разорили село, и тамъ такія представленія были, что я не могу тутъ и выразить вамъ словами. Просто скажу: кто удраля, тотъ и спасся, а кто не успѣлъ скрыться, былъ посаженъ въ тюрьму". Въ засѣданіи 5-го мая другой „правый“ крестьянинъ, депутатъ Шевцовъ (Могилевской губерніи), привелъ нѣсколько случаевъ произвольной расправы съ крестьянами, отстаивавшими свои права, и заключилъ свою рѣчь словами: „такія беззаконія, при которыхъ ни за что сажаютъ за рѣшетку, дольше продолжаться не могутъ“. Обоихъ крестьянъ прерывали возгласы съ правой стороны, но они этимъ не смущались. „Не мѣшайте мнѣ, я самъ разберусь“—воскликнулъ деп. Андрейчукъ. Когда въ томъ же засѣданіи „лѣвый“ крестьянинъ Кропотовъ (представитель Вятской губерніи) указалъ на вредъ, причиняемый земскими начальниками, къ нему обратился кто-то изъ числа правыхъ съ вопросомъ: „много разъ сидѣлъ въ холодной?“—и не былъ остановленъ предсѣдательствовавшимъ (кн. Волконскимъ). Въ засѣданіи 20-го мая правый крестьянинъ Удовичкій (представитель Полтавской губерніи) прямо поставилъ вопросъ, что сдѣлала Дума, въ теченіе семи мѣсяцевъ, въ пользу крестьянъ—и отвѣтилъ: *ничего*. Та же нота прозвучала въ рѣчахъ двухъ другихъ „правыхъ“ крестьянъ, Сторчака (депутата отъ Херсонской губерніи) и Амосенка (депутата отъ Витебской губерніи). „Я просилъ бы Госуд. Думу“—сказалъ деп. Амосенокъ,—„обратить теперь вниманіе на нужды восьмидесятимилліоннаго населенія. Крестьяне избирали насъ, считая насъ людьми къ себѣ доброжелательными; поэтому они ждутъ и терпятъ. Но надо имѣть въ виду, что терпѣніе можетъ лопнуть, когда увидать, что ничего не получаютъ“.

За авангардными стычками послѣдовало генеральное сраженіе. Въ засѣданіи 29-го мая дошла, наконецъ, очередь до внесеннаго тридцатью девятью членами Думы, еще въ февралѣ мѣсяцѣ, предложенія измѣнить дѣйствующее законодательство о крестьянахъ, на сколько оно касается взиманія и отпращиванія земельныхъ и натуральныхъ повинностей. Въ основѣ этого предложенія лежатъ безспорные факты, давно установленные и освѣщенные какъ литературой, такъ и земскими собраніями, но до самаго послѣдняго времени упорно игнорировавшіеся правительствомъ. Когда затишье семидесятихъ годовъ уступило мѣсто мимолетному движенію, на первый планъ были выдвинуты вопросы о созданіи всесословной волости и о преобразованіи

земскихъ учреждений. Необходимымъ и справедливымъ провозглашалось привлеченіе всего населенія къ участію въ дѣлахъ мелкой территоріальной единицы и въ вызываемыхъ ими расходахъ; недостаточно вліятельнымъ и обезпеченнымъ признавалось положеніе, отвѣденное крестьянамъ въ средѣ земства. Быстро наступившая и все болѣе и болѣе обострявшаяся реакція привела къ результатамъ прямо противоположнымъ. Оставлена была мысль даже о тѣхъ скромныхъ реформахъ, которыя намѣчались сенаторскими ревизіями 1880 года и такъ называемою кахановскою комиссіею. Институтъ земскихъ начальниковъ, создавъ новую форму закрѣпощенія крестьянъ, сталъ поперекъ дороги, ведущей къ сближенію и сліянію сословій; земское положеніе 1890-го года, обособивъ и усиливъ въ земствѣ дворянскій элементъ, понизило численность и уменьшило самостоятельность гласныхъ отъ сельскихъ обществъ. И все-таки въ обществѣ не исчезла мысль о перестройкѣ и достройкѣ мѣстнаго самоуправленія въ духѣ эпохи великихъ реформъ. вмѣсто всесословной волости была выдвинута на сцену мелкая земская единица. Раскрыта была со всѣхъ сторонъ вопіющая аномалія, заключающаяся въ возложеніи мірскихъ сборовъ всецѣло на однихъ крестьянъ. Съ особенною яркостью борьба обихъ теченій обрисовалась именно тогда, когда всѣ шансы побѣды были, повидимому, на сторонѣ застоя или даже регресса. Изданіе сборника статей о мелкой земской единицѣ было какъ бы протестомъ противъ проектовъ министерства внутреннихъ дѣлъ, направленныхъ къ углубленію пропасти между крестьянствомъ и другими классами населенія. Тотъ же смыслъ имѣли работы многихъ уѣздныхъ комитетовъ, образованныхъ совѣщаніемъ о нуждахъ сельско-хозяйственной промышленности. Вторая половина 1904-го года принесла съ собою рѣзкій поворотъ въ правительственной системѣ: указъ 12-го декабря обѣщаль объединеніе законовъ о крестьянахъ съ общимъ законодательствомъ имперіи, обезпеченіе полноправности крестьянъ, привлеченіе къ участію въ земской дѣятельности, *на однородныхъ основаніяхъ*, представителей всѣхъ частей заинтересованнаго въ мѣстныхъ дѣлахъ населенія и образованіе въ небольшихъ по пространству участкахъ общественныхъ установленій для завѣдыванія дѣлами благоустройства. Исполненію нѣкоторыхъ изъ числа этихъ обѣщаній положило начало указъ 5-го октября 1906-го года, но въ существенномъ и главномъ положеніе крестьянства до сихъ поръ измѣнилось въ лучшему очень мало: содержаніе волостного и сельскаго управленія все еще лежитъ на однихъ крестьянахъ, власть земскихъ начальниковъ таготѣетъ надъ ними съ едва уменьшившеюся силой, въ мствѣ они попрежнему играютъ приниженную роль, совершенно

не соответствующую ихъ многочисленности и долѣ участія ихъ въ земскихъ сборахъ.

Понятно, что въ широкихъ кругахъ росло и растетъ недовольство, выразителями котораго и явились крестьяне, члены третьей Государственной Думы. Ихъ не удовлетворила ссылка на проекты реформъ, въ скоромъ времени имѣющіе поступить на разсмотрѣніе Думы—не удовлетворила уже потому, что движеніе этихъ проектовъ замедлено, безъ всякой надобности, направленіемъ ихъ въ совѣтъ по дѣламъ мѣстнаго хозяйства, отъ котораго, въ усиленномъ его составѣ, меньше всего можно ожидать справедливой оцѣнки интересовъ народной массы. Одинъ за другимъ всходили на кафедру крестьяне, давая волю наболѣвшему чувству. Нельзя сказать, чтобы ихъ задачу старалось облегчить большинство Государственной Думы. Пользуясь правомъ, которое предоставлялъ ему, какъ первому подписавшему предложеніе, наказъ Думы, депутатъ Дворяниновъ (правый, изъ крестьянъ Тверской губерніи) нѣсколько разъ говорилъ въ очереди, очень сдержанно и коротко. Ему кричали справа: „не надо, довольно!“ На эти крики отъ отвѣчалъ съ большимъ достоинствомъ, напомнивъ, что не такъ относились крестьяне къ докладчикамъ не-крестьянамъ. „Какъ человекъ нервный“—сказалъ онъ дальше, — „я не могу говорить, когда мнѣ кричать, не могу спокойно высказать ту боль, которая у насъ, у крестьянъ, накипѣла“. Когда настала обычная часть пріостановки занятій Думы, деп. Дворяниновъ просилъ закончить пренія въ тотъ же день, назначивъ для того вечернее засѣданіе; большинство отклонило эту просьбу. Засѣданіе 30-го мая, въ которомъ Дума продолжала обсуждать предложеніе крестьянъ, было прервано за отсутствіемъ кворума. Голосованіе, о результатахъ котораго мы скажемъ ниже, состоялось только въ засѣданіи 3-го іюня, при наличности лишь половины членовъ Думы. Доля вниманія къ предложенію крестьянъ была отпущена, такимъ образомъ, весьма небольшая.

Присмотримся теперь къ содержанію преній. Рѣшительно и прямо на сторону крестьянъ стали ораторы конституціонно-демократической партіи (деп. Шингаревъ, Савельевъ, Родичевъ) и представители духовенства (священники Гепецкій и Лебедевъ, оба правые). Умѣренно-правые, въ лицѣ гр. В. А. Бобринскаго, признали, въ принципѣ, справедливость крестьянскихъ требованій, но высказались противъ немедленной ихъ передачи въ специальную комиссію, на чемъ съ особенной силой настаивали крестьяне. Утверждалъ, что ни одинъ изъ поставленныхъ крестьянами вопросовъ не можетъ быть разрѣшенъ отдѣльно отъ общей реформы мѣстнаго строя, гр. Бобринскій находилъ, что поддерживать крестьянъ въ стремленіи ускорить движеніе возбужденнаго ими дѣла—значить „гоняться за одобреніемъ

массы" и прибѣгать къ „демагогическимъ приѣмамъ“. Крайніе правые, въ лицѣ деп. Пуришкевича и Маркова 2-го, не возражали противъ учрежденія комиссіи, но старались обезсилить аргументацію крестьянъ, проводя мысль, что не такъ ужъ нестерпимо положеніе вещей, на которое жаловались деп. Дворяниновъ и его товарищи. Наибольше послѣдовательными оказались октябристы, въ особенности графъ Уваровъ, отрицавшій какъ необходимость учрежденія особой комиссіи, такъ и основательность главныхъ крестьянскихъ претензій. Исходя изъ того, что не ему, какъ землевладѣльцу, приходится пользоваться услугами волостныхъ и сельскихъ властей, а наоборотъ, эти власти получаютъ отъ него пособія натурой, гр. Уваровъ отрицалъ общегосударственное значеніе волостного и сельскаго управленія; не допускалъ онъ и того, что крестьяно иногда больше другихъ землевладѣльцевъ обременены земскими сборами. Такъ далеко не шелъ никто изъ ораторовъ, возражавшихъ крестьянамъ, но косвенную поддержку оказалъ гр. Уварову деп. Марковъ 2-й, утверждавшій, что крестьянскія власти служатъ населенію волости лишь „въ весьма слабой степени“, и старавшійся уравнивать это служеніе жертвами на пользу массы, обусловливаемыми участіемъ дворянства въ земскихъ сборахъ. При голосованіи каждая партія осталась вѣрна самой себѣ: октябристы и умѣренно-правые упорно стояли за то, чтобы выборъ комиссіи былъ отложенъ до осени, и вопросъ былъ рѣшенъ въ противоположномъ смыслѣ лишь благодаря соединенію крайнихъ правыхъ съ лѣвыми. Формула деп. Андрейчука, предложившаго *немедленное* избраніе особой комиссіи, принята большинствомъ 117 голосовъ противъ 102.

Нужно ли доказывать, что, подавая голосъ за одно и тоже предложеніе, правые и лѣвые члены Думы относились къ нему совершенно различно? Что полноправность и равноправность крестьянъ не входитъ и не можетъ входить въ виды такихъ группъ, какъ союзъ русскаго народа и другія организациі аналогичнаго типа—это явствуетъ, помимо всего остальнаго, изъ самыхъ рѣчей, произнесенныхъ ораторами крайнихъ правыхъ якобы въ защиту крестьянъ. Деп. Марковъ 2-ой выступилъ открытымъ противникомъ всесословной волости. „Предлагають“—воскликнулъ онъ—„подъ видомъ равноправія пустить въ волость разночинцевъ, евреевъ, лицъ другихъ, не-крестьянскихъ сословій. Это я считаю для крестьянъ вреднымъ, ибо тогда въ волости будутъ козыничать не крестьяне, какъ сейчасъ, а пришельцы, которые гораздо богаче и способнѣе крестьянъ и сумѣютъ взять въ руки дѣла волости“. Для предложеній, составленныхъ 39 депутатами-крестьянами, наибольше подходящимъ мѣстомъ, по словамъ деп. Марковъ 2-го, оказывается... „сорная корзина“. Въ комиссію, слѣдовательно, эти пред-

положенія должны быть переданы только для того, чтобы взамѣнъ ихъ были сочинены другія, сохраняющія обособленность крестьянъ и лишь отчасти облегчающія лежащее на нихъ податное бремя. Отцѣнить какъ слѣдуетъ такихъ друзей крестьяне, безъ сомнѣнн, съумѣютъ. Крестьянству нужны не подачки, а права; ему нуженъ выходъ изъ загоронокъ, за которыми его держалъ и до сихъ поръ держитъ законъ.

Сознавая, быть можетъ, что пренія 29-го и 30-го мая на многое должны раскрыть глаза крестьянамъ-депутатамъ, ораторы крайней правой старались дискредитировать партію народной свободы, въ лицѣ тѣхъ ея членовъ, которые всего энергичнѣе вступались за интересы крестьянства. Съ этою цѣлью были пущены въ ходъ совершенно негодныя средства. Указанія крестьянъ на неправильности земскаго обложенія были подтверждены деп. Родичевымъ, вся земская дѣятельность котораго прошла, какъ извѣстно, въ Тверской губерніи. Тою же губерніею посланъ въ Думу деп. Дворяниновъ, инициаторъ крестьянскаго предложенія. Пользуясь этимъ, деп. Марковъ 2-ой старается возложить на Ѳ. И. Родичева отвѣтственность за обиду, на которую жалуются крестьянѣ. „Кто заставлялъ — восклицаетъ представитель крайней правой, — деп. Родичева и всѣхъ его друзей, которые многіе десятки лѣтъ хозяйничали въ Тверской губерніи, производить въ отношеніи крестьянъ *хамство*? ¹⁾ Они могли дѣлать все, что имъ было угодно, и дѣлали хамство“. Деп. Марковъ 2-ой, какъ показываетъ участіе его въ прошлогоднемъ московскомъ земскомъ съѣздѣ, самъ принадлежитъ къ числу земскихъ дѣятелей; онъ состоитъ даже, если мы не ошибаемся, членомъ курской губернской земской управы. Не можетъ онъ, слѣдовательно, не знать, что способы обложенія земскимъ сборомъ и его раскладки зависятъ, главнымъ образомъ, отъ уѣздныхъ земствъ, дѣйствующихъ совершенно независимо отъ губернскихъ. Вполнѣ возможно, поэтому, что въ губерніи, въ данную минуту, господствуетъ прогрессивная партія, а въ нѣкоторыхъ уѣздахъ всѣмъ, и въ томъ числѣ земскими сборами, заправляютъ принципиальные ея противники. Именно таково было еще недавно положеніе дѣлъ въ Тверской губерніи: въ губернскомъ земскомъ собраніи большинство (обыкновенно немногочисленное) было на сторонѣ „либераловъ“, но въ нѣсколькихъ уѣздахъ преобладали „консерваторы“, и проводились взгляды, совокупность которыхъ Ѳ. И. Родичевъ, отвѣчая деп. Маркову, мѣтко назвалъ „дворянской тенденціей“. Однимъ изъ этихъ уѣздовъ былъ Осташковскій, въ которомъ деп. Дворяниновъ

¹⁾ Этимъ терминомъ, пущеннымъ въ ходъ деп. Гучковымъ, Ѳ. И. Родичевъ опредѣлялъ отношеніе къ крестьянамъ той общественной группы, отъ которой исходила и отчасти до сихъ поръ исходитъ защита института земскихъ начальниковъ и вообще всего относящагося къ обособленію крестьянъ.

состоялъ гласнымъ и волостнымъ старшиною. Обвиненіе, взведенное г. Марковымъ на Ѳ. И. Родичева, обрушивается, такимъ образомъ, на самого обвинителя. Одно изъ двухъ: или онъ самъ недостаточно знакомъ съ земскимъ дѣломъ, или онъ предполагалъ, что оно мало извѣстно большинству Государственной Думы. Въ послѣднемъ случаѣ онъ, очевидно, ошибся: крестьяне, избранные въ Думу отъ земскихъ губерній, доказали во время разбираемыхъ нами преній, что они очень хорошо знаютъ и понимаютъ непосредственно затрогивающія ихъ стороны мѣстнаго строя и мѣстной жизни... Наравнѣ съ г. Марковымъ погрѣшилъ и г. Пуришкевичъ, утверждая, будто бы со словъ деп. Дворянинова, что *тверское земство* никуда не годится, тогда какъ все сказанное Дворяниновымъ относилось только къ оставшковскому уѣздному земству. Оба оратора крайней правой не нашли нужнымъ считаться и съ тѣмъ общеизвѣстнымъ фактомъ, что Ѳ. И. Родичевъ съ 1895-го года, т.-е. со времени знаменитаго тверского адреса, былъ устраненъ отъ всякаго участія въ земской дѣятельности.

Въ своихъ усиліяхъ повредить противникамъ гг. Марковъ и Пуришкевичъ пошли еще дальше. Не меньше, чѣмъ Ѳ. И. Родичевъ, непріятель для крайнихъ правыхъ А. И. Шингаревъ, рѣчи котораго въ защиту крестьянскихъ интересовъ сочувственно отмѣтилъ, 29-го мая, депутатъ-крестьянинъ Шенелевъ. И вотъ, что мы читаемъ въ рѣчи деп. Маркова 2-го: „напоминаю г. Шингареву, что онъ, будучи земскимъ врачомъ, лечилъ крестьянъ бесплатно—а лечилъ ли онъ хоть одного дворянина Воронежской губерніи бесплатно? Я увѣренъ, что нѣтъ, если только это не былъ совершенный бѣднякъ. Пусть помнитъ деп. Шингаревъ тѣ моменты, когда у него въ рукахъ оставляли свои трехрублевки воронежскіе Маниловы, Коробочки и т. д. Ему надо это помнить, онъ не долженъ забывать объ этомъ!“ Комментарій къ этимъ словамъ былъ бы излишенъ; цѣль, съ которою они провознесены совершенно ясна, какъ ясно и то, что она, даже въ малой мѣрѣ, не достигнута... Другой представитель крайней правой повелъ нападеніе на деп. Родичева. „Этотъ защитникъ народныхъ интересовъ“,—сказалъ деп. Пуришкевичъ,—„больше всего судится съ крестьянами по разнымъ дѣламъ“. Въ подтвержденіе этихъ словъ г. Пуришкевичъ сослался на знакомство свое съ Тверской губерніей и пригласилъ обратиться за справкой въ *тверской* окружный судъ. Когда деп. Родичевъ объяснилъ, что никогда не имѣлъ никакихъ дѣлъ ни въ тверскомъ окружномъ судѣ, ни въ вѣдинскомъ, въ вѣдин котораго находится его имѣніе, деп. Пуришкевичъ общалъ, ринуть всѣ мѣры, чтобы указать печатно дѣла деп. Родичева съ рскими мужиками, за которыхъ онъ здѣсь распинается, а тамъ и *душитъ*, гдѣ только можетъ“. На это деп. Родичевъ отвѣтилъ

кратко: „все, что здѣсь было сказано, не соответствуетъ истинѣ“. Съ тѣхъ поръ прошло около трехъ недѣль—и никакихъ сообщеній, которыми подтверждались бы увѣренія деп. Пуришкевича, мы въ печати не встрѣчали. Допустимъ, однако, что Ѳ. И. Родичевъ когда-нибудь и гдѣ-нибудь судился съ крестьянами. Чтобы опредѣлить значеніе этого факта, нужно было бы ознакомиться подробно со всѣми обстоятельствами каждаго дѣла и съ оцѣнкой, данной имъ въ окончательномъ судебномъ рѣшеніи. Судиться—не значить еще „душить гдѣ можно“. Понятно, что такимъ ознакомленіемъ Госуд. Дума не стала бы заниматься, не взяла бы его на себя, по всей вѣроятности, и печать, а если бы и взяла, то едва ли пришла бы къ опредѣленному, единогласному заключенію. Осталось бы только смутное впечатлѣніе, которымъ и пользовались бы недобросовѣстные противники. Экскурсія въ личную жизнь политическаго дѣятеля должны быть предпринимаемы, поэтому, съ величайшею осторожностью—и, во всякомъ случаѣ, не въ Государственной Думѣ... Чтобы оцѣнить по достоинству образъ дѣйствій деп. Пуришкевича, необходимо прибавить, что о первомъ отвѣтѣ, данномъ на его обвиненіе, онъ выразился такъ: „деп. Родичевъ явился сюда и *пробормоталъ* нѣсколько словъ, фактически нисколько не оправдался“. Это вызвало слѣдующее замѣчаніе предсѣдательствовавшаго: „г. Пуришкевичъ, обращаю ваше вниманіе на то, что членъ Госуд. Думы Родичевъ, мнѣ кажется, ничуть не хуже васъ самихъ *пробормоталъ*“. Для чего же г. Пуришкевичу понадобилось назвать слова деп. Родичева „бормотаньемъ“? Очевидно—для того, чтобы вызвать въ читателяхъ стенографическаго отчета предположеніе о замѣшательствѣ, овладѣвшемъ Ѳ. И. Родичевымъ, а замѣшательство можетъ быть истолковано, какъ сознаніе неправоты... Авторитету Государственной Думы наносить немалый ущербъ неприличные выходки, которыя позволяютъ себѣ весьма часто ораторы крайней правой; но онъ пострадаетъ еще гораздо больше, если войдетъ въ обычай голословное обвиненіе депутатовъ въ неблаговидныхъ поступкахъ, не имѣющихъ ничего общаго съ ихъ парламентскою дѣятельностью.

Кромѣ гг. Пуришкевича и Маркова 2-го, въ преніяхъ по занимающему насъ вопросу принялъ участіе еще одинъ представитель крайнихъ правыхъ, деп. Новицкій 2-ой. Не прибѣгая къ орудію, излюбленному его товарищами, онъ пустилъ въ ходъ другой пріемъ, также рассчитанный на возбужденіе въ крестьянахъ недовѣрія къ глѣвымъ ихъ защитникамъ: онъ напомнилъ, что утромъ того же дня глѣвы партіи вотировали противъ усиленія вѣроисповѣдной комиссіи—тремя, комиссіи по дѣламъ православной церкви, двумя крестьянами—православнаго исповѣданія. Дѣйствительно, такое усиленіе было отклонено

большинствомъ Думы, въ составъ котораго вошли, повидимому, какъ члены лѣвыхъ партій, такъ и октябристы; но маневръ деп. Новицкаго оказался тѣмъ не менѣе ударомъ шпаги по водѣ. Предложенія, о которомъ идетъ рѣчь, крестьяне, очевидно, близко къ сердцу не принимали; въ преніяхъ, имъ вызванныхъ, участвовалъ только одинъ крестьянинъ (деп. Николенко). На усиленіи состава обѣихъ комиссій настаивали преимущественно представители духовенства (епископы Митрофанъ и Евлогій, свящ. Никоновичъ). Комиссія по дѣламъ православной церкви состоитъ исключительно изъ православныхъ; больше половины ея членовъ получили духовное образованіе. Въ комиссіи вѣроисповѣдной большинство составляютъ лица православнаго исповѣданія. Все дѣло въ томъ, что съ точки зрѣнія духовенства составъ обѣихъ комиссій, въ особенности вѣроисповѣдной, оказывается слишкомъ вѣротерпимымъ, слишкомъ расположеннымъ проводить принципы религиозной свободы, обѣщанной манифестомъ 17-го октября. Отсюда — странная мысль искать подкрѣпленія отжившихъ взглядовъ среди представителей сословія, предполагаемаго наиболѣе отсталымъ. По справедливому замѣчанію деп. Львова 2-го (октябриста, предсѣдателя комиссіи по дѣламъ православной церкви), „въ вопросахъ совѣсти, въ вопросахъ вѣроисповѣдныхъ, въ вопросахъ церковныхъ — сословности нѣтъ мѣста, потому что совѣсть отрицаетъ сословность“. „На мѣстѣ крестьянъ“ — сказалъ деп. Соколовъ 2-ой (прогрессистъ), — „я обидѣлся бы: ихъ вводятъ для того, чтобы подавить элементъ разсуждающій, спорящій, вводятъ просто въ качествѣ какой-то матеріальной силы. Роль незавидная!“ Не знаемъ, убѣдились ли депутаты-крестьяне этими словами, но рѣчи, произнесенныя ими уже послѣ отказа Думы увеличить составъ комиссій церковной и вѣроисповѣдной, позволяютъ думать, что попытка деп. Новицкаго 2-го внести рознь въ среду сторонниковъ крестьянской равноправности не достигла цѣли... Разочарованію правыхъ крестьянъ въ тѣхъ партіяхъ, къ которымъ они примкнули, способствовалъ, по всей вѣроятности, и результатъ выборовъ въ комиссію, созданную голосованіемъ 30-го іюня: въ ея составъ не вошли ни инициаторы крестьянскихъ „законодательныхъ предположеній“ (деп. Дворяниновъ и Андрейчукъ), ни защитники ихъ изъ среды духовенства (свящ. Гепецкій и Лебедевъ).

Въ Государственную Думу внесенъ предсѣдателемъ совѣта министровъ законопроектъ, замѣняющій суточное, во время сессіи, довольствіе членовъ Думы опредѣленныхъ ежегоднымъ содержаніемъ въ 200 рублей. Разъ что принять принципъ вознагражденія членовъ законодательнаго собранія — а принятіе его было въ особенности не-

избѣжно у насъ, въ виду крайней бѣдности народной массы; изъ среды которой избирается значительная часть депутатовъ, — необходимо, безъ сомнѣнія, чтобы цифра вознагражденія была достаточно велика, т.-е. покрывала собою не только самыя насущныя потребности депутата, но и потери, — которые онъ несетъ вслѣдствіе отвлеченія отъ обычныхъ его занятій. Съ этой точки зрѣнія годовое содержаніе имѣеть очевидное преимущество передъ суточнымъ довольствіемъ. Последнее не выдается во время перерывовъ между сессіями; между тѣмъ, депутату, возвратившемуся на родину, далеко не всегда удается возобновить въ прежнихъ размѣрахъ и при прежнихъ условіяхъ работу, доставлявшую ему средства къ жизни. Адвокатъ, врачъ, писатель можетъ остаться безъ дѣла; сельскому хозяину, владѣльцу торговаго или промышленнаго предпріятія не всегда легко исправить упущенія, вызванныя его отсутствіемъ. Нельзя забывать и того, что для лицъ, состоявшихъ на государственной службѣ, избраніе въ члены Думы влечетъ за собою выходъ въ отставку и, слѣдовательно, при скудости собственныхъ средствъ, необходимость пріискать другой видъ дѣятельности, а это тѣмъ труднѣе, чѣмъ меньше депутатское вознагражденіе. Спорнымъ представляется, затѣмъ, только вопросъ о размѣрахъ годового содержанія. Всего правильнѣе было бы, какъ намъ кажется, принять за исходную точку нынѣ существующее суточное довольствіе, распространивъ его только на всѣ дни года, безъ различія между проводимыми въ Думѣ и внѣ Думы. Это составило бы 3.650 или, для округленія цифры, 3.600 рублей въ годъ (300 рублей въ мѣсяцъ). Цифра, опредѣляемая законопроектомъ — 4.200 рублей, — включаетъ въ себѣ ежемѣсячную прибавку въ 50 рублей, на которую Думѣ, по нашему мнѣнію, не слѣдовало бы соглашаться. Содержаніе въ 3.600 рублей — почти 10.000 франковъ, — весьма близко подходитъ къ тому (9.000 фр.), которое еще недавно получали члены французской палаты депутатовъ ¹⁾. Если на эту сумму можно было существовать во Франціи, то она должна быть признана достаточной и для Россіи. При нынѣшнемъ числѣ депутатовъ содержаніе ихъ, опредѣленное въ такихъ размѣрахъ, обошлось бы государству, въ полтора съ небольшимъ милліона рублей, что вовсе немного при боѣе чѣмъ двухмилліардномъ бюджетѣ. Немногимъ развѣ меньше получаютъ въ настоящее время одни назначенные члены Государственнаго Совѣта.

И противъ содержанія въ 3.600 рублей могутъ, конечно, бытъ предъявлены тѣ же возраженія, какія сдѣланы нѣкоторыми органами

¹⁾ Повышеніе депутатскаго содержанія до 15.000 франковъ вызвало, какъ извѣстно, большія нареканія противъ депутатовъ.

печати противъ цифры въ 4.200 рублей. Можно находить, что и 300 рублей въ мѣсяцъ—почти „генеральское жалованье“, почти обычная награда за тридцатилѣтнюю, въ среднемъ, государственную службу, за „превосходительные, т.-е. исключительные труды и заслуги“. Не будемъ разбирать, въ какой степени основательно послѣднее отождествленіе, въ какой степени вѣренъ расчетъ, приурочивающій генеральскій чинъ къ тридцатилѣтней службѣ; не будемъ говорить и о томъ, что статскій или военный генералъ имѣеть въ перспективѣ дальнѣйшее увеличеніе содержанія и, въ концѣ концовъ, пенсію для себя и для своего семейства, тогда какъ депутатъ въ каждую данную минуту можетъ лишиться всѣхъ матеріальныхъ выгодъ, сопряженныхъ съ его званіемъ. Замѣтимъ только одно: кого выбираютъ въ депутаты, тотъ обратилъ же на себя чѣмъ-нибудь вниманіе избирателей. Въ чемъ бы ни заключалась его предшествующая дѣятельность, она выдвинула его изъ среды многихъ другихъ и этимъ самымъ какъ бы дала ему право на привилегированное положеніе—право, быть можетъ, отнюдь не меньшее, чѣмъ приобретаемое „безпорочнымъ“, но зауряднымъ „прохожденіемъ“ государственной службы. Въ назначеніи депутату хотя бы и „генеральскаго жалованья“ нѣтъ, съ этой точки зрѣнія, ничего несправедливаго. Депутатское вознагражденіе не должно быть настолько велико, чтобы служить приманкой, но оно должно освобождать депутата, какое бы общественное положеніе онъ ни занималъ, отъ тяжелой матеріальной заботы, мѣшающей труду на пользу государства и народа. Комическій ужасъ передъ мыслью объ уравненіи депутатскаго жалованья съ „генеральскимъ“—прямое наслѣдіе того времени, когда государственная служба считалась единственно почетной, а генеральскій чинъ казался чуть не высшимъ земнымъ благомъ.

Совершенно неприемлемымъ представляется то правило министерскаго законопроекта, въ силу котораго изъ вознагражденія, слѣдующаго члену Государственной Думы, вычитается по 25 рублей за каждое пропущенное имъ засѣданіе Думы. Удовольствіемъ его присутствія должно служить внесеніе имъ собственноручно своего имени въ вѣдомость явившихся; но членъ Думы, не принявшій участія въ поименномъ голосованіи, считается отсутствующимъ, хотя бы его имя и значилось въ вѣдомости. На самомъ дѣлѣ поименное голосованіе встрѣчается очень рѣдко (въ третьей Думѣ оно происходило до сихъ поръ, если мы не ошибаемся, только два раза), а росписка въ вѣдомости не мѣшаетъ уйти, вовсе даже не заглянувъ въ залъ засѣданія. Куратнаго присутствія депутатовъ въ засѣданіяхъ мѣры, намѣчаемыя законопроектомъ, вовсе не обезпечиваютъ; между тѣмъ онѣ безусловно несомнѣстимы съ достоинствомъ законодательнаго собранія,

члены котораго должны руководствоваться сознаниемъ лежащаго на нихъ долга, а не опасениемъ денежнаго штрафа. Законопроектъ не различаетъ неявки въ засѣданіе по законной причинѣ отъ неявки ничѣмъ не оправданной; но еслибы такое различіе и было установлено, положеніе дѣлъ измѣнилось бы къ лучшему очень мало. На президіумъ пришлось бы возложить повѣрку причинъ неявки, указываемыхъ членами Думы — повѣрку, крайне тягостную для повѣряющихъ и оскорбительную для повѣряемыхъ. Всего вѣроятнѣе, что она не производилась бы вовсе, и требованіе закона обратилось бы въ мертвую букву, какъ это случилось съ аналогичными постановленіями земскаго положенія 1890-го и городского положенія 1892-го года. Мы не знаемъ ни одного земскаго собранія, ни одной городской думы, которыя пользовались бы правомъ штрафовать неисправныхъ своихъ членовъ; причины неявки всегда признавались и признаются законными, хотя бы отъ неявившихся гласныхъ никакого увѣдомленія о нихъ не поступало. Мы вполне убѣждены, что Государственная Дума не согласится взять на себя контроль надъ аккуратностью своихъ членовъ, даже если отъ принятія относящихся сюда правилъ будетъ поставлена въ зависимость судьба всего закона; мы убѣждены, что она предпочтетъ остаться при нынѣшнихъ нормахъ вознагражденія, чѣмъ допустить порадоевъ вещей, унижательный для каждаго депутата, а слѣдовательно, и для всей Думы.

Съ приближеніемъ лѣтнаго перерыва въ занятіяхъ Государственной Думы все чаще и чаще стали появляться въ печати ретроспективные обзоры ея работы. Господствующій тонъ этихъ обзоровъ — безусловно пессимистическій. И справа, и слѣва на Думу сыплются упреки. „Едва прошло полгода“, — читаемъ мы, на примѣръ, въ „Новомъ Времени“ (№ 11581), — „сравнительно благополучной, съ полицейской точки зрѣнія, дѣятельности Государственной Думы — и уже чувствуется самое страшное, что можетъ поражать всякую дѣятельность: равнодушіе... Что-то подневольное, скучное, точно отбываніе недоѣвшей повинности чувствуется въ нашемъ молодомъ парламентѣ, что-то канцелярское, всѣмъ намъ хорошо знакомое... Много ли дала Государственная Дума Россіи? Много ли разъяснила, чего мы не знали раньше? Много ли успѣла устранить, многое ли создать?.. Въ общемъ третья Дума вышла *незначительной* — вотъ качество, которое подчасъ хуже порока“. А вотъ что говоритъ газета совершенно иного, почти противоположнаго направленія — „Современное Слово“ (№ 237): „Работѣ третьей Думы никто не мѣшалъ. Не было уже призраковъ волненій, мятежей и внутренней смуты. Послѣднія тучи разсѣянной бури

уплывали. И если остались тревожившія бюрократію явленія, то они были лишь вполнѣ неизбѣжнымъ послѣдствіемъ пережитой разруки: время и ихъ уничтожить. Но третья Дума не знала и не понимала этого. Ея большинство пришло въ Таврической дворецъ въ страхѣ отъ прожитого. И у этого большинства не оказалось государственнаго чутья и пониманія недавняго прошлаго, а былъ лишь страхъ предъ нимъ. А наличность чутья подсказала бы, что какъ разъ послѣ прошедшей бури нужно немедленно же приниматься за созидательную работу, чтобы ушедшія пока вглубь организма болѣзни не обратились въ хроническія, трудно излечимыя. Но большинству были дороже свои жизненные интересы — интересы владѣльческой земли и имъ подобные. Большая созидательная работа отложена до неопредѣленнаго срока. Прошло восемь мѣсяцевъ, и мы все въ прежнемъ положеніи“. Съ разныхъ точекъ зрѣнія получается, такимъ образомъ, одинъ и тотъ же выводъ. И дѣйствительно, бѣдность положительныхъ результатовъ, достигнутыхъ пока третьей Думой, бросается въ глаза. Не закончена ни одна реформа изъ числа тѣхъ, которыя были рѣшены въ принципѣ еще 12-го декабря 1904-го года; не исполнено ни одно изъ обѣщаній, данныхъ манифестомъ 17-го октября. Подготовлено бѣ осуществленію, и то лишь отчасти, одно только преобразование мѣстнаго суда. И въ центрѣ, и на мѣстахъ по-прежнему или еще больше прежняго царить произволъ. Несомнѣнно и то, что третья Дума гораздо бѣднѣе талантами и нравственными силами, чѣмъ вторая и, въ особенности, первая. Не остались и не могли остаться, въ этомъ отношеніи, безъ вліянія какъ многочисленныя судебныя преслѣдованія, возбужденныя подъ флагомъ ст. 129-ой угол. улож., такъ и глубокія перемѣны, внесенныя указомъ 3-го іюня въ нашу избирательную систему. И все-таки восьмимѣсячная работа третьей Думы была не напрасной. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только вспомнить о рѣчахъ, произнесенныхъ ораторами союза 17-го октября при обсужденіи смѣты министерствъ морского, военнаго и народнаго просвѣщенія. Характерны онѣ не столько своимъ содержаніемъ, сколько тѣмъ, что партія, отъ которой онѣ исходятъ, никакихъ серьезныхъ подозрѣній въ „антигосударственности“, „антинаціональности“, „систематической оппозиціи“ не возбуждаетъ и возбуждать не можетъ. Остановимся на дебатахъ о министерствѣ народнаго просвѣщенія, какъ болѣе недавнихъ и менѣе использованныхъ ежедневною печатью — и въ особенности на томъ, что было сказано депутатомъ фонъ-Анрепомъ, бывшимъ профессоромъ университета и попечителемъ учебнаго округа, близко знакомымъ со всѣми отраслями учебнаго дѣла.

Министерство народнаго просвѣщенія, по словамъ депутата фонъ-Анрепа, „никогда не удовлетворяло назрѣвшихъ потребностей страны.

Если оно когда-нибудь вносило законопроекты о серьезныхъ улучшенияхъ, то дѣлалось это всегда подъ воздействиемъ извнѣ. Само по себѣ министерство проявляло только худосочность, неподвижность и флегматичность... Наша школа находится въ состояніи совершеннаго разложенія. Она пришла къ паденію гораздо раньше революціи и освободительнаго движенія. Дезорганизация школы создана самимъ министерствомъ... Оно не принимало къ сердцу интересовъ народнаго просвѣщенія. Это была канцелярія, чисто формально относящаяся къ входящимъ нумерамъ". Коренная причина такого положенія вещей лежитъ внѣ вѣдомства министерства народнаго просвѣщенія: это — „общее направленіе политики, общее недоверіе къ образованію, опасеніе развить образованіе въ сколько-нибудь широкихъ размѣрахъ". Въ томъ же духѣ говорилъ о министерствѣ народнаго просвѣщенія и другой октябристъ, Е. П. Ковалевскій, до самаго избранія своего въ депутаты состоявшій на службѣ въ этомъ вѣдомствѣ. По его словамъ, „министерство народнаго просвѣщенія, созданное какъ равное съ равными, быстро утратило свое значеніе; къ нему стали относиться слегка, какъ къ учрежденію второстепенному, которое при раздачѣ кредитовъ можетъ подождать. Министерство и ждало, ждало съ терпѣніемъ, даже съ апатіей. Но такъ какъ нужно же было что-нибудь дѣлать, то въ министерствѣ развились громадная бумажная дѣятельность при полномъ отсутствіи творчества, значительная, доведенная до абсурда централизация, при неизмѣннн въ центрѣ одухотворяющихъ началъ". Чрезвычайно мѣткое замѣчаніе сдѣлалъ, далѣе, священникъ Титовъ (умѣренно-правый). „Если вы" — сказалъ онъ — „съ Невскаго пойдете по направленію къ министерству народнаго просвѣщенія, то вы съ величайшимъ трудомъ найдете его, потому что натолкнетесь на громадное зданіе другого вѣдомства (т.-е. министерства внутреннихъ дѣлъ). Вотъ эта тѣсная связь была для министерства народнаго просвѣщенія во многихъ отношеніяхъ крайне печальной и, можетъ быть, имѣла даже роковое значеніе... Мѣнялось направленіе въ политикѣ, мѣнялся и министр народнаго просвѣщенія, и вся его работа шла на смарку".

Твердо установленнымъ, послѣ всѣхъ этихъ рѣчей и многихъ другихъ, развивающихъ ту же тему, можно считать одно: упадокъ русской школы начался гораздо раньше „освободительнаго движенія", и начался, главнымъ образомъ, по винѣ министерства народнаго просвѣщенія, дѣятельность котораго, въ свою очередь, отражала въ себѣ общую политику правительства... Всѣ важнѣйшія мѣры, принятыя в теченіе послѣдней четверти вѣка съ цѣлью—или подъ предлогомъ—упорядоченія школьной жизни, нашли суровую оцѣнку въ словахъ ораторовъ, отнюдь не склонныхъ къ „колебанію основъ" общества

государства. Университетскій уставъ 1884-го года, знаменитый циркуляръ 1887-го года о „кухаркиныхъ дѣтяхъ“, избытокъ регламентаціи, недовѣріе къ общественной и личной инициативѣ, невниманіе къ ходатайствамъ земствъ и городовъ, недостатокъ заботы о подготовкѣ новыхъ ученыхъ силъ, стремленіе разобщить профессоровъ отъ студентовъ, студентовъ — другъ отъ друга: все это освѣщено такимъ яркимъ свѣтомъ, не видѣть котораго могутъ только намѣренно или бессознательно слѣпые. Сосѣдство двухъ зданій — министерства народнаго просвѣщенія и министерства внутреннихъ дѣлъ, несомнѣнно, является тѣмъ-то вродѣ символа. Полицейскія соображенія постоянно брали верхъ надъ просвѣтительными: распространеніе образованія въ ширь и глубь признавалось вреднымъ и опаснымъ. Это — тяжкая вина стараго режима. Ее пытались отрицать, все объясняя внезапно совершившимся переворотомъ, во всемъ обвиняя революцію и революціонеровъ. Этимъ попыткамъ данъ въ Думѣ рѣшительный отпоръ, тѣмъ болѣе авторитетный, чѣмъ меньше можетъ быть заподозрѣнъ его источникъ. Въ исторію ближайшаго прошлаго засѣданія 6-го и 9-го іюня внесли такую знаменательную страницу, которую не удастся обезцвѣтить ни казеннымъ перьямъ, ни „благонамѣреннымъ рѣчамъ“.

Этимъ не исчерпывается значеніе названныхъ нами засѣданій: вмѣстѣ съ однимъ изъ предшествующихъ (3-го іюня), они многое освѣтили и въ настоящемъ. „При назначеніи теперешняго министра народнаго просвѣщенія“ — воскликнулъ деп. фонъ-Анрепъ, — „у многихъ явилась надежда, что мы вступаемъ на новый путь, что человекъ, который былъ близокъ къ университету, былъ педагогомъ, директоромъ гимназій, дастъ просвѣтъ, откроетъ окно и скажетъ: я буду дѣйствовать иначе, чѣмъ мои предшественники. Съ глубокимъ прискорбіемъ я долженъ сказать, что надежды не оправдались“. Циркуляръ г. Шварца, удаляющій вольнослушательницъ изъ университетовъ и закрывающій доступъ туда для реалистовъ, г. фонъ-Анрепъ признаетъ несправедливымъ; онъ возстаетъ также противъ внезапнаго возобновленія переходныхъ экзаменовъ въ средней школѣ и противъ недовѣрія къ педагогическимъ совѣтамъ, выразившагося въ требованіи, чтобы постановленія ихъ объ освобожденіи тѣхъ или другихъ учениковъ отъ экзамена представлялись каждый разъ, черезъ попечителя учебнаго округа, на утвержденіе министерства народнаго просвѣщенія. Тремя днями раньше въ Госуд. Думѣ разсматривался вопросъ объ учрежденіи въ Москвѣ городского народнаго университета на средства, завѣщанныя А. Л. Шаянскимъ. Исторія этого дѣла хорошо вѣстна. Открытіе университета должно состояться, по волѣ завѣщателя, 3-го октября нынѣшняго года; въ противномъ случаѣ всѣ завѣщанныя средства переходятъ въ распоряженіе другого учрежденія.

Въ концѣ 1907-го года бывшимъ министромъ народнаго просвѣщенія былъ внесенъ въ Думу законопроектъ, сравнительно мало отступавшій отъ тѣхъ правилъ, которыя, въ согласіи съ волей завѣщателя, были выработаны московскою городскою думою. Въ январѣ мѣсяцѣ этотъ законопроектъ былъ взятъ назадъ г. Шварцемъ и возвращенъ въ Думу въ значительно измѣненномъ видѣ. Что перемѣны, на которыхъ настаивалъ новый министръ, были перемѣнами къ худшему, шедшими прямо въ разрѣзъ съ желаніями А. Л. Шанявскаго—это признано какъ думскою комиссіею по народному образованію, такъ и всѣми депутатами, говорившими въ засѣданіи 3-го іюня (кромѣ, конечно, крайнихъ правыхъ). Съ представителями оппозиціи — деп. Бѣлоусовымъ, Булатомъ, Маклаковымъ, Милюковымъ, Соколовымъ 2-мъ — вполне согласны были октябристы: деп. Капустинъ, Каменскій, фонъ-Анрепъ, гр. Уваровъ. Напомнивъ, какое противодѣйствіе встрѣтила въ административныхъ сферахъ мысль о женскомъ медицинскомъ институтѣ, съ неослабною энергіею проводившаяся А. Л. Шанявскимъ и его супругой (урожд. Родственною), деп. фонъ-Анрепъ усмотрѣлъ какъ бы повтореніе этого противодѣйствія въ преградахъ, воздвигаемыхъ г. Шварцемъ на пути къ исполненію послѣдней воли А. Л. Шанявскаго. „Вы говорите“ — сказалъ ораторъ, обращаясь къ правымъ:— „пусть министерство наложитъ свою длань на этотъ несчастный университетъ. А тѣ университеты, которые давнымъ давно въ кулакѣ у министерства? Что тамъ сдѣлала министерская опека? Привела ли она ихъ въ порядокъ? Поставила ли ихъ на путь дѣйствительнаго государственнаго служенія? Нѣтъ, она ихъ привела къ такому паденію, какого никогда не было въ Европѣ“. Въ концѣ концовъ Госуд. Дума, чтобы спасти созданіе А. Л. Шанявскаго, приняла законопроектъ почти въ томъ видѣ, въ какомъ онъ вышелъ изъ рукъ новаго министра; но въ результатѣ дебатовъ получилось такое же жестокое осужденіе неисправимаго вѣдомства, какъ и нѣсколько дней спустя, когда разсматривалась его смѣта. И этотъ результатъ, это вынужденное единодушіе „Россія“ имѣетъ храбрость называть заслуженнымъ успѣхомъ г. Шварца!

Не изгладила впечатлѣнія, произведеннаго продолжительными реченіями, и рѣчь министра народнаго просвѣщенія, сказанная въ концѣ засѣданія 10-го іюня; наоборотъ, она обнаружила еще яснѣе духовное его родство съ большинствомъ его предшественниковъ. Выслушанные имъ упреки возбудили въ немъ только „чувство глубокаго изумленія“. Онъ не могъ, очевидно, примириться съ тѣмъ, что простые смертные осмѣливаются критиковать, прямо и твердо, образъ дѣйствій лица, облеченнаго властью. Онъ не могъ отрѣшиться отъ мысли, что недостатки правительственной системы—если и допустить

ихъ существованіе, — должны быть раскрываемы не иначе, какъ въ глубокой тайнѣ, передъ лицомъ немногихъ „компетентныхъ“, т.-е. официальныхъ судей. Онъ не могъ понять, что при обсужденіи наибольшаго вопроса слишкомъ трудно сохранять спокойствіе, свойственное департаментамъ и канцеляріямъ. Требуя хладнокровія и сдержанности отъ другихъ, онъ самъ позволилъ себѣ упомянуть о „риторахъ по профессіи“, позволилъ себѣ сказать, что у правительства „не исчезло еще довѣріе къ здоровымъ силамъ населенія“. „Здоровымъ силамъ“ давно было ясно, куда ведетъ Россію министерство народнаго просвѣщенія — и если бы представители ихъ въ Думѣ не воспользовались открывшеюся, наконецъ, возможностью нарушить вынужденное молчаніе, они не исполнили бы своего долга передъ страной.

Тяжелый ударъ министерству народнаго просвѣщенія нанесли въ Государственной Думѣ не только его противники, но и его сторонники. Знаменательно уже и то, что вступились за министерство и за министра почти исключительно крайніе правые (деп. Пуришкевичъ, Марковъ 2-ой, Ткачевъ, Замысловскій, Машкевичъ, Тимошкинъ)—но еще характернѣе самый способъ защиты и ея форма. Перегбны, внесенныя министромъ народнаго просвѣщенія въ уставъ университета имени А. І. Шанявскаго—перегбны, вызвавшія осужденіе даже умѣреннѣйшихъ изъ октябристовъ,—г. Пуришкевичъ назвалъ „слабой, блѣдной охраной порядка“. „Санкціонировать починъ Шанявскаго“—значить, по словамъ того же оратора, „разрушить Россію“. „Путемъ гибели Россіи“ называлъ ослабленіе правительственнаго надзора и деп. Марковъ 2-ой. Послѣдняго возмутило, между прочимъ, то обстоятельство, что къ числу десяти лицъ, намѣченныхъ покойнымъ А. І. Шанявскимъ для участія въ завѣдываніи народнымъ университетомъ, принадлежитъ „нѣкто г. Муромцевъ, о которомъ, можетъ быть, слышали многіе изъ членовъ Думы (!) и который находится теперь въ тюрьмѣ“. Къ тѣмъ же лицамъ—продолжалъ г. Марковъ—могъ быть, по недоразумѣнію, присоединенъ завѣщателемъ и Дю-Лу (судившійся недавно по обвиненію въ отвратительныхъ преступленіяхъ)... Избытокъ усердія привелъ г. Маркова совсѣмъ не туда, куда онъ стремился. Онъ предложилъ включить въ уставъ народнаго университета правило аналогичное съ тѣмъ, которое, благодаря сенатскому толкованію, устраняетъ изъ среды избирателей всѣхъ обвинявшихся въ сколько-нибудь серьезномъ политическомъ преступленіи и окончательнымъ судебнымъ приговоромъ *не оправданнмъ*, хотя бы наказаніе, въ которому они *присуждены*, и не было сопряжено ни съ лишеніемъ, ни съ ограниченіемъ правъ. Это предложеніе, поддержанное деп. Замысловскимъ, было оспорено *октябристами*—фонъ-Анрепомъ, гр. Ува-

ровымъ, вн. Волконскимъ, Шубинскимъ — и отклонено 136 голосами противъ 74. Позволительно, значить, ожидать, что недавно внесенный партией народной свободы законопроектъ, приурочивающій правоограниченіе не къ *возможному*, а къ *дѣйствительно назначенному* наказанію, будетъ принятъ большинствомъ Государственной Думы. Партія центра, которой принадлежитъ, въ данномъ случаѣ, рѣшающій голосъ, не забудетъ, конечно, о возраженіяхъ, которыя встрѣтило съ ея стороны предложеніе деп. Маркова 2-го, и отнесется къ общему вопросу точно такъ же, какъ отнеслась къ частному случаю.

Неприличными выходками, идущими, какъ всегда, справа, пренія объ университетѣ Шанявскаго и о смѣтѣ министерства народнаго просвѣщенія были омрачены болѣе чѣмъ въ обычной степени. Въ засѣданіи 3-го іюня депутатъ Пуришкевичъ былъ призванъ къ порядку за сравненіе двухъ университетовъ съ ватеръ-клозетами и публичными домами, деп. Тимошкинъ — за восклицаніе: „ужъ чего крѣпче печатей, которыя приложены къ деп. Милюкову!“ Тотъ же депутатъ закончилъ свою рѣчь словами: „членъ Госуд. Думы Милюковъ долженъ знать, что кошелекъ — въ Америкѣ, а жизнь — въ Россіи!“ Въ засѣданіи 9-го іюня деп. Булатъ, развивая мысль о чрезмѣрной регламентации, практикуемой министерствомъ народнаго просвѣщенія, сказалъ, между прочимъ: „изъ министерства идутъ даже циркуляры, указывающіе, кого надо принимать сторожами въ учебныя заведенія“. Деп. Пуришкевичъ прервалъ его словами: „*васъ и въ сторожа не возьмутъ*“, на что деп. Булатъ отвѣтилъ: „вы не стоите подметки сапога этого сторожа“. „Я положительно не знаю“ — воскликнулъ предсѣдательствовавшій (бар. Мейендорфъ), — „кого призывать къ порядку. Въ данномъ случаѣ отвѣтъ члена Гос. Думы Булата былъ вызванъ замѣчаніемъ члена Гос. Думы Пуришкевича, и, слѣдовательно, я призываю къ порядку и того, и другого“. Для насъ понятна нѣкоторая растерянность предсѣдательствующаго, когда Госуд. Дума внезапно начинаетъ походить на собраніе совершенно иного рода; тѣмъ не менѣе намъ думается, что президіуму надлежало бы провести рѣзкую демаркационную черту между проступками обоихъ депутатовъ. Совершенно серьезную, прямо относившуюся къ вопросу, никого лично не задѣвавшую рѣчь деп. Булата деп. Пуришкевичъ прервалъ, безъ малѣйшаго къ тому повода, грубыми словами по адресу оратора. Конечно, деп. Булатъ поступилъ бы правильнѣе, еслибы оставилъ эти слова безъ вниманія и безъ отвѣта: они были лишены всякаго смысла и уже потому не могли быть обидными. Чѣмъ неожиданнѣе, однако, брошенная въ лицо брань, тѣмъ труднѣе воздержаться отъ немедленной реакціи на нее и облечь эту реакцію въ корректную форму. Предсѣдательствовавшій могъ указать деп. Бу-

лату, что онъ вышелъ за предѣлы необходимой обороны, — но къ деп. Пуришкевичу, какъ къ главному виновнику прискорбнаго столкновенія, слѣдовало отнести съ гораздо болѣею строгостію. Необходимо положить конецъ инцидентамъ, повторяющимся чуть не изо дня въ день и совершенно несовмѣстнымъ съ достоинствомъ законодательнаго собранія.

При разсмотрѣніи смѣты министерства народнаго просвѣщенія Государственная Дума, въ засѣданіи 13-го іюня, приняла безъ преній, по предложенію деп. Милюкова, формулу перехода, выражающую пожеланіе, чтобы совѣтамъ высшихъ учебныхъ заведеній предоставлено было разрѣшать продолженіе и окончаніе начатыхъ занятій тѣмъ вольнослушательницамъ, которыя удовлетворяли поставленнымъ имъ научнымъ требованіямъ. Присутствовавшій въ засѣданіи товарищъ министра народнаго просвѣщенія (г. Ульяновъ) не возражалъ противъ предложенія П. Н. Милюкова, но, когда оно было принято, протестовалъ противъ постановленія Думы, какъ незаконнаго. Нѣсколько дней спустя освѣдомительное бюро разслало въ газеты сообщеніе, въ которомъ опровергается ссылка П. Н. Милюкова на Высочайше утвержденный 14-го ноября 1907 года журналъ совѣта министровъ „Самостоятельнаго значенія“ — сказано въ сообщеніи — „этотъ актъ не имѣетъ, и потому упоминаніе въ немъ о вольнослушательницахъ не можетъ быть разсматриваемо, какъ санкціонированіе пребыванія этихъ лицъ въ тѣхъ или другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Разъясненія, заключающіяся въ журналѣ, относятся ко всякаго рода высшимъ учебнымъ заведеніямъ, на которыя были распространены правила 11 іюня 1907 г. (о студенческихъ организаціяхъ и собраніяхъ), и если въ пунктѣ 2-мъ журнала сказано, что правила 11 іюня непримѣнимы къ вольнослушателямъ и вольнослушательницамъ высшихъ учебныхъ заведеній, то отсюда никакъ нельзя выводить заключенія, что этимъ санкціонируется пребываніе вольнослушательницъ, напримѣръ, въ университетахъ; этотъ пунктъ разъясненія упоминаетъ о вольнослушательницахъ только потому, что въ числѣ высшихъ учебныхъ заведеній, на которыя были распространены правила 11 іюня, находятся и такія, въ которыхъ вольнослушательницы существуютъ по закону. Таковы, напр., высшіе женскіе курсы, въ которыхъ вольнослушательницы допускаются на основаніи статьи 27 временнаго положенія 1889 г. объ этихъ курсахъ“. Всѣ эти соображенія далеко не убѣдительны. Если, отказывая журналу 14-го ноября въ самостоятельномъ значеніи, авторы сообщенія хотѣли сказать, что непосредственною его цѣлью было не опредѣленіе положенія вольнослушательницъ, а разъясненіе правилъ о студенческихъ организаціяхъ, то это вѣдь никто и не отрицалъ. Важно то, что журналъ 14-го ноя-

бря говорить о вольнослушательницахъ въ тѣхъ же выраженіяхъ, какъ и о вольнослушателяхъ, не устанавливая между ними никакой разницы, и этимъ самымъ даетъ основаніе думать, что въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ одинаково допустимымъ признавалось присутствіе какъ тѣхъ, такъ и другихъ. Къ такому же заключенію приводитъ, впрочемъ, и весь образъ дѣйствій правительства, въ теченіе двухъ слишкомъ лѣтъ не предъявлявшаго никакихъ возраженій противъ допущенія вольнослушательницъ [въ университеты. Логическій выводъ отсюда ясенъ: изгонять изъ университетовъ вольнослушательницъ, начавшихъ и продолжавшихъ свои занятія при безмолвномъ на то согласіи правительства, было бы крайне несправедливо. Ничего другого Дума, въ своей резолюціи, и не установила: вопроса о томъ, законно ли распоряженіе министерства, она вовсе не коснулась. Пожеланіе, выраженное Думой, сохраняется, и послѣ сообщенія освѣдомительнаго бюро, всю свою нравственную силу.

Возвращаемся къ нашей исходной точкѣ. Не безслѣдно первый періодъ дѣятельности третьей Думы прошелъ уже потому, что „благонадежными“ руками поднята хоть отчасти завѣса надъ одной изъ самыхъ важныхъ отраслей государственнаго управленія, Тоже самое, до известной степени, получилось въ результатѣ преній о смѣтахъ министерствъ военнаго и морского, а также министерства путей сообщенія. Гораздо снисходительнѣе и мягче Дума, разсматриваемая какъ одно цѣлое, отнеслась къ министерствамъ, наиболѣе соприкасающимся съ „воинствующей политикой“—къ министерствамъ внутреннихъ дѣлъ и юстиціи, къ главному управленію земледѣлія и землеустройства. Отвѣтственна за это, главнымъ образомъ, „господствующая“ партія—союзъ 17-го октября, колебанія котораго, обусловливаемая внутренней рознью, неопредѣленностью программы и недостаткомъ гражданскаго мужества, изображены подробно въ нашемъ предъидущемъ обзорѣніи. Въ послѣднемъ счетѣ, однако, достаточно освѣщеннымъ является и то, что октябристы охотно оставили бы въ тѣни. Дѣло въ томъ, что всѣ стороны государственной и народной жизни тѣсно связаны между собою. Разстройство арміи и флота, неурядица и злоупотребленія на желѣзныхъ дорогахъ, плачевное состояніе школы—все это непосредственно зависитъ отъ общей политики правительства. Руководимая, въ теченіе многихъ лѣтъ, свѣтобоязнью и вѣровъ въ отжившія начала, нежелавшая или неумѣвшая видѣть дѣйствительность, какъ она есть, а не сквозь призму самомиѣнія и самообольщенія, игнорировавшая потребности и желанія населенія, пренебрегавшая „ограниченнымъ умомъ подданныхъ“, она всюду задерживала

движеніе, сѣяла неудовольствіе, подрывала матеріальное благосостояніе и духовныя силы страны. Многое и теперь остается въ ней неизмѣненнымъ: старый порядокъ едва начинаетъ уступать новому, да и уступки касаются больше формы, чѣмъ существа. Одно только приобрѣтеніе имѣетъ первостепенную важность: это — возможность говорить во всеуслышаніе съ думскою кафедрой. Какъ бы неблагоприятны ни были условія, въ которыя поставлена третья Дума, какъ бы многого ни оставляла желать ея составъ, она, даже она, служить источникомъ свѣта, бросаемаго преимущественно на прошедшее, но тѣмъ самымъ озаряющаго и настоящее.

Скончавшійся на дняхъ Митрофанъ Павловичъ Щепкинъ принадлежалъ къ числу самыхъ уважаемыхъ общественныхъ дѣятелей Москвы. Какъ городской и земскій гласный, какъ ближайшій сотрудникъ „Русскихъ Вѣдомостей“, какъ историкъ московской городской начальной школы, онъ приобрѣлъ широкую извѣстность, простиравшуюся далеко за предѣлы его родного города. Въ прошедшемъ году онъ основалъ еженедѣльную газету „Самоуправленіе“, справедливо находя, что въ эпоху преобразованій вопросы мѣстной жизни, мѣстнаго устройства должны обращать на себя особенное вниманіе. Газета велась въ духѣ лучшихъ земскихъ преданій, но именно для нихъ наступила пора временнаго затмѣнія—и не случайно „Самоуправленіе“ перестало выходить именно тогда, когда въ Москвѣ состоялся юньскій земскій съѣздъ, столь мало похожій на всѣ ему предшествовавшіе. Любимою мыслью М. П. Щепкина было возобновленіе изданія, но благоприятный для того моментъ, вѣроятно, настанетъ еще не скоро... Имя М. П. Щепкина займетъ почетное мѣсто въ исторіи движенія, подготовлявшаго, медленно и незамѣтно, вступленіе Россіи на путь политической и гражданской свободы.

Р. S. Наше обозрѣніе было уже въ печати, когда мы прочли въ газетахъ о принятіи Госуд. Думой законопроекта, опредѣляющаго годовое содержаніе членовъ Думы. Ожиданіе наше не оправдалось: изъ проекта не исключены правила о *вычетахъ* изъ жалованья, въ случаѣ неисправнаго посѣщенія засѣданій, т. е. о денежныхъ штрафахъ за неисправность. Размѣръ вычета опредѣляется наказомъ Думы—но это лишь въ весьма слабой степени смягчаетъ неудобства штрафной системы, указанныя нами выше.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1 іюля 1908.

I.

— Пушкинъ и его современники. Матеріалы и изслѣдованія. Вып. VI. Изд. Импер. Акад. Наукъ. Спб. 1908. Стр. 211.

Новый выпускъ этого превосходнаго изданія содержитъ около десятка статей, въ томъ числѣ одну, принадлежащую къ самому дѣльному, что у насъ есть по біографіи Пушкина: это матеріалы, извлеченныя А. А. Фоминымъ изъ Тургеневскаго архива, не такъ давно поступившаго въ распоряженіе Академіи Наукъ. Извѣстно, какъ близокъ былъ А. И. Тургеневъ къ Пушкину, и какая роль была ему суждена у смертнаго одра и потомъ у останковъ поэта. Уже и раньше въ печати явилось нѣсколько писемъ Тургенева къ разнымъ лицамъ, описывавшихъ смерть Пушкина, перевозку его тѣла и пр. Теперь г. Фоминъ напечаталъ непрерывную серію писемъ того же А. И. Тургенева, преимущественно къ А. И. Нефедьевой, за время съ 28 января по 1 марта 1837 года. Эти письма — почти дневникъ, гдѣ исторія послѣднихъ дней Пушкина и обстоятельствъ, сопровождавшихъ его смерть и погребеніе, изложена, можно сказать, изъ часа въ часъ. Описание предсмертныхъ страданій Пушкина производитъ потрясающее впечатлѣніе, несмотря на то, что почти все это мы знали уже раньше; рассказъ Тургенева такъ непосредственъ и подробенъ, что, кажется, самъ стоишь у постели умирающаго Пушкина: слышишь его крикъ, видишь его томленіе и страшную жажду конца, и съ удивленіемъ и болью слѣдишь за безмолвной трагедіей, которую онъ переживалъ въ эти дни по отношенію къ женѣ. Въ рассказъ Тургенева много мягкихъ черточекъ, освѣщающихъ эту трагедію. Нѣтъ сомнѣнія, что Пушкинъ старался щадить жену и всячески

казывала ей, что считаетъ ее невинною; но не менѣе ясно и то, что ему было тяжело ее видѣть; онъ рѣдко пускалъ ее къ себѣ, и то на минуту, — разумеется, не только потому, что боялся тревожить ее видомъ своихъ страданій; въ предсмертныя минуты (а Пушкинъ зналъ, что умираетъ) объ этомъ мало думаютъ: желаніе видѣть около себя любимаго человѣка, опереться на него въ своей мукѣ, беретъ перевѣсъ. Ничего этого у Пушкина не было: жена въ эти часы была отъ него дальше, чѣмъ любой изъ друзей, и ея присутствіе, видимо, раздражало его. Надо замѣтить, впрочемъ, что она вела себя крайне странно: она была довольно спокойна и все твердила Пушкину: „ты будешь жить“, и окружающихъ, давно уже знавшихъ, что его смерть — вопросъ нѣсколькихъ часовъ, донимала глупыми разговорами о томъ, что „что-то ей говорить, что онъ будетъ жить“. Но въ поведеніи Пушкина совершенно ясно видна система: онъ заботится, прежде всего, о томъ, чтобы другіе не получили невыгоднаго представленія о его женѣ; онъ меньше думалъ въ данную минуту о ней самой (кажется, и совсѣмъ не думалъ), нежели о ея будущемъ положеніи въ свѣтѣ, о дальнѣйшей судьбѣ ея и дѣтей. Въ этой безмолвной борьбѣ столько душевнаго величія и страданія, что образъ умирающаго Пушкина встаетъ предъ нами точно въ ореолѣ мученичества. Онъ умиралъ не только сердечно одинокимъ, но безвозвратно, неслышанно обманутымъ въ своей любви. Страшно читать въ письмѣ Тургенева тѣ строки, гдѣ онъ рассказываетъ о томъ, какъ Пушкинъ рѣшилъ наконецъ сказать женѣ, что, по мнѣнію докторовъ, надежды нѣтъ: „люди завѣдаютъ ее, — сказалъ онъ друзьямъ, — думая, что она была въ эти минуты равнодушною“, — это и побудило его сообщить ей объ опасности; не для того сказалъ онъ ей это, чтобы съ любимѣйшимъ человѣкомъ подѣлиться великой новостью, что жизнь кончена, а только ради мнѣнія о ней свѣта, чтобы она вела себя такъ, какъ люди привыкли видѣть въ подобныхъ случаяхъ.

Пушкинъ умеръ около трехъ часовъ дня. Пока онъ страдалъ, всѣ говорили шепотомъ; теперь заговорили вслухъ, „и этотъ шумъ, — замѣчаетъ Тургеневъ, — ужасенъ для слуха, ибо онъ говоритъ о смерти того, для кого мы молчали“. А жена все еще не вѣрила, что Пушкинъ умеръ.

Въ настоящемъ выпускѣ напечатано еще нѣсколько писемъ разныхъ лицъ о дуэли и смерти Пушкина; въ нихъ нѣтъ по существу ничего новаго, но они любопытны, какъ показатель того огромнаго впечатлѣнія, которое эта смерть произвела въ обществѣ.

Изъ остальныхъ статей отмѣтимъ разысканные С. А. Переселенкой въ архивѣ мин. нар. просв. матеріалы для исторіи отношеній цесаря къ А. С. Пушкину. Здѣсь по официальнымъ документамъ

изложены мытарства, чрезъ которыя прошли нѣкоторые рукописи, предназначавшіяся Пушкинымъ для „Современника“, и исторія его стихотворенія „Полководецъ“, увидѣвшаго свѣтъ только благодаря недругу Пушкина, Уварову, можетъ быть, не подозрѣвавшему, кто авторъ этой пьесы (она была напечатана безъ имени Пушкина), и исторія романа для дѣтей изъ жизни Пушкина, представленнаго въ цензуру нѣкоей Софіей Келеръ лѣтъ пятнадцать спустя послѣ смерти поэта, исторія, длившаяся года четыре, доходившая до самого Николая и кончившаяся тѣмъ же, чѣмъ часто кончалась у насъ исторія книгъ, — изморомъ автора; любопытны также подробности о цензурныхъ гоненіяхъ, которыми, уже въ царствованіе Александра II, подверглись „Библиографическія Записки“ за напечатаніе нѣкоторыхъ стихотвореній и писемъ Пушкина.

Перечисленныя до сихъ поръ статьи представляютъ общій интересъ и, безъ сомнѣнія, будутъ прочитаны всѣми, кто любитъ личность и поэзію Пушкина. Рядомъ съ ними въ этотъ выпускъ помѣщено нѣсколько специальныхъ замѣтокъ, вполне уместныхъ въ такомъ специальномъ изданіи: о мѣстоименіяхъ у Пушкина, объ именахъ дѣйствующихъ лицъ въ его сказкахъ, о цѣнахъ на произведенія Пушкина при его жизни, и т. п.

Надо пожелать, чтобы наша публика не осталась равнодушной къ этому прекрасному академическому изданію. Изданные до сихъ поръ шесть выпусковъ ставятъ его на уровеньъ лучшихъ подобныхъ изданій за-границею, гдѣ всевозможные Гетевскіе ежегодники, Шиллеровскіе „архивы“ и пр. насчитываются десятками. У насъ это еще только первая попытка въ такомъ родѣ, и было бы жаль, если бы общество не поддержало ее.

II.

— В. Короленко. Отоседшіе. Спб. 1908. Стр. 120.

Необыкновенное очарованіе лежитъ на этой книжкѣ, составленной изъ трехъ статей, уже напечатанныхъ въ свое время, но теперь впервые появляющихся рядомъ. Это была удачная мысль — собрать ихъ воедино. Онѣ говорятъ о трехъ очень различныхъ людяхъ — о Глѣбѣ Успенскомъ, Чернышевскомъ и Чеховѣ, — и тѣмъ ярче выступаетъ единство манеры, съ какою написаны эти воспоминанія, тѣмъ полнѣе рисуется въ нихъ личность самого рассказчика.

Когда крупный художникъ берется писать воспоминанія о людяхъ, которыхъ онъ зналъ, то заранѣе можно сказать, что получится. Коренное своеобразие собственной личности неминуемо помѣшаетъ ему оцѣнить по достоинству тѣ черты изображаемаго лица, которыя в

нельзя самою не находить отзвука, и чѣмъ онъ цѣльнѣе, тѣмъ болѣе одностороннимъ будетъ портретъ; зато черты, ему родственныя, выступаютъ со всею отчетливостью, какую можетъ дать глубокое проникновеніе, сочетаясь съ художественной силой. Если бы, напримѣръ, Л. Толстой вздумалъ написать свои воспоминанія о Тургеневѣ, мы получили бы, безъ сомнѣнія, портретъ изумительной экспрессіи, но въ цѣломъ совершенно непохожій на подлиннаго Тургенева.

В. Г. Короленко — поэтъ Божьей милостью и личность рѣзко выраженная, несмотря на кажущуюся туманность ея очертаній. Удивительная задумчивость, какая-то особенная вдумчивость сердца, теплая вѣра въ человѣка и нѣжная мягкость внѣшней манеры составляютъ его главныя характеристическія черты въ положительномъ смыслѣ; отрицательно онъ характеризуется, прежде всего, полнымъ отсутствіемъ демоническаго элемента. Соблазнъ зла, поэзія стихійной разрушительной страсти чужды Короленко; злое начало въ человѣкѣ знакомо ему только по внѣшнему опыту, и онъ не любитъ, а можетъ быть, и не умѣетъ, проникать въ тѣму душевныхъ глубинъ. Въ этомъ отношеніи онъ — прямой антиподъ Достоевскаго, и именно это дѣлаетъ его неполнымъ, потому что черное „подполье“ Достоевскаго въ большей или меньшей степени присуще каждому человѣку, и художникъ не можетъ безнаказанно игнорировать его.

Характерно, что изъ трехъ „отошедшихъ“, которымъ посвящены очерки Короленко, меньше всего удался ему портретъ Чернышевскаго. Нѣсколько мастерски схваченныхъ внѣшнихъ чертъ, нѣсколько умныхъ мыслей, пересказъ нѣсколькихъ мало-интересныхъ легендъ о Чернышевскомъ да двухъ его произведеній, теперь напечатанныхъ, — таково содержаніе этого очерка; онъ блѣденъ и лишенъ цѣльности. У Короленко нѣтъ и не можетъ быть интимнаго чувства къ Чернышевскому; онъ можетъ преклоняться предъ народолюбіемъ и страданіями послѣдняго, но между ними, какъ натурами, лежитъ цѣлая пропасть: жесткій рационализмъ и доктринерство Чернышевскаго ему органически чужды; онъ не можетъ вжиться въ психологію этого человѣка и потому не можетъ ее воспроизвести.

Зато Чеховъ и особенно Успенскій — это его братья по духу. Его роднитъ съ ними и художественное отношеніе къ дѣйствительности, и острое состраданіе къ человѣку, и та врожденная гуманность, которая ихъ всѣхъ троихъ заставляетъ съ кроткой любовью нагибаться надъ страждущимъ и грѣшнымъ братомъ и, не судя, утѣшать его преобразенной въ красоту картиной его собственныхъ страданій. Изъ этихъ двухъ онъ любитъ сердцемъ и въ нихъ глубоко постигъ ихъ лучшее — но, правда, не все. Его очеркъ объ Успенскомъ — не только спорно лучшее, что написано у насъ объ Успенскомъ, но и самъ

по себѣ представляетъ рѣдкое по красотѣ гуманитарно-художественное произведеніе. Это не весь Успенскій; и статья Михайловскаго, и, въ особенности, напечатанныя недавно въ „Минувшихъ годахъ“ воспоминанія объ Успенскомъ и его письма позволяютъ догадываться, о тѣневой сторонѣ его характера, которой Короленко не видитъ или, по крайней мѣрѣ, не показываетъ. Но все, что намъ дорого въ Успенскомъ,—его святость, удивительную красоту его души,—Короленко, съумѣлъ воссоздать съ такой любовью и такой силой, что невозможно освободиться отъ обаянія этой односторонней, но глубокой правды. Это не панегирикъ и не голословная характеристика: Короленко все время рассказываетъ, эпизодъ за эпизодомъ; это все—конкретныя художественныя черточки, но онѣ складываются въ одинъ цѣльный образъ,—и только глубокое родство натуръ могло такъ изобрѣсти его взглядъ на всѣ эти мелочи, въ которыхъ сказывалась нравственная чуткость Успенскаго, его нестерпимая боль за человѣка. И потому также никто вѣрнѣе Короленко не опредѣлилъ основную особенность творчества Успенскаго. „Ему нужна была,—говоритъ Короленко,—не красота, не цѣльность впечатлѣнія, не самый образъ. Съ лихорадочной страстностью среди обломковъ стараго онъ искалъ матеріаловъ для созиданія новой совѣсти, правилъ для новой жизни или хотя бы для новыхъ исваній этой жизни;... что еще только мелькало впереди случайными очертаніями будущей правды—за тѣмъ онъ гнался страстно и торопливо, не выжидая, пока оно самопроизвольно сложится въ душѣ въ ясный, самодовлѣющій образъ“. Эта черта до извѣстной степени присуща и самому Короленко, именно она толкаетъ его въ публицистику,—и потому онъ съумѣлъ такъ чутко подмѣтить ее въ другомъ. И вся его характеристика Успенскаго проникнута этимъ же сочувственнымъ пониманіемъ. Въ ней есть перлы художественной правды,—какъ, на примѣръ, описаніе манеры Успенскаго среди разговора скорбно молчать „все о томъ же предметѣ“. Равнодушный, хотя бы и зоркій взглядъ такихъ вещей не замѣтитъ.

Очеркъ о Чеховѣ не такъ хорошъ. Чеховъ, съ его простой, суровой правдой, замкнутый въ себѣ и скупой на слова, дальше отстоитъ отъ романтика Короленко. Но Короленко и за его беззаботной веселостью, и за песимизмомъ потомъ, чувствуетъ великую силу любви, и онъ любитъ молодыхъ Чеховымъ, какъ старшій братъ, и, какъ братъ же, скорбитъ надъ его ранней могилой.

Обаяніе этой книжки—въ томъ, что изъ-за трехъ „отошедшихъ“ о которыхъ она говоритъ, во многомъ между собою несходныхъ сквозитъ единый и цѣльный образъ ея автора, равный каждому и нимъ по нравственной красотѣ.

III.

— Ив. Наживинъ. Голоса народовъ. Вып. I. М. 1908. Стр. 147.

Надо привѣтствовать мысль г. Наживина—въ рядѣ выпусковъ познакомить русское образованное общество съ великимъ религіознымъ движеніемъ, охватившимъ въ послѣдніе годы народную массу въ разныхъ странахъ. Есть что-то грандіозное въ этомъ движеніи, которое въ каждой отдѣльной странѣ возникаетъ самобытно и выливается въ своеобразную форму, но всюду имѣетъ одну цѣль и въ основѣ своей однородно. Къ сожалѣнію, г. Наживинъ, какъ видно изъ его обширнаго предисловія, приступилъ къ собранію матеріала съ предвзятой и невѣрной мыслью. Какъ вѣрный послѣдователь Толстого, онъ по существу видитъ въ религіи чисто-этическое начало, которое, подобно Толстому же, незаконно освящаетъ именемъ Бога. Отношеніе мистической стороны религіи къ нравственности есть одна изъ глубочайшихъ загадокъ человѣческаго духа; разрѣшить ее—значитъ раскрыть и тайну мірозданія, и смыслъ человѣческой жизни; даже только постигнуть эту задачу во всемъ ея объемѣ дано лишь величайшимъ умамъ. Ее не понялъ Толстой и не понимаетъ г. Наживинъ. Но если у Толстого, при отсутствіи сознательнаго отношенія къ вопросу о Богѣ, все его нравственное ученіе выросло изъ могучаго *чувства* міровой связи вещей, то г. Наживину чуждо и это чувство, и онъ довольствуется совершенно-формальнымъ, такъ сказать, словеснымъ установленіемъ связи между понятіями о Богѣ и о любви. Ибо какъ иначе можно назвать слѣдующее разсужденіе, содержащее основной тезисъ г. Наживина: „Я живу, вы живете, все вокругъ живетъ. Почему? Откуда взялась эта жизнь? Это—тайна, недоступная разсудку, тайна, постигаемая лишь высшимъ Разумомъ человѣка, невыразимая въ словахъ; и вотъ эта-то тайна, это начало, источникъ жизни и есть Богъ, а все, что живетъ, вы, я, животныя, растенія, суть дѣти жизни, дѣти одного Отца-Бога, т.-е. члены одной огромной семьи, братья, и, слѣдовательно, отношенія между всѣми нами могутъ быть только родственными, братскими, любовными. И поэтому любовь есть законъ жизни и исполненіе этого закона даетъ человѣку безконечную радость“, и т. д. Здѣсь что ни утвержденіе—то произволь, путаница понатій, ложный силлогизмъ и пр.; тайна, Богъ, семья, любовь—все это связано чисто-словесно и нисколько не обнаруживаетъ существующей связи этихъ вещей въ дѣйствительности.

Мы не остановились бы такъ подробно на ошибкѣ г. Наживина, если бы эта ошибка не была общераспространеннымъ явленіемъ.

Каждый знаетъ, что безъ религіи нѣтъ нравственности, что законъ любви нельзя обосновать рационалистически, но только немощи реально ощущаютъ взаимную зависимость этихъ двухъ сферъ, и какъ разъ у насъ, съ легкой руки Толстого, вошло въ обычай суживать понятіе Бога до голой санкціи нравственнаго закона, санкціи чисто-формальной и потому бездоказательной (Богъ — отецъ, и потому люди — братья). Разсужденіе г. Наживина, именно благодаря своей очевидной нелѣпости, очень хорошо вскрываетъ основную ошибку самого Толстого и его послѣдователей.

Въ томъ могучемъ религіозномъ движеніи, которое теперь идетъ по всему міру, мистическій элементъ выступаетъ мѣстами очень ярко, но единство этому движенію придаетъ нѣчто другое. Во всемъ цивилизованномъ мірѣ жизнь такъ страшно запуталась въ неправдѣ и насилии, да и просто такъ осложнилась, что людямъ стало трудно дышать. А въ человѣкѣ, какъ бы мало онъ ни былъ развитъ, неискоренимо живетъ идеаль справедливости, равенства, любви. Мы образованные, но наслѣдству и съ дѣтства привычны къ этой сложности въ гораздо большей степени, нежели человѣкъ изъ народа; потребность ясной, простой жизни говоритъ въ немъ сильнѣе, — а основанный на насилии, на сложности и лжи общественный строй опутываетъ и массу, чрезъ посредство законодательства, администраціи, промышленности и пр. И вотъ, у наиболѣе чуткихъ людей изъ массы чувство неестественности всего этого уклада достигаетъ большой остроты и переходитъ болѣе или менѣе ясно въ сознаніе; тогда возникаетъ движеніе, по существу этическое и обыкновенно ищущее себѣ опоры въ весьма наивныхъ религіозныхъ представленіяхъ. При всей трудности разграниченія надо строго различать такія движенія отъ движеній чисто-религіозныхъ, мистическихъ. Въ основѣ тѣ и другія однородны, какъ и вообще духъ человѣческой единъ въ своихъ глубочайшихъ чаяніяхъ, но они различны въ сознаніи, по цѣли и объему.

Г. Наживинъ, исходя изъ своего словеснаго отождествленія религіи и этики, смѣшиваетъ движенія того и другого рода и тѣмъ вноситъ значительную путаницу въ свое изданіе. Въ первомъ выпускѣ онъ даетъ очеркъ о персидской сектѣ бабидовъ, рѣчь индусскаго мистика Вивекананды, и большое собраніе матеріаловъ по исторіи новѣйшаго движенія среди русскихъ духоборовъ въ Канадѣ, т.-е. свѣдѣнія о трехъ разнородныхъ вещахъ, только въ общемъ смыслѣ объединенныхъ идеализмомъ.

Наибольшую цѣнность представляютъ новыя свѣдѣнія о духоборахъ. Намъ уже пришлось коснуться этого предмета по поводу книги г. Бирюкова. Движеніе такъ называемыхъ „свободниковъ“ заслужи-

васть гораздо большаго вниманія, чѣмъ сколько удѣляется ему въ нашей печати и въ обществѣ. Оно началось сравнительно давно, еще въ 1901 году, и продолжается до сихъ поръ. Религіозный элементъ въ немъ ничтоженъ: оно цѣликомъ направлено въ возстановленію „рая“, т.-е. простой, разумной, справедливой жизни. Оно началось вскорѣ послѣ того, какъ духоборы осѣли въ Канадѣ. Быстрый ростъ ихъ благосостоянія тамъ и прочная налаженность высокой матеріальной культуры у мѣстнаго населенія не замедлили вызвать реакцію со стороны и безъ того обостренной нравственной чуткости лучшихъ изъ духоборовъ. Г. Наживинъ приводитъ длинное „разсужденіе“ духобора Алексѣя Рылькова о жизни „англиковъ“, т.-е. канадцевъ, записанное А. М. Бодянскимъ. Оно поразительно по смѣлу и красотѣ языка и еще больше по содержанію. Этотъ простой человекъ съумѣлъ по достоинству оцѣнить всю цѣлесообразность, практичность, даже красоту внѣшняго быта англичанъ—ихъ хозяйства, суда и пр.; онъ зорко смотрѣлъ, все подмѣчалъ, и каждая деталь удовлетворяла его практическій здравый смыслъ. Онъ съ искреннимъ удовольствіемъ разсказываетъ обо всемъ, что видѣлъ: „чистый народъ, отдѣланный, при разумѣ во всякомъ дѣлѣ“, и все у нихъ, куда ни посмотри, устроено умно—просто и аккуратно. Но онъ очень ясно разсмотрѣлъ, что все это у нихъ хорошо только „по наружному положенію“, и что въ цѣломъ ихъ жизнь „не туда оборочена“; „умны они очень, кто противъ этого что скажетъ? Да только не къ духовной жизни умъ прилагается, не къ добру; можетъ, и не ко злу, да только не къ добру“; и онъ поясняетъ свою мысль слѣдующимъ разсказомъ. Случилось ему около Миннеаполиса осмотрѣть громадную, прекрасно устроенную ферму; тамъ была, между прочимъ, свинарня, устроенная на удивленіе; особенно удивило его, что для поддержанія въ свиньяхъ расположенія духа и, значить, аппетита, нѣсколько индѣйцевъ весь день пѣли имъ свои дикія пѣсни. Онъ нашелъ, что это остроумно, но вмѣстѣ съ тѣмъ образцовая свинарня получила въ его глазахъ символическій смыслъ; и выводъ его объ „англикахъ“ таковъ: „ума у нихъ много, а только весь умъ-то ихъ на то направленъ, чтобы изъ своей жизни первосортную свинарню устроить“.

Исторія, кажется, не знаетъ другаго массоваго движенія, которое такъ радикально рѣшало бы вопросъ о справедливой и разумной жизни, какъ это дѣлаютъ духоборческіе свободники. Они начали съ того, что освободили своихъ домашнихъ животныхъ, признавъ безъ отвѣтственныхъ насиліе надъ ними, и отказались отъ кожаной обуви, и отъ всего, что связано съ убійствомъ животныхъ. Потомъ они обратили вниманіе на иголку, которою шита ихъ одежда; чтобы добыть металлъ для иголки, люди-рабы должны работать подъ землею.

Надо и ихъ освободить, надо освободить вообще всѣхъ, кто угнетенъ подневольнымъ трудомъ,—а это значить уйти отъ всякой культуры, вернуться къ естественной жизни среди лѣсовъ и полей, сбросить одежду и кормиться „законной фруктовой пищей“. И вотъ свободники бросаютъ свои дома и совершенно голыми идутъ изъ села въ село проповѣдывать райскую свободу. Ихъ преслѣдуютъ сами духоворы, ихъ мучить въ тюрьмахъ канадское правительство (письма свободниковъ, помѣщенные въ этой книжкѣ, сообщаютъ ужасныя подробности пытокъ и издѣвательствъ, которымъ ихъ подвергали), но, оправившись отъ мукъ, они снова и снова выступаютъ со своей проповѣдью. Ибо они думаютъ не только о чистотѣ своей личной жизни: они смотрятъ на себя, какъ на апостоловъ, призванныхъ показать людямъ, „какъ правильно жить“. Одинъ изъ нихъ прямо начинаетъ свой разсказъ такъ: „Послѣ 12 мая мы пошли по примѣру первыхъ людей, Адама и Евы, показать природу людямъ, какъ нужно вернуться въ отечество“. Ради этого они идутъ по селамъ голыми, ради этого топчутъ хлѣбъ и сжигаютъ сноповязалку — чтобы показать людямъ, что надо надѣяться не на человѣческую мудрость, а на Бога, и отъ хлѣба они отказываются, а живутъ сырыми овощами, чтобы показать народу, что можно жить, не сѣявши и не жавши. И до того доходятъ они въ своемъ стремленіи показать людямъ путь къ естественному, что свободникъ Иванъ Власовъ однажды въ собраніи, гдѣ было много духоворовъ, всенародно совершилъ половой актъ съ одной вдовою, и, будучи выгнанъ, ушелъ съ нею въ другое село и тамъ повторилъ то же, чтобы показать, что нѣтъ въ этомъ грѣха, и что, напротивъ, прятаться съ женою за занавѣскою, это грѣхъ прелюбодѣянія. Эти люди, раздѣвающіеся до-гола въ холодной Канадѣ,—разумѣется, фанатики; но то, чему они отдались фанатически, есть, несомнѣнно, высшая точка нравственности. И надо сказать, что, при всей крайности своихъ убѣжденій и поступковъ, они не только не производятъ впечатлѣнія больныхъ людей, но, слѣдя за ними шагъ за шагомъ, вы видите въ нихъ неизмѣнно людей, чрезвычайно сознательныхъ, съ крѣпкимъ здравымъ смысломъ, прямо идущихъ къ цѣли. Способы ихъ освобожденія дико, но возможно ли иное освобожденіе для человѣка, рѣшившаго совершенно освободиться отъ грѣха въ мірѣ, гдѣ все—грѣхъ? Есть нравственная гениальность въ этомъ раздумьи объ иголкѣ, а человѣкъ, который такими глазами взглянулъ на иголку,—если только онъ цѣльный человѣкъ,—уже не сможетъ носить одежды; онъ раздѣнется до нага или надѣнетъ лопухъ. И такъ во всемъ остальномъ. Грѣхъ міра — это одна сплошная ткань; кто рѣшится порвать одну нитку, для того ткань тотчасъ растянется вся.

Движеніе свободниковъ, какъ мы сказали, не погасло. Въ концѣ апрѣля настоящаго года, уже послѣ выхода въ свѣтъ книжки г. Наживина, русскія газеты обошла телеграмма изъ Квебека о задержаніи въ Канадѣ 80 духоборовъ, ходившихъ по населеннымъ мѣстамъ въ голомъ видѣ. Ихъ, безъ сомнѣнія, опять рассадили по тюрьмамъ.

IV.

— С. Кондурушкинъ. Сирійскіе рассказы. Изд. Т-ва „Знаніе“. С.-Петербургъ. 1908. Стр. 249.

Рассказы г. Кондурушкина занимательны; они знакомятъ съ страной и нравами, которые соединяютъ въ себѣ двойной интересъ: интересъ далекаго прошлаго и интересъ экзотической. Самыя имена мѣстъ, гдѣ происходитъ дѣйствіе,—Ливанъ, Антиливанъ, Гермонъ, Дамаскъ—будятъ въ насъ смутныя воспоминанія о временахъ библейскихъ и апостольскихъ, и такъ какъ жизнь въ той каменной пустынѣ почти неподвижна, то получается иллюзія, можетъ быть, ошибочная, что въ лицѣ всѣхъ этихъ современныхъ Абу-Уадія, Абу-Масуда и пр., которыхъ изображаетъ г. Кондурушкинъ, воочію видишь передъ собою древнюю Сирію, какою она была двѣ тысячи лѣтъ назадъ. Занимательнѣе это бытъ и непосредственно: пустыня и каменные горы, и каменные селенія, уступами лѣпящіяся по склонамъ, безотрадный, дикій край, весь сѣрый подъ глубокимъ небомъ изумительной красоты, опьяняющія ночи, и люди дикіе, жестокіе, цѣльные, какъ камень, на которомъ они живутъ, не тронутые культурой, и самобытные странные нравы,—все это сливается въ одно цѣлое, приковывающее къ себѣ воображеніе. Задача г. Кондурушкина была легка: внѣшній интересъ здѣсь такъ силенъ, что отъ художника требуется мало усилій, чтобы возбудить вниманіе читателя.

Авторъ въ общемъ недурно справился со своей задачей. Среди его рассказовъ есть слабыя, есть и совсѣмъ ненужные, — это именно тѣ, гдѣ онъ изображаетъ европейцевъ, попавшихъ въ Сирію, т.-е. гдѣ лишаетъ себя своего главнаго ресурса: экзотичности туземнаго быта; таковы пошлый анекдотъ „Англичанка“, „Акулина въ Триполи“. Лучше всего тѣ рассказы изъ туземной жизни, гдѣ онъ просто описываетъ то, что видѣлъ; онъ, видимо, долго прожилъ въ Сиріи и прекрасно изучилъ страну и нравы. Въ этихъ рассказахъ встаетъ предъ нами безъ прикрасъ своеобразная жизнь. И тамъ, подъ каменными кровлями, живутъ любовь, нѣжность, честолюбіе, а главное—живетъ вражда, по-своему не дающая человѣку замереть въ совершенной апатии,—вражда между турками и арабами, между арабами и христианами.

нами, между свободными бедуинами и осёдлыми арабами. Эта вражда дѣлаетъ жизнь необезпеченной и силу—правомъ: природа и люди—все уступаетъ здѣсь только силѣ. „Можетъ быть, у васъ, въ Россіи, есть правда, а у насъ нѣтъ,—говорилъ автору одинъ туземецъ.—Мусульмане бьютъ насъ, оскорбляютъ нашихъ женъ, дочерей и смотрятъ на насъ, какъ на собакъ, это—правда? Камни сватываются съ горъ и давятъ людей, это—правда? Я не видалъ правды въ своей жизни и не знаю, гдѣ она живетъ. Сила—вотъ это я знаю. Гдѣ могу—тамъ я беру, не могу—отдаю. Такъ всё дѣлають у насъ“. Этотъ законъ силы царитъ здѣсь безсмѣнно тысячелѣтія, и человѣкъ здѣсь сталъ силенъ и жестокъ.

„Разказы“ г. Кондурушкина много выиграли бы, если бы авторъ ограничился простымъ описаніемъ, потому что беллетристическая форма ему плохо удается. Сюжеты его разказовъ (гдѣ онъ пытается быть разказчикомъ) кажутся сочиненными и натянутыми, да и самый тонъ его повѣствованія слишкомъ вялъ для быстрого и четкаго разказа. Притомъ, онъ обнаруживаетъ часто совершенное незнакомство съ элементарными требованіями художественной формы; у него, напримеръ, разказчикъ, передавая эпизодъ, слышанный отъ другихъ, повѣствуетъ такимъ образомъ: „Наступилъ вечеръ. Раскаленная лава дышала горячимъ дыханіемъ въ вечерней прохладѣ. Солнце садилось за острыми краями близкаго горизонта“, и т. д.—словомъ, картинно описываетъ ландшафтъ, котораго въ ту минуту не видѣлъ никто, кромѣ дѣйствующихъ лицъ—Харабы и ея похитителя. Такихъ наивныхъ оплошностей въ разказахъ г. Кондурушкина немало.

Еще одинъ упрекъ надо сдѣлать автору: соединяя въ книгу свои разказы, напечатанные ранѣе въ журналахъ, онъ долженъ былъ пересмотрѣть ихъ, чтобы, по крайней мѣрѣ, устранить повторенія. Онъ, очевидно, не сдѣлалъ этого, и намъ приходится въ разныхъ частяхъ книги разъ десять читать описаніе сирійской ночи и по нѣскольکو разъ встрѣчать одно и то же примѣчаніе („Друзы—арабское племя“, и пр.).

Книга украшена прелестными рисунками Лансере.

V.

- М. А. Лохвицкая (Жиберь). Стихотворенія: Передъ закатомъ. Съ приложеніемъ неизданныхъ стихотвореній изъ прежнихъ лѣтъ, и портрета автора. Съ предисловіемъ К. Р. Спб. 1908.

Стихотворенія Лохвицкой не были оцѣнены по достоинству и не проникли въ „большую“ публику, но кто любитъ тонкій ароматъ

поэзии и музыку стиха, тѣ сумѣли оцѣнить ея замѣчательное дарованіе, и для тѣхъ ея недавняя смерть была утратой. Этотъ небольшой кругъ почитателей будетъ благодаренъ наследникамъ Лохвицкой за выпущенное ими теперь собраніе ея посмертныхъ стихотвореній. Здѣсь нѣтъ ничего, что указывало бы на новую грань ея таланта, но здѣсь есть нѣсколько чудесныхъ стихотвореній, которыхъ нельзя досыта прочитать. Прежде всего, очарователенъ стихъ Лохвицкой. Вся пьеса удавалась ей сравнительно рѣдко; она точно не донашивала свой поэтический замыселъ и воплощала его часто тогда, когда онъ въ ней самой еще не былъ ясенъ. Но отдѣльная строфа, отдѣльный стихъ часто достигаютъ у нея классическаго совершенства. Кажется, никто изъ русскихъ поэтовъ не приблизился до такой степени къ Пушкину въ смыслѣ чистоты и ясности стиха, какъ эта женщина-поэтъ; ея строфы запоминаются почти такъ же легко, какъ пушкинскія. Вотъ одно изъ ея посмертныхъ стихотвореній, очень типичное для нея; оно озаглавлено: „Уходящая“.

Съ ея опущенными вѣдами
И цѣломудреннымъ лицомъ —
Она идетъ, блестя одедами,
Сія радужнымъ вѣнцомъ.
И мысли ей вослѣдъ уносятся,
Съ воскресшимъ трепетомъ въ груди—
Мольбы, молитвы, гимны просятся:
„Взгляни, помедли, подожди!“

Стихотвореніе прекрасно въ цѣломъ, а первое четверостишіе по фактурѣ стиха достойно Пушкина; но достигнутая въ немъ ясность не выдержана до конца—она замутилась уже во второй строкѣ, и это характерно для Лохвицкой. Зато какъ хороши тѣ—немногія, правда, пьесы—гдѣ нѣтъ такихъ туманныхъ пятенъ, гдѣ все, съ начала до конца, льется ровною, прозрачною струею! Таково, напримѣръ, длинное стихотвореніе „Забытое заклятіе“; здѣсь чистота, блескъ, неприужденность стиха изумительны.

По этому сборнику можно измѣрить длину пути, пройденнаго Лохвицкой. Здѣсь, кромѣ посмертныхъ, помѣщено десять ея раннихъ неизданныхъ стихотвореній: предъ нами какъ бы начало и конецъ ея творчества. Въ этихъ раннихъ стихотвореніяхъ преобладаютъ тѣ два мотива, которые красными нитями проходятъ черезъ всю поэзію Лохвицкой: „Спѣши, возлюбленный! Сгораетъ мой елей“ и „Мнѣ душно въ хижинѣ моей!“ Въ посмертныхъ пьесахъ они звучатъ уже, какъ голоски прошлаго; душа поэта стала тише и глубже; за страстью, красочнымъ покровомъ бытія ей открылась таинственная связь вещей—точно раздвинулась стѣна, и взоръ проникъ въ загадочную

даль. Ея духъ былъ слишкомъ слабъ, чтобы выработать себѣ всеобъемлющую мистическую идею; она точно ощупью движется въ этомъ Тютчевскомъ мірѣ и съ трогательной беспомощностью стремится выразить огромное неясное чувство, наполняющее ее. За немногими исключениями, вродѣ великолѣпнаго „Проклятiя“ или упомянутаго выше „Забытаго заклятiя“, эти пьесы страдаютъ туманностью; ихъ фантастика искусственна и необъдательна, и больше чувствуется порывъ, чѣмъ творческая сила. Только тамъ, гдѣ Лохвицкая въ чистомъ видѣ старалась выразить свою вѣру, свое мистическое постиженіе, не пытаясь облечь ихъ въ образы, — тамъ ей удавались подчасъ истинно-поэтическія созданія. Таково, напримѣръ, стихотвореніе, написанное размѣромъ Фетовскаго „Ave Maria“:

Въ скорби моей никого не виню.
Въ скорби — стремлюсь къ незакатному дню.
Къ свѣту нетлѣнному пламенно рвусь.
Мрака земли не боюсь, не боюсь.

.....
Молча пройду я сквозь холодъ и тьму,
Радость и боль равнодушно приму.
Въ смерти иное прозрѣвъ бытіе,
Смерти скажу я: „Гдѣ жало твое?“

VI.

— Сергій Ауслендеръ. Золотыя яблоки. М. 1908.

Въ этой книгѣ девять историко-бытовыхъ новеллъ — изъ эпохи французской революціи, итальянскаго возрожденія и пр. Легкія, граціозныя, онѣ поражаютъ столько же мастерствомъ построенія, сколько умѣньемъ выразить полноту жизни самой фабулой. Это — трудное и новое искусство. Громоздкое оборудованіе стараго историческаго романа, глубокомысленный анализъ стараго психологическаго романа отходятъ въ прошлое. Ихъ тяжелую артиллерию вытѣснила легкая конница быстраго разсказа, который весь въ дѣйствіи, который ничего не комментируетъ, а только изображаетъ, и въ самомъ дѣйствіи раскрываетъ и психологію быта, и мотивы дѣйствующихъ лицъ. Это искусство требуетъ большого дарованія, но зато въ рукахъ мастера оно достигаетъ удивительныхъ эффектовъ. Оно уже процвѣтало нѣкогда, на зарѣ европейскаго романа, но тогда оно было больше техникой, чѣмъ искусствомъ. Между Боккаччо и Мопассаномъ лежитъ вся эволюція новаго романа. Боккаччо интересуетъ своей непосредственной занимательностью самый эпизодъ, о которомъ онъ повѣствуетъ; его фабула — всегда анекдотъ, что, разумѣется, не исключаетъ

типичности, но типичности нецѣлесообразной и случайной. Мопасана фабула интересуется лишь постольку, поскольку въ ней, какъ въ фокусѣ, сосредоточена типичность психологическая или бытовая; и выборъ сюжета, и детальный подборъ отдѣльныхъ образовъ, эпизодовъ и чертъ—у него въ высшей степени цѣлесообразны. Съ полнымъ сознаниемъ, съ величайшей экономіей силъ онъ идетъ къ намѣченной цѣли, и въ коротенькомъ разсказѣ даетъ такую полноту существенной правды, какой въ старыхъ формахъ достигали только гении, какъ Толстой.

Книга С. Ауслендера принадлежитъ къ этому новому роду искусства и мѣстами, въ смыслѣ техники, приближается къ совершенству. Таковы въ особенности четыре разсказа изъ эпохи французской революціи. Вѣрное чутье художника сказывается уже въ томъ, что авторъ нигдѣ не изображаетъ самыхъ событій: онъ показываетъ намъ только ихъ отраженіе въ психологія людей, невольно задѣтыхъ этими событиями, и тутъ равно характерно, какъ они отражались и какъ не отражались. Вотъ крошечный разсказъ: „Бастилія взята“. Юноша-аристократъ весь поглощенъ любовной интригой; его старый, опытный другъ, маркизь, беретъ устроить ему нѣжное свиданье за занавѣской въ ложѣ театра. Они ѣдутъ въ театръ, маркизь немного разсѣянъ—вѣроятно, его разстроили новости изъ Версаля; въ театрѣ—цвѣтъ аристократіи: „тутъ былъ великолѣпный кавалеръ де Севиражъ, сдѣлавшійся почти знаменитостью благодаря своимъ связямъ со всѣми знаменитыми женщинами, все еще молодящійся Борже, такъ нравящійся дамамъ за свой тихій голосъ и пріятное заяканье“, и т. п.; запахъ духовъ и пудръ смѣшивался съ вонью свѣжаго тѣса, копоти и конюшни. Маркизь ведетъ юношу въ ложу, гдѣ они находятъ m-lle д'Аншъ и престарѣлаго господина. Дѣйствіе на сценѣ уже кончалось, когда запыхавшійся мальчикъ подаль марезу записку; взволнованный, онъ наскоро простился и вышелъ вмѣстѣ съ пожилымъ господиномъ. Когда, спустя часъ, юноша, нѣжно простившись со своей возлюбленной, ѣхалъ по темнымъ улицамъ въ своей каретѣ, погруженный въ сладкія мечты, — его слуга, откинувъ окошечко, сказалъ ему: „Сударь, Бастилія взята!“ Это разсказано на четырехъ маленькихъ страницахъ, съ непринужденной легкостью, не дающей читателю замятнись, какъ внимательно обдумана здѣсь каждая деталь. Еще сочиненіе слѣдующій затѣмъ разсказъ, вообще лучший въ книгѣ, — „Вечеръ у господина де Севиражъ“, классическая картинка изъ нравовъ французской аристократіи въ разгаръ террора. Хороша также вѣбіографія нѣкоего Луки Бедо, вьющаяся тропинкой чрезъ разные мѣста до-революціоннаго общества и прорѣзающая затѣмъ революцію. Въ той же манерѣ написаны и всѣ остальные новеллы, и нѣтъ между

ними ни одного анекдота, но каждая, какъ бы малозначительно ни было ея содержаніе, насыщена исторической психологіей.

Въ этихъ новеллахъ, несомнѣнно, сказался большой талантъ,—но какой странный! какой странный особенно у насъ! — талантъ, весь поглощенный техникой, лишенный всякаго нравственнаго содержанія. Русское художественное слово было до сихъ поръ немислимо внѣ сознательнаго исканія правды; русскій художникъ,—это былъ прежде всего человѣкъ, страстно искавшій уяснить себѣ и другимъ смыслъ дѣйствительности и задачу жизни. Тому взгляду на призваніе художника, который съ такой потрясающей силой выразилъ Гоголь въ своей „Авторской исповѣди“, остались вѣрны и всѣ позднѣйшіе наши художники, до Горькаго и Вересаева включительно. Но вотъ выступила новая фаланга художниковъ, не ищущихъ въ жизни никакого общаго смысла; ихъ занимаетъ само явленіе и вызываемое имъ настроеніе, и все ихъ вниманіе направлено на то, чтобы найти наиболѣе подходящую форму для воспроизведенія того и другого. Ауслендеръ, какъ и Кузьминъ, — несомнѣнно, большія дарованія. Съ точки зрѣнія исторіи русскаго художественнаго слова ихъ творчество также представляетъ шагъ впередъ,—но не по главному пути. Заслуга этой „школы“ — въ замѣчательномъ усовершенствованіи техники, — не внѣшней техники стиха и прозы, а техники самого искусства, въ указаніи болѣе совершенныхъ способовъ для воспроизведенія внѣшняго міра и душевныхъ переживаній. Но сама она лишена элементовъ высшаго творчества, и въ этомъ смыслѣ она — внѣ искусства или связана съ нимъ лишь въ той мѣрѣ, какъ художественная промышленность — съ пластическими искусствами. Она сама ничего не создастъ, но она сдѣлаетъ возможными болѣе совершенныя, чѣмъ до сихъ поръ, созданія. Этический элементъ—душа искусства; все прошлое русской поэзіи порукой въ томъ, что она и въ будущемъ пойдетъ по пути Гоголя и Толстого, а не Ауслендера и Кузьмина.

VII.

— З. Гиппиусъ, Д. Мережковскій, Д. Философовъ. *Маковъ цвѣтъ*. Драма въ 4-хъ дѣйствіяхъ. 1908.

Драмѣ предпослано довольно слабое метафорическое стихотвореніе, начинающееся такою строфою:

Въ голубые, священные дни
 Распускаются красные маки.
 Здѣсь и тамъ лепестки ихъ—огни—
 Подаютъ намъ тревожные знаки;

и дальѣ поясняется, что эти разбросанные маки — красная заря передъ восходомъ солнца: то восходить солнце Любви.

Эту мысль пьеса облекла въ образы; она же дала и названіе пьесѣ. Дѣйствіе драмы открывается 18 октября 1905 года. Въ эти „голубые, священные дни“ стихійнаго всенароднаго движенія нѣсколько горячихъ молодыхъ сердець открываются навстрѣчу солнцу, еще безъ яснаго сознанія о немъ, принимая кровавую зарю за самое солнце. Сынъ и дочь петербургскаго профессора-филолога, Андрей и Соня, увлечены революціоннымъ потокомъ; Андрей — положительная, прямолинейная натура, онъ всецѣло захваченъ революціей, ея смыслъ обвѣдѣнъ для него рѣзкой чертой; Соня тоньше, она чутко слышитъ обертоны жизни. И потому есть какая-то высшая закономерность въ томъ, что Андрей погибаетъ на московскихъ баррикадахъ, а Соня остается жива — на дальнѣйшую муку. Только тогда, когда прошелъ угаръ революціи, предъ Соней начинается болѣе глубокая связь явленій; но какъ смутно, какъ мучительно ея сознаніе! Есть моментъ въ утрѣ, когда заря уже померкла, а солнце еще не выслало своихъ первыхъ лучей на горизонтъ; смутное затишье царитъ въ природѣ, все полно напряженнаго ожиданія, и если вы — чуткій человѣкъ, у васъ въ эти минуты стѣснится дыханіе, кровь стучитъ въ вискахъ, и, кажется, сердце хочетъ выскочить. Этотъ моментъ мастерски схваченъ въ послѣднихъ двухъ дѣйствіяхъ драмы. Революція бросила Соню въ объятія узкаго революціонера, Бланка; тогда, въ угарѣ, ей показалось, что они ищутъ одно и то же, что она любитъ его. Теперь она начинаетъ медленно приходить въ себя, и первое, что она, отрезвляясь, видитъ около себя, это Бланкъ; и еще почти не сознаетъ она, что пути ихъ — разные, но уже всѣмъ существомъ чувствуетъ, что онъ ей чужой, и ея душа наполняется холоднымъ ужасомъ. „Я еще не знаю, — говоритъ она ему, — я еще не смѣю знать... Но мнѣ кажется иногда, что мы съ тобой, вотъ такъ, въ глаза другъ друга не увидѣли, вотъ такъ, ничего и не было; марево, туманъ какой-то наплылъ... Весь ты — мой туманъ. Холодный туманъ. Весь ты... Весь ты... Никто не виноватъ, а, можетъ быть, оба мы виноваты“. Сумерки охватили ее, послѣ яркаго свѣта кровавой зари еще темнѣе стало кругомъ, и она мечется, задыхается въ этой сѣрой полутьмѣ: „Ничего я больше не вижу, не понимаю, гдѣ правда, гдѣ ложь“. И съ возрастающимъ ужасомъ онъ повторяетъ: „Я совсѣмъ, совсѣмъ не знаю, что дѣлать. Я сама себя не понимаю. Мама, мнѣ страшно, страшно!“

Но ея мысль понемногу яснѣетъ. Она чувствуетъ, что жить можно только тогда, когда сознаешь за собою право жить, когда знаешь, что ты виноватъ. Но она сама уже не можетъ такъ жить, „жить просто“;

она виновата, и всѣ виноваты, и этой вины не смыть ничѣмъ, не забыть, — а съ такимъ сознаниемъ жить невозможно. Жизнь такъ страшно запуталась во злѣ, и всѣ такъ тѣсно связаны круговой порукой, что всякій сталъ виновать; кто еще не понялъ этого, тотъ пусть живетъ, но кто понялъ, тому нельзя жить: „Передъ виноватыми, Боря, черная стѣна встаетъ, и закрываетъ будущее, все: и дѣло, и бездѣлье, — всю жизнь. Такъ что двинуться впередъ ужъ некуда... Ты думаешь, я хочу умирать? Не хочу. Да какъ же быть-то, милый, если некуда? Я и не хочу, а умирается“. Некуда — потому что жить просто нельзя, сознание вины не даетъ жить просто; надо дѣлать дѣло, надо искупать свою вину и распутывать общій узелъ виновности, — а это значить „или дядю Пьера убивать (генераль-усмиритель, убитый революціонерами), или Андрея“. И Соня добровольно умираетъ, потому что у нея нѣтъ выхода.

Теперь становятся понятными заключительныя строки того стихотворенія:

Краснымъ полнѣемъ всходить Любовь.

Цвѣтъ Любви на землѣ одинаковъ.

Да пролетѣтъ горячая кровь

Лепестками разбрызганныхъ маковъ.

Андрей и Соня—это „маковъ цвѣтъ“. Андрей еще весь въ красномъ пламени зари, но Соню уже озарилъ первый лучъ восходящаго солнца; она сама—та Любовь, которая искупить всѣ вины и сдѣлаетъ такъ, чтобы стало возможнымъ жить просто. И если все же Соня уходитъ изъ жизни, то это потому, что ихъ немного, они еще безсильны пересоздать жизнь,—и еще потому, что они первые, младшіе, самые нетерпѣливые. Послѣдними двумя стихами авторы, какъ будто, хотятъ сказать: первая, наиболѣе горячая кровь *должна* пролиться бесплодно (и тутъ разумѣются оба: и Андрей, и Соня, и даже умирающій вмѣстѣ съ Сонею ея кузень Борисъ, тоже чувствующій приближеніе утра, но еще болѣе смутно, чѣмъ Соня),—ибо таковъ законъ бытія. За ними придутъ многіе, болѣе увѣренные, не такъ нетерпѣливые: чрезъ нихъ начнетъ свою творческую работу „солнце любви“.

Таковъ смыслъ этой драмы, ищущей не столько изобразить, сколько истолковать дѣйствительность. Въ художественномъ отношеніи пьеса стоитъ на среднемъ уровнѣ; въ ней чувствуется большая опытность двухъ талантливыхъ беллетристовъ. Все сдѣлано прилично: фигуры достаточно выпуклы, фабула искусно проведена, фонъ искусно зарисованъ, діалогъ течетъ непринужденно и живо; но, признаться свѣжести мало, и на всемъ довольно ясная печать литературности. Только въ послѣдней сценѣ (между Борисомъ и Сонею передъ сов

мѣстнымъ самоубійствомъ) авторы суждали найти настоящія, неотторжаемые слова, когда между двумя людьми падаютъ всѣ преграды, когда и въ каждомъ изъ нихъ вдругъ озарится душевная глубина, и изъ устъ исходитъ чистый голосъ сердца. Въ этой сценѣ много неподдѣльной силы и нѣжности.—М. Г.

VIII.

— Н. Критская и Н. Лебедевъ. Исторія синдикальнаго движенія во Франціи. Москва. 1908. Ц. 1 р. 50 к.

Въ послѣднее время вниманіе русской литературы привлекъ къ себѣ вопросъ о такъ называемомъ синдикализмѣ, и въ переводѣ на русскій языкъ появилось нѣсколько сочиненій теоретиковъ этого ученія. Интересъ къ синдикальному движенію во Франціи возникъ въ наши дни особенно потому, что главнымъ средствомъ борьбы съ существующимъ строемъ данное направление общественной мысли французскаго пролетаріата считаетъ всеобщую стачку, испробованную въ 1905 г. въ цѣляхъ завоеванія политической свободы и нашимъ молодымъ демократическимъ теченіемъ—и что на 1-ое мая 1906 г. была назначена попытка примѣнить это средство борьбы для сокращенія рабочаго дня во всѣхъ французскихъ промышленныхъ заведеніяхъ. Синдикальное движеніе современнаго типа выросло изъ организацій, преслѣдовавшихъ, подобно англійскимъ рабочимъ союзамъ, цѣли борьбы французскихъ рабочихъ за улучшеніе ихъ матеріальнаго положенія при господствующемъ хозяйственномъ строѣ. Англійскіе рабочіе достигли уже, при помощи своихъ организацій, очень замѣтныхъ результатовъ и не проявляли намѣренія расширять рамки ихъ дѣятельности. Англійское рабочее движеніе и характеризуется именно упорной организованной борьбой съ предпринимателями за ближайшіе интересы пролетаріата и сравнительнымъ равнодушіемъ къ политической дѣятельности и къ борьбѣ за осуществленіе социалистическихъ идеаловъ. Германскій пролетаріатъ—насколько о немъ, по крайней мѣрѣ, можно судить по дѣятельности говорящей отъ его имени социаль-демократической партіи—проявляетъ какъ бы совершенно противоположную тенденцію. Онъ ставитъ какъ бы своей цѣлью ниспроверженіе капиталистическаго строя, а средство для этого полагаетъ найти въ доижении политической власти путемъ увеличенія числа своихъ представителей въ парламентъ. Его партія, поэтому, фактически есть парти парламентско-политическая. Французскій рабочій классъ не имѣетъ настоящее время столь же опредѣленно выраженной фizioноміи.

Мы его хорошо знаемъ, какъ борца за передовыя идеи на баррикадахъ. Но это было въ прошломъ. Въ настоящемъ же его симпатіи раздробляются между нѣсколькими партіями и социальными теченіями, и, быть можетъ, только синдикализму предстоитъ сдѣлаться господствующимъ направленіемъ и характернымъ выраженіемъ французскаго рабочаго движенія.

Французскіе рабочіе, какъ и всѣ прочіе, давно дѣлали попытки организовываться въ союзы для защиты своихъ ближайшихъ интересовъ. Но тогда какъ англійскій рабочій классъ удовлетворялся дѣятельностью въ этомъ направленіи, а политическія стремленія нѣмецкихъ рабочихъ получали удовлетвореніе въ подчиненіи ихъ руководительству социаль-демократической партіи — французскіе рабочіе не могли примириться ни съ той, ни съ другой постановкой своего „вопроса“. Французскій рабочій воспитался въ кровавой политической борьбѣ; онъ не могъ, поэтому, удовлетвориться сравнительно узкой сферой защиты своихъ ближайшихъ интересовъ. Но за нимъ было сто лѣтъ политической дѣятельности, движеній и революцій, и онъ не могъ не утратить юношеской вѣры во всемогущество политическихъ средствъ, воодушевлявшей его въ моменты революціонныхъ выступленій. Прошлый опытъ способенъ былъ расположить его сворѣе къ умаленію значенія парламентской борьбы сравнительно съ тѣмъ, что она можетъ ему принести въ дѣйствительности. И во всякомъ случаѣ его историческое прошлое не воспитало его для того, чтобы быть пассивнымъ участникомъ въ политической жизни и наблюдать со стороны, какъ его выборные представители воюютъ въ парламентѣ за его интересы. Онъ привыкъ самъ бороться или подготавливаться къ борьбѣ, и когда наступило время, что ареной политической борьбы рабочихъ могла сдѣлаться исключительно камера парламента,—французскіе рабочіе охладѣли къ политикѣ, а представляющія его политическія группы, естественно, послѣ этого разбились на враждебныя партіи.

Синдикальное движеніе во Франціи является выраженіемъ съ одной стороны неспособности передовой части французскаго пролетаріата удовлетвориться узкой сферой защиты своихъ непосредственныхъ интересовъ, съ другой—отрицательнаго отношенія къ парламентской дѣятельности, какъ средству существеннаго улучшенія положенія рабочихъ. „Рабочимъ нечего рассчитывать на Государственное Провидѣніе — говорится въ уставѣ одного синдикальнаго союза—потому что оно представляетъ лишь социальную надстройку, существующую только для того, чтобы поддерживать привилегіи правящихъ“. Политическая борьба, кромѣ того, вноситъ раздоры въ рабочую среду и служитъ препятствіемъ къ объединенію рабочихъ, тогда какъ сфера эконс

ческихъ интересовъ, одинаковыхъ у всего пролетаріата, представляетъ весьма удобную почву для его объединенія. Синдикальная организація имѣетъ въ виду достиженіе такого именно объединенія; она устраняется, поэтому, отъ участія въ парламентской борьбѣ, предоставляя отдѣльнымъ своимъ членамъ вести себя въ этомъ отношеніи сообразно ихъ личнымъ мнѣніямъ и стремленіямъ. Но ограничивая сферу своей дѣятельности экономической борьбой, синдикалисты не имѣютъ при этомъ въ виду исключительно защиту своихъ непосредственныхъ интересовъ въ предѣлахъ господствующаго хозяйственнаго строя. Высшей ихъ задачей является борьба именно съ этимъ строемъ и подготовленіе къ тому, чтобы организовать новый, социалистическій строй, послѣ того какъ строй старый долженъ отступить передъ напоромъ организованныхъ въ синдикаты рабочихъ. Синдикалисты полагаютъ, что даже революціонное правительство не способно осуществить социалистическую организацію производства, потому что этого нельзя достигнуть декретами, безъ предварительной подготовки и вполне сознательнаго отношенія рабочихъ. Ее могутъ осуществить только „рабочія корпораціи-синдикаты, которые уже теперь приучаются къ той роли, какую имъ предстоитъ выполнять въ будущемъ“. Изучая въ настоящее время характеръ и объемъ производства и потребленія въ подлежащихъ районахъ, синдикальныя организаціи готовятъ такимъ образомъ матеріалы, необходимые для того, чтобы планомерно организовать производство соотвѣтственно обычному потребленію, въ то время, когда средства производительной дѣятельности перейдутъ въ руки рабочихъ; а сами синдикальныя организаціи, образующія лѣстницу отъ низшихъ къ высшимъ, представляютъ, по мнѣнію синдикалистовъ, готовые органы для выполненія этого преобразованія.

Не надѣясь на государство, не ожидая чего-либо существеннаго для рабочаго класса отъ участія рабочихъ въ общественной жизни черезъ посредство своихъ представителей въ парламентъ, синдикалисты всѣ надежды возлагаютъ на непосредственную борьбу рабочаго класса, на тактику прямого дѣйствія (*action directe*) рабочихъ. Такая тактика неизбежно присуща рабочимъ союзамъ, защищающимъ завоеванное у предпринимателей отъ натиска послѣднихъ и выступающимъ противъ нихъ для новыхъ завоеваній. Но тогда какъ рабочіе союзы вообще прибѣгаютъ къ методу прямого дѣйствія въ борьбѣ съ предпринимателями за лучшія условія труда и пользуются этимъ оружіемъ для достиженія другихъ цѣлей лишь въ нѣкоторыхъ, необыденныхъ случаяхъ, — французскіе синдикалисты считаютъ его единственнымъ надежнымъ орудіемъ борьбы въ рукахъ рабочихъ и прибѣгаютъ къ нему не только для достиженія какихъ-либо непосредственныхъ результатовъ, но и для нанесенія ударовъ капиталистическому строю,

какъ таковому, и для воспитанія рабочихъ въ духѣ непримиримой борьбы съ господствующими порядками. Главнѣйшимъ средствомъ прямого дѣйствія служить стачка, и пристрастіе къ ней синдикалистовъ усматривается изъ того, что, несмотря на принадлежность къ синдикатамъ сравнительно небольшой доли французскаго пролетаріата, — до $\frac{4}{5}$ стачекъ, разражавшихся во Франціи въ послѣдніе годы, были организованы или велись съ помощью синдикатовъ. Стачка же, на этотъ разъ всеобщая, считается синдикалистами и тѣмъ орудіемъ, которымъ будетъ нанесенъ окончательный ударъ господствующему строю. Если къ сказанному прибавить, что синдикалистское движеніе во Франціи создано почти исключительно самими рабочими, и что синдикальныя организаціи описаннаго типа принципиально не допускаютъ въ свою среду буржуазныхъ, хотя бы и сочувствующихъ элементовъ, то мы будемъ имѣть довольно ясное понятіе о новѣйшемъ синдикальномъ движеніи на Западѣ. Наиболѣе важнымъ, по нашему мнѣнію, признакомъ этого движенія служить то, что оно представляетъ попытку передовой части пролетаріата выступать въ широкой политической борьбѣ самостоятельно, а не на поводу у партій, стоящихъ внѣ его и руководимыхъ демократической или социалистической интеллигенціей. Такая попытка не можетъ не вести къ усложненію и видоизмѣненію общественно-политической борьбы, потому что система парламентской дѣятельности создана вѣдь не рабочимъ классомъ, — который игралъ въ политической исторіи лишь роль орудія сверженія отживающаго строя, — а буржуазіей, и самостоятельное, постоянное участіе въ общественно-политической жизни новаго элемента — рабочаго пролетаріата — естественно приведетъ и къ новымъ приемамъ борьбы. Дѣло будущаго, конечно, окончательно разрѣшить вопросъ о томъ, какіе это будутъ приемы, и насколько соответствуетъ интересамъ рабочихъ полное устраненіе ихъ отъ парламентской дѣятельности.

Синдикалистское движеніе во Франціи представляетъ, во всякомъ случаѣ, важный фактъ новѣйшей соціальной исторіи; а указанная въ заголовкѣ нашей замѣтки работа двухъ русскихъ авторовъ пополняетъ пробѣлъ въ нашей литературѣ, обратившей вниманіе на это движеніе лишь въ послѣдніе годы. Авторы слѣдятъ за постепеннымъ созрѣваніемъ идеи современнаго синдикализма съ 1789 г., т.-е. „съ самаго начала выступленія рабочаго класса на историческую арену“, и даютъ затѣмъ очеркъ ученія, истекающаго изъ даннаго движенія. „Изученіе развитія идей—говорятъ авторы—связано въ нашей книгѣ съ изученіемъ фактовъ, такъ какъ синдикалистская теорія создавалась, въ отличіе отъ всѣхъ другихъ доктринъ, подъ вліяніемъ дѣятельности, въ самомъ процессѣ борьбы“. Г.г. Критская и Лебедевъ пользовались для своей работы сокровищами народныхъ библио-

тегъ и тѣми печатными матеріалами, которыя имъ сообщали сами участники синдикальнаго движенія. Книга написана легко и читается съ большимъ интересомъ.

IX.

— М. И. Фридманъ. Современныя косвенныя налоги на предметы потребленія. Томъ I. Спб. 1908. Ц. 3 р.

Въ предисловіи къ своей книгѣ М. И. Фридманъ останавливается на вопросѣ о современномъ состояніи теоріи такъ называемаго косвеннаго обложенія. Несмотря на то, что косвенныя налоги имѣютъ очень длинную исторію, и ученые, казалось-бы, давно могли собрать достаточный матеріалъ для всесторонняго ихъ изученія, взгляды на этотъ предметъ въ прошломъ и, быть можетъ, еще болѣе въ настоящемъ, отличаются крайнимъ разнообразіемъ. Гдѣ косвенныя налоги, „тамъ бѣдны крестьяне; бѣдны крестьяне — бѣдно государство; бѣдно государство — бѣденъ король“, учили физиократы передъ исходомъ 18-го столѣтія. „Косвенный налогъ есть налогъ странъ съ развитой цивилизаціей; прямой налогъ есть налогъ варварскихъ странъ. Бѣдная страна, рабская страна — и прямой налогъ; богатая страна, свободная страна — и косвенный налогъ“, писалъ Тьеръ въ срединѣ 19-го вѣка. „Чѣмъ большую роль играетъ обложеніе потребленія, тѣмъ меньше должна быть развита масса народа, тѣмъ меньшей свободой она должна пользоваться, тѣмъ эгоистичнѣе должны быть господствующіе и имущіе классы и тѣмъ ниже долженъ быть уровень нравственнаго развитія послѣднихъ“, высказалъ Фокке въ концѣ истекшаго столѣтія. Современныя намъ взгляды на различные вопросы косвеннаго обложенія отличаются особеннымъ разнообразіемъ. „Начиная съ опредѣленія, что такое косвенныя налоги, продолжая выясненіемъ ихъ достоинствъ и недостатковъ и кончая проблемой о перелагаемости этихъ сборовъ — повсюду мы встрѣчаемъ цѣлый калейдоскопъ мнѣній, нерѣдко прямо противоположныхъ“, говоритъ по этому предмету авторъ разсматриваемаго труда. „Что-же мудренаго, если законодательныя палаты, ученые, публицисты и обыватели, разсуждая о косвенныхъ налогахъ, бродятъ, какъ во тьмѣ, лишенные твердой опоры, высказываютъ противорѣчивыя взгляды и въ подтвержденіе ихъ ссылаются или могутъ сослаться, каждый, на длинный списокъ авторитетовъ“.

Въ данномъ отношеніи, впрочемъ, теоріи косвенныхъ налоговъ аздѣляютъ судьбу и другихъ ученій относительно экономическихъ мненій и отношеній. Эти ученія сложились для объясненія явленій жизни, сильно отличающихся отъ современныхъ: не удивительно, если и оказались плохо прилаженными къ нашему времени. И подобно

тому, какъ мы давно уже наблюдаемъ попытки внесенія поправокъ въ общія теоріи экономической жизни, созданныя старыми учеными, и аналогичная работа совершается въ области теоріи прямого обложенія,—настало время подвергнуть новому изученію и категорію косвенныхъ налоговъ. „Надо взять новую систему налоговъ на потребление, сложившуюся по преимуществу въ новѣйшее время, при современныхъ экономическихъ, политическихъ и социальныхъ условіяхъ“, показать органическую ихъ связь съ общественными условіями мѣста и времени, и тогда сдѣлается очевидно, что „нельзя новыя явленія укладывать на прокрустово ложе старыхъ теорій, что каждому крупному историческому періоду соответствуетъ и своя теорія налоговъ на потребление“, говоритъ авторъ. Изъ сказаннаго слѣдуетъ, что построеніе теоріи косвеннаго обложенія, соответствующей современнымъ явленіямъ этого рода, не можетъ быть достигнуто логической проверкой прежнихъ учений. Такое направленіе работы было бы уместно при неизмѣнности явленій, подлежащихъ объясненію. „Въ тѣхъ же случаяхъ, когда новыя условія вызвали къ жизни новыя явленія или существенно видоизмѣнили объектъ наблюденія...: въ такихъ случаяхъ необходимо прежде всего основательно и внимательно изучить факты, пересмотрѣть матеріалы, давшіе основаніе для посылокъ, и только тогда дѣлать выводы“.

Этой точкой зрѣнія опредѣляется и содержаніе труда г. Фридмана, посвященнаго косвеннымъ налогамъ. Назначеніе этого труда: подготовить „научно-обработанный матеріалъ для теоріи налоговъ на потребление“. Объектомъ изученія взята Германія, гдѣ косвенное обложеніе испытало въ новѣйшее время полное преобразование. Авторъ и поставилъ себѣ задачей изобразить „какъ создаются, какъ дѣйствуютъ и вліяютъ, при современныхъ историческихъ условіяхъ, налоги на потребление въ странѣ, сдѣлавшей за послѣдніе нѣсколько десятковъ лѣтъ поразительные успѣхи въ области экономической, политической и социальной“.

Г. Фридманъ излагаетъ исторію косвенныхъ налоговъ въ Германіи послѣ обращенія ея въ имперію; вѣрнѣе будетъ сказать—исторію того, какъ измѣнялось законодательство объ этихъ налогахъ подъ вліяніемъ фискальныхъ соображеній правительства съ одной стороны и борющихся интересовъ различныхъ социальныхъ классовъ и группъ населенія съ другой. Пользуясь по преимуществу газетной и брошюрной литературой соответствующаго времени, авторъ показываетъ какъ относились къ различнымъ косвеннымъ налогамъ и къ предположеніямъ объ ихъ измѣненіи различные классы, организаціи предпринимателей, районы, партіи, и какія мѣры принимались ими для поощренія или противодѣйствія проектамъ тѣхъ или другихъ мѣр

пріятій. Такъ какъ каждый участвующій въ обсужденіи вопроса приводитъ аргументы относительно вліянія даннаго явленія на интересы различныхъ группъ населенія, на состояніе той или другой отрасли промышленности, на политическія соотношенія въ странѣ,—при чемъ, конечно, разсматриваетъ всѣ эти предметы съ точки зрѣнія того класса или партіи, къ которой самъ принадлежитъ, то изложеніе всего этого дѣла даетъ матеріалъ для сужденія о борьбѣ классовъ, партій и другихъ организацій и о вліяніи данныхъ налоговыхъ мѣропріятій на различныя стороны экономическаго быта страны. Книга г. Фридмана представляетъ поэтому интересъ и для политика, и для финансиста, и для экономиста. Интересъ этотъ, прибавимъ, заключается не въ рѣшеніяхъ авторомъ тѣхъ или другихъ вопросовъ. Такихъ рѣшеній въ книгѣ искать нечего. Только мѣстами, „когда результаты казались безспорными, когда выводы напрашивались сами собой“, авторъ не уклонялся отъ соотвѣтствующихъ заключеній. Въ общемъ-же изложеніе носитъ историческо-описательный характеръ, при чемъ авторъ старался лишь выдвигать „на первый планъ матеріалы, могущіе послужить освѣщеніемъ основныхъ проблемъ“. Изъ сказаннаго слѣдуетъ, что трудъ г. Фридмана имѣетъ интересъ, главнымъ образомъ, для лицъ, способныхъ къ самостоятельному отношенію къ вопросамъ; такія лица найдутъ въ немъ не мало матеріала для выводовъ и заключеній. Къ числу недостатковъ, неизбѣжныхъ при принятой авторомъ системѣ хронологическаго изложенія интересующихъ его явленій, относятся частыя повторенія тѣхъ-же аргументовъ, выдвигаемыхъ заинтересованными группами въ различные моменты изслѣдуемаго періода.

Косвенному обложенію въ Германіи подлежатъ табакъ, сахаръ, спиртъ и пиво—предметы, составляющіе непосредственный или переработанный продуктъ сельскаго хозяйства. Та или другая высота, та или иная система построенія этихъ налоговъ не можетъ поэтому не отражаться на интересахъ сельскихъ хозяевъ. Это въ особенности примѣнимо къ сахарному и винному налогамъ, потому что и само производство сахара и вина, преимущественно перваго, находится въ рукахъ сельскихъ-же хозяевъ. Производителями названныхъ продуктовъ являются по преимуществу крупные землевладѣльцы, сильные представительство въ рейхстагѣ и связями въ правительственныхъ сферахъ. Это, конечно, не могло не отражаться и на финансовой политикѣ правительства. Въ проведеніи или противодѣйствіи тѣмъ или другимъ ставкамъ налога и формамъ обложеній заинтересованы, конечно, и другія группы производителей, посредниковъ, торговцевъ, не принадлежащихъ къ сельско-хозяйственному классу. И для характеристики ихъ отношенія къ различнымъ сторонамъ вопроса косвеннаго обложенія и ихъ вліяній на установленіе налоговъ трудъ г. Фридмана

доставляетъ богатый матеріалъ. Есть еще одна категория населенія, самая многочисленная, для которой высота обложеній сахара, вина и т. д., не представляется безразличной: это—потребители облагаемыхъ предметовъ. Но они сами мало фигурируютъ на полѣ состязанія, а ихъ имя призывается главнымъ образомъ въ качествѣ аргумента въ пользу какого-либо другого болѣе виднаго интереса. Въ борьбѣ за или противъ данныхъ ставокъ и формъ косвеннаго обложенія борющіяся стороны старались почерпнуть аргументы изъ области того, какъ вліяли дѣйствовавшіе налоги на состояніе соответствующихъ отраслей промышленности. Книга г. Фридмана даетъ поэтому обильный матеріалъ для разъясненія и этого вопроса и содержитъ какъ-бы странички изъ экономической исторіи Германіи. Нѣкоторый матеріалъ можно почерпнуть въ этой книгѣ по важному вопросу о переложеніи косвенныхъ налоговъ. Этотъ вопросъ, кстати, принадлежитъ къ числу тѣхъ, по которымъ авторъ разсматриваемаго труда допускаетъ собственное заключеніе. Исторія финансоваго законодательства въ Германіи даетъ намъ образцы различныхъ мнѣній по этому вопросу, начиная мнѣніемъ Лассала и социаль-демократовъ о полномъ переложеніи налога на потребителей и кончая мнѣніемъ Бисмарка, что косвенные налоги распредѣляются равномерно между всѣми—потребляющими и непотребляющими обложенный предметъ, что тотъ, кто покупаетъ пару сапогъ—оплачиваетъ и „пиво, которое сапожникъ привыкъ пить и которое принадлежитъ къ его ежедневнымъ потребностямъ и привычкамъ“. Г. Фридманъ полагаетъ, что теорія уплаты косвеннаго налога „всегда и цѣликомъ потребителемъ находится въ самомъ рѣшительномъ противорѣчій съ дѣйствительностью. Изъ-за того, кому нести обложеніе, всегда идетъ борьба между различными слоями населенія, при чемъ въ особо невыгодномъ положеніи находится первый платательщикъ; легче всего перелажаетъ налогъ наиболѣе организованная группа, а недостаточный потребитель вынужденъ взять на себя налогъ цѣликомъ тогда, когда онъ падаетъ на предметъ, безусловно необходимый, безъ котораго нельзя обойтись, который нельзя замѣнить ничѣмъ, и потребление коего нельзя сократить“ (стр. 124). Иллюстраціей сказаннаго служить послѣдній эпизодъ изъ исторіи обложенія пива въ Германіи. Въ 1906 г. здѣсь введено прогрессивное обложеніе пива съ значительно повышенными ставками. Послѣ того началась организованная и неорганизованная борьба пивоваровъ, трактирщиковъ и потребителей за свободу отъ уплаты налога. Пивовары стремились переложить уплоченный ими налогъ на трактирщиковъ, и такъ какъ масса трактировъ устроены ихъ хозяевами и ссуды отъ пивоваровъ, то во многихъ случаяхъ это не представило для нихъ большихъ затрудненій. Трактирщики въ свою очередь не

таются перенести эту сумму на потребителей — не столько прямымъ путемъ повышенія цѣны пива, сколько косвеннымъ способомъ уменьшенія размѣра посуды, въ которой подается пиво, и небольшого повышенія цѣны на кушанья, запиваемыя, по обычаю, пивомъ. „Мѣстами пивоварамъ удалось переложеніе цѣликомъ; въ большинствѣ же случаевъ они понесли нѣкоторый ущербъ отъ повышенія налога. Трактирчики были болѣе слабой стороной и лишь въ немногихъ случаяхъ, опираясь на потребителей, сумѣли заставить полностью заплатить новый налогъ пивоваровъ; въ большинствѣ же случаевъ они принуждены были часть налога взять на себя, а часть переложить на потребителей. Потребители, какъ наименѣе организованная группа, отдѣльные члены коей очень незначительно, въ сущности, задѣвались повышеніемъ налога, оказались наименѣе крѣпкими, и на нихъ поэтому всего сильнѣе отразилось повышеніе налога; однако, необходимо отмѣтить, что мѣстами потребленіе не понесло вовсе увеличенія налога, мѣстами было лишь слабо задѣто имъ и въ большинствѣ случаевъ обременено было лишь частью новаго налога“ (стр. 605). Авторъ полагаетъ, что при помощи наблюденій, подобныхъ приведеннымъ, можно значительно освѣтить вопросъ о переложеніи налоговъ, — проблему „сдѣлавшуюся ахиллесовой пятой и научнаго изслѣдованія, и финансовой политики“.

X.

- Проф. В. Э. Денъ. Очеркъ по экономической географіи. Часть первая. Сельское хозяйство. Спб. 1908.
- Д. Д. Моревъ. Очеркъ коммерческой географіи и хозяйственной статистики Россіи сравнительно съ другими государствами. Изданіе девятое. Спб. 1907.

Двѣ указанныя книги, нѣсколько различающіяся по заголовкамъ, преслѣдуютъ одинаковую цѣль: ознакомленія читателя съ хозяйственной жизнью страны въ связи съ географическими, культурными и другими ея условіями. Дисциплина, вѣдающая этотъ предметъ, носить имя коммерческой, экономической или хозяйственной географіи. Выдѣленіе этого предмета въ особую науку и введеніе послѣдней въ кругъ преподаванія произошли сравнительно недавно, а обстоятельства, вызвавшія такое выдѣленіе, заключаются въ усложненіи хозяйственной жизни цивилизованныхъ народовъ и сознаніи того, что „государству теперь въ гораздо болѣе степени, чѣмъ прежде, необходимо знакомство съ тѣми хозяйственными и социальными условіями, въ которыхъ господствуютъ въ дѣйствительной жизни“ (Денъ, стр. 4). Сомненіе къ предмету со стороны двухъ авторовъ разсматриваемыхъ нами книгъ не вполне одинаково. Г. Моревъ вездѣ говоритъ

о простомъ „изображеніи“ интересующихъ насъ явленій; г. Денъ полагаетъ, что „экономическая географія, изучая состояніе отдѣльныхъ отраслей хозяйства, должна дать не только факты, касающіеся данной отрасли, но и подвергнуть ихъ анализу съ точки зрѣнія господства тѣхъ или другихъ формъ“ и выяснять ихъ даже исторически. „Она должна выяснить, какія формы одновременно сосуществуютъ въ разныхъ отрасляхъ хозяйственной жизни, нѣтъ ли въ этомъ сосуществованіи извѣстной закономерности. Въ виду того значенія, какое для экономической географіи имѣетъ ученіе о формахъ хозяйства, часть настоящаго введенія—говоритъ авторъ—будетъ посвящена изложенію теоріи формъ хозяйства и связанному съ нею ученію о стадіяхъ хозяйственнаго развитія“ (стр. 77). Такая экскурсія автора въ область экономической теоріи и исторіи, независимо отъ самостоятельнаго интереса соответствующихъ главъ,—составила, однако, чистовѣщій придатокъ къ главному содержанію его книги. Объясняется это, вѣроятно, тѣмъ, что въ своей работѣ авторъ имѣетъ дѣло со странами, находящимися приблизительно въ одинаковой стадіи экономическаго развитія. Иное слѣдуетъ сказать относительно „введенія“ въ отдѣлъ о земледѣліи, дающаго общія понятія о технико-агрономическихъ формахъ сельскаго хозяйства. Различія этихъ формъ—будучи съ одной стороны выраженіемъ послѣдовательности стадій развитія сельско-хозяйственной дѣятельности—являются съ другой стороны послѣдствіемъ разнообразія условій этой послѣдней, и вы можете встрѣтить всѣ эти формы одновременно въ одной и той же странѣ.

Оба разсматриваемыя нами сочиненія носятъ по преимуществу статистическій характеръ. Особенно это слѣдуетъ сказать о книгѣ г. Морева, крайне бѣдной описаніями и поясненіями, и въ статистической части ограничивающейся общими, суммарными данными. Для поясненія сказаннаго замѣтимъ, что въ отдѣлѣ, напр., о сельско-хозяйственныхъ угодьяхъ г. Моревъ даетъ свѣдѣнія лишь относительно общей ихъ площади, а въ отдѣлѣ о землевладѣніи ограничивается распредѣленіемъ площади послѣдняго между главными категориями собственности для всей Россіи и отдѣльныхъ ея губерній. А г. Денъ даетъ еще свѣдѣнія о формахъ собственности и размѣрахъ отдѣльныхъ владѣній и о составѣ по угодьямъ земель различныхъ категорий собственности. Вслѣдствіе бѣдности описаніями и поясненіями, книга г. Морева,—предназначенная, прибавимъ кстаті главнымъ образомъ, служить руководствомъ ученикамъ коммерческихъ и реальныхъ училищъ—носитъ справочный характеръ. Книга г. Дени содержащая курсъ лекцій, читанныхъ въ с.-петербургскомъ политехническомъ институтѣ,—имѣетъ болѣе научный характеръ, детальнѣ

расчленяетъ изучаемый предметъ, стремится не только статистически описать, но и объяснить данное явленіе и содержитъ, кромѣ того, критику источниковъ статистическихъ свѣдѣній. Разсматриваемая книга проф. Дена составляетъ часть курса по экономической географіи, посвященную сельскому хозяйству Россіи, Англии, Франціи, Германіи и Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ. Нѣсколько ранѣе издана была другая часть его курса, касающаяся каменноугольной и желѣзодѣлательной промышленности.

Г. Денъ указываетъ обширную литературу, которую самъ онъ, однако, не вполне использовалъ. Такъ, въ главѣ о лѣсоводствѣ—приведемъ, слишкомъ длинной для даннаго изданія,—приведа подробныя, подчасъ даже мелочныя свѣдѣнія о казенномъ хозяйствѣ—по отношенію къ удѣльнымъ лѣсамъ авторъ ограничился скудными свѣдѣніями изъ неимѣющей значенія книжки „Столѣтіе Удѣловъ“, несмотря на то, что въ другомъ, указанномъ имъ на стр. 72 источникѣ (но не приведенномъ въ списокѣ источниковъ для главы о лѣсоводствѣ)—„Исторія Удѣловъ“—имѣется большая обстоятельная статья о лѣсномъ хозяйствѣ Удѣловъ. Хозяйство же это заслуживаетъ особеннаго вниманія по его, такъ сказать, благоустройству. Въ той же книгѣ авторъ нашелъ бы свѣдѣнія и о составѣ арендаторовъ удѣльныхъ земель, аналогичныя приведеннымъ имъ даннымъ о казенныхъ арендныхъ статьяхъ, свѣдѣнія, на отсутствіе которыхъ онъ жалуется на стр. 122 своего труда. Свѣдѣнія объ удѣльныхъ оброчныхъ статьяхъ авторъ заимствовалъ изъ той же небольшой книжки „Столѣтіе Удѣловъ“. Въ книгѣ проф. Дена находятся и другія неточности, которыхъ при извѣстномъ вниманіи легко было бы избѣжать. На стр. 77, напр., говорится, что о размѣрѣ сокращенія площади земли, отведенной при освобожденіи помѣщичьимъ крестьянамъ, свѣдѣнія имѣются будто бы лишь для шести губерній, между тѣмъ какъ въ дѣйствительности на основаніи матеріаловъ редакціонныхъ комиссій о количествѣ земли, состоявшей въ пользованіи крестьянъ во времена крѣпостного права (перепечатанныхъ въ „Военно-статистическомъ Сборникѣ“, в. IV), можно приблизительно исчислить площадь отрѣзокъ и прирѣзокъ крестьянскихъ земель для всѣхъ губерній Россіи. На стр. 42 утверждается, что въ 1903 г. по русскимъ желѣзнымъ дорогамъ перевезено грузовъ 11 миллиардовъ пудовъ, между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ эта цифра выражаетъ простую геометрическую сумму перевозокъ отдѣльныхъ желѣзнодорожныхъ линій, причемъ одинъ и тотъ же грузъ, совершившій пробѣгъ по нѣколькимъ линіямъ, нѣсколько же разъ и сосчитывается. Дѣйствительное количество перевезенныхъ товаровъ составляетъ около половины ой суммы. По поводу замѣчанія автора объ отсутствіи у него свѣ-

дѣній объ экспортѣ пшеницы изъ Франціи за послѣдніе годы, укажемъ, что такія свѣдѣнія можно найти въ изданіи петербургскаго биржевого комитета „Международный обмѣнъ главнѣйшими сельско-хозяйственными товарами за 1896—1901 года“. Въ заключеніе не можемъ не высказать сомнѣнія въ томъ, чтобы сравненіе данныхъ центрального статистическаго комитета о частномъ землевладѣніи въ 1877 и 1905 гг. дозволяло вывести, какъ это дѣлаетъ авторъ, заключеніе, что площадь дворянскаго землевладѣнія въ нѣкоторыхъ губерніяхъ увеличилась. Подобный выводъ по отношенію, напр., къ Минской губерніи, относимой г. Деномъ къ числу мѣстностей съ простымъ дворянскимъ землевладѣніемъ, нельзя признать правильнымъ потому, что соотношеніе итоговъ площади землевладѣнія въ этой губерніи въ 1877 и 1905 г. доказываетъ крупную неправильность показанія за тотъ или другой годъ. Достаточно сказать, что, согласно показаніямъ, о которыхъ идетъ рѣчь, территория Минской губерніи съ 1877 по 1905 г. возрасла будто бы почти на миллионъ десятинъ. Такъ какъ въ дѣйствительности не произошло ничего подобнаго, а различіе цифръ площади губерніи въ 1897 и 1905 гг. должно быть объяснено неправильностью того или другого показанія, то естественно будетъ приписать той же причинѣ и незначительное превосходство въ 1905 г. цифры дворянскаго землевладѣнія. И дѣйствительно, данныя другого источника о мобилизаціи земли („Материалы по статистикѣ движенія землевладѣнія“, вып. XI), свидѣтельствуютъ, что дворянское землевладѣніе Минской губерніи раздѣляетъ общую судьбу этой категоріи земельной собственности въ Россіи, и что съ 1883 по 1897 г. дворяне названной губерніи потеряли около 900 тысячъ десятинъ.

Эти немногія критическія замѣчанія не могутъ, однако, удержаться отъ того, чтобы рекомендовать новое произведеніе г. Дена всакому, интересующемуся экономическими вопросами.—В. В.

Въ теченіе іюня мѣсяца въ Редакцію поступили нижеслѣдующія новыя книги и брошюры:

Бахчисарайцевъ, Г. А. — Высшее коммерческое образованіе. Рѣчь при открытіи Москов. Коммерч. Института. Спб. 908. Ц. 40 к.

Берманъ, Я. — Діалектика въ свѣтѣ современной теоріи познанія. М. 901 Ц. 1 р. 25 к.

Бодларъ, Ш. — Цвѣты зла. Перев. Элиса, съ вступительной статьей Готье и съ предисловіемъ В. Брюсова. Съ портр. поэта. М. 908. 2 р. 50

Бородаевскій, С. В. — Сельско-хозяйственные кооперации въ Германіи. Спб. 908. Ц. 50 коп.

Бызовскій, Н., Вовчокъ, В., Огановскій, Н., Фортунатовъ, Евг., Черненко, Б., Кочаровскій, К.—Борьба за землю. Т. I. Общее введеніе. Ч. I.: Завлать, капиталъ и трудъ въ земледѣліи и землевладѣніи. Спб. 908. Ц. 2 р. 50 к.

Виленинъ, Григорій.—Государственный и экономическій строй современной Японіи. Спб. 908. Ц. 1 р. 50 к.

Востротинъ, С.—Сѣверный морской путь и Челябинскій тарифный переломъ въ связи съ колонизаціей Сибири. Вып. 1. Спб. 908. Ц. 50 к.

Гаврилович, Мих., д-ръ.—Милош Обренович. Книга прва. Белградъ, 908. Ц. 6 днн.

Г. С. III.—Князь Аванасій Даниловичъ, сынъ князя Данила Александровича Московскаго. Спб. 908.

Гессенъ, В. М.—Исключительное положеніе. Спб. 908. Ц. 2 р.

— О неприкосновенности личности. Спб. 908. Ц. 50 к.

Горенцъ, М.—Современныя идейныя теченія въ еврействѣ. Съ польскаго Спб. 908.

Гриневичъ, В.—Профессиональное движеніе рабочихъ въ Россіи. Спб. 908. Ц. 1 р. 20 к.

Грузинскій, А. Е.—Литературныя очерки. М. 908. Ц. 1 р.

Добрышинъ, Б. В.—Задачи современной интеллигенціи. Спб., 908. Стр. 61. Ц. 25 к.

Евреиновъ, Г. А.—Национальные вопросы на инородческихъ окраинахъ Россіи. Спб. 908. Ц. 1 р.

Журавлевъ, Б.—Зыбь. Разск. Спб. 908. Ц. 25 к.

Карпезъ, Н.—Учебная книга древней исторіи. Съ историческими картами. Изд. 6-е. Спб. 908. Ц. въ перепл. 1 р. 35 к.

— Исторія Западной Европы въ новое время. Т. II. Исторія XVI и XVII вѣковъ. Изд. 4-е. Спб. 908. Ц. 3 р. 50 к.

Лохвицкая, М. А. (Жяберъ).—Стихотворенія. Передъ закатомъ. Съ приложеніемъ неизданныхъ стихотвореній изъ прежнихъ лѣтъ и портр. автора. Съ предисл. К. Р. Спб. 908. Ц. 75 к.

М. Б.—Въ свѣтъ правды. М. 908. Ц. 35 к.

М-въ, Л.—Русскій народъ и евреи. Спб. 908. Ц. 25.

Мейстеръ, А. А.—Геологическая карта енисейскаго золотоноснаго района. Спб. 908.

Мишинъ, Дм.—Бюрократы. Романъ-трилогія. II. Карьера. Спб. 908. Ц. 1 р. 20 к.

Михальскій, А. Ф.—Сборникъ неизданныхъ трудовъ. Спб. 908. Ц. 3 р. 30 к.

Поповичъ-Липовацъ, ген.-м.—Жгучій вопросъ дня. Македонскія реформы и русско-английскіе проекты. Спб. 908. Ц. 1 р.

Рыбаковъ, Ф.—Современныя писатели и больные нервы. М. 908. Ц. 40 к.

Тарновскій, Е.—Четыре свободы. Спб. 908.

— Индивидуализмъ и социализмъ. Спб. 908.

— Революція и нравственность. Спб. 908.

Троицкій, В. Т.—Торговля на общественныхъ началахъ при содѣйствіи государства. Харьковъ, 1908. Стр. 43. Ц. 30 к.

Трубицынъ, Н.—Одинъ изъ восьмидесятниковъ. Надсонъ. Варш. 908.

Френсенъ, Густавъ.—Полное собраніе сочиненій. Т. I. Іернъ Уль. Спб. 908. 2 р.

Чоробрянскій, П.—Земельныя нормы для кыргизъ Сарайской волости.—

Курбатовъ, Н., Естественно-историческое описаніе Сарайской волости. Оренб., 908.

Чельшишевъ, М. Д.—О вредѣ народнаго пьянства. Спб. 908. Ц. 40 к.

Шатиръ, Ольга.—Сонина влятва. Пов. съ рис.—Чужой. Пов. съ рас. М. 908. Ц. 30 и 35 к. (Библиотека для Семьи и Школы).

Шепердъ, Е.—Молодымъ дѣвушкамъ и матерямъ для дочерей. Съ англ. Е. А. Дунаева. Изд. 4-ое. М. 908. Ц. 45 к.

Штейнъ, Сергѣй. Славянскіе поэты. Переводы и характеристики. Спб., 908. Стр. 230. Ц. 1 р.

Шулятиковъ, В.—Оправданіе капитализма въ западно-европейской философіи. Отъ Декарта до Э. Маха. М. 908. Ц. 1 р.

Энгельгардтъ, М. А.—Вредныя и благородныя расы. Спб., 908. Стр. 40. Ц. 15 к.

Якобій, П. Н.—Вятчи Орловской губерніи, съ предислов. пастора Я. Гурья и указателями. Спб. 908.

Федоровъ, С. П.—Труды госпитальной хирургической клиники. Т. II, ч. 2-ая. Спб. 908.

Baudouin de-Courtenay, W sprawie porozumenia się ludów słowiańskich. Warszawa. 908.

— Альманахи молодой еврейской литературы, п. р. С. Гблянскаго. Спб. 908. Ц. 1 р. 25 к. Кн. 1-ая.

— Библиотека И. Горбунова-Посадова: 1) Нашъ плодовой садикъ. Состав. Е. Емельянова. Ц. 25 к.—2) Нашъ ягодный садикъ, состав. Е. Емельянова. Ц. 18 к.—3) Нашъ огородъ, состав. Е. Емельянова. Ц. 20 к. М. 908.

— Журналы засѣданій Совѣта Имп. Новороссійскаго Университета за осеннее полугодіе 1907 г. Од. 907.

— Записки Историко-Филологическаго факультета Имп. Спб. Университета. Ч. 88-ая. Спб. 908.

— Каталогъ фундаментальной библиотеки Уманскаго средняго училища садоводства и земледѣлія. Книги по сельскому хозяйству, плодоводству, лесоводству, технологіи и с.-х. механикѣ. Умань. 908.

— Книгоиздательство „Matheus“: 1) Историческая физика, вып. II, III и IV.—2) Проф. Ушинскій. Лекціи по бактериологіи, ц. 1 р. 50 к.—3) Проф. Рися, Современная теорія физическихъ явленій, ц. 1 р.—4) Проф. Ветель, Современное развитіе физики, ц. 2 р.—5) Свинте, Образование міровъ, ц. 1 р. 75 к.—6) Кюловскій, Физическая жизнь нашей планеты, ц. 40 к.—7) Лндеманъ, Форма и спектръ атомовъ, ц. 20 к.—8) Мультионъ, Эволюція солнечной системы, ц. 50 к. Одесса. 908.

— Княжество Бѣлгарія. Дирекція на Статистика та. Статистика основанъ училище Княж. Бѣлгарія учебната 1903—1904 година. София. 1908.

— Отчетъ Главнаго Управленія неокладныхъ сборовъ и казенной продажи пшпей. 1905—6-й годъ. Спб. 908.

— Программы домашняго чтенія. Первый выпускъ систематическаго курса. М. 908. Ц. 35 к.

— Пушкинъ и его современники. Материалы и изслѣдованія. Вып. I. Изд. Отд. русск. языка и словесности Имп. Академіи Наукъ. Спб. 908.

— Русское Географическое общество: 1) Отчетъ Имп. Русск. Геог. Общества за 1907 годъ. Спб. 908.—2) Инструкціи для изслѣдованія о Спб. 908.

- Сборникъ. Изд. харьковскаго студенческаго литературно-философскаго кружка. Харьковъ, 908. Стр. 191. Ц. 70 к
- Систематическій Указатель книгъ. Вып. 1: Всеобщая Русская исторія. Состав. Н. Малиновскій. Спб. 908. Ц. 20 к.
- Статистика по казенной продажѣ питей. 1905-й годъ. Спб. 908.



ЛИТЕРАТУРНАЯ ЗАМѢТКА.

АМЕРИКАНЕЦЪ О РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНѢ.

Frederick Mc-Cormick. The tragedy of Russia in Pacific Asia. New York. The Outing publishing. Co. In two volumes. MCMVII. X & 435 and X & 481.

Фридрихъ Макъ-Кормикъ. Трагедія Россіи въ тихоокеанской Азіи. Нью-Йоркъ, 1907. 2 тома, съ картами, фотографіями и иллюстраціями автора.

Американская литература очень богата статьями и отдѣльными книгами, описывающими японско-русскую войну 1904—1905 годовъ, и многія изъ нихъ отличаются знаніемъ дѣла и безпристрастіемъ, но ни одно изъ этихъ многочисленныхъ описаній не произвело такого впечатлѣнія, какъ только что появившаяся книга Макъ-Кормика. Какъ представитель американской „Ассосіэтедъ Прессъ“ и специальный корреспондентъ и художникъ „Collier's Weekly“, самой серьезной и распространенной нашей иллюстрированной еженедѣльной газеты, онъ пріѣхалъ въ Портъ Артуръ еще до начала военныхъ дѣйствій, затѣмъ перебрался въ Инкоу, присутствовалъ на русской сторонѣ при всѣхъ бояхъ манчжурской арміи, отъ Вафангоу до Мукдена, и уѣхалъ только по заключеніи мира. Онъ владѣетъ нѣсколькими языками, немного и русскимъ, упорно лично присутствовалъ на всѣхъ передовыхъ позиціяхъ, много разъ бывалъ въ огнѣ сраженій и однажды даже попалъ въ плѣнъ къ японцамъ, но былъ немедленно возвращенъ ими черезъ Синминтинъ въ районъ расположенія русской арміи. Книга производитъ впечатлѣніе серьезности, добросовѣстности и проникательной наблюдательности. Макъ-Кормикъ, очевидно, пытается воздать кое-муждо по дѣламъ его и отнюдь не японофильствуетъ, что нѣрѣдко претитъ въ американскихъ описаніяхъ этой войны. Давая конкретное и яркое описаніе причинъ, вызвавшихъ войну, онъ возлагаетъ отвѣтственность за нее всецѣло на намѣстника Алексѣева и его антуражъ, называя всюду это отдѣльное мѣстное правительство the Eastern Empire, Восточной Имперіей, и какъ бы отдѣляя его отъ общеперскаго русскаго правительства. Эту авантюристскую конгломерацию, считаему имъ государствомъ въ государствѣ, онъ очерчиваетъ очень ярко и относится къ ней совершенно безопадно, упрекая ее въ аrogанности, заносчивости, непростительномъ невѣжествѣ относительно дѣйствительнаго положенія дѣлъ, двуличности и безпринципности. Ха

характеристики самого Алексѣева и его главных приближенных остроумны и подавляющи: такъ, генерала Флуга онъ называетъ инициаторомъ и редакторомъ всей той лжи и умышленной искаженности, которыми блисталъ весь официальный литературный материалъ и о причинахъ, и о дѣйствительномъ ходѣ войны, и безпощадно-одностороннимъ цензоромъ всѣхъ корреспондентскихъ телеграммъ. Трудно передать то презрѣніе, даже гадливость, которыми пронизана вся книга Макъ-Кормика относительно всей этой клики вообще и личности намѣстника въ особенности. И дипломатія, и военная и морская тактика были основаны на полномъ незнаніи ни основныхъ качествъ врага, ни своихъ дѣйствительныхъ ресурсовъ: — Алексѣевъ пытался достичь своихъ цѣлей дерзостью и самохвальствомъ, надувая и Петербургъ, и армию предвзятой, совершенно неправильной оцѣнкой положенія. Цѣлый годъ войны и длинный рядъ поражений были необходимы, чтобы русская армія очнулась отъ этого искусственно созданнаго кошмара и начала относиться серьезно къ боевымъ качествамъ врага. Но къ генералу Куропаткину Макъ-Кормикъ относится повсюду съ уваженіемъ, даже иногда съ симпатіей,—приводить множество вѣскихъ доказательствъ того, какъ онъ былъ связанъ отчасти Алексѣевымъ, отчасти Петербургомъ, отчасти толпой навязанныхъ ему со всѣхъ сторонъ сотрудииковъ, и какъ онъ постоянно, хотя и безуспѣшно, пытался бороться и съ дикостью, и съ развращенностью арміи, и съ ядомъ царившихъ въ ней порядковъ. Интересны характеристики главныхъ генераловъ,—большинство Макъ Кормикъ называетъ ихъ полными именами, но нѣкоторыхъ обозначаетъ только инициалами, а то и тире. Большинство кажется ему милыми, добродушными людьми, нѣкоторые выдающимися по своей честности и преданности своему дѣлу—но бездарностями въ военномъ и организаторскомъ смыслѣ и совершенно неспособными къ самостоятельности и успѣху. Особенно достается Штакельбергу, Засуличу; Гершельмана постоянно били; котя Мищенко и пользовался любовью своихъ частей, въ единственномъ серьезномъ своемъ дѣлѣ, кавалерійскомъ набѣгѣ на Инко, онъ не сумѣлъ воспользоваться обстоятельствами и не достигъ абсолютно ничего. Диспозиціи сраженій были часто несовершенны или не усваивались исполнителями, и ни одинъ значительный бой не обходился безъ того, чтобы русскія войска не стрѣляли въ своихъ — и артиллеріи, и пѣхота, нанося иногда большія потери, чѣмъ непріятель. организація, и исполненіе штабной работы были ниже всякой тивки. Макъ-Кормикъ думаетъ, что, какъ главнокомандующій, полный Линевицъ также неправильно оцѣнивалъ положеніе, какъ и Алексѣевъ вначалѣ, и ошибался въ способности манчжурской арміи побѣдѣ; — послѣ Мукдена она была такъ безнадежно деморализо-

вана, такъ утратила вѣру и въ начальство, и въ самое себя, такъ стремилась домой, что ни малѣйшей надежды на побѣду ни у кого, кромѣ главнаго штаба, и не было и не могло быть.

Макъ-Кормикъ утверждаетъ, что и русская полевая артиллерія, и вообще вооруженіе арміи были совершеннѣе японскихъ; мало того, что въ сраженіяхъ при Ляоянѣ, Шахэ, Сандепу, и, въ особенности, Мукденѣ, силы армій были не только равны, но и превосходство въ численности было, вѣроятно, на сторонѣ русскихъ. Безпрерывный рядъ русскихъ пораженій онъ приписываетъ отсталости русской тактики, неумѣлости высшаго начальства, отсутствію цѣлостности въ распоряженіяхъ боями, деморализаціи офицерскаго состава и нѣкоторымъ глубокимъ основнымъ язвамъ, парализовавшимъ общую эффективность и арміи, и флота. Хотя снабженіе русской арміи и припасами, и снаряженіемъ, и патронами, и снарядами было даже очень щедрое, гораздо болѣе богатое, чѣмъ японской, царяла страшная безтолочь въ доставкѣ, ужасающее воровство, и войска часто страдали и отъ голода, и отъ холода, и отъ недостатка снарядовъ и патроновъ, тогда какъ склады были переполнены. Угодливость начальству, располагавшему цѣлыми специальными поѣздами, часто затрудняла и даже совѣмъ останавливала всякое движеніе на желѣзной дорогѣ. Тыльная и перевозочная организаціи были ниже всякой критики, и личный ихъ составъ состоялъ изъ неспособныхъ, лѣнивыхъ, часто жадныхъ до развращенности людей. Войска слишкомъ изнурялись инженерными работами, которыхъ по всей Манчжуріи было настроено безъ конца, хотя громаднее ихъ большинство оставалось совершенно неиспользованнымъ. Повсюду армія, даже чуть ли не до самыхъ передовыхъ позицій, сопровождалась большимъ числомъ женщинъ—отчасти офицерскихъ женъ, но преимущественно проститутокъ подъ разными флагами, и въ разгаръ битвы при Ляоянѣ одинъ изъ самыхъ важныхъ генераловъ былъ занятъ своей свадьбой. Дамы интриговали и флиртовали, а демимондэнки удерживали офицеровъ отъ позицій, ссорили ихъ между собой и вызывали глубокое негодованіе въ нижнихъ чинахъ. Макъ-Кормикъ утверждаетъ, что присутствіе женскихъ элементовъ въ манчжурской арміи достигло невѣроятныхъ размѣровъ и оказало чрезвычайно пагубное воздѣйствіе. Затѣмъ, онъ особенно подчеркиваетъ лживость официальныхъ реляцій и донесеній и свидѣтельствуетъ, что фаворитизмъ и связи постоянно стояли выше фактовъ и дѣйствительности, и что заурядный офицеръ, будь онъ и семи пядей во лбу, не могъ добиться правды. Его все время по жали щедрость и несправедливость въ распредѣленіи наградъ;—образуемыхъ крестовъ было прямо изумительное, и очень часто граждались люди, находившіеся за десятки миль отъ полей сраже

Генералъ Ренненкампфъ вынужденъ былъ удалить изъ своего отряда въ теченіе войны до 35 офицеровъ за лживость въ донесеніяхъ;— войска часто попадали въ засады и несли ужасныя потери, потому что предварительныя офицерскія рекогносцировки оказывались фантазіями. Пьянство между офицерами достигало прямо-таки невѣроятныхъ размѣровъ,— пили днемъ и ночью, и шампанское было часто легче достать, чѣмъ самые необходимые съѣстные припасы.

Отношеніе арміи къ мѣстному китайскому населенію было повсюду и всегда самое варварское, хуже, чѣмъ къ неприятелю, несмотря на всѣ усилія главнокомандующаго Куропаткина упорядочить эту чрезвычайно важную статью. Макъ-Кормикъ утверждаетъ, что Японія располагала превосходнымъ шпионскимъ составомъ и въ Портъ-Артурѣ во все время осады, и въ районѣ расположенія манчжурской арміи до самаго заключенія мира. Русская же армія, несмотря на огромные денежные расходы, постоянно надувалась своими же агентами, набравшимися безъ всякаго разбора исключительно изъ мѣстныхъ преступныхъ элементовъ, укрывавшихся этимъ способомъ отъ китайскаго правосудія. Макъ-Кормикъ говоритъ, что за время войны онъ пришелъ къ непоколебимому убѣжденію, что сказанія о знаменитыхъ китайскихъ хунхузахъ были ничто иное, какъ фикція охранныхъ желѣзнодорожныхъ командъ, которой онъ пользовались по усмотрѣнію для полученія наградъ, и что шпионская организація русской арміи была цѣликомъ построена на этой фикціи и приносила ей больше вреда, чѣмъ пользы. Макъ-Кормикъ отдѣляетъ сибирскую пѣхоту отъ русской изъ Европейской Россіи,—эту послѣднюю онъ называетъ не иначе какъ мужиками, въ томъ смыслѣ, что громадное большинство ея состава состояло изъ пожилыхъ запасныхъ, утратившихъ солдатскій духъ и относившихся къ войнѣ не только безучастно, но и враждебно. Онъ указываетъ и на разноплеменность состава, и на ту легкость, съ какой нѣкоторые инородцы бросали оружіе и сдавались цѣлыми толпами. И въ офицерствѣ былъ многочисленный элементъ, не одобравшій войны и стремившійся домой. Подъема духа вообще не было, а страшная безтолочь передвиженій и постоянныхъ отступленій деморализовала войска очень быстро и все больше и больше. Казаковъ онъ считаетъ устарѣлой и нигде въ современной войнѣ негодной кавалерійской силой: во всю войну русская кавалерія не оказала арміи ни одной существенной услуги. Всѣ японскіе обходы фланговъ—и въ Вафангоу, и въ горахъ въ отрядѣ графа Келлера, и въ гвахъ при Ляоянѣ и Мукденѣ—были прозѣваны русской кавалеріей. то въ разореніи, грабежѣ и насиліяхъ китайскаго населенія казаки, въ особенности, кавказцы сѣиграли главную роль. Этихъ послѣдкѣ Макъ-Кормикъ иначе не называетъ, какъ разбойниками, совер-

шенно неспособными къ бою и принесшими русской арміи огромный вредъ своей жестокостью и жадностью на грабежъ и всяческое насилие.

Особенно картинны и ярки въ книгѣ Макъ-Кормика описанія сраженій при Ляоянѣ, Шахэ и Мукденѣ и отступление отъ Мукдена къ Телину и дальше. Бой подъ Мукденомъ тянулся такъ долго и происходилъ на такомъ огромномъ пространствѣ, что въ дѣйствительности представляетъ собою цѣлый рядъ отдѣльныхъ сраженій, имѣвшихъ между собою только отдаленную общую связь, и многія фазы этого боя, въ особенности недѣльное странствование перваго сибирскаго корпуса отъ одного фланга русскаго расположенія на другой и обратно, и возможность прорыва небольшого японскаго отряда между массъ первой и второй русскихъ армій, казались мнѣ до сихъ поръ совершенно непонятными. Макъ-Кормикъ конкретно и убѣдительно восстанавливаетъ дѣйствительность и выясняетъ какъ эти фазы, такъ и степень русскаго пораженія и размѣры паники, царившей 2—3 дня на пути отступления къ Телину. Эта паника описана превосходно, графически, и свидѣтельствуетъ лучше всего о томъ, какъ безнадежно плохи были тѣ органы арміи, отъ которыхъ зависѣла цѣлостность ея верховнаго управленія. Ждать побѣды при такой деморализаціи и жалкомъ неумѣнн было ничто иное, какъ безуміе.

Книга снабжена многими превосходными фототипіями и оригинальными рисунками автора, почти исключительно портретами генераловъ, офицеровъ, солдатъ и казаковъ русской арміи. Я думаю, что она составляетъ крайне цѣнный и добросовѣстный вкладъ въ исторію русско-японской войны, трагующій о ней живо, умѣло и съ большимъ знаніемъ дѣла. Мнѣ остается только пожалѣть, что, въ виду настоящаго положенія русской печати, полный ея переводъ на русскій языкъ едва ли возможенъ, такъ какъ она обращается съ своимъ предметомъ „безъ перчатокъ“.

П. А. Тверской.

1 іюня 1908.

г. Лосъ-Анжелесъ, Калифорнія.



ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1 іюля 1908 г.

Путешествія короля Эдуарда и обсужденіе ихъ въ палатѣ общинъ.—Протесты англійской рабочей партіи противъ сближенія съ Россіей.—Смыслъ и цѣль англо-русскаго союза. — Законопроектъ о поѣздкѣ президента Фалльера въ Россію и французскіе радикалы-соціалисты.—Германская политика и прусскія дѣла.—Конецъ персидскихъ конституціонныхъ мечтаній.

Поѣздка короля Эдуарда VII въ русскія воды и двухдневное пребываніе его близъ Ревеля, 9—10 іюня нов. ст., возбуждали горячіе толки въ европейской печати по весьма понятнымъ причинамъ. Это путешествіе, предпринятое вслѣдъ за посѣщеніемъ Лондона президентомъ Французской республики, должно было какъ будто подготовить почву для образованія новаго тройственнаго союза или соглашенія между Англійей, Франціей и Россіей, а подобная комбинація могла бы внести крупныя перемѣны въ общее политическое положеніе Европы. Въ самой Англии мысль о болѣе тѣсномъ сближеніи съ Россіей далеко не пользуется популярностью и вызываетъ серьезные протесты со стороны передовыхъ либеральныхъ группъ въ виду особаго характера нашихъ внутреннихъ дѣлъ. Многимъ кажется, что близкая дружба съ правительствомъ, занятымъ борьбою противъ либеральныхъ и прогрессивныхъ стремленій своего народа, невольно оказываетъ поддержку одной изъ борющихся сторонъ и именно той изъ нихъ, которая наименѣе способна вызывать симпатіи въ передовыхъ государствахъ современнаго культурнаго міра. Съ этой точки зрѣнія англійская демократія рѣшительно осуждала поѣздку короля Эдуарда, какъ политическій актъ, противорѣчащій несомнѣнному сочувствію британскаго общественнаго мнѣнія къ русскому освободительному движенію. По этому поводу происходили въ парламентѣ интересныя пренія, не имѣвшія, впрочемъ,—какъ и слѣдовало ожидать,—никакого практическаго результата.

Въ засѣданіи палаты общинъ, 4-го іюня, представитель „независимой рабочей партіи“, О'Грэдди, указалъ на неудобство предполагаемой официальной поѣздки при данныхъ обстоятельствахъ. „Я далеко отъ желанія коснуться чего-либо, относящагося къ дѣйствіямъ короля. —говорилъ О'Грэдди,—и, разумѣется, никто не сталъ бы возра-

жать противъ частнаго визита, дѣлаемаго его величествомъ своимъ родственникамъ. Но дѣло идетъ о визитѣ официальномъ, и противъ этого слѣдуетъ спорить. Всѣ признають значеніе великодушныхъ усилій его величества въ области международнаго сближенія и мира; но относительно Россіи нельзя предаваться иллюзіямъ: въ ней стѣснена народная жизнь, въ ней совершаются всякія беззаконія и преслѣдованія, и демократы хотѣли бы знать, когда и при какихъ обстоятельствахъ рѣшено устроить этотъ визитъ. Ораторъ напоминаетъ о кровавой расправѣ девятаго января 1905 года, о послѣдовавшихъ избіеніяхъ и погромахъ, о заключеніи въ тюрьму и ссылкѣ въ Сибирь большинства либеральныхъ членовъ первой Думы, о массѣ смертныхъ казней и о прямомъ официальномъ одобреніи вдохновителей совершавшихся убійствъ и насилій. „Для насъ, какъ народа, любящаго свободу, — закончилъ свою рѣчь О'Грэдъ, — немислимо поддерживать близкія отношенія съ русскимъ правительствомъ при такихъ условіяхъ. Чтобы избѣгнуть позора и униженія, нужно или отказаться отъ возвѣщеннаго визита, или отнять у него официальный характеръ. Другой ораторъ, Макъ-Нейлль, доказывалъ, что официальная поѣздка короля къ иностранному монарху, безъ сопровожденія отвѣтственнаго министра, составляла бы нарушеніе конституціи. Сэръ Гербертъ, бывшій одно время военнымъ атташе въ Петербургѣ, объяснилъ, что въ Россіи происходитъ борьба не между царскою властью и народомъ, а между демократіей и бюрократіей; царская власть уважается одинаково всѣми классами населенія, и отказъ англичанъ поддерживать формальную дружбу съ официальною Россіею былъ бы принятъ массою народа, какъ оскорбленіе. М-ръ Беллокъ полагалъ, что, даже если признать справедливыми рассказы о русскихъ безчинствахъ и считать русскую революцію общимъ національнымъ движеніемъ, все-таки нельзя согласиться съ требованіемъ рабочей партіи. Во-первыхъ, дѣйствіе британскаго парламента, направленное къ тому, чтобы воспрепятствовать свиданію монарховъ двухъ государствъ, было бы, несомнѣнно, актомъ международной невѣжливости по отношенію къ Россіи; во-вторыхъ, всякій, преданный интересамъ своей страны, обязанъ способствовать болѣе успѣшному обезпеченію и упроченію національной безопасности, и это особенно важно въ настоящее время, когда въ международныхъ отношеніяхъ Англіи замѣчаются нѣкоторыя черты щекотливаго свойства. М-ръ Кеттль заявилъ, что, по его мнѣнію, можетъ быть и рѣчи о братской дружбѣ съ „душителями свободы“ въ Россіи, и что либеральная партія напрасно забываетъ возгласъ своего покойнаго вождя въ честь Думы, предлагая теперь другой лозунгъ: „свобода умерла; да здравствуетъ русское правительство!“ М-ръ Кеттль, будучи умѣреннымъ либераломъ, тѣмъ не менѣе сходится

рабочей группой въ осужденіи официального визита: „когда мы видимъ борьбу на жизнь и смерть во имя свободы, мы должны держаться въ сторонѣ отъ враговъ свободы“. М-ръ Гартъ-Дэвисъ возстаетъ противъ этой тактики: было бы большой ошибкой—говорить онъ—отталкивать отъ себя правителей Россіи; этимъ мы только ослабили бы наше политическое вліяніе и косвенно усилили бы русскую реакціонную партію. Притомъ нужно отдать справедливость и тѣмъ крупнымъ реформамъ, которыя уже совершены въ Россіи за послѣдніе годы.

Въ отвѣтъ на эти разнообразныя заявленія министр иностранныхъ дѣлъ, сэръ Эдуардъ Грей, произнесъ обстоятельную рѣчь, которая была выслушана палатой съ напряженнымъ вниманіемъ. Палата—сказалъ онъ, между прочимъ,—имѣетъ право требовать, чтобы кабинетъ сохранялъ за собою отвѣтственность за официальные акты короля, и по отношенію къ королевской поѣздкѣ въ русскія воды этотъ принципъ отвѣтственности правительства соблюдается въ полной мѣрѣ. Сэръ Чарльзъ Гардингъ, товарищъ министра иностранныхъ дѣлъ, отправляется въ Ревель въ составѣ свиты короля, но не въ качествѣ замѣстителя министра; онъ остается отвѣтственнымъ предъ министромъ наравнѣ съ посланниками, а министръ въ свою очередь является отвѣтственнымъ предъ палатой общинъ. Никакихъ переговоровъ о новомъ трактатѣ или о новой конвенціи съ Россією не предполагается, и никакой инициативы въ этомъ смыслѣ не будетъ предпринято во время предстоящаго визита. Но „правительство дѣйствительно надѣется, что визитъ будетъ имѣть извѣстныя политическія послѣдствія для отношеній обѣихъ странъ; онъ послужитъ доказательствомъ того, что эти отношенія имѣютъ нынѣ дружественный характеръ, и что поддержаніе этихъ отношеній для насъ желательно. Рекомендуемая намъ политика взаимнаго отдаленія была бы пагубна для обѣихъ государствъ. Все, что происходило въ Азіи со времени заключенія англо-русской конвенціи, убѣдительно показываетъ намъ, что въ случаѣ нашего отказа дѣйствовать въ согласіи съ Россією обѣ страны неизбѣжно доведены были бы до конфликта событіями на русской и индійской границахъ“. Сэръ Эдуардъ Грей стоитъ за политику соглашеній, и онъ заявляетъ категорически, что если бы палата отвергла эту политику, онъ тотчасъ же вышелъ бы въ отставку.

Предлагаемый правительству способъ дѣйствій приводитъ не къ миру, а къ войнѣ; рано или поздно онъ неминуемо привелъ бы къ разрыву. касается свѣдѣній о внутреннемъ положеніи Россіи, то они слимъ односторонни или прямо ошибочны; убійства, казни и разныя млія совершаются тамъ не только приверженцами реакціи, но е и революціонерами; члены первой Думы осуждены не за простое

выраженіе либеральныхъ мнѣній. Визитъ англійскаго короля привѣтствуется умѣренными и либеральными классами русскаго общества; онъ непріятенъ только двумъ крайнимъ партіямъ — революціонной и реакціонной, и политика рабочей группы играетъ въ руку одной изъ этихъ партій насилія или обѣихъ вмѣстѣ. Революціонная партія держится того взгляда, что при спокойствіи и мирѣ правительству легче устроить заемъ, а она желаетъ помѣшать устройству займа, чтобы увеличить затрудненія правительства. Между тѣмъ система русскаго управления, по словамъ сэра Грея, становится безусловно лучше. Въ теченіе трехъ послѣднихъ лѣтъ произошли чрезвычайныя перемены въ русскомъ государственномъ строѣ; попытка оказать давленіе на Россію по системѣ рабочей группы могла бы только нарушить или задержать естественный ходъ этого развитія и въ то же время возбудила бы надолго раздраженіе и неудовольствіе между обѣими странами.

Предводитель оппозиціи, Бальфуръ, отнесся съ полнымъ одобреніемъ къ рѣчи министра. Уніонистская партія — заявилъ онъ — будетъ въ данномъ случаѣ поддерживать правительство. Не дѣло этой палаты заниматься протестами по поводу внутреннихъ дѣлъ чужихъ державъ, если вмѣшательство не оправдывается какимъ-либо договоромъ. Наши политическія вольности не подвергаются опасности вслѣдствіе свиданія короля съ русскимъ государемъ. Бесплодное вмѣшательство было бы истолковано какъ неумѣстное притязаніе на контроль надъ другими націями и какъ проявленіе вражды къ Россіи. Не такими средствами поощряется дѣло свободы и конституціоннаго развитія въ Россіи. Если бы предложеніе рабочей партіи было принято, то это значило бы, что мы отказываемся имѣть дѣло съ русскимъ правительствомъ до тѣхъ поръ, пока оно въ точности не усвоитъ политическихъ формъ, одобренныхъ рабочей партіей. Это было бы просто безуміемъ. Британское правительство, очевидно, полагаетъ, что свиданіе монарховъ облегчитъ задачу дипломатіи; лишитъ этотъ визитъ официальнаго характера невозможно теперь, если не имѣть въ виду нанести русскому правительству сознательную обиду, которую почувствовало бы не только это правительство, но и все русское общество.

Казалось, что вопросъ исчерпанъ; но лидеръ рабочей партіи, Киръ-Гарди, вновь оживилъ пренія своими рѣзкими нападками на „жестокости“ русскаго правительства, которыя какъ будто санкціонировал бы визитомъ короля. Спикеръ палаты тотчасъ же предложилъ отору взять назадъ слово „жестокости“, такъ какъ не подобаетъ ворить въ подобномъ тонѣ о дружественной державѣ. Киръ-Гарди отказался исполнить это требованіе, ссылаясь на то, что нѣтъ

того выраженія, которое вѣрнѣе передавало бы его мысль; спикеръ настаивалъ на своемъ и грозилъ оратору назвать его по имени, послѣ чего придется прервать засѣданіе. Кирь-Гарди, поощряемый своими единомышленниками, не сдавался на увѣщанія спикера; тогда вмѣшался въ дѣло премьеръ Аскитъ и настойчиво совѣтовалъ ему подчиниться, чтобы дать палатѣ возможность приступить къ голосованію. Кирь-Гарди послѣдовалъ этому призыву и взялъ назадъ свое выраженіе, хотя и очень неохотно. Затѣмъ говорили еще м-ръ Маддисонъ—за правительство, и м-ръ Ли—противъ; въ заключеніе палата большинствомъ 225 голосовъ противъ 59 отклонила предложеніе рабочей партіи.

Какъ извѣстно, свиданіе монарховъ близъ Ревеля состоялось при такой обстановкѣ, которая свидѣтельствовала о серьезномъ политическомъ значеніи этого событія; короля Эдуарда VII сопровождали, кромѣ товарища министра иностранныхъ дѣлъ сэра Гардинга, посланникъ при русскомъ дворѣ, сэръ Артуръ Никольсонъ, лордъ адмиралтейства сэръ Джонъ Фишеръ, генераль-инспекторъ британской арміи, Френчъ, и морской атташе въ Петербургѣ; съ русской стороны присутствовали четыре министра, въ томъ числѣ министры иностранныхъ дѣлъ и морской, и нашъ посоль въ Лондонѣ, графъ Бенкендорфъ. Дипломатическіе тосты, которыми обмѣнялись монархи вечеромъ 9 июня, на яхтѣ „Штандартъ“, отмѣчали „болѣе тѣсное сближеніе обѣихъ странъ, въ интересахъ общаго мира“. „Я думаю—сказалъ король Эдуардъ—что недавно заключенная между нашими правительствами конвенція послужитъ къ укрѣпленію связей, соединяющихъ оба народа, и я увѣренъ, что она приведетъ въ будущемъ къ благополучному любовному разрѣшенію нѣкоторыхъ важныхъ вопросовъ. Я убѣжденъ, что она не только тѣснѣе облизитъ наши страны, но значительно поможетъ сохраненію общаго мира“.

Среди официальныхъ торжествъ на ревельскомъ рейдѣ, очевидно, довершалось дѣло, начатое подписаніемъ англо-русской конвенціи, и хотя при этомъ не говорилось о заключеніи какого-либо новаго договора, но фактическое соглашеніе расширялось и принимало уже такой отгѣнокъ, когда оно легко, при первомъ подходящемъ случаѣ, можетъ перейти въ формальный союзъ. Между прочимъ, тамъ же, близъ Ревеля, путемъ непосредственныхъ переговоровъ нашего министра иностранныхъ дѣлъ съ сэромъ Гардингомъ, достигнуто полное согласіе обѣихъ державъ по македонскому вопросу, который, такимъ образомъ, кончательно выходитъ изъ круга одностороннихъ заботъ и распоряженій Австро-Венгрии. Этотъ результатъ, чрезвычайно важный самъ о себѣ, долженъ отразиться и на общемъ положеніи дѣлъ Близняго остока, гдѣ до послѣдняго времени руководящая роль принадлежала

Германіи, опирающейся на особую дружбу съ турецкимъ султаномъ. Перспектива совмѣстныхъ дипломатическихъ дѣйствій Англіи и Россіи въ Константинополь и на Балканскомъ полуостровѣ представляетъ нѣчто совершенно новое въ области европейской политики, и очень можетъ быть, что она окажется болѣе утѣшительною для христіанскихъ народностей Турціи, чѣмъ прежде австро-русское соглашеніе.

Англо-русскій союзъ, противъ котораго такъ горячо протестуютъ англійскіе прогрессисты, имѣетъ и свои хорошія стороны даже съ точки зрѣнія прогрессистовъ: онъ заставитъ нашу дипломатію освѣжиться, отбросить мертвыя, затхлыя формулы, проникнуться сознаниемъ реальныхъ интересовъ, и дѣйствовать болѣе сознательно и расчетливо, безъ слѣпого подчиненія традиціямъ консервативной рутинѣ. Если этотъ союзъ принесетъ нѣкоторую пользу злосчастнымъ македонцамъ и прочимъ иновѣрнымъ подданнымъ Турціи, то съ нимъ, вѣроятно, примирятся и наиболѣе прямолинейные британскіе противники и обличители официальной Россіи. Мы съ своей стороны вовсе не раздѣляемъ опасеній и взглядовъ заграничныхъ друзей нашей конституціи: официальная близость съ такою бодрою, свободно-развивающеюся, энергичною самоуправляющеюся націею, какъ англичане, не можетъ оказаться вредною для общаго хода нашихъ внутреннихъ дѣлъ; напротивъ, она будетъ постепенно и незамѣтно вліять на господствующія понятія и идеи соотвѣтственныхъ сферъ, при помощи наглядныхъ примѣровъ, болѣе доступныхъ пониманію, чѣмъ доводы логики и здраваго смысла. Англо-русскій союзъ ни въ какомъ случаѣ не могъ бы считаться неблагопріятнымъ или нежелательнымъ для нашихъ передовыхъ оппозиціонныхъ группъ; онъ не только не усилилъ бы у насъ положенія приверженцевъ стараго режима, а скорѣе, наоборотъ, прямо или косвенно, ускорилъ бы процессъ обновленія нашей политической жизни. Монархія въ той формѣ, въ какой она существуетъ и процвѣтаетъ въ Англіи, должна неотразимо привлекать консервативные умы другихъ монархическихъ государствъ и особенно тѣхъ, которыя связаны съ нею тѣсною политическою дружбою.

Нѣтъ сомнѣнія, что новѣйшее англо-русское сближеніе подготовлено и устроено Франціею, для которой новый тройственный союзъ, при участіи Англіи, представляетъ единственно возможную надежную гарантію внѣшней безопасности и прочнаго международнаго мира. Естественно поэтому, что серія политическихъ сѣздовъ и свиданій должна завершиться поѣздкою президента Французской республики въ Россію, съ цѣлью закрѣпленія результата, достигнутаго недавнимъ пребываніемъ его въ Лондонѣ и послѣдовавшимъ посѣще

ніемъ Ревельской бухты королемъ Эдуардомъ. Въ палату депутатовъ внесенъ былъ соотвѣтственный законопроектъ объ открытіи кредита въ 400.000 франковъ на расходы по путешествію президента Фальера въ сѣверныя страны—въ Данію, Норвегію, Россію и Швецію. Относительно Россіи въ мотивахъ къ законопроекту указано вкратцѣ, что, „подобно визитамъ Феликса Фора и Эмиля Лубэ къ монарху союзной державы, эта поѣздка можетъ только укрѣпить союзъ, направленный къ обезпеченію успѣховъ цивилизаціи въ мірѣ и къ поддержанію мира между народами“.

При обсужденіи этого законопроекта въ палатѣ депутатовъ, 29 іюня, депутатъ Вальянъ выступилъ съ краснорѣчивымъ протестомъ противъ новаго русскаго займа, который явится будто бы роковымъ послѣдствіемъ задуманной поѣздки. Заговоривъ о займѣ, Вальянъ перешелъ къ изложенію и оцѣнкѣ нашихъ внутреннихъ дѣлъ, при чемъ отозвался съ похвалою о происходящей у насъ „геройской борьбѣ за свободу“,— но тотчасъ же былъ остановленъ президентомъ палаты Бриссономъ. „Напомню вамъ—замѣтилъ ему президентъ,—что принципы французскихъ представительныхъ собраній не позволяютъ вмѣшиваться въ обсужденіе внутреннихъ дѣлъ другихъ странъ“. Вальянъ пытался разсуждать въ томъ же духѣ о дѣйствіяхъ и преступленіяхъ русскаго правительства, не смотря на энергическія неоднократныя замѣчанія Бриссона. „Выйдя на берегъ въ Россіи, — говорилъ неугомонный депутатъ, — президентъ республики, если онъ обратитъ вниманіе, можетъ услышать гулъ стрѣльбы, поражающей на смерть лучшихъ гражданъ страны. Не русскій народъ пойдетъ на встрѣчу президенту республики, ибо противъ этого народа отправляется президентъ въ Россію“. Бриссонъ не успѣлъ во-время остановить оратора; „я протестую — сказалъ онъ — отъ имени собранія, противъ несчастныхъ словъ, которыя страна прочтетъ съ изумленіемъ и скорбью“. Среди всеобщаго шума Вальянъ сошелъ съ трибуны и уступилъ мѣсто министру иностранныхъ дѣлъ Пишону. Министръ началъ съ выраженія протеста противъ словъ, несогласныхъ съ достоинствомъ палаты и противорѣчащихъ истинѣ. „Я не буду слѣдовать за Вальяномъ въ его соображеніяхъ, — продолжалъ министръ; — я держусь того принципа, что не слѣдуетъ вмѣшиваться во внутреннюю политику чужихъ странъ. Нашъ союзъ съ Россіею остается основою нашей внѣшней политики. Мы намѣрены не только сохранить его въ томъ видѣ, какъ намъ завѣщали его наши предѣстники, но мы должны поставить его внѣ и выше всѣхъ нашихъ внутреннихъ разногласій. Встрѣча президента республики съ русскимъ государемъ, который, что бы ни говорили, есть все-таки конституціонный монархъ, подтвердитъ нашу вѣрность этой политикѣ. Я удивляюсь, что у насъ нѣтъ единодушія по

этому предмету. Всѣ должны были бы понимать пользу, своевременность и важность этой встрѣчи, которая, въ связи съ другими поѣздками президента республики, засвидѣтельствуетъ нашу твердую рѣшимость остаться вѣрными самимъ себѣ и обезпечить сохраненіе нашихъ интересовъ. Палата выразить это своимъ голосованіемъ, отвергнувъ протесты, столь же пустые по существу, какъ и недопустимые по формѣ“.

Этимъ и ограничились пренія; никто не поддержалъ Вальяна, если не считать отдѣльныхъ возгласовъ депутата Дежанта. Палата приняла законопроектъ большинствомъ 489 противъ 62 голосовъ. Въ данномъ случаѣ французскіе социалисты не обнаружили той искренней убѣжденности, которая звучала въ рѣчахъ ораторовъ рабочей партіи въ англійскомъ парламентѣ; они предоставили говорить одному Вальяну, и самъ Вальянъ какъ будто выполнялъ только извѣстную повинность, вошедшую въ обязательный традиціонный репертуаръ радикально-соціалистической партіи. Оттого такъ легко было справиться Пипону съ этой мнимой оппозиціей; нѣсколькихъ рѣзкихъ фразъ было достаточно, чтобы прекратить дальнѣйшіе споры и добиться надлежащаго постановленія палаты. Очевидно, русскій союзъ не можетъ быть поколебленъ во Франціи никакими партійными счетами и увлеченіями; онъ дѣйствительно стоитъ внѣ и выше всякихъ партійныхъ вопросовъ,—и это положеніе вещей создано и поддерживается главнымъ образомъ внѣшней политикой Германіи и самоувѣренно-придирчивымъ тономъ ея офиціозной печати.

Германская политика давно уже обнаруживаетъ признаки какой-то преувеличенной нервности, выражающейся то въ безпричинныхъ опасеніяхъ, то въ порывахъ внезапнаго шовинизма; въ послѣднее время эта нервность особенно усилилась подъ вліяніемъ новыхъ политическихъ комбинацій, въ которыхъ главную роль играетъ Англія. Многие нѣмецкіе патриоты искренно убѣждены, что образованіе дѣйствительнаго союза между Франціею, Англіею и Россіею угрожаетъ цѣлости и независимости Германіи, и что противъ этой опасности должны быть предприняты заранѣе какія-нибудь героическія мѣры. Даже въ либеральныхъ сатирическихъ листкахъ имперія изображается теперь въ видѣ злосчастнаго объекта хитроумныхъ плановъ сосѣднихъ державъ: или король Эдуардъ, въ видѣ крупнаго паука, усердно устраиваетъ паутину вокругъ нѣмецкой мухи, или онъ и президентъ Фаллеръ тащатъ въ разныя стороны веревку, обернутую кругомъ нѣмецкаго Михеля, и почти душатъ его;—это должно означать коварныя англо-французскія попытки „изолировать“ Германію.

Разсужденія нѣмецкихъ патріотическихъ газетъ на эти тревожныя международныя темы производятъ иногда впечатлѣніе какого-то болѣзненнаго бреда; авторы не только забываютъ обстановку, среди которой живутъ и дѣйствуютъ, но и не отдають себѣ отчета въ значеніи употребляемыхъ словъ. О какомъ „изолированіи“ Германіи можетъ идти рѣчь, когда Германія находится въ союзѣ съ Австро-Венгрією и Италією? Если тройственный союзъ, съ Германією во главѣ, составляетъ законное явленіе и существуетъ съ давнихъ поръ, то почему нельзя противопоставить ему, въ видѣ противовѣса, другой тройственный союзъ, столь же оборонительный и не менѣе безобидный? Кто кого изолируетъ въ этомъ случаѣ? Или одна только Германія имѣетъ право заключать союзы и изолировать другія державы, какъ ей долго удавалось это относительно Франціи и Англіи? И съ какихъ это поръ могущественная имперія, господствовавшая десяти лѣтъ надъ континентальною Европою и претендующая на первенствующую роль въ разныхъ частяхъ свѣта, превратилась вдругъ въ злосчастнаго, беспомощнаго Михеля, котораго обижаютъ коварные правители сосѣднихъ странъ? Въ какомъ смыслѣ можно утверждать, что чужіе союзы болѣе опасны для Германіи, чѣмъ союзы германскіе — для другихъ націй? Неужели англичане и французы — не говоря уже о русскомъ народѣ — могутъ быть заподозрѣны въ воинственныхъ замыслахъ относительно Германской имперіи и ея союзниковъ? Въ Европѣ нѣтъ теперь другого воинственнаго центра, кромѣ Германіи; тамъ неустанно охраняется и поддерживается культъ военной силы, и оттуда исходятъ всѣ могучія пружины современнаго милитаризма, безпѣльно давящаго и истощающаго народы. Другія государства обязаны поневолѣ слѣдовать примѣру Германіи, чтобы обезпечить себя отъ возможныхъ съ ея стороны посягательствъ; они должны были подражать Германіи и въ дѣлѣ организаціи оборонительныхъ союзовъ, и въ этомъ отношеніи только теперь начинается возстановляться равновѣсіе, давно нарушенное въ пользу нѣмцевъ настойчивыми усиліями германской дипломатіи. Отъ времени до времени раздаются изъ Берлина призывы къ какимъ-то военнымъ подвигамъ и рѣшеніямъ; еще недавно императоръ Вильгельмъ, обращаясь къ своимъ офицерамъ и генераламъ, указывалъ на необходимость быть готовыми къ войнѣ въ каждый данный моментъ, при чемъ намекалъ на старанія державъ окружить Германію враждебными союзами. Эти странныя заявленія, зносимыя по всему міру услужливою печатью, создаютъ нездоровую политическую атмосферу и предвѣщаютъ какія-то роковыя событія, имѣющія ни смысла, ни цѣли. А просвѣщенное нѣмецкое общество нѣмецкая пресса не только не оказываютъ надлежащаго отпора этимъ печальнымъ явленіямъ, но даже поощряютъ и оправдываютъ

ихъ, ссылаясь на мнимое коварство заграничныхъ враговъ и завистниковъ.

Вообще, въ политической жизни Германіи и особенно Пруссіи, амѣчается недостатокъ творчества, склонность къ самодовольному подчиненію установившимся традиціямъ и старымъ, разъ навсегда усвоеннымъ идеямъ; это сказывается, между прочимъ, въ упорной рутинной борьбѣ либеральныхъ партій противъ социаль-демократіи, которую мнимые прогрессисты до сихъ поръ считаютъ опасѣйшимъ врагомъ либеральнаго „гражданскаго общества“. Нѣмецкіе либералы и „свободомыслящіе“, привыкшіе жить подъ властью поземельно-промышленной и военной аристократіи, неустанно воюють противъ единственной могущественной оппозиціонной партіи, способной активно бороться противъ стараго военно-юнкерскаго режима; они иногда сами робко жалуются на разныя несправедливости этого режима, но въ то же время систематически и самоотверженно защищаютъ его отъ социаль-демократовъ, за что надѣются со временемъ дожидаться какихъ-нибудь уступокъ со стороны правительства. Крупнымъ ударомъ для этихъ своеобразныхъ либераловъ было проникновеніе нѣсколькихъ представителей социаль-демократіи въ прусскую палату депутатовъ, на послѣднихъ выборахъ 3—16 іюня; устарѣлая избирательная система дѣлала этотъ прусскій парламентъ твердымъ оплотомъ высшихъ и среднихъ классовъ и закрывала къ нему доступъ представителямъ трудящагося населенія, — и теперь впервые удалось рабочимъ прорвать воздвигнутую плотину и нарушить своимъ присутствіемъ мирное существованіе привилегированныхъ прусскихъ законодателей. И удивительнѣе всего, что этимъ событіемъ гораздо сильнѣе огорчено нѣмецкое мѣщанство, чѣмъ землевладѣльческое юнкерство и даже чѣмъ само правительство князя Бюлова. Таковъ уже складъ ума нѣмецкаго мѣщанства! Успѣхи рабочаго класса кажутся болѣе обидными для либеральныхъ мѣщанъ, чѣмъ для аристократіи; послѣдняя смотритъ на тѣхъ и другихъ съ одинаковымъ высокоуміемъ.

Распределеніе партій въ новой прусской палатѣ депутатовъ мало измѣнилось сравнительно съ прежнимъ; консервативные и реакціонные элементы еще болѣе усилились, а либеральные отчасти сократились или остались почти въ прежнемъ размѣрѣ. Изъ 443 депутатовъ числится теперь консерваторовъ и реакціонеровъ разныхъ отбѣговъ 380, — въ томъ числѣ 105 членовъ партіи центра и 64 національ-либерала; свободомыслящихъ оказывается всего 36, и эту грустную для оппозиціи, однообразную картину оживляетъ только маленькая группа новыхъ пришельцевъ, — семь социаль-демократовъ, проникшихъ въ парламентъ послѣ трудной и энергической борьбы на два фронта, противъ консерваторовъ и либераловъ.

Внутренній политическій кризисъ въ Персіи разрѣшился въ старомъ восточномъ стилѣ: шахъ собралъ военную силу, уничтожилъ „домъ справедливости“, истребилъ вольнодумцевъ и положилъ конецъ мечтаніямъ патріотовъ о возрожденіи персидской націи къ новой жизни. Шаху и его приближеннымъ не нужна культурная нація, не нужны новые порядки, а достаточно имѣть покорное, рабское, запуганное населеніе, у котораго всегда хватить средствъ на содержаніе правителей. Шахъ Мохамедъ-Али нѣсколько разъ вклятвою подтверждалъ рѣшимость соблюдать конституцію, введенную его покойнымъ родителемъ, и уважать парламентъ, или „меджлисъ“; онъ говорилъ обычныя хорошія слова о своемъ народѣ и отечествѣ, но втихомолку готовился нанести рѣшительный ударъ всѣмъ тѣмъ, кто имѣлъ неосторожность вѣрить его громкимъ словамъ и обѣщаніямъ.

Разрушивъ 23 іюня при помощи артиллеріи самое зданіе, гдѣ засѣдалъ меджлисъ, шахъ торжественно заявилъ, что отнынѣ конституція можетъ считаться упроченною, и что парламентъ будетъ дѣйствовать правильно и цѣлесообразно. Повѣсивъ и распредѣливъ по тюрьмамъ надлежащее количество гражданъ, преимущественно изъ бывшихъ народныхъ представителей, шахъ успокоился и проникся твердую вѣрою въ будущее. За нѣсколько дней до совершения этого *coup d'état*, онъ выпустилъ въ свѣтъ слѣдующее широковъщательное воззваніе: „Благородная персидская нація, члены которой кажутся мнѣ какъ бы собственными моими дѣтьми, не пожелаетъ, чтобы эта древняя страна разстраивалась горстью крамольниковъ, мечтающихъ добиться власти, чтобы отвлечь народъ отъ его истинныхъ интересовъ и поколебать такимъ образомъ основы, на которыхъ покоится наша цивилизація. Объявляю странѣ, которая мнѣ такъ же дорога, какъ моя собственная семья, что государству и націи грозитъ разореніе, если правительство не рѣшится подавить угрожающія ему посягательства. Отъ этого можетъ пострадать конституція, утвержденію и развитію которой я такъ много способствовалъ... Персія — отнынѣ конституціонная страна, какъ я торжественно заявлялъ по разнымъ случаямъ и какъ я возвѣстилъ всѣмъ народамъ міра. Послѣ возстановленія спокойствія и наказанія виновныхъ, члены парламента получаютъ возможность съ полною безопасностью занять свои мѣста и исполнить до конца возложенную на нихъ задачу; и что касается меня, то я сдѣлаю все отъ меня зависящее для сохраненія современнаго режима и для доставленія странѣ всѣхъ желательныхъ успѣховъ. Но еще разъ заявляю, что я сурово накажу тѣхъ, которые стараются подорвать основы существующаго порядка. Я убѣжденъ, что благородные персы оцѣнятъ духъ этого рескрипта, что никто

изъ нихъ не уклонится отъ своего долга, и что они сочтутъ за честь содѣйствовать мнѣ въ моей задатѣ“.

Въ такой трогательной формѣ шахъ сообщилъ благороднымъ персамъ о предстоящей кровавой расправѣ съ парламентомъ и его сторонниками; но благородные персы не оцѣнили духа его рескрипта и поспѣшили искать убѣжища въ иностранныхъ посольствахъ, чтобы спастись отъ милостивыхъ распоряженій своего повелителя. Несчастному персидскому народу суждено по-прежнему бѣдствовать и забывать подъ владычествомъ крупныхъ и мелкихъ тирановъ, въ ожиданіи дальнѣйшихъ историческихъ случайностей; только иностранные дипломаты продолжаютъ вѣрить—или дѣлаютъ видъ, что вѣрятъ—въ существованіе персидской конституціи и въ предстоящіе будто бы новые выборы. Послѣ кровавыхъ событій, разыгравшихся въ Тегеранѣ и Тавризѣ подъ руководствомъ шаха Мохамеда-Али, игра въ конституцію и въ парламентъ никого не введетъ въ заблужденіе въ Персіи; шахъ показалъ себя въ своемъ истинномъ видѣ, и пока онъ стоитъ во главѣ государства, до тѣхъ поръ не можетъ быть и рѣчи о серьезныхъ политическихъ реформахъ, способныхъ улучшить положеніе страны и народа. Шахъ нашелъ надежную опору въ своей казачьей бригадѣ, устроенной по русскому образцу, при участіи русскихъ инструкторовъ; остается только пожалѣть, что русскому полковнику, состоящему начальникомъ этой персидской гвардіи, выпало на долю быть исполнителемъ жестокихъ мѣропріятій восточнаго деспота.

НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I.

Arthur Schnitzler. Der Weg in's Freie. Roman (Neue Deutsche Rundschau, Januar-Juni 1908).

Артуръ Шнитцлеръ, авторъ язвительныхъ психологическихъ разсказовъ и драмъ, освѣщающихъ контрасты чувствъ и воли, написалъ теперь большой романъ нравовъ. Романъ этотъ, „Путь къ свободѣ“ (*Der Weg in's Freie*), закончился печатаніемъ въ „*Neue Deutsche Rundschau*“ и выходитъ отдѣльнымъ изданіемъ. Шнитцлеръ изображаетъ въ немъ современную австрійскую интеллигенцію, со всѣми волнующими ее вопросами національнаго и общественнаго характера. Романъ интересенъ по многочисленнымъ выведеннымъ въ немъ типамъ, а также по своей основной идеѣ. Во всѣхъ своихъ произведеніяхъ Шнитцлеръ прежде всего индивидуалистъ. Для него какъ бы нѣтъ общей морали, а есть отдѣльная личность съ ея обособленнымъ отношеніемъ къ жизни. Отсюда скептически любопытствующій характеръ его повѣстей и драмъ. Такъ какъ нѣтъ для него никакого „должно“, то каждый разъ ему особенно любопытно, какъ проявится индивидуальность человѣка въ тѣхъ или другихъ обстоятельствахъ. Событія, судьба какъ-то утрачиваютъ свою первенствующую силу. На первомъ планѣ становится отношеніе къ событіямъ, способъ ихъ переживанія. Тотъ же индивидуализмъ проникаетъ и новый романъ Шнитцлера. То, что онъ наблюдалъ въ отдѣльныхъ душахъ, теперь переносится на судьбы общества. Съ одной стороны темныя силы общественной жизни—предразсудки нравственные, общественныя, національныя, съ другой,—индивидуальная воля, которая ихъ побѣждаетъ. Но побѣда—дѣло не насильственныхъ массовыхъ дѣйствій, а индивидуальнаго просвѣтленія. Вотъ мысль Шнитцлера въ его романѣ: путь къ свободѣ у каждаго свой, такъ какъ путь этотъ прежде всего внутренній. Освобождается человѣкъ въ духѣ. Всякое другое освобожденіе мертво.

Для иллюстраціи такой индивидуалистической истины, казалось бы, именѣе годится романъ на общественныя темы. Но въ этомъ и заключается оригинальный замыселъ Шнитцлера. Онъ беретъ національный вопросъ и вопросъ о свободѣ брака и рѣшаетъ ихъ въ индивидуалистическомъ смыслѣ, т.-е. доказывая, что въ томъ и дру-

гомъ вопросѣ нѣтъ общихъ рѣшеній, что въ томъ и другомъ вопросѣ, путь къ свободѣ лежитъ черезъ личное переживаніе, индивидуальное пережитую и воссозданную правду. На этомъ Шнитцлеръ проводитъ границу между старыми и новыми воззрѣніями на жизнь. Герой его романа представляетъ себѣ типичную литературу минувшей поры какъ такую, гдѣ отразилась психологія минувшаго поколѣнія, того, для котораго старость обозначала мудрость, а вѣрность принципамъ — добродѣтель, безразлично отъ того, обуславливалась ли эта вѣрность принципамъ глубокими убѣжденіями или же бессмысленнымъ слѣдованіемъ общимъ правиламъ. Этому онъ противопоставляетъ новое отношеніе къ жизни, создающее и новую литературу. Оно состоитъ въ индивидуальномъ вынашиваніи своихъ жизненныхъ истинъ.

Два вопроса общественнаго характера составляютъ идейное содержаніе романа Шнитцлера. Одинъ изъ нихъ — національный и касается распространеннаго въ Австріи антисемитизма, а второй — вопросъ о свободной любви и о бракѣ. Фабула романа состоитъ, съ одной стороны, въ изображеніи разнаго отношенія самихъ евреевъ къ своей національности, а съ другой — въ изображеніи судьбы двухъ любящихъ, не связывающихъ свои чувства никакими обязательствами. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ Шнитцлеръ видитъ исходъ въ слѣдованіи не какимъ бы то ни было принципамъ, а собственному, обрѣтенному внутреннимъ опытомъ убѣжденію. Путь къ свободѣ героя лежитъ чрезъ много сложныхъ и порой трагическихъ переживаній, но путь этотъ въ его глазахъ вѣрный, потому что онъ проложенъ душевнымъ опытомъ.

Герой Шнитцлеровскаго романа, который продѣлываетъ путь къ свободѣ, сознательно относясь къ своимъ переживаніямъ, — молодой баронъ Георгъ Вергентинъ. По общественному положенію онъ принадлежитъ къ аристократическому обществу, съ которымъ, однако, чувствуетъ мало общаго. Въ немъ больше артистическихъ, нежели свѣтскихъ наклонностей. Онъ композиторъ, и къ молодымъ людямъ своего круга, занятымъ спортомъ и клубными интересами, относится весьма скептически. Исключеніе составляетъ для него только его братъ Фелицианъ, съ которымъ его соединяетъ нѣжная дружба. Въ остальномъ Георгу ближе нѣсколько интеллигентныхъ молодыхъ людей, писателей и художниковъ, изъ которыхъ большинство — евреи. Въ отношеніяхъ съ ними Георгъ и наталкивается на болѣзненность еврейскаго вопроса въ Австріи. Самъ онъ относится вполне равнодушно къ національнымъ различіямъ, и первое, что его удивляетъ въ его пріятеляхъ-евреяхъ — это ихъ беспокойное отношеніе къ вопросу о своей національности. Изображая нѣсколько разнообразныхъ типовъ австрійскихъ евреевъ, Шнитцлеръ самъ не обнаруживаетъ ни склон

ности къ идеализаціи угнетенной расы, ни предубѣжденно отрицательнаго отношенія къ нимъ. Есть среди дѣйствующихъ лицъ романа и привлекательные, и непривлекательные еврейскіе типы, національный характеръ изображенъ въ своей сложности положительныхъ и отрицательныхъ чертъ, — но, помимо такой индивидуализаціи, есть въ романѣ и общее отношеніе къ еврейскому вопросу. Оно соответствуетъ замыслу романа. Въ романѣ изображены и сіонисты, и противники сіонизма, но авторъ не на сторонѣ ни тѣхъ, ни другихъ. „Нельзя идти къ свободѣ караванами“, утверждаетъ одно изъ дѣйствующихъ лицъ. У каждаго свой путь. Для одного онъ ведетъ, быть можетъ, черезъ Іерусалимъ, а другому не нужно двигаться съ мѣста. Словомъ, рѣшеніе еврейскаго вопроса, какъ и всѣхъ другихъ, Шнитцлеръ считаетъ дѣломъ индивидуальной совѣсти и такимъ образомъ отрицаетъ самый принципъ націонализма.

Интересны въ романѣ представители разныхъ теченій въ австрійскомъ еврействѣ. Наиболее типичной является семья богатаго фабриканта Эренбурга; въ ней отецъ твердо держится своей національности, до нѣкоторой степени даже гордится ею и подчеркиваетъ при каждомъ случаѣ свое еврейство, до нѣкоторой степени наперекоръ семьѣ, которая, изъ снобизма, старается затушевать свою національность. Жена Эренбурга разыгрываетъ изъ себя свѣтскую даму и очень недовольна, когда въ ея пріемные дни, въ салонѣ, гдѣ сходятся „сливки общества“, вдругъ появляется хозяинъ дома и нарочью рассказываетъ еврейскіе анекдоты. Дочь ихъ, Эльза, не становится въ опредѣленную позицію относительно еврейства, занятая обычными интересами красивой дѣвушки изъ общества, т. е. своими сердечными переживаниями. Но острый и почти трагическій характеръ принимаютъ отношенія между Эренбергомъ, симпатичнымъ въ своей правдивости, и его сыномъ, молодымъ снобомъ, который считаетъ свое еврейство пятномъ, портящимъ его карьеру, и только изъ боязни лишиться наслѣдства не переходитъ въ католичество. Конфликтъ между отцомъ и сыномъ приводитъ къ крупному скандалу, въ которомъ обнаруживается вся болѣзненность національнаго вопроса и частая уродливость его проявленій. Старикъ Эренбургъ случайно видитъ, какъ его сынъ Оскаръ, проходя мимо католической церкви, снимаетъ шапку и крестится. Дѣлаетъ онъ это, очевидно, изъ снобизма, потому что благочестіе вошло въ моду среди аристократической молодежи, и онъ, вѣроятно, увидѣлъ выходящимъ изъ церкви какого-нибудь изъ своихъ аристократическихъ пріятелей. Но отецъ такъ возмущенъ поведеніемъ сына, что ударяетъ тутъ же его по лицу. Скандалъ ведетъ къ драматической развязкѣ. Оскаръ стрѣляется, чтобы спасти свою честь, и хотя остается въ живыхъ, но лишается глаза, уѣзжаетъ изъ Вѣны, и потомъ окончательно

гибнетъ, ведя разгульную жизнь. Тутъ болѣзненность національнаго чувства изуродовала молодую жизнь и разбила семью, такъ какъ и отецъ сильно страдаетъ отъ причиненнаго имъ зла сыну. Другая болѣзненная сторона еврейскаго вопроса изображена Шнитцлеромъ во взаимоотношеніи между партіями въ самомъ еврействѣ, между сіонистами и сторонниками ассимиляціи. Та и другая партія представлена въ романѣ интересно выдержанными типами двухъ даровитыхъ молодыхъ людей. Наиболѣе интересенъ сіонистъ Лео Головскій. Онъ изображенъ въ романѣ обаятельно красивымъ юношей, напоминающимъ скорѣе античнаго молодого грека, чѣмъ семита. Онъ — математикъ, музыкантъ и покоряетъ всѣхъ своимъ умомъ и вѣрностью сужденій. Онъ во всемъ спокоенъ и логиченъ, относится къ людямъ съ доброжелательствомъ и справедливостью, но до нѣкоторой степени свихнулся на національной гордости. Она создалась въ немъ, главнымъ образомъ, чувствомъ протеста. Когда его знакомятъ съ кѣмъ-нибудь, онъ любитъ представлять себя словами: „Лео Головскій, жидъ изъ Кракова“. Въ этомъ преувеличенномъ чувствѣ національной обособленности чувствуется, конечно, болѣзненный надрывъ. Лео, по свойственной ему разсудочности, обосновываетъ теоретически самый фактъ антисемитизма и этимъ болѣе укрѣпляется въ своемъ воинствующемъ націонализмѣ. И его національный надрывъ, какъ и въ семьѣ Эренбурговъ, ведетъ къ трагическимъ осложненіямъ. Отбывая воинскую повинность, онъ сталкивается съ начальствующимъ офицеромъ; чувствуя въ немъ яраго антисемита, онъ сразу становится съ нимъ во враждебныя отношенія, раздражая его въ свою очередь своимъ презрительно-надменнымъ отношеніемъ. Въ сущности, какъ увѣрены люди, хорошо знающіе этого офицера, онъ вовсе не антисемитъ, но острый моментъ національной вражды захватилъ его и сдѣлалъ все дальнѣйшее. Вражда между Лео и офицеромъ кончается трагически. Лео съ трудомъ доканчиваетъ годъ служенія и тотчасъ же по окончаніи службы поджидаетъ офицера у выхода изъ казармы и вызываетъ его на дуэль. „Вчера вы были больше меня, — говорить онъ ему, — но сегодня мы равны и должны рѣшить, кому изъ насъ завтра быть больше другого“... На дуэли убить офицера; Лео судятъ, но, послѣ долгаго сидѣнія въ тюрьмѣ, оправдываютъ... И тутъ драма происходитъ на національной почвѣ, при чемъ нельзя говорить объ абсолютной правотѣ той или другой стороны. Все дѣло въ томъ, что, становясь въ ряды сіонистовъ, т.-е. ища исходъ своей внутренней жаждѣ свободы въ государственной идеѣ, Лео идетъ не по вѣрному пути индивидуализма.

На противоположномъ полюсѣ стоятъ въ національномъ еврейскомъ вопросѣ сестра Лео, Тереза, и его пріятель, писатель Берманъ. Те-

реза — социаль-демократка, не признает обособленных национальных интересов и видит путь к освобождению в экономических реформах. Но и этот путь, на котором личная воля сливается с потребностями масс, отказываясь от себя, не ведет к внутреннему освобождению. Тереза изображена в романе каким-то хотя и привлекательным, но противоречивым существом. Она — полу-революционерка, полу-принцесса, и брат ее, со свойственной ему пронизательностью, справедливо указывает ей на то, что ее речи на митингах в конце концов — только слова; иначе, по его мнению, она не могла бы продолжать жить обывательской жизнью с сознанием совершающейся вокруг несправедливости. И судьба Терезы соответствует ее противоречивой натуре. Периоды политической деятельности перемежаются у нее с романтическими приключениями, герои которых ничего общего с ее идеями не имеют. А другой представитель антинационализма, писатель Генрих Берман, хотя и не тяготеет к своей нации и очень критически относится к своим единоплеменникам, но, с другой стороны, называет себя и антиарийцем, т. е. вообще относится отрицательно ко всем общим чертам всякой национальности и видит искупающее начало только в индивидуальных чертах отдельных людей. Его трагедия — тоже в отсутствии внутренней свободы, но в области не национальных интересов, а сердечных влечений. Любя одну молодую женщину, он настолько мучит себя и ее своей ревностью, что доводит ее до самоубийства, а сам остается несчастным на всю жизнь.

Среди всех этих представителей интеллигентного еврейства баронь Георг Вергентин чувствует себя отчасти чужим, так как на него неприятно действует то, что все они или подчеркивают свое еврейство, или отрекаются от него, но не могут считаться с своей национальностью, как с фактом, не имеющим рокового значения. Только это, по видимому, считает правильным автор романа, высказывая это устами своего героя. Сам Георг, не имеющий основания терзаться национальным вопросом, все же должен искать свой путь к свободе в других жизненных интересах. Вопрос, который встает перед ним в молодые годы, заключается в отношении к любви: свободная любовь или буржуазный брак — вот что ему приходится решить для себя и своей совести. Он ведет свободную жизнь, занятый своими композиторскими планами и имея за собой несколько беззаботных увлечений, кратковременных и неременных никакими обязательствами. Но затем, после смерти отца, возобновив после многих месяцев искреннего траура сношения с друзьями, вернувшись к жизни с обостренной жаждой ощущений, он возобновляет знакомство с красивой девушкой, до-

черью мелкаго чиновника, Анной Рознеръ. Она даетъ уроки музыки, живетъ съ семьей, очень красива и привлекаетъ Георга своей глубокой и свободной натурой. Ихъ дружба незамѣтно переходитъ въ любовь и затѣмъ въ тайную любовную связь. Анна ничего не требуетъ отъ своего возлюбленнаго, и между ними какъ будто нѣтъ и рѣчи ни о бракѣ, ни о какихъ-либо связующихъ узахъ. Но потомъ создается какая-то невольная сѣть. Анна ждетъ ребенка. Георгъ, не давая опять-таки никакихъ обѣщаній, считается съ этимъ обстоятельствомъ, говоритъ съ родителями Анны и беретъ на себя какія-то нравственныя обязательства. Георгъ и Анна отправляются сначала вмѣстѣ путешествовать, потомъ поселяются неподалеку отъ Вѣны, въ деревнѣ, гдѣ Анна ждетъ появленія ребенка. Георгъ живетъ въ городѣ и навѣщаетъ къ ней. Постепенно видоизмѣняющіяся отношенія къ Аннѣ и составляютъ путь Георга къ свободѣ. Сознаніе долга, какъ только оно является, тяготитъ его. Онъ любитъ Анну, но ему не перестаютъ нравиться другія женщины, и онъ самъ постоянно ловитъ себя на невольной внутренней измѣнѣ матери его будущаго ребенка. Но одновременно съ этимъ протестомъ противъ ограниченія свободы чувства въ понятіи долга крѣпнеть въ немъ иное свободное чувство къ Аннѣ. Онъ ясно сознаетъ, что любовь къ ней растетъ въ свободѣ, именно тогда, когда она не навязана долгомъ. Сложность его психологіи переходитъ въ болѣе сознательное крѣпкое чувство, когда вопросъ о внѣшнемъ долгѣ исчезаетъ. Ребенокъ родился мертвымъ—къ искреннему горю Георга, уже предвкушавшаго радости отцовскаго чувства. Анна и Георгъ опять свободны каждый для своей жизни. Но только въ свободѣ крѣпнеть союзъ истинно любящихъ людей. Въ поднятомъ имъ вопросѣ о свободѣ чувства Шнитцлеръ стоитъ за свободу отношеній противъ тиранническаго семейнаго начала. Конечно, общихъ рѣшеній онъ не даетъ и не желаетъ дать. Цѣль романа—показать индивидуальныя пути къ свободѣ. Романъ изобилуетъ разсужденіями о разныхъ психологическихъ и общественныхъ вопросахъ. Общее содержаніе этихъ разсужденій, изложенныхъ въ бесѣдахъ дѣйствующихъ лицъ между собой,—вопросы объ индивидуальной свободѣ въ противоположность всякимъ принципиальнымъ рѣшеніямъ. Индивидуальная психологія—единственно рѣшающее въ жизни.

Идея эта проводится Шнитцлеромъ на фонѣ интереснаго изображенія современной Вѣны. Помимо общечеловѣческихъ чертъ въ характеристикахъ отдѣльныхъ лицъ въ романѣ Шнитцлера чувствуется особая атмосфера, которая и составляетъ особенность описываемой имъ среды. Въ жизни этихъ людей, рѣшающихъ въ кафе, въ салонахъ, во время экскурсій на велосипедахъ или прогулокъ по окрест-

ностямъ Вѣны вопросы національной психологіи и общественнаго строя, связывается какой-то странно замедленный темпъ жизни. Интеллигенція, изображенная Шнитцлеромъ,—какая-то странно разсудочная, далекая отъ лихорадочно возбужденной современной жизни, имѣющая досугъ разсуждать вмѣсто того, чтобы каждымъ моментомъ создавать жизнь. Тутъ есть какая-то особенность австрійской жизни, сравнительно, скажемъ, съ жизнью французской и нѣмецкой, и ее интересно подмѣтилъ и воссоздалъ Шнитцлеръ въ своемъ романѣ нравовъ, гдѣ люди очень умно и инерсно ищутъ путей къ свободѣ.

II.

Jakob Wassermann. Caspar Hauser oder Die Trägheit des Herzens. Roman. Str. 557. Stuttgart, 1908.

Австрійскій романистъ Яковъ Вассерманъ выдвигаетъ въ своихъ произведеніяхъ сложные психологическіе вопросы. Взаимодѣйствіе воли и судьбы, воздѣйствіе вѣшнихъ обстоятельствъ на складъ душевнаго міра—таково содержаніе и его чисто-психологическихъ романовъ, каковы „Исторія Ренаты Фуксъ“ или „Циридорфскіе евреи“, и романовъ историческихъ, какъ „Александръ въ Вавилонѣ“. Въ центрѣ дѣйствія—у него всегда отдѣльная личность съ необычайной судьбой, противопоставленной его волѣ. Его герои—или властители надъ судьбами другихъ, и тогда ихъ трагедія—въ противодѣйствіи имъ жизненныхъ обстоятельствъ, или же они—жертвы, и тогда надъ ними тяготѣетъ рокъ недостаточной воли.

Эти психологическія задачи Вассерманъ охотно изучаетъ, но не на вымышленныхъ герояхъ, а на историческихъ личностяхъ. Послѣ „Александра въ Вавилонѣ“ вышелъ теперь въ свѣтъ новый романъ Вассермана въ такомъ же родѣ. Онъ не можетъ быть названъ историческимъ—герой его не игралъ никакой роли въ исторіи своей страны и своего времени, но все же романъ этотъ не вымышленный: въ немъ документально разсказана жизнь человѣка, дѣйствительно существовавшего и въ свое время занимавшего и волновавшего своихъ современниковъ необычайностью своей судьбы. Романъ Вассермана носить заглавіе: „Каспаръ Гаузеръ или вялость сердца“, и въ немъ изображена жизнь знаменитаго „нюрнбергскаго найденыша“, прозваннаго „загадкой вѣка“ и похороненнаго подъ этимъ прозваніемъ—„aenigma sui temporis“. Вассерманъ воспользовался всѣми имѣющимися документами и остановился на одной изъ распространенныхъ въ свое время гипотезъ относительно происхожденія страннаго юноши. Сохраняя неизмѣнными всѣ факты краткаго пребыванія Каспара Гаузера среди

людей, вводя въ свое повѣствованіе всѣхъ лицъ, дѣйствительно принимавшихъ участіе въ его судьбѣ, онъ освѣщаетъ всю эту таинственную исторію психологически, показывая, какъ чистая душа и богато одаренная натура воспринимаютъ судьбу, когда она не защищена опытомъ, и когда никакая внутренняя воля не ограждаетъ ее отъ власти ощущеній.

Фактическая сторона исторіи Каспара Гаузера хорошо извѣстна по сохранившимся свидѣтельствамъ современниковъ. На улицахъ Нюрнберга появился въ 1828 году странный юноша лѣтъ шестнадцати; онъ не могъ ходить свободно, умѣлъ произносить лишь нѣсколько словъ, подписалъ на полицейскомъ протоколѣ свое имя „Каспаръ Гаузеръ“; подъ этимъ, по всей вѣроятности, вымышленнымъ именемъ онъ и прожилъ свою короткую жизнь, и, кромѣ того, у него было въ рукахъ письмо къ мѣстному ротмистру Весенигу; въ письмѣ было сказано, что юноша хочетъ служить своей родинѣ, поступивъ въ конное войско. Юноша при этомъ былъ пугливъ и ничего не понималъ, какъ младенецъ. Имъ всѣ заинтересовались, городъ Нюрнбергъ взялъ его на попеченіе, и нѣсколько извѣстныхъ людей занялись разгадкой его странной судьбы. Выяснилось, послѣ того какъ юношу научили говорить и справляться съ впечатлѣніями внѣшняго міра, что дѣтство онъ провелъ въ темницѣ, въ полномъ одиночествѣ, безъ представленія о существованіи внѣшняго міра и другихъ людей, безъ понятія о дневномъ свѣтѣ, о времени, о другой пищѣ, кромѣ хлѣба и воды, которую ему незримо ставили къ изголовью. Долгое время онъ былъ даже привязанъ къ постели. Потомъ кто-то входилъ въ его темницу и его научили произносить нѣсколько фразъ и писать свое имя. Послѣ того его привели—очевидно, ночью, невѣдомо для него какъ—въ городъ, въ Нюрнбергъ, гдѣ и оставили на произволъ судьбы. Судьбой Каспара, причиной страннаго его заточенія заинтересовались всѣ слышавшіе о немъ. Его покровителями и защитниками были нюрнбергскій учитель Даумеръ, бургомистръ Биндеръ и, главнымъ образомъ, ученый юристъ, предсѣдатель суда, Фейербахъ, отецъ философа; онъ написалъ книгу о Каспарѣ Гаузерѣ съ цѣлью возстановить его въ отнятыхъ у него, какъ онъ предполагалъ, правахъ на высокое положеніе въ жизни. Распространились слухи, что Каспаръ Гаузеръ—законный наслѣдникъ одного изъ княжескихъ престоловъ въ Германіи, удаленный отъ престола преступными интригами, объявленный мертворожденнымъ и брошенный въ тюрьму. Эту гипотезу въ сказывалъ и доказывалъ съ полной увѣренностью въ ея справедливости именно предсѣдатель суда въ Ансбахѣ Фейербахъ. У Каспара Гаузера было однако и много враговъ; они увѣряли, что онъ—мошеникъ, ловкимъ образомъ представлявшійся „феноменомъ“ съ цѣль

удобно устроиться въ жизни. Но это предположеніе отвергалось всѣми, знавшими Каспара Гаузера, такъ какъ онъ отличался простотой вкусовъ и не пользовался своимъ привилегированнымъ положеніемъ для широкой жизни. Было несомнѣнно, что какая-то тайна окружала рожденіе юноши, и что у кого-то было достаточное основаніе держать его взаперти—едва ли съ единственной цѣлью провѣрить потомъ вліяніе жизни на неподготовленную, невинную, какъ у младенца, душу взрослого человѣка. Всѣ современники Каспара Гаузера свидѣтельствуютъ о его необыкновенныхъ природныхъ дарованіяхъ, о его феноменальныхъ свойствахъ, связанныхъ, быть можетъ, съ тѣмъ, что онъ выросъ въ темницѣ: онъ умѣлъ различать цвѣта и читать въ темнотѣ, обладалъ обостреннымъ чутьемъ и почти медіумическими способностями.

Въ числѣ друзей и покровителей Каспара Гаузера былъ англійскій лордъ Стэнгопъ, который даже хотѣлъ усыновить его. Но этого не произошло, и жизнь Каспара Гаузера закончилась такъ же загадочно и трагично, какъ и началась. Уже въ Нюрнбергѣ, когда онъ жилъ въ домѣ учителя Даумера, на него кто-то напалъ и нанесъ ему тяжелую рану, отъ которой у него остался глубокой шрамъ на лбу. Но такъ какъ никто не видѣлъ незнакомца, то было предположеніе, что вся эта исторія или пригрѣзилась ему, или даже была имъ сочинена, а на самомъ дѣлѣ онъ случайно упалъ и расшибся, скатившись съ лѣстницы. Привычку выдумывать или прибѣгать ко лжи въ немъ стали наблюдать очень скоро послѣ того, какъ онъ привыкъ къ общенію съ людьми. Но черезъ нѣсколько лѣтъ выяснилось, что у него дѣйствительно были враги, желавшіе его смерти. Въ 1833 году, въ Ансбахѣ произошло второе нападеніе на Каспара въ городскомъ саду, и, на этотъ разъ юноша черезъ нѣсколько дней умеръ отъ нанесенной въ сердце раны. Были опять предположенія, что произошло самоубійство, а не убійство. Ни одного изъ тѣхъ, кого можно было заподозрить въ убійствѣ Каспара, не захватили; были только какіе-то смутныя показанія разныхъ свидѣтелей о будто бы замѣченныхъ ими въ городѣ въ разныхъ мѣстахъ подозрительныхъ и быстро исчезнувшихъ незнакомцахъ. Ничего болѣе не обнаружилось, и загадка жизни Каспара Гаузера такъ и осталась невыясненной. Надпись на крестѣ надъ его могилой сдѣлана была по латыни и гласитъ въ переводѣ: „Здѣсь покоится прахъ Каспара Гаузера, загадки своего времени, человѣка невѣдомаго рожденія, умершаго загадочной смертью“.

Предположеніе о его княжескомъ происхожденіи и связи съ однимъ изъ нѣмецкихъ дворовъ было высказано Фейербахомъ; затѣмъ о немъ подробно писали увлекавшійся имъ Даумеръ, Стэнгопъ и другіе.

Вотъ матеріалъ, которымъ пользовался Вассерманъ въ своемъ ро-

манъ. Онъ сохраняетъ гипотезу Фейербаха, т.-е. предполагаетъ, что Каспаръ Гаузеръ рожденъ былъ для власти и окруженъ былъ въ своей короткой жизни могущественными врагами. При этомъ для романиста самое важное—не обоснованность гипотезы, а психологическій фактъ, т.-е. мечта, взлелѣянная друзьями и еще болѣе недругами въ впечатлительной душѣ мальчика. Лица, дѣйствительно стоявшія близко къ Каспару Гаузеру въ жизни, играютъ такую же роль въ романѣ Вассермана. Даумеръ, первый покровитель Каспара и въ особенности Фейербахъ, пламенно отдавшійся дѣлу возстановленія правъ Гаузера, изображены Вассерманомъ очень обстоятельно въ связи съ судьбой Гаузера. Совершенно видоизмѣнена имъ только роль лорда Стэнгола, въ которомъ онъ изображаетъ слугу враговъ Каспара, почти наемнаго убійцу, убившаго юношу, однако, не ударомъ кинжала, а тѣмъ, что онъ отравилъ ему душу несбыточными, завѣдомо обманными надеждами.

Исторія Каспара Гаузера разсказана въ романѣ Вассермана, какъ примѣръ непосредственнаго воздѣйствія міра на незащищенную душу. Каспаръ—взрослый младенецъ. Младенчество его сказывается въ неумѣннн противопоставить впечатлѣніямъ свой душевный опытъ. Онъ все воспринимаетъ, какъ истину, какъ положительную величину. Все— правда, все прекрасно, всѣ люди красивы, всѣ слова обозначаютъ то, что въ нихъ сказано. Этими впечатлѣніямъ, разобраться въ которыхъ онъ не можетъ за отсутствіемъ критическаго мѣрила, Каспаръ отдаетъ силы своей богатой натуры, силы, созрѣвшія въ тишинѣ и во мракѣ до феноменальной остроты и силы. Психологическая задача романиста заключается въ томъ, чтобы показать, какъ дѣйствуютъ разныя вѣшнія вліянія, люди, ихъ поступки, опытъ жизни на дѣльность душевныхъ силъ. Второе заглавіе романа— „Вялое сердце“. Этими авторъ указываетъ на то, что Каспаръ Гаузеръ, въ силу обстоятельствъ своего трагическаго дѣтства, выросъ исключительно воспримчивой, а не активной натурой, и что въ этомъ была его гибель. Всякое впечатлѣніе непосредственно врѣзывалось въ его мягкую душу, гася ея природный свѣтъ, дѣлая юношу жертвой всѣхъ иллюзій, которыми его питали, и всѣхъ жестокостей, которымъ онъ подвергался въ своей короткой жизни.

Жизнь Каспара Гаузера раздѣлена въ романѣ Вассермана на отдѣльные, связанные между собой, чередующіеся эпизоды, и кажды изъ этихъ эпизодовъ знаменуетъ воздѣйствіе на Каспара новаго элемента извнѣ, губящаго богатство его первобытныхъ силъ.

Каспаръ Гаузеръ, какимъ онъ изображенъ въ романѣ, обаятеленъ, когда онъ появляется среди людей. Его нашли, какъ бродягу, на улицѣ. Кто-то провель его въ дому ротмистра Весенига, къ которому у

было письмо. Но ротмистръ отослалъ его въ полицію—и юноша, не умѣющій говорить, ничего не понимающій, становится собственностью города. Его помѣщаютъ въ башнѣ, гдѣ содержатся арестанты, и къ нему допускаютъ всѣхъ желающихъ взглянуть на него; этимъ путемъ надѣются установить его личность. Но никто не признаетъ страннаго и взрослого младенца. Въ башню ходятъ толпами любопытствующіе горожане поглазѣть на диковиннаго найденыша. Ему приносятъ лакомства и удивляются, когда онъ отворачивается съ отвращеніемъ отъ всякой ѣды,—пищей ему служитъ только хлѣбъ и вода. Ему самому непривычный видъ людей тягостенъ. Для общенія съ ними у него есть только нѣсколько фразъ, которымъ его научило таинственное лицо, управлявшее его судьбой. Онъ умѣетъ сказать: „я хочу служить въ конницѣ, какъ мой отецъ“, и еще „дать лошадку“ (у него была въ заточеніи игрушка—деревянная маленькая лошадка). Этими словами онъ пользовался и для того, чтобы попросить воды, и когда ему хотѣлось, чтобы его не мучили тѣснившіеся вокругъ него чужіе люди. Его подвергаютъ медицинскому изслѣдованію, и городской врачъ выражаетъ въ концѣ своего протокола твердое убѣжденіе въ томъ, что „данный субъектъ не имѣетъ понятія о подобныхъ себѣ, не ѣстъ, не пьетъ, не чувствуетъ и не говоритъ, какъ другіе, не знаетъ, что значить сегодня и завтра, не постигаетъ времени, не чувствуетъ самого себя“.

Больше всѣхъ заинтересовывается Каспаромъ Гаузеромъ учитель мѣстной гимназіи, ученый психологъ и педагогъ Даумеръ. Онъ проводитъ цѣлыя дни у Гаузера въ башнѣ, какъ бы замороженный благородствомъ его чертъ, отраженіемъ въ нихъ внутреннаго покоя и чистоты, и ему кажется, что если взростить рѣдкостныя задатки этой исключительно чистой природы, то можно будетъ представить міру „зеркало незапятнаннаго человѣческаго духа“ и этимъ дать новыя доказательства существованія души, сокрушивъ скептицизмъ матерьялистовъ.

Вотъ первое несчастье Каспара. Полюбившій его съ перваго взгляда человѣкъ отнесся къ нему теоретически, исхаль въ немъ объекта для проверки своихъ метафизическихъ теорій, сталъ развивать въ немъ разныя, будто бы скрытыя въ немъ, силы и при этомъ не достаточно внимательно разглядѣлъ въ немъ живую душу. А когда „опыты“ стали не удаваться, когда столкновения съ жизнью стали вызывать безпомощныя сопротивленія Каспара, то Даумеръ разочаровался въ Каспарѣ и отвернулся отъ него. Эпизодъ вліянія на Каспара идеалиста Даумера подробно изображенъ въ романѣ: Даумеръ беретъ Каспара къ себѣ въ домъ съ согласія матери и сестры, раздѣляющихъ его увлеченіе чистымъ юношей. Даумеръ въ

восторгъ отъ понятливости Каспара, который быстро усваиваетъ всѣ необходимыя для мышленія элементарныя понятія и знакомится съ міромъ, такъ чутко все понимая, точно нужно было только приподнять передъ нимъ завѣсу и дать его острому взгляду проникнуть въ міръ. Изъ устъ ученика, научившагося выражать свои чувства и управлять своими воспоминаніями, Даумеръ узнаетъ о томъ, что Каспаръ зналъ до недавняго времени только мракъ своего подземнаго мѣста заточенія и тамъ научился отличать оттѣнки темноты, распознавая такимъ образомъ ночь и день. Единственнымъ его товарищемъ была игрушка—деревянная лошадка на колесикахъ, которую онъ считалъ подобнымъ себѣ существомъ и съ которой дѣлилъ хлѣбъ. Послѣ одиночества—продолжительность его онъ не могъ опредѣлять, не имѣя представленія о времени—у Каспара явилось новое переживание: къ нему явился „ты“—другой человекъ, научившій его писать—т.-е. писать только имя Каспаръ Гаузеръ,—затѣмъ произносить нѣсколько фразъ и читать изъ принесенной книги. Онъ научилъ его также названіямъ предметовъ въ комнатахъ. Черезъ нѣсколько времени онъ увелъ или вѣрнѣе вынесъ его на плечахъ ночью вверхъ по лѣстницѣ—Каспару казалось, что они шли высоко въ гору,—вывелъ его на улицу и оставилъ съ письмомъ къ ротмистру, сказавъ, что онъ долженъ сказать, чтобы его провели туда. Вотъ все, что Каспаръ знаетъ о своемъ прошломъ, и Даумеру важно именно это невѣдѣніе, отсутствіе всякаго опыта. Онъ производитъ эксперименты надъ просыпающейся къ жизни нетронутой въ своей первобытной силѣ душой. Онъ учитъ мальчика всему, объясняетъ ему воздухъ, жизнь цвѣтовъ, ростъ и смерть—тоже на примѣрахъ увяданія въ природѣ—и въ душѣ Каспара поднимается инстинктивный страхъ. Онъ видитъ червя въ разрѣзанномъ яблокѣ; червь заточенъ въ яблокѣ, какъ онъ былъ прежде заточенъ въ темницу. „Всякое внутри—темница“. Онъ вспоминаетъ, узнавъ это, какъ въ темницѣ „ты“ училъ его и ударилъ при этомъ. Все невѣдомое становится для него ударомъ. Радость бытія, очаровавшая всѣхъ въ его лицѣ, соединяется съ чувствомъ тревожнаго ожиданія. Но это ожиданіе не находитъ себѣ отвѣта въ окружающемъ. Даумеръ занятъ развитіемъ и демонстраціею феноменальныхъ свойствъ Каспара, показываетъ желающимъ, какъ юноша читаетъ и различаетъ краски въ темнотѣ, чувствуетъ близость металловъ и т. д. Каспаръ, тяготясь общимъ любопытствомъ къ совершенно естественнымъ для него явленіямъ въ себѣ, не находитъ съ другой стороны отвѣта на свои тревоги; онъ уходитъ въ себя, предается смутнымъ воспоминаніямъ, которыя отражаются, главнымъ образомъ, въ отчетливыхъ снахъ. Ему снится жизнь въ замкѣ, онъ видитъ ясно обстановку, почему-то родную, и тамъ

ищетъ ту, къ которой его тянуть всё его мечты — мать. Даумеръ, относится къ этимъ снамъ съ внутреннимъ чувствомъ протеста. Онъ думалъ найти въ Каспарѣ существо безъ прошлаго, всецѣло живущее духомъ и потому обладающее таинственными дарами. Все мѣняется благодаря тому, что у Каспара открывается таинственное земное прошлое.

Но какъ разъ эта таинственность судьбы Каспара Гаузера заинтересовываетъ другого покровителя Каспара, Фейербаха, предсѣдателя суда въ Ансбахѣ, центральномъ городѣ округа. Фейербахъ изучаетъ мальчика, нападаетъ на опредѣленные подозрѣнія, находитъ подтвержденіе въ чертахъ лица Каспара, схожихъ съ общимъ типомъ той княжеской семьи, членомъ которой онъ его считаетъ. Убѣжденный въ томъ, что Гаузеръ насильственно лишенъ всѣхъ своихъ прироченныхъ правъ, Фейербахъ отдается всей душой возстановленію его правъ. И этотъ второй покровитель Каспара влияетъ на юношу пагубно, рождая въ немъ опасную иллюзію.

Когда Каспаръ обнаруживаетъ въ учителѣ недоувѣріе къ своимъ снамъ и слышитъ отъ него, что снамъ вообще нельзя вѣрить, — онъ въ первый разъ не вѣритъ ему и остается при своемъ убѣжденіи, противоположномъ словамъ учителя. Въ другой разъ онъ переживаетъ еще болѣе сильное разочарованіе: ротмистръ Весенигъ при встрѣчѣ съ нимъ дразнитъ его въ шутку полученнымъ будто бы для него тайнымъ письмомъ — и въ шутку подтверждаетъ, въ отвѣтъ на пытливый вопросъ Каспара, что письмо это отъ его матери. Каспаръ передаетъ Даумеру радостное извѣстіе и узнаетъ, что ему солгали. Фактъ лжи производитъ на мальчика глубокое впечатлѣніе, и психологія его еще болѣе осложняется.

Слухи о княжескомъ происхожденіи Каспара усиливаются, и въ то же время появляется брошюра, составленная въ полицейскихъ кругахъ, гдѣ Каспара Гаузера называютъ обманщикомъ. Даумеръ возмущенъ брошюрой, но прежній его горячій интересъ къ Каспару пропалъ, такъ какъ дѣйствіе „простыхъ силъ“ стало проявляться въ немъ слабѣе: оно заглушалось чувствами и переживаниями. Наконецъ Даумеръ, котораго всё начинаютъ предупреждать о неискренности Каспара, самъ уличаетъ его во лжи — не умѣя разглядѣть чистый источникъ этой лжи. Предсѣдатель Фейербахъ, сильно привязавшійся къ своему протезе, уѣзжая на время, подарилъ ему тетрадь для дневника; онъ посоветовалъ Каспару вписывать въ эту книгу свои вѣтныя мысли. Касперъ даетъ себѣ внутренне обѣтъ, что тетрадь по прочтенію только его мать — и готовъ на все, лишь бы никому не указывать тетради. Когда Даумеръ однажды проситъ его показать дневникъ, Каспаръ прибѣгаетъ къ очень неумѣлымъ отговоркамъ,

чтобы не исполнить его требованія. Для Даумера этого достаточно. Каспаръ его разочаровалъ. Онъ оказался не такъ метафизиченъ, какъ ожидалъ Даумеръ, и Даумеръ совершенно охладѣлъ къ нему. Кромѣ того, ему было крайне тяжело, что именно у него въ домѣ произошло таинственное нападеніе на Каспара, послѣ котораго юношу нашли тяжело раненымъ въ погребѣ. Вслѣдствіе всего этого Даумеръ заявляетъ комиссіи, назначенной для опеки надъ Каспаромъ Гаузеромъ, что согласенъ на переездъ юноши къ кому-нибудь изъ согражданъ; рѣшено, съ согласія Фейербаха, что Каспаръ будетъ жить у члена городского совѣта, Бехольда. Жена Бехольда, вздорная женщина, кончившая потомъ самоубійствомъ, жестоко обходившаяся со своей родной дочерью, предложила взять Каспара къ себѣ ради сенсационности его пребыванія у нея въ домѣ. Каспаръ начинаетъ понимать, что его превратили въ какой-то предметъ, который передаютъ изъ рукъ въ руки, и ему грустно. Мечты о далекой матери все болѣе овладѣваютъ имъ. Отъ Даумера онъ уходитъ равнодушно—ничто не привязываетъ его къ человѣку, научившему его познавать ложь. Но у Бехольдовъ ему живется еще хуже. Непостижимые капризы хозяйки дома превращаютъ его то въ балованное дитя въ присутствіи гостей, то въ невинную жертву ея вспышекъ. Когда онъ заступаетъ за ея загнанную дочь, она обвиняетъ его въ преступной страсти къ дѣвочкѣ, и только его явное непониманіе ея ясныхъ намековъ останавливаетъ ее. Она настолько задѣта его наивностью, что сама пытается зажечь въ немъ страсть—и мститъ ему грязными клеветами за неудачу своихъ непонятныхъ ему заигрываній. Видя, что его положеніе въ домѣ становится нестерпимымъ, друзья Каспара, тотъ же Даумеръ и бургомистръ, стараются устроить его въ другомъ домѣ—у барона Тухера. Но тамъ Каспаръ въ сущности еще несчастнѣе. Жена Бехольда мучила его произволомъ своихъ капризовъ,—строгий баронъ держится твердыхъ принциповъ, воспитываетъ Каспара въ цѣляхъ превращенія его въ скромнаго ремесленника и противодействуетъ всему мечтательному и самобытному въ его природѣ. И опять Каспаръ ограждаетъ себя и свой внутренній міръ и охотно прибѣгаетъ ко лжи, чтобы не выдать ничего, что ему дѣйствительно мило и дорого. Самъ онъ живетъ мечтами; слухи и, главное, общеніе съ Фейербахомъ, поддерживающимъ легенду о его поправныхъ правахъ, питаютъ его иллюзіи.

И вскорѣ въ жизнь Каспара врывается на короткое мгновенье лучъ ослѣпительной надежды, которая и губитъ окончательно безвольную душу, живущую и умирающую впечатлѣніями, не знающую активнаго воздѣйствія на судьбу. Въ Ансбахѣ, куда Каспаръ переселяется, по желанію Фейербаха, является знатный иностранецъ

лордъ Стэнгопъ. Онъ былъ уже раньше въ Нюренбергѣ, и, когда произошло покушеніе на Каспара въ Домѣ Даумера, общалъ крупную сумму за разысканіе покушавшагося. Деньги эти лежали въ значеяствѣ и такъ и были возвращены лорду при вторичномъ его прїѣздѣ: „виновнаго“ не нашли. Лордъ входитъ въ непосредственныя сношенія съ Каспаромъ, осыпаетъ его подарками, выказываетъ горячую дружбу къ юношѣ и всецѣло завоевываетъ его довѣріе. Будничная жизнь кончена для Каспара. Онъ пренебрегаетъ занятіями, равнодушенъ къ барону Тухеру, у котораго живетъ. Онъ проводитъ всѣ дни съ Стэнгопомъ, который прельщаетъ его обѣщаніями дивныхъ путешествій вдвоемъ и затѣмъ въ далекой грезѣ рисуетъ ему свиданіе съ матерью, отъ лица которой онъ будто бы и заботится о Каспарѣ. Онъ подтверждаетъ слухи о высокомъ происхожденіи Каспара и требуетъ величайшей тайны для успѣшной борьбы съ его врагами. Мальчикъ живетъ въ Ансбахѣ, у учителя Квандта, которому поручено его воспитаніе, но жизнь потеряла для него реальный смыслъ. Онъ весь поглощенъ обѣщаніями Стэнгопа. А на самомъ дѣлѣ Стэнгопъ — разорившійся лордъ, который поддерживаетъ привычный блескъ жизни только участіемъ въ темныхъ дѣлахъ. Ему поручено увезти Каспара и какими-угодно средствами сжить его съ свѣту. Но это порученіе, однако, онъ не исполняетъ—такъ какъ не можетъ противостоятъ обаянію Каспара и его юношеской преданности и въ концѣ концовъ отказывается отъ порученія. Но до того онъ, однако, нравственно губить юношу. Возбудивъ въ немъ всѣ надежды, онъ вдругъ сдается на протестъ Фейербаха, не позволяющаго увезти Каспара, и соглашается, чтобы мальчикъ остался жить у Квантовъ, а самъ онъ уѣзжаетъ. Измѣна Стэнгопа становится катастрофой для Каспара. Онъ сначала еще вѣритъ, что его другъ вернется, такъ какъ получаютъ письма, и выплачиваются учителю суммы за его содержаніе. Но тучи сгущаются надъ головой мальчика. Выходитъ въ свѣтъ книга Фейербаха, о которой Каспаръ самъ узнаетъ только долго спустя, отъ сослуживца. Фейербахъ опредѣлилъ его пока писцомъ на городскую службу. Но Каспара не радуетъ поднятый вокругъ него шумъ. У него одна мечта. Она окончательно разбивается. Фейербахъ умираетъ, и потомъ получается извѣстіе, что погибъ и лордъ Стэнгопъ—самъ лишивъ себя жизни. Изъ хода событій понятно, что, очутившись въ безысходномъ расколѣ съ самимъ собой, онъ не могъ и гъ, отказавшись отъ своего опаснаго порученія. Каспаръ своей любовью убилъ его преступныя намѣренія, но этимъ самымъ заставилъ его покончить съ собой.

Но обыкновенной жизни въ маленькомъ городѣ Каспаръ уже вести не можетъ. Онъ все еще живетъ мечтами и иллюзіями. Когда поэтому

къ нему подсылають убійць, заманивающихъ его письмами, гдѣ его называютъ принцемъ, говорятъ о тайнѣ и т. д., онъ вѣритъ. Его легко заманивають въ городской садъ поздно вечеромъ, гдѣ незнакомцы наносятъ ему смертельную рану. Каспаръ успѣваетъ дотащиться до дому, но черезъ нѣсколько дней умираетъ. Никакихъ разъясненій всего происшествія добиться нельзя.

Такъ Вассерманъ передаетъ исторію знаменитаго „феномена вѣка“. Главное въ его передачѣ—противопоставленіе иллюзій, жизни въ мечтахъ возможности активнаго существованія. А затѣмъ исторія Каспара Гаузера безконечно увлекательна, какъ символъ всякаго чело-вѣческаго существованія, окруженнаго непроницаемой тайной начала и конца и нуждающагося въ періодъ сознательнаго существованія въ полномъ напряженіи всѣхъ силъ души, чтобы проявить себя, а не быть безцѣльной жертвой всѣхъ чувствъ.—З. В.



ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.

По поводу воспоминаній А. Ѳ. Кони.

Помѣщенные въ майской книгѣ „Вѣстника Европы“ „Отрывки изъ воспоминаній“ А. Ѳ. Кони полны такого захватывающаго интереса для всякаго любителя русской литературы, что, по справедливости, могутъ считаться однимъ изъ самыхъ замѣтныхъ явленій нашей печати, лучшимъ доказательствомъ чего служить ихъ громадное пространство путемъ перепечатки въ другихъ журналахъ и газетахъ.

Указанное значеніе статьи заставляетъ меня сказать нѣсколько словъ относительно одного мѣста „Воспоминаній“, которое, по моему мнѣнію, нѣсколько неясно, и, быть можетъ, маститый авторъ найдетъ возможнымъ удѣлить немного времени для выясненія его, чѣмъ вызоветь благодарность и не отъ одного меня.

На страницѣ 11-ой А. Ѳ. Кони говоритъ, что стихотвореніе, вдохновившее И. С. Тургенева написать: „Какъ хороши, какъ свѣжи были розы“..., принадлежитъ Мятлеву и было напечатано въ 1843 году, подъ названіемъ „Розы“, причемъ приводится начальная строфа этого произведенія, тогда какъ въ статьѣ А. Н. Пыпина: „Н. А. Некрасовъ“ („Вѣстникъ Европы“, 1904 г., книга IV, стр. 529) указано, что стихотвореніе „Розы“ было помѣщено въ 1854 году въ „Дамскомъ альбомѣ“, составленномъ „изъ отборныхъ страницъ русской поэзіи“, и что авторомъ его является „какой-то г. Н. Н.“, такъ что когда я въ свое время прочиталъ указанную статью, то у меня получилось впечатлѣніе, будто-бы А. Н. Пыпинъ подозрѣваетъ въ авторствѣ „Розы“ самого Н. А. Некрасова, написавшаго обширную рецензію „Дамскаго альбома“. Такъ какъ А. Ѳ. Кони приводитъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ“ только начало стихотворенія, то нѣтъ возможности сличить его съ помѣщеннымъ въ статьѣ А. Н. Пыпина, хотя въ одномъ словѣ замѣчается маленькая разница: въ первой статьѣ напечатано — „...какъ взоръ прельщали мой“..., а во второй — „...какъ взоръ плѣняли мой“...

Крайне желательно въ интересахъ истины освѣтить этотъ вопросъ, такъ какъ непонятно, почему Мятлеву въ 1854 году встрѣтилась

необходимость подписать свое произведеніе инициалами „Н. Н.“? Не служатъ ли эти буквы начальными въ его имени и отчествѣ?

А. И. Бялюшъ.

Зав. Березники, Пермской губ.

27 мая 1908 г.

По поводу этого письма Редакція получила нижеслѣдующую справку.

Справка: 1) Мятлева звали Иванъ Петровичъ, почему Н. Н. не могли быть начальными буквами его имени и отчества, а принадлежали какому-то анонимному похитителю его стихотворенія; 2) Мятлевъ умеръ въ 1844 г., за десять лѣтъ до выхода въ свѣтъ „Дамскаго альбома“, и 3) Стихотвореніе „Розы“, начинавшееся „Какъ хороши, какъ свѣжи были розы...“ напечатано въ „Стихотвореніяхъ И. П. Мятлева. С.-Петербургъ, 1844 г.“ на послѣднихъ двухъ страницахъ этого маленькаго сборника.

А. Бюми.

ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ.

1 июля 1908.

„Голосъ Москвы“ о годовщинѣ закона 3-го іюня.—Забыли или отказались?—Вопросы государственной обороны въ освѣщеніи А. И. Гучкова. — „Безотвѣтственныя“ лица въ арміи.—Пренія въ Думѣ о системныхъ отдѣленіяхъ.—Парламентская дуэль.—Какъ былъ принятъ проектъ о депутатскомъ жалованьи.—Еще о ген. Думбадзе.—Сѣзды представителей печати.—Н. А. Римскій-Корсаковъ и С. И. Васюковъ †.

Октябристскій „Голосъ Москвы“ отмѣтилъ статьей г. Б. Куманина годовщину избирательнаго закона 3-го іюня—закона, давшаго Думу, въ которой громомъ апплодисментовъ отвѣчаютъ на слова министровъ, которая за семь мѣсяцевъ не удосужилась заняться земельнымъ вопросомъ и ни однимъ законопроектomъ, касающимся возмѣщенныхъ 17-го октября незыблемыхъ основъ гражданской свободы, и въ которой предсѣдатель считаетъ умѣстнымъ останавливать оратора справа, назвавшаго лѣвыхъ депутатовъ „босьяками“, слѣдующимъ достойнымъ замѣчаніемъ: „Пожалуйста, не дразните ихъ“!.

„3-го іюня 1907 года, — писалъ г. Куманинъ, — кончился тотъ странный порядокъ выборовъ въ нашу Думу, при которомъ возможны были повошенія нашей доблестной арміи *иностранцами* (еврей Якубсонъ въ первой Думѣ и армянинъ Зурабовъ—во второй), и при которомъ Государственная Дума имѣла такой *національный* составъ, подобнаго которому не имѣлъ ни одинъ парламентъ на Западѣ“. Допустимъ, что г. Куманинъ не намѣренно, съ цѣлью усиленія впечатлѣнія, назвалъ гг. Якубсона и Зурабова иностранцами, ибо и для полуграмотныхъ очевидно, что это не вѣрно: ни при какомъ порядкѣ выборовъ невозможно, чтобы въ Думѣ могли говорить иностранные подданные. Суть не въ зурабовскомъ или якубсоновскомъ инцидентахъ, имѣвшихъ мѣсто въ Думѣ перваго и втораго созывовъ. Суть даже не въ рѣзко-отрицательномъ отношеніи автора къ избирательному закону 11-го декабря, а въ томъ, что ему противопоставляется октябристскимъ офиціозомъ законъ 3-го іюня.

Ни въ моментъ изданія закона 11-го декабря, ни въ періоды первой и второй избирательныхъ кампаній, нельзя было услышать ни одного голоса, который бы поднялся въ защиту этого дѣйствительно впечатлѣтельнаго по своей принципиальной и технической неудовлетво-

рительности продукта канцелярскаго творчества. Крайнія лѣвыя партіи настолько считали его неудовлетворительнымъ, что отказались отъ участія въ первыхъ выборахъ. Крайнія правыя—о нихъ и говорить нечего. Кадеты—шли въ Думу, чтобы добиваться его отмены. Рѣшительно осуждали законъ и октябристы. Но почему они его осуждали и почему не могли не осуждать? Устраняющій всякія сомнѣнія отвѣтъ даетъ воззваніе союза 17-го октября.

Вторымъ основнымъ положеніемъ союзъ ставилъ: „Развитіе и укрѣпленіе началъ конституціонной монархіи съ народнымъ представительствомъ, основаннымъ на общемъ избирательномъ правѣ“. „Это положеніе—говорилось далѣе въ воззваніи—*обязываетъ къ осуществленію начала общаго избирательнаго права, открывающаю возможность всемъ русскимъ гражданамъ участвовать въ осуществленіи государственной власти*“. Люди, только что написавшіе приведенныя слова и только что объединившіеся подъ флагомъ этихъ словъ,—могли ли они не осуждать избирательнаго закона 11-го декабря? Октябристы никогда не представляли лозунгомъ четырехчленную формулу: всеобщее, прямое, равное и тайное голосованіе. Но они твердо устанавливали начало общаго избирательнаго права, какъ единственно вѣрный фундаментъ для системы выборовъ. Могли ли они мириться съ закономъ, который сохранилъ сложную имущественно-цензовую и сословно-классовую систему положенія 6-го августа, вводя въ нее пониженный имущественный критерій и чисто случайно нѣкоторыя новыя категоріи избирателей? Могли ли они мириться съ закономъ, который создавалъ привилегированное положеніе для землевладѣльцевъ?..

Прошло два съ половиной года. Октябристскій органъ вѣрнѣе воззванію союза въ отрицательномъ отношеніи къ избирательному закону 11-го декабря и... противопоставляя, привѣтствуетъ законъ 3-го іюня!.. Октябристскій органъ привѣтствуетъ годовщину закона, который отнялъ избирательныя права по землевладѣльческому цензу отъ крестьянъ-собственниковъ, который возвелъ въ правовую норму руководство выборами со стороны министерства, и который отдалъ результаты выборовъ цѣликомъ въ руки крупныхъ землевладѣльцевъ!.. Октябристскій органъ привѣтствуетъ годовщину дня, когда „кончился тотъ странннй порядокъ выборовъ“, при которомъ, хоть отчасти, открывалась „возможность *всѣмъ русскимъ гражданамъ участвовать въ осуществленіи государственной власти*“!..

Воззваніе союза не этимъ только глухимъ словомъ „всѣмъ“ опредѣляло отношеніе вступившихъ въ союзъ къ правамъ національностей. Напротивъ, оно опредѣляло его съ полной ясностью и точностью. „При широкомъ развитіи мѣстнаго самоуправленія на всемъ пространствѣ имперіи, при прочно установленныхъ основныхъ элемен-

тахъ гражданской свободы, при участіи *всѣхъ русскихъ гражданъ безъ различія національности и впроисповѣданія въ созданіи правительственной власти...* такое положеніе (сохраненіе единства и нераздѣльности Россійскаго Государства) нисколько не препятствуетъ мѣстнымъ особенностямъ и интересамъ различныхъ національностей найти себѣ выраженіе и удовлетвореніе въ законодательствѣ и управленіи, основанныхъ на признаніи *безусловнаго равенства въ правахъ всѣхъ русскихъ гражданъ*“.

Вотъ во имя какого отношенія къ правамъ національностей образовали союзъ 17-го октября гг. Гучковъ, Шиповъ, гр. Гейденъ, М. Стаховичъ, Дерхе. „Въ созданіи правительственной власти“ должны участвовать всѣ русскіе граждане безъ различія національности и впроисповѣданія. Законодательство и управленіе должны быть основаны на признаніи *безусловнаго равенства въ правахъ всѣхъ русскихъ гражданъ*. Можно ли говорить яснѣе и краснорѣчивѣе? И отъ имени тѣхъ, кто это говорили, теперь привѣтствуютъ день, когда было лишено избирательныхъ правъ населеніе Туркестана и ограничено въ правѣ посылать представителей населеніе Царства Польскаго!..

Г. Куманинъ пишетъ: „А вѣдь мы, русскіе, являемся не только *историческими* хозяевами страны, созданной кровью нашихъ предковъ, самоотверженно работавшихъ для будущихъ поколѣній, но и *численно* имѣемъ право идти во главѣ страны“. Не будемъ вести спора по существу—онъ бесполезенъ. Спросимъ только: куда дѣвался „документъ?“ Не манифестъ 17 октября,—нѣтъ,—куда дѣвался *свой* „документъ“ — возваніе?.. Г. Куманинъ вспоминаетъ выборы въ первую Думу въ Минской губ., гдѣ 80¹/₂ процентовъ русскихъ, 16 проц. евреевъ и 3 проц. поляковъ, и гдѣ были выбраны 7 поляковъ, 1 еврей и 1 русскій. Онъ повторяетъ рассказъ члена второй Думы Мельника, что когда, при первыхъ выборахъ, крестьяне просили у помѣщиковъ еще одно мѣсто въ Думѣ, то имъ отвѣтили: „Пошли вонъ, быдло!“... Конечно, подобное соотношеніе между составомъ населенія и составомъ представителей и подобное обращеніе одного класса избирателей къ другому — явленія не нормальныя. Но развѣ они были бы мыслимы, если бы, согласно требованію октябристовъ, выборы были построены на признаніи безусловнаго равенства въ правахъ всѣхъ русскихъ гражданъ, населяющихъ Минскую губернію, и если бы вмѣсто закона 11 декабря дѣйствовалъ законъ, основанный на началѣ общаго избирательнаго права?..

Забыли октябристы свой „документъ“ или отказались отъ него? Забыть—не могли. Живымъ напоминаніемъ о ихъ „документѣ“ служатъ партія мирнаго обновленія, въ которую ушли покойный графъ Гейденъ, Д. Н. Шиповъ и М. А. Стаховичъ въ тотъ моментъ, когда

стало опредѣляться, что идейный октябризмъ наканунѣ исчезновения. Идейный октябризмъ—это нашъ русскій консервативный конституціонализмъ. Первые мѣсяцы послѣ 17 октября 1905 г. у насъ была конституція — неосуществленная, не облеченная въ формы обезпечивающихъ гражданскую свободу законовъ, но твердо воспринятая общественнымъ сознаниемъ. И тогда, естественно, на-ряду съ теченіями конституціонно-прогрессивными, появилось и вылилось въ воззваніи и программѣ союза 17 октября теченіе конституціонно-консервативное. Прошли эти недолгіе мѣсяцы. Факты разрушили иллюзію. Въ общественномъ пониманіи конституція стала не тѣмъ, что уже есть, а тѣмъ, къ чему надо стремиться, чего еще надо добиваться. По мѣрѣ того, какъ шель процессъ разрушенія иллюзіи, идейный октябризмъ обращался въ партію „послѣдняго правительственнаго распоряженія“...

Вся политика октябристовъ есть сплошной отказъ отъ ихъ прошлаго. Не знаменуетъ возврата къ тому, на чемъ было ими построено воззваніе, и рѣчь А. И. Гучкова, сказанная имъ при обсужденіи военнаго бюджета. Эта рѣчь произвела большое впечатлѣніе. И дѣйствительно въ своей критической части она была очень сильна. Но отнюдь нельзя сказать того же о ея положительной части. Дѣло внѣшней обороны А. И. Гучковъ трактовалъ внѣ связи съ дѣломъ внутренняго обновленія страны, вѣдомственные военныя реформы—внѣ связи съ реформированіемъ общихъ условій государственной службы. Широко и вѣрно намѣчая цѣли, онъ какъ бы боялся въ средствахъ ихъ достиженія сойти съ проторенныхъ и испытанныхъ путей, которые привели къ Мукдену и Цусимѣ. Въ концѣ концовъ, онъ свелъ рѣчь къ требованію отъ народа тяжелыхъ денежныхъ жертвъ. Онъ напоминать о томъ „культъ арміи“, который созданъ во Франціи послѣ разгрома семидесятаго года, ни звукомъ не затронувъ вопроса: могъ ли создаться во Франціи культъ арміи, если бы разгромъ не повлекъ за собой паденія наполеоновскаго режима?

Наиболѣе яркимъ мѣстомъ въ рѣчи А. И. Гучкова были его слова о „безотвѣтственныхъ“ лицахъ въ арміи. Дѣйствительно, это одна изъ весьма существенныхъ ненормальностей въ нашемъ военномъ управленіи. По многимъ понятнымъ причинамъ, и въ печати, даже въ короткіе мѣсяцы ея свободы, и съ думской каеедры о „безотвѣтственныхъ“ лицахъ, о ихъ роли и значеніи, говорилось полу-словами, в меками. Такъ, въ первой Думѣ князь С. Д. Урусовъ ограничилъ однимъ установленіемъ факта могущественныхъ безотвѣтственныхъ вліяній на ходъ нашей общей государственной жизни. А. И. Гучко первый поставилъ вопросъ прямо и открыто. Онъ не только назва

фактъ, онъ назвалъ и имена. Отъ этого его слова получили до нѣкоторой степени характеръ выступленія противъ опредѣленныхъ безотвѣтственныхъ лицъ. Конечно, названныхъ имъ лицъ онъ непосредственно въ виду не имѣлъ. Имена ему были нужны для иллюстраціи и для устраненія всякихъ сомнѣній въ томъ, какое явленіе онъ отмѣчалъ.

Въ общемъ государственномъ управленіи у насъ лишь иногда „безотвѣтственныя“ лица занимали отвѣтственные посты. Въ управленіи же арміею и флотомъ назначеніе такихъ лицъ на наиболее важные и наиболее отвѣтственные посты уже давно вошло въ систему, прямо предусмотрѣнную законодательствомъ, которое опредѣляетъ рядъ изъятій изъ общаго порядка организаціи учреждений и направленія дѣлъ на случай, если тотъ или иной постъ будетъ занимать безотвѣтственное лицо. Во главѣ морского вѣдомства цѣлыхъ пятьдесятъ лѣтъ непрерывно стоялъ генераль-адмиралъ, и управленіе вѣдомствомъ распредѣлялось между нимъ и управляющимъ морскимъ министерствомъ, который въ силу этого не несъ на себѣ отвѣтственности за дѣла вѣдомства въ той мѣрѣ, какъ, напр., военный министръ. Въ военномъ вѣдомствѣ столь же давно сложились традиціи, въ силу которыхъ „безотвѣтственныя“ лица стояли и стоятъ во главѣ управленія артиллеріею и инженерною частью. Послѣ довольно продолжительнаго перерыва такое же лицо нѣсколько лѣтъ назадъ было поставлено во главѣ военно-учебныхъ заведеній. Но въ полномъ объемѣ управленіе военнымъ вѣдомствомъ до 1905 г. ввѣрялось лицамъ, отвѣтственнымъ на общемъ основаніи. Съ образованіемъ же совѣта государственной обороны и главнаго управленія генеральнаго штаба, не то подчиненнаго военному министерству, не то неподчиненнаго, фактически надъ министерствомъ оказался совѣтъ обороны и надъ военнымъ министромъ — его предсѣдатель, лицо „безотвѣтственное“.

А. И. Гучковъ совершенно вѣрно говорилъ, что „отношеніе такихъ лицъ къ другимъ инстанціямъ военнаго управленія, отношеніе ихъ къ своимъ военнымъ начальникамъ несомнѣнно носить на себѣ отпечатокъ ихъ общественнаго положенія и связанной съ нимъ фактической безотвѣтственности“. Исключительность общественнаго, точнѣе придворнаго, положенія не можетъ не отражаться на интересахъ дѣла и, вполнѣ независимо отъ личныхъ свойствъ того или другаго „безотвѣтственнаго“ лица, не можетъ не отражаться, въ громадномъ большинствѣ случаевъ, во вредъ интересамъ дѣла. Въ другомъ мѣстѣ той же рѣчи А. И. Гучковъ говорилъ: „Одинъ изъ руководителей нашего морского вѣдомства послѣ нашихъ морскихъ неудачъ выдалъ приказъ. Я не назову вамъ этого адмирала, но по стилю вы узнаете, кого я умѣю въ виду. Онъ писалъ: „мы всѣ виноваты и

только милостью нашего Государя мы носимъ на плечахъ наши виноватыя головы"... Когда всѣ виноваты, тогда никто не виноватъ. Сказать — „всѣ отвѣтственны“, значитъ сказать — „никто не отвѣтствененъ“. Отсутствие яснаго и постояннаго сознанія ни на кого не перелагаемой отвѣтственности за свои дѣйствія составляетъ едва-ли не самое главное зло, которое породилъ у насъ бюрократизмъ. Стремленіе найти для себя щитъ и переложить отвѣтственность—основное свойство нашихъ администраторовъ, и администраторовъ военныхъ ничуть не меньше, чѣмъ гражданскихъ. Недаромъ во время войны сложился афоризмъ, что у нашихъ военныхъ начальниковъ много военнаго мужества и мало—гражданскаго. Чѣмъ ближе непроницаемый щитъ, тѣмъ, конечно, легче за него укрыться. И когда бюрократическая лѣстница гораздо ближе единой ея вершины перерывается поглощающими отвѣтственность безотвѣтственными щитами, то само собою понятно, что создается положеніе, глубоко ненормальное.

Ни условія воспитанія и предшествующей службы, ни нѣрѣдко возрастъ не позволяютъ, чтобы безотвѣтственное лицо занимало отвѣтственный постъ на общихъ, установленныхъ для даннаго поста, основаніяхъ. При каждомъ такомъ лицѣ законъ ставитъ помощника съ особымъ противъ другихъ помощниковъ кругомъ обязанностей и съ предоставленіемъ ему специальныхъ полномочій. Такъ, напр., въ военно-окружныхъ совѣтахъ предсѣдательствуетъ командующій войсками округа, а если должность послѣдняго занимаетъ великій князь, то предсѣдательствуетъ помощникъ его. Въ организаціи главнаго штаба и главныхъ управленій—интендантскаго, военно-медицинскаго, военно-судебнаго и казачьихъ войскъ—нѣтъ никакой двойственности. Во главѣ всѣхъ отраслей каждаго управленія стоитъ его начальникъ, который является непосредственнымъ докладчикомъ дѣлу военному министру. А по управленіямъ, во главѣ которыхъ стоятъ великіе князья, хозяйственныя дѣла обособлены отъ строевыхъ, и доклады военному министру дѣлаются помощниками лишь въ присутствіи начальниковъ. Институтъ помощничества неизбежно связанъ съ исключительностью положенія безотвѣтственныхъ лицъ. Помощники суть фактическіе начальники. Но отвѣтственность съ нихъ на-половину снята.

Чѣмъ уравнивается подобная ненормальность? Нужно ли въ интересахъ дѣла ставить во главѣ нѣкоторыхъ отраслей военнаго управленія безотвѣтственныхъ лицъ? Едва ли есть надобность отвѣчать на эти вопросы. Конечно, и безотвѣтственные лица служатъ въ войскахъ, а потому имѣютъ право на движеніе по служебной лѣстницѣ. Но неужели допустимо принесеніе въ жертву личной справедливости безспорно страдающихъ отъ того интересовъ дѣла? Мы

леки отъ мысли сплошь отрицать служебное усердіе, талантливость и знаніе лицъ, условіями нашего режима поставленныхъ въ исключительное надзаконное положеніе. Пусть снимется съ нихъ безответственность, пусть измѣнятся условія прохожденія ими службы—тогда вопросъ падеть самъ собой. Но пока этого нѣтъ, ненормальность явленія не устранима.

Какъ ни важно, однако, данное явленіе, нельзя преувеличивать его значенія. „Если мы считаемъ себя—такъ закончилъ рѣчь А. И. Гучковъ—вправѣ и обязанными обратиться къ народу, къ стравѣ и требовать отъ нихъ тяжелыхъ средствъ на дѣло обороны, то мы вправѣ обратиться и къ тѣмъ немногимъ лицамъ, отъ которыхъ мы должны потребовать только всего: отказа отъ нѣкоторыхъ земныхъ благъ и нѣкоторыхъ радостей тщеславія, которыя связаны съ тѣми постами, которые они занимаютъ“. Получается выводъ: если армія освободится отъ безответственныхъ лицъ, и если страна раскроетъ кошелекъ на дѣло обороны—то внѣшнее могущество будетъ обезпечено. Бюрократію можно обвинять въ чемъ угодно, но никакъ не въ томъ, что она берегла народныя деньги и скупо ихъ тратила на вооруженныя силы. По свидѣтельству члена Думы А. Ф. Бобянского, бюджетъ военнаго вѣдомства съ 1884 г. по 1906 г. возросъ на 75%. Если же соединить бюджеты военнаго вѣдомства и морского, то процентъ увеличенія будетъ еще больше. Опытъ войны съ полной яркостью показалъ, что не въ маломъ размѣрѣ офицерскаго жалованья, не въ плохомъ состояніи крѣпостей, не въ отсутствіи развитой рельсовой сѣти на Дальнемъ Востокѣ лежитъ главная причина нашей внѣшней слабости,—словомъ не въ томъ, что можно приобрести на деньги. Война вскрыла язву, проникающую въ самыя глубины нашей жизни,—гнилость общественнаго и государственнаго строя, при которомъ никакія техническія улучшенія ни въ одной области не могутъ дать плодотворнаго результата. Война краснорѣчиво засвидѣтельствовала, что внѣшнее могущество намъ надо искать во внутренней мощи.

Признаніе этой истины—признаніе не на словахъ, а на дѣлѣ,—такова основная задача минуты, если даже вслѣдъ за А. И. Гучковымъ исходить изъ убѣжденія, „что въ тотъ историческій моментъ, который мы переживаемъ, вопросы государственной обороны, государственной безопасности должны стоять выше всѣхъ остальныхъ по срѣней важности, а, главное, по неотложности разрѣшенія“. Неотложно необходимо—и въ интересахъ внѣшняго могущества—поднятіе экономическихъ силъ страны. Еще болѣе неотложно необходимо, чтобы мы имѣли сильной воли и съ самостоятельными характерами, объ отсутствіи которыхъ въ арміи, цитируя приказъ А. Н. Куропаткина, говорилъ А. И. Гучковъ,—чтобы такіе люди не выбрасывались за бортъ

государственного корабля, и чтобы его плаваніе не вѣбралось исключительно „покладистымъ посредственностямъ“. Неотложно необходимо, наконецъ, для вѣшняго могущества, чтобы въ русскихъ гражданахъ проснулся патріотизмъ, систематически вытравлявшійся насильственнымъ его насажденіемъ. Неотложныя нужды, слѣдовательно, все тѣ же, которыя были перечислены въ воззваніи и въ программѣ союза 17-го октября. И поскольку они требуютъ напряженія финансовыхъ средствъ страны, постольку ими подсказывается—именно для утвержденія вѣшняго могущества—бережливость въ расходахъ на броненосцы, на крѣпости, на стратегическія дороги и на переѣзную форму одежды солдатъ и офицеровъ.

Практическимъ результатомъ рѣчи А. И. Гучева было ассигнованіе въ засѣданіи 17 іюня новыхъ 92 милліоновъ по смѣтѣ военного министерства. Всѣ сокращенія по бюджету, которыя сдѣлала Дума, опять ушли туда, куда широкой рѣкой лились всегда народныя деньги, и для чего, если и нужны большія траты, то не непосредственныя.

Въ засѣданіи 20 іюня, Дума, голосами правыхъ и октябристовъ, приняла законопроектъ объ образованіи 87 сыскныхъ отдѣленій и объ ассигнованіи на этотъ предметъ 1.141 тыс. рублей. Было бы смѣшно, конечно, оспаривать необходимость полиціи въ государствѣ, вообще, и полиціи, производящей судебный розыскъ и сыскъ, въ частности. Было бы смѣшно также утверждать, что судебно-розыскное дѣло поставлено у насъ удовлетворительно и не требуетъ развитія и упорядоченія. А потому, если бы настоящій законопроектъ былъ принятъ Думою, какъ одинъ изъ обычныхъ актовъ текущаго законодательства въ періодъ обычнаго хода народной жизни, если бы онъ составлялъ органическую часть стоящихъ на очереди реформъ суда и полиціи и преслѣдовалъ организаціонное упорядоченіе сыскаго дѣла, то принятіе его не обращало бы на себя особеннаго вниманія. Но онъ принятъ наканунѣ закрытія сессіи послѣ того, какъ въ теченіе восьми мѣсяцевъ напрасно ждали разсмотрѣнія законопроекты, касающіеся крестьянскаго и рабочаго вопросовъ. Онъ выдѣленъ изъ сотенъ другихъ проектовъ однородной важности, отложенныхъ на осень. Онъ, по свидѣтельству члена думы Пергамента, признанъ самой думскою комиссіей не отвѣчающимъ общимъ предположеніямъ о реформѣ полиціи, при чемъ комиссія предложила его принять на основаніи вѣска оригинальнаго мотива: „не желая очень стѣснять министерство“. И это, вмѣстѣ взятое, въ связи съ сопровождавшими разсмотрѣніе проека страстными преніями, совершенно измѣняетъ отношеніе къ рѣшенію Думы.

Какъ и всегда въ третьей Думѣ, страстность внесли въ пренія представители правыхъ. Они шумѣли, кричали и перебивали ораторовъ оппозиціи. Серьезныхъ же, дѣловыхъ доводовъ въ пользу проекта они не приводили. Между тѣмъ соображенія, которыя были представлены оппозиціей, требовали всѣхъ опроверженій. Гг. Эльтековъ и Пергаментъ подвергли проектъ уничтожающей критикѣ съ технической стороны. Г. Ляхницкій основательно замѣчалъ, что „слово „сыскъ“ до такой степени пропитало всю русскую жизнь, что всѣ законопроекты объ учрежденіи сыскныхъ отдѣленій въ Россіи не доставятъ популярности третьей Государственной Думѣ, если она приметъ этотъ законопроектъ въ томъ видѣ, въ какомъ онъ представленъ“. Гг. Кузнецовъ и Булатъ справедливо указывали, что сыскъ, самъ по себѣ, есть только средство борьбы съ преступностью, но отнюдь не мѣра ея искорененія и даже уменьшенія. Что же отвѣчали на это „присяжные защитники правительства?“ Референтъ „Слова“ пишетъ: „Вечернія рѣчи присяжныхъ защитниковъ правительства во всѣхъ его предпріятіяхъ, праваго Замысловскаго и октябриста Половцева, съ равнымъ усердіемъ отстаивали необходимость не скупиться на сыскъ. И ихъ рѣчи сдержали стыдливый фиговый листочекъ, который такъ усердно набрасывалъ на ассигновку другой октябристъ, Люцъ. Изъ словъ этихъ недавнихъ чиновниковъ, а теперь законодателей, совершенно ясно выступало, что деньги нужны на борьбу съ политическими, а не уголовными преступленіями“.

Но самой характерной для голосовавшихъ въ пользу законопроекта была рѣчь г. Маркова 2-го. „Я не понимаю—говорилъ онъ—логики лѣвыхъ, которую я назвалъ бы разбойнической логикой. Они заявляютъ: пока вы не проведете социальныхъ реформъ, пока не проведете хорошую аграрную реформу, до тѣхъ поръ вы ничего не сдѣлаете вашими сыскными отдѣленіями. Я думаю, что такая разбойническая этика неумѣстна. Конечно, какіе бы сорта полиціи мы ни вводили, мы отъ преступленій не избавимся, пока нашъ кодексъ будетъ такъ мягокъ, такъ мягкосердеченъ, такъ теперь. Полиція будетъ хватать преступниковъ, а судьи будутъ сажать ихъ на 3—4 мѣсяца въ тюрьму, когда имъ по всей справедливости нужно оттяпать голову. Я думаю, что мы должны обратиться къ правительству съ просьбой, дабы было пересмотрѣно уголовное уложеніе, дабы были отменены тѣлесныя наказанія, дабы была сохранена смертная казнь“. Равда, къ одному выводу можно придти на основаніи различныхъ ображеній. Но если къ данному выводу приводятъ и такія соображенія, какія высказывалъ г. Марковъ, то, помимо всего прочаго, дѣется сомнительнымъ самый выводъ. Какъ все просто и ясно въ захъ г. Маркова! Соціально-экономическіе факторы преступности—

разбойническая логика. Кого полиція схватила — тому судъ обязанъ „оттяпать“ голову. Возстановить тѣлесныя наказанія и сохранить смертную казнь съ распространеніемъ ея на дѣянія, нынѣ караемыя тюремнымъ заключеніемъ, — и преступность исчезнетъ. Если проектъ можетъ наводить на такія мысли, то уже одно это показываетъ либо ошибочность, либо противорѣчивость его отпавныхъ положеній.

Правительство предполагаетъ осенью внести въ Думу проектъ реорганизации полиціи съ раздѣленіемъ ея на три вида: полиція безопасности, благосостоянія и судебной. Сыскная часть будетъ отнесена въ томъ проектѣ къ вѣдѣнію судебной полиціи. Осуществленія проекта, однако, нужно ждать не менѣе полутора лѣтъ, а борьба съ преступностью неотложна: статистика свидѣтельствуетъ, что огромный процентъ преступниковъ остается неразысканнымъ. Такова сущность доводовъ, которые развивалъ въ Думѣ товарищъ министра внутреннихъ дѣлъ, г. Макаровъ. Примемъ эти доводы, какъ бесспорные. Но почему временную мѣру — образование 87 сыскныхъ отдѣленій впрямь до общей реорганизации полиціи — не связать съ проектомъ этой общей реорганизации? Почему сразу не поставить сыскныя отдѣленія въ исключительное подчиненіе прокурорскому надзору? Можно ли усматривать причину того, что за послѣднее время обнаружено въ дѣятельности московскаго и кievскаго сыскныхъ отдѣленій, въ недостаткахъ лицъ, завѣдывавшихъ сыскомъ, а не въ системѣ постановки дѣла?

На всѣ эти естественные вопросы Дума отвѣта не получила. И думская оппозиція, а за нею русское общество имѣютъ полное право сказать, что проектъ преслѣдовалъ не цѣль созданія органовъ уголовного сыска, а цѣль усиленія средствъ сыска политическаго, т. е. именно то, въ силу чего его со страстью отстаивали г.г. Замысловскій, Половцевъ и Марковъ. Если же такъ, то принятый Думою законопроектъ вовсе ужъ не столь далекъ отъ его пониманія г. Марковымъ, какъ можетъ казаться съ перваго взгляда. Развѣ практика подавленія революціоннаго движенія не показываетъ, что не одинъ г. Марковъ отрицаетъ социальныя-экономическія факторы преступности? Развѣ та же практика не говоритъ ежедневно, что, по мнѣнію руководителей политикой, нужны казни, казни и казни — за то, за что уложеніе о наказаніяхъ назначаетъ тюрьму?... Опять вспоминается воззваніе союза 17 октября, и невольно напрашивается на сопоставленіе съ нимъ голосованіе октябристовъ 20 іюня...

Засѣданіе закончилось вызовомъ на дуэль г. Марковымъ г. Пермента. Поводъ для дуэли г. Марковъ усмотрѣлъ въ слѣдующихъ словахъ г. Пермента: „я понимаю, почему Марковъ 2-ой стоитъ за сыскныя отдѣленія; это входитъ въ область его дѣятельности, ибо онъ за

мался сыскомъ относительно того, какъ я посѣщаль судебную комиссію. Но если сыскныя отдѣленія будутъ работать такъ, какъ деп. Марковъ, то это будетъ аргументомъ въ пользу той теоріи, которую я защищаю. Я вышелъ изъ судебной комиссіи, заявивши объ этомъ официально". На это г. Марковъ отвѣтилъ, что онъ не видитъ ничего оскорбительнаго въ сравненіи своей дѣятельности съ дѣятельностью агентовъ сыска. „Но — добавилъ онъ — я видѣлъ здѣсь желаніе со стороны члена Гос. Думы Пергамента этими словами меня оскорбить. И я долженъ сказать члену Гос. Думы Пергаменту, что если онъ не извинится, то я ему покажу способъ, какимъ люди моего класса и моихъ понятій умѣютъ требовать уваженія къ себѣ". Такимъ образомъ, вызовъ былъ сдѣланъ съ думской трибуны. И предсѣдательствовавшій (бар. Мейендорфъ) ничѣмъ на слова г. Маркова не реагировалъ. На слѣдующій день только, когда уже вызовъ былъ принятъ, онъ повинился передъ Думой, что „не сумѣлъ во-время остановить ходъ преній“, и заявилъ, что потому несетъ „на себѣ часть отвѣтственности за возможные послѣдствія“.

Мы принадлежимъ къ рѣшительнымъ противникамъ дуэлей вообще и, въ особенности, дуэлей парламентскихъ. Мы считаемъ, что создавшійся конфликтъ отнюдь не соответствовалъ ни по характеру, ни по остротѣ, вровой развязкѣ. Для насъ существенно важно, что г. Марковъ публичнымъ вызовомъ съ трибуны явно нарушилъ выработанныя общаемя правила защиты своей чести. Мы находимся цѣликомъ подъ впечатлѣніемъ дуэли графа Мантейфеля съ княземъ Юсуповымъ. Не все ли равно, что вызвало ихъ поединокъ? Что бы ни вызвало — все меркнетъ передъ смертью полнаго жизни человѣка, передъ горемъ матери, отца, близкихъ... И, все-таки, мы никогда не рискнули бы осудить г. Пергамента за принятіе вызова. Онъ сдѣлалъ все, что могъ. Онъ заявилъ секундантамъ г. Маркова, что не имѣлъ намѣренія его оскорбить, и категорически отказался отъ какихъ бы то ни было дальнѣйшихъ шаговъ въ цѣляхъ мирнаго разрѣшенія вопроса. Какъ это ни трагично, обстоятельства не допускали для него возможности поступить иначе. Въ Думѣ создалось какое-то бретерство со стороны правыхъ, — бретерство въ прямомъ разчетѣ на отказъ отъ дуэли. Они бранятся, инсинуируютъ, и чуть что — требуютъ къ барьеру, и отказъ поминутно подчеркиваютъ оскорбительными: „ага! — испугался“. Только рѣшительнымъ отпоромъ можно положить этому конецъ. Если бы г. Пергаментъ не принялъ вызова, его положеніе въ мѣ стало бы невыносимымъ. Независимо отъ политическихъ убѣжденій г. Пергамента, нельзя забывать, что онъ по рожденію — еврей.

Законопроектъ о депутатскомъ жалованьи, отмѣченный выше, во „Внутреннемъ Обзорѣннѣ“, обсуждался и принятъ въ засѣданіи Думы 21-го іюня. Обстоятельства его принятія заслуживаютъ вниманія.

Въ краткомъ докладѣ докладчикъ, г. Люцъ, изложилъ внесенныя комиссіей измѣненія въ предположенія совѣта министровъ. Главное измѣненіе заключается въ томъ, что борьба съ непосѣщеніемъ членами Думы ея собраній, въ смыслѣ вычетовъ изъ ихъ содержанія, опредѣляется не закономъ, а наказомъ Государственной Думы. Открылись пренія. Г. Кузнецовъ отъ лица социаль-демократической фракціи заявилъ, что фракція будетъ голосовать противъ законопроекта, имѣя въ виду, „что, внося такой законопроектъ, бюрократическое правительство какъ бы подводитъ итогъ дѣятельности третьей Думы, не разрѣшившей до сихъ поръ ни одного вопроса социаль-политической жизни широкихъ массъ, производить оцѣнку ея дѣятельности и выражаетъ ей свое довѣріе и, прикрываясь этой Думой, стремится вернуться къ до-октябрьскимъ временамъ“. Еще болѣе сильно бьющее по дѣятельности третьей Думы принципиальное заявленіе сдѣлалъ отъ имени трудовой группы г. Булатъ. „Въ то время,—сказалъ онъ,—когда Государственная Дума ничего не сдѣлала для улучшенія положенія трудового народа, не облегчила быта рабочихъ и крестьянъ, не дала имъ земли, не дала воли, не прекратила въ странѣ повседневныхъ смертныхъ казней, не отмѣнила исключительныхъ положеній, не обуздала многочисленныхъ, не считающихся съ закономъ, правительственныхъ агентовъ, не провела никакихъ цѣлесообразныхъ реформъ, могущихъ умиротворить страну; въ то время, когда болѣе 200 бывшихъ народныхъ представителей, которыми гордилось и гордится громадное большинство населенія, томатся по тюрьмамъ и на вагонѣ—трудовая группа, не касаясь вопроса о томъ, что назначеніе членами Государственной Думы самимъ себѣ содержанія изъ народныхъ средствъ представляется неудобнымъ, не считаетъ возможнымъ входить въ разсмотрѣніе существа этого законопроекта и будетъ голосовать противъ него“.

Далѣе говорили правые: кн. Барятинскій, предостерегавшій членовъ Думы отъ опасности обратиться въ „людей двадцатаго числа“, и крестьянинъ Дворяниновъ, задававшійся вопросомъ: „если мы три съ половиной мѣсяца будемъ, ничего не дѣлая, получать жалованье, что скажетъ страна?“ Болѣе желающихъ принять участіе въ преніяхъ не оказалось. Г. Люцъ (октябристъ) вошелъ на кафедру и вѣдущимъ неприличнымъ приѣмомъ парировалъ слова возражавшій противъ проекта: „Что касается вознагражденія, то получать — право, а не обязанность. Я не имѣю права предполагать, что отивники законопроекта неискренни, и думаю, что они будутъ“

довательны и въ силу закона не воспользуются этимъ правомъ“. Затѣмъ проектъ былъ подвергнутъ голосованію, и безъ перерыва даже засѣданія Дума его приняла въ *три* чтеніяхъ большинствомъ всѣхъ противъ социаль-демократовъ и трудовиковъ.

Хоть бы для вида соблюли порядокъ отдѣленія по времени перваго чтенія отъ втораго и втораго отъ третьяго! Дума перваго созыва, въ отступленіе отъ общаго порядка, не раскодясь, приняла въ трехъ чтеніяхъ законопроектъ объ отмиѣнѣ смертной казни. Дума втораго созыва также поступила съ законопроектомъ объ отмиѣнѣ военно-полевыхъ судовъ. А Дума третьяго созыва нарушила обычный порядокъ для ускоренія проведенія закона объ увеличеніи депутатскаго жалованья!.. Дѣйствительно: что скажетъ страна? Развѣ она не будетъ вправѣ сказать: имъ предстояло развѣхаться на три съ половиной мѣсяца, они боялись, что во время этого щедрого отдыха не будутъ получать денегъ?!... А внесенный законопроектъ объ отмиѣнѣ смертной казни — они отложили на осень. Разсмотрѣніе поступившаго восемь мѣсяцевъ назадъ закона 9 ноября 1906 г., грозящаго перевернуть весь строй крестьянской жизни и самимъ правительствомъ признаннаго подлежащимъ коренной переработкѣ — тоже...

Ни звука протеста не вызвали въ Думѣ слова г. Люца. Неужели съ нимъ согласны голосовавшіе за проектъ мирнообновленцы и кадеты? Неужели они не видѣли, какъ грубо выступалъ въ его словахъ принципъ: „не хочешь денегъ — не бери, а другимъ — не мѣшай“? Почему они не объявили, какъ относятся къ заявленію г. Булата? Г. Булатъ вспомнилъ о сидящихъ по тюрьмамъ двухстахъ бывшихъ представителей народа, среди которыхъ половина — цвѣтъ и гордость партіи народной свободы. Представители партіи въ Думѣ на это промолчали...

Кстати о кадетахъ. Въ № 148 „Рѣчи“ напечатана слѣдующая замѣтка: „Законопроектъ объ отмиѣнѣ смертной казни внесенъ по инициативѣ трудовиковъ и с.-д. и представляетъ собою почти полное воспроизведеніе законопроекта, внесеннаго трудовиками во вторую Думу. К.-д. въ составленіи его участія не принимали, а лишь присоединили къ нему свои подписи“. Что значить и чѣмъ вызвана эта замѣтка? Если кадеты считаютъ проектъ неудовлетворительнымъ и потому снимаютъ съ себя авторскую отвѣтственность, то зачѣмъ они его подписали? И почему они, въ такомъ случаѣ, не составили другого проекта — по ихъ мнѣнію, технически удовлетворительнаго? Зачѣмъ надобилось имъ и въ этомъ вопросѣ отмежевываться отъ „неотвѣтственной“ оппозиціи?...

Когда въ прошломъ мѣсяцѣ мы писали о дѣйствіяхъ ген. Думбадзе и о его объясненіяхъ, то, естественно, предполагали, что теперь намъ придется говорить о преніяхъ по запросу и, главнымъ образомъ, объ отвѣтѣ, который дастъ П. А. Столыпинъ. Въмѣсто того приходится говорить о выговорѣ по адресу Думы—другого слова не подобрать,—который былъ напечатанъ въ „Россіи“. Дума не нашла времени для обсужденія запроса, и такъ какъ на-дняхъ предстоить конецъ сессіи, то или запросъ вовсе обсуждаться не будетъ, или будетъ обсуждаться, во всякомъ случаѣ, очень не скоро.

Вполнѣ понятно, что объясненія генер. Думбадзе, по содержанию и по образному, выражаясь уклончиво, слогу, не могли встрѣтить сочувствія въ министерствѣ. Понятно также, что министерство поторопилось объявить черезъ оффиціозъ, что „какъ это, такъ и подобныя ему заявленія ни въ чемъ не могутъ предрѣшать тѣхъ объясненій, которыя въ случаѣ принятія запроса Государственной Думой будутъ сообщены отъ имени правительства“. Но какъ, казалось бы, всего проще было отнести министерству къ объясненіямъ ген. Думбадзе? Какъ къ документу, который онъ не имѣлъ права доводить (посредственно или непосредственно—все равно) до свѣдѣнія думской комиссіи, или какъ къ документу, который думская комиссія не должна была разсматривать?

Товарищъ министра внутреннихъ дѣлъ, г. Макаровъ, заявлялъ въ Думѣ, что предсѣдателью совѣта министровъ принадлежитъ полнота власти въ отношеніи всѣхъ безъ изыятія мѣстныхъ администраторовъ. Слѣдовательно, главное, что должно было бы останóвить вниманіе П. А. Столыпина въ фактѣ разсмотрѣнія думской комиссіей объясненій ген. Думбадзе,—это служебный проступокъ его подчиненнаго. И за проступкомъ должна была бы слѣдовать мѣра воздѣйствія на виновнаго. Министерство же, судя по тексту сообщенія „Россіи“, обратило особое вниманіе на другую сторону вопроса. Оно направило признаніе, „что генераль-маіоръ Думбадзе не имѣлъ права сообщать комиссіи свои объясненія по предполагаемому запросу“, не противъ автора объясненій, а противъ думской комиссіи. А еще рассказывали, что запросомъ о ген. Думбадзе большинство „послушной“ Думы стремилось оказать содѣйствіе министерству въ его будто бы неосуществившемся однажды намѣреніи уволить ялтинскаго главнокомандующаго!..

Были ли какія-либо сношенія между министерствомъ и ген. Думбадзе по поводу его объясненій, мы не знаемъ. Если были, то остались безъ результата. Тому доказательство—телеграмма изъ Симферополя отъ 21 іюня: „Южныя Вѣдомости“ сообщаютъ, что ген. Думбадзе выслалъ изъ Ялты свидѣтелей защиты со стороны доктора Са

тыковского, оправданнаго судебной палатой, и въ томъ числѣ союзниковъ: завѣдующаго чайной союза Даминова и инженера Пискунова. По названному дѣлу не явилось въ судъ много свидѣтелей, приславшихъ свидѣтельства о болѣзни*. Да, по-неволѣ приплещь свидѣтельство о болѣзни!..

22 іюня открылся первый всероссійскій съѣздъ представителей печати. По условіямъ журнальной работы, мы должны закончить настоящую хронику въ тѣ дни, когда съѣздъ только приступилъ къ занятіямъ. А потому мы будемъ говорить о съѣздѣ въ слѣдующей хроникѣ.

Трудно вознаградимую утрату понесло русское искусство въ лицѣ Н. А. Римскаго-Корсакова. Все, что писали по поводу его смерти представители музыкальнаго міра, было проникнуто искренней сердечной теплотой и показывало, какую крупную величину представлялъ покойный. Не чуждъ онъ былъ и для широкихъ слоевъ общества. У многихъ еще остался въ памяти, навѣрное, взрывъ общественнаго негодованія по поводу его увольненія изъ петербургской консерваторіи. Подробности этого эпизода напомнимъ со словъ ученика покойнаго, А. К. Глазунова („Рѣчь“, № 145):

„Наиболѣе крупнымъ эпизодомъ за послѣдніе годы его жизни было увольненіе изъ консерваторіи. Нужно замѣтить, что волненія въ учебныхъ заведеніяхъ, выразившіяся въ студенческихъ забастовкахъ, сильно его огорчали. Еще до забастовокъ Н. А. неоднократно высказывался въ совѣтѣ за измѣненіе устава консерваторіи и изыатіе ея изъ вѣдѣнія бюрократической дирекціи. Онъ сильно страдалъ при мысли, что забастовки обрекаютъ его на бездѣтельность. Тѣмъ не менѣе, онъ сознавалъ, что въ то время слѣдовало уступить молодежи. 17 марта 1905 года, когда консерваторія была оцѣплена полиціей, Н. А. вмѣстѣ со мной подѣлалъ къ консерваторіи и пытался убѣдить собравшихся передъ зданіемъ учениковъ воздержаться отъ демонстраціи. Выслушавъ этотъ совѣтъ, ученики сказали, что Н. А. и мнѣ слѣдуетъ уѣхать, ибо отъ нашего дальнѣйшаго пребыванія могутъ произойти для насъ неприятели. Дѣйствительно, они оказались правы. Переговоры Н. А. съ учениками были, вѣроятно, кѣмъ слѣдуетъ замѣчены изъ оконъ консерваторіи, что и послужило уликой выставленныхъ противъ него обвиненій въ томъ, будто онъ поощрялъ учащихъ къ забастовкѣ. этому доносу дирекція музыкальнаго общества, повидимому, вѣслась съ довѣріемъ и на ближайшемъ же засѣданіи постановила выгнать Н. А. изъ консерваторіи. На другой день послѣ совѣта мнѣ

предстояло сообщить Н. А. о постановленіи дирекціи. Я долго не рѣшался это сдѣлать. Наконецъ, я ему все рассказалъ. Онъ отнесся къ извѣстію объ увольненіи наружно спокойно, даже съ улыбкой, но я видѣлъ, какъ это ему тяжело. Послѣдовавшій сейчасъ же единодушный взрывъ сочувствія общества ободрилъ Н. А. и утѣшилъ его. Онъ самъ говорилъ мнѣ, что это его вполне удовлетворило“.

Въ іюньской и настоящей книгахъ нашего журнала помѣщена послѣдняя работа скончавшагося С. И. Васюкова: „Въ стѣняхъ Сѣвернаго Кавказа“. Съ 1895 года были напечатаны у насъ: „Неудачный драматургъ“, рассказъ (1895, декабрь); „Мѣсяць въ Гельсингфорсѣ“ (1897, октябрь); „Русская община на Кавказско-Черноморскомъ побережьѣ“ (1905, декабрь), и „Московскій американецъ“ (1907, октябрь). Кромѣ „Вѣстника Европы“, онъ писалъ въ „Историческомъ Вѣстникѣ“, въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“ и въ давніе годы — въ „Русскомъ Бурьерѣ“. С. И. принадлежалъ къ писателямъ-народникамъ. Въ молодости за попытки провести въ жизнь идеалы народничества ему пришлось расплатиться ссылкой. Нѣкоторыя его работы вышли отдѣльнымъ изданіемъ, напр. „Край гордой красоты“—описание черноморскаго побережья.

Издатель и отвѣтственный редакторъ: М. Стасюлевичъ.

ИЗВѢЩЕНІЯ

I. ОТЬ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО КОМИТЕТА ПО УСТРОЙСТВУ ВЪ МОСКВѢ МУЗЕЯ 1812 ГОДА.

По мысли Императора Александра I-го воздвигнуть въ Москвѣ храмъ Христа Спасителя въ память двѣнадцатаго года, но до сего времени не осуществлена мысль и пожеланіе того же Императора воздвигнуть другой памятникъ, имѣющій вещественную связь съ событіями Отечественной войны.

Нынѣ съ Высочайшаго Его Императорскаго Величества соизволенія въ Москвѣ учрежденъ Комитетъ по устройству Музея 1812 года. Музей этотъ будетъ посвященъ памяти Отечественной войны. Все относящееся до участниковъ и свидѣтелей этой войны, все относящееся до пребыванія французской армии и все связанное съ могучимъ подъемомъ народныхъ силъ въ эту знаменательную въ жизни Россіи годину, все это должно найти себѣ мѣсто въ Москвѣ, въ стѣнахъ новаго хранилища народной славы. Предки наши принесли въ 1812 году безпримѣрныя жертвы для блага и спасенія Родины. Наши жертвы должны явиться данью уваженія памяти ихъ великихъ дѣяній для увѣковѣченія славнѣйшихъ событій Русской Исторіи. Къ близящемуся столѣтію двѣнадцатаго года желательно видѣть Музей оконченнымъ, заполненнымъ и открытымъ.

Помощь нужна всяческая. Нужны и деньги прежде всего, дорога всякая копѣйка добротная, но и нужна помощь въ собираніи всякихъ вещей, книгъ, записокъ участниковъ войны, картинъ во всѣхъ ихъ видахъ и всего имѣвшаго касательство до Отечественной войны. Если у кого лично ничего не найдется, то онъ, можетъ быть, указать Комитету, гдѣ у кого что сохранилось.

Комитетъ покорнѣе проситъ всѣ послышки и сообщенія направлять непосредственно по указанному ниже адресу; туда же просить оныя направлять и денежныя пожертвованія. Для удобства жертвователей деньги могутъ вноситься и во всѣ мѣстныя казначейства, отдѣленія Государственнаго банка и Государственныя сберегательныя кассы, на имя Комитета.

Свѣдѣнія о пожертвованіяхъ будутъ публиковаться Комитетомъ ежемесячно.

Комитетъ помѣщается: Москва, Чернышевскій переулокъ, домъ Мовскаго Генераль-Губернатора.

Предсѣдатель Комитета: генераль-отъ-инфантеріи Владиміръ Гавриичъ Глазовъ.

Перечень предметовъ, особо желательныхъ для Музея 1812 года въ Москвѣ.

- 1) Портреты героевъ, военачальниковъ и дѣятелей 1812 года русскихъ и иностранныхъ.
 - 2) Бюсты, статуи отдѣльныхъ лицъ, боевыя группы и другія скульптурныя произведенія.
 - 3) Военныя карты и планы полей сраженія и похода.
 - 4) Картины: масляныя, акварели, рисунки, эстампы, гравюры, литографіи сраженій и отдѣльныхъ эпизодовъ, а также виды мѣстности.
 - 5) Манекены воиновъ двѣнадцатаго года русскихъ и иностранныхъ.
 - 6) Боевое оружіе и снаряды.
 - 7) Трофеи разнаго рода и модели памятниковъ.
 - 8) Вещественные памятники: ордена, медали, мундиры, предметы снаряженія, деньги и другія предметы.
 - 9) Различныя воззванія, афиши и объявленія. Ассигнаціи Наполеона.
 - 10) Рукописи, мемуары, письма, документы и записки, принадлежащія участникамъ эпохи.
 - 11) Книги, брошюры, газеты русскія и иностранныя, атласы и вообще печатныя изданія эпохи.
 - 12) Каррикатуры, лубочныя изданія, игральныя карты, посуда, стекло, фарфоръ съ изображеніями лицъ 1812 года и прочіе предметы, не вошедшіе въ предшествующіе пункты, но имѣющіе отношеніе къ эпохѣ приснопамятнаго года.
- Въ Музей также принимаются предметы, относящіеся къ годамъ 1811, 1813 и 1814 и имѣющіе непосредственную связь съ Отечественной войной 1812 года.

II.—Положеніе о преміи имени почетнаго академика Императорской Академіи Наукъ Анатолия Ѳеодоровича Кони.

§ 1. Въ память исполнившагося 40-лѣтія государственной и общественной дѣятельности почетнаго члена и почетнаго академика Императорской Академіи Наукъ, сенатора, тайнаго совѣтника Анатолия Ѳеодоровича Кони однимъ изъ почитателей и бывшихъ сослуживцевъ его по министерству юстиціи внесенъ въ мартѣ мѣсяцѣ 1906 года въ Академію Наукъ капиталъ, для выдачи премій за сочиненія о жизни дѣятельности лицъ, бывшихъ сотрудниками Императора Александра въ его великихъ реформахъ или способствовавшихъ ихъ охраненію правильному осуществленію и практическому развитію.

§ 2. Капиталъ этотъ заключается въ свидѣтельствахъ 4%-ной государственной ренты, на номинальную сумму три тысячи (3000) рубл

съ купонами съ іюня 1906 года. Капиталь этотъ остается навсегда неприкосновеннымъ и возрастаетъ вслѣдствіе могущихъ быть причисленными къ нему части процентовъ, а также невыданныхъ премій.

§ 3. Премія имени Анатолія Ѳеодоровича Кони состоитъ на первое время изъ пятьсотъ (500) рублей и присуждается Академію Наукъ чрезъ каждое пятилѣтіе изъ суммы процентовъ послѣднихъ пяти лѣтъ.

§ 4. Академія Наукъ присуждаетъ преміи за сочиненія, представленныя самими авторами ихъ; независимо отъ сего, она имѣетъ право присуждать преміи и за такія сочиненія, которыя не были представлены самими авторами къ соисканію. За сочиненіе, признанное вполне удовлетворительнымъ, Академія Наукъ присуждаетъ полную премію въ помянутомъ размѣрѣ; если же такого сочиненія не окажется, то за сочиненія, въ значительной степени отличающіяся учеными достоинствами, могутъ быть присуждаемы половинныя преміи, въ двѣсти-пятьдесятъ (250) рублей каждая.

§ 5. Не присужденныя или почему-либо не выданныя преміи распределяются слѣдующимъ образомъ: а) половина ихъ причисляется къ основному капиталу, по мѣрѣ увеличенія котораго отъ причисленія къ нему части процентовъ и половины не присужденныхъ или не выданныхъ премій Академія Наукъ можетъ увеличить размѣръ и число премій, при чемъ въ послѣднемъ случаѣ она имѣетъ право для соисканія такихъ дополнительныхъ премій объявлять особыя задачи по исторіи реформъ царствованія императора Александра II, и б) вторая половина не присужденныхъ или не выданныхъ премій обращается въ особый, имени А. Ѳ. Кони, неприкосновенный капиталъ, и проценты съ этого капитала, по мѣрѣ увеличенія его, предоставляется расходовать, по постановленію Историко-Филологическаго Отдѣленія, на ученія предпріятія по изученію эпохи реформъ императора Александра II.

§ 6. Къ соисканію премій допускаются только сочиненія на русскомъ языкѣ, появившіяся въ печатномъ видѣ въ предшествовавшее конкурсу пятилѣтіе; сочиненія, уже премированныя Академію Наукъ или иными учеными учрежденіями, на конкурсъ не принимаются.

§ 7. Дѣйствительные члены и почетные академики Академіи Наукъ не имѣютъ права участвовать въ соисканіи премій.

§ 8. Право на полученіе премій принадлежитъ только авторамъ или ихъ наслѣдникамъ, но отнюдь не издателямъ премированныхъ сочиненій.

§ 9. Преміи присуждаетъ Историко-Филологическое Отдѣленіе Академіи Наукъ, которому предоставляется право приглашать къ разсмотрѣнію представленныхъ на конкурсъ сочиненій постороннихъ лицъ.

§ 10. Назначенныя на конкурсъ сочиненія доставляются въ указанное въ § 9 Отдѣленіе не позже, какъ въ теченіе марта мѣсяца конкурснаго года.

§ 11. Конкурсъ на преміи Анатолія Ѳеодоровича Кони будетъ происходить въ 1911, 1916, 1921, 1926 гг. и т. д. За три мѣсяца наступленія конкурснаго пятилѣтія Историко-Филологическое Отдѣленіе объявляетъ въ газетахъ о предстоящемъ соисканіи премій.

§ 12. Отчетъ о присужденіи премій и объ ученыхъ предпріятіяхъ Академіи Наукъ на проценты съ неприкосновеннаго капитала имени

А. О. Кони (см. § 5) читается въ торжественномъ засѣданіи Академіи Наукъ 29 декабря конкурснаго года.

§ 13. Постороннимъ рецензентамъ, въ знакъ признательности Академіи, могутъ быть выдаваемы медали, на изготовленіе которыхъ употребляются проценты, оставшіеся отъ суммы, назначенной въ преміи.

§ 14. Право дѣлать измѣненія въ настоящихъ правилахъ представляется одной лишь Императорской Академіи Наукъ. Объ измѣненіяхъ въ настоящихъ правилахъ сообщается, лишь для свѣдѣнія, учредителю преміи.

III.—Отъ Учебно-воспитательнаго Комитета Педагогическаго Музея Военно-учебныхъ заведеній.

Симъ объявляется, что по конкурсу 1907 года премія имени Константина Дмитріевича Ушинскаго присуждена не была. Слѣдующій конкурсъ назначенъ въ 1910 году, на слѣдующихъ главныхъ условіяхъ:

1) Конкурсу подлежатъ сочиненія какъ рукописныя, представленныя для этой цѣли въ Педагогическій Музей, такъ и печатныя, вышедшія въ свѣтъ не ранѣе 1907 г.

2) Рукописи, представляемыя на конкурсъ въ 1910 г., доставляются въ Педагогическій Музей не позже 1-го мая того же года. Онѣ должны быть написаны на русскомъ языкѣ и четкимъ почеркомъ. Въ случаѣ желанія автора скрыть свою фамилію, дозволяется снабжать рукописи девизомъ и прилагать особый запечатанный пакетъ съ тѣмъ же девизомъ и со вложеніемъ въ него записки съ обозначеніемъ фамиліи автора и его мѣстожительства.

Примѣчаніе: Представленныя на конкурсъ рукописи могутъ быть взяты обратно или самими авторами, или по довѣренности, надлежащимъ образомъ засвидѣтельствованной.

3) Печатныя сочиненія рассматриваются или по просьбѣ автора, или по указанію кого-либо изъ членовъ учебно-воспитательнаго комитета.

Примѣчаніе: Время представленія ихъ авторами (не менѣе, какъ въ пяти экземплярахъ) то же, что и для рукописей.

4) Премія будетъ присуждена ко дню годовщины смерти К. Д. Ушинскаго, 21-го декабря 1901 года, за выдающійся по своимъ достоинствамъ педагогическій трудъ.

5) Размѣръ преміи составляетъ 900 рублей; премія эта можетъ быть раздѣлена на двѣ: въ 600 рубл. и 300 рубл.

IV.—Отъ Разряда изящной словесности при Императорской Академіи Наукъ.

Комиссія по изданію „Академической Библіотеки русскихъ писателей“, образованная при Разрядѣ изящной словесности Императорской Академіи Наукъ, приступая нынѣ къ изданію полныхъ собраній сочиненій *Е. А. Баратынскаго, Д. В. Веневитинова, А. С. Грибоедова, А. В. Кольцова и М. Ю. Лермонтова*, имѣетъ честь обратиться ко всѣмъ правительственнымъ и общественнымъ учреждениямъ, а равно и къ частнымъ лицамъ, располагающимъ рукописными матеріалами, касающимися поименованныхъ писателей, съ просьбой сообщить Разряду изящной словесности возможно подробныя свѣдѣнія объ имѣющихся у нихъ матеріалахъ (подлинникахъ, фотографическихъ снимкахъ или рукописныхъ спискахъ произведеній и писемъ означенныхъ писателей, писемъ къ нимъ; официальныхъ документахъ, прямо или косвенно ихъ касающихся; дневникахъ и запискахъ; генеалогическихъ данныхъ; портретахъ и т. д.). При этомъ Комиссія покорнѣйше проситъ не отказать въ сообщеніи даже въ тѣхъ случаяхъ, если эти матеріалы имѣютъ лишь косвенное отношеніе къ упомянутымъ писателямъ и даже если эти матеріалы уже стали достояніемъ печати, были уже использованы издателями и изслѣдователями.

Всѣ сообщенія, а равно и матеріалы Комиссія проситъ направлять по адресу: С.-Петербургъ. Въ Императорскую Академію Наукъ, въ Разрядъ изящной словесности.

V.—Отъ климатической колоніи для слабыхъ и болѣзненныхъ дѣтей въ г. Ялтѣ.

По примѣру истекшаго 1907 года, „Общество дѣтской климатической колоніи въ г. Ялтѣ“ открываетъ и въ настоящемъ году свои дѣйствія на лѣтние и осенние мѣсяцы.

Колонія, предназначенная для слабыхъ и болѣзненныхъ дѣтей обоого пола, въ возрастѣ отъ 6 до 15 лѣтъ, соединяетъ въ себѣ всѣ удобства школьной лѣтней дачи и дѣтской санаторіи для слаыхъ и выздоравливающихъ. Колонія будетъ функционировать съ 1-го я по 1-е октября въ окрестностяхъ Ялты, на берегу моря. Предвдуя благотворительныя цѣли, О-во предоставляетъ дѣтямъ, за вѣдительно низкую плату, 45 руб. въ мѣсяцъ, полное содержаніе врачебный и воспитательный уходъ въ обстановкѣ, приближающія къ семейной. Особенное вниманіе обращено на усиленное пи-

таніе и на физическое развитіе дѣтей. Въ гигиено-діететическій режимъ входятъ морскія и солнечныя ванны, купаніе, врачебная гимнастика, игры и прогулки подъ руководствомъ опытнаго воспитательскаго персонала. Съ разрѣшенія врачей допускаются и учебныя занятія. Адресъ: Предсѣдательницѣ Правленія, Ялта, Мужская гимназія. Туда же обращаться за правилами приѣма.

ПОПРАВКА.

Въ іюньской книгѣ, по недосмотру переписчика, въ рукописи оказалась описка, прошедшая незамѣченною въ корректурѣ, а именно: на стр. 603, строка 20 снизу, напечатано — *инженеръ*, а слѣдуетъ — *мировой судья*.

БИБЛОГРАФИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ.

Гарякѣ Писковъ. Поэмае собраніе сочиненій.

Пер. съ датско-норвежскаго А. и П. Голь-
мана. Т. I. М. Изд. Свирьунта. Стр. 694.

Первый томъ, изданный послѣднимъ, из-
дается также предпринятый Н. Г. и А. Р.
Лансомъ переводомъ всего Ибсена. Помѣщенны
въ этомъ томѣ обстоятельныя статьи о жизни и
временнѣйшхъ Ибсена составлены во лучшихъ
исследованияхъ и норвежскихъ источникахъ, воспользо-
ваны русскою публикѣ (главнымъ образомъ, по
стихѣ Г. Исгера). Это первый серьезный биографи-
ческий трудъ на русскомъ языкѣ, — имъ найдены
также дѣльные матеріалы для покаяній личност-
наго и творчества Ибсена. Кроме биографіи, въ
первомъ томѣ помѣщены стихотворенія Ибсена
и его личная драма „Катина“. Въ био-
графіи приложена библиографическая списокъ
стихотвореній и книга объ Ибсенѣ на русскомъ и
английскихъ языкахъ.

В. Б. Глазискій. Борьба за конституцію. 1812—

1861 гг. Историческіе очерки съ портре-
тами и иллюстраціями. Сиб. 908. Изд.
И. Карбасянскаго. Стр. 619. Ц. 3 р. 50 к.

Въ рядѣ обстоятельныхъ очерковъ, соста-
вленныхъ на основаніи дѣйствительныхъ печатныхъ
источниковъ и историческихъ исследованийъ,
авторъ излагаетъ послѣдательный ходъ осно-
вительныхъ, революціонныхъ и преобразова-
тельныхъ движеній въ Россіи, начиная съ эпохи
1793 г. предшествовавшихъ избранію на царство
Михаила Романова, и кончая крестьянской ре-
волюціей 1861 г. Многіе важные эпизоды нашей
исторіи, долго остававшіеся въ области туманнаго
забытія, подробно рассказаны въ книгѣ г. Глазис-
каго, и для широкаго круга русскою чита-
ющей публики открываются возможности ознаком-
иться съ такими фактами, какъ убійство Пе-
тра III и Павла I, заговор декабристовъ, зло
вѣрствленіе и т. п., по документальнымъ источ-
никамъ, но арбитра въ различныя заграничныя
изданія и къ спеціальной исторической ли-
тературѣ. Въ популярномъ изложеніи г. Глазис-
каго съ достаточною полнотой раскрываются
всѣ читателемъ картины нашей заключенной
исторіи, исторіи, освѣщенная совокуп-
ностью цитатами изъ историческихъ сочи-
неній и статей различныхъ авторовъ. Отдѣ-
льные главы книги были въ свое время выече-
таны въ „Историческомъ Вѣстникѣ“ и появля-
ются теперь въ значительно дополненномъ и
переработанномъ видѣ.

Г. Э. Глазискій. Итоги. 1892—1907. Киевъ,
908. Стр. 489. Ц. 2 р. 50 к.

Въ этомъ интересномъ и весьма содержа-
тельнымъ сборникѣ помѣщены очерки, статьи,
эссеистики и эссеистики одного изъ самыхъ
выдающихся и оригинальныхъ нашихъ публици-
стовъ, знаменитавшаго себя быльшю популярностью
въ послѣдніе годы въ качествѣ сотрудничателя
„Гласна“, подъ псевдонимомъ „Гамма“. Разно-
образный матеріалъ отъ „итоговъ“ распро-
страненъ по интересамъ отдѣлки; въ первомъ, за-
ключившемъ въ себя историко-политическіе
очерки и статьи, главное мѣсто отведено ин-
тереснѣйшимъ восточной войнѣ 1877—78 гг. и по-
срѣдствомъ критическому обзору „рокового инти-

дѣтъ“ 1878—1883 гг.; второй отдѣлъ посвя-
щенъ исторіи нашей печати, третій—основани-
тельнымъ личнымъ и общественно-литературнымъ,
а въ четвертомъ собраніи двиторомъ какъ дан-
но въ характерныхъ фельетонахъ, въ томъ числѣ
и замѣтны читателямъ того времени этюдъ о
дѣлѣ Вѣры Засулчичъ. Очень много въ старшихъ
статьяхъ Г. Э. Глазискаго сохранило все свое
значение и для настоящей эпохи; въ нихъ факти-
чески воспроизведены содержанія любопыт-
ныя черты, характерности и отъчасти зна-
менныя, историчныя, несомнѣнно, воспроизводитъ бу-
дущіе историчныя нашего недавняго прошлаго.
Подъ сузившимъ названіемъ „итоговъ“ мы нахо-
димъ живое и богатое содержаніе, которое
обещаетъ этой книгѣ прочный успѣхъ въ мас-
штабѣ читающей публики.

Григорій Владиміръ. Государственный и
экономическій строй современной Японіи.
Сиб. 908. Стр. 314. Ц. 1 р. 50 к.

Авторъ этого труда, какъ видно изъ пред-
словія, прожилъ въ Японіи года въ Иосию и
имѣлъ возможность изучить съ близости и го-
сударственный строй не только во действитель-
ныхъ оффиціальнымъ источникамъ, но и по не-
посредственнымъ наблюденіямъ. Постановилъ себя
дѣлать для читателей японскій безпристрастный
дѣловой отчетъ о современномъ состояніи Япо-
нской имперіи, г. Владиміръ прибѣгаетъ къ своей
работѣ элемента личнаго впечатлѣнія и руко-
водствуется почти исключительно беспристрастны
фактическими матеріалами, текстами и цифрами,
особенно дѣльными въ дѣлахъ важности отъ-
дѣлки—относительно военной организаціи и фи-
нансовъ. Наибольше съдѣланный обзоромъ авторомъ
объ экономическомъ и финансовомъ дѣлахъ
Японіи, и эта часть книги, вмѣстѣ съ главами
объ арміи и флотѣ, должна образовать на себя
вниманіе всѣхъ интересующихся современнымъ
состояніемъ новой восточной державы Дальняго
Востока.

Генералъ-майоръ Николай-Александръ Ма-
кедонскій реформы и русско-английскіе
проекты. Сиб. 908. Стр. 183. Ц. 1 р.

По живому автору, македонскій вопросъ,
различно связанный съ общими вопросами о
судьбѣ балканскихъ народовъ и самою Турціей,
не можетъ быть разрѣшенъ обычными диплома-
тическими способами и настоятельно требуется
новыхъ рѣзультатовъ вѣра со стороны Европы.
Однако, генералъ Николаевичъ-Александровъ, не смотря
на свое военное званіе, задѣтосъ на собственное
энергическое дѣйствіе возмѣнить державы, раз-
личныхъ испанскихъ соперничествомъ, и даже
разрѣшить на сознательный отказъ ихъ отъ
„соперничества политики на Балканскомъ полу-
островѣ“, въ интересахъ справедливости и выр-
вать свободнаго развитія турецкихъ народностей,
при руководствѣ властей Россіи, — что едва ли
можетъ изойти въ область реальныхъ междунаро-
дной пративы; потому и пожелаю и выходи
впечатлѣнія автора, остроумные на такой исповѣ,
остаются лишь мечтательными и фантастическа-
ми. Фактически содержаніе книги свѣдѣтель-
ствуетъ, впрочемъ, о болѣе знакомствѣ авто-
ра съ ходомъ и положеніемъ дѣлъ въ Македо-
ніи, Сербіи и Болгаріи.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПОДПИСКѢ

въ 1908 г.

(Сорокъ-третій годъ)

„ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ“

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ ИСТОРИИ, ПОЛИТИКИ, ЛИТЕРАТУРЫ

выходить въ первыхъ числахъ каждаго мѣсяца, 12 выговъ въ годъ,
отъ 27 до 28 листовъ обыкновеннаго журнальнаго формата

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

	На годъ:	По полугодіямъ:		По четвертямъ года:		
		Январь	Іюль	Январь	Апрѣль	Іюль
Безъ доставки, въ Конторѣ журнала	16 р. 50 к.	7 р. 75 к.	7 р. 75 к.	3 р. 90 к.	3 р. 90 к.	3 р. 90 к.
Въ Петербургѣ, съ доставкой	16 „ — „	8 „ — „	8 „ — „	4 „ — „	4 „ — „	4 „ — „
Въ Москвѣ и друг. городахъ, съ перес.	17 „ — „	9 „ — „	9 „ — „	4 „ — „	4 „ — „	4 „ — „
За гравійный, въ госуд. почтов. сокров.	19 „ — „	10 „ — „	10 „ — „	5 „ — „	5 „ — „	5 „ — „

Отдѣльная книга журнала, съ доставкой и пересылкою — 1 р. 25 к.

Примѣчаніе. — Плато разсрочки годовой подписки на журналъ, состоятъ изъ годичныхъ: въ январь и въ іюль, и по четвертямъ года: въ январь, апрѣль и октябрь, принимается — безъ повышенія годовой цѣны книги.

Книжные магазины, при годовой подпискѣ, пользуются обычною услугою

ПОДПИСКА

принимается на годъ, полгода и четверть года:

ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ:

- въ Конторѣ журнала, В.-О., 5 л., 28;
- въ отдѣльныхъ Конторахъ: при книжн. маг. К. Риккера, Невскій, 14; А. Ф. Цинцлернига, Невскій, 20; Т-ва М. О. Вольфа, Невскій, 13, и въ Гост. Дворѣ.

ВЪ КІЕВѢ:

- въ книжн. магаз. Н. Я. Оглоблина, Крещатикъ, 33.

ВЪ МОСКВѢ:

- въ книжномъ магазинѣ Н. Е. Баенникова, на Моховой, и въ Конторѣ Н. Печковской, въ Басманн. слободѣ.

ВЪ ОДЕСѢ:

- въ книжн. магазинѣ „Образъ“, Ришельевскій, 12.

ВЪ ВАРШАВѢ:

- въ книжн. магаз. „С.-Петербургскій Книжный Складъ“ Н. П. Баранова.

Примѣчаніе. — 1) *Почтовый адресъ* долженъ содержать въ себѣ рядъ, губернію, уѣздъ и мѣстожительство и съ означеніемъ номера въ году повторнаго утѣжденія, гдѣ (NB) *допускается* оmissão журналовъ, если этотъ номеръ ждешь въ самомъ мѣстожительствѣ подписчика. — 2) *Первонач. адреса* должны быть въ Конторѣ журнала своевременно, съ указаніемъ прежняго адреса, при чемъ переписка должна переходить въ первоначальн. доплатчикамъ 1 руб. — 3) *Изъясни* въ иностранности должны ставиться исключительно въ Редаціи журнала, если посылка была изъяснена въ мѣстн. владѣльцѣхъ мѣстн. и, послѣдніе обязательны отъ Почтоваго Департамента, не иначе, какъ погумени сълдующей книги журнала. — 4) *Выслати* въ погумени журналъ выслати въ гдѣ-либо уѣздъ въ иностранности или иностранности доплатчиковъ, которые послати въ лисовой сумкѣ 14 коп. почтовыми марками.

Печаталь и отвѣтственный редакторъ М. М. СТАШЕНКО.

РЕДАКЦІЯ „ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ“: ГЛАВНАЯ КОНТОРА ЖУРНАЛА

Свб., Галерная, 20.

Вас.-Од. Google

ЭКСПЕДИЦІЯ ЖУРНАЛА:

Петербургская-Сторона, Пронверская 12, 24.



ВЪСТАНКЪЪ ЕВРОПЫ

ЖУРНАЛЪ

ИСТОРІИ-ПОЛИТИКИ.

ЛІТЕРАТУРЫ.



СОРОКЪ-ТРЕТІЙ ГОДЪ. — КНИГА 8.



АВГУСТЪ, 1908.

ПЕТЕРБУРГЪ.

Издательство

Digitized by Google

КНИГА 8-я. — АВГУСТЪ, 1908.

- I.—ИВАНЪ СЕРГѢЕВИЧЪ ТУРГЕНЕВЪ И СЕМЕЙСТВО БІАРДО-ГАРСЯ. — I-XVI. — Н. Гутъара.
- II.—ОСНОВНОЕ КРЕЩЕНІЕ? — Рассказы и эссеи изъ жизни основателя проекта, — Основание. — XVI-XXIV. — В. В. Павловича.
- III.—РАНИИЕ ГОДЫ П. Г. ЧЕРНЫШЕВСКАГО. — Изъ истории русскаго общества и литературы. — V-VII. — В. Е. Ивтринскаго.
- IV.—ТВОРЧЕСТВО А. П. ЧЕХОВА, ЕГО МОСОВЪ И ПЛАН. — Краткое очеркъ. — I-III. — А. И. Браснольдскаго.
- V.—НАШИ ЧЪ ВАРШВѢ. — Рассказы. — I-XXII. — Н. Сиверова.
- VI.—СМЕРТНАЯ КАБЪ. — Рассказы. — Съ изступомъ Лева Толстого. — Лева Толстого.
- VII.—Н. В. КИРЬЕВСКІЙ. — Очеркъ. — I-VIII. — М. Ф. Геринсона.
- VIII.—ПЕРВАЯ ДУМА И ИДЕИ МЕЖДУНАРОДНАГО ПАРЛАМЕНТА. — Проявленіе А. Васильева.
- IX.—ПРЕДКИ. — Романъ Дюгеруды Асиртуса. — „Anvenging“, by Gunnar Atlason. — X-XX. — Съ англ. Ф. Ч.
- X.—СТИХОТВОРЕНІЯ. — С. Д. Ленин.
- XI.—ИСТОРИЯ МОЛОДОЙ ДѢВУШКИ. — С. Fagère Mademoiselle Dax. романъ. — Часть вторая: XII-XV. — Часть третья: I-VI. — Съ франц. И. В.
- XII.—ХРОНИКА. — Двадцать второе августа, 1863-1908. — К. Б. Арсеньева.
- XIII.—ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ. — Третья Государственная Дума и административная реформа. — Неосуществившееся право. — Чрезвычайная ограда и смерть князя. — Последніе два сессіи Государственного Совета. — Гр. П. П. Шуваловъ и В. М. Пестровъ-Самойловъ.
- XIV.—ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ. — I. Ч. Вітрянскій. „Герцогъ, А. П.: Железные Мысли. Дѣятельность“. — II. Д. Мердтловскій. „Павелъ I“, драма. — III. „Драматургия-художественные Азиянахи“, изд. „Шиповникъ“, кн. 5-я. — IV. Сблужилъ товарищества „Знание“, ан. 22-я. — V. Алексій Ржевскій. „Часы“, романъ. — М. Г. — VI. Писма К. Маркса и Фр. Энгельса къ Лис. — оу, перек. Г. Лопатина. — VII. Ж. Ласкера. Обликъ и періодическое происхождение кризиса. Съ франц. — VIII. Потребительская общественная история, теорія, практика. В. Тетоміана. — С. В. Бородавскій. Социально-экономическая кооперация въ Германіи. — IX. В. Гринелтъ. Профессиональные движенія рабочихъ въ Россіи. — В. В. — Новая книга въ французскомъ.
- XV.—ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ. — Ревельскій визитъ президента Финляндіи и франко-русскій союзъ. — Заботы о поддержаніи и увеличеніи количества школъ во имя интереса мира. — Политическое безпокойство, вызванное неравнодушными измѣрительными Германіи. — Будильникъ Даскери. — Ревельскій и констативъ изъ Турціи. — Славянскій конгрессъ въ Прагѣ.
- XVI.—НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. — I. Henri de Hegner. Les Scrupules de Spangarelle. — И. В. — II. Landauer, Gustav. Die Revolution in Bauen, Arthur. Essai sur les révolutions. — И. S—w.
- XVII.—ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ. — Жизнь Толстой и его „Часть жизни“. — Преступна убійства и лишеніе жизни, какъ законодательная мера. — Три отзыва на одинъ вопросъ. — Государственность? и чрезвычайная ограда. — Напрасная тревога. — Свѣтъ печати. — Равенствъ съвѣтъ и характерные эпизоды. — П. В. Вейсберга и К. М. Паульсъ.
- XVIII.—ИЗВѢЩЕНІЯ. — I—II.
- XIX.—ВИДЮГРАФИЧЕСКІЙ ЛІСТОКЪ. — Шаръ Селавоса. Политическая история современной Европы. Перек. съ франц. и р. В. А. Новои. Т. I—II. 4-я изд. — П. П. Лазаревскій. Лекція по русскому государственному праву. Т. I. Конституционное право. — А. А. Кауфманъ. Русская община въ предѣлахъ ея зародившійся и роста. — Сергій Штеинъ. Славянскіе народы. Происхожденіе и характеристика.

почти непрерывно до самой его смерти, а потому для будущей полной біографіи нашего великаго писателя эта внутренняя, такъ сказать, душевная сторона его жизни представляетъ большой интересъ; въ ней, между прочимъ, отразилась одна черта, весьма характерная для Тургенева и рѣзко отличающая его отъ нравовъ и привычекъ собственной его семьи. Хорошо извѣстно, какимъ успѣхомъ среди женскаго пола пользовался отецъ Ивана Сергѣевича, Сергѣй Николаевичъ, и какъ этотъ послѣдній умѣлъ беззавѣтно отдаваться каждому новому своему увлеченію. „Отецъ мой, прежде всего и больше всего, хотѣлъ жить и жилъ“, — говорилъ о немъ позднѣе Иванъ Сергѣевичъ. Мать его, Варвара Петровна (изъ фамиліи Лутовиновыхъ), не долго оплакивала смерть мужа, во время своего вдовства, хотя и была вся поглощена ревнивой любовью къ нему. У такихъ-то родителей, въ особенности у такого отца, дѣти ихъ, наоборотъ, оказались „однолюбцами“, по выраженію ихъ матери: „Жаль мнѣ васъ“, говорила она: „вы пропадете, не будете счастливы, потому что оба вы *однолюбцы*; всю свою жизнь будете привязаны къ одной и той же женщинѣ, какова бы ни была она“¹⁾. На Николаѣ, братѣ Ивана Сергѣевича, это предсказаніе сбылось удивительнымъ образомъ. Самъ Иванъ Сергѣевичъ, въ бесѣдахъ съ Фетомъ, отзывался такъ о женѣ своего брата: „Разгадайте, какимъ образомъ братъ могъ привязаться къ этой женщинѣ? Что она чудовищно безобразна, въ этомъ вы могли сами убѣдиться въ нашемъ домѣ; прибавьте къ этому, что она нестерпимо жестока, капризна и неразвита и крайне развратна. Вѣдь онъ ее до сихъ поръ обожаетъ и цѣлуетъ у нея ноги“²⁾. Иванъ Сергѣевичъ точно также имѣлъ въ теченіе жизни одну только привязанность и, удивляясь силѣ любви брата, самъ писалъ въ то же время, уже на десятомъ году своей дружбы съ Полиною Виардо: „Je veux me mettre à vos pieds et embrasser le pan de votre robe, chère, chère, bonne, noble amie“³⁾. Конечно, П. Виардо, служившая для Ивана Сергѣевича неизсякаемымъ источникомъ высокихъ эстетическихъ наслажденій и возвышенныхъ интересовъ, была далеко не чета той грубоватой нѣмкѣ изъ Риги, женѣ Николая Сергѣевича. Но „однолюбцемъ“ одинаково характеризуютъ какъ безотчетная слѣпая привязанность одного вопреки всѣмъ отрицательнымъ качествамъ его возлюбленной

¹⁾ Воспоминанія Полонскаго. „Нива“ 1884 г., стр. 16.

²⁾ Фетъ. „Мои воспоминанія“, I, 271.

³⁾ I. Tourgueneff. Lettres à madame Viardot, par Halpérine-Kaminsky, 14 Paris. 1907.

такъ и привязанность другою, вопреки различнымъ осложненіямъ и препятствіямъ, какія встрѣчалъ Иванъ Сергѣевичъ въ своемъ глубокомъ чувствѣ къ П. Віардо, женщиной замужней и матери семейства. Такимъ образомъ, въ Тургеневской семьѣ судьба родителей и дѣтей была очень несхожа въ области сердечныхъ влеченій, а самъ Иванъ Сергѣевичъ такъ выразился устами героя своего разсказа „Фаустъ“: „Кто знаетъ, сколько вадый, живущій на землѣ, оставляетъ сѣмянъ, которымъ суждено взойти только послѣ его смерти? Кто скажетъ, какой таинственной цѣпью связана судьба человѣка съ судьбою его дѣтей, его потомства, и какъ отражаются на нихъ его стремленія, какъ взыскиваются съ нихъ его ошибки?“

I.

Тургеневъ познакомился съ Полиной Віардо-Гарсія въ концѣ 1843 года въ Петербургѣ, куда она пріѣхала въ качествѣ примадонны итальянской оперы, открывшей тогда свой первый сезонъ въ нашей сѣверной столицѣ. Въ 1852 году, 1 ноября, Иванъ Сергѣевичъ писалъ знаменитой пѣвицѣ изъ деревенской своей ссылки: „Сегодня исполнилось ровно девять лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ я видѣлъ васъ въ первый разъ въ Петербургѣ въ домѣ Демидова. Я помню это первое посѣщеніе, словно оно было только вчера. Это было утромъ. Я пришелъ не одинъ, меня сопровождалъ маіоръ Комаровъ. И что же, не смотря на омончательную смѣхотворность этой личности, мнѣ всегда пріятно о немъ думать. Его фигура вызываетъ во мнѣ массу думъ и воспоминаній“. Съ 1843 года у Тургенева и завязалась та дружба съ этой замѣчательной женщиной, составившей главный интересъ его личной жизни; она повлияла на эту жизнь самымъ рѣшительнымъ образомъ. За исключеніемъ времени съ 1850 по 1855 г., Иванъ Сергѣевичъ ежегодно и почасту видѣлся съ ней, а съ 1863 года, въ теченіе двадцати лѣтъ, почти и не разставался. Въ первые три сезона итальянской оперы 1843—1846 гг. (съ октября по февраль) Тургеневъ и П. Віардо встрѣчались часто въ Петербургѣ. Въ 1845 году, кромѣ того, Иванъ Сергѣевичъ ѣздилъ на три мѣсяца (августъ—октябрь) во Францію,—конечно, не для одного Парижа. Съ начала 1847 и до середины 1850 года онъ опять и уже безвыѣздно проживалъ за-границей, гдѣ большую часть времени проводилъ вблизи семьи Полины Віардо-Гарсія. Съ середины 1850 года

начинается шестилѣтняя разлука, заповняемая лишь перепиской. Правда, въ 1853 году П. Виардо прїѣзжала въ Петербургъ на десятый сезонъ итальянской оперы и прожила въ Россіи болѣе двухъ мѣсяцевъ (январь—мартъ) ¹⁾, но Тургеневъ былъ въ это время въ ссылкѣ... Съ 1856 года имъ предпринимаются новыя поѣздки за-границу. Впрочемъ, годы 1858 и 1859 не были благопріятны для Ивана Сергѣевича. Изъ пяти мѣсяцевъ, проведенныхъ за-границей въ 1858 году, только недѣли три-четыре могъ онъ прожить во Франціи. Изъ четырехъ мѣсяцевъ 1859 года только июль и августъ провелъ онъ у своего друга въ Куртанелѣ. Начиная съ 1863 года, когда Полина Виардо оставила сцену, отказалась отъ артистическихъ поѣздокъ и, переселившись въ Баденъ, открыла у себя музыкальную школу, Тургеневъ уже навсегда устраивается подлѣ любимой имъ семьи. Поѣздки его на родину становятся съ тѣхъ поръ все рѣже и кратковременнѣе, въ иные же годы онъ и вовсе не показывается въ Россію (1866, 1869, 1873, 1875 и 1882). Лишь въ послѣдніе два прїѣзда, послѣ восторженныхъ овацій 1879 года, неожиданно выпавшихъ на его долю, онъ проводитъ на родинѣ пять, а другой разъ четыре мѣсяца, пробуя при этомъ даже увѣрять друзей, что онъ, пожалуй, и совсѣмъ переселится въ Россію и останется жить на родинѣ: — „разумѣется, не въ Петербургѣ и не въ Москвѣ, а въ деревнѣ и во внутреннихъ городахъ“ ²⁾.

Полина Виардо-Гарсія (Marcelle-Fernande-Pauline Viardot-Garcia) родилась 6 (18) іюля 1821 года, а слѣдовательно, была всего на три года моложе Тургенева. Лица, посѣщавшія ее и бесѣдовавшія съ нею не такъ давно, лѣтъ пять-шесть тому назадъ, единодушно отмѣчали удивительную для ея преклоннаго возраста бодрость, способность всѣмъ интересоваться и увлекательность ея бесѣды. Она не прекратила своихъ музыкальных занятій даже на 80-мъ году жизни! Это — дѣйствительно, прекрасный закатъ славной жизни, — „un beau soir d'une belle vie“, какъ выражались ея поклонники. Чѣмъ же была эта удивительная женщина во время полного расцвѣта своихъ талантовъ? Какою являлась она лѣтъ сорокъ тому назадъ, передъ современниками Тургенева ³⁾? Не будемъ приводить здѣсь лестныхъ

¹⁾ См. „Ежегодникъ Импер. театровъ“. Сезонъ 1893 — 1894 гт. Приложен. кн. 2, стр. 89—90.

²⁾ „Сѣверн. Вѣстникъ“ 1887 г., кн. 3, стр. 62.

³⁾ Пользуюсь случаемъ, чтобы привести одно воспоминаніе изъ первыхъ 1 моей юности, рисующее то магическое впечатлѣніе, какое произвела г-жа П. Віа на тогдашнюю молодежь. Въ 1843 г. мнѣ было 17 лѣтъ: я, тогда студентъ П гв

миѣній объ ея музыкальныхъ и артистическихъ дарованіяхъ — Листа, Берліоза, Россини, Обера, Вагнера, Рубинштейна, Мейербера (создавшего для нея роль Фидесъ въ „Пророкъ“), Гуно (написавшаго для нея цѣлую оперу „Сафо“). Намъ понятнѣе и ближе свидѣтельства лицъ, не посвящавшихъ себя специальному изученію оперной музыки. Пропуская однако, какъ хорошо извѣстные читателю, восторженные отзывы петербуржцевъ о дебютахъ П. Віардо въ нашей сѣверной столицѣ, приведемъ выписку изъ парижскихъ писемъ Гейне 1844 г., какъ разъ перваго года знакомства знаменитой пѣвицы съ Тургеневымъ, и свидѣтельство Е. Ардова, относящееся къ послѣднимъ годамъ ихъ дружбы. „Эта пѣвица не соловей, — говоритъ Гейне, — у котораго только одинъ видъ таланта, и въ чьихъ рыданіяхъ и треляхъ мы находимъ превосходный весенній жанръ; она и не роза, потому что вовсе не красива, но это — такая некрасивость благородная, я почти готовъ сказать: прекрасная, которую иногда восторженно вдохновлялся великій художникъ, рисовавшій львовъ — Лакруа. Дѣйствительно, Гарсія напоминаетъ собою не столько тонкую красоту и спойную грацію нашей европейской родины, сколько ужасающую грандіозность экзотической пустыни; и не разъ въ минуты ея страстнаго пѣнія, особенно когда она очень широко раскроетъ ротъ съ ослѣпительно бѣлыми зубами, и улыбнется такъ жестоко сладостно, граціозно выставляя эти зубы, въ такія минуты у васъ на душѣ становится такъ, какъ будто передъ вами должны сейчасъ же появиться и громадныя растенія, и породы животныхъ Индостана или Африки; — кажется, что вотъ-вотъ поднимутся въ воздухъ исполинскія пальмы, обвитыя лианами, съ тысячами цвѣтовъ, и я — заключаетъ Гейне — не удивился бы, еслибъ по сценѣ вдругъ забѣгали леопарды, или жираффы, или даже цѣлое стадо слонятъ“¹⁾. — „Разъ неожиданно въ одинъ изъ четверговъ“, пишетъ Е. Ардовъ въ своихъ воспоминаваніяхъ, въ 1879 году, о Тургеневѣ, — г-жа Віардо сдѣлала на просьбы, и выборъ ея остановился на сценѣ лунатизма

и мой товарищъ и другъ, И. П. Кноррингъ (впослѣдствіи директоръ Ларинской гимназіи), мы рѣшились во что бы то ни стало попасть на „Норму“, съ Віардо; къ нашему счастью, ледъ на Невѣ остановился (Николаевскій мостъ еще не былъ готовъ) наканунѣ спектакля; до мостковъ было еще далеко, и вотъ мы напали на мысль, а могла придти въ голову только въ томъ возрастѣ, но особенно внушалась намъ этимъ увлеченіемъ молодежи: мы, дождавшись вечерней темноты и захвативъ съ собою довольно длинныя доски, ушли за Горный корпусъ и, при помощи досокъ, легко перешли на ту сторону и попали въ оперу!!! — М. Ст.

¹⁾ Прилож. къ „Нивѣ“ 1904 г., кн. 5, стр. 316.

леди Макбетъ, изъ оперы Верди. Сенъ-Сансъ сѣлъ за рояль. Г-жа Віардо выступила на средину залы. Первые звуки ея голоса поражали страннымъ гортаннымъ тономъ; звуки эти точно съ трудомъ исторгались изъ какого-то заржавленнаго инструмента; но уже послѣ нѣсколькихъ тактовъ голосъ согрѣлся и все больше и больше овладѣвалъ слушателями. Всѣ притаили дыханіе и съ замираніемъ сердца ловили горячіе, страстные звуки; всѣ проницались ни съ чѣмъ несравнимымъ исполненіемъ, при которомъ геніальная пѣвица такъ всецѣло сливалась съ геніальной трагической актрисой. Ни одинъ оттѣнокъ страшнымъ злодѣяніемъ взволнованной женской души не пропалъ безслѣдно, а когда, понижая голосъ до нѣжнаго ласкательнаго піанисимо, въ которомъ слышались и жалоба, и страхъ, и муки, пѣвица пропѣла, потирая бѣлыя прекрасныя руки, свою знаменитую фразу: „Никакіе ароматы Аравіи не сотрутъ запаха крови съ этихъ маленькихъ ручекъ...“—дрожь восторга пробѣжала по всѣмъ слушателямъ. При этомъ—ни одного театральнаго жеста; мѣра во всемъ; изумительная дикція: каждое слово выговаривалось ясно; вдохновеніе, пламенное исполненіе, въ связи съ творческою концепціей исполняемаго, довершали совершенство пѣнія. За аріей леди Макбетъ послѣдовалъ „Erlkönig“ Шуберта, тоже съ аккомпаниментомъ Сенъ-Санса. Мнѣ случалось слышать эту всѣмъ извѣстную балладу въ исполненіи многихъ выдающихся пѣвицъ и пѣвцовъ; Полина Віардо затмила всѣхъ. Лѣсная драма проносилась передъ вами: и сдержанный, степенный голосъ отца, и испуганный шопотъ, жалобы и вопль о помощи младенца, и вкрадчивый манящій голосъ Лѣснаго царя, переходящій въ страстный, властный призывъ... Впечатлѣніе получилось потрясающее!.. Трудно было повѣрить, что такъ молодо, пылко, вдохновенно поетъ 58-ми-лѣтняя женщина, у которой, по ея же словамъ, сохранилась въ голосѣ всего лишь одна октава¹⁾.

Объ отзывахъ Ивана Сергѣевича и говорить нечего. Достаточно привести его стихотвореніе въ прозѣ „Стой!“, написанное въ томъ же 1879-мъ году послѣ одного изъ такихъ вечеровъ, чтобы имъ и ограничиться.

„Стой! Какою я теперь тебя вижу—останься навсегда такою въ моей памяти! Съ губъ сорвался послѣдній вдохновенный звукъ—глаза не блестятъ и не сверкаютъ—они меркнутъ, отягощенные счастьемъ, блаженнымъ сознаниемъ той красоты, которую удалось тебѣ выразить, той красоты, во слѣдъ котора

¹⁾ „Русскія Вѣдомости“, 1904 г., № 4.

ты словно простираешь твои торжествующія, твои изнеможенные руки!

„Какой свѣтъ, тоньше и чище солнечнаго свѣта, разлился по всѣмъ твоимъ членамъ, по малѣйшимъ складкамъ твоей одежды? Какой Богъ своимъ ласковымъ дуновеньемъ откинулъ назадъ твои разсыпанныя кудри? Его лобзаніе горитъ на твоемъ, какъ мраморъ, поблѣднѣвшемъ челѣ!

„Вотъ она—открытая тайна, тайна поэзіи, жизни, любви! Вотъ оно, вотъ оно, безсмертіе! Другого безсмертія нѣтъ—и не надо!—Въ это мгновеніе ты безсмертна. Оно пройдетъ—и ты снова щепотка пепла, женщина, дитя... Но что тебѣ за дѣло!—Въ это мгновеніе—ты стала выше, ты стала вѣдь всего преходящаго, временнаго.—Это твое мгновеніе не кончится никогда. Стой! И дай мнѣ быть участникомъ твоего безсмертія, урони въ душу мою отблескъ твоей вѣчности!“

II.

Но не художественный и музыкальный талантъ только привлекалъ къ П. Виардо лучшихъ изъ ея современниковъ, и не ради ея мужа, мало замѣчательнаго писателя и критика¹⁾, сходились въ ея гостиную Жоржъ-Зандъ, П. Меримэ, Флоберъ, Ренанъ, Луи Бланъ, Жюль Симонъ и др. Многостороннее литературное образованіе, широта и свобода міровоззрѣнія, и, наконецъ, та особенная житейская мудрость, которая опирается не на одинъ ясный и твердый взглядъ на жизнь, на людскія отношенія, но и на дѣятельное, хоть и незамѣтное для постороннихъ религиозное чувство,—вотъ что привлекало къ ней избранниковъ.

Интересенъ слѣдующій разговоръ Жоржъ-Зандъ о Полинь Виардо, ярко обрисовывающій характеръ послѣдней. Рѣчь идетъ о государственномъ переворотѣ конца 1851 г. во Франціи, о томъ времени, которое вырвало у знаменитой писательницы невольное восклицаніе: „О, дни ужаса и тревоги, сколько времени вы продлитесь!“ Среди общей растерянности и страха одна П. Виардо, по свидѣтельству Жоржъ-Зандъ, была „спокойна, какъ геній“. „Полинь нечего бояться за себя, ни за всѣхъ окружающихъ ее“,—писала Жоржъ-Зандъ:—Въ опасности она

¹⁾ Louis Viardot, род. въ 1800 г., ум. въ 1888 г.—въ одинъ годъ съ Тургенемъ.

была бы безстрашна. Но въ ней глубокой эгоизмъ высочайшаго артиста, эгоизмъ безобидный и смѣлый, который окажетъ, не колеблясь, помощь и покровительство, эгоизмъ законный и все-таки странный, который печется о своей охранѣ со спокойной и ревнивой заботой. Такъ, напримѣръ, сегодня (3 дек. 1851 г.) она была невидима для мужчинъ и принимала лишь женщинъ. „Почему?“ спросила я ее. — Потому что женщины ничего не знаютъ и приходятъ сюда съ тупыми и подлыми страхами. Ну, а это мнѣ все равно. Мужчины приносятъ ложныя извѣстія и осыпаютъ меня вопросами. Это меня даромъ только утомляетъ и волнуетъ. Черезъ часъ я узнаю, что они сами не знаютъ, что говорятъ, и что я страдала понапрасну. Ну, а я хочу охранить себя отъ страданій никому ненужныхъ“ ¹⁾. Прибавьте теперь ко всѣмъ этимъ качествамъ ума, характера, таланта и образованія П. Виардо еще ея изящество и непринужденность обхожденія, тотъ истинно свѣтскій обликъ, который опирается не на внѣшнюю выправку, а на внутреннее благородство характера, и вы поймете, почему Тургеневъ отъ восхищенія ею, какъ артисткою, быстро перешелъ къ обожанію ея, какъ женщины.

Конечно, Иванъ Сергѣевичъ въ мало знакомомъ обществѣ не любилъ и избѣгалъ говорить о своихъ отношеніяхъ къ П. Виардо. Называть даже имя ея было для него иной разъ просто „святотатствомъ“, какъ свидѣлствуетъ Огарева-Тучкова въ своихъ воспоминаніяхъ ²⁾. Лишь передъ близкими друзьями или людьми, возбуждавшими его довѣріе, онъ высказывался откровеннѣе. Въ письмѣ отъ 10 мая 1871 года къ Писемскому мы читаемъ, напримѣръ: „Отъ Анненкова я узналъ, что ложный слухъ о кончинѣ г-жи Виардо васъ встревожилъ, и ваше сочувствіе ко мнѣ выразилось съ особенной теплотою. Благодарю васъ искренно за ваше дружеское участіе, которое мнѣ очень дорого. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что оказались то извѣстіе справедливымъ, всякій жизненный интересъ для меня прекратился бы. Слава Богу, ея здоровье очень крѣпко, и она, конечно, переживетъ меня“ ³⁾. Когда въ апрѣлѣ 1877 года Иванъ Сергѣевичъ получилъ прекрасное стихотвореніе Полонскаго: „И. С. Тургеневу“ ⁴⁾, гдѣ такъ картинно и горячо изображается впечатлѣніе, производимое пѣніемъ П. Виардо на

¹⁾ „Вѣстн. Европы“, 1904 г., кн. 5, стр. 283.

²⁾ „Русск. Старина“, 1889 г., кн. 2.

³⁾ „Новь“ 1886 г., полут. XXIII, стр. 190.

⁴⁾ Напечатано въ „Полн. собр. стихотв. Полонскаго“. Спб. 1896 г., II, 263.

Тургенева, послѣдній писалъ въ отвѣтъ автору: „Умоляю тебя, какъ друга, не печатать твоего посланія ко мнѣ; ужъ теперь мое имя не появляется въ печати иначе, какъ сопровождаемое нареканіями и насмѣшками, — зачѣмъ же давать поводъ всѣмъ моимъ недоброжелателямъ присоединить къ моему имени другое, которое мнѣ гораздо дороже моего собственнаго, и дать пищу всякимъ сплетнямъ и грязнымъ намекамъ? Я увѣренъ, что ты меня поймешь и уважишь мою просьбу“ ¹⁾. Ивану Сергѣевичу хорошо было извѣстно, насколько не деликатна бываетъ въ этомъ отношеніи русская публика, и не ему съ его душевной чистотой и впечатлительностью относиться было съ презрѣніемъ ко „всякимъ сплетнямъ и грязнымъ намекамъ“, разъ затронуто было имя обожаемой имъ женщины. А злыхъ сплетенъ появлялось немало среди публики. Если „Современникъ“ послѣ своей ссоры съ Тургеневымъ не постѣснился намекать на моднаго писателя, слѣдующаго въ хвостѣ странствующей пѣвицы и устраняющаго ей оваціи на подмосткахъ провинціальныхъ театровъ за-границей ²⁾, то тѣмъ свободнѣ могли распространяться въ обществѣ стихотворенія, въ родѣ слѣдующаго:

Талантъ онъ свой зарылъ въ „Дворянское гнѣздо“.
 Съ тѣхъ поръ бездарности на немъ отгнѣвъ жалкій,
 И падшій сей талантъ томится приживалкой
 У спадшей съ голоса пѣвицы Біардо ³⁾.

Тургеневу часто удавалось скрывать истинныя свои отношенія къ П. Біардо отъ празднаго любопытства толпы. Такъ, обвиненія въ равнодушіи къ родинѣ и въ слабохарактерности, сыпавшіяся на него, сплошь да рядомъ являлись результатомъ именно замаскированныхъ стремленій его быть поближе къ любимой женщинѣ. — „Иванъ Сергѣевичъ за-границей, ну — значитъ — онъ мало любитъ родину!“ — „Иванъ Сергѣевичъ неожиданно для постороннихъ измѣнилъ свои намѣренія и планы, объявленные только для отвода любопытныхъ глазъ, ну, — значитъ — онъ слабохарактеренъ!“ Но если ему при жизни удавалось иной разъ утаить кое-что даже отъ близкихъ друзей, то теперь, двадцать-пять лѣтъ спустя послѣ его смерти, молчать — было бы безцѣльно.

Чувства Ивана Сергѣевича къ своему другу выражались съ инаковой силой и искренностью въ самыхъ разнообразныхъ

¹⁾ „Перв. собр. писемъ“, 316—317.

²⁾ „Вѣстникъ Европы“ 1885 г., кн. 3, стр. 37.

³⁾ См. „Русск. Архивъ“ 1890 г., I, 328. Этотъ журналъ почему-то старательно трагъ и сохранилъ намъ большинство подобныхъ кушетцевъ на Тургенева.

случаяхъ, какъ въ крупныхъ и важныхъ, такъ и въ самыхъ незначительныхъ. Заботы его касались, какъ чисто матеріальной стороны жизни П. Віардо, такъ и ея сценическихъ и музыкальных успѣховъ. Матеріальныя средства знаменитой артистки были во всякомъ случаѣ настолько достаточными, что говорить здѣсь о небольшихъ тратахъ Тургенева на любимую семью не стоитъ. Изъ крупныхъ слѣдуетъ отмѣтить денежную помощь, оказанную Иваномъ Сергѣевичемъ Віардо во время франко-прусской войны, когда вся семья ея переселилась на 1½ года въ Лондонъ, и на переданную Полинь Віардо сумму, которую Тургеневъ выручилъ отъ продажи правъ литературной собственности. Въ первомъ случаѣ отъ одного только управляющаго имѣніями было вытребовано Иваномъ Сергѣевичемъ вексельныхъ переводовъ въ три раза болѣе, чѣмъ въ другіе годы, какъ это можно судить по письмамъ Тургенева къ Капинскому ¹⁾. Во второмъ случаѣ денежная сумма, полученная отъ книгопродавца Глазунова, достигала восьмидесяти тысячъ рублей ²⁾. Необходимо привести здѣсь и слѣдующее свидѣтельство М. М. Стасюлевича: „Намъ самимъ случайно извѣстно твердое намѣреніе Тургенева продать недвижимую собственность (завѣщать ее было нельзя, какъ родовую собственность) съ тою же цѣлью (передать вырученный капиталъ г-жѣ Віардо). Мы это знаемъ отъ лица, которому Тургеневъ выдалъ довѣренность и уже подписалъ ее, бывъ на смертномъ одрѣ, но эта довѣренность такъ и осталась въ рукахъ довѣрителя историческимъ документомъ, такъ какъ вслѣдъ затѣмъ онъ скончался, и нашъ консулъ не успѣлъ такимъ образомъ утвердить сдѣланную имъ собственноручную подпись“ ³⁾.

III.

Гораздо замѣчательнѣе заботы Ивана Сергѣевича о музыкальныхъ и артистическихъ успѣхахъ своего друга. Всего естественнѣе и проще для Тургенева было бы прибѣгать въ этихъ случаяхъ къ своему перу. Но онъ имъ пользовался совсѣмъ мало: за сорокъ лѣтъ дружбы написалъ двѣ статьи о Полинь Віардо, правда, очень интересныя, но только двѣ ⁴⁾. Первая—въ видѣ письма изъ Парижа, отъ 9-го января 1850 г.

¹⁾ Хранятся въ Импер. Публ. Библіотекѣ.

²⁾ „Перв. собр. писемъ“, 549—550.

³⁾ „Вѣстникъ Европы“, 1907, мартъ, стр. 415.

⁴⁾ Объ не вошла, къ сожалѣнію, въ собранія его сочиненій.

за подписью: — е — была напечатана въ „Отечеств. Запискахъ“ (т. LXVIII, Смѣсь, стр. 280 — 283) подъ заглавіемъ: „Нѣсколько словъ объ оперѣ Мейербера „Пророкъ“. Начавъ статью оцѣнкой таланта Мейербера вообще и его „Пророка“ въ частности, указавъ дальше на довольно слабое либретто оперы, авторъ въ главной части своей рецензіи даетъ перечень (въ порядкѣ актовъ) выдающихся нумеровъ произведенія, при чемъ только два раза называетъ имя П. Віардо. При общемъ приподнятомъ тонѣ статьи отзывы объ игрѣ знаменитой артистки являются очень скромными. Говоря объ аріи Фидесъ: „Ah, mon fils!“, Иванъ Сергѣевичъ пишетъ только: „Должно тоже сказать, что Віардо удивительно поетъ эту арію“. Переходя же къ оцѣнкѣ другой большой аріи Фидесъ въ пятомъ актѣ, Тургеневъ опять ограничивается замѣчаніемъ: „Віардо поетъ ее, какъ никто не пѣвалъ до нея“. Только въ заключеніи своей рецензіи онъ выражается сильнѣе: „Что касается до актеровъ, то первое мѣсто, безспорно, принадлежитъ Віардо, которая въ этой роли окончательно стала на одномъ ряду со своей незабвенной сестрой (Малибранъ)“. Тургеневъ не написалъ бы отзыва о „Пророкѣ“, еслибъ не участіе Віардо въ главной роли; онъ не высказался бы подробно объ отдѣльныхъ сценахъ оперы, если-бъ въ нихъ не занималъ выдающагося мѣста его другъ, но горячія похвалы его какъ бы только выются около гениальной артистки, не касаясь ея прямо. Онъ держитъ вѣнокъ надъ головой триумфатора, не рѣшаясь, не дерзая опустить его на самое чело.

Вторая рецензія, написанная почти 20 лѣтъ спустя, касается уже не игры собственно, а композиціи П. Віардо, именно, ея оперетки „Послѣдній колдунъ“. Эта довольно большая статья въ видѣ письма къ Анненкову напечатана была подъ неточнымъ заглавіемъ: „Второе представленіе оперы г-жи Віардо въ Веймарѣ“¹⁾. Половина ея занята подробнымъ изложеніемъ либретто, написаннаго самимъ же Тургеневымъ. Приблизительно четверть статьи отведена сверхъ того описанію города, дома Гёте, городского театра, и лишь оставшаяся четверть — самой постановкѣ оперетки, а также успѣху двухъ представленій ея. Въ заключеніе Иванъ Сергѣевичъ усиленно рекомендуетъ русской публикѣ собраніе романсовъ П. Віардо. Насколько первая рецензія осталась незамѣченной (къ тому же она явилась анонимной), настолько вторая обратила на себя вниманіе и вниманіе недоброжелательное. По этому поводу Иванъ Сергѣевичъ писалъ Полонскому (5 мая с.с.

¹⁾ „С.-Петербург. Вѣдом.“ 1869 г. отъ 23 апрѣля.

1869 г.): „Письмо мое о Веймарѣ — конечно реклама; но реклама о вещи, которую я считаю прекрасной. — Но находить безтактнымъ, что послѣ 25-лѣтняго знакомства я въ первый разъ произнесъ имя г-жи Віардо въ такомъ дѣлѣ, которое совершилось воочію всѣхъ, это превосходить даже мои ожиданья!“ Были, однако, особыя причины, заставившія Ивана Сергѣевича взяться за эту „рекламу“. Поклонники таланта П. Віардо и Тургеневъ, прежде всего, надѣялись, что знаменитая *пѣвица* веймарскими спектаклями начнетъ *вторую* свою карьеру, карьеру *композитора*. „Что меня теперь интересуетъ,—писалъ Иванъ Сергѣевичъ Фету 18 февр. того же 1869 года,—это первое представленіе нашей оперетки въ веймарскомъ театрѣ 8 апрѣля. Я непременно туда поѣду и буду трепетать, хотя успѣхъ вѣроятенъ: музыка прелестная. Если оперетка понравится, то это можетъ имѣть важное вліяніе на будущую карьеру Віардо: она займется композиціей ¹⁾. На послѣднее Тургеневъ указываетъ и въ своемъ веймарскомъ письмѣ къ Анненкову: „Мы всѣ знали, что она (П. Віардо) должна была, сверхъ другихъ затрудненій, еще бороться съ предрасудкомъ, не допускающимъ, чтобы одна и та же личность могла послѣдовательно достигнуть замѣчательныхъ результатовъ въ двухъ различныхъ родахъ. Несчастливая попытка извѣстнаго гѣвца Дюпрэ и другихъ исполнителей на поприщѣ композиціи—могла явиться опорой и подтвержденіемъ этого предрасудка“. Оперетка имѣла значительный успѣхъ, но П. Віардо приписывала его болѣе горячему участію Листа и дѣятельной поддержкѣ друзей, чѣмъ собственному дарованію, и отказалась отъ дальнѣйшихъ занятій композиціей. „Предрасудокъ“ оказался непровергнутымъ.

Изъ той же рецензіи мы видимъ, что заботы Тургенева объ артистическихъ успѣхахъ Віардо выражались и въ работахъ его надъ либретто ея оперетокъ, которыхъ было написано въ концѣ 60-ыхъ годовъ четыре: „La nuit de Saint-Silvestre“, „Le dernier sorcier“, „Троп de femmes“ и „L'ogre“. Изъ нея же видимъ и его заботы о романсахъ г-жи Віардо. Въ этой послѣдней области Иванъ Сергѣевичъ проявилъ особенно много настойчивости и горячности. Съ 1863 г. Полина Віардо не безъ вліянія со стороны Ивана Сергѣевича взялась за сочиненіе музыки къ ряду стихотвореній Пушкина, Лермонтова, Фета и одного стихотворенія самого Тургенева ²⁾. Романы были изданы затѣмъ

¹⁾ „Перв. собр. писемъ“, 159.

²⁾ „Синица“, стихотвореніе напечатано въ письмахъ Тургенева къ Ф. Бодштедту въ „Русск. Стар.“, май, 1887 г., 486.

въ четырехъ альбомахъ съ соответствующимъ русскимъ, а въ первыхъ двухъ еще и нѣмецкимъ текстомъ. Надо прочитатъ письма Ивана Сергѣевича къ нѣмецкому переводчику этихъ стихотвореній, Ф. Боденштедту, чтобы видѣть, какое горячее участіе принималъ онъ въ изданіи. О томъ же свидѣлствуютъ и письма его къ Анненкову. Посылая ему третій альбомъ романсовъ подъ заглавіемъ: „Пять стихотвореній Лермонтова и Тургенева, положенныя на музыку П. Віардо-Гарсіа“, и прося напечатать объ альбомѣ статью въ одной изъ столичныхъ газетъ, Иванъ Сергѣевичъ говоритъ между прочимъ: „Я, вы знаете, самъ для себя никогда рекламъ не писывалъ и не заставлялъ писать другихъ, но есть особа, для которой я не только на рекламы, на все пущусь“¹⁾. Анненковъ дѣйствительно тепло и дѣльно рекомендовалъ романсы П. Віардо, но Иванъ Сергѣевичъ не счумѣлъ „пуститься на рекламу“. Желая распространить альбомы среди большой публики, онъ прежде всего... высмѣялъ эту публику въ указанной выше веймарской рецензій. Удивляясь недостаточному успѣху романсовъ Віардо среди своихъ соотечественниковъ, Тургеневъ пишетъ: „Какъ будто тѣ плохіе штабъ-ротмистры въ отставкѣ и полинялыя свѣтскія дамы, которыми снабжается нашъ музыкальный рынокъ, и которые набираютъ свои романсики по слуху, тыкая одними пальцами по фортопіанамъ, какъ будто они способны найти настоящее музыкальное выраженіе поэтической мысли, чѣмъ гениальная дочь Гарсіа, про которую и Мейерберъ, и Оберъ, и Россини, и Вагнеръ — въ одно слово объявили, что она — сама музыка, la musique même!“ Но значительныя трудности аккомпанимента романсовъ П. Віардо дѣлали то, что „плохіе штабъ-ротмистры въ отставкѣ“ и „полинялыя свѣтскія дамы“ все же первенствовали во вкусахъ толпы, и Тургеневъ писалъ, два года спустя, тому же Анненкову: „Я отдалъ музыкальному торговцу А. Іогансону шесть романсовъ г-жи Віардо съ тѣмъ, чтобы онъ напечаталъ ихъ на мой счетъ. Романсы г-жи Віардо не имѣютъ болѣе ходу въ нашей публикѣ (въ чемъ виновата, по моему твердому убѣжденію, — эта публика), и потому Іогансонъ ихъ болѣе не покупаетъ; но я говорю г-жѣ Віардо, что онъ продолжаетъ это дѣлать, и не выдавайте никому моей *mise innocente*; а потому отъявись къ Іогансону и скажите ему, что я вамъ поручилъ платитъ въ издержки по напечатанію этихъ романсовъ, изъ коихъ вы,

¹⁾ Письмо отъ 13 (25) янв. 1869 г. въ „Русск. Обзорн.“, 1894 г., кн. 3, 20.

по отпечатаніи, возьмите 6 и препроводите ихъ въ Англію во мнѣ. А Іогансону скажите, чтобы по отпечатаніи онъ щедрой рукой давалъ эти романы всѣмъ пѣвцамъ, любителямъ (г-жѣ Абаза, Лавровской и т. д.). Это копѣйки ему не будетъ стоить. За все сіе—бухъ въ ножки!“¹⁾

Неизмѣнное восхищеніе Тургенева талантомъ П. Віардо породило у многихъ ложное представленіе,—будто Иванъ Сергѣевичъ въ области музыки смотрѣлъ на все глазами своего друга. Особенно любилъ настаивать на этомъ В. В. Стасовъ. Переписка его съ Тургеневымъ, опубликованная имъ же въ „Сѣверномъ Вѣстникѣ“ 1888 года²⁾; однако совсѣмъ не оправдала этого предположенія. Изданныя еще позднѣе письма Ивана Сергѣевича къ П. Віардо уже неоспоримо указываютъ, что Тургеневъ не только не всегда соглашался съ знаменитой артисткой въ вопросахъ музыкальнаго искусства, но даже достаточно твердо, хоть и очень деликатно, отстаивалъ передъ ней свой собственный взглядъ, на примѣръ — на творчество Мендельсона, Вагнера³⁾. Иванъ Сергѣевичъ не былъ слѣпъ и на тѣ, правда—рѣдкія, уклоненія или отступленія отъ художественнаго идеала, какія могъ подмѣтить въ игрѣ своего друга⁴⁾. Неудивительно, поэтому, что П. Віардо обращалась иной разъ къ нему за совѣтомъ, искала его поддержки въ области, гдѣ являлась общепризнаннымъ авторитетомъ. И Тургеневъ даетъ эти совѣты. Его замѣчанія, на примѣръ, относительно третьяго акта „Ромео“ въ письмѣ къ ней, отъ 11 янв. (н. с.) 1848 года, полны самаго живого интереса.

IV.

Любовь къ дѣтямъ П. Віардо принимала у Тургенева самое трогательное выраженіе. И дѣти, за исключеніемъ Луизы, отвѣчали ему съ неменьшей искренностью. Причиной же указаннаго исключенія являлся странный характеръ Луизы. Въ письмѣ къ Фету, отъ 4 февр. (н. с.) 1870 года, Иванъ Сергѣевичъ такъ писалъ о ней: „Эта несчастная и сумасбродная женщина много причинила горя всему своему семейству, и кончитъ тѣмъ, что себя погубитъ. Выйдя замужъ по собственному настойчивому желанію за г-на Геритта (я за нѣсколько дней до ея рѣшенія

1) „Русск. Обзор.“ 1898 г., № 3, стр. 9—10.

2) № 10, стр. 145 и слѣд.

3) Письма его къ П. Віардо отъ 7 (19) окт. 1847 г. и 2 іюля (н. с.) 1868 г.

4) Письмо его къ П. Віардо отъ 8 дек. (н. с.) 1847 г.

взидилъ къ ней съ предложеніемъ отъ другого француза, прекраснаго человѣка, котораго она, казалось, любила до тѣхъ поръ), — она внезапно возненавидѣла своего мужа, хотя ни въ чемъ упрекнуть его не могла, убѣжала съ мыса Доброй Надежды, гдѣ онъ былъ консуломъ, и явилась въ Баденъ; потомъ покинула родительскій домъ и послѣ разныхъ странствованій очутилась въ Петербургѣ, гдѣ поступила въ профессоры пѣнія въ консерваторію (она хорошая музыкантша). До того времени она аккуратно получала отъ мужа, — который ни въ чемъ ей не препятствовалъ и не пользовался страшными правами, признанными за супругами мужескаго пола французскимъ кодексомъ, — проценты съ своего приданаго и пенсію; все вмѣстѣ равнялось 10.000 франкамъ. Но тутъ она вдругъ объявила ему, что довольствуется жалованьемъ и не хочетъ отъ него ни копейки. Между тѣмъ здоровье ея не выдержало петербургскаго климата, и она, будучи принуждена отказаться отъ своего мѣста, внезапно усакала къ какимъ-то знакомымъ въ Екатеринославскую губернію, у которыхъ она будетъ жить на хлѣбахъ, такъ какъ гордость не позволяетъ ей обратиться снова къ мужу, который назначенъ генеральнымъ консуломъ въ Данію и живетъ въ Копенгагенѣ съ своимъ и ея сыномъ. Должно отдать ему справедливость, что онъ во всемъ этомъ дѣлѣ поступилъ безукоризненно: до сихъ поръ не отказывается ни платить ей пенсію, ни снова принять ее въ домъ, позволяетъ ей жить, гдѣ ей заблагоразсудится, съ однимъ только условіемъ: не поступать на театръ, къ которому она впрочемъ не имѣетъ никакого расположенія. Вотъ правдивая исторія этой несчастной женщины, которая, хотя и не русскаго происхожденія, однако нигилистка. Чѣмъ это все кончится? Можетъ быть, самоубійствомъ¹⁾... Имѣя такую характеристику, — а правдивость ея заподозрѣть невозможно, — мы поймемъ выходку Луизы Гериттъ по адресу Тургенева, на которую она рѣшилась спустя 24 года послѣ смерти Ивана Сергѣевича, напечатать въ „Frankfurter Zeitung“ (10 февр., н. с., 1907 г.) письмо свое съ обвиненіями покойнаго друга ея семьи въ безтактности, навязчивости, въ томъ, что Тургеневъ будто бы ни однимъ сантимомъ не возмѣстилъ большихъ матеріальныхъ затратъ на него со стороны Віардо, и т. п. Если не точно такіе, то подобные сюрпризы получали и члены семьи Віардо, и самъ Иванъ Сергѣевичъ, еще при своей жизни. И все-таки онъ

¹⁾ Фетъ. „Мои воспоминанія“, II, 211—212.

относился къ ней съ удивительнымъ снисхожденіемъ и любовью, что можно видѣть хотя бы изъ воспоминаній Ардова ¹⁾.

Совсѣмъ иные отзывы вызывали у Ивана Сергѣевича остальные дѣти Віардо—Поль, Клавдія или Диди, какъ ее называли, и Марианна. Особенной любовью его пользовалась Клавдія (Claudie). Разославъ въ 1869 году ея фотографію своимъ друзьямъ, Тургеневъ пишетъ одному изъ нихъ (Н. А. Милутину): „Старшая дочь ²⁾ учится рисованію и успѣваетъ необыкновенно. Это вообще удивительная дѣвушка. Прилагаю вамъ ея фотографію, чтобы вы могли судить, въ какую прелесть она развилась“ ³⁾. А Фету писалъ одновременно: „Посылаю вамъ, какъ поэту и любителю изящнаго, фотографическую карточку старшей дочери г-жи Віардо; что за прелесть! Вотъ на кого нужно стихи писать. И талантомъ къ живописи она обладаетъ необычайнымъ и вообще существо удивительное“ ⁴⁾. Когда позднѣе Иванъ Сергѣевичъ устраивалъ себѣ „Châlet“ въ Буживалѣ, онъ нарочно приказалъ въ своемъ кабинетѣ одно изъ оконъ приспособить для занятій живописью, и около этого окна всегда стоялъ мольбертъ къ услугамъ его Диди ⁵⁾. И. И. Маслову Тургеневъ писалъ 4 іюня 1870 года: „Въ человѣческой жизни Богъ воленъ, и еслибы я внезапно окачурился, то ты долженъ знать, что оставленные у тебя на сохраненіи акціи мною куплены для моей милой Клавдіи Віардо и потому должны быть, въ случаѣ какой-нибудь катастрофы, доставлены г-жѣ Полиніи Віардо, въ городъ Баденъ-Баденъ. Я совершенно здоровъ теперь, но осторожность никогда не мѣшаетъ“ ⁶⁾. Въ октябрѣ 1873 года онъ пишетъ тому же Маслову: „На 5.000 р. купи еще акцій, по прежнему—на имя г-жи Віардо—и присоедини ихъ къ тѣмъ, которыя уже у тебя имѣются“. Въ письмѣ его къ Половскому отъ 5 февр. 1874 года читаемъ: „Прилагаю тебѣ фотографію моей любимицы „Claudie“. Она выходитъ замужъ черезъ двѣ недѣли съ небольшимъ. Будущаго мужа ея зовутъ Шамеро (Georges Chamerot), и хотя онъ стоитъ такого счастья, но завидовать ему, точно, можно“ ⁷⁾. Въ назначенный срокъ свадьба

¹⁾ „Русск. Вѣдом.“ 1904 г., № 4.

²⁾ Иванъ Сергѣевичъ называетъ ее обыкновенно „старшей“, какъ бы игнорируя при этомъ Луизу.

³⁾ „Перв. собр. писемъ“, 153.

⁴⁾ Фетъ. „Мои воспом.“, II, 193.

⁵⁾ „Воспомин. о Тургеневѣ“ Ардова. „Русск. Вѣд.“ 1904 г., № 15.

⁶⁾ Перв. собр. писемъ“, 177.

⁷⁾ Тамъ же, 220, 227.

состоялась, и Иванъ Сергѣевичъ писалъ Маслову (25 февр.): „Третьяго дня моя несравненная Диди вышла замужъ! Ты можешь себѣ представить, въ какихъ хлопотахъ и въ какомъ радостномъ волненіи я былъ все это время“¹⁾.

Младшая дочь Віардо — Марианна, тоненькая, хорошенькая брюнетка съ большими темными глазами и свѣжимъ цвѣтомъ лица, казалось, возбуждала не меньшую симпатію Ивана Сергѣевича. Онъ писалъ, напримѣръ, Полонскому въ февралѣ 1881 года: „Приѣду я въ Петербургъ между 5 и 10 апрѣля — и это навѣрное, потому что удерживаетъ меня здѣсь одно только обстоятельство, а именно: свадьба моей милой Марианны съ не менѣе милымъ піанистомъ Дювернуа, а это радостное событіе совершится около 3 апрѣля. Давши имъ мое старческое благословеніе, я тотчасъ пушусь въ дорогу“²⁾. Когда пришло время ея родовъ, сопровождавшихся сорокачасовыми мученіями, Тургеневъ не спитъ шесть ночей сряду³⁾. Надо прочесть письма Марианны къ Е. Ардову о болѣзни и смерти Ивана Сергѣевича, чтобы видѣть, какъ искренно и горячо отвѣчала она на любовь старика. Особенно характерно письмо отъ 6 (18) октября 1883 года: „Простите, что я такъ долго не отвѣчала на ваше письмо. Не знаю, какъ протекло время, но наша большая печаль и тысяча заботъ и дѣлъ, послѣдовавшихъ за кончиной нашего дорогого друга, безусловно поглотили и наполнили наше существованіе. Мы находимся еще подъ гнетомъ этой жестокой утраты и не можемъ привыкнуть къ мысли, что навсегда должны отказаться отъ мысли увидѣть вновь этого добраго дорогого друга, котораго мы такъ нѣжно любили и который въ свою очередь такъ насъ любилъ. Мысль, что мы могли окружить его заботами до самой его смерти, — слабое утѣшеніе для насъ... А эта смерть, которую онъ призывалъ такъ давно, и которая освободила его отъ невыразимыхъ страданій, не менѣе для насъ ужасна; и пустота, которую онъ оставилъ послѣ себя, неизмѣрима и никогда не будетъ наполнена. Мы проживемъ здѣсь еще нѣкоторое время, не имѣя духа покинуть Les Frères, которые нашъ дорогой усопшій такъ любилъ, и которые теперь наполнены грустными сладостными воспоминаніями! Мнѣ всегда тяжело входить въ шалэ, гдѣ нашъ бѣдный Тургеневъ такъ сильно радалъ, и гдѣ мы проводили такіе печальные дни, приходя

¹⁾ „Первое собр. писемъ“, 228.

²⁾ Тамъ же, 377.

³⁾ Тамъ же, 407.

въ отчаяніе, что такъ мало въ состояніи облегчить его муки. Онъ пересталъ страдать только послѣдніе три дня, въ то же время потерявъ сознание, къ счастью, такъ какъ я надѣюсь и вѣрю, что онъ не видѣлъ приближенія смерти столь близкой и быстрой. Онъ внезапно и тихо скончался въ промежуткѣ двухъ вдоховъ. Мы всѣ были около него и никогда не забудемъ этой торжественной минуты. Онъ былъ дивной красоты на своемъ смертномъ одрѣ. Его прекрасное лицо, столь похудѣвшее и измѣнившееся, приняло выраженіе спокойствія и улыбки, какъ при жизни. Мы счастливы, что имѣемъ возможность хранить столь свѣтлое воспоминаніе объ его дорогихъ чертахъ, которыя мы видѣли такъ часто искаженными страданіями. Теперь онъ мирно повоится въ своей странѣ, которую онъ такъ любилъ, но здѣсь онъ оставилъ глубокое и неизгладимое воспоминаніе, ибо никто его такъ не зналъ, какъ мы, и никто не будетъ его такъ долго оплакивать¹⁾...

V.

Тургенева и до сихъ поръ часто называютъ, со словъ его покойной матери, „однолюбцемъ“ въ томъ смыслѣ, что онъ во всю свою жизнь любилъ, будто бы, одну женщину. Исключаются при этомъ только чисто внѣшнія, молодя увлеченія, какъ, на примѣръ, романтическіе эпизоды съ Ивановой (Калугиной) или дворовой дѣвушкой Θεоктистой. Въ доказательство приводятъ факты въ родѣ изложеннаго А. В. Щепкинымъ (въ „Русск. Вѣдом.“ 1899 г.), а именно: въ 50-ыхъ годахъ одна сосѣдка его по имѣнію, красавица, хотя и не первой молодости, сама предложила Тургеневу свою руку, но онъ отклонилъ лестное предложеніе. Однако, утверждающіе, что Иванъ Сергѣевичъ былъ „однолюбцемъ“, не знаютъ о такомъ случаѣ, на который мимоходомъ указывалъ еще Анненковъ въ своихъ воспоминаніяхъ, — на „трогательныя связи“ его съ Ольгой Александровной Тургеновой. Въ послѣднее время сталъ извѣстенъ еще другой крупный эпизодъ изъ жизни Ивана Сергѣевича подобнаго же характера: увлеченіе его баронессой Вревской, письма къ которой опубликованы въ V вып. „Щукинскаго сборника“ (1906 г.)²⁾. Мы обязаны рассмотретьъ оба факта, тѣмъ болѣе, что оба они

¹⁾ „Русск. Вѣдом.“, 1904 г., № 25.

²⁾ Въ сборникѣ фамилія корреспондентки скрыта, указаны только имя и отчество ея (Юлія Петровна).

самомъ дѣлѣ лишь подтверждаютъ сложившееся мнѣніе о Тургеневѣ.

Зима 1853—1854 г. была для Ивана Сергѣевича, только-что вернувшагося изъ ссылки, періодомъ блестящихъ свѣтскихъ успѣховъ. Вслѣдствіе ихъ, въ обществѣ распространились слухи о предстоящей будто бы женитьбѣ его. На обращаемые къ нему вопросы по поводу этихъ слуховъ Тургеневъ отвѣчалъ обыкновенно отрицательно. „Не могу не поблагодарить васъ за выраженія участія, — пишетъ онъ, напр., Леонтьеву 3 апрѣля 1854 года, — но долженъ вамъ объяснить, что дѣло, о которомъ идетъ рѣчь (моя женитьба), лишено всякаго основанія... И я, вѣроятно, когда-нибудь кончу, какъ всѣ, женитьбой, но это время еще не настало“¹⁾. Были, однако, люди, которымъ Тургеневъ отвѣчалъ нѣсколько иначе. Къ числу ихъ принадлежалъ прежде всего старикъ С. Т. Аксаковъ, къ которому Иванъ Сергѣевичъ заѣзжалъ на нѣсколько дней, въ маѣ 1854 года, въ его подмосковное Абрамцово. Доброта и обходительность автора „Семейной хроники“ заставили Тургенева настолько высказаться, что для Аксакова не могло остаться тайной дѣйствительное предположеніе Ивана Сергѣевича жениться на дѣвушкѣ, ради которой онъ и отправлялся на то лѣто въ Петергофъ. Сергѣй Тимофеевичъ даже погадалъ ему на картахъ. Тайны его, однако, не выдалъ никому: ни постороннимъ, ни сыновьямъ своимъ. Одиннадцатаго іюня старикъ писалъ Тургеневу: „Я получилъ наконецъ давно ожидаемое письмо отъ васъ, любезнѣйшій Иванъ Сергѣевичъ, но, увы, письмо оказалось неудовлетворительнымъ, т.-е. не сказало мнѣ ни слова о томъ, о чемъ я, по искреннему моему участію, всего болѣе желалъ знать. Я пробовалъ отыскивать иносказаній, но никакихъ не нашелъ. Итакъ, стало не о чемъ было писать, потому что вы вѣрно не забыли своего обѣщанія“. На эти строки отвѣтъ послѣдовалъ только 7-го августа: „Я вамъ не писалъ о тѣхъ планахъ, которые у меня были въ головѣ во время пребыванія моего въ Абрамцовѣ, потому что всѣ эти планы упали въ воду — карты сказали правду“. „Итакъ, карты сказали правду, — отвѣчаетъ въ свою очередь Аксаковъ: — я не повѣрилъ имъ и ожидалъ рѣшительно другого результата. Да будетъ все къ лучшему для васъ! Желаю этого сердечно, искренно“²⁾.

Дѣвушка, на которой мечталъ жениться Тургеневъ, была

¹⁾ „Русская Мысль“, 1886 г., № 12, стр. 74—75.

²⁾ „Русское Обозрѣніе“, 1894 г., кн. XI, стр. 16 и 17; „Вѣстникъ Европы“, г., кн. II, стр. 486.

дочерью небезызвѣстнаго въ свое время Александра Михайловича Тургенева, дальняго родственника Ивана Сергѣевича (1772 — 1863), въ гостепріимномъ и высоко-интеллигентномъ домѣ котораго на Милліонной онъ часто бывалъ еще до своей ссылки. Звали ее Ольгой; она была крестницей В. А. Жуовскаго и въ 1854 году ей минуло всего 18 лѣтъ ¹⁾. Своими душевными качествами, привлекательностью, а также музыкальными способностями она располагала къ себѣ даже такихъ суровыхъ и требовательныхъ людей, какимъ былъ В. П. Боткинъ ²⁾. П. В. Анненковъ, хорошо знавшій всю эту исторію неудавшейся женитьбы, высказался о ней довольно сдержанно и неопредѣленно: „Онъ (Тургеневъ) не отвѣчалъ ни на одну изъ симпатій, которыя шли ему навстрѣчу, за исключеніемъ развѣ трогательныхъ связей его съ О. А. Т. въ 1854. году, но и она длилась не долго и кончилась... мирнымъ разрывомъ и поэтическимъ воспоминаніемъ о прожитомъ времени“ ³⁾. Разрывъ былъ, однако, не слишкомъ „миренъ“, и воспоминанія о „прожитомъ времени“ были для Ивана Сергѣевича не безъ горечи. По свидѣтельству людей, близко знавшихъ семью Ольги Александровны, Тургеневымъ было взято назадъ сдѣланное предложеніе, что сильно потрясло бѣдную дѣвушку. Иванъ Сергѣевичъ сдѣлалъ отступленіе со всевозможной деликатностью, на какую только способна была его отзывчивая и честная натура, очевидно сама не вѣдавшая до послѣдняго момента, какъ сильна и неискоренима была старая привязанность, — но отъ этого другой сторонѣ было не легче. Ольга Александровна слегла, и потребовалось не мало времени, чтобы здоровье ея совершенно оправилось и окрепло ⁴⁾.

Иванъ Сергѣевичъ не порвалъ, однако, съ нею всѣхъ связей: онъ продолжалъ интересоваться ея судьбой, сочувственно слѣдилъ за нею. „Въ Парижѣ встрѣтилъ я Ольгу Александровну, — писалъ онъ 31 октября 1857 г. Анненкову: — она не совсѣмъ здорова и зиму будетъ жить въ Ниццѣ“. „О свадьбѣ Ольги Александровны ничего не слыхалъ. Она въ Ниццѣ и здоровье ея хорошо“, — писалъ онъ тому же корреспонденту черезъ три мѣсяца. Но слухъ о свадьбѣ подтвердился, и Ольга Александровна вскорѣ вышла замужъ за Сергѣя Николаевича Сомова. Тургеневъ, какъ бы успокоенный за судьбу своей бывшей невесты, рѣже сталъ упоминать о ней, а когда тревожный эпизодъ 1854 года отодвинулся:

¹⁾ „Русская Старина“, 1885 г., кн. IX, стр. 373.

²⁾ Фетъ. „Мои воспоминанія“, кн. I, стр. 210.

³⁾ „Вѣстникъ Европы“, 1884 г., кн. II, стр. 462.

⁴⁾ Извѣстно намъ лично отъ очевидцевъ этого эпизода.

отъ него еще дальше, онъ воспроизвелъ его въ сценахъ между Литвиновымъ и Татьяной романа „Дымъ“. Люди, близкіе къ Сомовой, утверждали, что сразу узнали въ невѣстѣ Литвинова Ольгу Александровну, и что даже старушка Капитолина Марковна, если отбросить ея наивный и добродушный демократизмъ, напомнила имъ Надежду Михайловну Еропкину, близкую родственницу и воспитательницу Ольги Александровны, посвятившую ей всю свою жизнь, всѣ свои силы. Въ 1872 году, 9 (21) іюня, Сомова скончалась въ Петербургѣ, оставивъ 6 человекъ дѣтей. Тургеневъ писалъ Анненкову по этому поводу: „Не знаю, дошло ли до васъ печальное извѣстіе о кончинѣ бѣдной Ольги Александровны Сомовой. Однимъ прекраснымъ, чистымъ существомъ на свѣтѣ меньше. Многое мнѣ вспомнилось... вспомнилось горько. Набѣгаютъ, набѣгаютъ тѣни на жизнь, и падаютъ онѣ не на одно настоящее или будущее, но и на прошедшее. И то становится тусклѣе и туманнѣе. Бѣдные оставленные ею сироты должны искать опоры въ старушкѣ Еропкиной“¹⁾.

VI.

Баронесса Юлія Петровна Вревская, какою ее встрѣтилъ Тургеневъ, была типомъ совсѣмъ иного склада, во многомъ противоположна Ольгѣ Александровнѣ. Насколько послѣдняя была еще совсѣмъ нетронута жизнью, настолько Вревская была ею потревожена, научена, впрочемъ отнюдь не сломлена. Сомова нуждалась въ руководствѣ, въ защитѣ, была пассивной натурой въ своей добротѣ и мягкости. Вревская отличалась активнымъ, дѣятельнымъ характеромъ; любила и цѣнила свободу, „золотую волюшку“ и гордо оберегала ее. Обѣ женщины чувствовали сильно и глубоко, но Ольга Александровна могла успокоиться и утѣшиться отъ понесенныхъ утратъ и разочарованій въ семейномъ кругу, въ тепломъ гнѣздышкѣ. Вревская только мечтала о послѣднемъ, на дѣлѣ же искала выхода своимъ неудовлетвореннымъ стремленіямъ въ борьбѣ, въ жертвѣ. Недаромъ она и погибла, ухаживая за тифозными въ войну 1877 года, куда ее утѣкло не исканіе опасностей, какъ „сильныхъ ощущеній“, а такая любовь къ родинѣ. Вотъ этой-то женщиной и заинтересовался Тургеневъ на 56-мъ году своей жизни.

Знакомство ихъ началось въ концѣ 1873 г. Уже 6 (18) апрѣля

¹⁾ „Русское Обозрѣніе“, 1898 г., кн. 4, стр. 371—372.

1874 г. Иванъ Сергѣевичъ писалъ ей изъ Парижа: „Мнѣ не нужно распространяться о томъ чувствѣ, нѣсколько странномъ, но искреннемъ и хорошемъ, которое я питаю къ вамъ, — вы это все лучше меня знаете“. Въ томъ же году, 21 іюля, Юлія Петровна пріѣхала къ Тургеневу въ Спасское и прогостила у него пять дней. Въ самый день ея отъѣзда онъ писалъ ей: „Когда вы сегодня утромъ прощались со мною, я—по крайней мѣрѣ мнѣ такъ кажется — не довольно поблагодарилъ васъ за ваше посѣщеніе. Оно оставило глубокой слѣдъ въ моей душѣ, и я чувствую, что въ моей жизни съ нынѣшняго дня однимъ существомъ больше, къ которому я искренне привязался, дружбой котораго я всегда буду дорожить, судьбами котораго я всегда буду интересоваться“. „Мнѣ все кажется, что если бы мы оба встрѣтились молодыми, неискушенными, а главное свободными людьми... докончите фразу сами“,—писалъ онъ ей въ сентябрѣ того же года. Черезъ мѣсяцъ онъ говоритъ ей въ письмѣ изъ Парижа: „Ваше прошедшее, котораго я не знаю, но которое навѣрное до сихъ поръ занимаетъ важное мѣсто въ вашей духовной жизни, наполняетъ нѣкоторымъ образомъ ваше настоящее, отнимая у васъ даже желаніе чего-нибудь новаго и навѣвая на васъ чувство резиньяціи и смиренія... но вы еще настолько молоды, что не можете серьезно думать объ устройствѣ себѣ гнѣзда, гдѣ бы „состарѣться и умереть“. Во всякомъ случаѣ мнѣ (я теперь говорю съ эгоистической точки зрѣнія) мнѣ бы хотѣлось встрѣтиться съ вами до подобнаго окончательнаго устройства вашей судьбы и до окончательнаго моего превращенія въ старика (о моей молодости рѣчи быть не можетъ)“. Въ іюнѣ 1875 года Тургеневъ вновь съѣхался съ Вревской въ Карлсбадъ, гдѣ оба они пили воды; черезъ годъ встрѣтились на родинѣ. Дружескія отношенія ихъ настолько укрѣпились, что Иванъ Сергѣевичъ рѣшился откровенно высказать то, о чемъ въ предыдущихъ своихъ письмахъ говорилъ лишь намеками. Въ началѣ (26 янв. с. с.) 1877 года онъ признавался ей: „Съ тѣхъ поръ, какъ я васъ встрѣтилъ, я полюбилъ васъ дружески и въ то же время имѣлъ неотступное желаніе обладать вами; оно было, однако, не настолько необузданно (да ужъ и не молодъ я былъ), чтобы попросить вашей руки, къ тому же другія причины препятствовали; а съ другой стороны, я зналъ очень хорошо, что вы не согласитесь на то, что французы называютъ *une passade*. Вотъ вамъ и объясненіе моего поведенія. Вы хотите увѣрить меня, что я не питалъ „никакихъ заднихъ мыслей“—увы! я, къ сожалѣнію слишкомъ былъ въ томъ увѣренъ. Вы пишете, что вашъ женск

вѣкъ прошелъ; когда мой мужской пройдетъ — а ждать мнѣ весьма не долго, — тогда, я не сомнѣваюсь, мы будемъ большіе друзья, потому что ничего насъ тревожить не будетъ. А теперь мнѣ все еще пока становится тепло и нѣсколько жутко при мысли: „ну, что если бы она меня прижала въ своему сердцу не по-братски?“ и мнѣ хочется спросить, какъ моя Марія Николаевна въ „Вешнихъ водахъ“: „Санинъ, вы умѣете забывать?“ Ну, вотъ вамъ и исповѣдь моя. Кажется, достаточно откровенно“. „Вы мнѣ говорите, — писалъ онъ ей вслѣдъ за этимъ (8 февраля с. с.), — что послѣднее мое письмо васъ смутило, и произносите при этомъ фразу, надъ которою я поломалъ таки себѣ голову. Впрочемъ, — вы сами вызвали меня на откровенность. Нѣтъ сомнѣнія, что нѣсколько времени тому назадъ, если вы бы захотѣли... Теперь — увы! время прошло — и надо только скорѣй пережить междуумочное время, чтобы спокойно вплыть въ пристань старости. Но все-таки мнѣ очень хочется васъ увидѣть. Двухъ мѣсяцевъ не пройдетъ, — какъ это сбудется; въ этомъ не сомнѣвайтесь. И тогда... что тогда? Ничего. Я буду имѣть удовольствіе поцѣловать ваши руки, которыя вы всегда съ какимъ-то ужасомъ принимаете — и только. Ну чтожъ; и этого довольно“. Свиданіе произошло въ концѣ мая, передъ самымъ отъѣздомъ Вревской на войну. Они встрѣтились въ Павловскѣ, на дачѣ у Я. П. Полонскаго ¹⁾. Вревской не суждено было вернуться на родину. Тургеневъ, вскорѣ послѣ ея кончины, — писалъ Полонскому 17 (29) апрѣля 1878 года: „Я самъ ежедневно съ особымъ чувствомъ скорби и жалости вспоминаю о бѣдной баронессѣ В., и твое стихотвореніе въ „Н. В.“ вызвало слезы на мои глаза. Чудесное было существо и столь же глубоко несчастное!“ ²⁾ Въ этомъ же мѣсяцѣ онъ посвятилъ ей памяти одно изъ лучшихъ своихъ „стихотвореній въ прозѣ“ ³⁾: „На грязи, на вонючей сырой соломѣ, подъ навѣсомъ ветхаго сарая, на скорую руку превращеннаго въ походный военный госпиталь, въ разоренной болгарской деревушкѣ — слишкомъ двѣ недѣли умирала она отъ тифа. Она была въ безпамятствѣ — и ни одинъ врачъ даже не взглянулъ на нее; больные солдаты, за которыми она ухаживала, пока еще могла держаться на ногахъ, — поочередно поднимались съ своихъ зараженныхъ логовищъ, чтобы поднести къ ея запек-

¹⁾ Интересное описаніе его находимъ въ воспоминаніяхъ К. Ободовскаго. „Историческій Вѣстникъ“, 1893 г., февраль, стр. 359 и слѣд.

„Первое собраніе пис.“, стр. 330.

„Памяти Ю. П. Вревской“.

горшка. Она была молода, красива; высшій свѣтъ ее знать; объ ней освѣдомлялись даже сановники. Дамы ей завидовали, мужчины за ней волочились... два-три человѣка тайно и глубоко любили ее. Жизнь ей улыбалась; но бываютъ улыбки хуже слезъ. Нѣжное, кроткое сердце... и такая сила, такая жажда жертвы! Помогать нуждающимся въ помощи... она не вѣдала другого счастья... не вѣдала и не извѣдала. Всякое другое счастье прошло мимо. Но она съ этимъ давно помирилась — и, вся пылая огнемъ неугасимой вѣры, отдалась на служеніе ближнимъ. Какіе завѣтные влады скоронила она тамъ, въ глубинѣ души, въ самомъ ея тайникѣ — никто не зналъ никогда, а теперь, конечно, не узнаетъ. Да и къ чему? Жертва принесена... дѣло сдѣлано. Но горестно думать, что никто не сказалъ спасибо даже ея трупъ, хоть она сама и стыдилась, и чуждалась всякаго спасибо. Пусть же не оскорбится ея милая тѣнь этимъ позднимъ цвѣткомъ, который я осмѣливаюсь возложить на ея могилу!

VII.

Какъ ни былъ привязанъ Иванъ Сергѣевичъ къ Вревской, какъ ни преклонялся предъ ея нравственными качествами, какъ, наконецъ, ни былъ взволнованъ иной разъ ея внѣшней привлекательностью, но, по собственному его признанію въ письмахъ къ ней же, не могъ измѣнить своей прежней, старинной привязанности. Онъ и въ этотъ разъ не промѣнялъ П. Віардо на новаго друга, какъ не въ силахъ былъ сдѣлать это и двадцатью годами раньше. Такъ оправдалось предсказаніе его покойной матери, что оба сына ея, Иванъ и Николай, будутъ „однолюбцами“, то-есть всю жизнь будутъ любить до конца только одну женщину.

Отвѣчала ли Полина Віардо на преданность и любовь Тургенева живымъ, искреннимъ чувствомъ, или только позволяла ему боготворить себя, благосклонно сносила его обожаніе? Намъ неизвѣстны письма ея къ Ивану Сергѣевичу, и вообще они едва-ли когда будутъ опубликованы, но свои чувства къ нему она не всегда скрывала и отъ постороннихъ. Людвигу Пичу, который называлъ П. Віардо „его (Тургенева) вѣрной подружкой въ жизни и смерти“, она такъ описывала кончину Ивана Сергѣевича: „За два дня до своей смерти онъ совершенно утратилъ всякое сознаніе, онъ уже не страдалъ болѣе: жизнь его молниеносно угасала и, послѣ двухъ всхлипываній, онъ скончался.“

всѣ были при немъ; онъ опять сталъ такъ же красивъ, какъ былъ нѣкогда, въ царственномъ покоѣ смерти... Въ первый день послѣ его смерти замѣтна была еще глубокая морщина между бровями, образовавшаяся подъ вліяніемъ судорожной боли. Это придавало ему строгій и энергичный видъ. На второй день на его лицѣ появилось прежнее доброе, пріятное выраженіе; были моменты, когда можно было ожидать, что онъ улыбнется. О, Боже, какое ужасное горе!¹⁾... М. М. Стасюлевичъ, вспоминая о тѣхъ печальныхъ дняхъ, пишетъ: „Мы были свидѣтелями искреннаго и глубокаго горя, какимъ была, видимо, удручена вся семья (Віардо), утратившая въ лицѣ покойнаго самаго дорогаго, близкаго и незабвеннаго члена семьи. Все дальнѣйшее только подтвердило то впечатлѣніе, какое мы вынесли въ день, послѣдовавшій за смертью Тургенева. Г-жа Полина Віардо, не имѣя возможности сама взять на себя проводы тѣла Ивана Сергѣевича въ Петербургъ, отправила представительницами семьи своихъ дочерей — г-жу Chamergot съ мужемъ и г-жу Duvernoy. Онѣ, прибывъ съ тѣломъ въ Петербургъ, присутствовали при памятномъ погребеніи тѣла Ивана Сергѣевича на Волковомъ кладбищѣ 27 сентября, и въ началѣ слѣдующаго мѣсяца 8 (20) октября возвратившись въ Парижъ, сообщили матери, какой онѣ нашли себѣ приемъ въ Петербургѣ, и какое было оказано имъ чрезвычайное вниманіе, именно какъ самымъ близкимъ лицамъ покойнаго, котораго вся семья считала своимъ самымъ дорогимъ членомъ. По этому случаю г-жа Полина Віардо писала мнѣ, тотчасъ же по возвращеніи ея дочерей, слѣдующее: „Les Frères, 21 octobre 1883.—Monsieur, mes enfants, arrivés hier soir de Russie, m'ont parlé avec tant d'émotion de l'accueil qu'on leur a fait à St.-Petersbourg, que je ne veux pas laisser passer la journée, sans vous dire combien je suis touchée et pénétrée de reconnaissance. Je sais, monsieur, que vous y êtes pour beaucoup. Vous avez agi en vrais amis de notre cher et inoubliable Tourgeneff, d'après le vieux dicton un peu altéré à notre usage réciproque: „Les amis de notre ami sont nos amis“. Merci donc à mes chers Russes!.. Votre reconnaissante Pauline Viardot“.

(„Дѣти мои, прибывъ вчера вечеромъ изъ Россіи, рассказывали мнѣ съ такимъ воодушевленіемъ о приемѣ, какой имъ былъ сдѣланъ въ С.-Петербургѣ, что я не хотѣла пропустить и одного я, не выразивъ вамъ, какъ я тронута тѣмъ и преисполнена агодарности. Я знаю, что и вы принимали въ этомъ немалое

¹⁾ „Иностранная критика о Тургеневѣ“, 182—183.

участіе. Всѣ вы дѣйствовали, какъ истинные друзья нашего дорогого и незабвеннаго Тургенева, по старой поговоркѣ, нѣсколько видоизмѣненной для насъ взаимно: „Друзья нашего друга—наши друзья“. Итакъ, благодарю дорогихъ мнѣ русскихъ!.. Признательная вамъ—Полина Віардо“) 1). Такъ же благоговѣнно относилась она къ памяти Ивана Сергѣевича и много лѣтъ спустя послѣ его кончины. Въ письмахъ ея, напечатанныхъ въ № 85 (30 марта) „Орловскаго Вѣстника“ 1897 г., Полина Віардо называетъ Тургенева „mon inoubliable grand ami“, „regretté Ivan Serguéévitch“.

Одна изъ любимыхъ ученицъ знаменитой гѣвницы — м-ле С. М. 2)—писала намъ, что П. Віардо давала ей урокъ уже на другой день послѣ смерти своего мужа, и была при этомъ относительно спокойной, тогда какъ послѣ смерти Тургенева она въ теченіе двухъ недѣль не только не могла приступить къ занятіямъ, но почти не выходила изъ своей комнаты. Хотя она заранѣе была подготовлена къ рововому исходу тяжелой болѣзни своего друга и ожидала развязки со дня на день, все-таки была такъ подавлена несчастьемъ, что на нее безъ жалости невозможно было смотрѣть. Оправившись нѣсколько отъ постигшаго ее удара, П. Віардо безпрестанно сводила разговоры на Тургенева; имя же покойнаго мужа упоминала только въ самыхъ необходимыхъ случаяхъ. „Хотя—поясняетъ м-ле С. М.—Луи Віардо умеръ окруженный заботливымъ вниманіемъ дѣтей и г-жи Віардо, безукоризненно исполнившей свой долгъ до послѣдняго его вздоха. Внѣшнія же приличія ея были соблюдены вплоть до траура“.

Впрочемъ біографическая литература объ Иванѣ Сергѣевичѣ и не отрицаетъ въ концѣ концовъ, что П. Віардо даже способствовала постоянной близости Тургенева къ себѣ и къ семьѣ своей. Только находились скептики, которые пробовали объяснить этотъ фактъ не привязанностью съ ея стороны, не искренней симпатіей и любовью къ Тургеневу, а... корыстью. Всего рѣшительнѣе утверждала это съ свойственной ей беззащитностью А. М. Головачева-Панаева. Въ своихъ воспоминаніяхъ она характеризуетъ П. Віардо, какъ особу въ высшей степени алчную, безсердечную, которая будто бы и принимать-то Тургенева стала наравнѣ съ другими лишь со дня смерти его матери (1850 г.) 3) когда Иванъ Сергѣевичъ сталъ богатымъ человѣкомъ 3). Но

1) „Вѣстн. Европы“ 1907 г., апр., 413—414.

2) Ее называетъ П. Віардо въ списокъ своихъ лучшихъ ученицъ, приведенъ на стр. 20 брошюры „Pauline Viardot-Garcia“ Torrigi-Heiroth. Genève, 1901.

3) „Историч. Вѣстн.“, 1889 г., мартъ, 542—543.

томъ-то и дѣло, что пока Тургеневъ не получалъ изъ дому ни гроша (1848—1849), онъ особенно часто и пользовался гостеприимствомъ П. Виардо ¹⁾. Еще до кончины его матери, П. Виардо предложила Ивану Сергѣевичу взять къ себѣ на воспитаніе его дочь. Судьба послѣдней, такимъ образомъ, была рѣшена въ то время, когда Тургеневъ по собственному признанію совсѣмъ не могъ надѣяться на помощь изъ родительскаго дома ²⁾. Неужели все это указываетъ на корыстную любовь? Разсчитывать на будущее П. Виардо не могла, такъ какъ онъ, уѣзжая въ 1850 г. на родину, не надѣялся скоро увидѣться съ французскими друзьями, и дѣйствительно не видался съ ними шесть лѣтъ. Мало ли что могло произойти за это время? Тургеневъ могъ потерять наслѣдство, могъ жениться, могъ, наконецъ, умереть. Но и сдѣлавшись богатымъ помѣщикомъ, онъ не возбуждалъ никакого довѣрія къ своимъ финансовымъ способностямъ не только въ людяхъ корыстныхъ, но и просто разсчетливыхъ. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ лишь прочесть его письма къ брату или письма В. П. Боткина къ Фету, тѣ мѣста, гдѣ говорится о денежныхъ дѣлахъ Ивана Сергѣевича.

VIII.

Но если нельзя сомнѣваться въ безкорыстіи П. Виардо, то можно найти въ отношеніяхъ ея къ своему другу два-три факта, необъяснимые съ другой стороны. Приведемъ наиболѣе рѣзкій изъ нихъ. Вызванный Полиною Виардо въ мартѣ 1871 года изъ Россіи въ Лондонъ письмами нѣсколько тревожнаго характера, Иванъ Сергѣевичъ такъ затѣмъ писалъ И. П. Борисову о приѣздѣ своемъ въ столицу Англій. „Ровно недѣлю тому назадъ прибылъ я сюда, и на другой же день занемогъ, слегъ въ постель, да вотъ только сегодня въ первый разъ вышелъ изъ комнаты. Самъ я слегъ, а Виардо на нѣсколько дней уѣхали погостить къ друзьямъ на берегъ моря. Такимъ образомъ, я очутился вдругъ почти одинъ въ этомъ страшнѣйшемъ городищѣ“. Да еще въ очень неудобной и тѣсной квартиркѣ, какъ пояснялъ онъ одновременно въ другомъ письмѣ,—въ М. А. Милютиной. „Но мнѣ было недурно, я отдохнулъ. Только ночи были скверныя. Ну,

См. въ моей книгѣ: „И. С. Тургеневъ“, глава IV.

1) Письмо къ Краевскому отъ 3 ноября (н. с.) 1849 г. въ „Отчетѣ Импер. П. ч. за 1890 г.“ и письмо къ П. Виардо отъ 9 сент. 1850 г.

да это все ничего“, — утѣшалъ Иванъ Сергѣевичъ Борисова ¹⁾. Что же все это значить, какъ не холодность со стороны П. Виардо, доходящая до эгонзма, до черствости, — подумаетъ читатель, особенно если онъ сопоставитъ этотъ фактъ съ другимъ, приводимымъ Полонскимъ въ его воспоминанiяхъ о лѣтѣ, проведенномъ имъ, въ 1881 г., въ Тургеневской усадьбѣ. Полонскiй пишетъ, что однажды Иванъ Сергѣевичъ былъ сильно встревоженъ. „М-ше Виардо писала ему, что ее въ носъ укусила муха, что носъ ея распухъ и что она ходитъ, перевязавши платкомъ лицо свое. Въ письмѣ она прислала и рисунокъ перомъ, изображающiй профиль съ перевязаннымъ носомъ.—Если это ядовитая муха и заразила кровь, то это опасно... Я долженъ ѣхать во Францiю, — проговорилъ Тургеневъ. — Все бросить! и твое Спасское, и насъ, и твои занятiя, и ѣхать! — Все бросить... и ѣхать.—Началось перебрасыванiе телеграммъ изъ Спасскаго въ Буживаль, изъ Буживаля въ Спасское. Слава Богу, ѣхать оказалось ненужнымъ: опухоль носа стала проходить и не предвидѣлось никакой опасности“ ²⁾. Сопоставляя эти два факта, столь различные по своей вѣщности, можно, пожалуй, много позволить не только по адресу П. Виардо, но и насчетъ Тургенева. Предполагая лишь возможность подобныхъ случаевъ, но не приводя ни одного изъ нихъ, Фетъ вкладываетъ въ уста Ивана Сергѣевича слѣдующее признанiе: „Я подчиненъ воли этой женщины (П. Виардо). Она давно и навсегда заслонила отъ меня все остальное, и такъ мнѣ и надо. Я только тогда блаженствую, когда женщина каблукомъ наступитъ мнѣ на шею и вдавитъ мое лицо носомъ въ грязь. Боже мой! — воскликнулъ онъ, заламывая руки надъ головою и шагая по комнатѣ:—какое счастье для женщины быть безобразной!“ ³⁾ Тирада эта, очевидно въ виду ея эффе́ктивности, не разъ повторялась биографами Ивана Сергѣевича. На самомъ дѣлѣ она совершенно недопустима именно въ устахъ Тургенева. Во-первыхъ, ни откуда не видно, чтобы Иванъ Сергѣевичъ „блаженствовалъ“, подвергаясь такимъ „вдавливаньямъ лицомъ въ грязь“, какимъ является, напримѣръ, оставленiе его больнымъ, одинокимъ, въ дурной квартирѣ въ чужомъ городѣ; а во-вторыхъ, подобныя выраженiя предполагаютъ извращенiе любовнаго чувства, почти половую ненормальность. Какъ все это похоже на Тургенева! Какъ это похоже на человѣка,

¹⁾ „Перв. собр. пис.“, 189, 191.

²⁾ „Нива“, 1884 г., стр. 116.

³⁾ Фетъ. „Мои воспоминанiя“, I, 159.

который удивлялъ французскихъ друзей своимъ полнымъ непониманіемъ какихъ бы то ни было уклоненій отъ простыхъ, естественныхъ формъ любви. Альфонсъ Додэ, когда услышалъ отъ Ивана Сергѣевича о его „наивности“, сказалъ ему на ухо полупотомъ: „Никогда, mon cher, въ этомъ не признавайтесь, иначе вы покажетесь просто смѣшнымъ—насмѣшите всѣхъ“¹⁾... Гонкуръ отмѣчаетъ въ своемъ дневникѣ (28 янв. 1878 г.): „La conversation est d'abord polissonne, et Tourgueneff nous écoute avec l'étonnement un peu médusé d'un barbare, qui ne fait l'amour que très naturellement“²⁾ („Разговоръ идетъ сначала въ шаловливомъ направленіи, и Тургеневъ слушаетъ насъ съ какимъ-то окаменѣлымъ изумленіемъ варвара, который представляетъ любовь только въ совершенно естественной формѣ“). Кромѣ того, взглядъ Ивана Сергѣевича на женщину и его отношеніе къ П. Віардо совершенно не допускаютъ, чтобы онъ высказалъ Фету такую ересь, будто женщина, чѣмъ безобразнѣе, тѣмъ счастливѣе. И когда это онъ называлъ П. Віардо „безобразной“ въ какомъ бы то ни было смыслѣ и въ какой бы то ни было формѣ—серьезной или шутилой? „Какія чудныя черты!“—говорилъ онъ однажды, долго и съ любовью разсматривая портретъ ея въ присутствіи А. И. Абариновой³⁾. Вотъ какъ онъ обыкновенно выражался о своемъ другѣ.

Но отвергнувъ свидѣтельство Фета, какъ неудачную и мало остроумную импровизацію, какое же объясненіе можемъ мы дать фактамъ въ родѣ описаннаго выше одиночества больного Тургенева въ Лондонѣ? Судя по письмамъ къ намъ упомянутой выше м-ше С. М., мужъ Полины, Луи Віардо, легко могъ быть причиною подобнаго неожиданнаго рѣшенія. Относясь совершенно равнодушно къ своей женѣ, какъ къ женщинѣ и какъ къ матери семейства, Луи Віардо интересовался еще ея заработкомъ, что и высказывалось у него иной разъ въ очень грубой и эгоистической формѣ. Подчиняясь въ интересахъ собственнаго комфорта порядкамъ, устанавливаемымъ въ семьѣ хозяйкою, уступая ея уму, характеру и такту, онъ внезапно заявлялъ о своемъ положеніи, какъ главы семьи, самой деспотической и неумной выходкой, которая не переходила въ скандалъ только благодаря чуждости и выдержкѣ его жены. Невольной для Полины Віардо жертвой подобнаго самодурства и могъ явиться Турге-

¹⁾ Воспоминанія Полонскаго, „Нива“, 1884 г., стр. 91.

²⁾ Journal, VI, 9.

³⁾ См. ея воспоминанія въ январской кн. „Истор. Вѣсти.“ за 1901 годъ.

невъ въ свой мартовскій прїездъ въ Лондонъ. Оберегая покой семьи, Иванъ Сергѣевичъ долженъ былъ, конечно, считаться съ „сухимъ, эгоистичнымъ“ характеромъ Луи Виардо, съ его „полной индифферентностью“ къ Полинѣ, какъ выражалась о немъ m-lle С. М. Впрочемъ не можетъ быть сомнѣнїя, что чрезвычайныя денежныя траты Тургенева на его семью въ Лондонскій періодъ ихъ жизни, траты, о размѣрахъ которыхъ мы говорили выше, скорѣе умягли здѣсь сердце супруга, чѣмъ обычный таить его жены. Да и какъ же могло быть иначе, если Луи Виардо въ сущности занятъ былъ только собою? Недаромъ же мы очень рѣдко встрѣчаемъ его степенную фигуру въ различныхъ воспоминанїяхъ о знаменитой артисткѣ и объ Иванѣ Сергѣевичѣ. Послѣдній упоминаетъ о немъ обыкновенно лишь въ разсказахъ о совмѣстныхъ съ нимъ охотничьихъ экскурсіяхъ въ Баденъ и во Франціи, при чемъ называетъ его своимъ „другомъ“, а иногда „своимъ казначеемъ“.

IX.

Въ доказательство того, что Иванъ Сергѣевичъ не встрѣчалъ надлежащаго отклика, сочувствїя въ своей любви, нѣкоторые ссылались на его литературныя произведенїя, въ которыхъ Тургеневъ является будто бы не только пѣвцомъ несчастной любви, но и склоннымъ изображать безусловное, часто безсердечное господство женщины надъ увлеченнымъ ею мужчиной, попадавшимъ вслѣдствїе этого даже въ униженное положенїе. Для примѣра указывали на Алексѣя Петровича, героя „Переписки“, на Пѣтушкова въ разсказѣ того же имени, на Потугина въ „Дымѣ“. Но авторъ „Дворянскаго гнѣзда“ останавливалъ свое вниманїе въ равной силѣ, какъ на естественномъ развитїи и обычныхъ катастрофахъ сердечнаго чувства, такъ и на осложненїяхъ и неожиданныхъ переменѣхъ въ немъ, даже на тѣхъ сторонахъ любви, которыя обыкновенно ускользаютъ отъ вниманїя образованнаго человѣка. Мы находимъ у Тургенева одинаковое мастерство изображенїя и психологическаго анализа и тамъ, гдѣ онъ повѣствуетъ о разочарованїи въ любимомъ человѣкѣ („Рудинъ“, „Затишье“, „Несчастливая“), и тамъ, гдѣ онъ характеризуетъ слишкомъ запоздавшее чувство („Ася“, „Клара Милитъ). Онъ захватываетъ читателя и тогда, когда изображаетъ умѣ молчать, скрывать свое увлеченїе („Яковъ Пасынковъ“) и къ говорить о завистливой любви тѣхъ героевъ, отъ лица кото-

ведется рассказъ въ томъ же „Яковъ Пасынковъ“ или „Пунинъ и Бабуринъ“. Измѣна незнакомца „Трехъ встрѣчъ“ или Андрея Колосова, измѣна Алексѣя Петровича Маріи Александровнѣ („Переписка“), измѣна Литвинова Татьянѣ („Дымъ“) — всѣ эти катастрофы совсѣмъ не однородны, а описаны съ одинаковой силой и правдивостью. Гордая борьба Базарова съ своимъ чувствомъ къ Одинцовой и Литвинова съ своей страстью къ Иринѣ — двѣ драмы различнаго порядка, а развѣ возможно сказать, которая изъ нихъ ближе къ художественной правдѣ? Если же сдѣлать попытку подраздѣленія дѣйствующихъ лицъ его повѣстей на счастливыхъ и несчастныхъ въ любви, то среди послѣднихъ — женщинъ окажется больше, чѣмъ мужчинъ. Не дѣлать же изъ этого выводъ, что и П. Виардо слѣдуетъ причислить къ указанному большинству.

Но вотъ что важнѣе всего: творчество Ивана Сергѣевича отразило въ себѣ многія его увлеченія, какъ, напр., связь съ Теофистой ¹⁾, неудачный романъ съ Ольгой Александровной Тургеневой, только не любовь и дружбу его къ П. Виардо. Указаніе на причину этого страннаго какъ будто факта находимъ въ письмѣ Тургенева къ Стасову (отъ 25 дек. 1871): „Съ вашимъ воззрѣніемъ на бракъ я — en gros — согласенъ; я бы даже расширилъ это воззрѣніе и примѣнилъ бы ко всякому постоянному общенію съ женщиной: вы знаете, браки бывають неофіціальныя: эта форма даже иногда является болѣе ядовитой, чѣмъ общепринятая. Вопросъ этотъ мнѣ, точно, хорошо извѣстенъ и изученъ мною основательно. Если я до сихъ поръ не коснулся его въ моихъ литературныхъ попыткахъ, такъ это просто потому, что я всегда избѣгалъ слишкомъ субъективныхъ сюжетовъ: они меня стѣсняють. Когда это все еще дальше отодвинется отъ меня, я, пожалуй, подумаю и постараюсь, если только охота къ писанію не пропадетъ“ ²⁾. Нѣтъ надобности буквально примѣнять эти строки къ „постоянному общенію“ Ивана Сергѣевича съ Полиной Виардо, но указаніе на „стѣсненіе“ отъ слишкомъ „субъективныхъ сюжетовъ“ имѣеть здѣсь безусловную силу. Мысль Тургенева будетъ еще яснѣе, если эту выписку сопоставить съ слѣдующимъ мѣстомъ письма его къ Ардову отъ 15 (27) августа 1877 года: „Я увѣренъ, что пребываніе ваше въ деревнѣ будетъ полезно вамъ и съ литературной точки зрѣнія: набирайтесь какъ можно больше впечатлѣній“.

¹⁾ См. въ книгѣ моей: „И. С. Тургеневъ“, стр. 138—140.

²⁾ Сѣверн. Вѣстн., 1888 г., № 10, стр. 164.

тлѣннѣй—но не думайте, пока, передавать ихъ. Это придетъ со временемъ. Резервуаръ не можетъ въ одно и то же время набирать въ себя воду и выпускать ее. „Записки охотника“ наводнили во мнѣ цѣлыхъ 10 лѣтъ“¹⁾.

X.

Въ доказательство безнадежности любви Ивана Сергѣевича пробовали ссылаться даже на его будто бы собственные признанія, „что онъ умираетъ съ разбитымъ сердцемъ, что всю жизнь носился съ сокровищемъ, которое гроша не стоитъ“, и т. д.²⁾. Самая серьезная изъ этихъ ссылокъ была сдѣлана М. Г. Савиной въ ея разказѣ Ю. Бѣляеву о знакомствѣ съ Тургеневымъ. „Однажды послѣ длиннаго чистосердечнаго признанія (со стороны Савиной),—пишетъ Ю. Бѣляевъ,—Тургеневъ, увлекшійся, вдругъ всталъ и взялъ Савину за руку.—Пойдемте ко мнѣ въ кабинетъ,—сказалъ онъ,—я хочу прочесть вамъ то, что никогда и никому не читалъ. Они пошли. И вотъ въ кабинетѣ Тургеневъ досталъ изъ письменнаго стола записную книжку и, усадивъ Савину въ кресло, сказалъ:—Это мои стихотворенія въ прозѣ. Я уже послалъ ихъ Стасюлевичу... кромѣ одного, котораго никогда не напечатаяю.... никогда...—Что же это за стихотвореніе въ прозѣ?—полюбопытствовала Савина.—Его-то я вамъ и хочу прочесть. Видите ли, оно даже не въ прозѣ... Это настоящее стихотвореніе и называется: „Къ ней“.—И взволнованнымъ голосомъ онъ прочелъ это грустное элегическое посланіе.—Помню,—разсказываетъ Савина,—что въ этомъ стихотвореніи описывалась непонятая любовь, долгая любовь въ теченіе цѣлой жизни. „Ты сорвала всѣ мои цвѣты“, говорилось тамъ, „и ты не придешь на мою могилу“... Окончивъ чтеніе, Тургеневъ нѣкоторое время молчалъ.—Что же будетъ съ этимъ стихотвореніемъ?—не выдержала Савина.—Я сожгу его... Нельзя печатать, потому что иначе это будетъ упрекъ, упрекъ изъ-за могилы... А я не хочу этого... не хочу... И немного спустя они уже говорили о другомъ. Савина опять разсказывала, а Тургеневъ слушалъ и ухмылялся...“³⁾ М. Г. Савина очень любила Ивана Сергѣевича и такъ горячо принимала къ серд

¹⁾ „Русск. Вѣдом.“, 1904 г., № 25.

²⁾ „Сѣверн. Вѣсти.“, 1887 г., кн. 3, стр. 82 („Мое знакомство съ Тургеневымъ“)

³⁾ „Нов. Время“, 1903 г., № 9950.

его интересы, что еще при жизни Тургенева невольно преувеличивала его невзгоды и склонна была видѣть окружающую его обстановку въ мрачномъ свѣтѣ. Посѣтивъ, наприимѣръ уже неизлечимо больного Ивана Сергѣевича въ Парижѣ (1882 г.), она передавала потомъ свои впечатлѣнія Я. П. Полонскому именно въ такой окраскѣ. Тургеневъ писалъ послѣдному по поводу рассказовъ о немъ Савиной: „Только—чудачка же она! Изъ всѣхъ моихъ 4 комнатъ она видѣла только одну—спальню, которая не меньше и не ниже обыкновенныхъ парижскихъ спаленъ. Музыка подо мною не только не надоѣдала мнѣ—но я даже истратилъ 200 фр. для устройства слуховой длинной трубы, чтобы лучше ее слышать; Виардо точно очень старъ—да вѣдь и я не розанчикъ—и видѣлъ я его всего разъ въ день и то на 5 минутъ; а прелестныя дѣти г-жи Виардо и она сама безпрестанно у меня сидѣли. Жалѣть обо мнѣ можно было только потому, что я боленъ, и кажется неизлечимо; во всѣхъ другихъ отношеніяхъ я какъ сыръ въ маслѣ катался“¹⁾. Нѣтъ сомнѣнія, что подобное преувеличеніе имѣемъ и въ рассказѣ Савиной, изложенномъ въ „Новомъ Времени“.

XI.

Однажды, лѣтомъ 1881 года, будучи въ Спасскомъ, Иванъ Сергѣевичъ рассказывалъ между прочимъ Е. Гаршину про свою встрѣчу, въ концѣ пятидесятихъ годовъ, съ швейцаромъ петербургскаго университета, извѣстнымъ „Савельичемъ“, знавшимъ его еще студентомъ. Старикъ Савельичъ такъ привѣтствовалъ его: „Слышали мы про васъ, слышали. Писатель вы стали знаменитый. Только, знаете, не того мы отъ васъ ожидали, г. Тургеневъ!“ „Я не спрашивалъ,—говорилъ Иванъ Сергѣевичъ,—чего отъ меня ожидалъ Савельичъ, но меня тогда очень занималъ этотъ вопросъ, и только теперь, наканунѣ смерти, я понимаю, что дѣйствительно не того отъ меня тогда нужно было ожидать. А нужно было мнѣ тогда жениться на хорошей русской барышнѣ, были бы у меня свои дѣти“²⁾... Но едва-ли можно серьезно разсуждать въ этомъ съ Тургеневымъ. Вѣдь ничего, кромѣ горя и невеселыхъ воспоминаній, не дала ему родная мать; обманула его ожиданія родная дочь, въ которой онъ и не слишкомъ

¹⁾Перв. собр. писемъ“, 436—438.

²⁾Истор. Вѣстн.“, 1883 г., ноябрь, 397.

много искалъ. Почему же „хорошая русская барышня“, ставъ женою Тургенева, непременно принесла бы ему счастье? Конечно, и самъ Иванъ Сергѣевичъ, удивлявшій въ то же лѣто Полонскаго силою своей привязанности къ П. Віардо, высказалъ Е. Гаршину не болѣе какъ мимолетную фантазію, сладкую мечту о собственной семьѣ, мечту, навѣянную тихимъ деревенскимъ вечеромъ среди любимыхъ липовыхъ аллей своего сада. Старика приласкалъ горячій, живой привѣтъ его родины послѣ многихъ лѣтъ предшествовавшей опалы, и позабылъ онъ былое горе среди своихъ кровныхъ и близкихъ; показалось ему, что ничего, кромѣ радостей, покоя да приволья, родимая сторонюшка не могла и не можетъ дать всякому любящему ее...

Только признавая полную взаимность чувствъ Тургенева и П. Віардо и ни на минуту не забывая въ то же время, что Иванъ Сергѣевичъ „прикрѣпился, вошелъ въ составъ чужой семьи“, „сидѣлъ на краешкѣ чужого гнѣзда“, только тогда и можемъ мы понять тѣ противорѣчія въ настроеніяхъ и чувствахъ, какія невольно останавливаютъ вниманіе изучающаго исторію его сердца, если позволительно такъ выразиться. Только тогда будутъ понятны намъ и тѣ грустныя жалобы на свое одиночество, которыя, то ослабѣвая, то усиливаясь, проскальзывали въ его корреспонденціи и даже въ его творчествѣ. Читая письма Ивана Сергѣевича, мы найдемъ сколько угодно выражений самой нѣжной любви и преданности къ П. Віардо, не допускающихъ, исключаящихъ именно тѣ строки письма его къ Анненкову (января 1861 г.), которыя служатъ отвѣтомъ на извѣстіе о женитбѣ послѣдняго: „Слава Богу! Свилъ себѣ человекъ гнѣздо, вошелъ въ пристань,—не всѣ мы, стало быть, еще пропали! То, о чемъ я иногда мечталъ для самого себя, что носилось передо мною, когда я рисовалъ образъ Лаврецкаго,—совершилось надъ вами, и я могу признать все, что дружба имѣетъ благороднаго и чистаго въ томъ свѣтломъ чувствѣ, съ которымъ я благословляю васъ на долгое и полное счастье. Это чувство тѣмъ свѣтлѣе, чѣмъ гуще ложатся тѣни на собственное мое будущее, я это сознаю и радуюсь безкорыстію своего сердца“¹⁾. Всѣ заботы Ивана Сергѣевича о дѣтяхъ П. Віардо проникнуты такимъ радостнымъ чувствомъ, столько волненій счастья сказывается въ извѣстіяхъ, сообщаемыхъ имъ объ ихъ успѣхахъ, удачахъ, что невольно думаешь, читая ихъ: чего же нужно больше человеку А между тѣмъ, сколько затаенной скорби слышится въ слѣдующихъ

¹⁾ „Вѣстн. Европы“, 1885 г., III, 485.

щихъ словахъ письма его въ Анненкову отъ 28 авг. 1867 г.: „Вотъ вы и отецъ теперь, отецъ ребенка, подареннаго вамъ любимой женщиной. Подобнаго счастья я никогда не испытывалъ и радуюсь, что оно достается человѣку, котораго я люблю“. Иванъ Сергѣевичъ неоднократно говорилъ, что онъ привѣрнулся, вошелъ въ составъ семьи Віардо; ея домъ онъ называетъ: „мой домъ“, про П. Віардо и ея дочерей онъ выражается: „мои дамы“; въ одномъ письмѣ читаемъ: „Я говорю: „мы“, т.-е. семейство Віардо и я“. И въ то же время мы слышимъ отъ него жалобы на одиночество. Осенью 1856 года онъ пишетъ, напр., своимъ друзьямъ, что немедленно покинулъ бы несимпатичный ему Парижъ, если-бъ нѣ „старинная, неразрывная связь съ однимъ семействомъ“, а двѣ недѣли спустя у него вырывается восклицаніе: „Осужденъ я на цыганскую жизнь—и не свить мнѣ, видно, гнѣзда нигдѣ и никогда!“¹⁾ То же пишетъ и черезъ двадцать сличкомъ лѣтъ въ превосходномъ стихотвореніи въ прозѣ „Голуби“, ованчивающемся такими строками: „Визжитъ вѣтеръ, мечется, какъ бѣшенный; мчатся рыжія, низкія, словно въ ключья разорванныя облака; все закрутилось, смѣшалось; захлесталъ, закачался отвѣсными столбами рьяный ливень; молніи слѣпятъ огнистой зеленью; стрѣляетъ, какъ изъ пушки, отрывистый громъ, запахло сѣрой... Но подъ навѣсомъ крыши, на самомъ краешкѣ слухового окна, рядышкомъ сидятъ два бѣлыхъ голубя—и тотъ, кто слеталъ за товарищемъ, и тотъ, кого онъ привелъ и, можетъ быть, спасъ. Нахохлились оба—и чувствуютъ каждый своимъ крыломъ крыло сосѣда. Хорошо имъ! И мнѣ хорошо, глядя на нихъ... Хоть я и одинъ... одинъ, какъ всегда“. Повторяемъ: только при глубокомъ, сердечномъ откликѣ не-свободной женщины на любовь свободнаго человѣка могли явиться подобныя противорѣчія; только при этихъ условіяхъ и возможна у послѣдняго та нравственная неудовлетворенность, то чувство одиночества, которыя нерѣдко испытывалъ Тургеневъ.

XII.

Если извѣстная горечь, тоска одиночества примѣшивались къ чувствамъ Ивана Сергѣевича, то не являлась ли, дѣйствительно, эта дружба какимъ-то роковымъ недоразумѣніемъ, не были ли безплодными всѣ усилія его найти счастье въ любимой

¹⁾ „Перв. собр. писемъ“, 28 и 31.

женщинѣ? Подобный вопросъ ставила ему и сама П. Виардо. Въ 1859 году Тургеневъ купилъ въ Парижѣ тетрадь, хранящуюся нынѣ въ Императорской Публичной Библиотекѣ. На первомъ листѣ ея П. Виардо написала своей рукой: „Puissé-je vous porter bonheur! P. V.“. Вслѣдъ за этой надписью слѣдуетъ черновой текстъ „Наканунѣ“, въ концѣ котораго мы находимъ отвѣтъ на вопросъ его друга, находимъ въ трогательныхъ и горестныхъ размышленіяхъ Елены у постели ея умирающаго мужа: „Я была счастлива не одиѣ только минуты, не часы, не цѣлыя дни — нѣтъ, цѣлыя недѣли сряду. А съ какого права? Ей стало страшно своего счастья... А если это нельзя?—подумала она. Если это не дается даромъ? Вѣдь это было небо... а мы люди, бѣдные, грѣшные люди“... „Но если это наказаніе“, подумала она опять: „если мы должны теперь внести полную уплату за нашу вину? Моя совѣсть молчала, она теперь молчитъ, но развѣ это—доказательство невинности? О, Боже, неужели мы такъ преступны! Неужели Ты, создавшій эту ночь, это небо, захочешь наказывать насъ за то, что мы любили!“ — „А горе бѣдной одинокой матери?“ —спросила она себя, и сама смутилась и не нашла возраженій на свой вопросъ. Елена не знала, что счастье каждаго человѣка основано на несчастьи другого, что даже его выгода и удобство требуютъ, какъ статуя—пьедестала, невыгоды и неудобства другихъ“. Страданія Елены, такимъ образомъ, являются искупленіемъ не столько за счастье, все же испытанное ею, сколько за то горе, какое роковымъ образомъ причинили эти свѣтлыя „небесныя“ радости другимъ людямъ, другому лицу. Творчество Ивана Сергѣевича въ вопросѣ о личномъ счастьи, о довольствѣ жизнью, не исчерпываются этимъ выводомъ, но послѣдній можетъ служить отвѣтомъ на тотъ вопросъ, который поставленъ былъ въ началѣ Тургеневской рукописи Полиною Виардо.

XIII.

Будучи первокласснымъ писателемъ, интересуясь болѣе всего литературой, ставя ее на почетнѣйшее мѣсто въ сферѣ человѣческой дѣятельности, Тургеневъ не особенно любилъ, однакъ когда его считали и называли литераторомъ *par excellence*, и сателемъ по преимуществу. Протестуя противъ такого взгляда онъ обыкновенно ссылался на интересы чисто личнаго чувства на свою привязанность къ П. Виардо. Такъ И. А. Гончаровъ въ своемъ извѣстномъ письмѣ къ Ивану Сергѣевичу отъ

марта 1859 г., пишетъ, между прочимъ: „Не повѣрилъ я вамъ и въ томъ, когда вы такъ „натурально“ увѣрили меня, что будто литературное ваше значеніе вовсе не занимаетъ васъ, что вы касаетесь литературы такъ, мимоходомъ, а что живете въ васъ „старая мечта, старая любовь“, и по ней тоскуете вы, по неосуществленію ея. Простите, мнѣ послышались въ этихъ словахъ стихи:

И знаетъ Богъ, и видитъ свѣтъ:

Онъ—бѣдный гетманъ двадцать лѣтъ... 1)

Въ 1876 году о томъ же самомъ свидѣтельствовала А. Половцевъ: „Гуляя съ Иваномъ Сергѣевичемъ по одной изъ тѣнистыхъ аллей сада, я высказалъ ему въ горячихъ выраженіяхъ мысль, что онъ долженъ чувствовать себя чрезвычайно счастливымъ, оглядываясь на пройденный имъ путь и сознавая, что каждое изъ крупныхъ его произведеній составляетъ часть новейшей исторіи русскаго общества, что онъ прожилъ не даромъ. Въ отвѣтъ на мои горячія слова Иванъ Сергѣевичъ, ласково улыбувшись, сказалъ: „Все это хороша, молодыя мысли, но повѣрите ли, мнѣ какъ-то странно глядѣть на себя, какъ на литератора. И это не притворство или излишняя скромность. Это вполне естественно. Я всю жизнь прожилъ съ людьми, которымъ до моего литераторства не было почти никакого дѣла. Теперь наиболѣе близкіе мнѣ люди вовсе не знаютъ по-русски. Весьма естественно, что я вспоминаю о себѣ какъ о литераторѣ чрезвычайно рѣдко, и такъ проходятъ цѣлые мѣсяцы, даже годы. Только когда обстоятельства заставляютъ, или сознаешь необходимость вновь засѣсть,—за письменнымъ столомъ, снова становишься писателемъ“ 2).

Было бы ошибочно, конечно, заключать, что П. Виардо была равнодушна къ литературнымъ интересамъ своего друга, къ успѣхамъ его писательской дѣятельности. Она довольно скоро преодолѣла многія трудности русскаго языка, съ помощью Тургенева перечитала всѣ крупныя произведенія нашихъ писателей XIX вѣка, нѣкоторые изъ нихъ, особенно Пушкина, любила переводить на французскій языкъ вмѣстѣ съ Иваномъ Сергѣевичемъ и своимъ мужемъ. Неужели она, послѣ того, не причла близко къ сердцу, не интересовалась въ должной мѣрѣ литературной дѣятельностью своего друга? Если П. Виардо не-

1) „Русск. Стар.“, 1900 г., янв., 14.

2) Календарь „Царь-Колоколъ“ на 1887 г., „Воспомин. объ И. С. Тургеневѣ“, 7.

достаточно много прилагала труда въ переводамъ произведеній самого Тургенева, то вѣдь здѣсь она встрѣчала слишкомъ сильныхъ конкурентовъ среди друзей и поклонниковъ таланта Ивана Сергѣевича. Съ другой стороны — письма Тургенева къ ней, часто принимающія форму подробнаго дневника, всегда носящія характеръ самой живой бесѣды, письма эти удѣляютъ литературнымъ работамъ Ивана Сергѣевича ничуть не менѣе мѣста, чѣмъ занимали послѣднія и въ дѣйствительности. Нѣтъ ничего удивительнаго поэтому, что о нѣкоторыхъ фактахъ въ этой области мы знаемъ только изъ его корреспонденціи съ П. Виардо. Въ ней мы находимъ, напримѣръ, интересныя подробности о постановкѣ и успѣхѣ его „Провинціалки“ въ 1851 г. въ Москвѣ; изъ нея узнаемъ о любопытныхъ переговорахъ Ивана Сергѣевича съ Катковымъ по поводу „Дыма“, изъ котораго издатель „Русскаго Вѣстника“ просилъ выбросить Ирину, какъ слишкомъ напоминающую „извѣстную особу“, баденскихъ же генераловъ сдѣлать болѣе добродѣтельными мужами и т. п.

XIV.

Но П. Виардо не только глубоко интересовалась литературной карьерой своего друга, она оказывала на нее вліяніе и вліяніе благотворное. Въ 1858 г. (30 іюля) Иванъ Сергѣевичъ пишетъ ей, напримѣръ: „Я упомянулъ вамъ о томъ, что пишу романъ („Дворянское гнѣздо“). Какъ бы я былъ счастливъ рассказать вамъ его планъ, опредѣлить характеры, цѣль, которую я задался, и т. д.; какъ бы тщательно подобралъ и всѣ ваши замѣчанія! На этотъ разъ я долго обдумывалъ содержаніе романа, и я надѣюсь, что избѣгну слишкомъ послѣднихъ и рѣзкихъ выводовъ, которые справедливо коробили васъ“ (J'évitais, je l'espère, les solutions impatientes et brusques qui vous choquaient à bon droit ¹⁾). Черезъ десять лѣтъ Тургеневъ сообщаетъ Фету: „Въ январской книжкѣ „Русскаго Вѣстника“ будетъ моя штука („Несчастная“). Написана она горячо и безъ всякой задней мысли,—а, быть можетъ, тоже не понравится. Г-жа Виардо ее не одобрила, и потому въ моихъ глазахъ судъ надъ нею уже произнесенъ“ ²⁾). Шесть лѣтъ спустя — снова тѣ же факты, 1 же свидѣтельства. Ардовъ въ своихъ воспоминаніяхъ о

¹⁾ „Lettres à m-me Viardot“. Paris, 1907, стр. 185.

²⁾ Фетъ. „Мои воспомин.“, II, 190.

Иванъ Сергѣевичъ пишетъ между прочимъ: „Онъ (Тургеневъ) много ходилъ днемъ по парку (въ Буживалѣ), всего чаще одинъ, изрѣдка съ г-жей Віардо, съ которой онъ совѣщался о своей работѣ и которой читалъ каждую главу своего новаго романа („Новъ“). Она прекрасно понимала по-русски, отлично выговаривала, когда ей приходилось пѣть русскія музыкальныя произведенія, но говорить стѣснялась... „Ни одна строка Тургенева съ давнихъ поръ не попадала въ печать прежде, чѣмъ онъ не познакомилъ меня съ нею“, сказала она мнѣ разъ. „Вы, русскіе, не знаете, насколько вы обязаны мнѣ, что Тургеневъ продолжаетъ писать и работать“,—замѣтила она однажды въ шутку. Это не было тщеславнымъ самообольщеніемъ. Даже поверхностное знакомство съ этой гениальной артисткой дѣлало понятнымъ то вліяніе, которое она должна была, не могла не имѣть на воспримчивую, впечатлительную натуру писателя. Ея умъ, художественный вкусъ, умѣнье схватывать существенное и отбрасывать мелкое, неважное, ея разностороннее образование—она въ совершенствѣ владѣла испанскимъ, итальянскимъ, англійскимъ, нѣмецкимъ языками—наконецъ, ея энергія, трудолюбіе и непоколебимая, никому и ничему не поддающаяся сила воли должны были въ часы ослабленія художественнаго творчества дѣйствовать ободряющимъ и побуждающимъ къ дѣятельности образомъ. Чувство мѣры было ей особенно присуще. Она ненавидѣла всей цѣльной и непреклонной натурой своей все расплывчатое, дряблѣе, неопредѣленное. Быть можетъ, это помогло Тургеневу до конца сохранить ту красоту и законченность формы, которыми отличается каждое его произведеніе... Быть можетъ—не берусь объ этомъ судить и позволяю себѣ только предположеніе—онъ сохранилъ до конца творческую силу, благодаря непрерывному общенію съ выдающимся женскимъ умомъ, смягчавшимъ своею безпощадною логикой принижющее значеніе общественныхъ вѣяній и критики, которую Тургеневъ, подобно современникамъ своимъ, А. Θ. Писемскому и А. Н. Островскому, принималъ близко къ сердцу“¹⁾.

Въ выводахъ автора воспоминаній много правды, но много и преувеличенія. Однако, съ однимъ, во всякомъ случаѣ, слѣдуетъ согласиться: П. Віардо умѣла возбуждать творческую энергію, хоту работать у Тургенева, какъ никто изъ друзей его.

¹⁾ „Русск. Вѣдом.“, 1904 г., № 15.

XV.

Но что же все-таки значать свидѣтельства Гончарова и Погодина? — спросить въ заключеніе читатель. Какъ объяснить этотъ странный на первый взглядъ протестъ Ивана Сергѣевича противъ приписыванья ему исключительно литературныхъ стремленій и интересовъ? Во-первыхъ, Тургеневу было пріятно думать, что къ нему относятся въ семьѣ Віардо хорошо не потому, что онъ крупный, выдающійся писатель, а потому, что онъ просто симпатиченъ и милъ любимой семьѣ. „Тамъ на меня смотрятъ не какъ на литератора, а какъ на человѣка, и среди ея мнѣ спокойно и тепло“, — признавался онъ въ одинъ изъ послѣднихъ пріѣздовъ своихъ на родину ¹⁾. А во-вторыхъ, Иванъ Сергѣевичъ рѣшительно осуждалъ литературную замкнутость нѣкоторыхъ даже крупныхъ беллетристовъ, всегда вредную, по его мнѣнію, художественному творчеству. Общеніе съ средой, которую писатель воспроизводитъ, общеніе съ обстановкой и интересами образованныхъ классовъ вообще, не должно стоять для романиста на второмъ планѣ.

Но, скажутъ, пусть П. Віардо своимъ живымъ, дѣятельнымъ, настойчивымъ интересомъ къ литературной дѣятельности Тургенева, своимъ талантомъ, умомъ и образованіемъ оказывала благотворное вліяніе на творчество Ивана Сергѣевича, однако эта положительная сторона сводилась на нѣтъ, вслѣдствіе все увеличивавшейся съ годами оторванности Тургенева отъ родины. Иванъ Сергѣевичъ никогда не скрывалъ, что главной причиной его продолжительныхъ пребываній за границей была именно привязанность къ семьѣ Віардо. Въ 1880 году онъ признавался своимъ друзьямъ: „Послѣднія двадцать лѣтъ я почти все время провелъ и провожу за-границей. Такова судьба, выпавшая на мою долю. Я люблю семейство, семейную жизнь, но судьба не послала мнѣ собственнаго моего семейства, и я прикрѣпился, вошелъ въ составъ чужой семьи, и случайно выпало, что эта семья французская. Съ давнихъ поръ моя жизнь переплелась съ жизнью этой семьи. Перемѣняетъ она мѣсто жительства — и я съ нею; отправляется она въ Лондонъ, Баденъ, Парижъ — и я переносу свое мѣстопребываніе вмѣстѣ съ нею“ ²⁾. Съ другой

¹⁾ „Русская Старина“, 1883 г., окт., 208.

²⁾ Тамъ же, стр. 207—208, октябрь.

стороны, Тургеневъ писалъ Полонскому 28-го февраля 1869 года: „Я очень хорошо понимаю, что мое постоянное пребываніе за-границей вредитъ моей литературной дѣятельности, да такъ вредитъ, что, пожалуй, и совсѣмъ ее уничтожить,—но и этого измѣнить нельзя“... „Я готовъ допустить,—писалъ онъ въ 1871 г. М. А. Милютиной, — что талантъ, отпущенный мнѣ природою, не умалился; но мнѣ нечего съ нимъ дѣлать. Голосъ остался, да пѣть нечего... А пѣть нечего потому, что я живу внѣ Россіи, а не жить внѣ Россіи я по обстоятельствамъ всеильнымъ не могу. Слѣдовательно... заключеніе выведите сами“¹⁾. „Что же касается до литературы, тутъ я, голубчикъ мой, совсѣмъ пвахъ; нельзя, рѣшительно нельзя писать русскія вещи, рисовать русскую жизнь, пребывая за-границей,—и еслибъ не лежащія на плечахъ моихъ два общанія: одно большое—„Вѣстнику Европы“, другое малое—„Недѣль“,—сейчасъ бы съ радостью бросилъ перо!“ Такъ жаловался Иванъ Сергѣевичъ въ 1873 году Писемскому²⁾. Несмотря, однако, на столь рѣшительныя признанія самого Тургенева, затронутый вопросъ вовсе не такъ простъ, какъ это многимъ кажется, и мы обязаны рассмотреть его нѣсколько подробнѣе.

XVI.

Сорокалѣтнюю дружбу Тургенева и П. Віардо можно раздѣлить на два равныхъ періода. Гранью между обоими двадцатилѣтніями можетъ служить годъ переселенія Віардо, а вслѣдъ за нею и Тургенева въ Баденъ (1863). Съ этого времени знаменитая артистка покидаетъ сцену, отказывается отъ артистическихъ поѣздокъ. Отрывъ у себя музыкальные курсы, Віардо какъ бы получаетъ полную осѣдность, крѣпко привязывается къ домашнему очагу. Съ этого же года, въ силу указанной перемѣны въ жизни П. Віардо, и Тургеневъ получаетъ полную возможность не разлучаться съ любимой семьей. Онъ уже живетъ не только въ одномъ городѣ съ нею, а въ чертѣ одной усадьбы (Баденъ, Буживаль) и даже подъ однимъ кровомъ (Парижъ). Съ 1843 г. до середины 1863 года Иванъ Сергѣевичъ провелъ въ общемъ 103 мѣсяца за-границей, что составитъ 5 мѣсяцевъ на годъ; съ середины 1863 года онъ проводитъ внѣ родины уже

¹⁾Перв. собр. писемъ, 154, 196.

²⁾„Говь“ (журналъ), 1886 г., № 23, стр. 190.

болѣе чѣмъ вдвое, т.-е. по $10\frac{1}{2}$ мѣсяцевъ на годъ ¹⁾. Если мы теперь подсчитаемъ количество печатныхъ листовъ, изданныхъ имъ до и послѣ 1863 года, то написанное въ первый періодъ будетъ относиться къ написанному во второй, какъ 19 къ 11. Разница значительная. Но она очень уменьшится, если мы обратимъ вниманіе на тотъ фактъ, что въ первое продолжительное пребываніе за-границей (1847—1850 гг.) Тургеневымъ была написана одна пятая всего вышедшаго изъ-подъ его пера ²⁾. Отбросивъ эту пятую часть, мы получимъ уже отношеніе 13 къ 11. Но еще вопросъ, что именно породило эту въ дѣйствительности небольшую разницу: заграничное ли пребываніе или отношеніе отечественной критики и читателей къ литературной дѣятельности Тургенева? Въ первый періодъ публика относилась къ Ивану Сергѣевичу благосклонно, во второй—чуть не враждебно. Судь критики не отражался на качествахъ его произведеній: романистъ былъ здѣсь свободенъ и независимъ, или, говоря его языкомъ, вполне равнодушенъ къ отзывамъ. Но въ количественномъ, такъ сказать, отношеніи вліяніе сужденій печати и общества было замѣтно. Колоссальный успѣхъ „Дворянскаго гнѣзда“ вызвалъ быстро одно за другимъ „Наканунъ“ и „Отцы и дѣти“. Неуспѣхъ послѣднихъ вызвалъ четырехлѣтнее молчаніе. Почти столь же продолжительное молчаніе послѣдовало и за неуспѣхомъ „Нови“. Исключеніемъ является „Дымъ“, нападки на который прошли безъ всякаго слѣда для автора.

Но если на плодovitость Тургенева, на количество его произведеній вліяла критика, а не заграничное пребываніе, то послѣднее должно было отразиться на характерѣ и содержаніи ихъ. Къ 1863 году, въ своему 45-лѣтнему возрасту, Иванъ Сергѣевичъ достаточно изучилъ и русскую жизнь, и человѣческое сердце вообще. Ему уже не было надобности непременно и впредь большую часть времени проводить на родинѣ, чтобы не оставить безъ вниманія, чтобы понять нарождавшіяся тамъ новыя теченія, характерныя перемены въ культурныхъ слояхъ общества. Наблюдательность и чуткость его были настолько изощренны, что онъ уже могъ много быстрѣе разбираться во впечатлѣніяхъ.

¹⁾ Считая въ круглыхъ числахъ, онъ провелъ на родинѣ по два мѣсяца въ годъ 1864, 1865, 1871, 1874, 1878 и 1879; по полтора—въ годъ 1867, 1870, 1872 и 1876; по одному мѣсяцу—въ годъ 1868 и 1877; лишь въ 1880 г. Тургеневъ жилъ въ Россіи 5 мѣсяцевъ и въ 1881 г.—4 мѣсяца. Въ 1866, 1869, 1873, 1882 и 1883 онъ совсѣмъ не былъ на родинѣ.

²⁾ Перечень и подсчетъ написаннаго въ годъ 1847—1850 сдѣланъ въ книгѣ моей „Ив. Серг. Тургеневъ“, стр. 94—107.

Подготовка, предшествовавшая его какъ бы окончательному переселенію за-границу, и полученный раньше запасъ наблюдений и опыта давали Ивану Сергѣевичу возможность даже по письмамъ друзей, по текущей литературѣ и по наблюденіямъ надъ набѣжавшими за-границу соотечественниками вѣрнѣе судить о русской дѣйствительности, чѣмъ судили о ней его многочисленныя критики и хулители, сидѣвшіе на своихъ мѣстахъ. Но Тургеневъ, какъ онъ самъ въ этомъ признавался въ письмѣ къ дочери К. Д. Кавелина, Софьѣ Брюлловой (1872 г., 21-го декабря), не рѣшался воспроизводить новые типы, „не изучивъ ихъ на мѣстѣ, не взявъ ихъ живьемъ“. Вотъ почему, успѣшно уловивъ крупныя факты, наиболѣе характерныя переменны въ родной дѣйствительности и воплотивъ ихъ въ сильныхъ и художественныхъ образахъ „Дыма“ и „Нови“, Тургеневъ въ послѣднее двадцатилѣтіе своей жизни пропустилъ много мелкихъ, второстепенныхъ типовъ, столь обильно разсыпанныхъ въ повѣстяхъ перваго періода его творчества. Однако взамѣнъ этого мы находимъ въ разсказахъ 1863—1883 г. особенно полное воспроизведеніе того поколѣнія, той эпохи, къ которой принадлежали родители Ивана Сергѣевича, и въ которую протекло его собственное дѣтство. Разсказы и повѣсти эти—„Бригадиръ“, „Несчастная“, „Степной король Лиръ“, „Вешнія воды“, „Пунинъ и Бабуринъ“, „Старые портреты“—носятъ поэтому въ значительной степени характеръ воспоминаній, элементъ автобіографическій. Для изображенія сѣрой массы современниковъ, которая составляла бы фонъ для главныхъ фигуръ „Дыма“ и „Нови“, у Тургенева не хватало достаточно матеріала, изученнаго *на мѣстѣ*. Но потребность творческой работы брала свое, и къ повѣстямъ изъ жизни старшихъ поколѣній Иванъ Сергѣевичъ прибавилъ еще великолѣпныя психологическія этюды, удивительная правдивость и несомнѣнная реальность которыхъ, по вѣрному заключенію профессора Чижъ¹⁾, подтвердились съ чисто-научной точки зрѣнія лишь много лѣтъ спустя. Мы имѣемъ въ виду такіе разсказы, какъ „Сонъ“, „Пѣснь торжествующей любви“, „Клара Миличъ“ и нѣкоторые другіе, долго называвшіеся „фантастическими“. Трудно сказать, выиграло ли бы въ своемъ значеніи творчество Тургенева, если бы онъ, вмѣсто этихъ этюдовъ и вмѣсто повѣстей изъ жизни конца XVIII и начала XIX в., занялся второстепенными типами и фактами того десятилѣтія, которое захвачено „Дымомъ“ и „Новью“. Если

¹⁾ См. его брошюру: „Тургеневъ, какъ психопатологъ“.

упрекнуть Ивана Сергѣевича за то, что онъ въ послѣдній періодъ, по его же выраженію, „сосалъ собственную лапу“, то не должны ли мы будемъ тогда еще сильнѣе осудить гр. Л. Н. Толстого за то, что онъ не занялся типами 50-хъ годовъ взаимнѣ созданія „Войны и мира“; или Пушкина за то, что онъ вмѣсто „Капитанской дочки“ и „Мѣднаго всадника“ не прибавилъ двѣ-три главы къ „Евгенію Онѣгину“? Вѣдь Толстой за границей бывалъ мало, а Пушкинъ и совсѣмъ не отрывался отъ родной дѣйствительности.

Н. Гутьяръ.

Віарритцъ.



„ОГНЕННОЕ КРЕЩЕНИЕ“

РАЗСКАЗЫ И СЦЕНЫ ИЗЪ ОЧЕНЬ НЕДАВНЯГО ПРОШЛАГО.

Окончаніе.

XVI *).

Вскорѣ по прїѣздѣ сестры, Кожевниковъ отправился въ Парфену. На этотъ разъ онъ засталъ у него цѣлое общество. Было трое рабочихъ, начитанный студентъ, два интеллигента и худенькая, блѣдная интеллигентная дѣвушка съ огромными свѣтло-голубыми глазами.

Начитанный студентъ спорилъ съ дѣвушкой и, по обыкновенію, поражалъ присутствующихъ цитатами, ссылками на историческіе факты и даже цифры. Дѣвушка говорила слабымъ нервнымъ голосомъ, горячилась, и часто изъ груди ея вылетали крикливые звуки. Но въ ея лицѣ и глазахъ было что-то мучительно-тоскливое. Кожевникову было немножко жаль ея, и онъ отъ души радовался, когда ей удавалось найти вѣскій аргументъ въ пользу своего мнѣнія. При томъ ея слова о необходимости немедленнаго надѣленія землей „всѣхъ желающихъ трудиться на ней“ трогали за живое его крестьянское сердце.

Но для всѣхъ было ясно, что студентъ разобьетъ ее на всѣхъ пунктахъ. И то, что студентъ „забивалъ ее въ уголь“, сколько, однако, не убѣждало Кожевникова въ истинѣ его бѣжденія, даже напротивъ, — заставляло его все болѣе сочувствовать взглядамъ горячившейся, сбивающейся на словахъ, девушки.

*) См. выше: июль, стр. 55.

„Что же это никто не вступится?“ — подумалъ Кожевниковъ и сталъ всматриваться въ страдальческое лицо дѣвушки. — „Вотъ эта на смерть пойдетъ! — мелькнуло въ его головѣ. — А это и есть главное. Языкомъ можно безъ заминки молоть. И вѣдать, что бѣдна. Кофтеночка и платянце изъ самыхъ простыхъ“.

Кожевниковъ врякнулъ разъ-другой, покраснѣлъ и сказалъ:

— А по-моему онѣ вотъ правильно говорятъ. Не знаю я, конечно, разныхъ книгъ и самъ не очень чтобы давно изъ деревни. Но разсуждаю такъ: разъ у кого чего нѣтъ, а нѣтъ онъ на эту вещь по всей справедливости полное свое право, такъ и долженъ онъ взять ее. Сидитъ мужикъ на землѣ; а земли у него мало. Ну, и долженъ онъ взять недостачу. А то разныхъ заграничныхъ земель намъ дѣла нѣтъ. Если нѣмецкіе крестьяне не умѣли, когда бы слѣдовало, добыть себѣ землю, такъ, выходитъ, дураки они, и дѣлать по ихнему намъ не слѣдъ. Сдѣлаемъ какъ они — сами дураками будемъ. Такое мое мнѣніе.

Слезы показались у него на глазахъ отъ волненія. Блѣдныя щеки дѣвушки покрылись слабымъ румянцемъ, и она оживленно блеснула глазами. Рабочіе улыбнулись. Но интеллигенты были серьезны. На всѣхъ пахнуло убійственно-упрямой логикой крестьянина, логикой „здраваго смысла“ и непосредственно понимаемой справедливости. Студентъ смутился, — а вѣрнѣе, показавъ видъ, что смутился изъ уваженія, такъ сказать, къ столь рѣзко, прямо и откровенно высказанному мнѣнію.

— Все это такъ, если бы только жизнь шла согласно нашимъ желаніямъ! — воскликнулъ одинъ изъ интеллигентовъ, а другой кивнулъ головой въ знакъ живѣйшей солидарности. — Но, къ сожалѣнію, жизнь идетъ по своимъ строго и разъ навсегда опредѣленнымъ законамъ. Значеніе разносторонне широкаго, детальнаго, словомъ научнаго изученія социальныхъ... я хочу сказать, общественныхъ явленій — въ томъ и заключается, что оно, предостерегая насъ отъ утопичности... мечтательности миропониманія, отъ увлеченій, быть можетъ, дилетантскихъ и самымъ возвышеннымъ, благороднымъ настроеніемъ, координируетъ — упорядочиваетъ всѣ наши представленія, создавая стройную и прочную систему, изъ которой, если и можно съ известной натяжкой исключить какое-либо звено, то лишь съ рискомъ провалить все зданіе... и... да...

Всѣмъ сдѣлалось какъ-то не по себѣ, да и самъ интеллигентъ, видимо, страдалъ отъ сознанія, что не можетъ вырази- свою мысль ясно, кратко и непосредственно прийти къ сущ-

ству вопроса. И едва-ли не безъ задней мысли выручить его одинъ изъ рабочихъ заговорилъ:

— Что касается меня, такъ и я вижу немалую правду въ его словахъ.— Онъ явился въ сторону Кожевникова.— Человѣкъ, скажемъ, тонетъ. Само собой, долженъ я его вытащить. Но я же не знаю: можетъ онъ, подлецъ, придетъ домой, напьется, вздуетъ обычнымъ порядкомъ подругу жизни своей и опять побѣжитъ топиться? Побѣжитъ или не побѣжитъ? Во всякомъ разѣ вытащить я долженъ. Вы говорите: „законы“. Хорошо. Да дѣло-то тутъ миллионное! Милліоны народа стонуть, можно сказать, отъ безземелья. Надо, значить, поддержать, а не „законы“!..

— Пожалѣть надо,—хмуро произнесъ Кожевниковъ.

— Знать надо,—сказалъ студентъ.

Кожевниковъ вспыхнулъ.

— Что-жь,—воскликнулъ онъ,—земли мужику не надо?

— Крестьянству, разумѣется, нужна земля,—мягко сказалъ студентъ,—но, повторяю, дѣло настоящаго историческаго момента не въ этомъ. Надо рѣшить...

Кожевникова въ особенности раздражалъ этотъ мягкій, ласковый тонъ.

— Нѣтъ!—неожиданно крикнулъ онъ, хлопнувъ ладонью по столу, сверкая глазами.—Скажите мнѣ прямо: надо сейчасъ же дать землю или не надо?

— Надо, но подь извѣстнымъ непремѣннымъ условіемъ...

— Какимъ это условіемъ?—Кожевниковъ притаился, хмуро смотря въ лицо студента потемнѣвшими глазами. Въ эту минуту онъ ненавидѣлъ студента.

— Подь условіемъ раскрѣпощенія пролетариата...

— Кто же противъ этого?—воскликнула дѣвушка, точно она заранѣе ждала отъ студента именно этой фразы.—Но, конечно, съ эволюціонной точки зрѣнія...

— Не приписывайте мнѣ несуществующихъ у меня точекъ зрѣнія!—уже раздраженно отвѣтилъ студентъ.—Повторяю: задача момента выдвинуть на арену революціонный пролетариатъ...

— И крестьянство!—крикнула дѣвушка благимъ матомъ.—Соціальный вопросъ разрѣшится прежде всего у насъ, въ Россіи...

— О, да... еще бы!—съ ироніей воскликнулъ студентъ.—Въ этомъ случаѣ вы можете даже сослаться на авторитетъ Ризэ Реклю, знаменитаго географа, который, какъ анархистъ... теоретическій анархистъ... гораздо менѣ извѣстенъ... Но дѣло въ этомъ. Дѣло въ томъ, что вы-то, въ концѣ концовъ, мнѣ

кажется, пойдете и дальше. Вы владите, пожалуй, въ психологическія тонкости относительно духовной структуры „народа русскаго“... Потомъ вы заговорите о расахъ... Вы можете, наконецъ, договориться—чѣмъ чортъ не шутить!—до фразы, которая, если не ошибаюсь, вышла изъ устъ одного изъ истеричныхъ персонажей Достоевскаго— „тутъ особая мѣрка нужна“. Всего этого можетъ и не быть, но это все... можетъ и быть. Однако мнѣ кажется, что намъ прежде всего нужно стоять на почвѣ строго-научнаго метода... и не философствовать намъ нужно, а исследовать уже существующія, всѣми видимыя,—я подчеркиваю это послѣднее слово,— формы экономическаго и политическаго развитія вообще и отнюдь не вѣдраться въ эти „особыя мѣрки“...

— Не шутите,—глухо сказала дѣвушка,—можетъ и съ ними придется считаться...

— Ну...—махнулъ рукой студентъ.—Пророчествовать я вообще не охотникъ...

Въ спорѣ, принимавшій уже личный оттѣнокъ, вступилъ Парфенъ.

— Мнѣ такъ кажется, дѣло такое... — началъ онъ своимъ густымъ басомъ. — Пова охотнички между собой о волкѣ спорили, волкѣ въ дремучій лѣсъ убѣжалъ. Мое мнѣніе такое. Споры эти надо пока бросить и всѣмъ соединиться на одной точкѣ, на точкѣ политической. Не такъ ли, товарищи?

— Я не согласна!—не унималась дѣвушка.

„Чего она еще?“—съ горечью подумалъ Кожевниковъ.

Онъ и всѣ рабочіе присоединились къ Парфену, — отчасти готовые, до известной степени, согласиться съ нимъ, отчасти изъ желанія прекратить нескончаемый словесный турниръ.

Тогда Кожевниковъ заговорилъ о томъ, что происходитъ въ деревнѣ.

— Вы не поѣдете туда?—спросила дѣвушка.

— Дѣйствительно тянетъ, но и самъ не знаю...

— Вамъ надо достать книжекъ по крестьянскому вопросу,—взволновалась дѣвушка,—вы ихъ увезете въ деревню.

— И самому-то мнѣ нужно бы подчитать...

— Послѣ-завтра я вамъ принесу.

Кожевникову вдругъ показалось, что онъ долженъ ѣхать что уже рѣшилъ ѣхать и никакого даже вопроса тутъ нѣтъ.

XVII.

Иногда голова Кожевникова шла кругомъ. Желаніе съѣздить къ землякамъ сталкивалось съ разнообразными препятствіями. Не давалъ покоя и образъ горничной Чешуйкина, который теперь особенно часто вставалъ въ воображеніи парня—грустный, блѣдный, съ какою-то тайной въ углубившихся глазахъ. И, наконецъ, не успѣлъ еще Кожевниковъ какъ слѣдуетъ привыкнуть къ новому строю представленій, разобратся въ иногда являющихся внезапно сомнѣніяхъ, какъ вдругъ вспыхнула заинтересованность кровными крестьянскими вопросами... До ясной болѣе или менѣе выработке общаго міровоззрѣнія было еще довольно далеко, а жизнь шла, ни на секунду не прекращая своего движенія, постоянно и полною горстью бросая въ человѣка новыми запросами, новыми случайностями.

Въ данное время Кожевникова можно было уподобить пловцу, который бурнымъ шеваломъ былъ выброшенъ изъ тихой заводи въ открытое бушующее море. Зоркими, напряженно устремленными вдаль, глазами пловецъ вдругъ увидѣлъ вдали гавань, сверкающую огнями, — и къ ней потянулось все его существо со страстью свѣжей, жаждущей жизни души... Но пловецъ этотъ, знавшій прежде лишь тихую заводу, не умѣлъ еще сильнымъ, увѣренно-смѣлымъ напряженіемъ крѣпкихъ мышцъ бороться съ бушующей стихіей. Буря разыгрывалась, вѣтеръ ревѣлъ, и гигантскія волны бросали его, какъ щепку, въ разныя стороны...

Съ прїѣздомъ сестры явились новыя заботы; надо было найти ей работу. Пока она жила въ одной комнаткѣ съ братомъ и Прохоровымъ.

Прохоровъ съ нѣкотораго времени сталъ особенно пристально присматриваться къ здоровой краснощекой дѣвушкѣ. Пороку онъ говорилъ въ ея присутствіи столь недвусмысленныя вещи, что дѣвушка вспыхивала и смѣялась, пряча лицо въ фартукъ.

— Да-да, нашему брату тоже самое безъ бабы огорчительно и скучно, — говорилъ онъ, — а ужъ я бы, скажи вотъ, ничего не пожалѣлъ бы для такой, какъ, примѣрно сказать, ты...

— Малость ростомъ не вышли, — смѣялась дѣвушка.

Прохоровъ угрюмо молчалъ, а потомъ ни къ селу, ни къ ороду заговорилъ о погодѣ. Вскорѣ все-таки завязался довольно живленный разговоръ. Стали рѣшать, на какую фабрику лучше его сходить дѣвушкѣ. Прохоровъ совѣтовалъ Кожевникову схо-

дить вмѣстѣ съ сестрой на резиновую мануфактуру. Тамъ постоянно работали тысячи работницъ, и всѣмъ показалось, что туда и попасть легче, чѣмъ въ промышленное заведеніе съ меньшимъ инвентаремъ.

На „резинкѣ“ оказался артельщикъ изъ „истинно-русскихъ“, который узналъ Кожевникова. При его содѣйствіи дѣвушка сравнительно легко удалось поступить на фабрику. Она поселилась въ комнатѣ, гдѣ жили ея подруги по работѣ. Кожевниковъ почувствовалъ себя болѣе свободнымъ. Мысль о деревнѣ беспокоила его все сильнѣе. Онъ засѣлъ за книжки.

Прохоровъ не имѣлъ теперь слушателя своей канители и началъ скучать. Да, должно быть, и отсутствіе „бабы“ давало о себѣ знать; онъ побывалъ даже у своей бывшей жены, но та выпроводила его и заперла за нимъ дверь. Все чаще онъ сталъ приходить домой подъ хмѣлькомъ. Трудно было бы представить себѣ человѣка болѣе безалабернаго, чѣмъ Прохоровъ въ пьяномъ видѣ. Онъ способенъ былъ по цѣлымъ часамъ канючить со слезами на глазахъ о „человѣческомъ свинствѣ“, о томъ, что „жизнь была бы прохладнѣе, ежели бы половина людей какимъ ни есть родомъ подохла, отъ холеры тамъ, или чего прочаго“... Подчасъ Кожевниковъ выходилъ изъ себя и начиналъ кричать, чтобы онъ замолчалъ. Тогда Прохоровъ въ свою очередь злился, скалилъ зубы, тарачилъ пьяные глаза и грозилъ, что онъ донесетъ на Кожевникова „о чтеніи и словахъ его“...

— Зна-аю, голубь... вижу, что съ жидами съякшался. Сколь денегъ получилъ? — ехидничалъ онъ; и внезапно начиналъ ругаться.—Прохвость! Мазурикъ! Подлецъ!

Кожевниковъ иногда дивился своей теперешней кротости. Въ былое время за такія слова онъ, вѣроятно, вздулъ бы Прохорова. И эту кротость Прохоровъ чувствовалъ; она смирала его, и онъ неожиданно переходилъ въ слезливо-сентиментальный тонъ.

— Другъ ты мой сердечный... Умственный ты... смиренный ты человѣкъ... мозговитая башка твоя!.. Мы—что? тьфу... и еще разъ тьфу! Орелъ ты мой... скворчикъ...

Но эти любезности были еще неприятели ругани. „Ужъ ухватъ бы что-ли поскорѣ!“ — думалъ Кожевниковъ.

XVIII.

Однажды вечеромъ Прохорова дома не было. Кожевниковъ ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ. Кто-то вошелъ въ кухню,

и вслѣдъ затѣмъ молодой женскій голосъ произнесъ его имя и фамилію. Потомъ въ комнату тихо вошла горничная Чешуйкина.

— Вотъ и пришла,—начала она. Въ ея голосѣ слышались робость и неувѣренность.

— Вотъ и хорошо,—сказалъ Кожевниковъ.

— Не къ кому больше,—просто произнесла дѣвушка.—Только не думайте, что я... навязываюсь на знакомство, или что...

— Ничего не думаю.

— Я просто такъ.— Она слабо улыбнулась.— Думаю: посмотрѣть, какъ живете... Вы вѣдъ сказали: „заходите“...

Наступило молчаніе.

— Ко мнѣ сестра изъ деревни пріѣхала,—сказалъ Кожевниковъ.—Теперь на фабрикѣ работаетъ. Недавно встала на работу.

— Ужъ работаетъ?

— Ъсть—пить надо.

— Большая?

— Въ ваши года.

— Та-акъ...

Дѣвушка безпкойно перебирала каемку накиннутой на голову шали тонкими, нѣжными пальцами.

— У меня тутъ какъ есть никого нѣтъ,—снова начала она, пробуя улыбнуться,—ни брата, ни отца—матери... да не только тутъ... и совсѣмъ нѣтъ.

— Родомъ-то откуда будете?

— Да я не изъ дальнихъ, а тоже деревенская, не городская. Тринадцати лѣтъ ушла изъ деревни, и вотъ—по господамъ все. Мать два года какъ померла. А отецъ прежде померъ, еще когда я махонькая была.

— Немало горя хлебнули?

— Какъ сказать? конечно... Вотъ и живу по чужимъ людямъ. Жить что-же? жить можно. А люди вотъ... всякіе бываютъ...—Она помолчала немного, смущенная, видимо желая что-то сказать, высказаться, но не рѣшалась.

— Всякіе люди, это вѣрно,—подтвердилъ Кожевниковъ.

— Не люди, а... хуже звѣрей! Вотъ я... вездѣ, гдѣ ни жила, почти вездѣ... Или ужъ мое счастье такое?—Она улыбнулась грустной улыбкой.—Ровно, знаете-ли, я какой кусокъ мяса, и всякому поскорѣе хочется съѣсть его...

— Это какъ?

— Да такъ. Служила у одного конторщика, семейный господинъ, жена красивая... такъ нѣтъ!—ко мнѣ приставать на-

чалъ. Поздно ночью придетъ, дверь отпираешь, — непременно поровить ущипнуть, схватить... и глазами въ глаза залѣзаетъ... Въ другомъ семействѣ гимназистъ проходу не давалъ. И мать, — мать! — видитъ, и ничего!

— Это называется: оскотинились люди...

— Да. Выйдешь на улицу, дворникъ пристааетъ. Разъ пьяный солдатъ облапилъ... И вотъ все такъ. Ровно ты — не человекъ, право? Да. Вы не повѣрите, васъ, можетъ, перваго увидала, сурьезнаго человекъ... и даже въ глазахъ нѣтъ ничего такого!

Кожевниковъ вздохнулъ.

— Да. Вы простите, что разболталась.

— Это ничего. Это даже хорошо! — убѣжденно произнесъ Кожевниковъ. — Поговоришь — и легче.

Дѣвушка говорила тихо и ровно. Но Кожевниковъ невольно чувствовалъ, что всѣ струны ея души натянуты до послѣдней степени, что сердце ея усиленно бьется и что тихія и ровныя слова ея — отчаянный вопль человекъ, въ которомъ люди видятъ лишь „кусочекъ мяса“.

— Да. Потому и замѣтила васъ. А помните... обошлась съ вами грубо... Это ничего не значить... совсѣмъ даже напротивъ...

— Ну, что тамъ...

— А вы, должно быть, осердились, и не было васъ долго.

Она замолчала. Молчалъ и Кожевниковъ, не зная, что отвѣтить. Малѣйшее проявленіе нѣжности представлялось ему въ эти минуты скорбной исповѣди чѣмъ-то грубо-нелѣпнымъ и еще чѣмъ-то такимъ, что можетъ заставить дѣвушку подозрѣвать и его въ тѣхъ нечистыхъ намѣреніяхъ, съ какими приходили къ ней люди.

— А я вѣдь, можетъ, скоро уѣду, — сказалъ онъ, чтобы только сказать что-нибудь.

Блѣдное, маленькое лицо дѣвушки вытянулось.

— Далеко? — тихо спросила она.

— Въ деревню; на время. Побывать хочется. А можетъ и не поѣду.

— Выходить, я проститься зашла?

— Увидимся. Вы... какъ васъ звать-то?

Онъ вспомнилъ, что этотъ вопросъ онъ уже задавалъ ей вспомнилъ и ея жесткій отвѣтъ, — и вдругъ его жалость и нѣжность къ дѣвушкѣ хлынули черезъ край. Онъ взялъ ея руку. Она улыбнулась.

— Груней люди зовутъ.

— Увидимся, Груня. Ты тамъ же живешь?

— Тамъ... нѣтъ, не тамъ.

— Не тамъ? что тамъ?

Дѣвушка склонила голову и внезапно тихо заплакала, вздрагивая хрупкимъ тѣломъ. Кожевниковъ растерялся отъ неожиданности. Онъ вдругъ смутно почувствовалъ, что ея горе, такъ сильно ее измѣнившее, имѣетъ связь съ ея пребываніемъ въ услуженіи у Чешуйкина. Тяжелое, тоскливое предчувствіе охватило его. Онъ глухо сказалъ:

— Ну... если тяжело, не говори... Будетъ время, скажешь... Не въ послѣдній разъ.

— А если въ послѣдній? — сквозь слезы проговорила дѣвушка.

— Можетъ, еще и не поѣду я...

— Ахъ, Господи! мнѣ-то не легче... Нѣтъ ужъ, видно, намъ не надо больше видѣться! — негромко, съ отчаяніемъ вскрикнула она. — Я ужъ не та...

— Какая не та? мнѣ-то что? не знаю я ничего...

— Вотъ когда ты впервой спрашивалъ мое имя... я была лучше...

— А теперь хуже?

— Охъ, Ваня, горяшко мое!..

Но это была послѣдняя яркая вспышка души, измученной горемъ. Мало-по-малу она нѣсколько оправилась, и первымъ движеніемъ ея было то, что она слегка отстранилась отъ Кожевникова. Ея лицо было угрюмо, почти мрачно, почти злобно. Кожевниковъ молчалъ, тяжело дыша. Онъ начиналъ смутно догадываться, въ чемъ горе дѣвушки, и самъ не зналъ, какъ отнестись къ ней.словно какая глыба придавила его. Она заговорила снова; слова ея были теперь тверды, хотя и звучали прежнимъ отчаяніемъ.

— И что я пришла къ тебѣ? Растравила себя... и чтобы еще тебя растравить? Тянуло, хотѣлось къ тебѣ; думала, ты лучше всѣхъ... Лучше ли? Ахъ, Господи, а сама-то я? — Она закрыла лицо руками.

Кожевниковъ сурово смотрѣлъ на съжившуюся фигуру дѣвушки. Овладевшее имъ неясное мучительно-тоскливое чувство незамѣтно переходило во все болѣе опредѣлявшуюся злобу ревности. Неожиданно для себя онъ схватилъ руку дѣвушки и крѣпко сжалъ ее.

— Скажи! — страстно зашепталъ онъ. — По своей волѣ загудяла, аль нѣтъ?!

Дѣвушка выпрямилась и вырвала свою руку.

— Я еще не твоя...

Кожевниковъ оторопѣлъ; ревность прошла; осталось влеченіе.

— Не томи, ради Христа!—воскликнулъ онъ.—Безъ ножа рѣжешь. Играть вздумала?

— Какая ужъ игра!—И едва слышно она прибавила:—Не своя воля...

Кровь ударила въ голову Кожевникова и глаза на мгновеніе застлало туманомъ. Онъ думалъ, что крикнетъ во весь голосъ, но лишь прошепталъ глухимъ придавленнымъ шопотомъ:

— Си-и-лой?!

— Да...—скорѣе про себя, чѣмъ вслухъ, отвѣтила дѣвушка.

И снова ревность, но уже не прежняя, смягченная невѣдѣніемъ, сомнѣніемъ, а бурная, всезахватывающая, овладѣла душою Кожевникова. Онъ схватилъ ея плечи и пристально всмотрѣлся въ ея широко открытые, но уже болѣе спокойные глаза, — глаза человѣка, облегчившаго свою душу страшнымъ признаніемъ.

— Кто?!

— Зачѣмъ бы ушла я?—уже твердо, вопросомъ на вопросъ, отвѣтила дѣвушка.

— Откуда ушла?

— Самъ знаешь. Забылъ?

Кожевниковъ отнял свои руки отъ плечъ дѣвушки, словно по его рукамъ вдругъ ударили. Глаза его испуганно, широко раскрылись, и въ нихъ отразилось такое страданіе, что дѣвушка вдругъ обвила его шею руками и прижалась головой къ его груди.

— Егоръ Трофимовичъ... — точно во снѣ прошепталъ Кожевниковъ.

Дѣвушка молчала, трепетно прижимаясь къ его груди.

XIX.

Кожевникову смутно показалось, что онъ сейчасъ же долженъ что-то предпринять, смѣлое, рѣшительное, чтобы туча, нависшая надъ его жизнью, рассыялась, уступивъ мѣсто свѣту яснаго сознательнаго существованія. Онъ сдѣлалъ легкое движеніе, чтобы отстранить дѣвушку. Мысли путались въ его головѣ. „Тотъ человѣкъ... тотъ самый... который... которому“... Но дальше нить помутнѣвшаго сознанія уже совсѣмъ обрывалась. А сердце ныло все мучительнѣе.

— Уйди ты, сядь!—сказалъ онъ.

Возарилось жуткое тяжелое молчаніе. Дѣвушка неподвижно, какъ изваяніе, стояла около Кожевникова.

— Садись, говорю.

Она послушно сѣла.

Кожевниковъ положилъ локти на столъ и сжалъ крѣпко закрытые глаза ладонью; лицо его подергивалось точно отъ непереносимой физической боли.

— Ну, ладно...—глухо заговорилъ онъ.—Ты вѣдь, Груня...

при чемъ... да. Ну, ладно... А какъ это было?..

Дѣвушка рѣшительно запротестовала.

— Нѣтъ, нѣтъ! не спрашивай!

— Ну, ладно...—тотчасъ же согласился онъ.

— Не терзайся, Ваня...

— Подлецъ!..—прошепталъ Кожевниковъ.—Ну...

— Ты чего хочешь дѣлать, Ваня?—И помолчавъ, она прибавила:—Онъ ничего не боится... „Не боюсь, напрасно, дѣвушка, пугаешь“ ...

„Напрасно!“—Кожевникову хотѣлось плакать, рвать на себѣ волосы отъ тоски и почти бѣшеной злобы. „Чего же сижу я тутъ?“—быстро мелькнуло въ его головѣ. И вдругъ онъ съ мучительной болью почувствовалъ, что любимая дѣвушка, которую ему было жаль до безконечности, какъ бы отошла отъ него на далекое разстояніе. И это разстояніе не перешагнуть... Счастье вспыхнуло, — на мигъ показалось яркое пламя, — и быстро потухло, разсѣялось ѣдкимъ дымомъ...

— Хоть бы не говорила ничего!

— Не любила бы, не сказала. Обмануть тебя не могла...—тихо, со страхомъ и вопросомъ въ глазахъ, сказала дѣвушка.

— Вотъ кого бы убить, какъ подлую собаку!—вдругъ крикнулъ Кожевниковъ, потрясая кулакомъ. — Вотъ, важись, оно тутъ... въ рукѣ... разное, хорошее... Э-э, чортъ!.. Я убью его, Груня!

Она склонилась къ нему и умоляюще взглянула въ его блуждающіе глаза.

— Тебѣ же хуже будетъ... и мнѣ...

— Все-е едино... пропадать...

— Не надо, милый...

— Жа-алко?!

— Тебя жалко.

— Уйди... уйди!—Онъ заметался по комнатѣ.—Что-о такое?!

Распинаютъ младенчиковъ, вышибаютъ зубы, насильничаютъ... и...

и ничего! Грабители! воры! разбойники! Нѣ-ѣтъ...—внезапно остановился онъ, приподнявъ широкія плечи и наклонивъ голову, словно увидѣлъ передъ собой смертельнаго врага.—Нѣтъ, не убью! Вѣрно: зря погубишь себя... Мы... послѣ покажемъ! Пока-ажемъ, мерзавцы!!

Онъ сѣлъ, тяжело дыша, смотря въ пространство мутными глазами.

— Я не могу, Груня...—вдругъ сказалъ онъ, вставая.—Я пойду... Увидимся. Заходи. Прощай!—Онъ ушелъ.

Дѣвушка бессильно опустилась на кровать и, закрывъ лицо руками, склонившись головой къ подушкѣ, заплакала. Потомъ незамѣтно она уснула.

Пришелъ пьяный Прохоровъ. Прижавъ ухо къ плечу, лукаво прищуривъ глаза, онъ искоса взглянулъ на спящую дѣвушку, а потомъ заоралъ:

— Ишь ты, ворона залетѣла въ чужія хоромы!

Дѣвушка проснулась и испуганно сѣла.

— Вани нѣтъ?

— Ась? чтѣ? по какому случаю? Мм... красавица ты моя...

— Уйди!—съ отвращеніемъ крикнула дѣвушка, отстраняясь отъ дряблой фізіономіи, пахнувшей сивушнымъ перегаромъ.

— Почему такому: „уйди“? Кто долженъ уйти, ежели будемъ говорить въ серьезъ. Во всякомъ разѣ, кто здѣсь хозяинъ?— Я! А ты... кто ты?

Внезапно онъ вытянулъ мокрыя губы и, шепелявя, слащаво заговорилъ:—Ми-иля-шка... у-у-тю-тю-тю! красавица... ангелъ поднебесный...—И вновь потянулся къ дѣвушкѣ.

Но тутъ случилось то, чего Прохоровъ совсѣмъ не ожидалъ. Груня вцѣпилась въ его бороду и волосы и задала ему очень здоровую потасовку. Въ ней обнаружилась немалая нервная сила. Прохоровъ безпомощно упалъ на колѣни и лишь охалъ.

Послѣднимъ рѣшительнымъ усиліемъ она толкнула пьянаго рабочаго, и тотъ растянулся на полу. Но все-таки выкинулъ фортель: задралъ ноги высоко вверхъ и фальцетомъ воскликнулъ:

— Вотъ такъ пи-чужка!

Онъ сѣлъ на полу, блуждая бессмысленно- и нагло-веселыми глазами. Дѣвушки въ комнатѣ уже не было. Продолжая сидѣть, Прохоровъ началъ вынимать изъ бороды выдернутые волосы, съ глупо-серьезнымъ видомъ разсматривалъ ихъ и что-то бурчалъ себѣ подъ носъ.

XX.

Быстрым шагомъ, не останавливаясь, Кожевниковъ исколесилъ все предмѣстье.

Провокація и контръ-революціонные планы уже были выяснены ему новыми товарищами. Въ данныя же минуты услужливая, погоняемая злобнымъ чувствомъ, память рисовала ему всѣ сцены встрѣчъ съ Чешуйкинымъ, всѣ слова, улыбки и предложенія послѣдняго въ такомъ яркомъ освѣщеніи, при которомъ казались ясными всѣ глубочайшіе изгибы змѣиной души этого человѣка. Кожевниковъ вспомнилъ и ту записку, которую онъ случайно увидѣлъ на столѣѣ, и въ которой неизвѣстный пріятель Чешуйкина совѣтовалъ отправить куда-то какого-то рабочаго, „чтобы дать воспитаніе“. Въ круговоротѣ городской жизни, находясь подъ влияніемъ новыхъ знакомствъ, встрѣчъ, впечатлѣній, онъ какъ-то совершенно забылъ о запискѣ, хотя въ моментъ чтенія она и сильно поразила его.

Не про него ли, Кожевникова, говорилось въ запискѣ? Вѣдь и предложеніе ѣхать въ еврейское мѣстечко „бить жидовъ“ послѣдовало послѣ записки. Махинація „уловленія“ въ какія-то еще неизвѣстныя сѣти начала вырисовываться въ возбужденномъ воображеніи парня. Въ чемъ же заключалась цѣль? Что за „воспитаніе“? Какъ Кожевниковъ ни ломалъ голову, ничего не могъ придумать. Онъ нисколько не сомнѣвался теперь лишь въ одномъ, — что относительно его былъ какой-то планъ, что на него рассчитывали...

Иногда злоба съ новою силою разгоралась въ немъ, и тогда онъ внутренно клялся жестоко отомстить „насилънику и обманщику“. Но какимъ образомъ? Убить? — для этого стояло лишь сейчасъ же отправиться къ Чешуйкину. Нѣтъ револьвера? — не бѣда. Придушить можно. У него, Кожевникова, хватитъ силы побороться съ Чешуйкинымъ. „Ну, значитъ, надо бѣжать?“ И однако онъ не „бѣжалъ“, а продолжалъ кружить по предмѣстью. „Видать, того... лаяла собака, пришелъ воръ, — хвостъ поджала!“ — криво усмѣхнулся Кожевниковъ. Таковъ ли онъ былъ прежде? — Нѣтъ; какъ будто тамъ, на тѣхъ сборищахъ, гдѣ на разные лады пѣли одну и ту же въ сущности пѣсню, сводящуюся къ тремъ словамъ: „бить“, „избивать“, „убить“, — тамъ онъ чувствовалъ въ себѣ больше жестокой смѣлости, больше рѣшимости „пролить человѣческую кровь“... Какъ измѣняется

человѣкъ! Вотъ, тутъ, около него, Кожевникова, подъ-рукой, человекъ... да нѣтъ, даже не человекъ, а змѣя въ человѣческомъ образѣ, змѣя, отнявшая у него, Кожевникова, счастье, искалчившая дѣвушку, — эта гадина тутъ; и стоитъ лишь протянуть крѣпкую, сильную, не вѣдающую пощады руку... Неожиданно въ памяти Кожевникова воскресли слова его бывшего сожителя, Семенова: „Можетъ, эти люди-то на убійство сѣрѣя сердце идутъ... И не за себя идутъ“... И все-таки идутъ! Чтò ихъ ведетъ? Кожевниковъ почувствовалъ, что приближается къ какой-то дѣйствительно важной мысли, которая многое въ его положеніи выяснитъ ему. „Сѣрѣя сердце и не за себя“... Онъ же хотѣлъ бы убить за себя, за свою обиду... Но тотчасъ же его взяло новое сомнѣніе... Только ли за себя? Нѣтъ,—и за дѣвушку. И только ли за нее? Нѣтъ,—такъ какъ много еще зла натворить этотъ человекъ, если будетъ жить. И такъ?..

Кожевниковъ остановился среди грязнаго дощатаго тротуара, размахивая руками, разсуждая самъ съ собой, пожимая плечами. Вглядѣвшись попристальнѣе въ его утомленное, страдальческое лицо, въ мутные глаза, можно было бы подумать, что онъ сошелъ 'съ ума. Однако многіе изъ прохожихъ принимали его просто за пьянаго. Его задѣвали локтями; иные улыбались, другіе бросали по его адресу быструю, короткую брань за неумѣстное стояніе. И всѣ мчались дальше. Въ громадномъ городѣ каждый стремглавъ несея впередъ со своими заботами, нуждами, счастіемъ, горемъ...

Кожевниковъ ничего не видѣлъ, не слышалъ.

Обезсиленный нравственно и физически, еле поднимая, точно не свои, тяжелыя ноги по высокой, заваленной мусоромъ, каменной лѣстницѣ, Кожевниковъ кое-какъ добрался до своей комнаты, страдая отъ неяснаго сознанія, что онъ такъ-таки и не вырѣшилъ какого-то важнаго вопроса, или не сдѣлалъ чего-то, чтò, быть можетъ, надо было сдѣлать. Хорошенько не отдавая себѣ отчета и въ томъ, что дѣвушки нѣтъ, онъ машинально раздѣлся и легъ. И тотчасъ же все, чѣмъ онъ только-что жилъ и мучился, стало медленно таять, уступая мѣсто пріятному чувству покоя...

Но въ самый послѣдній моментъ бодрствованія въ его слабѣющемъ сознаніи вдругъ въ высшей степени ясно, отчетливо всталъ вопросъ, — точно составленный изъ огненныхъ буквъ: „убить—или не убить?“ Вопросъ лишь мелькнулъ ослѣпительной молніей и тотчасъ же погасъ въ потерѣ сознанія—снѣ.

Едва-ли, впрочемъ, забыть, въ которое впалъ Кожевниковъ, можно назвать сномъ въ обыкновенномъ смыслѣ этого слова. Это было скорѣе помутнёніе сознанія, соединенное со страннымъ, отрывочнымъ и почти горячечнымъ бредомъ.

XXI.

Утромъ Прохоровъ ушелъ на работу. Кожевниковъ продолжалъ лежать вверхъ лицомъ. Обрывки разныхъ сновидѣній все еще мелькали въ воображеніи. Тупая головная боль мѣшала на чемъ-либо сосредоточиться. Онъ лежалъ, даже не думая о томъ, идти ли на работу. Но не головная боль и вообще не физическая разслабленность удерживала его на мѣстѣ. Всѣмъ насторожившимся существомъ Кожевниковъ смутно чувствовалъ, что въ душѣ его совершается что-то огромное, важное и... страшное. Вчерашней бѣшеной злобы, жажды мести въ немъ не было и слѣда. Онъ попробовалъ было думать о Грунѣ и удивился: въ его сердцѣ уже какъ будто не было мѣста и для дѣвушки, точно она была мимолетнымъ сномъ въ его жизни.

Все, чѣмъ жилъ Кожевниковъ за послѣднее время,—безпокойное, тихое, прекрасное, ужасное,—все какъ будто оторвалось отъ его души и теперь уходило, уходило... Душа какъ бы пустѣла и начинала вѣять темной, жуткой бездною. И въ эту бездну было пока боязно заглядывать. Съ нею надо было или свыкнуться, или же, въ противномъ случаѣ, приготовиться какимъ ни есть образомъ погибнуть, не вынести ея темной глубины.

Ясно и опредѣленно Кожевниковъ въ концѣ концовъ созналъ лишь то, что онъ неожиданно для себя потерялъ что-то, и этотъ нескъ былъ самымъ важнымъ въ его прежней кипучей жизни. И вмѣстѣ съ этимъ сознаніемъ все существо его наполнялось давящею глыбой тупой, тяжелой тоски. Казалось, будто какое-то огромное, злое и хищное чудовище свивало себѣ прочное гнѣздо въ той „безднѣ“, которою стала теперь душа человѣка, еще вчера такъ сильно любившаго, ненавидѣвшаго, страдавшаго. И къ этому чувству тоже надо было или привыкнуть и, если позволятъ силы, стать выше его, или же убить его, погибнувъ вмѣстѣ съ нимъ.

Безпредметная жуть охватила Кожевникова. Ему страстно захотѣлось, очерти голову, закрывъ глаза, сбѣжать куда-нибудь, сбѣжать безъ конца, пока не подкосятся ноги и не потеряется сознаніе. Онъ быстро одѣлся, умылся по привычкѣ, выпилъ чашку

простынного чаю и хотѣлъ уже идти; но въ послѣдній моментъ остановился, подошелъ къ окну и раскрылъ его.

Стоялъ яркій, солнечный осенній день. И воздухъ, и небо были прозрачны. И все, что только стояло, двигалось, размахивало руками, бѣжало, — рѣзко и отчетливо обрисовывалось своими контурами, красками, линиями. Жизнь точно кричала о себѣ. Уличный гулъ и шумъ, грохотъ телегъ, крики продавцовъ и продавщицъ, оклики, ржаніе лошади, лай мчащейся куда-то собачонки, мяуканье котенка, какими-то судьбами очутившагося на красномъ желѣзномъ карнизѣ закрытаго окна, — каждый изъ этихъ разнохарактерныхъ звуковъ, ясный, сочный, живущій своей отдѣльной самостоятельной жизнью, вставалъ въ привѣтливо-золотистомъ, свѣжемъ, бодрящемъ воздухѣ, не мѣшаясь съ другими.

Кожевниковъ посмотрѣлъ съ высоты третьяго этажа внизъ на всю эту уличную шумную суету и вдругъ невольно отпрянулъ вглубь комнаты. Какая-то внутренняя могучая сила потянула его внизъ... Ощущеніе присутствія этой силы, находившейся внѣ предѣловъ его сознанія и воли, было такъ рѣзко, что Кожевниковъ былъ пораженъ, испуганъ; и въ то же время имъ овладѣло странное любопытство. Осторожно, крадучись, онъ опять подошелъ къ окну и, крѣпко ухватившись за подоконникъ, посмотрѣлъ внизъ. И снова съ ужасомъ отпрянулъ назадъ. Его лицо поблѣло. Стараясь не смотрѣть на улицу, онъ закрылъ дрожащими руками окно и выбѣжалъ изъ дому.

Онъ быстро шелъ легкимъ шагомъ, почти не замѣчая окружающаго. Здѣсь, въ уличной сутолокѣ, не слишкомъ чувствовались душевная тяжесть и тревога. Можно было, по крайней мѣрѣ, хотя скользнуть мыслью въ томъ туманѣ, который окутывалъ сознаніе. Лишь одинъ разъ въ мозгу Кожевникова совершенно ясно мелькнуло: „вотъ идешь, и вдругъ Груня навстрѣчу“... Но и эта отчетливая мысль потонула въ томъ безформенномъ, богатомъ однако какимъ-то страшнымъ содержаніемъ, хаосѣ, который наполнялъ душу парня.

— Эй, берегись! — заоралъ кучеръ.

Кожевниковъ метнулся въ сторону; мимо него, едва не задѣвая оглоблей и колесами, мягко прокатилась красивая, лоснящаяся на солнцѣ коляска съ безусымъ барченкомъ въ цилиндрѣ. Это незначительное обстоятельство оживило его, и онъ болѣе сознательно оглядѣлся кругомъ. Въ глаза бросилась большая ярко-красная выгѣска чайной; изъ ея раскрытой двери неслись крикливо-бравурные и хрипящіе звуки грамофона. Кожевниковъ машинально зашелъ въ нее и угрюмо сѣлъ въ уголъ. Посѣтите-

лей было немного. Посмотрѣвъ на нихъ почти съ неприязнью, точно они мѣшали ему, онъ взялъ съ сосѣдняго стола газету; читать ему собственно не хотѣлось, но огромный газетный листъ пряталъ его фигуру, лицо, глаза отъ человѣческихъ взглядовъ, которые неприятно раздражали его. Большая хроника происшествій, какъ самое вкусное блюдо, красовалась на самомъ видномъ мѣстѣ. Газетный столбецъ пестрилъ сообщениями кражъ, убійствъ, самоубійствъ...

„Вотъ дуракъ! — мысленно произнесъ Кожевниковъ, прочитавъ одно изъ сообщеній. — Не нашель ничего другого, какъ отправить себя на тотъ свѣтъ. Себя не жалко, такъ дѣтей хоть бы пожалѣлъ... Ихъ-то, поди, и не спросилъ! А имъ, можетъ, жить хотѣлось; какъ ни какъ, а жить... Есть же такіе болваны!“

Онъ горько усмѣхнулся; но вмѣстѣ съ тѣмъ, — правда, чуть-чуть, — улыбнулось не горькой, а злорадно-веселой улыбкой и то страшное и чудовищное, что свивало гнѣздо свое въ его почти уже опустошенной душѣ, и ростъ чего онъ смутно и съ невольнымъ страхомъ ощущалъ въ себѣ въ это утро. И горькая усмѣшка уже мелькнула, какъ слабый лучъ; а эта новая улыбка продолжала еще гнѣздиться въ углахъ губъ, въ глубинѣ ввалившихся темныхъ глазъ.

— Чему смѣхешься, землячокъ? Аль что веселенькое? — спросилъ его пожилой мастеровой.

— Да чтобы... не особенно... ну, а все-таки того, весело малость! — посмѣивался Кожевниковъ. — Дураковъ не сѣютъ... Вотъ тутъ, — оживленно заговорилъ онъ, — пишутъ: изъ нашего же брата... долго не находилъ работы... дѣло извѣстное... а штука въ томъ, — снова глаза его заиграли острымъ насмѣшливымъ блескомъ, — что съ нужды-то взялъ онъ, да и уморилъ себя... И это бы куда ни шло... съ собою и дѣтишекъ прихватилъ!...

Мастеровой съ недоумѣніемъ посмотрѣлъ на Кожевникова и сказалъ, раздумчиво поматывая головой:

— Ну, другъ, веселаго тутъ такъ мало, что пожалуй и вовсе нѣтъ.

— Вѣрно, что нѣтъ, — согласился другой молоденькій подгастеръ.

— О-хо-хо! — вздохнулъ мелочной торговецъ: — чего нужда е: дѣлаетъ...

А Кожевникову вдругъ захотѣлось крикнуть имъ что-нибудь и ущее совсѣмъ въ разрѣзъ съ ихъ чувствами, засмѣяться въ лицо или просто бросить имъ: „дубѣ стоеросовое! дураковъ

жалѣть — самъ дуракомъ будешь“. Онъ положилъ газету, которую тотчасъ же взялъ мастеровой, и сосредоточенно принялся за чаепитіе. Никакихъ мыслей въ головѣ у него уже не было. Тщательно накололъ щипчиками сахару, чтобы его хватило на весь чай, нарѣзавъ ломтями хлѣбъ, онъ уже больше ни о чемъ не заботился. Даже вспоминать о чемъ-либо больше не хотѣлось. Словно глухая перегородка вдругъ образовалась между нимъ и прежними впечатлѣніями. И за эту перегородку и неприятно, и лѣнь было вступать.

— Вотъ ты говоришь: весело, — вдругъ произнесъ мастеровой, откладывая газетный листъ на колѣни, — а вотъ то же самое по нуждѣ... вчера тутъ дѣвушка утопла... — Онъ взялъ газету и прочиталъ: „Вчера ночью, бросившись въ рѣку съ моста, покончила расчеты съ жизнью крестьянка Аграфена Кенареева; покойная находилась въ услуженіи у одного изъ видныхъ жокавовъ „истинно-русской“ партіи въ нашемъ городѣ, Е. Т. Чешуйкина, и незадолго до самоубійства добровольно оставила мѣсто. Полагаютъ, что причина, побудившая Кенарееву покончить съ собою — отсутствіе средствъ къ жизни“. Вотъ она, нужда-то, что дѣлаетъ! Да ты что? что съ тобой?

Кровь бросилась Кожевникову въ голову и яркими, пылающими пятнами покрыла блѣдное, осунувшееся лицо. „Вотъ и еще... Это что? что такое? когда конецъ? за что?“ — беспорядочно и неопредѣленно закружилось въ немъ. И вдругъ безконечная жадность къ себѣ всколыхнула все его существо... Спазма сдавила горло, заняло въ груди и горячія слезы брызнули изъ широко открытыхъ, какъ бы недоумѣвающихъ глазъ. Онъ дѣлалъ усиліе сдержать ихъ; но глухо и тяжело стучающее сердце обжигало все новыя жгучія волны, и слезы, — теплыя, обильныя слезы отчаянія, — наполняли глаза и текли по щекамъ.

Точно сквозь сонъ онъ слышалъ слова удивленія и недоумѣнія, раздавшіяся въ чайной. Горечь обиды вонзилась въ его душу. И обида эта была тѣмъ мучительнѣе, что была безпредметна. Парень лишь смутно чувствовалъ, что жизнь, — жизнь-чудовище, — тяжелой, плотной массой навалилась на него и вотъ давить... „Чего? куда? что?“ — неясно мелькало въ его головѣ.

„Э-э, все равно! — мысленно произнесъ онъ, наконецъ. — Все едино... да!.. Ну, чего? ну, и ничего... Вотъ уходить надо отсюда...“

Мало-по-малу онъ оправился отъ безудержнаго вначалѣ плача. Онъ тщательно вытеръ глаза, расплатился и медленно, расслабленной походкой вышелъ изъ чайной.

XXII.

Въ ближайшую субботу Кожевниковъ потребовалъ расчета. У него не было опредѣленнаго рѣшенія ѣхать въ деревню; да и вообще никакого яснаго рѣшенія относительно того, что предпринять дальше, у него не было. Было лишь смутное, хотя и сильное желаніе развязаться со всѣмъ прошлымъ, начиная съ Чешуйкина и кончая Парфеномъ и своею печальной любовью, — и не только съ прошлымъ, а даже и съ своимъ собственнымъ пропадающимъ прежнимъ „я“ — встревоженнымъ, склоннымъ къ жалости, возмущающимся подлостью, сострадающимъ несчастьемъ...

Безъ видимой цѣли и смысла онъ бродилъ теперь по безконечнымъ улицамъ города — похудѣвшій, блѣдный, съ безпокойною мыслью въ углубившихся, потемнѣвшихъ, вспыхивающихъ моментами тусклымъ огонькомъ, глазахъ. Даже Прохоровъ, повидимому, махнулъ на него рукой, какъ на никѣмънаго человѣка, и уже не говорилъ и не придумывалъ для него разныхъ небылицъ. Одно только очень удивляло Прохорова, — это то, что Кожевниковъ не напивался и приходилъ домой трезвый. Впрочемъ, и самому Кожевникову не разъ приходила мысль напиться на тѣ гроши, какіе оставались еще у него въ карманѣ.

Однажды онъ шелъ мимо трактира, куда имѣлъ обыкновеніе заходить Илья Лупандинъ, и вдругъ ему захотѣлось повидаться и вообще скоротать время съ безалабернымъ пьянчужкой-подмастерьемъ. Былъ вечеръ, и яркій огонь освѣщалъ всѣ она шумнаго кабака. Кожевниковъ приглядѣлся къ народу и тотчасъ же увидѣлъ Илью Лупандина, который, почти никогда не имѣя кофѣйки за душой, околачивался теперь около одного изъ столовъ съ пьяной приказчицей компаніей. Кожевниковъ подошелъ къ нему и дернулъ за рукавъ.

— А-а, миляга! — радостно воскликнулъ еще не совсѣмъ пьяный Лупандинъ. — Встрѣча! То-то во снѣ все дратва снилась... охъ, длинная нитка!.. и конца ей нѣту... Коли конецъ-то будетъ? такимъ родомъ думаю я...

Они сѣли за одинъ изъ свободныхъ столиковъ. Кожевниковъ потребовалъ бутылку водки.

— Ахъ, ты, братъ ты мой, суконное твое рыло, бархатный животъ!.. — И Лупандинъ весело подмигнулъ.

Весело стало и Кожевникову. Онъ ласково потрогалъ за плечо Лупандина и, улыбаясь, сказалъ:

— А чего смотрѣть? Аль мы... и мы... аль не мы?

— У-у-у... — зарычалъ Лупандинъ и неизвѣстно по какимъ побужденіямъ сдѣлалъ сердитое лицо.— Мы-ы... бра-ать! аль не люди—мы?.. Эй ты, неумытый мой ангель, — обратился онъ къ слугѣ, — ты чего это рюмки-то ровно новорожденнымъ? Давай пивной стаканъ, дубово-кряпкая твоя голова...

— И то!—убѣжденно согласился Кожевниковъ.

Прошло немного времени, и взятая бутылка была почти пуста. Лупандинъ пришелъ въ свое обычное безпредметно-войнственное, почти свирѣное настроеніе и, сжимая кулаки, пускалъ по неопредѣленному адресу угрозы и ругательства. Кожевниковъ на этотъ разъ хмѣлѣлъ туго. Но что-то хмурое, злобное поднималось со дна его души, ударило въ мозгъ и придавало глазамъ серьезно-холодный, твердый блескъ.

— Слушай, Илья, слушай ты, чо-ортъ! Скажи ты мнѣ вотъ что!—рѣзко, раздѣльно и тихо произнесъ Кожевниковъ: — какъ ты понимаешь Бога?

Заплетающимся языкомъ, поматывая русой встрепанной курчавой головой, Лупандинъ отвѣтилъ:

— Нни-какъ не по-нима-аю...

— Да понимай ты хоть слова-то, орасина! — разсердился Кожевниковъ.— Слышь ты? по-моему такъ... нѣту Бога! слышь ты?—нѣту!

Лупандинъ, повидимому, не разсердился и даже не удивился; онъ лишь прищурилъ глазъ и не безъ пьянаго лукавства произнесъ:

— Ббо-га?.. а Пре-святая Богородица? А-а Ни-ко-ла Угодникъ? и... и... а чортъ!.. и тамъ... И чорта нѣту?—еще богѣ лукаво спросилъ онъ.

— Нѣту.

— Черненькаго нѣту? Врешь!—громко крикнулъ Лупандинъ. Съ хвостикомъ? съ рожками? Брешешь, собачій сынъ!

— Сказываютъ, попы выдумали...

— Ты?.. ага-а!.. ты! — неожиданно вскипѣлъ Лупандинъ, свирѣпо смотря въ смѣшливые глаза Кожевникова. — Смо-отри! Что-о? а-а!..—Онъ злобно стукнулъ кулакомъ по столу.— Ты-ы... у-у... ты-ы...

— Ну, я? и что-о?—вдругъ разсердился и Кожевниковъ.

— И... и пить съ тобой, дуракомъ, не желаю...

Онъ попробовалъ было встать, но Кожевниковъ сильной рукою снова усадилъ его на мѣсто.

— Сиди! — сказалъ онъ злобно.

— Не желаю...—свирѣпо порывался Лупандинъ.

— Си-ди-и!—сквозь стиснутые зубы провизнесь Кожевниковъ. Мо-олчи! Тресну и духъ вонъ!..

Лупандинъ скользя быстрѣмъ взглядомъ округленныхъ отъ злости глазъ по блѣдному лицу Кожевникова, по его глазамъ, блестящимъ мрачнымъ блескомъ, и неожиданно съѣжился и заморгалъ глазами.

— У-у-гг... — низкими нотами проворчалъ онъ, словно повалившій въ засаду безсильный звѣрь.

Кривая усмѣшка скользнула по губамъ Кожевникова.

— То-то? Чтѣсть... убить?—ничего. Пойми ты, пойми, голова садова, ежели, къ примѣру, Бога... тю-тю!.. и чорта тоже самое, и все прочее въ томъ же самомъ видѣ... Ну, и ежели убить?—тьфу! Я... вотъ я—Иванъ Матвѣевъ Кожевниковъ... и больше ничего... дымъ!.. Я?—самъ съ усамъ! Вотъ я иду... кто? — я, и больше никого. Понялъ, куда баба бѣгала? ась? асиньки?! — Кожевниковъ засмѣялся. — На, получай!—крикнулъ онъ слугѣ и всталъ.

— Ты... чего? — спросилъ Лупандинъ и тоже хотѣлъ было встать, но хмѣль точно пришилъ его къ стулу. — Ку-да ты?

— А туда... прощай, братъ! Сиди, да не засиживайся...

XXIII.

Черезъ два дня послѣ этого Кожевниковъ на вокзалѣ справился, въ какое время идетъ поѣздъ въ его родныя мѣста. Онъ все медлилъ отъѣздомъ, хотя въ городѣ ему рѣшительно нечего было больше дѣлать. Да и въ карманѣ, кромѣ отложенныхъ въ ящикъ на билетъ денегъ, оставались гроши. Въ самое послѣднее время его наполнило странное предчувствіе какого-то дѣла, которое предстоитъ ему. Ясно онъ сознавалъ лишь то, что ему надо зайти къ Парфену попрощаться. Порою ему въ голову приходила мысль побывать въ послѣдній разъ на собраніи „истинно-русскихъ“; эта мысль являлась всегда неожиданно, вселяя въ душу мгновенное жгучее безпокойство, и такъ же внезапно исчезала. Въ нѣны минуты сповойной ясности сознанія онъ говорилъ себѣ, что гораздо лучше и проще взять да и уѣхать сейчасъ же, но эта мысль скоро уходила, не претворяясь въ дѣло. Вообще же почти полное волевое безсиліе овладѣло имъ, и онъ думалъ, чувствовалъ, слонялся по улицамъ, даже говорилъ — точно во снѣ, или какъ будто находился во

власти какой-то посторонней силы, живущей въ немъ. Быть можетъ, это была власть его уже въ значительной степени оголенного „я“, требовавшаго самоопредѣленія, нуждающагося въ сознаниіи своего права на жизнь, въ сознаниіи своей силы...

Прямо съ вокзала, — было три часа, — Кожевниковъ отправился къ Парфену, котораго надѣялся застать дома, такъ какъ была суббота, и работы кончались ранѣе обыкновеннаго. Еще въ маленькой прихожей онъ услышалъ незнакомый ему старческий, съ легкимъ солиднымъ подкашливаніемъ голосъ. Этотъ тихій, какъ бы подрадаывающійся къ душѣ собесѣдника, пріятный, ласковый голосокъ такъ не гармонировалъ по тону и духу своему со всѣми разнообразными голосами, когда-либо раздававшимися въ стѣнахъ квартиры умственнаго рабочаго, что Кожевниковъ удивился и подумалъ: „Ровно изъ святыхъ мѣстъ пришелъ и про чудеса въ Новомъ Аeonѣ рассказываетъ“.

Старичокъ, однако, оказался не богомольцемъ, а довольно крупнымъ торговцемъ вяленой рыбы; онъ пріѣхалъ изъ глухихъ угловъ Сѣверной Двины и зашелъ къ Парфену, такъ какъ приходился ему какимъ-то сватомъ по женѣ своей. Это былъ небольшой, худенькій, лысый человѣчекъ съ длинной и узкой сѣдой бородкой, густыми сѣдьющими бровями и съ однимъ острымъ пронизывающимъ чернымъ глазомъ, такъ какъ на мѣстѣ другого было пустое розоватое мѣсто. Онъ былъ одѣтъ въ длинный, наглухо застегнутый сюртукъ, изъ-подъ котораго бѣлѣлся воротъ вышитой шолкомъ рубахи, оттънная своею бѣлизной здоровую красноту жилистой шеи и всего маленькаго курносаго лица.

Парфенъ былъ видимо возбужденъ; онъ ходилъ по горницѣ крупнымъ шагомъ, былъ красенъ и нервно сжималъ въ кулакъ бороду. Старичокъ сидѣлъ прямо, спокойно, и въ немъ чувствовалась физическая свѣжесть, бодрость и задорно-веселая сила несокружимаго міросозерцанія. При первомъ взглядѣ на его твердую фигуру Кожевниковъ почувствовалъ къ нему уваженіе.

— Нѣтъ грѣха? Ей-Богу, въ первый разъ слышу! — волновался Парфенъ.

— Нѣту его, да, — спокойно подтвердилъ старичокъ и чуть кивнулъ головой.

Кожевниковъ загорѣлся любопытствомъ.

— То-есть, это какъ? — робко спросилъ онъ.

Старичокъ окинулъ его быстрымъ взглядомъ своего единственнаго глаза и съ видимой охотой отвѣтилъ:

— Свательничекъ мой, вотъ, все по грѣхъ печалуется; жалко ему, вишь ты, грѣха-то. Ну, а мнѣ его, выходитъ, не жалко,

Господь съ нимъ. Я, вотъ, и говорю: нѣту его, батюшки, въ человѣкѣ.

— А что же?—спросилъ Кожевниковъ.

— Есть зло въ жизни. И злу тому человѣкъ не причиненъ. Бѣсъ виновать...—неожиданно заключилъ старикъ и даже, какъ показалось Кожевникову, иронически подмигнулъ пустымъ глазомъ.

— Я полагаю такъ,—возразилъ Кожевниковъ, чувствуя непреодолимую, почти жгучую потребность поговорить съ этимъ страннымъ человѣчкомъ. — Я полагаю, надо отгородиться отъ этого самаго бѣса...

— Бревна на заборы еще не вырублены, мой милый.—Онъ помолчалъ немного и потомъ прибавилъ. — Токмо на небеси отгородиться можно. А на небеси-то единъ Богъ...

Кожевниковъ сгоралъ желаніемъ сказать или спросить о чемъ-то важномъ, но никакъ не могъ овладѣть разбѣгающеюся, взволнованной мыслью. Онъ нашелся лишь сказать:

— Выходить, человѣкъ не повиненъ?

— Это правильно,—кивнулъ головой старикъ.

— Та-акъ... да-а... И, примѣрно скажемъ, даже убивецъ?—неожиданно для себя спросилъ Кожевниковъ и покраснѣлъ.

Старичокъ пристально посмотрѣлъ на него, и сочныя губы его дрогнули едва замѣтной усмѣшкой.

— Есть много словечекъ, кои страшатъ человѣка...—какъ-то загадочно сказалъ онъ.—Но надо сказать тебѣ: всѣ человѣки—убивцы. Самомалѣйшее движеніе перста нашего убиваетъ въ единѣй мигъ тьмы живущихъ. Читалъ я примѣчательную книгу ученаго доктора Молешотта, и сказано въ ей, что весь видимый очами нашими міръ не то что изъ единыхъ видимыхъ тварей состоитъ, но изъ мириадовъ такъ же невидимыхъ,—что въ насъ и около насъ, и въ бородеиѣ моей, и на столѣ, и вездѣ... Одначе убиваемъ мы и за грѣхъ не почитаемъ и видимую тварь: таракановъ, тлей, блохъ и животину разныхъ видовъ...

— Это — не люди! — воскликнулъ Парфенъ.

Старикъ даже удивился и торжественно,—что было нѣсколько смѣшно въ немъ,—возгласилъ:

— Передъ ликомъ Создателя свѣта, тьмы темъ міровъ и ты, голубь, и я, и онъ — ни на эстолькую песчинку не больше блохи. Передъ громадой Его, кою разумъ и постигнуть не можетъ, всѣ—едины. Нѣсть еллинъ, іудей, варваръ и снѣгъ, рабъ и свободъ... прибавлю къ тому: нѣсть тля, тараканъ, вонь и блоха, ослица и клопъ... но всяческая и во всѣхъ — Онъ!.. Одначе всѣ...—туть онъ окинулъ собесѣдниковъ быстрымъ про-

зительнымъ взглядомъ, — всѣ — съ головкой во злѣ, какъ бы въ смолѣ кипящей. Но и смола эта — отъ Его же... Усмѣхнулся я давеча: „бѣсъ виновать“. Для близиру и примѣнительно къ понятію человѣческому усмѣхнулся...

— Выходить, и грѣхъ отъ Него? — почти весело спросилъ Кожевниковъ.

— Потому и говорю: нѣту грѣха. Не можетъ быть грѣхъ отъ Него. Что же есть? — Есть зло въ жизни.

— Отъ Него! — со страннымъ нутрянымъ смѣхомъ спросилъ Кожевниковъ.

— Я говорю: есть зло въ жизни и есть Онъ — Батюшка Создатель всего... — спокойно сказалъ старикъ.

У него была замашка поднимать въ значительныхъ мѣстахъ своей рѣчи правое плечо и указывать согнутымъ указательнымъ пальцемъ въ полъ, и это придавало ему комическій видъ глубокомысленной птицы.

— Во злѣ — Онъ?

— Да, голубь. Но черезъ зло Его человѣкъ къ добру идетъ. Потому-то и сказано: царствіе небесное нудится. Примѣнительно къ понятію человѣческому, языкомъ человѣческимъ, сказано также: не согрѣша, не спасешься. А по высокому разумѣнію великія слова эти надо читать такъ... — Онъ сдѣлалъ паузу, обвелъ Кожевникова косымъ строгимъ взглядомъ съ головы до ногъ и съ удареніемъ проговорилъ: — *Озлобиться надо!*

Наступило мгновенное общее молчаніе. Эти два слова камнемъ ударились въ мозгъ Кожевникова. Старикъ продолжалъ:

— И въ этомъ же точно смыслѣ Иисусъ сказалъ: ежели кто хочетъ спасти душу свою, да погубить ю...

— Ну, свать, это ты... — засмѣялся Парфень. — Въ такомъ случаѣ много бы народу давно живыми на небо взлетѣло. Да это бы пожалуй и хорошо, потому, кромѣ разныхъ прочихъ, не мало бы и разбойниковъ упорхнуло...

— Это ты не отъ ума... Никто и николи еще на небо не взлеталъ.

— А Илья-пророкъ?

— Не такъ надо понимать писаніе, какъ написано въ ѣмъ. Взлетѣлъ онъ дѣйствительно, но не на небеса, а на самую высочую высоту души человѣческой, на небеса великой души своей... И хитонъ съ себя сбросилъ, оголился... на тебѣ, Елисей... Ничего не надо! И взлетѣлъ опосля страшной злобы на мерзости народа... И про разбойниковъ зря. Иисусъ токмо единого разбойника и простилъ... сдѣлаго народа не простилъ (Онъ на Отца

прощенье-то народа возложилъ), а разбойника самолично простилъ. И всю земную жизнь сердце Его было не въ праведнымъ, примѣнительно къ понятію человѣческому говоря, а въ злымъ, — татямъ, блудницамъ, чиновникамъ податнымъ и прочимъ, пропавшимъ въ мутныхъ глазахъ человѣческихъ. И Онъ же сказалъ: легче въ игольные уши пройти, нежели *довольному* въ царство небесное. Чтò сие? — Трудненько-трудненько воспріять огненное крещеніе. Всю свою шею надо спустить, дабы вознестись духомъ въ высоту высотъ небесныхъ...

— ...Въ тѣ поры прояснится человѣку все, и единый немеркнущій свѣтъ будетъ въ очахъ. И будетъ онъ, какъ сказано въ писаніи, — хотя и словами отъ бѣса, — подобенъ Великому Богу. И все едино для него будетъ. И никакъ же возглаголетъ: „се — добро, а се — зло“... но: — „Всяческая и во всѣхъ единъ Богъ... буди благословенно во вѣки имя Его!“

Старикъ даже перекосялся весь отъ усилій выше поднять плечо, а единственный глазъ его горѣлъ огонькомъ. Кожевниковъ смотрѣлъ на него съ нѣкоторымъ почтительнымъ страхомъ, точно на выхода съ того свѣта, и даже неуклюжесмѣшныя движенія старика казались ему значительными и почти красивыми. Онъ хорошо и не понималъ старика; но какъ мелко, почти ничтожно вдругъ показалось ему все, чѣмъ онъ жилъ до сихъ поръ: и люди, и мысли, — и его, и другихъ людей, — и злоба, и Чешуйникъ, и еврей, и Лупандинъ, и даже Парфень, даже дѣвушка съ лицомъ мученицы, которая не забывала снабжать его книгами для народа... Все это какъ бы отошло отъ него вдале. Но, отойдя, въ то же самое время стало какъ будто яснѣе, даже роднѣе пожалуй... И сердце парня наполнилось особеннымъ теплымъ предчувствіемъ чего-то свѣтлаго, спокойнаго, и эта теплота начинала пріятно согрѣвать его исхолодавшую душу.

— Ты, Парфень, говоришь: надо вырвать зло, — съ прежнимъ одушевленіемъ продолжалъ старикъ. — Не вырвешь, голубь. Самого себя вырывать придется. Есть зло, было и будетъ. Мы — зло, жизнь — зло, міръ — зло, все — зло! Примѣнительно къ разумѣнію человѣческому сказано: во грѣхахъ родилися, во грѣхахъ и въ землю пойдемъ. Какъ хошь перестраивай домъ, и все въ ѣтъ не головой, а ногами ходить будутъ... Но случаемъ бываетъ, что иной человѣкъ, подобно Іліи, вырываетъ себя изъ зла черезъ злѣе... ибо во спасеніе зло. И чѣмъ больше его, тѣмъ для человека лучше. Очищаются злобою люди. Сальную бутылъ ѣдучей зой очищаютъ. Человѣкъ и рождается съ сальной душой...

— Зло—добро... Надо плодить зло?— не то вопросительно, не то утвердительно сказалъ Кожевниковъ.

Вдругъ старичокъ засмѣялся тихимъ, но беззабѣтно-веселымъ и даже обиднымъ для Кожевникова смѣхомъ.

— Ужъ ежели плодущій такой, — чрезъ смѣхъ заговорилъ онъ, сверкая чернымъ глазомъ, — такъ Господь съ тобой, плоди на добро здоровье, плоди-и... Вы-дю-жишь ли? Весь — во злѣ, зло владѣеть тобой, а ты еще нарочито плодить хошь... Боекъ!

— А ну какъ того, выдюжу?— покраснѣвъ, сказалъ Кожевниковъ.

— Ну, и все, значить, за тобой и зачтется, — неопредѣленно отвѣтилъ старикъ.

— Все можно?

— Все человѣку можно.

Кожевниковъ стѣжился; казалось, онъ огромнымъ усилиемъ воли хотѣлъ поскорѣе собрать мысли, которыя плохо повиновались ему, какъ бы пользуясь его растерянностью. Что-то вырисовывалось въ туманной дали, что-то напрашивалось на языкъ, что-то страстно хотѣлось выяснить...

— Не можно человѣку только на небо влѣзти, — продолжалъ старикъ, — да, это никакъ невозможно, ни здѣсь, ни тамъ, потому какъ... читалъ я книгу ученаго астронома Камилла Фламариона о распорядкѣ мировъ, коихъ—мириады мириадъ, нѣсть числа... и нѣтъ нѣбушка, нѣту! есть единая пустота и вращеніе живыхъ и мертвыхъ мировъ. Но и ученый Камилль Фламарионъ видитъ во всемъ нѣкую управляющую Десницу... Хотя въ другой своей книгѣ онъ уже и брешетъ. Онъ полагаетъ, что душа по смерти уходитъ на иную, болѣе лучезарную планету... О, пустота разума! Будто можетъ на-чисто освобожденный духъ прилѣпиться къ видимому веществу, хотя бы и звѣздною красотой надѣленному?!. А ты что, паренекъ, дозволю къ тебѣ обратиться, — неожиданно оборвалъ онъ свою рѣчь, — здѣсь на фабрикѣ робишь?

— На фабрикѣ?— встрепенулся Кожевниковъ. — Нѣтъ. Потому недавно получилъ расчетъ. Думаю въ деревню. Да это все не то!— съ растерянной улыбкой отмахнулся онъ. — Я вотъ все насчетъ вашихъ словъ...

— Что слова? Слова человѣка—горохъ. Кому надо—ѣсть ихъ; а кому не надо—отъ того, что отъ желѣзной доски, скокъ...

— Хочу я все спроситься... да нѣтъ ужъ...

— Замахнулся, такъ и ударъ, дружокъ.

— Нѣтъ ужъ, я самъ передумаю какъ-ни-какъ...

— Видать, изъ деревни недавно?

— Году нѣтъ.

— Видать, что не оперился... Ну, что-жъ, это и хорошо. Иисусъ всѣмъ младенцами повелѣлъ быть. Можетъ, благодать Его на тебѣ... Божій работничекъ. Вотъ на Парфенѣ нѣту...

— И не желаю,—усмѣхнувшись, буркнулъ Парфень.

— Желай, не желай,—нѣту... Ну, и что-жъ... твое счастье, что мимо тебя прошла чаша сія. Тяжкое, другъ, это дѣло... клеймо-то Господне... А ты вотъ что, другъ,—быстро обратился онъ къ Кожевникову,—ежели приходила мысль убить кого... али что...

Кожевниковъ одновременно и вздрогнулъ, и вспыхнулъ, и отпрянулъ въ сторону. И почти суевѣрный ужасъ онъ почувствовалъ при взглядѣ на этого невзрачнаго стараго человѣка...

— Почему знаешь? Можетъ, и въ умѣ никогда не было... — глухо сказалъ онъ, чувствуя, какъ кровь отливаетъ отъ головы, какъ по темени и затылку обгаютъ мураши, какъ блѣднѣетъ лицо, а жгучія волны обливаютъ остановившееся на мгновение, болѣзненно сжавшееся сердце.

Единственный глазъ старика округлился, загорѣлся и какъ-то странно заигралъ, словно солнышко въ свѣтло-христово воскресенье. И этотъ прыгающій взглядъ сверлилъ все существо парня, сверлилъ и въ конецъ размигчалъ его волю...

— Ежели, говорю, въ головѣ это самое было,— вмѣсто отвѣта негромко проговорилъ онъ, разводя руками,— такъ ужъ тутъ... ужъ погибла душа!.. Дума и дѣло... тутъ равеніе полное... Трудненько воротиться назадъ. Господне тавро на душѣ выжжено...

Старичокъ слегка поблѣднѣлъ при этихъ словахъ.

А Кожевникову вдругъ показалось, что онъ съ трепетомъ заглянулъ, наконецъ, въ какую-то бездну, въ мрачной глубинѣ которой таилась разгадка его жизни за это послѣднее время,— ясная, простая и страшная... И эта разгадка, дразня и пугая, уже влекла къ себѣ, точно взглядъ беззавѣтно любимой коварной женщины...

Парфень окончательно вышелъ изъ себя.

— Черти вы, черти! — крикнулъ онъ и сразу переполнилъ всю квартиру звуками своего густого баса. — Сумасшедшіе вы люди! По-вашему—что? Задумалъ, такъ и убивай? Не убивать надо! Это тоже вотъ у истинно-русскихъ людей постоянно: — „раззудись плечо“... да „размахнись рука“... Если ужъ что убить,—такъ дѣйствительно темноту вашу надо убить!

— Не въ тѣ ворота, Парфенушка, заѣхалъ,— замѣтилъ

старикъ. Но Парфень уже сѣлъ на своего излюбленнаго конька.

— Не убивать,—продолжалъ онъ,—а вносить свѣтъ надо. Темноту не кулакомъ, а только свѣтомъ убить можно. Разъ свѣтъ пущенъ, схорониться отъ него никому никакимъ родомъ нельзя. На этомъ вотъ столѣ стоитъ горящая лампа; но чрезъ это освѣщается не одинъ столъ, а и углы, и даже та вонъ комната, хотя и слабо, а освѣщается, хотя въ ней и нѣтъ своего свѣта. Единственное святое дѣло человѣка—вносить свѣтъ. Тебя бьютъ... Вноси свѣтъ! Крѣпко держи его въ рукѣ своей... Тебя могутъ сгноить въ острогѣ... Вноси свѣтъ! Могутъ убить... Вноси свѣтъ! Желѣзному кулаку никогда не погаситъ яснаго солнышка... Бросай кругомъ, направо и налево, полной горстью брызги свѣта... не жалѣй себя... И свѣтъ задѣнетъ темные углы! Не родилась еще такая сила, которая могла бы содрать съ этой вотъ стѣны пущенный въ нее свѣтъ!..

— Это все ты весьма даже правильно,—сказалъ старикъ,—да совсѣмъ не въ томъ кругу была моя рѣчь...

Кожевниковъ уже и раньше не разъ слышалъ отъ Парфена подобныя рѣчи, и въ данную минуту его вниманіе лишь слегка скользило по одушевленнымъ несокрушимую вѣрою словамъ Парфена. Все существо его находилось еще подъ властью смутнаго, правда, но жуткаго, пугающаго представленія той бездны его собственнаго безсознательнаго до сей поры стремленія, которую случайно или преднамѣренно открылъ ему этотъ страшный, загадочный въ его глазахъ, старикъ. Ему стало какъ-то душно, не по себѣ въ тѣсной горницѣ и потянуло на воздухъ.

— А ну васъ всѣхъ!.. башка затрепещитъ отъ вашего разговору...—пересиливая свою тоскливую тревогу, сказалъ блѣдный, ослабѣвшій, какъ бы размякшій паренъ съ жалко-растерянной улыбкой и сталъ прощаться.

XXIV.

...Кожевниковъ шелъ, слегка пошатываясь, точно хмѣльной. Осенній мразъ былъ кругомъ его. Черное небо упорно и нескончаемо сѣяло въ ослизлую землю холодныя крошечныя капельки влаги. И мразъ былъ въ душѣ парня. Мразъ и холодъ, и неясное сознаніе давящей тяжести той мысли, которая—онъ болѣзненно чувствовалъ это—владеетъ его существомъ, повелѣваетъ его ногамъ двигаться впередъ, его глазамъ всматриваться въ слабо освѣщенныя рѣдкими фонарями надписи улицъ. Отрывки рѣчей старика вставали въ его воображеніи не какъ

слова, а точно какія-то странныя фигуры и черты—блестяція, блѣдно-огненные, словно сотканныя изъ бѣлыхъ молній, чистыя и красивыя строгостью линий... Порою расплывчато, неопредѣленно рисовался предъ нимъ тотъ исполинъ, который „выдюжилъ“, перешагнувъ чрезъ широкую и бездонно-глубокую пропасть жизни, „воспріялъ огненное крещеніе“, сгорѣлъ душой въ огромномъ пылающемъ кострѣ, вынесъ удары длинныхъ, тонкихъ, крѣпкихъ и твердо извивающихся бичей жизни, пролѣзъ, утончившись, чрезъ блѣдно-огненные игольные уши и вотъ—радостно-спокойный идетъ, какъ властелинъ земли, „подобный великому Богу“...

Это было уже почти сумасшествіе, котораго Кожевниковъ, конечно, не сознавалъ. Онъ шелъ какъ бы съ закрытыми глазами.

Былъ девятый часъ, когда онъ вошелъ въ обширное сараеобразное зданіе съ голыми посѣрѣвшими бѣлыми стѣнами. Въ немъ было уже много народу. Сумракъ висѣлъ надъ сотнями недвижныхъ головъ, склоненныхъ въ сторону свѣтлѣвшей дощатой эстрады. Почтеннаго вида старецъ съ бѣлой, широкой и рѣдкой бородой говорилъ языкомъ начетчива о значеніи православія для народа русскаго.

— ...По этому самому, — безъ всякихъ паузъ, монотонно, дребезжащимъ высовимъ теноркомъ говорилъ онъ, — насъ и не одолѣютъ разные нехристи. Но много и русскихъ, что и самихъ нехристей не лучше будутъ. А такъ что даже похуже. Съ одного разу ихъ видно: пенснэ на носу... А бываетъ, и безъ пенснэ. Ноги какъ жерди... Но бываютъ и въ тѣлѣ. По этому самому церковь Божию не посѣщаютъ, посты не блюдутъ и даже такъ, что въ страстную седмицу потребляютъ всякую живность — баранинку, телятинку и цыплятокъ паровыхъ... Тьфу! — жестоко плюнулъ въ сторону старецъ, очевидно самъ больше, чѣмъ слушатели, потрясенный своею картиной.

Кожевникову вдругъ стало какъ будто легче. Старая, знакомая обстановка, внимательно, почти молитвенно слушающіе люди, — армяки, пиджаки, куртки, чуйки, — этотъ старческий однообразный голосъ, слова о „нехристяхъ“, „постахъ“, все это невольно подѣйствовало на бунтующую его душу такъ, что онъ почувствовалъ себя точно въ слабо освѣщенной убогой деревенской церкви. За народомъ ему плохо было видно оратора. Ему вспомнился ему не новый, а прежній старичокъ-священникъ въ его родной деревнѣ, вспомнились воскресныя церковныя тихія службы, на которыя онъ еще мальчишкой бѣгалъ просто изъ

празднаго любопытства и для своеобразнаго развлеченія. И старое чувство близости къ стоящей кругомъ его мірской громадѣ наполнило его сердце тихо-тоскливой радостью давно не ощущавшагося имъ умиленія...

Но это чувство скоро пропало.

— ...По этому самому,—продолжалъ уже болѣе взволнованно, даже злобно ораторъ,—есть и будетъ великое нестроеніе и даже разрушится, на радость бѣсовской крамолѣ, царство, ежели, къ примѣру сказать, русскіе люди подъ стопы жидовъ треклятыхъ упадутъ и наплюютъ на свой народъ и на свою православную вѣру. И будемъ мы не православные, а ...тьфу!—поганые жида. Братцы! хорошо ли это? Нѣтъ, это большое худо.

— Не въ этомъ суть,—негромко сказала Кожевниковъ.

Три-четыре человекъ съ недоумѣніемъ и подозрительно оглянулись на него. Слова сорвались съ его устъ неволью. Но сповойствія теперь какъ не бывало. То, что на минуту задремало въ немъ, проснулось и съ усиленной настойчивостью толкало его впередъ...

Между тѣмъ старичокъ-ораторъ, при одобрительномъ гулѣ голосовъ, въ поясѣ поклонился публикѣ и смиренно отошелъ отъ каедръ. Замѣнившій его бравый молодецъ въ модномъ пальто, съ цвѣтнымъ галстукомъ на высокомъ воротѣ крахмальной манишки, съ лихо закрученными вверхъ усиками, началъ говорить что-то о „жидовскихъ помыслахъ касательно злостныхъ намѣреній низвести Россію-матушку до полной, примѣрно сказать, формы нуля“.

Кожевниковъ поднялся на носкахъ и вытянулъ голову, чтобы лучше рассмотреть эстраду и всѣхъ, кто стоялъ на ней. Сердце упало въ немъ и потомъ глухо и тяжело застучало въ груди. Тщетно онъ искалъ глазами хорошо знакомую фигуру; ея нигдѣ не было видно.

— Такъ вотъ-съ, примѣрно сказать,—заклучилъ франтоватый ораторъ, галантно выхляясь корпусомъ,—и покажемъ мы имъ-съ не что иное какъ, съ позволенія сказать, еловый шишъ... утремъ-съ имъ, примѣрно говоря, ихніе носы! И больше никакихъ-съ. Довольно!

Кожевниковъ, рѣшительно дѣйствуя локтями, успѣлъ за это время пробраться къ эстрадѣ и, оглянувъ еще разъ стоящихъ на ней и около нея, вдругъ растерялся. Онъ хочетъ говорить? зачѣмъ? что говорить? какая нелегкая толкаетъ его? И въ то же время, не отдавая себѣ отчета, отяжелѣвшими, точно не своими, ногами, онъ шагаль прямо къ каедрѣ. „Зачѣмъ?“—еще ра :

мелькнуло въ его головѣ. Но отступать уже было поздно. Многие, увидѣвъ его, вспомнили его рѣчи. Раздалось даже нѣсколько хлопковъ; франтоватый ораторъ улыбнулся ему и съ чувствомъ пріятнаго ожиданія, изобразившимся на его слащавой физиономіи, началъ тереть ладонь о ладонь, какъ бы говоря мысленно: „Ну, теперь будетъ баня, прохвостамъ достанется здорово!“

Между тѣмъ Кожевниковъ молча стоялъ у каеэдры и мучительно думалъ: „Что скажу?“

— Не отдышался, сердечный!—послышался насмѣшливый голосъ.

— Обробѣлъ, видать,—раздалось изъ другого угла.

— Нѣту, братаны, я-то не обробѣлъ!—вдругъ самолюбиво и какъ-то странно-весело крикнулъ поблѣднѣвшій паренъ.—Оно, правду сказать, сила большая нужна... („Чего это я?“—со страхомъ подумалъ онъ). Ну, объ этомъ будетъ разговоръ потому... весьма крупный разговоръ будетъ! („Околесицу гну!“—мелькало въ его головѣ)... Здѣсь говорили касательно жидовъ и студентовъ... таковой, кажись, разговоръ былъ... здѣсь... въ этихъ стѣнахъ... Стѣны слышали этотъ разговоръ, и вотъ... онѣ стоятъ на своихъ мѣстахъ? Онѣ не шарахнулись? Не раздавили всѣхъ насъ? Каменные—онѣ не задрожали?!

Кожевниковъ перевелъ духъ. Люди затаили дыханіе. На всѣхъ повѣяло тѣмъ-то страннымъ и жуткимъ. Кожевниковъ окинулъ быстрымъ взглядомъ потемнѣвшихъ глазъ притихшую толпу, и былое, знакомое чувство необычной силы и власти надъ нею вспыхнуло въ немъ. Онъ овладѣлъ собою, и тотчасъ же глаза его засверкали насмѣшливымъ блескомъ.

— ...Оно правильно, положимъ, что родимая земля обливается кровью!—снова началъ онъ.—Кто виновать, кто-о? Известно кто: жида и студенты! Вѣдь это, братцы, они... устроили голодъ по деревнямъ... Это они, поганые, хватаютъ у голоднаго мужика послѣднюю коровенку..., ву-у-ри-цу послѣднюю!.. потому какъ... нечѣмъ мужику подушную уплатить. Самъ своими глазами, православные, видѣлъ: бѣжить-летитъ курица, крылами хлопаетъ, а жидъ за ей, да за ей... фалды распустилъ... фалда сюда! фалда туда!—какъ крылья у курицы... Курица кудахчетъ, а жидъ—того пуще!..

Тихимъ смѣхомъ загудѣла толпа. А Кожевниковъ, еле сдерживая душившій его смѣхъ, продолжалъ:

— ...Бываетъ, теленовъ точно такимъ же манеромъ задереть (ую хвостъ, задними ногами на аршинъ отъ земли дрыгаетъ, студентъ въ очахъ за ёмъ... „За те-бя, теля нера-зумное, въ

мой карма-ашекъ бездонный рубликовъ пять перепадетъ "... Это они, жида и студенты...—Онъ замолчалъ на мгновение и потомъ бросилъ въ толпу слова, точно камни:—своихъ кровныхъ младенчиковъ къ скамьѣ пригвождаютъ!..

И смѣхъ, и гулъ пропали. Тишина окутала сумрачный залъ.

— Урра-а! — внезапно раздался сильный, простуженный голосъ, и почти къ самой эстрадѣ протискался пьяный Илья Лупандинъ.—Жа-арь ихъ! За тебя ду-ушу... Ка-та-ай!!

— Закатаю, другъ! — какъ то отчаянно и задумчиво въ то же время крикнулъ Кожевниковъ.—Это они, нехристи, снимаютъ мужичьи крыши...

Раздался одинокій, но сильный свистъ.

— Эй, кто тамъ свиститъ? Свисти, пріятель, на добро здоровье... авось потомъ чихать будешь!...—Онъ блѣднѣлъ все больше, сверкая веселыми глазами. — Самъ видѣлъ, братцы: сидитъ жидъ на стропилахъ и носомъ своимъ гнилую солому копаецъ... ровно бы при душлѣ дятель заграничный... Это они...— Кожевниковъ покрутилъ головой и вдругъ схватился за воротъ; онъ задыхался.—Они... насильничаютъ дѣвушекъ... нашихъ...

Вопарилась мертвая жуткая тишина. Лицо Кожевникова помертвѣло, глаза дико-безумно блуждали. Съ его губъ срывался прерывистый шопотъ:

— ...Они... обманыва...ютъ...

Онъ не кончилъ фразы. Къ эстрадѣ съ недоумѣвающимъ лицомъ протискивался Чешуйкинъ. Недалеко отъ него мелькнула полицейская форма. И Чешуйкинъ, и полицейская форма свернули въ глазахъ Кожевникова какъ что-то ослѣпительно блестящее, одинокое въ зданіи, полномъ народа. На мгновение глаза застлало темной пеленой. Потомъ имъ снова открылся свѣтъ—и Чешуйкинъ, одинъ только Чешуйкинъ. Сердце съ мучительной болью точно ухнуло въ какую-то бездну. Безпредметный, болѣзненно-жгучій восторгъ яркой молніей пронизалъ все существо. Еще мгновение,—и Кожевниковъ, при нѣмомъ ужасѣ народа, рванулся въ Чешуйкину, сшибъ его и сильной рукой, опершись колѣномъ въ грудь, сдавилъ ему горло...

— Хватай его!—раздался голосъ.

Полицейская форма еще рѣшительнѣе заработала кулаками и локтями... Кожевниковъ всталъ, выпрямился и мутными, ничего не выражающими, кромѣ тупой, тяжелой тоски, глазами обвелъ устремившихся къ нему людей. И всѣ на мигъ остановились, а иные шарахнулись вспять.

— Хватай! вали его!—орала между тѣмъ полицейская форма.

Однако никто въ это мгновеніе не тронулся съ мѣста; всѣхъ охватила жуть. Все произошло такъ быстро и было такъ ужасно... Человѣкъ, котораго всѣ знали и только-что видѣли живымъ, отъ котораго ожидали рѣчи, неподвижно лежалъ теперь около выпрямившагося и, повидимому, обезумѣвшаго парня. Изъ-подъ длиннаго щегольскаго пальто странно выглядывали, не шевелясь, носками врозь, ноги въ блестящихъ лакированныхъ ботинкахъ; круглое, полное, но совершенно бѣлое, искривленное судорогой, лицо съ открытыми безжизненно-стеклянными глазами было явно отмѣчено холодною печатью смерти, а по угламъ посинѣвшихъ губъ выступила уже застывающая темно-красная пѣна.

— Что жъ вы? очумѣли что-ли?! — вышелъ изъ себя, наконецъ, полицейскій чинъ.

— Не подходь! убью!! — хрипло крикнулъ Кожевниковъ, стягивая голову въ плечи и сжавъ кулаки. — Зло-о! вездѣ-ѣ!! И я... че...человѣ...

Въ этотъ моментъ четыре дюжихъ руки схватили его сзади и опрокинули на землю. Люди склонились надъ нимъ и связали ему руки. Народъ сгрудился. Кожевникова повели, — скорѣе поволокли, такъ какъ онъ еле передвигалъ ногами. Онъ бормоталъ что-то безсвязное. Слезы брызнули изъ его глазъ и потекли по щекамъ... Вдругъ онъ сдѣлалъ отчаянную попытку вырваться; но тотчасъ же эта вспышка угасла въ немъ. „Ма-а-тушка... ма-а-тушка!“ — тихимъ, рыдающимъ и безумнымъ голосомъ затаилъ онъ. Кто-то перекрестился въ страхъ; иные глубоко вздохнули.

А въ сторонѣ отъ всѣхъ, взволнованный, плохо державшійся на ногахъ, Лупандинъ дико вращалъ бессмысленно-свирѣпными глазами и сильно выкрикивалъ:

— Ббить ихъ, подлецовъ, би-ить!..

И вдругъ начиналъ плавать, причиталъ:

— Дру-у-ги мои... не про...прода...димся... нѣ-ѣ...русскіе... до одинаго ру-усскіе... люди... зе... земля...чки... землячки-и!.. Го-ри-ить... душа моя!..

В. Измайловъ.



РАННИЕ ГОДЫ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКАГО

ИЗЪ ИСТОРИИ РУССКАГО ОБЩЕСТВА И ЛИТЕРАТУРЫ.

V *).

По выходѣ изъ семинаріи, Чернышевскій былъ занятъ приготовленіями ко вступительному экзамену въ одну изъ свѣтскихъ высшихъ школъ, по новымъ языкамъ и проч.; такой экзаменъ, при его исключительныхъ способностяхъ, не представлялъ для него особыхъ затрудненій. Предполагался петербургскій университетъ, между прочимъ потому, что въ Петербургѣ у Чернышевскихъ были кое-кто изъ родственниковъ.

„Въ нашемъ ближайшемъ кругу—пишетъ А. Н. Пыпинъ—не было человѣка, имѣвшаго какое-нибудь понятіе о Петербургѣ. Это была невѣдомая отдаленная страна, пребываніе всѣхъ властей, съ особенными правами и великими житейскими трудностями, особенно для людей съ очень небольшими средствами, безъ знакомствъ и связей... Наконецъ, Петербургъ былъ городъ очень далекій: желѣзныхъ дорогъ не существовало; ѣхать на почтовыхъ надо было цѣлую недѣлю (если ѣхать безъ всякаго отдыха) и считалось дорого: поэтому обдумывался планъ путешествія на долгихъ. У меня осталось воспоминаніе объ этомъ отъѣздѣ Н. Г., какъ объ очень важномъ событіи, въ глазахъ не только моихъ, но и всѣхъ старшихъ. Само собою разумѣется, что Н. Г. не рѣшились пустить одного: съ нимъ поѣхала его мать

*) См. выше: июль, 5 стр.

и одна старинная наша знакомая средних лѣтъ, жившая въ одномъ изъ нашихъ домиковъ на квартирѣ. Путь изъ Саратова въ Москву шель обыкновенно на Пензу или на Тамбовъ; въ этотъ разъ онъ былъ взятъ на Воронежъ, такъ какъ по дорогѣ желали поклониться мощамъ св. Митрофанія“.

Наконецъ, съ всевозможными, принятыми въ патриархальномъ духовномъ быту, напутствіями тронулись въ дорогу. Изъ этого путешествія для характеристики юноши Чернышевскаго заслуживаетъ вниманія развѣ только эпизодъ, рассказанный Клиентовой.

Чернышевскіе остановились въ Москвѣ, по дальнему знакомству, у ея родственниковъ, и отъ нихъ вмѣстѣ съ нею отправились на поклоненіе въ Троице-Сергіевскую лавру. По дорогѣ Клиентова была свидѣтельницей нѣжныхъ заботъ матери о сынѣ; она то укрывала, то укутывала его, прикрывала со стороны вѣтра то собственною ладонью, то всѣмъ тѣломъ, то платкомъ, распустивъ его по воздуху и придерживая руками.

„Такъ доѣхали до Сергіевскаго Посада. Остановиться на этотъ разъ пришлось на постояломъ дворѣ. Евгенія Егоровна взяла одну комнату. Днемъ отъ такого совмѣстнаго помѣщенія неудобствъ не представлялось, но какъ быть ночью? Какъ ни патриархальны были нравы того времени, все же нельзя было ложиться спать молодой вдовѣ въ присутствіи молодого человека. Если взять еще другую комнату, то это слишкомъ дорого... Но Евгенія Егоровна наплась, какъ выйти изъ затрудненія, не дѣлая никакихъ лишнихъ затратъ. Когда пришло время ложиться спать, она сказала сыну: „А ты, Никола, полѣзай подъ кровать, да тамъ и усни, а мы обѣ на кровать ляжемъ. Намъ такъ удобно будетъ и спать, и раздѣваться“.—Н. Г. ничуть не смутился неудобствомъ помѣщенія, спокойно, безъ всякихъ возраженій полѣзъ подъ кровать и тамъ расположился на ночлегъ. На другой день Чернышевская проснулась рано, разбудила Александрю Григорьевну: „Вставай, въ заутренѣ пора!“ — Разбудивъ скрипомъ кровати, а можетъ быть и разговоромъ матери, Н. Г. завозился въ своемъ импровизированномъ помѣщеніи. „А ты, Никола, смотри, погоди вылѣзть-то, — крикнула она ему:—Полежи, пока мы одѣнемся“.

„Такъ онъ бѣдненькій, и пролежалъ подъ кроватью, пока мы одѣлись,—рассказывала А. Г.—А какъ вылѣзъ оттуда—весь перепачканный въ пуху, словно шутъ“.

„Дорогой, когда мы возвращались,—продолжала она,—Николай Гавриловичъ много говорилъ о Гегелѣ, о своихъ литературныхъ планахъ“.

Наконецъ, прїѣхали и въ Петербургъ. Евгенія Егоровна устроила сына въ семьѣ его двоюродной сестры, уже упомянутой, какъ любимая подруга и руководительница Н. Г., Любови Николаевны Котляревской, по мужу Терсинской. Овъ съ успѣхомъ сдалъ экзаменъ и послалъ товарищамъ по семинаріи прощальное письмо, оставшееся имъ сильно памятнымъ: онъ прощался со всею полосой прежней жизни и точно старшій умомъ и годами каждому сердечно высказывалъ его особенность... Дороги ихъ окончательно разошлись съ переездомъ его въ Петербургъ, гдѣ его захватилъ недостижимый для нихъ университетъ; „сонъ свершился на яву“.

Наяву сонъ во многомъ, конечно, оказался далеко не такъ прекрасенъ, какъ казалось.

VI.

Достаточно извѣстно общее положеніе тогдашней университетской науки. Во главѣ министерства народнаго просвѣщенія стоялъ графъ С. Уваровъ, которому принадлежитъ извѣстная формулировка тройственнаго девиза николаевскаго царствованія: православіе, самодержавіе, народность. „Въ нынѣшнемъ положеніи вещей и умовъ — говорилось имъ въ качествѣ руководящаго начала просвѣщенію — нельзя не умножать, гдѣ только можно, число умственныхъ плотинъ“, для противоборства „разрушительнымъ европейскимъ идеямъ“.

Чернышевскій поступилъ на первое отдѣленіе философскаго факультета (нынѣ историко-филологическій факультетъ).

„Вообще говоря, научный уровень не былъ особенно высокъ, — снисходительно говорить о петербургскомъ университетѣ А. Н. Пыпинъ; — но въ тѣхъ условіяхъ, въ какихъ находилась русская наука, университетъ несомнѣнно приносилъ свою пользу, т.-е. расширялъ горизонтъ свѣдѣній и возбуждалъ собственную дѣятельность“. Чернышевскій провелъ въ университетѣ годы съ осени 1846 года по весну 1850 г., т.-е. его студенчество пришлось какъ разъ на рѣзкій переломъ отъ общаго реакціоннаго направленія правительства къ бѣшенству реакціи послѣ февральской революціи 1848 года. Но петербургскій университетъ, какъ бывшій подъ бокомъ у царя и министра, всегда находился подъ болѣе строгой ферулой, чѣмъ другіе, въ особенности въ противоположность московскому университету, гдѣ, благодаря болѣе мягкому режиму просвѣщеннаго вельможи, графа С. Г. Строганова, могла развернуться профессорская дѣятельность Гранов-

скаго, Рѣдкина и ихъ товарищей опредѣленно либеральнаго на-
правления. Не то было въ Петербургѣ.

Попечителемъ округа и университета былъ здѣсь съ 1846 г. М. Н. Мусинъ-Пушкинъ, передъ тѣмъ попечительствовавшій въ Казани, гдѣ былъ „настоящимъ ханомъ“. Въ Петербургѣ онъ ругалъ учителей „болванами, дураками, пустыми головами, шу-
тами“... „Онъ началъ обращаться такъ же и со студентами: ему погрозили, что сначала освищутъ его, а наконецъ и поволотятъ. Онъ притихъ“ (Никитенко). „Я еще не встрѣчался на моемъ служебномъ поприщѣ съ такимъ глупцомъ,—писалъ Никитенко.— У него обыкновенно ни на что нѣтъ причинъ. Онъ кричитъ, шумитъ, размахиваетъ руками и въ своихъ мнѣніяхъ скачетъ чрезъ всѣ логическія преграды, пока, наконецъ, не стукнется лбомъ о какую-нибудь до того отчаянную нелѣпость, что уже самъ остановится“ (Дневникъ, 5 янв. 1846 г. и 5 авг. 1847 г.). Пред-
ставителю науки, отданной подъ надзоръ „хана“ и „глупца“,— по отзыву такого умѣреннаго человѣка, какъ Никитенко,—трудно было сохранить свою умственную независимость и нравственное достоинство, и въ лѣтописяхъ университета мы встрѣчаемъ такіе, напр., изумительные факты, какъ рассказанный у того же Ни-
китенка случай на магистерскомъ диспутѣ зоолога Варнеке, гдѣ произошла „непристойность“. „Диспутантъ, по обыкновенію, со-
провождалъ свою рѣчь въ иныхъ мѣстахъ латинскими терми-
нами, иногда нѣмецкими и французскими, которые ставилъ въ скобкахъ при названіи техническихъ предметовъ. Изъ этого про-
фессоръ (И. О.) Шиховской (ботаникъ, котораго предметъ диссер-
таціи прямо и не касался.—В. В—ій) вывелъ заключеніе, что Варнеке не любитъ своего отечества и презираетъ свой языкъ... и началъ намекать на то, что диспутантъ явился склоненъ къ матеріализму...И такъ, вотъ одинъ изъ профессоровъ, вмѣсто
ученаго диспута, направился прямо къ полицейскому доносу. Такова судьба науки на Сандвичевыхъ островахъ! Мудрено ли,
что тамошнія власти презираютъ науку и ученыхъ“ (6 дек. 1848 г.).

Все это достаточно объясняетъ, почему тогдашніе предста-
вители науки въ петербургскомъ университетѣ, среди которыхъ
были люди несомнѣнно даровитые, гораздо меньше имѣли вліянія
в молодежь, чѣмъ можно было ожидать.

Воспоминанія разныхъ лицъ довольно подробно обрисовы-
въ лтъ профессоровъ, которыхъ слушалъ Чернышевскій. По сло-
въ автора статьи въ „Колоколѣ“, онъ на первыхъ порахъ
въ оглядки принялся за изученіе болѣе глубокое древнихъ и

славянскихъ языковъ, жадно слѣдилъ за преподаваніемъ наукъ, рылся въ лѣтописяхъ, усердно читалъ Нибура, Домбровскаго, Востокова, по совѣту профессоровъ. Въ философію и критику онъ пока еще не вдавался“. Каковы же были его руководители, и что они ему могли дать?

„Профессорами классическихъ языковъ были, по старому обычаю, выписные нѣмцы: греческаго языка—Греффе, латинскаго—Фрейтагъ, оба въ своемъ родѣ типическіе нѣмецкіе профессора старой манеры. Греффе (въ мое время уже древній человекъ), учившій нѣкогда греческому языку графа Уварова, былъ ревностно преданъ своему ученому дѣлу. Фрейтагъ, кажется нѣсколько помоложе, былъ старомодный филологъ, отличавшійся отъ Греффе тѣмъ, что когда послѣдній былъ уже заинтересованъ новѣйшими открытіями сравнительнаго языковѣдѣнія, Фрейтагъ съ пренебреженіемъ относился къ новой наукѣ, которую считалъ дѣломъ несерьезнымъ, а самымъ серьезнымъ было для него, кажется, изученіе текстовъ, вариантовъ и грамматики“ (Пыпинъ).

Чернышевскій, и ранѣе легко читавшій Цицерона, оказался однимъ изъ первыхъ латинистовъ, и даже настолько освоился съ профессоромъ, что однажды представилъ ему въ видѣ перевода на латинскій какую-то выписку изъ Цицерона: мистификація сошла съ рукъ благополучно... случай, менѣе всего свидѣтельствующій, чтобы профессору удалось завоевать уваженіе слушателя. О Греффе профессоръ Благовѣщенскій впоследствии замѣчалъ, что „трепетъ, который ощущали предъ нимъ студенты“, происходилъ „единственно отъ незнанія ими другого порядочнаго знатока древности“.

Курсовъ новой европейской литературы никто не читалъ, а предполагалось, что объ иностранныхъ литературахъ могутъ давать понятіе лекторы новыхъ языковъ, которыми мало кто занимался.

Русская исторія читалась Н. Г. Устряловымъ, но, занятый своей монументальной „Исторіей Петра Великаго“, онъ въ эти годы совершенно пренебрегалъ чтеніемъ лекцій, и русская исторія ничѣмъ никого не привлекала въ эту пору университета.

Скользнули въ кругу занятій Чернышевскаго въ университетѣ еще менѣе замѣчательные лекторы: философіи—Фишеръ, и богословія—Райковскій. Увлечь его и приковать къ своимъ предметамъ могли только трое наиболѣе замѣчательныхъ тогдашнихъ профессоровъ его отдѣленія, это—М. С. Куторга по каедрѣ всеобщей исторіи, А. В. Никитенко (теорія словесности) и в

особенности Изм. И. Срезневский по каедрѣ славянскихъ нарѣчій.

„Лекціи М. С. Куторги—говорить историкъ университета—явились по каедрѣ всеобщей исторіи живительною и плодотворною новостью. Куторга слушалъ лекціи въ Парижѣ, Гейдельбергѣ, Мюнхенѣ, но большую часть двухгодичнаго пребыванія своего въ чужихъ краяхъ провелъ въ Берлинѣ. Критическая школа Нибура находилась тогда въ полномъ развитіи. По направленію, имъ указанному, трудились тамъ съ жаромъ надъ разработкою исторіи вообще и древней въ особенности. Древній міръ все болѣе и болѣе терялъ ту чуждую, непонятную для насъ оболочку, въ которой представлялся дотогѣ ученымъ, и начиналъ являться въ ясныхъ, живыхъ, опредѣленныхъ чертахъ; политическій бытъ и учрежденія, созданія народнаго творчества, языкъ, религія древнихъ, все подвергалось анализу, все воссоздавалось и объяснялось путемъ строгой исторической критики. Во взглядѣ М. С. Куторги на требованія университетскаго преподаванія не было ничего общаго съ гимназическими взглядами и приемами его предшественниковъ по каедрѣ. Источники и литература предмета съ критическою ихъ оцѣнкою не входили вовсе въ ихъ планъ: у Куторги составили они основу его чтеній. Несовмѣстнымъ съ критическою методою, имъ усвоенною, представлялось также слѣдованіе какимъ-либо учебникамъ, которыми они руководствовались. Не останавливаясь на изложеніи общеизвѣстныхъ фактовъ, онъ, вмѣсто того, сталъ знакомить слушателей съ различными господствующими и господствовавшими научными на нихъ воззрѣніями, старался показать связь этихъ фактовъ съ предшествующими и послѣдующими явленіями, освѣтить ихъ, разъяснить ихъ значеніе и представить такимъ образомъ живую и ясную картину постепеннаго развитія челоувческаго общества. Не грузъ именъ и чиселъ выносили слушатели изъ его аудиторіи, а знакомились, на означенныхъ вопросахъ, съ методомъ научныхъ занятій, съ требованіями научнаго изслѣдованія. Такое преподаваніе, при дарѣ изложенія, естественно привлекало слушателей и, возбуждая въ нихъ самостоятельность, располагало къ самостоятельному занятію предметомъ. „тобы поддержать и укрѣпить это расположеніе, М. С. Куторга, сверхъ лекцій въ университетѣ, завелъ, съ конца сороковыхъ годовъ, особыя вечернія бесѣды у себя на дому, собственно для студентовъ, желавшихъ посвятить себя исключительно изученію исторіи. Тутъ, подобно тому какъ въ „семинаріяхъ“ у чанскихъ профессоровъ, занимался онъ спеціальнымъ разбо-

ромъ отдѣльныхъ историческихъ вопросовъ, задавалъ темы студентамъ для разработки, разбиралъ сочиненія, которыя они представляли, и такимъ образомъ на дѣлѣ знакомилъ молодыхъ людей съ требованіями и приемами исторической критики. Эти старанія профессора не остались безплодны; не только нѣкоторые изъ трудившихся въ его семинаріи сами заняли впоследствии университетскія кафедры исторіи, но строго-научнымъ направленіемъ своимъ обязаны лекціямъ его даже труды многихъ изъ его слушателей, избравшихъ себѣ иную специальность“.

Очень сочувственные отзывы о Куторгѣ оставили также А. Н. Пыпинъ и В. П. Острогорскій. Оба говорятъ о недостаткахъ его характера—сухости и желчности, которыя помѣшали ему ближе сходитья со студентами и имѣть на нихъ болѣе сильное вліяніе, но онъ оставилъ по себѣ благодарную память, какъ человѣкъ, вводявшій въ новыя приемы историко-критическаго изслѣдованія, вводявшій въ дѣйствительное положеніе исторической науки.

„Выбранныя имъ параллельно двѣ эпохи: Греція во времена Аристофана и вѣкъ Людовика XIV—вспоминаетъ о немъ Острогорскій—вырисовывались у него благодаря искусному подбору мельчайшихъ фактовъ въ цѣлыя необыкновенно живыя картины, которыя крѣпко запечатлѣвались въ воображеніи. Но такое изложеніе не исключало, однако, идеи, и подобно тому, какъ изъ романа, на примѣръ, получается въ концѣ концовъ и общая отвлеченная мысль, такъ и изъ этихъ часто желчныхъ лекцій мы вынесли ясное сознаніе того, какъ обманчивъ бываетъ въ государствѣ внѣшній блескъ и какъ такъ называемые въ исторіи „золотыя вѣка“ носятъ въ себѣ зачатки несомнѣннаго разложенія“.

По указаніямъ Куторги, Чернышевскій знакомится съ корифеями исторической науки, при чемъ особенно заинтересовывается Шлоссеромъ; впоследствии онъ переводилъ на русскій языкъ его исторію XVIII вѣка, и отводитъ Шлоссеру первое мѣсто между современными историками. Сильнымъ впечатлѣніемъ, произведеннымъ въ періодъ ломки взглядовъ, вѣдетъ отъ того, чтó писалъ впоследствии Чернышевскій о Шлоссерѣ:

„...Этотъ плохой рассказчикъ—въ самомъ дѣлѣ мудрецъ, если можно кого-нибудь назвать мудрецомъ. Ничѣмъ не подкупится, ничѣмъ не обольститя онъ: ни блескъ, ни гений, ни софизмы панегиристовъ, ни даже собственныя желанія, ничто не отуманитъ его зоркаго взгляда, не смягчитъ его строгаго приговора. Онъ знаетъ людей, какъ ихъ знали Монтанъ и Маккиавелли. Не съ тѣмъ вмѣстѣ онъ вѣритъ въ правду, онъ любитъ человѣка. Потому рѣчь его, суровая и печальная, разрушая ваши иллюзіи“.

укрѣпляетъ ваши убѣжденія во всемъ истинно добромъ и высокомъ. Сроднившись съ нимъ, вы, можетъ быть, перестанете видѣть въ исторіи тотъ непрерывный ровный прогрессъ въ каждой смѣнѣ событій и историческихъ состояній, который чудился вамъ прежде; быть можетъ, вы потеряете вѣру во всѣхъ тѣхъ людей, которыми ослѣплялись прежде; но зато уже нивагое разочарованіе опыта не сокрушитъ того убѣжденія въ неизбѣжности развитія, которое сохранится въ васъ послѣ его строгаго анализа; и если вы перестанете представлять героями добра и правды почти всѣхъ тѣхъ, кто прежде являлся вамъ въ ореолѣ, сотканномъ изъ риторскихъ фразъ и идеальныхъ увлеченій, за то укрѣпится ваше довѣріе къ будущимъ судьбамъ человѣка, потому что вмѣсто героевъ истинно полезными двигателями исторіи вы признаете людей простыхъ и честныхъ, темныхъ и скромныхъ, какихъ, слава Богу, всегда и вездѣ будетъ довольно...

„Чрезвычайно здравый взглядъ на человѣческую жизнь—вотъ чѣмъ великъ Шлоссеръ... Онъ не принадлежитъ ни къ какой партіи,—не потому, чтобы у него не было своего образа мыслей, очень точнаго и непреклоннаго, но потому, что его понятія о людяхъ и событіяхъ основаны не на личныхъ желаніяхъ и привязанностяхъ, а на опытѣ долгой жизни, честно проведенной въ исканіи добра и правды. Чтобы раздѣлять этотъ взглядъ, надобно отказаться отъ всѣхъ оболъщенихъ виѣшности, отъ всѣхъ прикрасъ идеализма, но сохранить молодое стремленіе ко всему истинно благотворному для людей, нужно холодную разборчивость старика соединить съ благородствомъ юноши... Почти каждому изъ насъ будутъ неприятны многія изъ его сужденій; одному—одни, другому—другія; но въ читателѣ, любящемъ чистую правду больше, нежели потворство своимъ предубѣжденіямъ, послѣ каждаго разнорѣчія со Шлоссеромъ остается впечатлѣніе: если мнѣ кажется, что онъ неправъ, то едва-ли это не кажется мнѣ потому, что я не могу еще отказаться отъ пріятнаго мнѣ оболъщениа“.

Нельзя не видѣть здѣсь отраженія личнаго впечатлѣнія, вынесеннаго молодымъ студентомъ изъ чтенія историка, разбивавшаго пріятныя иллюзіи о руководствѣ исторіи Промысломъ къ предуказаннымъ благимъ цѣлямъ,—отраженія той ломки понятій, которая подъ вліяніемъ различныхъ факторовъ должна была превратить семинариста въ человѣка свободныхъ понятій.

Критическія склонности Чернышевскаго не могло не питать вліяніе главнаго университетскаго свѣтила того времени, Срез-

невскаго; о немъ придется сказать нѣсколько подробнѣе, нежели о другихъ учителяхъ Чернышевскаго.

Измаилъ Ивановичъ Срезневскій (род. въ 1812 году) принадлежалъ къ тому поколѣнью, которое выдвинуло Бѣлинскаго и Герцена. Но при всѣхъ критическихъ способностяхъ его ума онъ не направился, какъ у этихъ корифеевъ русской общественной мысли, на анализъ русской дѣйствительности, а ушли въ болѣе безопасную область науки, отгородившейся отъ вторженій современности. Предполагаютъ, что на Срезневскаго сильно подѣйствовала исторія съ его диссертацией, которую онъ представилъ въ 1839 году харьковскому университету: „Опытъ о предметахъ статистики и политической экономіи“. Новизна и оригинальность взглядовъ Срезневскаго явились причиною того, что факультетъ забраковалъ диссертацию, и онъ не былъ допущенъ къ диспуту. Это приключеніе подрѣзало крылья Срезневскому, и онъ систематически сталъ избѣгать всякихъ широкихъ построеній и теорій и придавалъ всей своей послѣдующей дѣятельности тотъ сухой, документальный, посвященный частнымъ вопросамъ науки характеръ, за который его не безъ основанія и упрекали.

Но зато онъ сталъ въ глазахъ власти человѣкомъ совершенно благонамѣреннымъ, и ученая карьера его протекала гладкимъ и почетнымъ русломъ.

„Вступивши на кафедру съ 1847 года, — рассказываетъ оффиціальная исторія университета, — Изм. Ив. Срезневскій началъ курсъ чтеній посвящать энциклопедическому введенію, имѣющему цѣлью ознакомить слушателей со славянскимъ племенемъ, какъ частью кореннаго народонаселенія Новой Европы; съ его общими судьбами въ отношеніи политическомъ, религіозномъ, бытовомъ; съ характеристическими отличіями его нарѣчій; съ важнѣйшими явленіями народной его словесности и книжной литературы, а вмѣстѣ съ тѣмъ и съ главными пособіями для изученія славянства. Вслѣдъ за этимъ, вводнымъ, курсомъ слѣдовали постоянно черезъ годъ-два другіе: курсъ славянскихъ древностей и курсъ исторіи языка и литературы западныхъ славянъ. Курсъ древностей состоялъ изъ рассмотрѣнія иностранныхъ и отечественныхъ свидѣтельствъ, оставшихся о славянахъ древняго времени, и изъ систематическаго изложенія быта, общественнаго устройства и религіи каждаго изъ славянскихъ народовъ во времена, предшествовавшія утверженію между ними христіанства. Курсъ исторіи языка и литературы заключалъ въ себѣ рассмотрѣніе измѣненій, которымъ подвергалось въ народъ

номъ и письменномъ употребленіи каждое изъ главныхъ нарѣчій славянскихъ, и судебъ народной поэзіи и литературы у каждого изъ главныхъ народовъ славянскихъ. Заключительный, четвертый, курсъ посвящаемъ былъ древностямъ русскаго языка, съ подробнымъ объясненіемъ главнѣйшихъ его памятниковъ. Кромѣ лекцій, профессоръ Срезневскій упражнялъ слушателей въ научныхъ работахъ филологическихъ и археологическихъ, имѣвшихъ цѣлью приучить ихъ къ самостоятельному разсмотрѣнію памятниковъ языка и письма, вслѣдствіе чего изъ школы его вышло много людей съ превосходнымъ ученіемъ направленіемъ и столь рѣдкимъ еще у насъ умѣніемъ работать наукообразно. Самъ же онъ, съ возвращенія изъ-за границы въ 1842 году, совершилъ громадное количество ученыхъ работъ по изслѣдованію отечественнаго и другихъ славянскихъ языковъ, по разъясненію древностей и народности племенъ славянскихъ, по разбору и изданію древнихъ и старинныхъ памятниковъ ихъ литературъ". Вообще же „приобрѣлъ неоспоримое право считаться въ настоящее время, о боку съ Палацкимъ, блистательнѣйшимъ свѣтиломъ на горизонтѣ славянской науки“.

Всѣ слушавшіе его лекціи признавали его лекторомъ увлекательнымъ, блестящимъ, особенно въ то время его живого увлеченія славянствомъ. „Въ его изложеніи историческомъ или филологическомъ находили мѣсто эпизоды изъ его собственныхъ наблюденій за время его странствованій по славянскимъ землямъ. Въ то время это былъ едва-ли не главный его научный интересъ, которому онъ отдавался со всею живостью своего характера; немудрено, что его лекціи были очень привлекательны для всѣхъ, у кого была сколько-нибудь пробуждена любознательность къ славянскому міру“ (Пыпинъ).

Но при всѣхъ своихъ талантахъ и знаніяхъ, при всемъ своемъ блескѣ и обаяніи въ глазахъ студентовъ, къ которымъ лично онъ относился весьма любезно и участливо, въ его дѣятельности не было того, что составляетъ душу преподаванія. Въ концѣ концовъ чувствовалась холодная безпринципность его, какъ гражданина; „Срезневскій готовъ быть всѣмъ, чѣмъ угодно сильнѣйшему“, — отмѣтилъ о немъ Никитенко (Дневникъ, 7 апр. 1855 г.); холодность даже къ самому предмету его спеціальности поразила нѣкоторыхъ его слушателей.

Почти тождественные отзывы о немъ дали два такихъ его талантливыхъ и различныхъ ученика, какъ В. П. Острогорскій и Писаревъ.

Для перваго изъ нихъ Срезневскій такъ и остался загадкою.

„Это была личность своеобразная, оригинальная. Человѣкъ очень большого, остраго, скептическаго ума и мѣткаго ироническаго остроумія, онъ, помимо своей специальности въ славянскихъ нарѣчійхъ, преимущественно въ древне-русскомъ и церковно-славянскихъ языкахъ, былъ энциклопедистъ, обладавшій громадною памятью, и поражалъ блескомъ и остроуміемъ рѣчи. Самолюбиво дававшій чувствовать свою ученость и этотъ энциклопедизмъ, вообще любившій ловко и встати мимоходомъ восхутиться своихъ близкихъ отношеній чуть не ко всему западному славянскому ученому міру,... онъ могъ поразить блескомъ и увлекательностью лекцій, но изъ этихъ лекцій, сколько помню, выносилъ, по крайней мѣрѣ я, очень мало“... Блестая передъ студентами, „Срезневскій какъ бы снисходилъ до насъ, небрежно бросая кое-какія крупинцы изъ богатой житницы своей учености, разнообразныхъ знаній и жизненнаго опыта; бросалъ какъ бы шутя, подчасъ очень зло, желчно разбивая ту или другую научную теорію, или мнѣніе, развѣчивая ту или другую якобы авторитетную личность; но воспользуемся ли мы, и какъ, этими крупинцами, до этого, какъ мнѣ по крайней мѣрѣ казалось, ему не было никакого дѣла. Я, право, даже не могу сказать, вѣрилъ ли покойный серьезно, въ глубинѣ-то души, закрытой для постороннихъ, въ будущность славянскаго міра, что онъ думалъ о судьбѣ славянскаго міра, о славянофилахъ, панславизмѣ и нашихъ отношеніяхъ къ славянскому міру. И если образовались у меня какіе-нибудь опредѣленные взгляды и убѣжденія насчетъ славянства, какъ русскаго, такъ и остальной Европы, то обязанъ я этимъ не Срезневскому, а позднѣйшему знакомству съ извѣстными книгами Пыпина“.

Въ концѣ концовъ Острогорскій выражаетъ „маленькому Вольтеру“ признательность лишь за утвержденіе и возбужденіе его лекціями „духа критики по отношенію къ наукѣ, людямъ и жизни, а тамъ уже, что признать или отвергнуть — это было, какъ и у всякаго, дѣломъ своего собственнаго крайняго разумѣнія“.

Гораздо рѣзче осудилъ Срезневскаго (подъ именемъ Сварожича) Писаревъ.

„Не подлежитъ сомнѣнію, что онъ былъ умнѣ всѣхъ профессоровъ нашего факультета. Но умъ этотъ, острый, сухой и трезвый, былъ преимущественно разлагающаго свойства; онъ могъ преслѣдовать ошибочную гипотезу въ ея послѣднія убѣжища онъ могъ разбивать красивую мечту безъ всякаго состраданія къ ея красотѣ, онъ разрушалъ всякую теорію, показывалъ несосто-

тельность всякаго рискованнаго предположенія, — затѣмъ, окончивъ дѣло истребленія, воздерживался отъ всякой попытки собственнаго творчества... Всякій мало-мальски внимательный наблюдатель могъ легко замѣтить, что Сварожичъ глубоко равнодушенъ къ своей наукѣ и даже невольно относится къ ней съ легкимъ оттѣнкомъ скептическаго презрѣнія... Разсматривая умственную деморализацію Сварожича, мы страдаемъ за него самого, страдаемъ за достоинство человѣка, потому что здѣсь мы видимъ паденіе замѣчательнаго ума, оставшагося замѣчательнымъ даже въ своемъ униженіи. Паденіе Сварожича состояло въ томъ, что онъ былъ работъ занимаемаго имъ мѣста... Конечно, такой характеръ могъ развиваться только при извѣстныхъ внѣшнихъ условіяхъ; но мнѣ кажется, что его задатки заключались именно въ неестественныхъ отношеніяхъ Сварожича къ предмету его умственной дѣятельности... Личность Сварожича казалась и мнѣ, и другимъ личностью умнаго человѣка, дипломата, университетскаго Талеярана. Поэтому я приступилъ къ ея анализу сначала съ тѣмъ невольнымъ уваженіемъ, которое всегда внушаетъ въ себѣ человѣческій умъ, съ тѣмъ уваженіемъ, съ которымъ историкъ XIX столѣтія сталъ бы вглядываться въ фізіономію Талеярана. Только рѣшившись анализировать и называть вещи настоящими именами, я могъ придти къ тѣмъ нелестнымъ для Сварожича результатамъ, къ которымъ привело меня непреднамѣренное развитіе мысли.

Умному скептику—вспоминаетъ, наконецъ, Писаревъ, студентомъ мечтавшій, что онъ будетъ продолжателемъ университетской науки,—было смѣшно видѣть мои добросовѣстныя и напрасныя усилія влюбиться въ науку, а даровитому и опытному критику стоило сказать только нѣсколько словъ, чтобы разбить въ прахъ методы моихъ занятій... Но нехорошо было то, что Сварожичъ дипломатизировалъ даже со мною, говоря о моихъ занятіяхъ и тревогахъ. Онъ указывалъ мнѣ только частныя мои ошибки, и ни разу не проронилъ ни одного слова насчетъ общихъ свойствъ университетской науки и студенческихъ занятій. Когда я въ совершенномъ отчаяніи спрашивалъ у него: да чтѣ же дѣлать? чтѣмъ заниматься?—тогда онъ съ необыкновеннымъ искусствомъ успокаивалъ меня на минуту нѣсколькими общими словами и такимъ образомъ уклонялся самъ отъ всякаго категорическаго отвѣта. Ему, какъ філологу и профессору, было неудобно разоблачать предъ студентомъ общую несостоятельность нашей науки; и въ то же время ему, какъ умному человѣку, было странно и противно повторять фразы...,—вотъ онъ и лавировалъ,

говоря съ солиднымъ уваженіемъ о какой-то отвлеченной наукѣ вообще, и въ то же время осмѣивая тонко и умно ошибки ученыхъ, учащихъ и учащихся въ частности. Сказать мнѣ просто и откровенно: бросьте вашъ хламъ, познавайтесь съ жизнью, расширьте кругъ вашего чтенія и вашей мысли—этого ему не хотѣлось. Весь хламъ въ совокупности назывался у него великою и священною наукою, но каждый кусочекъ этого хлама разсматривался и оцѣнивался имъ по достоинству, и оказывался пылью и гнилью, на которой нельзя построить ни одного твердаго вывода.

„Каковъ былъ Сварожичъ въ разговорахъ, таковъ онъ былъ на лекціяхъ. Относясь съ глубокой недоувѣрчивостью къ трудамъ всѣхъ ученыхъ, разработывавшихъ его науку, онъ не читалъ на лекціяхъ ничего чужого. Всѣ его лекціи состояли изъ сырыхъ матеріаловъ и изъ замѣчаній, составленныхъ имъ самимъ. На каждой лекціи онъ разсматривалъ представлявшіеся вопросы съ разныхъ сторонъ, проводилъ множество доводовъ *за* и *противъ*, напрягалъ ожиданія слушателей и потомъ не останавливался ни на чемъ. „Можетъ быть такъ, можетъ быть и не такъ“, — вотъ и все, что выносили слушатели; каждая лекція оканчивалась знакомъ вопросительнымъ, и доказывала такимъ образомъ, что Сварожича забавляетъ иногда процессъ мышленія, но что предметъ, о которомъ онъ размышляетъ, всегда остается для него безразличнымъ. Говорить о судьбѣ цѣлаго народа, или разбирать различные мнѣнія археологовъ о какой-нибудь черниговской гривнѣ—для него это было все равно; было даже замѣтно предпочтеніе къ черниговскимъ гривнамъ, потому что микроскопическій вопросъ можетъ быть удобнѣе и безопаснѣе анализированъ съ разныхъ сторонъ. А поведетъ ли этотъ вопросъ къ чему-нибудь?—объ этомъ собиратель матеріаловъ не спрашиваетъ, да и спрашивать не зачѣмъ. Вопросъ потѣшилъ его мысль, далъ ему возможность прочесть лекцію, доставилъ ему случай написать академическій мемуаръ; очевидно, стало быть, что вопросъ повелъ къ бчень многому“... („Наша универс. наука“).

Къ этому остается добавить, что энциклопедизмъ Срезневскаго должно понимать весьма условно. Это былъ человекъ совершенно равнодушный, напимѣръ, къ новой русской литературѣ. Добролюбовъ, приводившій студентомъ какъ-то въ порядокъ бібліотеку Срезневскаго, пришелъ отъ нея въ ужасъ. Онъ писалъ объ этомъ:

„Пока шла славянская филологія, я удивлялся богатству бібліотеки его: книгъ чешскихъ, сербскихъ, болгарскихъ у него

болѣе, нежели я предполагалъ всего существующаго въ этихъ литературахъ. Но когда дѣло дошло до русской литературы, удивленіе мое уступило мѣсто ужасу; вообрази, нѣтъ не только Лермонтова, Кольцова (это еще было бы понятно), нѣтъ даже Карамзина (кромѣ, конечно, „Исторіи“), Державина, Ломоносова (опять кромѣ „грамматики“). Пушкинъ и Гоголь есть только въ новыхъ изданіяхъ, слѣдовательно до прошедшаго года ихъ и не было!... „Мертвыхъ Душъ“ такъ и нѣтъ, и по одной роспискѣ, брошенной между книгами, видно, что онъ бралъ ихъ читать изъ академической библиотеки. Русскіе журналы, впрочемъ, есть всѣ и, вѣроятно, ихъ присылаютъ ему даромъ. Самъ Срезневскій оказывается человѣкомъ весьма добродушнымъ и благороднымъ. Я даже думаю, что онъ былъ бы способенъ къ нѣкоторому образованію, если бы не имѣлъ такой сильной учености въ своемъ специальномъ занятіи и если бы въ сотняхъ своихъ статей не находилъ точки опоры для своего невѣжества въ вопросахъ человѣческой науки“.

Надо думать, эти черты скептическаго равнодушія даже къ предмету своей специальности рѣзко развились въ Срезневскомъ въ то нѣсколько болѣе позднее время, когда его и слушали Острогорскій, Писаревъ. Въ 1847 г. онъ съ большою долею искренняго увлеченія былъ погруженъ въ славянскія изученія, и благодаря качествамъ своего живого и общительнаго характера былъ способнѣе всякаго другого профессора привлечь къ предмету своихъ занятій такого студента, какимъ былъ Чернышевскій, съ его „неутомимымъ прилежаніемъ“, съ готовностью погрузиться въ любой специальный предметъ, окрашенный пока для него розовой дымкой всепасающей и великой науки, къ которой его потянуло отъ науки семинарской.

Срезневскій, повидимому, обласкалъ ретиваго студента, и въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ Чернышевскій считаетъ себя чрезвычайно обязаннымъ профессору: „я обязанъ вамъ такъ много“, „вы сдѣлали мнѣ столько добра“,—говоритъ онъ въ письмахъ изъ Саратова 1851—2 года, подписываясь: „вашъ ученикъ“. Студентомъ, какъ видно изъ письма отъ 19 іюня 1848 г., Чернышевскій дѣлалъ для Срезневскаго выписки изъ Паремейниковъ и составлялъ для него сводный экземпляръ записокъ курса славянскихъ древностей, просилъ профессора располагать его свободнымъ временемъ (въ 1848 году этого года; въ другіе годы Чернышевскій, кажется, ѣздилъ в каникулы домой).

Нѣсколько лѣтъ, подъ влияніемъ Срезневскаго, „у Н. Г. былъ значительный интересъ къ тому, что называлось тогда „славян-

скими нарѣчіями "... „Я въ дилижансѣ (друзья ѣхали въ Петербургъ изъ Саратова, куда Чернышевскій прїѣзжалъ на лѣто по окончаніи курса.—*В. В—иі*) съ большимъ любопытствомъ слушалъ отрывки изъ Мицкевича, съ необходимыми объясненіями, или отрывки, опять навзусь, изъ Краледворской рукописи или Любушина суда“ (Пыпинъ). Позднѣе онъ могъ помогать И. Введенскому по „славянскимъ нарѣчіямъ“, когда тотъ готовился къ магистерскому экзамену. Занятый разработкой лѣтописи, Срезневскій привлекъ къ этому дѣлу и своихъ слушателей, въ томъ числѣ и Чернышевскаго, который и составилъ (уже въ Саратовѣ) словарь къ Ипатьевской лѣтописи, появившійся позднѣе въ „Извѣстіяхъ“ оживленнаго Срезневскимъ II-го отдѣленія Академіи наукъ.

Впослѣдствіи Чернышевскій выражаетъ только „сожалѣніе“, что этотъ предметъ занималъ его, и въ его журнальной работѣ онъ пригодился только для немногихъ рецензій и ученой шутки надъ Буслаевымъ (соч. т. VIII, стр. 77 и 258). Въ общемъ же, надо думать, Чернышевскій, не менѣе, чѣмъ Острогорскій или Писаревъ, обязанъ былъ Срезневскому развитіемъ критическихъ склонностей ума.

Несомнѣнно, однако, въ Чернышевскомъ жило стремленіе создать себѣ и отыскать и нѣчто положительное, какъ руководящее начало жизни и міровоззрѣнія. Изъ представителей университетской науки никого въ сущности не обазывалось, кто могъ бы быть его руководителемъ въ этомъ отношеніи. Нѣкоторый противѣсь скептической складкѣ Срезневскаго и развиваемой имъ страсти собирательства новыхъ и новыхъ фактическихъ специальныхъ знаній могъ составить развѣ только профессоръ Никитенко.

Какъ ученый, это былъ человѣкъ, далеко не соответствующій современнымъ болѣе строгимъ требованіямъ. Онъ держался изъ третьихъ рукъ дошедшихъ до него взглядовъ на эстетику гегельянской школы, и нерѣдко расплывался въ безсодержательныхъ фразахъ о добрѣ, истинѣ и красотѣ, какъ проявленіяхъ абсолютнаго въ созданіяхъ искусства. Но это несомнѣнно былъ человѣкъ, не въ примѣръ Срезневскому всегда глубоко искренній и серьезно страдавшій отъ грустнаго сознанія, что наука и литература въ русскомъ обществѣ въ загонѣ, что онъ обманываетъ самъ себя. „Особенно моя наука суцая нелѣпость и противорѣчіе,—писалъ онъ, напримѣръ, въ своемъ дневникѣ. — Я долженъ преподавать русскую литературу,—а гдѣ она? Развѣ литература у насъ пользуется правами гражданства? Остается одно убѣжище—мертвая область теоріи. Я обманываю и обманываюсь,

произнося слова: *развитіе, направленіе мыслей, основныя идеи искусства*. Все это что-нибудь и даже много значить тамъ, гдѣ существуетъ общественное мнѣніе, интересы умственные и эстетическіе, а здѣсь—просто швырянье словъ въ воздухъ. Слова, слова, слова! Жить въ словахъ и для словъ, съ душою, жаждущею истины, съ умомъ, стремящимся къ вѣрнымъ и существеннымъ результатамъ,—это дѣйствительное, глубокое злополучіе... О, кровью сердца написалъ бы я исторію моей внутренней жизни! Проклято время, гдѣ существуетъ выдуманная, оффиціальная необходимость моральной дѣятельности, безъ дѣйствительной въ ней нужды... И эта искренность и, главное, дѣйствительный энтузіазмъ Никитенка по отношенію къ литературѣ располагали къ нему, передавались его слушателямъ, изъ которыхъ вышло немало преподавателей русскаго языка и словесности, разсѣявшихся по Россіи.

„А. В. Никитенко—вспоминаетъ Острогорскій—былъ, какъ профессоръ, личною въ высшей степени своеобразною. Это былъ человѣкъ невысокаго роста, коренастый и плотный, съ привѣтливомъ лицомъ, живыми глазами, хитро смотрѣвшими изъ-подъ густыхъ, нависшихъ съ просѣдью бровей, съ почти совсѣмъ сѣдыми жесткими волосами, слегка подстриженными, не поддающимся щеткѣ и стоявшими всегда небольшимъ хохломъ, придававшимъ лицу важность. Нѣсколько развалистая походка и неторопливыя плавныя движенія напоминали лѣниваго малоросса, который, однако, легко воодушевлялся, и тогда весь, какъ юноша, отдавался этому воодушевленію; его нѣсколько вкрадчивый, мягкій и гибкій голосъ баритоннаго пріятнаго характера, невольно привлекалъ слушателя и располагалъ къ говорившему... А. В. Никитенко былъ человѣкъ необыкновенно сердечный, простой и симпатичный. Онъ искренно любилъ свою науку объ искусствѣ, видя въ искусствѣ, въ особенности въ поэзіи, величайшую, возвышающую душу, силу, и художественному наслажденію, выработкѣ строгаго эстетическаго вкуса, придавалъ огромное воспитательное значеніе... Какъ эстетикъ, это былъ гегеліанецъ, поклонникъ чистаго искусства безъ отношенія его къ современному, видѣвшій въ поэтѣ Аполонова жреца, рожденнаго „не для житейскаго волненія, не для корысти, не для славы“, а для „молитвъ и чистыхъ звуковъ“. Едва-ли я ошибусь, если скажу, что стихи онъ въ душѣ предпочиталъ прозѣ. Его любимыми поэтами были Гомеръ, Софокль и Шекспиръ, изъ которыхъ онъ благоговѣлъ. Онъ чутко отыскивалъ примы возвышеннаго въ Державинѣ. Меланхолическая поэзія

Жуковскаго и элегія Батюшкова, вмѣстѣ съ чудной музыкой ихъ стиха, находили въ покойномъ, мастерски декламировавшемъ ихъ наизусть, замѣчательно тонкаго истолкователя, а Пушкинъ, особенно въ „Онягини“, „Борисъ Годуновъ“ и дивной лирикѣ, былъ для него величайшей святыней. Слезы блистали на глазахъ старика; силой поразительной, или люющей въ душу ласкающей нѣгой, звучалъ его богатый гибкостью и вибраціей голосъ, когда онъ читалъ предъ нами свои любимыя шедевры... Какой это былъ удивительный декламаторъ, у котораго не пропадало ни одно словечко, ни одинъ отгѣнокъ мысли!..“

Острогорскій высказываетъ глубокую благодарность Никитенкѣ за услуги, оказанныя эстетическому развитію, чѣмъ послѣдній, надо полагать, былъ полезенъ и Чернышевскому, при его неустановившихся еще тогда взглядахъ. „Записки“ по курсу эстетики, читанному Никитенкомъ, доставшіяся Острогорскому, оказались „высокопарны, многословны, мало понятны, вслѣдствіе множества философскихъ терминовъ и отвлеченныхъ разсужденій о высокомъ, прекрасномъ и тому подобныхъ, хитрыхъ и едва-ли вполне объяснимыхъ матеріяхъ и отдавали туманной философіей Гегеля“. Гораздо занимательнѣе бывали его лекціи, посвященныя отдѣльнымъ явленіямъ литературы.

„Лекціи Никитенка бывали необыкновенно живыми и увлекательными импровизаціями художника-лектора, который, не стѣсняясь никакой программой, планомъ или конспектомъ, всякій разъ бралъ какое-нибудь отдѣльное художественное произведеніе русскаго поэта или, напримѣръ, монологъ изъ Шекспира, и великолѣпно прочитавъ его, чѣмъ сразу захватывалъ свою многочисленную аудиторію, начиналъ говорить по поводу прочитаннаго, разбирая и мысль, и постройку, и объясняя красоту деталей и формы. Импровизація, куда входило попутно множество понятій эстетическихъ, историко-литературныхъ, этическихъ, возбуждала вопросы, которые мы тутъ же предлагали лектору, и обращалась нерѣдко въ живую бесѣду, при чемъ лекторъ переходилъ къ другимъ произведеніямъ, которыя тутъ же также перечитывалъ,—къ сопоставленіямъ съ другими писателями, указывалъ книги, произведенія, рекомендуемыя для прочтенія,—словомъ, легко, вполне популярно и пріятно, обогащалъ насъ цѣлою массою знаній въ области эстетики и исторіи литературы русскою и иностранною, знакомилъ насъ со множествомъ неизвѣстныхъ намъ писателей, заинтересовывалъ ими и побуждая знакомиться съ ними уже насъ самихъ“.

Трудно сказать, конечно, насколько въ тѣ годы Чернышев-

ский могъ замѣтить слабыя стороны и Срезневскаго, и Никитенка (послѣднему имъ была, между прочимъ, представлена студенческая статья о Фонъ-Визинѣ). Таеъ или иначе имъ онъ былъ обязанъ, помимо расширенія знаній, первому — живымъ примѣромъ критическаго разложенія тѣхъ или иныхъ научныхъ теорій, второму — увѣрленіемъ живого сочувствія къ литературнымъ и поэтическимъ интересамъ; таеъ что впоследствии и началомъ извѣстности Чернышевскаго послужилъ критическій разборъ теорій прекраснаго.

Въ общемъ, однако, университетское вліяніе оказалось гораздо слабѣе внѣ-университетскихъ литературно-общественныхъ и нравственно-философскихъ теченій, которыя — хотя и слабо по цензурнымъ условіямъ — отражались въ тогдашней литературѣ и журналистикѣ и очень сильно занимали молодую петербургскую интеллигенцію.

На примѣрѣ Куторги, Срезневскаго и Никитенка осазательно видно, почему таеъ было: одинъ сторонился близости со студентами, что было небезопасно, ибо могло быть перетолковано въ сторону желанія оказывать либеральное воздѣйствіе; другой, лично ласковый и привѣтливый, не могъ, по отсутствію опредѣленнаго міровоззрѣнія, быть руководителемъ молодежи, для которой именно такое руководство въ выработкѣ стройныхъ взглядовъ на жизнь и было важно; третій, наконецъ, лучше всѣхъ сознававшій важность этой задачи, угнетенный противорѣчій своего идеала и практики, часто расплывался въ неопредѣленныхъ и туманныхъ разсужденіяхъ, и всѣ трое дѣлали безконечно меньше, чѣмъ могли бы, для молодежи, обращавшейся къ нимъ часто столь довѣрчиво.

Но въ ту пору „умноженія умственныхъ плотинъ“ это было таеъ естественно и понятно, и историкъ русскаго просвѣщенія съ благодарностью отмѣтитъ и тѣ врупци, которыя давалъ своимъ питомцамъ петербургскій университетъ.

VII.

О товарищеской средѣ, окружавшей Чернышевскаго, у насъ свѣдѣній немного. Живя въ семейной обстановкѣ, онъ остался совершенно чуждъ довольно обычнаго въ тѣ годы студенческаго разгула, право на который составляло какъ бы написанный „габеасъ-корпусъ“ студентовъ въ возмѣщеніе строго преслѣдуемаго вольнодумства. Вялый по наружности, близорукий, уткнувшійся

въ книгу и неловкій, онъ ничѣмъ и не выдѣлялся среди товарищей; въ средѣ ихъ преобладала дворянская, болѣе или менѣе состоятельная молодежь, и бѣдный бурсакъ мало подходилъ къ общему уровню. Ни съ кѣмъ, кажется, у него въ университетѣ и не завязалось дружескихъ отношеній, кромѣ вольнослушателя М. Л. Михайлова, впоследствии известнаго поэта.

Впрочемъ, отношенія его къ однокурсникамъ были вполне товарищескими. „Какъ довазательство, до чего и тогда Чернышевскій былъ свободенъ отъ всякихъ предубѣжденій мелкаго самолюбія,—говоритъ статья въ „Колоколѣ“,—приведемъ известный намъ фактъ, что онъ, замѣтивъ тайное, но сильное желаніе одного добраго труженника-товарища своего украситься медалью, охотно, безъ хвастовства — просто предложилъ ему эту честь, отложивъ въ сторону свое изслѣдованіе—кажется, о Лаврентьевской лѣтописи“. Дѣйствительно, на подобную тему было задано на 1848—49 г. сочиненіе Срезневскимъ, именно о языкѣ лѣтописи Нестора въ отношеніи фонетическомъ, этимологическомъ и синтаксическомъ; золотую медаль получилъ за это сочиненіе товарищъ Чернышевскаго по курсу, Ник. Павл. Корелкинъ, скончавшійся въ 1855 г. ¹⁾.

Знакомство Чернышевскаго съ Михайловымъ, который выдѣлялся среди студенчества интересомъ къ иностранной литературѣ, было началомъ и другихъ знакомствъ въ средѣ, привосновенной къ литературѣ. Наиболѣе значенія для Чернышевскаго имѣло сближеніе съ талантливымъ саратовцемъ, получившимъ вскорѣ известность переводчикомъ англійскихъ романистовъ и историкомъ литературы, Иринархомъ Введенскимъ. Авторъ статьи въ „Колоколѣ“ сообщаетъ, что знакомство это состоялось, когда Чернышевскій былъ уже на второмъ курсѣ. Можетъ быть, Чернышевскій и раньше имѣлъ понятіе объ этомъ питомцѣ, какъ и онъ, саратовской семинаріи, вдобавокъ поддерживавшемъ сношенія съ роднымъ городомъ (въ послѣдній разъ Введенскій былъ въ Саратовѣ въ 1845 г.).

Иринархъ Ивановичъ Введенскій (1813—1855 гг.) послѣ саратовской семинаріи учился въ московской духовной академіи, курса которой не кончилъ, въ московскомъ университетѣ и, наконецъ,

¹⁾ Когда Корелкинъ умеръ, Чернышевскій обращался къ Срезневскому письмомъ (отъ 20 мая), съ просьбою оказать содѣйствіе тому, чтобы оставшія послѣ молодого ученаго книги и собранія бумагъ и грамотъ были проданы или помѣщены въ какое-либо ученое учрежденіе. Послѣ этого письма, никакихъ дальнѣйшихъ сношеній между Срезневскимъ и Чернышевскимъ, кажется, не было: „славянскимъ древностямъ“ послѣдній уже безповоротно измѣнилъ.

въ петербургскомъ, окончивъ курсъ по разряду словесности въ 1842 году. Въ студенческіе годы Чернышевскаго онъ былъ преподавателемъ русскаго языка и словесности въ военно-учебныхъ заведеніяхъ. Онъ готовился къ университетской каедрѣ, и много работалъ и въ журналахъ, и для своего экзамена.

„Наука была всѣмъ для него, — говоритъ о немъ его биографъ: — На уваженіи къ ней основывались всѣ его убѣжденія, вѣрованія и житейскія отношенія“.

Въ свои работы и преподаваніе словесности онъ вносилъ новый тогда историко-критическій методъ, слѣдилъ за ходомъ литературной критики не только въ Россіи, — онъ былъ жаркій поклонникъ Бѣлинскаго, — но и на Западѣ, и программа, которую составилъ Введенскій при соисканіи каедры словесности въ петербургскомъ университетѣ, „была вопіющимъ протестомъ противъ празднословныхъ литературныхъ теорій. Развивая свой предметъ на основаніи историко-критической методы, онъ соприкасаясь со всѣми важными явленіями литературъ иностранныхъ. Отличное знаніе древнихъ и трехъ новыхъ языковъ давало ему возможность выполнить свой трудъ добросовѣстно“ (Благосвѣтловъ). Однако, ему не удалось занять каедры, несмотря на большой успѣхъ пробныхъ лекцій. Помѣшалъ тому, какъ видно изъ разсказа А. Н. Пыпина, болѣе всего самъ Введенскій, не сумѣвшій поддѣлаться подъ гладкій, безцвѣтный тонъ преподаванія, господствовавшій въ университетѣ.

„Это была крѣпкая, нѣсколько грубоватая фигура, съ громкимъ голосомъ, съ ясной, почти рѣзкой манерой говорить и съ довольно опредѣленнымъ общественнымъ взглядомъ, который можно было бы назвать демократическимъ или, по позднѣйшему, народническимъ... Введенскій, чтобы рѣзче указать свою мысль, отмѣтилъ, что энергія дѣятельности Ломоносова имѣла источникомъ то, что онъ былъ „мужикъ“, и это слово было для большей выразительности подчеркнута довольно сильнымъ ударомъ кулака по каедрѣ. Мы тогда же подумали, что этотъ ораторскій приемъ — вѣроятно, происходившій отъ простой неловкости, — перепугаетъ факультетское начальство и сдѣлаетъ кандидатуру Введенскаго невозможной. Такъ это и случилось“.

Упорно и много работая надъ литературой, Введенскій не чуждался общества, и, обладая недюжиннымъ педагогическимъ талантомъ, тяготѣлъ къ молодежи. „Молодые любознательные люди, во имя науки, всегда находили въ немъ друга и покровителя; если онъ замѣчалъ бѣднаго юношу, желающаго образо-

вать себя, но не имѣющаго средствъ, онъ готовъ былъ раздѣлить съ нимъ послѣднюю рубашку“.

Непосредственный демократизмъ его натуры долженъ былъ импонировать молодежи.

„Стойкость въ убѣжденіяхъ была для него главнымъ правиломъ въ жизни. Тамъ, гдѣ нужно было сказать правду, явиться защитникомъ добраго дѣла, онъ забывалъ всякіе внѣшніе расчеты и прямо шелъ въ своей цѣли. Его прямота и рѣзкій тонъ, которымъ онъ обыкновенно выражалъ свои мнѣнія, производили на многихъ непріятное впечатлѣніе, особенно въ первый разъ; но кто узнавалъ И. И. ближе, тотъ скоро убѣждался, что подъ этой жесткой оболочкой таилось самое нѣжное и теплое сердце“ (Благосвѣтловъ).

Извѣстный историкъ Погодинъ, у котораго Введенскій въ Москвѣ жилъ въ домѣ, работая для Погодинскаго „Москвитянина“, называлъ Введенскаго, говорятъ, „родоначальникомъ нигилистовъ“, что и вѣрно въ условномъ смыслѣ, если считать, что подъ нигилизмомъ, между прочимъ, понималась Погодинымъ рѣзкая опредѣленность демократическихъ убѣжденій и частью манеръ.

Чаще другихъ, у Введенскаго, на собраніяхъ у него разъ въ недѣлю, бывали: Г. Е. Благосвѣтловъ, годомъ раньше Чернышевскаго покинувшій саратовскую семинарію, уже тогда державшійся рѣзко-отрицательныхъ взглядовъ, впоследствии вдохновитель Писарева и В. Зайцева въ ихъ бурной критической дѣятельности (нѣкоторая преемственность между Введенскимъ и „нигилистами“ имѣется, такимъ образомъ, прямая); нѣсколько молодыхъ литераторовъ, въ то же время преподавателей словесности, при томъ частью въ тѣхъ же военно-учебныхъ заведеніяхъ: А. П. Милуковъ, авторъ первыхъ „очерковъ исторіи русской поэзіи“, составленныхъ въ духѣ историко-литературныхъ взглядовъ Бѣлинскаго; В. В. Дериверъ, преподаватель Дворянскаго полка; младшими по годамъ были—В. Г. Кеневичъ, авторъ изслѣдованія о Крыловѣ, и др.; В. Д. Яковлевъ, авторъ шумѣвшихъ въ то время и въ самомъ дѣлѣ увлекательныхъ очерковъ Италіи; В. Н. Рюминъ, издатель (позднѣе) „Общезанимательнаго Вѣстника“ и его будущій сотрудникъ, позднѣе воспитатель кадетскаго корпуса, В. П. Поповъ. Бывали, вѣроятно, и другія лица, имена которыхъ остаются неизвѣстны, но всѣ такъ или иначе были заинтересованы литературными и нѣкоторыми общественными вопросами и лично или идейно сопрягались съ

людьми, вскорѣ жестоко пострадавшими по дѣлу такъ называемыхъ „петрашевцевъ“.

Сталъ бывать на этихъ собраніяхъ и Чернышевскій. Это было „первое общество, какое онъ увидаль внѣ своего домашняго круга. Оживленная бесѣда, которая велась за чайнымъ столомъ, по середамъ у Введенскаго, постоянные споры, подчасъ наивные своимъ доктринерствомъ, все это открыло Чернышевскому новый міръ“ („Колоколъ“).

Одному изъ названныхъ выше лицъ, именно Попову, повидимому привелось особенно сильно поразить воображеніе недавняго семинариста рѣзко выраженнымъ свободнымъ въ политическомъ отношеніи образомъ мнѣній. Позднѣе (въ дневникѣ 1853 года), говоря съ восторгомъ объ умѣ и тактѣ своей невѣсты, Чернышевскій пишетъ, что чувствуетъ себя предъ нею, „какъ въ старыя годы чувствовалъ себя передъ Вас. Петр. въ иные разы при разговорахъ по политикѣ“ (Дн., стр. 31); на нѣкоторое время Чернышевскій очень близокъ съ Поповымъ, такъ что тотъ довѣряетъ ему свои сердечныя дѣла и т. п. (стр. 61). Въ концѣ 50-хъ и началѣ 60-хъ годовъ Поповъ въ маленькихъ журналахъ выступалъ авторомъ статей объ итальянской революціи и ея дѣятеляхъ и пр., и имя его связано съ біографіей Писарева, который предъ арестомъ жилъ у него на квартирѣ, и Благосвѣтлова, который съ нимъ переписывался.

„Предметомъ разговоровъ, — рассказываетъ членъ этого кружка Милуковъ, — были преимущественно литературныя новости, но часто затрагивались и вопросы современной политики. Въ 1847—48 гг. событія въ Европѣ сдѣлались даже главною, почти исключительною темою бесѣды, какъ и въ другихъ кружкахъ тогдашней петербургской молодежи. Иностранныя газеты, хотя сильно кастрируемыя цензурой, читались съ усерднымъ любопытствомъ. Реформы Пія IX и народное движеніе въ Италіи, а затѣмъ февральская революція въ Парижѣ и отголоски ея почти во всей Западной Европѣ отодвинули литературныя интересы на второй планъ и обратили общее вниманіе на современныя политическія событія. Съ этимъ связывались, конечно, и вопросы социальныя, и сочиненія Прудона, Луи Блана, Пьера Леру нѣрѣдко вызвали обсуждения и споры. Впрочемъ, горячихъ читателей социализма въ этомъ кружкѣ не было“.

Чернышевскій встрѣтилъ здѣсь раньше новыхъ социально-политическихъ теорій уже исполнѣ опредѣлившееся рѣзко отрицательное отношеніе къ религиозно-богословскимъ взглядамъ, къ православію и ко всей системѣ господствовавшей тогда „оффи-

ціальной народности". Навѣрное, тема о бессодержательности формулы: православіе, самодержавіе и народность, и противорѣчія ей всѣмъ требованіямъ разума и народнымъ интересамъ— даже мало затрогивалась въ кружкѣ, какъ вопросъ, уже порѣшенный для большинства друзей. Чтобы стать въ курсъ идей и интересовъ кружка, юношѣ Чернышевскому пришлось пережить прежде всего окончательную ломку религіознаго міровоззрѣнія, внушеннаго воспитаніемъ.

Если кружокъ Введенскаго открылъ Чернышевскому новый міръ, то „остальное—говорить авторъ статьи въ „Колоколѣ“— добылъ онъ себѣ самъ, трудомъ и талантомъ“.

„Въ нѣсколько мѣсяцевъ, проведенныхъ имъ взаперти, среди иногда выражавшейся на лицѣ нравственной борьбы и думы, въ нѣсколько мѣсяцевъ, говорятъ, нельзя было узнать юношу. Онъ перечиталъ все, что только могъ добыть на русскомъ, французскомъ или нѣмецкомъ языкахъ относящагося къ современной соціальной наукѣ; природная гибкость ума, громадная память, діалектическія способности, развившіяся семинарскими упражненіями, способствовали ему такъ скоро явиться *новымъ* человѣкомъ среди своего кружка и сразу занять въ немъ первое мѣсто, оставивъ за собой учителей своихъ“.

Эти указанія требуютъ кое-какихъ поправокъ и разъясненій. Мы думаемъ, не соціальныя науки заняли первое время Чернышевскаго, а вопросъ религіозный;—соціально-политическій интересъ развивается въ немъ уже во вторую очередь. Кажется также, никакого *своего* кружка около Чернышевскаго не образовалось; это былъ все тотъ же кружокъ знакомыхъ Введенскаго, лишь больше прежняго обратившихъ вниманіе на юнаго студента. „Скромный и даже застѣнчивый“, онъ выдѣляется на вечерахъ у Введенскаго „противорѣчіемъ между мягкимъ, женственнымъ его голосомъ и рѣзкостью мнѣній, нерѣдко очень оригинальныхъ по своей парадоксальности“ (Милоковъ), и занимаетъ въ немъ мѣсто не протезируемаго „любопытнаго юноши, желающаго образоваться“, а равноправнаго члена, къ голосу котораго прислушиваются.

Сильнѣйшее вліяніе на складъ общефилософскихъ взглядовъ Чернышевскаго оказалъ Л. Фейербахъ, ученикомъ котораго онъ оставался до конца дней своихъ.

Самъ Чернышевскій рассказываетъ о себѣ, что получилъ возможность пользоваться хорошими бібліотеками и употребляетъ нѣсколько денегъ на покупку книгъ въ 1846 году... Когда являлась у него возможность ознакомиться съ Гегелемъ въ подли

никѣ, онъ сталъ читать эти трактаты. Въ подлинникѣ Гегель понравился ему гораздо меньше, нежели онъ ожидалъ по русскимъ изложеніямъ. Причина состояла въ томъ, что русскіе послѣдователи Гегеля (т.-е. Герценъ) излагали его систему въ духѣ лѣвой стороны Гегелевской школы. Въ подлинникѣ Гегель оказывался болѣе похожъ на философовъ XVII вѣка и даже на схоластиковъ, чѣмъ на того Гегеля, какимъ являлся онъ въ русскихъ изложеніяхъ его системы. Чтеніе было утомительно по своей явной бесполезности для сформированія научнаго образа мыслей. Въ это время случайнымъ образомъ попало желавшему сформировать себѣ такой образъ мыслей юношѣ одно изъ главныхъ сочиненій Фейербаха. Онъ сталъ послѣдователемъ этого мыслителя; и до того времени, когда житейскія надобности отвлекли его отъ ученыхъ занятій, онъ усердно перечитывалъ и перечитывалъ сочиненія Фейербаха“ (Сочиненія, т. X, ч. 2, стр. 191—194).

Извѣстно, какое значеніе въ развитіи философскихъ идей сороковыхъ годовъ имѣлъ Фейербахъ, и въ частности его книга 1841 года: „Сущность христіанства“, вѣроятно и попавшая въ руки Чернышевскаго. Впечатлѣніе, ею произведенное на умы русскихъ читателей, ярче всего вылилось у Герцена: „Прочитавъ первыя страницы, я вспрыгнулъ отъ радости. Долой мажорданное платье, прочь восноязычье и иносказанія, мы свободные люди, а не рабы Ксанова ¹⁾, не нужно намъ облекать истину въ мнѣи!“ Философія Фейербаха подготовила вскорѣ наступившее торжество натуралистическаго матеріализма. Отъ „Сущности христіанства“ до „Матеріи и силы“ Бюхнера (1855 г.) шло одно и то же умственное теченіе, съ которымъ и слились взгляды Чернышевскаго,—теченіе, предполагавшее, что „скоро явятся натуралисты, способные замѣнить философовъ въ дѣлѣ разъясненія тѣхъ широкихъ вопросовъ, изслѣдованіе которыхъ было до той поры специальнымъ занятіемъ мыслителей, называвшихся философами“. Система Фейербаха въ его глазахъ „имѣетъ чисто научный характеръ“, и до конца Чернышевскій убѣжденъ въ безусловной правильности пути, указаннаго Фейербахомъ.

„Центръ изслѣдованій о наиболѣе широкихъ вопросахъ науки долженъ быть перенесенъ изъ области специальныхъ изслѣдованій о теоретическихъ убѣжденіяхъ народныхъ массъ и ученыхъ системахъ, построенныхъ на основаніи этихъ простонародныхъ понятій, въ область естествознанія. Но этого не

¹⁾ Рабомъ Ксанова былъ баснописецъ Эзопъ.

сдѣлано до сихъ поръ (писано въ 1888 году). Тѣ натуралисты, которые воображаютъ себя строителями всеобъемлющихъ теорій, на самомъ дѣлѣ остаются учениками и обыкновенно слабыми учениками старинныхъ мыслителей, создавшихъ метафизическія системы, и обыкновенно мыслителей, системы которыхъ уже были разрушены отчасти Шеллингомъ и окончательно Гегелемъ. Достаточно напомнить, что большинство натуралистовъ, пытающихся строить широкія теоріи законовъ дѣятельности человѣческой мысли, повторяютъ метафизическую теорію Канта о субъективности нашего знанія... Когда натуралисты перестанутъ говорить этотъ и тому подобный метафизическій вздоръ, они сдѣлаются способны вырабатывать и, вѣроятно, выработаютъ, на основаніи естествознанія, систему понятій болѣе точныхъ и полныхъ, чѣмъ тѣ, которыя изложены Фейербахомъ. А пока лучшимъ изложеніемъ научныхъ понятій о такъ называемыхъ основныхъ вопросахъ человѣческой любовнательности остается то, которое сдѣлано Фейербахомъ" (Соч., т. X., ч. 2, стр. 195—196).

Мы не можемъ здѣсь излагать взглядовъ Фейербаха на эти „основные вопросы“, на личнаго Бога, какъ на созданіе человѣческаго ума по образу и подобию человѣка, и другихъ деталей его ученія. Но важно замѣтить, что, отрицая всякія религіозныя формы, Фейербахъ не отрицалъ самаго источника религіознаго творчества въ человѣческомъ чувствѣ и потребности. Богомъ для человѣка имъ ставится человѣкъ же, и это обоженіе человѣка — въ извѣстной формулѣ: *homo homini Deus* — и есть то превращеніе религіи въ антропологию, тотъ „антропологическій методъ“, который защищается Чернышевскимъ въ 60-е годы. Центромъ его міровоззрѣнія становится человѣческая личность и *религіозное* въ сущности къ ней отношеніе, та святость человѣка, въ противоположность пониманію святости Бога, государства, всякаго авторитета и власти, на что бы послѣдніе ни опирались, которая лежитъ въ основѣ всего гуманитарнаго умственного движенія новаго времени. И намъ кажется, мы вправѣ сказать, что та религіозность, въ смыслѣ благоговѣйнаго признанія святости нѣкоторыхъ высшихъ началъ, которая была вынесена Чернышевскимъ изъ родного дома, перемѣнила въ немъ при ломкѣ міровоззрѣнія лишь объектъ свой, что это была и въ отрицаніи своемъ глубоко религіозно-вѣрующая натура.

Такою же вѣрующею натурою былъ и ученіе Чернышевскаго Добролюбовъ. Религіозный переворотъ въ немъ произошелъ подъ непосредственнымъ воздѣйствіемъ Чернышевскаго, и то, что

переживалъ Добролюбовъ, должно въ точности соотвѣтствовать настроенію и его учителя въ описываемое нами время.

„Тяжело, непривычно было сначала,—пишетъ Добролюбовъ, по утратѣ православныхъ и мало того — христіански-деистическихъ представленій о міроустройствѣ, товарищу, сохранившему православныя вѣрованія:—долго было горько, и теперь еще все грустно, и теперь еще мнѣ новыя радости мысли и воли не могутъ замѣнить радостныхъ воспоминаній дѣтства, какъ той душѣ у Лермонтова, которой—

...Пѣсень небесъ замѣнить не могли

...скучныя пѣсни земли.

„Но мнѣ жалъ моего мирнаго дѣтства только уже такъ, какъ Шиллеру — боговъ Греціи, какъ поэтамъ — золотого вѣка. Я напелъ въ себѣ силы помириться съ своей личной участью: наслажденія труда замѣнили мнѣ былыя наслажденія лѣни, приобрѣтенія мысли — увлеченія сердца, любовь человѣческая ¹⁾— любовь родственную... Не знаю, не покажется ли вамъ, что „говорю я хитро, непонятно“; можетъ быть мои простыя слова противорѣчатъ вашей метафизической фразеологіи... но утѣшаюсь надеждою, что вы крѣпки въ своихъ вѣрованіяхъ, что ваша голова издавна заперта наглухо для пагубныхъ убѣжденій и васъ не совратитъ съ вашего пути ни Штраусъ, ни Бруно Бауэръ, ни самъ Фейербахъ, не говоря уже о какомъ-нибудь Герценѣ или Бѣлинскомъ. Только въ этой увѣренности, предполагая въ васъ всегдашнюю христіански-смирненную готовность къ прощенію ближняго, я рѣшился вамъ написать эти строки.

„Что касается до меня, то я доволенъ своею новою жизнью,— безъ надеждъ, безъ мечтаній, безъ обольщеній, но зато и безъ малодушнаго страха, безъ противорѣчій естественныхъ внушеній съ сверхъ-естественными запрещеніями. Я живу и работаю для себя, въ надеждѣ, что мои труды могутъ пригодиться и другимъ. Въ продолженіе двухъ лѣтъ я все воевалъ съ старыми врагами, внутренними и внѣшними. Вышелъ я на бой безъ заносчивости, но и безъ трусости,— гордо и спокойно. Взглянулъ я прямо въ лицо этой загадочной жизни, и увидѣлъ, что она совсѣмъ не то, о чемъ твердили о. Паисій и преосвященный Іеремія. Нужно было идти противъ прежнихъ понятій и противъ тѣхъ, кто внушилъ ихъ. Я пошелъ сначала робко, осторожно, потомъ смѣлѣе, и наконецъ предъ моимъ холоднымъ упорствомъ скло-

¹⁾ „Любовь къ людямъ, къ человѣчеству“.—Примѣчаніе Чернышевскаго.

нились и пылкія мечты, и горячіе враги мои. Теперь я покоюсь на своихъ лаврахъ, зная, что не въ чемъ мнѣ упрекнуть себя, зная, что не упрекнуть меня ни въ чемъ и тѣ, которыхъ мнѣніемъ и любовью дорожу я. Говорять, что мой путь смѣлой правды приведетъ меня когда-нибудь къ погибели. Это очень можетъ быть; но я съумѣю погибнуть не даромъ. Слѣдовательно, и въ самой послѣдней крайности будетъ со мной мое всегдашнее, неотъемлемое утѣшеніе—что я трудился и жилъ не безъ пользы“.

(Материалы, стр. 323—325).

„Богъ былъ моею первою мыслью, разумъ — второю, человекъ — третьею и послѣднею“—въ условномъ смыслѣ это изреченіе Фейербаха примѣнимо и къ Чернышевскому. „Любовь человѣческая“—въ смыслѣ увѣренности, что только человѣчество въ цѣломъ представляетъ полное осуществленіе свойственныхъ человеку, какъ единицѣ, стремленій и способностей и потому одно достойно поклоненія—въ системѣ Фейербаха играетъ видную роль въ идеѣ единства человѣческаго рода. И въ воззрѣніяхъ Чернышевскаго, въ его интимныхъ умонастроеніяхъ, это чувство играетъ существеннѣйшую роль. Оно тѣсно слито также съ той вѣрою въ социализмъ и его торжество, грядущее и неизбѣжное, которая составила уже одну изъ яркихъ чертъ цѣлаго поколѣнія молодежи конца сороковыхъ годовъ и проводила Чернышевскаго далеко въ зрѣлые годы.

Кружокъ Введенскаго, въ личныхъ сношеніяхъ отдѣльныхъ его членовъ, какъ мы сказали, примыкалъ къ тому кругу, который былъ замѣчанъ въ извѣстное дѣло „петрашевцевъ“. Одинъ изъ нихъ, и довольно видный, Ястржембскій, былъ преподавателемъ все въ тѣхъ же военно-учебныхъ заведеніяхъ, и, слѣдовательно, не могъ не быть извѣстенъ и въ кружкѣ Введенскаго. Существовали и другія связи и знакомства, но главное—въ томъ, что занимавшіе петрашевцевъ социальные вопросы и литература тогдашняго расцвѣта социализма во Франціи имѣли множество adeptовъ во всѣхъ группахъ и случайныхъ соединеніяхъ значительной части читающей молодежи Петербурга. Вездѣ были люди, по выраженію Салтыкова, какъ онъ, какъ многіе петрашевцы, какъ Чернышевскій, наконецъ,—„прилѣпившіеся“ къ Франціи.

„Разумѣется, не къ Франціи Луи-Филиппа и Гизо, а къ Франціи Сенъ-Симона, Кабё, Фурье, Луи Блана и въ особенности Жоржъ-Зандъ. Оттуда лилась на насъ вѣра въ человѣчество, оттуда воссияла намъ увѣренность, что „золотой вѣкъ“ найдется не позади, а впереди насъ... Словомъ сказать, все доброе, все желанное и любвеобильное—все шло оттуда. Въ Россіи,—

впрочемъ, не столько въ Россіи, сколько спеціально въ Петербургѣ,—мы существовали лишь фактически или, какъ въ то время говорилось, имѣли „образъ жизни“... Но духовно мы жили во Франціи“.

Недавно опубликованный дневникъ Чернышевскаго содержитъ нѣсколько строкъ, которыя рисуютъ намъ этого, казалось бы, столь холоднаго мыслителя именно со стороны подобнаго же пламеннаго увлеченія, сердечной теплой вѣры въ грядущее пересозданіе человѣчества. Представленія о новомъ социальномъ устройствѣ—для него настоящая религія сердца, экстатическая и соверщательная.

Только съ ними, съ этими прекрасными мечтами о золотомъ вѣкѣ социальной справедливости, можетъ онъ сравнить сознаніе охватившей его страстной сердечной связанности съ дѣвушкой, вскорѣ ставшей его женою. „Это—пишетъ онъ, восторгъ—какой является у меня при мысли о будущемъ социальномъ порядкѣ, при мысли о будущемъ равенствѣ и отрадной жизни людей—спокойный, сильный, никогда не ослабѣвающий восторгъ. Это не блескъ молніи, это равно не волнующее сіяніе солнца. Это не знойный іюльскій день въ Саратовѣ, это—вѣчная сладостная весна Хіуса“. И эти же мечты способны трогать его до слезъ. Въ дневникѣ, при разсказѣ о разговорѣ съ одною дамою, читаемъ: „Когда при эпизодѣ о положеніи женщины и о томъ, что должно быть не такъ, и о томъ, какъ должно быть, она сказала: „Да будутъ ли эти времена?“—„Будутъ!“—сказалъ я, и слезы выступили у меня отъ радостной мысли о томъ, что будетъ нѣкогда на землѣ,—да и теперь текутъ слезы,—и о томъ, что все будетъ, когда насъ уже не будетъ“... (Дневн., стр. 56 и 99, т. X., ч. II).

Та социалистическая литература, которою навѣяны были эти вѣрованія, въ Петербургѣ того времени обращалась довольно широко, несмотря на преслѣдованія. Одинъ книгопродавецъ, Лури, былъ даже высланъ за совершенно откровенную торговлю нецензурованными заграничными книгами; ими торговали букинисты-ходебщики, ихъ ввозили даже французскія модныя лавки,—настолько была выгодна эта контрабанда. Въ ряду социалистовъ, в горьми зачитывалась молодежь, первое мѣсто занималъ безсѣрно Фурье; у него были жаркіе поклонники и пропагандисты, в родѣ самого Петрашевскаго и его товарищей. Фурье и ученіе въ его Консидеранъ особенно увлекли и Чернышевскаго. Въ литературѣ уже указана В. И. Семевскимъ зависимость позднѣйшей дѣятельности Чернышевскаго отъ этихъ именъ. Книга Кон-

сидерана „*La destinée sociale*“ — это та книга, которую первую даетъ въ „Что дѣлать“ Лопуховъ Вѣръ Павловичъ, а въ четвертомъ снѣ этой героини романа прямо изображенъ фаланстеръ Фурье. Защита земледѣльческихъ товариществъ съ коммунистическою обработкою земли; ученіе о привлекательности труда при устраненіи неблагоприятныхъ для трудящагося условій его; указанія на преувеличенное значеніе торговли въ современномъ обществѣ, и такъ далѣе, — въ цѣломъ рядѣ подробностей политико-экономическихъ взглядовъ Чернышевскаго устанавливается прямое повтореніе и вліяніе идей именно Фурье и ихъ популяризатора, Консидерана. Въ увлеченіи Чернышевскаго идеями Фурье нельзя не видѣть также отголоска склонностей его натуры найти положительный предметъ вѣрованій, а именно мечтательныя построенія Фурье и были способны удовлетворить этой потребности: онъ на землю переноситъ то царство Божіе, которое на небѣ для Чернышевскаго уже не имѣетъ значенія, и Чернышевскій, какъ видно по приведенной цитатѣ изъ дневника, вѣритъ въ утопію, какъ могъ только отецъ его вѣрить въ царство Небесное.

Въ сочиненіяхъ Консидерана, въ противоположность его учителю, билась сильно жилка публициста-политика; онъ отчетливѣе понимаетъ противорѣчіе интересовъ между собственниками и пролетаріями, затушеванное у болѣе раннихъ социалистовъ школы Сенъ-Симона и у самого Фурье. Разночинцу Чернышевскому, конечно, болѣе близко было это пониманіе, чѣмъ оптимистическое, и впоследствии, даже выставляя возможность созданія земледѣльческихъ общинъ по типу Фурье и Консидерана, онъ не является слѣшкомъ обольщеннымъ относительно возможности ихъ процвѣтанія. Очень рано въ Чернышевскомъ на ряду съ интересомъ социальнымъ замѣчается интересъ къ политическимъ отношеніямъ, изъ рамки которыхъ не можетъ выпрыгнуть никакой социальный прогрессъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что Чернышевскій съ такимъ же жаромъ слѣдилъ за политическими событіями въ Западной Европѣ 1847—49 г.г., какъ и Салтыковъ, и его товарищи.

„Мы съ неподдѣльнымъ волненіемъ слѣдили за перипетіями драмы послѣднихъ лѣтъ царствованія Луи-Филиппа и съ упоеніемъ зачитывались „Исторіей десятилѣтія“ Луи Блана... тогда и Луи-Филиппъ, и Гизо, и Дюшатель, и Тьеръ, — все это были какъ бы личные враги (право, даже болѣе опасные, нежели Л. В. Дубельтъ), успѣхъ которыхъ огорчалъ, неуспѣхъ радовалъ. Процессъ министра Тэста, агитація въ пользу избирательной

реформы, высокомерныя рѣчи Гизо по этому поводу, палата, составленная изъ депутатовъ, нагло называвшихъ себя *conservateurs endurcis*, наконецъ февральскіе банкеты,—все это и теперь такъ живо встаетъ въ моей памяти (писано въ 1880 г.), какъ будто происходило вчера.

„Я помню, это случилось на масляной 1848 года. Я былъ утромъ въ итальянской оперѣ, какъ вдругъ, словно электрическая искра, всю публику пронизала вѣсть: министерство Гизо пало. Какое-то неясное, но жуткое чувство внезапно овладѣло всѣми. Именно всѣми. Старикъ грозилъ очами, бряцали холоднымъ оружіемъ, цыркали и крутили усы; молодежь едва сдерживала безкорыстные восторги. Помнится, въ концу спектакля пало уже и министерство Тьера (тогда подобнаго рода извѣстія доходили до публики какъ-то неправильно и по секрету). Затѣмъ, въ теченіе какихъ-нибудь двухъ-трехъ дней пало регентство, оказалось несостоятельнымъ эфемерное министерство Одилона Барро... и, въ заключеніе, сбѣжалъ самъ Луи-Филиппъ. Провозглашена была республика, съ временнымъ правительствомъ во главѣ; полились рѣчи, какъ изъ рога изобилія. Но даже Ламартиновское словесное распутство — и то не претило среди этой массы крушеній и нарожденій. Громадность событія скрадывала фальшь отдѣльныхъ подробностей и на все набрасывала покровъ волшебства. Франція казалась странною чудесь.

„Можно ли было, имѣя въ груди молодое сердце, не плѣняться этою неистощимостью жизненнаго творчества, которое, вдобавокъ, отнюдь не соглашалось сосредоточиться въ опредѣленныхъ границахъ, а рвалось захватить все дальше и дальше? И точно, мы не только плѣнялись, но даже не особенно искусно скрывали свои восторги отъ глазъ бодрствующаго начальства“ (Салтыковъ, „За рубежомъ“, гл. IV).

Чернышевскій не былъ человѣкомъ исключительнаго французскаго воспитанія, какъ значительная часть той дворянской молодежи, которую имѣлъ въ виду Салтыковъ. Поэтому онъ съ немалымъ интересомъ слѣдитъ и за событіями въ Германіи, нравы которой и особенности положенія—нетронутость до 1848 г. широкимъ революціоннымъ движеніемъ — могли казаться ему болѣе близкими къ Россіи. Насколько онъ принималъ къ сердцу все, касавшееся освободительнаго движенія народовъ, объ этомъ говоритъ такой эпизодъ. Онъ самъ рассказывалъ, какъ въ Петербургѣ зашелъ разъ въ кондитерскую, прочелъ въ газетѣ извѣстіе о насильственномъ распущеніи національнаго собранія въ Берлинѣ; очень скоро вышелъ изъ кондитерской и пошелъ

по улицѣ; встрѣтившій его знакомый спросилъ: что это съ вами? о чемъ вы плачете? „А я, знаете, иду, да и не чувствую, что у меня по лицу слезы текутъ“¹⁾.

Салтыковъ, вспоминая тогдашнее время, жалуется на оторванность этихъ порываній отъ русской жизни, гдѣ имъ мѣста не было. Однако, вопросы русской общественности и въ кружкѣ петрашевцевъ, и въ студенческихъ интересахъ Чернышевскаго занимають видное мѣсто, въ томъ числѣ снова всплывшій на очередь въ 1847 г. вопросъ объ отмѣнѣ крѣпостного права: тогда и въ журналахъ стали появляться статьи о вредѣ „обязательной ренты“, подъ которою разумѣлся бесплатный трудъ крѣпостныхъ, и въ обществѣ жадно толковали каждый шагъ Николая I, желая видѣть признаки предстоящей реформы даже въ такомъ фактѣ, какъ приглашеніе царемъ на чай изъ театра министра гос. имуществъ Киселева, считавшагося сторонникомъ освобожденія. О крѣпостномъ вопросѣ Чернышевскій студентомъ писалъ Пыпину письма, на латинскомъ языкѣ (чтобы укрѣпить младшаго друга въ немъ), именуя крѣпостныхъ людей: „glebae adscripti et tergae figmi“. „Здѣсь я въ первый разъ узналъ о существованіи этого вопроса“, сознается Пыпинъ.

Такъ, рядомъ съ чисто отвлеченными интересами, съ занятіями „чистою“, но сухой университетской наукой, шла въ Чернышевскомъ огромная умственная работа. Выработывались основы новаго мировоззрѣнія, но рядомъ съ общими интересами мысли и чувства въ отношеніи всего человѣчества и его грядущаго освобожденія мы видимъ въ немъ серьезный интересъ къ основному вопросу тогдашней русской жизни, первенствовавшему въ передовомъ общественномъ сознаніи надъ всѣми остальными. Если онъ со сверстниками своими могъ твердить пропумѣвшіе тогда стихи Плещеева: „Впередъ, безъ страха и сомнѣнья, на подвигъ доблестный, друзья!“ и готовиться къ „союзу подъ знаменемъ науки“, то это не было у Чернышевскаго одно безпредметное порываніе, но вполне сознанный лозунгъ и сложившееся, хотя, быть можетъ и не въ деталяхъ еще, политическое убѣжденіе. Разошедшееся въ это время въ безчисленныхъ спискахъ письмо Бѣлинскаго къ Гоголю было, конечно, на студенческой скамьѣ извѣстно Чернышевскому; надо думать, когда онъ вскорѣ занялъ мѣсто учителя въ Саратовѣ, то именно и принадлежалъ къ числу тѣхъ учителей гимназій по всей Россіи, которые, зная письмо

¹⁾ Изъ письма автору настоящей статьи отъ С. Г. Стахевича, 11 ноября 1906 г. Национальное собраніе было распущено 5 декабря 1849 г.

наизусть, первые разнесли и развезли по провинці этотъ знаменитый памфлетъ-протестъ противъ „самодержавія, православія, народности“.

Въ студенческіе годы, наконецъ, Чернышевскій былъ свидѣтелемъ начавшихся послѣ 1848 года репрессій противъ литературы, университетовъ, свидѣтелемъ жестокой расправы съ петрашевцами. Послѣ арестовъ, произведенныхъ въ концѣ апрѣля 1849 года, до общества доходили лишь темные слухи о судьбѣ заключенныхъ по этому дѣлу, а 22 декабря 1849 года Чернышевскій могъ присутствовать на Семеновской площади при объявленіи приговора Петрашевскому съ товарищами. Перечтите потрясающее описаніе этой возмутительной церемоніи у вынесшаго ее Д. Д. Ахшарумова, и вы поймете, что могъ или долженъ былъ чувствовать впечатлительный юноша при этомъ зрѣлищѣ приготовленій къ смертной казни и потомъ объявленіи помилованія и замѣны ея другими наказаніями,—юноша, чувствовавшій свою солидарность съ этими участниками „заговора идей“, какъ сами представители власти называли это дѣло. Менѣе всего, конечно, желаніе отречься навсегда отъ этихъ мыслей...

Такъ, подъ разнообразными личными, книжными и жизненными вліяніями складывался образъ мыслей Чернышевскаго, уже къ окончанію университетскаго курса непримиримо расходившійся со всѣмъ строемъ официально одобряемыхъ понятій.

По окончаніи курса въ университетѣ, Чернышевскій съѣздилъ на лѣто 1850 г. въ Саратовъ и вернулся потомъ въ Петербургъ. Но уже съ осени онъ ведетъ переговоры о мѣстѣ въ Саратовѣ, куда настойчиво звали его родители. Одновременно онъ занялъ было и мѣсто въ военно-учебныхъ заведеніяхъ. Онъ читалъ пробную лекцію въ штабѣ военно-учебныхъ заведеній, и К. Д. Кавелинъ, завѣдывавшій учебной частью въ нихъ, остался имъ очень доволенъ и сдѣлалъ о немъ прекрасный отзывъ. Въ ожиданіи рѣшенія, гдѣ придется устроиться окончательно, Чернышевскій, кажется, продолжалъ занятія подъ руководствомъ Срезневскаго, а между дѣломъ изучаетъ вмѣстѣ съ Пыпинымъ, пріѣхавшимъ въ этомъ году въ петербургскій университетъ, англійскій языкъ, по методу Робертсона, и настолько овладѣваетъ имъ, кромѣ произношенія, что свободно читаетъ и пишетъ на немъ. (дно время онъ носится также съ какимъ-то механическимъ изобрѣтеніемъ и даже отправилъ въ Академію наукъ, физику Венцу, статью о немъ или письмо (Дневникъ, стр. 5) ¹⁾. На-

¹⁾ Спустя много лѣтъ, въ аллегорической сказкѣ „Кормило Кормичему“ (Соч., т. I, ч. I) Чернышевскій изображаетъ „Пожирателя книгъ“ (какимъ былъ и самъ),

конецъ, изъ переписки Пыпина видно, что Чернышевскаго занимала какая-то повѣсть, въ центрѣ которой былъ характеръ, по мнѣнію Пыпина близко напоминавшій самого автора ея.

А. Н. Пыпинъ былъ весь увлеченъ своимъ старшимъ товарищемъ. Пользовавшійся неопубликованными пока полностью письмами Пыпина, г. Б. Глинскій пишетъ объ этомъ увлеченіи его:

„Личность этого „Никола“ постоянно притягиваетъ его вниманіе, онъ пытается глубже проникнуть въ этотъ загадочный характеръ, нарисовать себѣ и другимъ духовный образъ этого человѣка и заставить всѣхъ окружающихъ и въ томъ числѣ и своихъ товарищей юности полюбить и оцѣнить его. Почти во всѣхъ письмахъ къ Д. Л. Мордовцеву онъ возвращается къ этому волнующему его предмету и, упоминая о занятіяхъ своего двоюроднаго брата, о его знакомствахъ, о книгахъ, которыя онъ приносилъ ему читать (главнымъ образомъ, Дикенса въ подлинникѣ), постоянно дѣлаетъ экскурсіи въ область анализа характера Николая Гавриловича. Такъ, въ ноябрьскомъ письмѣ онъ говоритъ: „Онъ (т.-е. Чернышевскій) такой человѣкъ, котораго я никогда не видалъ, да никогда вѣрно и не увижу. Я не знаю, какъ описать тебѣ его характеръ (ты его не знаешь); если бы гдѣ-нибудь былъ изображенъ такой характеръ, я бы указалъ тебѣ... Но нигдѣ подобнаго я не встрѣчалъ, встрѣтилъ, правда, только въ одномъ мѣстѣ. Недавно читалъ онъ отрывокъ изъ повѣсти, разсказа,

который изучилъ 77 глупыхъ наукъ и 77 пустыхъ наукъ и изъ 77 хорошихъ наукъ избираетъ для дальнѣйшей разработки семь, а для отдыха читаетъ энциклопедію Эрша и Грубера. Въ концѣ жизни онъ изобрѣтаетъ машину: „И можно будетъ ее дѣлать такой силы, какой угодно. И работа ея даромъ. И годится она для всякой работы, и большой, и малой... И большая работа ей: чтобы не было ни песчаныхъ степей, ни соленыхъ пустынь, никакой бесплодной земли на лицѣ земли; покрывать лицо земли плодородной землей; и дѣлать равнины и долины, какъ нужно, и холмы и горы, какъ нужно; и бросать воду подъ облака дождемъ, и орошать землю дождемъ, и сосать воду изъ облаковъ, чтобы не было лишняго дождя; и дуть вѣтромъ, какъ нужно, и ставить до облаковъ загородки отъ вѣтра; и дѣлать вѣтеръ и тихую погоду, какъ нужно; и наводить облака; и разгонять облака, чтобы былъ видъ земли, какой нужно, и почва земли, какую нужно, и дождь, и ясная погода, какъ нужно... И полагаетъ Пожиратель книгъ: вотъ и будетъ все, какъ нужно людямъ, и будетъ у людей всего сколько нужно; и будутъ люди жить хорошо, отъ работы этой машины; и будетъ имя этой машинѣ Эвергетъ. И толкуется Эвергетъ по разумнѣнн глауровъ: благодѣтель; и толкуется по книгѣ судьбы: добрая работа“. Вмѣсто Эвергета люди дѣлаютъ, однако, другую машину,—всеобщій разрушитель. Кажется, въ этой фантазіи объ Эвергетѣ нельзя не признать отголоска фурьеризма съ его мечтою о преобразованіи всего лица земли. Не было ли и изобрѣтеніе Чернышевскаго тѣмъ-либо въ родѣ Эвергета въ миниатурѣ? Проектъ его могъ сохраниться въ архивахъ Академіи наукъ, и любопытно было бы его разискать.

или какъ угодно назови это, конечно, ненапечатанной и, съ несчастью, лишенной возможности быть напечатанною; онъ говорилъ мнѣ, что ее написалъ одинъ изъ его пріятелей, но я съ большою вѣроятностью предполагаю, что писалъ онъ ее самъ; все въ ней его, и между прочимъ тамъ былъ одинъ характеръ, совершенно снятый съ него—характеръ не изъ обыкновенныхъ, пошлыхъ характеровъ. Можетъ быть, когда-нибудь ты узнаешь его близко, хотя это трудно, не бывъ съ нимъ въ близкихъ отношеніяхъ, гдѣ-бъ его можно узнать... Какъ ошибся бы тотъ, кто сказалъ бы, что нѣтъ въ немъ участія ни къ чему; нѣтъ, въ немъ такъ много участія, что я до сихъ поръ не могу привыкнуть видѣть въ немъ это".—Въ декабрьскомъ письмѣ онъ снова возвращается къ характеру Чернышевскаго и говоритъ: „это такой человѣкъ, какового я до сихъ поръ и не видывалъ. А вѣдь давно я его знаю, могъ бы къ нему привыкнуть тогда еще, когда вмѣстѣ жили (въ Саратовѣ), могъ бы узнать его такъ, чтобы все мнѣ было въ немъ извѣстно, вполне понятно“.

Чернышевскому очень рано приходилось, такимъ образомъ, удивлять людей собою. Онъ казался постороннимъ явленьемъ, холоднымъ, безучастнымъ ко всему, годнымъ только рыться въ лѣтописяхъ, способнымъ весь вѣкъ пролежать на диванѣ. Въ значительной части это могло быть маскою, которою мягкая, впечатлительная натура инстинктивно защищалась отъ вторженія посторонняго ей элемента, маскою, потомъ ставшею почти второю натурою, какъ и привычка отдѣливаться во многихъ случаяхъ отъ вторженія въ его внутреннюю жизнь смѣшномъ и шуточками. Видимо, въ ранніе годы Н. Г. много занятъ былъ выработкой своего характера. Какъ видно изъ дневника, онъ очень мучился сомнѣніями въ себѣ, упрекалъ себя въ мнительности; онъ воображалъ себя Гамлетомъ, терзался тѣмъ, что онъ—„существо изъ числа тѣхъ крысъ, которыя собирались привязывать звонокъ на шею коту“ (стр. 36 и другія). И борьба эта съ самимъ собою приводитъ его къ выработкѣ въ себѣ совершенно исключительной настойчивости, съ какою онъ добивается всякой себѣ поставленной цѣли, и при кажущейся внѣшней холодной вялости и часто смѣшной разсѣянности подъ этими внѣшними его чертами все время совершается непрерывная сосредоточенная работа мысли и чувства.

Та повѣсть, о которой говорится въ письмѣ Пыпина, могла быть первоначальнымъ наброскомъ не „Что дѣлать“ (какъ предполагаетъ г. Глинскій), но характера, чрезъ много лѣтъ изображеннаго въ повѣсти, до насъ не дошедшей, подъ названіемъ

„Старина“, извѣстной только по довольно подробному изложенію ея содержанія Шагановымъ. Въ ней шла рѣчь о молодомъ студентѣ, только-что вернувшемся въ родную провинцію человекомъ, совершенно чуждымъ по своимъ убѣжденіямъ и взглядамъ родной семьѣ и средѣ. Къ этой повѣсти мы обратимся, какъ къ носящей несомнѣнныя автобіографическія черты, въ своемъ мѣстѣ.

Къ концу 1850 года въ саратовской гимназіи освободилось мѣсто старшаго учителя русской словесности. Вслѣдствіе прошенія, Высочайшимъ приказомъ 6-го января 1851 года Чернышевскій былъ опредѣленъ на эту должность, а 4-го февраля уже вступилъ въ отправленіе своихъ обязанностей.

В. Е. ВѢТРИНСКІЙ.



ТВОРЧЕСТВО А. П. ЧЕХОВА,

ЕГО МОТИВЫ И ИДЕИ

КРИТИЧЕСКИЙ ОЧЕРКЪ.

— Скажите, отчего вы живете такъ скучно, такъ неколоритно?.. Отчего вы живете такъ неинтересно, такъ мало берете отъ жизни?

Чеховъ. „Дача съ мезониномъ“, Соч., IX, 62.

„Я не могу вдоволь надвинуться... необычайной пустотѣ и обособленности нашего существованія“.

Чаадаевъ, „Философическія письма“.

Есть оптимисты, которые полагаютъ, что люди и дѣйствительность, послужившіе предметомъ изображенія Чехова, безповоротнo остались позади насъ. Имъ кажется, что въ нашемъ дальнѣйшемъ историческомъ шествіи мы больше не встрѣтимся съ этимъ міромъ сѣренъкихъ сумерекъ, сѣрыхъ душъ и интeресовъ. Но живая дѣйствительность должна хотя бы нѣсколько умѣрить такое самоиѣніе. Какіе бы ни открывались новые горизонты, какіе бы ни совершались перевороты въ обществѣ и въ умахъ людей, а въ жизни продолжаютъ жить и дѣлать исторію если не буквально тѣ же „чеховскіе люди“, то ихъ родные братья и дѣти — по духу. Въ концѣ концовъ, мы все-таки и теперь окружены тѣми же людьми и около насъ про-

должаютъ дѣйствовать все тѣ же общественныя отношенія и комбинаціи, въ крайнемъ случаѣ — ихъ обломки. И главное — тѣ же самыя общественныя раздѣленія, тѣ же „футляры“ налагаютъ свою печать на приемы нашей текущей исторіи, которая, по многимъ условіямъ, такъ рѣзко и глубоко отличается отъ предшествовавшаго періода русской жизни. Вообще, нѣтъ сомнѣнія, мы живемъ очень ускореннымъ темпомъ, но тѣмъ не менѣе это значило бы слишкомъ низко цѣнить силу художественнаго проникновенія въ жизнь, если предположить, что образы такого художника, какъ Чеховъ, могли бы въ такой короткій срокъ потерять свое жизненное значеніе и свой интересъ если не текущего момента, то весьма близкаго къ намъ прошлаго, а развязаться съ нимъ вовсе не такъ уже просто. Спора нѣтъ, къ мотивамъ, занимавшимъ Чехова, современная дѣйствительность прибавила новыя ноты. Болѣе тѣмъ вѣроятно, что со временемъ онѣ заглушатъ и смѣнятъ многое изъ стараго, отживающаго свой вѣкъ міра, но пока онѣ этого не успѣли сдѣлать, онѣ сохраняютъ для насъ интересъ дѣйствительности. Онѣ сохраняютъ его въ значительной степени до тѣхъ поръ, пока не успѣютъ вытравиться изъ нашей жизни слѣды обезличенія и лежащіе въ его основѣ элементы общественнаго разложенія, главное — элементы общественной розни и душевнаго разброда.

А если мы, въ тому же, обратимъ вниманіе на тотъ исключительный по своему богатству и своеобразной прелести душевный міръ, въ которомъ эта жизнь въ данномъ случаѣ отразилась и нашла себѣ истолкованіе, то мы должны будемъ сказать себѣ — міръ этихъ образовъ и настроеній еще не скоро состарится, еще не скоро потеряетъ для насъ живой интересъ.

I.

Когда о Чеховѣ говорятъ, что онъ былъ пессимистомъ, котораго одолѣвала неопредѣленная тоска невѣдомо о чемъ, то это — явное недоразумѣніе и положительно незаслуженный поклепъ на этого удивительнаго писателя. Изъ того, что чувствующаго и мыслящаго русскаго человѣка послѣдней четверти истекшаго столѣтія и начала нынѣшняго одолѣвала тоска — заключать о его пессимизмѣ врядъ-ли справедливо. Также, изъ того, что это настроеніе часто принимало оттѣнокъ нѣкоторой неопредѣленности, вовсе еще не слѣдуетъ, что это была тоска невѣдомо о чемъ.

Въ „Дядѣ Ванѣ“ Астровъ говоритъ: „Вообще жизнь люблю, но нашу жизнь, уѣздную, русскую, обывательскую, терпѣть не могу и презираю ее всѣми силами моей души“. И то же самое могъ бы сказать о себѣ самъ Чеховъ. Ничтожную, однообразно-пошлую, нелѣпую обывательскую жизнь, и русскую, и не-русскую, и уѣздную, и не-уѣздную, онъ терпѣть не могъ; онъ ее ненавидѣлъ и презиралъ всѣми силами своей ясной и жизне-радостной души. Но именно потому ненавидѣлъ и презиралъ, что вообще жизнь любилъ, и любилъ ясной и свѣтлой любовью.

Критика указывала на то, что Чеховъ находитъ удовольствіе обливаться ядомъ все хорошее и свѣтлое, все свѣжее и живое. Но не справедливѣ ли утверждать прямо противоположное? Трезвый и глубокой наблюдатель жизни, онъ ясно видѣлъ въ ней ея убожество и мелкость, ея недѣпность и ничтожество. „Грязь, пошлость и азіатчина“ дѣйствительности, безцвѣтность и плоскодонность ея лежали открытыми предъ его пронизательнымъ взоромъ. И не взирая на это, посмотрите, сколько солнечнаго свѣта разлито имъ на этой самой сѣрой, измельчавшей и безконечно пошлой жизни. Посмотрите, сколько жизнерадостности, сколько очаровательной прелести умѣлъ онъ находить въ людяхъ и въ жизни! Не замѣчать этого—грѣхъ по отношенію и къ жизни, и къ художнику, всю сознательную пору своей жизни промучившемуся въ ногтяхъ російскаго обывательскаго существованія восьмидесятихъ и девяностыхъ годовъ истекшаго вѣка.

Раздражительный брюзга-профессоръ въ „Скучной исторіи“ рассказываетъ о своей воспитанницѣ Катѣ, объ ея дѣтствѣ:

„Первое, что я помню и люблю по воспоминаніямъ, это — необыкновенную довѣрчивость, съ какою она вошла въ мой домъ, лечилась у докторовъ, и которая всегда свѣтилась на ея личицѣ. Бывало, сидитъ гдѣ-нибудь въ сторонѣ съ подвязанной щекой и непремѣнно смотритъ на что-нибудь со вниманіемъ: видитъ ли она въ это время, какъ я пишу и перелистываю книги, или какъ хлопочетъ жена, или какъ кухарка въ кухнѣ чиститъ картофель, или какъ играетъ собака, у нея всегда неизмѣнно глаза выражали одно и то же, а именно: „Все, что дѣлается на этомъ свѣтѣ, все прекрасно и умно“. Бывало, сидитъ за столомъ противъ меня, слѣдить за моими движеніями и задаетъ вопросы. Интересно знать, что я читаю, что дѣлаю въ университетѣ, боюсь ли труповъ, куда дѣваю свое жалованье.

— Студенты дерутся въ университетѣ?—спрашиваетъ она.

— Дерутся, милая.

— А вы ставите ихъ на колѣни?

— Ставлю.

И ей было смѣшно, что студенты дерутся и что я ставлю ихъ на колѣни, и она смѣялась“.

Пусть читатель не забываетъ, что эти милыя воспоминанія, проникнутыя добродушіемъ, принадлежать старику, больному, страдающему неизлечимымъ тис'омъ, желчному, брюзжащему на все, а больше всего на самого себя. Ему глубоко надоѣло все, — все, что его окружаетъ и что ему близко: и жена, и дочь, и студенты, и ученые, и театръ, и всевозможныя мелочи жизни. Его коробить то, что говоритъ его жена, и поцѣлуй дочери, и ея манера смѣяться, и женихъ дочери, и сынъ офицеръ, и без-таланнный прозекторъ Петръ Николаевичъ, и не меньше всего — собственное его „мое превосходительство“, которое, силой какихъ-то обстоятельствъ, растеряло „смыслъ и радость своей жизни“. Глубокою, за душу хватающею меланхоліей вѣетъ отъ всего разсказа этого старика. А между тѣмъ, какой запасъ свѣтлыхъ, поэтическихъ воспоминаній!

„Я разсказываю Катѣ о своемъ прошломъ... А она слушаетъ меня съ умиленіемъ, съ гордостью, притавивъ дыханіе. Особенно я люблю разсказывать ей о томъ, какъ я когда-то учился въ семинаріи и какъ мечталъ поступить въ университетъ. — Бывало, гуляю я по нашему семинарскому саду... разсказываю я. Донесетъ вѣтеръ изъ какого-нибудь далекаго кабака пиликанье гармоники и пѣсню, или промчится мимо семинарскаго забора тройка съ колоколами, и этого уже совершенно достаточно, чтобы чувство счастья вдругъ наполнило не только грудь, но даже животъ, ноги, руки... Слушаешь гармонику, или затихающіе колокола, а самъ воображаешь себя врачомъ и рисуешь картины — одна другой лучше“.

Эти привлекательныя картины не остались мечтами. „Мечты мои сбылись. Я получилъ больше, чѣмъ смѣлъ мечтать. Тридцать лѣтъ я былъ любимымъ профессоромъ, имѣлъ превосходныхъ товарищей, пользовался почетной извѣстностью. Я любилъ, женился по страстной любви, имѣлъ дѣтей. Однимъ словомъ, если оглянуться назадъ, то вся моя жизнь представляется мнѣ красивой, талантливо сдѣланной композиціей. Теперь — заключаетъ онъ — мнѣ остается только не испортить финала. Для этого нужно умереть по-человѣчески. Если смерть въ самомъ дѣлѣ — опасность, то можно встрѣтить ее такъ, какъ подобаетъ учителю ученому и гражданину христіанскаго государства: бодро и спокойной душой“.

„— Но я порчу финалъ, — говоритъ онъ. — Я утопаю“. И ту начинается заключительная душевная драма его жизни. Какъ

бы она ни была, мы видимъ, что даже въ уста этого разочарованнаго старика Чеховъ вкладываетъ не проклетіе жизни, не безнадежное разочарованіе. Въ концѣ жизни, которая рисуется ему цѣлымъ рядомъ свѣтлыхъ явленій, онъ пришелъ въ драмѣ— въ недовольству и раздраженію. Но даже въ такой моментъ, когда собственная жизнь представляется ему разбитой и ненужной, посмотрите, какъ онъ относится къ пріятелю профессору, когда тотъ при участіи разочарованной Кати сплошь издѣвается надъ жизнью и людьми.

„—Измельчала нынче наша публика,—вздыхаетъ Михаилъ Федоровичъ.—Не говорю ужъ объ идеалахъ и прочее, но хотъ бы работать и мыслить умѣли толкомъ! Вотъ ужъ именно: „печально я гляжу на наше поколѣнье“.—Да, ужасно измельчали,—соглашается Катя.—Скажите, въ послѣднія пятьдесятъ лѣтъ были ли у васъ хотъ одинъ выдающійся?—Не знаю, какъ у другихъ профессоровъ, но у себя что-то не помню.—Я видѣла на своемъ вѣку много студентовъ и вашихъ молодыхъ ученыхъ, много актеровъ. Что-жъ? Ни разу не сподобилась встрѣтиться не только съ героемъ, или съ талантомъ, но даже просто съ интереснымъ человѣкомъ. Все сѣро, бездарно, надуты претензіями“...

„—Всѣ разговоры объ измельчаніи—говоритъ нашъ старикъ профессоръ—производятъ на меня всякій разъ такое впечатлѣніе, какъ будто я нечаянно подслушалъ нехорошій разговоръ о своей дочери. Мнѣ обидно, что обвиненія огульны и строятся на такихъ давно избитыхъ общихъ мѣстахъ, такихъ жупелахъ, какъ измельчаніе, отсутствіе идеаловъ, или ссылка на прекрасное прошлое. Всякое обвиненіе, даже если оно высказывается въ дамскомъ обществѣ, должно быть сформулировано съ возможною опредѣленностью, иначе оно не обвиненіе, а пустое злословіе, недостойное порядочныхъ людей. Я старикъ, служу ужъ 30 лѣтъ, но не замѣчаю ни измельчанія, ни отсутствія идеаловъ, и не нахожу, чтобы теперь было хуже, чѣмъ прежде. Мой швейцаръ, Николай, опытъ котораго въ данномъ случаѣ имѣетъ свою цѣну, говорить, что нынѣшніе студенты не лучше и не хуже прежнихъ“.

Перечисливъ затѣмъ разные недостатки, поддающіеся вполнѣ точному опредѣленію, которые онъ самъ видитъ въ студентахъ, онъ говоритъ:

„Подобные недостатки, какъ бы много ихъ ни было, могутъ породить пессимистическое или бранчивое настроеніе только въ чловѣкѣ малодушномъ и робкомъ. Всѣ они имѣютъ случайный, преходящій характеръ и находятся въ полной зависимости отъ жизненныхъ условій; достаточно какихъ-нибудь десяти лѣтъ,

чтобы они исчезли, или уступили свое мѣсто другимъ, новымъ недостаткамъ, безъ которыхъ не обойтись и которые въ свою очередь будутъ пугать малодушныхъ.—Студенческіе грѣхи досаждаютъ мнѣ часто, но эта досада—ничто въ сравненіи съ тою радостью, какую я испытываю уже тридцать лѣтъ, когда бесѣдую съ учениками, читаю имъ, приглядываюсь къ ихъ отношеніямъ и сравниваю ихъ съ людьми не ихъ круга“.

Можно ли говорить о предвзятомъ, сплошномъ пессимизмѣ писателя, который такими красками изображаетъ старика профессора, больного душой, измученнаго, разстроенаго, недовольнаго жизнью и собой?

Кажется, что нѣтъ?

А вспомните доктора Самойленко въ „Дуэли“. „Съ большой стриженной головой, безъ шеи, красный, носастый, съ мохнатыми черными бровями и съ сѣдыми бакеннами, толстый, обрюзглый, да еще вдобавокъ съ хриплымъ армейскимъ басомъ, этотъ Самойленко на всякаго вновь пріѣзжавшаго производилъ неприятное впечатлѣніе бурбона и крикуна, но проходило два три дня послѣ перваго знакомства, и лицо его начинало казаться необыкновенно добрымъ, милымъ и даже красивымъ. Несмотря на свою неуклюжесть и грубоватый тонъ, этотъ человекъ былъ смиренный, безгранично добрый, благодушный и обязательный. Со всѣми въ городѣ онъ былъ на ты, всѣмъ давалъ деньги займы, всѣхъ лечилъ, сваталъ, мирилъ, всегда онъ за кого-нибудь хлопоталъ и просилъ и всегда чему-нибудь радовался. При этомъ у него была слабость—онъ стыдился своей доброты и старался маскировать ее суровымъ взглядомъ и напускной грубостью“. Чеховъ не боится представить эту фигуру въ смѣшномъ видѣ, но это не уменьшаетъ ея обяательности, не лишаетъ ее привлекательной жизнерадостности.

„Когда онъ, грузный, величественный, со строгимъ выраженіемъ на лицѣ, въ своемъ бѣлоснѣжномъ кителѣ и превосходно вычищенныхъ сапогахъ, выпятивъ грудь, на которой красовался Владиміръ съ бантомъ, шелъ по бульвару, то въ это время онъ очень нравился себѣ самому, и ему казалось, что весь міръ смотритъ на него съ удовольствіемъ. Не поворачивая головы, онъ поглядывалъ по сторонамъ и находилъ, что бульваръ вполне благоустроенъ, что молодые кипарисы, эвкалипты и некрасивыя, худосочныя пальмы очень красивы и будутъ современемъ давать широкую тѣнь, что черкесы—честный и гостепріимный народъ“.

Повѣсть „Разсказъ неизвѣстнаго человѣка“ ведется отъ лица чахоточнаго, больного физически и душевно измученнаго чело-

вѣва, жизнь котораго изувѣчена и искалѣчена. Окруженъ онъ— пожалуй, самой обыденной обстановкой, обыденнѣйшими людьми и дѣлами. Мало того, вся эта обыденщина нарисована со всей неотразимой, удивительной силой Чеховскаго сарказма, со всей его несравненной способностью обнаруживать глубину глубинъ пошлости и пустоты. Героиня повѣсти, Зинаида Федоровна, любить беззавѣтно человѣка, въ которому она ушла отъ мужа. Это сынъ сановника и самъ чиновникъ и камеръ-юнкеръ, „съ петербургскою наружностью“, съ лицомъ холемымъ, потертымъ и неприятнымъ, узкими плечами, глазами неопредѣленнаго цвѣта и свудной, тускло окрашенной растительностью на головѣ, бородѣ и усахъ. „Когда Орловъ брался за газету или книгу, какаѣ бы она ни была, или же встрѣчался съ людьми, кто бы они ни были, то глаза его начинали иронически улыбаться и все лицо принимало выраженіе легкой, не злой насмѣшки. Передъ тѣмъ, какъ прочесть что-нибудь или услышать, у него всякій разъ была уже наготовѣ иронія, точно щить у диваря. Это была иронія привычная, старой закваски... безъ всякаго участія воли, вѣроятно, а какъ бы по рефлексу“. Среди его книгъ были „и философія, и французскіе романы, и политическая экономія, и финансы, и новые поэты, и изданія „Посреднича“,—и все онъ прочитывалъ одинаково быстро и все съ тѣмъ же ироническимъ выраженіемъ глазъ“. Въ разговорахъ съ пріятелями „иронія Орлова и его друзей не знала предѣловъ и не щадила никого и ничего. Говорили о религіи—иронія, говорили о философіи, о смыслѣ и цѣли жизни—иронія, поднимали ли кто вопросъ о народѣ—иронія. Въ Петербургѣ—говорить авторъ—есть особая порода людей, которые специально занимаются тѣмъ, что выпучиваютъ каждое явленіе жизни; они не могутъ пройти даже мимо голоднаго или самоубійцы безъ того, чтобы не сказать пошлости. Но Орловъ и его пріятели не шутили и не выпучивали, а говорили съ ироніей. Они говорили, что Бога нѣтъ и со смертію личность исчезаетъ совершенно; бессмертные существуютъ только во французской академіи. Истиннаго блага нѣтъ и не можетъ быть, такъ какъ наличность его обусловлена человѣческимъ совершенствомъ, а послѣднее есть логическая нелѣпость. Россія—такая же скучная и убогая страна, какъ Персія. Интеллигенція безнадежна; она въ громадномъ большинствѣ состоитъ изъ людей неспособныхъ и никуда не годныхъ. Народъ же спился, облѣнился, изворовался и вырождается. Науки у насъ нѣтъ, литература неуклюжа, торговля держится на мошенничествѣ: не обманешь—не продашь. И все въ

такомъ родѣ, и все смѣшно“. Отношенія къ женщинѣ у Орлова и его пріятелей проникнуты безстыдствомъ, желаніемъ „во что бы ни стало пригнуть ее низко къ грязи, чтобы она и ихъ отношенія къ ней стояли на одномъ уровнѣ“. Въ общемъ, рассказчикъ опредѣляетъ его человѣкомъ съ „проклятой холодной кровью“, который, „не успѣвъ начать жить, поторопился сбросить съ себя образъ и подобіе Божіе и превратился въ трусливое животное, которое лаетъ и этимъ лаетъ пугаетъ другихъ оттого, что само боится“; это — „дезертиръ, который позорно бѣжитъ съ поля битвы, но, чтобы заглушить стыдъ, смѣется надъ войной и надъ храбростью“, который „гадко и пошло посмѣивается надъ идеями добра и правды, потому что уже не въ силахъ вернуться къ нимъ“.

Зинаида Федоровна, послѣ короткой связи съ нимъ, принуждена уйти отъ него, но, не будучи въ силахъ вырвать свое чувство, уносить съ собой глубокое презрѣніе и къ своему любовнику, и къ своей любви, и ко всему на свѣтѣ. Черезъ нѣкоторое время она рождаетъ. Въ день родовъ рассказчикъ застаётъ ее съ выраженіемъ „равнодушія, холода и вялости“. Въ одинъ изъ припадковъ она отерываетъ глаза, и — „на ея лицѣ выразилось отвращеніе.—Гадко,—прошептала она“. Родивъ ребенка, она на слѣдующій день отравляется.

Въ этой-то обстановкѣ, въ случайной тѣсной близости съ этими людьми переживаетъ романъ — надо сказать, довольно искусственно придуманный авторомъ, — то лицо, отъ имени котораго ведется рассказъ, нѣкто Владиміръ Ивановичъ. Большой чахоткой, потерпѣвшій жестокаго неудачи въ жизни, разочаровавшійся въ своей дѣятельности, онъ въ довершеніе всего страстно влюбленъ въ Зинаиду Федоровну. Большой, разочарованный и жестоко страдающій, онъ мечтаетъ. Онъ — отставной морякъ, и ему „хотѣлось бы еще разъ испытать то невыразимое чувство, когда, гуляя въ тропическомъ лѣсу или глядя на закатъ солнца въ Бенгальскомъ заливѣ, замираешь отъ восторга и въ то же время грустишь по родинѣ. Мнѣ снились горы, женщины, музыка... То мнѣ хотѣлось уйти въ монастырь, сидѣть тамъ по цѣлымъ днямъ у окошка и смотрѣть на деревья и поля; то я давалъ себѣ слово, что займусь наукой и непременно сдѣлаюсь профессоромъ какого-нибудь провинціального университета“.

Пусть не забудетъ читатель, все это — мечты неудачника во всѣхъ смыслахъ, человѣка, имѣющаго всѣ данныя, чтобы отнестись къ жизни безъ увлеченія, безъ симпатіи къ ней, безъ вѣры въ нее.

А вотъ его мысли о любви, — сколько въ нихъ свѣтлаго, молодого энтузіазма!

„Даже ненужныя вещи собираютъ теперь по дворамъ и продаютъ ихъ съ благотворительною цѣлью, и битое стекло считается хорошимъ товаромъ, но такая драгоцѣнность, такая рѣдкость, какъ любовь изящной, молодой, неглупой и порядочной женщины, пропадаетъ совершенно даромъ. Одинъ старинный соціологъ смотрѣлъ на всякую дурную страсть, какъ на силу, которую при умѣнн можно направить къ добру, а у насъ и благородная, красивая страсть зарождается и потомъ вымираетъ, какъ безсиліе, никуда не направленная, непонятая или опшленная. Почему это? ... „Я не былъ влюбленъ въ Зинаиду Федоровну, — говоритъ онъ, — но въ обыкновенномъ человѣческомъ чувствѣ, какое я питалъ къ ней, было гораздо больше молодого, свѣжаго и радостнаго, чѣмъ въ любви Орлова... Я зналъ, что если бы я полюбилъ ее, то не посмѣлъ бы рассчитывать на такое чудо, какъ взаимность, но это соображеніе меня не беспокоило. Въ моемъ скромномъ, тихомъ чувствѣ, похожемъ на обыкновенную привязанность, не было ни ревности къ Орлову, ни даже зависти, такъ какъ я понималъ, что личное счастье для такого калѣйки, какъ я, возможно только въ мечтахъ“. „Какая прелесть, — пишетъ онъ дальше, — сколько порой радости отъ мысли, что съ моею жизнью теперь идетъ рядомъ другая жизнь, что я слуга, сторожъ, другъ, необходимый спутникъ существа молодого и красиваго, но слабаго, оскорбленнаго, одинокаго! Даже болѣть пріятно, когда знаешь, что есть люди, которые ждутъ твоего выздоровленія, какъ праздника“.

И такъ думаетъ и чувствуетъ человѣкъ, чувство котораго нисколько не раздѣляетъ любимая женщина. Какъ великъ долженъ быть запасъ вѣры въ жизнь и привязанности къ ней, чтобы вложить въ эту фигуру такіа чувства и мысли!

Замѣчательно, что именно это положеніе человѣка, влюбленнаго безъ надежды на отвѣтъ, — будучи однимъ изъ любимыхъ мотивовъ Чехова, — привлекало его не только той драмой, которая въ немъ заключается, но и въ качествѣ источника какого-то особеннаго душевнаго свѣта и обаянія. У него несчастные въ любви находятъ въ своемъ чувствѣ источникъ если не счастья, то чего-то очень близкаго къ счастью. Это для нихъ центръ какого-то душевнаго тепла, чего-то такого, чѣмъ они дорожатъ за что они готовы судорожно держаться, несмотря ни на что. Свою неудачу они несутъ какъ цѣпи, съ которыми они не могли бы расстаться. Это и бремя, и что-то такое, что

придаетъ какой-то высшій смыслъ ихъ существованію. Въ „Трехъ сестрахъ“ учитель Кулыгинъ, педантъ и сухарь, не находитъ словъ, чтобы выразить свою нѣжность къ женѣ, несмотря на то, что она самымъ явнымъ образомъ болѣе чѣмъ равнодушна къ нему. „Милая моя Маша, дорогая моя Маша... Жена моя хорошая, славная... Люблю тебя, единственную“... На это Маша говоритъ сердито: „Ато, атам, амаг, амагус, амагис, амагит“ . А Кулыгинъ смѣется и восклицаетъ: „Нѣтъ, право, она удивительная. Женатъ я на тебѣ семь лѣтъ, а кажется, что вѣнчались только вчера. Честное слово. Нѣтъ, право, ты удивительная женщина“. Заставъ свою жену въ моментъ, когда она горько плачетъ объ уѣзжающемъ любовникѣ, Кулыгинъ хотя и смущенъ этимъ, но говоритъ: „Ничего, пусть поплачетъ, пусть... Хорошая моя Маша, добрая моя Маша... Ты моя жена, и я счастливъ, что бы тамъ ни было... Я не жалею, не дѣлаю тебѣ ни одного упрека... вотъ и Оля свидѣтельница... Начнемъ жить опять по старому, и я тебѣ ни одного слова, ни намека“ .

Въ той же пьесѣ баронъ Тузенбахъ говоритъ своей невѣстѣ Иринѣ, прощаясь съ ней передъ дуэлью: „Ненаглядная моя... Уже пять лѣтъ прошло, какъ я люблю тебя, и все не могу привыкнуть, и ты кажешься мнѣ все прекраснѣе. Какіе прелестные, чудные волосы! Какіе глаза! Я увезу тебя завтра, мы будемъ работать, будемъ богаты, мечты мои оживутъ. Ты будешь счастлива. Только вотъ одно, только одно: ты меня не любишь!“ Ирина отвѣчаетъ: „Это не въ моей власти! Я буду твоей женой, и вѣрной, и нѣжной, но любви нѣтъ, что же дѣлать! (плачетъ). Я не любила ни разу въ жизни. О, и такъ мечтала о любви, мечтала уже давно, дни и ночи, но душа моя—какъ дорогой рояль, который запертъ и ключъ потерявъ“. На это баронъ замѣчаетъ: „Въ моей жизни нѣтъ ничего такого страшнаго, что могло бы испугать меня, и только этотъ потерянный ключъ терзаетъ мою душу, не даетъ мнѣ спать“. И черезъ минуту, прощаясь съ ней передъ уходомъ на дуэль, онъ говоритъ въ возбужденіи: „Мнѣ весело. Я точно въ первый разъ въ жизни вижу эти ели, клены, березы, и все смотреть на меня съ любопытствомъ и ждеть. Какія красивыя деревья и, въ сущности, какая должна быть около нихъ красивая жизнь!“ Раздается условный знакъ, что ему надо идти, и онъ заключаетъ, какъ бы предвидя свою смерть: „Надо идти, уже пора... Вотъ дерево засохло, но все же оно вмѣстѣ съ другими качается отъ вѣтра. Такъ, мнѣ кажется, если я и умру, то все же буду участвовать въ жизни такъ или иначе. Прощай, моя милая...“

Гадкое его положеніе, такое же тяжелое и недостойное, какъ у учителя Кулыгина. И несмотря на это, какая жажда жизни, какіе страстные, горячіе порывы къ красотѣ жизни и ея поэзіи!

Въ „Попрыгунѣ“ Дымовъ, подобно Кулыгину въ „Трехъ сестрахъ“, утѣшаетъ жену въ минуты ея горя, когда она плачетъ отъ ревности къ любовнику. Сконфуженный, растерянный (какъ и Кулыгинъ), онъ говоритъ ей тихо: „Не плачь громко, мама... Затѣмъ? надо молчать объ этомъ... Надо не подавать вида... Знаешь, — что случилось, того уже не поправишь“. И сквозъ тяжелую драму непонятой любви предъ читателемъ подымается безконечно привлекательная фигура доброй, чистой, любящей души. „Молчаливое, безропотное, непонятое существо, обезличенное своею кротостью, безхарактерное, слабое отъ излишней доброты, глухо страдало гдѣ-то тамъ у себя и не жаловалось“. И отъ этой фигуры на все окружающее и на читателя льетъ столько мягкаго тепла и свѣта, что изъ тяжелой безысходной драмы пробивается просвѣтъ къ чему-то высокому и отрадному.

Не будемъ распространяться дальше на эту тему. Внимательный читатель и самъ сумѣетъ найти не одинъ примѣръ въ томъ же родѣ. Подавляющее большинство произведеній Чехова въ цѣломъ безконечно грустно, чуть не безнадежно — по своимъ сюжетамъ и по своимъ, такъ сказать, непосредственнымъ выводамъ. Реальная дѣйствительность у него не оставляетъ почти никакихъ просвѣтовъ. Это какое-то непроходимое царство пошлости, мелкихъ, низменныхъ интересовъ. Его мечтатели мечтаютъ о лучшемъ будущемъ — черезъ двѣсти или сто лѣтъ. Но посмотрите, какъ много этихъ мечтателей, какъ упорно авторъ возвращается къ нимъ, какъ настойчиво и увлекательно они возвращаются къ своимъ идеямъ! Какой удивительный отпечатокъ ясности и почти трезвой опредѣленности лежитъ на ихъ идеалахъ! Иринѣ въ „Трехъ сестрахъ“ кажется, что у нея „вдругъ точно крылья выросли на душѣ“, когда ей „опять захотѣлось работать, работать“. Работать зоветъ ее ея женихъ. Братъ ея Андрей скорбитъ о томъ, что у нихъ въ городѣ всѣ „скучны, сѣры, неинтересны, лѣнны, равнодушны, бесполезны, несчастны“, и ставитъ это въ связь съ тѣмъ, что, несмотря на двухсотлѣтнее существованіе и сто тысячъ жителей, въ немъ нѣтъ „ни въ прошломъ, ни въ настоящемъ ни одного художника, ни одного ученаго“. И итогъ всѣмъ подобнымъ мыслямъ подводится словами рассказчика въ „Рассказѣ неизвѣстнаго человѣка“:

„Жизнь дается одинъ разъ и хочется прожить ее бодро, осмысленно, красиво. Хочется играть видную, самостоятельную

роль, хочется дѣлать исторію“. И эта бодрая, ясная и широкая идея проходит широкой струей одинаково сильно и въ послѣднихъ предсмертныхъ произведеніяхъ, какъ, на примѣръ, въ „Вишневомъ садѣ“, и въ раннихъ мелкихъ разсказахъ, въ родѣ „Пассажиръ I-го класса“¹⁾.

II.

Всю сумму темноты и безобразій существованія, которыя такъ раздражали и возмущали ясную и чистую душу Чехова, обнимаетъ одно общее понятіе—пошлости. „Нѣтъ ничего страшнѣе, оскорбительнѣе, тоскливѣе пошлости“,—говорятъ его дѣйствующія лица одно за другимъ, — „бѣжать, бѣжать, иначе я сойду съ ума“. И сходятъ съ ума, и не знаютъ, куда убѣжать, потому что некуда. А самъ Чеховъ пристально, упорно, съ своей исключительной пронизательностью всматривался въ безграничное царство пошлости, старался разглядѣть, откуда она, въ чемъ коренится своими дѣльными корнями.

Среди его наблюденій, размысленій и соображеній на эту тему особеннаго вниманія заслуживаетъ одно обстоятельство, къ которому онъ возвращался много разъ.

Въ повѣсти „Моя жизнь“ разсказчикъ кипитъ возмущеніемъ противъ идей своего отца, противъ его взглядовъ на жизнь, противъ его способовъ оцѣнки людей. Онъ кореннымъ образомъ расходится съ отцомъ, со всѣмъ строемъ его убѣжденій. Онъ чувствуетъ себя враждебнымъ всѣмъ его приемамъ, всѣмъ способамъ понимать житейскія отношенія и задачи жизни. Отецъ у него—архитекторъ, который мечтаетъ о томъ, что сынъ его устроитъ приличную карьеру. Сыну противна жизнь провинціальной „интеллигенціи“, провинціальныхъ дѣльцовъ и чиновниковъ, и онъ уходитъ въ жизнь простого рабочаго маляра. А отецъ читаетъ ему мораль о низменности физическаго труда, о томъ, что онъ не долженъ забывать, что его прадѣдъ Полозневъ былъ генераль и сражался при Бородинѣ, что дѣдъ его былъ „поэтъ, ораторъ, и предводитель дворянства“, дядя—педа-

¹⁾ Въ „Черномъ монахѣ“ умирающій Ковринъ, у котораго кровь течетъ изъ горла прямо на грудь, „звалъ Таню, звалъ большой садъ съ роскошными цвѣтами обрызганными росой, звалъ паркъ, сосны съ мохнатыми корнями, ржаное поле, свою чудесную науку, свою молодость, смѣлость, радость, звалъ жизнь, которая была такъ прекрасна. Онъ видѣлъ на полу около своего лица большую лужу крови и не могъ уже отъ слабости выговорить ни слова, но невыразимое, безграничное счастье наполнило все его существо“.

гогъ, „наконецъ я, твой отецъ — архитекторъ... Всѣ Полозневы — заключаетъ онъ — хранили святой огонь для того, чтобы ты погасилъ его!“ Сынъ же отлично видитъ, что дѣло вовсе не въ „святомъ огнѣ“, а въ тайномъ страхѣ, что сынъ поступитъ въ рабочіе и заставитъ говорить о себѣ весь городъ.

И вотъ, при такой-то глубокой противоположности во всемъ, въ самыхъ основныхъ отношеніяхъ къ жизни, у сына вырывается слѣдующая своеобразная характеристика отцу:

„Что это за бездарный человѣкъ!.. Къ сожалѣнію, онъ былъ у насъ единственнымъ архитекторомъ, и за послѣдніа пятнадцать-двадцать лѣтъ, на моей памяти, въ городѣ не было построено ни одного порядочнаго дома. Когда ему заказывали планъ, то онъ обыкновенно чертилъ сначала залъ и гостиную; какъ въ былое время институтки могли танцовать только отъ печки, такъ и его художественная идея могла исходить и развиваться только отъ зала и гостиной. Къ нимъ онъ присовѣвывалъ столовую, дѣтскую, кабинетъ, соединяя комнаты дверями, и потомъ всѣ онѣ неизбежно оказывались проходными и въ каждой было по двѣ, даже по три лишніа двери. Должно быть, идея у него была неясная, крайне спутанная, куца; всякій разъ, точно чувствуя, что чего-то не хватаетъ, онъ прибѣгалъ къ разнаго рода пристройкамъ, присаживалъ ихъ одну къ другой, и я какъ сейчасъ вижу узкіа стѣны, узкіе корридорчики, кривыа лѣстнички, ведущія въ антресоли, гдѣ можно стоять только согнувшись. У фасада упрямое, черствое выраженіе, линіа сухія, робкіа, крыша низкая, приплюснутая. И почему-то, — замѣчаетъ рассказчикъ, — всѣ эти выстроенные отцомъ дома, похожіе другъ на друга, смутно напоминали мнѣ его цилиндръ, его затылокъ, сухой и упрямый“. Рѣзко разошедшись съ отцомъ, сынъ, спустя нѣкоторое время, испытавъ тяжелые удары судьбы, вынужденъ обратиться опять къ отцу — за помощью умирающей сестрѣ. Шагъ этотъ дается ему до крайности тяжело, и все свиданіе сводится къ мучительному столкновенію двухъ чуждыхъ другъ другу людей, неспособныхъ къ взаимному пониманію. Отецъ и сынъ негодуютъ другъ на друга и оспаютъ одинъ другого жестокими, злыми попреками. И вотъ, при этомъ, въ пылу самаго горячаго столкновенія, сынъ опять не можетъ оторваться отъ все той же идеи о „бездарности“ отца и его существованія. „Ты же и виноватъ, негодай!“ — говоритъ отецъ. „Да, пусть я виноватъ, — сказалъ я. — Сознаю, я виноватъ во многомъ, но зачѣмъ же эта ваша жизнь, которую вы считаете обязательною и для насъ, — зачѣмъ она такъ скучна, такъ бездарна?“ И онъ раздражается страшными

обвиненіями противъ всего города и всей жизни, которою живетъ отецъ. „Эти ваши дома — проклятыя гнѣзда, въ которыхъ сживаютъ со свѣта матерей, дочерей, мучаютъ дѣтей. Городъ нашъ существуетъ уже сотни лѣтъ, и за все время онъ не далъ роди́нѣ ни одного полезнаго человѣка — ни одного! Вы душили въ зародышѣ все мало-мальски живое и яркое! Городъ лавочниковъ, трактирщиковъ, канцеляристовъ, ханжей, ненужный, бесполезный городъ, о которомъ не пожалѣла бы ни одна душа, если бы онъ вдругъ провалился сквозь землю!“

Тяжелыя, беспощадныя обвиненія! Особенно если имѣть въ виду, что ихъ бросаетъ сынъ отцу. И не удивительно ли, что среди нихъ могъ найти себѣ мѣсто упрекъ — въ бездарности? Бесполезный городъ, о которомъ не пожалѣла бы ни одна душа, если бы онъ вдругъ провалился сквозь землю—это вѣдь своего рода Содомъ и Гоморра. „Проклятыя гнѣзда“ — вѣдь дальше этого идти некуда! И тутъ же— „зачѣмъ ваша жизнь такъ бездарна?“! Очевидно, „бездарность“ означаетъ здѣсь что-то очень серьезное, — достойное быть поставленнымъ рядомъ съ самыми тяжкими грѣхами.

А что это не случайно оброненное выраженіе — видно изъ того, что къ аналогичнымъ оборотамъ и мыслямъ Чеховъ возвращался множество разъ и при самыхъ различныхъ обстоятельствахъ.

Въ разсказѣ „Іонычъ“ докторъ Старцевъ, разставаясь съ семьей, въ которой онъ пережилъ неудачную любовь и затѣмъ разочарованіе въ когда-то любимой дѣвушкѣ, съ грустью вспоминаетъ прошедшее и, перебирая въ памяти всю семью и обстановку, „подумалъ, что если самые талантливые люди во всемъ городѣ такъ бездарны, то каковъ же городъ“. А городъ и околѣбающая его атмосфера „бездарности“ описываются слѣдующими чертами:

„Все, что говорили, было неинтересно, несправедливо, глупо... Старцевъ бывалъ въ разныхъ домахъ и встрѣчалъ много людей. Обыватели своими разговорами, взглядами на жизнь и даже своимъ видомъ раздражали его. Опытъ научилъ его мало-по-малу, что пока съ обывателемъ играешь въ карты или закусываешь съ нимъ, то это мирный, благодушный и даже неглупый человѣкъ, но стоитъ только заговорить съ нимъ о чемънибудь несъѣдобномъ, напримѣръ о политикѣ или казнѣ, какъ онъ становится втупикъ или заводитъ такую философію, туду и злую, что остается только рукой махнуть и отойти... Обыватели не дѣлали ничего, рѣшительно ничего, и не интересовалъ

ничѣмъ, и никакъ нельзя было придумать, о чемъ говорить съ ними“.

Въ „Трехъ сестрахъ“ Андрей, погубившій свою жизнь въ бракѣ съ пошлячкой Наташей, съ тоской спрашиваетъ себя: „Отчего мы, едва начавши жить, становимся скучны, сѣры, неинтересны, лѣнны, равнодушны?.. Городъ нашъ существуетъ уже двѣсти лѣтъ, въ немъ сто тысячъ жителей, и ни одного, который не былъ бы похожъ на другихъ... ни одного подвижника, ни мало-мальски замѣтнаго человѣка, который возбуждалъ бы зависть, или страстное желаніе подражать ему. Только ѣдятъ, пьютъ, спятъ, и искра Божія гаснетъ въ нихъ, и они становятся такими же жалкими, похожими другъ на друга мертвецами, какъ ихъ отцы и матери...“

Ивановъ, въ драмѣ того же имени, противопоставляя себя своей женѣ и бичуя себя, говоритъ: „Анюта—замѣчательная, необыкновенная женщина. Ну-съ, а я ничѣмъ не замѣчательнъ“. Онъ тоскуетъ о томъ времени, когда онъ былъ „молодымъ, горячимъ, искреннимъ, любилъ, ненавидѣлъ и вѣрилъ не такъ, какъ всѣ“; а теперь, уподобившись всѣмъ, „погибъ безвозвратно“ и всюду вносить съ собою „тоску, холодную скуку, недовольство, отвращеніе къ жизни“.

Въ „Черномъ монахѣ“ этотъ же мотивъ занимаетъ центральное мѣсто. Магистръ Ковринъ—человѣкъ, который живетъ „своею, интересною жизнью“. Такимъ онъ представляется знакомой дѣвушкѣ, которая живетъ съ отцомъ и которую томить и раздражаетъ однообразіе существованія. У Коврина нервы издерганы, и онъ начинаетъ галлюцинировать. Ему является призракъ „чернаго монаха“. Онъ и самъ понимаетъ,—особенно сначала,—что это плодъ воображенія, но въ такіе моменты всѣ находятъ, что „лицо у него какое-то особенное, лучезарное, вдохновенное“ и что онъ очень интересенъ. Монахъ говоритъ Коврину: „Ты одинъ изъ тѣхъ немногихъ, которые по справедливости называются избранниками Божиими. Безъ васъ человѣчество было бы ничтожно. Вы же на нѣсколько тысячъ лѣтъ раньше ведете его въ царство вѣчной правды—и въ этомъ ваша высокая заслуга“. „Ты—призракъ, галлюцинація,—замѣчаетъ Ковринъ,—значитъ, я психически боленъ, ненормаленъ?—Хотя бы и такъ, возражаетъ призракъ.—Другъ мой, здоровы и нормальны только заурядные, стадные люди... Повышенное настроеніе, возбужденіе, экстазъ—все то, что отличаетъ пророковъ, поетовъ, мучениковъ за идеи отъ обыкновенныхъ людей, противно животной сторонѣ человѣка, то-есть его физическому здоровью. Повторяю: если хочешь быть здоровъ и нормаленъ, иди въ стадо“.

На эти слова Ковринъ отвѣчаетъ:

„Странно, ты повторяешь то, что часто мнѣ самому приходитъ въ голову. Ты какъ будто подсмотрѣлъ и подслушалъ мои соврѣнные мысли“.

Предыдущіе примѣры свидѣтельствуютъ, что это мысли самого Чехова. И, очевидно, свою же любимую идею онъ владыкаетъ Коврину, когда тотъ, по выздоровленіи, говоритъ:

„Зачѣмъ, зачѣмъ вы меня лечили? Я сходилъ съ ума, у меня была манія величія, но зато я былъ веселъ, бодръ и даже счастливъ, я былъ интересенъ и оригиналенъ. Теперь я сталъ разсудительнѣе и солиднѣе, но зато я такой, какъ всѣ: я— посредственность, мнѣ скучно жить... О, какъ вы жестоко поступили со мной!“ Въ „Чайкѣ“ Нина говоритъ Тригорину: „Какъ я завидую вамъ, если бы вы знали! Жребій людей различенъ. Одни едва влачатъ свое скучное, незамѣтное существованіе, всѣ похожіе другъ на друга, всѣ несчастные; другимъ же, какъ, напримеръ, вамъ,—вы одинъ изъ милліона,— выпала на долю жизнь интересная, свѣтлая, полная значенія... Вы счастливы...“

Быть „бездарнымъ“, „посредственностью“, быть „неинтереснымъ“, таковы „какъ всѣ“, быть „похожимъ другъ на друга“—вотъ что страшнѣе всего, вотъ что опошляетъ жизнь, и вотъ отъ чего надо бѣжать, чего бы это ни стоило. Въ этомъ выражается та опредѣленная мысль Чехова, что пошлость— это самое „страшное, оскорбительное и тоскливое“ въ жизни— коренится не въ чемъ иномъ, какъ въ стадной обезличенности. „Бездарность“ возмущаетъ его не отсутствіемъ способностей и дарованій. Она ему противна, какъ высшій символъ обезличенности стадныхъ людей. „Бездарны“ тѣ, кто умѣетъ танцовать только отъ печки, кто „похожъ“ на другихъ, кто „заурядный“, „стадный“, кто поэтому не способенъ „играть видную самостоятельную роль“. Бездарность— это все „заурядное, сѣренькое, безъ яркихъ красокъ, безъ лишнихъ звуковъ“, и благодаря этому—неспособное быть интереснымъ, обращать на себя вниманіе и „дѣлать исторію“. Это для него—клеймо всякой обезличенности, т.-е. того, что лежитъ въ основѣ пошлости жизни, ея оскуднѣнія и пустоты.

Но „бездарность“—только одно изъ проявленій обезличенности. Оно далеко не единственное, которое занимало Чехова. Рядомъ съ нимъ не трудно замѣтить другія излюбленныя жизненные комбинаціи, къ которымъ Чеховъ охотно возвращается и основной смыслъ которыхъ—тотъ же самый. Это неизмѣнно одинъ мотивъ—обезличенность.

Для мотивовъ и сюжетовъ творчества Чехова въ высшей степени характерны фигуры раздражительныхъ людей, которыхъ раздраженіе выводитъ изъ себя, но которые при этомъ положительно не знаютъ—ни что ихъ собственно раздражаетъ, ни на кого излить свою злость. Они готовы наброситься на кого угодно и сплошь и рядомъ безцѣльно набрасываются съ ожесточеніемъ просто на ближайшихъ къ нимъ людей, на мать, на сына, на жену, на дѣтей, вообще на кого попало.

Среди болѣе раннихъ произведеній этотъ мотивъ проходитъ какъ будто случайно. Это — благодарная тема для комическихъ эффектовъ.

Въ одномъ изъ первыхъ мелкихъ рассказовъ— „Въ банѣ“ — цирюльникъ Михайло пронибнуть раздраженіемъ и презрѣніемъ къ „образованнымъ“, „длинноволосымъ“, у которыхъ „въ головѣ есть идеи“. „Образованный—воскликаетъ онъ съ негодованіемъ и презрѣніемъ— все превзошелъ, депешы выдумывать можетъ, а безъ мыла моется. Смотрѣть жалко!“ Отецъ-діаконъ, слушающій его разсужденія, смотритъ на него со „злостью и презрѣніемъ“ и ругательски его ругаетъ.

Въ „Случаѣ съ классикомъ“ гимназистъ срѣзлся, а мать его отчитываетъ: „Подлый мальчишка! Щепку ты изъ меня сдѣлалъ, иродъ, мучитель, злое мое произведеніе. Плачу я за тебя, за дрянъ этакую непутящую, спину гну, мучаюсь и, можно сказать, страдаю, а какое отъ тебя вниманіе?... Бить бы нужно, вотъ что! У-у-у... іезуитъ, магометъ, мучитель мой!“ и т. д.

Въ „Отцѣ семейства“—рядъ картинъ, изображающихъ отца, который нервничаетъ, раздражается противъ всѣхъ, всѣхъ разноситъ и доводитъ до слезъ. Въ „Житейскихъ невзгодахъ“ опять на сценѣ человекъ нервный, несчастный на службѣ и въ семейной жизни. „Не въ духѣ“ кончается тѣмъ, что у станового пристава „потребность излить на чемъ-нибудь свое горе достигла степеней, не терпящихъ отлагательства. Онъ не вынесъ...—Ваня,—крикнулъ онъ.—Иди, я тебя высѣку за то, что ты вчера стекло разбилъ!“

Въ „Дачникахъ“ молодые, недавно поженившіеся супруги, нѣжно воркуя, гуляютъ на станціи и болтаютъ о томъ, о семъ, и между прочимъ объ ужинѣ, который у нихъ приготовленъ на двоихъ. Вдругъ изъ пришедшаго поѣзда неожиданно выходятъ гости: дядя съ тетей, двѣ дѣвочки, два гимназиста, навьюченные багажомъ, за гимназистами гувернантка, а за гувернанткой бабушка. Супруги въ ужасѣ. И мужъ „уже ненавистно смотрѣлъ на свою молодую жену и шепталъ ей:—Это они къ тебѣ

пріѣхали... чортъ бы ихъ побралъ!—Нѣтъ, къ тебѣ!—отвѣчала она блѣдная, тоже съ ненавистью и со злобой.—Это не моя, а твои родственники!—И обернувшись къ гостямъ, она сказала съ привѣтливой улыбкой:—Милости просимъ“.

Въ разказѣ „Сонная одурь“ опять картинка семейной жизни и опять рисуются— „попреки, брань изъ-за пятака... Слезы, ядовитыя слова“.

Въ „Ораторѣ“ разсказывается о похоронахъ коллежскаго ассессора, умершаго отъ двухъ болѣзней, столь распространенныхъ въ нашемъ отечествѣ: отъ злой жены и алкоголизма.

Въ разказѣ „Женское счастье“ комическій конфликтъ построенъ на томъ, что надъ генераломъ командуетъ его экономка— „баба скверная, ядовитая, сатаной глядитъ; толстая, красная, визгливая. Какъ подниметъ визгъ, такъ хоть свитыхъ выноси— можно подумать, что свинью рѣжутъ“... Генерала она бранитъ, не стѣсняясь: „тварь! дрянъ ты этакая! чортъ!“

Эти мотивы взаимныхъ отношеній въ семьѣ привлекали къ себѣ не только Чехова-юмориста и не только въ началѣ его писательской карьеры. Онъ къ нимъ возвращается постоянно. Напомнимъ только читателю взаимныя отношенія между мужемъ и женой въ „Ивановѣ“. Мужъ самъ говоритъ про себя: „стоитъ только больной женѣ уколоть мое самолюбіе, или не угодить прислуга, или ружье дастъ осѣчку, какъ я становлюсь грубъ, золъ и не похожъ на себя“. Особенно рѣзко это выражается въ той сценѣ, гдѣ Анна Петровна въ раздраженіи выдаетъ ему, страстно любимому ею мужу, обвиненіе въ томъ, что онъ женился на ней изъ-за денегъ. А онъ, который ее въ сущности уважаетъ, бранитъ ее „жидовкой“ и, наконецъ, бросаетъ ей, больной чахоткой, въ лицо:— „Такъ знай же, что ты... скоро умрешь... Мнѣ докторъ сказалъ, что ты скоро умрешь“.— Въ „Чайкѣ“ въ драматической сценѣ сынъ говоритъ матери: „я люблю тебя такъ же нѣжно и беззавѣтно, какъ въ дѣтствѣ“,— а мать его ласкаетъ. И черезъ минуту мать называетъ сына бездарностью, завистникомъ съ претензіями, бранитъ его декадентомъ, кievскимъ мѣщаниномъ, приживаломъ, оборвышемъ, ничтожествомъ. А сынъ бранитъ мать въ лицо скрягой и руганеркой, способной играть только въ жалкихъ бездарныхъ пьесахъ.

Во всѣхъ этихъ эпизодахъ поразительно не то, что члены семьи приходятъ въ столкновеніе и раздражаются другъ противъ друга. Характерна здѣсь какая-то безцѣльность и безисходность раздраженія: людей раздражаетъ что-то, повидимому, неувловимое, не поддающееся воздѣйствію, и они вымещаютъ

свою злобу на чемъ попало — безцѣльно, и въ то же время находя свое единственное, ненасытное удовольствіе именно въ своей злобѣ, наслаждаясь своимъ раздраженіемъ.

Въ маленькомъ разсказѣ подъ названіемъ „Тсс!..“ газетный сотрудникъ возвращается домой ночью, разбитый и съ тоской въ душѣ, и ведетъ себя по этому случаю божкомъ; ему ничего не стоитъ разбудить жену, заставить прислуживать себѣ, какъ идолу; онъ вопить, стонеть, изображаетъ изъ себя оскорбленную невинность, никто въ домѣ не смѣетъ около него ни говорить, ни ходить, ни стучать. Его сонъ — святыня, за оскорбленіе которой дорого поплатится виновный. При этомъ, по словамъ автора, „вокетничанье и ломанье передъ самимъ собой, передъ неодушевленными предметами, вдали отъ нескромнаго, наблюдающаго ока, деспотизмъ и тиранія надъ маленькимъ муравейникомъ, брошенной судьбою подъ его власть, составляютъ соль и медь его существованія. И какъ этотъ деспотъ здѣсь, дома, не похожъ на того маленькаго, приниженнаго, безсловеснаго, бездарнаго человѣчка, котораго мы привыкли видѣть въ редакціяхъ!“

Кому мститъ этотъ человѣкъ, „деспотствуя“ и „тираня“ своихъ близкихъ? Предъ кѣмъ онъ „вокетничаетъ“ и „ломается“? — Да не все ли равно? Ему все равно — ломаться хоть предъ неодушевленными предметами, тиранствовать надъ тѣми, кто не виновать въ томъ, что онъ маленький, приниженный, безсловесный человѣкъ. Такъ или иначе, онъ самъ не знаетъ, кто виновать въ его неудачномъ существованіи. И въ этой безысходности ему пріятно просто ломаться и тиранствовать. Это хоть какой-нибудь, хотя къ сожалѣнію единственный исходъ его раздраженію.

Очень яркая картинка въ этомъ отношеніи нарисована въ разсказѣ „Мужъ“. Въ уѣздный городишко пріѣхалъ кавалерійскій полкъ, и въ клубѣ устраивается танцевальный вечеръ. „Дамы чувствовали себя на крыльяхъ“... а мужья и отцы, съ сознаниемъ своей убогости, не входили въ залу, а только издали поглядывали, какъ ихъ жены и дочери танцовали съ ловкими и стройными поручиками. Между мужьями находился акцизный Шаликовъ, „существо пьяное, узкое и злое. Когда-то онъ былъ въ университетѣ, читалъ Писарева и Добролюбова, пѣлъ пѣсни, а теперь онъ говорилъ про себя, что онъ — коллежскій ассессоръ и больше ничего“. Жена его, Анна Павловна, изнемогаетъ отъ счастья. А мужъ „глядѣлъ на нее и морщился отъ злости... его возмущало и приводило въ негодованіе выраженіе блаженства на

жениномъ лицѣ "... Ему „стало невыносимо; ему захотѣлось насмѣяться надъ этимъ блаженствомъ, дать почувствовать Аннѣ Павловнѣ, что она забылась, что жизнь вовсе не такъ прекрасна, какъ ей теперь кажется въ упоеніи... „Погоди, я покажу тебѣ, какъ блаженно улыбаться!“ — бормоталъ онъ. — „Ты не институтка, не дѣвочка. Старая рожа должна понимать, что она рожа!“ — Мелкія чувства зависти, досады, оскорбленнаго самолюбія, маленькаго, уѣзнаго человѣконенавистничества, того самаго, которое заводится въ маленькихъ чиновникахъ отъ воды и отъ сидячей жизни, завопопились въ немъ, какъ мыши“. Шаликовъ подъ угрозой скандала уводитъ жену домой почти насильно. Послѣ этого, „выйдя изъ клуба, супруги до самаго дома шли молча. Акцизный шелъ сзади жены и, глядя на ея согнувшуюся, убитую горемъ и униженную фигуру, припоминалъ блаженство, которое такъ раздражало его въ клубѣ, и сознание, что блаженства уже нѣтъ, наполняло его душу побѣднымъ чувствомъ. Онъ былъ радъ и доволенъ, и въ то же время ему доставало чего-то и хотѣлось вернуться въ клубъ и сдѣлать тамъ, чтобы всѣмъ стало скучно и горько, и чтобы всѣ почувствовали, какъ ничтожна, плоска эта жизнь, когда вотъ идешь въ потемкахъ по улицѣ и слышишь, какъ всхлипываетъ подъ ногами грязь, и когда знаешь, что проснешься завтра утромъ — и опять ничего, кромѣ воды и кромѣ карты. А Анна Павловна... Она была все еще подъ впечатлѣніемъ танцевъ... Было ей горько, обидно и душно отъ ненависти, съ которой она прислушивалась къ тяжелымъ шагамъ мужа. Она молчала и старалась придумать какое-нибудь самое бранное, ѣдкое и ядовитое слово, чтобы пустить его мужу, и въ то же время сознавала, что ея акцизнаго не проймешь никакими словами. Что ему слова? Безпомощнѣе состоянія не могъ бы придумать и злѣйшій врагъ“.

Безпомощное состояніе, полное безсиліе выбраться изъ тяжелаго положенія — оно-то и составляетъ тутъ эту удивительную атмосферу взаимнаго раздраженія, въ которой человѣка способно привести въ негодованіе „выраженіе блаженства на женскомъ лицѣ“. Когда-то онъ „читалъ Писарева и Добролюбова“, и у него былъ какой-то просвѣтъ въ жизни, предъ нимъ открывались горизонты на какую-то роль въ общемъ ходѣ жизни. Вѣроятно, онъ тоже думалъ прожить жизнь „бодро, осмысленно, красиво“. Можетъ быть, онъ тоже надѣялся „играть видную, самостоятельную роль, дѣлать исторію“. И вмѣсто всего этого мелкая уѣздная чиновничья жизнь, — съ водкой и картами. Отъ „Писарева и Добролюбова“ и отъ пѣсенъ не осталось ни слѣда:

онъ—, коллежскій ассессоръ и больше ничего“. Кто виновать въ этомъ—неизвѣстно. Но эта атмосфера „водки и сидячей жизни“ способна создать только мелкія, безсильныя, ничтожныя чувства— „мелкія чувства зависти, досады, оскорбленнаго самолюбія, маленькаго уѣзднаго человѣконенавистничества“. Гдѣ уже тутъ до бодрости, осмысленности, красоты? Какая тутъ можетъ быть видная, самостоятельная роль? Ощущеніе своего полного ничтожества, сознание безсилія и своей ненужности— вотъ чѣмъ наполнено тутъ существованіе. И это сознание, принимая, еще больше ослабляетъ: растерянность, сознание своей полной неспособности разобраться въ обстоятельствахъ и владѣть ими—въ конецъ подтачиваютъ самообладаніе. И съ подкешеннымъ самообладаніемъ, съ подорванной вѣрой въ себя, въ свои силы и въ смыслъ своего существованія—человѣкъ на каждомъ шагу раздражается и проникается безсильной злобой противъ всѣхъ и каждого,— злобой безцѣльной и безысходной.

Для того, чтобы правильно понять этихъ столь типичныхъ для Чехова раздраженныхъ людей, необходимо однако вставить ихъ въ болѣе широкую, общую картину. Это—картина вообще безцѣльно мечущихся людей,—людей, не только не „дѣлающихъ исторію“, но творящихъ и доброе, и злое совершенно зря, безъ вѣры и въ себя, и въ смыслъ собственныхъ побужденій.

Раздражительные люди Чехова—только разновидность людей съ подорванной вѣрой въ собственное „я“, въ свои цѣли. Въ картинной галерей Чехова они непосредственно примыкаютъ къ обширному классу людей съ разрушенной вѣрой въ свои собственные задачи, бывшія когда-то дорогими, въ свои мечты, казавшіяся когда-то высокими, имѣвшія когда-то человѣчскій смыслъ. Прежнія мечты и цѣли утратили его и тѣмъ самымъ лишили существованіе цвѣта и аромата жизни, внесли въ нее опустошеніе. Въ свою очередь, они примыкаютъ къ неменьше обширному кругу лицъ, которые не вѣрятъ въ свои собственные силы.

Какъ тѣ, такъ и другіе не чувствуютъ себя въ силахъ не только „дѣлать исторію“, но даже вообще быть самими собой. И тѣхъ и другихъ удручаетъ не просто безсиліе, а безсиліе растерянности, или вообще—безсиліе обезличенности.

Въ „Ивановѣ“ самъ Ивановъ говоритъ про себя: „Нехорошій, жалкій и ничтожный я человѣкъ. Какъ я себя презираю, Боже мой! Какъ глубоко ненавижу я свой голосъ, свои шаги, свои руки, эту одежду, свои мысли. Еще года нѣтъ, какъ былъ здоровъ и силенъ, былъ бодръ, неутомимъ, горячъ, работалъ,

...возмущался, когда встрѣчалъ зло. Я зналъ, что такое вдохновеніе, зналъ прелесть и поэзію тихихъ ночей, когда отъ зари до зари сидишь за рабочимъ столомъ или тѣшишь свой умъ мечтами. Я вѣровалъ, въ будущее глядѣлъ, какъ въ глаза родной матери... А теперь, о, Боже мой!—утомился, не вѣрю, въ бездѣльи провожу дни и ночи. Не слушаются ни мозгъ, ни руки, ни ноги... Ничего не жду, ничего не жаль, душа дрожитъ отъ страха передъ завтрашнимъ днемъ". — „Былъ я молодымъ, горячимъ, искреннимъ, неглупымъ; любилъ, ненавидѣлъ и вѣрилъ". А теперь, „съ тяжелой головой, съ лѣнливою душой, утомленный, надорванный, надломленный, безъ вѣры, безъ любви, безъ цѣли, какъ тѣнь слоняюсь я среди людей и не знаю: кто я, зачѣмъ я живу, чего хочу? И мнѣ кажется, что любовь—вздоръ, ласки приторны, что въ трудѣ нѣтъ смысла, что пѣсня и горячія рѣчи пошлы и стары. И всюду я вношу съ собой тоску, холодную скуку, недовольство, отвращеніе къ жизни".

Въ „Трехъ сестрахъ" Андрей скорбитъ о томъ времени, когда онъ былъ веселъ и уменъ, когда онъ „мечталъ и мыслилъ изящно", когда „настоящее и будущее озарялись надеждой".

Въ „Дядѣ Ванѣ" Астровъ говоритъ: „Мое время уже ушло, поздно мнѣ. Постарѣлъ, заработался, испошилъ, притупились всѣ чувства... Знаете, когда идешь темною ночью по лѣсу, и если въ это время вдали свѣтитъ огонекъ, то не замѣтишь ни утомленія, ни потемокъ, ни колючихъ вѣтвей, которыя били тебя по лицу... Я работаю, какъ никто въ уѣздѣ, судьба бьетъ меня не переставая, порой страдаю я невыносимо, но у меня вдали нѣтъ огонька".

Въ „Разказѣ неизвѣстнаго человѣка" разказчикъ говоритъ: „Отчего мы утомились? Отчего мы, вначалѣ такіе страстные, смѣлые, благородные, вѣрующіе, къ 30—35 годамъ становимся уже полными банкротами?.. Трудно сознаваться въ своемъ банкротствѣ... Я не вѣрю, утомился, палъ духомъ"... Зинаида Федоровна, жизнь которой разбита, требуетъ отъ него нравственной помощи. Она ему говоритъ: „Вы много пережили и испытали, знаете больше, чѣмъ я; подумайте серьезно и скажите: что мнѣ дѣлать? Научите меня. Если вы сами уже не въ силахъ идти и вести за собой другихъ, то по крайней мѣрѣ укажите, куда мнѣ идти". Но ему подъ силу только мечтать о настоящей вѣрѣ въ цѣль и смыслъ существованія. „Что, если бы чудомъ—говоритъ онъ—настоящее оказалось сномъ, страшнымъ кошмаромъ, и мы проснулись бы обновленные, чистые, гордые своей правдой?.. Сладкія мечты жгутъ меня, и я едва дышу отъ

волненія. Мнѣ страшно хочется жить, хочется, чтобы наша жизнь была свята, высока и торжественна, какъ сводъ небесный". Но онъ самъ чувствуетъ, что этой жажды мало; „хотя бы кусочекъ какой-нибудь вѣры!“—воскликаетъ онъ.

Въ „Скучной исторіи“ Катя обращается съ совершенно подобнымъ же требованіемъ къ профессору. Ея жизнь тоже разбита, ей тоже нужно ухватиться за что-нибудь, что внушило бы ей вѣру въ себя и въ жизнь. „Помогите,—рыдаетъ она, обращаясь къ нему.—Вѣдь вы мой отецъ, единственный другъ! Вѣдь вы умны, образованны, долго жили! Вы были учителемъ! Говорите же: что мнѣ дѣлать?“ Но профессоръ страдаетъ тѣмъ же, что и она. Какія-то обстоятельства подорвали въ немъ вѣру въ „бога живого человѣка“—въ „то, что называется общей идеей“, и онъ безсиленъ ей помочь. Онъ потерялъ то, что „прежде считалъ своимъ мировоззрѣніемъ“, то, что „въ человѣкѣ выше и сильнѣе всѣхъ внѣшнихъ вліяній“. И благодаря этому, то, „въ чемъ онъ видѣлъ смыслъ и радость своей жизни, перевернулось и разлетѣлось въ клочья“. Какія обстоятельства привели его въ такое состояніе, онъ и самъ въ этомъ не можетъ разобраться. Но во всякомъ случаѣ все сводится въ концѣ концовъ къ тому, что потеряна нить собственного существованія. Какъ замѣчаетъ самъ профессоръ,—„когда въ человѣкѣ нѣтъ того, что выше и сильнѣе всѣхъ внѣшнихъ вліяній,—то, право, достаточно для него хорошаго насморка, чтобы потерять равновѣсіе и начать видѣть въ каждой птицѣ сову, въ каждомъ звукѣ слышать собачій вой. И весь его пессимизмъ или оптимизмъ съ его великими и малыми мыслями—въ это время имѣютъ значеніе только симптома и больше ничего“. Всѣ страданія профессора—только симптомы утраты нити собственного существованія. Безъ этого человѣкъ не чувствуетъ въ себѣ присутствія того, что „выше и сильнѣе“ всего остального. Онъ лишень главнаго, что даетъ ощущеніе себя самимъ собою,—онъ обезличенъ. Его омрачаютъ „мысли и чувства, достойныя раба и варвара“, и онъ по-рабски отдается во власть всевозможныхъ чуждыхъ ему случайныхъ теченій—мелькихъ, бредущихъ въ разныя стороны мелочей и темныхъ стихійныхъ влеченій.

Душевные состоянія, связанные съ ощущеніемъ себя во власти чего-то стихійнаго, т.-е. чуждаго и посторонняго, очень привлекали къ себѣ Чехова, какъ художника. И онъ съ большимъ искусствомъ изображалъ въ нихъ своеобразную комбинацію гнетущей тяжести съ болѣзненной притязательностью,—комбинацію, опять-таки столь характерную для обезличенныхъ.

Особенное мѣсто здѣсь занимаютъ чувства любви и любовной страсти, которымъ Чеховъ отдалъ такъ много вниманія, и именно со стороны осложняющихъ эти чувства элементовъ обезличенія. Какъ увидимъ въ дальнѣйшемъ, чувства эти, хотя и занимаютъ въ образахъ Чехова почти центральное мѣсто, но, тѣсно переплетаясь съ общимъ строемъ жизни, они образуютъ только одно звено въ общей цѣпи обезличенія, въ общемъ развинченномъ механизмѣ мельчающей жизни и мельчающихъ людей.

III.

Черезъ повѣсти и драмы Чехова проходитъ длинная галерея мужчинъ и женщинъ, любящихъ безъ взаимности, но упрямо несущихъ свою любовь, какъ цѣпь, хотя и тяжелую, но съ которой нѣтъ силъ разстаться. У него тѣмъ неудачниковъ въ любви и неудачно добивающихся взаимности. И во всей этой обширной галереѣ образовъ трагическая сторона любви заключается—въ одиночествѣ людей, въ частности мужчинъ и женщинъ, глубоко разобщенныхъ другъ отъ друга и всѣмъ строемъ жизни и общественнаго быта. Привлекательные мужчины и привлекательныя женщины, сильные, энергичные, мужественные, красивые—влекутъ къ себѣ сердца, но остаются одинокими, недосгаемыми въ своемъ одиночествѣ. А страдающіе по нимъ болѣе скромные экземпляры человѣческой породы—еще болѣе одиноки и еще менѣе способны понимать другихъ людей. Въ этомъ и заключается трагизмъ любви.

Откуда это одиночество и эта трудность взаимнаго пониманія? Отъ чего они зависятъ?

Жертвы неудовлетворенной любви и вообще жертвы коллизій любви у Чехова—если присмотрѣться поближе—всегда жертвы какихъ-то другихъ, болѣе общихъ условій жизни. Они потерпѣли крушеніе въ жизни. Какія-то общественныя или другія условія жизни выбросили ихъ изъ колеи, сдѣлали ихъ одинокими. И вотъ, непристроенные—они ищутъ спасенія, убѣжища и отдыха—въ любви. Любовь для нихъ — излюбленное поприще, на которомъ они ищутъ и надѣются избавиться отъ одиночества, созданнаго для нихъ какою-то общей совокупностью жизни. Въ данномъ отношеніи это для нихъ поприще, окруженное какимъ-то особеннымъ магическимъ ореоломъ; оно—универсальный цѣлитель одиночества непристроенныхъ людей.

Но въ этихъ упованіяхъ одинокихъ и непристроенныхъ за-

ключается заколдованный, трагическій кругъ. Именно въ качествѣ одинокихъ имъ трудно найти взаимность и они сами не умѣютъ любить. Обезличенные непристроенностью, они и въ любви обречены на одиночество и тѣмъ самымъ—на дальнѣйшее движеніе въ томъ же направленіи непристроенности, одиночества и обезличенія. Таково, по крайней мѣрѣ, неизмѣнное свидѣтельство образовъ Чехова.

Въ рассказѣ „Случай изъ практики“ богатая дѣвушка, владѣтельница большой фабрики,—нервно-больная. Ее постоянно лечатъ и совершенно бесполезно. Она говоритъ доктору, внушившему ей довѣріе: „Мнѣ кажется, что у меня не болѣзнь, а безпокоюсь я и мнѣ страшно, потому что иначе быть не можетъ. Меня часто лечатъ, но мнѣ хотѣлось бы поговорить не съ докторомъ, а съ близкимъ человекомъ, съ другомъ, который бы понялъ меня, убѣдилъ бы меня, что я права или неправа... Я одинока. У меня есть мать, я люблю ее, но все же я одинока. Такъ жизнь сложилась... Одинокіе много читаютъ, но мало говорятъ и мало слышатъ, жизнь для нихъ таинственна; они мистики и часто видятъ дьявола тамъ, гдѣ его нѣтъ. Тамара у Лермонтова была одинока и видѣла дьявола“. На это докторъ „зналъ“, что сказать ей; для него было ясно, что ей нужно поскорѣе оставить пять корпусовъ, и миллионъ, если онъ у нея есть,—оставить этого дьявола, который по ночамъ смотритъ; для него было ясно также, что такъ думала и она сама, и только ждала, чтобы кто-нибудь, кому она вѣритъ, подтвердилъ это. Но онъ не зналъ, какъ это сказать. Какъ? У приговоренныхъ людей стѣсняются спрашивать, за что они приговорены, для чего имъ такъ много денегъ, отчего они такъ дурно распоряжаются своимъ богатствомъ, отчего не бросаютъ его, даже когда видятъ въ немъ свое несчастье. И онъ сказалъ то, что хотѣлъ, не прямо, а овольнымъ путемъ: „Вы въ положеніи владѣлицы фабрики и богатой наследницы недовольны, не вѣрите въ свое право и теперь вотъ не спите, — это, конечно, лучше, чѣмъ если бы вы были довольны, крѣпко спали и думали, что все обстоитъ благополучно. У васъ почтенная бессонница; какъ бы ни было, она хорошій признакъ. Въ самомъ дѣлѣ, у родителей нашихъ былъ бы немислимъ такой разговоръ, какъ вотъ у насъ, теперь; по ночамъ они не разговаривали, а крѣпко спали,—мы же, наше поколѣніе, дурно спимъ, томимся, много говоримъ и все рѣшаемъ, правы мы или нѣтъ. А для нашихъ дѣтей или внуковъ вопросъ этотъ,—правы они или нѣтъ,—будетъ уже рѣ-

шенъ. Имъ будетъ виднѣе, чѣмъ намъ. Хорошая будетъ жизнь лѣтъ черезъ пятьдесятъ“.

И въ этой „окольнымъ путемъ“ высказанной мысли совершенно опредѣленно указывается, въ излюбленной для Чехова формѣ (именно относительно жизни „черезъ пятьдесятъ лѣтъ“), рѣшеніе жизненнаго вопроса въ примѣненіи къ одинокой, тоскующей дѣвушкѣ. Жизнь будетъ хороша черезъ пятьдесятъ лѣтъ,—это значить, что она будетъ хороша тогда, когда измѣнится вся ея обстановка, всѣ ея условія. Другими словами, это означаетъ: чтобы вамъ не быть одинокой, необходима полная перемѣна всей жизненной обстановки, — такъ какъ отъ нея и зависитъ ваше одиночество.

И эти соображенія невольно приходятъ на умъ, по поводу чрезвычайно схожей душевной драмы въ „Бабьемъ царствѣ“. Здѣсь мы имѣемъ предъ собой опять богатую дѣвушку, владѣлицу завода. Она считаетъ, что „кормиться и получать сотни тысячъ отъ дѣла, котораго не понимаешь и не можешь любить—странно“. Она, проведшая дѣтство въ бѣдности, чувствуетъ себя одинокой и чужой въ той обстановкѣ, въ которой она живетъ—среди лакеевъ, приживалокъ, попрошайекъ, предъ которыми она почему-то всякій разъ чувствуетъ себя виноватой, среди чиновниковъ, докторовъ и дамъ, благотворящихъ на ея счетъ. То, что ее окружаетъ, кажется ей „ничтожнымъ, ненужнымъ, такъ какъ ни на одну минуту не даетъ ей счастья и не можетъ дать“. „Я одинока,—говоритъ она,—одинока, какъ мѣсяцъ на небѣ, да еще съ ущербомъ, и я увѣрена, я чувствую, что этотъ ущербъ можно пополнить только любовью. Мнѣ кажется, что эта любовь опредѣлитъ мои обязанности, мой трудъ, освѣтитъ мое міросозерцаніе“. Она страстно и совершенно опредѣленно хочетъ выйти замужъ, имѣть мужа и дѣтей, но это у нея не элементарное чувство самки, оторванное отъ другихъ жизненныхъ задачъ. Въ замужествѣ и любви она ищетъ чего-то гораздо больше, чѣмъ просто мужа и дѣтей. „Продолжать жизнь, какую я веду,—говоритъ она,—или выйти за такого же празднаго, неумѣлаго человѣка, какъ я, было бы просто преступленіемъ. Я не могу больше такъ жить, не могу!“ Но несмотря на то, что она богатая, красивая и здоровая, найти мужа является для нея задачей очень тяжелой. Ей въ некоторое время кажется, что она могла бы выйти замужъ за простого рабочаго ея же завода Пименова. Но скоро она приходитъ къ убѣжденію, что это—вздоръ: „она поняла, что все то, что она думала и говорила о Пименовѣ и о бракѣ съ простымъ рабочимъ—вздоръ, глупостъ

и самодурство“, что „ея мечты и разговоры о Пименовѣ—фальшивое мѣсто, натяжка“. И придя къ этому, „она думала также, что ей уже поздно мечтать о счастья, что все уже для нея погбло, и вернуться къ той жизни, когда она спала съ матерью подъ однимъ одѣяломъ, или выдумать какую-нибудь новую, особенную жизнь—уже невозможно“.

На этомъ безнадежномъ заключеніи и обрывается повѣсть.

При этомъ, въ повѣсти есть интересный разговоръ между героиней повѣсти, Анной Акимовной, ея теткой и компаніей приживаловъ. Все это „бабье царство“ обсуждается, изъ какого сословія слѣдуетъ Аннѣ взять мужа. Въ концѣ концовъ богомолка Жужелица совѣтуетъ Аннѣ выйти замужъ не по-настоящему, а фиктивно, — „за какого-нибудь завалыщенъкаго и простоватенькаго человѣчка; примешь для видимости законъ, и тогда—гуляй, Малашка. И люби ты тогда своихъ благородныхъ да образованныхъ“.

Это смѣлое предложеніе есть показатель тѣхъ трудностей, съ которыми сопряжена при данныхъ условіяхъ возможность найти въ бракѣ разрѣшеніе жизненной задачи одинокихъ людей. Одиночество ихъ, какъ видимъ, не случайное, а—при данныхъ общественныхъ условіяхъ—неизбѣжное. Ихъ дѣлаютъ одиночками тѣ общественныя условія, которыя обостряютъ жажду любви, но не даютъ ей нормальнаго исхода. И выброшеннымъ изъ колен, непристроеннымъ людямъ приходится мечтать о спасеніи отъ одиночества чрезъ головы существующихъ общественныхъ комбинацій: вернуться къ безвозвратному прошедшему или „выдумать какую-нибудь новую, особенную жизнь“, или—выйти замужъ не по настоящему,—вотъ по какимъ направленіямъ они инстинктивно ищутъ спасенія. Ихъ бессознательно влечетъ не просто къ любви, а къ тому, чтобы избавиться отъ всей той обстановки, которая ихъ дѣлаетъ одиночками и въ своемъ одиночествѣ лишенными вѣры въ себя и въ самый смыслъ своего существованія.

Этимъ же стремленіемъ запечатлѣно существованіе главныхъ дѣйствующихъ лицъ въ повѣсти „Моя жизнь“.

Любопытно, что здѣсь мы опять имѣемъ передъ собой богатую дѣвушку, тоже уже не первой молодости, но красивую, со способностями, привлекательную и далеко не лишенную энергии, но—тоже одинокую и тоже неудачно ищущую спасенія въ любви и бракѣ. Очевидно, репертуаръ наблюденій по этой части былъ у Чехова и богатъ, и разнообразенъ. Дочь богатаго инженера Должикова—„столичная штучка“—живетъ съ отцомъ въ провинціи въ богатой, роскошной обстановкѣ и скучаетъ. „Мнѣ

скучно до смерти,—говоритъ она,—я не знаю, что мнѣ дѣлать въ этомъ городѣ“. Разсказчикъ, отъ лица котораго ведется повѣсть, дѣлаетъ такое сравненіе. „У меня съ дѣтства осталось въ памяти, какъ у одного изъ нашихъ богачей вылетѣлъ изъ клѣтки зеленый попугай, и какъ потомъ эта красивая птица цѣлый мѣсяцъ бродила по городу, лѣниво перелетая изъ сада въ садъ, одинокая, безпріютная. И Марья Викторовна напоминаетъ мнѣ эту птицу.—Кромѣ кладбища, мнѣ теперь положительно негдѣ бывать,—говорила она со смѣхомъ.—Городъ прискучилъ до отвращенія“. Въ одинъ прекрасный день она приходитъ къ Полозневу, „опростившемуся“ сыну архитектора, который ушелъ отъ отца и работаетъ въ качествѣ простаго маляра, и приступомъ беретъ его. „Не покидайте меня. Я одна, я совершенно одна. Мнѣ тяжело жить, очень тяжело, и на всемъ свѣтѣ нѣтъ у меня никого, кромѣ васъ“.

Возникшій при этихъ условіяхъ эксцентричный любовный романъ скоро завершается бракомъ, а черезъ шесть мѣсяцевъ Марья Викторовна уѣзжаетъ съ отцомъ въ Америку, оставивъ мужу письмо съ горячей просьбой дать ей свободу. Какъ Аня Акимовнѣ, въ „Бабьемъ царствѣ“, ея мечты о бракѣ съ простымъ рабочимъ, по нѣкоторомъ размышленіи, кажутся „вздоромъ, глупостью, самодурствомъ“, „фальшивымъ мѣстомъ и натяжкой“, такъ и относительно Должиновой и ея брака отецъ ея говоритъ, что все это—„комедія, капризъ, баловство“. „Съ нею уже было нѣчто подобное, — рассказываетъ онъ.—Она разъ вообразила себя оперною пѣвицей и ушла отъ меня; я искалъ ее два мѣсяца и, любезнѣйшій, на однѣ телеграммы истратилъ тысячу рублей“. Какъ и дѣвушка въ „Случаѣ изъ практики“, и Аня Акимовнѣ,—ей некуда притѣнуться, — все равно, какъ и зеленому попугаю, о которомъ выше была рѣчь. Она даже съ отцомъ чувствуетъ себя одинокой; она ему не вѣритъ, что, однакоже, не мѣшаетъ ей совѣтоваться съ нимъ обо всемъ. Увлеченная Полозневымъ, она говоритъ: „образованные и богатые должны работать какъ всѣ,—а если комфортъ, то одинаково для всѣхъ. Никакихъ привилегій не должно быть“. А отецъ ея, съ которымъ она живетъ годы, говоритъ, что мужиковъ надо драгъ. Поэтому и сама она, сейчасъ же послѣ приведенныхъ разсужденій, спѣшитъ прибавить: „Ну, Богъ съ нею, съ философией. Разскажите мнѣ что-нибудь веселенькое. Разскажите мнѣ про маляровъ. Какіе они? Смѣшные?“ — По словамъ разсказчика, „она смѣялась, шалила, мило гримасничала, и это больше шло къ ней, чѣмъ разговоры о богатствѣ несправедномъ, и мнѣ ка-

залось—прибавляетъ онъ,—что говорила оно со мною давеча о богатствѣ и комфортѣ не серьезно, а подражая кому-то. Это была превосходная актриса“. Подмѣченная въ этой фигурѣ актерская жилка очень характерна: эта дѣвушка не знаетъ, куда себя приткнуть, такъ какъ принадлежитъ къ тѣмъ людямъ, которые, по ея собственному выраженію, „не знаютъ, какъ имъ жить, а живутъ, куда ихъ понесетъ“: а для такихъ—соблазнъ игры и позы неотразимъ.

Безпріютность и общественная отверженность точно также лежатъ неизгладимой печатью на главномъ дѣйствующемъ лицѣ „Моей жизни“—Полозневѣ, на его сестрѣ и отчасти на Анютѣ Благово, беззавѣтно и безъ взаимности влюбленной въ него. И это обращаетъ ихъ въ поразительно безвольныхъ людей. Они не умѣютъ жить на собственный счетъ, идти своей дорогой, и тоже плывутъ, куда ихъ понесетъ. Въ нихъ нѣтъ легковѣснаго актерства Должиковой, но они такъ же безпомощны и по-рабски плетутся вслѣдъ за тѣми, кто ихъ покорилъ...

А. Красносельскій.



НАШИ ВЪ ПАРИЖѢ

РАЗСКАЗЪ.

I.

Утренніе майскіе лучи солнца золотили тонувшій въ зелени кварталъ Елисейскихъ-Полей, большіе бульвары... Особенно излюбленный русскими, всесвѣтный улей — Grand-Hôtel на бульварѣ Капуциновъ гудѣлъ своимъ обычнымъ сложнымъ гуломъ, кипѣлъ движеніемъ...

Внизу, въ рѣсторанѣ, старшій распорядитель Эжень Фродъ — вульгарный лысый толстякъ съ сизымъ лицомъ и нафабранными усами — охорашивался предъ зеркаломъ за конторкой, мечтая пріятно...

Вдругъ его позвали къ телефону.

— Ало! Ало! — мѣрно проговорилъ Фродъ, соединивъ съ трубкой свое мясистое, волосатое ухо и принимая, по привычкѣ, хмурый, дѣловитый видъ.

Телефонировали изъ отельнаго второго этажа. Иавѣстіе было таково, что Фродъ почувствовалъ себя какъ бы стукнутымъ по головѣ, а его черные рачьи глаза навскатѣ чуть не выскочили совсѣмъ изъ орбиты, отъ изумленія... Завѣдывающій этажомъ сообщалъ, что русскій графъ Сучковъ лишилъ себя жизни...

Фродъ опрометью вынулся вверхъ по лѣстницѣ, рискуя задохнуться. На площадкѣ онъ пріостановился, сопя и храпя, стараясь пустить въ ходъ легкія, давно окаменѣвшія отъ хроническаго бронхита, не поддававшася дѣйствию ни ромашки, ни усиленныхъ порцій абсента... Мысли быстро и безсвязно пробѣгали у него въ головѣ... „Сучковъ, правда, не графъ... — думалъ

онъ. — Отецъ его — „un simple moujik, нажившійся казенными подрядами“, какъ говорить старшій сыщикъ отельной бригады... Но подобный клиентъ стодитъ графа... Сучковъ занялъ цѣлый рядъ комнатъ, салонъ съ видомъ на площадь Оперы; недѣльный расходъ его въ отелѣ — не меньше четырехъ тысячъ франковъ... Такихъ не много и среди американцевъ... Что за странное, таинственное самоубійство!.. Какой ударъ для графини... этой роскошной *Vénus de Moscou*, — всегда, даже днемъ, усыпанной брилліантами съ головы до ногъ!... — Мысли эти покрыла одна, главная: за послѣднія двѣ недѣли Сучковъ не уплатилъ еще... Съ кого выскидывать теперь?..

Пронизанный этою мѣслью, точно электрическою искрой, Фродъ устремился по длинному казарменному корридору къ двери съ надписью: „Service“, около которой видѣлись фигуры двухъ типичныхъ усатыхъ городскихъ, переодѣтыхъ въ штатское.

II.

Комната, въ которую вступилъ запыхавшійся Фродъ, — назначенная для прислуги, — оказалась превращенною въ настоящую слѣдственную канцелярію. Мебель сдвинута была какъ попало, посуда помѣщалась на стульяхъ; столomъ овладѣлъ старый, обрюзгшій писарь (*greffier*), съ увенными подслѣповатыми глазками, характерно-мутными отъ неумѣреннаго употребленія абсента. Бойко бѣгая перомъ по бумагѣ, онъ составлялъ протоколъ о случившемся, начинавшійся форменными словами: „Мы, полицейскій комиссаръ квартала Оперы“...

Самъ комиссаръ, тучный мужчина съ багровымъ „бордоскимъ“ носомъ, опоясанный вокругъ выпучившагося толстаго живота трехцвѣтнымъ шарфомъ — знакомъ власти, стоялъ у окна. Допросивъ уже всѣхъ, могущихъ „пролить свѣтъ“ на случившееся, и только очутившись чрезъ это въ окончательной темнотѣ, онъ пыталъ теперь горничную, впиваясь въ нее быстрыми холодными глазами, норовя всячески сбить ее съ толку.

Горничная — прошедшая огонь и воду парижанка съ накрашеннымъ до-нельзя лицомъ и съ подведенными глазами, одѣтая въ черное шерстяное платье и въ бѣломъ тюлевомъ чепчикѣ на взбитыхъ жиденькихъ волосахъ, — умѣло выдерживала пытку, удостоивая, согласно съ прочими, что графъ Сучковъ, возвратившійся по обыкновенію поздно, отправился утромъ въ ванную

комнату, въ корридорѣ; когда же — видя, что онъ слишкомъ долго не выходитъ, — постучались въ дверь, отвѣта не получилось.

— Et voilà tout! — заключила она.

Прислушивавшійся писарь принялся бѣгать стремительно перомъ по бумагѣ, то припадая лѣвымъ глазомъ къ страницѣ, то вдругъ отпрядывая.

Коммиссаръ осѣнился неприступностью, созерцая видѣвшуюся чрезъ окно полоску мощенаго отельного двора, гдѣ выбѣжавшій фрачникъ-лакей торопливо досасывалъ самодѣльную папирску. Въ специальномъ полицейскомъ воображеніи рисовалась прозрѣваемая „семейная драма“; изопрившаяся подозрительность видѣла увѣренно виновницу...

— Графинѣ извѣстно?.. — рѣшился вымолвить почтительно Фродъ.

— Ни, ни! — воскликнулъ коммиссаръ, поднявъ указательный палецъ. — Я объявлю ей самъ... при допросѣ...

Въ комнатѣ — безшумно, точно матеріализовавшійся спиритическій образъ, — появился сыщикъ отельной бригады — юркій золотушный блондинчикъ съ зелеными безпокойными глазами.

— Предсмертное хрипѣніе слышится... — доложилъ онъ, уловивъ взглядъ коммиссара.

— Надо врача и прочихъ подождать. Да и слесаря еще нѣтъ: пальцемъ не вломаешь дверь! — отвѣтилъ коммиссаръ, отрываясь отъ размышлений.

III.

Вскорѣ прибыли, оповѣщенные по телефону: судебный медикъ — весь въ черномъ, въ золотыхъ очкахъ и съ цѣлымъ чемоданомъ снадобій, инструментовъ; прокуроръ; судебный слѣдователь съ секретаремъ; начальникъ сыскной полиціи и помощникъ его, съ секретарями; старшій судебный сыщикъ; старшій сыщикъ префектуры; начальникъ сыщиковъ подвижной бригады; инспекторъ сыщиковъ квартала Оперы; начальникъ сыскной антропометрической канцеляріи, съ помощникомъ, секретаремъ и фотографомъ, а также коммиссары: центральный и специальный. Къ властямъ присоединились: представитель синдиката репортеровъ по отдѣлу происшествій и — оторванный отъ своего завтрака въ ближайшей гаргантѣ — слесарь, худой, высокой старикъ въ длинной сѣрой блузѣ, вооруженный коллекціей отмычекъ и съ аршиннымъ двернымъ ломомъ подъ мышкой.

Коммиссаръ пріосанился, одернулъ шарфъ на своемъ выпученномъ животѣ и открылъ шествіе къ ванной комнатѣ, уже одѣвленной полукругомъ отельныхъ и полицейскихъ сыщиковъ.

Отмычки не понадобились: дверь была заперта изнутри, на задвижку. Слесарь поплевалъ на руки, засунулъ поглубже ломъ и налегъ... Массивная дубовая дверь, дрогнувъ и заскрежетавъ, отскочила, распахнулась...

„Предсмертное хрипѣніе“ слышалось теперь совсѣмъ громко. Его издавало рослое подобіе тюленя—такое же круглое, сытое, только съ бѣлою кожей, — лежавшее на кушеткѣ и одѣтое въ мягкой банный халатъ. Правая рука спускалась до самаго полу; на коврѣ виднѣлась выпавшая потухшая сигара.

Первымъ ворвался въ комнату медикъ, имѣя старшинствомъ профессиональный спѣхъ. Вскинувъ крупный, „наполеоновскій“ носъ и торопливо нюхнувъ воздухъ, онъ сразу констатировалъ модное отравленіе окисью углерода... Изъ чемодана мгновенно появился пузырь съ кислородомъ. Медикъ прицѣлился соединить этотъ живоносный аппаратъ со ртомъ и носомъ жертвы, но вдругъ отступилъ и воскликнулъ:

— Онъ, просто, спитъ!

На мгновенье, составъ властей—не исключая и наторѣвшихъ, безстрастныхъ сыщиковъ—впалъ какъ бы въ окаменѣніе предъ такою неслыханною мистификаціей. Потомъ взгляды обратились на полицейскаго коммиссара... Тотъ посмотрѣлъ на коммиссаровъ: центрального и спеціального, вздернувъ изумленно плечи... Казалось, что онъ не потерпитъ ошибки и вотъ-вотъ распорядится о согласованіи дѣйствительности съ протоколомъ... Но подобіе тюленя вдругъ ворохнулось и уставило на властей остолбенѣвшіе, широко-раскрывшіеся глаза... Апачи, камбриолеры, отельные душителі — все сразу нарисовалось взбодораженнымъ воображеніемъ, и графъ Сучковъ, съ дикимъ отчаяннымъ крикомъ, скакнувъ мимо самаго коммиссарскаго живота, понесся по коридору...

Сычки понеслись за нимъ... Одинъ—высокій и жилистый, обученный въ сыскной полицейской школѣ новѣйшимъ профессиональнымъ приемамъ „jū jistu“, — готовъ уже былъ ухватить бѣглеца методически, за шею; но тотъ увернулся и ловко шмыгнулъ въ одну изъ дверей своего отдѣленія.

— Сопротивленіе законнымъ властямъ!.. Публичное появленіе въ безстыдномъ видѣ! — воскликнулъ изумленный окончательно коммиссаръ, формулируя тему для новаго протокола.

— *Affectus animi...* испугъ...—промовилъ медикъ, защелкнувъ свой чемоданъ.

— И... видимое отсутствіе злой воли... исключительность обстоятельствъ...—поддержалъ его прокуроръ.

IV.

Въ корридорѣ все такъ же быстро затихло, какъ и вспыхнуло.

Распорядитель Фродъ, принявъ обычную маску торговой любезности, совсѣмъ утерянную впопыхахъ, перекинулся двумя-тремя словами съ представителемъ репортеровъ, считая, въ интересахъ отеля, излишнею огласку приключенія. А такъ какъ все—включая безповойство, поломку, трудъ слесаря—относилось на графскій счетъ, то тутъ же отданы были должныя приказанія конторщику.

Управившись съ этимъ, Фродъ прошелся, раздумывая, по опустѣвшему корридору.

Думы касались случившагося и становились все игривѣе и игривѣе... Фродъ былъ увѣренъ, что графъ провелъ ночь лихо, въ самыхъ злачныхъ мѣстахъ фланирующаго Парижа; вспоминалъ, что и ему случалось проводить такія ночи... случается и теперь—какъ, напримѣръ, недавно, у Жюльена, съ одною „дублѣркой“ изъ „*Ambigu*“... Но тутъ онъ дернулъ себя мысленно за полу,—находя, что человѣку семейному, довѣренному большой фирмы, не совсѣмъ идетъ признаваться въ такихъ деликатныхъ вещахъ даже и предъ самимъ собою... Суть въ томъ, что послѣ такой веселой ночи очень возможно... совсѣмъ неудивительно—замечаться, выйдя изъ теплой нѣжащей ванны... всхрапнуть... и вообразить не вѣсть что, когда вломятся въ дверь... Не было сомнѣнія, что и „на волѣ“—Фродъ разумѣлъ подъ этимъ внѣ-отельное пребываніе кліентовъ—графъ тратитъ такъ же много, ведетъ себя такъ же широко... Такіе иностранцы полезны для отелей... для всей страны; но... подъ условіемъ, чтобъ у нихъ непременно были деньги... Процедура упрощена, положимъ: не уплачено по счету, такъ стѣбитъ лишь шепнуть первому попавшемуся сыщику, и тотъ мигомъ надѣнетъ неплательщику „менотки“ на руки—за „нарушеніе довѣрія“ (*abus de confiance*)... Но въ кассѣ не прибудетъ отъ этого... Графъ не изъ такихъ: у него есть деньги... непременно есть... Иначе быть не можетъ... И все-таки не слѣдовало запускать счетовъ,

когда отельныя правила требуютъ—вынь да положи за недѣлю!.. Не должна ли онъ и „на волѣ“?..

Фродъ поспѣшно направился къ телефону и далъ звонокъ.

Капризные телефонныя дѣвцы, имѣющія претензію считать себя „присяжными чиновницами“, назначенными, подобно чиновникамъ, игнорировать публику, долго не отвѣчали ему, потому долго не соединяли телефона съ магазиномъ второклассной парижской модистки, рядившей иностранокъ изъ Grand-Hôtel'я.

Наконецъ:—Дзинь!..—и Фрода позвали.

— ...Да? Графъ платитъ всегда наличными вамъ?.. хорошими деньгами?..—сталъ переговариваться онъ.—Никакихъ неделикатностей не случилось?.. Прекрасно!.. Кто говорить?.. Вы, madame?

Говорила сама модистка.

— Очень, очень благодаренъ вамъ, madame!.. Что?.. О, нѣтъ! Никакихъ подозрѣній съ моей стороны: обычное осведомленіе о клиентѣ... Только и всего!.. Простите, что затруднилъ васъ!..

Въ разсѣянности, Фродъ придавалъ сладость своему сиповатому басу, улыбался, отвѣшивалъ поклоны отполированному телефонному наличнику.

Съ такимъ же успѣхомъ прошелъ опросъ портного, автомобильщика, бриллианщика.

Фродъ далъ отбой. На широкомъ свекольномъ лицѣ его съ угреватымъ носомъ видѣлось удовольствіе. Но обуявшій геній бухгалтеріи подталкивалъ вести дѣло до конца—превратить счета возможно скорѣе въ наличныя, хорошія деньги... Дѣйствовать чрезъ прислугу въ такомъ исключительномъ дѣлѣ Фродъ считалъ невозможнымъ и рѣшилъ отправиться самъ къ графу.

V.

Осипъ Осиповичъ Сучковъ, одѣтый теперь въ плюшевый фіолетовый шлафрокъ, сидѣлъ въ кабинетѣ, отдѣлявшемъ салонъ отъ внутреннихъ комнатъ, и пилъ крѣпкій черный кофе. Онъ былъ разстроены случившимся смѣшнымъ—и больше всего не фактомъ собственно, а тѣмъ, что смѣшное случилось съ нимъ, съ Сучковымъ... Пухлое бритое лицо его съ остренькимъ подбородкомъ, отличавшееся всегда какъ бы кислымъ выраженіемъ, смотрѣло теперь совсѣмъ кисло; небольшіе русые усы щетинились.

Отецъ Сучкова—прошедшій постепенно чрезъ „Оську“,

черезъ „Осипа Сучка“ и ставшій „уважаемымъ Осипомъ Авиногеновичемъ“, коммерціи-совѣтникомъ, — имѣлъ много, очень много денегъ, и самыхъ хорошихъ, — въ разныхъ благонадежныхъ акціяхъ, дававшихъ неустанно дивиденды, позволявшихъ „обслуживать“ на всѣ манеры южный край... Дѣтей своихъ Сучковъ держалъ „на барскую ногу“ и не жалѣлъ ничего для этого. Старшаго сына, — придурковатаго, одолевшаго, съ грѣхомъ пополамъ, лишь реальную гимназію, — онъ сдѣлалъ „помѣщикомъ“, купивъ ему — съ торговъ и за безцѣнокъ, какъ водится, — роскошное дворянское помѣстье. Двое остальныхъ — Никандръ и Осипъ, — побывавшіе въ заграничныхъ университетахъ, вращались въ „свѣтъ“, одѣвались у „первыхъ“ портныхъ, по послѣдней модѣ. Но и при всемъ этомъ, врожденное „Осьбино“ упорно лѣзло у нихъ изъ всѣхъ швовъ, продолжало владѣть всѣмъ нутромъ.

Не зная счета акціямъ и бредя недостававшей „знатностью“, Сучковъ-отецъ снизошелъ до того, что позволилъ Осипу жениться на красивой свѣтской „голоубочницѣ“... Отецъ ея, будучи еще зауряднѣйшимъ безвѣстнымъ субалтернъ-офицеромъ и какъ бы провидя въ родномъ грядущемъ „Союзъ русскихъ людей“, совершилъ что-то такое „истинно-русское“, что не замедлило выплыть въ генералы, въ приближенные... Какъ приданое за дочерью, явилось зачисленіе зятя по министерству, вытягиваніе „въ люди“; намѣчалось даже камеръ-юнкерство... Сучковъ-младшій сталъ бредить знатностью, сталъ видѣть въ себѣ персону. Величаніе графомъ встрѣчалъ онъ шутливою улыбкой, но къ возраженіямъ не прибѣгалъ...

Маргарита Валеріановна Сучкова — въ свѣтскомъ сокращеніи Рита, — встававшая очень поздно, была въ утреннемъ японскомъ халатѣ — kimono Sada-Yakko, совсѣмъ обливавшемъ тончайшею шолковою тканью ея довольно высокой, стройный станъ, уже начинавшій замѣтно оплывать нагульнымъ жиркомъ, — что, впрочемъ, придавало ей лишь больше „аппетитности“. Бѣлотѣлая, съ пышною русою косою, съ свѣжимъ сочнымъ ртомъ и съ наигранными измѣнчивыми глазами, то меланхолически тускнѣвшими, то лукаво свѣтившимися, она вся дышала пылкою, притягательною чувственностью, нѣгой. Ученый сказалъ бы, что животнo-внѣшнее преобладаетъ въ ней надъ духовно-внутреннимъ...

Она прохаживалась по кабинету заученною плавною походкой, ступая на пятки, отчего роскошныя округлости ея какъ бы переливались, вздрагивая, и систематически „пилила“ мужа за случившееся смѣшное.

— ...Мнѣ неприлично выйти одной въ концертный залъ... неприлично пойти погулять или проѣхаться въ автомобилѣ...— говорила она, съ напускною горячностью и хмура соболиныя бровки.— А тебѣ... въ такомъ видѣ, по корридору... прилично?..

— Да перестань же, перестань...— умоляюще произнесъ терзавшійся супругъ.

— Горничная говоритъ, что и дамы проходили по корридору въ это время...

— Разговоры... съ горничною... Fi!

— Она сама прибѣжала рассказывать!

— Не надо позволять...

— Со скуки мнѣ умирать надо?.. Отчего ты не берешь меня никуда съ собою?

— Нельзя же, чтобъ ты... въ мужской компаніи...

— И въ женской, съ Татьяною Марковной, нельзя мнѣ, по-твоему...

— Татьяна Марковна вращается среди актеровъ да живописцевъ разныхъ... Ты должна понимать это... — проговорилъ, хмураясь и наставительно, Сучковъ.— Устроюсь, войдемъ въ кругъ общества... подобающій... тогда и женская компанія будетъ у тебя...

— А теперь—нечего обращать вниманія...

— На насъ обращаютъ! и... la noblesse oblige! — совсѣмъ въ испугѣ перебилъ Сучковъ.— Какъ это ты... Ахъ!

Назрѣвавшую „семейную сцену“ предотвратилъ—прикомандированный, по требованію Сучкова, къ отдѣленію и ставившійся особо въ счетъ — „ливрейный“ лакей, явившійся съ докладомъ о Фродѣ.

— Что ему надо?.. Выйди къ нему... — пробормоталъ Сучковъ, холодѣя при одной мысли, что скандалъ разыгрывается, чего добраго...

Рита вышла въ салонъ.

— Здравствуйте! — сказала она, подавая руку Фроду.— Прощу васъ!

Она указала ему на кресло, а себѣ взяла стульчикъ,— какъ бы въ расчетъ на большую картинность позы.

Фродъ обомлѣлъ, охваченный селадонскою лихорадкой... Онъ (мѣ раньше поваромъ и зналъ лишь, какъ надо сбывать, подъ ядомъ первосортной говядины, конину да приправленную химически тухлятину; какъ дѣлать моднѣйшіе соусы изъ воды да бросовъ... Разжившись и ставъ отельнымъ довѣреннымъ, притившись въ „monsieur“, онъ началъ знать спортъ, злачныя

мѣста... Привившійся въ этихъ мѣстахъ, модный kimonos Sada-Yakko давалъ права, будь хозяйка хоть разграфиня...

Фродъ крякнулъ, впиваясь посоловѣвшими рачьими глазами въ облитыя шоломъ пышныя округлости.

Но несообразность настолько говорила сама за себя, что онъ тутъ же подумалъ:— „Иностранцы, по неопытности, принимаютъ это *былье* за костюмъ“...

Оно такъ и было: гоняясь за послѣднею модой, Сучковъ самъ подарилъ женѣ цѣлую дюжину этихъ псевдо-„утреннихъ костюмчиковъ“. Онъ же облюбовалъ для нея шляпку—величиною съ рѣшето и встрѣчавшуюся лишь на коготкахъ средней руки.

— Вы къ мужу? Что вамъ угодно?—спросила Рита, чувствуя произведенный эффектъ и гордясь внутренно.

Фродъ выпрямился въ креслѣ, поправилъ руками животъ. Примкнувшій къ новому поколѣнью, давно отбросившему славившуюся когда-то французскую „politesse“, положившему въ основаніе всего „tarif“, „catalogue“, „règles de la maison“, онъ пунктуально изложилъ „правила“ конторы, „требующія“ уплачивать по счетамъ еженедѣльно.

Рита отвѣтила, что уплачено будетъ немедленно.

— Я также хотѣлъ передать графу, что насчетъ... недоразумѣнія въ ванной... ни протокола, ни огласки въ газетахъ не будетъ, — прибавилъ онъ, вставъ и расшаркиваясь предъ обольстительною московскою *Vénus*.

VI.

Извѣстіе, что огласки въ газетахъ не будетъ, очень порадовало Сучкова, совсѣмъ упустившаго изъ виду эту сторону дѣла. Требованіе же по счетамъ, напротивъ, почти разогорчило. Всякія „сверхсѣтныя“ разорительныя неожиданности точно съ неба сыпались въ дневномъ и ночномъ Парижѣ... Чтобы не выказаться мотомъ передъ отцомъ, надо было протянуть, по возможности, время; а тутъ эти счета... точно въ кассѣ только и доходу... Примѣшивалась и обидчивость,—что его, Сучкова, расходующаго чуть не больше, чѣмъ весь корридоръ, третируютъ какъ всякаго, по конторскимъ правиламъ, считаютъ могущими не заплатить...

Ублажая жену, обреченную „пока“ на домосѣдство, онъ отправилъ ее одѣваться, чтобы идти вмѣстѣ завтракать къ Маргариты, вмѣсто безынтереснаго отельнаго ресторана, а самъ угл

бился въ расчеты, соображая — какія изъ тратъ можно отложить до будущаго отцовскаго чека.

Этому занятію помѣшалъ лакей.

— Нѣ, monsieur... — проговорилъ онъ, ткнувъ господина пальцемъ въ спину.

— А... это вы, Albert? Чтò вамъ? — спросилъ Сучковъ, впадая въ подобающую свѣтскую „накрахмаленность“.

Высокій и нескладный Альберъ, носившій усы и походившій въ своей фантастической ливреѣ на полкового тамбурмажора, подаль карточку на мельхіоровомъ подносѣ.

На карточкѣ было: „Аристидъ Мардрюсъ д’Обервилье. Кавалеръ почетнаго легіона“.

— Одѣтъ хорошо... — прибавилъ къ этому отъ себя Альберъ.

Раздумывая—кто бы это могъ быть? — и надѣвъ парадный сюртукъ, Сучковъ поспѣшилъ къ гостю.

Въ салонѣ стоялъ совершенно круглый, усатый и пучеглазый брюнетъ, въ бѣломъ жилетѣ и съ алою ленточкой въ петлицѣ щегольской темно-синей жаветки; въ лѣвой рукѣ были у него цилиндръ и трость.

— Графъ Сучковъ? Изъ Москвы? Сколько вамъ лѣтъ?.. Вы женаты? По любви?.. Финансовый или семейный мотивъ покушенія на самоубійство?..—посыпалось навстрѣчу хозяину.

Дѣйствуя ловко, какъ фокусникъ, гость прижалъ цилиндръ локтемъ къ боку, вскинулъ лорнетку на носъ и выхватилъ изъ кармана записную книжку.

— Вы ошиблись... дверью... — пролепеталъ озадаченный Сучковъ.

— Но въ ванной... вы вѣдь?..

— Ничего подобнаго...

— Графъ отрицаетъ самый фактъ... — пробормоталъ гость, бѣгая карандашомъ по листку книжки.

— Дѣло не въ отрицаніи...

— Графъ не отрицаетъ... — записалъ въ книжкѣ гость. — Который изъ мотивовъ слѣдуетъ принять?

— Вы... вы чиновникъ?—промолвилъ Сучковъ, смущаясь и боясь попасть въ какой-нибудь просакъ.

— Корреспондентъ... Еще минута, и interview будетъ кончено, графъ!.. Какъ велико ваше состояніе?..

— Pardon!..—перебилъ Сучковъ, ориентирясь и прибѣгая къ „накрахмаленности“.—Я рѣшительно ничего не могу вамъ отвѣтить...

— Дѣти есть у васъ?—невозмутимо продолжалъ корреспондентъ.

— Недоразумѣніе произошло благодаря крайнему легкомыслию прислуги!—дovончилъ Сучковъ, заложивъ руку за бортъ куртки и дѣлая шагъ назадъ.—Обратитесь, если вамъ угодно, въ контору—въ м-гъ Фроду...

Это послѣднее подѣйствовало магически.

Кавалеръ Мардрюсъ д'Обервилье взмахнулъ шляпой, мотнулъ круглою, гладко-выстриженною на затылкѣ головою и, съ изумительною при его тучности легкостью, исчезъ за дверью.

Сучковъ повернулся, уходя; но предъ нимъ точно изъ земли выросъ другой корреспондентъ—совсѣмъ тощій, съ полувылѣзшемъ блесоватою бородкой, одѣтый въ вытертый, лоснившійся смокингъ и при бѣломъ когда-то галстухѣ.

— Какія тяжкія, неотвратимыя напасти... удары судьбы... могли побудить васъ, графъ?.. Чья рука толкнула?..—заговорилъ онъ мелодраматически и расправляя листокъ бумаги на сложенной шляпѣ.— При полнотѣ вашего семейнаго счастья, при исключительномъ матеріальномъ благополучіи...

— Обратитесь въ контору... въ контору... — прервалъ его холодно и озлившись Сучковъ.—Я не имѣю времени...

На этотъ разъ онъ заперъ за корреспондентомъ дверь на ключъ. Онъ и негодовалъ, и трусилъ. Ему было ясно, что случившееся—вздоръ; что мѣшаться въ это и врываться въ нему никто не имѣетъ права; и все-таки какая-то безотчетная неувѣренность томила его, все-таки думалось:—„А кто его знаетъ, что можетъ выйти!..“

Въ салонъ вбѣжала Рита, шурша добротною шолковою юбкой, и заговорила въ радостныхъ попыткахъ:

— Joseph! Изъ редакцій корреспонденты пришли ко мнѣ! Что должна я отвѣчать имъ?

— Оставь ихъ... не показывайся!..—прошипѣлъ Сучковъ.

Попастъ въ парижскія газеты съ блестящаго свѣтскаго бала, изъ финансоваго или спортсменскаго клуба—Сучковъ даже мечталъ, готовился. Но попастъ изъ ванной, да еще въ роли какого-то водевильнаго самоубійцы—это... это... Онъ вытребовалъ Фрода по телефону и заявилъ претензію, что къ нему врываются, что дѣлается огласка вздорнаго случая, изъ частной жизни.

Фродъ отвѣтилъ, что отъ корреспондентовъ не укроешься и они являются всегда, — *c'est l'habitude*, — а что отель имѣетъ дѣло съ синдикатомъ прессы, и потому огласки бояться нечего.

Корреспонденты озапались и у подѣзда, когда вышли

Сучковы. Они навинулись на супруговъ—кто съ записной книжкой, кто съ фотографическимъ аппаратомъ.

Спасеніемъ послужила попавшаяся извозничья каретка.

VII.

Женившійся два года тому назадъ, Сучковъ явился въ Парижъ не столько людей посмотреть, сколько себя показать... При этомъ имѣлись въ виду и дѣла — большія, важныя... Младшій братъ, Нивандръ, намѣтившій себѣ имѣніе въ Крыму и поджидавшій торговъ, проѣхалъ прямо въ Бордо—изучать винодѣліе... вѣрнѣе, ту особенность въ немъ, которая извѣстна у французскихъ „винодѣловъ“ подъ именемъ: „oenologie“ и научаетъ умѣнью изготовлять, при расходѣ въ пять франковъ, сто-двадцать литровъ „вина“, по меньшей мѣрѣ... Осипу надлежало засѣдать въ парижской русской торговой палатѣ, чтобъ устроить отцу вѣрное и широкое „обслуживанье“ Франціи, по части сырья...

Такому большому кораблю требовалось и большое плаванье. Въ Елисейскихъ-Поляхъ свята была квартира съ настоящими сараями вмѣсто комнатъ. Набить эти сараи всѣмъ надобнымъ, по самой послѣдней модѣ, предоставлялось извѣстнѣйшему парижскому базарному мебельщику Дюфайелю, уже успѣвшему нажить себѣ дворецъ въ тѣхъ же Елисейскихъ-Поляхъ. Для созданія круга „подобающихъ“ знакомствъ посѣщались скачки, клубы, выставки, рестораны, русская церковь и былъ установленъ журфиксъ въ отельномъ салонѣ. Сучковъ научился говорить ходячія французскія любезности, склоняя при этомъ, по манерѣ покойнаго Чичикова, голову слегка набокъ; а для дѣловыхъ бесѣдъ перенималъ у французскихъ контористовъ манеру какъ бы деревенѣтъ вдругъ и косить глаза—въ знакъ, что разговоръ оконченъ.

Дѣло шло, однако, совсѣмъ туго... Клубные и прочіе знакомцы, французы и русскіе, охотно водили компанію съ любителемъ удовольствій, не прочь были показывать ему ночной Парижъ; но насчетъ *intérieur*'а вели себя довольно странно: въ семейное знакомство не вступали, на журфиксы—псевдо-свѣтскіе и унылые — являлись очень рѣдко, предпочитая забрасывать карточки, складывавшіяся на фарфоровый plateau въ салонѣ и желтѣвшія отъ пыли. Даже проживавшій въ Парижѣ московскій „придворный“ адвокатъ (на карточкахъ у него было отпечатано: „*Avocat à la Cour de Moscou*“), немало полакомившійся круп-

ными Сучковскими дѣлами, какъ бы снисходилъ только, заглядывая иногда въ салонъ.

Все это было—то, да не то, не оправдывало заготовленныхъ надеждъ и начинало злить будущаго камеръ-юнкера. Риту оно злило совсѣмъ. Парижъ сидѣлъ гвоздемъ у нея еще въ дѣтской головкѣ, а отецъ—закоренѣвшій въ холодной способности „пресѣкать“ и „предупреждать“, кормившійся временнымъ губернаторствомъ и содержавшій двухъ сыновей въ гвардіи,—не очень баловалъ единственную дочь даже и порядочными платьями. Счастливо и умѣло завязавъ „флиртъ“ съ юнымъ провинціальнымъ крезомъ, попадавшимъ на губернаторскія вечеринки, ставъ затѣмъ невѣстой, она немало „потрудилась“, вбивая гвоздиль-Парижъ и въ голову жениха, проектируя упопительный voyage de pose... Свежоръ взглянулъ, однако, иначе: онъ отпраздновалъ свадьбу у себя въ имѣніи „на виду“, — ознаменовавъ событіе выписаннымъ хоромъ архіерейскихъ пѣвчихъ, фейерверкомъ, надымившимъ на весь уѣздъ,—а затѣмъ назначилъ молодымъ блистать въ Москвѣ, гдѣ были у него разные склады. Ночной кушкѣ удалось все-таки перекуковать денную... но не на радость: осуществившаяся мечта смѣнилась мукой Тантала... И мука эта росла и росла... „Выѣзды и приѣмы“ могли начаться лишь съ устройствомъ на квартирѣ, а въ ней тянулась нескончаемая отдѣлка. Отельный салонъ, съ его казенною, банальною пестротой, претендовавшею на какіе-то стили, съ его вычурною измѣнганною мебелью, кого-кого только не видѣвшею на себѣ,—надоѣлъ, прискучилъ Ритѣ съ первыхъ же дней. Тайственный, недоступный Парижъ не давалъ ей покоя. Она ощущала его всѣмъ своимъ созрѣвшимъ чувственнымъ существомъ; рисовала себѣ воспаленнымъ воображеніемъ что-то,—не хотѣвшее принять образа и только мучившее, томившее...

Недѣли двѣ тому назадъ,—когда Сучковъ отправился на нѣсколько дней въ Лилль, для свиданія съ будущими покупателями сырья,—неожиданною избавительницею Риты явилась москвичка Татьяна Марковна Костякова. Уже достаточно „помятая“ красавица, изъ купечества, и умная бой-баба, она счумѣла мирно „использовать“ объявившіяся женскія вольности, — давъ мужу полную „carte blanche“ и взявъ себѣ таковую же... Въ Москвѣ она была душою всякой мужской компаніи; охотилась на волковъ, надѣвая шотландскій костюмъ. За-границей извѣстны были ей всѣ увеселительные курорты. Явившись теперь въ Парижъ, гдѣ давно уже имѣлись у нея свои „подобающія“, знакомства и „связи“, она свободно и умѣло окунулась въ его водоворотъ...

— Такъ что-жъ, что безъ мужа вы! Теперь не только что женщины двѣ, а и каждая дѣвчонка одна, куда хочетъ, стрекаетъ!— воскликнула она, навѣстивъ Риту и разговорившись.

И онѣ начали „выѣзжать“—спѣшно, лихорадочно, съ утра до поздней ночи...

Подоспѣвшій Сучковъ осудилъ безповоротно эту женину вольность. А въ Ритѣ, едва коснувшейся до недоступнаго и оторванной, желанія закипѣли еще сильнѣе, настойчивѣе...

VIII.

Бѣды, какъ извѣстно, приходятъ на русскаго человѣка всегда скопомъ... не меньше трехъ. Такъ началось и съ Сучковымъ.

Едва успѣло ступеваться приключеніе въ ванной, какъ начали насканивать вновь то одно, то другое... Не скупившійся ни въ чемъ для себя, Сучковъ былъ истиннымъ сваредомъ для другихъ. Московскія устроительницы благотворительныхъ вечеровъ, базаровъ, столовыхъ для голодающихъ знали, что съ Осипа Осипыча надо брать хоть копѣйку, но сейчасъ,—какъ съ лихой собачки шерсти клозъ; что, наобѣщавъ, онъ непременно затянетъ и отвергнется потомъ. Эта особенность сказалась въ Сучковѣ и теперь, когда пришлось расплатиться въ отелѣ. Подгоняя бюджетъ свой такъ, чтобъ не беспокоить отца хоть съ мѣсяцъ еще, онъ прежде всего выключилъ все грошовое, наобѣщанное и русской колоніи, и французамъ. Задумавъ отвергнуться и отъ тестя, которому давно уже слѣдовало выслать обѣщанный заграничный подарокъ, онъ отправился отыскивать что-нибудь дешевенькое, но „этакое... съ cachet“.

На одномъ изъ большихъ бульваровъ за зеркальнымъ окномъ совсѣмъ невзрачнаго на видъ магазинчика, ему бросилась въ глаза бронзовая чернильница съ раскрывшимся Наполеоновскимъ орломъ и военною арматурой. На привѣшенномъ ярлычкѣ видна была цѣна: „25“.—„Недурная вещица за двадцать пять франковъ...—подумалъ онъ.—И по сюжету подходит...“ — Въ магазинѣ, пользуясь дешевизной, онъ прибавилъ къ чернильницѣ пару подсвѣчниковъ, въ такую же цѣну каждый, и очень занятный пресс-папье-барометръ, въ 30. Для тещи подходила Югиня - Паллада, держащая щитъ-зеркало и стоявшая 50. Надъ этимъ расходомъ Сучковъ задумался въ первую минуту, но потомъ рѣшился и приказалъ прислать покупки.

Когда онъ вернулся въ отель, все было уже прислано, и

магазинный гарсонъ—въ треуголкѣ съ галуномъ, въ усыпанномъ мѣдными пуговицами мундирѣ — дружески бесѣдовалъ съ Альберомъ, сидя на матерчатой скамьѣ у дверей салона.

Сучковъ отсчиталъ деньги.

— Eh bien!..—буркнулъ гарсонъ, оглядывая его недоумѣвающе.

— Ну, да! Сто-пятьдесятъ-пять франковъ! — отвѣтилъ Сучковъ, оставивъ обточенный ноготь на итогъ счета.

— *Луи!* Сто-пятьдесятъ-пять луи! — пояснилъ гарсонъ. — Тутъ и стоять не „f“, а „l“... У насъ въ магазинѣ не считаютъ на франки!

Проще всего было—отправить покупки назадъ. Но въ мысли кинулось убійственное сознаніе, что такіе магазинно-свѣтскіе порядки неизвѣстны ему—Сучкову!—да обунялъ стыдъ передъ гарсономъ, передъ Альберомъ...

Мѣсто франковъ заступили золотые.

За этимъ послѣдовала атака со стороны модистки, бриллиантчика, автомобильщика, портного, — встревоженныхъ телефонными разпросами Фрода. Сучковъ вспыхивалъ, чувствуя уколы самолюбія, начиная сознавать, что въ этомъ всесвѣтномъ ульѣ-отелѣ онъ отнюдь не персона, а только „номеръ“, обязанный оправдывать неуклонно счета, и платить, платить...

Отцу пришлось написать совѣзмъ скоро.

Спасительный чекъ явился въ-время, адресованный „postegestante“, какъ получалось все изъ Россіи, впродъ до устройства на квартирѣ. Но письмо было заказное, и отсюда начались бѣды уже въ чисто-русскомъ духѣ... На почтѣ—гдѣ со времени потускнѣнія „альянса“ перестали вообще благовоить къ русскимъ,—отъ Сучкова потребовали паспортъ; а всѣ бумаги были въ Бордо, у брата Никандра, вѣдавшаго хлопоты по вояжу. Сучковъ заспорилъ, объявилъ, выказывая знанія, что во Франціи, по законамъ, не существуетъ паспортъ. Но чиновникъ не удостоилъ его даже отвѣтомъ, а только ткнулъ ручкою пера въ привѣшенное къ столбику рукописное извѣщеніе: тамъ значилось, что всякій иностранецъ, при полученіи страховой корреспонденціи, обязывается предъявлять паспортъ, да еще визированный въ консульствѣ.

Сучковъ отправилъ телеграмму брату: „Vite mon passe. Urgence“.

Никандръ выслалъ паспортъ немедленно и.. заказнымъ же...

Создалось то, что зовется: „ни взадъ, ни впередъ“. Пришлось прибѣгнуть къ русскому консульству, а тамъ тоже требовали паспортъ, прежде всего...

Однимъ такимъ хлопотливымъ днемъ, Сучковъ, уставшій и проголодавшійся, выпрыгнулъ предъ отелемъ изъ автомобиля.

Въ подъездѣ повстрѣчался ему рослый, брюхастый и бородатый брюнетъ, съ сильною просѣдою на щекахъ, съ вудрями „въ кружокъ“, одѣтый въ сюртукъ купеческаго покроя и въ цилиндрѣ, заломленномъ на затылокъ.

— Осипу Осипычу! — воскликнулъ онъ, щуря заплаканныя глазки, засвѣтившіеся какъ бы насмѣшливостью. — Ничего? Носить Господь?

— Ермилъ Кондратьичъ! Давно ли вы? — тоже воскликнулъ Сучковъ, вызывая выраженіе пріятнаго изумленія на лицѣ.

— Третьяго дня, чай, карточку-то оставилъ вамъ...

— Развѣ? Бѣда съ здѣшнею прислугой!

Брюнетъ нервно шмыгнулъ рукою по бородѣ.

— Къ намъ, пожалуйста... какъ-нибудь, вечеркомъ... — промолвилъ Сучковъ, качнувъ своимъ аккуратнымъ тюленьимъ туловищемъ.

— Вы уже и визитовъ нынѣ не отдаете? — спросилъ брюнетъ.

— Какъ можно-съ! Я къ вамъ завтра... нѣтъ-съ, послѣ-завтра.

Они разстались.

Ермилъ Кондратьичъ Щербаковъ имѣлъ въ Москвѣ большое „ситцевое дѣло“. Въ своемъ домѣ, сплошь облѣпленномъ цвѣтными изразцами, онъ, не скупясь, задавалъ пиры, на которыхъ бывали и Сучковы. Человѣкъ „характерный“, изъ старозавѣтнаго купечества, Щербаковъ представлялъ собою любопытный образчикъ откровеннаго хищника, естественнаго „нищанца“, смѣло и просто искавшаго проглотить всякаго, кто не остережется... — „Для чего же опаска-то дана человѣку!“ — говорилъ онъ, поясняя свою мораль. И онъ глоталъ покупателя, глоталъ жильцовъ въ своихъ доходныхъ домахъ, глоталъ крестьянъ въ имѣніи... но былъ, при всемъ этомъ, человѣкомъ незлымъ и, по-своему, справедливымъ, — признававшимъ, что и его вправѣ проглотить всякій... Появленіе его въ „Грандъ-Отелѣ“ не очень порадовало Сучкова, трепетавшаго при одной мысли увидѣть такую фигуру въ своемъ салонѣ. Получивъ отъ Альбера карточку, онъ строго-настроено приказалъ не впускать вульгарнаго москвича безъ доклада. Обѣщавъ теперь такъ утвердительно отдать визитъ, онъ и не думалъ объ исполненіи. Перенимая французское обыкновеніе обѣщать все и не сдѣлать ничего, онъ вообще терялъ нерѣдко границу, впадалъ въ простую ложь.

Щербаковъ прошелъ въ отельный „американскій баръ“, гдѣ его ожидалъ „язычникъ“ — медикъ-студентъ изъ Латинскаго квар-

тала, еврейчикъ Перельманъ. Въ Парижѣ Щербачевъ бывалъ уже не разъ и умѣлъ бойко объясняться въ ресторанахъ, въ ночныхъ кафе. Но теперь былъ у него планъ — попытаться, не опростоволосится ли французъ, и, „въ такомъ разѣ“, высмотрѣть у нихъ „досконально“ театральное и красивое дѣло; а для этого требовался совсѣмъ иной лексиконъ. Переводчики имѣлись и въ отелѣ, но они тоже годились лишь для ресторановъ, а брали десять франковъ въ день и бывали еще требовательны на „кормѣ“. Студентикъ же довольствовался пятью франками, а желудокъ имѣлъ такъ демократически настроенный, что дорогихъ кушаній не переносилъ даже.

Было около вечерень — часъ французскаго *goûté*.

Въ барѣ толпились предъ стойкой отельные носильщики, автомобильные *chauffeur*'ы, продавцы плана Парижа и картъ съ таинственными картинками, попывая кто коньякъ, кто хинное вино; болѣе обстоятельные тянули абсэнтъ — мутно-опаловую смѣсь полынной воды съ водою и сахаромъ. За столиками отельные иностранцы отдавались моднымъ американскимъ напиткамъ. Щербачевъ привадалъ подать себѣ хересу съ толченымъ льдомъ и сталъ потягивать его черезъ соломинку, выслушивая соображенія переводчика насчетъ осмотра химическаго завода подъ Парижемъ.

IX.

Въ раскрытїя окна салона врывался стройный немолчный гулъ парижской суетни. Рита, только-что окончившая завтракъ въ ресторанѣ и разставшаяся съ мужемъ, отправившимся по дѣламъ, прохаживалась, мечтая. Покушать любила она, а въ Парижѣ не замедлила пристраститься къ бордо, къ либерамъ. Слегка отуманенная теперь, она безотчетно витала мыслями въ чемъ-то смутно-прїятномъ, чувствуя, какъ горять у нея щеки отъ прилива крови.

Вспомнились немногіе вольные деньки, проведенные съ опытною, бойкою и всезнающею въ Парижѣ Татьяною Марковною... закъ взяли онѣ тогда ложу въ театрѣ „*Variétés*“, на Монмартрскомъ бульварѣ; какъ набрались къ нимъ туда актеры, художники, и какъ было весело; какъ завтракали онѣ у одного русскаго, жившаго подъ Парижемъ на дачѣ съ знаменитою кокеткой, и какъ кокетка эта была хорошо одѣта, какъ остроумно рассказывала анекдоты, которыхъ по-русски и повторить нельзя...

Рита задумчиво остановилась у раскрытаго окна.

На площади Оперы, привалившись къ высокому фонарному столбу на бетонномъ возвышеніи, стоялъ мужчина. При видѣ Риты, онъ отдѣлился отъ столба и медленно приподнял „панаму“ надъ головою, какъ бы дѣлая поклонъ... Замѣтившая это, Рита вздрогнула чуть-чуть и стала вглядываться: мужчина былъ молодой, высокаго роста, съ оливковымъ цвѣтомъ лица—испанецъ или южанинъ-французъ,—съ густыми нафигеатуренными усами, поставленными торчкомъ, какъ у Вильгельма II, одѣтый съ парижскимъ бульварнымъ „шикомъ“. Рита припомнила, что она не въ первый уже разъ видитъ этого мужчину на томъ же самомъ мѣстѣ. Все показывало, что поклонъ относился къ ней... Но почему?.. Чтѣ за странность?.. Наигранные глаза вспыхнули у нея, сердце стукнуло...

— А вотъ и я, Рита Валеріановна! Вы всегда однѣ. Какъ не скучно вамъ!—раздался въ салонѣ молодой звонкій голосокъ.

— Здравствуйте, Милочка! — отвѣтила Рита, повернувшись и смотря точно съзовъ сонъ на вошедшую.

Предъ нею была стройная, миловидная барышня, богато, но небрежно одѣтая, въ кружевной шляпкѣ съ заломомъ на одну сторону, придававшимъ ухарскій, вызывающій видъ; въ лѣвой рукѣ держала она полузакрытую шолковую сумочку—*sacoché*—съ выглядывавшимъ томикомъ французскаго романа, а въ правой—цѣпочку, на которой шаловливо метался породистый бѣленькій пушистый шнись, вертясь и подсаживая точно на пружинахъ.

— Хорошенькій? Да? Медаль получилъ на выставкѣ,—похвалилась имъ Милочка.

— А левретка?..

— Опять отрѣзали... третьяго дня! — плаксиво произнесла Милочка. И ея продолговатое, какъ бы мальчишеское лицо опечалилось.

Слоняющійся вокругъ „Грандъ-Отеля“, кипящій въ *Café de la Paix*, внизу, характерный сбродъ всего голоднаго, безнравственнаго—отъ коммисіонеровъ и женоподобныхъ хлыщей вплоть до карманниковъ—давно уже устроилъ правильную охоту на богатую, неосторожную иностранку: Милочку отучили прикалывать шляпу золотыми булавами, щеголять драгоценными валансенскими платочками за поясомъ; стоило ей завѣваться предъ окномъ магазина, и ея собачка, обходившаяся ей всегда не въ одну сотню франковъ, мгновенно исчезала... Дерзость хищниковъ дошла однажды до того, что вмѣсто исчезнувшей собачки цѣпочка получила старый башмакъ...

— Будемте чай пить!—сказала Рита.

— Нѣтъ. За мною mademoiselle явится сейчасъ: мы въ Сень-Влу ѣдемъ съ нею.

— Зачѣмъ?

— Гулять въ паркѣ: тамъ тихо, пріятно—какъ въ деревнѣ.

Рита остановила сострадательный взглядъ на юной землячкѣ, кинувшей Пермь ради исканія сельской тишины въ Парижѣ...

Mademoiselle — такъ всегда звали ее — была француженка Мартанъ, гувернантка, а теперь компаньонка Милочки, — обжившаяся въ Россіи авантюристка, перекочевавшая изъ Петербурга въ Сибирь, гдѣ чудились ей щедрые сказочные копатели золота... Она явилась вскорѣ прифрантившаяся, перетянутая, съ нагрешенными губами и съ завитою накладкой на лбу. Съ нею пришелъ и отецъ Милочки, богачъ-пароходчикъ Провофій Демьянычъ Красныхъ — крѣпкій, средняго роста старикъ, съ жесткою, точно проволоочною бородой и съ выраженіемъ суровости на благообразномъ лицѣ, напоминавшемъ лики древняго писанія. Сбитый съ толку модой на все французское, Красныхъ явился въ Парижъ дать окончательный „лоскъ“ своей младшей дочери, Людмилѣ. Но чтò такое этотъ лоскъ и гдѣ собственно даютъ его — оказалось неизвѣстнымъ... Пришлось положиться во всемъ на mademoiselle, съ которою Милочка и стала достигать полировки, скитаясь по бульварнымъ театрамъ, по музеямъ, магазинамъ, кондитерскимъ... Съ добрымъ сердцемъ и очень неглупая отъ природы, но совсѣмъ неразвита и невоспитанная, не подготовленная ни къ чему, она только вспыхивала всякими фантазіями, привыкала къ своевольству и окончательно грубѣла среди отельной и уличной толкотни.

Самъ Красныхъ — имѣвшій переводчицею mademoiselle — не влюбилъ Парижа съ первыхъ же шаговъ въ немъ. Вѣчная оглушительная суета, экипажи, мчащіеся на вершокъ одинъ отъ другого, тротуары безъ спасительныхъ родныхъ тумбъ, — все наводило на него оторопь, держало какъ бы въ оцѣпенѣніи; всѣ спѣшили, какъ на пожаръ; вездѣ надо было проталкиваться, не зѣвать; всюду одолѣвали толкотня, тѣснота... Поднявшись на Эйфелеву башню, осмотрѣвъ дворецъ въ Версали и подивившись не столько на фонтаны, сколько на наѣхавшую ради нихъ отборную публику, онъ засѣлъ въ своемъ отдѣленіи — въ третьемъ этажѣ, окнами во дворъ. Разочаровала и парижская русская церковь: — „Больно ужъ тамъ какъ бы въ театрѣ точно...“ — говорилъ онъ. Присматриваясь къ наполнявшимъ отель, засѣдавшимъ въ кафе москвичамъ и прочимъ соотечественникамъ, онъ заключалъ, со вздохомъ: — „Сколько русскаго народу слоняется

въ Парижѣ-то!..“ — Съ Сучковымъ-отцомъ имѣлъ онъ давнія большія дѣла. Въ виду этого, Осипъ Осипычъ относился къ нему почтительно, хотя на журфиксы въ себѣ не приглашалъ; да старикъ и не понималъ, что это за журфиксы такіе.

Рита вышла проводить Милочку и mademoiselle до экипажа. Старикъ отправился неподалеку, на площадь Комедіи, — въ магазинъ русскихъ кустарей, показывать, попить чайку.

Разставшись съ знакомыми, Рита незамѣтно, уголкою глаза, покосилась на фонарный столбъ: мужчины не было уже видно. Она повернула въ сосѣднюю знаменитую улицу Мира — бросить взглядъ на волшебный чертогъ неподражаемаго Ворта, отъ котораго, несмотря на всѣ подходы къ мужу, у нея не было еще ни трыпочки, полюбоваться фейерверкомъ за зеркальными окнами ювелирныхъ магазиновъ, собирающими предъ собою весь парижскій полусвѣтъ. Позади раздались быстрые, отчетливые шаги... Рита истинно вѣрно угадала, что это — онъ, и остановилась предъ первымъ встрѣтившимся магазиннымъ окномъ.

Она не ошиблась: рядомъ съ нею отразились въ стеклѣ панана и оливковое лицо брюнета, смотрѣвшаго на экраны.

— Маркизь Вуаврѣ-де-Шарлевиль... — слышался его мѣрный шопотъ. — Одну минуту вниманія... одинъ неоцѣненный взглядъ вашъ...

— Я не знаю васъ... — прошептала Рита, не поднимая головы.

— Это не моя вина... Я жажду случая встрѣтиться съ вами въ свѣтѣ... Нѣтъ такой большой гостини, въ которой я не искалъ бы васъ... Но вы... вы хотите быть затворницей, невидимкой... Вы изъ отеля не выходите...

— Я буду выѣзжать потомъ... зимою...

— Это — вѣчность... Одинъ... одинъ милый взглядъ вашъ теперь, сейчасъ... Умоляю васъ...

Рита, съ видомъ застѣнчивости, подняла на него и тутъ же опустила засвѣтившіеся наигранные глаза.

Когда потомъ покосилась она, брюнета уже не было. Около нея трещали, какъ канарейки, двѣ прехорошенькія „мидинетки“ — быть можетъ, изъ мастерской самого Ворта, — зарясь на сверкавшія колечки и сережки, ждавшія ихъ въ будущемъ...

X.

Четвертый этажъ отеля почти сплошь населяли русскіе всякаго званія и состоянія, слывшіе въ конторѣ подъ общимъ име-

немъ: „los boyards moscovites“. Рѣдкій вставалъ тутъ раньше полудня и никто не имѣлъ опредѣленнаго часа ѣды, ухода, возвращенія. Прислуга совѣмъ не убирала комнату, была какъ бы въ меланхоли и огрызалась.

Между собою соотечественники не знали, относясь одинъ къ другому съ вакою-то предвзятою подозрительностью, и каждый, сумрачно и скрытно, „гналъ свою линію“...

Отдѣленіе съ единственнымъ въ корридорѣ салономъ занимала провинціальная дворянская семья. Мать, всегда густо напудренная и въ криво-сидѣвшемъ рыжемъ парикѣ, отуманенная дипломатичностью на русскихъ журфиксахъ въ улицѣ Дарю, высокоомѣрно отдавала приказанія не внимавшимъ ей горничнымъ, дѣлала неустанно визиты и тщетно ждала отвѣтныхъ... Отецъ, съ припиленнымъ къ лацкану скюртува владимірскимъ крестомъ въ натуральную величину, а сынъ, не разстававшійся съ студентскою фуражкой и шинелью, имѣли, повидимому, миссіей доказать превосходство самодержавія предъ республиканизмомъ, — о чемъ и препирались, при всякомъ случаѣ, съ гарсонами...

Ихъ политическою противоположностью былъ, проживавшій чрезъ комнату, полный и рыхлый фабрикантъ изъ Иванова-Вознесенска — крайній демократъ, катившійся по наклонной плоскости прямо въ „эсъ-эры“. Въ Парижъ явился онъ, чтобъ переговорить съ видными „лѣвыми“ и все выяснить. Онъ хлопоталъ настойчиво и всюду. Былъ найденъ случай позавтракать въ демократическомъ ресторанчикѣ, въ Пасси, въ то самое время, когда тамъ завтракалъ, по старой памяти, самъ Жоресъ. Были заведены знакомства съ дамами, къ которымъ вошли многие депутаты. Но древній рокъ, застрявшій въ Лютеціи, ставилъ и ставилъ преграды... Въ домахъ имѣлось правиломъ: — „Pas de politique!“ — и всякій опасался прислуги... Въ кафе, оказывалось, говорить о политикѣ только шпіоны; въ садахъ и прочихъ вечернихъ пристанищахъ все, кромѣ положенныхъ легкихъ разговоровъ, считалось „ridicule“... Недоумѣвая, когда же и гдѣ волнуются, спорятъ, кричатъ всемірные политиканы, фабрикантъ налегалъ на ужины, спалъ до полудня, а пробудившись и торопясь одѣться, поднималъ трезвонъ на весь корридоръ, вызывая точно вымершую прислугу...

Рядомъ съ нимъ ютился, точно кротъ въ норѣ, ублюдо знатнаго російскаго рода, — хилый, безвременно оплѣшившій кавалеръ съ военною выправкой, одѣтый всегда по картинкѣ въ чистѣйшемъ женскомъ рукавчикѣ на тонкой шеѣ, съ яр-

бабочкой подь нимъ. Озаренный геніальною мыслью обновить захудавшій родъ и навестать уплывшія вотчины, онъ весь уходилъ въ штудированіе газетныхъ объявленій, подь рубрикою: „Mariages“, и велъ должную переписку. Не проходило дня, чтобъ онъ не спѣшилъ на свиданіе въ Тюльерійскій садъ или въ залу „des pas perdus“ сосѣдняго вокзала St. Lazare. Въ отельномъ Café de la Paix велись имъ переговоры со свахами, съ спеціальными ростовщиками „подь будущее“. Но милліонныя невѣсты, даже и съ объявленнымъ порочкомъ на чести (la tache), оказывались журавлями въ небѣ; свахи и ростовщики вытягивали послѣдніе франки на „предварительные расходы“; а недремлющій Фродъ неуклонно приставалъ каждую недѣлю съ аптекарскимъ счетомъ, точно съ ножомъ къ горлу...

Не большую удачу испытывалъ и помѣщавшійся vis-à-vis дворянинъ-археологъ. Онъ собралъ наполнѣйшую коллекцію кичекъ, сапогъ, шапокъ, бусъ, серегъ, колець, фартуковъ, сарафановъ, полотенець, — рисовавшую историческій укладъ пѣлаго сергачскаго уѣзда. Все это размѣщалось у него на стѣнахъ, на комодѣ, на стульчикахъ, на диванчикѣ, наполняло ящики, сундуки на полу и назначалось во французскій или американскій музей. Въ охотникахъ недостатка не предполагалось, да и желалъ археологъ немногаго — только восемь-сотъ тысячъ франковъ, выключая гербовые и прочіе расходы... Вояжъ предпринялъ онъ, имѣя капиталомъ мысль: — „Даль бы Господь до Парижа добратся, а ужъ тамъ не безъ добрыхъ людей!“ — Но время шло, а люди эти какъ-то все не подвертывались... Не умѣя и въ зубъ толкнуть по-французски, онъ напалъ въ кафе на соотечественниковъ-коммиссіонеровъ и бойко погналъ свою линію, предвкушая авансы, шумъ въ газетахъ... Мечта общала сбыться, а потомъ, какъ-то вдругъ, все свелось къ обязательству — не двигаться шесть мѣсяцевъ съ мѣста, ждать американцевъ... Каждое утро трещалъ телефонный вызовъ. Археологъ стереотипно спрашивалъ: — „Кто у телефона?“ — У телефона неизмѣнно оказывался одинъ изъ коммиссіонеровъ, такъ же неизмѣнно извѣщавшій, что дѣло въ полномъ ходу, что американцевъ слѣдуетъ ждать съ часу на часъ. Обозленный археологъ принимался шагать по комнатамъ, кружась какъ тигръ въ клеткѣ, обильно дымя дрянными французскими папиросами... А недѣли и льзали. Неумолимый Фродъ грозилъ прислать судебного присява...

Дальше слѣдовала серія невѣдомыхъ россіянъ: ихъ никто и тогда не видѣлъ; вычищенная мужская и дамская обувь оста-

вдалась по цѣлымъ днямъ передъ дверями ихъ комнатъ; въ сумеркахъ они исчезали, а ночью, возвращаясь, возились, точно домовые, съ подъемною машиной...

Особенно выдававшаяся фигурой былъ обитатель угловой комнаты съ двумя кроватами, богачъ-типографчикъ Чуриловъ, — мужчина высокаго роста, съ огромными усами, жилистый и нескладный. Отважный черносотенецъ, онъ въ Москвѣ самолично носилъ „знамя“ и танулъ, вслѣдъ за хоромъ, басомъ: — „По-бѣ-э-эды на су-про-тив-ныя...“ Насладиться въ Парижѣ было его давнею мечтой. Рѣшивъ „ватнуть“, онъ, при помощи студента, тоже черносотенца, старательно затвердилъ по книжечкѣ надобные французскіе разговоры. Несовершенства были: вмѣсто „parier-mâché“, выходило у него „parier-ma chère“; въ „visite de digestion“ — мысленно уже наносившійся радушнымъ, гостепримнымъ парижанамъ — вскакивало совсѣмъ несуразное: „dèjection“... Но въ общемъ чувствовалъ онъ себя хоть куда. Въ вагонѣ онъ велъ себя съ попутчиками точно подлинный французъ. Во французскихъ желѣзнодорожныхъ буфетахъ, не довольствуясь мизерными рюмочками, онъ настойчиво требовалъ себѣ „гранъ птиверъ“... Все шло какъ по маслу, вплоть до Парижа; а тамъ — и именно въ самый день водворенія въ славномъ „Грандъ-Отелѣ“ — началось чистое волшебство... При вопросѣ объ имени-фамилиі Чуриловъ обстоятельно объяснилъ, что онъ — такой-то, „ортодоксъ“, „марье“ и пріѣхалъ въ прекрасный Парижъ на цѣлыхъ два мѣсяца. Все это принято было „en considération“ — какъ объявилъ подручный Фрода, имѣвшій за однимъ ухомъ карандашъ, а за другимъ папироску, — но комнату отвели, почему-то, съ двумя кроватами, да еще, какъ оказалось потомъ, укрѣпили ее, по книгамъ, на всѣ два мѣсяца... Показать себя столицѣ міра вышелъ онъ съ самымъ вольнымъ духомъ, съ бравымъ видомъ, точно сами парижскіе квартальные ему ни почемъ... и вдругъ — съ первыхъ же словъ въ бульварной пивной, куда завернулъ онъ утолить жажду, — измъз во рту у него сдѣлался какимъ-то суюннымъ, чужимъ точно; отъ затверженнаго остались въ головѣ какіе-то сумбурные обрывки. Дуракъ-дуракомъ показался онъ самъ себѣ передъ бойкимъ, франтоватымъ гарсономъ, передъ накрашенною конторщицей... Забывъ въ которую сторону слѣдуетъ двинуться, онъ взялъ извозчика и приказалъ ему везти себя, вмѣсто „Грандъ-Отеля“, въ какой-т непонятный „кафе-отель“... Красный, растерянный, охваченны нервнымъ перепугомъ, вернулся онъ къ себѣ и впалъ въ хандру. Бѣда была поправима: перебивавшіеся „издѣльно“ да еще обр

заные платить конторѣ, отельные переводчики жаждали стать предъ каждымъ, какъ листъ передъ травой; переводчики контрабандные, точно нюхомъ чувшіе всякаго русака, ухватывали Чурилова за фалды, едва показывался онъ на тротуарѣ... Но не это надобилось возмечтавшему черносотенцу; да и тянуло его не въ такія мѣста, гдѣ можно было бы „допускать чужой глазъ“, изъясняться чужимъ языкомъ... Сухощавый, но необычайно падкій на ѣду, одѣтый во все новое, въ перчаткахъ цвѣта варенаго рака и въ узѣйшихъ панталонахъ, изъ-подъ которыхъ выпячивались голенища русскихъ сапогъ, Чуриловъ сталъ коротать время въ отельномъ ресторанѣ, въ барѣ, за столиками на тротуарѣ предъ Café de la Paix, — присматриваясь къ прибывавшимъ соотечественникамъ. Умѣло намѣтивъ подходящаго компаньона, онъ подсаживался къ нему и произносилъ: — „Рюсю? Моя осси“. — Знакомство завязывалось, и воспринявшій черносотенецъ начиналъ исчезать съ утра до утра...

ХІ.

Ермилъ Кондратьичъ Щербаковъ помѣщался въ томъ же четвертомъ этажѣ. На столѣ у него, кромѣ обычныхъ русскихъ счетовъ съ цвѣтными костяшками, не повидавшихъ его и при заграничныхъ вояжахъ, были теперь газеты, брошюры, книжки, проспектусы, — все по тѣлому и красивому дѣлу.

Перельманъ — худенькій, черненькій и носатый — работалъ усердно, переводилъ, втолковывалъ, велъ переписку. Состоя экстерномъ въ отдаленномъ парижскомъ госпиталѣ (часть съ четвертью ходьбы изъ Латинскаго квартала), онъ получалъ тридцать франковъ въ мѣсяцъ „разѣздныхъ“, на которые и ухитрялся существовать. Свалившійся съ неба нешуточный заработокъ казался ему настоящею золотою россыпью. За какія-нибудь двѣ недѣли онъ успѣлъ совсѣмъ опериться — сталъ пристегивать въ фланелевой фуфайкѣ огромные модные воротнички, купилъ чудеснѣйшіе полосатые панталоны въ базарѣ „Hôtel de Ville“, одѣвающимъ латиноквартальцевъ, завелъ цилиндръ, оказавшійся великоватымъ нѣскольکو и сползавшій на уши.

Осмотрѣны были заведенія наипервѣйшихъ фирмъ, въ Пакѣ и въ окрестностяхъ; изъ книжекъ и брошюръ выбрано все новѣйшее. А Щербаковъ только хмурился больше и чѣше да ворчалъ:

— Чтѣ они по заламъ да корридорамъ таскаютъ насъ!..

Вишь, невидаль какая!.. Они покажи — въ чемъ суть, дѣло-то самое!.. Въ книжкахъ антимонію одну разводять!.. Нѣтъ ли такой, чтобъ явственно объясняла—какъ и что дѣлается?

Но французы, даже при спеціальному директорскому дозволеніи, дальше залъ и корридоровъ не пускали; книжки, открывающей секреты, не находилось.

Усердствовавшій Перельманъ, добывъ съ неописуемымъ трудомъ „пистоны“ отъ профессоровъ, ископотаъ дозволеніе на осмотръ красочнаго отдѣленія знаменитой фабрики гобеленовъ. Но Щербаковъ и тутъ проворчалъ:

— Дѣла-то настоящаго не кажутъ, шельмецы...

Бесѣдуя потомъ въ барѣ, онъ сказалъ Перельману:

— Побывайте вы завтра на этой фабрикѣ ихней и приведите сюда мастера изъ красильни... Мы тутъ поговоримъ съ нимъ...

Перельманъ обѣщалъ.

Дома, сообразивъ, что затѣвается ни больше, ни меньше, какъ подкупъ служащаго—да еще правительственнаго, на казенной фабрикѣ,—онъ перепугался на смерть и поспѣшилъ отправить телеграмму предприимчивому патрону, отговариваясь госпитальнымъ недосугомъ.

Увѣрившись, что съ французами „пива не сварить“, Щербаковъ оставилъ дѣла и сталъ жить „въ свое удовольствіе“. Напوماженный, въ моднѣйшемъ вестонѣ съ перехватомъ, въ бѣломъ жилетѣ, увѣшанномъ цѣпочками и брелочками, онъ смѣло лѣзъ впередъ на скачкахъ, на выставкахъ; забирался въ первѣйшіе рестораны и дивилъ публику, опоражнивая стаканчики коньяку передъ обѣдомъ, начиная шампанское съ перваго блюда...

Идиллію портило только высокоомѣріе Сучкова, не думавшаго отдавать обѣщанный визитъ. Проходя мимо дверей салона, бросая взглядъ на распитаго галунами Альбера, дежурившаго на скамьѣ, Щербаковъ всякій разъ пронизировалъ мысленно, по адресу господина:— „Фу ты, ну ты! Знай нашихъ: голой рукой не тронь!..“—и даже радовался, что не встрѣчается больше съ новоявленнымъ аристократомъ.

Встрѣтиться, однако, случилось.

Земляки столкнулись носомъ къ носу въ модномъ ресторанѣ „Pré Catelan“, въ Булонскомъ Лѣсу. Сучковъ былъ подъ-ручку съ Ритой и заговорилъ первый.

— Я къ вамъ непремѣнно, Ермилъ Кондратьичъ... на этихъ же дняхъ-съ...—началъ онъ, выражая тончайшую любезность на свѣже-выбритомъ лицѣ.

— Да не надо! — перебилъ Щербатовъ, не кланяясь ни ему, ни Ритѣ. — Не знаю только, для чего вельможество-то этокое брать на себя! Если науки вамъ дадены всякія да по модному пущены въ Осипомъ Аениногеновичемъ, такъ у меня такихъ-то, какъ вы, трое своихъ! Оедьку въ горномъ выправили мнѣ — въ пять тысячъ за одну зиму обошелся! Степка — у нѣмцевъ, а потомъ въ Америку пошлю еще! Антошка — въ юристикѣ, — чай, помните его!..

Сучковъ обомлѣлъ, не зная, какъ выпутаться, и поспѣшилъ утѣнуться въ карту блюдо.

ХІІ.

Со времени разговора съ маркизомъ, Рита замѣтно ожила и повеселѣла.

Они стали видѣться почти каждый день; иногда не одинъ разъ на дню. Рита пользовалась всякимъ случаемъ „выбѣжать“, постоять передъ магазинными окнами въ улицѣ Мира, на бульварѣ Гаусмана или Магдалины. Знакомые уже теперь шаги раздавались тотчасъ же вслѣдъ за нею и у перваго свободного отъ любопытныхъ окна начинался шопоть... Рита замѣтила, что маркизъ имѣетъ свой наблюдательный постъ въ отельномъ барѣ. Она замѣтила также, что руки у него совсѣмъ грубыя, съ крѣчюватыми пальцами, — самый спортсменскій „шикъ“... Фамилія маркизовъ Вуаврѣ-де-Шарлевиль казалась ей знакомою, слышанною давно. Говорилъ маркизъ всегда очень мало и безъ изысканностей, но его шопоть такъ и жегъ ее, такъ и бѣжалъ по нервамъ... Случалось, что онъ исчезалъ совсѣмъ вдругъ, не докончивъ даже фразы, — замѣтивъ, вѣроятно, въ публикѣ кого-нибудь изъ своихъ знакомыхъ... Эта предусмотрительная осторожность нравилась Ритѣ и укрѣпляла смѣлость въ ней: — „Такой мужчина не скомпрометируетъ“... — соображала она.

Нѣсколько дней тому назадъ, маркизъ появился въ автомобильѣ, которымъ управлялъ шауффеи — въ странномъ картузѣ, въ большихъ сѣтчатыхъ наглазникахъ, и Рита стала узнавать о присутствіи поклонника по его автомобилю, занимавшему всегда чѣсто у тротуара — какъ разъ подъ окнами салона.

Въ первый же день этого появленія, маркизъ пропустилъ Риту далеко по бульвару Гаусмана. Онъ нагналъ ее, въ автомобильѣ, около пустынной узенькой улицы, и они впервые заговорили тамъ громко.

— Счастью моему нѣтъ мѣры... Благодарю васъ! — сталъ изливаться маркизъ, сжимая ея руку. — Наши свѣтскіе обычаи требуютъ быть въ это время года гдѣ-нибудь... въ курортахъ... въ Монте-Карло... Я—холостякъ... Мать и сестра уѣхали уже... ждутъ меня... Но мнѣ... удовольствіе тамъ только, гдѣ вы... Замокъ мой почти подъ самымъ Парижемъ... Если бы вы... если бы я могъ надѣяться увидѣть васъ въ моемъ замкѣ... на одну минуту... на мгновенье одно!..

Онъ потянулъ ее за руку къ автомобилю.

— Нѣтъ, мнѣ невозможно... теперь... Я скажу вамъ... потомъ...—пролепетала взволнованная Рита.

Съ этого дня, при встрѣчахъ, маркизъ только и шепталъ:

— Когда же?.. когда?..

XIII.

Выискать случай для такой отлучки было нелегко.

Рита понимала, что должны означать на языкѣ любви „минута, мгновенье“, да не хотѣла и сама ограничиваться прозаическою краткостью... Она стала терпѣливо перебирать въ головѣ способы, стала выжидать. Все существо ея трепетало чѣмъ-то новымъ, неизвѣданнымъ при замужествѣ и наполнявшимъ, захватывавшимъ теперь...— „Вотъ онъ, настоящій-то Парижъ, начинается!“ — восхищенно думала она. Впадая въ незнакомый прежде лиризмъ, она проводила цѣлые часы за пианино, находила какъ бы отравленіе въ музыкѣ, чувствуя ее, постигая... На пиюитрѣ у нея появилась, слышанная въ русскихъ классическихкихъ концертахъ въ Парижѣ, Сврябинская „Поэма экстаза“, съ текстомъ женевскаго изданія. Углубляясь проснувшимся вниманіемъ въ недоступное, она точно въ душѣ у себя читала:

„Духъ,
 Жаждой жизни окрыленный,
 Увлекается въ полеть
 На высоты отрицанья.
 Тамъ въ лучахъ его мечты
 Возникаетъ міръ волшебный
 Дивныхъ образовъ и чувствъ.
 Духъ играющій,
 Духъ желвющій“...

И тутъ же, подъ звуки мѣнявшихся аккордовъ, ее пугалъ точно пророческое:

„Но внезапно...
 Предчувствія мрачнаго
 Ритмы тревожныя
 Въ міръ очарованный
 Грубо врываются“...

Порою нападала сладостная, расслабляющая истома. Рита начинала мечтать, бродя по салону, потягиваясь... Предъ ней вставали безрадостные годы дѣтства, съ архаическимъ свѣтскимъ муштромъ, съ семейными дразгами, со скарденостью — удѣломъ „позолоченной нищеты“... вставало время сформировавшейся дѣвической мысли, рвавшейся и сводившейся къ одному—влюбить въ себя богатаго жениха, пожертвовать всѣмъ, всѣмъ, чтобы получить возможность „пожить“... И эта „жизнь“—съ развертывавшимся въ воображеніи „Парижемъ“, съ будущими плѣнительными поѣздками въ замокъ маркиза, — вспыхивала предъ нею фейервергомъ; досада, что нѣтъ еще случая вырваться, доводила почти до слезъ...

Во время одного изъ такихъ мечтаній, между завтракомъ и обѣдомъ, явилась Милочка.

Она замѣтно похудѣла за послѣдніе дни, и черты ея мальчишескаго лица какъ бы обострились; въ глазахъ свѣтилась какая-то скрытая смѣлость... Бросивъ на стулъ шляпку, перчатки и опустившись въ кресло, она заговорила, держась, видимо, мыслями въ чемъ-то другомъ:

— Жара... скука... тоска!.. Думала въ Сень-Клу поѣхать—mademoiselle раскапризничалась: зубы, видите ли, болятъ у нея—когда они вставные!.. Хочетъ, чтобы я накидку подарила ей... вчера, въ магазинѣ, подговаривалась... Завтра куплю—чортъ съ ней! Противно только, что всякій разъ догадываться надо, отчего нашло на нее!.. Ликеръ есть у васъ какой-нибудь?..

— Выпьемте шампанскаго! Хотите?—предложила Рита, чувствуя и сама желаніе „кутнуть“, забыться.

Милочка кивнула утвердительно головой.

Онѣ усѣлись за японскимъ столикомъ, въ затѣненномъ углу. Милочка стала опоражнивать стаканчики совсѣмъ по-мужски, но только впадала въ бѣдшую задумчивость.

— У васъ, должно быть, тутъ что-нибудь, Милочка,—про-
 1. орила Рита, ткнувъ себя пальчикомъ въ лѣвую сторону груди.
 Милочка хихикнула, но не сказала ничего.

XIV.

Наступившій журфивесъ Сучковыхъ оказался, сверхъ обыкновенія, довольно многолюднымъ и оживленнымъ; присутствовали даже двѣ дамы — только-что прибывшія москвички. Рита — вся въ бѣломъ кашемирѣ, въ блондахъ и лентахъ — хозяйничала за чайнымъ столомъ.

Московскій придворный адвокатъ, всегда рассказывавшій на-ухо такіе анекдоты, что самыхъ записныхъ согрег'овъ бросало въ краску, оставался безъ практики.

Настоящій разговоръ все-таки не налаживался.

Круглолицый выхоленный брюнетъ, одѣтый съ иголочки, — статскій „усоносъ“, старавшійся казаться французомъ, возмущалъ русской внутренней политики. Онъ бывалъ на извѣстныхъ русскихъ парижскихъ „вторникахъ“, участвовалъ въ періодическихъ франко-русскихъ обѣдахъ, происходившихъ въ глубинѣ отдѣльных кабинетовъ Café de la Paix; въ этому и случай былъ подходящий: изъ Россіи начинался „пролетъ“ черезъ Парижъ въ Виши всего „освѣдомленнаго“, появлявшагося неизмѣнно на „вторникахъ“. Новости обѣщали быть животрепещущими, интересными. Но хозяйинъ, почитавшій себя ультра-правымъ, поспѣшилъ замять „щекотливый“ разговоръ.

Старый и жирный, съ крупными вставными зубами, парижскій старожилъ-россіянинъ — страстный собиратель рѣдкостей... по дешевой цѣнѣ — началъ разговоръ о художествѣ, и — значительно умолкъ, поддержанный только хозяйномъ.

Болѣе счастливымъ оказался „второй Ротшильдъ“ — русский „восточный человекъ“, очень молодежавшій на видъ и съ умными карими глазами, любившій спортъ и владѣвшій талисманомъ — брать свое у дамъ не мытьемъ, такъ катаньемъ... Онъ выдвинулъ на сцену автомобили, пловцовъ, велосипедистовъ...

Это заняло всѣхъ. Даже дамы-москвички, стѣснявшіяся въ незнакомомъ обществѣ, стали говорить на-перебой.

— Послѣ-завтра автомобильная гонка въ департаментѣ нижней Сены. Не устроить ли пивнень — въ Руанѣ, на банкетъ? — предложилъ пожилой русскій парижанинъ, имѣвшій съ собственнй „auto“, одно содержаніе котораго стоило 800 ф въ мѣсяцъ, и не знавшій, что дѣлать съ нимъ.

— Прекрасная мысль! Мой шестимѣстный, очень покойн „auto“ — къ услугамъ дамъ! — поддержалъ восточный человекъ

обращаясь къ москвичкамъ.—Нельзя представить себѣ большаго удовольствія, какъ мчаться по прямой, ровной, всегда исправной дорогѣ... на „Дарракъ“, напримѣръ, глотающемъ сто километровъ въ часъ!

— „Дарракъ“—что говорить!—Ну и „Мерседесъ“ тоже!—А „Діонъ“?—Далеко до „Даррава“!—раздались возгласы знатоковъ.

— И, собственно, не мчишься, не ѣдешь, — продолжалъ, съ пафосомъ, восточный человѣкъ, — а плывешь, летишь... упоенъ чѣмъ-то непостижимымъ, безмѣрнымъ... отрѣшаешься отъ земного... Особое... неописуемое наслажденіе... восторгъ будущаго!

Соблазнить назначалось не москвичекъ, а Риту, не державшую въ секретѣ своихъ сѣтованій на домоѣдство. Она чувствовала это, уловивъ особенную, вѣсколю приподнятую, нотку голоса, и внутренно жаждала помчаться, упиться, но сохраняла равнодушный видъ.

— Жаль, что не для меня восторгъ этотъ... — промолвила она.

— Почему?! — воскликнулъ ораторъ, вида перепутанными самья вѣрныя соображенія.

— Я только боялась бы, мнѣ кажется... За меня Joseph поѣдетъ...

Сучковъ поблагодарилъ разсудительную жену длительнымъ умильнымъ взглядомъ.

Пикникъ затѣвался широкій: до Руана было не близко; а богатѣйшій, веселящійся синдикатъ французскихъ автомобилистовъ не занимался шуточными банкетами. Желающихъ, начиная съ хозяина, нашлось достаточно. Чтобы получить мѣста, слѣдовало телеграфировать заранѣе.хлопоты принялъ на себя восточный человѣкъ—членъ автомобильнаго, желѣзнодорожнаго и чуть не всѣхъ прочихъ клубовъ.

XV.

На утро Сучковъ отправился узнать объ окончательномъ планѣ дѣйствій и времени выѣзда.

На Риту напало нервное, нетерпѣливое безпокойство. Она хорошо знала, что у русскихъ все, почему-то, разстраивается въ послѣдній моментъ, и лихорадочно ждала мужа — чтобы выйти съ отвѣтомъ къ маркизу. Его „auto“ — весь красный,

какъ будто только-что передавившій цѣлую уйму всякихъ пѣшеходовъ, — стоялъ, по обыкновенію, около тротуара. Онъ и гудѣлъ, и трясся, и храпѣлъ, точно раздраженное чудовище. Длинный и узкій, на низенькихъ неуклюжихъ колесахъ, онъ и съ виду походилъ на чудовище; а впереди торчали у него два толстыхъ рожна съ фонарями-глазницами. — „Это, должно быть, онъ и есть... „Дарракъ“... что „глотаешь“ километры... о которомъ толковали они вчера... Да, не чета нашей кареткѣ-сіленсіеизе отъ автомобильщика, ползающей, какъ черепаха... Въ такомъ стоитъ провайтаться!“ — стала думать Рита, отвернувъ краешекъ оконной занавѣски и взглядываясь.

Сучковъ вернулся не скоро, но съ хорошими вѣстями.

Пикникъ не разстроился. Телеграммы полетѣли и въ „бюро“ банкета, и въ первоклассный руанскій отель — съ заказомъ комнатъ. Выѣхать слѣдовало рано утромъ. Надо было полагать, что отъ русскихъ автомобилистовъ устроится что-нибудь отвѣтное французскимъ собратьямъ, за радушный приемъ... Потребоваться на все это могло сутокъ трое... четверо...

Сборы начались немедленно. Изъ сосѣдняго спеціального базара „The Sport“ вытребованъ былъ по телефону на выборъ цѣлый ворохъ спортсменской всякой всячины. Засуетились горничная, Альберъ... Рита отправилась сама сдѣлать мужу запасъ сигаръ на дорогу...

Приостановившись у окна отдельной табачной лавочки, она прошептала очутившемуся около нея маркизу:

— Завтра... утромъ...

XVI.

Утро наступило ясное, восхитительное.

Разбуженная супругомъ, Рита не могла уже больше заснуть, и длинными, длинными, казались ей тянувшися лѣниво минуты...

Послѣ „breakfast“, въ десятомъ часу, увидѣвъ предъ окнами красное чудовище, она стала мыться, душиться, причесываться... Прикомандированная къ отдѣленію, продувная горничная Адель — та, что свидѣтельствовала предъ комиссаромъ, — точно провайтала для чего прихорашивается мадамѣ, проводившая мужа, раскрывала, въ совѣтахъ, цѣлый міръ женскихъ туалетныхъ тайнъ никогда и не снявшихся московской Венерѣ... — „Завтрака разумѣется, придется въ замкѣ уже... tête-à-tête... или, гжалуй, въ крошечной, уютной комнаткѣ какого-нибудь загор

наго трактирчика, увитаго плющемъ и виноградными лозами... какъ описывала Татьяна Марковна...“ — думала Рита, надѣвая лучшіе шелка, кружева... Не желая ударить въ грязь лицомъ хотя бы предъ Альберами и Аделями замка, — маркизъ привыкъ уже видѣть ее въ должномъ блескѣ, — она надѣла на бѣлую атласистую шею нити жемчуга съ брилліантовымъ фермуаромъ; сколола откидной воротничокъ ажурной батистовой шемизетки яхонтовою брошкой; раскинула по пышному, изящному бюсту золотую часовую цѣпочку, пересыпанную опалами и жемчужинами.

Наполнивъ затѣмъ всеѣмъ надобнымъ — отъ платочка до пудры и зеркальца — кольчатую золотую *сасосхе*, убранную бирюзой, она взяла ее манерно въ узванные кольца и браслетами ручки и вышла.

На отельномъ „парадномъ“ дворѣ, величиною съ чайную скатерть, три цинковыя нимфы, улыбаясь пыльному чахлomu подобію перистыхъ пальмъ, шалили, брызгаясь струйками затхлой воды... Съ ближайшей колокольни доносилось, по случаю какаго-то католическаго праздника, завываніе колокола, точно плававшего подъ неравными ударами била... По тротуару тянулись къ обѣднѣ толпы парижанъ и парижанокъ, какъ бы и не слыжавшихъ объ отдѣленіи церкви отъ государства... Около матерей виднѣлись фигурки тощихъ, малорослыхъ дѣвочекъ, одѣтыхъ во все бѣлое, и мальчиговъ въ черныхъ курткахъ съ бѣлыми шолковыми бантами на лѣвомъ рукавѣ, — назначенныхъ принять „первое приращеніе“...

Не зная, въ которой сторонѣ замокъ, Рита повернула къ знакомому бульвару Гаусмана. Автомобиль настигъ ее вскорѣ, принявъ на свое жесткое клеенчатое сидѣнье и завизжалъ, зафырчалъ, уносясь въ даль...

Мгновенно остались позади Нельи, парижскія фортификаціи, Сена... Открылось прямое, гладкое шоссе съ полосками полей и грядами земляники по сторонамъ... Кругомъ царил тишина и обычное праздничное безлюдье. Сгорбившаяся фигура *chauffeur'a* то выступала изъ метавшагося надъ „auto“ облака пыли, то скрывалась совсѣмъ. Легонькая шолковая *cache-poussière* Риты надувалась, точно воздушный шаръ...

— Далеко вашъ замокъ? — проговорила она, наслаждаясь ею сложною прелестью приключенія.

— Гм... такъ... на полчаса... — промолвилъ маркизъ.

Его длинная жилистая рука обвила талію Риты; крючковые пальцы впились въ упругій бокъ... нафигсатуренные усы

прижались къ ароматной, низко-открытой шеѣ... Наступила рѣшительная—безмолвная, но все говорящая минута...

„Auto“ вдругъ завылъ, задрезжалъ и пошелъ тише... Chauffeur обернулся, оставивъ на влюбленныхъ свои странные наглазники...

— Эй, ты... libidineux!.. — раздался его рѣзкій, скрипучій голосъ.—Дѣлать, такъ одно что-нибудь!

— Stop!—отвѣтилъ марквизъ.

Въ то же мгновенье руки Риты очутились каждая въ его крючковатыхъ пальцахъ, а ногою, точно багромъ, зацѣпилъ онъ ея ноги... Обезумѣвшая Рита собралась крикнуть, но раскрывшійся прелестный ротикъ ея забила тряпкой рука chauffeur'a...

Перескочивъ затѣмъ въ „auto“, chauffeur ловко и съ изумительною быстротою очистилъ Риту отъ всѣхъ ея драгоценностей, вплоть до обручальнаго колечка... Въ ту же минуту марквизъ, съ еще болѣею ловкостью, перевалилъ ее, при помощи колѣна, черезъ край „auto“, и она покатила въ пыль, а потомъ на жесткую, короткую траву...

XVII.

Когда Рита поднялась и оправилась, „auto“ мелькалъ уже, неяснымъ пыльнымъ пятномъ, на горизонтѣ.

Въ первую минуту воображеніе отказывалось охватить, усвоить случившееся, казавшееся какъ бы шуткою. Потомъ все вдругъ кинулось въ сознаніе, и Рита готова была помѣшаться, еслибъ не хлынули спасительныя слезы... Съ присущею женщинѣ способностью быстро ориентироваться, выходить изъ бѣды, она стала соображать, взвѣшивать обстоятельства... Прежде всего требовалось добраться до Парижа. Километровъ—судя по окружавшей, совсѣмъ сельской мѣстности — „проглочено“ было немало. Не видѣлось ни желѣзной дороги, ни рельсовъ трамвая; не было видно и Парижа, врывшагося за далекою золотистотуманною дымкою. Рита двинулась въ путь, держась пѣшеходной, не такъ пыльной тропинки, питая надежду встрѣтить извозчика. Высокіе, фигурные каблучки ея парижскихъ ботинокъ мѣшали идти, заставляя подвертываться ноги; туго-стянутый корсетъ оставивалъ дыханіе. Въ карманѣ, подъ шоловою юбкой, уцѣлѣлъ у нея кошелекъ съ нѣсколькими сотнями франковъ, и она готова была отдать ихъ всѣ за стаканъ воды, чтобъ утолить подступившую невыносимую жажду...

Показались грядки, рдѣвшія кучками крупной, сочной клубники. Но купить было не у кого: весь людъ считался, по случаю праздника, въ Парижѣ или короталъ время въ окружающихъ деревенскихъ кабачкахъ. Безжалостно пачкая свои бѣлыя лайковые перчатки по-локоть, Рита набрала горсть ягодокъ и присѣла съ ними на раскалившійся отъ зною придорожный камень.

Минуя ряды дачъ, группы крестьянскихъ домиковъ, выбирая наугадъ которую-нибудь изъ разбѣгавшихся дорогъ, Рита очутилась предъ люднымъ, кипѣвшимъ по-праздничному, городкомъ. Это была сосѣдняя съ Булонскимъ Лѣсомъ Сюрень. На Национальной дорогѣ, пролегавшей вдоль берега Сены, гулялъ мелкій парижскій людъ, показывая свои праздничные наряды; стояли, вытянувшись въ линію, извозчики экипажи.

Рита сѣла въ первый попавшійся, чувствуя, какъ ноетъ у нея все—до послѣдней косточки, и приказала везти себя въ „Грандъ-Отель“.

— Vite!—сказала она, вздохнувъ судорожно и глубоко.

Толстый, краснолицый извозчикъ, въ гороховой ливреѣ и бѣлой лакированной шляпѣ, отчаянно захопалъ бичомъ надъ ушами своей рыженькой тощей „cocotte“, и она кинулась со всѣхъ трехъ ногъ...

XVIII.

Около церкви Магдалины Рита отпустила извозчика и пошла пѣшкомъ, раздумывая... Бульварные пневматическіе часы показывали только три. Рита сообразила, что явиться въ ея истерзанномъ видѣ, безъ драгоценностей, предъ лицо пытливой, смѣтливой Адели, значить—выдать себя головой... Ключи отъ отдѣленія должны были находиться, по правиламъ отеля, въ „bureau des surveillants“, на парадномъ дворѣ, и ихъ можно было взять тамъ, не обративъ на себя вниманія; а чтобы пробраться незамѣтно въ комнаты, слѣдовало дождаться четырехъ часовъ, когда горничныя отправляются совершать свой неизмѣнный французскій „goûté“, а Альберъ, кромѣ того,—щипать ихъ...

Обсудивъ это, Рита направилась медленно по большимъ бульварамъ — по Итальянскому, Монмартрскому, кипѣвшимъ праздничною веселою суетою. Растерянный видъ, криво сидѣвшая запыленная шляпа рѣшетомъ—останавливали на Ритѣ вниманіе любопытныхъ парижанъ. Двое сыщиковъ, изъ числа извѣстныхъ подъ именемъ: „les mougs“, и сыщикъ для иностранцевъ двинулись вслѣдъ за нею. Для нихъ было ясно, что это

„insoumise“ — безбилетная, которую слѣдуетъ забрать при первомъ же поводѣ и отправить въ „Dépôt“, а затѣмъ — въ женскую тюрьму св. Лазаря... И „поводъ“ могъ быть самый простой — остановка у фонаря, обращенное къ мужчине слово... Рита шла по краю этой пропасти, погруженная въ свои мысли, подстерегаемая на каждомъ шагу глупымъ, капризнымъ случаемъ... Бипучая веселая сутолока избавила ее отъ опасности: разбитые нервы не выносили шума и суеты; она свернула въ узенькій безлюдный переулокъ и была передана тутъ, безвреднымъ для нея, двумъ политическимъ сыщикамъ.

Въ отелѣ, когда показала тамъ Рита, все случилось по предположенію: ключи были на мѣстѣ, Адель и Альберъ отсутствовали.

Заперевъ за собою дверь, Рита умылась, переодѣлась, привела все въ должный видъ и расположилась въ креслѣ, обдумывая планъ дальнѣйшаго... Она содрогалась, припоминая, осмысливая каждый свой шагъ въ случившемся, сгорала отъ стыда; не понимала — какъ, какимъ чудомъ, могла она попасть въ такую нехитрую, явную ловушку!.. Теперь казалось ей — она была почти увѣрена въ этомъ, — что „маркизъ“ встрѣчался ей и раньше — среди спящей около отеля всеобщей голытьбы, только одѣтъ былъ тогда безъ „шику“ и усы у него не стояли торчкомъ.

Обдумавъ планъ, отчеканивъ въ немъ каждую малѣйшую подробность, Рита спустилась въ ресторанъ, пообѣдала тамъ съ проснувшимся у нея, завиднымъ аппетитомъ, отдавъ честь бургонскому, шампанскому, ликерамъ, и положила затѣмъ на женскія чары, на женское умѣнье...

XIX.

Удачно сладившійся пивенькъ пошелъ дальше какъ кривое колесо...

Выбравшись за парижскіе огороды, за линію дачъ и садовъ, принявшись „глотать“ километры, автомобилисты не замедлили изувѣчить подвернувагося телянка... Виновникомъ былъ автомобиль-вожакъ, но власти опросили и переписали всѣхъ, предпочитая солидарную отвѣтственность за убытки... Въ Руанѣ — заказанныя по телеграфу „лучшія“ комнаты оказались на чердакѣ и съ цѣнами много выше бель-этажныхъ... Деньги на банкетъ взыскали при входѣ, а затѣмъ предоставили тереться

и потѣтъ въ обычной при такихъ „торжествахъ“ давѣ, зависть отъ любезности метавшихся гарсоновъ и смотрѣтъ, какъ пируеть за своимъ столомъ распорядительный комитетъ, имѣющій лучшія вина, забирающій все съ блюдь... Замѣченными русскіе автомобилисты не оказались, а потому не пришлось и оплачивать за радушіе...

Обезкураженные всѣмъ этимъ, автомобилисты, на слѣдующій же послѣ банкета день, были къ вечеру уже въ Парижѣ.

Рита кинулась на шею мужу съ крикомъ живѣйшей радости, но потомъ отступила, надувъ губки, и заговорила:

— Нѣтъ, ты не стоишь!.. Для тебя пивнивь важнѣе, чѣмъ... чѣмъ жена... Да, да!.. Я... я хотѣла телеграфировать тебѣ даже... а ты и адреса руанскаго не оставилъ мнѣ!..

— Что такое? О чемъ телеграфировать?.. — проговорилъ безпокойно Сучковъ.

Рита не слушала и продолжала:

— Это, по-твоему, значить—любить жену, помнитъ о ней?.. Какъ бы ни соскучилась жена, что бы ни случилось съ нею—ей не надо знать, гдѣ мужъ!.. Одна... тоскуй, убивайся и не смѣй подѣлиться съ любимымъ че... Впрочемъ, ты не человѣкъ: ты — эгоистъ! Тебѣ дорого только собственное, а другихъ ты не можешь понимать!.. Любящая... страдающая женщина—игрушка... забава для тебя!..

— Боже мой! Когда?.. въ чемъ?—перебилъ Сучковъ, краснѣя и волнуясь.

— Всегда! во всемъ!—отвѣтила негодующе Рита.—Другая жена давно бы ужъ... глаза выпарапала тебѣ!

— За что?!.. Помидууй!

— Да не оправдывайся, пожалуйста!—воскликнула Рита.—Пусть такъ и будетъ... пусть! У тебя—твое сердце, у меня—мое... Я не жалуюсь! Это такъ... вдругъ... Ахъ, я сама не знаю, что со мною!

Выколенная, душистая, въ свѣтленькомъ, совсѣмъ воздушномъ kimono Sada-Yakko и съ небрежно подобранною подъ гребень пышною косой, Рита закрыла лицо руками и повалилась ничкомъ на диванъ.

Подавленный обвиненіемъ, Сучковъ стоялъ, уставивъ тупо глаза въ уголь кабинета. Въ головѣ у него вихремъ проносились догадки—одна безотрадиѣ другой... Могло быть, что какой-нибудь шальной пріятель-россіянинъ вдругъ проболтался передъ Ритой... или—при мысли объ этомъ Сучковъ, совсѣмъ каменилъ—не пронюхала ли которая-нибудь изъ „дивъ“ фамилію... не явилась ли...

Взявъ стульчикъ, онъ присѣлъ къ дивану и склонился на

упругія, трепетавшія плечи Риты, стараясь овладѣть недавшею ручкой...

— Рита, ангель... что за причина?... Не мучь меня... — сталъ говорить онъ, и труся, и переполняясь чувствомъ. — Объ адресѣ не подумалъ я... второпяхъ... но вѣдь проѣздили всего-то два дня... Прости...

— Два дня... — промолвила Рита, позволивъ прижать ручку къ губамъ и не шевелясь сама. — А чтобъ погибнуть... умереть человѣку — довольно одной минуты...

— Да вѣдь я вотъ... живъ...

— Ты живъ, да... А я...

Рита приостановилась, содрогнувшись, потомъ докончила чуть слышнымъ трагическимъ шопотомъ:

— Я умирала... была подъ револьверами... les apaches здѣшнихъ...

— Рита! — вскрикнулъ пораженный Сучковъ.

Онъ приподнялъ жену на диванѣ, взглядываясь ей въ лицо, трясясь какъ въ лихорадкѣ.

— Что... что такое случилось?... Неужели ты... тебя?... Да говори же, говори! — сталъ бормотать онъ, опустившись на диванъ, прижимая ее къ себѣ.

Рита склонила голову на плечо мужа и прерывисто, едва переводя духъ отъ волненія, начала рассказъ...

...Одна, не зная, куда дѣваться отъ скуки, она вздумала прогуляться... гдѣ-нибудь тутъ, неподалеку... Около бульвара Гаусмана, въ садикѣ вокругъ памятника надъ мѣстомъ, гдѣ были похоронены временно Людовикъ XVI и Марія-Антуанета, она присѣла на скамью... Не было видно ни души... Вдругъ выбѣжали откуда-то апачи и приставили ей къ самому лицу револьверы... браунинги... Дальше она не помнила ничего... Когда она очнулась, на ней не было уже ни одной драгоценности... Она хотѣла закричать, идти жаловаться, но одумалась... Безъ мужа она не могла рѣшиться ни на что, а куда телеграфировать — не знала... Она и теперь умереть отъ стыда, если надо будетъ рассказывать... предъ посторонними...

Сучковъ слушалъ — мрачный, какъ туча.

— Не слѣдовало выходить... — проговорилъ онъ, терзаясь мыслью объ убыткахъ, о скандалѣ.

— Ну, да! Я всегда виновата! — отвѣтила Рита, всхлипнувъ.

Она снова кинулась ничкомъ, причитая — какъ жалко ей своихъ bijoux... какіе были они хорошенькіе... сколько стоялъ каждый... всѣ вмѣстѣ...

Напрасно Сучковъ старался утѣшить жену, поднять ее, поцѣловать, — она не давалась, продолжала всхлипывать, причитать...

— Вотъ эгоизмъ-то... вотъ! — воскликнулъ, сердясь, Сучковъ. — Ты убиваешься о дрянныхъ bijoux, которые можно купить... завтра же... и не думаешь, каково мужу... страдающему... за тебя...

— Ахъ, ты, поросеночекъ этакій! — вскрикнула Рита, вскочивъ. — Я — не думаю!.. Ты смѣешь говорить это! Ты?!.. Ни одного bijou не приму отъ тебя больше... булабочки самой простой не приму!.. Его Рита о мужѣ не думаетъ! А?.. Вотъ тебѣ за это!

Послѣдовалъ шлепокъ въ щеку, а затѣмъ длительный поцѣлуй въ наказанное мѣстечко...

XX.

Къ великому изумленію консьержа, такъ спѣшно готовившіеся и уже совсѣмъ готовые апартаменты въ Елисейскихъ Поляхъ были заперты Сучковымъ на ключъ и оставлены безъ вниманія.

Каретка - silencieuse отъ автомобильщика начала скитаться съ супругами по парижскимъ медицинскимъ знаменитостямъ, — такъ какъ Ритѣ, въ виду потревоженной нервной системы ея, оказывалось надобнымъ пребываніе въ какомъ-нибудь спокойномъ, пользительномъ курортѣ. Знаменитости діагностировали каждый по-своему, совѣтовали различное: Біаррицъ, Трувилль, Энгадинъ, — смотря по тому, куда, кто поставлялъ „клиентъ“.

Выбрать было нелегко, а рѣшиться слѣдовало.

Однажды разговоръ объ этомъ зашелъ при восточномъ человѣкѣ.

— Всѣ такіе курорты только скуку, тоску способны наводить! — сталъ говорить онъ. — Вертится тамъ публика, точно на блюдечѣ, питается комеражами, отъ нечего дѣлать... и, въ концѣ концовъ, до желчности, до изнеможенія доходитъ, вмѣсто укрѣпленія нервовъ... Лучше всего Ницца: она и курортъ, и городъ, и каждый сезонъ въ ней приятенъ... Въ ней можно и отдохнуть, и себя показать... кто желаетъ... Отборная всесвѣтная публика, мѣняющаяся, какъ въ калейдоскопѣ, не притупляющая интереса... Очаровательное взморье... Монте-Карло... Я люблю Ниццу, у меня годовая дача тамъ...

Рита вслушивалась въ знакомую ей приподнятую нотку голоса и соображала, сдвинувъ брови.

— Знаешь что, Joseph?— сказала она, положивъ ручку на рукавъ модной сѣренькой жакетки мужа.— Остановимся на Ниццѣ...
— Чудесно!— воскликнулъ довольный Сучевъ.

XXI.

Поѣздки Милочки въ Сень-Клу значительно участились и приняли правильный видъ.

Mademoiselle не страдала больше ни зубною болью, ни вообще строптивостью. Прибывъ съ питомицею въ Сень-Клу и получивъ отъ нея въ свое распоряженіе кошелекъ, она усаживалась на террасѣ вымазаннаго синькою моднаго „Голубого павильона“— слушать музыку, угощаться прохладительными напитками; а Милочка отправлялась въ паркъ, гулять...

Раскинувшійся по взгорью, большой тѣнистый паркъ съ вѣковыми дубами, каштанами, бѣлыми душистыми акаціями давно плѣнял Милочку, наполнял тихимъ, радостнымъ умиленіемъ ея душу, не мирившуюся съ непонятною парижскою сутоловою. Она любила скитаться по его дивнымъ отдаленнымъ уголкамъ, по узенькимъ, извилистымъ дорожкамъ, заросшимъ высокою цвѣтстою травой, папоротникомъ, жимолостью, и безжалостно гаскала за собою mademoiselle, не понимавшую гулянья иначе, какъ въ праздникъ, и предпочитавшую парадныя, убитыя щебнемъ аллеи. Въ одинъ жаркій, сіявшій и сверкавшій день судьба столкнула здѣсь Милочку съ *нимъ*, также любившимъ природу... Онъ былъ художникъ, звался Габріелемъ, носилъ плисовую куртку съ стоячимъ воротникомъ, измятую широкополую шляпу, не причесывалъ своихъ длинныхъ прямыхъ волосъ, цвѣта воронова крыла, и создавалъ импрессионистское „*Мимовеніе въ эфирѣ*“, съ синими фигурами, съ черными небесами и оранжевою травой, — предвкушая *grix de Rome*, славу Клода Лоррена, Манэ, Ренуара... Они начали видѣться въ поэтическихъ уголкахъ парка, а благоволившая къ соотчичу mademoiselle стала коротать время на террасѣ „Голубого павильона“.

Однажды mademoiselle, со вздернутыми къ небу руками, съ непопадавшими одна на другую вставными челюстями, вбѣжала въ комнату старика Красныхъ, съ вѣстью— что Милочку, когда выходили онѣ изъ магазина „Au Bon Marché“, подхватили какіе-то молодые люди и увели...

Старикъ помертвѣлъ, затрясся.

— Это ты продала мою дочь!— крикнулъ онъ, виѣ себя.— Сказывай, гдѣ она?!

Но въ этомъ *mademoiselle* не была виновна. Она рассчитывала на свадьбу, на прибыльную роль устроительницы, руководительницы, и искренно негодовала, въ душѣ, на коварство неблагодарной. Появившись Иисусомъ-Маріей, что не знаетъ, гдѣ Милочка, она предложила свои переводческія услуги — чтобы идти въ полицію, начать розыски.

Имѣть дѣло съ полиціей Красныхъ отказался и, продолжая не довѣрять *mademoiselle*, хотѣлъ знать: „Нѣтъ ли въ Парижѣ такого адвоката, который бы по-русски говорилъ?“ — Такого трудно было сыскать, и пришлось обратиться, по газетамъ, къ какому случилось. Старый, толстый и бритый, пропахшій насквозь вляузой и продажностью, адвокатъ напугалъ старика однимъ своимъ видомъ. Онъ тоже совѣтовалъ полицію, „агентовъ“, брался, за хорошія деньги, отыскать бѣглянку и утѣшаль, что по французскимъ законамъ дочь не могутъ повѣнчать безъ согласія родителей, будь она даже вдова. Утѣшеніе это только больше убило старика, предпочитавшаго, если уже случилась бѣда, „вѣнецъ—всему дѣлу конецъ“.

Камень отъ сердца отвалило получившееся вскорѣ письмо Милочки. Она умоляла отца простить ее; извѣщала, что находится въ Турени, въ семьѣ будущаго своего супруга, Габріеля Пурсо, — одного изъ пяти сыновей крестьянина-садовода, — пущеннаго отцомъ въ художество и имѣющаго прославиться не дальше, какъ въ очередномъ осеннемъ парижскомъ „Салонѣ“.

Старикъ затаилъ горе въ себѣ, прикинулся утѣшеннымъ, и на слѣдующее же утро выѣхалъ съ *mademoiselle* въ Турень.

XXII.

Всесвѣтныи улей продолжалъ гудѣть неустанно. Въ конторѣ продолжали фабриковать счета, наполнять кассу, отряжать ловцовъ на желѣзнодорожные вокзалы...

Салонъ блестящаго Сучкова достался грубымъ персамъ — оптовикамъ по части ковровъ, бирюзы, и они стали собирать въ немъ свою „подобающую“ публику — торговцевъ изъ Пале-Рояля, ловкихъ крикливыхъ маклеровъ изъ улицы Лафайеттъ... Русскій духъ въ четвертомъ этажѣ витѣснился духомъ американскимъ — въ лицѣ застарѣлыхъ, храбрыхъ миссъ-рантьеровъ и мелкихъ оборотливыхъ янки, ставившихъ ребромъ вырученные на свининѣ доллары... Яркимъ пятномъ на этомъ новомъ фонѣ оставалась только комната съ двумя кроватями: по утрамъ, изъ нея не

уклонно продолжала выставляться длинная, жилистая рука въ вышитомъ рукавѣ заношенной косоворотки и съ перстнемъ на указательномъ пальцѣ, схватывавшая сапоги съ голенищами...

Рука принадлежала черносотенцу Чурилову, настойчиво доживавшему свои два мѣсяца... Собственно говоря, онъ не доживалъ ихъ, а дотягивалъ, притиснутый неизбѣжностью. Большіе магазины и рестораны, бульварные театры, ночной Монмартръ— все было выхожено, высмотрѣно,—приходилось повторять задъ; но вернуться раньше срока казалось ему зазорнымъ, да и писано было въ Москву не разъ уже, что въ Парижѣ водится онъ чуть не съ министрами, что зажить въ такой столицѣ не мудрено... И онъ скитался, точно овца, потерявшая жвачку, по авеню Оперы, по большимъ бульварамъ, по душнымъ аллеямъ Тюльерійскаго сада; глазѣлъ на уличныхъ фокусниковъ, на савояровъ съ обезьянками; короталъ время за столикомъ въ кафе, держа, по примѣру французовъ, газету передъ глазами, не чая дожидаться положеннаго часа ѣды...

„А рокъ его подстерегалъ“...

Однажды днемъ, возвращаясь въ отель, онъ встрѣтилъ близъ подъезда красивую, разодѣтую даму. Она улыбнулась, потомъ приблизилась и проговорила, прикасаясь къ нему теплымъ, мягкимъ бюстомъ, что *monieur*, видимо, изъ большого свѣта и не откажется подарить ей духовъ. — Я люблю вотъ эти „*Pensée Rose*“, — пояснила дама и поднесла платочекъ къ его носу. Мало понявшій, но склонный къ любезности, галантный черносотенецъ нюхнулъ разъ, другой, — и предъ глазами у него все пошло кругомъ, разумъ отшибло совсѣмъ... Въ вестибюль отеля ввалился онъ, пошатываясь, выпучивъ дико глаза... Швейцаръ собрался замѣтить строго, что по правиламъ *conторы ivresse manifestée* не можетъ быть терпима; но Чуриловъ шагнулъ прямо на него, какъ бы цѣпляясь руками въ воздухъ, и рухнулся затѣмъ на полъ.

Вызванный изъ отельнаго врачебнаго пдста дежурный медикъ нашель усыпление хлороформомъ. Приведенный въ память, Чуриловъ напустилъ на себя лукаво „мютизмъ“ — умалчивая о дамѣ, о понюханномъ платочкѣ... но, хватившись бумажника съ „пятисотенными“, вскрикнулъ вдругъ не своимъ голосомъ... и отерлся.

Н. СѢВЕРОВЪ.



СМЕРТНАЯ КАЗНЬ

РАЗСКАЗЪ.

Редакция журнала получила рукопись чрезъ посредство Льва Николаевича Толстого, при слѣдующемъ его письмѣ, которое можетъ послужить лучшимъ предисловіемъ къ настоящему разсказу:

„Посылаю вамъ отрывокъ разсказа Леонида Семенова. По-моему, это — вещь замѣчательная и по чувству, и по силѣ художественнаго изображенія. Хорошо бы было ее напечатать и напечатать поскорѣе. Это желаніе мое напечатать поскорѣе напоминаетъ мнѣ мой давнишній разговоръ съ Островскимъ. Я когда-то написалъ пьесу „Зараженное семейство“, прочелъ ее ему и говорилъ, что я желаю, чтобы она поскорѣе была напечатана. Онъ сказалъ мнѣ: „Что же, или ты боишься, что поумнѣютъ?“ Слова эти были совершенно умѣстны по отношенію той моей плохой комедіи, но теперь это другое дѣло. Теперь нельзя не желать того, чтобы люди поумнѣли и прекратились эти ужасы, хотя и нельзя надѣяться, и всякое искреннее слово, выражающее возмущеніе противъ совершающагося, я думаю, полезно“.

Левъ Толстой.

Ясная Поляна.
23 іюня 1908 г.

* * *

...Ничего особеннаго въ этомъ не было. Все было такъ же кругомъ, какъ всегда. Тѣ же стѣны, тѣ же рѣшетки на окнахъ, и день былъ сіяющій, холодный, какихъ были тысячи на свѣтѣ. Солдаты въ казармѣ дремали, курили, рассказывали другъ другу свои длинныя и тягучія сальности и смѣялись.

Надзиратели иногда шептались, шагали по темнымъ корридорамъ тюрьмы и, позвякивая ключами, лѣнливо думали все о томъ же, о своей службѣ, о семьѣ.

Политическіе нервничали, иногда долго и упорно метались по клѣткамъ, но вдругъ вздрагивали и прислушивались къ тому, что будетъ, и опять шагали.

И все было гадко кругомъ, какъ вонь, какъ грязныя стѣны тюрьмы.

Инженеръ вздохнулъ и бросился на койку. Онъ былъ высокій, худой и скуластый мужчина съ равнодушными усталыми глазами. Нервы были издерганы. Все тѣло ныло, и одна мысль не выходила изъ головы, но какъ-то лѣнливо тянулась въ ней и липла. Всѣ послѣдніе дни онъ всѣ силы свои направлялъ на то, чтобы ничего не чувствовать. Къ смерти онъ былъ равнодушенъ. „Маленькая и необходимая операція“, — повторялъ онъ часто про себя, затягиваясь махоркой... А потомъ? — потомъ ничего. И это было такъ ясно и просто, что никакихъ размышлений не требовалось. Но надо было какъ-нибудь занять и убить свое сознание въ эти послѣдніе дни, когда ужъ все было кончено и дѣлать было нечего. И онъ читалъ и курилъ. Шагаль по камерѣ и опять читалъ. Книги были. Ихъ, несмотря на всю строгость заключенія, можно было получать черезъ уголовныхъ отъ политическихъ изъ другого корпуса. Одна мысль — кажется, изъ Михайловскаго — не давала ему покою. Она преслѣдовала его днемъ, ночью переходила въ кошмаръ, кошмаръ переходилъ въ дѣйствительность. Представлялось челоѡвѣчество, и было оно какъ одинъ огромный чудовищный организмъ. Вотъ растетъ куда-то, тянется въ даль, пожираетъ однѣ клѣтки ради другихъ, пожретъ и его — и для чего все это? Мысль отрывалась тутъ, чего-то не знала, и опять текла въ головѣ, плела свои сѣти уныло, вяло, какъ соки въ жилахъ растений.

Онъ ходилъ и курилъ. Иногда прислушивался къ другимъ. Мысль о другихъ пугала.

Какъ встрѣтить они смерть? Пожалуй разбавятся. И чего тутъ? Фи! Какъ это будетъ гадко и неприятно!—и онъ отгонять эти мысли.

Другіе нервничали больше.

Въ этотъ ясный зимній день начальникъ тюрьмы ходилъ по двору и распорядился. Было холодно. Морозъ щипалъ уши. Онъ поднялъ воротникъ. А у него на квартирѣ было тепло, пахло жарившейся индѣйкой, и этотъ запахъ раздражалъ его, хотѣлось ѣсть.

— Саваны по два рубля пятьдесятъ копѣекъ,—докладывалъ экономя, хитрый бѣлобрысый мужикъ съ деревяннымъ подобострастнымъ лицомъ передъ начальствомъ.

Начальникъ искося поглядѣлъ на него и вдругъ вспылить.

— Это невозможно! Если бы губернское управленіе ассигновало, тогда такъ! А мы не можемъ! Вѣдь сразу много. Объясни имъ!

— Да я ужъ говорилъ, ваше благородіе.

— Да чтò говорилъ?.. Ну, скажи еще, дуракъ!—вспылить онъ опять. Его давно уже злило это деревянное лицо надзирателя, съ чуть-чуть насмѣхающимися подъ подобострастіемъ голубыми и словно невинными глазами. „Живодеръ!“ подумалъ онъ про него. „Вѣдь вотъ казнить людей—и хоть бы чтò! какъ чурбанъ! И есть же такіе!“

— Ну, поди, скажи имъ! А то можно и безъ савановъ!

— Слушаюсь!

Но начальникъ остановилъ его.

— Нѣтъ, не слушаюсь, А вотъ еще что. Да что еще? Вотъ что. Парикъ нуженъ и бороду. Это есть въ циркулярѣ. Сбѣгай хоть къ Айзенштейну.

— Слушаюсь.

Надзиратель бѣжалъ и скрипѣлъ по снѣгу валенками, а начальникъ глядѣлъ ему вслѣдъ и теперь думалъ о своей проклятой службѣ.

„И когда жъ это, наконецъ, кончится?.. Вѣдь тутъ можно съ ума сойти совсѣмъ. Каждый день все казни, казни! Были бы на нашемъ мѣстѣ“... И старая накопленная ненависть на начальство вдругъ подымалась въ немъ и бурлила.

„И это все начальство, начальство! Все оно! Ну что-жъ? къ хочеть! Ему же хуже! А мы тутъ что? Мы ни причемъ! я только исполнители, наше дѣло сторона! А ему же хуже“. это злорадство, что начальству почему-то будетъ хуже, точно шало его, и онъ шелъ и распорядился.

Предсѣдатель суда на обѣдѣ, устроенномъ въ его честь офицерами Н—скаго полка, хохоталъ и былъ доволенъ. Онъ былъ полный, краснощекій, съ большими усами генералъ изъ семинаристовъ и говорилъ на „о“. Онъ искренно считалъ себя добродушнымъ и хорошимъ, и хотѣлъ показать это теперь и этому фраву—защитнику, помня, какъ тотъ почему-то вдругъ польстилъ ему на судѣ, назвавъ его разъ „свѣтиломъ науки“.

Это было пріятно тогда передъ прокуроромъ. Прокуроръ былъ старше его чиномъ, написалъ какое-то сочиненіе и фортиситъ: „Ни одинъ, говорить, знающій юристь, не усумнится тутъ“. „А мы вотъ и усумнились, а мы вотъ и оправдали тогда самаго что ни на есть террориста. Хо-хо-хо! Ни одинъ, говорить, знающій юристь... Ему-то на зло и оправдываемъ-сь, когда захотимъ-сь. А захотимъ-сь—и повѣсимъ...“

— А симпатичная морда у этого Клеманкина!—обратился онъ вдругъ черезъ столъ къ присяжному повѣренному.

— Это вы о комъ, ваше превосходительство? — вставилъ командиръ поля, не понявъ, въ чемъ дѣло.

— Да это мы тамъ одного повѣсили!—объяснилъ предсѣдатель, блеснувъ своими мелкими глазами, и продолжалъ, обращаясь къ защитнику:

— Ничего, батенька, не подѣлаешь. Вотъ!.. Мы и такъ ужъ на двухъ убитыхъ свалили все. Вы замѣтили? — и чтобы совсѣмъ расположить къ себѣ присяжнаго повѣреннаго, прибавилъ многозначительно и тихо: — Генераль-губернаторъ... семерыхъ... предписалъ... Ну. И пришлось пятерыхъ... того... Царство имъ небесное!

Онъ обвелъ залъ глазами, точно ища иконы, и перекрестился на своемъ толстомъ, начинавшемъ потѣть подъ разстегнутымъ сюртукомъ, брюшкѣ.

— Ну. За ваши успѣхи, господинъ защитникъ. Нечего грустить. Другой разъ...

Офицеръ-судья, который чуть не расплакался на судѣ, — такъ растрогалъ его тогда адвокатъ, увѣрявшій, что мальчишья-гимназистъ восемнадцати лѣтъ, приговоренный къ смерти, осужденъ невинно, — теперь все пилъ и пилъ и сквозь туманъ въ глазахъ видѣлъ кругомъ все милыя и славныя лица своихъ товарищей-офицеровъ, и всѣ были такіе добрые, хорошіе, что удивлялся: какъ могла придти ему тогда на судѣ такая дикая и глупая мысль отказаться отъ всего и выйти въ отставку?.. Что бы было те

перь? Что бы онъ сдѣлалъ сейчасъ и изъ-за чего? Вѣдь не гимназиста бы, такъ все равно бы кого-нибудь повѣсили.

Предсѣдатель такъ ясно доказалъ тогда всѣмъ, что пятерыхъ нужно. Не все ли равно тогда—кого? И это было такъ ясно-убѣдительно, что онъ утѣшался и опять пилъ и пилъ.

Адвокатъ, который давно уже понялъ, что на судѣ ни краснорѣчіе, ни наука, ни даже чувства, ничего не значать, а что все дѣло только въ томъ, чтобы ладить съ судьями и пріучить ихъ къ себѣ, чтобы они не боялись защитниковъ и не считали ихъ самихъ за экспроприаторовъ, тоже пилъ теперь—стараясь улыбаться направо и налево офицерамъ, чтобы показать, что и онъ—какъ они, но въ душѣ сквозь туманъ вина упорно вертѣлась одна фраза: „Вотъ она, та среда, которая подготовила Портъ-Артуръ и Цусиму“. И ужасаясь ей, мечталъ о томъ, какъ опшеть это когда-нибудь въ своихъ мемуарахъ...

Въ городѣ была тревога.

Собрание выборщиковъ въ Думу и самъ новизбранный депутатъ собирали подписи подъ протестомъ противъ казни. Въ Петербургъ лѣтъла телеграмма. Мать одного изъ осужденныхъ, гимназиста, высокая полная дама съ ввалившимися, застывшими безъ слезъ глазами, въ какомъ-то упорномъ хлопотливомъ беспокойствѣ ѣздила то къ депутату, то къ губернатору, то къ защитнику, то къ прокурору... и наводила на всѣхъ точно страхъ. Генераль-губернаторъ ее не принималъ; другіе успокаивали, что-то неопредѣленно мямлили, обѣщали и куда-то торопились всѣ точно прочь отъ нея. Ее сопровождала дочь, некрасивая маленькая барышня, съ тоской и страшной тревогой слѣдившая за матерью, усаживавшая ее заботливо на извозчика и вдругъ принимавшая шептать: „Мама, мама, успокойся. Я увѣрена... Валя тутъ ни при чемъ, и его помилуютъ...“

Депутатъ тоже два раза ѣздилъ къ генераль-губернатору, но во второй разъ не былъ принятъ. Онъ былъ докторъ, сѣдой и добрый старикъ, съ сѣдыми бровями и слезливыми глазками, извѣстный въ городѣ общественный дѣятель. Но странная мысль пришла ему въ голову, когда онъ въ первый разъ подѣзжалъ къ генераль-губернаторскому дому. Мимо шли люди, блестяль снѣгъ, извозчикъ похлопывалъ на морозѣ руками. Вспомнилась мать гимназиста, блѣдная, въ косынкѣ, но вдругъ все показалось ему ложью, ненужнымъ, и ложью показалось то, что онъ ѣдетъ теперь къ генераль-губернатору просить объ осужденныхъ. „Вѣдь

правительство-то всегда правительство. И изъ-за шума-то оно, пожалуй, хуже не уступитъ”, — мелькнуло вдругъ въ головѣ и стало безпокойно. Но онъ вспомнилъ митинги, протесты, вспомнилъ всеобщее возбужденіе въ странѣ, которое бурлило кругомъ и готовилось, какъ казалось, подняться побѣдной волной, — и даже умилившись, что ему пришлось быть свидѣтелемъ такого великаго и важнаго историческаго времени, онъ твердо и съ достоинствомъ народнаго представителя вступилъ въ генераль-губернаторскій подъѣздъ, готовя, что скажетъ...

Генераль-губернаторъ былъ длинный, затянутый въ корсетъ и молодцеватый, несмотря на свои семьдесятъ лѣтъ, генераль, съ моховыми нѣжными щекami. Онъ никогда не сомнѣвался, что его наружность, огромные усы и всегда сжатые грозныя брови надъ суровыми прямо глядящими глазами производятъ неотразимое и великолѣпное начальственное впечатлѣніе, и вся его мысль, вся его душа, казалось, ушла въ эту его картиночную наружность. Для него все было ясно.

„Они“ подбиваютъ и потомъ они же возмущаются.

Онъ сухо и холодно принялъ депутата и заявилъ, что все, что по закону, будетъ исполнено.

И тотъ — самъ маленькаго роста — вдругъ почувствовалъ себя передъ его вышиной и приподнятой, увѣшанной орденами грудью, а главное передъ той ясностью, съ какою генераль-губернаторъ глядѣлъ на него сурово въ упоръ и приподымалъ губами усы — такимъ смущеннымъ (онъ видѣлъ генераль-губернатора въ первый разъ), что въ первую минуту забылъ, что хотѣлъ сказать. Но потомъ попробовалъ деликатно намекнуть на человѣческую сторону дѣла, рассказалъ о горѣ несчастной матери гимназиста, но и на это услышалъ тотъ же отвѣтъ.

— Все, что по закону, будетъ исполнено, — повторилъ опять генераль-губернаторъ и протянулъ нетерпѣливо свою сухощавую, жесткую руку, блестящую перстнемъ на мизинцѣ.

Но въ своемъ кабинетѣ генераль-губернаторъ фыркнулъ:

— Самъ-то — кандидатъ въ тюрьму!

Онъ не сомнѣвался, что видитъ всѣхъ насквозь и особенно ясно читаетъ въ глазахъ крамолу. Онъ отложилъ сигару на крестолу и четко и мелко подписалъ приговоръ. Онъ боялся, что не предупредили изъ Петербурга.

— Я тутъ отвѣчаю за цѣлость имперіи передъ царемъ отечествомъ. А Петербургъ вмѣшается всегда напакостить.

И даже умилился передъ этой своей отвѣтственной ролью.

Но ночью, когда пошли за осужденными будить ихъ, все-таки было жутко и страшно,—и помощникъ начальника, дежурный на эту ночь, хорошенькій и женственный офицерикъ, ступая по темнымъ и гулкимъ корридорамъ тюрьмы, освѣщеннымъ блѣдными керосинками, чувствовалъ себя точно въ лѣсу, какъ когда-то, когда, бывало, мальчишкой боялся въ немъ оставаться одинъ, чуя въ каждомъ шорохѣ кругомъ и въ каждомъ деревѣ врага. Точно тысячи глазъ со всѣхъ сторонъ глядѣли на него, невидимые и страшные, уличая его въ чемъ-то гадкомъ и воровскомъ. Онъ былъ только-что назначенъ сюда изъ уѣздной тюрьмы, и ему въ первый разъ приходилось присутствовать при казни. Впечатлѣніе при первой мысли объ этомъ тутъ быстро разсѣялось. Въ тюрьмѣ было до восьмисотъ заключенныхъ; волей-неволей привыкалось относиться къ нимъ какъ къ мимотекущему потоку цифръ и бумагъ,—и хладнокровіе, съ которымъ всѣ относились къ казни, какъ-то невольно подчиняло себя каждому. Но, идя теперь ночью со смертною вѣстью, къ людямъ, которыхъ онъ почти не знаетъ въ лицо, онъ робѣлъ и невольно думалъ, долженъ ли онъ обидѣться на начальника, который неприятное и щекотливое дѣло поровить свалить на подчиненнаго, или быть польщеннымъ, что на него сразу возложили столь отвѣтственное дѣло,—и, не желая дать себя уронить въ глазахъ наряда, видимо уже бывшаго на казни, онъ старался быть развязнѣе и неестественно нервно покручивалъ свои маленькіе усики...

Осужденные подымались со своихъ коекъ измятые, блѣдные, и озирались кругомъ.

Ихъ торопили... Ужъ надо было кончать, такъ кончать...

И странно—какая-то злоба вдругъ вспыхивала теперь въ каждомъ солдатѣ и офицерикѣ при видѣ ихъ сонныхъ и похолодѣвшихъ лицъ, точно злоба на то, что вотъ это изъ-за нихъ приходится теперь ночью имъ производить эту гадкую и черную работу, которая и имъ всѣмъ отвратительна.

— Ну, ну, потарапливайся! — процѣдилъ вдругъ въ одной камерѣ солдатъ, даже забывшись, что тутъ есть начальство...

— Все равно ужъ.

И другіе даже оглянулись, но промолчали,—понявъ, что онъ сказалъ то, что и всѣмъ имъ кажется...

Инженеръ только-что заснулъ, когда пришли за нимъ. Онъ долго не могъ уснуть въ эту ночь. Виски стучали. Нервы отъ усиленнаго куренія были приподняты. Въ головѣ, какъ кошмаръ, какъ длинныя подводныя волокна, тянулись мысли и образы, и снилось опять человѣчество, какъ какой-то чудовищный организмъ, охватившій всю землю и кующій какую-то свою таинственную работу, выбрасывающій однѣ ненужныя себѣ мертвыя клѣтки, рождающій вмѣсто нихъ новыя...

Онъ вскочилъ. Некрасивый и заспанный, онъ провелъ рукой по волосамъ, но вдругъ сѣлъ, точно хотѣлось еще разъ, въ послѣдній разъ понѣжиться снамъ на этой войнѣ, оттянуть послѣдній мигъ. И вдругъ все оторвалось въ немъ, куда-то ушло—и революція, и эти люди, и судъ—и все. Все показалось такимъ ненужнымъ и безразличнымъ теперь... „Только смерть еще... и тогда все“, мелькнуло въ головѣ. „Маленькая операція“, подумалъ онъ опять, но безъ усмѣшки теперь, а просто и спокойно,—и страшное вдругъ спокойствіе воцарилось въ немъ; все показалось такимъ ничтожнымъ и маленькимъ въ эту минуту передъ тѣмъ огромнымъ и какимъ-то ласковымъ ничто, которое отрывалось сейчасъ черезъ нѣсколько минутъ уже за смертью и въ которое онъ зналъ, что теперь ужъ навѣрное уйдетъ, что хотѣлось остановиться, помедлить еще на этомъ новомъ, никогда неиспытанномъ имъ чувствѣ.

Но офицерикъ торопился; какъ-то дико и нагло ворвался его крикъ въ уши:

— Пора, пора! собирайся!

Что-то трусливое было въ этомъ окрикѣ, точно человѣкъ хотѣлъ себя подхлестнуть, показавъ свою развязность.

Инженеръ вздрогнулъ. „Ты“—на мигъ покоробило. Но и это сейчасъ же упало. Офицерикъ стоялъ блѣдный, съ синевой подъ красивыми женственными глазами, избѣгая смотрѣть ими прямо.

„Должно быть развратникъ!“—мелькнуло почему-то машинально въ головѣ инженера. Но и это все показалось такимъ мелкимъ, ненужнымъ, точно стирающаяся пыль передъ грядущимъ, огромнымъ ничто, что онъ улыбнулся и всталъ.

Надо было повиноваться.

Въ корридорѣ шли тѣсной, неловкой толпой, неуклюже толкая другъ друга, гремя цѣпами, и стучали ногами.

Солдаты назойливо слѣдили за всѣми, точно боялись, что они и теперь убѣгутъ, и иногда покрикивали.

Въ дверяхъ замѣшались.

— Въ небесную канцелярію ведутъ! Товарищи! — крикнулъ тутъ одинъ изъ осужденныхъ, самъ блѣдный, съ гнилыми зубами, сынъ діавона, но точно не думавшій о томъ, что кричить, и стучавшій зубами, какъ въ лихорадкѣ.

— Ишь, туда тебѣ и дорога! — озлился вдругъ рядомъ солдатъ, тотъ самый, который и раньше прикрикнулъ на него въ камерѣ.

Въ канцеляріи минуты казались вѣчностью... но вѣчность неслась безопадно, катилась и исчезала.

Вся жизнь, пока вели ихъ по корридорамъ, казалось, встала въ каждомъ и пронеслась передъ ними въ ослѣпительныхъ яркихъ образахъ... И эта страшная напряженная работа фантазіи какъ-то занимала, отвлекала отъ всего, не будила соблазновъ для воли, что можно еще, можетъ быть, что-нибудь сдѣлать для спасенія, такое, что отъ нихъ зависить.

Шли какъ сонambuлы.

Но тутъ эта неожиданная задержка въ канцеляріи заставила вдругъ упасть всѣ напряженные чувства, и получился упадокъ — какое-то отвращеніе ко всему и къ себѣ, какое-то безумное, бессмысленное, гадкое топтанье на мѣстѣ въ себѣ...

Писарь и начальникъ рылись въ книгахъ, выкливали фамиліи, кажется — вычеркивали... но все было какъ сонъ въ глазахъ, какъ блѣдныя, плоскія видѣнія — и бумаги, и лампы, и лысина начальника, и штыки.

Солдаты попрежнему не отходили отъ каждаго приговореннаго — нагло, безстыдно, касаясь шинелями, почти своими тѣлами ихъ тѣлъ, точно боясь, что и тутъ тѣ убѣгутъ, — равнодушно похлопывая своими глазами и точно говоря ими:

— Мы тутъ ни при чемъ. Но мы отвѣчаемъ... Съ насъ спросать.

Одинъ, нервный съ чернымъ пушкомъ на губахъ, волновался и старался не глядѣть на осужденныхъ... Это странное ощущеніе, что вотъ онъ, здоровый, живой тутъ, а эти другіе люди — этотъ длинный арестантъ, небритый и некрасиво обросшій, съ глубокими сѣрыми глазами и, должно быть, баринъ, черезъ минуты не будетъ такимъ, какіе они всѣ — бросало въ ознобъ, что-то переворачивало въ груди, заставляло усиленно биться сердце, — и онъ тогда блѣднѣлъ...

Изъ осужденныхъ — Клеманкинъ, красивый, здоровенный мужчина съ густыми волосами и южнымъ типомъ лица, тяжело

и сосредоточенно молчалъ, сѣвъ на лавку, схвативъ голову и упершись локтями въ колѣни.

Рабочій переминался съ ноги на ногу.

— Ужъ скорѣй бы, братцы, скорѣй!—шепталъ онъ, блуждая глазами и пряча руки въ рукава арестантской куртки.

Но мысли не вязались съ языкомъ.

У него схватило животъ, какъ всегда у него при нервномъ возбужденіи, и дикія, назойливыя, неотвязныя мечты росли и разрастались въ головѣ. А что если попроситься для нужды и какъ-нибудь улепетнуть? А вдругъ удастся? Громоздился планъ за планомъ, но языкъ дрожалъ.

— Братцы, родимые, братцы, что же это?—почти плакалъ онъ. Я невиновенъ, клянусь Богомъ, я—невиновенъ, безъ суда засудили... Что же это?!

Но всѣхъ страшнѣе былъ гимназистъ. Онъ—полный, нѣжно-тѣлый юноша, съ чуть замѣтнымъ пушкомъ на щекахъ, сжималъ брови и кусалъ губу, видимо напрягая всѣ усилія на то, чтобы не выдать себя звукомъ и не расплаваться, но вдругъ широко и торопливо перекрестился и такъ вспыхнулъ весь, что видны стали жилы на вискахъ, подбородокъ дрожалъ и онъ нѣкоторое время шевелилъ ртомъ, но безъ звука, видимо принимаясь что-то сказать и не будучи въ силахъ отъ волненія.

Инженеру, который нечаянно взглянулъ на него въ эту минуту, вдругъ стало такъ страшно за него, что точно волна крови откуда-то снизу подступала къ горлу и наверху слезы на глаза. Такъ мучительно захотѣлось, чтобы этотъ мальчикъ не такъ страдалъ въ эту минуту,—это ужъ слишкомъ...

„Еще что-нибудь выкинетъ“,—мелькнуло въ головѣ.

— Я... я... я...—наконецъ вырвалось у гимназиста.—Я... хочу... священника.

Онъ самъ точно испугался своего голоса и испуганно обернулся кругомъ. Но никто не слышалъ. Одинъ солдатъ, тотъ самый, который стоялъ возлѣ инженера и, блѣдный, старался не глядѣть на осужденныхъ,—вздрагнулъ и точно сдѣлалъ движеніе по направленію къ начальнику, чтобы передать желаніе мальчика.

Но начальникъ рылся въ бумагахъ.

— Я хочу священника,—повторилъ опять громко, упрямо гимназистъ, и теперь всѣ слышали. Всѣ вздрогнули.

Сынъ діакона криво усмѣхнулся.

— А мнѣ бы папироску,—и цинично выругался...

Начальникъ подвѣлъ голову на гимназиста.

— Это вамъ будетъ, что же вы кричите!—удивился онъ, но,

увидѣвъ красное, страшно напряженное, съ блестящими отъ волненія глазами, молодое и чистое лицо его, вдругъ замѣшался и прибавилъ мягче:

— Это вамъ будетъ; что по закону, все будетъ.

Гимназистъ тоже смѣшался, точно сконфузившись, и растерянно обвелъ всѣхъ взглядомъ.

— Я ничего, я только такъ... я только это и хотѣлъ сказать.

Но странная мысль вдругъ пришла въ это время въ голову инженера. Ему вдругъ опять показалось, что все это такъ мелко и ничтожно передъ тѣмъ спокойствіемъ, въ которое они всѣ сейчасъ вступаютъ, что захотѣлось встать и какъ-нибудь внушить это и гимназисту, чтобы и онъ не волновался теперь, — улыбнуться ему, сказать, что это не нужно, что можно быть радостнымъ. И стало вмѣстѣ съ тѣмъ жаль и начальника въ его мелкихъ, скучныхъ и страшныхъ заботахъ службы, и въ первый разъ показался ему и начальникъ человѣкомъ, когда онъ увидѣлъ на его лицѣ безпомощность передъ мукой гимназиста.

„Не подойти ли и не попросить ли его, чтобы онъ гимназиста повѣсилъ первымъ, а я подожду, — все-таки тому легче будетъ!“ — вертѣлось въ головѣ.

И казалось, что такъ просто это исполнить здѣсь, потому что всѣ люди тутъ, — и онъ, и начальникъ, и солдаты, и онъ не злодѣй вѣдь какой-нибудь, и всякій же долженъ понять это простое человѣческое чувство передъ такимъ важнымъ и общимъ для всѣхъ дѣломъ, какъ смерть.

Но пока онъ машинально обдумывалъ, какъ это сдѣлать, потому что зналъ, что нельзя же объ этомъ просить вслухъ, это нужно осторожно и просто объяснить, чтобы поняли, — страшное ожиданіе всѣхъ въ канцеляріи кончилось, — всѣ зашевелились, и сынъ діакона какими-то точно верхними чувствами, — которыми страдали, возмущались, дрожали всѣ тутъ и отчетливо запоминали каждую внѣшнюю подробность, — замѣтилъ на стѣнныхъ часахъ, что они пробыли тутъ всего пять минутъ. Было безъ семи минутъ три.

Торопили, повели на дворъ.

Опять толкались въ дверяхъ. Пропускали осужденныхъ между двухъ солдатъ. На морозѣ дрожали неодѣтые. Впереди шель тутъ же офицерскіе. Сзади послѣдовали гурьбой изъ сосѣдней комнаты свидѣтели казни, которые всѣ были въ сборѣ.

Священникъ за все время, пока въ канцеляріи совершались послѣднія формальности, страшно волновался и шагаль въ небольшой комнатѣ рядомъ съ канцеляріей, въ кабинетѣ начальника.

Ему казалось, что это все—звѣрство, и что можно бы было этого какъ-нибудь избѣжать, ну, по-христіански, простить ихъ что-ли. „Но видно ужъ мы маленькіе люди... начальству лучше знать“, — думалъ онъ и принимался нѣсколько разъ мысленно молиться, но другіе люди и обстановка мѣшали, и онъ, волнуясь, откидывалъ назадъ свои волосы и теребилъ крестъ.

Начальникъ пригласилъ его.

— Батюшка, одинъ изъ осужденныхъ желаетъ васъ видѣть.

Другіе отказались.

Священникъ заволновался, затеребился — и всталъ вдругъ глухой вопросъ передъ нимъ: гдѣ исповѣдывать? тутъ или тамъ — на мѣстѣ?

Рѣшили—въ канцеляріи.

„Ну, вотъ хоть одному доставлю утѣшеніе, а о другихъ помолюсь“, утѣшалъ онъ себя, но чувствуя, какъ бьется сердце...

Прокуроръ нервничалъ и старался какъ-нибудь не замѣтить того, что должно быть. Вспоминалъ свою жену, оставленную въ теплой и уютной постели. Она любитъ декадентскіе стихи и у нея вообще „красные вкусы“, и онъ самъ этому сочувствуетъ, и онъ все понимаетъ... „Пора же, наконецъ, перейти на новый режимъ. Но вѣдь это же, господа, такъ ясно. Пока есть одинъ законъ, его надо исполнять. Вотъ будутъ въ силѣ, издадутъ другіе законы, тогда и будутъ жить какъ хотятъ!“

И какая-то досада поднималась въ немъ на этихъ людей, за то, что они не юристы и не могутъ понять такой простой истины, — хотя по-человѣчески ихъ, конечно, было жалъ...

И онъ нѣсколько разъ перекладывалъ изъ кармана въ карманъ приговоръ, который долженъ будетъ имъ прочесть, стараясь собрать всю свою силу, чтобы не волноваться...

Докторъ былъ пьянъ, курилъ и слюняво рассказывалъ секретарю суда про какую-то свою обиду.

Офицеръ конвой глядѣлъ на часы...

Наконецъ, тамъ на дворѣ, на мѣстѣ казни, передъ висѣлицами — гимназистъ вдругъ разрыдался и плакалъ, заливаясь

слезами. Онъ ничего ужъ не могъ сказать и плакалъ какъ ребенокъ. Вся сила, все напряженіе, которыя онъ собралъ, разрядились въ исповѣди передъ священникомъ. Онъ не вѣрилъ въ исповѣдь, не вѣрилъ и въ Бога, не понималъ этого. Но мысль о матери не давала покою, и бесѣда со священникомъ—это было все, что онъ успѣлъ придумать, чтобы утѣшить ее. Думалъ и просилъ священника, чтобы тотъ завѣрилъ мать, что онъ умеръ бодро и твердо, съ вѣрой въ безсмертіе, съ любовью къ матери, чтобы она не очень горевала,—хотѣлъ хоть дождю выпить это. Но теперь разстроенныя, распутившіяся чувства прицѣпились къ тому, что онъ въ торопливой, неуклюжей исповѣди священнику забылъ упомянуть о сестрѣ. И такъ вдругъ стало больно за то, что онъ никогда не былъ справедливымъ къ этой золотушной, некрасивой дѣвушкѣ, и что она вдругъ подумаетъ, что онъ не вспомнилъ о ней въ послѣднюю минуту и не любилъ ее, и что это уже непоправимо, что онъ заливался и плакалъ, рыдая и трясаясь всѣмъ тѣломъ.

Эта сцена была невыносима. У всѣхъ наворачивались слезы. Надо было ее прикончить. Его перваго схватилъ палачъ, и онъ вдругъ умолкъ, застылъ, покорился.

Инженеръ все время, пока шли, думавшій о томъ, что надо будетъ какъ-нибудь помочь гимназисту, и не знавшій, какъ это сдѣлать, тутъ, убѣдившись, что висѣлицъ пять, успокоился и весь сосредоточился на этомъ новомъ чувствѣ спокойствія, которое вдругъ открылось ему и передъ которымъ все было такъ ничтожно и мелко, что, слыша нервами рыданія гимназиста, уже не волновался, зная, что вотъ они умрутъ и все сейчасъ кончится для нихъ—и эти слезы, и то, что ихъ вызываетъ... И онъ два раза даже взглянулъ на небо, сіявшее яркими звѣздами, и ему показалось, что и онѣ говорятъ ему о томъ же, что онъ знаетъ въ душѣ. Онъдохнулъ въ послѣдній разъ всей грудью холоднымъ морознымъ воздухомъ—и самъ толкнулъ табуретку.

Клеманкинъ, возбужденный, взволнованный гимназистомъ, заклокоталъ и крикнулъ, что это не простится имъ, палачамъ и звѣрямъ!...

И прокуроръ точно что-то проглотилъ при этомъ, и всѣ вздрогнули, потупившись, зная, что ужъ не стѣитъ имъ возражать ему и спорить теперь.

Рабочій дрожалъ и мерзъ. Сынъ діакона старался смѣяться, но глаза блуждали...

Черезъ двадцать минутъ—страшныхъ, томительныхъ двадцать минутъ, во время которыхъ прокуроръ и другіе нетерпѣливо по-

топтывались на снѣгу, отвернувшись отъ повѣшенныхъ, и мерзли, а секретарь суда, стройный молодой человѣкъ въ пэнсэ и въ судейской формѣ, офицеръ и начальникъ тюрьмы смотрѣли на часы,—докторъ, поспѣшно и путаясь въ полѣ своей шубы, обходилъ висѣвшихъ и, щупая ихъ торопливо за ноги, почти стараясь не коснуться ихъ тѣла, невнятно гнусавилъ:

— О, мертвы, мертвы, совершенно мертвы... конечно, мертвы...
Чего ужъ тутъ! я подпишу...

Расходились... и все было такъ же кругомъ, какъ всегда...

ЛЕОНИДЪ СЕМЕНОВЪ.



И. В. КИРЪЕВСКІЙ

ОЧЕРКЪ.

I.

Въ одной изъ записныхъ книгъ Николая Ивановича Тургенева на бѣлой страницѣ написаны слѣдующія строки: „Характеръ человѣка познается по той главной мысли, съ которою онъ возрастаетъ и сходить въ могилу. Если нѣтъ сей мысли, то нѣтъ характера“.

У Ивана Кирѣевского была такая мысль, и этого одного было бы достаточно, чтобы оправдать воспоминаніе о немъ, даже если бы его мысль всецѣло принадлежала прошлому. Но она жива понынѣ; она представляетъ собою такую большую духовную цѣнность, что забвеніе, которому предано у насъ имя Кирѣевского, можно объяснить только незнавіемъ о ней, — и ради нея-то я хочу воскресить полузабытый образъ Кирѣевского.

Узнать мысль, которою жилъ такой человѣкъ, нельзя ни по его дѣламъ, ни по его произведеніямъ (если это былъ писатель), ни по какому-либо другому ея воплощенію, потому что всякое воплощеніе условно и неполно. Воплощенная, т.-е. отрѣшившаяся отъ своего творца, она уже въ извѣстномъ смыслѣ мертва, она окаменѣла, въ ней недостаетъ главнаго: ея самостоятельной жизни; это статуя, а не живой организмъ. Узнать подобную мысль вполне можно только живую, т.-е. внутри человѣка. Надо въ немъ, въ живомъ, прослѣдить ея органическій ростъ отъ зародыша до расцвѣта; надо видѣть, изъ какихъ врожденныхъ элементовъ она возникла, какъ пролагала себѣ путь, какъ постепенно поглощала человѣка, что ее усиливало и гдѣ она сдава-

лась, — иначе мы никогда не поймемъ ее во всей ея сложности и въ ея существѣ. По воплощенію мысли можно вывести только ея схему, — но велика ли цѣнность схемъ и формулъ въ нравственномъ мірѣ? Тутъ все живое, и только живому здѣсь мѣсто.

Въ частности Кирѣевского иначе нельзя узнать уже потому, что онъ ни въ чемъ не воплотилъ своей основной мысли: онъ ничего не сдѣлалъ и очень мало написалъ, да и въ томъ, что имъ написано, эта мысль скорѣе скрыта, чѣмъ выражена, — какъ фундаментъ, на которомъ покоится все зданіе, но который самъ не виденъ.

II.

Въ томъ фактѣ, что внѣшняя дѣятельность Кирѣевского свелась къ нулю, что онъ ничего не сдѣлалъ и, будучи писателемъ по призванію, очень мало написалъ, заключается вся социальная сторона его біографіи. При тѣхъ историческихъ условіяхъ, въ какихъ жилъ Кирѣевскій, его жизнь неизбежно должна была оказаться внѣшне-безплодной. Онъ былъ лишній человекъ, какъ и всѣ передовые умы его времени: это — основной фактъ его внѣшней жизни.

Ему было 19 лѣтъ, когда вступилъ на престолъ Николай I, а пережилъ онъ Николая всего на годъ слишкомъ; такимъ образомъ, вся его зрѣлая жизнь прошла въ жестокую пору Николаевского владычества. Онъ былъ человекъ большой нравственной силы, настойчиво искавшей себѣ примѣненія, толкавшей его въ жизнь, въ борьбу, на общесветное поприще; онъ любилъ литературу беззаветно, чувствовалъ въ себѣ призваніе къ ней и много разъ, послѣ тяжелыхъ, оскорбительныхъ неудачъ, возвращался къ ней; но таковы были условія времени, что всѣ его усилія оказались тщетными и ему пришлось уйти съ горькимъ сознаниемъ праздной-прожитой жизни, такъ много обѣщавшей дѣлу добра. Я приведу краткій „послужной списокъ“ Кирѣевского, безпримѣрный даже для Николаевской эпохи.

Онъ рано рѣшилъ посвятить себя общему благу и рано выбралъ себѣ поприще служенія — литературу. Двадцати-одного года (въ 1827 г.) онъ пишетъ своему другу Кошелеву, упрекавшему его въ востности и звавшему въ Петербургъ: „Не думай, чтобы я забылъ, что я русскій, и не считай себя обязаннымъ дѣйствовать для блага своего отечества. Нѣтъ! Всѣ силы мы посвящены ему. Но мнѣ кажется, что внѣ службы я могу быть ему полезнѣе, нежели употребляя все время на службу. Я мо

быть литераторомъ, а содѣйствовать къ просвѣщенію народа не есть ли величайшее благодѣяніе, которое можно ему сдѣлать? На этомъ поприщѣ мои дѣйствія не будутъ бесполезны; я могу это сказать безъ самонадѣянности". И далѣе онъ развиваетъ цѣлую программу общепользующей дѣятельности, совмѣстно съ друзьями и съ его четырьмя братьями, которые всѣ будутъ литераторами, и у всѣхъ будетъ отражаться одинъ духъ. „Куда бы насъ судьба ни завела и какъ бы обстоятельства ни разрознили, у насъ все будетъ общая цѣль: благо отечества, и общее средство—литература“.

Дѣйствительно, уже въ 1828 году была напечатана его первая статья—о поэзіи Пушкина, очень замѣчательная для своего времени; годъ спустя, онъ напечаталъ еще болѣе замѣчательное „Обозрѣніе русской словесности за 1829 годъ“. У него было въ это время множество самыхъ пылкихъ литературныхъ плановъ, но, по обстоятельствамъ чисто-личнаго свойства, ему пришлось на время оставить литературу: любовь къ дѣвушкѣ, ставшей впоследствии его женою, и неудачное сватовство настолько потрясли его, что по совѣту врачей онъ уѣхалъ въ Германію—слушать тамошнихъ профессоровъ. Тамъ, на чужбинѣ, подъ вліяніемъ личной неудачи, онъ еще жарче прилѣпился къ мысли о дѣлѣ общественномъ. Онъ говорилъ тогда брату: „Если нѣтъ счастья, есть долгъ“, а родителямъ писалъ: „На жизнь и на каждую ея минуту я смотрю какъ на чужую собственность, которая повѣрена мнѣ на честное слово и которую, слѣдовательно, я не могу бросить на вѣтеръ“. Онъ давно лелѣялъ мысль о собственномъ журналѣ, и вотъ эта мечта осуществилась: въ январѣ 1832 года вышла первая книжка „Европейца“. Кирѣевскій привлекъ блестящій кругъ сотрудниковъ: Баратынскій, Языковъ, Жуковскій, В. Одоевскій, Вяземскій, Хомяковъ, самъ Пушкинъ горячо отозвались на приглашеніе; „Европеецъ“ общалъ статью лучшимъ русскимъ журналомъ, — но на второй же книжкѣ онъ былъ запрещенъ; третья уже и не вышла. Кирѣевскій не зналъ, что онъ давно уже на примѣтѣ у правительства. Еще въ 1827 г. и затѣмъ вторично въ 1828 г., на основаніи перехваченныхъ почтою невиннѣйшихъ дружескихъ писемъ, о немъ, по предписанію изъ Петербурга, производились негласныя дознанія, между прочимъ, при помощи такихъ средствъ, какъ знакомство сыщика съ его камердинеромъ подъ предлогомъ сватовства богатой невѣсты за Кирѣевскаго. Поводомъ къ запрещенію журнала послужила напечатанная въ первомъ номерѣ „Европейца“ статья самого Кирѣевскаго „Девятнадцатый вѣкъ“, статья историко-

философскаго содержанія, чуждая всякихъ политическихъ темъ. Резолюція принадлежала самому Николаю: онъ прочиталъ статью и увидѣлъ въ ней адскій умыселъ. „Его Величество изволилъ найти, что вся статья сія есть не что иное, какъ разсужденіе о высшей политикѣ, хотя въ началѣ оной сочинитель и утверждаетъ, что онъ говоритъ не о политикѣ, а о литературѣ. Но стоить обратить только нѣкоторое вниманіе, чтобы видѣть, что сочинитель, разсуждая будто бы о литературѣ, разумѣетъ совсѣмъ иное; что подъ словомъ *просвѣщеніе* онъ понимаетъ *свободу*, что *дѣятельность разума* означаетъ у него *революцію*, а *искусно отысканная середина* не что иное, какъ *конституція*“. Въ виду этого цензоръ, пропустившій книжку, былъ подвергнутъ взысканію, а изданіе „Европейца“ воспрещено, „такъ какъ издатель, г. Кирѣевскій, обнаружилъ себя человекомъ неблагомыслящимъ и неблагонадежнымъ“.

Это было диво, чудовищно,—но что могло здѣсь помочь? Не помогли ни оправдательная записка, представленная Кирѣевскимъ Бенкендорфу, ни энергичное заступничество Жуковскаго при дворѣ. Дѣло давно любимое и такъ хорошо наладившееся было разрушено однимъ росчеркомъ властнаго пера. Съ какимъ страстнымъ рвеніемъ Кирѣевскій приступалъ къ изданію журнала, видно уже изъ того, что при своей неискоренимой лѣни онъ въ вышедшихъ двухъ книжкахъ помѣстилъ не менѣе пяти статей. Теперь не только журналъ былъ запрещенъ, но Кирѣевскій и вообще былъ надолго лишенъ возможности выступать въ печати. Когда въ 1834 году было разрѣшено изданіе „Московскаго Наблюдателя“, издателю поставили непремѣннымъ условіемъ—исключить изъ программы журнала имя Кирѣевскаго, и самъ Кирѣевскій, отдавая въ „Телескопъ“ свою статью о стихотвореніяхъ Языкова, не только не подписался подъ нею, но утаилъ свое авторство даже отъ ближайшихъ друзей, не исключая самого Языкова,—безъ сомнѣнія, для того, чтобы не подвести журналъ.

На одиннадцать лѣтъ умолѣвъ послѣ этого Кирѣевскій. Пара случайныхъ статей, вродѣ сейчасъ названной, не можетъ идти въ счетъ, какъ и пара неоконченныхъ повѣстей, какъ и статья „Въ отвѣтъ А. С. Хомякову“, написанная для прочтенія въ дружескомъ кругу и впервые напечатанная уже послѣ смерти Кирѣевскаго. Въ сороковыхъ годахъ Кирѣевскій сдѣлалъ попытку получить кафедру философіи въ московскомъ университетѣ, тогда свободную, представилъ даже попечителю, гр. Строганову, записку о преподаваніи логики (въ то время кафедра философіи ограни-

чивалась преподаваніемъ одной логики), — но изъ этого ничего не вышло: препятствіемъ явилась, повидимому, все еще лежавшая на немъ тѣнь неблагонадежности. Мечта о журналѣ не покидала Кирѣевскаго; въ ту пору журналъ являлся единственной публичной каедрой. Но получить разрѣшеніе на журналъ тогда было трудно. Въ 1844 году Погодинъ изъявилъ готовность передать Кирѣевскому свой „Москвитянинъ“; Кирѣевскій писалъ брату, что былъ бы счастливъ, если бы это дѣло состоялось: „я жажду такого труда, какъ рыба еще не зажаренная жаждетъ воды“, — но вопросъ былъ въ томъ, утвердить ли его редакторомъ? Онъ принялъ журналъ, не дожидаясь оффиціального утвержденія, издалъ первыя три книжки 1845 года, и опять собралъ вокругъ себя лучшія литературныя силы (по крайней мѣрѣ, своего лагеря), и опять работалъ съ жаромъ, помѣщая въ каждой книжкѣ по нѣскольку своихъ статей. Но разрѣшенія такъ и не удалось получить, а издавать журналъ, не будучи его полнымъ хозяиномъ, онъ не хотѣлъ, да это и невозможно. И вотъ онъ опять безъ дѣла, и снова его голосъ умолкаетъ на цѣлыхъ семь лѣтъ. Когда въ 1852 году славянофилы приступили къ изданію „Московского Сборника“, Кирѣевскій написалъ для первой книги статью „О характерѣ просвѣщенія Европы“; но „Московский Сборникъ“ былъ запрещенъ послѣ первой книги, и пяти главнымъ участникамъ его, въ томъ числѣ Кирѣевскому, сдѣлано было наивстрѣжайшее внушеніе за желаніе распространять нелѣпыя и вредныя понятія и поставлено въ обязанность впредь представлять всѣ свои сочиненія непосредственно въ Главное управленіе цензуры, — что тогда было равносильно запрещенію; кромѣ того, они, „какъ люди открыто неблагонамѣренныя“, были взяты подъ гласный полицейскій надзоръ. Опять Кирѣевскій въ деревнѣ, опять четырехлѣтнее молчаніе; „однакоже не теряю намѣренія написать, когда будетъ можно писать, курсъ философіи“, — писалъ онъ въ это время Кошелеву. Наконецъ, съ воцареніемъ Александра II, стало можно писать. Славянофилы тотчасъ приступили къ изданію новаго журнала — „Русской Бесѣды“: Кирѣевскій опять взялся за перо, и уже въ февралѣ 1856 года была готова его знаменитая статья „О необходимости и возможности новыхъ началъ для философіи“. Эта статья должна была быть лишь началомъ большого труда; но въ той же книжкѣ журнала, гдѣ она появилась, былъ напечатанъ уже и некрологъ Кирѣевскаго.

Таковъ былъ мартирологъ его общественной дѣятельности. Какъ страдалъ онъ въ долгіе годы вынужденнаго бездѣйствія, что

переживалъ въ своемъ печальномъ долбинскомъ уединеніи, объ этомъ могли только догадываться близкіе къ нему люди. Онъ не жаловался и не проливалъ; его гордая, цѣломудренная натура все принимала молча, — только на лицо его рано легла печать той тайной скорби, которую Герценъ сравнилъ съ печальнымъ покоемъ морской зыби надъ потонувшимъ кораблемъ. Кирѣевскій давно въ могилѣ, и его страданія принадлежатъ прошлому; удѣлялъ лишь слѣдъ этихъ страданій на живомъ дѣлѣ, которому онъ служилъ и которое пережило его, — на его мысли, ставшей общимъ достояніемъ. Каковъ былъ этотъ слѣдъ, нетрудно понять. Это невольное бездѣйствіе должно было углубить мысль и вмѣстѣ дать ей неестественное направленіе. Правственная энергія и вся работа ума, не имѣя выхода наружу, сосредоточивались внутри и шли прежде всего, какъ было естественно въ такомъ человѣкѣ, на выработку личнаго сознанія, на индивидуальное рѣшеніе вѣчныхъ вопросовъ міропознанія и совѣсти. Когда же эта работа была вчернѣ закончена (потому что въ извѣстномъ возрастѣ человѣкъ находитъ себя въ сознаніи и съ тѣхъ поръ, сознавая или нѣтъ, носить въ себѣ уже непоколебимыя рѣшенія этихъ вопросовъ) и Кирѣевскій попытался выношенную имъ въ одиночествѣ глубокую мысль примѣнить къ соціальной жизни, — его умъ, никогда не имѣвшій случая близко соприкоснуться съ конкретной общественной дѣйствительностью, легко соблазнился двумя-тремя невѣрными послылками и пошелъ по ложному пути. И основной цѣнностью, которую онъ добылъ, и производной ошибкой, въ которую впалъ, Кирѣевскій былъ обязанъ историческимъ условіямъ своего времени. А затѣмъ жизнь распорядилась по-своему: ошибка Кирѣевского сыграла громадную роль въ исторіи нашего общественнаго сознанія, — изъ нея вышло все славянофильство, — а мысль, въ которой вылилось все его существо, драгоценная и великая мысль, осталась втунѣ, незаконно использованная одними и незамѣченная или, можетъ быть, именно за эту ея невольную вину пренебреженная другими.

Что же это за мысль и каково ея происхожденіе? — Повторяю: всякая нравственная мысль неотдѣлима отъ личности, родившей ее, и можетъ быть изучена только въ процессѣ своего живого бытія. Такъ и мысль Кирѣевского мы можемъ разглядѣть только въ самой личности Кирѣевского.

III.

Послѣ смерти Кирѣевского одинъ монахъ выразился о немъ, что онъ былъ „весь душа и любовь“. Эти слова кажутся туманными; между тѣмъ они содержатъ самую точную характеристику Кирѣевского. Природа надѣлила его однимъ талантомъ— и большимъ: талантомъ необыкновенно сложнаго, глубокаго, нѣжнаго чувства; въ основѣ онъ всегда жилъ по преимуществу, что называется, сердцемъ. Это была его врожденная особенность, но ее сильно питала и атмосфера его семьи. Онъ вышелъ изъ того гнѣзда, которое было, можно сказать, очагомъ романтическаго движенія въ Россіи. Его мать, Авдотью Петровну, по второму мужу Елагину, съ дѣтства связывала горячая дружба съ Жуковскимъ, и оба они, вмѣстѣ съ той далекой (въ Дерптѣ) Марьей Андреевной Мойеръ, которую такъ долго и безнадежно, несмотря на взаимность, любилъ Жуковскій, составляли неразрывный сердечный триумвиратъ. Въ тѣсномъ взаимномъ общеніи, въ нѣжныхъ письмахъ, полныхъ неувыдающей задушевности, они безъ аффектаціи, повинувшись непосредственному влеченію, беззаветно и пламенно культивировали чувствительность. Голосъ сердца былъ здѣсь и религіей, и фактической основой жизни. Въ этомъ кругу, котораго Жуковскій былъ душою и который владелъ имъ его поэзію, былъ накопленъ огромный опытъ чувства, и внутренній слухъ, способный уловлять самыя тонкія и самыя сложныя переживанія собственной души, изощренъ до виртуозности. Жуковскій въ ранніе годы долго жилъ въ деревнѣ у Елагинной, и дѣтство Кирѣевского прошло отчасти подъ его непосредственнымъ вліяніемъ; но и потомъ духъ Жуковскаго неважно, какъ солнце, виталъ надъ ихъ семьей, опредѣляя вкусы, освящая суверенитетъ „души“.

Кирѣевскій поѣхалъ за-границу въ 1830 году; онъ былъ, значитъ, уже не мальчикъ—ему шель двадцать-четвертый годъ. Его письма оттуда къ роднымъ дышатъ страстной, глубокой привязанностью къ нимъ. Насъ интересуеетъ здѣсь не любовь его именно къ матери или къ брату, а самый характеръ его душевной жизни, эта необыкновенная напряженность и полнота чувства.

Онъ любитъ ихъ, любимыхъ, всѣхъ вмѣстѣ и каждаго отдѣльно до боли, до слезъ, до религіознаго обожанія. Вдали отъ нихъ онъ полонъ только ими; онъ пишетъ имъ изъ Берлина: „Вся

моя жизнь, съ тѣхъ поръ какъ оставилъ Москву, была въ мысляхъ объ Москвѣ, въ разгадываніи того, что у васъ дѣлается“. Ихъ письма онъ называетъ: „ваши милыя, свѣтыя письма“. Каждое письмо для него — событіе: „Наконецъ письмо отъ васъ! Я не умѣю выразить, что мнѣ получать письмо отъ васъ“. Ему при-
 снилось, какъ его провожали въ дорогу и какъ сестра Маша держала его за руку и смотрѣла на него полными слезъ глазами, — и ему опять стало такъ же жаль ее, какъ въ день отъѣзда, „и все утро я сегодня плакалъ, какъ ребенокъ“. Онъ умѣетъ находить слова, полныя удивительной теплоты. Онъ проситъ мать: „Не горюйте обо мнѣ—*для меня*. Неужели мысль, что мнѣ хорошо, не можетъ замѣнить мое присутствіе? А мнѣ было бы въ самомъ дѣлѣ хорошо, если бы я могъ думать о васъ безъ тоскливаго, колючаго чувства“. Мыслить о нихъ, лелѣять въ себѣ ихъ образы — это его лучшее богатство; онъ счастливъ самымъ ихъ существованіемъ, а предъ каждымъ изъ нихъ въ отдѣльности онъ преклоняется съ изумленіемъ, почти съ благоговѣніемъ. Читая письма сестры, онъ „живо, горячо, свято“ понимаетъ „ея дѣтскую, неискusstvenную, ангельскую, чистую душу“. О братѣ Петрѣ онъ не можетъ говорить безъ волненія: „Каждый поступокъ его, каждое слово въ его письмахъ обнаруживаютъ не твердость, не глубокость души, не возвышенность, не любовь, а прямо величіе. И этого человѣка мы называемъ братомъ и сыномъ!“ — И другой разъ, съѣхавшись съ братомъ въ Мюнхенѣ, онъ до слезъ тронуть душевной красотой Петра: „Когда поймешь это все хорошенько, да вспомнишь, что между тысячами милліоновъ именно его мнѣ досталось звать братомъ, какая-то судорога сожметъ и расширитъ сердце“. Онъ уѣхалъ за-границу съ намѣреніемъ прожить тамъ четыре года — и чрезъ девять мѣсяцевъ, оборвавъ занятія, забывъ объ Итали, куда онъ какъ-разъ собирался, сломя голову поскакалъ къ семьѣ, при первомъ извѣстіи о появленіи въ Москвѣ холеры. Такъ любить онъ всѣхъ, кого любить: и мать, и отчима-Елагина, и друзей своихъ — Кошелева, Рогожина. Такъ любилъ онъ и ту дѣвушку, къ которой неудачно посватался въ 1829 году. Получивъ отказъ по причинѣ дальняго родства ихъ семействъ, онъ рѣшилъ подавить свое чувство, уѣхалъ, потомъ, вернувшись, бросился въ журнальную дѣятельность, пережилъ ту тяжелую исторію съ „Европейцемъ“; прошло пять лѣтъ, въ теченіе которыхъ онъ ни разу не видѣлъ той дѣвушки, — а 6 марта 1834 года его мать писала Жуковскому: „Милый братъ, благословите Ивана и Наташу. Весь пятнадцатый оплотъ недоразумѣній, разлуки, благо-

разумія и пр. распался отъ одного взгляда. 1-го марта послѣ пяти лѣтъ разлуки онъ увидѣлъ ее въ первый разъ; часа два глядѣлъ издали, окруженный чужими гостями, и какъ она встала ѣхать, повлекся какой-то невидимой силой, и на крыльцѣ объяснились однимъ словомъ, однимъ взглядомъ. На другое утро привелъ мнѣ благословить дочь“.

Есть люди, которые страстно чувствуютъ, но не даютъ себѣ отчета въ этомъ. Кирьевскій не только сильно чувствовалъ, но и ясно ощущалъ свое чувство; и потому, когда онъ сталъ размышлять о человѣческой психикѣ (а онъ сталъ мыслить рано, будучи одаренъ сильнымъ философскимъ умомъ и получивъ превосходное образованіе, особенно философское: его отчимъ Елагинъ, руководившій его образованіемъ, самъ былъ знатокъ Канта и Шеллинга),—онъ естественно долженъ былъ на первомъ же шагѣ остановиться передъ чувствомъ, какъ основнымъ самостоятельнымъ фактомъ душевной жизни. Онъ въ себѣ самомъ сдѣлалъ открытіе, столь же конкретное, какъ открытіе новаго материка, и не менѣе важное: онъ ощутилъ и созналъ въ себѣ присутствіе нѣкоторой центральной силы—чувства,—опредѣляющей всю психическую дѣятельность человѣка. И по мѣрѣ того, какъ онъ вдумывался въ этотъ фактъ, онъ разглядѣлъ въ хаосѣ душевныхъ движеній плотное ядро—нравственную личность человѣка, обусловливаемую характеромъ его чувствованій.

Это открытіе было подготовлено, какъ мы видѣли, мировоззрѣніемъ, царившимъ въ семьѣ Кирьевского. И Жуковскій, и М. А. Мойеръ больше всего дорожили и въ себѣ, и въ людяхъ—„сердцемъ“, теплотою, нѣжностью, искренностью чувства. Они, значить, очень хорошо различали нравственное ядро въ человѣкѣ отъ свойствъ ума, отъ знаній и пр. Но это было чисто-практическое знаніе, которое они примѣняли, мало думая или даже совсѣмъ не думая о его философскомъ значеніи; они добыли его изъ опыта, и оно оставалось въ нихъ только личнымъ, глубоко-интимнымъ пристрастіемъ. Кирьевскій имѣлъ съ ними общаго чувствительность сердца, но во всемъ остальномъ былъ непохожъ на нихъ: желѣзная твердость его воли была имъ такъ же чужда, какъ философскій складъ его ума. Онъ и чувствовалъ иначе, чѣмъ они,—отчетливо, конкретно, безъ примѣси воображенія (котораго онъ и вообще былъ лишенъ). И оттого онъ сумѣлъ сдѣлать то, о чемъ они и не догадывались думать: онъ ощутилъ въ себѣ чувство, какъ средоточіе своей личности, и философски осмыслилъ этотъ свой личный опытъ. Между Жуковскимъ и Кирьевскимъ есть органическая связь; что было у Жу-

ковскаго чаяніемъ, то у Кирѣвскаго стало убѣжденіемъ, и въ этомъ смыслѣ славнофильство, поскольку оно осталось вѣрнымъ своей основной идеѣ, формулированной именно Кирѣвскимъ, является плотью отъ плоти русскаго романтизма.

IV.

По письмамъ Кирѣвскаго, которыхъ сохранилось очень много (изъ нихъ напечатана только малая часть), можно прослѣдить, какъ постепенно новый материкъ выступалъ передъ нимъ изъ тумана. Двадцати лѣтъ онъ объясняетъ Елагину, почему писать къ наиболѣе любимому человѣку всего лучше тогда, когда на душѣ грустно. „Въ эти минуты душа невольно какъ-то обращается къ тому, что всего дороже, и забываетъ все, что ее разсѣвало, и всѣ обыкновенныя занятія, которыя, скользя только по поверхности ея, не доходили въ глубину. Я, по крайней мѣрѣ, во время печали невольно ищу предмета, который бы вполнѣ занималъ всего меня, который бы заключалъ въ себѣ не одно опредѣленное желаніе, не одну опредѣленную мысль, но входилъ бы во всѣ желанія, во всѣ мысли“. Онъ, значить, уже ощущаетъ въ себѣ чувство, какъ основное содержаніе души, и знаетъ, гдѣ искать въ немъ грунтъ. Четыре года спустя, изъ Берлина, онъ проситъ, чтобы сестра Мама писала ему, не сочиняя своихъ писемъ, а такъ, какъ придетъ въ голову—иначе выйдетъ меньше натурально, меньше мило, меньше „по-машински“; и написавъ это, онъ невольно въ недоумѣніи спрашиваетъ какъ бы самого себя: „Неужели все душевное, простое, милое, должно дѣлать безъ сочиненія? *Послѣ этого въ чемъ же состоитъ мудрость?*“ Да, если прекрасно только то, что идетъ изъ нравственной сердцевины человѣка, то что можетъ прибавить къ этому вся работа сознанія, вся мудрость философовъ? Когда тамъ же, за-границей, его другъ Рожалинъ однажды поступилъ по отношенію къ нему нетактично, Кирѣвскій объясняетъ ошибку Рожалина не недостаткомъ ума, а недостаткомъ любви, потому что, пишетъ онъ,—„нельзя разсчитать умомъ, когда чувство не наведетъ на этотъ расчетъ“. Теперь онъ уже ясно видитъ материкъ. Онъ уже твердо знаетъ, что въ человѣкѣ есть нѣчто компактное, перводанное, основное,—именно его нравственная личность, т.-е. опредѣленный составъ его чувствъ, пристрастій, склонностей,—что ею опредѣляется весь человѣкъ и что только въ ней его истина. Что есть въ сознаніи и чего нѣтъ въ чувствѣ,

то — ложь даннаго человѣка; высшаго человѣкъ достигаетъ только въ тождествѣ своего чувства и сознанія. Передавая впечатлѣнїе, произведенное на него лекціями Шлейермахера о жизни Христа, онъ такъ опредѣляетъ коренную ошибку этого мыслителя: „Ему такъ же мало можно отказать въ сердечной преданности въ религіи, какъ и въ философическомъ самодержавіи ума. Но сердечныя убѣжденія образовались въ немъ отдѣльно отъ умственныхъ, и между тѣмъ какъ первыя развились подъ вліяніемъ жизни, классическаго чтенія, изученія св. отцовъ и Евангелія, вторыя росли и востенѣли въ борьбѣ съ господствующимъ матеріализмомъ XVIII вѣка. Вотъ отчего онъ вѣритъ сердцемъ и старается вѣрить умомъ, Его система похожа на языческій храмъ, обращенный въ христіанскую церковь, гдѣ все внѣшнее, каждый камень, каждое украшеніе напоминаютъ объ идолопоклонствѣ, между тѣмъ какъ внутри раздаются пѣсни Іисусу и Богородицѣ“.

Изъ этого убѣжденія (а оно было плодомъ его личнаго внутренняго опыта) выросла вся философія Кирьевского. Оно и въ повседневной жизни стало для него мѣриломъ вещей. Вотъ примѣръ. Поэтъ Языковъ былъ однимъ изъ самыхъ дорогихъ ему друзей. Языковъ давно хворалъ, не находилъ исцѣленія у врачей, и наконецъ рѣшилъ испробовать гомеопатію. Это тревожило Кирьевского, — онъ не вѣрилъ въ гомеопатію, — и вотъ онъ пишетъ Языкову пространное письмо (1836 г.) съ цѣлью разубѣдить его въ пользѣ этого способа леченія. Его первый и основной аргументъ противъ гомеопатіи — кто бы могъ подумать? — не ея непригодность, а *личность ея изобрѣтателя*. Онъ пишетъ такъ: „Была ли хоть одна система отъ сотворенія міра, въ которой бы не обозначался характеръ ея изобрѣтателя? Мнѣ кажется, и быть не можетъ. Въ чемъ же состоитъ характеръ самого Ганнемана? Умъ гениальный, соединенный съ характеромъ шарлатана. Слѣдовательно, уже напередъ можно сказать, что во всѣхъ его изобрѣтеніяхъ должна быть истина въ частяхъ и ложь въ цѣломъ“. И дальше слѣдуетъ въ подтвержденіе разборъ трехъ изобрѣтеній Ганнемана: пневматическаго элисира, порошка противъ скарлатины и, наконецъ, гомеопатіи. Для Кирьевского стало естественнымъ о каждомъ произведеніи или дѣяніи человѣка прежде всего спрашивать: какова личность творца, виновника? Потому что все дѣло — въ сердцевинѣ человѣка: если она хороша, она должна родить благое; если дурна, то неизбѣжно будетъ, ложь въ цѣломъ“, и тутъ даже гениальный умъ способенъ сказать доброе только „въ частяхъ“.

Я хотѣлъ бы во всей силѣ передать читателю то чувство

конкретности, совершенной, такъ сказать, осязательности, которое испытывалъ Кирѣевскій, мысля объ этомъ душевномъ ядрѣ въ человѣкѣ. Оно замкнуто въ себѣ, какъ шаръ; оно представляетъ самочинную внутреннюю организацію въ человѣкѣ, дѣйствующую по неизвѣстнымъ намъ законамъ; оно открыто всѣмъ влияніямъ, но перерабатываетъ ихъ съ великой сложностью, и только то, что въ немъ совершается, есть подлинная, сущая, реальная жизнь человѣка. Отсюда вытекаетъ, что оно (а не разумъ), какъ единственная сущность въ человѣкѣ, представляетъ собою тотъ каналъ, который соединяетъ духъ человѣческой со всей міровой сущностью, иначе говоря—съ бытіемъ и волею Бога. Въ этомъ внутреннемъ ядрѣ человѣка живутъ и борются безъ забрала, въ своемъ подлинномъ видѣ, духъ добра и духъ зла. И вотъ, послѣдовательно развивая свою мысль, Кирѣевскій останавливается на явленіи сна, какъ на такомъ моментѣ, когда внутренняя жизнь духа совершается безъ помѣхи, не заглушаемая ничѣмъ. Онъ создаетъ себѣ цѣлую теорію сновидѣнія, и любопытно видѣть, какъ она складывалась въ его умѣ по мѣрѣ развитія его основной мысли.

Онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ людей, которые часто видятъ сны. Это была, кажется, фамиліная черта; по крайней мѣрѣ, его мать безпрестанно пишетъ о своихъ сновидѣніяхъ. Въ молодости Кирѣевскій не придавалъ имъ важности, но и тогда они являлись для него яркими переживаніями. Въ одномъ неизданномъ его письмѣ къ сестрѣ изъ Берлина, т.-е. 1830 года ¹⁾, мы находимъ уже ясные признаки того, что онъ размышляетъ о природѣ сна и придаетъ ему болѣе, нежели анекдотическое значеніе. „Знаешь ли ты, что я во всякомъ снѣ бываю у васъ?—пишетъ онъ. — Съ тѣхъ поръ, какъ я уѣхалъ, не прошло ни одной ночи, чтобъ я не былъ въ Москвѣ. Только какъ! Вообрази, что до сихъ поръ я даже во снѣ не узналъ, что такое свиданье, и каждый сонъ мой былъ повтореніемъ разлуки. Мнѣ все кажется, будто я возвратился когда-то давно и уже ѣду опять. Сны эти до того неотвѣчно меня преслѣдуютъ, что одинъ разъ, садясь въ коляску, тоже во снѣ, чтобы ѣхать отъ васъ, я утѣшался мыслью, что теперь, когда сонъ мой исполнится, по крайней мѣрѣ я перестану его видѣть всюю ночь. Вообрази же, какъ я удивился, когда проснулся и увидѣлъ, что и это

¹⁾ Большое собраніе неизданныхъ писемъ Кирѣевского было мнѣ предоставлено, благодаря любезному посредничеству А. Е. Грузинскаго, г-жеи М. В. Бееръ, урожд. Елагиной.

былъ сонъ. Это—родъ соннаго сумасшествія... Хоть ты попробуй наслатъ мнѣ сонъ со свиданьемъ... Не смѣйся надъ этимъ. Сны для меня не бездѣлица... Лучшая жизнь моя была во снѣ. Не смѣйся же, когда я такъ много говорю объ нихъ. Они вздоръ, но этотъ вздоръ доходитъ до сердца... Между тѣмъ, чтобъ ты знала, какъ наслатъ сонъ, надобно, чтобы я научилъ тебя знать свойства сновъ вообще. Это наука важная, и я могу говорить объ ней *avec connaissance de cause*. По крайней мѣрѣ, я здѣсь опытниче, чѣмъ на яву. Слушай же: первое свойство сновъ—то, что они не свободны, но зависятъ отъ тѣхъ, объ комъ идутъ. Такъ, если мнѣ непременно надобно всякую ночь видѣть васъ, то сны мои будутъ свѣтлы, когда вамъ весело, и печальны, когда вы грустны или нездоровы, или безпокоитесь. Отъ того, если ты можешь быть моею колдуньей, то должна сохранять въ себѣ безпрестанно такую ясность души, такое спокойствіе“, и т. д.— Въ этихъ полшутливыхъ строкахъ скрывать нѣчто большее, чѣмъ шутка. Но вотъ другое, тоже неизданное письмо, къ матери, писанное семь лѣтъ спустя, когда Кирьевскому былъ уже 31 годъ, совсѣмъ не шутливое—и съ полной ясностью опредѣляющее мистическую природу сновидѣнія. „...Еще одно мѣсто въ письмѣ вашемъ сильно поразило меня: вы пишете, что вы видѣли во снѣ, что Господь сказалъ вамъ обо мнѣ, „что мнѣ теперь послѣднее горе въ нынѣшнемъ году, и что все остальное будетъ хорошо и благополучно“. — Милая маменька! прошу васъ сдѣлать мнѣ великое одолженіе: припомнить сколько можно вѣрнѣе и подробнѣе всѣ обстоятельства этого сна, и сообщить мнѣ ихъ со всевозможною точностью, обозначивъ то, что вы припомните ясно, и то, что смутно, и то, въ чемъ вы увѣрены, что видѣли, и то, въ чемъ сомнѣваетесь, видѣли ли во снѣ, или думали, вспоминая сонъ; потому что подробныя воспоминанія сна вообще бываютъ составной вѣрности. Знать этотъ сонъ вашъ было бы мнѣ очень, несказанно интересно. Я не знаю, встрѣчалъ ли кого-нибудь, кто бы имѣлъ счастье видѣть во снѣ самого Господа, или слышать слова Его. Какая бы ни была причина, возбудившая такое сновидѣніе, но *во всякомъ случаѣ* такой сонъ есть *важное событіе жизни*. Внутренъ ли онъ Ангеломъ свѣта, или Ангеломъ лести, или естественный плодъ естественнаго движенія фантазіи,—онъ все имѣетъ значительность великую, и въ подробностяхъ своихъ, вѣроятно, носить признаки своего происхожденія. Если даже онъ просто результатъ естественнаго движенія фантазіи, то не могъ родиться *случайно*. Представленія сна — выраженія внутреннихъ чувствъ души, — идеалы этихъ

чувствъ. Тѣ внѣшнія впечатлѣнія, которыя на яву возбудили бы въ насъ соотвѣтственное имъ внутреннее чувство, являются намъ во снѣ какъ слѣдствіе этого внутренняго чувства. Потому состояніе души вашей было во всякомъ случаѣ необыкновенное. Если же, простите мнѣ это предположеніе, вы усилили нѣсколько выраженія ваши для того, чтобы меня утѣшить, то ради истиннаго Господа прошу васъ сказать мнѣ это искренно“.

Итакъ, сновидѣніе — какъ бы отверстіе, въ которое мы можемъ подсмотреть дѣйствіе таинственныхъ силъ въ нашей душѣ, а можетъ быть и нѣчто большее. Въ эти минуты, когда всѣ остальные духовныя способности парализованы и внутреннее „я“ живетъ свободно и невозмутимо, намъ слышны не только звучащіе въ немъ голоса, но среди нихъ и Божьи глаголы.

V.

Ощутить въ себѣ свое чувственное „я“ и сознать его, какъ единственно-жизненный и полновластный органъ своей личности, значило сосредоточить всѣ мысли о счастьи, о совершенствованіи, о высшемъ долгѣ — на одномъ стремленіи: *организовать* свое „я“, превратить хаосъ своихъ чувствованій въ гармоническое цѣлое. Эта задача напрашивалась прежде всего; она рано предстала Кирѣевскому и не покидала его всю жизнь. Она имѣла для него тѣмъ большую остроту, что сердце его, такое впечатлительное, было плохо защищено противъ тревожной жизни. Болѣзненная тревога была неразлучна съ нимъ; онъ былъ крайне мнителенъ въ отношеніи здоровья и благополучія любимыхъ людей и вѣчно томился страхомъ, заботой, грустью о нихъ. Это была тоже фамильная черта; „чувство *безпокойства понапрасну* въ семьѣ нашей утончили до нельзя“, писалъ онъ однажды. Уже въ Берлинѣ, гдѣ, вслѣдствіе разлуки съ семьей, эти страхи особенно донимали его, онъ настойчиво выдвигаетъ мысль о необходимости бороться съ ними. Онъ пишетъ: „Во всей семьѣ нашей господствующее, ежедневное чувство есть какое-то напряженное, боязливое ожиданіе бѣды. Съ таинъ чувствомъ счастье не уживается. Но откуда оно? Зачѣмъ? Какъ истребить его? Какъ замѣнить спокойствіемъ и мужественною неустрашимостью передъ ураганами судьбы?“ Онъ готовъ видѣть въ этомъ задачу вѣка. „Довольно въ жизни горя настоящаго, вѣрнаго! Бояться будущаго, возможнаго — слабость, малодушіе, недостойное человѣка, мужа... Каждый вѣкъ, каждый годъ, каждый часъ

имѣть свой идеаль челоѣка. Стремленіе наше должно быть въ твердости, въ независимости характера отъ сердца“. Онъ хочетъ бороться, онъ гонитъ отъ себя эти мысли. Ему пишутъ изъ Москвы, что заболѣлъ Николинъка; ему, страшно — но онъ старается вытѣснить изъ сердца эту тревогу, „убивающую духъ“. Онъ летитъ въ Москву при первомъ извѣстии о холерѣ; онъ боится за родныхъ, не можетъ дожидаться, пока узнаетъ, что они всѣ живы, — но онъ старается отогнать страхъ „простой волею“, не разсужденіемъ. Кажется, видишь, какъ спазма сжимаетъ его горло.

И всю жизнь онъ боролся съ собою, а жизнь изобильно доставляла ему поводы для борьбы въ видѣ непрестанныхъ бо-лѣзней жены, дѣтей, друзей. Подобно Герцену, онъ страстно желалъ выработать въ себѣ жизненную храбрость и ей, кажется, всего больше завидовалъ въ людяхъ. Когда вышли послѣднія пѣсни „Одиссея“, переведенныя Жуковскимъ, Кирѣевскій писалъ (въ неизданномъ письмѣ къ А. П. Зонтагу, 1849 г.): „Онъ ихъ перевелъ и исправилъ переводъ и напечаталъ, все въ теченіе 94-хъ дней, подлѣ больной жены, посреди кипящей вокругъ него революціи. Вотъ образецъ геройскаго мужества мысли, непонятно высокой твердости духа“.

Разумѣется, страхи — только частность. Не они одни (хотя они — всего острѣе) ранятъ душу и вносятъ смуту въ нее: вся жизнь, хаотическая, полная противорѣчій, кипящая мелочами, вторгается въ нравственный міръ челоѣка и питаетъ его враждующія влеченія. Но главная опасность еще и не въ этомъ. Чтò всего болѣе мѣшаетъ намъ организовать нашу нравственную личность, это — естественное раздвоеніе челоѣческаго духа: разсудокъ, или — какъ выражается Кирѣевскій — логическое сознаніе, вотъ главный антагонистъ. Эту мысль Кирѣевскій съ категорической опредѣленностью изложилъ въ замѣчательномъ письмѣ къ Хомякову, 1840 года. Онъ полагаетъ, что развитіе разума стоитъ въ обратномъ отношеніи къ развитію воли, какъ въ челоѣкѣ, такъ и въ народѣ. Онъ разсуждаетъ такъ. Логическое сознаніе, переводя дѣло въ слово, жизнь въ формулу, схватываетъ предметъ не вполне и тѣмъ уничтожаетъ его дѣйствіе на душу. Оперировать сознаніемъ — значитъ чертить планъ, но отнюдь не значитъ строить домъ; поэтому, когда дѣло доходитъ до настоящей постройки, намъ уже трудно нести камень вмѣсто карандаша. Этимъ, между прочимъ, объясняется извѣстный каждому изъ опыта фактъ, что мысль только до тѣхъ поръ занимаетъ насъ горячо и плодотворно, пока мы не выскажемъ ее другому:

тогда наше вниманіе съ живого предмета переносится на его изображеніе, и онъ вдругъ перестаетъ на насъ дѣйствовать, какъ нарисованный цвѣтокъ не растетъ и не пахнетъ. Есть другое знаніе, высшая ступень, — знаніе гиперлогическое; здѣсь воля растетъ вмѣстѣ съ мыслью. Это знаніе мы приобретаемъ, внимая отношенію вещей къ нашей неразгаданной душѣ: „Покуда мысль ясна для разума или доступна слову, она еще бессильна на душу и волю. Когда же она разовьется до невыразимости, тогда только пришла въ зрѣлость“.

Итакъ, высшій идеаль стремленій — душевная цѣльность. Святыня, которую я ощущаю въ своей душѣ, не можетъ быть частью ея: она должна владѣть всѣмъ моимъ существомъ, одна управлять моею волею. Но какъ достигнуть этого внутренняго единства? — вотъ важнѣйшая задача и величайшая трудность. „Противъ жизни, противъ мелочной и ежедневной жизни, — писалъ однажды Кирѣвскій Кошелеву (рукоп.), — не устоитъ никакая святыня; чтобы дать ей твердое основаніе, надобно ввести ее въ жизнь ежедневную, сдѣлать мысль и чувство привычкою“.

Легко связать: „надо“, но какъ осуществить это?

Кирѣвскій былъ мистикъ—это ясно изъ всего вышесказаннаго. Какъ мистикъ, онъ считалъ первымъ условіемъ совершенствованія волю на то Бога: это—благодать, которую Богъ удѣляетъ по непостижимому для насъ закону, въ разныхъ доляхъ. Въ письмахъ Кирѣвскаго встрѣчаются строки, поразительно освѣщающія эту его мысль. Такъ, рассказывая въ письмѣ къ матери о послѣднихъ минутахъ Языкова (1846 г.), онъ, между прочимъ, передаетъ такую подробность. Наканунѣ смерти Языковъ собралъ около себя всѣхъ, кто жилъ у него, и у каждаго по одиночкѣ спрашивалъ, вѣрятъ ли они въ воскресеніе душъ; видя, что они молчатъ, онъ велѣлъ имъ достать какую-то книгу, говоря, что она совсѣмъ перемѣнитъ ихъ образъ мысли. Оказывается, что всѣ присутствующіе забыли названіе книги и, какъ ни стараются, не могутъ припомнить. Изложивъ этотъ эпизодъ, Кирѣвскій замѣчаетъ: „Очевидное и поразительное доказательство таинственнаго Божьяго смотрѣнія о спасеніи и руководствѣ душъ человѣческихъ“.

Но, какъ и всѣ мистики, онъ полагалъ, что личная воля человѣка должна идти навстрѣчу благодати. Нужно не только стремиться, — нужно активно созидать свою внутреннюю храмину. Легко понять, что важнѣйшимъ средствомъ Кирѣвскій считалъ то же, чему учить вся христіанская мистика: принять въ свою душу Христа. Въ письмахъ онъ указываетъ, такъ

сказать, вспомогательныя средства: пристальное чтеніе св. отцовъ и подчиненіе себя руководству какого-нибудь святаго старца. О немъ самоѣ мы знаемъ, что онъ многіе годы посвятилъ изученію твореній св. отцовъ и въ оптинскомъ старцѣ Маваріѣ нашель себѣ исповѣдника и учителя. Въ сороковыхъ годахъ на него, повидимому, оказали сильное вліяніе жизнь и ученіе знаменитаго славянскаго аскета-мистика Паисія Величковскаго; Кирѣевскій участвовалъ въ изданіи его „Житія и писаній“, сдѣланномъ Оптинской пустынью, и, взявъ въ свои руки „Москвитяинъ“, помѣстилъ тамъ славянскій текстъ этого житія. Но незадолго до своей смерти Кирѣевскій самъ писалъ Кошелеву, что не сумѣлъ, какъ слѣдуетъ, использовать эти средства и только усилилъ въ себѣ „ту раздвоенность, которой уничтоженіе составляетъ главную цѣль духовнаго умозрѣнія“.

VI.

Такова была въ существѣ своемъ мысль Кирѣевскаго. Я хотѣлъ показать, что онъ дошелъ до нея не отвлеченнымъ, объективнымъ мышленіемъ, а страстнымъ раздумьемъ о самоѣ себѣ и для себя самого. Она возникла въ немъ непроизвольно, какъ инстинктивное влеченіе, и, питаемая безчисленными конкретными личными переживаніями, постепенно просачивалась въ сознаніе, тамъ крѣпла, все ассимилировала себѣ, пока наконецъ превратилась въ идею-вѣру, идею-страсть, поглотившую всего человѣка. И какъ это всегда бываетъ съ органическимъ убѣжденіемъ, онъ въ ней—въ этой мысли о цѣльности духа—увидѣлъ не только рѣшеніе своей личной жизненной задачи, но и ключъ къ тайнѣ духовнаго бытія вообще. Лично—онъ всю свою зрѣлую жизнь имѣлъ ее одну предметомъ мышленія и самосовершенствованія; какъ писатель—онъ одну ее проповѣдывалъ.

Ученіе Кирѣевскаго въ своемъ чистомъ видѣ, т.-е. отрѣшенное отъ тѣхъ незаконныхъ придатковъ, которыми исказилъ его отчасти самъ Кирѣевскій, а еще больше его толкователи, представляетъ собою строго-последовательное развитіе трехъ положеній, добытыхъ имъ въ его личномъ опытѣ, — а именно: 1) что въ человѣкѣ есть нѣкоторое чувственное ядро, сфера надсознательнаго, которое и является верховнымъ и единовластнымъ органомъ управленія личностью; 2) что это чувственное ядро, объемлющее всю душевную жизнь человѣка, отъ элементарнаго чувствованія до убѣжденія вѣры, и есть въ человѣкѣ

единственно-существенное, единственно-космическое или Божественное; 3) что вся работа человѣка надъ самимъ собою должна заключаться въ правильномъ устройствѣ этой своей внутренней личности, въ приведеніи ея къ единству воли, такъ, чтобы исчезло раздвоеніе между чувствомъ и сознаниемъ и чтобы ни одно частное чувство не брало верхъ надъ центральной, всегда вѣрной себѣ волею.

Для всякаго ясно, что эта цѣльность духа, которую проповѣдывалъ Кирѣевскій, можетъ быть разсматриваема съ двухъ сторонъ: какъ цѣнность субъективная, такъ какъ она одна обеспечиваетъ человѣку невозмущаемое душевное спокойствіе и удовлетвореніе, что извѣстно изъ опыта,—и какъ объективная цѣль, имманентная человѣческому духу и составляющая его высшій законъ, такъ что лишь въ стремленіи къ ней онъ способенъ осуществить свое естественное назначеніе. Замѣчательно, что первой стороною дѣла,—лично для него, помимо сознанія, можетъ быть, важнѣйшею,—Кирѣевскій въ своей проповѣди совершенно пренебрегъ; онъ не упоминаетъ о ней ни словомъ. Точка зрѣнія выгоды должна была ему претить; по всему своему характеру онъ меньше всего былъ склоненъ къ проповѣди эвдемонистическихъ теорій. Да и то сказать: какую радость онъ могъ сулить своимъ послѣдователямъ? Онъ лучше всякаго зналъ, по собственному тяжкому опыту, что совершенная цѣльность—идеаль, достигнуть котораго удалось лишь немногимъ; и онъ дѣйствительно всюду говорить только о движеніи къ этой цѣли,—а это путь тернистый, исключающій всякую мысль о душевномъ спокойствіи. Нѣтъ, онъ проповѣдывалъ не выгоду, а долгъ, но долгъ, въ котораго нѣтъ не только радости, но и вообще жизни. Онъ училъ людей жить такъ, какъ требуетъ природа вещей.

Онъ исходитъ изъ аксіомы (никогда имъ не выраженной опредѣленно, но лежащей въ основѣ всего его мышленія), что въ мірѣ есть Абсолютная сущность, единая въ природѣ и въ человѣческомъ духѣ; знаніе о ней есть *сущая истина*; только усвоивъ себѣ это знаніе о ней, т.-е. пронизавшись истиной, человѣкъ (такъ какъ онъ одаренъ сознаниемъ) сливается съ сущностью и становится ея механическимъ и вмѣстѣ свободнымъ органомъ: это, такъ сказать, космическій законъ человѣческаго духа. Итакъ, все дѣло—въ знаніи; но первымъ условіемъ приобрѣтенія этого знанія является духовная цѣльность.

Знаніе, о которомъ говоритъ Кирѣевскій, представляетъ собою, очевидно, нѣчто совершенно отличное отъ того, что обы-

кновенно понимаютъ подъ этимъ словомъ. Дѣйствительно, Кирьевскій строго различаетъ два вида знанія: духовное и—логически-отвлеченное.

Онъ утверждаетъ, что дискурсивному или логическому мышленію знаніе сущности вообще недоступно, ибо это мышленіе имѣетъ дѣло только съ границами и отношеніями понятій; оно формально по самой природѣ, и, слѣдовательно, его функція исчерпывается познаваніемъ формъ. Единственное, чтò существенно въ человѣкѣ, это его цѣлостный духъ, его нравственная личность, а потому только она и способна познавать сущность, ибо „только существенность можетъ прикасаться существенному“.

Кирьевскій далекъ отъ мысли отрицать важность логическаго мышленія и доставляемаго имъ такъ-называемаго „научнаго“ знанія. Напротивъ, онъ признаетъ ее вполне; отрывая намъ законы разума и вещества, это знаніе помогаетъ человѣку упорядочить внѣшній процессъ мысли и улучшать матеріальную жизнь. Кирьевскій утверждаетъ только, что логическое мышленіе и проистекающая изъ него наука лишены всякаго моральнаго смысла; они нравственно-безразличны, стоятъ между добромъ и зломъ и равно могутъ быть употребляемы на пользу и на вредъ, на служеніе правдѣ или на подрѣпленіе лжи. Именно эта безхарактерность логически-техническаго знанія обезпечиваетъ ему непрерывное возрастаніе въ человѣчествѣ, независимо отъ нравственнаго уровня, на которомъ стоитъ человѣкъ. Но оно не можетъ дать больше того, чтò лежитъ въ самой его природѣ, и потому великая ошибка думать, что внутреннее устройство человѣка можетъ быть достигнуто развитіемъ логической мысли; а на этомъ заблужденіи основана вся теорія прогресса. Вѣрно какъ-разъ обратное: отдаваясь логическому мышленію, вручая ему одному сознаніе истины, человѣкъ тѣмъ самымъ въ глубинѣ своего самосознанія отрывается отъ всякой связи съ міромъ сущности, т.-е. съ дѣйствительностью, и самъ становится на землѣ существомъ отвлеченнымъ, „какъ зритель въ театрѣ, равно способный всему сочувствовать, все одинаково любить, ко всему стремиться, подъ условіемъ только, чтобы физическая личность его ни отъ чего не страдала и не безповицалась“; ибо только отъ физической личности не можетъ онъ отрѣшиться своей логической отвлеченностью.

Значеніе этому знанію и смыслъ всей жизни даетъ то, высшее знаніе, непосредственно вносящее въ человѣчeskій духъ ящую истину и тѣмъ реально устрояющее его. Изъ него вытекаютъ коренныя убѣжденія человѣка и народовъ; оно является

главной пружиной ихъ мышленія, основнымъ звукомъ ихъ душевныхъ движеній, краскою языка, причиною сознательныхъ предпочтеній и безсознательныхъ пристрастій; оно опредѣляетъ вѣшней и внутренней бытъ, нравы и обычаи.

По существу дѣла ясно, что приобрѣтеніе этого знанія всецѣло обусловливается нравственнымъ состояніемъ человѣка. Основнымъ условіемъ здѣсь является правильное устроеніе познающаго духа, тогда какъ для логическаго познанія требуется только правильная вѣшняя связь понятій. Оттого послѣднее, будучи разъ приобрѣтено, навсегда остается собственностью человѣка, независимо отъ настроенія его духа, просвѣщеніе же духовное приобрѣтается по мѣрѣ внутренняго стремленія къ нравственной высотѣ и цѣльности, и исчезаетъ вмѣстѣ съ этимъ стремленіемъ, оставляя въ умѣ одну наружность своей формы.

Итакъ, „для цѣльной истины нужна цѣльность разума“. Раздробленному духу, изолированному сознанію истина недоступна. Въ глубинѣ души есть живое общее средоточіе для всѣхъ отдѣльныхъ силъ разума: оно скрыто при обыкновенномъ состояніи духа человѣческаго, но достижимо для ищущаго, — и оно одно способно постигать высшую истину.

Эта высшая истина есть сознаніе о Богѣ и его отношеніи къ человѣку, — но сознаніе не логическое, а живое. Ибо логическое понятіе о божественной первопричинѣ, человѣческой разумъ прямо извлекаетъ изъ созерцанія вѣшняго мірозданія: на эту мысль наводитъ его сознаніе единства, неизмѣримости, гармоніи, мудрости вселенной. Сознаніе о *живой* самосущности Бога этимъ путемъ не можетъ быть добыто; оно возникаетъ въ нашей душѣ лишь тогда, когда къ созерцанію вѣшняго мірозданія присоединяется самостоятельное и неуклонное созерцаніе міра внутренняго, раскрывающее предъ нашимъ умственнымъ взоромъ сторону существенности въ самомъ нашемъ духовномъ бытіи. Тогда наше отношеніе къ Богу изъ логическаго становится существеннымъ, т.-е. переходитъ изъ сферы умозрительной отвлеченности въ сферу живой отвѣтственной дѣятельности.

Это высшее знаніе, это живое сознаніе объ отношеніи Бога къ человѣку Кирѣвскій называетъ вѣрою. Она, очевидно, не есть ни отдѣльное знаніе, ни особое чувство; она обнимаетъ всю цѣльность человѣка, и является только въ минуты этой цѣльности и соразмѣрно ея полнотѣ. Поэтому, — говоритъ Кирѣвскій, — „главный характеръ вѣрующаго мышленія заключается въ стремленіи собрать всѣ отдѣльныя части души въ одну силу; отыскать то внутреннее средоточіе бытія, гдѣ разумъ и воля,

и чувство, и совѣсть, и прекрасное, и истинное, и удивительное, и желанное, и справедливое, и милосердное, и весь объемъ ума сливается въ одно живое единство, и такимъ образомъ восстанавливается существенная личность человѣка въ ея первозданной недѣлимости“. Это не всякому по силамъ, но всякій можетъ и долженъ стараться связать свою жизнь со своимъ кореннымъ убѣжденіемъ вѣры, такъ, чтобы каждая его мысль искала одного основанія, каждое дѣйствіе было выраженіемъ одного стремленія. Въ этомъ трудномъ дѣлѣ насъ многому можетъ научить примѣръ людей, достигшихъ высокой степени цѣльности; вотъ почему Кирѣевскій упорно совѣтуетъ изучать жизнь и творенія св. отцовъ: „истины, ими выраженные, были добыты ими изъ внутреннего непосредственного опыта и передаются намъ не какъ логическій выводъ, который и нашъ разумъ могъ бы сдѣлать, но какъ *извѣстія очевидца о странѣ, въ которой онъ былъ*“.

VII.

Я изложилъ все ученіе Кирѣевского, поскольку оно представляетъ собою неразрывное цѣлое. И вотъ оказывается, что въ этой прочно-спаянной цѣпи умозаключеній отсутствуетъ какъ-разъ то, въ чемъ естественно было видѣть самую основу міровоззрѣнія Кирѣевского: отсутствуютъ Христосъ и христіанство. Они не имѣютъ въ этой цѣпи обязательнаго мѣста. Совершенно ясно, что на понятіи духовной цѣльности наше предвидѣніе обрывается. Если эта цѣльность есть необходимое условіе для воспріятія истины и, слѣдовательно, для реального сліянія души съ міровой сущностью, то ничто не даетъ намъ возможности заранѣе представить себѣ, какую форму приметъ эта истина въ прозрѣвшей душѣ. Мы можемъ сказать только: стремись къ цѣльности, внимай отношенію міра въ твоей неразгаданной душѣ, и ты узнаешь истину; но утверждать, что этой истиной окажется именно такое-то опредѣленное вѣрованіе, такой-то догматъ,—очевидно, произволь.

Именно въ эту ошибку впалъ Кирѣевскій. Онъ изъ ранняго дѣтства, изъ семьи, вынесъ искреннюю и глубокую вѣру въ ученіе православной церкви и свято хранилъ ее всю жизнь. Я него лично не было ничего естественнѣе, какъ признать христіанское откровеніе конечной истиной. Но онъ провозглашалъ это утвержденіе объективно-правильнымъ, онъ ввелъ его свою систему, и это было *первое* личное пристрастіе, кото-

рымъ онъ затемнилъ свою мысль. Доказать это положеніе онъ не пытался ни разу; только однажды ¹⁾ онъ намекнулъ на то, что внутреннее устроеніе духа собственно и совершается силою заранѣе признанной истины; подчинившись ей, человѣку остается только сохранять ее и распространять въ низшихъ сферахъ своего духа. — Онъ говоритъ здѣсь, очевидно, не о процессѣ исканія истины, а о практикѣ самой истины, уже воспринятой духомъ. Но гдѣ гарантія, что на вершинѣ духовнаго умозрѣнія человѣкъ признаетъ за истину именно откровеніе Христа?

Это пристрастіе было однимъ изъ двухъ, которыми онъ искажилъ свою основную мысль, когда задался цѣлью приложить ее къ исторіи народовъ. Я не буду излагать въ подробностяхъ его историко-философскую систему: она достаточно извѣстна. Ея основныя положенія можно формулировать такъ:

1) На Западѣ мышленіе, подъ вліяніемъ разнообразныхъ историческихъ причинъ, получило односторонне-раціоналистическое направленіе.

2) Въ настоящій моментъ эта односторонняя логическая мысль Запада достигла высшей степени своего развитія, и здѣсь, на вершинѣ, сознала собственную недостаточность; наиболѣе чуткіе западные умы уже томятся жаждою высшаго начала.

3) Это высшее начало искони жило въ русскомъ народѣ, гдѣ оно было посѣяно и взрощено православіемъ. Ибо православіе, въ противоположность католицизму, никогда не дробило духа, но всегда первой задачей ставило внутреннюю цѣльность человѣка. Этой цѣльностью и были проникнуты личность, частныя, семейныя, общественныя, политическія отношенія, въ древней Руси, приблизительно до конца XV вѣка.

4) Это высшее начало, духовная цѣльность, было утрачено русскимъ образованнымъ обществомъ, увлекшимся раціоналистической наукой Запада, но въ массѣ народной оно живетъ до сихъ поръ, затемненное, искаженное, въ видѣ зародышей и наметковъ.

5) Это начало есть наше національное начало, и мы должны вернуться къ нему, но не въ томъ смыслѣ, чтобы воскресить отжившія формы быта, и не въ томъ, чтобы отказаться отъ западной образованности. Западное просвѣщеніе вредно только своей исключительностью, но въ существѣ оно такъ же необходимо для полнѣйшаго развитія русскаго начала, какъ послѣднее — для правильнаго развитія самого западнаго просвѣщенія. Слѣдо-

¹⁾ Сочиненія, т. II, стр. 42.

вательно, намъ нужно, не отказываясь отъ завоеваній логически-опытнаго мышленія, подчинить ихъ и всю нашу жизнь тому высшему началу, которое еще дремлетъ въ нашемъ народѣ и которое полностью воплощено въ православіи.

Эти пять тезисовъ построены, очевидно, на цѣломъ рядѣ произвольныхъ утвержденій чисто-фактическаго свойства. Историческая эволюція народовъ сведена здѣсь къ грубой схемѣ, весьма отдаленно напоминающей дѣйствительность. Та прямолинейность, съ которою Кирьевскій, по слѣдамъ Гизо, выводитъ всю западную цивилизацію изъ трехъ элементовъ (римскаго наслѣдія, католичества и завоеванія), и то своеволие, съ которымъ онъ всю эту цивилизацію сводитъ къ исключительному развитію логическаго мышленія, способны привести въ ужасъ современнаго историка. Не то, чтобы здѣсь не чувствовалось правды; но доказать эту правду *исторически* пока еще мудрено, да и слишкомъ сложно было развитіе Европы на протяженіи пятнадцати вѣковъ, чтобы можно было изобразить его въ видѣ прямой линіи. Еще болѣе исказилъ Кирьевскій характеръ древне-русской исторіи. Кто повѣритъ теперь, что церковь у насъ „управляла общественнымъ составомъ, какъ духъ управляетъ составомъ тѣлеснымъ“, что она „невидимо вела государство къ осуществленію высшихъ христіанскихъ началъ“, что у насъ господствовала „цѣльность быта“, выражавшаяся въ „единодушной совокупности сословій“, въ естественной и непринужденной крѣпости семейныхъ и общественныхъ связей, и пр., и пр.? Все это—утвержденія о фактахъ, а такія утвержденія требуютъ доказательствъ. Кирьевскій съ легкимъ сердцемъ принялъ ихъ на вѣру—потому что психологически не могъ не вѣрить въ нихъ.

Здѣсь вскрывается второе пристрастіе, которе свело его мысль на ложный путь. Точно такъ же, какъ преданность православію, онъ вынесъ изъ своей семьи горячую любовь къ Россіи—не къ народу, котораго, вѣроятно, не знали ни старшіе въ его семьѣ, ни онъ самъ, — а къ національности. Еще юношей, задолго до выработки своей теоріи о „русскомъ началѣ“, онъ гордился тѣмъ, что онъ русскій. Въ 1830 году, въ Берлинѣ, на вечерѣ у Гегеля, онъ разговорился съ Раупахомъ, когда-то жившимъ въ Россіи. Раупахъ, „котораго — говоритъ онъ—я нѣкогда такъ любилъ“, доказывалъ, что русскіе лишены энергіи. „Вы можете представить себѣ, — пишетъ молодой Кирьевскій родителямъ, — что послѣ этого Раупахъ мнѣ не понравился. И патриотизмъ въ сторону, учтиво ли, прилично ли утверждать такія мнѣнія въ присутствіи русскаго?“ Въ другой разъ,

тогда же, по поводу оваціи, устроенной Погодину за его рѣчь на юбилейномъ актѣ московскаго университета, онъ писалъ: „И народъ, который теперь, можетъ быть, одинъ въ Европѣ способенъ къ восторгу, называютъ непросвѣщеннымъ!“

Въ любой біографіи Кирѣвскаго можно найти указанія на то, какъ это чувство національнаго пристрастія окрѣпло въ немъ, начиная съ середины 30-хъ годовъ, подъ вліяніемъ Хомякова и особенно брата Петра, человѣка рѣдкой цѣльности, который всю нераздѣльную силу своей души сосредоточилъ въ любви къ русской народности и сумѣлъ углубить это общее чувство до любви къ самому народу. Въ то время, когда Кирѣвскій началъ выработывать свои философско-историческія воззрѣнія, у насъ въ этой области полновластно царилъ шеллингизмъ. Его мысль естественно облеклась въ форму шеллингиистской схемы, основанной на идеяхъ всемірно-исторической преемственности народовъ, самобытнаго „начала“ каждой народности и пр. И вотъ онъ наполнилъ эту схему оригинальнымъ содержаніемъ, въ которомъ нашли себѣ мѣсто и санкцію всѣ глубочайшія его вѣрованія и всѣ драгоцѣннѣйшія пристрастія его духа.

Не все, что органически связано въ личности, будетъ связано и внѣ ея. Ученіе Кирѣвскаго сложилось изъ трехъ элементовъ, гдѣ одно было ядромъ: это — выстраданная имъ идея душевной цѣльности. Сумѣвъ онъ свободно развить эту идею въ примѣненіи къ соціальной жизни, онъ создалъ бы ученіе, неразрывное во всѣхъ частяхъ, неотразимое своей послѣдовательностью. Но онъ былъ заранѣе связанъ, — и кто осудить его за это? Наряду съ той мыслью въ немъ жили два глубокихъ пристрастія, отъ которыхъ онъ былъ невластенъ отрѣшиться. Черезъ нихъ онъ съ своеобразной послѣдовательностью и провелъ свою мысль, не затѣмъ, чтобы оправдать ихъ, но затѣмъ, что онъ не могъ и въ сознаніи не слить воедино то, что совмѣстно жило въ его чувствѣ. Такъ возникла система, психологически цѣльная, но логически распадающаяся на части. Дѣло не въ томъ, правъ ли былъ Кирѣвскій въ своихъ утвержденіяхъ о характерѣ западнаго и русскаго началъ; философское изученіе исторіи и теперь, черезъ шестьдесятъ лѣтъ, далеко не подвинулось настолько, чтобы оправдать или опровергнуть эти утвержденія. Ошибъ Кирѣвскаго была глубже. Открывъ основной законъ совершенствованія, именно внутреннее устроеніе духа, онъ долженъ бы передать его людямъ въ чистомъ видѣ, сильнымъ одною е метафизической правдой, не предуказывая формъ, въ которы

духъ долженъ отлиться въ будущемъ. Въмѣсто этого онъ задался цѣлью обнаружить тѣ *готовыя* формы, въ которыхъ, по его мнѣнію, *разъ навсегда* воплотился этотъ законъ: христіанство—православіе—древняя Русь. Онъ слилъ въ одну систему рядъ утверждений, различныхъ по существу и подлежащихъ различной провѣркѣ: идею, вѣру и утверженіе о фактахъ, и тѣмъ затемнилъ то, что было для него въ ней наиболѣе существеннаго,—самую свою идею.

VIII.

Именно эта ошибка сдѣлала Кирьевскаго однимъ изъ самыхъ вліятельныхъ русскихъ мыслителей: она сдѣлала его отцомъ славянофильства. Этотъ титулъ утвержденъ за нимъ давно, и по заслугамъ. Вся метафизика и историческая философія славянофильства представляютъ собою лишь дальнѣйшее развитіе идей, формулированныхъ Кирьевскимъ. Его смѣшанная, но цѣльная на видъ система пришла какъ нельзя болѣе кстати. Въ русскомъ обществѣ назрѣла острая потребность осмыслить свое національное бытіе, уяснить себѣ общія задачи будущаго,—и эта потребность развилась какъ-разъ на почвѣ тѣхъ шеллингистскихъ идей, которыми направлялось и философско-историческое мышленіе Кирьевскаго. На очереди стояли вопросы: какое мѣсто суждено занимать Россіи во всемирно-историческомъ развитіи? Какое начало воплощено въ русскомъ народѣ? И вотъ является система, дающая опредѣленный и лестный для національнаго самолюбія отвѣтъ на эти вопросы. Что въ основѣ этой системы лежала метафизическая мысль—мысль о цѣльной личности,—этимъ мало интересовались; это обстоятельство только увеличивало цѣнность теоріи, ибо никакая философія исторіи не можетъ существовать безъ метафизическаго фундамента. Другимъ и преемникамъ Кирьевскаго было дорого въ его системѣ то, что она удовлетворяла ихъ національное чувство и, частью, ихъ чувство религіозное; къ его основной мысли они относились холодно и комментировали ее лишь настолько, насколько это было необходимо для прочности системы. Самъ Кирьевскій отъ этого глубоко страдалъ,—кажется, не вполне сознавая причину. Онъ видѣлъ въ своихъ друзьяхъ—въ Хомяковѣ, Шевыревѣ и другихъ—горячую преданность православію и Россіи; это внушало ему иллюзію единомыслія во всѣхъ основныхъ вопросахъ мировоззрѣнія. Но всякій разговоръ, всякая статья показывали ему, что между нимъ и каждымъ изъ нихъ или вмѣстѣ лежатъ какое-то корен-

ное недоразумѣніе, котораго онъ не умѣлъ разобрать. Онъ говорилъ: „народное начало“, разумѣя ту цѣльность духа, которая, по его убѣжденію, выработалась въ русскомъ народѣ подъ влияніемъ православія и которая до нѣкоторой степени еще уцѣлѣла въ немъ; а ему отвѣчали: „народность“, разумѣя конкретный народъ съ его конкретными вѣрованіями и бытомъ, нынѣшними или, чаще, старинными. Это приводило его въ отчаяніе ¹⁾; онъ не уставалъ разъяснять существенную противоположность обоихъ понятій, но ничто не помогало.— Онъ любилъ русскій народъ ради своей истины, они любили его помимо всякой идеи, и общаго у нихъ была только эта любовь, а не та мысль, которою одушевленъ былъ Кирѣевскій.

Но если не поняли свои, тѣмъ меньше могли понять его противники. Славянофильская литература сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ заслонила Кирѣевскаго, развернувъ его мысли въ пышную историко-философскую систему. Если бы кто и вздумалъ докапываться до первоначальной, метафизической мысли, изъ которой родились, именно въ Кирѣевскомъ, задатки позднѣйшаго славянофильства, — онъ лишь съ трудомъ могъ бы разглядѣть это зерно за толстымъ слоемъ разсужденій о древнемъ русскомъ бытѣ, о православіи, о Петрѣ, объ общинѣ и пр. Да никто и не пробовалъ: не до того было. Идеи общественнаго строительства, вопросъ о политической свободѣ надолго поглотили вниманіе общества и литературы; въ разгоравшейся борьбѣ имѣли значеніе только историческія теоріи славянофильства, потому что изъ нихъ вытекали опредѣленныя директивы для будущаго; неудивительно, что прогрессивная публицистика только эту сторону славянофильства и знала, только ее и анализировала, тѣмъ болѣе, что именно ее, какъ сказано, преимущественно выдвигали и сами славянофилы. Въ результатъ получилось огромное недоразумѣніе, главной жертвой, но и первымъ виновникомъ которой былъ именно Кирѣевскій.

Пора исправить ошибку, которая въ свое время была психологически неизбежна. Пора вылучить изъ исторической философіи славянофильства то многоцѣнное зерно, которое вложилъ въ нее Кирѣевскій, — зерно непреходящей истины о внутреннемъ устройствѣ человѣка.

Была правда въ томъ, что писалъ Кирѣевскій о рационализмѣ европейской мысли. Кто слѣдитъ за развитіемъ современной фи-

¹⁾ См., напримѣръ, его краснорѣчивое посланіе къ друзьямъ, 1847 года, „Русск. Арх.“ 1904; № 8, стр. 495—8.

лософіи на Западѣ, тотъ знаетъ, что по всему цивилизованному міру идетъ въ послѣднія два десятилѣтія великое умственное движеніе, имѣющее предметомъ единственно чувственно-волевою личность въ человѣкѣ, направленное къ тому, чтобы выяснитъ ея природу, освободитъ ее и вручитъ ей, ей одной, какъ подобаетъ, и задачу міропознанія, и задачу жизненнаго творчества, узурпированнаго отвлеченнымъ сознаниемъ. Метерлинкъ и Ницше — не равные по силѣ, но одинаково „призванные“ вожди этого движенія; одинъ безъ устали слушаетъ и учитъ насъ слышать властный голосъ нашего чувственнаго „я“, его немолчный отзвукъ на цѣлостную совокупность бытія; другой учитъ насъ сплочивать въ себѣ эту чувственно-волевою личность и возводить ее до наибольшаго могущества. А рядомъ съ ними — тѣмъ же стремленіемъ поглощены сотни мыслителей и поэтовъ, и всѣ они въ послѣднемъ итогѣ учатъ тому же, что полъ-вѣка назадъ проповѣдывалъ Кирьевскій: познавать и жить *цѣльнымъ* духомъ. Эдуардъ Карпентеръ, крупнѣйшій современный мыслитель Англіи, создалъ доктрину, въ основѣ своей до тождества сходную съ метафизическимъ ученіемъ Кирьевского ¹⁾.

М. Гершензонъ.



¹⁾ См. его книгу „Цивилизація, ея причина и излеченіе“, русск. пер. И. Наживина, и нашу замѣтку о ней въ „Вѣстн. Европы“, 1908, апрѣль.

ПЕРВАЯ ДУМА

И

ИДЕЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПАРЛАМЕНТА

Согласно разуму для государствъ въ ихъ отношеніяхъ между собою не можетъ существовать никакого другого пути выйти изъ естественнаго состоянія постоянной войны, какъ отречься, подобно единичнымъ людямъ, отъ своей дикой свободы, приспособиться къ публичнымъ, принудительнымъ законамъ и образовать такимъ образомъ постоянно расширяющееся *государство народовъ*, которое, въ концѣ-концовъ, охватить всѣ народы земли.

Кантъ: „Zum ewigen Frieden“, 1795.

Судъ исторіи отдастъ справедливость Первой Государственной Думѣ въ томъ, что она, единодушно проникнутая высокимъ порывомъ всего народа, приведшимъ къ ея созданію, стремилась установить вѣчный Божій миръ на русской землѣ,—миръ, основанный не на силѣ, а на правѣ,—миръ, обеспеченный взаимными уступками классовъ, сословій и національностей. Ни разжиганію національныхъ страстей, ни барскому презрѣнію къ народнымъ нуждамъ, ни преклоненію передъ силою хотя бы даже иностраннаго бронированнаго кулака—не было мѣста въ дѣятельности тѣхъ политическихъ партій, которыя занимали первенствующее мѣсто въ Таврическомъ дворцѣ въ 1906 году и которыя признавали, что страна возложила на нихъ великую задачу защиты правъ русскаго человѣка и прежде всего основного права человѣка—права на жизнь. Но не одинъ судъ исторіи признаетъ

эти основные черты дѣятельности Первой Думы; ея идеи стали уже и теперь народнымъ достояніемъ, и именно силою влияния ея идей и объясняются тѣ яростныя нападки на „позорной памяти“ Первую Думу, которыя исходятъ отъ тѣхъ дѣятелей, которые не могутъ возвыситься до подчиненія своихъ сословныхъ, классовыхъ и личныхъ интересовъ идеѣ „единого народного и государственнаго блага“.

Взгляды Первой Думы на наши внутреннія отношенія не изгладились и никогда не изглядятся изъ памяти русскихъ людей. Менѣе извѣстно отношеніе Первой Думы къ вопросамъ международной политики. Поглощенная задачами внутренняго преобразования, Первая Дума не хотѣла и боялась отвлекаться въ область ей болѣе чуждую, и этою боязливостью объясняется отклоненіе ею сдѣланнаго въ одномъ изъ ея первыхъ засѣданій М. М. Ковалевскимъ и горячо поддержаннаго незабвеннымъ графомъ П. А. Гейденомъ предложенія высказать въ отвѣтномъ адресѣ на тронную рѣчь Государя свою общую точку зрѣнія на отношенія Россіи къ другимъ державамъ. Но, отвергая предложеніе, она, тѣмъ не менѣе, горячими аплодисментами привѣтствовала мысли, въ немъ высказанныя: „Обновленная Россія, построивъ свою жизнь на началахъ свободы и самоопредѣленія какъ для отдѣльныхъ лицъ, такъ и для цѣлыхъ національныхъ группъ, сохранить подобающее ей мѣсто въ ряду другихъ великихъ державъ. Къ главной своей заботѣ о независимости и цѣлости Имперіи въ достигнутыхъ ею предѣлахъ она присоединить и попеченіе объ охраненіи права и справедливости въ отношеніяхъ всѣхъ націй между собою и въ особенности въ ихъ отношеніяхъ къ славянству“.

Но, отклоняя въ началѣ своихъ засѣданій, можетъ быть, съ излишнею осторожностью выраженіе своихъ взглядовъ на международныя отношенія, Дума имѣла случай въ самомъ концѣ своей дѣятельности—за недѣлю до роспуска—единодушно выразить свои горячія симпатіи дѣлу мира, и какъ ея рѣшеніе, такъ и высказанные при этомъ представителями различныхъ думскихъ партій мотивы оставляютъ, несомнѣнно, глубокой слѣдъ въ исторіи одной изъ величайшихъ идей—идеи международного парламента. Этотъ эпизодъ дѣятельности Первой Думы сравнительно мало извѣстенъ. Когда Дума въ рѣчахъ Жилкина, Ковалевскаго, Бокова и др. выражала свое отвращеніе къ „братоубійственнымъ бойнямъ“ и сочувствіе водворенію общечеловѣческой солидарности—надъ нею самою уже нависла грозная туча роспуска, въ впечатлѣніяхъ событій, предшествовавшихъ акту 8 іюля и

последовавшихъ за нимъ, затерялось и пропало впечатлѣніе о преніяхъ по поводу приглашенія къ участию въ конференціи международнаго парламентскаго союза. Я позволяю себѣ поэтому теперь остановить вниманіе читателя на этомъ эпизодѣ, и, можетъ быть, настоящій моментъ, когда международныя отношенія снова съ особенною силою привлекаютъ наше вниманіе, является для этого наиболее подходящимъ.

Еще въ началѣ іюня нѣкоторые дѣятели „Международнаго парламентскаго союза для установленія третейскаго разбирательства“ (Union interparlementaire pour l'arbitrage international) вели оживленную переписку съ знакомыми имъ членами Думы, выражая горячее желаніе, чтобы и Государственная Дума имѣла своихъ представителей на предстоящей въ Лондонѣ съ 10 (23) по 12 (25) іюля 14-ой конференціи союза. Это желаніе иностранныхъ товарищей нашло горячій отзвукъ среди представителей всѣхъ партій Думы, и уже во второй половинѣ іюня образовалась русская парламентская группа мира, избравшая своимъ предсѣдателемъ М. М. Ковалевскаго. По статутамъ международнаго парламентскаго союза (§ 4) только члены группы имѣли право быть членами конференціи. Такъ какъ въ группу записалось весьма большое число представителей всѣхъ думскихъ партій, то вопросъ о томъ, кто возьметъ на себя обязанность быть представителемъ группы на конференціи, еще обсуждался въ собраніяхъ группы, когда предсѣдатель Государственной Думы получилъ изъ Лондона телеграмму: „326 членовъ старѣйшаго парламента въ свѣтѣ привѣтствуютъ членовъ самаго юнаго—русскаго парламента и надѣются встрѣтиться съ его представителями въ имѣющей состояться междупарламентской конференціи въ Вестминстерскомъ дворцѣ. По уполномочію подписавшихся Рандаль Кремеръ“. Ни въ одной странѣ переходъ Россіи къ представительному строю не вызывалъ такого сочувствія, какъ въ Англіи, и телеграмма явилась выраженіемъ этого сочувствія лучшихъ людей англійской націи. Понятенъ поэтому тотъ взрывъ аплодисментовъ, которымъ было покрыто прочтеніе С. А. Муромцевымъ этой телеграммы. Телеграмма привлекала тѣмъ большіе вниманіе Думы, что она содержала въ себѣ приглашеніе и съѣздъ учрежденія, уже оказавшаго большія услуги дѣлу мир

Тяжелыми жертвами достается народамъ ихъ освобожденіе; еще болѣе тяжелыя, еще болѣе кровавыя жертвы нужны народамъ для того, чтобы въ сознаніе человѣчества, или, по крайней мѣрѣ, его передовыхъ слоевъ болѣе и болѣе врѣзывалась мысль о „необходимости подчинить государства, въ ихъ отношеніяхъ между собою, законности и праву и такимъ образомъ содѣйствовать созданію того *государства народовъ*, которое, въ концѣ концовъ, должно охватить всѣ народы земли“. Эти мысли Канта и другихъ провозвѣстниковъ идеи вѣчнаго мира и теперь еще кажутся большинству государственныхъ дѣятелей несбыточными утопіями, и нужны суровые уроки исторіи для того, чтобы содѣйствовать ихъ распространенію и развитію. Такъ ужасы франко-прусской войны пробудили стремленіе къ рѣшенію спорныхъ вопросовъ, возникающихъ между государствами, путемъ третейскаго разбирательства, и въ 1873 г. одному изъ членовъ палаты общинъ, Генри Ричарду, удалось побудить британскій парламентъ принять, хотя и незначительнымъ большинствомъ, резолюцію, выражающую сочувствіе идеѣ третейскаго разбирательства. Послѣ этого перваго успѣха идея эта стала пріобрѣтать все болѣе и болѣе горячихъ защитниковъ. Въ ряды ихъ стали въ Англии Филиппъ Стангопъ (нынѣ лордъ Уирдэль), Рандаль Кремеръ, секретарь ассоціаціи рабочихъ для дѣла мира (*Workmen's Peace Association*); во Франціи—Ф. Пасси, Ж. Симонъ, Буржуа, Феликсъ Форъ; въ Америкѣ—Андрю Карнеджи.

Мирное рѣшеніе въ 1886 г. возникшаго между Англіею и Америкой и долго тянувшагося спора о крейсерѣ „Алабама“ оживило этихъ друзей мира надеждою на успѣхъ дорогой имъ идеи, которая переходила такимъ образомъ изъ области утопій въ живую дѣйствительность, и въ томъ же 1886 г., по инициативѣ Кремера и Карнеджи, былъ подписанъ 234 членами англійской палаты общинъ адресъ президенту и конгрессу Соединенныхъ Штатовъ съ выраженіемъ пожеланія, чтобы ими была взята инициатива въ рѣшеніи *всѣхъ* спорныхъ вопросовъ, возникающихъ между Англіею и Соединенными Штатами путемъ третейскаго разбирательства. Гладстонъ, Брайтъ, кардиналъ Маннингъ и др. выразили свое сочувствіе идеямъ этого адреса, который и былъ отвезенъ въ Америку особою депутаціею изъ 15 лицъ, въ которую входили, кромѣ членовъ англійскаго парламента, и представители конгресса рабочихъ союзовъ.

Этотъ шагъ англійскихъ друзей мира возбудилъ особенно горячее сочувствіе у ихъ французскихъ единомышленниковъ, и по взаимному соглашенію французскихъ, англійскихъ и американ-

скихъ дѣателей состоялась сначала предварительная конференція въ 1888 г. въ Парижѣ, подъ предсѣдательствомъ Пасси, на которой принимали участіе 33 депутата англійскаго и французскаго парламентовъ, а затѣмъ и учредительная конференція въ 1889 году, также въ Парижѣ, подъ предсѣдательствомъ Жюль Симона. За этою учредительною конференціею послѣдовали конференціи въ Лондонѣ (1890), въ Римѣ (1891), въ Бернѣ (1892), въ Гаагѣ (1894), въ Брюсселѣ (1895), въ Буда-Пештѣ (1896), въ Брюсселѣ (1897), въ Христианіи (1899), въ Парижѣ (1900), въ Вѣнѣ (1903), въ Сенъ-Луи (1904), въ Брюсселѣ (1905). 15-ая конференція междупарламентскаго союза состоится въ Берлинѣ въ зданіи рейхстага въ сентябрѣ (нов. ст.) настоящаго года. Постепенно росло какъ число парламентовъ, члены которыхъ принимали участіе на конференціи, такъ и число участниковъ. На 1-ой конференціи 1889 г. (въ Парижѣ) принимало участіе 99 депутатовъ шести парламентовъ; на той лондонской конференціи 1906 г., на которой должны были въ первый разъ принять участіе члены русской Думы, присутствовало уже 617 членовъ и были представлены 23 парламента. Общее же число членовъ междупарламентскаго союза достигало до 2.000.

Вмѣстѣ съ увеличеніемъ числа участниковъ расширялся и кругъ вопросовъ, привлекавшихъ вниманіе союза. При основаніи „Международнаго парламентскаго союза“ его главною задачею было содѣйствіе распространенію идеи третейскаго разбирательства. И теперь еще § 1 статута опредѣляетъ цѣль „Международнаго парламентскаго союза“ слѣдующимъ образомъ:

„Международнаго парламентскаго союза“ имѣетъ цѣлью какъ объединить въ общемъ дѣйствіи членовъ всѣхъ парламентовъ, собранныхъ въ національныя группы, съ цѣлью провести въ ихъ государствахъ путемъ законодательства или путемъ международныхъ трактатовъ принципъ, что разногласія между націями должны подлежать третейскому разбирательству, такъ и изучать другіе вопросы публичнаго международнаго права“.

По отношенію въ этой первой цѣли „Международнаго парламентскаго союза“ достигъ большихъ и общепризнанныхъ успѣховъ. Еще въ 1900 году Фальеръ, настоящій президентъ Французской республики, ставилъ успѣхъ идеи третейскаго разбирательства въ тѣсную связь съ дѣятельностью союза.

„Благодаря вамъ,—говорилъ онъ,—мы далеки отъ того времени, когда идея третейскаго разбирательства была разсматриваема какъ игрушка ума или осуждаемое такъ называемою мудростью народовъ донъ-кихотство“.

Въ своей привѣтственной рѣчи на лондонской конференціи недавно скончавшейся премьеръ Англии, сэръ Кемпбелль-Баннерманъ, опредѣлялъ число нынѣ дѣйствующихъ третейскихъ договоровъ въ 38.

Но вліяніе взаимнаго общенія преданныхъ идеѣ мира представителей разныхъ странъ не могло ограничиться одною первоначально поставленною цѣлю, и съ теченіемъ времени конференціи союза стали посвящать свое время обсужденію другихъ важныхъ вопросовъ, — вопроса о сокращеніи вооруженій, которому на лондонской конференціи 1906 г. былъ посвященъ обстоятельный докладъ Массими, вопроса о кодификаціи международного права и др. ¹⁾.

Наконецъ, и обѣ конференціи мира, собиравшіяся въ Гаагѣ въ 1899 г. и 1907 г. по почину нашего правительства, въ значительной степени обязаны своимъ осуществленіемъ дѣятельной пропагандѣ „Междупарламентскаго союза“. На 6-ой конференціи въ Брюсселѣ былъ разработанъ подробный проектъ „постояннаго третейскаго суда“ (*Cour permanente d'arbitrage*), а на слѣдующей конференціи въ Буда-Пештѣ, въ 1896 г., былъ поднятъ вопросъ о созваніи дипломатической конференціи съ цѣлью осуществленія этого проекта. Черезъ три года собралась по почину циркуляра 24 августа 1898 г., обращеннаго нашимъ министромъ иностранныхъ дѣлъ, графомъ Муравьевымъ, къ иностраннымъ государствамъ, первая конференція мира въ Гаагѣ, важнѣйшимъ результатомъ которой было облегченіе государствамъ возможности обращаться къ третейскому суду.

Еще большее вліяніе имѣлъ союзъ на созывъ второй Гаагской конференціи. Вопросъ о ея необходимости былъ поднятъ подъ вліяніемъ ужасовъ русско-японской войны на 12-ой конференціи союза, собравшейся въ 1904 г. въ Сенъ-Луи. Депутация союза обратилась къ президенту Рузвельту въ личной аудіенціи 24 сентября 1904 года съ просьбою взять на себя соотвѣтствующую инициативу, на что онъ и выразилъ согласіе. Впослѣдствіи, какъ извѣстно, онъ уступилъ эту инициативу русскому правительству.

Но все время своего существованія „Международный парламентскій союзъ“ оставался единеніемъ членовъ различныхъ парламентовъ, по собственному почину интересовавшихся вопросами

¹⁾ Мы отсылаемъ желающихъ въ сжатой формѣ познакомиться съ дѣятельностью союза въ изданному имъ сборнику: „Résolutions votées par les Conférences parlementaires etc.“. Bruxelles, 1905.

международныхъ отношеній. По § 8 его устава—*членомъ каждой конференціи можетъ быть каждый членъ національной группы, а также и каждый бывший членъ парламента, уже принимавшій участіе въ предыдущихъ собраніяхъ.* Такое правило не можетъ не отражаться на случайности состава конференцій. Не могли не преобладать депутаты тѣхъ странъ, на территоріи которыхъ происходитъ конференція ¹⁾. Съ другой стороны, право каждаго бывшаго члена парламента, одинъ разъ бывшаго на конференціи, посѣщать и быть полноправнымъ членомъ всѣхъ послѣдующихъ конференцій даетъ преимущество тѣмъ странамъ, въ которыхъ составъ парламента подвергается болѣе частому обновленію, передъ тѣми, въ которыхъ онъ болѣе устойчивъ.

Случайность состава конференцій „Междупарламентскаго союза“ не могла, конечно, не отражаться и на нравственномъ авторитетѣ его рѣшеній не только для народовъ, но и для парламентавъ. Члены конференціи могли представлять лишь наименѣе вліятельныя политическія партіи своихъ парламентавъ. Выдающіеся дѣятели „Международнаго парламентаго союза“ не могли не сознавать этихъ недостатковъ, не могли не желать постепеннаго превращенія союза въ болѣе авторитетную организацію, не могли не стремиться придать ему по возможности *характеръ и функціи истиннаго международнаго представительства*, сдѣлавъ изъ него вѣрнаго и отвѣтственнаго представителя, если не народовъ, то, по крайней мѣрѣ, ихъ представительныхъ собраній. Этотъ важный вопросъ и былъ поднятъ на 12-ой конференціи въ Сень-Луи (1904), а въ 1905 г. на брюссельской конференціи была предложена отъ имени американской группы Ричардомъ Бартольдсомъ разработанная схема организаціи *Конгресса націй* изъ представителей, избранныхъ парламентами всѣхъ народовъ.

Основные положенія этой схемы могутъ быть резюмированы слѣдующимъ образомъ.

1) Необходимо, сохраняя принципъ независимости и самостоятельности государствъ, создать для ихъ союза регулирующія ихъ взаимныя отношенія власти на подобіе тѣхъ, которыя охраняютъ миръ между гражданами одного и того же государства.

2) Подобно тому, какъ въ государствѣ существуютъ три власти: законодательная, судебная и исполнительная, для федераціи государствъ должны быть созданы соотвѣтствующіе органы. Въ третейскомъ трибуналѣ, которому положено основаніе на

¹⁾ Такъ, напр., на лондонской конференціи 1906 г. изъ общаго числа 617 участниковъ 252 были членами англійскаго парламента.

1-ой Гаагской конференціи мира, можно видѣть зародышъ международной судебной власти.

3) Что касается до организаціи международной законодательной власти, то она должна быть организована по примѣру законодательной власти Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ. Одна изъ вѣтвей этого международного парламента должна, подобно Сенату Штатовъ, быть основанною на принципѣ равенства государствъ, заключать въ себѣ поэтому равное число представителей всѣхъ государствъ и носить болѣе дипломатическій характеръ. Вторая, соответствующая Палатѣ Представителей, должна выражать желанія народовъ и представлять главнымъ образомъ ихъ экономическіе интересы. Въ виду этого число представителей въ ней отъ каждаго отдѣльнаго государства должно быть пропорціонально размѣрамъ его международной торговли.

Вопросъ, поднятый американскою группою, былъ переданъ брюссельскою конференціею на разсмотрѣніе особой комиссіи изъ семи лицъ, въ которую вошли, кромѣ инициатора предложенія Р. Бартольда, баронъ Эстурнель-де-Констанъ, лордъ Уирдэль и графъ Аппони. Но эта комиссія вполне оцѣнила всѣ трудности вопроса въ той формѣ, въ которой онъ переданъ былъ на ея разсмотрѣніе, и вмѣсто утопичнаго для настоящаго времени вопроса о законодательной *власти*, т.-е. органа принудительнаго, комиссія занялась разсмотрѣніемъ двухъ вопросовъ: 1) вопроса о преобразованіи предстоявшей Гаагской конференціи мира въ автоматически и періодически собирающееся учрежденіе, которое могло бы такимъ образомъ соответствовать первой палатѣ проектированнаго американцами „Конгресса націй“, и 2) вопроса о преобразованіи самого „междупарламентскаго союза“, недостатки организаціи котораго были выше указаны, въ настоящее международное представительство. По первому вопросу союзъ, конечно, долженъ былъ ограничиться ходатайствомъ передъ правительствами. Но и по вопросу, касающемся непосредственно союза, комиссія семи и междупарламентскій Совѣтъ (бюро союза) не могли согласиться на исполнѣ разработанномъ проектѣ.

Ни принципъ пропорціональности международной торговли, предложенный американцами, ни принципъ пропорціональности населеній, ни какая-либо комбинація этихъ принциповъ не могли быть приняты, такъ какъ противорѣчили интересамъ той или другой націи. Комиссія встрѣтилась съ тѣми же затрудненіями, которыя въ прошломъ году заставили вторую Гаагскую конференцію сдать въ архивъ проектъ постояннаго третейскаго суда,— и прежде всего съ затрудненіемъ примирить интересы большихъ и

малыхъ государствъ ¹⁾. Коммиссія предоставила рѣшеніе оказавшейся для нея непосильною задачи многочисленной конференціи, предоставляя ей самой „опредѣлить наиболѣе практическія средства для того, чтобы придать мало-по-малу Международному парламентскому союзу характеръ и функціи истинно международнаго представительства“; отъ себя она ограничилась только предложеніемъ нѣсколькихъ поправокъ, имѣющихъ цѣлью помѣшать преобладающему вліянію на конференціи членовъ парламентовъ тѣхъ государствъ, на территоріи которыхъ она собирается, и слѣзуть права бывшихъ членовъ парламентовъ. Но принципъ образованія конференціи только изъ членовъ, избранныхъ самими парламентами, оказался непріемлемымъ для коммиссіи, конечно, главнымъ образомъ изъ боязни, что нѣкоторые парламенты откажутся производить такіе выборы.

Въ то время, когда вопросъ о международномъ парламентѣ былъ уже почти похороненъ коммиссіею „Междупарламентскаго союза“, Первая Дума, обсуждая въ засѣданіи 30-го іюня вопросъ о послыѣхъ делегатовъ на лондонскую конференцію, пришла, напротивъ, къ рѣшенію, что она должна сама въ полномъ составѣ избрать своихъ представителей на эту конференцію, что члены русской Думы должны явиться на нее не какъ добровольные друзья мира, даже не какъ представители національной группы, но какъ представители Думы, въ полномъ своемъ составѣ воодушевленной идеею упраздненія войны. Это рѣшеніе, постановленное ею по предложенію В. Д. Набокова, было принято ею вполне сознательно по мотивамъ, высказаннымъ во многихъ рѣчахъ, какъ представителей партіи народной свободы, такъ и представителей трудовой группы. Во всѣхъ этихъ рѣчахъ выражалось твердое убѣжденіе, что настало время для образованія учрежденія, которое соединяло бы въ себѣ избранныхъ представителей парламентовъ, ибо только такіе избранные представители могутъ дѣйствительно съ полнымъ авторитетомъ заявлять свое мнѣніе по всѣмъ волнующимъ человѣчество вопросамъ.

Не считаясь даже съ формальнымъ препятствіемъ одного изъ параграфовъ устава „Международнаго парламентскаго союза“, Дума въ засѣданіи 3-го іюля избрала шесть своихъ представителей, которымъ, однако, не пришлось, какъ извѣстно, принять участіе въ трудахъ конференціи.

¹⁾ Бар. Б. Э. Нольде. Вторая Конференція Мира („Вѣсти. Европа“, апр. 1908).

Инициатива Первой Думы была встрѣчена горячимъ сочувствіемъ „Междупарламентскаго союза“. Въ той исторической рѣчи, слова которой— „La Douma est morte, vive la Douma“—ободряющимъ привѣтомъ разсѣяли черныя тучи, лежавшія на сердцѣ оторванныхъ отъ своихъ товарищей въ тяжелые дни представителей Думы на конференціи, премьеръ-министръ Англій отмѣтилъ, что первымъ официальнымъ актомъ русскаго парламента въ его отношеніи къ внѣшней политикѣ было послать своихъ делегатовъ для подтвержденія великихъ началъ мира на землѣ. Въ одномъ изъ слѣдующихъ засѣданій, уже въ отсутствіи русскихъ делегатовъ, докладчикъ по вопросу о сокращеніи вооруженій, баронъ Эстурнель-де-Констанъ, особенно подчеркивалъ то, что делегаты Россіи „явились осуществить сразу то, что пока еще является надеждою, но скоро будетъ программою Союза; они явились не какъ мы, простые добровольные пионеры, но какъ представители, какъ делегаты своего парламента, съ миссіею обогатить междупарламентскій союзъ новой кровью, молодою и полною будущности“¹⁾.

Съ такою же горячностью и по той же причинѣ упоминалъ о делегатахъ Думы инициаторъ американскаго проекта „Конгресса націй“ Бартольдъ²⁾. Но, горячо привѣтствуя инициативу Первой Думы, лондонская конференція не сочла въ то же самое время возможнымъ для себя подвинуть далѣе по пути къ осуществленію великую идею международнаго парламента. Она не послѣдовала даже приглашенію своей комиссіи заняться разсмотрѣніемъ вопроса о своей реорганизаціи, но передала его снова въ комиссію, пополнивъ лишь ея составъ представителями отдѣльныхъ національныхъ группъ.

Сопоставляя эту осторожность конференціи, состоявшей главнымъ образомъ изъ представителей буржуазныхъ партій, съ горячимъ порывомъ Первой Думы, социологъ не затруднится дать объясненіе этому различію. Для него не покажется страннымъ, что именно первая Дума съ ея демократическимъ по духу составомъ отнеслась съ такимъ горячимъ сочувствіемъ къ идеѣ „нижней палаты человѣчества“, поднимающей и разсматривающей всѣ тѣ вопросы, которые возмущаютъ человѣчество, но которые, какъ, напримѣръ, вопросъ о сокращеніи рабочаго дня, не могутъ быть рѣшены иначе, какъ путемъ международнаго соглашенія. Онъ и вспомнитъ, что еще Кантъ указалъ на связь основныхъ началъ

¹⁾ Official Report of the fourteenth Conference, p. 247.

²⁾ Тамъ же, p. 279.

демократіи ¹⁾: свободы членовъ общества, зависимости ихъ отъ единого общаго закона и равенства всѣхъ — съ идеею вѣчнаго мира. „Если для рѣшенія вопроса—быть войнѣ или нѣтъ—требуется согласіе гражданъ, то нѣтъ ничего естественнѣе, что они далеко не сразу рѣшатся начать столь скверную игру. Вѣдь всѣ тягости войны имъ пришлось бы взять на себя (такъ, напримѣръ: самимъ сражаться, оплачивать военныя издержки изъ своего собственнаго имущества, въ потѣ лица своего снова трудиться надъ опустошеніями, которыя оставляетъ за собой война, и къ довершенію всѣхъ бѣдствій навлечь на себя еще одно, отравляющее и самый миръ: никогда (вслѣдствіе всегда близкихъ новыхъ войнъ) не уничтожающееся бремя долговъ). Напротивъ, при устройствѣ, въ которомъ подданный не есть гражданинъ, этотъ вопросъ вызываетъ меньше сомнѣнія, чѣмъ что-либо другое“ ²⁾.

Установленіе мира на землѣ возможно лишь при торжествѣ демократическихъ началъ, и только тогда, когда они достаточно осуществятся въ великихъ государствахъ міра, идея международнаго парламента получить свое осуществленіе.

Будущимъ истиннымъ представителямъ народовъ Россіи Первая Дума въ засѣданіи 30 іюня 1906 года оставила завѣтъ явиться снова инициаторами осуществленія этой великой идеи и вмѣстѣ съ нею вѣчнаго Божьяго мира на всей землѣ.

Проф. А. Васильевъ.



¹⁾ Кантъ употреблялъ иную терминологию.

²⁾ „Вѣчный Миръ“. Философскій очеркъ. Переводъ подъ редакціей гр. А. І. Комаровскаго. Москва 1905, стр. 14.

П Р Е Д К И

РОМАНЪ ДЖЕРТРУДЫ АСЕРТОНЪ.

„Ancestors“, by Gertrude Atherton.

X *).

Однажды утромъ Гвиннъ проснулся съ жаждою города во всемъ своемъ существѣ. За неизмѣнимъ Лондона, онъ удовольствовался бы тремя днями въ Нью-Йоркѣ, но въ виду настоящихъ обстоятельствъ приходилось помириться на Санъ-Франциско, гдѣ онъ не былъ со дня своего отъѣзда оттуда въ свѣтлое сентябрьское послѣ-обѣда. Кольтонъ совѣтовалъ ему снести старыя постройки на Market-Street и выстроить новое зданіе; онъ предлагалъ достать деньги на это предпріятіе, сулившее большія выгоды, а Гвиннъ встати получилъ письмо отъ матери, просившей его увеличить ея доходъ.

Одѣваясь, онъ думалъ о городѣ, вспоминая странное, сильное и смѣшанное впечатлѣніе, какое у него осталось отъ него. Несмотря на колоссальную массу издали сливавшихся между собою зданій, городъ казался возведеннымъ въ пустынь, отрѣзаннымъ отъ всего міра. Гвиннъ не любилъ Калифорнію и удивлялся тому, что среди своихъ занятій онъ постоянно думаетъ о городѣ и мечтаетъ перестроить его сверху до низу, начиная съ общественныхъ устоевъ и кончая—домами. Онъ приписывалъ это наследственности, чувствуя страннымъ образомъ свое сходство не только съ романтическою испанскою расой, но и съ породою

*) См. выше: іюль, стр. 158.

блестящихъ, стоявшихъ внѣ закона авантюристовъ, создавшихъ и возвеличившихъ этотъ городъ и вложившихъ въ его основаніе свою нравственную гнидость, надъ которою витаешь, однако, ихъ предприимчивый, смѣлый и прогрессивный духъ.

Ему хотѣлось уѣхать одному. Онъ подозрительно и досадливо относился къ попыткамъ Изабеллы вліять на него и чувствовать, что между ними должна когда-нибудь произойти рѣшительная схватка. Но онъ не рѣшился послѣдовать своему внушенію: это было бы невѣжливо, и она, чего добраго, подумаетъ, что онъ бѣжить отъ нея, спасая свою независимость.

Гвиннъ заѣхалъ за Изабеллою, которая въ ватерпруффъ и съ косою, обмотанной въ нѣсколько разъ вокругъ шеи въ видѣ боа, сама кормила цыплятъ во дворѣ. Въ этомъ странномъ костюмѣ она не годилась, конечно, въ героини романа, но будь въ ея синихъ сповойныхъ глазахъ хоть отблескъ чего-нибудь порочнаго, она—со своимъ блѣднымъ лицомъ и волосами вокругъ шеи—могла бы напомнить „Грѣхъ“ Штука въ новой Мюнхенской Пинакотекаѣ.

Онъ объявилъ ей, что соскучился по городу. Она обрадовалась и сказала, что онъ не могъ выбрать лучшаго времени: сегодня суббота.

Надъ заливомъ еще стоялъ туманъ, когда они отплыли на катеръ; горы казались черными и безформенными.

Изабелла указала ему на одну изъ нихъ, замѣтивъ, что она перевернулась раза четыре. Гвиннъ прервалъ ее. Довольно онъ наслушался ужасовъ объ этой странѣ. Сегодня горы похожи на допотопныхъ чудовищъ, которыя дѣйствительно могутъ перевернуться въ любую минуту...

— Такъ и будетъ. Одна изъ причинъ нашей любви къ Калифорніи состоитъ въ томъ, что мы не знаемъ, въ какомъ видѣ она предстанетъ намъ. Одежда цивилизаціи слишеюмъ тѣсна для нея. Я люблю Англию, но я не могла бы тамъ жить,—тамъ все черезчуръ спокойно. А здѣсь—вся страна можетъ въ одинъ прекрасный день встать на голову, и тѣмъ не менѣе у насъ снова могутъ возникнуть города такого же размѣра, какъ Вавилонъ и Ниневія.

— Посмотримъ. Сознаюсь, что меня плѣняетъ мысль—зажить основаніе великаго обособленнаго города, и не вижу дѣла такого города, кромѣ Санъ-Франциско.

Изабелла наклонилась въ его сторону, глаза ея сверкали торжествомъ.

— Вы думали о Санъ-Франциско! Ура!

Онъ расхохотался и въ первый разъ не разсердился на ея „приставанье“ съ Калифорніей. Глаза ея сіяли такой молодой и женственной радостью, что онъ отнесся къ ней снисходительно.

— Я мирюсь съ моею участью—вотъ и все.

— Да, вы кажетесь теперь счастливѣе. Меня мучила мысль, что я—причиною вашего несчастья.

— Какое несчастье? — Гвиннъ досадливо вспыхнулъ: — неужели я—какой-то юноша, страдающій тоской по родинѣ?

— Не безпокойтесь. По наружности вы казались настолько спокойнымъ, насколько этого требовала ваша гордость. Вы превзошли себя. Но женскій инстинктъ всегда подсказывалъ мнѣ...

— Слава Богу. Я радъ, что у васъ оказываются общезженскіе инстинкты...

— Развѣ я не женственна? Развѣ я мужеподобна? — спросила она съ тревогою.

— Въ обыкновенномъ смыслѣ — нѣтъ, но вы — чрезвычайъ сильная натура, даже — физически. Это—узурпація мужскихъ правъ.

— А я молюсь только объ одномъ: Боже, дай мнѣ силы!

— Чего ради, скажите мнѣ? На что вамъ эта сила? Вы отрекаетесь отъ материнства. Вы не желаете принять участіе въ общественной борьбѣ, вы говорите, что у васъ нѣтъ талантовъ. Любви вы тоже не признаете. Денегъ у васъ довольно, и вы, кажется, обладаете способностью богатѣть. Вы можете быть одною изъ первыхъ дамъ въ Санъ-Франциско, но, кажется, васъ и къ этому не влечетъ?

— Можетъ быть, я и захочу современемъ играть здѣсь первенствующую роль, но не изъ пустого тщеславія; это входитъ въ общій мой планъ.

— Что это за знаменитый планъ?

— Вы не поймете, если я вамъ скажу. Мужчины — не субъективисты, за исключеніемъ поэтовъ, романистовъ и тому подобныхъ людей, которыхъ я и за мужчинъ не считаю. Причина, по которой вы съ самаго начала мнѣ понравились (несмотря на многое, отъ чего кипѣла моя американская кровь), состоитъ именно въ томъ, что вы—мужчина, настоящій, дерзкій, цѣльный мужчина, безъ болѣзненнаго влеченія къ самоанализу...

Гвиннъ сидѣлъ, опершись руками о колѣна. Онъ порадовался тому, что Изабелла, несмотря на свою проникательность, проглядѣла его внутреннія муки, разрывавшія душу его на части. И его охватило чувство печали: какъ мало знаютъ люди другъ

друга, какъ бы ни были они близки! Онъ зналъ ее такъ же мало, какъ она—его. Исторія ея любви, того, что она считала „*une grande passion*“, помимо зловѣщей рамки разсказа и ея собственнаго страннаго холоднаго магнетизма, показалась ему просто вспышкою разгоряченнаго воображенія и богатой фантазій, лишенной опыта. Ея мгновенное исцѣленіе при видѣ жалкой плоти, чуждое всякихъ сожалѣній о духѣ, покинувшемъ эту плоть, казалось ему чѣмъ-то вродѣ выздоровленія отъ болѣзни: словно этотъ человекъ заразилъ ее микробомъ инфлуэнцы. У женщины, любившей достаточно пылко для того, чтобы позволять мужчинамъ цѣловать себя, должна была сохраниться глубокая жалость къ отлетѣвшей жизни, богатой ощущеніемъ и внезапно ввергнутой во мракъ. И вмѣстѣ съ тѣмъ онъ ощутилъ обиду при мысли, что эта безупречно-дѣвственная статуя — несмотря на ея элегантный костюмъ *tailleur* и большую черную шляпу—могла хотъ отдаленно принадлежать мужчинамъ.

— Этотъ франтъ цѣловалъ васъ?—спросилъ онъ рѣзко.

— Конечно. Вѣдь мы были женихомъ и невѣстой, хотя намъ рѣдко приходилось бывать съ глазу на глазъ. Но именно эта сторона любви кажется мнѣ очень преувеличенной. Я была всего счастливѣе въ то время, когда сидѣла въ какомъ-то забытомъ и думала о немъ...

— Гм!—проговорилъ Гвиннъ.

Туманъ разсѣялся. Востокъ казался подобіемъ золотистаго полога, а горы—вкрапленными въ него тяжелыми темными драгоценными камнями. Онъ пересѣлъ ближе къ Изабеллѣ, спрашивая себя: чувствуетъ ли она такой же приливъ молодости, какъ онъ, среди удивительной свѣжести и красоты восхода. Она сидѣла задумавшись, когда онъ неожиданно спросилъ ее: почему она, къ неудовольствію розуотѣрцевъ, отказалась вступить въ мѣстный общественно-литературно-политическій и прочее клубъ?

На это послѣдовалъ неожиданный отвѣтъ:

— Я желаю соединить цѣлый клубъ въ себѣ самой.

— Поразительное совмѣстительство! Не благоволите ли вы объяснить мнѣ: что вы подъ этимъ подразумѣваете?

— Я выработала мою собственную теорію. Трудъ, капиталъ, всѣ силы — становятся могущественнѣе, когда онѣ сосредоточиваются и организуются. Мнѣ думается, что высшія способности даются намъ для того, чтобы вырабатывать внутри насъ индивидуальную силу, которая должна увеличить собою сумму мировыхъ силъ. Если каждый будетъ стремиться къ тому же, мы уничтожимъ позорную слабость, нравственную драблость и гни-

лость. Каждый будетъ зависѣть только отъ себя. Лишь путемъ культивированія въ себѣ такой силы человѣчество можетъ очиститься. Быть можетъ, мнѣ суждено быть одною изъ безшумныхъ пропагандистовъ этой мысли.

— Не отрицаю положительныхъ сторонъ вашей программы, но не будетъ ли такой миръ черезчуръ суровымъ? Что станется съ любовью, съ взаимною зависимостью половъ и всякими человѣческими отношеніями?

— Они-то и есть причина всѣхъ бѣдствій; все горе женщины состоитъ въ убѣжденіи, что любовь для нея—все. Конечно, должны быть браки, но—по свободному выбору, послѣ многихъ лѣтъ платонической дружбы и взаимнаго изученія. Я допускаю союзъ мужчины и женщины съ тѣмъ, чтобы каждый сохранялъ свою индивидуальность. Сама я никогда замужъ не выйду. Если бы я вышла за этого человѣка, я навѣрное подлюбила бы его еще безумнѣе на нѣкоторое время, но затѣмъ у меня осталось бы лишь неприятное сознаніе того, что я сдалась, что я утратила свою человѣческую свободу.

— А меня еще называли эгоистомъ!—проворчалъ Гвиннъ:— я чувствую себя настоящимъ... мохноногимъ цыпленкомъ въ виду этого грандіознаго рѣшенія—возсѣсть на Божій престолъ и править міромъ. Но какъ бы то ни было, я вѣрю, прекрасная кухня, что мужчина и женщина — лишь двѣ половины одного цѣлаго.

— Такова моя собственная теорія. Я вѣрю, что эти двѣ половины соединятся, когда каждая изъ нихъ побѣдитъ въ себѣ плотское начало и очистится отъ зла.

— Не цитируйте мнѣ Толстого! Онъ сталъ проповѣдывать эти теоріи въ старости, и потому онъ такъ же мало имѣютъ для меня цѣны, какъ и дѣвическія фантазіи...

— Не горячитесь, хотя вы мнѣ больше всего нравитесь въ то время, когда вы вспыхиваете какъ порохъ! Я только хотѣла сказать, что женщину извратила не страсть, но примѣненіе и развитіе ея въ теченіе цѣлыхъ вѣковъ ея наиболѣе низменныхъ качествъ, направленныхъ къ завоеванію мужчины. Они ведутъ или къ лукавству, или—къ развращенности рабыни. Даже материнство дѣлаетъ ее рабою. Этими качествами она приковываетъ мужчину къ землѣ, а не высшими сторонами своего существа. Я готова допустить, что страсть—великодѣльна.

Гвиннъ заскрипѣлъ зубами. Ничто не казалось ему столь несообразнымъ, какъ эта красивая, полная жизни, развитая, изящная дѣвушка, говорившая о страсти такимъ же тономъ,

какимъ она говорила бы о цыплятахъ. У него явилось желаніе первобытнаго человѣка—избить ее до синяковъ и затѣмъ—овладѣть ею.

Когда Изабелла обернулась, она удивилась выраженію его глазъ. Они метали искры, онъ густо покраснѣлъ. Такимъ онъ долженъ былъ стоять на трибунѣ, передъ лицомъ врага.

— На что вы разсердились?—спросила она спокойно:—я то, что я забочусь о моемъ полѣ вмѣсто того, чтобы заботиться о вашемъ? Имъ я нужнѣе. Вы найдете миллионы женщинъ въ вашемъ вкусѣ. Мнѣ ничего не нужно отъ вашего пола. Я найду счастье въ самой себѣ.

Тутъ Гвинна взорвало до того, что онъ, забывшись, потерялъ всякую власть надъ собою. Онъ нагнулся и, впившись пальцами въ ея руки powyше локтя, началъ такъ трясти ее, что у нея застучали зубы.

— Чортъ бы васъ побралъ! Вамъ нужно выйти за кого-нибудь изъ вашихъ проклятыхъ индѣйцевъ!

— Пустите меня!—въ бѣшенствѣ воскликнула Изабелла, чувствуя сильную боль въ рукахъ.—Вы перевернете лодку... Съ ума вы сошли? Я готова дать вамъ цинка!

— Хорошо, — сказалъ Гвиннъ, выпустивъ ее и сядя на мѣсто,—вотъ первое женственное слово, какое я слышу отъ васъ! Я не извиняюсь. Можете не говорить со мною. Высадите меня на берегъ.

— Вы причинили мнѣ боль!—воскликнула она съ гнѣвомъ и отчаяніемъ.—Я васъ ненавижу!

— Отъ всего сердца плачю вамъ тѣмъ же. Желаете высадить меня на берегъ?

— Мнѣ нѣтъ до васъ никакого дѣла! Вы меня прибили!

Она опустила голову на руки и разразилась отчаянными рыданіями, какъ побитый впервые ребенокъ.

Гвиннъ разсмѣялся.

— Мы сядемъ на мель, а теперь отливъ.

Изабелла ухватилась за веревку, и катеръ избѣжалъ опасности. Но она едва могла видѣть, и Гвиннъ, чувствуя раскаяніе, котораго онъ старался не обнаруживать, предложилъ править самъ. Она не удостоила его отвѣтомъ, поэтому онъ сѣлъ на мѣсто, твердо рѣшивъ не извиняться, но все-таки помириться съ нею. При этомъ лицо его приняло такое каменное выраженіе, что Изабелла, старавшаяся усвоиться, расхохоталась съ искренностью, могущею обмануть любого мужчину.

— Мы—просто глупыя дѣти. Или, быть можетъ, такъ рано

поутру люди не бываютъ вполне цивилизованными? Подите сюда, я научу васъ править катеромъ, онъ—стариннаго устройства. Намъ, вѣроятно, часто придется на немъ ѣздить, и потому по справедливости половина работы ложится на васъ.

XI.

Изабелла съ Гвинномъ, своею приемною сестрою м-ссъ Стоунъ и ея мужемъ—сидѣла за обѣдомъ въ модномъ ресторанѣ „Пудель“, гдѣ на ряду съ прожигателями жизни бывало и порядочное общество, конечно—въ общей залѣ. Миссъ Отисъ пригласила приемную сестру погостить къ себѣ, но сегодня впервые вульгарность Паулы такъ рѣзко бросилась ей въ глаза. Костюмъ ея былъ скромнаго коричневаго цвѣта, но яркая красная блузка, громадная дешевая красная шляпка, бронзовыя туфли съ огромными красными бантами—придавали этой маленькой краснощекой, перетянутой въ талии брюнеткѣ—видъ дешевой кокетки, не имѣвшей отдаленнаго сходства съ женщиною изъ общества. Но Гвиннъ, повидимому, не былъ шокированъ; онъ оставался невозмутимымъ при входѣ въ громадную, расписанную фресками залу, со множествомъ столовъ, занятыхъ публикою самаго разнообразнаго типа. Большинство принадлежало къ бѣгемъ высшаго порядка, не болѣе четверти—къ мѣстному избранному кругу, но всѣ казались веселыми и беззаботными, и Гвиннъ разсматривалъ ихъ съ любопытствомъ Колумба, открывающаго новую страну. Паула, всѣхъ знавшая въ лицо и читавшая мелкія газетки, называла ихъ по именамъ. Вотъ м-ссъ Мостинъ, молодая женщина съ тонкимъ профилемъ и сѣдыми волосами; она принадлежитъ къ старинной аристократіи и очень горда. Вотъ м-ссъ Треннаганъ—смуглая, некрасивая, только глаза у нея хороши, но мужъ ея страшно въ нее влюбленъ; онъ очень богатъ, она принимаетъ здѣсь и въ Нью-Йоркѣ. Даже удивительно, что она удостоиваетъ этотъ ресторанъ своими посѣщеніями. М-ссъ Гурба,—мать ея, была „львицею“ въ восьмидесятихъ годахъ; въ спискѣ ея знакомыхъ числилось всего девяносто человѣкъ. Но теперь ихъ царство отошло. Главную роль играютъ ирландцы и нѣмцы. Въ настоящее время первая дама въ городѣ—м-ссъ Гоферъ. Вотъ она!

Паула указала на высокую, замѣчательно сложенную молодую женщину, въ простомъ парижскомъ черномъ платьѣ и громадной шляпѣ съ каскадомъ бѣлыхъ перьевъ. У нея было кру-

глое, смѣющееся лично и необыкновенно жизнерадостный видъ.

Паула продолжала свои біографическія разъясненія. М-съ Гоферъ, дочь торговца, бывшаго разносчика, который, разбогатѣвъ, далъ дочери воспитаніе и даже отправилъ ее въ Европу, гдѣ она пріобрѣла такъ называемую стильность, шикъ и все такое, а затѣмъ подѣлала Никласа Гофера, миллионера, человѣка очень популярнаго, члена партіи, стремящейся къ реформамъ. Домъ у нея удивительный. И ей, Паулѣ, хотѣлось бы тамъ побывать, но, конечно, ее не приглашаютъ, такъ какъ она—„никто“, жена бѣднаго живописца...

— Никласъ Гоферъ?—сказалъ заинтересованный Гвиннъ:—мать моя познакомилась съ нимъ въ Гамбургѣ и просила меня, чтобы я непременно побывалъ у него.

— Ну, тогда вы на насъ и не поглядите! — воскликнула м-съ Паула, вздернувъ голову.

Гвиннъ, не привыкшій къ выходкамъ такого рода, занялся устрицами. Въ это время къ нимъ подошелъ м-ръ Стонъ, державшійся гдѣ-то съ пріятелями, и объявилъ, что Изабелла въ своемъ бѣломъ суконномъ костюмѣ производить фуроръ. Не только мужчины, но и женщины — всѣ заинтересованы ею. Съ этимъ ничего не подѣлаешь. Цыплятамъ придется вылупляться самимъ; Санъ-Франциско требуетъ ее къ себѣ, а онъ всегда умѣетъ поставить на своемъ.

— Стали бы люди думать о ней, если бы она не происходила изъ стариннаго рода и у нея не было бы денегъ! — воскликнула, покраснѣвъ, м-съ Стонъ, взбѣшенная complimentами супруга. Она считала свою красоту „очень пикантною“ и не допускала мысли о соперничествѣ съ Изабеллою, которая „словно сошла съ запыленнаго стариннаго холста“, но тѣмъ не менѣе похвалы мужа Изабеллѣ были ей непріятны. Глаза ея засверкали и языкъ заработалъ съ необыкновенною быстротою. Затѣмъ являются сюда всѣ эти барыни? Ничуть не изъ-за хорошаго обѣда, а просто имъ интересно, ничѣмъ не рискуя, побывать въ такихъ мѣстахъ, гдѣ чувствуется ароматъ запретнаго плода. Это пріятно щекочетъ ихъ добродѣтель...

— Я васъ не понимаю, — сказалъ Гвиннъ: — развѣ это — нѣчто въ родѣ притона?

— Не совсѣмъ, но почти, — сказалъ Стонъ, доливая свѣтъ изъ бутылки во льду. — У насъ есть пять-шесть такихъ ресторановъ, но въ этотъ часъ здѣсь не бываетъ „ночная гблика“. Наверху и съ боковыхъ входовъ есть кабинеты, и если бы кто-нибудь увидѣлъ даму, входящую сюда съ малень-

подъѣзда—ея репутація погибла бы навсегда, но обыкновенно ее никто не видитъ...

Онъ съ увлеченіемъ сталъ распространяться объ удобствахъ Санъ-Франциско, гдѣ имѣются „приспособленія“ на всѣ вкусы и на всѣ цѣны, начиная съ великосвѣтскаго разврата и кончая кабацкимъ разгуломъ съ ножевщиной. Нѣтъ въ мірѣ другого такого города. Справедливы ли ходящія о немъ легенды? При всемъ желаніи—ихъ нельзя преувеличить. Онъ можетъ показать Гвинну много интереснаго; у него есть пріатели и между полисменами, безъ которыхъ въ нѣкоторыя мѣста попасть нельзя.

Изабелла въ смущеніи отвернулась, но замѣтила, что Гвиннъ улыбался и былъ заинтересованъ; самъ м-ръ Стоунъ, со своею непосредственностью богемы, не обременнаго неудачами, больше нравился ему, чѣмъ его жена, а миссъ Отисъ была этому рада. Она избѣгала, однако, смотрѣть на Гвинна, боясь, чтобы онъ не подумалъ, что она простила ему.

Въ это время молодой человѣкъ, сидѣвшій къ нимъ спиною, визави со знаменитою м-ссъ Гоферъ, вдругъ всталъ, отодвинулъ стулъ и началъ всматриваться въ Гвинна. Затѣмъ онъ быстро подошелъ къ нему; все его широкое, умное, веселое лицо свѣтилось радушіемъ. Гвиннъ также поднялся.

— Такъ вы м-ръ Гвиннъ? Въ самомъ дѣлѣ?—воскликнулъ м-ръ Гоферъ, горячо пожимая руку незнакомца своею сильною рукою.—Я Никласъ Гоферъ. Ваша мать писала вамъ обо мнѣ? Мы только-что вернулись, и я собирался проѣхать къ вамъ. Я узналъ въ васъ англичанина, какъ только вы вошли, но мнѣ лишь сію минуту шепнули—кто вы. Пожалуйста, откиньте всякія церемоніи и позавтракайте завтра у меня. Потомъ покатаемся на моторѣ, я покажу вамъ городъ. На наше счастье—хорошая погода еще держится. Хорошо? Жду васъ непременно.

И онъ ловко ускользнулъ, прежде чѣмъ Гвиннъ успѣлъ представить его остальнымъ.

— Ну, что вы думаете о здѣшнихъ манерахъ и наглости богачей?—спросила Паула торжествующимъ тономъ.

М-ръ Стоунъ отнесся къ этому снисходительнѣе: онъ торопился, жена ждала его, онъ былъ въ своей компаніи. Что за ѣда!

Послѣ обѣда они отправились, какъ было условлено, въ кигайскую часть города. Гвиннъ посѣтилъ Китай, и потому наелъ, что иллюзія была полная. Та же толпа желтолицыхъ люй въ синихъ балахонахъ, яркія одежды женщинъ и купцовъ, тни высокихъ балкончиковъ, окна, убранныя вышивками, фар-

форомъ, бронзою. Ему пріятно было ходить съ Изабеллою по улицамъ, напоминавшимъ книжку съ картинками. Они зашли въ ресторанчикъ, гдѣ семьи сидѣли за круглыми столами и кушали изъ кукольных тарелочекъ. Въ слѣдующей комнатѣ, съ верандою, китайскія пѣвчицы пѣли пѣсни, похожія на завыванія. Пышно одѣтые китайцы съ застывшими лицами курили опиумъ изъ длинныхъ трубокъ...

— Это чтѣ! Одна выставка!—презрительно сказалъ Стоунъ.— Погодите, я вамъ покажу ночью нѣчто настоящее.

Они взяли экипажъ и поѣхали по освѣщеннымъ улицамъ. Въ аристократической части города было тихо, но слышалась музыка, проѣзжали экипажи. Гвиннъ, воспользовавшись тѣмъ, что супруги о чемъ-то заспорили, тихо спросилъ у Изабеллы, не сочтетъ ли она его невѣжливымъ, если онъ приметъ завтра приглашеніе Гофера, а сегодня пойдетъ съ м-ромъ Стономъ побродить по городу. Вѣдь онъ остановился у нея. Онъ можетъ пріѣхать въ другой разъ.

— Пожалуйста, смотрите на мой домъ какъ на вашъ собственный. Если вы остановитесь въ другомъ мѣстѣ—я буду обижена.

Они уже были у подножія лѣстницы въ скалѣ и высадили дамъ изъ экипажа. М-ръ Стоунъ, взявъ Гвинна подъ руку, ловко совершилъ отступленіе.

— Ну, до свиданія, милочка!—крикнулъ онъ:—теперь мы отправляемся въ городъ! И мы не вернемся до раз-свѣта, до раз-свѣта!—пропѣлъ его голосъ уже за угломъ.

Паула, буквально, тряслась отъ злости, но Изабелла рѣшительно втащила ее на лѣстницу. Она бранилась и выражала желаніе, чтобы ихъ забрали въ полицію.

— Неужели ты за тринадцать лѣтъ еще къ этому не привыкла?—сказала Изабелла.— Листеръ всегда былъ полуночникомъ.

— Къ нѣкоторымъ вещамъ жена никогда не можетъ привыкнуть,—сказала Паула съ достоинствомъ, неохотно протягивая руку за свѣчою, которую ей подавала Изабелла.— Неужели у тебя нѣтъ въ домѣ электричества или, по крайней мѣрѣ, газа?

— Есть газъ, но къ чему зажигать его? Свѣча напоминаетъ мнѣ очаровательные вечера въ Англии. Нѣтъ ничего красивѣе этой процессіи красивыхъ женщинъ, въ платьяхъ съ длинными трѣнами, декольтированныхъ, съ брилліантами въ волосахъ, поднимающихся со свѣчою въ рукахъ по лѣстницѣ.

— Ну, у меня нѣтъ такихъ очаровательныхъ воспоминаній о знакомствѣ съ англійскою аристократіей, и я боюсь завапать стеариномъ мое единственное приличное платье.

ХІІ.

Часа въ четыре утра Изабеллу разбудили подозрительные звуки у входной двери. Кто-то старался вложить ключъ въ замокъ. Она схватилась было за револьверъ, но услышала беззаботный смѣхъ м-ра Стона. Послѣ нѣкотораго колебанія обозрѣватели Санъ-Франциско стали подниматься по лѣстницѣ едва-ли не на четверенькахъ и затѣмъ прошли мимо ея дверей искусственно твердою походкой, напомнившю ей прежнихъ обитателей этого дома.

Изабелла велѣла разбудить Гвинна за часъ до завтрака у Гоферовъ. Она сидѣла на верандѣ, когда онъ вышелъ; видъ у него былъ вполне приличный, только лицо его даже подъ слоемъ загара было блѣдно. Она иронически разсмѣялась.

— Ну, да, — сказалъ онъ невозмутимо, — я былъ пьянъ, и если бы я не былъ пьянъ, я не могъ бы выдержать вчерашняго, не будучи санъ-францисканцемъ. Я полагалъ, что знаю порокъ, но я не представлялъ себѣ этого смѣшенія древней цивилизаціи и непосредственности стана золотоискателей — въ самомъ центрѣ современнаго города. Я окончательно напился въ подземныхъ притонахъ, а начали мы, конечно, не съ нихъ... Когда мы рѣшили идти домой, намъ пришлось поддерживать другъ друга, такъ какъ у насъ обоихъ не нашлось и столько денегъ, чтобы взять кэбъ. Не мудрено, что люди, подобные Гоферу, сходятъ съ ума. Насъ сопровождалъ въ концѣ концовъ полицменъ; видъ драки на ножахъ произвелъ на него такъ же мало впечатлѣнія, какъ и безграничное распутство женщинъ... Я все-таки радъ, что сегодня мнѣ предстоитъ нѣчто совсѣмъ другое...

Они простились. Когда онъ уже спустился по лѣстницѣ, Изабелла увидѣла, что онъ остановился съ очень высокою, элегантною женщиной, въ которой она узнала м-ссъ Гоферъ. Гостя тала подниматься, и по ея миловидному, раскраснѣвшемуся лицу ядно было, что она настолько смущена, насколько это возможно въ таковой молодой, веселой, жизнерадостной, избалованной ирландки. Изабелла сбѣжала ей на встрѣчу.

— Какъ вы милы, что принимаете меня! — воскликнула гостя звонкимъ высокимъ мелодическимъ голосомъ: — вы — прелесть! Я

хотѣла сдѣлать вамъ визитъ и прискивала предлогъ, такъ какъ мнѣ *безумно, безумно* хотѣлось васъ видѣть, но вчера я сказала м-ру Гоферу, что мой запасъ терпѣнія улетучился, испарился... Вы не думаете, что я недостаточно соблюдаю приличія? Я дѣлаю это только за-границею. Дома я всегда стараюсь быть приличною.

Изабелла, улыбаясь, пригласила ее въ домъ.

— Я ни съ кѣмъ не была такъ рада познакомиться. Пойдемте.

— Дайте мнѣ отдохнуть здѣсь на верандѣ. Я задыхаюсь отъ усталости и страха, да—страха... А нужно многое, чтобы напугать меня. Но вы произвели здѣсь сенсацію. Всѣ хотять васъ видѣть—безумно хотять! И я желала быть первою, не изъ тщеславія, нѣтъ... Я гостила въ одномъ домѣ въ Англіи, гдѣ слышала о васъ. Подумать только, что вы не пожелали сдѣлаться леди Иксэмъ! У нихъ—не домъ, а настоящая жемчужина.

Она усѣлась на кончикѣ стула, какъ птица на вѣткѣ. Ея веселые умные глаза не отрывались отъ лица Изабеллы и она болтала безъ умолку. Почему она такъ интересуется ею? Старинная испанская кровь, романтическія легенды, связанныя съ этимъ домомъ на скалѣ. И въ особенности—она сама! Ея красота, умъ, дѣловитость... Это необыкновенно! А цыпята! Ея поставщики не смѣютъ присылать ей другихъ—подъ угрозю потерять ея практику. Теперь всѣ барышни—а онѣ всѣ поголовно *des blasées*—мечтаютъ посвятить себя уходу за цыпятами и отказаться даже отъ картъ.

Изабелла разсмѣялась и объяснила, что для этого имъ пришлось бы слишкомъ рано вставать и подвергаться всякимъ неудобствамъ.

— Я уже говорила имъ. Ни флѣрта, ни парижскихъ туалетовъ, ни крашенныхъ волосъ! Но онѣ въ восторгѣ отъ васъ. Мы жаждемъ васъ видѣть *en grande tenue*. Наканунѣ Рождества я даю балъ. Вы прійдете? Общайте мнѣ сейчасъ же, на этомъ мѣстѣ.

— Я буду очень рада. Я даже собиралась принимать сама, какъ только я буду въ состояніи. Балъ? Это чудесно. Я не танцевала цѣлый годъ.

— Я въ восторгѣ, что вы такъ говорите. Сегодня у насъ дѣловой завтракъ — одни мужчины, но не согласитесь ли вы покатиться со мною по городу? Пожалуйста! Мой моторъ внизу, погода божественная. Мы позавтракаемъ вмѣстѣ въ ресторанъ.

Миссъ Отисъ согласилась, зная, что Листеръ Стоунъ не вснетъ до вечера, а Паула собиралась навѣстить своихъ дѣтей.

Было около полуночи. Изабелла послѣ калейдоскопическаго дня чувствовала, что ей совсѣмъ не хочется спать; притомъ она ожидала Гвинна, телефонировавшаго ей, что онъ обѣдаетъ въ Бѣрлингемѣ и вернется часамъ къ двѣнадцати. М-ссъ Гоферъ вмѣсто ресторана повезла ее завтракать къ пріятельницѣ, жившей въ долинѣ Миссиа, въ одномъ изъ большихъ старинныхъ деревянныхъ домовъ, настолько укрытыхъ отъ вѣтровъ и тумана, что теперь въ ноябрѣ мѣсяцѣ хозяева принимали гостей въ саду; подъ ногами были разостланы ковры и надъ головой раскрыты большіе зонты.

Здѣсь Изабелла нашла самое разнообразное общество, и могла убѣдиться, что прежняя исключительность и чопорность, царившія во времена ея матери — канули въ вѣчность. Тутъ были: м-ссъ Треннаганъ, урожденная Юрба, со своимъ нью-йоркскимъ мужемъ; Анна Монгомери, бывшая знаменитая красавица, одаренная музыкальнымъ талантомъ, которымъ она пренебрегла изъ любви къ семьѣ, не отпустившей ее въ Европу и затѣмъ разорившейся. Теперь она зарабатывала себѣ хлѣбъ тѣмъ, что исполняла роль приходящей экономки въ большихъ домахъ и въ домахъ средняго достатка, гдѣ ея тоже замѣчательныя кулинарныя способности нашли себѣ широкое примѣненіе.

Несмотря на это, вслѣдствіе своеобразнаго строя жизни, она продолжала бывать въ обществѣ; ее всюду приглашали, и она являлась по парадному ходу въ тѣ дома, куда приходила рано утромъ по черному. Ея вѣчная красота давно отцвѣла, платье на ней было очевидно дешевое, но она сохранила видъ настоящей лэди. Туалеты дамъ отличались также разнообразіемъ; тутъ было все, начиная съ бархатнаго платья и кончая блузкою „organdie“. Миссъ Отисъ сидѣла между лидеромъ реформаторовъ, гостей котораго она была, и воинствующимъ редакторомъ. Ей пришлось многое услышать относительно живо интересовавшей ее внутренней политики.

Послѣ завтрака м-ссъ Гоферъ пригласила Изабеллу и Анну Монгомери прокатиться; она все время болтала безъ умолку, и лишь на возвратномъ пути, когда она зашла навѣстить больную пріятельницу, обѣ дѣвушки остались однѣ. Широкая улица, залитая солнцемъ, пестрѣла экипажами, нарядною, оживленною толпою, но миссъ Монгомери указала Изабеллѣ, которую она называла по старой памяти „ненсправимую идеалистку“, на обратную сторону блестящей медали.

— Видите вы тамъ на холмахъ цѣлые ряды тѣсно лѣнящихся другъ къ другу прилично-мизерныхъ домовъ? У каждаго

изъ нихъ—окно аркою, и каждый нуждается въ свѣжей окраскѣ. Таковы и жизни ихъ обитателей. За исключеніемъ „подземнаго города“, здѣсь имѣются всего четыре категоріи людей, дѣйствительно наслаждающихся жизнью: богачи, веселая богема, женщины, работающія въ ассоціаціяхъ и союзахъ, и земледѣльческій классъ, получающій неслышанно высокое вознагражденіе и радующійся такому ясному дню такъ же, какъ радуется ему пащееся въ полѣ стадо. Но тысячи и тысячи людей застряли въ своей колѣѣ, и имъ уже не выбраться... Было время, когда каждый могъ проложить себѣ дорогу, но это время уже прошло. Затѣмъ, въ Европѣ вы можете, скопивъ денегъ, куда-нибудь проѣхать, освѣжиться, увидѣть новыя мѣста! Здѣсь вы—словно на Марсѣ. Нужно проѣхать три тысячи миль для того, чтобы услышать не другой языкъ, но другой акцентъ. А климатъ? Вѣчное солнце и четыре мѣсяца тумановъ и непрерывныхъ дождей. Пороку, когда я спускаюсь съ горы или ѣду въ лодкѣ по заливу и рецепты соусовъ не выходятъ у меня изъ головы, я начинаю отчаянно желать какой-нибудь переменъ: войны, землетрясенія, — чтобы надъ головами разрывались бомбы, рушились вокругъ зданія, люди, обезумѣвъ отъ страха, метались по сторонамъ... Все лучше, предпочтительнѣе, чѣмъ однообразіе этой полу-цивилизаци. Монотонность, скука жизни—порождаетъ здѣсь среди женщинъ громадное число самоубійствъ.

Изабелла была ошеломлена этимъ взрывомъ тоски. Ей вдругъ показалось, что солнце потускнѣло и лица людей превратились въ улыбающіяся маски. Не соображая сама, что говорить, она принялась умолять Анну взять отъ нея деньги въ видѣ ссуды и поѣхать въ Европу, чтобы докончить тамъ свое музыкальное образованіе.

Миссъ Монгомери вспыхнула, улыбнулась,—и это сразу ее помолодило.

— Это похоже на васъ. Когда вы были крошечкою, вы раздавали дѣтямъ ваши вещи и игрушки, что не мѣшало вамъ тузить ихъ, когда они играли не по вашему. По возвращеніи вашемъ изъ Европы, я васъ видѣла: вы замкнулись въ самой себѣ, и по этой причинѣ я не напоминала вамъ о моемъ существованіи. Теперь я вижу, что вы—прежняя Изабелла, и это молодить меня.

— Такъ вы согласны поѣхать?

Миссъ Монгомери покачала головою.

— Поздно! Мнѣ тридцать пять лѣтъ. Если въ этииъ годамъ вы въ Америкѣ не сдумѣли пробиться, значитъ на васъ на

поставить крестъ. Не жалѣйте меня. Я приѣду къ вамъ погово- рить, какъ только будетъ посвободнѣе. Теперь сезонъ въ разгарѣ.

М-ссъ Гоферъ, похожая въ своемъ пышномъ, сѣрыхъ оттѣн- ковъ платьѣ, на веселую птичку, легко впорхнула въ экипажъ. Она извиняется за опозданіе, но, можетъ быть, онѣ были рады отдохнуть отъ нея?

— Дорогая миссъ Отисъ! Все время я хочу васъ спросить о лэди Викторіи Гвиннъ. Чтò вы о ней думаете? Я *безумно* ею интересуюсь... Она оживляется лишь при упоминаніи о своемъ сынѣ Джеѣ. О знаменитомъ Эльтовѣ она ничего не говоритъ. Вѣрно, они поссорились? А м-ръ Гоферъ чрезвычайно имъ восхищается. Я ничего не могла отъ нея добиться, а это со мною почти не случается. Лэди Викторія не похожа на большинство англійскихъ знатныхъ дамъ. Но какіе о ней ходятъ слухи! И тѣмъ не менѣе, съ нею дружили въ Гамбургѣ особы королев- ской крови. Но всего любопытнѣе было ея отношеніе къ сэру Кэджъ-Веннэку...

— Чтò такое? — воскликнула изумленная Изабелла: — онъ вернулся изъ Африки? Я такъ и знала, что, помимо здоровья, ее что-то задерживаетъ.

— Представляю себѣ лэди Викторію въ ранчо! Она умретъ съ тоски по Лондону. Относительно сэра Кэджа ея поведеніе было для всѣхъ загадкою. Онъ окружалъ ее вниманіемъ, она была холодна, какъ ледяная глыба. Разочаровалась она, что-ли, въ любви вообще? Она страшно „сдала“. Я видѣла ее лѣтъ семь назадъ. Какъ она была хороша! Теперь мускулы у нея ослабѣли, а глаза — два бездонныхъ омута скуки... Ничего не можетъ быть хуже великосвѣтской *demi-mondaine*. Лучше — откровенно пойти къ чорту и умереть на чердакѣ. Это — живописнѣе и даже — честнѣе...

Вернувшись домой, Изабелла рада была отдыху. М-ръ Стовъ все еще не просыпался, а м-ссъ Паула уѣхала, оставивъ записку съ извѣщеніемъ, что она отправляется „туда, гдѣ въ ней нуждаются, т.-е. къ себѣ домой“.

Перебирая впечатлѣнія дня и придумывая, чтò бы она могла сдѣлать для Анны Монгомери, Изабелла услышала въ темнотѣ гаги Гвинна по ступенямъ, и весело крикнула ему, чтобы онъ і елъ сюда съ докладомъ обо всемъ случившемся.

— Надѣюсь, что вы носите съ собою револьверъ? — спро- ситъ она: — здѣсь ежедневно бываютъ случаи нападеній и воору- женныхъ грабежей.

XIII.

— Ну, и выдался у меня денекъ!—сказалъ Гвиннъ, растянувшись въ креслѣ рядомъ съ Изабеллою.—За завтракомъ—не у Гоферовъ, а въ ресторанѣ на холмѣ, откуда открывается дивный видъ на заливъ и Золотыя Ворота—я встрѣтилъ дюжину очень умныхъ и энергичныхъ людей; затѣмъ мы ѣздили часа три по городу, обѣдали въ Бѣрлингемѣ въ клубѣ, и послѣ цѣлаго года отшельнической жизни я не зналъ, какъ себя держать за обѣдомъ съ хорошенькими женщинами, привывшими къ комплиментамъ и отчаянному флѣрту...

— Но вамъ было весело,—сказала она, улыбаясь,—это поможетъ вамъ объамериканиваться.

— Не совсѣмъ. Отецъ м-съ Гоферъ, м-ръ Туль,—любитель англійской литературы; онъ хорошо знакомъ и съ нашею политикой. Я видѣлъ у него лондонскую прессу. Скажу больше—за завтракомъ зашелъ разговоръ объ Эльтонѣ Гвиннѣ. Но въ общемъ ихъ всѣхъ поглощаетъ идея возрожденія Санъ-Франциско. М-ръ Туль увѣряетъ, что реформа невозможна, „смазчики“ отличаются необычайной энергіей, но тѣмъ интереснѣе борьба...

— А въ глубинѣ души у васъ не является искушеніе вернуться въ Англію?

— Не знаю,—проговорилъ Гвиннъ, глядя на огоньки, свѣтившіеся у подножія горы:—по временамъ меня сильно тянетъ туда; въ одинъ прекрасный день я могу уложиться и уѣхать съ первымъ поѣздомъ изъ Калифорніи...

— Неужели вы могли бы это сдѣлать?

— Ну, конечно, я простился бы съ вами, если бы только, въ концѣ концовъ, не побоялся финальнаго столкновенія съ вашею желѣзною волей,—онъ обернулся къ ней и увидѣлъ ея глаза, свѣтившіеся во мракѣ, какъ глаза кошки:—хотя я и зарылся въ законы, но я все же постоянно чувствую это незамѣтное давленіе на мою волю...

— Можетъ быть, съ утра субботы вы стали менѣе чувствовать его?—спросила она ѣдко.

Его глаза вспыхнули, онъ покраснѣлъ.

— Совершенно вѣрно. Вы разбудили во мнѣ звѣря. Э! была ваша вина.

— Меня приглашали сегодня къ обѣду, и я должна бы отказаться—изъ-за синяковъ на рукахъ.

— Я не раскаиваюсь. Развѣ вы не старались подчинить себѣ мою волю?

— Я только пыталась быть вамъ полезною въ чужомъ краю.

— Вы не вполне откровенны. До прїѣзда сюда я думалъ, что я... захочу жениться на васъ. Съ вашей красотою, аристократичностью, умомъ и тонкостью—вы созданы для роли жены общественнаго дѣятеля. Но затѣмъ я испугался. Я видѣлъ слишкомъ многихъ мужей, управляемыхъ женами. Я согласенъ имѣть въ женѣ товарища, но съ тѣмъ, чтобы рѣшающее слово было за мною.

— Вы найдете тысячи женщинъ, отвѣчающихъ вашимъ требованіямъ и ограниченіямъ.

— Много вы знаете! Правда, здѣсь достаточно интересныхъ женщинъ, но ни одной, обладающей тѣми качествами, которыя соединяются въ вашей загадочной и не удовлетворяющей меня во многомъ особѣ.

— Я не похожа на м-съ Кэй, которую вы считали воплощеніемъ всѣхъ совершенствъ.

— Я былъ ослѣпленъ глупою страстью. Во многихъ отношеніяхъ мнѣ пришлось бы краснѣть за нее.

— И вы уже не способны къ любви?

— Не знаю. Только теперь я сталъ оживать. Но у меня нѣтъ желанія влюбиться, даже—въ васъ, хотя, если бы не нѣкоторые пункты, я все же хотѣлъ бы на васъ жениться.

— Вы такъ старательно обходите возможность сдѣлать мнѣ предложеніе, что я не могу вамъ дать отвѣтъ.

— Я знаю вашъ отвѣтъ. Но все равно: если бы я даже любилъ васъ, но сознавалъ, что ваша воля—сильнѣе, я вернулся бы въ Англію съ первымъ пароходомъ.

— А теперь, на правахъ хозяйки, я отсылаю васъ спать. Уже часъ.

Она не сказала ему, не желая его тревожить, что Паулы нѣтъ въ домѣ, а Листеръ Стоунъ снова „закатился“, и Гвиннъ уѣхалъ утромъ съ первымъ поѣздомъ, не подозревая, что они не только совершили вопіющее нарушеніе приличій, но что это нарушеніе уже сдѣлалось кое-кому извѣстнымъ.

XIV.

Двѣ недѣли спустя, лэди Викторія водворилась въ домѣ на Русскомъ холмѣ.

Она пріѣхала неожиданно. Гвиннъ едва успѣлъ ее встрѣтить, захвативъ послѣдній поѣздъ въ Розуотеръ; изъ Санъ-Франциско онъ летѣлъ сломя голову въ Оклендъ и несся по платформѣ, какъ преслѣдуемый полиціей злоумышленникъ, что было ему совсѣмъ не по вкусу. Онъ не любилъ такихъ сюрпризовъ. Потомъ онъ былъ очень занятъ, а такая женщина, какъ его мать, требовала особаго вниманія. Она была одной изъ царичъ общества въ Лондонѣ въ теченіе тридцати лѣтъ.

Пришлось прибѣгнуть къ помощи Изабеллы. Проведя нѣсколько дней въ ранчо Lumalitas, лэди Викторія съ удовольствіемъ приняла приглашеніе Изабеллы — поселиться у нея въ городѣ. Колоссальные рестораны, уличная толпа — заинтересовали пріѣзжую; м-съ Гоферъ съ восторгомъ взяла на себя трудъ познакомить ее съ обществомъ, а миссъ Монгомери нашла ей прислугу и организовала ея хозяйство.

Изабелла замѣтила въ ней пережѣну. Подъ своею наружностью сфинкса лэди-Викторія затаила громадную нервность, и, несмотря на всю свою благовоспитанность, порою бывала не въ состояніи скрыть свою раздражительность. Глаза ея, казалось, утратили всякую прозрачность; въ нихъ ничего нельзя было прочесть, такъ же, какъ нельзя было догадаться, намѣрена ли она остаться здѣсь на нѣсколько мѣсяцевъ, или на всю жизнь? Мѣстная богема понравилась ей болѣе, чѣмъ высшій кругъ. Она развлекалась въ обществѣ Листера Стона, держала Паулу на посылакахъ и дѣлала ей подарки.

Тѣмъ временемъ Гвиннъ, помимо занятій у судьи Лесли и участія въ городской строительной комиссіи, куда онъ вошелъ, совершалъ поѣздки съ Томомъ Кольтономъ въ его кабриолетѣ по окрестностямъ и знакомился не только съ фермерами, но и съ безграничнымъ честолюбіемъ молодого политика. Хотя Кольтонъ нуждался покуда лишь въ голосахъ избирателей своего округа, онъ далеко не ограничивался ими, зная, что придетъ время, когда ему понадобится широкая популярность, и со своею холодною предусмотрительностью онъ сѣялъ ея сѣмена. У него былъ громадный, разнообразный матеріалъ, нуждавшійся въ обработкѣ. Не только здѣшній округъ, но и два другихъ — размѣрами съ цѣлый штатъ — были раздѣлены на мелкіе участки, заселенные ирландцами, шотландцами, датчанами, норвежцами, шведами, венгерцами, швейцарцами и немногими природными американцами. Исключеніе составляли два-три крупныхъ ранчо въ родѣ Lumalitas и участокъ Асти, заселенный исключительно итальянцами и заключавшій лучшіе виноградники. Швейцарцы

занимались сыроварением; остальные разводили цыплятъ, овощи, цвѣты, занимались сельскимъ хозяйствомъ. Были плантаціи апельсинавъ и другихъ фруктовъ.

Фермеры охотно отрывались отъ работы, чтобы поговорить о политикѣ съ Кольтономъ и излить негодованіе противъ монополистовъ, а главное — противъ желѣзныхъ дорогъ съ ихъ невозможно высокимъ тарифомъ. Онъ не скрывалъ отъ нихъ, что мѣтитъ въ сенаторы и, достигнувъ цѣли, позаботится о благѣ трудящихся классовъ. Кое-кто скептически относился къ его обѣщаніямъ, но иностранцы вѣрили охотно: простота и доступность богача плѣняли ихъ.

На Гвинна они обращали мало вниманія, но это дало ему возможность ихъ изучить. Штатъ былъ республиканскій; со времени послѣднихъ выборовъ Калифорнія, ослѣпленная звѣздою Рузвельта, сдѣлалась республиканскою. Суждено ли было оправдаться возлагаемымъ на него надеждамъ — могло показать лишь будущее, но во всякомъ случаѣ люди шли къ избирательнымъ урнамъ, побуждаемые лучшими сторонами своей природы, тѣмъ, что было въ ней наиболѣе благороднаго и неэгоистическаго. Торжество Рузвельта было одною изъ величайшихъ побѣдъ личнаго обаянія, такъ какъ лидеры ничего такъ не желали, какъ его провала.

Человѣкъ, подобный Тому Кольтону, могъ временно повліять на массы, пробудить въ калифорнійцахъ желаніе добиться реформъ. Но онъ слишкомъ много наобѣщалъ, и со временемъ они обратятся къ человѣку, который меньше говоритъ, но больше дѣлаетъ.

Гвинну пришлось быть на громадномъ митингѣ, созванномъ для выраженія сочувствія владѣльцамъ апельсинавыхъ рощъ, утопившихъ въ заливѣ двадцать воровъ раннихъ апельсинавъ для того, чтобы не платить бѣшеныхъ денегъ за провозъ. Гвиннъ рѣшилъ, что онъ долженъ воспользоваться этимъ случаемъ, и послѣ нѣкоторыхъ сомнѣній и колебаній онъ, по настоянію Кольтона, взошелъ на платформу съ чувствомъ остраго волненія, испытываемаго актеромъ при выступленіи въ новой роли.

Черезъ минуту онъ увлекся, и для него уже не было ничего смѣе захватывающаго, чѣмъ интересы апельсинщиковъ и злоупотребленія желѣзнодорожниковъ. Онъ побѣдоносно очнулся съ своего оцѣпенѣнія, и какъ прежде, аудиторія, смутно чувствуя, что она вдохновляетъ его, была поражена силою его речи, похожей на прорывающій плотину бурный потокъ.

Не то чтобы онъ позволилъ себѣ увлечься до самозабвенія.

Не возбуждая чрезмѣрно ихъ гнѣва, онъ обратился къ ихъ разуму и гражданскимъ чувствамъ, убѣждая ихъ постоянно собираться для совѣщаній, избирать своими представителями людей, которые не будутъ только политиками, но и дѣятелями; онъ совѣтовалъ имъ чаще справляться съ законами, посвящая свободныя минуты ознакомленію съ политикой, вмѣсто того, чтобы безопасно отдавать свое личное дѣло въ руки людей настолько недобросовѣстныхъ, какъ мѣстныя фракціи и корпораціи. При помощи своего рѣдкаго дара онъ сумѣлъ не только убѣдить каждаго отдѣльнаго слушателя въ томъ, что онъ имѣлъ въ виду именно его, но и показать, что тотъ стоитъ въ одной плоскости съ ораторомъ.

Когда онъ кончилъ—среди громкихъ рукоплесканій онъ увидѣлъ Кольтона, стоявшаго съ нахмуреннымъ лицомъ и острымъ взглядомъ. Гвиннъ взялъ его подъ руку и отошелъ съ нимъ въ сторону.

— Я радъ, что дѣло такъ скоро подошло къ развязкѣ,—сказалъ онъ,—иначе вы заподозрили бы во мнѣ лицемеръ. Не только наши воззрѣнія діаметрально противоположны, но вы должны смотрѣть на меня какъ на соперника. Конечно, за эти четыре года я не могу сдѣлать ничего опредѣленнаго, а вы тѣмъ временемъ попадете въ сенатъ Соединенныхъ-Штатовъ. Если это случится, я буду бороться съ вами. Тѣмъ не менѣе, я готовъ вамъ помочь пройти туда и всегда буду къ вашимъ услугамъ—въ обмѣнъ за приобретаемый мною опытъ и знанія. Вы—не хуже другихъ, а не вы пройдете, такъ—другой. Поэтому я предпочитаю провести васъ, но затѣмъ постараюсь занять ваше мѣсто.

Кольтонъ стоялъ, глядя въ землю и заложивъ руки въ карманы. Затѣмъ онъ поднялъ глаза и безобидно улыбнулся.

— Вы чертовски прямой человѣкъ, во всякомъ случаѣ! Я о себѣ настолько же хорошаго мнѣнія, какъ и вы—о себѣ. Вы можете провести меня въ сенатъ съ помощью вашего языка—ловко вы умѣете имъ дѣйствовать! И я долженъ пойти на рискъ, что вы меня оттуда выставите. Но я думаю, что сумѣю укрѣпить нашу машину. Буду такъ же откровененъ, какъ и вы. Когда я буду въ комитетѣ, я допущу васъ въ конгрессъ въ качествѣ сотоварища, если вы будете меня поддерживать.

— Готовъ этимъ рискнуть. По крайней мѣрѣ, мы понемногу другъ друга. Я буду работать для васъ, но когда стану г-номъ жданиномъ Соединенныхъ-Штатовъ, я постараюсь сломить васъ, и вашу чортову машину...

— Руку!—сказалъ Кольтонъ.

И они пожали другъ другу руки.

XV.

Изабелла сидѣла на террасѣ своего стараго дома въ Розуотѣрѣ. Сезонъ дождей еще не начался, съ моря доносился прохладный вѣтеръ, закатъ отливалъ золотомъ. Она не видѣла Гвинна нѣсколько дней; ихъ отношенія оставались чисто товарищескими, но она смутно предчувствовала въ будущемъ какой-то переломъ,—и ея безмятежное наслажденіе настоящимъ было отчасти испорчено.

— Вы спите?—спросилъ вѣжливый голосъ, и Гвиннъ перелѣзъ черезъ перила террасы.

— Я не слышала стука копытъ вашей лошади.

— По весьма простой причинѣ: я пришелъ пѣшкомъ. Я до того начитался законовъ, что конституція Соединенныхъ-Штатовъ показалась мнѣ написанной черными буквами по золоту заката. Это такъ испугало меня, что я пошелъ прогуляться, и шаги мои сами собою привели меня сюда.

— Очень любезно съ ихъ стороны. Макъ отвезетъ васъ въ экипажѣ или вы возьмете мою лошадь.

— Какъ это похоже на васъ: толковать о моемъ отъѣздѣ раньше чѣмъ я успѣлъ войти въ домъ!

Въ гостиной, уютной и красивой, пылалъ огонь въ каминѣ. Чувствуя пріятную усталость, Гвиннъ растянулся въ креслѣ Гирама Отиса. Онъ разсказывалъ ей о Кольтонѣ, о его программѣ, заключающейся въ двухъ словахъ: „общать! надуть!“—и въ то же время смотрѣлъ на нее. Она была въ черномъ съ вырѣзомъ платьѣ, съ красною розою въ волосахъ и въ индійскомъ шарфѣ, наброшенномъ на плечи.

— Волею-неволею я остаюсь здѣсь,—заклучилъ онъ,—но я прошелъ пять миль не для того, чтобы говорить съ женщиной о политикѣ. Откуда у васъ этотъ шарфъ и эта тонкая золотая цѣпь съ сердечкомъ? -

— Я нашла ихъ въ сундукѣ моей матери. Видите на медальонѣ 1776 годъ—годъ основанія Миссии въ Санъ-Франциско?

Сегодня Изабелла казалась настоящею испанкой, и всѣ брюгги, какихъ онъ зналъ, потускнѣли бы передъ нею. Въ своихъ обыкновенныхъ костюмахъ она не производила впечатлѣнія на инна, но сегодня ея красота нашла должную рамку.

— Сегодня вы—совсѣмъ другая. Испанская порода сказывается въ васъ особенно ярко. Вы утратили даже нѣкоторую

откровенную рѣзкость, которая пріятна въ товарищѣ, но отталкиваетъ отъ васъ, какъ отъ женщины.

— Неужели я отталкиваю, какъ женщина?

Изабелла поставила одну ногу на рѣшетку, облокотилась о каминъ рукою и полуобернула къ нему голову. Старинный шарфъ смягчалъ строгость ея чертъ, вырѣзъ платья отрывалъ бѣлизну ея шеи, а изящныя линіи ея фигуры выдѣлялись на фонѣ пламени.

Гвиннъ не зналъ, новое ли это у нея настроеніе, или просто поза, и хотя онъ не желалъ „разыграть изъ себя дурака“, онъ отвѣтилъ тѣмъ же не менѣе на ея вызовъ.

— Иногда. Но не сегодня. Если бы вы навсегда остались такою, я влюбился бы въ васъ, именно потому что я самъ—совсѣмъ не живописецъ, и мы зажили бы очень счастливо.

— Какая тоска!

— Неужели вы дѣйствительно счастливы?—спросилъ Гвиннъ съ любопытствомъ.

— Разумѣется. Такъ счастлива, что это начинаетъ меня тревожить. Мой пуританскій инстинктъ говоритъ мнѣ, что я не имѣю права на полное счастье. Но мы—рабы отравы, влитой предками въ нашу кровь. Я живу при свѣтѣ разума, и все идетъ хорошо, покуда эта отравка не начинаетъ бродить во мнѣ, какъ выходецъ—вокругъ своей могилы.

— Я думаю, что въ васъ бродятъ вложенные самою природою инстинкты, сводящіеся къ тому, что вы должны осчастливить какого-нибудь смертнаго.

— Это—суетвѣріе, которое я стараюсь пережить, покуда я молода. Ваша мать несчастна потому, что она пережила своихъ боговъ—молодость и красоту, и скука пожирала ее. Мы должны освободиться отъ власти пола—вотъ что изъ этого слѣдуетъ. Но если я буду продолжать, вы опять зададите мнѣ встряску...

— Нѣтъ,—сказалъ Гвиннъ, улыбаясь,—мнѣ скорѣе захочется васъ поцѣловать. Ага!

Онъ съ радостью увидѣлъ, что глаза ея засверкали. Докуривъ трубку, онъ съ наслажденіемъ вытянулся и заложилъ руки за голову.

— Я настолько усталъ, что буду совершенно счастливъ, если могу глядѣть на васъ и васъ слушать...

— Ни съ чѣмъ не соглашаюсь?

— Не скажу. Я думалъ о нашемъ разговорѣ, и пришелъ къ убѣжденію, что дѣйствительно есть женщины, которыя слышкомъ хороши для того, чтобы стать только женами и матерями.

Ихъ дарованіямъ нуженъ просторъ, но жажду личнаго счастья ничѣмъ не вытравивъ. Относительно васъ я думаю, напримѣръ, что въ качествѣ жены общественнаго дѣятеля вы съ большою пользою примѣнили бы ваши таланты, чѣмъ изображая собою Статую Независимости на вершинѣ Русскаго холма. И если бы вы страстно любили его...

— Вотъ вы все испортили! Но мнѣ лестно, что вы нашли среди вашихъ занятій время подумать о моихъ теоріяхъ...

— Сегодня даже сарказмъ не можетъ испортить вашу очаровательность. Я ничего не имѣю противъ жены-товарища, — только она должна быть хорошенькой. На некрасивой я ни за что не женюсь.

— Вамъ не нужно никакой женщины. Въ Англии вы какъ будто нуждались въ вашей матери, но здѣсь она — лишняя для васъ. Я хотѣла занять ея мѣсто, но вы отстранили меня.

— Нѣтъ! Когда-нибудь я вамъ скажу, почему я не пришелъ къ вамъ въ самыя тяжелыя минуты моей жизни.

— Почему не теперь?

— Потому что не хочу. Какъ вы ни обольстительны, я не хочу доставить вамъ минуту торжества.

Она не удостоила его отвѣтомъ. Наступило молчаніе. Изабелла задумалась, и когда она очнулась отъ забытья, она увидѣла, что онъ крѣпко заснулъ въ креслѣ.

Она расхохоталась — съ оттѣнкомъ досады, затѣмъ слегка набросила ему на колѣни пледъ и пошевелила огонь. Въ комнатѣ разлилась восхитительная теплота, ея кресло было такое удобное. Она тоже заснула.

Ее разбудили. Гвиннъ стоялъ передъ нею и трогалъ ее за плечо, и лицо его было блѣдно отъ тревоги.

— Боже мой! — воскликнулъ онъ: — знаете ли вы, который теперь часъ? Два часа! Какъ это вы позволили мнѣ заснуть? Здѣшнія старыя сплетницы...

— Онѣ, по всей вѣроятности, тоже спятъ? — отвѣтила она равнодушно. — Пойдемте, я подержу фонарь, и вы осѣдлаете моего Кейзера.

XVI.

М-съ Хейтъ, жена розуотэрскаго аптекаря, носившая имя Минервы и сдѣлавшая вмѣшательство въ чужія дѣла своею спеціальностью, была секретаремъ мѣстнаго Литературно-полити-

ческаго клуба Возрожденія и сидѣла по лѣвую сторону предсѣдательницы, м-ссъ Лесли.

Просторная, свѣтлая комната съ видомъ на озеро была полна уже съ двухъ часовъ, такъ какъ по городу разнеслось извѣстїе, что м-ссъ Хейтъ вступила на „военную тропу“, и что скальпъ, за которымъ она охотится, принадлежитъ Изабеллѣ Отисъ.

М-ссъ Анабель Кольтонъ прочла отчетъ объ исправленіи троттуаровъ, о пальмовыхъ деревьяхъ, страдавшихъ тоскою по родинѣ въ городскихъ скверахъ, затѣмъ она перешла къ проекту новаго бульвара, давнишней мечтѣ розуотѣрскихъ дамъ. Имъ никакъ не удавалось добыть нужныхъ фондовъ,—даже щедрый м-ръ Баутсъ не соглашался на новое пожертвованіе,—но дамы, уже превратившія бывшее становище пионеровъ въ хорошенькій городъ, не отчаявались.

М-ссъ Лесли сдѣлала важное сообщеніе: м-ръ Гвиннъ составилъ проектъ осушки болотъ и убѣдилъ Тома Кольтона представить билль, въ которомъ доказывается необходимость производства работъ. Онъ обѣщаль сдѣлать взносъ на устройство бульвара. Миссъ Отисъ, владѣющая 45-ю акрами болота, обѣщала, въ случаѣ если билль пройдетъ, пожертвовать тысячу долларовъ. Она намѣрена засѣять осушенную землю спаржею, что чрезвычайно выгодно. Вообще, ея дѣловитость и пониманіе мѣстныхъ интересовъ—достойны всякаго одобренія, и она совѣтовала бы молодымъ дамамъ брать съ нея примѣръ. Что же касается до м-ра Гвинна, онъ заслуживаетъ, чтобы клубъ вотировалъ ему благодарность.

М-ссъ Хейтъ встала. Ея растрепанная шляпка изъ итальянской соломы криво сидѣла на ея плохо причесанной головѣ, придавая ей особо вызывающій видъ. Она почувствовала противный вѣтеръ, но рѣшила достигнуть цѣли — хотя бы вплавь. Хорошо зная благожелательный, но твердый характеръ предсѣдательницы, она заговорила, стараясь сдерживать свой шипъ, но онъ ежеминутно прерывался.

— М-ссъ предсѣдательница, лэди, — начала она, — прежде чѣмъ вотировать благодарность м-ру Гвинну, мы должны узнать: такой ли онъ человекъ, отъ котораго мы можемъ принимать одолженія? А прежде всего—должны ли мы доволитьъ Изабеллѣ Отисъ имѣть какое-либо отношеніе къ клубу, членомъ котораго она отказалась быть? Я настаиваю на томъ, что съ ними обоими уважающіе себя люди не должны имѣть дѣла.

— Почему?—спросила предсѣдательница, безстрастно глядя на нее.

— Почему? Вы принуждаете меня сказать это? М-ръ Гвиннъ бываетъ у нея во всѣ часы ночи. До приѣзда *этой* лэди Викторіи они вдвоемъ провели ночь въ домѣ на Русскомъ холмѣ, потому что Паула, чѣмъ-то взбѣшенная, отправилась домой. Это видѣла м-ссъ Филькинсъ, живущая у подножія Русскаго холма. Я могла бы еще найти какое-нибудь оправданіе его позднимъ посѣщеніямъ, хотя дѣвушкѣ ея лѣтъ неприлично жить одной, но сегодня чаша переполнилась, лэди! Нынче *въ три часа утра* я собственными моими глазами видѣла, какъ м-ръ Гвиннъ возвращался домой на ея гнѣдой лошади Кейзерѣ. Я нахожу, что нельзя терпѣть долѣе такихъ вещей, и вмѣсто вотума благодарности м-ру Гвинну, предлагаю объявить бойкотъ имъ обоимъ!

Она шумно сѣла на мѣсто. М-ссъ Уитонъ, казначейша, поддержала ея предложеніе, но м-ссъ Кольтонъ старшая поспѣшно встала и предложила основательно обсудить это дѣло раньше, чѣмъ приступить къ баллотировкѣ. Она рада, что ея дочери Анабель Кольтонъ здѣсь нѣтъ. Та не допустила бы ни малѣйшаго сомнѣнія въ миссъ Отисъ и могла бы непочтительно отнестись къ мнѣнію старшихъ.

— А вы чтó думаете, м-ссъ Баутсъ? — спросила предсѣдательница.

— Въ качествѣ свѣтской женщины, я отчасти скептикъ. Дочь моя Долли, тоже отказавшаяся сюда придти, безгранично вѣритъ въ миссъ Отисъ. Но я думаю, что миссъ Отисъ слѣдуетъ дать понять, что она поступила неблагоразумно, и не приглашать ее впредь на собранія молодежи.

— Такъ какъ за исключеніемъ бала, даннаго нынче самою миссъ Отисъ, такихъ собраній у насъ, въ виду карточныхъ вечеровъ, не бываетъ, то миссъ Отисъ не рискуетъ пострадать отъ своего исключенія. М-ссъ Плюсъ, можетъ быть, вы что-нибудь скажете?

М-ссъ Плюсъ, жена пастора аристократической епископальной церкви, миловидная суетливая дамочка, замялась. Все это такъ ужасно! Теперь она даже радуется тому, что миссъ Отисъ не посѣщаетъ ихъ церкви. Но она ничего не можетъ сказать, не посоветовавшись съ м-ромъ Плюсомъ.

— М-ссъ Тоффитъ, я убѣждена, что у васъ есть ваше собственное мнѣніе?

М-ссъ Тоффитъ, полная, румяная женщина лѣтъ сорока, ведшая послѣ смерти мужа его крупное торговое дѣло съ поразительнымъ успѣхомъ, была одною изъ самыхъ популярныхъ

въ Розуотѣрѣ женщинѣ за свое добродушіе, веселость и полную независимость мнѣній.

— Вотъ что я скажу, — воскликнула она: — мы — лицемѣрныя, шпионажція, подглядывающія, противныя старыя бабы! Изабелла Отисъ занимается своимъ дѣломъ. Почему, ради самого Создателя, мы не занимаемся нашимъ? Въ долгу она, что-ли, у кого-нибудь? Отбила она у кого-нибудь возлюбленнаго? Или мужа? Разгуливаетъ она по улицамъ на показъ или катается съ различными кавалерами, мѣняя ихъ, какъ перчатки? Не окончила ли она блестяще высшую школу? Гордились мы или нѣтъ ея пребываніемъ въ Европѣ, ея аристократическими связями, ея дѣловитостью, ея примѣрнымъ отношеніемъ къ старому пьяницѣ, отцу ея? Вотъ что я хотѣла бы знать! Вся бѣда въ томъ, что она не просто „неглупая женщина“, но выдающаяся, съ настоящимъ умомъ. Что же мудренаго въ томъ, что она готова просидѣть чуть не всю ночь съ человѣкомъ, у котораго въ головѣ не одни только доллары и цыплята? Я сдѣлала бы то же самое — будь у меня на то возможность. Зарубите это себѣ на носу, леди. Если м-ръ Гвиннъ пожелаетъ перенести свое вниманіе на меня, я готова просидѣть всю ночь на крыльцѣ у Минервы Хейтъ и говорить о чемъ ему будетъ угодно. Будь я молода и красива, какъ Изабелла Отисъ, я забрала бы себѣ самаго интереснаго человѣка, — можете мнѣ повѣрить на слово! И я повторяю — никому нѣтъ до этого дѣла.

Она, вся красная отъ негодованія, обернулась къ блѣдной Минервѣ.

— Славное занятіе, нечего сказать, шпионить за людьми! Скоро бы вы завели съ кѣмъ-нибудь шапши, если бы Господь Богъ сотворилъ васъ иною. Оттого-то васъ и корчитъ со злости. Получили? Ну, и кушайте на здоровье!

М-съ Тоффитъ сѣла на мѣсто среди громкаго смѣха и аплодисментовъ.

М-съ Лесли энергично возстановила порядокъ, хотя углы ея рта подергивались отъ смѣха. Затѣмъ она произнесла цѣлую рѣчь. Она отказывается баллотировать этотъ вопросъ. Клубъ не былъ организованъ для наблюденія за нравственностью, а также за тѣмъ, что происходитъ на улицѣ. Она удивляется, что въ этомъ учрежденіи, служащемъ факторомъ для облагораживанія и расширенія интересовъ ихъ пола, могли сохраниться такіе... восточные инстинкты. Почему женщина, зарабатывающая себѣ пропитаніе, пользуется въ городѣ свободой личности, а въ деревнѣ этого нельзя? Стремясь къ освобожденію, мы сами на

кладываемъ на себя цѣпи. Мы работали надъ улучшеніемъ условій мѣстной жизни, а свое собственное положеніе ухудшаемъ. На карты можно смотрѣть, какъ на временное безуміе, но посвящать себя сплетнямъ и шпионству—значитъ отрѣшиться отъ высшихъ идеаловъ, низвести себя до уровня неинтеллигентныхъ, неразвитыхъ женщинъ. Что мы сказали бы о мужчинѣ, который вздумалъ бы унизиться до такой роли? Если кому-нибудь изъ насъ не спится, мы можемъ употребить это время на самообразование или на работу для бѣдныхъ. Было бы справедливѣе выразить неодобреніе Минервѣ Хейтъ, чѣмъ Изабеллѣ Отисъ, но на этотъ разъ мы отъ этого воздержимся. Члены клуба вольны поступать по усмотрѣнію, но домъ ея—м-ссъ Лесли—всегда будетъ открытъ для миссъ Отисъ.

Предсѣдательницѣ много аплодировали, предложеніе было сорвано, но все же нѣкоторые изъ членовъ присоединились къ мнѣнію м-ссъ Хейтъ, которая не сочла свою партію окончательно проигранною.

XVII.

Изабелла съ Гвинномъ вздумали прокатиться въ горы, въ охотничій домикъ, выстроенный еще первымъ Джемсомъ Отисомъ, славнымъ охотникомъ. Въ домикъ былъ полный беспорядокъ. Изабелла, найдя старую щетку, подмела полъ на верандѣ, презрительно отклонивъ предложеніе Гвинна сдѣлать это самому. Затѣмъ она съ разгорѣвшимися щеками присѣла на старый табуретъ и, обмахиваясь шляпою, спросила, почему у него такой свирѣпый видъ? Что случилось?

— Все! Кто-то—м-ссъ Хейтъ, я полагаю—видѣлъ меня возвращающимся отъ васъ въ три часа утра, и теперь весь Розуотъръ звонитъ объ этомъ. Въ клубѣ былъ митингъ, и судья Лесли совѣтовалъ мнѣ уѣхать на время, покуда сплетни не утихнутъ. Я сказалъ ему, что ѣздилъ именно съ тѣмъ, чтобы сдѣлать вамъ предложеніе, и, получивъ отказъ, развѣзжалъ всю ночь по окрестностямъ, стараясь успокоиться. Я чувствую, что долженъ теперь дѣйствительно сдѣлать вамъ предложеніе.

— Никогда не слышала ничего болѣе любезнаго! Я не выйду за васъ, если бы весь Розуотъръ всталъ на голову.

— Извиняюсь за нѣкоторую рѣзкость. Я и самъ не особенно стремлюсь на васъ жениться, но намъ необходимо сдѣлать это,—иначе будетъ очень неудобно.

— Еще неудобнѣе—жениться.

— Будемъ говорить серьезно. Дѣвушка вашихъ лѣтъ и съ вашею наружностью не можетъ бравировать общественнымъ мнѣніемъ. Санъ-Франциско всего въ сорока миляхъ отсюда; онѣ—эти женщины—могутъ всѣми способами васъ скромпрометировать. Покуда м-съ Лесли, Анабель Кольтонъ, Долли и еще кое-кто—за васъ, но предрасудки слишкомъ сильны...

— Я сильна и буду бороться. Я не позволю насильственно измѣнить весь планъ моей жизни. Я не уступлю—ради себя и васъ.

— Обо мнѣ не беспокойтесь. Я думаю даже, что могу отвестись довольно спойно къ перспективѣ сдѣлаться вашимъ мужемъ. Если бы вы только дали себѣ волю—вы могли бы стать самою очаровательною женщиною на свѣтѣ. И я вамъ клявусь, что вы были бы счастливы.

— Я и такъ счастлива. Къ чему стану я всѣмъ рисковать въ этой старой игрѣ?

— Прекрасная игра, если умѣло вести ее. Мнѣ хочется васъ научить ей.

— А я не хочу.

— Въ такомъ случаѣ я уѣду изъ Калифорніи.

— Вотъ угроза, недостойная васъ!

— Это не угроза. Есть два пути—оградить васъ. Отъ перваго вы отказываетесь,—остается лишь второй.

— Вы можете переѣхать въ Санъ-Франциско.

— Вы говорите какъ ребенокъ. Только здѣсь я могу чего-нибудь добиться. Вчера черезъ посредство моего стряпчаго я получилъ письмо отъ Иксэма съ извѣщеніемъ, что обо мнѣ всѣ говорятъ, газеты заинтересованы; въ новомъ либеральномъ кабинетѣ для меня готово мѣсто. Вотъ самый удобный моментъ для возвращенія въ Англію.

Наступило продолжительное молчаніе. Гвиннъ успѣлъ закурить другую трубку. Наконецъ, Изабелла заговорила.

— Я за васъ не выйду, но мы объявимъ помолвку. Свадьба можетъ откладываться подъ различными предлогами и затѣмъ—совсѣмъ не состояться.

— Принимаю вашъ компромиссъ, но мое предложеніе дѣлается вполне *bona fide*, и я вадѣюсь, что вы придете къ болѣе рациональному рѣшенію.

На возвратномъ пути они молчали и простились у подножія горы. У своего дома Изабелла увидѣла экипажъ Анабель и стиснула губы. Обѣ онѣ—Анабель и Долли—ожидали ее, перегнувшись черезъ перила веранды. Скрытая гнѣвъ, миссъ Отисъ поздоровалась съ ними и, войдя въ домъ, сразу проговорила:

— Вы, конечно, ждете извѣщенія о моей помолвкѣ съ м-ромъ Гвинномъ, но я рѣшила дать ему слово только сегодня.

— Изабелла!

Объ овѣ упали въ ея объятія, Долли — даже со слезами. Разыгрывая роль невѣсты, она удовлетворительно отвѣчала на перекрестный огонь ихъ вопросовъ, и даже по вопросу о свадебныхъ подаркахъ сказала Анабель, что предпочитаетъ серебро—китайскому сервизу. А когда они уѣхали, она хлопнула дверью, швырнула объ полъ книгу и, нѣсколько облегчивъ себя этимъ, сѣла читать письмо м-ссы Гоферъ. Письмо было переполнено дружескими изліяніями и просьбами погостить у нея. Въ концѣ м-ссы Гоферъ писала, что „ничего не можетъ подѣлать съ лэди Викторіей, которая сначала выѣзжала, но теперь словно окаменѣла и походить на ватиканскую статую. Американцы не выносятъ неодоушевленныхъ красавицъ, даже болѣе молодыхъ, чѣмъ лэди Викторія“.

„Кстати, мы съ м-ромъ Гоферомъ имѣемъ нѣкоторыя подозрѣнія относительно того, *гдѣ* находится Эльтонъ Гвиннъ?.. Дамы сходятъ по немъ съ ума. Я знаю двухъ, которыя не задумались бы ради него отказать своимъ женихамъ. Онъ долженъ быть у меня. Я хочу, чтобы мой балъ былъ настоящимъ чудомъ и совпалъ съ вашимъ первымъ выѣздомъ. Это — слишкомъ хорошо! Но не прійдете ли вы теперь же ко мнѣ на недѣлку? Умираю отъ желанія васъ видѣть“, и т. д.

Изабелла телефонировала, что прійхать теперь не можетъ, но на балъ будетъ непремѣнно.

Балъ былъ назначенъ на 24-е декабря, и миссъ Отисъ не видѣла Гвинна цѣлую недѣлю: онъ уѣхалъ развлечься въ Берлингэмъ, гдѣ процвѣтала игра въ „поло“ и всякій спортъ, танцевальные вечера въ клубѣ съ массою цвѣтовъ и хорошенькихъ дѣвушекъ, и провелъ нѣсколько дней у Треннагановъ. Въ Санъ-Франциско онъ прійхалъ уже вечеромъ 24-го и постучался къ Изабеллѣ. Здѣсь онъ ни разу не былъ въ ея комнатѣ, хотя въ Розуотерѣ онъ часто приводилъ въ порядокъ свой туалетъ въ ея маленькомъ будуарѣ. Онъ нѣсколько удивился, получивъ позволеніе войти, и еще болѣе удивился, увидавъ Изабеллу, сидѣщую передъ туалетомъ. Хотя они должны были поѣхать не ранѣе 11-ти, она уже была въ бальномъ платьѣ, въ томъ самомъ—бѣломъ тюлевомъ съ темносиними лиліями, въ которомъ она была на балу въ Аркотѣ. Глаза ея сіяли какъ звѣзды, щеки

разгорѣлись, пунцовыя губы полуоткрылись отъ радостнаго волненія.

— Идите сюда! Посмотрите, что ваша мать мнѣ подарила! Я одѣлась—для полноты эффекта!

Она перебирала пальцами нить великолѣпнаго жемчуга, обвивавшую ее шею.

— Видѣли вы подобную красоту? Всю жизнь я мечтала о жемчугахъ и радовалась, что у меня есть нитка старыхъ калифорнійскихъ жемчужовъ, не ожидая ничего лучшаго. Сперва я не хотѣла ихъ брать, но лэди Викторія говоритъ, что они были подаркомъ ее отца—ее матери, и должны были перейти ко мнѣ по наслѣдству, а потому пускай я лучше получу ихъ теперь, пока я молода. Она увѣряетъ, что не можетъ носить жемчуга, такъ какъ кожа ее недостаточно бѣла, но я не могу этому повѣрить.

Гвиннъ съ любопытствомъ поглядѣлъ на нее. Онъ не подозрѣвалъ, что ее занимаютъ такія вещи. Онъ подарилъ бы ей жемчуга. Но она всегда дѣлала видъ, что презираетъ слабости своего пола.

— Тупой вы человѣкъ! Если вы считаете наряды женской слабостью, то у меня она всегда была. Неужели вы думаете, что я нравлюсь себѣ въ ватерпруффъ или верховомъ костюмѣ? У меня масса красивыхъ платьевъ; я одѣваюсь къ ужину даже тогда, когда бываю одна. Будь я миллионершей, я накупила бы вучу драгоценностей...

Гвиннъ поглядѣлъ на часы.

— Магазины открыты до полуночи. На дняхъ я продалъ три фермы, и у меня въ банкѣ цѣлая кубышка денегъ. Гоферъ дастъ мнѣ чекъ. Я привезу вамъ кое-что къ балу. Вы не возьмете? Пустяки! Вы—не только моя невѣста, но и моя бузина. Я вернусь черезъ два часа. Но оставайтесь такъ сидѣть до моего возвращенія.

Когда онъ ушелъ, глаза ее засверкали. Она можетъ вернуть ему впоследствии его подарки. Теперь она была въ такомъ настроеніи, что готова была пожелать звѣздъ небесныхъ.

Послѣ обѣда она пошла показаться лэди Викторіи, находившейся въ состояніи молчаливаго бѣшенства по случаю головной боли. Тѣмъ не менѣе, она одобрила наружность и туалетъ Изабеллы и прибавила:

— Надѣюсь, что эта официальная помолвка станетъ настоящею? Вы—нашей крови. Я все болѣе и болѣе это сознаю. Въ васъ есть именно то, что я желала видѣть въ Джуліи Кэй.

— Вы, можетъ быть, хотите, чтобы онъ вернулся въ Англію?—спросила Изабелла. — Флора писала мнѣ на дняхъ, что миссія моя—вернуть его родинѣ.

— Мнѣ все равно. Пусть онъ будетъ счастливъ, а пробить дорогу онъ можетъ вездѣ. Для васъ красота — не проклятіе, и если вы только захотите, то будете счастливы и дадите счастье другому. Ну, веселитесь сегодня, какъ слѣдуетъ молодой дѣвушкѣ, не думайте о Джэкѣ и тѣмъ болѣе—обо мнѣ!

Лэди Викторія, лежавшая на диванѣ въ negligé цвѣта saumon, казалась почти такою же красивою, какъ годъ тому назадъ. Лишь усталое выраженіе глазъ и какая-то окаменѣлая неподвижность лица — говорили о разрывѣ съ долго длившейся, благосклонной къ ней молодостью. Но она глядѣла на сіяющую молодость Изабеллы безъ всякой зависти, и проговорила:

— Выходите за него. Въ сущности мы не любимъ мужчинъ тою любовью, о которой мечтаемъ. Страсть отгораетъ, — на смѣну ей являются материнскія чувства. Мы могли бы полюбить полубога. Быть можетъ, въ какомъ-нибудь иномъ мірѣ — кто знаетъ?..

Изабелла насторожилась. Она вспомнила то, что Флора писала ей объ увлеченіи лэди Викторіи теософіей. Задумчиво проходя къ себѣ, миссъ Отисъ подняла съ полу какую-то бумажку, оказавшуюся вырѣзкой изъ газеты, объявленіемъ о состязаніи борцовъ. Сбоку безграмотно было приписано: „въ девять часофъ, равна“. Изабелла удивилась. Кто это могъ интересоваться борьбою? Исключая французеньки-горничной лэди Викторіи, всѣ слуги въ домѣ были японцы. Она рѣшила показать вырѣзку лэди Викторіи, бывшей временной хозяйкою дома.

Сидя за туалетомъ, миссъ Отисъ снова задумалась. Сегодня она любовалась собою, перебирала жемчужины, прикладывая ихъ къ ослѣпительной бѣлизнѣ кожи. Всѣ говорили ей о ея красотѣ; Флора Сэнгъ писала ей, что назначеніе ея—быть женою англійскаго пэра, стоящаго во главѣ либеральнаго кабинета. Развѣ это — плохая участь? Сегодня она какъ-то не думала о Калифорніи; ея мечты были чисто личнаго характера. Ей подѣтски хотѣлось быть „царицею бала“, воскресить триумфы прославленныхъ красавицъ прежнихъ временъ, о которыхъ она столько слышала. Двадцать лѣтъ тому назадъ первый выѣздъ Елены Бельмонтъ свелъ съ ума всю молодежь. Весь городъ былъ у ея ногъ. И сидя въ своемъ молчаливомъ домѣ, возвышавшемся надъ суетою и шумомъ города, она въ мечтахъ переживала триумфы дѣвическаго самолюбія.

Возвращеніе Гвинна прервало ея мечты. Она посмотрѣла на него съ нетерпѣливымъ ожиданіемъ.

— Я возьму вашъ подарокъ. Я рада...

— Надѣюсь, что вы возьмете, послѣ того какъ я такъ старался! Я поѣхалъ къ Гоферу, но его выгнали изъ дому, онъ отправился въ Миссію. Я взялъ автомобиль и помчался туда, но оказалось, что онъ обѣдаетъ съ друзьями въ ресторанѣ. По счастью, я нашелъ его тамъ, и мы вмѣстѣ поѣхали къ ювелиру...

— Что вы привезли?—спросила Изабелла, не сводя глазъ съ длиннаго футляра.

Но Гвинну рѣдко представлялась возможность ея помучить.

Онъ приподнял двумя пальцами пышную прядь ея волосъ надъ ухомъ, слегка спускавшуюся ей на лобъ.

— Мнѣ всегда хотѣлось видѣть здѣсь какое-нибудь украшеніе, въ родѣ того какъ на портретахъ Елизаветы Австрійской. Она носила—не припомню что: звѣзды или маргаритки...

— Вы не привезли мнѣ маргаритки, надѣюсь?

Онъ щелкнулъ замочкомъ, и она вскрикнула отъ восхищенія.

— Зачѣмъ это? Я не ждала такого великолѣпія! Но все равно...

Она взяла футляръ у него изъ рукъ и вкрикнула бриллиантовыя звѣздочки по его указанію — въ видѣ полумѣсяца. Ихъ было пять—разнаго размѣра, начиная съ самой маленькой, и онѣ своимъ блескомъ придали ея красотѣ законченность и отѣнокъ особой поэзіи. Она сіяющими глазами глядѣла на свое ослѣпительное отраженіе въ зеркалѣ, затѣмъ порывисто обернулась, обвила шею Гвинна руками и поцѣловала его. Онъ отстранилъ ее.

— Не дѣлайте этого. Я — не братъ вашъ и не барышня-подруга. Могу я осмотрѣть вашу комнату?

— Смотрите что хотите! Я стану смотрѣть на мои звѣзды... Madre de Dios! какъ сказали бы наши испанскія прабабушки. Ay! yí! Valgame Dios! Dios de mí alma! Dios de mí vida! Я никогда не была такъ счастлива.

Комната была вся задрапирована стариннымъ краснымъ шолковымъ дамассе, моднымъ во времена ея бабушки. Въ ней стояла кровать краснаго дерева, такой же туалетъ съ серебрянымъ приборомъ—какимъ-то чудомъ уцѣлѣвшій изъ вещей ея матери. Странное сочетаніе краснаго шолка и бѣлой кисеи понравилось Гвинну.

Изабелла объявила, что вся эта недѣля посвящена удовольствіямъ. Она переѣзжаетъ къ м-ссу Гоферу, и уже приглашена

на всѣ дни. Новый Годъ они будутъ встрѣчать вмѣстѣ въ ресторанахъ.

— Это значитъ, что вы забудете о цыплятахъ и станете прилично одѣваться. Могу я поухаживать за вами?

— Пожалуйста. Сегодня я мечтаю о томъ, чтобы быть царицею бала. Поѣдемте. Съ вами револьверъ? Праздники—опасное время.

М-ссъ Гоферъ превзошла себя. Она сдѣлала чудеса, не только превративъ танцевальную залу въ *ratio*—внутренній дворъ испанскаго дома, но и убѣдила нѣкоторыхъ дамъ изъ нетанцующихъ явиться въ испанскихъ костюмахъ, въ высокой прическѣ съ гребнемъ, мантилей и розою за ухомъ. Сводчатый потолокъ напоминалъ небесный сводъ. Шедшая вокругъ залы галерея была раздѣлена на балконы, съ которыхъ свѣшивались дорогія, вышитыя ткани, какъ въ Испаніи, въ дни большихъ *fiestas*. Задній планъ былъ декорированъ массою тропическихъ растений, изъ-за которыхъ просвѣчивали рѣшетчатыя окна галереи. Неизбѣжный фонтанъ ниспадалъ въ чашу изъ бѣлаго мрамора. Всѣ общественные слои имѣли тутъ своихъ представителей. М-ссъ Гоферъ въ бѣломъ бродяжѣ, вся залитая брилліантами, сіяющая оживленіемъ, подбѣжала къ Изабеллѣ, упрекая ее за опозданіе. Лучшие кавалеры уже ожидаютъ ее... Изабелла въ нѣсколько минутъ уже раздала всѣ танцы до ужина, но она сразу поняла, что при такой обстановкѣ и громадномъ стеченіи гостей она не могла произвести такого впечатлѣнія, какъ Елена Бельмонтъ, дебютъ которой происходилъ въ танцевальной залѣ съ голыми стѣнами, среди небольшого сравнительно и очень исключительнаго кружка. Она слышала шопотъ одобренія; ее признали самою красивую изъ дебютантокъ, особенно—удѣлѣвшіе кавалеры семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ, больше умѣвшіе цѣнить породу и стиль. Молодежь нашла ее черезчуръ „великолѣпною“. Она только разъ провальсировала съ Гвинномъ, и онъ увидѣлъ ее уже въ четыре часа, передъ развѣдомъ, и нашелъ ее прелестной въ длинномъ бѣломъ манти, съ кружевнымъ шарфомъ на головѣ и съ руками, полными дорогихъ котильонныхъ бездѣлушекъ.

XVIII.

Они добрались до дому благополучно. Гвиннъ, снявъ пальто и шляпу въ передней, предложилъ Изабеллѣ, не хочетъ ли она

посидѣть и поговорить, какъ тогда въ Арютѣ? Ей тоже не хочется спать? Отлично!

Она стояла у камня, все еще закутанная въ свое манто и въ высокихъ бѣлыхъ теплыхъ сапожкахъ.

— Развѣ вы не снимете эти штуки?

— Можете снять съ меня теплыя ботинки, а манто я куда не сниму. Холодно.

Онъ разсмѣялся и опустился на колѣни.

— Кажется, вы меня передѣляли. Я знаю англійскихъ лѣди, которыя снимаютъ съ мужей охотничьи сапоги. Вы бы этого не сдѣляли?

— Въ видѣ взаимной любезности — почему же нѣтъ? Но вамъ не для чего возиться всю ночь со снимаемымъ моихъ ботинокъ.

— Вы могли бы не лишать мою добродѣтель награды. Не часто она мнѣ перепадаетъ.

— Встаньте, и не будьте идиотомъ. Вѣроятно вы все время флѣртировали въ оранжереѣ и еще не успѣли перемѣнить настроеніе.

— У м-ссъ Гоферъ нѣтъ оранжерей. Большой недоскотръ. А отъ дѣвиць я скоро убѣжалъ, такъ какъ каждая изъ нихъ спрашивала меня объ Эльтонѣ Гвиннѣ. Какъ это онѣ узнали?

— Ужъ таковой у нихъ нюхъ. Дѣвушка изъ Санъ-Франциско чуетъ иностранца въ ту минуту, какъ онъ сходитъ съ поѣзда въ Оклендѣ, и знаетъ о немъ все раньше, чѣмъ онъ записался въ отелѣ. Это Розуотеръ такъ долго укрывалъ васъ.

Ей хотѣлось поговорить о своихъ впечатлѣніяхъ, но, видя, что Гвиннъ хочетъ что-то рассказать о себѣ, она стала его спрашивать.

Оказалось, что Гоферъ увелъ его въ свой кабинетъ, гдѣ собралось довольно большое общество — все члены ихъ партіи. Тутъ онъ узналъ впервые такія вещи, отъ которыхъ волосы у него встали дыбомъ. Ужасающіе притоны, гдѣ происходитъ торговля человѣческимъ тѣломъ, растлѣніе дѣвушекъ и малолѣтнихъ, попойки съ ножевщиной, укрывательство краденаго и престанодержательство — все это находится чуть ли не на откупъ у отцовъ города. Мэръ и его шайка, съ полиціей включительно — получаютъ опредѣленный колоссальный доходъ отъ содержателей этихъ учреждений. Всякія жалобы и просьбы о разслѣдованіи остаются тщетными, такъ какъ компанія эта слишкомъ хороша организовалась, и даже ревизіи изъ Вашингтона ни къ чему до сихъ поръ не приводили.

Собесѣдники говорили настолько откровенно и подробно, что онъ почувствовалъ себя неловко, и въ концѣ концовъ счелъ необходимымъ назвать себя, платя имъ довѣріемъ за довѣріе. Въ отвѣтъ на это они поочередно торжественно проговорили: „Вашу руку!“—а Гофферъ заявилъ, что они уже давно это подозрѣвали и рѣшили, что онъ будетъ „однимъ изъ нихъ“, что они сразу отмѣтили его, какъ человѣка выдающагося, а затѣмъ узнали о его блестящихъ разнообразныхъ способностяхъ. Ему нельзя оставаться въ Розуотѣрѣ; замѣчательные юристы нужны и въ Санъ-Франциско, а люди честные—въ особенности. Человѣкъ же, отказавшійся отъ громкаго титула и уже ставшій на свои ноги—тѣмъ болѣе.

— На это я отвѣтилъ, что мнѣ нужно сперва закончить свои занятія у судьи Лесли, что, наконецъ, я имѣю здѣсь больше шансовъ приобрести голоса и популярность для будущаго. Порѣшили на томъ, что я останусь здѣсь на годъ или на полгода, но если произойдетъ что-нибудь особенное, они вызовутъ меня и ранѣе.

Гвиннъ вскочилъ и прошелся по комнатѣ. Онъ поглядывалъ и глаза его блестя.

— Честное слово, я болѣе польщенъ, чѣмъ тогда въ Аркотѣ, когда меня осыпали любезностями и прочили въ министры мои политическіе противники. Я почувствовалъ глубокое уваженіе и сочувствіе къ этой кучкѣ людей—милліонеровъ въ большинствѣ случаевъ, такъ самоотверженно преданныхъ идеѣ возрожденія своего родного города, который—чортъ его знаетъ, почему! (извините!)—обладаетъ непостижимымъ очарованіемъ... Оно въ концѣ концовъ захватитъ и меня. Сегодня я почувствовалъ, какъ мое собственное я словно растворяется въ томъ, въ чемъ я начинаю видѣть болѣе великую задачу, нежели это казалось сначала. Нынѣшняя Калифорнія—быть можетъ, лишь зародышъ новой великой западной цивилизаціи, столь не похожей на восточную. Современемъ она освободится отъ господства Америки; вѣдь она уже чувствуетъ, что Тихій океанъ принадлежитъ ей и она одна стоитъ лицомъ къ лицу съ Востокомъ. Перестроить этотъ городъ—видѣли вы изумительные планы Бёрнгема?—сдѣлать изъ него прекраснѣйшій городъ въ мірѣ, дать ему идеальное самоуправленіе—какая мечта!

— Я могла бы васъ полкобить!—воскликнула Изабелла,—если вы скажете еще что-нибудь—я васъ поцѣлую!

— Если вы это сдѣлаете,—сказалъ онъ рѣшительно,—я не оттолкну васъ и не прибую, но вы все же можете объ этомъ пожалѣть.

Онъ снова удобно откинулся въ креслѣ и спросилъ ее, веселилась ли она на балу. Судя по общимъ отзывамъ, она была, очевидно, царицею бала.

— Мнѣ было бы веселѣе тамъ, наверху, съ вами. Конечно, мнѣ было пріятно сознаніе, что я имѣю успѣхъ, но я ни на минуту не обольщалась мыслью, что онъ хоть сколько-нибудь походить на триумфъ прежнихъ красавицъ. Но такъ какъ условія измѣнились, мое самолюбіе не слишкомъ страдаетъ. Затѣмъ—очень скучно говорить съ этими молодыми людьми. И вообще въ мечтахъ все это—гораздо лучше.

— Я такъ и зналъ. Когда всѣ противорѣчивые элементы въ вашей натурѣ поулягутся и примирятся, и болѣе естественные инстинкты возьмутъ верхъ, я увѣренъ, что влюблюсь въ васъ и сейчасъ же на васъ женюсь, если вы будете такъ хороши, какъ сегодня.

— Отлично!—сказала Изабелла, дѣлая видъ, что ей хочется зѣвнуть.—Пойдемте смотрѣть восходъ солнца.

Она завернулась въ манто, и они поднялись на вершину холма. Солнце поднималось изъ-за горъ и заливало Санъ-Франциско переливнымъ огнемъ, разгонявшимъ остатки тумана. Гвиннъ указалъ ей на юго-востокъ, на долину, разрѣзавшую городъ по діагонали. Тамъ находился участокъ, принадлежавшій ему съ матерью.

— Половина его продана, а другая заложена, и на эти деньги я построю домъ въ двѣсти тысячъ долларовъ—по новѣйшему способу, такой домъ, который уцѣлѣетъ при любомъ землетрясеніи... Сумма, уплачиваемая за страховку—чудовищна, но м-ръ Кольтонъ-банкиръ отличается сверхъестественною осторожностью.

— Это—начало милліоновъ. Развѣ вамъ такъ хочется быть богачомъ?

— Я знаю цѣну деньгамъ. Онѣ даютъ прежде всего—независимость.

XIX.

Гвиннъ на слѣдующій день вернулся въ Lunalitas, а Изабелла переѣхала къ м-ссъ Гоферъ, которая окружила ее такою роскошью и вниманіемъ, что миссъ Отисъ, очень любившая роскошь, но болѣе—въ мечтахъ, стала подъ конецъ задыхаться. Впервые въ жизни ей надобли цвѣты, которые, по мѣстному обычаю, присылались ей въ громадномъ количествѣ старыми и

новыми знакомыми, друзьями ее матери и отца. М-ссь Гоферъ была одною изъ хозяекъ, считающихъ неприличнымъ предоставлять гостя—особенно такого желаннаго—самоу себѣ. Миссъ Отисъ, знакомая лишь съ гостепрѣимствомъ англійскаго дома, гдѣ гость можетъ умереть и воскреснуть безъ вѣдома хозяйки, которую онъ видитъ только въ опредѣленные часы, страшно тяготилась неутомимымъ вниманіемъ хозяйки, удѣлявшей ей каждую свободную минуту. Она стала даже прятаться, заслышавъ звонкій голосокъ м-ссь Гоферъ, раздававшійся по дому. Однажды она спряталась за толстыя драпиря, а другой разъ, не долго думая, юркнула подъ громадный библиотечный столъ. Легкое хихиканье заставило ее сконфуженно вылѣзть оттуда.

М-ръ Туль, отецъ м-ссь Гоферъ, забавно подмигивалъ ей своими старчески-добродушными глазами.

— Я никому не скажу. Мнѣ и самому порой не въ могу станювится. Ада—доброе дитя; она настолько добра, насколько это возможно для врожденной эгоистки. Но эта жизнь не по васъ. Вы—мечтательница. Сядьте здѣсь въ креслѣ и отдохните. Я читаю вамъ Байрона.

Изабелла съ невыразимымъ облегченіемъ вернулась въ канунъ Новаго Года въ свой холодный, цѣломудренный будуаръ въ домѣ на Русскомъ холмѣ.

Пріѣхавшій часамъ въ семи Гвиннъ нашель ее не въ духѣ и блѣдною. Онъ выразилъ сожалѣніе, что она провела не такую пріятную недѣлю, какъ онъ.

— Погода была чудная; я по цѣлымъ днямъ былъ на воздухѣ, охотился, ѣздилъ верхомъ, катался на лодкѣ, даже — на вашемъ катерѣ. Но я долженъ сказать, что вы не нравитесь мнѣ. Ваша бѣлизна превратилась въ блѣдность, и вы кажетесь, извините, сердитою... Судя, однако, по тѣмъ образцамъ изящества, которые именуется „свѣтскою хроникой“, я вижу, что васъ чествовали, фотографировали какъ короюванную особу, занимались вашей родословной и...

— Я хотѣла бы, чтобы вы помолчали. Въ Англии вы такъ много не говорили. Я возненавижу васъ, если вы сдѣлаетесь совсѣмъ американцемъ...

— Я врожденный эгоистъ. Спросите мою мать и моихъ многострадалныхъ друзей и знакомыхъ... Но здѣсь мать моя не слушаетъ и не говоритъ...

Онъ вдругъ остановился и понизилъ голосъ.

— Вы не знаете, что такое съ нею? Она страшно измѣнилась. Можетъ быть, она ненавидитъ Калифорнію? Я предлагалъ

ей заплатить ей долги. Она можетъ уѣхать, если желаетъ. Здѣсь я почти не вижу ее—времени нѣтъ.

— У нея нервы. Съ утратою красoty она все потеряла.

— А что съ вами? Развѣ вамъ не понравилось быть модной красавицей?

— Я не модная красавица. Я неудачница.

Она рассказала Гвинну свои впечатлѣнія и характеристику м-ра Туля. Она—мечтательница и ничего болѣе. Старикъ правъ.

— И вы только теперь это открыли? Васъ разочаровалъ бы и лондонскій сезонъ. У васъ—неосуществимые идеалы.

— Послѣ-завтра я вернусь въ ранчо и буду счастлива.

— Такого счастья не надолго хватитъ. Вамъ надоѣстъ сидѣть всю жизнь у окна и смотрѣть на озеро. Конечно, весьма желательно, чтобы человѣкъ поставилъ себя въ возможно большую независимость отъ обстоятельствъ жизни, но и это должно дѣлаться постепенно, не скачками, — иначе онъ впадетъ въ эгоизмъ...

— А вы увѣрены въ томъ, что мы должны дѣлать другихъ счастливыми? Быть можетъ, и это—предразсудокъ? Достаточно, если мы сами будемъ счастливы.

— Вотъ современемъ вы и пожелаете счастья—настоящаго.

— По-вашему, я снова влюблюсь?

— Нѣтъ, вы полюбите. Если бы я не былъ такъ занятъ законами, фермерами, строительствомъ, я сталъ бы ухаживать за вами. Мнѣ очень этого хочется, но все некогда.

— Вы влюблены въ меня?

— Не знаю, но, кажется, готовъ влюбиться. Еще одно: вамъ нуженъ буферъ; у васъ замѣчательныя способности, но онѣ находятся въ дремотномъ состояніи. Мы вдвоемъ могли бы завоевать міръ. А теперь — мечтайте себѣ на здоровье, пока мечты не выдохнутся и у меня не будетъ больше свободного времени.

На улицахъ было настоящее столпотвореніе, и онѣ были, буквально, залиты свѣтомъ. Толпа состояла въ большинствѣ изъ людей весьма почтенныхъ, отбросившихъ по случаю Новаго Года свою сдержанность. Всѣ шумѣли, смѣялись, бросали серпантинны и конфетты. Извѣстные дѣлцы гуляли съ женами и дочерьми, и на ихъ шляпахъ обвивались во много разъ бумажныя ленты всѣхъ цвѣтовъ. Изъ оконъ домовъ неслись звуки музыки. Прошла процессія рабочихъ съ какими-то гудѣлками и свистѣлками; Изабелла, шедшая подъ-руку съ Листеромъ Стономъ, закрыла уши, чтобы не оглохнуть. Но Паула была въ своей стихіи: она кри-

чала, хохотала, на ея красную блузу сыпались конфетти; одинъ ражій молодець пожелалъ ея поцѣловать. Супругъ не воспротивился этому, произошла свалка, и Гвиннъ, ловко воспользовавшись ею, продѣлъ руку Изабеллы въ свою, и они выбрались изъ толпы, съ трудомъ прокладывая себѣ дорогу къ ресторану, въ которомъ они съ Гоферами условились отпраздновать рожденіе Нового Года. Они добрались туда лишь къ одиннадцати часамъ, и ихъ тотчасъ же провели въ уборную, чтобы они могли умыться и привести себя въ порядокъ, а затѣмъ — на галерею, шедшую вокругъ всей залы и раздѣленную на ложи. Въ ложѣ Гоферовъ былъ накрытъ для ужина столъ и приготовлено шампанское; въ соедѣнныхъ ложахъ оказалось много знакомыхъ лицъ. М-ссъ Гоферъ сидѣла, полускрытая драпировкою, но мужъ ея хохоталъ и бросалъ конфетти внизъ въ общую залу, биткомъ набитую публикою, занявшею всѣ столы. Онъ вытащилъ Гвинна впередъ, и того встрѣтили съ разныхъ сторонъ привѣтственными криками.

— Видѣли вы что-либо подобное? — воскликнулъ Гоферъ и тутъ же закашлялся, чтобы освободиться отъ попавшихъ ему въ горло конфетти. — Тутъ всѣ они рядышкомъ — реформаторы и мэръ со своей шайкой. Добродѣтельная матрона и ея противоположность, прелестная барышня, надѣющаяся поддѣлать богатаго мужа, и дѣвица, могущая дать болѣе или менѣе, финансисты и артисты, журналисты, молодые люди изъ общества и т. д., и т. д.

М-ссъ Гоферъ время отъ времени предостерегающе покашливала; подъ своею веселостью она скрывала большую дозу *riguerie*, но такъ какъ Изабелла была видимо заинтересована, то и она удостоила взглянуть изъ ложи.

Трое остальныхъ, опутанные серпантиномъ, высунувшись изъ ложи, сыпали въ свою очередь въ публику конфетти. Зрѣлище было необычное. Люди пили, веселились и не заботились о приличіяхъ. М-ссъ Гоферъ замѣтила одну дѣвушку, извѣстную ей за вполне порядочную, которая позволяла сегодня жениху обнимать себя и пила изъ его стакана. Изъ числа „этихъ дамъ“ нѣкоторыя были въ простыхъ, изящныхъ черныхъ платьяхъ, расписаны деликатно — на манеръ миниатюръ. Другія, наоборотъ, щеголяли кричащими нарядами. При нѣкоторыхъ были сутенеры, но сегодня даже къ этимъ презрѣннымъ изъ презрѣнныхъ всѣ относились добродушно.

Гоферъ съ гостями сѣлъ, наконецъ, за ужинъ, и едва они успѣли кончить, какъ всѣ колокола въ городѣ затрещали. Какой-то юноша подбѣжалъ къ оркестру, отстранилъ капельмейстера и, вскочивъ на его стулъ, затрубилъ въ рогъ. Всѣ

вскочили на ноги, завзвѣли бокалами, замахали шляпами и платками; пѣли, хохотали, мяукали, дурачились какъ школьники. Красивая блѣлая кокетка, окруженная мужчинами, взобралась на столъ и, приподнявъ юбки, готовилась протанцовать какой-то дикій танецъ.

— Это уже слышомъ! — негодующе воскликнула м-ссъ Гоферъ, отбѣгая въ уголь ложи. — Никласъ, я настанваю...

Но Никласъ хохоталъ какъ сумасшедшій и не обращалъ вниманія на ея протесты.

Изабелла тоже собиралась отойти, какъ вдругъ у нея захватило дыханіе. Въ боковую дверь входила лэди Викторія въ сопровожденіи челоуѣка, бывшаго, очевидно, борцомъ по профессіи. Мысли вихремъ завертѣлись въ мозгу Изабеллы. Странная пара пробиралась къ столу — заранѣе, по всей вѣроятности, заказанному. Гвиннъ, перегнувшись черезъ балюстраду, поднималъ свой бокалъ, издали чокаясь съ м-ромъ и м-ссъ Треннаганъ. Еще мигъ — и онъ увидитъ... Она вдругъ потянула его назадъ.

— Выведите меня... скорѣе! Мнѣ дурно!

Гвиннъ схватилъ шляпу и почти вынесъ Изабеллу изъ ложи. Такъ какъ она была очень блѣдна и вся дрожала, онъ подумалъ, что она дѣйствительно больна. Боковымъ выходомъ имъ удалось выбраться на улицу.

— Если бы намъ удалось найти экипажъ! — говорилъ онъ заботливо. — Не удивляюсь, что вамъ сдѣлалось нехорошо. Такая жара! Лучше вамъ?

Они шли по улицѣ; она опиралась на его руку и въ первую минуту не отвѣчала, боясь разрыдаться. Онъ, навѣрное, станеть утѣшать ее, а несмотря на ея рѣшимость, его спокойныя, постоянно повторяемые увѣренія, что онъ на ней женится — произвели на нее впечатлѣніе. А между тѣмъ никогда мысль о любви и „романъ“ не была ей такъ противна, какъ въ эту минуту.

Усаживая ее въ экипажъ, онъ взглянулъ ей въ глаза.

— Да вы никакъ собираетесь заплакать?

— И не думаю. Но я измучилась... Такой шумъ, такая жара, такія картины! Но я увела васъ. Можетъ быть, вы хотите вернуться?

— Не имѣю ни малѣйшаго желанія. Жаль только, что мама не поѣхала съ нами. Ея нѣтъ дома.

— Я забыла вамъ сказать, что, кажется, видѣла ее въ толгѣ съ какими-то знакомыми. Я увѣрена, что она все видѣла.

Изабелла прошла прямо къ себѣ и убѣдила Гвинна лечь спать, такъ какъ мать его навѣрное кто-нибудь проведить домой. Онъ согласился тѣмъ охотнѣе, что ему предстояло уѣхать завтра съ первымъ поѣздомъ.

XX.

Миссъ Отисъ еще не спала, когда лэди Викторія вернулась — часа два спустя. Она металась на постели, думая о томъ, какъ ей сказать этой самой недоступной изъ женщинъ о томъ, чтобы она уѣхала изъ Санъ-Франциско, прежде чѣмъ сынъ ея успѣетъ узнать истину. Теперь она вспомнила о найденной ею вырѣзкѣ изъ газеты. Разочаровавшися во всемъ, свѣтскія женщины способны искать такихъ развлеченій.

Наконецъ, она заснула. Ее разбудилъ сильный подземный ударъ — злобщій предвѣстникъ наступающаго года! Изабелла настолько привыкла къ нимъ, что не обратила бы на него особеннаго вниманія, но лэди Викторія, испутивъ пронзительный крикъ, уже бѣжала въ ея комнату, наскоро накинувъ капоть. Гвиннъ стоялъ въ дверяхъ своей комнаты — заспанный и положительно недовольный.

Лэди Викторія прислонилась къ стѣнѣ съ расширенными отъ ужаса глазами. Изабелла взяла ее за руку, привела къ себѣ въ комнату, усадила ее въ кресло и сама сѣла напротивъ нея.

— Какой ужасъ! Я совсѣмъ забыла объ этихъ землетрясеніяхъ!

— Землетрясенія! — презрительно отозвалась миссъ Отисъ: — это простое колебаніе. Въ прошлую зиму ихъ было шестьдесятъ два. Каждая десять лѣтъ у насъ бываетъ по настоящему землетрясенію.

— Лучше не говорите. И моя горничная можетъ при этомъ спать!

— Вѣроятно, ея нѣтъ дома. Нынче ночью никого не было дома.

— Чтѣ такое?

— Я думаю, что теперь — самый подходящій случай, чтобы сказать вамъ, кузина Викторія, что я видѣла васъ въ ресторанахъ. То время какъ было двѣнадцать часовъ.

— Да?

Ея лицо не выдало ее, но подъ свободнымъ капотомъ тѣло ея словно застыло, окаменѣло. Изабелла смотрѣла на нее съ

мужествомъ отчаянія, и ей казалось, что она чувствуетъ исходящій отъ нея трепеть ненависти, отвращенія къ жизни, тоски, послѣдней борьбы страстей, не желающихъ умирать... Изабелла спрашивала себя: не поступила ли бы она сама такъ же, какъ эта женщина, будь она на ея мѣстѣ? Ея раннія испытанія и жизнь въ глуши—оградили ее отъ искушенія, развили въ ней пуританскіе истинеты, но порою при блескѣ молніи передъ ней раскрывались видѣнія бездны... Она задрожала и подняла глаза на безстрастное какъ маска лицо.

— Мнѣ кажется, я понимаю васъ. Но вамъ надо уѣхать. Я помѣшала ему васъ увидать. Вы знаете, какъ онъ въ васъ вѣритъ, и можете себѣ представить, каковы будутъ послѣдствія... Вѣроятно, вы до вчерашняго дня не показывались такъ публично. Вчера врядъ-ли кто замѣтилъ, да если и замѣтили, то не повѣрили своимъ глазамъ. Поэтому, пожалуйста, уѣзжайте.

Она остановилась. Лэди Викторія все смотрѣла на нее. Изабелла продолжала:

— Лондонъ—великъ, и тамъ вы скорѣе можете пользоваться такого рода свободою. Въ этомъ смыслѣ Санъ-Франциско — гораздо нетерпимѣе. Если вы станете баснею города и васъ выслѣдятъ эти ужасныя маленькія газеты, Эльтону плохо придется. Его реформаторскія попытки предстанутъ въ смѣшномъ свѣтѣ. Быть можетъ, онъ и самъ откажется отъ нихъ.

Она встала и пошла къ двери. Лэди Викторія тоже встала и пошла за нею. Отворяя дверь, она мрачно усмѣхнулась.

— У васъ есть мужество,—сказала она;—я все болѣе убѣждаюсь, что вы—та жена, которая нужна Джэку. Я уѣду.

Съ англійск. О. Ч.



* * *

О, въ поле, въ поле поскорѣй!
Туда, гдѣ ширь простора
Вдыхаетъ жизнь въ сердца людей, —
Подъ кровъ зеленый бора,
Подъ листву нѣжную березъ,
Таинственно шумящихъ,
Въ лѣсное царство, царство грезъ,
Чарующихъ, манящихъ...
Въ лѣсную глушь, туда, гдѣ влючь
Потокомъ серебристымъ,
Дробя на блѣстки солнца лучъ,
Журчитъ на ложѣ мшистомъ...
Въ далекой, дикій уголокъ,
Гдѣ тишь уединенья
Душевныхъ бурь смирить потокъ,
Дастъ сердцу облегченье!..

Природа-мать! прими меня,
Прими въ свои объятя!
Полна тоскою грудь моя,
Клокочуть въ ней проклятья...
Но ты, живой своей красой
Въ величьи мощной силы,
Моею властвуешь душой,
Какъ страсть, какъ образъ милой!
Лазурно-яркій сводъ небесъ
Въ торжественномъ сіяньи,
Благоуханья полный лѣсъ,
Ручьевъ его журчанье,
Улыбка ясная весны,
Чаруя и лаская,

Дарить мнѣ радужные сны
 Подъ чуднымъ солнцемъ мая.
 Забывшись въ тишинѣ лѣсной,
 Въ покоѣ благодатномъ,
 Я полонъ радостью живой,
 Восторгомъ непонятнымъ...
 Въ душѣ и мирно, и свѣтло,
 Умолкла память злая,
 Исчезло дней минувшихъ зло
 Въ весеннемъ блескѣ мая...

* * *

Фантазій чудныхъ красотою
 Лунѣ обязанъ ты, поэтъ, —
 Владѣешь, вѣрь, твоей мечтою
 Ея лучей волшебный свѣтъ.

Наединѣ съ самимъ собою
 Въ ея сіяньи голубомъ
 Ты, вмѣстѣ съ дремлющей землею,
 Объять какимъ-то сладкимъ сномъ...

И звуковъ чудныхъ міръ незримый,
 Аккордъ гармоніи святой,
 Средь тишины невозмутимой
 Витаетъ, вѣтся надъ тобой...

И жизни тяжкія оковы
 Подъ высью неба позабывъ,
 Лелѣешь ты со страстью новой
 Души воспрянувшей порывъ, —

И что въ груди твоей таится
 Предъ суетой дневныхъ заботъ,
 То ночью яркою зарницей
 Въ созвучьяхъ пламенныхъ сверкнетъ!

* * *

Смѣлѣй борись, пловецъ, съ задорными волнами!
 Пусть не страшитъ тебя нѣмая глубина, —
 Взгляни, озлащена вечерними лучами,
 Вдали уже земля желанная видна!

Туманъ таинственно завѣсой голубою
 Окуталъ береговъ неясныя черты,
 И, какъ въ мечтахъ, они явились предъ тобою,
 Полны чарующей, волшебной красоты.

Пуškai не ждеть тебя, во мглѣ лиловой тѣя,
 Заката пылаго пурпурная заря, —
 Ночной твой путь луна освѣтитъ золотая
 И звѣзды выглянуть, привѣтливо горя...

Но еслибъ вдругъ свинцовой пеленою
 Громады тучъ закрыли небосводъ
 И разразились бурною грозой
 Средь тишины надъ мрачной бездной водъ, —

Такъ все равно, тебѣ ужъ нѣтъ возврата! —
 Смѣлѣй впередъ по яростнымъ волнамъ —
 Туда, гдѣ рдѣлъ прощальный лучъ заката,
 Впередъ, впередъ, къ желаннымъ берегамъ!..

* * *

Бываютъ мгновенья душевныхъ движеній,
 Высокихъ порывовъ, живыхъ вдохновеній,
 Неясныхъ, какъ грезы, но свѣтлыхъ мечтаній,
 Какъ сонъ, безотчетныхъ, но пылкихъ желаній...

Широко раскрылись духовныя очи
 Подъ блескомъ волшебнымъ серебряной ночи,
 И тѣсно душѣ въ оболочкѣ тѣлесной
 Предъ взглядомъ задумчивымъ выси небесной,
 И тайну постичь бытія мирового
 Желанья полна она страстно-живого...

И хочется выразить пѣснью высокой,
Чтобъ пѣснь та въ сердцахъ отозвалась глубоко,
Душевнаго міра святое волненье,
Къ чему-то незримому сердца стремленье!..

С. Д. ЛЕВКО.



ИСТОРІЯ МОЛОДОЙ ДѢВУШКИ

— *Claude Farrère. Mademoiselle Dax, jeune fille.*—Paris, 1908.

ХІІ *).

Приглашеніе мадамъ Терьенъ застигло мадамъ Даксъ врасплохъ. Вязанье выпало у нея изъ рукъ, и она стала безпомощно теревить пальцами юбку. Въ теченіе трехъ секундъ мадамъ Даксъ была въ нерѣшительности, — и это ее погубило. Мадамъ Терьенъ успѣшила подерѣпить свои доводы ссылкой на поговорку.

— Молчаніе — знакъ согласія, — сказала она. — Такъ, значитъ, это дѣло рѣшенное.

— Но... — попробовала еще поборотся мадамъ Даксъ: — гдѣ же собственно состоится этотъ пикникъ?

— Это безразлично. Гдѣ хотите...

Фузеръ, смиренно сидя на стулѣ, поддержалъ мадамъ Терьенъ.

— Мы поѣдемъ, куда глаза глядятъ, — сказалъ онъ.

Онъ едва замѣтно улыбнулся Алисѣ, таинственно намекая этими словами на утреннія прогулки.

Алиса опустила глаза и не вмѣшивалась въ разговоръ. Она была предупреждена о предстоящемъ визитѣ, но все же сердце у нея тревожно билось. Она боялась этого свиданія матери съ ея друзьями и вся дрожала при мысли, что малѣйшее

*) См. выше: июль, стр. 251.

неосторожное слово можетъ выдать ея тайну. Что, если мать узнаетъ, что Алиса уже болѣе мѣсяца поддерживаетъ ежедневныя преступныя сношенія съ невѣдомыми людьми, артистами, богемой?..

И все же, чувствуя на себѣ взглядъ Фужера, Алиса не могла удержаться, чтобы въ свою очередь не взглянуть на него. Онъ былъ очень строенъ и изященъ въ своемъ бѣломъ шерстяномъ костюмѣ съ жилетомъ, вышитымъ лиловымъ шелкомъ. Мягкая, тоже лиловая рубашка красиво оттъняла его матовый цвѣтъ лица.

— На обратномъ пути,—пообѣщала мадамъ Терьенъ,—мы постараемся попасть на какую-нибудь вершину, съ которой будемъ смотрѣть на Alpenglühn...

— На... что?—спросила мадамъ Даксъ.

— Какъ!—съ изумленіемъ воскликнула мадамъ Терьенъ:—вы никогда не видѣли Alpenglühn... Закатъ солнца въ Альпахъ?

— Нѣтъ. Въ этотъ часъ мы съ дочерью всегда одѣваемся къ обѣду.

— Да вѣдь это преступленіе! Неужели и вы, милочка, не видѣли? Вотъ не ожидала. Нужно сегодня же, сейчасъ же посмотреть. Ничего прекраснѣе нельзя себѣ представить. Развѣ стоитъ одѣваться для табль д'ота!.. Знаете, милая, вы теперь въ очень миломъ платицѣ. Такъ вотъ пожалуйста: отправьтесь сейчасъ же—теперь какъ разъ пробило половина шестого—быстрымъ шагомъ на верхнюю террасу. А я до вашего возвращенія посижу съ вашей мамой.

— Какъ же такъ?—пробормотала Алиса.—Не знаю, право... я никогда въ это время не выхожу одна.

— Да вотъ Фужеръ. Онъ съ удовольствіемъ проводитъ васъ. Фужеръ, держась въ высшей степени корректно, поглядѣлъ на мадамъ Даксъ.

— Вы разрѣшите?—спросилъ онъ.

— Да, конечно,—поспѣшила отвѣтить мадамъ Терьенъ за мать Алисы.

— Нѣтъ, не на верхнюю террасу,—запротестовалъ Фужеръ, удерживая Алису за руку.

— А куда же?

— На Сигналь. Мы придемъ въ-время, если пойдемъ быстро. И мы избѣгнемъ такимъ образомъ скучной толпы туристовъ.

Алиса согласилась, и они быстро побѣжали по вьющейся вверхъ дорожкѣ. Солнце исчезало за зубчатымъ горизонтомъ вершины Доль. На южной сторонѣ неба альпійская вершина, зажженная послѣдними лучами, пламенѣла какъ огромная куз-

ница. Огонь разлился по глетчерамъ. Не было больше нигдѣ бѣлыхъ пространствъ. Снѣга рдѣли со всѣхъ сторонъ, какъ раскаленные угли. А съ востока надвигалась ночь, быстро задерживая сѣрой дымкой лазурь неба.

— Если бы взять такія краски для акварели, сказали бы, что ничего подобнаго въ природѣ не бываетъ,—замѣтила Алиса.

— Тсс! — остановилъ ее Фужерь. — Послушайте тишину вечера.

Ихъ окутывала волшебная тишина. Ночь перелетала съ горы на гору, примѣшивая къ пламеньющему свѣту заката свои сизые тона, все болѣе и болѣе темнѣвшіе съ каждымъ мгновениемъ.

— Вотъ только-что все было розовое, — опять заговорила Алиса, — а теперь...

— Тсс!.. Вы испугаете живописцевъ на небѣ.

Блѣдно-лиловые снѣга темнѣли. Потомъ ночь какъ бы остановилась на минуту. Горы сдѣлались синими. И только на западѣ тянулася длинная пламенная полоса.

— Кончено, — сказала Алиса.

— Молчите. Теперь только начинается.

Въ одно мгновение вся гора точно преобразилась. Неожиданные тона, скрывавшіеся въ глубинѣ зѣира — желтые, сѣрые — спустились на синеватую бѣлизну глетчеровъ и скалъ — и проступилъ волшебнo-зеленый цвѣтъ *Alpenglühn*. Блѣдный, сырой саванъ закуталъ горизонтъ. Мелькнулъ прозрачный могильный свѣтъ, подобный мрачному фосфорическому блеску ночныхъ грозъ на Атлантическомъ океанѣ. Вѣчные снѣга, не озаренные волшебнымъ свѣтомъ солнца, казались тѣмъ, что они дѣйствительно: страшными пустынными кладбищами. Прошла минута — и побѣдила ночь, погасивъ волшебный свѣтъ.

Алиса молчала. Дрожь пронизывала ее до костей. Она испуганнымъ движеніемъ схватила руку своего спутника.

— Пора идти домой, — сказалъ Фужерь.

Она отвѣтила: „да“ и не трогалась съ мѣста. Вдругъ она растерянно оглянулась вокругъ себя.

— Да, — прошептала она, — здѣсь...

Очень удивленный ея восклицаніемъ, онъ тоже оглянулся. Вдругъ онъ вздрогнулъ: онъ помнилъ эти сосны, эти папоротники... Да, здѣсь, какъ разъ здѣсь онъ поцѣловалъ Кармень... Чо почему Алиса... Чтo значило ея восклицаніе? Развѣ она зала?.. Можетъ быть, видѣла?

Онъ пристально взглянулъ ей въ лицо. Она сильно покраснѣла и отвернулась, точно хотѣла убѣжать отъ него. Онъ

удержалъ ее властнымъ движеніемъ. Она понатнулась, тяжело дыша...

Тогда онъ склонился къ ней и, не встрѣчая сопротивленія, тихо поцѣловалъ ея волосы у висковъ.

ХІІІ.

Въ большомъ экипажѣ, который раздобылъ гдѣ-то Фужеръ, смогли помѣститься всѣ вмѣстѣ. Мадамъ Даксъ сидѣла между Фужеромъ справа и Жильберомъ Терьеномъ слѣва — а противъ нея сѣла мадамъ Терьенъ между Алисой и Карменъ. Бернара усадили на козлы рядомъ съ кучеромъ.

Общество возвращалось. Экскурсія очень не удалась. Несмотря на стараніе соблюсти долгъ вѣжливости, мадамъ Даксъ не могла въ теченіе семи часовъ вряду быть все время одинаково любезной. Карменъ, которая, по принципу, никогда не притворялась, совершенно открыто зѣвала. Но все это не было неожиданно и не имѣло значенія. Несчастіе же было въ томъ, что Фужеръ былъ въ убійственно-мрачномъ настроеніи и за весь день не раскрылъ рта. Съ того вечера, какъ они вдвоемъ любовались зрѣлищемъ *Alpenglühn*, онъ теперь впервые увидалъ Алису... рядомъ съ Карменъ де-Ретцъ. Это было ему, повидимому, неприятно.

Мадамъ Терьенъ должна была всѣхъ выручать. Она говорила за всѣхъ, маскируя своей болтовней общую неразговорчивость и стараясь временами побѣдить упорное молчаніе Алисы. На дѣвушку было жалко смотрѣть, до того она терялась, очутившись между матерью и своими друзьями. Если бы прогулка состоялась нѣсколькими днями раньше, то присутствіе Фужера было бы для нея, вѣроятно, облегченіемъ; теперь же, напротивъ того, она изъ-за него каждый разъ вся вспыхивала, когда ихъ взгляды встрѣчались.

Для довершенія неудачи, день былъ очень душный. Мороженое растаяло въ корзинкѣ, выложенной фланелью, и пришлось пить его тепловатымъ.

Большія мрачныя тучи, окутывавшія съ утра горы на западѣ, медленно поднялись до самаго зенита; непонятно было, какой вѣтеръ ихъ гонить, такъ какъ раскаленный воздухъ былъ недвижимъ. Небо было точно на-половину изъ синяго шолка и на-половину изъ сѣрой шерсти. Безшумныя молніи прорѣзали сѣрую половину.

Мадамъ Терьенъ, все еще не терявшая энергiи, облегченно вздохнула, когда коляска обогнула прудъ: еще только миля до ея шалэ, а оттуда—поль-миля до отеля.

— Какъ жарко!—заявила мадамъ Даксъ въ одиннадцатый разъ съ полудня.

Но Жильберъ Терьенъ, внимательно разглядывавшій бронзоваго цвѣта облака, точно наблюдая въ нихъ невидимую кавалькаду валькирій, вдругъ вытанулъ руку:

— Дождь!—сказалъ онъ.

Крупныя капли падали на песокъ, распространяя запахъ сырости.

— Мы еще успѣемъ доѣхать благополучно домой, — замѣтила мадамъ Терьенъ, но очень ошиблась. Капли стали учащаться, сливаться и вскорѣ образовали густую тяжелую пелену, которая сразу заслонила солнце и обрушилась на землю подъ трескъ сломанныхъ вѣтвей. Поднялся топотъ воды по землѣ. Неподвижный воздухъ вздрогнулъ и закрутился вихремъ. Свернула молнiя, и ударъ грома раздался такъ близко, что лошади поднялись на дыбы.

Мадамъ Даксъ боялась грозы и стала кричать.

Фужеръ, забывъ о своихъ печаляхъ, быстро снялъ пиджакъ, чтобы укрыть имъ молодыхъ дѣвушекъ, такъ какъ почти горизонтальныя струи дождя попадали въ экипажъ.

— Поѣзжайте скорѣй! — крикнула мадамъ Терьенъ кучеру.

Но испуганныя лошади уперлись и едва двигались. Прошло четверть-часа, прежде чѣмъ экипажъ доѣхалъ до шалэ. Наконецъ, показалась рѣшетка. Вѣтки жимолости хлестали о желѣзные прутья и колокольчикъ жалобно звенѣлъ.

— Скорѣе, скорѣе, войдемте всѣ въ домъ! — скомандовала мадамъ Терьенъ.

Она слегка толкнула Алису, которая не рѣшалась выйти изъ экипажа, и бѣгомъ увлекла ее къ крыльцу. Мадамъ Даксъ, потрясенная раскатами грома, послѣдовала за нею, крѣпко прижавшись къ Фужеру. Лужайка превратилась въ бурное озеро, аллея—въ рѣку. Лиственницы выступали изъ воды, подобно островкамъ на китайскихъ пейзажахъ; ихъ низкія вѣтви касались бушевавшихъ водъ.

Въ передней, когда входную дверь плотно закрыли, мадамъ Даксъ пришла въ себя. Испуганная и потомъ разсерженная, она оглядѣла дочку; съ платья Алисы стекала вода.

— Хороша, нечего сказать!—начала она, но мадамъ Терьенъ прервала ее громкимъ смѣхомъ.

— Да мы всё не лучше, — сказала она. — Нужно всёми сейчас же переодѣться. Васъ проведутъ наверхъ, и вы, надѣюсь, позволите мнѣ снабдить васъ всёми необходимымъ.

Мадамъ Даксъ пришла въ ужасъ отъ одной мысли, что ей придется надѣть чужое бѣлье и платье, и уже открыла ротъ для рѣшительнаго отказа, какъ вдругъ Бернаръ — очень встати — кашлянула.

— Чтò я говорила! — подтвердила мадамъ Терьенъ. — Вотъ, вашъ сынъ уже и схватилъ простуду. — Скорѣй, скорѣй, пойдемте всё наверхъ!

Черезъ часъ всё снова сошлись въ салонѣ, гдѣ, шесть недѣль тому назадъ, Алиса и ея мать повнакомились съ мадамъ Терьенъ. Мадамъ Даксъ надѣла домашнее платье мадамъ Терьенъ, сдѣланное очень широко; оно узко обтягивало невязящую фигуру мадамъ Даксъ, которая была вдвое толще и вдвое ниже мадамъ Терьенъ. Алиса, надѣвшая желтый пеньюаръ Карменъ де-Ретцъ, напротивъ того, выиграла отъ перемены костюма: окутанная мягкою тканью, она казалась еще болѣе гибкой и цвѣтъ лица ея сдѣлался еще болѣе нѣжнымъ. Дождь не прекращался и по стекламъ оконъ лились цѣлые потоки.

— Почему мы не поѣхали прямо въ отель! — пожалѣла мадамъ Даксъ. — Дождь, повидимому, не прекратится.

— Чтò вы, развѣ можно было ѣхать дальше? Вы бы по дорогѣ растаяли. Подождите: когда въ облакахъ не останется воды, дождь прекратится.

Но въ облакахъ были, повидимому, въ запасъ цѣлыя Ниагары, потому что дождь не прекращался. Стало темнѣть. Мадамъ Даксъ упорно стояла у окна, прижавшись къ стеклу лицомъ. И хотя она ничего не могла различить на затопленномъ лугу, все же видъ пейзажа, залитого водой, убѣдилъ ее, что всякій путь къ бѣгству отрезанъ.

— Чтò же намъ дѣлать? — воскликнула въ отчаяннн мадамъ Даксъ, когда часы пробили восемь.

— Спокойно отобѣдать съ нами, — сказала мадамъ Терьенъ. — А потомъ, такъ какъ мы всё устали отъ утомительнаго дня, то пойдемъ спать. Комнаты для васъ обѣихъ, конечно, приготовлены. А завтра погода прояснится...

Мадамъ Даксъ, побѣжденная ея доводами, покорилась.

Вечеръ тянулся очень скучно. Карменъ и Алиса сидѣли р домъ и молчали. Фужеръ глядѣлъ то на одну, то на другую тоже молчалъ.

Когда часы начали бить десять, мадамъ Терьенъ первъ

поднялась и, пожелавъ всѣмъ доброй ночи, ушла къ себѣ. Карменъ облегченно вздохнула. Жильберъ, въ качествѣ хозяина дома, пошелъ проводить мадамъ Даксъ въ ея комнату. У ея двери, когда она поблагодарила его, онъ сказалъ:

— Я въ этотъ часъ обыкновенно играю на органѣ. Органъ стоитъ въ послѣднемъ салонѣ, далеко отсюда. Но если до васъ донесутся нѣсколько аккордовъ, вамъ это не очень помѣшаетъ?

— Ничуть,—отвѣтила мадамъ Даксъ, желая быть любезной.— Ничуть. Напротивъ того, ваша музыка усыпить меня.

Алису проводила въ ея комнату Карменъ де-Ретцъ.

— Вамъ вѣдь, я думаю, не очень хочется спать?

— Нѣтъ.

— Такъ не раздѣвайтесь еще, а какъ только ваша мама и мадамъ Терьенъ лягутъ спать, спуститесь внизъ. Мы слушаемъ музыку Жильбера, будемъ ѣсть виноградъ, — а потомъ разойдемся по своимъ комнатамъ.

XIV.

Сѣвъ передъ органомъ, Жильберъ Терьенъ выпрямилъ грудь и широко развелъ руками. Когда онъ сидѣлъ на табуретѣ, который былъ для него какъ бы пьедесталомъ, его физическій недостатокъ былъ незамѣтенъ; онъ казался большимъ и даже красивымъ.

Входя въ залу, Алиса увидѣла музыканта передъ партитурой. Онъ точно вышелъ на поединокъ, и Карменъ, стоявшая около него, была похожа на секунданта.

Среди наступившей тишины раздались звуки. Прозвучала чистая сельская пѣсня и ее окружила простая симфонія. Величественные строгіе аккорды вызвали въ воображеніи картины сельской природы и пастушескія сцены. Въ лѣсахъ пронесся вѣтеръ. Въ долинахъ медленно шли стада. На гористыхъ горизонтахъ черные ведры охватывали багрянецъ заката. Пейзажъ уходилъ въ безконечность своими мѣрными линиями. Чувствовалось дыханіе библейскаго быта. Вдругъ на величественномъ фонѣ мѣрныхъ звуковъ выдѣлилась странная, таинственная та; слабая, но вкрадчивая, извивающаяся какъ змѣя. Ее наѣтили острые звуки; они наполовину ее отчеканили и оставили, пугливо сливаясь съ дѣющейся и возрастающей сельской симфоніей. вмѣстѣ съ тѣмъ поднимался и опускался глухой ропотъ,—точно далекій громъ разсерженнаго божества. Смокли

раскаты и осталась только сельская пѣсня и наивныя гармоніи горь и лѣса.

Но извилистая фраза вернулась, провравдывалась въ чистые звуки, какъ змѣя, заползшая въ садъ, и зашипѣла постепенно всѣми своими хрупкими звуками. Ее сопровождалъ странный трепеть, горячая, томительная, страстная трель. Въ отвѣтъ на нее посыпались гнѣвные мощные звуки. Органъ гремѣлъ. Небесный гнѣвъ поработилъ себѣ и пасторальную симфонію, и коварный игривый мотивъ, который вкрадывался въ нее. Все исчезло сначала въ потокъ быстрыхъ наступательныхъ, безпощадныхъ аккордовъ. Но когда эта буря звуковъ стихла, хрупкая нота снова прозвучала, страстной дрожью.

Началась борьба между густыми басами органа и смѣлымъ змѣинымъ шипѣніемъ мятежной ноты, которая усиливалась и восторжествовала, вылившись вдругъ въ широкую мелодію страсти, опьяненія и любви. Разрозненные звуки смирились, и, возродившись для конечнаго торжественнаго гимна, первоначальная библейская гармонія присоединилась къ побѣдному мотиву, освѣтивъ и возвеличивъ его.

Карменъ де-Ретцъ театрално обняла голову музыканта и поцѣловала его въ лобъ.

— Вотъ,—воскликнула она,—вотъ воплощеніе моей мечты!

Фужеръ взволнованно вскочилъ съ мѣста. Восторгъ охватилъ его какъ ураганъ; мрачное настроеніе и неловкость сразу исчезли. Онъ забылъ, что передъ нимъ Карменъ и Алиса, что онъ цѣловалъ ихъ обѣихъ, забылъ, что ему приходилось весь день притворяться равнодушнымъ. Все исчезло передъ охватившимъ его художественнымъ восторгомъ, отъ котораго у него сильнѣе билось сердце. Въ воздухѣ еще трепетали гармоничные отзвуки музыки. Фужеръ устремился къ Алисѣ и схватилъ ее за руку.

— Это настоящее колдовство! — воскликнулъ онъ.—Такого музыканта слѣдовало бы сжечь на вострѣ... Разсмѣяли вы эту вкрадчивую пѣсню—мотивъ любви дочерей Лота? Въ первую минуту задыхаешься отъ негодованія, хочется положить конецъ святотатству... Но потомъ мелодія захватываетъ, успокаиваетъ и выворачиваетъ, какъ перчатку, всѣ принципы нравственности. Эта пѣсня, спиралью поднимающаяся вверхъ, начинаетъ постепенно казаться цѣломудренно-чистой, святой. А вѣдь это все та же мелодія, та же пѣсня кровосмѣшенія...

Алиса покраснѣла и опустила голову. Такія слова не входили въ ея обиходный языкъ. Музыка Жильбера Терьена къ тому же только удивила ее, но не очень ей понравилась. Онъ

была еще болѣе непонятной, чѣмъ классическая музыка, и въ ней не было красивыхъ мелодій. Изъ вѣжливости она все-таки сказала, что то, что она слышала, дѣйствительно прекрасно. Но Жильберъ Теръень, не удовлетворенный похвалами трехъ слушателей, съ горечью пожалъ плечами. Его мечта носилась высоко-высоко надъ воплощеннымъ твореніемъ, и эту орлиную мечту онъ отчаивался когда-либо воплотить. Онъ всталъ съ табуретки. Стоя среди комнаты, онъ снова сдѣлался маленькимъ, тщедушнымъ калѣвкой. Онъ сѣлъ и задумался, не принимая участія въ общей бесѣдѣ. Фужеръ принесъ чайный столикъ и поставилъ на него вино и фрукты. Карменъ открыла окно, хотя гроза еще не утихла.

— Дождя уже почти нѣтъ, — сказала она. — А вотъ и луна. Алиса подошла къ окну.

— Какъ красивы эти перламутровыя облака, — сказала она, — и эти большія черныя сосны.

— Недостаетъ только — сказалъ ей въ тонъ Фужеръ — озера, лодки, замка, привидѣнія и Ламартиновской Эльвиры... „Останови полеть, о время“!..

— Вы надъ всѣмъ насмѣхаетесь, — упрекнула его Алиса.

— Да. Таковъ костюмъ вѣка. Я говорю ироническимъ тономъ, хотя душа у меня восторженная. Вѣдь это-то вы, вѣроятно, замѣтили?

Алиса и Карменъ стали у широкаго окна, оставивъ между собой мѣсто для третьяго. Фужеръ поколебался съ минуту, потомъ беззаботно улыбнулся и занялъ это мѣсто, положивъ обѣ руки на плечи двухъ сосѣдокъ. Карменъ не отодвинула его, а Алиса не рѣшалась отодвинуться.

— Да и почему бояться романтизма? — сказалъ пѣвучимъ голосомъ Фужеръ. — Иногда онъ очень умѣстенъ... Особенно сегодня. Все вокругъ насъ романтично въ эту минуту. И мы сами тоже. Помните Мюссэ: „О чемъ мечтаютъ молодыя дѣвушки?..“ Сегодня я могъ бы называться Сильвіо.

Алиса не читала Мюссэ.

— Сколько лѣтъ — продолжалъ Фужеръ — намъ придется ждать, прежде чѣмъ мы опять соберемся всѣ втроемъ-вчетверомъ и будемъ вмѣстѣ любоваться величественной ночью среди величественныхъ горъ?

Онъ слегка прижалъ раскрытыя ладони къ плечамъ, на которыя опирался, и почувствовалъ дрожь этихъ плечъ.

— Подумайте, — тихо произнесъ онъ. — Вѣдь все это истинное чудо. Вотъ тутъ я, Бертранъ Фужеръ, которому въ сущ-

ности слѣдовало бы спать въ эту ночь за тысячу миль отсюда... Вотъ вы, Карменъ, поэтесса, невѣдомо откуда явившаяся, всюду чужая, вѣчная странница... И вы, Алиса, молодая дѣвушка, столь благовоспитанная, что, быть можетъ, никогда бы не сятали возможнымъ поужинать гдѣ-нибудь вдали отъ матери... И вотъ мы втроемъ—и Жильберъ съ нами—какимъ-то чудомъ освободились отъ всѣхъ условностей, отъ всей жизненной прозы и можемъ провести цѣлую ночь въ мирѣ поэзіи. Цѣлую ночь! Больше, чѣмъ было дано многимъ великимъ поэтамъ и мечтателямъ, которымъ не удавалось осуществить ни единой своей мечты. А намъ, не мечтавшимъ о такой ночи, она дана...

Карменъ де-Ретцъ съ осужденіемъ взглянула на него своими глубокими голубыми глазами.

— Вы никогда ни о чемъ не мечтали?

Онъ задумался въ то время, какъ лунный лучъ серебрилъ его волосы.

— Мечталъ,—сказалъ онъ.—Но моихъ мечтаній вы не поймете. Мечты мои были простыя и нѣжныя, тихія, далекія отъ славы, отъ шума.

— Расскажите.

Онъ заговорилъ тихо, глядя вверхъ на звѣзды, выступающія промежъ облаковъ.

— Я мечталъ... классическая мечта всѣхъ влюбленныхъ... Мечталъ о маленькомъ домикѣ на скатѣ горы, надъ рѣкой. За домикомъ садъ. Высокія стѣны отдѣляютъ его отъ остального міра; неподалеку—кладбище, чтобы будить мысли о вѣчности. И въ этомъ домѣ—фейя... Я предлагалъ всю жизнь за недѣлю такого счастья... Но судьба не захотѣла исполнить мою мечту даже за такую цѣну.

Алиса взволнованно слушаетъ. Фужеръ, одумавшись, быстро отходитъ отъ окна, приближается къ столу и наполняетъ стаканы изъ серебрянаго графина съ виномъ.

— Къ счастью,—говоритъ онъ,—есть чѣмъ утѣшиться, насмѣхаясь надъ судьбой. Вотъ любимый напитокъ одного испанскаго кардинала, который пересталъ вѣрить въ существованіе рая послѣ того, какъ—по его словамъ—вкусилъ на землѣ истинное вино Господне. А эти папирсы я получилъ изъ Стамбула черезъ посольство. Въ ихъ дымѣ чувствуется голубизна Босфора

Алиса выпила вино, недостаточно, однако, оцѣнивъ его вкусъ

— Я думаю—сказала Карменъ де-Ретцъ, оципывая вѣтку винограда,—о вашемъ домѣ, о вашей феѣ и о вашей недѣлѣ блаженства.

— Думайте, но не говорите.

— Почему?

— У насъ съ вами на этотъ счетъ слишкомъ разныя мнѣнія. Вы можете однимъ какимъ-нибудь словомъ оскорбить меня.

— Знаете, Фужеръ, — отвѣтила съ улыбкой Карменъ: — я положительна не могу примириться съ тѣмъ, что вы, дилеттантъ по натурѣ, вѣрите въ любовь.

Фужеръ быстро поставилъ стаканъ съ виномъ на столъ.

— Я могъ бы вамъ отвѣтить, что не понимаю, какъ такая прекрасная женщина, какъ вы, не вѣритъ въ любовь. Это — святотатство. Но я не намѣренъ говорить вамъ комплименты. Напротивъ того. Сознаюсь, что не понимаю грубости благородной и тонко-чувствующей женщины, которая въ любви понимаетъ только самую элементарную чувственность.

Карменъ очень спойно кивнула головой, подтверждая, что только такая чувственность — въ ея вкусѣ.

— Подождите, — насмѣшливо сказалъ Фужеръ. — Рано или поздно васъ коснется благодать, и вы познаете любовь.

— Я ее уже познала.

— Ну, да; вы мнѣ рассказывали разные случаи изъ своей жизни. Правда ли то, что вы говорили, или нѣтъ, — впрочемъ, я высказываю сомнѣнiе только изъ вѣжливости, — но если даже вы искали новизны ощущений... не подъ собственнымъ кровомъ, то я все же утверждаю...

— Что?

— Что это не то же самое.

— Больше вы ничего не можете сказать? Право, не лгя вамъ, Фужеръ, я считала васъ способнымъ разсуждать болѣе убѣдительно.

— Не смѣйтесь и подумайте хорошенько. Полагаете ли вы, что въ разныхъ подозрительныхъ мѣстахъ, гдѣ вы будто бы переживали всякіе ужасы — я допускаю самый фактъ, хотя онъ и мало правдоподобенъ...

— Благодарю васъ за то, что вы не считаете меня лгуньей.

— Такъ вотъ... полагаете ли вы, что тамъ, въ обществѣ какого-нибудь случайнаго партнера, вы испытали священное безуміе, которое знали Ромео и Джульета?

— Да, я полагаю... И какія невѣдомыя радости могли быть доступны именно Ромео и Джульетѣ, а не мнѣ и моему случайному партнеру?

— Молчите, вы возмущаете мою скромность... Какія радости, недоступныя вамъ, знали Ромео и Джульета? Да вотъ какія: ры-

дать отъ вѣжливости въ объятіяхъ другъ друга, витать душу другъ друга въ объятіяхъ. Вы не знали единственнаго дѣла, не дѣлали блаженство съ любимымъ существомъ... Молчите, молчите! Вы богѣе неопытны, чѣмъ мадемуазель Алиса. Вы знаете чувственность, а не любовь.

Она ничего не отвѣтила. Въ ея взглядѣ, устремленномъ на Фужера, мелькнуло любопытство.

Алиса вдругъ поднялась съ мѣста.

— Уже полночь,—сказала она.—Пора разойтись.

XV.

Всѣ комнаты выходили на общую галерею. Фужеръ, презле чѣмъ закрыть за собою дверь въ свою комнату, поцѣловалъ руку Карменъ и менѣе красивую руку Алисы.

Карменъ вошла въ комнату Алисы.

— Миѣ хочется поболтать съ вами,—сказала она.—Можно еще посидѣть минутку?

— Конечно.

— Можетъ быть, вамъ хочется спать... нѣтъ? Такъ, значитъ, вы не поэтому такъ поспѣшили проститься съ нами? Я догадалась. Мы съ Фужеромъ, навѣрное, возмутили васъ своимъ разговоромъ.

Алиса успѣла совладать съ собой.

— Я поняла, что вы шутили,—сказала она.

Карменъ покачала головой.

— Нѣтъ,—сказала она.—Онъ, можетъ быть, шутилъ,—но не я. Я не шутила. Не смотрите на меня съ такимъ испугомъ. Увѣрю васъ... я не шутила.

Алиса въ ужасѣ отказывалась понимать ее.

— Но когда вы сказали...

— Что у меня были приключенія? Я говорила правду.

Карменъ спокойно, съ улыбкой глядѣла на Алису, лицо которой выражало полную растерянность.

— Не смотрите на меня съ такимъ ужасомъ, милая,—сказала Карменъ почти материнскимъ тономъ.—Я сказала правду. Я... не такая, какъ вы... Но подумайте: если бы я была „мадамъ“, а не „мадемуазель“, то вамъ казалось бы совершенно естественнымъ, что я не такъ невинна, какъ вы. А между тѣмъ я была бы той же Карменъ, какъ теперь.

На этотъ разумный доводъ Алиса ничего не отвѣтила. Не

глаза ея съ тѣмъ же ужасомъ глядѣли на „мадемуазель“ Кармень, не скрывающую своего опыта въ тайнахъ любви.

— Да, да, — настойчиво повторила Кармень де-Ретцъ. — И не будь вы милая, наивная буржуазочка, мнѣ не пришлось бы оправдывать себя... Хотите, я расскажу вамъ въ немногихъ словахъ исторію моей жизни? Мою мать звали лэди Фергусъ. Она была французенка и вышла замужъ за англичанина. Мужъ ее не любилъ и ей жилось очень тяжело. Затѣмъ съ ней встрѣтился мой отецъ, молодой, красивый, смѣлый, полюбилъ ее и покорилъ ея сердце. Пошли скандалы, измѣна, дуэль... Все-таки они, наконецъ, вопреки всему, вопреки свѣту, вопреки законамъ, стали принадлежать другъ другу... Вотъ какъ я родилась на свѣтъ. Я съ молокомъ кормилицы всосала духъ мятежа противъ всякаго рабства, презрѣніе ко всѣмъ предразсудкамъ. Я была незаконной дочерью, дитя преступной — въ глазахъ свѣта — любви. Вы сами понимаете къ тому же, что мнѣ не внушали ни уваженія къ браку, ни преклоненія передъ законами общепринятой морали. Моя мать и отецъ постоянно путешествовали. Я ихъ видѣла всюду свободно идущими подъ-руку, гордыми и независимыми; они презирали лицемеріе и зависть, возбуждаемую ихъ видомъ. Такъ прошла вся ихъ жизнь. Оба они умерли почти въ одно и то же время отъ чахотки, заразившись болѣзнию другъ отъ друга. Отецъ пережилъ — на очень недолго — мать. У его смертнаго одра я горько плакала, такъ какъ очень любила его. Передъ самой смертью, уже задыхаясь, онъ подозвалъ меня. — „Не выходи никогда замужъ, — проговорилъ онъ, — или выйди замужъ за любовника, если онъ у тебя будетъ“. Вотъ послѣдній совѣтъ, который мнѣ далъ отецъ, а отецъ мой былъ добрый и умный человекъ и обожалъ меня.

Кармень остановилась, отдавшись воспоминаніямъ.

— Мнѣ было шестнадцать лѣтъ, когда отецъ мой умеръ, — снова заговорила она, — а теперь мнѣ двадцать-два. Я не вышла замужъ... Вы меня за это осуждаете?

Улыбнувшись почти противъ воли, Алиса сдѣлала отрицательный жестъ головой.

— Я не богата, — продолжала Кармень, — но могу прожить, не терпя нужды. Къ тому же я стала писать книги и теперь зарабатываю свой хлѣбъ какъ мужчины. Я живу свободно, какъ они. Затѣмъ мнѣ мѣнять свою жизнь?

Алиса не могла привести убѣдительнаго довода.

— Конечно, — сказала Кармень, — во многихъ радостяхъ мнѣ отказано. Общество не проститъ мнѣ моей вызывающе-дерзкой

жизни и отвѣтитъ мнѣ презрѣніемъ,—я въ этомъ не сомнѣваюсь. Но у меня будутъ мои собственныя радости. И, быть можетъ, много женщинъ, живущихъ взаперти среди своей благоустроенной и удобной жизни, будутъ втайнѣ завидовать мнѣ.

Алиса, внутренно обезпеченная, подняла голову.

— Да,—настаивала Карменъ де-Ретцъ,—завидовать. Я вѣдь буду свободна и смогу вкушать открыто и честно плодъ, который змѣя предлагала Евѣ только тайкомъ.

Она вдругъ поднялась.

— Послушайте,—сказала она.—Сегодня же радость дается мнѣ въ руки... и я не отвергну ее. Какъ красивъ былъ Фужеръ, когда восхвалялъ страсть, говоря, что онъ знаетъ всю силу ея, а я не знаю. Правда, вѣдь,—очень красивъ? Ну, такъ и я познаю эту страсть...

Она стояла на порогѣ и глядѣла на Алису почти съ вызывающимъ видомъ.

— Познаю честно и открыто,—сказала она.—Безъ ложнаго стыда. Высоко поднимъ голову...

Она твердо пошла вдоль галереи. Не постучавшись въ дверь, она вошла въ комнату Фужера—и осталась тамъ.

Блѣдная, какъ призракъ, Алиса смотрѣла на закрытую дверь, и сердце ея стучало такъ громко, что, казалось, у нея разорвется грудь.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

I.

— Милый тесть,—рѣшительно сказалъ докторъ Барье, женихъ Алисы,—мы можемъ сегодня же назначить день свадьбы. По-моему, вы не можете ничего возразить противъ первой половины ноября.

Даксъ съ удивленіемъ поднялъ тонкія брови.

— Я, право, не понимаю васъ, Барье. Въ первой половинѣ ноября?.. Вы требуете, чтобы въ самомъ началѣ дѣловаго сезона и занялся свадьбой, которая должна быть очень парадной въ виду и моего, и вашего общественнаго положенія? Вы меня положительно удивляете, Барье. Вы говорите какъ ребенокъ.

Даксъ и Барье сидѣли въ креслахъ по обѣ стороны камина. Между ихъ креслами стоялъ столикъ со всѣми необходимыми принадлежностями для куренія. За прикрытой дверью въ залу Алиса играла что-то очень неопредѣленное, сильно отличавшееся

отъ прежнихъ излюбленныхъ ея мелодій изъ „Мушкетеровъ въ монастырѣ“.

Было первое воскресенье въ октябрѣ. За два дня до того, мадамъ Даксъ, Алиса и Бернаръ вернулись изъ Сэнъ-Серга, и въ этотъ день состоялся первый семейный обѣдъ послѣ двухмѣсячнаго промежутка.

— Милый тесть, — спокойно возразилъ Барье, — я вполне обдуманно назначаю срокъ свадьбы. И такъ уже, говоря о первой половинѣ ноября, я дѣлаю вамъ уступку. Въ сущности я предпочелъ бы вторую половину октября. Вы меня, надѣюсь, достаточно знаете, чтобы не приписать мою торопливость ребяческому нетерпѣнью влюбленнаго. Нѣтъ, дѣло въ томъ, что необходимо приурочить мою свадьбу именно къ началу сезона. Нужно, чтобы весь Лионъ зналъ въ самомъ началѣ зимняго сезона, что докторъ Барье, породнившись съ фабрикантомъ шолка Даксомъ, переселился въ Брото и началъ принимать больныхъ въ своемъ новомъ помѣщеніи. Ваши дѣла не пострадаютъ отъ перерыва въ двое сутокъ, а мои дѣла требуютъ немедленной ликвидаціи прежняго положенія.

Даксъ задумчиво вдавилъ кончикъ выкуреной сигары въ пепельницу. Не давая ему времени возразить, Барье поспѣшилъ привести второй, рѣшающій доводъ:

— Не говоря уже о томъ, что въ октябрѣ вамъ гораздо легче перемѣстить капиталы.

Даксъ съ удивленіемъ поднялъ глаза на своего будущаго зятя.

— Капиталы? Какіе капиталы?

Барье фамильярно хлопнулъ его по колѣну.

— Я говорю о приданомъ, папа. О четырехъ стахъ тысячъ франковъ, которые вы выложите вотъ на этотъ столъ въ день подписанія контракта.

Брови Дакса поднялись дугой.

— Банковыми билетами?

— Если хотите, я удовольствуюсь чекомъ.

— Вы требуете обезпеченія? Я признаю васъ вкладчикомъ нашего торговаго дома на сумму въ четыреста тысячъ франковъ, съ которыхъ я буду платить вамъ пять процентовъ каждые три мѣсяца... Для этого мнѣ не нужно трогать капитала.

Теперь докторъ Барье въ свою очередь изобразилъ на лицѣ глубокое изумленіе:

— Что такое? Между нами никогда и рѣчи не было ни о какомъ вкладѣ въ дѣло. Вы заявили мнѣ, тридцатаго мая ми-

нущаго года, наканунѣ нашей помолвки, что у мадемуазель Алисы четыреста тысячъ приданаго. Четыреста тысячъ франковъ, это капиталъ въ четыреста тысячъ, а ничуть не рента въ двадцать тысячъ. Вы говорили о четырехъ стахъ тысячъ франковъ, милый тесть. Неужели же вы станете теперь отказываться отъ своего слова?

Даксъ разсердился.

— Я никогда не отказываюсь отъ своего слова, Барье, — знайте это разъ навсегда. Я заявилъ, что дамъ четыреста тысячъ, и дамъ ихъ. Но я не представлялъ себѣ, что врачъ, живущій въ Лионѣ, можетъ быть настолько несвѣдущъ въ коммерческихъ дѣлахъ, чтобы предположить, что коммерсантъ, выдавая замужъ дочь, согласится безъ всякой пользы для кого бы то ни было вынуть изъ дѣла сумму, крайне необходимую для его оборотовъ, и которую нигдѣ нельзя помѣстить выгоднѣе, чѣмъ именно у него.

Барье слушалъ его, раскрывъ ротъ.

— Такъ, значить, послѣ свадьбы я сдѣлаюсь вашимъ компаньономъ, — все равно, желаю ли я этого, или нѣтъ? Вы, какъ видно, меня не знаете, милый тесть. Я врачъ, а не коммерсантъ, и впредь тоже не желаю заниматься коммерціей. Благодарю покорно за ваши трехмѣсячныя выплаты. Будьте любезны сказать мнѣ, что я могу сдѣлать, если вамъ вдругъ придетъ фантазія забыть срокъ уплаты?

На впалыхъ щекахъ Дакса вспыхнула краска негодованія.

— Господинъ Барье, — сказалъ онъ, — мнѣ еще никогда не приходила фантазія не платить по своимъ обязательствамъ, и я никому не позволю оскорблять себя въ собственномъ домѣ...

Барье пожалъ плечами и продолжалъ довольно грубымъ тономъ.

— Къ чему этотъ трагическій тонъ? — сказалъ онъ. — У меня и въ мысляхъ не было оскорблять васъ, господинъ Даксъ. Вы это отлично знаете. Громкія фразы поэтому совершенно излишни. Мы обсуждаемъ дѣло, вотъ и все.

Оба они очень возвысили голосъ. Въ сосѣдней комнатѣ аккорды рояля стали звучать все тише. При словѣ „дѣло“ — рояль внезапно замолкъ.

— Наше дѣло таково, что всякое обсужденіе излишне, — возразилъ Даксъ. — Вы, врачъ, женитесь, чтобы устроить неподалеку отъ вашего прежняго кабинета для консультацій — новый и создать себѣ болѣе обезпеченную и болѣе выгодную практику. Развѣ вамъ нуженъ для этого капиталъ? Вашъ родъ занятій

именно можетъ обойтись безъ вкладнаго капитала. Вамъ нужны только порядочные доходы, чтобы жить на достаточно широкую ногу. Такіе доходы я вамъ и доставлю — и притомъ въ размѣрахъ, какихъ вы сами не могли бы имѣть, не пускаясь въ спекуляціи. Зачѣмъ же вы добиваетесь другой комбинаціи, которая нарушила бы и ваши, и мои интересы? Чтѣ это за странный капризъ?

— Капризъ мой заключается въ томъ, что я стремлюсь къ обезпеченности и независимости, господинъ Даксъ. Женившись на вашей дочери, я тѣмъ самымъ беру на себя нравственную отвѣтственность за ваши дѣла. Этого совершенно достаточно, — и я не желаю взваливать на себя еще и отвѣтственность матеріальную. Самые солидныя предпріятія лопаются. Кто же можетъ поручиться мнѣ за неизмѣнное процвѣтаніе вашего? Въ маѣ мѣсяцѣ, когда я рѣшилъ жениться, у меня былъ выборъ между нѣсколькими лондонскими фирмами. Я остановился на вашей не потому, что она самая богатая — я не гонюсь за деньгами, — а потому что ваша личная репутація честнаго человѣка, крайне добросовѣстнаго въ дѣлахъ, ограждала меня отъ всякаго риска, обмана или даже недоразумѣній и денежныхъ препирательствъ. Такъ я думалъ, по крайней мѣрѣ... Вы совершенно правы, говоря, что врачу не нуженъ для устройства капиталъ въ четырехъ тысячахъ, — по крайней мѣрѣ, если у него нѣтъ долговъ; а я могу сказать съ гордостью, что никому не долженъ. Но ему нужно, — если онъ человѣкъ благоразумный, а не дуракъ, котораго легко провести, — чтобы у него въ шкапу лежали солидныя консоли или суэзскія акціи, — а не удостовѣреніе о своей долѣ въ торговомъ домѣ, — хотя бы даже это былъ торговый домъ „Даксъ и Комп.“...

Затронутый въ своей коммерческой гордости — самомъ для него священномъ чувствѣ, Даксъ поднялся.

— Господинъ Барье, — заявилъ онъ очень холодно, — домъ мой не имѣетъ претензіи быть болѣе солиднымъ, чѣмъ государственный банкъ, но онъ таковъ, что многіе рады были бы породниться со мною. Я полагаю, что и вы это считали честью, когда просили у меня руки моей дочери. Я не сталъ обсуждать финансовыя выгоды партіи, не выжидалъ болѣе выгодныхъ предложеній, чѣмъ ваше, прежде чѣмъ дать вамъ согласіе. Въ виду всего этого, если бы вы пожелали отказать, для всѣхъ будетъ ясно, кто изъ насъ больше гнался за деньгами.

Барье снова пожалъ плечами.

— Отказать! Объ этомъ нѣтъ рѣчи — пока, по крайней

мѣрь. Къ тому же, господинъ Даксъ, для васъ это было бы невыгодно. Разстроившійся бракъ—каковы бы ни были причины—непрятная исторія для молодой дѣвушки.

Даксъ нетерпѣливымъ жестомъ какъ бы отстранилъ неприятность, которой ему угрожали.

— Ужъ это мое дѣло... Но я считаю разговоръ оконченнымъ. И такъ онъ слишкомъ долго длился. Вы теперь знаете мое рѣшеніе. Я его не измѣню. Какъ желаете...

Рояль робко возобновилъ прерванную музыкальную фразу. По всей вѣроятности, мадамъ Даксъ подошла къ музыкантшѣ и приказала разсѣянными рукамъ снова продолжать свое дѣло. Но звукъ оставался глухимъ. Нога не могла нажать педаль.

— Я миролюбивѣе васъ, милый тесть, — возразилъ докторъ Барье. — Я не требую моментальнаго „да“ или „нѣтъ“. Обдумайте мои слова, и мы переговоримъ въ другой разъ. На сегодня довольно; я совершенно согласенъ съ вами. Я уйду;—это самое благоразумное — уйти. Нѣтъ, не беспокойте дамъ. Я предпочитаю, въ виду обстоятельствъ, исчезнуть на англійскій манеръ.

Онъ ушелъ, не попрощавшись съ дамами.

II.

— Дѣло! — пробормотала Алиса, сидя одна у себя въ комнатѣ.—Дѣло... Мое замужество—коммерческая сдѣлка.

Въ окно входилъ блѣдный октябрьскій свѣтъ. Рѣзкій вѣтеръ стучалъ въ окна.

— Сдѣлка, — повторила Алиса, полулежа на кушеткѣ и глубоко задумавшись. — Замужество мадамъ Терьенъ было тоже результатомъ коммерческихъ расчетовъ.

Алиса поднялась и медленно прошла два раза по комнатѣ. Потомъ она остановилась у постели, на которой, среди другихъ наваленныхъ на нее предметовъ, лежалъ альбомъ съ иллюстрированными открытками.

Алиса, конечно, собирала иллюстрированные открытки. Альбомъ былъ очень толстый и на три четверти заполненный. Пейзажи, костюмы и такъ называемыя художественныя воспроизведенія картинъ чередовались въ немъ съ изображеніями прекрасныхъ дамъ, великолѣпно раскрашенныхъ въ блѣдныхъ тонахъ а также съ жанровыми картинами, какія развѣшиваются въ галлереяхъ виллажъ и сопровождаются сентиментальными надписями

въ стихахъ. Алиса больше всего любила именно такія открытки съ сентиментальными стихами.

Альбомъ былъ раскрытъ на послѣдней страницѣ. Тамъ размѣщена была дюжина новыхъ открытокъ. Это были простыя фотогравюры съ видами Ниццы, Монте-Карло и Монако. Алиса стала, вздыхая, разсматривать ихъ одну за другой. Видъ голубыхъ странъ вызывалъ въ ней грусть въ этотъ темный осенній день. Погрустивъ съ минуту, Алиса вынула послѣднюю открытку и, подойдя къ окну, прочла еще разъ двѣ очень банальныя строчки, торопливо написанныя рядомъ съ адресомъ:

„Помните еще Сэнъ-Сергъ? Привѣты“.

И больше ничего. Но Алиса нѣсколько разъ повторяла, закрывъ глаза и прижавшись лицомъ къ стеклу:

„Помните Сэнъ-Сергъ? Привѣты“.

Открытка эта была отъ Бертрана Фужера. Онъ былъ уже двѣ недѣли въ Монте-Карло, уѣхавъ неожиданно изъ Сэнъ-Серга на слѣдующій же день послѣ пикника и грозы. О своемъ отъѣздѣ онъ никого не предупредилъ. Только случайно Алиса, выйдя изъ дому на зарѣ, встрѣтила его въ маленькомъ дилижансѣ, направлявшемся въ Нионъ по дорогѣ, которая спускалась извилами къ озеру.

При видѣ Алисы, Фужеръ, которому, повидимому, хотѣлось уѣхать незамѣченнымъ, прикусилъ сначала губы. Но черезъ минуту онъ, все-таки, сошелъ съ дилижанса и, снявъ шляпу, попрощался съ Алисой.

— Да, — объяснилъ онъ, — мадамъ Терьенъ была права. — Его охватила внезапная тоска по шумной свѣтской жизни, и онъ покидаетъ Швейцарію. Какъ разъ вчера вечеромъ напала на него эта тоска. Ему остается еще мѣсяцъ каникулъ, и онъ, вѣроятно, проведетъ его въ Монте-Карло.

— Одинъ? — спросила Алиса нѣсколько глухимъ голосомъ и не поднимая глазъ съ какого-то одного камешка на дорогѣ.

— Да... одинъ... Впрочемъ, еще не знаю...

Онъ колебался, съ любопытствомъ поглядывая на нее украдкой. Постепенно губы его сжались, какъ бы сдерживая улыбку. Вдругъ, собравшись съ духомъ, онъ сказалъ:

— Нѣтъ... не одинъ.

Онъ сказалъ, что Карменъ де-Ретцъ послѣдуетъ за нимъ черезъ два дня — минимальный срокъ для спасенія приличій. Изъ-за мадамъ Терьенъ — изъ благодарности за ея гостепріимство, нельзя было придавать отъѣзду видъ бѣгства вдвоемъ. Но это только для формы.

— Пожалуйста, не думайте ничего такого... Просто, бѣдной Карменъ надоѣли теперь ея „Дочери Лота“, и ей хочется отдохнуть мѣсяцъ. Я же предложилъ ей сопровождать ее.

Алиса, застывшая на мѣстѣ, сначала вся покраснѣла, потомъ—сдѣлалась очень блѣдной.

— Да что тамъ!—вдругъ рѣшительно сказалъ Фужеръ:—я поступлю, можетъ быть, очень некорректно, но я не могу лгать вамъ... Я все равно не выпутался бы изъ лжи. Да, вы угадали: Карменъ и я... Ну, да, иначе быть не могло... Мы проведемъ тамъ медовый мѣсяцъ.

— Вы обвиняетесь? — тихо проговорила Алиса, пробуя улыбнуться.

— Что вы! Развѣ Карменъ де-Ретцъ захочетъ выйти замужъ! Просто вапризь—вотъ и все... Посмотрѣть на голубое море, поиграть въ trente et quarante, обмѣняться иногда поцѣлуемъ... Послушайте, я буду писать вамъ открытки... конечно, втайнѣ отъ Карменъ.

На этотъ разъ щеки Алисы слегка порозовѣли.

— Вы знаете, вѣдь, что мама читаетъ всѣ мои письма...— сказала она.

— Вы не можете себѣ представить, до чего я умѣю быть приличнымъ, когда пишу молодымъ дѣвушкамъ. Къ тому же можно писать до востребованія...

— Какъ вы...

— Письмецо, адресованное мадемуазель XYZ.

— Замолчите!

Онъ замолчалъ, улыбнулся и потомъ сказалъ серьезнымъ тономъ:

— Прощайте, милая дѣвочка.

Онъ взглянулъ страннымъ взглядомъ на лѣвый високъ Алисы, вспоминая, что коснулся его однажды легкимъ поцѣлуемъ... Онъ такъ долго глядѣлъ, что Алиса покраснѣла.

— Алиса,—крикнула мадамъ Даксъ черезъ дверь,—ты готова? Пора идти въ лицей за Бернарромъ.

Алиса безшумно закрыла альбомъ. Дверь бурно раскрылась.

— Почему ты не отвѣчаешь, когда мать тебя зоветъ?

Мадамъ Даксъ отдувалась въ ожиданіи возраженія. Но Алиса ничего не отвѣтила. Она молча надѣвала шляпу, стоя передъ зеркаломъ. Мадамъ Даксъ, внутренне разочарованная, сталъ ворчать.

— Ты стала прямо изъ рукъ вонъ плохо одѣваться,—сказала она.

Послѣ возвращенія изъ Сэнъ-Серга, Алиса, обыкновенно чрезвычайно скромная въ своихъ туалетахъ, стала вносить нѣкоторую оригинальность въ свои наряды—къ сожалѣнiю, не обнаруживая при этомъ достаточно вкуса. Мать ея не обладала достаточной компетентостью, чтобы критиковать ея вкусъ, но напала на самое стремленіе Алисы къ оригинальности.

— На чтѣ теперь похожа твоя шляпа? Модиства просто положила на нее фіалки сверху, а ты перемудрила, сняла ихъ и приколола снизу, приподнявъ край... Ты, кажется, воображаешь, что такъ красивѣе, а выходитъ такъ, точно всю голову на сторону свернуло.

Алиса, нѣсколько раздраженная, вдругъ придала разговору совсѣмъ неожиданный оборотъ:

— Докторъ Барье придетъ сегодня къ обѣду? — спросила она.

Мадамъ Даксъ, нѣсколько озадаченная этимъ вопросомъ, нерѣшительно отвѣтила:

— Не знаю... Во всякомъ случаѣ, онъ, какъ всегда, предупредить отца.

— Дѣло въ томъ, — отважилась тихо спросить Алиса, — что я хотѣла бы знать...

— Чтѣ ты хочешь знать?

— Да вотъ, невѣста ли я, или же моя свадьба разстроилась...

Мадамъ Даксъ, задыхаясь отъ неожиданности, на секунду раскрыла ротъ, но ничего не могла выговорить.

— Чтѣ такое? — вырвалось у нея наконецъ. — Невѣста ли ты еще? Господи, помилуй! Да во что это ты вздумала вмѣшиваться?

Мадамъ Даксъ поняла только недавно, что пребываніе въ Сэнъ-Сергѣ не принесло нравственной пользы ея дочери. Теперь она снова въ этомъ убѣдилась: два мѣсяца тому назадъ, Алиса не осмѣлилась бы отвѣтить матери такъ твердо:

— Я вмѣшиваюсь въ вопросъ о моей свадьбѣ... о моемъ замужествѣ...

Мадамъ Даксъ не вѣрила своимъ ушамъ. Но такая дерзость со стороны дочери, которая еще только четыре года тому назадъ ходила въ короткихъ платьяхъ, требовала немедленнаго рѣшительнаго отпора. Мадамъ Даксъ не отступила передъ своимъ теринскимъ долгомъ.

— Дочь моя, — начала она съ обычной строгостью и продолжала въ самомъ рѣзкомъ тонѣ: — съ какихъ это поръ — спросила она — барышни изъ порядочныхъ семей не предоставляютъ с нимъ родителямъ заботу о своемъ замужествѣ? Между твоимъ

отцомъ и докторомъ Барье было дѣловое объясненіе. Это касается ихъ, а не тебя. Достаточно неприлично уже то, что ты знаешь объ этомъ. Нужно было продолжать играть польку, какъ я тебѣ велѣла, а не слушать, что говорить за дверью... Во всякомъ случаѣ ты невѣста и останешься невѣстой, пока твои родители не заявятъ тебѣ о разрывѣ съ твоимъ женихомъ. А если бы это произошло, то значило бы, что докторъ Барье гнался только за твоимъ приданымъ. Въ такомъ случаѣ ты должна будешь радоваться, что не сдѣлалась женой такого человѣка...

Опустивъ голову и нахмуривъ брови, Алиса молча выслушала до конца рѣчь матери. Глубокая морщина пересѣкала ея лобъ. Когда мадамъ Даксъ кончила, нужно было спѣшить въ лицей за Бернаромъ. Алиса, въ сопровожденіи горничной, вышла нѣсколько нервнымъ шагомъ.

— Скажи, — съ легкой ироніей спросилъ Бернаръ, — что слышно о докторѣ Барье?

Они возвращались домой по набережной Роны. Алиса на этотъ разъ рѣзко отказалась свернуть на улицу Республики.

— Вѣдь ты, я полагаю, со вчерашняго дня какъ на угольяхъ, — продолжалъ Бернаръ. — Быть свадьбѣ или не быть? Я бы, знаешь, на твоемъ мѣстѣ спросилъ хоть намекомъ папу... или маму.

— Да я это сдѣлала, — коротко отвѣтила Алиса.

— Что такое?

— Я говорила объ этомъ съ мамой.

— Вотъ не ожидалъ отъ тебя такой прыти, сознаюсь! Ты удивительно измѣнилась послѣ Сэнъ-Серга... совсѣмъ другая стала. Такъ ты говорила съ мамой? Что же она тебѣ отвѣтила?

— Да, конечно, ничего.

— Въ такомъ случаѣ не стоило и говорить, — сентенціозно замѣтилъ Бернаръ.

Онъ посмотрѣлъ на сестру, которая шла быстро, сжавъ губы, съ остановившимся взглядомъ. Въ немъ проснулась жалость — чувство довольно необычное въ его сухой дѣтской душѣ.

— Бѣдная ты, право! — сказалъ онъ вдругъ. — Удивительно, какъ ты не умѣешь устроить себѣ дома сносную жизнь. Но если ты воображаешь, что добьешься чего-нибудь упрямствомъ, то жестоко ошибаешься... Нельзя сказать, чтобы папа и мама часто сходились въ мнѣніяхъ, — продолжалъ онъ съ насмѣшкой, — но на тебя они нападаютъ съ удивительнымъ согласіемъ. Ихъ двое, милая моя, а ты одна...

— Я знаю, — рѣзко сказала Алиса.
И она подумала съ глубокой печалью:
„Это правда. — Я одна... совсѣмъ одна“.

III.

Барье не пришелъ къ обѣду на avenue de Noailles ни въ этотъ день, ни въ слѣдующій. Но на третій день Даксъ привелъ его къ завтраку, нарушая самымъ сенсационнымъ образомъ всѣ обычаи дома. Они вошли подъ-руку: ссора вончилась миромъ.

Они подѣлили пополамъ спорную сумму. Барье удовольствовался наличной уплатой двухсотъ тысячъ, а на остальную сумму получилъ пай. Даксъ, съ своей стороны, обязался выплачивать за сумму пая по пяти съ половиной процентовъ.

Въ теченіе цѣлаго часа, отъ закуски до десерта, они говорили только объ этомъ, обсуждая каждый пунктъ соглашенія, удовлетворяющаго обѣ стороны. Оба при этомъ старались проявить какъ можно большую уступчивость и прочно установившуюся сердечность отношеній. Въ сущности они очень уважали другъ друга и ни на минуту не сердились другъ на друга за обмѣвъ нѣсколькими рѣзкостями въ пылу спора. За десертомъ, очищая грушу, Даксъ вдругъ выпалилъ, какъ фейерверкъ, подготовленный имъ сюрпризъ. Онъ великодушно самъ назначилъ день свадьбы:

— Чего медлить, разъ мы согласны относительно всѣхъ пунктовъ? 15-го ноября выходитъ во вторникъ. Это — самый удобный день недѣли.

— Отлично. Назначимъ свадьбу на 15-ое ноября, — сказалъ докторъ Барье, принимая его предложеніе.

И сейчасъ же, чтобы не быть въ долгу передъ великодушнымъ тестемъ, онъ тоже сдѣлалъ предложеніе.

— А до того, — сказалъ онъ, — давайте предпримемъ всѣ вмѣстѣ приятную прогулку. Я хотѣлъ бы показать вамъ, пока погода еще не испортилась, мою холостую дачу въ Эмули. У меня есть тамъ въ погребѣ нѣсколько бутылокъ хорошаго вина. Хотите, поѣдемъ въ воскресенье? Мы выѣдемъ изъ города въ одиннадцать, будемъ завтракать у меня и вернемся сюда къ обѣду. Нѣсколько часовъ на воздухѣ напомнить нашимъ дамамъ и Бернару Сэнъ-Сергъ, куда я такъ и не собрался... Идетъ?

— Хорошо, — согласился Даксъ.

Всѣ стали молча складывать салфетки. Мадамъ Даксъ думала о томъ, что достаточно будетъ одного ландо для поѣздки въ Экюли... Но опять бѣдному Бернару придется сидѣть на возлахъ. Барье поглядывалъ на часы — одна пациентка... очень бѣлокурая... ждала его, въ два съ четвертью, въ кафѣ „Белькуръ“, въ задней комнатѣ.

Алиса разглядывала съ напряженнымъ вниманіемъ четыре крошки хлѣба, не сметенныя со скатерти.

IV.

Сидя въ своей бѣлой, выштукатуренной комнатѣ, аббатъ Бюръ читалъ часословъ.

Ничто не измѣнилось за два мѣсяца. И комната была та же, и аббатъ такой же — какъ тогда. Только дулъ октябрьскій вѣтеръ. Въ плотно запертыя окна свѣтилъ поблѣднѣвшій солнечный свѣтъ. И въ рукахъ у Алисы, вдругъ показавшейся на порогѣ, была муфта, а не зонтикъ.

Аббатъ сталъ ласково журить ее.

— Долго же вы пропадали, дочь моя, — сказалъ онъ. — Когда вы вернулись въ городъ? Цѣлая вѣчность прошла съ послѣдней исповѣди. Вотъ такъ всегда... Уѣзжаютъ на каникулы, проводятъ пріятно время, — а о Богѣ забываютъ.

Алиса сѣла, ни слова не говоря, на единственный стулъ въ кельѣ... Прежде она предпочитала молитвенную скамейку, на которую садилась, какъ ребенокъ, поднявъ колѣни къ подбородку.

— Какая вы сегодня серьезная! — замѣтилъ священникъ. — Куда дѣвалась моя прежняя веселая козочка?

Козочка грустно покачала головой.

— Чтò случилось? — спросилъ съ удивленіемъ аббатъ Бюръ. — Чтò не ладится?

— Мое замужество, отецъ... Я хочу отказать...

Аббатъ Бюръ круто повернулся на креслѣ отъ изумленія.

— Отказать? — задыхаясь, повторилъ онъ.

Онъ вынулъ платокъ, вытеръ лобъ, протеръ глаза. Алиса слѣдила за вызваннымъ ею волненіемъ, сохраняя рѣшимость во взглядѣ. Наконецъ, аббатъ снова заговорилъ:

— Вы хотите отказать? — Господи, помилуй! Чтò это еще за новый капризъ? Хоть убейте, не понимаю. Прямо можно придти въ отчаяніе: вотъ два года, какъ вы только о томъ и мечтаете, чтобы выйти замужъ, — кажется, я васъ достаточно за это бра

нилъ. Затѣмъ—вамъ находятъ мужа. Вы даете согласіе — и вдругъ... не угодно ли — вы желаете отказать!.. Такъ что же это, наконецъ, значить?—Объясните, ради Господа!

Алиса объяснила все въ четырехъ словахъ, рѣшительныхъ какъ приговоръ суда.

— Докторъ Барье меня не любить.

— Опять то же самое!—воскликнулъ священникъ.

Онъ помнилъ еще хорошо прежнія жалобы Алисы: „Меня не любятъ... Никто меня не любитъ“... Ему казалось, что и новая ея жалоба сродни прежнимъ. Онъ началъ было убѣждать ее по-прежнему:

— Вы неблагоразумны, дитя мое...

Но Алиса остановила его.

— Докторъ Барье не любить меня, отецъ,—твердо сказала она.—Ему нужно только мое приданое. А я не хочу, не хочу, чтобы на мнѣ женились изъ-за денегъ.

Въ теченіе цѣлыхъ шести дней Алиса несказанно страдала отъ оскорбленнаго самолюбія, и теперь, наконецъ, затаенное страданіе вылилось въ возбужденную передачу всего пережитаго ею. Она сбивчиво рассказала все: какъ отецъ и докторъ Барье спорили, какъ Барье торговался, наполовину отказался, и какъ, наконецъ, достигнуто было окончательное соглашеніе. Священникъ, совершенно несвѣдущій въ практическихъ дѣлахъ, слушалъ, раскрывъ ротъ и не вполне понимая. Когда Алиса кончила, онъ обсудилъ все, какъ счумѣлъ, и, помолчавъ, нерѣшительно произнесъ:

— Но вѣдь теперь все улажено...

— Улажено, потому что ему даютъ двѣсти тысячъ франковъ. Безъ этихъ двухсотъ тысячъ онъ бы, не задумываясь, отказался. И затѣмъ, подумайте, отецъ. Если мы когда-нибудь разоримся, если дѣла папы будутъ плохи, если онъ не сможетъ выплачивать ренту Барье,—все опять пойдетъ прахомъ. Мой мужъ будетъ тяготиться мною и отправить меня изъ дому, какъ рассчитываютъ негодную прислугу... Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ, я не желаю подвергать себя этому.

Аббатъ Бюръ облегченно вздохнулъ. Если дѣло только въ такихъ ребяческихъ страхахъ...

— Вы обезумѣли, дочь моя,—сказалъ онъ.—Вы сами вѣдь отлично понимаете, что вашъ мужъ и не подумаетъ отправлять васъ изъ дому... Что докторъ Барье обнаружилъ стяжательство, защищая свои денежные выгоды, это возможно и очень прискорбно... но таковъ духъ времени. Всю свою жизнь, Алиса,

вы будете видѣть, какъ чистая евангельская мораль попирается самыми честными людьми... Во всякомъ случаѣ, когда вы сдѣлаетесь женой доктора Барье, его интересы и ваши будутъ слиты. Вы должны, напротивъ того, видѣть гарантію будущаго благополучія въ томъ, что вашъ женихъ—такой упорный человекъ и сумѣлъ противиться даже вашему отцу и добиться отъ него—чего хотѣлъ.

Этотъ доводъ смутилъ Алису, но только на одну минуту.

— Нѣтъ,—сказала она.—Дѣло не въ этомъ, а... не знаю, какъ вамъ это объяснить, отецъ...

Она сосредоточилась и потомъ вдругъ заговорила очень рѣшительнымъ тономъ:

— Онъ меня не любитъ,—сказала она,—и не будетъ любить меня и потомъ. Я для него какъ бы прислуга, которую онъ нанимаетъ для того, чтобы она содержала въ порядкѣ его домъ, принимала его гостей и носила красивыя платья, за которыя ему же будутъ дѣлать комплименты. Все остальное его не интересуетъ. Онъ будетъ занятъ своей практикой, своими денежными дѣлами, своимъ положеніемъ—и больше ничѣмъ. А на меня онъ даже вниманія не будетъ обращать. Я этого не хочу... не хочу.

Священникъ поднялся со стула разгнѣванный.

— Вотъ онъ, грѣхъ!—сказалъ онъ.—Повторяю вамъ опять, Алиса, васъ соблазняетъ дьяволъ. Онъ манитъ васъ какой-то грѣховной надеждой на чисто-языческое счастье. Вы мечтаете о жизни среди баловства, о жизни, въ теченіе которой вашъ мужъ, забывая свой христіанскій долгъ быть вашимъ руководителемъ, былъ бы постоянно у вашихъ ногъ. Нѣтъ, такая жизнь невозможна, ибо Господь запретилъ ее.

Въ прежнее время Алиса покорилась бы увѣщаніямъ духовнаго отца. Но времена очень измѣнились; она даже сама не сознавала, до чего она сдѣлалась другой.

— Вы въ этомъ увѣрены, отецъ?—смѣло спросила она.—Однако я видѣла людей, которые жили, любя другъ друга всѣми силами души, жили только для любви... И я увѣрена, что эти люди не гнѣвили Бога.

Аббатъ Бюръ гнѣвно положилъ руку на книгу передъ собою.

— Фарисеи казались бѣлыми какъ снѣгъ,—однако Господь проявлялъ ихъ за ихъ лицемеріе. Кто не живетъ по закону Гсподню, тотъ гнѣвитъ Господа. Всѣ земныя качества—прахъ Царство Божіе—не отъ міра сего. Да и на землѣ—продолжа онъ—нѣтъ счастья внѣ Бога. Грѣхъ отравляетъ всѣ мнимыя

радости. Радости эти—какъ преждевременно упавшіе съ дерева незрѣлые плоды. Они съ виду румяны и обольстительны. Но разрѣжьте ихъ и внутри окажется подтачивающій ихъ червь.

Онъ остановился и поглядѣлъ на свою духовную дочь глубокимъ взглядомъ:

— Вы говорите, что видѣли счастливыхъ людей—вы плохо видѣли. Дьяволъ ослѣпилъ васъ видомъ мнимыхъ радостей, скрывая отъ васъ радость истинную: радость служенія Господу. Господь повелѣваетъ вамъ, дочь моя, быть честной христіанской супругой, скромной и внимательной къ мужу, покорной, безъ гордыни и суетныхъ мечтаній. Повинуйтесь, и вы будете счастливы, счастливы уже здѣсь, на землѣ, ибо исполненный долгъ—самъ по себѣ лучшая награда.

То, что онъ проповѣдывалъ, было лишено всякой оригинальности, но онъ говорилъ съ большой увѣренностью, и Алиса, поддаваясь вліянію голоса, руководившаго ею съ ранней юности, начала колебаться.

Онъ говорилъ ей о мирныхъ радостяхъ христіанскаго семейнаго очага, о почетѣ, окружающемъ честность и добродѣтель, о счастья въ сознаніи исполненнаго долга, объ ожидающей ее спокойной и мудрой жизни въ ея домѣ, о счастливой старости среди дѣтей и о спокойной кончинѣ, которую Господь вознаградитъ ее за праведную жизнь.

Побѣжденная его словами, Алиса долго сидѣла, не произнося ни слова. Наконецъ, она безмолвно поднялась, выдвинула изъ угла стоящую тамъ соломенную молитвенную скамейку и, приблизивъ ее къ исповѣднику, опустилась на колѣни.

— Хорошо,—сказалъ священникъ.—Возьмемся за очищеніе души отъ севєрны. Читайте Confiteor.

V.

Холостая дача доктора Барье представляла изъ себя уютный домикъ, спрятанный въ тѣни довольно большого сада. Лионъ—строгий городъ, и молодымъ людямъ не разрѣшается слишкомъ открыто предаваться легкомысленнымъ развлеченіямъ. Для такихъ болѣе пригодны пустынные мѣста за городомъ. Докторъ Барье, очень заботившійся о своей репутаціи, выбралъ для своей холостой лѣтней квартиры самый отдаленный уголокъ деревушки Эюли, любимое мѣсто лионскаго буржуазнаго населенія для воскресныхъ прогулокъ лѣтомъ.

Въ домихъ не разъ бывали очень веселые гости—подчасъ и дамы. Но все это легкомысленное прошлое ни въ чемъ не проявлялось, и столовая, обтянутая цвѣтнымъ кретономъ, была точно спеціально предназначена для приѣма невѣсты...

Завтракъ кончился. Положивъ одинъ локоть на столъ, Даксъ пилъ медленными глотками старое бургонское, которое ему только-что налилъ хозяинъ дома.

— Подарокъ отъ пациента, — не безъ фатовства объяснилъ докторъ.

— Вамъ, докторамъ, хорошо,—замѣтила мадамъ Даксъ.

Завтракъ прошелъ очень весело. Отношенія между хозяиномъ и гостями были самыя дружелюбныя. Было еще совсѣмъ тепло, октябрь походилъ на июнь, солнце грѣло еще совсѣмъ по-лѣтнему, хотя свѣтъ его и поблѣднѣлъ отъ первыхъ тумановъ.

Алиса дѣлала надъ собой усилія, чтобы не казаться мрачной или даже задумчивой, и ей это, повидимому, удалось, такъ какъ мать ея, при всей своей бдительности, не находила случая дѣлать ей какія-либо внушенія.

— Я еще долженъ показать вамъ свои владѣнія, милый тесть,—сказалъ Барье.—Безъ этого я васъ не отпущу. Допейте ваше вино и отправимся. Я вамъ покажу домъ и садъ, и вы сами скажете, будетъ ли здѣсь хорошо мадемуазель Алисѣ будущимъ лѣтомъ.

Даксъ, любезно снисходя въ желанію Барье, осмотрѣлъ кухню и людскую внизу, три комнаты и роскошную уборную въ первомъ этажѣ. Мадамъ Даксъ хвалила съ видомъ знатока изящество мебели стиль-модернъ и картины, развѣшанныя на стѣнахъ.

— Когда я купилъ домъ,—не безъ гордости объяснялъ докторъ Барье,—обстановка была ужасная. Прежній собственникъ, фермеръ, сначала самъ здѣсь жилъ, а потомъ отдавалъ домъ въ наемъ. А наниматель, какой-то чужакъ, оставилъ все какъ было—старые дубовые шкапы, четырехугольный столъ, часы съ кукушкой, вквашню. Можно было подумать, что входилъ въ деревенскій домъ. Я-то, конечно, все это измѣнилъ, а старую рухлядь послалъ продать съ аукціона. И представьте: нашлись дураки, заплатившіе за все это старье очень дорого.

Спустившись въ садъ, Даксъ остановился въ нерѣшительности. Садъ былъ большой. Передъ входомъ раскинутъ былъ цвѣтникъ съ розами, затѣмъ шель лугъ, съ котораго на самомъ солнцепекѣ шла крутая дорожка на пригорокъ, гдѣ росли нѣсколько тополей и липъ.

— Вы насъ очень ужъ сытно накормили, Барье,—сказалъ Даксъ.— Мнѣ теперь тяжело будетъ взбираться вверхъ. Да и отсюда хорошо видно. Что тамъ за деревьями?

— Ничего: только игра въ шары. Роща не глубокая.

— Ну, такъ не стоитъ взбираться. Посидимъ лучше въ тѣни.

Алиса прошла нѣсколько шаговъ и глядѣла вверхъ, на деревья. Женихъ ея подмѣтилъ этотъ взглядъ.

— Мадемуазель Алиса, если вамъ не лѣнь... то намъ ничто не мѣшаетъ подняться туда вдвоемъ.

Мадамъ Даксъ нашла это предложеніе неприличнымъ. Ей менѣе всего хотѣлось взбираться вверхъ по солнцепеку, но нельзя же было отпустить дочь вдвоемъ съ молодымъ человекомъ. Она уже собиралась протестовать, но ее предупредилъ мужъ.

— Что вы, Барье!—воскликнулъ онъ.— Вы еще не ея мужъ. Подождите мѣсяцъ—тогда будете ходить гулять вдвоемъ.

Мадамъ Даксъ, изъ упрямства, тотчасъ же перемѣнила мнѣніе:

— Подумаешь, какая бѣда, если они погуляютъ вдвоемъ! Никакого грѣха въ этомъ нѣтъ.

Даксъ разозлился, но, желая сохранить миролюбивое настроеніе, сдержался и только отвѣтилъ сухимъ тономъ:

— Никакого грѣха нѣтъ; я и не говорю. Если Бернаръ будетъ сопровождать свою сестру, то не будетъ даже и неприлично.

— Бернаръ?—иронически воскликнула мадамъ Даксъ.— Въ фуражкѣ? Чтобы получить солнечный ударъ?

Докторъ Барье поспѣшилъ предупредить домашнюю сцену.

— Да что вы, милый тесть!—сказалъ онъ.— Не напускайте на себя строгость. Если мадемуазель Алисѣ хочется подняться на гору, зачѣмъ ей отказывать въ такомъ невинномъ удовольствіи?.. Здѣсь, у насъ...

Онъ быстро повернулся къ Алисѣ и пошелъ съ ней подъ руку.

Они шли, ничего не говоря. Съ луга поднимался сухой горячій запахъ. Изъ-подъ ихъ ногъ, когда они шли, вылетали бѣлыя бабочки съ золотистыми точками на крылышкахъ.

Аллея, окаймленная короткимъ терновникомъ, шла зигзагами вверхъ по подъему, а потомъ терялась между деревьями подъ сводомъ спутанныхъ вѣтвей. Широкія вѣтви липы образовали густую пелену, а въ высокихъ тополяхъ дрожали на вѣтру и тихо шелестѣли листья. Открытая прямоугольная поляна была приспособлена для игры въ шары. Съ одного края ея былъ навѣсъ, съ другого—деревянная скамейка.

— Лѣтомъ, — объяснилъ Барье, — здѣсь всегда свѣжо. Въ будущемъ году вы будете сидѣть здѣсь днемъ съ руководѣлемъ, а когда я вечеромъ буду возвращаться изъ Ліона, я буду приходить сюда... чтобы обнять васъ.

Они сѣли на скамейку. Алиса, задумавшись, чертила каблукъ кривую линію на песокѣ. Она чувствовала странное волненіе. Смутныя воспоминанія носились въ ея душѣ; среди нихъ опредѣлялось одно... Она вспомнила, что не въ первый разъ была среди тишины, подъ деревьями, наединѣ съ мужчиной. Она чувствовала, какъ кровь прилила къ ея щекамъ.

Габріэль Барье замолчалъ. По таинственному совпаденію онъ тоже вспоминалъ въ эту минуту о томъ, что произошло на этой же полянѣ. Тутъ, на этой же скамейкѣ, съ нимъ такъ мило шалила и нѣжничала хорошенькая Рита, „ingénue“ изъ „Célestins“.

Барье тоже покраснѣлъ. Онъ почувствовалъ учащенное бѣненіе пульса, искоса взглянулъ на свою невѣсту и опустилъ глаза. На его смугломъ лицѣ выступили мелкія капельки пота.

Что за бѣда, если онъ и превыситъ права жениха! Барье мягко обнялъ плечи молодой дѣвушки. Она вздрогнула, но не оттолкнула его. Рука жениха завладѣла обѣими руками Алисы. Постепенно губы его приблизились къ ея опущенному лицу. Алиса почувствовала прикосновеніе мягкой, шелковистой бороды... До этихъ губъ другія приближались къ ней... Алиса вся дрожала. Она сохранила въ памяти ощущеніе ласки, коснувшейся когда-то ея виска. Неужели онъ теперь повторится, тотъ страшный и нѣжный поцѣлуй, вкрадчивый и робкій, точно изъ пламени и снѣга?..

Поцѣлуй повторился... но она почувствовала его не на вискѣ... Оставивъ плечи своей невѣсты, Барье сильнымъ движеніемъ взялъ ее за шею, привлекъ къ себѣ покраснѣвшееся лицо Алисы и поцѣловалъ ее въ губы грубымъ поцѣлуемъ, оскорбившимъ дѣвушку. Она вскочила, оттолкнула его изо всей силы и убѣжала.

VI.

Въ конторѣ на улицѣ Терайлъ Даксъ и его пять служащихъ усердно работали. Стукъ пишущихъ машинъ чередовался съ звонками въ телефонъ. Было еще не поздно, но уже зажжены были лампы, такъ какъ въ узкія окна проникалъ лишь сѣрый полусвѣтъ, при которомъ нельзя было работать. Въ мрачной ком-

натѣ бѣлѣли только круги свѣта, вырѣзанные на потолокъ зелеными картонными абажурами.

Рѣзкій голосъ Дакса диктовалъ циркулярное письмо.

— Ну что, написали, Миллеръ? Нѣтъ еще... Имѣть васъ секретаремъ—одно удовольствіе... Пожалуйста, поскорѣе...

„Шанхай продалъ много тканей въ эту недѣлю по прежнимъ цѣнамъ. Кантонъ запрашиваетъ все дороже и дороже. На сирійскіе и брусскіе шелка есть спросъ... Мы котировемъ: сирійскій шолкъ, 1-й сортъ... 41 фр. 42 сант.; брусскій, 1-й сортъ— 14/20... 40/41...“—Что тамъ такое?

Дверь шумно раскрылась, и въ конторѣ неожиданно появилась мадамъ Даксъ, а за нею Алиса.

Наступило растерянное молчаніе. Никогда еще на памяти служащихъ мадамъ Даксъ и ея дочь не являлись вмѣстѣ въ контору. Всѣ машинистки инстинктивно перестали писать.

Даксъ поднялъ очень высоко свои тонкія брови, но больше ничѣмъ не проявилъ своего изумленія.

— Зачѣмъ вы пришли?—спросилъ онъ.

— Мы пришли потому что...

Мадамъ Даксъ начала свою фразу очень энергично, но сейчасъ же остановилась, и взглядъ ея указалъ на служащихъ.

— Пройдемъ сюда,—сказалъ Даксъ.

Онъ провелъ жену въ складъ. Алиса, молча и какъ бы поворившись судьбѣ, шла за матерью.

Закрывъ за собой дверь, Даксъ повернулъ выключатель. Слабый свѣтъ небольшой ручной электрической лампочки, повѣшенной на стѣну, освѣтилъ большое помѣщеніе, заполненное тюками товара.

— Что же случилось?—спросилъ Даксъ.

— Вотъ что случилось!—крикнула мадамъ Даксъ, теряя самообладаніе.—Эта дѣвица не желаетъ выходить замужъ.

— Не желаетъ...

— Не желаетъ выходить замужъ—кажется, я говорю достаточно ясно. Алиса отказываетъ вашему доктору. Поняли?

Даксъ счелъ излишнимъ сказать что-либо въ отвѣтъ. Онъ съ наружнымъ спокойствіемъ снялъ лампочку со стѣны и подошелъ совсѣмъ близко къ дочери, освѣщая ея лицо.

— Что это за шутка?—грубо спросилъ онъ.

Это происходило 11-го октября 1904 года. А съ пятницы, 25-го іюля 1884 года, т.-е. съ самаго дня своего рожденія, Алиса Даксъ никогда не противилась волѣ отца или матери. Ю, очевидно, въ ней произошла какая-то таинственная пере-

мѣна, потому что на вопросъ отца, на вопросъ, равный приказанію, Алиса отвѣтила рѣшительно, хотя и тихо:

— Это не шутка.

При рѣзкомъ электрическомъ свѣтѣ лицо Алисы приняло выраженіе сосредоточенности мысли и упрямства. Отецъ поглядѣлъ на ея опущенныя неподвижныя вѣки, на сжатія губы, на лобъ, прорѣзанный вертикальной складкой. Это лицо выражало не мятежь, а спокойную, непоколебимую рѣшимость.

Привышій къ безпрекословному повиновенію, Давсъ не изумился, а вознегодовалъ:

— Вотъ какъ! — воскликнулъ онъ. — Это не шутка? Такъ что же это? Забытое согласіе? Неполненное обѣщаніе?

— Я ничего не обѣщала, — осмѣлилась прервать его Алиса.

— Но я обѣщала за тебя — и послѣ того, какъ заручился твоимъ согласіемъ. Вѣдь тебя не насильно замужъ выдавали? Согласилась ты, — да или нѣтъ?

— Согласилась, но...

— А теперь отказываешься? — Слишкомъ поздно, милая. Ты дала согласіе, и на этомъ дѣло кончено.

Онъ сухимъ жестомъ снова повѣсилъ лампу на стѣнку въ знакъ того, что разговоръ конченъ. Но когда онъ уже нажалъ ручку двери, чтобы открыть ее, онъ въ изумленіи остановился: Алиса стояла неподвижно и медленно качала головой.

— Это что значитъ? — сказалъ Давсъ. — Ты не слышала, что я сказалъ?

— Я не выйду замужъ за доктора Барье.

Ея рѣшительный тонъ нѣсколько смутилъ отца. Но теперь въ битву вступила мать, выходявшая изъ себя отъ гнѣва.

— Она не выйдетъ замужъ... Слышанное ли это дѣло!.. Двадцатилѣтняя дѣвчонка осмѣливается противиться волѣ отца и матери!

Отецъ Алисы былъ болѣе разсудителенъ. Онъ какъ-то инстинктивно почувствовалъ уваженіе къ такой неожиданной стойкости, въ которой узналъ свою собственную силу воли. Онъ внимательно посмотрѣлъ на дочь.

— Почему? — болѣе мягко спросилъ онъ... — Почему? — повторилъ онъ, видя, что дочь молчитъ. Вѣдь не изъ каприза же ты не хочешь выйти за Барье. У тебя должна быть причина. Скажи ее

Фраза, которую мать уже разъ слышала и не могла забыть сама собой прозвучала въ устахъ Алисы:

— Я не хочу выйти за него, потому что онъ меня не любитъ, и я не люблю его.

— Что она говорить? — возмущенно воскликнула мадамъ Даксъ, но мужъ остановилъ ее рѣшительнымъ жестомъ. Онъ совершенно успокоился и разсуждалъ съ обычнымъ хладнокровіемъ.

— Что онъ тебя не любитъ — этого ты не можешь знать. Твоя мать и я, думая о твоёмъ счастьи, рѣшили, напротивъ того, что онъ тебя любитъ. Точно также ты не можешь знать, что ты его не любишь. Молодая двѣвушка можетъ дать себѣ въ этомъ отчетъ только послѣ свадьбы. Причина, которую ты приводишь, не основательна. Должно быть что-нибудь другое. Скажи — что.

— Другой причины нѣтъ? — спросилъ онъ, не дождавшись отвѣта отъ Алисы. — Въ такомъ случаѣ...

Онъ пожалъ плечами, но Алиса съ той же кротостью и упрямствомъ снова покачала головой.

— Я не выйду за доктора Барье, — сказала она.

— Такъ за кого же ты собираешься выходить? — спросилъ вдругъ Даксъ. — Ты, очевидно, избрала кого-нибудь другого. Ты любишь или воображаешь, что любишь кого-нибудь?

Алиса густо покраснѣла и гордо откинула назадъ голову.

— Я никого не люблю... но не выйду за доктора Барье.

На этотъ разъ отецъ посмотрѣлъ въ лицо дочери властнымъ взглядомъ.

— Посмотримъ, — сказалъ онъ, наконецъ, холодно. — Я, конечно, не могу заставить тебя сдержать данное нами слово. Но я могу заставить тебя подумать. Не забудь, что ты еще не достигла совершеннолѣтія и безъ моего согласія замужъ выйти не можешь... Ага, объ этомъ ты не подумала! Такъ вотъ что: ты сейчасъ же отправись домой, пойдешь къ себѣ въ комнату и останешься тамъ... Это разстраиваетъ твои планы, не правда ли? Ты бы предпочла бѣгать по городу. Но что же дѣлать — ты должна повиноваться.

Алиса вдругъ подняла голову. Въ глазахъ ея сверкалъ гнѣвъ. Даксъ обернулся къ женѣ и сказалъ спокойнымъ голосомъ:

— Будьте любезны сегодня же отказать отъ мѣста вашей горничной. Слѣдите отнынѣ сами внимательнѣе за своей дочерью. А теперь уходите обѣ.

Онъ открылъ дверь и потушилъ электричество. Въ конторѣ служащіе усердно принялись за работу при входѣ хозяина.

— Что касается Барье, то я самъ скажу ему... или, вѣрнѣе, ничего не скажу... пока. Уходите.

Дверь захлопнулась.

Выйдя на улицу, мадамъ Даксъ, оиѣмѣвшая на время отъ неслыханной дерзости Алисы, хотѣла вознаградить себя за потерянное.

— Алиса!..—энергично начала она.

Но Алиса, не слушая ее, быстро направилась домой своимъ почти мужскимъ шагомъ. Начался настоящій бѣгъ взапуски. Мадамъ Даксъ, взбѣшенная, задыхаясь отъ быстрой ходьбы, тщетно старалась догнать дочь, которая торопливо шла, пробираваясь черезъ толпу прохожихъ. Такъ онѣ обѣ прошли чуть не бѣгомъ нѣсколько улицъ, потомъ вышли на болѣе пустынную набережную. Алиса шла все быстрѣе, оставивъ далеко за собой мать, затѣмъ дошла до дому, позвонила, вошла... Когда мадамъ Даксъ, наконецъ, тоже очутилась передъ дверью, дверь уже была заперта... Мадамъ Даксъ, внѣ себя, поспѣшила наверхъ въ комнату дочери, но на полъ-дорогѣ остановилась.

„Если Алиса рѣшается такъ дѣйствовать, — значить, она обезумѣла отъ бѣшенства. Въ такомъ состояннн она не услышитъ моихъ словъ... Отецъ ея, положительно, не умѣетъ обращаться съ нею“.

Эта мысль утѣшила мадамъ Даксъ.

Запершись въ своей комнатѣ, Алиса прежде всего раскрыла окно и широко вздохнула всей грудью. Съ Роны, скрытой за платанами, доносился острый холодокъ. Мимо окна проѣхала открытая коляска, въ которой сидѣли закутанныя женщины... Алиса отошла отъ окна и стала ходить по комнатѣ.

Вдругъ она сѣла къ письменному столу, взяла листъ почтовой бумаги и рѣшительно обмакнула перо въ чернильницу. Но, видимо, написать письмо было не такъ-то легко. Алиса долго держала перо въ поднятой рукѣ... Наконецъ, она рѣшилась. Прежде всего она написала на конвертѣ:

„Господину Бертрану Фужеру, секретарю посольства. Отель де-ла-Террасъ. Монте-Карло“.

Затѣмъ она начала на листкѣ бумаги: „Другъ мой, я не знаю, чтѣ станется со мной“...

Она остановилась, не находя дальнѣйшихъ словъ. Перо снова выпало изъ рукъ. Алиса провела рукой по лбу, встала и подошла къ окну.

Мимо окна проѣхала очень элегантная коляска, запряженная парой... На бирюзово-голубыхъ подушкахъ сидѣла довольно красивая женщина, роскошно одѣтая... Алиса вздрогнула... Эти слишкомъ рыжіе волосы, удлиненные глаза, накрашенные губы.. Конечно, это была какъ-разъ та женщина легкаго поведенія

которой Бернаръ поклонился однажды при выходѣ изъ лица. Алиса вспомнила имя, которое онъ назвалъ: Діана д'Аркъ. Она дважды повторила это имя страннымъ, безповойнымъ и глухимъ голосомъ... И, охваченная вдругъ страннымъ волненіемъ, Алиса отошла отъ окна, вернулась къ начатому письму и снова взяла перо въ руки.

Съ франц. З. В.



ДВАДЦАТЬ-ВТОРОЕ АВГУСТА

1883—1908.

Еще три недѣли — и исполнится четверть вѣка со дня смерти И. С. Тургенева. Поколѣнiе сороковых годовъ, къ которому онъ принадлежалъ, почти все сошло со сцены; немного осталось въ живыхъ и младшихъ его современниковъ; люди зрѣлаго возраста начали жить сознательною жизнью, когда его уже не было на свѣтѣ; молодежь воспиталась и воспитывается подъ другими влiянiями, поклоняется другимъ богамъ. Сдавненное между двумя волнами — реакционной и революционной, — мiросозерцанiе, котораго держался Тургеневъ, переживаетъ тяжелый кризисъ. И все-таки мы едва-ли ошибемся, если скажемъ, что значительной части современнаго русскаго общества Тургеневъ близокъ и дорогъ развѣ немногимъ меньше нежели тѣмъ, кто оплакивалъ его кончину, — и станетъ въ будущемъ еще болѣе дорогимъ и близкимъ.

„Тургеневу — говорили мы мѣсяць спустя послѣ его смерти — не могли и не могутъ простить двухъ тяжкихъ преступленiй: его сочувствiя Западной Европѣ и его вѣрности убѣжденiямъ, которыя она въ немъ воспитала. Онъ доказалъ всею своею жизнью и всѣми своими трудами, что можно быть русскимъ, всецѣло русскимъ по сердцу и по духу — и вмѣстѣ съ тѣмъ европейцемъ, въ самомъ полномъ и широкомъ смыслѣ этого слова. Онъ доказалъ, что можно пережить длинный рядъ революцiй и реакцiй въ Европѣ, эпохи застоя и реформъ, регресса и смуты въ Россiи — и тѣмъ не менѣе сохранить вѣру въ свободныя учрежденiя и свободныя права“¹⁾. Велика была цѣнность этого урока въ тѣ времена, когда „свободно рыскалъ звѣрь и человѣкъ бродилъ пугливо“, и въ ту позднѣйшую эпоху, когда только-что

¹⁾ См. „Внутреннее Обозрѣнiе“ въ № 10 „Вѣстника Европы“ за 1883 г., стр. 779 и сл.

разсѣявшійся страхъ опять начиналъ тяготѣть надъ русскими сердца-
цами; но велика она, несмотря на всѣ совершившіяся перемены, и
теперь, когда изъ всѣхъ щелей выползаетъ старинный мракъ, когда
якоремъ спасенія выступаютъ „истинно-русскія“ начала и засиліе
берутъ „истинно-русскіе“ люди. Въ видоизмѣненной формѣ передъ
нами опять стоитъ тотъ врагъ, бороться съ которымъ Тургеневъ
далъ „Аннибалову клятву“. Формально отмѣненное, крѣпостное право
до сихъ поръ живетъ въ душѣ его эпигоновъ. Развѣ на думскихъ
скамьяхъ мы не видимъ Калломѣйцевыхъ, лицо которыхъ „выражаетъ
пріятную вольность высокообразованнаго дворянина“, но „весьма легко
становится злымъ, даже грубымъ“? „Стоило кому-нибудь“ — читаемъ
мы въ „Нови“, — „чѣмъ-нибудь задѣтъ Семена Петровича, задѣтъ его
консерваторскіе, патріотическіе и религіозные принципы—о! тогда онъ
дѣлался безжалостнымъ! Все его изящество испарялось мгновенно;
красивый ротикъ выпускалъ некрасивыя слова и взывалъ, съ пискомъ
взывалъ къ начальству“. Развѣ эта картина не напоминаетъ намъ
чего-то очень близкаго, очень знакомаго? Разница между тогдашними
Калломѣйцевыми и нынѣшними заключается, главнымъ образомъ, въ
томъ, что порывистость первыхъ умѣрялъ иногда даже губернаторъ,
а усердіе послѣднихъ встрѣчаетъ, по временамъ, поддержку и со сто-
роны болѣе высокихъ представителей правительственной власти. А
Сипягинъ, въ той же „Нови“, развѣ не кажется списаннымъ съ мо-
делей, носящихся передъ глазами современнаго читателя? Развѣ
между официальными рѣчами мало такихъ, которыя воспроизводятъ
ораторскіе приемы великолѣпнаго бюрократа, умиляющагося отъ слова
наука и отъ мысли о „тройственномъ союзѣ — религіи, земледѣлія и
промышленности — подъ эгидой мудрой и снисходительной власти“?
Не исчезли и генералы, выведенные на сцену въ „Дымъ“; ихъ раз-
говоръ въ старомъ баденскомъ замкѣ весь полонъ духа чрезвычайной
охраны, хотя она въ то время по имени и не существовала.

Весной 1879-го года, въ одну изъ самыхъ темныхъ и трудныхъ
минуть русской жизни, Тургеневъ, пріѣхавшій въ Россію послѣ дол-
гаго отсутствія и восторженно встрѣченный молодежью, провозгласилъ,
въ чествовавшемъ его собраніи, необходимость и возможность прими-
ренія между „отцами“ и „дѣтьми“. „Есть область“, — воскликнулъ
онъ, — „въ которой оба поколѣнія (старшее и младшее), по крайней
мѣрѣ въ большинствѣ, сходятся дружески; есть слова, есть мысли,
которыя имъ одинаково дороги; есть идеаль, не отдаленный и не
туманный, а опредѣленный, осуществимый и, можетъ быть, близкій,
въ который они одинаково вѣрятъ“. Прямо назвать этотъ идеаль
тогдашнія условія не позволяли; но для всѣхъ было ясно, что рѣчь
идетъ о политической свободѣ, огражденной народнымъ представи-

тельствѣмъ. Теперь о ней можно говорить открыто, но до осуществленія ея еще далеко, и слова Тургенева сохраняютъ все свое значеніе. Какъ и тогда, есть почва, на которой могутъ и должны сойтись заканчивающіе и начинающіе жизнь, есть блага, къ достиженію которыхъ могутъ и должны стремиться сторонники во многомъ различныхъ, но въ одномъ солидарныхъ между собою направлений. Замогильный голосъ Тургенева звучитъ съ такою же силой, съ какою звучалъ въ живой рѣчи: онъ проповѣдуетъ единеніе, безъ котораго немислима побѣда надъ общимъ врагомъ.

Что думаетъ о смертной казни тотъ, кого Тургеневъ называлъ „великимъ писателемъ русской земли“—это показала недавно статья „Не могу молчать“. Напомнимъ, что точно такъ же относился къ смертной казни и Тургеневъ. Описаніе впечатлѣній, испытанныхъ имъ до и во время казни Тропмана (убійцы цѣлой семьи, осужденнаго парижскимъ судомъ и гильотинированнаго въ январѣ 1870-го года), онъ заканчиваетъ словами: „никто изъ насъ (участниковъ ужаснаго зрѣлища), *рѣшительно никто не смотрѣлъ человѣкомъ, который сознаетъ, что присутствовалъ при совершеніи акта общественнаго правосудія* (курсивъ въ подлинникѣ); всякій старался мысленно отвернуться и какъ бы сбросить съ себя *ответственность въ этомъ убійствѣ*“.

„Кому же неизвѣстно“—читаемъ мы дальше,—„что вопросъ о смертной казни есть одинъ изъ очередныхъ, неотлагаемыхъ вопросовъ, надъ разрѣшеніемъ которыхъ трудится современное человѣчество? Я буду доволенъ, если рассказъ мой доставитъ хоть нѣсколько аргументовъ защитникамъ отмѣны смертной казни“. Что сказалъ бы Тургеневъ, еслибы могъ предвидѣть, что именно въ Россіи примѣненіе ненавистной ему кары достигнетъ размѣровъ, небывалыхъ со временъ первой французской революціи, и достигнетъ ихъ послѣ единогласнаго осужденія смертной казни первою русскою Государственною Думой?..

Какъ ни богато наслѣдство, завѣщанное русскому народу Тургеневымъ-мыслителемъ, еще драгоцѣннѣе сокровище, которое представляютъ собою его художественныя произведенія. Предупредить временныя уклоненія съ истиннаго пути, извращенія вкуса, погоню за изысканнымъ, изломаннымъ, ненормальнымъ они, конечно, не могутъ, но къ ихъ завѣтамъ неизбѣжно будетъ возвращаться творчество, освободившееся отъ случайныхъ налетовъ. Вспоминаться будетъ призывъ, съ которымъ Тургеневъ обращался къ своимъ преемникамъ: „берегите нашъ языкъ, нашъ прекрасный русскій языкъ, этотъ кладъ, это достояніе, переданное намъ нашими предшественниками“. Вспоминаться будетъ удивительное „стихотвореніе въ прозѣ“, еще сильнѣе вырванное тотъ же основной мотивъ: „во дни сомнѣній, во дни тягостныхъ раздумій о судьбахъ моей родины, ты одинъ мнѣ поддержка и опора

о великій, могучій, правдивый и свободный русскій языкъ! Не будь тебя, — какъ не впасть въ отчаяніе, при видѣ всего, что совершается дома? Но нельзя вѣрить, чтобы такой языкъ не былъ данъ великому народу! Чѣмъ были Пушкинъ и Лермонтовъ для русскаго стиха, тѣмъ сталъ Тургеневъ для русской прозы — и не можетъ быть, чтобы она потеряла доведенную имъ до высокаго совершенства простоту, ясность, прозрачность. Не можетъ быть, чтобы была утрачена достигнутая имъ гармонія между содержаніемъ и формой, стройность и соразмѣрность частей, сжатость и музыкальность рѣчи. Не можетъ быть, чтобы его примѣръ не вдохновилъ къ созданію образовъ, знаменующихъ собою опредѣленный моментъ въ народной жизни — но вмѣстѣ съ тѣмъ всегда характерныхъ, всегда юныхъ. Мы далеки отъ мысли отрицать дарованіе лучшихъ изъ числа нашихъ новѣйшихъ беллетристовъ — но напрасно было бы искать у нихъ фигуры, могущихъ стать въ одинъ рядъ съ Рудинимъ, Лаврецкимъ, Еленой, Базаровымъ, Неждановымъ, Марианной. Этотъ рядъ не исчерпанъ и его продолженію можетъ способствовать внимательное изученіе Тургенева, вмѣстѣ съ другими великанами золотого вѣка нашей изящной литературы.

Между тургеневскими „стихотвореніями въ прозѣ“ есть одно, на которомъ въ наше время невольно останавливается мысль. Поэтъ видитъ передъ собою сфинкса, глаза котораго что-то говорятъ, — „но одинъ лишь Эдипъ умѣетъ разрѣшить загадку и понять безмолвную рѣчь“. Внезапно египетскія черты сфинкса уступаютъ мѣсто другимъ, болѣе знакомымъ. „Бѣлый, низкій лобъ, выдающіяся скулы, носъ короткий и прямой, красивый бѣлозубый ротъ, мягкій усъ и борода курчавая — и эти широко разставленные небольшіе глаза... а на головѣ шапка волосъ, разсѣченная проборомъ... Да это ты, Карпъ, Сидоръ, Семень, ярославскій, рязанскій мужичокъ, соотчичъ мой, русская косточка! Давно ли попалъ ты въ сфинксы? Или и ты тоже что-то хочешь сказать? Да; и ты тоже — сфинксъ. И глаза твои — эти безцвѣтные, но глубокіе глаза говорятъ то же... И такъ же безмолвны и загадочны ихъ рѣчи. Только гдѣ твой Эдипъ? Увы! не довольно надѣтъ мурмолку, чтобы сдѣлаться твоимъ Эдипомъ, о всероссійскій сфинксъ!“ Долго, цѣлые вѣка молчавшій, всероссійскій сфинксъ наконецъ заговорилъ, заговорилъ еще невнятно, неясно, несвободно, но во всякомъ случаѣ устраняя надобность въ Эдипахъ, — особенно въ Эдипахъ, считающихъ себя единственными, привилегированными истолкователями его желаній. Когда рѣчи сфинкса перестанутъ быть „загадочными“, окажется, можетъ быть, что многое, въ нихъ заключающееся, предугадалъ или предчувствовалъ Тургеневъ.

К. АРСЕНЬЕВЪ.



ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ

1 августа 1908.

Третья Государственная Дума и исключительныя положенія.—Вопросы о сисемныхъ отдѣленіяхъ и объ административной ссылкѣ.—Неосуществленное право.—Чрезвычайная охрана и печать.—Чрезвычайная охрана и смертная казнь.—Послѣдніе дни сессіи Государственнаго Совѣта.—Гр. Н. П. Игнатьевъ и В. М. Петрово-Соловово †.

Въ декабрѣ 1905 года, въ самый разгаръ беспорядковъ, вскорѣ перешедшихъ въ открытое возстаніе, въ Москвѣ была введена въ дѣйствіе чрезвычайная охрана. Полгода спустя та же мѣра была принята въ Петербургѣ, одновременно съ роспускомъ первой Думы, позволявшимъ опасаться серьезныхъ волненій. Съ тѣхъ поръ обстоятельства существенно измѣнились. Въ обѣихъ столицахъ царить спокойствіе; почти совершенно прекратились даже отдѣльные террористическіе акты; ничто не предвѣщаетъ событій, наступленіемъ или ожиданіемъ которыхъ оправдывались бы уклоненія отъ нормальнаго порядка. И все-таки надъ Петербургомъ и Москвою, какъ и надъ многими другими губерніями и городами, продолжаетъ тяготѣть исключительное положеніе, въ одной изъ самыхъ острыхъ своихъ формъ. Значительная доля отвѣтственности за эту явную аномалію падаетъ на Государственную Думу третьяго созыва. Много разъ ей представлялся случай возвысить голосъ за возвращеніе къ закону; много разъ передъ нею раскрывалось со всею яркостью глубокое противорѣчіе между конституціоннымъ строемъ, укрѣпленіе котораго она—т.-е. ея большинство—провозглашаетъ своей задачей, и безграничнымъ господствомъ необузданнаго произвола; много разъ ораторы партіи, написавшей на своемъ знамени 17-ое октября 1905 года, близко подходили къ исполненію долга, диктуемаго этой датой—но въ концѣ концовъ рѣшительное слово оставалось произнесеннымъ, и гнетъ, отъ котораго страдаетъ Россія, къ концу сессіи оказывается ничуть не меньшимъ

чѣмъ былъ въ ея началѣ. Въ засѣданіи 22-го ноября, по окончаніи преній, вызванныхъ деклараціей министерства, центръ, вмѣстѣ съ правыми, отклонилъ формулу перехода къ очереднымъ дѣламъ, предложенную кадетами и мирнообновленцами—формулу, гласившую, что „только полное, послѣдовательное осуществленіе началъ манифеста 17-го октября можетъ привести къ прочному успокоенію страны“. Въ засѣданіи 8-го февраля октябристы отказались признать, что терроръ „усиливается системой правительственного произвола, съ его жестокими репрессіями и смертными казнями“. Въ засѣданіи 29-го апрѣля депутатъ кн. Голицынъ, членъ союза 17-го октября, объявилъ, какъ бы отъ имени своей партіи, что „исключительныя положенія вносятъ атмосферу безправія и произвола, развращаютъ агентовъ власти и населеніе, подрываютъ авторитетъ закона“ — но три дня спустя формула перехода, вполне согласная съ этимъ взглядомъ, была отклонена большинствомъ, въ составъ котораго вошли октябристы, и обсужденіе бюджета министерства внутреннихъ дѣлъ закончилось безъ протеста противъ безконечной длительности чрезвычайной и усиленной охраны.

Въ послѣдніе дни сессіи Государственная Дума имѣла возможность хотя отчасти исправить свои прежнія ошибки. Въ засѣданіи 20-го іюня разсматривался внесенный министерствомъ внутреннихъ дѣлъ законопроектъ объ открытіи восьмидесяти-восьми новыхъ сыскныхъ отдѣленій. Не подлежитъ сомнѣнію, что эта мѣра, выдѣленная, какъ особенно слѣпшая, изъ незаконченнаго еще проекта общеполіцейскаго устава, направлена преимущественно къ увеличенію средствъ, которыми располагаетъ правительство въ сферѣ *политическаго* розыска. „Вы знаете усиленіе преступности“—сказалъ, во время преній, товарищъ министра внутреннихъ дѣлъ; „вы знаете, что въ нынѣшнее время и въ городахъ, и въ деревняхъ происходитъ; вы знаете, что противъ этого нужно бороться, главнымъ образомъ, судебной репрессіей, а судебная репрессія можетъ бороться съ этимъ только тогда, когда розыскная часть стоитъ на извѣстной высотѣ“. Въ подтвержденіе своихъ словъ г. Макаровъ сослался на опытъ, сдѣланный въ губерніяхъ Екатеринославской и Херсонской: земскія учрежденія ассигновали здѣсь значительныя суммы на усиленіе сыска — и объясняютъ этимъ уменьшеніе числа преступленій. Ростъ преступности на югѣ Россіи, какъ и въ другихъ мѣстахъ, произошелъ на политической почвѣ; политическими соображеніями вызвано, слѣдовательно, расширеніе сѣти сыскныхъ отдѣленій. Неизбѣжно, въ виду этого, возникаетъ вопросъ, дѣлесообразенъ ли чисто внѣшній способъ борьбы съ глубоко вкоренившимся зломъ, достижимъ ли какой-либо прочный результатъ путемъ новаго обостренія репрессій, и безъ того уже

громадныхъ по размѣрамъ и ужасающихъ по суровости? Да и къ однимъ ли *судебнымъ* репрессіямъ приводить, въ настоящее время, политическій сыскъ? Не влечетъ ли онъ за собою, сплошь и рядомъ, совершенно произвольныя внѣ-судебныя кары? Не равносильно ли открытіе новыхъ сыскныхъ отдѣленій увеличенію числа административно сосланныхъ? Союзу 17-го октября, охотно признающему себя хранителемъ права и свободы, все это должно было, повидимому, внушить недовѣріе къ законопроекту или, по меньшей мѣрѣ, къ тѣмъ мотивамъ, которыми оправдывалась его неотложность. На самомъ дѣлѣ случилось не то: представители союза (деп. Люць, Половцовъ, Шубинскій) явились защитниками законопроекта, противъ котораго высказались только кадеты (деп. Эльтековъ и Пергаментъ), трудявики (деп. Булатъ) и социаль-демократы (деп. Кузнецовъ). Октябристамъ не раскрыла глаза даже рѣчь деп. Маркова 2-го, оплакивавшего „мягкосердіе и невозможную слабость“ нашихъ уголовныхъ законовъ, стоявшаго за повышеніе всѣхъ степеней отвѣтственности, за введеніе тѣлесныхъ наказаній, за введеніе (т.-е. за расширеніе сферы примѣненія) смертной казни. Они не захотѣли понять, что означаетъ совмѣстное шестіе, въ такомъ дѣлѣ, съ такимъ союзникомъ; они забыли, что выгодное и желательное для приверженцевъ стараго режима не можетъ и не должно входить въ программу сторонниковъ новаго строя. И какими „коррективами“ къ законопроекту удовольствовались октябристы! Ихъ успокоила мысль, что чины сыскныхъ отдѣленій будутъ назначаться по соглашенію прокурора судебной палаты съ губернаторомъ и исполнять, иногда, порученія, данныя имъ непосредственно прокуратурой. Ни то, ни другое гарантій правильности дѣйствій сыскной полиціи служить не можетъ. Между прокуратурой и администраціей установилась, въ послѣднее время, такая же близость, какъ между министерствами юстиціи и внутреннихъ дѣлъ; назначеніе чиновъ сыскной полиціи, какъ и надзоръ надъ ними, будетъ зависѣть, силою вещей, отъ прямого ихъ начальства, а не отъ представителей судебного вѣдомства... Внесеніе законопроекта о новыхъ сыскныхъ отдѣленіяхъ совпало, по времени, съ раскрытіемъ цѣлаго ряда беззаконій, совершенныхъ чинами сыскной полиціи въ Москвѣ и Кіевѣ. Значеніе этого послѣдняго факта товарищъ министра внутреннихъ дѣлъ старался ослабить тѣмъ, что виновные привлечены начальствомъ къ судебной отвѣтственности, но какъ широко успѣли разростись вопіющія нарушенія закона, ка. долго они оставались необнаруженными, какъ много принесли и вознаграждаемаго вреда! Если вопіющія злоупотребленія власти оказались возможными въ такихъ крупныхъ центрахъ, какъ Москва и Кіевъ, то чего только нельзя опасаться въ отдаленныхъ, глухихъ

мѣстностяхъ? Не ясно ли, что въ самомъ учрежденіи имѣются на лицо серьезные дефекты, до устранения которыхъ не слѣдовало бы и думать о его распространеніи?.. Если партія центра не находила удобнымъ применить къ оппозиціи и подать голосъ противъ законопроекта—или, по меньшей мѣрѣ, за отсрочку разсмотрѣнія его до внесенія въ Думу общаго плана преобразованія полиціи,—то что же мѣшало ей принять такую формулу переходя къ очереднымъ дѣламъ, которая служила бы хоть нѣкоторой гарантіей противъ обращенія вновь учреждаемыхъ сыскныхъ отдѣленій въ орудіе расправы съ политическими противниками правительства?

Въ засѣданіи 24-го іюня Государственная Дума разсмотрѣла законопроектъ объ отпускѣ въ 1908 г. на содержаніе лицъ, высылаемыхъ подъ гласный надзоръ полиціи, 684.800 рублей, въ дополненіе къ прежде ассигнованнымъ на тотъ же предметъ 130.000 рублей. Нѣсколькими недѣлями раньше этотъ законопроектъ послужилъ бы, до всей вѣроятности, предметомъ продолжительныхъ и оживленныхъ преній. За четыре дня до окончанія сессіи Дума оказалась настолько утомленной, настолько жаждущей отдыха, что вопросу, существенно важному, была отведена весьма небольшая доля вниманія. И немногихъ рѣчей, однако, было достаточно, чтобы обрисовать весь ужасъ административной ссылки. Поразителенъ, прежде всего, необыкновенно быстрый ростъ числа ссылаемыхъ, требующій увеличенія слишкомъ вшестеро первоначально предполагавшагося расхода. Уже въ 1907 г. сумма, ассигнованная на содержаніе административно высланныхъ, была значительно пополнена путемъ позаимствованій изъ другихъ смѣтныхъ статей. Въ текущемъ году повторилось бы то же самое, еслибы не былъ внесенъ проектъ, заранѣе узаконяющій необходимую затрату. Къ 1 января 1907 года административно-ссылныхъ числилось 9.000, къ 15-му іюня того же года — 11.500. По приблизительному расчету деп. Чиликина (соц.-демократа), оставшемуся неопровергнутымъ, ихъ должно быть теперь до 14 тысячъ. Судя по даннымъ анкеты, произведенной недавно въ Тобольской губерніи (сообщилъ ихъ Думѣ деп. Розановъ, трудовикъ), высылаемымъ весьма рѣдко предъявляется какое-нибудь опредѣленное обвиненіе: въ 95 случаяхъ изъ ста имъ остаются неизвѣстными причины принимаемой противъ нихъ мѣры. Положеніе высланныхъ—крайне тяжелое: въ Тобольской губерніи они испытываютъ, болѣею частью, крайнюю нужду. „Ѣмъ женой хлѣбъ, запиваю кирпичнымъ чаемъ“,—пишетъ на анкетномъ листкѣ одна изъ нихъ, бывшая учительница;—поддерживаю себя жиркою бѣльи, мытьемъ половъ у зажиточныхъ крестьянъ, что даетъ мѣ въ мѣсяцъ отъ 5 до 7 рублей. За уголь плачу 1 рубль въ мѣсяцъ“. Иногда ей приходилось выпрашивать лопотъ хлѣба, какъ по-

даяніе, у бѣдняковъ, которые сами въ немъ нуждались („не ново“! — кричать справа въ этомъ мѣстѣ рѣчи деп. Розанова). Отчасти подъ вліяніемъ нужды, отчасти подъ гнетомъ полицейскихъ придирокъ покончили съ собою, въ Тобольской губерніи, девять ссыльныхъ. Въ Архангельской губерніи голодающіе ссыльные совершаютъ преступленія, чтобы попасть въ тюрьму (справа кричатъ: „еще бы“!). По словамъ деп. Чиликина, въ мѣста ссылки „политически неблагонадежныхъ“ направляются порочные люди, хулиганы, съ цѣлью дискредитировать, въ глазахъ населенія, всѣхъ вообще административно высланныхъ—и эта цѣль иногда достигается: „политическимъ“ съ трудомъ удается удерживать мѣстныхъ жителей отъ насильственныхъ противъ нихъ дѣйствій. Обвиненіе, такимъ образомъ взведенное на администрацію, ни съ чьей стороны не встрѣтило возраженій; но оно столь тяжко, что мы не рѣшаемся ему вѣрить, пока оно не подтверждено вѣскими доказательствами. Безспорно, во всякомъ случаѣ, одно: если административная практика допускала до сихъ поръ высылку въ однѣ и тѣ же мѣстности людей „политически неблагонадежныхъ“ и людей „порочныхъ“, то необходимо немедленно положить этому конецъ и назначить для тѣхъ и другихъ совершенно различные районы ссылки—пока она, къ несчастію, существуетъ.

Широкое примѣненіе административной ссылки, со всѣми ея возмутительными послѣдствіями, безусловно несомвѣстимо съ „дѣйствительной неприкосновенностью личности“, провозглашенной, въ принципъ, манифестомъ 17-го октября. Можно было ожидать, поэтому, что партія центра воспользуется случаемъ и—за невозможностью отклонить ассигновку, необходимую для спасенія административно сосланныхъ отъ голодной смерти—предложить такую формулу перехода, которою осуждалась бы, въ самой своей основѣ, система административной расправы. Случилось не то: формула, внесенная барономъ Мейендорфомъ, оказалась гораздо менѣ рѣшительною. „Признавая“—гласить эта формула,—„что административная ссылка, по смыслу дѣйствующихъ законовъ, допустима лишь какъ мѣра предупрежденія преступленій противъ существующаго государственнаго порядка, а за совершеніе противогосударственныхъ дѣяній единственно законной репрессіей должно быть признано привлеченіе къ суду, Государственная Дума, обращая вниманіе министерства внутреннихъ дѣлъ на необходимость введенія административной ссылки въ законныя рамки, переходитъ къ очереднымъ дѣламъ“. Противъ формулы барона Мейендорфа возстали и лѣвые, и правые: лѣвые—потому что она какъ бы узаконяетъ произволь, правые—потому что она „является вторженіемъ во власть правительства“. „Фракція правыхъ“—воскликнулъ деп. Тимошкинъ—„смотреть на административно высылаемыхъ

какъ на лицѣ, заслуживающихъ этого. Если со стороны правительства и бываютъ нѣкоторыя шероховатости въ этомъ отношеніи, то фракція не ставитъ этого правительству въ большую вину. Она полагаетъ, что правительство всегда дѣйствовало на основаніи закона и будетъ впредь дѣйствовать въ рамкахъ законности". Дальше этого преклоненіе передъ властью идти не можетъ; до крайнихъ предѣловъ доведено здѣсь пренебреженіе къ праву. Ссылка, ничѣмъ не мотивированная, ссылка, основанная на догадкахъ, хотя бы ошибочныхъ, оказывается прострѣй „шероховатостью"; администрація признается непогрѣшимой, личная свобода всѣхъ и каждого отдается въ ея безконтрольное распоряженіе. И это не мнѣніе отдѣльнаго лица, а profession de foi цѣлой партіи! Необходимо запомнить слова деп. Тимошкина, какъ лучшую характеристику нашихъ крайнихъ правыхъ... Печальное впечатлѣніе производитъ и формула барона Мейендорфа, одобренная большинствомъ Думы. Она упускаетъ изъ виду, что произволь никогда не можетъ быть введенъ въ законныя рамки. Какова бы ни была истинная причина ссылки, отъ административной власти всегда зависитъ дать своему распоряженію характеръ мѣры предосторожности, а не кары. Нельзя доказать то, чего еще не было, что признается только *возможнымъ* въ ближайшемъ или отдаленномъ будущемъ; ничто не мѣшаетъ, поэтому, приписать высылаемому преступное *нампреніе*, хотя бы настоящимъ поводомъ къ ссылкѣ и было *дѣяніе*, запрещенное закономъ подъ страхомъ наказанія. Если изъ *ста* высланныхъ въ Тобольскую губернію только *пяти* было предъявлено опредѣленное обвиненіе, то всѣ остальные подверглись ссылкѣ именно какъ предупредительной мѣрѣ, допускаемой формулою бар. Мейендорфа... Единственнымъ логическимъ выводомъ изъ преній, вызванныхъ увеличеніемъ суммы на содержаніе ссыльныхъ, была бы формула, предложенная деп. Розановымъ отъ имени трудовой группы: „признавая, что административная ссылка, разоряя ссыльныхъ, нерѣдко вынуждаетъ ихъ на преступленія и, вводя государство въ непроеводительные расходы, не только не вноситъ успокоенія въ странѣ, а ведетъ къ противоположнымъ результатамъ, — Государственная Дума находитъ необходимымъ скорѣйшую отмѣну административной ссылки". Если бы эта формула, воиждѣ умѣренная и корректная по тону, была принята большинствомъ, въ активѣ первой сессіи третьей Думы можно было бы поставить хоть одинъ шагъ къ ограниченію произвола, столь рѣзко противорѣчающаго основному принципу новаго государственнаго строя.

Въ рукахъ думскаго центра былъ еще одинъ способъ выразить несогласіе съ господствующей системой управленія: онъ могъ настоять на обсужденіи запроса о незаконномѣрныхъ дѣйствіяхъ генерала Думбадзе. Мы имѣли уже случай замѣтить, что рамки этого запроса были

слишкомъ узки: практичнѣе и правильнѣе было бы дать ему болѣе общее содержаніе, коснувшись въ немъ всѣхъ важнѣйшихъ злоупотребленій властью, связанныхъ съ чрезвычайной охраной, все равно, гдѣ бы и кѣмъ бы они ни были допущены. И въ настоящей своей формѣ, однако, запросъ, прямо касающійся одного ген. Думбадзе, могъ бы привести къ яркому освѣщенію всего наболѣвшаго вопроса и послужить для самого министерства желаннымъ, быть можетъ, поводомъ къ обузданію слишкомъ много позволяющихъ себѣ „сатраповъ“. Удобный случай былъ упущенъ: Дума разошлась на лѣто, не заслушавъ запроса. Чѣмъ объяснить этотъ прискорбный фактъ — не знаемъ. Правомъ запроса, какъ средствомъ контроля надъ администраціей, третья Дума пользовалась, вообще, очень мало: никто не могъ бы поставить ей въ вину посвященіе одного или хотя бы двухъ засѣданій всестороннему выясненію такой жгучей темы, какъ предѣлы чрезвычайныхъ административныхъ полномочій. Какое бы ни было формальный результатъ преній, они едва-ли могли бы пройти безслѣдно — и во всякомъ случаѣ не осталась бы неисполненною одна изъ самыхъ серьезныхъ обязанностей, лежащихъ на народномъ представительствѣ.

Къ чему ведетъ ничѣмъ не сдерживаемое примѣненіе чрезвычайной охраны — объ этомъ можно судить по цифрамъ, выражающимъ собою ея воздѣйствіе на періодическую печать. Въ теченіе первыхъ пяти мѣсяцевъ 1908-го года приостановлены *сорокъ-четыре* періодическія изданія (32 русскихъ, 7 польскихъ, 3 грузинскихъ и 2 татарскихъ), въ томъ числѣ 16 въ Петербургѣ, 10 въ Москвѣ, 6 въ Варшавѣ и 5 въ Тифлисѣ. Денежному штрафу подверглись, приблизительно за то же время, 78 періодическихъ изданій, всего на сумму до 40 тысячъ рублей. Одна газета была оштрафована на три тысячи рублей, двѣ — на 1.500, четырнадцать — на 1.000, двадцать-три — на 500 рублей. А между тѣмъ денежный штрафъ, даже не очень значительный, легко можетъ повлечь за собою прекращеніе изданія. И это положеніе дѣлъ оффиціозная газета имѣетъ смѣлость признавать естественнымъ и нормальнымъ! „Нѣтъ сомнѣнія“ — читаемъ мы въ „Россіи“ (№ 806), — „что дилемма: печать для Россіи или Россія для печати — можетъ быть разрѣшена только въ томъ смыслѣ, что печать должна служить государственности, а не государственность должна быть отдана на растерзаніе печати... Существованіе оппозиціонныхъ газетъ въ современной Россіи, которымъ никто не мѣшаетъ критиковать правительство и справа, и слѣва, ясно показываетъ, что правительство пользуется чрезвычайными мѣрами охраны совсѣмъ не для подавленія гласности обсужденія его дѣйствій, а *лишь для введенія печати въ русло закономѣрности...* Не можетъ быть сомнѣнія, что

когда государственное воспитаніе нашего общества завершится, когда учрежденіе новыхъ органовъ правительственной власти закончится и твердо войдетъ въ жизнь, тогда не надобно будетъ и чрезвычайныхъ мѣръ въ борьбѣ съ преступленіями печати. Но было бы наивно стью требовать отъ правительства, чтобы оно отказалось отъ тѣхъ мѣръ борьбы съ революціонной пропагандой, которыя ему даютъ существующіе законы“. Чрезвычайныя мѣры, вводящія въ русло законности! Это по истинѣ чудовищное сочетаніе понятій бросаетъ яркій свѣтъ на всю аргументацію услужливой газеты. Включивъ законъ ударами произвола, сѣять безправіе, чтобы насадить право—способъ управленія можетъ быть оригинальный, но ужь конечно нецѣлесообразный. И развѣ въ рукахъ правительства нѣтъ легальныхъ средствъ „обузданія“ печати? Развѣ оно недостаточно вооружено уголовнымъ уложеніемъ, дополненнымъ и разъясненнымъ? Развѣ малъ просторъ, предоставляемый ему хотя бы одной пресловутой статьёй 129-ой? Развѣ бездѣйствуетъ прокуратура, развѣ скупится на кары судъ, персоналъ котораго, по выраженію министра юстиціи (см. рѣчь его въ думскомъ засѣданіи 28-го апрѣля), „обновленъ людьми сильными волей и твердыми въ неуклонномъ исполненіи закона“?.. Дилемма, о которой говоритъ газета, создана ея воображеніемъ: никому не приходило и не могло придти на мысль, что „Россія существуетъ для печати“. Печать всѣхъ направленій, сколько-нибудь независимая и честная, очень хорошо сознаетъ, что ея задача, ея обязанность—служить Россіи: различно разрѣшается только вопросъ, въ чемъ должно заключаться это служеніе, чего требуетъ, на примѣръ, хотя бы та „государственность“, которую такъ своеобразно понимаютъ сторонники торжествующей силы. Насмѣшкой звучитъ увѣреніе, что чрезвычайныя мѣры перестанутъ быть нужными, когда завершится „государственное воспитаніе“ нашего общества. Что разумѣется подъ этимъ терминомъ? Усвоеніе обществомъ тѣхъ представленій о „государственности“, которыя усиливается проводить „Россія“? А если общество никогда ихъ не усвоитъ? Да и можетъ ли вообще идти рѣчь о законченности политическаго воспитанія, сущность котораго—приспособленіе къ постоянно измѣняющимся условіямъ и требованіямъ жизни? Настоящая политическая зрѣлость достижима только при свободномъ развитіи всѣхъ общественныхъ силъ, т.-е. при отсутствіи гнета, неразрывно связаннаго съ „чрезвычайными мѣрами“. Только съ прекращеніемъ этихъ мѣръ могутъ „твердо войти въ жизнь“ и „новые органы правительственной власти“, теперь окруженные и спутанные остатками старины.

Стараясь доказать, что положеніе нашихъ періодическихъ изданій е такъ уже тяжело и при дѣйствиіи чрезвычайной охраны, офиціозная газета ссылается съ одной стороны на примѣръ Австріи, съ

другой—на недавнее прошлое русской печати. „Австрийскія газеты“,—говорить „Россія“,—„выходи въ свѣтъ съ бѣлыми столбцами вмѣсто конфискованныхъ статей, свидѣтельствуютъ о томъ, что и въ государствахъ съ прочнымъ конституціоннымъ строемъ, полстолѣтія пользующихся внутреннимъ миромъ, печать не имѣетъ свободы печатать все что ей вздумается“. Здѣсь намѣренно забыты двѣ бездѣлицы: во-первыхъ, конфискація газетнаго номера производится въ Австріи не иначе какъ при наличности признаковъ преступленія или проступка, по распоряженію прокуратуры, съ передачей дѣла, въ то же время, на разсмотрѣніе суда; во-вторыхъ, вмѣсто конфискованнаго номера тотчасъ же выпускается другой, и газета продолжаетъ выходить по прежнему, подвергаясь той или другой карѣ лишь въ случаѣ обвинительнаго судебнаго приговора. Что же тутъ общаго съ нашими порядками, при которыхъ отъ должностнаго лица, облеченнаго дискреціонной властью, зависитъ и наложеніе на газету тяжелаго денежнаго штрафа, и приостановка ея впредь до снятія чрезвычайной охраны, т. е. на срокъ неопредѣленный и бѣльшею частью весьма продолжительный? Можно находить австрийскій законъ слишкомъ суровымъ, но во всякомъ случаѣ это—законъ, а не произволь... Сравнивая настоящее съ прошедшимъ, „Россія“ замѣчаетъ, что при системѣ предостереженій нельзя было говорить въ печати многого, безпренятственно и безнаказанно появляющагося въ ней теперь. Это правда; но вѣдь тогда у насъ не было представительнаго образа правленія, не было манифеста 17-го октября, обѣщавшаго свободу печати. Чтобы установить правильный взглядъ на современное положеніе русской печати, нужно спросить себя, представлены ли въ ней всѣ отгѣнки мнѣній, существующіе въ странѣ, пользуются ли они, de facto, одинаковыми правами, можно ли, безъ опасенія, говорить въ печати все то, что не противорѣчитъ закону? На всѣ эти вопросы нельзя дать никакого другаго отвѣта, кромѣ отрицательнаго. Соціалъ-демократической легальной прессы у насъ нѣтъ вовсе, хотя наличность соціалъ-демократической партіи доказывается составомъ не только первыхъ двухъ, но и третьей Государственной Думы. Гораздо болѣе умѣренныя соціалистическіе взгляды остаются безъ выраженія, съ тѣхъ поръ какъ перестали выходить „Товарищъ“ и замѣнявшія его газеты—а перестали они выходить потому, что не могли выдержать слѣдовавшихъ одно за другимъ разорительныхъ запрещеній. А что дѣлается въ провинціи, въ какіе тиски ставится тамъ, сплошь и рядомъ, гласность, съ какими трудностями приходится бороться, чтобы сохранить хоть жалкое убѣжище для сколько-нибудь свободной мысли?

Еслибы результатомъ чрезвычайной охраны было одно только безправіе печатнаго слова, этого было бы достаточно для ея рѣши-

тельнаго осужденія. Но дѣйствіе ея простирается еще гораздо дальше, плоды ея еще болѣе горьки. И при усиленной охранѣ возможно, конечно, широкое распространеніе круга вѣдомства военныхъ судовъ, съ цѣлью достигнуть увеличенія числа смертныхъ приговоровъ; но подъ сѣнью чрезвычайной охраны—и военного положенія—смертная казнь окончательно входитъ въ обиходъ уголовной репрессіи. Всюду исчезающая или доводимая до минимальныхъ размѣровъ, наиболѣе несправедливая, жестокая и опасная изъ всѣхъ уголовныхъ каръ становится у насъ явленіемъ обычнымъ, ежедневнымъ. Третья Государственная Дума, въ первой сессіи своей, прошла мимо этого факта. Оппозиція исполнила свой долгъ, внеся законопроектъ о безусловной отмѣнѣ смертной казни, т.-е. объ исключеніи ея не только изъ числа наказаній, устанавливаемыхъ общимъ уголовнымъ законодательствомъ, но и изъ числа наказаній, налагаемыхъ военнымъ и военно-морскимъ судомъ въ силу особыхъ воинскихъ уставовъ. Это было сдѣлано незадолго до конца сессіи, вслѣдствіе чего до обсужденія, хотя бы предварительнаго, основъ законопроекта очередь не дошла; но практическаго значенія опозданіе, въ данномъ случаѣ, не имѣло, потому что отношеніе думскаго большинства къ вопросу о смертной казни предопредѣлено упорнымъ его отказомъ высказаться за отмѣну исключительныхъ положеній. Отсюда особая важность этого отказа, составляющаго, какъ мы старались показать выше, главный грѣхъ третьей Государственной Думы или, по выраженію князя Е. Н. Трубецкого („Московскій Еженедѣльникъ“, № 27), главный пробѣлъ въ ея дѣятельности. Всецѣло сходясь съ вн. Трубецкимъ въ заключительномъ выводѣ, мы далеко не во всемъ согласны съ его аргументаціей. „Озлобленныя выходки противъ первыхъ двухъ Думъ“ — говоритъ глубоко уважаемый нами писатель—„составляютъ излюбленную тему ораторовъ нынѣшняго думскаго большинства. Они могли бы быть правы, еслибы они не повторяли и не углубляли того самаго грѣха, который погубилъ оба эти представительныя собранія. Въ своемъ отношеніи къ красному террору двѣ первыя Думы обнаружили преступное малодушіе. Въ *ответъ на политическія убійства они молчали* (курсивъ въ подлинникѣ). Но развѣ не хуже поступаютъ въ настоящее время октябристы и правые, умалчивая о политическихъ казняхъ? Корень молчанія въ обоихъ случаяхъ одинъ и тотъ же—та дѣйствительная или воображаемая выгода, которую приносятъ преступленіе извѣстному классу людей. Въ первой Думѣ было немало людей, которые полагали, что политическія убійства необходимы для революціи, что терроризировать помѣщиковъ и капиталистовъ—выгодно для крестьянъ и рабочихъ, а терроризировать власть—выгодно для всего населенія. Другіе думали иначе, но были запуганы и не

смѣли возражать. И въ результатѣ человѣчность была принесена въ жертву. Развѣ не то же самое повторяется теперь—въ третьей Думѣ? Развѣ сторонники убійства пользуются въ ней меньшимъ вѣсомъ и вліяніемъ? Вся разница въ томъ, что въ ней драгоцѣннѣйшее изъ человѣческихъ правъ—право на жизнь—приносится въ жертву другимъ классамъ, другимъ выгодамъ и въ другой, легальной формѣ. Но въ общемъ третья Дума совершаетъ тотъ же преступный компромиссъ, какъ и первыя двѣ: и она доселѣ не сумѣла возвыситься надъ стаднымъ началомъ классоваго эгоизма. Судьба первыхъ двухъ Думъ должна послужить ей предостереженіемъ. Ихъ двойственное, оппортунистическое отношеніе къ политическимъ убійствамъ несомнѣнно послужило главнымъ источникомъ ихъ внутренняго безсилія¹. И наоборотъ, „реакція, выступившая на защиту неприкосновенности жизни и имущества, получила то *нравственное оправданіе*, которое составляетъ условіе ея силы“... Въ настоящее время „третья Дума, потакая смертнымъ казнямъ, точно также создаетъ нравственное оправданіе тому самому врагу, противъ котораго она борется—революціи... И не только для широкихъ слоевъ населенія, даже для тѣснаго круга своихъ избирателей Дума не можетъ послужить нравственнымъ знаменемъ, пока она не смыла съ себя упрека въ соучастіи съ палачомъ“.

Фактической ошибкой, въ этой цѣпи сильныхъ и глубоко прочувствованныхъ разсужденій, мы считаемъ чрезмѣрную строгость обвиненія, взводимаго на вторую Государственную Думу. Говоря, нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ ¹⁾, о томъ засѣданіи третьей Думы, которое закончилось протестомъ противъ террора, мы старались доказать, что весьма близко къ такому протесту подходила и вторая Дума. Отказавшись (въ засѣданіи 15-го мая), по тактическимъ—съ нашей точки зрѣнія совершенно неправильнымъ—соображеніямъ, отъ постановки на очередь вопроса объ осужденіи террористическихъ актовъ, Дума возвратилась къ нему въ засѣданіи 17-го мая, рукоплескала, какъ *одному человеку*, восклицанію деп. Кузьмина-Караваева: „долой насиліе, долой терроръ“, и если, въ концѣ концовъ, не оказалось большинства на сторонѣ тѣхъ формулъ перехода (предложенныхъ партіей народной свободы и польскимъ коломъ), въ которыхъ прямо порицались политическія убійства, то не оказалось его и на сторонѣ остальныхъ формулъ, шедшихъ какъ справа, такъ и слѣва ²⁾. Нельзя, слѣдовательно

¹⁾ См. „Внутр. Обзор.“ въ № 3 „Вѣстника Европы“ за текущій годъ, стр. 376—

²⁾ Когда всѣ формулы были отклонены, внесена была, съ нарушеніемъ установленнаго порядка, новая формула, ограничивавшаяся констатированіемъ незаконныхъ дѣйствій должностныхъ лицъ. Она была принята незначительнымъ большинствомъ, вопреки протесту конституціоналистовъ-демократовъ.

утверждать, что отвѣтомъ второй Думы на политическія убійства служило только *молчаніе*; нельзя видѣть въ этомъ молчаніи источникъ *внутренняго* безсилія второй Думы. Весьма сомнителенъ, въ нашихъ глазахъ, и самый фактъ *такого* безсилія. Еще меньше можетъ быть рѣчь о „внутреннемъ безсиліи“ первой Государственной Думы. Большой ея ошибкой было, бесспорно, уклоненіе ея отъ прямого осужденія террора, какое предлагалъ М. А. Стаховичъ; но это еще не значить, что она сочувствовала террору или считала его въ какомъ-либо отношеніи *выгоднымъ*. Припомнимъ, заключительныя слова знаменитаго „обращенія къ населенію“ по поводу аграрнаго вопроса, подчеркивающія необходимость *мирнаго* установленія новаго порядка и выражающія надежду, что народъ будетъ *мирно и покойно ждать* окончанія работы по изданію земельного закона. Не думаемъ, вообще, чтобы предположеніе о *выгодности* террористическихъ актовъ служило основой для образа дѣйствій цѣлыхъ партій, цѣлыхъ собраній. Слишкомъ давно уже обнаружилась безцѣльность политическихъ убійствъ и, тѣмъ болѣе, политическихъ грабежей или разбоевъ; слишкомъ давно уже стало ясно, что они вредятъ дѣлу, во имя котораго ихъ предпринимаютъ. Если ни въ первой, ни во второй Думѣ не состоялось резолюціи, прямо осуждающей терроръ, то объясненіе этому слѣдуетъ искать не въ ожиданіи какихъ-то выгодъ, а въ другихъ, болѣе сложныхъ мотивахъ: въ увлеченіи борьбою, внушавшемъ мысль, что ни въ чемъ и ни для чего нельзя идти рука объ руку съ правительствомъ и его сторонниками; въ нежеланіи заклеить, вмѣстѣ съ преступленіями, преступниковъ, изъ которыхъ иные жертвовали чужою и своею жизнью подъ вліяніемъ вѣры, что этого требуетъ общее благо; въ предположеніи, что настанетъ другая, болѣе удобная минута для протеста противъ насилія, откуда бы оно ни исходило. Не маловажную роль играла здѣсь, по всей вѣроятности, и партійная дисциплина; меньшинство, готовое безотлагательно осудить терроръ, подчинялось большинству, находившему нужнымъ подождать. Что касается до третьей Думы, то пассивное отношеніе ея къ смертнымъ казнямъ—отношеніе, возбуждающее справедливое негодованіе князя Трубецкого—коренится не въ одномъ только „инстинктѣ самосохраненія“. Крайніе правые стоятъ, очевидно, на той ступени умственного и нравственнаго развитія, на которой система устрашенія признается послѣднимъ словомъ государственной мудрости. Болѣе умѣренные правые и октябристы не хотятъ разойтись съ правительствомъ въ томъ, что составляетъ одну изъ главныхъ основъ его политики. Результатъ получается именно тотъ, который указанъ княземъ Трубецкимъ.

Защиту смертной казни приняла на себя „Россія“. Въ аргумен-

таціи кн. Трубецкого она усматриваетъ „глубокое лицемеріе“ или „неспособность логически мыслить“ (!) Въ жизни государствъ, по словамъ официозной газеты, „бываютъ моменты, когда преступные классы должны быть обузданы, должны быть снова введены въ колею закона. Въ эти исключительные моменты за исключительныя преступленія полагается смертная казнь“. Допустимъ, на минуту, что это такъ: но развѣ можетъ идти рѣчь о *моментѣ*, длящемся нѣскольکو лѣтъ, и объ *исключительномъ моментѣ*, продолжающемся и послѣ „успокоенія“ страны? И развѣ всѣ преступленія, за которыя теперь назначается смертная казнь, принадлежать къ числу *исключительныхъ*? Развѣ они всѣ совершаются представителями какихъ-то „преступныхъ классовъ“?.. „Если законъ“—продолжаетъ „Россія“—„даетъ судѣ право примѣнить высшую мѣру наказанія, а смертный приговоръ, постановленный противъ одного, спасетъ сотни преступниковъ отъ такого же преступленія и сотни жертвъ, которыя пострадали бы отъ ихъ злодѣяній, то судья, назначая смертную казнь, является такимъ же самоотверженнымъ защитникомъ родины, какъ воинъ, защищающій крѣпость отъ нападений врага“. Газета не знаетъ или не хочетъ знать, что когда наши судьи постановляютъ смертные приговоры, то, въ большинствѣ случаевъ, они дѣйствуютъ не въ силу даннаго имъ *права*, а въ силу лежащей на нихъ *обязанности*: они *должны*, при извѣстныхъ условіяхъ, присуждать къ смерти, хотя бы вовсе не находили обвиняемаго заслуживающимъ высшей мѣры наказанія. Совершенно невѣрно, дальше, что одинъ исполненный смертный приговоръ предупреждаетъ сотни однородныхъ преступленій: смертная казнь давно потеряла устрашающее значеніе, и отвѣтомъ на нее служатъ нерѣдко новыя убійства... Заканчивается жалкая попытка оправдать не допускающее оправданія болѣе чѣмъ страннымъ увѣреніемъ, что возмездіемъ за преступленія, теперь караемыми смертью, не можетъ служить *судебный выговоръ*! Но кто же предлагалъ что-либо подобное? Во всѣхъ проектахъ отмены смертной казни рѣчь идетъ не о чемъ другомъ, какъ о замѣнѣ ея слѣдующимъ за нею по тяжести уголовнымъ наказаніемъ, т.-е. безсрочною каторгою.

Появясъ въ самый разгаръ эпидеміи смертныхъ казней, статья Л. Н. Толстого: „Не могу молчать“ должна была произвести—и дѣйствительно произвела—потрясающее впечатлѣніе, даже въ томъ неполномъ видѣ, въ какомъ она воспроизведена русскою печатью¹⁾. Трудно, повидимому,

¹⁾ Весьма характернымъ для чрезвычайной охраны является тотъ фактъ, что перепечатка этой статьи, въ Петербургѣ не повлекшая за собою никакихъ

сказать что-нибудь новое по вопросу, столько разъ обсуждавшемуся въ послѣднее время и въ законодательныхъ собраніяхъ, и въ обществѣ, и въ печати; но когда говорить такой человѣкъ, какъ Толстой, и говорить съ такою глубокою вѣрой, съ такою сердечной теплотой, съ такою силой выстраданнаго убѣжденія—знакомая, слишкомъ знакомая картина озаряется яркимъ свѣтомъ и неотразимо дѣйствуетъ на умъ и на совѣсть. Нуженъ большой запасъ черствости, чтобы не испытать на себѣ этого дѣйствія, и еще бѣльшій запасъ... безцеремонности, чтобы сдѣлать попытку ослабить или уничтожить его въ другихъ. Такою попыткой является статья, помѣщенная въ № 11614 „Новаго Времени“. Чего только не ввлючило сюда авторское усердіе! Рядомъ съ смѣлыми предсказаніями („въ исторіи будетъ извѣстенъ романистъ Левъ Толстой; о томъ же, что онъ писалъ, кромѣ беллетристики, религіозныя, философскія, политическія статьи, будутъ знать лишь академики — изъ усидчивыхъ крохоборовъ“), съ удивительными историческими открытіями („подъ конецъ феодальнаго періода преступленія въ нѣкоторыхъ странахъ почти перевелись“, благодаря „истребленію множества испорченныхъ людей, дегенератовъ и психопатовъ, вмѣстѣ со всѣмъ ихъ зараженнымъ наслѣдственностью потомствомъ“), съ упрощеннымъ разрѣшеніемъ сложныхъ социологическихъ задачъ (попытки установить причинную связь между ослабленіемъ уголовной репрессіи и „неимовѣрнымъ увеличеніемъ преступности“), мы находимъ здѣсь толкованіе уже не словъ, а *намыреній* Толстого. Толстому—утверждаетъ авторъ,—*какъ будто нравится* писать такія статьи, которыя навѣрное не будутъ пропущены, притомъ всего лишь изъ-за нѣсколькихъ недопустимыхъ словъ ¹⁾. Ему непременно хочется ругнуть верховную власть и церковь, и этимъ сдѣлать свою вещь запрещенной... Великій человѣкъ до смѣшнаго добивается мученичества, которое *приравняло бы его къ Сократу и Христу*. Осужденіе террористическихъ преступленій, выраженное Толстымъ не только совершенно ясно, но и чрезвычайно рѣзко, сотрудникъ „Новаго Времени“ называетъ *неискреннимъ*. Почему? Потому что съ еще бѣльшей силой осуждается имъ смертная казнь — и тѣмъ самымъ якобы *оправдывается* убійство! Съ напускнымъ паеосомъ Толстому предлагается вопросъ, зачѣмъ онъ молчитъ, когда совершаются возмутительныя преступленія, когда льется кровь ни въ

административныхъ взысканій, въ Москвѣ послужила поводомъ къ наложенію на азету очень крупнаго денежнаго штрафа, а гдѣ-то въ провинціи — къ аресту редактора и закрытію типографіи!

¹⁾ Русскія газеты, давшія у себя мѣсто статьѣ Толстого, выпустили изъ нея нѣсколько словъ, а цѣлую главу — и тѣмъ не менѣе, какъ мы видѣли выше, не ѣ избѣжали административныхъ каръ.

чемъ неповинныхъ людей. Но развѣ Толстой не выяснилъ развѣ навсегда свое отношеніе ко всякому насилию, провозгласивъ принципъ непротивленія злу? Развѣ горячій призывъ къ любви, которымъ заканчивается статья: „Не могу молчать“, не обращенъ въ одинаковой мѣрѣ противъ лишенія жизни путемъ убійства и лишенія жизни путемъ казни?.. Чѣмъ низменнѣе источникъ, изъ котораго идутъ нападенія на великаго писателя, тѣмъ больше растетъ авторитетъ его слова. Слишкомъ вѣроятно, что непосредственныхъ результатовъ оно, въ настоящую минуту, имѣть не будетъ; но въ сколько-нибудь чуткихъ сердцахъ оно не можетъ прозвучать безслѣдно.

Лѣтъ шестьдесятъ тому назадъ, въ николаевскую эпоху, когда у насъ хотя прямо и не провозглашался, но всецѣло господствовалъ старопрусскій взглядъ на „ограниченный умъ подданныхъ“, какая-то газета — чуть ли не болгаринская „Сѣверная Пчела“ — навлекла на себя нѣудовольствіе начальства похвалою, высказанною по адресу столичной полиціи. Кто хвалить, тотъ, пожалуй, станетъ и порицать — такъ разсуждали высшіе представители власти, твердо вѣрившіе въ ея непогрѣшимость; похвала, слѣдовательно — почти такая же дерзость, какъ и порицаніе. Изъ архива, куда казался безповоротно сданнымъ этотъ видъ государственной мудрости, его извлекъ недавно предсѣдатель Государственнаго Совѣта. Когда, въ засѣданіи 3-го іюля, слова государственнаго контролера вызвали съ разныхъ сторонъ восклицанія: „правильно, правильно!“ — предсѣдатель обратился къ членамъ Совѣта съ просьбою „не дѣлать такихъ замѣчаній по поводу заявленія министра отъ лица правительства“. „Сегодня“ — сказалъ онъ — „вы говорите: *правильно*, завтра будете кричать: *неправильно*. Надѣюсь, что больше этого не повторится“. Ограниченіе, налагаемое, такимъ образомъ, на членовъ Государственнаго Совѣта, направлено, очевидно, не къ чему другому, какъ къ огражденію министровъ отъ знаковъ одобренія, предполагающихъ возможность знаковъ противоположнаго свойства. Рѣчи обыкновенныхъ ораторовъ могутъ быть сопровождаемы или прерываемы восклицаніями и того, и другого рода (конечно, остающимися въ предѣлахъ парламентскаго приличія) — но рѣчи лицъ, облеченныхъ властью, должны быть выслушиваемы въ почтительномъ молчаніи. Эта попытка вернуться къ преданіямъ давно минувшихъ дней страдаетъ, прежде всего, недостаткомъ логики. Когда поддезурной, подневольной прессѣ запрещалось „имѣть свое сужденіе хотя бы и благоприятное для начальства, у послѣдняго имѣлись въ рукахъ всѣ средства настоять на соблюденіи запрета: въ какой формѣ и чѣмъ бы онъ ни былъ нарушенъ, нарушителю неминуе-

грозили „мѣры предупрежденія и пресѣченія“. Не таково положеніе предсѣдателя Государственнаго Совѣта. Допустимъ, что восклицаній, во время или послѣ рѣчи министра, раздаваться больше не будетъ (хотя и съ ними, при повтореніи ихъ въ немаломъ числѣ и съ разныхъ сторонъ, справиться не легко); но развѣ возможно помѣшать указаніямъ на правильность — или неправильность — этой рѣчи въ отвѣтахъ, которые будутъ ей даны членами Совѣта? Скажемъ болѣе: развѣ возможно помѣшать указаніямъ на правильность — или неправильность — не только словъ, но и дѣйствій министра? А если невозможно, то къ чему же налагать вето на одну, только одну форму одобренія — или неодобренія? Да и нужна ли вообще непомѣрно строгая предсѣдательская цензура, особенно въ собраніи, состоящемъ изъ людей пожилыхъ, сдержанныхъ, свободныхъ отъ увлеченій? Цѣлесообразны ли крайности регламентаціи, когда такъ мало вѣроятно нарушеніе порядка?.. Не въ первый уже разъ предсѣдатель Государственнаго Совѣта переходитъ черту, отдѣляющую пользованіе властью отъ ея превышенія; но никогда еще не выражалось съ такою ясностью стремленіе его установить правила, не имѣющія ничего общаго съ основными требованіями парламентской процедуры.

Чѣмъ же были вызваны возгласы: *правильно*, такъ рѣшительно остановленные предсѣдателемъ Государственнаго Совѣта? Одною изъ тѣхъ немногихъ министерскихъ рѣчей, которыя свидѣтельствуютъ о пониманіи новыхъ условій государственной жизни. Въ Государственной Думѣ былъ рассмотрѣнъ и принятъ законопроектъ о штатѣ морского генеральнаго штаба. Самый фактъ внесенія его въ Думу показывалъ со всею ясностью, что Совѣтъ министровъ признавалъ его подлежащимъ разрѣшенію въ общемъ законодательномъ порядкѣ. Иначе посмотрѣла на дѣло финансовая коммиссія Государственнаго Совѣта. Докладчикъ ея, П. Х. Шванебахъ, утверждалъ, что штаты учрежденій морского вѣдомства должны восходить на Высочайшее утвержденіе особымъ порядкомъ, черезъ Адмиралтействъ-совѣтъ. Правда, въ прежнее время морское вѣдомство направляло свои предположенія о штатахъ въ Государственный Совѣтъ; но тогда области законодательства и верховнаго управленія не были точно разграничены, Государственный Совѣтъ имѣлъ характеръ законосовѣщательный и рассматривалъ многія дѣла, не относящіяся къ законодательству. П. Х. Шванебаху энергично возражалъ государственный контролеръ, находя, что всѣ вопросы, касающіеся организациі министерствъ, должны быть рассматриваемы — какъ рассматривались и прежде — въ общемъ законодательномъ порядкѣ. Никакихъ стѣсненій для морского вѣдомства соблюденіе этого порядка не создаетъ. Управленіе арміей и флотомъ принадлежитъ верховной власти, но ассиг-

нованіе необходимыхъ для того суммъ остается за законодательными учреждениями. Основательность этого взгляда не подлежитъ никакому сомнѣнію. Ст. 14-ая основн. зак., на которую ссылалась финансовая коммиссія, предоставляетъ Императору, какъ верховному вождю вооруженныхъ силъ, изданіе указовъ и повелѣній относительно дислокаціи войскъ, приведенія ихъ на военное положеніе, обученія ихъ, прохожденія службы чинами арміи и флота и всего вообще относящагося до устройства вооруженныхъ силъ и обороны россійскаго государства. Ни слова не говорится здѣсь объ ассигнованіяхъ на войско и флотъ вообще и на министерства военное и морское въ частности. Они предусмотрены ст. 96-ю зак. основн., на которую и указалъ Государственному Совѣту государственный контролеръ. По точному ея смыслу исключительно черезъ Военный Совѣтъ или Адмиралтействъ-совѣтъ, по принадлежности, проходятъ только такіа дѣла военнаго и морского вѣдомства, которыя не требуютъ новаго расхода изъ казны; въ противномъ случаѣ представленіе постановленій, положеній и наказовъ на Высочайшее утвержденіе допускается лишь по испрошеніи въ установленномъ (т.-е. общемъ законодательномъ) порядкѣ ассигнованія соотвѣтственнаго кредита. Въ виду столь яснаго и опредѣленнаго закона никакого значенія не могли имѣть разсужденія П. Н. Дурново на тему о неудобствахъ, съ которыми установленіе штатовъ въ законодательномъ порядкѣ было бы сопряжено для морского министерства. Важно не то, что удобно или неудобно для того или другого вѣдомства: важно соблюденіе основного правила, въ силу котораго расходованіе народныхъ средствъ не должно происходить безъ согласія законодательныхъ собраній... Весьма странно, что мнѣнія гг. Шванебаха и Дурново не вызвали возраженій со стороны центра Государственнаго Совѣта; еще болѣе странно, что часть центра присоединилась, при голосованіи, къ правымъ, вслѣдствіе чего законопроектъ оказался отклоненнымъ. Въ другихъ случаяхъ (напр. въ вопросѣ о „конституціонномъ рублѣ“) права народнаго представительства и требованія конституціоннаго строя находили въ центрѣ Государственнаго Совѣта болѣе единодушную поддержку. Невольно приходитъ на мысль, что неожиданному исходу дѣла способствовало неудовольствіе, съ которымъ предсѣдатель Государственнаго Совѣта стнесся къ одобрительнымъ возгласамъ по адресу государственнаго контролера... Рѣшеніе 3-го іюля, въ связи съ возстановленіемъ Государственнымъ Совѣтомъ неутвержденнаго Думою расхода на постройки броненосцевъ, внушаетъ серьезныя опасенія за будущее. Правъ, по видимому, А. И. Гучковъ, усматривающій въ Государственномъ Совѣтѣ серьезнаго противника „либеральныхъ реформъ“ — даже тѣхъ болѣ

чѣмъ скромныхъ реформъ, за которыя можетъ высказаться большинство третьей Государственной Думы.

Скончавшійся недавно гр. Н. П. Игнатьевъ стоялъ во главѣ управленія съ небольшимъ только годъ, въ смутную, переходную эпоху. Насколько невыгодно для него сравненіе съ непосредственнымъ его предшественникомъ, настолько, по крайней мѣрѣ съ перваго взгляда, выгодно сравненіе съ его преемникомъ. Вступленіе его въ должность знаменовало собою отказъ отъ политики преобразованій, намѣченной гр. Лорисъ-Меликовымъ; удаленіе его отъ должности совпало съ крупнымъ поворотомъ въ сторону реакціи, олицетворенной въ гр. Д. А. Толстомъ. Земскій соборъ, въ томъ видѣ, въ какомъ проектировалъ его гр. Игнатьевъ, былъ бы не болѣе какъ пародіей на народное представительство; но даже его слабый и неавторитетный голосъ предупредилъ бы, можетъ быть, ожесточенную ломку и порчу учрежденій, созданныхъ въ эпоху великихъ реформъ. Что гр. Игнатьеву была чужда всякая мысль о политической свободѣ, о широкомъ развитіи общественной самодѣятельности, о равноправности національностей—объ этомъ свидѣтельствуетъ участіе его въ изданіи положенія о чрезвычайной и усиленной охранѣ, его отношеніе къ печати и къ земству, его инициатива въ принятіи новыхъ ограничительныхъ мѣръ относительно евреевъ. Періодъ господства „народной политики“ уничтожилъ слѣды „новыхъ вѣяній“ и подготовилъ почву для невзгодъ, вслѣдъ затѣмъ постигшихъ Россію.

Кончина В. М. Петрово-Соловова представляетъ собою чувствительную потерю для русскаго общества. До начала новаго періода русской жизни онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ земскихъ дѣятелей, которые всегда и во всемъ шли въ разрѣзъ съ торжествующей реакціей. Состоя тамбовскимъ уѣзднымъ предводителемъ дворянства, онъ считалъ долгомъ дѣйствовать не въ интересахъ сословія, а въ интересахъ населенія. Когда редакторъ „Гражданина“, по случаю исполнявшагося (въ 1902 г.) тридцатилѣтія газеты, обратился къ предводителемъ дворянства съ просьбою о поддержкѣ изданія, отстаивающаго дворянскіе завѣты, В. М. отвѣтилъ ему рѣзкою отвѣдью¹⁾, къ которой присоединились гр. П. А. Гейденъ, М. А. Стаховичъ, Ю. А. Новосильцовъ, кн. П. Д. Долгоруковъ. Аграрный вопросъ отдалъ В. М. Петрово-Соловова отъ болѣе рѣшительной земской группы,

¹⁾ См. „Общественную Хронику“ въ № 2 „Вѣстника Европы“ за 1902 г.

изъ которой образовалась партія народной свободы; онъ применилъ, въ третьей Думѣ, къ октябристамъ, но занялъ мѣсто на крайнемъ лѣвомъ ихъ флангѣ, приближаясь скорѣе къ мирнообновленцамъ, чѣмъ къ умѣренно-правымъ. Мы отмѣтили, въ свое время, его рѣчи по поводу адреса и по поводу запроса о дѣлахъ Финляндіи: онѣ несомнѣнно возвышались надъ общимъ уровнемъ сказаннаго его товарищами по партіи. Мы узнаемъ изъ словъ кн. Е. Н. Трубецкого ¹⁾, что В. М. былъ противникомъ смертной казни, отъ осужденія которой уклоняются октябристы... Съ его смертью становится еще менѣе вѣроятной та перемѣна въ политикѣ союза 17-го октября, которая одна только могла бы сдѣлать его достойнымъ его имени.



¹⁾ См. № 27 „Московского Еженедѣльника“.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1 августа 1908.

I.

— Ч. Вѣтринскій. Герценъ. Слб., 1908. Стр. 532. Библіотека „Свѣточа“.

„А. И. Герценъ. Жизнь. Мысли. Дѣятельность“ — таковъ подзаголовокъ этой объемистой, красиво изданной, украшенной множествомъ портретовъ книги. Итакъ, предъ нами полная біографія и историческая характеристика Герцена. Каково бы ни было исполненіе, дѣненъ самый починъ — изложить въ связномъ разсказѣ всю жизнь Герцена. Мы и вообще бѣдны такими книгами — полными біографіями нашихъ замѣчательныхъ людей, а о Герценѣ у насъ до сихъ поръ вообще не было ни одной цѣльной работы.

Выскажемъ сразу общее впечатлѣніе, которое произвела на насъ книга г. Вѣтринскаго. Она читается легко и пріятно; въ ней нѣтъ серьезныхъ фактическихъ ошибокъ; она даетъ достаточное для обыкновеннаго читателя представленіе о перипетіяхъ личной судьбы Герцена и о его дѣятельности; новаго въ ней нѣтъ ничего, ни въ смыслѣ біографическомъ, ни въ смыслѣ анализа, и установленный въ нашей литературѣ портретъ Герцена, шаблонный и поверхностный, не обогащенъ въ ней ни одной чертою. Словомъ, это хорошо написанный разсказъ о Герценѣ въ предѣлахъ извѣстнаго, а не попытка раскрыть его личность и мысль глубже, чѣмъ это дѣлалось до сихъ поръ. Такова, впрочемъ, была сознательная цѣль автора: „Добросовѣстно прослѣдить главнѣйшіе факты этой жизни, безъ лишніхъ мелочныхъ подробностей, еще требующихъ дополнительныхъ изслѣдованій, бѣгло указать общественно-историческое значеніе отдѣльныхъ моментовъ жизни и дѣятельности Герцена, выдѣлить главныя мысли

и настроенія, поглощавшія его въ разное время,—вотъ цѣль настоящей книги“. И еще г. Вѣтринскій говоритъ, что онъ хотѣлъ дать простую, объективную біографію „безъ всякой претензіи на полное психологическое объясненіе“.

Мы вправѣ спросить, исполнима ли вообще такая задача безъ риска тяжелыхъ погрѣшностей? Одно изъ двухъ: или біографія сводится къ перечисленію послѣдовательныхъ фактовъ и дать, въ родѣ тѣхъ замѣтокъ, что помѣщаются въ энциклопедическихъ словаряхъ, или же она стремится показать внутренній складъ личности и его постепенное раскрытіе и обнаруженіе на протяженіи всей жизни; третьяго здѣсь нѣтъ. И г. Вѣтринскій, написавъ книгу въ пятьсотъ страницъ, далъ, вопреки своей оговоркѣ, конечно вовсе не простой объективный рассказъ, а біографію психологическую, съ тою только особенностью, что свою психологическую канву онъ не самъ составилъ себѣ, а взялъ готовою изъ традиціи, изъ обиходныхъ взглядовъ. Онъ не только излагаетъ факты и мысли: онъ также освѣщаетъ ихъ и оцѣниваетъ; значить, онъ сполна несетъ отвѣтственность за свое „психологическое объясненіе“ Герцена.

Г. Вѣтринскій изображаетъ Герцена, такъ сказать, извнѣ, какъ это искони принято въ популярныхъ біографіяхъ: рассказываетъ въ хронологическомъ порядкѣ его біографію, въ соответствующихъ мѣстахъ излагаетъ его взгляды и произведенія даннаго періода, характеризуетъ обстановку, и пр., все это—большею частью при помощи цитатъ, занимающихъ, вѣроятно, болѣе половины книги. Въ этомъ рассказѣ авторъ послѣдовательно отмѣчаетъ преемственные фазисы внутренняго развитія Герцена; посмотримъ же, каковы эти фазисы и какъ опредѣляетъ-ихъ біографъ.

Уже мальчикомъ 13—14 лѣтъ Герценъ, росшій въ атмосферѣ патриархальнаго крѣпостного барства, оказывается проникнутымъ крайними революціонными идеями, — и то же самое было съ Огаревымъ. Откуда взялось это настроеніе? Г. Вѣтринскій не останавливается на этомъ вопросѣ. Онъ довольствуется указаніемъ на вліяніе учителей—Бушо и Протопопова — и того смятенія, которое вызвали въ московскомъ обществѣ мятежъ 14 декабря и его послѣдствія: эти-де событія „не могли не поразить пылокое воображеніе мальчика“. Фраза эта, разумѣется, ничего не объясняетъ; остается непонятнымъ, почему эти два мальчика, всей своей обстановкой удаленные отъ какихъ бы то ни было общественныхъ интересовъ, оказались такъ чутко-восприимчивыми какъ-разъ къ этому опредѣленному разряду идей и чувствъ—радикально-политическихъ; почему такъ жадно воспринимали они революціонную пропаганду своихъ учителей, и далекіе отзвуки 14-го декабря, и абстрактный героизмъ Шиллера; почему—какъ всоми

наль позднѣе Герценъ — этотъ новый міръ „становился больше и больше средоточіемъ всего нравственнаго существованія“ его, и въ то время, когда все общество со страхомъ сторонилось даже намековъ на какую-нибудь политическую мысль, эти два отрока на Воробьевыхъ горахъ торжественно клянутся отдать свою жизнь на избранную ими борьбу. Для всякаго ясно, что настроеніе Герцена и Огарева не было случайностью; но въ разбираемой книгѣ мы тщетно стали бы искать хотя бы бѣглыхъ указаній на его происхожденіе. Одна сторона дѣла прекрасно разъяснена Д. Н. Овсяннико-Куликовскимъ въ первомъ томѣ его „Исторіи русской интеллигенціи“: это — „психологическій типъ“ юношей того поколѣнія, къ которому принадлежали Герценъ и Огаревъ. Другая еще ждетъ своего изслѣдователя; сѣмя, брошенное декабристами, не умерло, а тайно прозябало въ молодыхъ умахъ и революціонный энтузіазмъ юношей Герцена и Огарева вовсе не представлялъ собою исключенія; отъ декабристовъ идетъ цѣлый рядъ едва замѣтныхъ вспышекъ (братья Критскіе, Сунгуровское дѣло, кружокъ Герцена-Огарева-Сатина), какъ бы тонкая цѣпь звеньевъ, связывающая 14-ое декабря съ позднѣйшими политическими движеніями, на примѣръ — петрашевцевъ. Отъ біографіи Герцена мы не можемъ требовать такого изслѣдованія, но біографъ во всякомъ случаѣ былъ обязанъ хоть въ общихъ чертахъ указать, изъ какихъ корней — эмоциональныхъ и умственныхъ — выросъ въ юношѣ-Герценѣ его отвлеченный революціонизмъ.

Слѣдующій этапъ въ развитіи Герцена и Огарева — увлеченіе сень-симонизмомъ — носить въ изображеніи г. Вѣтринскаго такой же случайный характеръ. Приведа слова Герцена, что послѣ гибели Польши дѣтскій либерализмъ 1826 года потерялъ для него и Огарева свою чарующую силу, г. Вѣтринскій говоритъ: „Ихъ вниманіе въ это время привлекъ процессъ сень-симонистовъ 1832 года, обвиненныхъ въ отступничествѣ отъ христіанства и пр. Сень-симонисты стали на время властителями думъ Герценовскаго кружка“.

Можно подумать, что это было случайное знакомство и мимолетное увлеченіе, тогда какъ сень-симонизмъ сыгралъ въ развитіи Герцена и его друзей ту рѣшающую роль, какая принадлежитъ всякой идеѣ, открывающей человѣку глаза на очередную задачу его эпохи и на цѣль его собственнаго развитія. Историческая задача ихъ поколѣнія состояла въ томъ, чтобы на мѣсто патріархальнаго уклада, по разнымъ причинамъ утратившаго свою жизненную силу, выработать новое міровоззрѣніе, т. е. сознательно перерѣшить для себя основные вопросы жизни, отъ самыхъ отвлеченныхъ до чисто-практическихъ. Можно и должно искать историческія причины этого явленія, но коренное значеніе имѣетъ самый психологическій фактъ: для нихъ

„распалась связь временъ“ и они должны были заново связывать ее въ каждой точкѣ; для нихъ все стало вопросомъ — отношеніе къ другу, къ женщинѣ, къ семьѣ, къ обществу, къ государству, и прежде всего къ самому себѣ, къ своей личности, ея развитію и назначенію; и всѣ эти вопросы приходилось рѣшать *ab ovo*, такъ какъ изжитыя формы, сложившіяся стихійно, противорѣчили самому принципу новыхъ исканій — сознательной разумности — и, слѣдовательно, изъ нихъ ничего нельзя было перенять. Приходилось начинать съ выясненія общихъ метафизическихъ и нравственныхъ началъ, и въ этой трудной работѣ наши пионеры естественно опирались на новѣйшія завоеванія западной мысли. Сень-симонизмъ явился для Герцена первымъ откровеніемъ новой жизни, разумно-естественной; дальнѣйшими ступенями были Гегель и Фейербахъ. Нѣсколько цитатъ и соображеній, приводимыхъ г. Вѣтринскимъ на стр. 35—38, нисколько не уясняютъ этой роли сень-симонизма въ развитіи Герцена и его сверстниковъ, и сообщаемыя имъ тутъ же, да еще курсивомъ, слова самого Герцена: „Сень-симонизмъ легъ въ основу нашихъ убѣжденій и неизмѣнно остался въ существенномъ“ — должны въ этой обстановкѣ поразить читателя своей неожиданностью; между тѣмъ они совершенно соответствуютъ дѣйствительности.

За сень-симонизмомъ у г. Вѣтринскаго слѣдуетъ новая случайность въ развитіи Герцена: мистицизмъ. Онъ приводитъ множество цитатъ изъ писемъ Герцена, характеризующихъ это новое настроеніе, но не дѣлаетъ ни малѣйшей попытки — не только выяснить его происхожденіе (потому что голая ссылка на вліяніе тюрьмы, Наташи и Витберга ничего не говоритъ), но даже разобраться въ составѣ тѣхъ идей и чувствъ, которыя онъ называетъ мистицизмомъ у Герцена. Этотъ мистицизмъ, разумѣется, не былъ результатомъ случайныхъ вліяній, и называть его „наноснымъ настроеніемъ“ и „абберацией мысли“, какъ это дѣлаетъ г. Вѣтринскій, значитъ обнаружить совершенное непониманіе и лица, и вещи, о которыхъ идетъ рѣчь. Христіански-этический періодъ въ жизни Герцена былъ неизбѣжной стадіей на томъ пути исканія новыхъ основъ жизни, по которому въ числѣ первыхъ пошелъ Герценъ. И онъ, и его сверстники, по характеру своей душевной жизни, по своему „психологическому типу“, говоря терминомъ проф. Овсяннико-Куликовскаго, являлись въ тѣ годы настоящими религиозными натурами; а христіанское ученіе предлагало имъ такую цѣльную и высокую систему мысли и поведенія, и, главное такъ полно отвѣчало на ихъ центральный вопросъ — о собственно личности, что имъ невозможно было не остановиться на немъ. У Герцена „мистицизмъ“ былъ несомнѣнно усиленъ вліяніемъ Наташи и Витберга, но и Огаревъ не съ меньшей силой пережилъ

тѣ же настроенія, хотя и не подвергся подобнымъ вліяніямъ. И ошибочно было бы думать, что этотъ періодъ прошелъ безслѣдно для ихъ развитія. Религіозный энтузіазмъ, овладѣвшій ими, сразу кристаллизовался въ нравственную идею—личнаго совершенствованія, и когда „мистицизмъ“ разсѣялся, эта идея не исчезла: она вошла органическимъ элементомъ въ ихъ сознаніе и наложила яркую печать на все ихъ позднѣйшее міровоззрѣніе. Въ дѣлѣ выработки новыхъ, сознательныхъ началъ жизни, составлявшемъ, какъ сказано, историческую задачу ихъ поколѣнія, вопросъ о разумномъ и нравственномъ созиданіи собственной личности неизбѣжно долженъ былъ стоять на первой очереди, и было естественно, что на время онъ даже совершенно поглотилъ ихъ вниманіе. На рѣшеніе этой задачи ушла вся жизнь Станкевича; у другихъ — у Бѣлинскаго, Герцена и пр. — этотъ исключительно-этическій періодъ былъ только переходной стадіей, и какъ-разъ Герценъ былъ введенъ въ эту область христіанствомъ. Г. Вѣтринскій не разобрался въ этихъ вещахъ. Онъ сырьемъ цитируетъ множество „мистическихъ“ мѣстъ изъ переписки Герцена съ невестой, и въ заключеніе бросаетъ нѣсколько строкъ, не то безсодержательныхъ, не то глубоко-невѣрныхъ: „Съ исторической и общественно-психологической точки зрѣнія вполнѣ понятно (почему понятно?) это исключительное сосредоточеніе вниманія передовой молодежи на чисто этическихъ вопросахъ, а окраска мистицизма была отраженіемъ широкаго теченія, сильнаго и въ западно-европейской умственной жизни. Такъ бывало и позднѣе въ русскомъ обществѣ при торжествѣ реакціи, — на примѣръ, въ восьмидесятыя годы прошлаго вѣка“. Итакъ, „абerraція мысли“, обусловленная „торжествомъ реакціи“. Совершенно такъ г. Плехановъ недавно объяснилъ мистицизмъ Чаадаева. Такой пріемъ, разумѣется, чрезвычайно облегчаетъ задачу психологическаго анализа; но кто изъ насъ согласился бы допустить такое упрощенное истолкованіе своей психологіи?

Мы не будемъ останавливаться на дальнѣйшихъ фазисахъ развитія Герцена, какъ они изображены г. Вѣтринскимъ. И Гегель, и Фейербахъ появляются такъ же случайно, и вдумчивый читатель останется въ полномъ недоумѣніи, что привело къ нимъ Герцена и что онъ вынесъ изъ нихъ. Согласно традиціонному взгляду, г. Вѣтринскій конечнымъ пунктомъ развитія Герцена называетъ позитивное міровоззрѣніе. Этотъ взглядъ въ общемъ вѣренъ, при томъ условіи, если тщательно опредѣлить индивидуальный характеръ идей, изъ которыхъ сложилось это міровоззрѣніе. *Всѣ* сверстники Герцена вышли въ рационализмъ болѣе или менѣе полный, болѣе или менѣе углубленный; мало сказать, что Герценъ выработалъ себѣ рационалистическое міровоззрѣніе: необходимо показать, *каковъ* былъ его рационализмъ. Г. Вѣ-

тринскій и здѣсь, въ важнѣйшемъ пунктѣ біографіи, довольствуется нѣсколькими цитатами, да парой пояснительныхъ, въ сущности ничего не объясняющихъ строкъ: „Такъ деизмъ, за который одно время, какъ видно изъ этого разсказа, еще держался Герцень послѣ мистической восторженности вятско-владимірскаго періода, — уступилъ въ Новгородѣ мѣсто чисто рационалистическому мировоззрѣнію, полному разрыву съ міромъ преданій, авторитета“ и т. д. По изложенію г. Вѣтринскаго вообще выходитъ такъ, что послѣдовательные фазисы въ умственномъ развитіи Герцена механически „уступали мѣсто“ одинъ другому; онъ не показываетъ ни ихъ внутренней преемственности, ни неизбѣжности каждаго изъ нихъ, и если по временамъ онъ и упоминаетъ о сомнѣніяхъ и борьбѣ, которыя переживалъ Герцень, то эти слова только и остаются словами.

Источникъ всѣхъ этихъ промаховъ г. Вѣтринскаго—одинъ: біографію нельзя писать иначе, какъ изнутри наружу; ея сердцевиною, ея основой должно быть ясное уразумѣніе пути, которымъ шло внутреннее развитіе данной личности: только при этомъ условіи біографія изъ собранія матеріаловъ превращается въ исторію органическаго роста личности, т.-е. въ то, чѣмъ она должна быть. Г. Вѣтринскій съ заранѣе обдуманнѣмъ намѣреніемъ отказался отъ самостоятельнаго уясненія душевной жизни Герцена и, рабски слѣдуя своимъ матеріаламъ, далъ груду фактовъ и идей, сшитыхъ на живую нитку и въ такомъ соединеніи совершенно случайныхъ. Изъ этой основной ошибки вытекли всѣ другія. Въ конечномъ итогѣ по книгѣ г. Вѣтринскаго нельзя понять, гдѣ голова мировоззрѣнія Герцена и гдѣ производныя части. Онъ по частному поводу цитируетъ то мѣсто изъ „Дневника“ Герцена, гдѣ говорится, что цѣль жизни—жизнь, что высшее благо—само существованіе. Эта мысль была выстрадана Герценомъ; она изъ его личной жизни вросла въ его сознаніе, и въ ней—ключъ ко всему его мировоззрѣнію; а г. Вѣтринскій приводитъ эти строки во свидѣтельство жизнерадостнаго настроенія, въ которомъ находился Герцень лѣтомъ 1842 года!

При такихъ условіяхъ естественно, что г. Вѣтринскій не сумѣлъ надлежащимъ образомъ опредѣлить мѣсто Герцена въ исторіи русской мысли. Въ сущности онъ оцѣниваетъ только роль его дѣятельности, почти игнорируя громадную роль его личности. Между тѣмъ главное значеніе Герцена—не въ томъ, что онъ сблизилъ Россію съ Западомъ—будилъ политическое сознаніе русскаго общества и пр., а въ томъ, что собственной духовной эволюціей онъ подвинулъ русскую мысль на шагъ впередъ. Этой его заслуги г. Вѣтринскій не могъ оцѣнить разъ онъ не уяснилъ себѣ во всей ея глубинѣ самую личность Герцена

Средній читатель, вѣроятно, и не замѣтитъ этого недостатка

книги г. Вѣтринскаго. Онъ найдетъ въ ней занимательный разсказъ о жизни замѣчательнаго человѣка и будетъ благодаренъ автору за это легкое и интересное знакомство. Будемъ и мы благодарны автору: какъ-разъ такая книга, по плечу публикѣ, сблизитъ многихъ съ Герценомъ. Книга г. Вѣтринскаго дѣнна и какъ первая канва біографіи Герцена. Она написана съ тщаніемъ и любовью.

II.

— Д. Мережковскій. Павелъ I, драма. Спб., 1908. Стр. 261.

Г. Мережковскій задумалъ написать рядъ историческихъ хроникъ на манеръ Шекспировскихъ: за этой первой драмой должны послѣдовать двѣ другихъ — „Александръ I“ и „Николай I“. Возможно, что въ основаніе своей трилогіи онъ положилъ какую-нибудь историко-символическую идею, но по одной первой драмѣ ее опредѣлить нельзя, и если дѣйствительно таковъ былъ замыселъ автора, то надо признать ошибкою съ его стороны, что онъ показалъ намъ невыразительную частицу, а не сразу все свое твореніе. Во всякомъ случаѣ, мы должны пока разсматривать „Павла I“ только какъ историческую хронику, уже потому, что даже наличность символическаго замысла (котораго, повторяемъ, пока не видно) не освобождала художника отъ его первѣйшей обязанности — воспроизводить жизнь, психологію, быть во всей ихъ реальности и полнотѣ.

Съ этой точки зрѣнія драма г. Мережковскаго представляется намъ слабой и неудачной вещью. Можетъ ли быть рѣчь о реализмѣ вообще и объ историческомъ въ особенности тамъ, гдѣ всѣ дѣйствующія лица говорятъ однимъ и тѣмъ же языкомъ—Паленъ какъ Павелъ, Константинъ какъ Нарышкинъ, и т. д., и всѣ говорятъ современнымъ намъ языкомъ, этимъ безцвѣтнымъ, развязнымъ языкомъ нынѣшней мѣщанской драмы? „Аль не замѣтилъ, — говоритъ вел. кн. Константинъ Александру, — въ углу рта жилка играетъ? Какъ у него эта жилка заиграетъ, такъ быть бѣдѣ... Я намени въ Лаврѣ кликушу видѣлъ—монахи говорятъ, бѣсоватый: такая же точно жилка; когда подняли Чашу, упалъ и забился...“ Это изъ Островскаго, это говорить старшая дочь Варвара про тятеньку-самодура. И совершенно такъ же, на одинъ манеръ, разговариваютъ у г. Мережковскаго рѣшительно всѣ, не исключая даже иностранцевъ. Докторъ Роджерсонъ говорить: „Надо бы кровь пустить. Ну, да, Богъ дастъ, и такъ обойдется“; жена вел. кн. Александра, Елизавета, выражается, ни дать, ни взять, какъ героини Островскаго, — напримѣръ: „Да, да, въ пустынной хижинѣ... А вотъ это-то опять безъ шапки идетъ; вѣрно,

чиновникъ — шуба съ орденомъ. А кучеръ въ саняхъ двумя руками править, шапку держать въ зубахъ. Удивительно! А солдатъ у шлагбаума бьетъ бабу. Баба плачетъ, а солдатъ бьетъ. Долго, долго. Смотрѣть скучно“. Въ этихъ рѣчахъ, разумѣется, нѣтъ и тѣни правдоподобія, ни психологическаго, ни историческаго. Временами г. Мережковскій спохватывается и пытается навести историческій колоритъ, но этимъ только еще больше портитъ дѣло: получается чисто-комическій эффектъ, когда какой-нибудь придворный, разговаривающій языкомъ нынѣшняго приказчика, вдругъ ввернетъ слово: „деспотичество“, когда Яшвилъ вдругъ заявитъ: „Сего тиранства терпѣть не можно“, или когда самъ Павелъ внезапно начинаетъ произносить тирады въ томъ стилѣ, какъ никогда не говорили, а развѣ писали въ концѣ XVIII вѣка: „Свѣдаль я, сударь, что вашего полка господа офицеры вездѣ разглашаютъ, будто не могутъ ни въ чемъ угодить. А посему позвольте объявить, что легкій способъ кончить сіе—вовсе ихъ кинуть, предостава имъ всегда таковыми оставаться, каковы прежде мерзки были, что и не премину“. Такой же неожиданностью и книжностью, да вдобавокъ еще фальшивымъ тономъ, отличаются сантиментальныя изліянія Александра (Павелъ въ этомъ отношеніи естественнѣе). Непонятно, какъ могъ такой образованный и опытный писатель, какъ г. Мережковскій, впасть въ эту элементарную ошибку. Что онъ сказалъ бы о режиссерѣ, который героевъ исторической пьесы выпустилъ бы на подмостки въ современныхъ пиджакахъ и поддевкахъ, а въ иныхъ сценахъ, для соблюденія колорита, нацѣплялъ бы на нихъ сверхъ пиджака жабо и повыше пестраго галстука — булки?

Пьеса написана сухо и скучно. Авторъ до крайности скупъ на тѣ бытовья и личныя черты, съ виду ненужныя, которыя однако даютъ конкретность и жизненную полноту картинѣ. Если бы перевести пьесу на чужой языкъ, переименовавъ Павла, Александра и другихъ ея героевъ въ донъ-Альфонсо, Фернандо и пр., она съ тѣмъ же удобствомъ сошла бы за драму изъ испанской исторіи, — и это даже въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ было бы ей на пользу, потому что отъ Фернандовъ и Альфонсовъ мы, по старой и дурной привычкѣ, не требуемъ особенной индивидуальной глубины. Г. Мережковскій разработалъ психологію своихъ дѣйствующихъ лицъ рѣшительно въ духѣ „испанскихъ“ драмъ. Кромѣ Павла, всѣ они элементарны до крайности; каждый изъ этихъ персонажей, посколькѣ онъ вообще представляетъ лицо (потому что нѣкоторыя совсѣмъ безличны, какъ, напримеръ, Марія Ѳеодоровна, Константинъ, и т. д.), характеризуется обыкновенно одной чертой: предательствомъ, слабоволіемъ, низкимъ угодничествомъ, и пр. Паленъ — Яго, упрощенный до совершенной прозрачности; кромѣ злобы и пронырства, у него нѣтъ ни одной лич-

ной черты, если не считать его идиотскую привычку — ни къ селу, ни къ городу добавлять: „не угодно ли стаканъ лафита“. Александръ — слабоволень и сантименталень, но какъ онъ чувствуетъ, чего хочетъ, какъ живетъ — этого мы не узнаемъ, и его лицо остается для насъ стертой монетой. Мотивы дѣйствій всѣхъ этихъ лицъ прямолинейны, какъ движенія въ механизмѣ; мы узнаемъ только одинъ общій мотивъ заговора, но какъ этотъ мотивъ (ненависть къ сумасбродной жестокости Павла) преломлялся въ психикѣ каждаго изъ главныхъ заговорщиковъ, этого не видно: всѣ они — на одно лицо, да и того не разглядишь — такъ оно расплывчато. Ни въ одномъ изъ этихъ людей — ни въ Александрѣ, ни въ Паленѣ, ни въ другихъ, не чувствуется перспективы — ихъ прошлаго, которое сдѣлало ихъ такими, а не иными. Нѣтъ этой перспективы и во всей пьесѣ, какъ цѣломъ; нѣтъ тѣхъ психологическихъ нитей, которыя связывали бы разыгрывающуюся передъ нами драму со всей русской исторіей, съ Петромъ III, съ Еватериной. Если Шекспировская хроника представляетъ собою живой кустъ, только-что вырытый изъ почвы со всѣми корнями и съ приставшими къ нимъ комками земли, то пьеса г. Мережковского похожа на давно срубленный и засохшій кустъ. Образъ Павла разработанъ всего полнѣе; въ немъ дѣйствительно есть сложность и своеобразіе чертъ живого лица, но цѣлой личности все-таки нѣтъ: эти отдѣльныя, частью мастерски угаданныя черты остаются порознь, не сливаются органически — и это, опять-таки, какъ намъ кажется, оттого, что художникъ не далъ намъ почувствовать прошлаго этой сложной личности; одного голословнаго воспоминанія Павла о томъ, что онъ тридцать лѣтъ жилъ въ ежедневномъ страхѣ, для этого недостаточно. Во всякомъ случаѣ, въ сценахъ, гдѣ дѣйствуетъ Павелъ, есть нѣсколько счастливыхъ моментовъ, и это — лучшее, что даетъ намъ неудачная въ общемъ драма г. Мережковского.

III.

— Литературно-художественные альманахи издательства „Шиповникъ“. Книга пятая. Сиб., 1908. Стр. 240.

Въ обществѣ много говорятъ о напечатанномъ въ этой книгѣ новомъ произведеніи Л. Андреева — „Разсказъ о семи повѣщенныхъ“. Даже Д. С. Мережковский, до сихъ поръ отрицательно относившійся къ творчеству Андреева, признаетъ этотъ разсказъ лучшимъ его произведеніемъ и счелъ нужнымъ пространно комментировать его. Какъ показываетъ самое заглавіе, тема разсказа такова, что только съ большимъ усиленіемъ можно заставить себя говорить о его эстети-

ческихъ достоинствахъ и недостаткахъ. Нужно усиліе, чтобы вообще даже думать о немъ: это — не чтеніе, это переживаніе, и настолько сильное, что въ полнотѣ и яркости переживаемыхъ чувствъ мысль нѣмѣетъ, какъ это бываетъ при всякомъ душевномъ потрясеніи. Только спустя нѣкоторое время вы начинаете отдѣлять сюжетъ отъ картины и разбираться въ качествахъ его изображенія.

Мы не раздѣляемъ общихъ восторговъ, вызванныхъ этимъ рассказомъ. Мы не отрицаемъ того, что онъ написанъ съ необычайной художественной силой, но видимъ въ немъ двойственность, пагубную въ произведеніи искусства. Когда пройдетъ дрожь перваго, потрясающаго впечатлѣнія и вы начнете сознательно воспроизводить въ своемъ умѣ содержаніе рассказа, вы незамѣтно различите въ немъ двѣ категории чертъ: внѣшнія и внѣшне-психологическія съ одной стороны, глубинно-душевные—съ другой. Духъ человѣческой представляетъ собою одну сплошную стихію, въ которой глубинныя теченія, темныя, органическія, непрерывно восходятъ вверхъ и опредѣляютъ собою какъ наружныя чувства, настроенія и мысль, такъ и внѣшнія проявленія человѣка—выраженія лица, рѣчь и поступки. Изъ этихъ трехъ элементовъ непосредственному наблюденію болѣе или менѣе доступны только послѣдніе два (внѣшнія проявленія и внѣшне-психологическія движенія); то же, что совершается въ тайной глубинѣ чужого духа, мы конструируемъ лишь на основаніи этихъ внѣшнихъ чертъ по аналогіи съ нашими собственными душевными переживаніями. Всякій художникъ имѣетъ болѣе или менѣе вѣрное чутье этихъ глубинныхъ движеній души, и потому, рисуя внѣшняго человѣка, умѣетъ вѣрно намѣтить психологическій фонъ. Но одно дѣло — вѣрно угадывать въ общихъ чертахъ, другое—непосредственно воспроизводить детальную картину этихъ скрытыхъ, неимовѣрно сложныхъ душевныхъ движеній. Для послѣдняго нуженъ особенный гениальный даръ, какой былъ у Достоевскаго. Не обладая этимъ специальнымъ ясновидѣніемъ, художникъ не долженъ отваживаться въ эту сферу. Лучшій примѣръ такого самоограниченія — Чеховъ. Онъ въ изумительной степени владѣлъ искусствомъ воссоздавать внѣшнюю психологію человѣка и, слѣдовательно, располагалъ безошибочнымъ чутьемъ внутреннихъ движеній; но онъ строго держался своей сферы и, за очень рѣдкими исключеніями, не принимался вплотную изображать самыя эти внутреннія движенія въ ихъ подлинномъ видѣ.

Въ этомъ, по нашему мнѣнію, заключается основной недостатокъ всего творчества Л. Андреева: не владѣя искусствомъ Достоевскаго, онъ неизмѣнно всюду стремится воспроизводить тѣ глубинныя душевныя движенія. Онъ, повидимому, чрезвычайно сильно ощущаетъ органическую, стихійную жизнь духа въ себѣ и въ другихъ; но отъ

этой яркости ощущенія до умѣнья детально *рисовать* эти сложные процессы — большая дистанція. И такъ какъ онъ этого страстно хочетъ, но не умѣетъ, то въ результатѣ неизмѣнно получается слѣдующее: въ его психологическихъ картинахъ постоянно чувствуется крайнее напряженіе усилій — и вмѣстѣ съ тѣмъ онѣ непремѣнно сбиваются на схему, выходятъ неправдоподобно стройными и, какъ выражаются нѣмцы, *zugespitzt*, точно доказательство предвзятаго разсудочнаго тезиса. Таковы и „Мысль“, и „Фивейскій“, и „Иуда“, не говоря уже о драмахъ Л. Андреева. Таковъ и его новый разсказъ. Все внѣшнее (матеріальная обстановка) и все внѣшне-психологическое въ этомъ разсказѣ — выше всякой похвалы. Такія сцены, какъ судъ, свиданія осужденныхъ съ родителями, казнь, и многія другія, принадлежать не только къ лучшему, что создалъ Л. Андреевъ, но и вообще къ величайшимъ образцамъ искусства. Всѣ второстепенные персонажи, т.-е. тѣ, въ которыхъ онъ не раскапываетъ глубины душевной, поражаютъ жизненной правдивостью въ каждомъ движеніи; и такъ же хороши главные лица до тѣхъ поръ, пока онъ не начинаетъ раскрывать передъ нами ихъ бессознательную душевную жизнь. Но какъ только начинается это психологическое живописаніе, онъ теряетъ свою убѣдительность и становится произвольнымъ. Моментъ взятъ такой (вѣрное ожиданіе смерти), когда душевная жизнь обостряется и усложняется неимоვნно, безконечно больше, чѣмъ въ обыкновенномъ состояніи; тѣмъ труднѣе ее изобразить. И замѣчательно, что изъ семи человѣкъ, которыхъ изображаетъ Андреевъ, наиболѣе удалась ему картина душевныхъ переживаній у натуръ не слишкомъ сложныхъ, тогда какъ, напримѣръ, Вернеръ — самая глубокая изъ семи натуръ — при всей грандіозности своихъ переживаній, не убѣждаетъ читателя, кажется возвышенной авторской выдумкой. Въ разсказѣ о томъ, что переживали осужденные въ тюрьмѣ передъ казнью, вообще много длиннотъ и туманныхъ пятенъ.

Общественная цѣнность этого потрясающаго произведенія чрезвычайно велика. Кто оправдываетъ или практикуетъ смертную казнь, тѣмъ никакіе доводы и увѣщанія не нужны; но сильная художественная картина дѣйствуетъ неотразимо, помимо сознанія и вопреки интересу. А главное, есть огромное количество людей, причастныхъ или совсѣмъ непрічастныхъ страшному дѣлу, которые просто не думаютъ о немъ; ихъ мысль и совѣсть такое произведеніе можетъ забыть разъ навсегда, такъ что имъ уже не будетъ возврата къ прежнему равнодушію. И это со стороны писателя — великая, неоцѣненная услуга.

Въ томъ же альманахѣ „Шиповника“ помѣщены, кромѣ разсказа Л. Андреева, еще три произведенія: трагедія „Саббатай Цви“ Шо-

лома Аша, цикль стихотвореній г. Бальмонта подъ вычурнымъ заглавіемъ: „Литва. Вѣнокъ изъ семи стеблей“, и „драматическій пейзажъ“ г. Сергѣева-Ценскаго—„Береговое“. Обо всѣхъ трехъ можно сказать немного. Трагедія Ш. Аша соединяетъ глубокомысліе съ напыщенностью и фееричностью; глубокомысліе ея туманно, и въ цѣломъ она возбуждаетъ слишкомъ мало интереса, чтобы хотѣлось дешифрировать ея идею. Вина въ этомъ падаетъ частью, вѣроятно, и на переводчика; очень можетъ быть, что яркое и мѣткое художественное слово оригинала только въ переводѣ получило видъ стертой монеты. Одна сцена трагедіи во всякомъ случаѣ обращаетъ на себя вниманіе сильнымъ драматическимъ дѣйствіемъ: это сцена во дворцѣ султана, когда Саббатай-Цеви чувствуетъ то приливъ, то отливъ божественной силы. Литовскія стихотворенія г. Бальмонта мы не въ состояніи оцѣнить по достоинству, такъ какъ не знаемъ, насколько въ нихъ присутствуетъ литовскій элементъ; какъ-разъ къ г. Бальмонту надо въ такихъ случаяхъ относиться съ большою осторожностью. Написаны эти стихи небрежно, со множествомъ прозаизмовъ и грамматическихъ неправильностей. Наконецъ, „пейзажъ“ г. Сергѣева-Ценскаго вычуренъ и плохъ. Все, отъ чувствъ и мыслей, выражаемыхъ дѣйствующими лицами, до слога, которымъ написанъ рассказъ, представляетъ собою сплошную разсудочную аффектацію. Вотъ, для забавы, нѣсколько образчиковъ этого слога. Отъ горъ пахло „можжевельникомъ и сосной, мохомъ и днями творенья“; у героя было лицо, „какъ широкая захолустная улица днемъ, лѣтомъ“, а у героини было лицо, „какъ сѣтъ узкихъ тупиковъ и переулковъ гдѣ-нибудь на окраинахъ большого города, гдѣ любятъ тѣсниться“; у него тѣло было, какъ туманъ весною, а у нея какъ туманъ лѣтомъ; голосъ у него былъ, какъ у рѣки во время ледохода, и т. д.; „среди дня небо было проглочено дымнымъ зноемъ“, а когда героиня смѣялась, лицо ея становилось, „какъ заросшая кустами калитка въ вечернемъ саду“; и прочее въ такомъ же родѣ.

IV.

— Сборникъ товарищества „Знаніе“ за 1908 годъ. Книга двадцать-вторая. Сиб., 1908. Стр. 338.

Въ этой книгѣ помѣщено два произведенія: новая пьеса М. Горькаго и несовсѣмъ новый романъ Кнута Гамсуна (переводъ съ рукописи). Какой смыслъ имѣло соединить подъ одной обложкой двѣ столь разнородныя вещи? Развѣ только тотъ, чтобы наполнить книжку. Наши альманахи отцвѣли такъ же быстро, какъ расцвѣли; въ послѣднее время ихъ все чаще редактируетъ не кто другой, какъ брошюрщикъ.

О настоящей книгѣ, пожалуй, не стоило бы говорить, если бы на ней не стоялъ штемпель популярной фирмы: сборники „Знанія“ до сихъ поръ расходятся въ десяткахъ тысячъ экземпляровъ, т.-е. имѣютъ огромный кругъ читателей. Кромѣ того, и имя Горькаго еще не утратило своей притягательной силы, а Кнутъ Гамсунъ, нашъ недавній знакомый, сталъ рѣшительно однимъ изъ популярнѣйшихъ у насъ иностранныхъ писателей. Сейчасъ выходитъ уже второй переводъ полного собранія его сочиненій.

Пьеса Горькаго — посредственное произведеніе, изъ чего, однако, не слѣдуетъ, что его надо бранить за нее. За послѣднее время въ нашей критикѣ образовалось такое отношеніе къ Горькому, какъ будто онъ по контракту обязался поставлять намъ романы и драмы только перваго сорта, и теперь, отпуская произведенія заурядныя, выказалъ себя обманщикомъ, да еще и злостнымъ. Обязательства такого нѣтъ: каждый дѣлаетъ чтò можетъ, и *бранить* писателя за слабость его писаній — и неблагородно, и неумно. Какъ ни слаба пьеса Горькаго, въ ней есть достоинства и, главное, есть историческій смыслъ. О большинствѣ русскихъ пьесъ и этого нельзя сказать.

Горькій изобразилъ семью одного изъ ближайшихъ слугъ современнаго режима — семью полиціймейстера-охранителя. Самъ отецъ — пьяница, развратникъ, взяточникъ, съ громкимъ голосомъ, съ привычками властнаго самодура, безъ единой мысли, безъ единаго человѣческаго чувства, но съ вѣчно готовыми на устахъ риторическими воплями о долгѣ, о спасеніи отечества, о своихъ отцовскихъ чувствахъ и пр. Онъ не золъ и не добръ, онъ просто — опустошенный человѣкъ. Это сочетаніе почти наивнаго эгоизма съ бездушной риторикой и взбалмошнымъ самодурствомъ схвачено жѣтко; фигура вдвойнѣ страшная — какъ человѣческой типъ и какъ типъ русскаго „власть имущаго“ человѣка. Его жена — слабая, безвольная женщина съ нѣжнымъ сердцемъ и чуткимъ умомъ; изъ дѣтей — старшіе двое развращены до мозга костей, самая младшая дочь — пустая дѣвчонка, а двое среднихъ — горбатая Любовь и гимназистъ Петръ — мучительно томятся въ отравленной атмосферѣ дома. Жизнь въ этомъ домѣ груба и мучительна, полна дикихъ, циничныхъ сценъ; это — коллекція нравственныхъ уродовъ, благоденствующихъ или гибнущихъ, сознающихъ или не сознающихъ уродство семьи и свое собственное. Горькій хотѣлъ показать, какъ режимъ чрезъ своего слугу (отца) отравилъ цѣлую ячейку; этотъ режимъ — говорить намъ Горькій — въ концѣ деморализовалъ тотъ самый кругъ, на который онъ единственно и опирается, и этимъ самъ вырылъ себѣ могилу. Оттого онъ и назвалъ свою пьесу „Послѣдніе“: это — послѣдніе слуги стараго режима; здѣсь уже все сгнило, больше здѣсь уже не на чтò опереться. Любовь говоритъ въ

одномъ мѣстѣ — и въ этихъ словахъ вся мысль пьесы: „Мы лежимъ на дорогѣ людей, какъ обломки какого-то стараго, тяжелаго зданія, можете быть — тюрьмы... мы валяемся въ пыли разрушенія и мѣшаемъ людямъ идти... насъ задѣваютъ ногами, мы бессмысленно вызываемъ ненужную боль... иногда, запнувшись за насъ, кто-нибудь падаетъ, ломая себѣ кости...“

О художественной сторонѣ пьесы можно сказать не много хорошаго. Дѣйствующія лица очерчены грубо, прямолинейно, ихъ психологія болѣе чѣмъ элементарна, діалогъ аляповатъ до-нельзя. Сравнительно лучшая фигура — самого Коломійцева — только намѣчена; душевное состояніе его жены совершенно неправдоподобно, если вспомнить, что она прожила съ этимъ мужемъ чуть не тридцать лѣтъ: какъ, послѣ столькихъ лѣтъ, она осталась чистою въ этомъ домѣ, и что вдругъ открыло ей глаза и на мужа, и на дѣтей? Какъ же жила она эти долгіе годы? Да и вообще, вся пьеса точно не имѣетъ прошлаго; жили-жили люди прочнымъ укладомъ, и вдругъ спохватились, точно въ первый разъ увидѣли себя въ зеркалѣ. Если М. Горькій думаетъ, что это сдѣлала революція, онъ долженъ былъ хоть ретроспективно показать, какъ это сдѣлалось. Второстепенныя лица пьесы крайне плохи; тутъ есть неизбѣжная „няня“, фигура совершенно бессмысленная, есть братъ Коломійцева — мелодраматическій „дядя“ — какое-то блѣдно-розовое пятно, и т. д.

Романъ Гамсуна „Бенони“ принадлежитъ къ тѣмъ произведеніямъ, которыя читаешь безъ скуки и оставляешь безъ сожалѣнія. Онъ написанъ безъ особенныхъ затѣй: это — картина быта, гдѣ весь интересъ художника сосредоточенъ на обыденномъ, на типической психологіи. Бенони — сельскій почтарь, простая, грубая, крѣпкая натура; онъ не лишенъ чувствительности, своеобразной, вѣроятно сѣверной. Романъ представляетъ собою исторію постепеннаго возвышенія Бенони, типичную исторію простаго человѣка, который, благодаря ряду счастливыхъ случайностей (удача въ рыбной ловлѣ и пр.), богатѣетъ, растетъ и, наконецъ, становится Крезомъ родного мѣстечка. Въ романѣ — нѣсколько великолѣпныхъ фигуръ: мѣстнаго воротилы Макка, самого Бенони, адвоката Аренцена; зато главная женская фигура совсѣмъ не удалась автору. Разсказъ ведется не спѣша, обстоятельно, и не свободенъ отъ длиннотъ, хотя въ общемъ чувствуется увѣренная рука опытнаго художника. „Бенони“ не похожъ на прежніе лучшія произведенія Гамсуна, какъ „Панъ“, „Викторія“, „Голодь“ здѣсь нѣтъ ни той сосредоточенной силы, ни той удивительной свѣжести, — и это объясняется, можетъ быть, не столько возрастомъ автора, сколько тѣмъ, что грубая, элементарная психологія Бенон и Макковъ болѣе чужда Гамсуну, нежели психологія Глана или Юган

V.

— Алексѣй Ремизовъ. Часы. Романъ. Изд. Еос. Слб., 1908. Стр. 174.

Этотъ романъ трудно читать, и все-таки невозможно не дочитать его до конца. Рѣдко такое большое художественное дарованіе называется въ такой странной, можно сказать, чудовищной формѣ. Здѣсь есть фабула, и совершенно реальная, есть живыя лица, и они очерчены превосходно; но рассказъ ведется такъ дико-причудливо, такими капризными зигзагами, психологія дѣйствующихъ лицъ такъ осложнена намеками, юродствомъ, фантастикою, и, главное, внѣшняя манера изображенія—слогъ, разговоръ—такъ ненужно эксцентрична, что на каждой страницѣ вамъ хочется съ досадою бросить книгу. Зачѣмъ юродствовать, отчего не говорить человѣческимъ языкомъ? Но, странное дѣло: по мѣрѣ чтенія вы все менѣе чувствуете, что это юродство—не нарочитое, не декадентскій умыселъ, а искренняя и честная манера страннаго художника, который иначе не умѣетъ выразить то, что ему нужно было выразить. И когда вы дочитали до конца эту мучительную исторію мѣщанской семьи, вы забудете вашу досаду, какъ что-то внѣшнее и мелкое, и вашу душу охватитъ то самое чувство, которое наполняло художника, — чувство восторженной скорби при видѣ мечущагося во тьмѣ и грязи человѣчества. Художникъ достигъ своей цѣли, и какими бы средствами онъ ни достигъ ея, онъ, значить, оправданъ.

Часовой магазинъ, дѣла запутались; мужъ, не сказавшись женѣ, бѣжалъ отъ кредиторовъ; женѣ самой приходится изворачиваться, и въ концѣ концовъ магазинъ описываютъ за долги. Въ домѣ — вся семья мужа: отецъ, грязный, больной, обжорливый, отвратительный старикъ; братъ — мальчикъ Костя, неуравновѣшенный, дикій, почти сходящій съ ума; дѣвушка чистая на смертномъ одрѣ; далѣе—грубые, пьяные подмастерья; и всѣ они такъ ужасно уродливы, какъ люди, — такъ уродливы ихъ рѣчи, вспышки поступковъ и вся жизнь, что смотрѣть на эту картину — мука. Это ли человѣкъ, образъ Божій, прекраснѣйшее изъ твореній? Какъ могъ онъ такъ низко пасть, стать грязнѣе, нелѣпѣе скотины? Ни одного разумнаго слова, ни одного здороваго движенія души, ни одного спокойнаго жеста, но все искалѣчено, обезображено, загрязнено. — Но посмотрите: здѣсь не все гемно; въ каждомъ изъ этихъ уродливыхъ людей есть божественная искра, и она прорывается наружу, — но, Боже, какъ дико, какими чудовищными вспышками! Эта искра заставляетъ мастера Семена Митрофановича напиться до безчувствія; она сводитъ съ ума Костю;

она въ мучительной любви сжигаетъ еще чистыхъ, еще не совсѣмъ искалѣченныхъ Христину Федоровну и Нелидова. Адъ и небо въ этихъ омраченныхъ душахъ: какая бездонная глубина страданія! И для передачи *этого* впечатлѣнія, въ самомъ дѣлѣ фантастически-страшнаго, А. Ремизовъ избралъ, можетъ быть слишкомъ субъективную, но какъ-то странно подходящую форму: обрывковъ, чудовищныхъ образовъ и уподоблений, странныхъ эпитетовъ и пр. Все это дополняется своеобразнымъ лиризмомъ авторскихъ восклицаній: „Господи, просвѣти насъ свѣтомъ твоимъ солнечнымъ, луннымъ и звѣзднымъ!“ Весь романъ въ цѣломъ есть одинъ надрывный вопль скорби, вырвавшійся изъ сердца, измученнаго зрѣлищемъ человѣческаго страданія, уродствомъ человѣка и его тоскою по небесному. Роману предпосланъ эпиграфъ изъ Евангелія: „Ибо какъ во дни передъ потопомъ ѣли, пили, женились и выходили замужъ, до того дня, какъ вошелъ Ной въ ковчегъ; и не думали, пока не пришелъ потопъ и не истреблялъ всѣхъ: такъ будетъ и пришествіе Сына человѣческаго“. А внутри романа есть грандіозная по замыслу картина гибели человѣчества: замерла злая, проклятая, мучительная жизнь — и вотъ на горахъ пепла и костей явилась женщина: „Безсмертная, Она подымала изъ праха погнѣбшій міръ, давала для всѣхъ одну нерушимую заповѣдь: Любите!“ — и міръ ожилъ.

Удивительно хороши въ этомъ романѣ два лица — Христина Федоровна и Нелидовъ. Нѣжная женственность первой, душевная глубина второго оставляютъ незабвенное впечатлѣніе. Въ изображеніи ихъ душевныхъ состояній г. Ремизовъ достигаетъ необычайной силы. Это уже что-то большее, чѣмъ литература: это обнаженное сердце борется, ликуетъ, скорбитъ передъ нами, оно раскрыто до дна, какъ въ счастливѣйшихъ своихъ вдохновеніяхъ умѣютъ раскрывать его только великіе сердцеѣдцы.

Мы думаемъ, что А. Ремизовъ, при всей странности своей манеры, — большое дарованіе и одна изъ лучшихъ надеждъ нашей современной литературы. Онъ сталъ печатать недавно и его еще мало знаютъ. Необычность его формы отпугиваетъ читателя. Но и читатель привыкнетъ къ этому своеобразію, и художникъ, работающій и созрѣвая, придетъ къ большей простотѣ; тогда яснѣе будутъ видны и глубина содержанія, и недюжинная художественная сила, которыми отмѣчено все, что пишетъ г. Ремизовъ. Если вспомнить, что, рядомъ съ мрачными образами своихъ романовъ („Прудъ“, „Часы“), онъ создалъ лучезарные, бесконечно-поэтическіе образы „Посолони“, что онъ глубже всѣхъ нашихъ художниковъ проникъ въ духъ народнаго міра и тайны языка, то наше предсказаніе не покажется преувеличеннымъ. Залогомъ истиннаго, оригинальнаго дарованія

является уже то, что г. Ремизовъ неуклонно идетъ своимъ путемъ, страннымъ и непонятнымъ большинству, и владѣя, какъ немногіе, искусствомъ реалистическаго разсказа (что доказываютъ многія отдѣльныя сцены въ его произведеніяхъ), не поддается соблазну сойти на этотъ торный путь и пожинать дешевые лавры. Карьера г. Ремизова до извѣстной степени напоминаетъ карьеру Беклина. Люди скорѣе прощаютъ новизну содержанія, чѣмъ новизну формы, можетъ быть потому, что содержаніе они не сразу умѣютъ раскрыть; по привычкѣ они узнаютъ въ немъ старое и, обрадовавшись этой встрѣчѣ съ давно-знакомымъ, принимаются снова самодовольно обсуждать его на всѣ лады, — а форма рѣжетъ глазъ. Хорошо тому художнику, чья мысль и чувство (и это можетъ быть очень новая мысль и оригинальное чувство) удобно укладываются въ традиціонныя формы; а если перо или кисть ищутъ инстинктивно новыхъ способовъ изображенія, тогда дорога художника будетъ терниста, и не скоро ему достигнуть признанія. — М. Г.

 VI.

— Письма Карла Маркса и Фридриха Энгельса къ Николаю — ому. Переводъ Г. А. Лопатина. Спб. 1908 г. Ц. 60 к.

Прошло двадцать-пять лѣтъ со смерти Карла Маркса, а русское общество продолжаетъ относиться къ имени этого замѣчательнаго мыслителя и обоснователя научнаго социализма, какъ будто оно было его современникомъ. Россія была первая не-нѣмецкая страна, признавшая важное значеніе научныхъ трудовъ Маркса; она будетъ, пожалуй, и послѣдней изъ странъ, перестающихъ интересоваться личностью этого мыслителя. Вниманіе русскаго общества къ личности и трудамъ Маркса объясняется съ одной стороны тѣмъ, что его ученіе далеко еще не усвоено нами и не переработано самостоятельно въ примѣненіи къ условіямъ русскаго быта, съ другой — тѣмъ, что только въ послѣдніе годы сдѣлалось возможнымъ издавать въ Россіи всѣ его произведенія. Мы спѣшимъ воспользоваться этой возможностью, и въ русскомъ переводѣ издаются не только отдѣльныя произведенія, но и старыя журнальныя статьи, равно какъ и переписка Маркса. Съ именемъ Маркса въ представленіи читающаго міра неразрывно связано имя его друга и сотрудника, Фридриха Энгельса. Они вмѣстѣ обдумывали идеи, составившія содержаніе трудовъ Маркса; Энгельсъ и самъ развивалъ эти идеи въ журнальныхъ статьяхъ и отдѣльныхъ произведеніяхъ; ему же читающая публика обязана возможностью ознакомиться съ продолженіемъ „Капитала“, третій томъ котораго

могъ увидать свѣтъ только благодаря Энгельсу, положившему много труда на окончательную редакцію мало разборчивой и не совершенно отдѣланной для печати рукописи.

Указанная въ заголовкѣ нашей замѣтки книжка, заключающая письма Маркса и Энгельса, должна быть особенно интересна для русскаго читателя, потому что письма эти адресованы русскому писателю и что значительная ихъ часть посвящена Россіи. Г. Николай — онъ, первый переводчикъ у насъ Маркса, состоялъ въ дѣятельныхъ сношеніяхъ сначала съ Марксомъ, а послѣ его смерти — съ Энгельсомъ по поводу изданія имъ произведеній перваго и снабженія Маркса и Энгельса русскими статистическими и другими изданіями и статистическими матеріалами въ собственной его обработкѣ, предпринятой въ извѣстной мѣрѣ по просьбѣ Маркса. Эти работы г. Н. — она были затѣмъ использованы въ журналѣ „Слово“ подъ названіемъ „Очерки нашего пореформеннаго хозяйства“ и составили первую часть позднѣйшаго его сочиненія, имѣющаго то же заглавіе. Данные, доставляемыя Марксу русскимъ его почитателемъ, очень его заинтересовали, и Марксъ предполагалъ воспользоваться ими особенно въ отдѣлѣ „Капитала“, посвященномъ рентѣ и аграрнымъ отношеніямъ. Къ сожалѣнію, преждевременная кончина Маркса помѣшала выполненію этого намѣренія и въ его бумагахъ найдены были лишь извлеченія изъ присылавшихся ему матеріаловъ, безъ какихъ-либо его собственныхъ замѣчаній. Такимъ образомъ, „вся огромная работа Маркса по изученію матеріаловъ русской хозяйственной жизни пропала даромъ для науки“, — замѣчаетъ г. Николай — онъ, — и для русской общественной мысли, болѣе всего, конечно, заинтересованной въ освѣщеніи явленій русской жизни мыслью знаменитаго социолога. Между тѣмъ богатые матеріалы о Россіи задерживали изданіе второго и послѣдующихъ томовъ „Капитала“, и друзья Маркса шутя говорили ему, что для пользы науки слѣдовало бы сжигать получаемыя имъ изъ Россіи книги.

Въ рассматриваемомъ изданіи напечатано 18 писемъ Маркса и 29 писемъ Энгельса. Многія письма касаются исключительно изданія на разныхъ языкахъ „Капитала“. Въ другихъ письмахъ затрагиваются нѣкоторыя экономическія темы, при чемъ Марксъ дѣлился съ своимъ корреспондентомъ мыслями о разыгравшемся тогда (въ концѣ 70-хъ годовъ) англійскомъ кризисѣ, представлявшемъ важныя особенности сравнительно съ предыдущими. Длинные письма Энгельса посвящены русскимъ дѣламъ. Они вызваны были сообщеніями г. Николая — она о результатахъ его изслѣдованій относительно экономической эволюціи Россіи и его точки зрѣнія на эту послѣднюю. Энгельсъ не соглашался съ точкой зрѣнія своего корреспондента о возможности для Россіи достигнуть высокой степени промышлен-

наго развитія, помимо водворенія въ ней капитализма, путемъ развитія самодѣятельности народа и расширенія общиннаго начала „на волость, уѣздъ, губернію и, наконецъ, на все государство“. „Ни въ Россіи и ни въ какомъ другомъ мѣстѣ — отвѣчаютъ на это Энгельсъ — невозможно развить изъ первобытнаго земельного коммунизма какую-либо болѣе высокую социальную форму, если эта болѣе высокая форма не *существуетъ уже* въ дѣйствительности въ какой-либо другой странѣ и не служитъ такимъ образомъ какъ бы образцомъ для подражанія. Такъ какъ эта болѣе высокая форма — всюду, гдѣ она исторически возможна — является необходимымъ слѣдствіемъ капиталистической формы производства и создаваемого имъ социальнаго дуалистическаго антагонизма, то она никакъ не можетъ развиться прямо изъ первобытной земельной общины иначе, какъ въ видѣ подражанія примѣру, уже существующему въ какомъ-либо другомъ мѣстѣ“. „Что касается до общины — продолжаетъ Энгельсъ, — то она остается возможною только до тѣхъ поръ, пока ея члены отличаются другъ отъ друга богатствомъ лишь въ ничтожной степени. Какъ только эти различія станутъ большими; какъ только нѣкоторые ея члены станутъ должниками-рабами другихъ, болѣе богатыхъ членовъ, такъ община не можетъ долѣе жить“. Возражалъ Энгельсъ и противъ пессимистическихъ взглядовъ г. Николая — она на возможное будущее Россіи, руководимой капитализмомъ. Чтò бы ни случилось, — говоритъ Энгельсъ, — какъ бы ни бѣднѣло и даже ни вымирало населеніе Россіи, „населеніе болѣе чѣмъ въ сто миллионновъ душъ доставитъ въ концѣ концовъ очень значительный отечественный рынокъ для очень почтенной крупной промышленности; и у васъ, какъ и въ другихъ странахъ, кончится тѣмъ, что всегда придуть понемногу въ равновѣсіе — конечно, если капитализмъ продержится достаточно долго въ самой Западной Европѣ“.

Для того, чтобы лучше понять мысли Энгельса о русскихъ дѣлахъ, въ разсматриваемому изданію приложено изложеніе взглядовъ г. Николая — она, вызвавшихъ замѣчанія Энгельса.

VII.

— Жанъ Лескюръ. Общія и періодическіе промышленные кризисы. Переводъ съ французскаго. Спб. 1908. Стр. 555. Ц. 2 р. 50 к.

Вотъ уже сто лѣтъ, какъ европейскій промышленный міръ периодически потрясается рѣзкими нарушеніями равновѣсія между производствомъ и потребленіемъ, ведущими къ упадку производительности, гибели капиталовъ, разоренію предпринимателей, бѣдствіямъ рабо-

чихъ классовъ; и несмотря на важность явленія и его повторяемость, нельзя сказать утвердительно, что мы имѣемъ полное и вѣрное его объясненіе. Это не слѣдуетъ, однако, приписать равнодушію изслѣдователей къ данному явленію. Что они давно обратили на него вниманіе и усердно объясняли, если не изучали — видно изъ того, что одинъ изъ историковъ соотвѣствующихъ теорій тринадцать лѣтъ назадъ указалъ 230 взглядовъ по этому вопросу. Число послѣднихъ къ настоящему времени еще увеличилось. Такое разнообразіе мнѣній объясняется тѣмъ, что изслѣдуемое явленіе характеризуется сложностью и разнообразіемъ признаковъ и что ученые обращали вниманіе преимущественно на ту или другую его сторону, и давали неполныя и сплошь да рядомъ одностороннія его объясненія. Многочисленность возвращеній зависитъ, впрочемъ, и отъ того обстоятельства, что они обнимаютъ всѣ виды хозяйственныхъ кризисовъ, между тѣмъ какъ авторъ сочиненія, составляющаго предметъ настоящей замѣтки, рѣзко отдѣляетъ отъ частныхъ кризисовъ — курсового, биржевого, сельско-хозяйственного и т. п. — общіе промышленные кризисы, тяжело отражающіеся на производствѣ, распредѣленіи, обращеніи и потребленіи національнаго богатства. Изъ этого уже можно видѣть, насколько сложно и трудно для изученія рассматриваемое явленіе, а если принять во вниманіе, что общій промышленный кризисъ составляетъ какъ бы звено въ цѣпи явленій господствующаго хозяйственнаго строя, и что эволюція послѣдняго развертываетъ предъ нами новыя и новыя характерныя его свойства, то сдѣлается яснымъ, что прежнія объясненія кризисовъ и не могли быть достаточно удовлетворительными, и что для выясненія причинъ этого явленія „нужно знать общую эволюцію экономической жизни народовъ“. Авторъ рассматриваемаго нами весьма интереснаго изслѣдованія о кризисахъ полагаетъ, что господствующій экономическій строй въ наше время уже достаточно выяснился для того, чтобы дать объясненіе интересующему его явленію, и рѣшается даже предсказать будущую его судьбу.

Изслѣдованіе Жана Лескура раздѣляется на двѣ части: историческую и теоретическую. Въ первой части рассматриваются промышленные кризисы, начиная кризисомъ 1810 г. и кончая депрессіей 1903—04 г. и послѣдующимъ оживленіемъ промышленности въ Соединенныхъ Штатахъ Сѣверной Америки. Вначалѣ изложеніе автора носить компилятивный характеръ, но, по мѣрѣ приближенія къ настоящему времени, оно пріобрѣтаетъ болѣе и болѣе самостоятельности и расширяется по содержанію, представляя какъ бы очерк эволюціи господствующаго хозяйственнаго строя. Общій смыслъ исторической части изслѣдованія заключается въ установленіи тождества

ственности явленій кризиса въ различные моменты времени. Въ теоретической части разсматриваются различные теоріи кризисовъ и дается объясненіе послѣднихъ, принадлежащее автору совместно съ его предшественниками. Послѣдовательное изложеніе экономическихъ доктринъ даетъ автору возможность показать, „какъ экономическое мышленіе приходило ко все болѣе и болѣе удовлетворительному рѣшенію вопроса о кризисахъ“.

Исторія послѣдняго столѣтія показываетъ, что капиталистическая промышленность развивается путемъ чередованія періодовъ подъема и упадка, и авторъ слѣдующимъ образомъ рисуетъ схему этой эволюціи. „Въ такихъ народныхъ хозяйствахъ, какъ наше, необходимымъ условіемъ увеличенія или улучшенія производства является ростъ капитала, производство средствъ производства“ (фабрикъ, машинъ, желѣзныхъ дорогъ и т. п.). „Но это условіе предполагаетъ наличность другого: предварительнаго накопленія сбереженій, готовыхъ принять участіе въ дѣлѣ производства“. Возможность же такого употребленія сбереженій собственники послѣднихъ получили „благодаря современнымъ открытіямъ“. Подъемъ промышленности „можетъ быть вызванъ различными причинами, но въ основаніи его всегда лежитъ потребность въ какомъ-нибудь новомъ средствѣ производства“. Поэтому „притокъ сбереженій къ промышленности оживить прежде всего одну категорію производства—производство средствъ производства. Но какихъ—будетъ зависеть отъ обстоятельствъ: въ началѣ XIX столѣтія усилится производство ткацкихъ станковъ, прядильныхъ машинъ, словомъ, предметовъ оборудованія текстильныхъ фабрикъ“. Нѣсколько позже оживленіе наступитъ въ дѣлѣ сооруженія желѣзныхъ дорогъ и желѣзныхъ паровыхъ судовъ. „Въ наши дни приливъ капитала въ промышленность отразится на производствѣ электрической энергіи и на распространеніи ея многочисленныхъ приложений въ промышленности: трамваевъ, электрическихъ желѣзныхъ дорогъ, электрическаго освѣщенія и т. п.“. Начавшись въ одной отрасли, промышленное оживленіе, „вслѣдствіе солидарности различныхъ отраслей“, болѣе или менѣе быстро распространится на всѣ остальные. Такъ какъ скелетъ современной промышленности составляетъ желѣзо, ея дѣятельные органы—машинны, а двигательную силу—каменный уголь, то горное дѣло и металлургія, а затѣмъ машиностроеніе прежде всего испытаютъ живительную силу прилива капитала къ промышленной дѣятельности. „Это усиленіе производства требуетъ большого количества рабочихъ рукъ: число рабочихъ растетъ, а вмѣстѣ съ нимъ растетъ и заработная плата“, растетъ спросъ на предметы потребленія, спросъ на жилища помѣщенія для скучи-

вающихся въ нѣкоторыхъ мѣстахъ рабочихъ; оживляется производство предметовъ потребленія и строительное дѣло.

Оживленіе промышленности ведетъ къ оживленію перевозочной и банковской дѣятельности, къ возвышенію цѣнъ на всѣ продукты, увеличенію доходовъ рабочихъ, капиталистовъ и, особенно, земельныхъ собственниковъ. Неудивительно, что „всякій подъемъ промышленности ведетъ къ распространенію разнузданной роскоши и вдругъ передвигаетъ отдѣльныхъ индивидуумовъ съ низшихъ ступеней общественной лѣстницы въ классъ богатыхъ капиталистовъ“. „Въ несчастію, такое идеальное положеніе вещей — замѣчаетъ авторъ — продолжается недолго. Послѣ поднятія приходится спускаться и спускаться быстро“. Спускъ этотъ ближайшимъ образомъ обусловливается тѣмъ, что новыя сбереженія перестаютъ употребляться на производительныя цѣли, а помѣщаются въ старыя, надежныя бумаги. Прежде всего это почувствуютъ на себѣ горная и металлургическая промышленность; за ними послѣдуютъ прочія отрасли, принимающія участіе въ изготовленіи средствъ производства, а потомъ, съ развитіемъ безработицы, сокращеніе распространяется на производство предметовъ потребленія и на строительную дѣятельность. Развертывается картина общаго промышленнаго кризиса. „Такова невеселая картина развитія капиталистическихъ народныхъ хозяйствъ“, и слѣдующей задачей автора является изслѣдованіе причинъ прилива и отлива сбереженій къ промышленности, приводящее „къ изученію причинъ общихъ промышленныхъ кризисовъ“. Въ указаніи этихъ причинъ Жоржъ Лескюръ въ значительной мѣрѣ слѣдуетъ ученію русскаго экономиста, М. И. Туганъ-Барановскаго, котораго онъ высоко цѣнитъ и считаетъ основателемъ новой теоріи кризисовъ, принимаемой съ нѣкоторыми поправками многими экономистами. Впрочемъ, онъ и значительно измѣняетъ эту теорію, и протестуетъ противъ ученія г. Туганъ-Барановскаго о независимости размѣровъ производства отъ объема такъ называемаго непосредственнаго потребленія.

Отливъ капитала отъ промышленности, ведущій къ замѣнѣ оживленія ея депрессіей, объясняется авторомъ невозможностью извлеченія изъ нея обычной прибыли, вслѣдствіе крайняго поднятія расходовъ производства въ моменты наивысшаго оживленія. Высокія цѣны жельза, машинъ и другихъ предметовъ оборудованія заводовъ, фабрикъ и т. п., и высокій процентъ на заемный капиталъ — въ совокупности съ возвышеніемъ стоимости сырья и рабочихъ рукъ — настолько увеличиваютъ издержки производства въ заведеніяхъ, устроенныхъ на высотѣ промышленнаго подъема, что выпускаемые ими товары не выдерживаютъ конкуренціи съ продуктомъ болѣе старыхъ предпріятій, и затраченный на нихъ капиталъ не доставляетъ ожидаемой

прибыли. Новые сбереженія поэтому перестаютъ притекать къ производству и обращаются на приобрѣтеніе надежныхъ, преимущественно государственныхъ, бумагъ. Критическое положеніе дѣлъ ведетъ къ гибели многихъ, преимущественно мелкихъ предпріятій, и вызываетъ концентрацію и техническое усовершенствованіе крупныхъ фабрикъ и заводовъ. Этимъ путемъ издержки производства на нихъ единицы продукта понижаются настолько, что „въ какой-нибудь отрасли вновь открывається заманчивая возможность полученія прибыли“. Тогда накопившіяся сбереженія, помѣщавшіяся въ государственныхъ и другихъ бумагахъ, начинаютъ опять обращаться на болѣе доходныя сферы промышленной дѣятельности; послѣдняя оживляется; совершается новый оборотъ колеса — подъемъ и слѣдующій за нимъ упадокъ промышленности.

Мы не имѣемъ мѣста для оцѣнки изложенной выше теоріи общихъ промышленныхъ кризисовъ; но не можемъ не указать на одинъ важный пробѣлъ въ разсужденіяхъ автора: на недостаточную оцѣнку той роли, какую въ эволюціи капиталистическаго хозяйства играетъ обезцѣненіе или, выражаясь точнѣе, уничтоженіе основного капитала. Широкаго распространенія указаннаго явленія естественно ожидать уже въ виду того факта, что выдающейся чертой промышленнаго оживленія служить огромное расширеніе производства средствъ производства, т. е. сооруженіе новыхъ заводовъ, фабрикъ, желѣзныхъ дорогъ и т. п., между тѣмъ какъ покупательныя средства массы населенія увеличиваются при этомъ, сравнительно, въ очень умѣренной степени. Пока идетъ оборудованіе новыхъ предпріятій—господствуетъ оживленіе и всѣ чувствуютъ себя хорошо. Но когда фабрики, заводы и желѣзныя дороги выстроены, и наступаетъ время пользованія ими для производства продуктовъ потребленія, для оказанія перевозочныхъ услугъ и т. п. — оказывается, что спросъ рынка на то и другое далеко отстаетъ отъ того, что требуется для поглощенія массы выбрасываемыхъ товаровъ, для оплаты расходовъ перевозочныхъ предпріятій и т. п.; и выстроенныя заведенія, вмѣсто ожидаемыхъ барышей, даютъ убытокъ, останавливаются, изнашиваются отъ неупотребленія, и теряются совершенно для промышленности, потому что предпріятія въѣзкія расширяютъ въ моменты кризиса свои размѣры, возвышаютъ технику и становятся внѣ конкуренціи съ своими замолкшими противниками. Такое замѣщеніе еще совершенно пригодныхъ для дѣла людей, машинъ и другихъ приспособленій производства—новыми, технически болѣе совершенными аппаратами происходитъ въ широкихъ размѣрахъ и при обычномъ теченіи промышленныхъ дѣлъ. И лишь благодаря этой массовой гибели капиталовъ, путемъ безжалостно уничтоженія менѣе совершенныхъ приспособленій, современный

хозяйственный строй расчищает почву для производительнаго употребленія огромныхъ сбереженій владѣющихъ классовъ, которыми остается одно: строить и строить, безъ мысли объ окончательныхъ результатахъ такого нагроможденія фабрикъ, заводовъ и другихъ формъ того, что называется средствами производства, или основнымъ капиталомъ страны ¹⁾).

VIII.

- Потребительныя общества. Исторія, теорія, практика. В. Ф. Тотоміанцъ. Изд. II. Спб. 1908. Ц. 2 р.
— С. В. Бородаевскій. Сельско-хозяйственныя коопераціи въ Германіи. Спб. 1908. Ц. 50 к.

Объединеніе трудящихся классовъ на Западѣ достигается въ настоящее время при помощи двойнаго рода организацій: профессиональныхъ и кооперативныхъ. Въ профессиональныхъ организаціяхъ рабочій классъ борется, главнымъ образомъ, за улучшеніе условій труда въ капиталистическихъ предпріятіяхъ; въ кооперативныхъ союзахъ трудящіеся получаютъ возможность лучше использовать собственныя средства производства и средства, предназначаемыя на удовлетвореніе ихъ обыкновенныхъ человѣческихъ потребностей. Было время, когда особой симпатіей интеллигентныхъ круговъ, а мѣстами и рабочаго класса пользовались производительныя коопераціи, — разрѣшающія, какъ полагали, радикально, такъ называемый соціальныи вопросъ. Практика, однако, показала, что производительныя ассоціаціи — по крайней мѣрѣ въ области индустріи — сами по себѣ не могутъ получить широкаго распространенія; а экономическая теорія обосновала это заключеніе, объяснивъ, что гибель отдѣльныхъ частныхъ предпріятій, — какъ результатъ жестокой конкуренціи производителей, — является лишь показателемъ успѣховъ капиталистическаго строя, какъ такового, свидѣтельствомъ того, что технически отсталыя заведенія замѣщаются болѣе совершенными; гибель же подъ ударами конкуренціи предпріятій кооперативныхъ есть чистый убытокъ для всего дѣла коопераціи, не обладающей такими капиталами, чтобы ими можно было располагать, не опасаясь за послѣдствія. Производительная кооперація, какъ общее правило, должна имѣть обезпеченный сбытъ; а это становится возможнымъ при наличности организаціи потребленія, которая — будучи легко достижима — должна поэтому составлять первый шагъ на пути освобожденія трудящихся отъ капиталистической

¹⁾ Подробное развитіе этой мысли см. въ книгѣ В. В.: „Производство и потребленіе капиталистическихъ обществъ“.

эксплоатаціи. Нѣсколько иначе поставлено дѣло въ области сельскаго хозяйства, гдѣ господствуетъ такое производство, и нѣкоторые продукты котораго—масло, сыръ, мясо, фрукты и т. п.—имѣютъ, можно сказать, неограниченный сбытъ. Сказаннымъ объясняется тотъ фактъ, что въ промышленной рабочей средѣ кооперація распространяется преимущественно въ области потребления, а въ сельскомъ хозяйствѣ пользуются широкимъ распространѣніемъ—на ряду съ потребительными обществами—и коопераціи производительныя (съ подсобными къ нимъ коопераціями кредитными).

Кооперативное движеніе въ Россіи ведетъ свое начало съ шестидесятихъ годовъ истекшаго столѣтія; но возможность болѣе или менѣе широкаго распространѣнія кооперативныхъ и профессиональныхъ организацій открылась лишь въ послѣдніе годы, и мы слышимъ отовсюду о проснувшемся стремленіи массъ къ организаціи, а хроника профессиональнаго движенія сдѣлалась обычной принадлежностью нашихъ газетъ. Книги по профессиональному и кооперативному движенію являются поэтому желанными гостями въ нашей литературѣ, а названныя въ заголовкѣ настоящей замѣтки произведенія относятся какъ-разъ къ формамъ коопераціи, имѣющимъ наибольшій успѣхъ. Книга В. О. Тотоміанца трактуетъ о потребительныхъ обществахъ различныхъ цивилизованныхъ государствъ, а книга С. В. Бородаевского—о сельско-хозяйственныхъ, точнѣе—сельскихъ (потому что въ этихъ коопераціяхъ принимаютъ участіе не только земледѣльцы, но и прочіе жители деревни) производительныхъ (въ широкомъ смыслѣ слова) коопераціяхъ въ странѣ, гдѣ онѣ пользуются очень широкимъ распространѣніемъ. Въ книгѣ г. Тотоміанца отведено много мѣста исторіи потребительныхъ обществъ съ ихъ неудачами на первыхъ шагахъ, зависѣвшими и отъ враждебнаго отношенія къ нимъ со стороны конкурентовъ-торговцевъ, и отъ неопытности, а подчасъ и равнодушія къ дѣлу самихъ кооператоровъ. Данный трудъ представляетъ поэтому особый интересъ для тѣхъ странъ, гдѣ кооперативное движеніе въ массахъ—какъ въ Россіи—является еще новостью, и ему предстоитъ поэтому переживать затрудненія, съ которыми успѣшно справились рабочія массы сосѣднихъ государствъ. Одна глава книги г. Тотоміанца посвящена и русскимъ потребительнымъ обществамъ; но ее по справедливости пришлось назвать „Къ вопросу о потребительныхъ обществахъ въ Россіи“, потому что, несмотря на наличность въ нашей странѣ 1.500 потребительныхъ обществъ, свѣдѣнія объ этой коопераціи крайне скудны, и нарисовать картину ея жизни представляется возможнымъ.

Книжка г. Бородаевского составлена по другому плану. Она даетъ краткія свѣдѣнія объ организаціи и современномъ состояніи различ-

ныхъ видовъ сельской коопераціи въ Германіи и заключаетъ немало цифровыхъ о нихъ данныхъ, относящихся къ новѣйшему времени. Она поэтому очень пригодна для обновленія свѣдѣній по данному предмету.

IX.

— В. Гриневичъ. Профессиональное движеніе рабочихъ въ Россіи. Спб. 1908 г. Ц. 1 р. 20 к.

Свободныя профессиональныя организаціи русскихъ рабочихъ имѣютъ не болѣе трехъ лѣтъ отъ роду, такъ какъ до момента послѣдняго взрыва освободительнаго движенія администрація допускала лишь организацію союзовъ, открыто или тайно руководимыхъ ея агентами. Извѣстно, какую роль въ развитіи стачекъ (стаечное движеніе лѣтомъ 1902 г. на югѣ) и политическихъ выступленій рабочихъ (манifestація 9 января 1905 г.) играли даже эти инспирируемые властью союзы; и неудивительно, если наше правительство, — ревниво охраняя существующіе порядки, — относится недовѣрчиво къ профессиональному движенію, и, — допуская его по закону, — потому что по закону вѣдь у насъ конституція, — преслѣдуетъ его въ дѣйствительности, переполненной усиленными и чрезвычайными охранами, военными положеніями и т. п. Самый законъ (4 марта 1906 г.), допустившій существованіе профессиональныхъ союзовъ, поставилъ ихъ въ обстановку, крайне стѣсняющую ихъ развитіе. Достаточно указать, напримеръ, на статью этого закона, воспреещающую соединеніе профессиональныхъ обществъ въ союзы и на фактъ отверженія Государственнымъ Совѣтомъ опредѣленія (въ проектѣ закона) профессиональныхъ обществъ, какъ имѣющихъ цѣлью „ислѣдованіе и защиту экономическихъ интересовъ и улучшеніе условій труда своихъ членовъ“. Слово „защита“ показалось ему очень страшнымъ. „Защита интересовъ—говорится въ объяснительной къ закону запискѣ Государственнаго Совѣта — предполагаетъ какъ бы боевое къ нимъ отношеніе и легко можетъ натолкнуть рабочихъ на мысль, что борьба съ предпринимателями составляетъ главную задачу предусматриваемыхъ проектомъ обществъ. Между тѣмъ цѣль сихъ послѣднихъ должна заключаться въ мирномъ разграниченіи сталкивающихся интересовъ труда и капитала и въ возможномъ ихъ согласованіи“. Всякому понятно, что задачи профессиональныхъ организацій диктуются и взглядами на предметъ законодателя и не болѣе или менѣе удачными выраженіями закона, а существенными интересами организующихъ лицъ; и профессиональныя организаціи рабочихъ во всемъ цивилизованномъ мірѣ преслѣдуютъ одинаковую цѣль — *защиту* рабочаг

класса противъ предпринимателей, изгнанную Государственнымъ Совѣтомъ со страницъ составленнаго для профессиональныхъ обществъ закона. Несмотря на это изгнаніе— „основной формой экономической борьбы, совершающейся подъ руководствомъ и нашихъ профессиональныхъ союзовъ, остается *стачка*—форма, обусловливаемая характеромъ самаго капиталистическаго производства“ (Гриневиць).

Книга г. Гриневица, указанная въ заголовкѣ нашей замѣтки, имѣетъ цѣлью „дать по возможности цѣльную картину профессиональнаго движенія рабочихъ (фабрично-заводскихъ, ремесленныхъ и торгово-промышленныхъ служащихъ) въ Россіи въ его историческомъ развитіи и установить связь между его характерными чертами и особенностями и политическими и экономическими условіями русской жизни“. Краткость времени существованія профессиональныхъ союзовъ и ненормальность условій, при которыхъ они возникали (революціонный періодъ) и развиваются (реакція) врядъ-ли, однако, допускаютъ разрѣшеніе второго, поставленнаго авторомъ вопроса; и его сближенія по этому предмету служить больше для уясненія связи особенностей русскаго профессиональнаго движенія съ этими ненормальными условіями окружающей его среды. Свою книгу авторъ начинаетъ очеркомъ рабочаго движенія и отношенія къ нему власти въ періодъ времени, предшествующій послѣднему взрыву освободительнаго движенія. Движеніе рабочихъ въ это время выражалось періодически повторявшимися эпидеміями забастовокъ, носившими стихійный характеръ. Организация рабочихъ существовала въ формѣ весьма немногочисленныхъ обществъ взаимопомощи, а въ послѣдніе годы этого періода возникали, преимущественно въ средѣ еврейскихъ рабочихъ, нелегальныя кассы борьбы, имѣвшія кратковременное существованіе, и дѣлаются другія попытки руководства стачками. Открытые профессиональные союзы, и притомъ боевого по отношенію къ предпринимателямъ характера, стали возникать такъ называвшимся у насъ явочнымъ порядкомъ, послѣ 9 января 1905 г., отразившагося по всей Руси широкой волной забастовочнаго движенія, которому, сказать кстати, авторъ приписываетъ болѣе политическаго характера, чѣмъ оно имѣло. Первые союзы возникли весной; „широкое же развитіе профессиональнаго движенія начинается только со времени осеннихъ событій 1905 г.“, когда русское общество фактически осуществляло свободу собраній и свободу союзовъ. Исторія профессиональныхъ союзовъ тѣсно связана такимъ образомъ съ исторіей политическаго движенія послѣднихъ лѣтъ. И это слѣдуетъ сказать не только относительно возникновенія первыхъ союзовъ, но и относительно дальнѣйшей судьбы движенія. Подъемъ и упадокъ оппозиціоннаго политическаго настроенія сопровождаются подъемомъ и упадкомъ интен-

сивности профессиональнаго движенія, а политическая реакція послѣдняго года сильно отразилась и на профессиональныхъ организаціяхъ. Книга г. Гриневича даетъ яркую и интересно написанную картину перипетій этого движенія и рассматриваетъ вмѣстѣ съ тѣмъ вопросы, возникающіе въ союзахъ, и способы ихъ рѣшенія, намѣчавшіеся или осуществлявшіеся рабочими организаціями. Не столь удовлетворительной слѣдуетъ считать философскую, такъ сказать, часть рассматриваемаго сочиненія, по причинѣ слишкомъ упрощеннаго и шаблоннаго метода объясненіе явленій. Авторъ не могъ не отмѣтить ясной связи новѣйшаго рабочаго движенія съ политическими событіями момента; но въ объясненія стачечной волны восьмидесятихъ годовъ онъ ссылается лишь на развитіе капиталистической промышленности, не замѣчая того, что въ это десятилѣтіе наша крупная промышленность находилась именно въ застоѣ, и что руководителями многихъ стачекъ этого времени (между прочимъ, насколько помнимъ, и названныя имъ лица) были рабочіе, находившіеся въ семидесятихъ годахъ подъ вліяніемъ революціонеровъ. „Часто съ арестомъ такихъ руководителей—замѣчаетъ самъ авторъ—стачка обрѣкалась на неудачу“. Такъ же шаблонно оперируетъ авторъ и съ другимъ факторомъ рабочаго движенія нашихъ дней—дѣятельностью социаль-демократической партіи. Правильно оцѣнивая во многихъ случаяхъ слабыя связи этой партіи съ массами рабочихъ, показывая намъ, какъ эта партія плохо понимала окружающую среду и создавала тактическія программы, не соответствующія условіямъ мѣста и времени,—авторъ затѣмъ начинаетъ исключительно этой партіи приписывать явленія, свойственныя вообще переживаемому нами моменту. „Идейная гегемонія социаль-демократіи—говоритъ онъ, напримѣръ,—обезпечила нашему профессиональному движенію безусловно классовый характеръ; съ первыхъ же шаговъ ему чужды утопіи гармоніи интересовъ капиталистовъ и рабочихъ“. Утверждая это, авторъ забываетъ съ одной стороны, что раньше всего у насъ организовались „рабочіе наиболѣе отсталыхъ производствъ, тѣ элементы, которые раньше не принимали никакого участія въ рабочемъ движеніи“ и уже поэтому врядъ-ли подвергались предварительной социаль-демократической пропагандѣ; съ другой—что и въ болѣе раннихъ движеніяхъ русскихъ рабочихъ врядъ-ли можно найти серьезные признаки „утопіи гармоніи интересовъ“. Эти промахи автора мало порочать, однако, рассматриваемую книгу, такъ какъ главный ея интересъ заключается въ фактахъ и въ указаніи связи явленій нашего профессиональнаго движенія съ современными ему фактами политической жизни страны, а не въ установленіи зависимости изучаемаго явленія отъ болѣе глубокихъ или менѣе замѣтныхъ факторовъ.—В. В.

Въ теченіе іюля поступили въ Редакцію нижеслѣдующія новыя книги и брошюры:

Аментъ, В., д-ръ.—Душа ребенка. Съ иллюстраціями. Перев. съ нѣм. Я. Траурингъ. Спб. 908. Стр. 115. Ц. 1 р.

Анишкевичъ, Ф. М.—Садоводство въ связи съ климатическими и культурными условіями. Спб. 908. Стр. VIII+154. Ц. 1 р. 50 к.

Аишъ, Шоломъ.—Разказы и цѣсы. Т. II. Изд. товарищ. „Знаніе“. Спб. 908. Ц. 1 р. Стр. 257.

Бальмонтъ, К. Д.—Зовы древности. Книгоизд. „Пантеонъ“. Спб. 908. Второе (дешовое) изд. Стр. 212. Ц. 40 к.

Бекетовъ, Н. Н., ордин. академикъ.—Рѣчи химика. 1862—903. Спб. 908. Стр. 176. Ц. 60 коп.

Бельше, В.—Дни творенія. Изъ исторіи развитія міра. Перев. съ нѣм. В. Александрова. Съ рисунками. Изд. В. Богушевскаго. Спб. 908. Стр. 109. Ц. 60 к.

Брянчаниновъ, Ник.—Скитанія. (Нубія, Суданъ, Палестина, Ливанъ). М. 908. Съ иллюстраціями и геогр. картой. Стр. 160. Ц. 2 р.

Виноградовъ, I., свящ.—Основы христіанской религіи и православное вѣроченіе. Изд. 2-е. М. 908. Ц. 1 р.

Горскій, Стефанъ.—Передовые посты нѣмцевъ въ Царствѣ Польскомъ. Перев. съ польск. Б. Г. Князева. Спб. 908. Стр. 42. Ц. 30 к.

Грузенбергъ, Семень.—Пессимизмъ какъ вѣра и міропониманіе. Опытъ критич. анализа и классификаціи основоположеній и выводовъ пессимизма. М. 908. Стр. 65 к.

Деворъ, Д. А.—Наши Шекспиры и Гёте. Литературный памфлетъ. Спб. 908. Стр. 137. Ц. 60 к.

Деникинъ, А. И.—Русско-китайскій вопросъ. Военно-политич. очеркъ. Со схемами и диаграммами. Книгоизд. „Офицерская жизнь“. Варшава 908. Стр. 55. Ц. 75 к.

Деруновъ, К. Н.—Примѣрный библиотечный каталогъ. Избранная литература по всѣмъ отраслямъ знанія. Съ приложеніемъ своднаго указателя журнальныхъ рецензій на книги за періодъ 1847—1907 гг. Ч. I. Второе, исправл. и доп. изданіе. Спб. 908. Стр. XVI+158. Ц. 1 р. 25 к.

Дюбрейль, Луи.—Коммуна 1871 года. (Соціалистическая исторія, подъ ред. Ж. Жореса). Перев. Н. С. Тютчева. Спб. 908. Стр. 218. Ц. 75 к.

Езерскій, О. В.—Различіе системъ счетоводства по внутреннимъ формамъ книгъ и пр. Спб. 908. Стр. 32. Ц. 50 к.

Жирновъ, Ив.—Спасибо отцу. Разказъ. 8-е изд. М. 908. Съ 6 рис. въ текстѣ. Стр. 60. Ц. 5 к.

Завадскій, А. В., прив.-доц. Казанскаго унив.—О проектѣ министра юстиціи о преобразованіи мѣстнаго суда. Казань, 908. Стр. 37. Ц. 30 к.

Зивартъ, Христоф.—Логика. Перев. съ 3-го посм. нѣм. изд. I. А. Давыва. Т. I. Спб. 908. Стр. 481. Ц. 2 р. 50 к.

Кауфманъ, А. А.—Русская община въ процессѣ ея зарожденія и роста. 908. Изд. тов. Сытина. Стр. XVI+455. Ц. 2 р. 50 к.

— Аграрный вопросъ въ Россіи. Лекціи, читанныя въ моск. народ-

номъ университетѣ въ 1907 г. II. Въ чемъ вопросъ и гдѣ его рѣшеніе?—М. 908. Стр. 166. Ц. 40 к.

Кованъ, И.—Очерки по исторіи новѣйшей русской литературы. Т. I. Вып. I. М. 908. Стр. 256. Изд. тов. Сытина. Ц. 1 р.

Корецкій, Н. В.—Пѣсни ночи. Стихотворенія. Изд. ред. журнала „Пробужденіе“. Стр. 127. Ц. 1 р.

Крижъ, В. О.—О домашнемъ чтеніи въ сельской школѣ. 4-ое изд. М. 908. Стр. 32. Ц. 5 к.

Морозовъ, Ник.—Основы качественного физико-математическаго анализа и новые физическіе факторы, обнаруживаемые имъ въ различныхъ явленіяхъ природы. М. 908. Изд. т-ва Сытина. Стр. 402. Ц. 2 р. 50 к.

Нестежинъ, П. М.—„Въ бою“ и другіе рассказы. Изд. т-ва Сытина. М. 908. Стр. 383. Ц. 1 р.

Робинсонъ, Л.—Историко-философскіе этюды. Вып. I. (Происхожденіе Кантовскаго ученія объ антиноміяхъ.—Соплинизмъ въ XVIII в.). Спб. 908. Стр. 53. Ц. 80 к.

Сеньобосъ, Шарль.—Политическая исторія современной Европы. Перевъ франц. подъ ред. В. А. Поссе. Изд. 4-ое. Съ прилож. очерка: „Европа нашихъ дней“ (1897—1907) и русской библиографіи. Т. I. Стр. 482. Т. II. Стр. 592. Съ иллюстраціями и портретами. Изд. товарищ. „Знаніе“. Спб. 907. Ц. за два тома 4 р.

Толстой, Левъ.—Замѣчательные мыслители всѣхъ временъ и народовъ.—I. Единеніе. Мысли разныхъ писателей. Стр. 22. Ц. 10 к.—II. Свобода. Стр. 23. Ц. 10 к.—III. Божественная природа души. Стр. 28. Ц. 12 к.—IV. Разумъ. Стр. 21. Ц. 10 к.—V. Богъ. Стр. 22. Ц. 10 к. Изд. „Посредника“. Изъ „Круга чтенія“. М. 908.

Шереметевъ, графъ Павелъ.—О князьяхъ Хованскихъ. М. 908. Стр. 168. Съ таблицей и планомъ.

— Движеніе на торговлята на Бѣлгарія съ чуждитѣ държави. (Mouvement commercial de la Bulgarie avec les pays étrangers etc., pendant le quatrième trimestre de 1907). Софія, 908. Ц. 1—50 лева. Prix 1—50 fr.

— Программы и наставленія для наблюденій и собиранія коллекцій по геологій, почвовѣднью, метеорологій, гидрологій, нивелировкѣ, зоологій и ботаникѣ. 6-ое изд., съ 280 рис. Спб. 908. Стр. 571. Ц. 2 р.

— Сборникъ законовъ и распоряженій по землеустройству. По 1 июня 908. Изд. Канцелярій Комитета по землеустроительнымъ дѣламъ. Спб. 908. Стр. XXXIV+1294.



ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1 августа 1908 г.

Ревельскій визитъ президента Фаллъера и франко-русскій союзъ.—Заботы о поддержаніи и увеличеніи военныхъ силъ во имя интересовъ мира.—Политическое безпокойство, вызываемое монархическимъ милитаризмомъ Германіи.—Культь Бисмарка.—Революція и конституція въ Турціи.—Славянскій конгрессъ въ Прагѣ.

Президентъ французской республики, Арманъ Фаллъеръ, вслѣдъ за королемъ Эдуардомъ VII, посѣтилъ ревельскую бухту, которая почему-то стала въ послѣднее время любимымъ мѣстомъ международныхъ визитовъ. Прежде иностранные правители и монархи ѣздили къ намъ въ гости въ Петербургъ и нерѣдко заглядывали также въ Москву; теперь они приближаются къ Россіи только на извѣстное разстояніе и довольствуются встрѣчами въ открытомъ морѣ, гдѣ-нибудь на рейдѣ или въ шхерахъ. Причина такой немилости къ нашей столицѣ и къ нашимъ сухопутнымъ границамъ еще въ точности не установлена; нельзя, конечно, предположить, что тутъ играетъ роль положеніе усиленной или чрезвычайной охраны, дѣйствующее именно на сушѣ, — такъ какъ оно, по своему внутреннему смыслу, должно усиливать чувство безопасности и спокойствія въ предѣлахъ охраняемой территоріи. Предмѣстники Фаллъера, президенты Феликсъ Форъ и Эмиль Лубе, пріѣзжали въ Петербургъ, когда у насъ не было еще конституціи, съ ея неизблемыми гарантіями порядка и законности; тогда считалось вполне естественнымъ появленіе почетныхъ иностранныхъ гостей на улицахъ русской столицы. Между тѣмъ интересы безопасности и спокойствія были у насъ ограждены тогда, разумѣется, не лучше и не прочнѣе, чѣмъ теперь. Или, быть можетъ, самое существованіе конституціи признается чѣмъ-то ненормальнымъ, исключаящимъ возможность свободнаго непосредственнаго общенія съ Европою?

Какъ бы то ни было, визитъ президента Фаллъера относился только къ правительству и дипломатіи, а не къ народу; онъ коснулся Россіи лишь съ внѣшней официальной стороны, какъ актъ политической ѣжливости, и не давалъ матеріала для тѣхъ общественныхъ манифестацій, которыя сопровождали пребываніе въ Петербургѣ Феликса

Фора и Эмиля Лубе. На этотъ разъ поѣздка не имѣла и не могла имѣть большого значенія для международной политики; она только подтверждала существованіе франко-русскаго союза или, вѣрнѣе, напоминала о немъ послѣ крупныхъ политическихъ событій послѣднихъ лѣтъ. Присутствіе при ревелльскомъ свиданіи министровъ иностранныхъ дѣлъ обѣихъ державъ, г. Пишона и А. П. Извольскаго, указывало на возможность переговоровъ и совѣщаній по текущимъ дипломатическимъ вопросамъ, напр. по македонскому, относительно котораго, какъ говорятъ, состоялось полное соглашеніе; но эти вопросы никого не способны были волновать, тѣмъ болѣе что Македонія фактически успѣла даже выйти изъ-подъ опеки европейской дипломатіи. Единственное, чтó придавало общій интересъ французскому визиту, — это внутренняя связь его съ предшествовавшимъ посѣщеніемъ той же бухты британскимъ королемъ: франко-русскій союзъ нашелъ свое могущественное дополненіе въ Англии. Новая международная комбинація, официально освященная двумя послѣдовательными встрѣчами близъ Ревеля, восстанавливаетъ европейское равновѣсіе, нарушенное въ пользу Германіи неудачнымъ для насъ исходомъ русско-японской войны. Германія, считавшая себя уже болѣе свободною въ своихъ отношеніяхъ къ Франціи благодаря военному ослабленію Россіи, опять поставлена на прежнее мѣсто рѣшительнымъ шагомъ Англии. Франко-русскій союзъ, опираясь на солидарность съ лондонскимъ кабинетомъ, вновь вступаетъ въ свои права, въ качествѣ дѣйствительной гарантіи европейскаго мира. Это обстоятельство было ясно отмѣчено въ официальныхъ тостахъ, произнесенныхъ 14 (27) іюля на яхтѣ „Штандартъ“. Съ русской стороны было указано на то, что посѣщеніе Фальера „принимается всей Россіею какъ новое доказательство узъ искренней и неизмѣнной дружбы, соединяющей Россію и Францію“, и что оно „будетъ имѣть послѣдствіемъ еще большее укрѣпленіе этихъ связей и еще разъ обнаружить твердую волю обѣихъ дружественныхъ и союзныхъ странъ содѣйствовать поддержанію и упроченію всеобщаго мира“; французскій президентъ, подтвердивъ „чувства постоянной и вѣрной дружбы, соединяющія оба народа“, прибавилъ, что „этотъ союзъ, столь счастливо заключенный для охраны общихъ интересовъ, получаетъ драгоцѣнную санкцію времени“, и что, будучи „гарантіею равновѣсія въ Европѣ“, онъ „останется постояннымъ для наибольшаго блага Франціи и Россіи“.

Слово „равновѣсіе“, получившее теперь особый смыслъ въ устахъ президента Французской республики, обратило на себя вниманіе и западно-европейской печати, какъ намекъ на неизбѣжное ограниченіе односторонней предпримчивости Германіи. „Дипломатическое равновѣсіе — говоритъ парижскій „Temps“ — есть только выраженіе др

того равновѣсія, — единственнаго, имѣющаго значеніе, — равновѣсія военнаго. Если Россія и Франція, въ согласіи съ Англією, хотятъ обезпечить современный порядокъ въ Европѣ, онѣ могутъ съ пользою вести эту миролюбивую политику только при помощи силы, представляемой ихъ арміями. Союзы не служатъ ни къ чему, если они соединяютъ слабыя державы... Военныя силы Франціи и Россіи являются необходимою основою дипломатическаго вліянія, принадлежащаго ихъ союзу. Обѣ дружественныя и союзныя страны должны сознавать свою обязанность — неустанно увеличивать свое военное могущество для огражденія безопасности мира“.

Старыя слова и старыя мысли, которыя какъ-то странно звучатъ среди новѣйшей повсемѣстной пропаганды идеи всеобщаго мира! Кажущіеся внѣшніе успѣхи этой пропаганды, проекты разрѣшенія международныхъ конфликтовъ путемъ обязательнаго третейскаго суда, широкіе планы постепеннаго разоруженія, частыя международныя конференціи для распространенія и практическаго примѣненія идеи мира, — все это проходитъ безслѣдно и тотчасъ же забывается, какъ только заходитъ рѣчь о реальныхъ условіяхъ сохраненія мира въ современной Европѣ. Недавно, въ британской палатѣ лордовъ, 20 іюля (нов. ст.), лордъ Кромеръ, игравшій выдающуюся роль въ теченіе многихъ лѣтъ въ качествѣ фактическаго правителя Египта и пріобрѣвшій тогда громкую извѣстность подъ именемъ сэра Эвелина Бэринга, напомнилъ публикѣ о внѣшнихъ опасностяхъ существующаго на европейскомъ материкѣ милитаризма и возбудилъ этимъ неожиданную тревогу не только въ Англіи, но и особенно въ Германіи. Въ палатѣ обсуждался законопроектъ, не имѣющій никакого отношенія къ международнымъ дѣламъ, но требующій огромныхъ и недостаточно опредѣленныхъ расходовъ — законопроектъ о пенсіяхъ для престарѣлыхъ рабочихъ, — и по этому поводу лордъ Кромеръ счелъ нужнымъ заговорить объ обязательной для правительства осторожности въ обращеніи съ государственнымъ бюджетомъ, въ виду возможныхъ осложненій въ иностранной политикѣ. Дальновидное правительство — говорилъ онъ — должно думать о будущемъ по отношенію къ иностраннымъ дѣламъ и принимать мѣры къ тому, чтобы военныя и морскія силы страны были всегда готовы встрѣтить національную опасность, когда она возникнетъ. Англичане поняли, какую національную опасность предусматриваетъ лордъ Кромеръ; они знаютъ, что главнѣйшіе соперники и противники ихъ въ разныхъ частяхъ свѣта — нѣмцы, и что всякіе враждебные замыслы противъ Англіи исходятъ отъ Германіи. Но нѣмецкія офиціозныя и патріотическія газеты возмутились: какія опасности грозятъ кому-либо отъ нѣмцевъ, если Германская имперія исключительно озабочена лишь сохраненіемъ внѣшняго

мира? Вѣдь всѣмъ извѣстно, что союзы, организованные Германіею, не имѣютъ другихъ цѣлей, кромѣ оборонительныхъ, и что только изъ миролюбія она непрерывно усиливаетъ и совершенствуетъ свои вооруженія на сушѣ и на морѣ. Нѣмецкіе патриоты удивляются нападкамъ и опасеніямъ иностранныхъ, преимущественно британскихъ публицистовъ: уже сколько разъ императоръ Вильгельмъ II публично заявлялъ о своей рѣшимости поддерживать всеобщій миръ при помощи „бронированнаго кулака“, а ему вдругъ приписываютъ воинственные планы, направленные будто бы противъ чужихъ миролюбивыхъ націй! Однако, нельзя отрицать, что вся система вооруженнаго мира и связаннаго съ нимъ культа военной силы имѣетъ свой главный центръ въ Берлинѣ. Каковы бы ни были въ данный моментъ личные заявленія и намѣренія Вильгельма II, но уже одинъ тотъ фактъ, что отъ его доброй воли всецѣло зависитъ вопросъ о мирѣ или войнѣ, долженъ служить источникомъ постоянной тревоги въ Европѣ. Всѣ военныя силы Германіи, какъ морскія, такъ и сухопутныя, находятся въ единоличномъ распоряженіи императора, который можетъ всегда направить ихъ въ какую угодно сторону—на западъ или на востокъ, въ Китай или въ Марокко,—не нуждаясь для этого въ согласіи народнаго представительства. Ни въ Англии, ни во Франціи правители не могутъ ничего предпринимать въ области иностранной политики безъ предварительнаго одобренія и сочувствія своихъ парламентовъ, а парламенты вообще не расположены къ рискованнымъ и произвольнымъ вышнимъ предпріятіямъ, оставаясь всегда на почвѣ трезво понимаемыхъ національныхъ интересовъ. Въ Германіи парламентъ и общественное мнѣніе безсильны въ сферѣ международныхъ и военныхъ дѣлъ; все зависитъ отъ личнаго настроенія императора, ни предъ кѣмъ не отвѣтственнаго и руководимаго лишь своими собственными безотчетными идеями, чувствами и порывами. Если сегодня онъ проиникнуть миролюбіемъ и разсуждаетъ съ иностраннымъ журналистомъ о своей готовности содѣйствовать осуществленію мечты о соединенныхъ штатахъ Европы (подъ условіемъ, конечно, своего предсѣдательства), то ничто не мѣшаетъ ему завтра же возгорѣться желаніемъ показать соперникамъ свой „бронированный кулакъ“ или пригрозить имъ войною въ близкомъ будущемъ. Никакихъ гарантій противъ подобныхъ внезапныхъ рѣшеній не существуетъ и не можетъ существовать, при современномъ государственномъ строѣ Германіи. Правительственныя полномочія Вильгельма II имѣютъ во многихъ отношеніяхъ характеръ самодержавія, и это въ достаточной мѣрѣ объясняетъ официально господствующіе взгляды другихъ правительствъ, не дѣврящихся прочности германскаго миролюбія. Вотъ почему и въ Франціи, и въ Англии, поневолѣ сохраняютъ силу старыя слова

мысли о необходимости держать наготовѣ армию и флотъ для предупрежденія опасныхъ случайностей, имѣющихъ свой корень въ недостаткахъ прусско-германскаго монархизма.

Значительная часть нѣмецкаго общественнаго мнѣнія также недовольна иностранною политикою своего правительства, но въ совершенно другомъ смыслѣ и по другимъ причинамъ: Германія дѣйствуетъ будто бы слишкомъ слабо и непоследовательно, не обнаруживаетъ надлежащей энергіи въ охранѣ своихъ интересовъ и не оказываетъ своевременнаго отпора непріязненнымъ заграничнымъ интригамъ и комбинаціямъ. Патриоты, не исключая и либеральныхъ, съ грустью вспоминаютъ о славной эпохѣ „железнаго канцлера“, предъ которымъ трепетала Европа; этимъ воспоминаніямъ и параллелямъ посвящалось множество газетныхъ и журнальныхъ статей по поводу истекшаго 30 іюля (нов. ст.) десятилѣтія со времени смерти Бисмарка. Идеаломъ государственнаго челоѣка представляется нѣмцамъ знаменитый творецъ германскаго единства, провозглашавшій принципъ первенства силы надъ правомъ; его ставятъ въ примѣръ Вильгельму II и князю Бюлову, которые, очевидно, не сумѣли сохранить вѣрность его великимъ завѣтамъ и допустили упадокъ авторитета Германіи въ современномъ мірѣ. Но, во-первыхъ, не всегда приходится создавать новую имперію и не всѣмъ пришлось бы по плечу историческая роль, взятая на себя Бисмаркомъ; и во-вторыхъ, нынѣшнее международное положеніе Европы имѣетъ очень мало общаго съ тѣмъ, какое существовало въ періодъ созданія прусско-германскаго національнаго единства и могущества. Культъ силы самъ по себѣ еще не обезпечиваетъ успѣха, и то, что удалось Бисмарку и Мольтке, могло бы въ другихъ рукахъ окончиться катастрофой. Если великія національныя цѣли иногда достигаются политикою крови и железа, то это еще не значитъ, что та же политика борьбы можетъ служить постоянною основою политическаго существованія націи. Преувеличенное поклоненіе, которымъ до сихъ поръ окружается имя Бисмарка въ Германіи, указываетъ на отсталость или односторонность политической мысли и на отсутствіе дѣйствительнаго миролюбія въ нѣкоторой части нѣмецкаго общества.

То, что совершилось и совершается въ Турціи, граничитъ уже съ областью чудеснаго. Всѣ установившіяся понятія о туркахъ и ихъ характерѣ, объ ихъ восточной пассивности, объ ихъ религіозномъ фанатизмѣ, объ ихъ нетерпимости и враждѣ къ христіанамъ, объ ихъ смиренной преданности султану, какъ высшему хранителю и защитнику мусульманства, — внезапно опровергнуты самымъ радикальнымъ образомъ. Еще мѣсяцъ тому назадъ никто не повѣрилъ бы, что въ

Турція можетъ произойти революція; но еще болѣе поразительныя способы осуществленія состоявшагося переворота. Предъ нами не простая революція, задуманная и исполненная по готовымъ образцамъ, а какая-то необыкновенная, свободная отъ увлеченій, отъ всякихъ порывовъ злобы и мести, проникнутая духомъ расчетливой справедливости и миролюбія, и тѣмъ не менѣе прямо идущая къ цѣли и достигающая желанныхъ результатовъ вѣрнѣйшими и кратчайшими путями. Эта образцовая, почти безкровная революція съ неожиданною быстротою завладѣла постепенно всѣмъ государственнымъ механизмомъ, съ султаномъ во главѣ; она разыграна была по тщательно обдуманной программѣ, по точно опредѣленнымъ пунктамъ, не отклоняясь въ сторону и имѣя заранѣе въ виду объединить около своего знамени всѣ классы и элементы населенія, безъ различія племени и вѣры.

Удивительная революція! Устроенная военными и съ помощью арміи, она не ознаменовалась никакими кровавыми насиліями и беспорядками и не только не напугала и не оттолкнула отъ себя мирныхъ жителей, но, напротивъ, возбудила всеобщій и повсемѣстный энтузіазмъ; вооруженные турецкіе отряды встрѣчались толпою съ радостнымъ восторгомъ, и армія, казавшаяся всегда враждебною народу, какъ-то вдругъ слилась съ нимъ воедино, на почвѣ высшаго патріотическаго воодушевленія, подъ флагомъ общечеловѣческаго призыва къ „свободѣ, равенству и братству“. Мусульманское духовенство безъ малѣйшихъ колебаній примкнуло къ революціонному движенію и дало ему свою религіозную санкцію; обнаруживъ при этомъ такое отношеніе къ иновѣрцамъ, какого никогда не выказывали въ подобныхъ случаяхъ христіанскія духовныя власти. Не имѣя авторитетныхъ, признанныхъ всѣми руководителей, революція, однако, проходила свои послѣдовательныя стадіи вполне цѣлесообразно и заранѣе, съ замѣчательною дальновидностью, устраняла съ пути разныя затрудненія и препятствія, которыя могли бы помѣшать ея успѣху или подготовить ей позднѣйшую неудачу. Все нужное сдѣлано своевременно, безъ всякихъ излишествъ, и не допущено ни одной ошибки, ни принципиальной, ни практической. Такой революція, кажется, нигдѣ еще не бывало, и съ этой стороны турецкія событія представляются особенно поучительными, каковъ бы ни былъ ихъ окончательный результатъ.

Проповѣдники и приверженцы „мирнаго обновленія“ Оттоманской имперіи, или младотурки, существуютъ и дѣйствуютъ уже съ давнихъ поръ; но до послѣдняго времени о нихъ проникали въ печать довольно однообразныя свѣдѣнія — о ссылакахъ заподозрѣнныхъ въ сочувствіи къ нимъ лицъ въ Малую Азію, о бѣгствѣ кого-либо изъ

нихъ въ Европу, о секретномъ потопленіи пойманныхъ „крамольниковъ“ въ водахъ Босфора и т. п. Тѣ, которымъ удалось спастись отъ турецкихъ шпионовъ, оставались за-границей, устраивали иногда совѣщанія и конгрессы, преимущественно въ Парижѣ, и издавали разныя прокламаціи и заявленія, отъ которыхъ они сами не ожидали серьезныхъ или скорыхъ практическихъ послѣдствій.

Съ первыхъ чиселъ іюля (нов. ст.) положеніе круто измѣнилось: начались беспорядки и волненія въ отдѣльныхъ частяхъ турецкихъ войскъ, размѣщенныхъ въ Македоніи; нѣсколько офицеровъ покинули армію и образовали отряды патріотовъ, къ которымъ стали присоединяться многіе изъ регулярныхъ солдатъ; посланные противъ нихъ баталіоны отказались дѣйствовать, когда узнали, что дѣло идетъ объ усмиреніи своихъ же турокъ, а не возставшихъ сербовъ, какъ увѣряло начальство. Младотурецкій комитетъ, образовавшійся подъ именемъ „оттоманской лиги единенія и прогресса“, разослалъ иностраннымъ консуламъ въ Монастырѣ, 13 іюля, слѣдующее сообщеніе: „Главная и окончательная цѣль лиги заключается въ томъ, чтобы добиться свободного и добросовѣстнаго примѣненія конституціи 1876 года. Лига надѣется на соотвѣтственную поддержку державъ, ибо послѣднія неоднократно доказывали свои добрыя намѣренія относительно народовъ Турціи, побуждая султана уступить вѣрнымъ ему, но вслѣдствіе злоупотребленій возмущающимся подданнымъ. Лига торжественно заявляетъ, что она не относится враждебно къ не-мусульманамъ; напротивъ, осуществленіе конституціоннаго режима окажется одинаково благотворнымъ для всѣхъ, безъ различія расы и религіи. Если лига прибѣгаетъ иногда къ энергическимъ мѣрамъ, то это происходитъ только въ самыхъ крайнихъ случаяхъ, когда нужно наказать ожесточенныхъ враговъ свободы,—слѣдовательно, въ случаяхъ законной самозащиты. Лига избѣгаетъ ненужнаго кровопролитія. Несчастные народы Турціи пролили уже довольно много крови, и можно опасаться, что и на этотъ разъ правительство умышленно устроитъ кровопролитіе между мусульманами и не-мусульманами, чтобы свалить затѣмъ отвѣтственность на младотурецкую партію. Дѣйствующіе отряды лиги не будутъ обижать мѣстныхъ поселеній, а напротивъ, будутъ защищать ихъ отъ иностранныхъ шаекъ и поддерживать доброе согласіе и братство между народностями“. Къ разнымъ органамъ мѣстнаго управленія въ Македоніи обращены были патріотическія воззванія, подписанныя однимъ изъ главныхъ предводителей движенія, майоромъ Ніази-беємъ. Возставшіе офицеры—какъ сказано въ этомъ документѣ—„поставили себѣ задачей бороться противъ неправды и насилій, отъ которыхъ отечество страдаетъ съ давнихъ лѣтъ. Эта задача священна. Мы должны заставить правительство вступить на

путь права, работать для пользы отечества и возстановить примѣненіе конституціи 1876 года. Такимъ образомъ сохраняются въ сердцахъ всѣхъ оттомановъ чувства повиновенія и вѣрности нашему августѣйшему повелителю. Всѣ оттоманскіе народы стремятся къ этой цѣли. Эти желанія націи доведены уже до свѣдѣнія его императорскаго величества. Объ изложенномъ предлагается сообщить правительственнымъ вѣдомствамъ; вмѣстѣ съ тѣмъ должностныя лица обязываются исполнять свои служебныя функціи, не дѣлая никакого различія между расами и религіями“. Въ заключеніе призывается благословеніе Божіе на предпринятое великое дѣло.

На первыхъ порахъ эти смѣлыя офицерскія попытки казались слишкомъ наивными и не возбуждали особенной тревоги въ придворныхъ сферахъ. Султанъ по обыкновенію распорядился принять суровыя мѣры, чтобы задавить освободительное движеніе „въ потокахъ крови“; десятки арестованныхъ офицеровъ были преданы военному суду; въ главный городъ безпокойнаго вилайета, Битолю-Монастырь, отправился съ обширными полномочіями маршалъ Османъ-Февзи-паша; изъ Малой Азіи вызваны надежные турецкіе полки въ Салоники, для безпощаднаго усмиренія недовольныхъ. Но на этотъ разъ обычныя мѣропріятія оказались бесполезными или запоздалыми. Въ Битоли 22-го іюля военная младо-турецкая партія захватила власть, объявила возстановленіе конституціи и немедленно ввела полную гражданскую и общественную свободу, среди нескончаемыхъ восторговъ населенія; маршалъ Османъ-Февзи-паша былъ ночью арестованъ небольшимъ отрядомъ майора Ніази-бея и увезенъ имъ въ горы. Въ то же время изъ Малой Азіи пришло въ Константинополь извѣстіе, что солдаты и офицеры мѣстныхъ войскъ несогласны идти въ походъ противъ товарищей-мусульманъ. Провозглашеніе конституціи въ Битоли сопровождалось такими сценами единодушія и радости, какихъ никогда нельзя было предвидѣть; турецкіе башибузуки добродушно братались съ христіанами; жители массами подходили и цѣловали зеленое шолковое знамя, которое держали офицеры, съ вышитыми золотомъ словами: „равенство, братство, справедливость!“ Процессіи монаховъ и дервишей, съ пестрыми знаменами, останавливались для молитвы; старый ходжа обратился къ толпѣ съ рѣчью, въ которой заговорилъ о „братьяхъ-христіанахъ“, чѣмъ вызвалъ шумные возгласы одобренія. Народъ ликуетъ, когда раздаются звуки военной музыки, указывающіе на приближеніе войскъ; во главѣ своихъ отрядовъ, съ саблями на-голо, офицеры кричатъ: „да здравствуетъ народъ!“, а солдаты и народъ отвѣчаютъ: „да здравствуетъ отечество!“ Старые генералы, поневолѣ присоединившіеся къ революціи, дѣлаютъ смотръ войскамъ; предъ ними дефилируютъ и отряды турецкой полиціи, с

ихъ собственнымъ знаменемъ. Полный порядокъ соблюдается повсюду, безъ помощи полицейскихъ агентствъ; въ разныхъ частяхъ города образуются митинги, при участіи духовныхъ лицъ разныхъ вѣроисповѣданій. Всѣ политическіе заключенные были выпущены изъ тюремъ и сдѣлались предметомъ народныхъ овацій. „До поздней ночи продолжалось ликование на всѣхъ языкахъ Востока“,—пишетъ корреспондентъ австрійской газеты, изъ которой мы заимствуемъ приведенныя свѣдѣнія. То же самое происходило и въ Салоникахъ, и вслѣдъ затѣмъ повторилось въ болѣе грандіозныхъ размѣрахъ и въ самомъ Константинополѣ.

На другой же день послѣ успѣшнаго провозглашенія конституціи младотурками при содѣйствіи арміи, султанъ объявилъ о созывѣ палаты депутатовъ на основаніи конституціи 1876 года, о чемъ официально довелъ до свѣдѣнія представителей иностранныхъ державъ. Такъ какъ двѣ главные опоры престола—армія и духовенство—высказались за конституцію и признали стремленія младотурокъ глубокопатріотическими, то султанъ благоразумно рѣшилъ, что народъ дѣйствительно созрѣлъ для конституціи и что лучше всего немедленно удовлетворить желаніе „крамольниковъ“. Высшіе муллы и самъ шейхъ-уль-исламъ нашли, что требованія возставшихъ, заявленныя во имя справедливости, не противорѣчатъ исламу и что правовѣрные не должны употреблять оружіе противъ своихъ согражданъ-мусульманъ. Султану ничего не оставалось какъ только подчиниться обстоятельствамъ, и онъ сдѣлалъ это безъ колебаній: смѣнилъ великаго визиря и министровъ, отрекся отъ своихъ наиболѣе враждебныхъ народу фаворитовъ, объявилъ амністію всѣмъ политическимъ заключеннымъ и ссыльнымъ, принесъ присягу на вѣрность конституціи и согласился на торжественное приведеніе войскъ къ такой же присягѣ, согласно категорическому желанію младотурецкой партіи. Съ 24-го іюля настали въ Стамбулѣ дни невиданной тамъ свободы: уличныя манифестаціи, публичныя рѣчи, безцензурныя газеты, многотысячныя собранія предъ султанскимъ дворцомъ для выраженія благодарности и преданности падишаху, всеобщіе порывы къ лучшему будущему, громкія привѣтствія и братскія встрѣчи между представителями разныхъ національностей—наполнили столицу новымъ духомъ и наглядно показали всю глубину совершившагося переворота. Султанъ убѣдился, что народъ вовсе не такъ страшенъ, какъ изображали его царедворцы, и что видѣть радость своихъ подданныхъ, выслушивать ихъ поздравленія, пожеланія и привѣтственные возгласы,—несравненно пріятнѣе, чѣмъ жить затворникомъ, среди льстивыхъ и корыстныхъ слугъ. По разсказу газетъ, когда, вечеромъ 27-го іюля, толпы наивныхъ патріотовъ опять появились предъ султанскимъ дворцомъ, Абдуль-Гамидъ

самъ открылъ окно и спросилъ о причинѣ ихъ прихода; одинъ изъ публики сказалъ: „Мы желаемъ только видѣть ваше величество. Въ теченіе тридцати-двухъ лѣтъ измѣнники скрывали отъ насъ лицо вашего величества. Мы постоянно стремились къ вашему величеству и, наконецъ, теперь удостоились васъ видѣть. Да здравствуетъ падишахъ!“ Эти трогательныя заявленія должны были бы смягчить самое черствое сердце; они открывали глаза султану на роковыя ошибки всего его царствованія. Онъ чувствуетъ, что конституція дала свободу ему самому, избавила его отъ вѣчнаго кошмара подозрительности, боязни и вынужденнаго затворничества; онъ получаетъ доступъ къ окружающей свободной жизни и впервые сознаетъ себя дѣйствительнымъ главою не мертваго государства, а живого народа.

Конечно, старый деспотъ не могъ измѣнить свою природу, свои привычныя взгляды и вкусы; и очень можетъ быть, что, несмотря на проблески новаго пониманія государственныхъ задачъ, онъ все-таки придушилъ бы возникшее національное движеніе, еслибы имѣлъ къ тому возможность. Но возможности нѣтъ, потому что обстоятельства, искусно направляемыя младотурецкою партіею, все тѣснѣе охватываютъ султана и не даютъ ему другого выхода, кромѣ добросовѣстно-конституціоннаго. Чрезвычайно важное значеніе имѣетъ присяга, потребованная отъ султана и отъ арміи: нарушить религіозную присягу не такъ легко и удобно, какъ отречься отъ простыхъ обѣщаній, хотя бы самыхъ торжественныхъ. Всегда найдутся мнимые государственныя резоны для оправданія вѣроломства по отношенію къ народу; но клятвопреступничество есть нѣчто совсѣмъ другое въ глазахъ вѣрующихъ людей, и еслибы оно даже не останавливало отдѣльнаго правителя, то для цѣлой массы войскъ оно просто невысказуемо. Весьма существенны также тѣ реальныя условія гражданской свободы, которыя осуществились сразу на практикѣ, а не только въ принципѣ,—ибо, несмотря на традиціи деспотическаго режима, въ Турціи нѣтъ усиленной и чрезвычайной охраны. Такимъ образомъ, общее довѣрчивое настроеніе ничѣмъ пока не подрывается, и, независимо отъ объявленнаго созыва палаты депутатовъ на 1-е ноября, новый политическій строй вступилъ уже фактически въ дѣйствіе одновременно съ удаленіемъ, бѣгствомъ или отдачей подъ судъ придворныхъ сановниковъ, олицетворявшихъ собою худшія черты прежняго режима. А между тѣмъ самъ Абдуль-Гамидъ всего менѣе заслуживаетъ довѣрія, и весь ходъ революціи направленъ былъ къ тому, чтобы успѣхъ ея какъ можно менѣе зависѣлъ отъ личныхъ желаній, честности и патріотизма падишаха.

Главныя особенности турецкаго освободительнаго движенія, обезпечившія ему скорый и полный успѣхъ, заключаются, во-первыхъ,

въ строгомъ единствѣ и точной опредѣленности цѣли; во-вторыхъ, въ отсутствіи внутреннихъ партійныхъ разногласій и раздоровъ, и въ-третьихъ, въ старательномъ устраненіи вопроса о личной ответственности султана за бѣдствія, причиненныя странѣ его многолѣтнимъ неудачнымъ управленіемъ. Младотурки и ихъ союзники не задавались никакими другими планами, кромѣ чисто-политической реформы, и самую эту задачу они упростили до чрезвычайности, ограничивъ ее возстановленіемъ далеко не образцовой и во многомъ недостаточной и неудовлетворительной конституціи 1876 года, — лишь бы только избѣжать опасныхъ споровъ и облегчить введеніе новаго строя для султана. Реформаторы довольствовались на первый разъ такимъ проектомъ мирнаго политическаго обновленія Турціи, который могъ одинаково привлечь симпатіи всѣхъ группъ и элементовъ населенія; они не выдвигали раньше времени никакихъ широкихъ социальныхъ реформъ, не поднимали аграрнаго вопроса, не говорили объ автономіи отдѣльныхъ народностей и областей, не выставляли никакихъ требованій отъ имени пролетаріата, не мечтали объ учредительномъ собраніи и о республикѣ. Они стремились только къ тому, что считали наиболѣе осуществимымъ; они требовали немногого, но это немногое они дѣйствительно проводили до конца, обставляя его всевозможными практическими гарантіями. Въ Турціи, при необыкновенно пестромъ составѣ населенія, при старинномъ антагонизмѣ расъ и религій, труднѣе, чѣмъ гдѣ-либо, создать почву для единодушныхъ стремленій и совмѣстныхъ дѣйствій; матеріалъ для жгучихъ внутреннихъ раздоровъ имѣется тамъ въ изобиліи, и однако младотурки сумѣли увлечь всѣхъ на одну дорогу, подъ общедоступнымъ девизомъ свободы, справедливости и равноправности. Они внушили такое довѣріе къ своей искренности, что вожди дѣйствовавшихъ въ Македоніи партизанскихъ отрядовъ сложили предъ ними оружіе и отказались отъ дальнѣйшей борьбы, въ виду предстоящаго установленія въ странѣ конституціоннаго правительства.

Одно практическое послѣдствіе революціи безусловно удовлетворяетъ и турецкихъ патриотовъ стараго закала, и официальныхъ дѣятелей Турціи, и самого султана: это — неизбежное прекращеніе вмѣшательства Европы въ македонскій вопросъ, въ виду предпринятыхъ самимъ народомъ общихъ политическихъ реформъ, относящихся и къ Македоніи. Иностраннымъ жандармскимъ офицерамъ, гражданскимъ комиссарамъ и финансовымъ контролерамъ нечего теперь дѣлать въ странѣ, получившей конституцію; вмѣсто турецкой администраціи, съ ея злоупотребленіями и произволомъ, водворяется свободное самоуправленіе, и мѣстные жители не будутъ уже нуждаться въ иностранной опекѣ для защиты своихъ правъ и интересовъ. Подчеркивая

этотъ важный результатъ своей побѣды, младотурки задѣваютъ чувствительныя струны турецкаго патріотизма и указываютъ на неминуюмую благотворную переѣну въ общемъ международномъ положеніи Турціи подѣ влияніемъ конституціоннаго режима.

Въ послѣдніе мѣсяцы много говорилось у насъ о славянствѣ и славянскомъ единеніи. Въ Петербургѣ пріѣзжали славянскіе гости, съ извѣстнымъ чешскимъ дѣятелемъ д-ромъ Крамаржемъ во главѣ; ихъ чествовали по обыкновенію обѣдами, рѣчами и газетными статьями, причѣмъ отъ имени русскаго общества выступали преимущественно консервативныя и реакціонныя публицисты. Въ Прагѣ устроенъ былъ д-ромъ Крамаржемъ славянскій конгрессъ, при участіи многочисленныхъ представителей различныхъ славянскихъ народностей, въ томъ числѣ поляковъ и русскихъ. При открытіи конгресса, 13 іюля (нов. ст.), д-ръ Крамаржъ произнесъ интересную и содержательную рѣчь, въ которой, привѣтствуя собравшихся, объяснилъ смыслъ и задачи взаимнаго культурнаго общенія славянъ; началъ онъ по-нѣмецки, затѣмъ, обращаясь къ разнымъ группамъ съѣзда, говорилъ на языкѣ каждой изъ нихъ—по-словенски, по-сербо-хорватски, по-болгарски, по-польски, по-русски—и кончилъ по-чешски. Это разнообразіе языковъ въ устахъ одного оратора должно было какъ будто наглядно показать трудность взаимнаго общенія между людьми, не обладающими лингвистическими познаніями д-ра Крамаржа; но, вѣроятно, члены конгресса кое-что понимали или улавливали изъ того, что говорилось, и въ общемъ всѣ остались довольны другъ другомъ и славянствомъ, насколько можно судить по газетнымъ отчетамъ. Обсуждались и одобрялись предложенія объ устройствѣ всеславянской выставки въ Москвѣ въ 1911 году, объ основаніи особаго славянскаго банка, объ экскурсіяхъ въ славянскія страны и объ организациіи и распространеніи гимнастическихъ обществъ по образцу чешскихъ „Соколовъ“; затронуты были также серьезныя политическія темы—о способахъ защиты отъ германскихъ посягательствъ въ Познани и въ другихъ мѣстахъ и о русско-польскомъ примиреніи. Русскіе представители утверждали, что при нынѣшнемъ обновленномъ строѣ нашего отечества самъ собою установится прочный миръ между обоими родственными народами; польскіе ораторы, съ своей стороны, давали понять, что примиреніе съ передовыми прогрессивными элементами русскаго общества нисколько не облегчаетъ положенія поляковъ въ предѣлахъ Россіи, такъ какъ это положеніе зависитъ не отъ прогрессистовъ.

Мы думаемъ, что, прежде чѣмъ стремиться къ единенію съ иноземными славянскими племенами, необходимо позаботиться о подво-

реніи прочнаго внутренняго мира въ нашей собственной странѣ—не того мира, который бываетъ на кладбищахъ, а того, который создается свободною національною жизнью на основахъ твердой законности, равноправія и справедливости. А пока, въ ожиданіи этого счастливаго будущаго, намъ нечего дѣлать на международныхъ славянскихъ съѣздахъ.



НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I.

Henri de Regnier. Les Scrupules de Sganarelle. Стр. 222. Paris, 1908. (Изд. „Mercure de France“).

Анри де-Реньё — авторъ множества повѣстей и рассказовъ въ галантномъ духѣ XVIII вѣка. Онъ любитъ, впрочемъ, не слащавую любезность XVIII вѣка, въ которой больше грація, чѣмъ страсти, и больше утонченнаго эротизма, чѣмъ свободной радости жизни. Излюбленная эпоха Анри де-Реньё — предшествующій восемнадцатому вѣку во Франціи „grand siècle“ Людовика XIV. Его нравы грубѣе, откровеннѣе, менѣе галантны — но для Анри де-Реньё съ его философскимъ отношеніемъ къ эротизму онъ интереснѣе по своей непосредственности въ погонѣ за наслажденіемъ, по своему умѣнью полно переживать мимолетныя ощущенія. Анри де-Реньё — признанный — и вполне справедливо признанный — мастеръ въ литературѣ этого рода. Его рассказы о радостяхъ минувшихъ временъ, о людяхъ, откровенно и безхитростно искавшихъ въ жизни „le bon plaisir“, при всей своей непринужденности не циничны. Въ нихъ есть чистота простого отношенія къ жизни, есть веселость, ставящая мудрость природы, мудрость инстинктовъ выше надуманной морали. Это создаетъ художественную свѣжесть его рассказовъ о французскомъ весельи, о вельможахъ, бродившихъ по свѣту въ исканіи „галантныхъ авантюръ“, о любящихъ парочкахъ, для которыхъ сосредоточенность и полнота ихъ радости замѣняли длительность чувства и т. д. Кромѣ того, въ „веселыхъ“ повѣстяхъ Анри Реньё есть и нѣчто другое: онѣ — не совсѣмъ веселыя. Въ нихъ звучитъ постоянный вопросъ, обращенный къ природѣ, къ душѣ человѣческой: почему жажда мимолетной радости сочетается съ грустью, съ тоской о постоянствѣ, съ исканіемъ красоты, которая навѣки приковала бы къ себѣ душу, испѣлила ее отъ исканій? Почему, восторгаясь и любя на минуту, твердятъ — и часто искренно твердятъ — о любви навѣки?

Анри Реньё — „имморалистъ“. Онъ рассказываетъ про своихъ легкихъ мысленныхъ — весьма легкомысленныхъ — героевъ, про ихъ вѣроломства и т. д. безъ осужденія, стараясь только ярко и тонко обрисовать ихъ ощущенія, весело изобразить ихъ жизнь. Но имморализмъ его —

не проповѣдь удовольствія, какъ закона жизни. Напротивъ того, отказываясь отъ суда во имя морали, навязываемой волѣ человѣка, онъ взаимно этого проникаетъ въ самую волю человѣка, ничѣмъ не стѣсненную,—и въ ней самой находитъ противорѣчивыя влеченія: и радость отъ пестроты видѣній красоты, молодости, веселья, и тоску, вызванную именно этой пестротой и мимолетностью. Герои Ренье, отражая настроенія автора, всѣ проникнуты философскою грустью и философскимъ спокойствіемъ передъ дарами судьбы и передъ ея превратностями. Таковъ общій тонъ его рассказовъ и небольшихъ повѣстей. Въ нихъ чаще всего комедіи и трагикомедіи любви разыгрываются на фонѣ придворной французской жизни временъ Людовика XIV, но есть и рассказы о современныхъ нравахъ. И въ нихъ тоже встрѣчи старости и молодости, свѣжести впечатлѣній и сложности зрѣлаго жизненнаго опыта изображены безъ этической оцѣнки, съ преобладаніемъ художественности надъ нравоучительностью, но съ большимъ пониманіемъ человѣческаго сердца и съ жизнерадостностью, отгѣненной грустнымъ пониманіемъ загадочности, двойственности влеченій въ человѣкѣ. Лучшія повѣсти Анри Ренье: „Le Bon Plaisir“, „La Double Maitresse“, „Les Rencontres de M. de Bréot“, „Mariage de Minuit“ и др.

Новая книга Анри де-Ренье носитъ особый характеръ. Она написана въ видѣ комедіи, хотя — какъ авторъ самъ предупреждаетъ въ предисловіи — это не пьеса для театра. Въ ней много монологовъ и отвлеченныхъ разсужденій, и самая интрига не имѣетъ выпуклости и законченности, нужной для сцены. Форма діалоговъ избрана авторомъ съ чисто-литературной цѣлью и въ общемъ пьеса задумана какъ вводныя сцены комедійнаго тона, которыя предназначались для романа изъ жизни семнадцатаго столѣтія. На первомъ планѣ въ этой литературной комедіи, носящей названіе „Les Scrupules de Sganarelle“, — художественная разработка стили, языка, выдержаннаго въ тонѣ Мольеровскихъ комедій, а также изображеніе нѣсколькихъ Мольеровскихъ типовъ, поставленныхъ въ условія, при которыхъ они становятся выразителями философіи современнаго автора.

Въ этихъ художественныхъ рамкахъ Ренье разрабатываетъ одинъ изъ вѣчныхъ, вѣчно волнующихъ вопросовъ въ литературѣ — вопросъ о Донъ-Жуанѣ. Сохраняя стильность эпохи и духъ персонажей семнадцатаго вѣка — (Донъ-Жуанъ взятъ въ комедіи такимъ, какимъ онъ изображенъ у Мольера и окруженъ другими Мольеровскими фигурами) — Ренье освѣщаетъ въ столкновеніи Донъ-Жуана съ добродѣтельной семьей прекрасной Анжелики борьбу между романтизмомъ чувствъ и житейской мудростью, вступившей въ союзъ съ добродѣтелью. Онъ не беретъ на себя роль судьбы въ этомъ спорѣ — не оправдываетъ и

не осуждаетъ Донъ-Жуана. О судѣ надъ демонизмомъ Донъ-Жуана позаботилась легенда. Извѣстно, что Донъ-Жуанъ заплатилъ спасеніемъ души за то, что слишкомъ дерзко игралъ роль искуссителя и проповѣдовалъ „радость счастливыхъ мгновений“. Эту конечную судьбу Донъ-Жуана Ренъе не включаетъ въ свою комедію. Въ ней взяты отдѣльный эпизодъ — одно изъ типичныхъ совращеній невинныхъ дѣвушекъ Донъ-Жуаномъ,—но въ этомъ эпизодѣ Донъ-Жуану противопоставленъ защитникъ нравственности; въ ихъ краткой борьбѣ за душу Анжелики и воплощенъ идейный замыселъ пьесы.

Защитникъ нравственности въ пьесѣ Ренъе—очень неожиданный. Это—Сганарель, слуга-плутъ Мольеровскихъ комедій, вороватый, выносливый, откровенный, готовый терпѣть побои, но не стѣсняющійся говорить въ глаза хозяину нелестную правду. Онъ вступается за добродѣтель Анжелики, которой грозятъ козни Донъ-Жуана, но результатъ его вмѣшательства выходитъ печальный.

Донъ-Жуанъ изображенъ въ комедіи въ тотъ моментъ, когда онъ убилъ командора и спасся бѣгствомъ отъ преслѣдованій; онъ скрываетъ свое имя и попалъ во Францію, въ Верьеръ, гдѣ живетъ подъ вымышленнымъ именемъ Валера. Съ нимъ два его неотлучныхъ спутника—Сганарель и Лепорелло. Между собой они вѣчно ссорятся и дерутся,—и Донъ-Жуану приходится ихъ разнимать. Къ Донъ-Жуану они относятся разное: Лепорелло трусливъ и страшно боится, какъ бы не попасться вмѣстѣ съ хозяиномъ и не заплатить головой за убійство командора, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ предпримчивъ, какъ Донъ-Жуанъ, и съ радостью помогаетъ ему завязать все больше и больше новыхъ любовныхъ интригъ. Сганарель типично буржуазенъ и мечтаетъ о спокойствіи послѣ всѣхъ волненій, пережитыхъ на службѣ у Донъ-Жуана. Онъ старательно удерживаетъ безумнаго хозяина отъ новыхъ сумасбродствъ, уговариваетъ его пожить хоть нѣсколько времени въ Верьерѣ, не выдавая себя своимъ поведеніемъ — и подождать, не впутываясь въ новыя исторіи, пока придетъ письмо отъ короля, къ которому Донъ-Жуанъ обратился съ просьбой о помилованіи за нечаянное убійство командора. Кромѣ того Сганарель, вернувшись послѣ долгихъ скитаній въ свой родной городъ (Верьеръ—его родина, и поэтому онъ и уговорилъ Донъ-Жуана бѣжать именно туда), вспоминаетъ прежнія привычки благочестія и старается спасти и своего хозяина отъ безбожія. Донъ-Жуану тяжело среди этихъ слугъ съ ихъ мелкими интересами. „На что имѣть пламенную душу, сердце, полное желаній, голову, переполненную очаровательными и жгучими химерами, на что быть Донъ-Жуаномъ, не допускающимъ отсрочки въ исполненіи своихъ желаній, не допускающимъ правилъ для своихъ капризовъ, границъ для своей воли? Зачѣмъ было преодолевать всѣ

преграды золотомъ и желѣзомъ,—если теперь моя жизнь сводится къ тому, что я улаживаю глупыя ссоры двухъ слугъ?”

Такъ авторъ устами своего героя опредѣляетъ неприспособленность Донъ-Жуана къ будничному существованію, куда бы его привела „стеяз добродѣтели“. Сганарель ведетъ его на этотъ путь, искренно проникнувшись влеченіемъ къ добродѣтели, такъ какъ она безопаснѣе и удобнѣе.

Споръ Донъ-Жуана съ Сганарелемъ—не только на словахъ: наступаетъ моментъ, когда совѣсть Сганареля дѣлаетъ его активнымъ врагомъ Донъ-Жуана, — и тогда вопросъ о романтизмѣ и благородіи, какъ двухъ противоположныхъ жизненныхъ силахъ, рѣшается на судьбѣ третьего лица—невинной Анжелики.

Донъ-Жуанъ свучаетъ въ Верьерѣ и посылаетъ своего вѣрнаго Лепорелло искать себѣ развлеченій, высмотрѣть какую-нибудь красивую молодую женщину. Лепорелло отправляется, по приказу своего господина, бродить по городу, осматриваетъ рынки, церкви—но приходитъ съ печальнымъ отвѣтомъ: нѣтъ красивыхъ женщинъ въ этомъ захолустыи. Все-таки, когда Донъ-Жуанъ грозитъ ему палкой и въ то же время сулитъ награду, Лепорелло „припоминаетъ“, что одну хорошенькую дѣвушку видѣлъ; ее сопровождала очень бойкая дуэнья, но кто онѣ — неизвѣстно. Этого одного достаточно, чтобы воспламенить Донъ-Жуана, и онъ полонъ предпримчивости. Изъ двухъ слугъ его искренній и увлекающійся помощникъ—Лепорелло. Но именно на этотъ разъ больше пользы можно ждать отъ Сганареля. Онъ знаетъ Верьеръ, онъ—здѣшній, и на горе себѣ выкладываетъ свои свѣдѣнія, опять попадая этимъ въ просакъ и становясь жертвой насмѣшливаго, хитраго Лепорелло. Только для того, чтобы похвастать передъ нимъ, онъ рассказываетъ, что провелъ нѣкогда въ Верьерѣ золотые дни, когда состоялъ на службѣ у хозяина красиваго дома на городской площади, Жеронта. Онъ распространяется о сытной и вкусной ѣдѣ въ домѣ Жеронта, чтобы показать, что не всегда онъ былъ вынужденъ терпѣть нужду и жить въ страхѣ передъ карой закона, какъ теперь, понавъ къ Донъ-Жуану. Но хвастовство Сганареля на этомъ и останавливается. Больше ничего лестнаго о себѣ онъ сказать не можетъ. Когда Донъ-Жуанъ спрашиваетъ его, почему онъ оставилъ такую выгодную службу и уже явился къ нему тощимъ отъ голоданія, то Сганарель предпочитаетъ не отвѣчать. Только когда Донъ-Жуанъ намѣревается пойти прямо къ Жеронту и освѣдомиться у него о его прежнемъ слугѣ, которымъ, по словамъ Сганареля, онъ былъ такъ доволенъ, Сганарель останавливаетъ его и сознается ему въ печальной правдѣ,—потребовавъ предварительнаго удаленія Лепорелло. Послѣдній отходить — но все-таки лишь настолько, чтобы имѣть возможность

разслышать признанія Сганареля и при случаѣ извлечь изъ нихъ выгоду для себя. Сганарелю приходится сдѣлать очень унижительное для себя — типичное для женатыхъ и непривлекательныхъ съ виду людей въ комедіяхъ Мольера — признаніе. Въ домѣ Ансельма жила служанка Дорина, и Сганарель женился на ней. А послѣ женитбы начались нелады и рѣшено было разстаться. Поэтому онъ и оставилъ пріятную и выгодную службу у Жеронта и сталъ мыкаться по свѣту. Донъ-Жуанъ и стоящій въ нѣсколькихъ шагахъ дальше Лепорелло сразу понимаютъ, въ чемъ несчастіе Сганареля; Лепорелло дѣлаетъ издали знаки пальцами надъ лбомъ, а Донъ-Жуанъ соболѣзующимъ тономъ говорить Сганарелю, что нечего говорить увертками, что „это все равно видно“. Сганарель изумленъ догадливостью Донъ-Жуана, а тотъ развиваетъ въ отвѣтъ цѣлую пессимистическую теорію объ обманутыхъ мужьяхъ и коварствѣ женщинъ: „Если у человѣка желтое, вытянутое лицо, опущенный носъ, нахмуренныя брови—значить, жена ему навѣрное ставитъ рога. Если же у него румяное и веселое лицо, поднятый вверху носъ, увѣренная походка, то все же нельзя быть увѣреннымъ, что онъ не въ положеніи обманутаго мужа, — ибо женщины такъ коварны, такъ опасны и такъ безсовѣстны, что каждая способна обмануть и любимаго, также какъ нелюбимаго мужа. Вотъ почему ихъ не слѣдуетъ щадить, а нужно относиться къ нимъ безъ всякаго зарвѣнія совѣсти и думать только о собственномъ удовольствіи, хотя бы имъ это стоило чести, красоты или жизни“... Вотъ вся теорія Донъ-Жуана, изложенная въ видѣ наставленія и утѣшенія обманутому мужу.

Сганарель понемногу выкладываетъ всѣ свои несчастья: Дорина не только пришлась по вкусу хозяину дома, Жеронту, и не отвергала его ухаживаній, — но не отказывала въ взаимности никому изъ приходящихъ въ домъ. Такъ бѣдный Сганарель никогда не носитъ часовъ, — до того онъ возненавидѣлъ часовщиковъ послѣ того, какъ Дорина измѣнила ему съ часовщикомъ, приходившимъ заводить часы въ домъ. Кромѣ часовщика, было и много другихъ, осчастливленныхъ Дориной, — и бѣдный Сганарель сдѣлался предметомъ общихъ насмѣшекъ; про него сложились пѣсни, которыя пѣлъ весь городъ; и теперь, когда онъ вернулся на родину послѣ многихъ лѣтъ, старое несчастье снова преслѣдуетъ его: проходящій мимо пирожникъ насвистываетъ тутъ же ненавистную ему пѣсню — къ великой забавѣ Донъ-Жуана и Лепорелло.

Въ своемъ отношеніи къ женщинѣ и къ семейному началу Донъ-Жуанъ и Сганарель — представители двухъ разныхъ, противоположныхъ одинъ другому міровъ. Опытъ у нихъ одинъ и тотъ же: оба не вѣрятъ женщинѣ, убѣдившись въ коварствѣ женской натуры, — но выводы изъ этого — другіе для cadaго изъ нихъ. Донъ-Жуанъ извлекаетъ

изъ женскаго коварства оправданія для своей теоріи наслажденія — и становится побѣдителемъ и искусителемъ въ жизни, не зная предѣловъ своей волѣ. Станарель обреченъ на роль жертвы — только потому, что подчинился обстоятельствамъ, а не подчинилъ ихъ себѣ. Его страданія смѣшны, а его добродѣтель, приобрѣтенная опытомъ, беспоможна.

Донъ-Жуанъ волнуется въ ожиданіи письма отъ короля. Исходъ убійства командора тревожить его: „Я не перваго человѣка убиваю, — говоритъ онъ, — но это убійство можетъ имѣть болѣе серьезныя послѣдствія... Всегда можно справиться съ неприятностями отъ живыхъ, но я не люблю безпокойства изъ-за мертвыхъ: имъ полагается лежать мирно и не тревожить нашъ покой“... Чтобы отвлечь мысли отъ грозящихъ печальныхъ событій, онъ хочетъ заняться хорошенькой дѣвушкой, которую видѣлъ Лепорелло. Онъ не хочетъ снова обращаться за содѣйствіемъ слугъ, предпочитая дѣйствовать самолично, полагаясь на свою смѣлость и страстность, влекущую сердца. „Донъ-Жуанъ все тотъ же Донъ-Жуанъ, — убѣждаетъ онъ себя, отгоняя малодушіе, охватившее его на минуту, — и горе тому или той, которую судьба едѣлала предметомъ моего каприза, моихъ желаній“.

Станарель замѣтилъ предприимчивый видъ, съ которымъ удался Донъ-Жуанъ, и онъ уже боится новыхъ опасныхъ приключеній. Лепорелло поддерживаетъ его въ его опасеніяхъ и жалобахъ на Донъ-Жуана, который держать ихъ впроголодь и доведетъ ихъ до висѣлицы своей дерзостью и безбожіемъ. Станарель опять разыгрываетъ роль довѣрчиваго дурака. Не замѣчая, что Лепорелло въ сущности восторгается подвигами своего господина, онъ вѣритъ искренности его негодованія и самъ начинаетъ съ жаромъ доказывать, что нельзя безнаказанно оскорблять всѣ человѣческіе и божескіе законы. Лепорелло выслушиваетъ его проповѣдь — и проситъ у него денегъ. Тогда только Станарель понимаетъ, что играетъ глупую роль, и едва спасается отъ Лепорелло, готовая силой отобрать у него деньги, угрозами призвать стражу и открыть властямъ всѣ забытыя преступленія вѣрнаго слуги Донъ-Жуана.

Дѣвушка, которая приглянулась Лепорелло и которую Донъ-Жуану тоже удастся встрѣтить, когда онъ идетъ въ городъ — Анжелика, дочь Жеронта, а охраняющая ее дуэнья — Дорина, слишкомъ бойкая жена, отъ которой Станарель долженъ былъ уйти, изстрадавшись отъ насмѣшекъ. Жеронтъ, дорожа обществомъ Дорины, всецѣло полагается на нее въ опекѣ надъ дочерью и вполне счастливъ. Въ дочери онъ цѣнитъ ея умѣнье вести домъ, самой дѣлать всѣ закупки внѣ дома, и свято вѣритъ въ ея дѣтскую невинность. Но къ нему приходитъ его благочестивый братъ Ансельмъ и вноситъ тревогу въ его сердце...

Пока Ансельмъ по обыкновенію ругаетъ его за его пристрастіе къ мірскимъ удовольствіямъ, Жеронтъ пропускаетъ слова его мимо ушей, а когда придирчивый братъ начинаетъ осуждать слишкомъ свободный образъ жизни Анжелики, отсутствіе строгаго надзора надъ нею — Жеронтъ горячо защищаетъ невинность любимой дочери. Такъ же горячо — и даже слишкомъ — онъ отстаиваетъ Дорину и свое право доверить ей надзоръ надъ дочерью. Но мало-по-малу Ансельмъ убѣждаетъ брата, что Анжелика, гуляя одна по городу съ Дориной, не ограждена отъ приставаній нахаловъ, и т. д., и что самое безопасное выдать ее замужъ. У него есть на виду подходящій, скромный и благочестивый молодой человекъ, Леандръ, котораго онъ и предлагаетъ Жеронту въ зятя. Жеронтъ, напуганный разказами брата, уже готовъ дать согласіе и даже, въ ознаменованіе грядущаго счастливаго событія — помолвки дочери — даетъ брату денегъ на бѣдныхъ. Самъ онъ недоволенъ своей уступчивостью и ворчитъ на Ансельма. Въ это время является Сганарель. Жеронтъ узнаетъ своего бывшего слугу, который начинаетъ выдумывать басни для объясненія своего появленія въ городѣ. Сначала онъ пытается растрогать Жеронта, говоря ему, что пріѣхалъ специально повидать своего прежняго господина. Потомъ, когда Ансельмъ уличаетъ его въ сообществѣ съ появившимися въ городѣ двумя странными незнакомцами, онъ признается, что поступилъ на службу къ другому господину, и такъ выхваливаетъ послѣдняго — называя его Валеромъ и скрывая, что это Донъ-Жуанъ, — что Жеронту этотъ благородный иноземецъ представляется болѣе желательнымъ мужемъ для Анжелики, чѣмъ скромный Леандръ, и онъ проситъ Сганареля познакомить его съ Валеромъ. Сганарель всячески увиливаетъ отъ этого, утверждая, что Валеръ живетъ отшельникомъ и проводитъ время въ молитвахъ. Встрѣча съ Жеронтомъ еще болѣе усиливаетъ желаніе Сганареля вернуться къ покойной и безопасной жизни въ почтенной обывательской семьѣ. Жеронтъ тоже не прочь его взять, но боится, какъ бы онъ не сталъ слишкомъ строго проявлять свою супружескую власть надъ Дориной. Онъ наводитъ его на разговоръ о Доринѣ, и оказывается, что умудренный опытомъ Сганарель усвоилъ себѣ самый снисходительный взглядъ на семейную вѣрность и готовъ снова поступить на прежнюю службу на прежнемъ жалованьи, обязуясь не вмѣшиваться въ жизнь своей жены. Жеронтъ согласенъ, тѣмъ болѣе, что Анжелика, заставъ у отца Сганареля, когда она возвращается съ прогулки, приходитъ въ полный восторгъ и требуетъ, чтобы его немедленно взяли къ нимъ въ домъ. Она такъ горячо на этомъ настаиваетъ, что удивляетъ своимъ оживленіемъ отца и Леандра, пришедшаго засвидѣтельствовать ей свою почтительную любовь. Они не знаютъ, что Донъ-Жуанъ уже успѣлъ попасться ей

на глаза, заинтересовать ее, — и что въ Сганарелѣ она угадываетъ возможнаго посредника между собой и прекраснымъ незнакомцемъ. Словомъ, Сганарель принять на прежнюю службу, и его совѣсть спокойна. Онъ можетъ жить въ благочестіи, въ безопасности—и въ сытости. Но его беспокоитъ то, что Жеронтъ вмѣнилъ ему въ обязанность стеречь домъ ночью съ ружьемъ въ рукахъ; онъ не понимаетъ, какія опасности могутъ грозить отцу Анжелики. Кромѣ того, онъ боится объявить Донъ-Жуану о своемъ рѣшеніи оставить службу у него.

Пока онъ размышляетъ о трудности своего положенія, какъ-разъ является ему навстрѣчу Донъ-Жуанъ. Онъ въ радужномъ настроеніи. Король милостиво простилъ его, обязавъ только поставить памятникъ командору. Прошлое забыто,—и Донъ-Жуанъ уже полонъ новыми замыслами. Онъ видѣлъ дѣвушку, которую высмотрѣлъ Лепорелло. Она очаровательна—онъ рѣшилъ овладѣть ею. Когда Сганарель боязливо говорить о своемъ намѣреніи поступить опять къ Жеронту, Донъ-Жуанъ, къ удивленію Сганареля, не возмущается, а напротивъ, одобряетъ его рѣшеніе. Причина ясная: онъ знаетъ, что Анжелика—дочь Жеронта, и ему нуженъ посредникъ для сношеній съ нею. Сганарель счастливъ, благодаритъ Донъ-Жуана за его милостивое расположеніе, но Донъ-Жуанъ тотчасъ же выясняетъ причину своей доброты; онъ требуетъ отъ Сганареля услуги—послѣдней: пусть Сганарель поговоритъ съ Анжеликой, выразитъ ей пылкость чувствъ, которыя она зажгла въ Донъ-Жуанѣ своей красотой и невиннымъ взоромъ, и уговоритъ ее согласиться на свиданіе съ Донъ-Жуаномъ.

Вотъ моментъ, когда въ Сганарелѣ пробуждается совѣсть (отсюда названіе комедіи „Les Scrupules de Sganarelle“) и онъ возвышается до героизма въ отстаиваніи добродѣтели. Онъ отказывается исполнить возмущающее его порученіе. Между Донъ-Жуаномъ и Сганарелемъ происходитъ своего рода идейная дуэль, въ которой каждый—во всеоружіи доводовъ для доказательства своей правды: Донъ-Жуанъ смѣется надъ требованіемъ пощады для женской чистоты, доказывая, что у всѣхъ добродѣтель—только маска, и что гордость его въ томъ, что онъ выше общаго лицемѣрія. Сганарель горячо молитъ Донъ-Жуана пощадить дѣтскую невинность Анжелики и видитъ доказательство своей правоты уже въ томъ, что онъ рѣшается геройски противопоставить отказъ волѣ Донъ-Жуана. Но доводы Донъ-Жуана сильнѣе: если Анжелика такъ чиста, она не поддастся искушенію, — зачѣмъ же за нее бояться? На дальнѣйшія мольбы Сганареля Донъ-Жуанъ отвѣчаетъ, что радъ остепениться и жениться на Анжеликѣ—только не хочетъ просить ея руки у отца, а хочетъ добиться ея собственнаго согласія. Сганарель соглашается, наконецъ, исполнить его порученіе,—и даль-

нѣйшее показываетъ, что правъ былъ Донъ-Жуанъ, а не Сганарель. Въ послѣднемъ дѣйствіи комедіи Сганарелю не приходится даже наводить Анжелику на разговоръ о Донъ-Жуанѣ. Она первая заговариваетъ о немъ и обнаруживаетъ огорчительный для защитника добродѣтели интересъ къ незнакомцу съ жгучими глазами. Слова Сганареля о любви Донъ-Жуана попадаютъ на подготовленную почву. Анжелика счастлива и готова оставить домъ отца и идти на зовъ любви, влекущей ее вдаль отъ тихой и почтительной привязанности Леандра—отъ ровнаго, будничнаго счастья—въ страну таинственныхъ бурныхъ страстей. Сганарель въ отчаяніи отъ своего успѣха: онъ не выдерживаетъ роли и начинаетъ пламенно убѣждать Анжелику не поддаваться соблазнителю. Но уже поздно. Анжелика слишкомъ увлечена. Донъ-Жуанъ, подслушавъ разговоръ Сганареля, увидѣлъ его измѣну. Онъ выходитъ изъ засады—и ему легко увлечь Анжелику на свою сторону. Леандра, прибѣжавшаго избавлять Анжелику отъ соблазнителя, Донъ-Жуанъ убиваетъ—и самъ убѣгаетъ вмѣстѣ съ Анжеликой. Бѣднаго Сганареля обвиняютъ и въ убійствѣ Леандра, — и онъ съ трудомъ доказываетъ свою невинность и вину Донъ-Жуана.

Нравственная побѣда—за Донъ-Жуаномъ. Побѣдила вѣчная жажда радости, вѣчно присущій душѣ романтизмъ. Сганарель со своей поздно проснувшейся совѣстью разбитъ. Молодость и жажда любви—противъ него. Комедія выдвигаетъ эти два психологическихъ мотива въ мѣткихъ діалогахъ и ярко обрисованныхъ характерахъ дѣйствующихъ лицъ.

З. В.

II.

— *Landauer, Gustav.* Die Revolution. Frankfurt a./M. 1908. Стр. 118.

— *Bauer, Arthur.* Essai sur les révolutions. Paris (V. Giard et E. Brière). 1906. Стр. 303.

Проблема революціи давно занимаетъ не только практическихъ дѣятелей, но и работниковъ теоретической мысли. Что такое революція? Каковы ея существенные, отличительные признаки? Какія причины порождаютъ это грозное и страшное явленіе? Какое вліяніе оказываютъ революціи на ходъ общественнаго развитія?— вотъ вопросы, которые въ своей совокупности составляютъ сущность этой проблемы. Не мало страницъ написано для ея разрѣшенія, но загадка по прежнему остается для теоретиковъ загадкой. Повидимому, научно, т.-е. общеобязательно, она вообще разрѣшена быть не можетъ.

Такого приблизительно взгляда придерживается и авторъ перваго изъ названныхъ выше сочиненій. Въ немного вычурной, отчасти напоминающей стиль Штирнера, формѣ—Ландауэръ устанавливаетъ, что

для научнаго познанія революціи необходимо знать *всю* прошедшую исторію человечества,—что, однако, невозможно. Не только потому, что намъ недостаетъ опредѣленныхъ и точныхъ свѣдѣній о тѣхъ или иныхъ періодахъ историческаго и доисторическаго развитія, но еще и потому, что наше познаніе прошедшаго всегда окрашено субъективнымъ характеромъ. Изъ того, что было, мы усвоиваемъ только то, что намъ нужно для уясненія или оправданія нашихъ цѣлей, нашего собственнаго пути. Прошедшее оживаетъ передъ нами лишь въ той мѣрѣ, въ какой мы въ немъ нуждаемся. Иначе говоря, историческое познаніе не каузально, а телеологично.

Съ этой точки зрѣнія можно говорить не о революціи или революціяхъ вообще, но только о данной, конкретной революціи, главнымъ образомъ „нашей“ революціи, той, которую мы сами переживаемъ. Проблема сводится такимъ образомъ къ истолкованію того общественнаго процесса, въ которомъ мы являемся активными или пассивными участниками. Всякое такое уясненіе себѣ и другимъ окружающей насъ общественной дѣйствительности имѣетъ революціонизирующее значеніе. Отсюда слѣдуетъ: писать о революціи въ извѣстномъ смыслѣ—значитъ дѣлать или готовить ее.

Въ чемъ же заключается главнѣйшее содержаніе переживаемаго нами процесса, каковъ характеръ „нашей“ революціи? Въ качествѣ убѣжденнаго анархиста, Ландауэръ даетъ на этотъ вопросъ чисто анархическій отвѣтъ. Наша революція въ Европѣ начинается, по его мнѣнію, реформаціей XVI столѣтія. До реформаціи мы имѣли порядокъ, совершенно отличный отъ настоящаго; вся общественная жизнь покоилась на принципѣ, совершенно отличномъ отъ того, который лежитъ въ основаніи современной жизни. Этимъ принципомъ было христіанство, господствовавшее безраздѣльно отъ VI-го по XVI-й вѣкъ. Въ этотъ періодъ вся структура, всѣ функціи, проявленія человеческого общежитія: хозяйство, политика, наука, право, все было пропитано и тѣснѣйшимъ образомъ связано религіознымъ началомъ. Съ реформаціей дѣло принимаетъ другой оборотъ: между религіей и жизнью наступаетъ расколъ. Жизнь становится свѣтской, религія превращается въ частное дѣло отдѣльной личности, а въ общественной организаціи преобладающимъ началомъ является государство. Реформація создала современную государственную постройку, и Лютеръ былъ однимъ изъ главныхъ творцовъ ея.

Начавшись съ реформаціи, наша революція прошла черезъ цѣлый рядъ этаповъ или революцій въ тѣсномъ смыслѣ слова. Крестьянскія войны, англійская революція, тридцатилѣтняя война, американская война за независимость, великая французская революція, 48-й годъ, парижская коммуна—все это отдѣльныя вѣхи этого великаго движенія.

Назначеніемъ, цѣлью послѣдняго является устраненіе современнаго государства и созданіе такого общественнаго порядка, гдѣ вся жизнь была бы пропитана началами солидарности и свободнаго соглашенія.

Доказываетъ Ланддэуръ свои утвержденія? Ничуть. Ему и въ голову не приходитъ, что относительно роли государства въ настоящемъ и будущемъ можно думать какъ-нибудь иначе, нежели это дѣлаетъ онъ. Онъ и не старается доказывать, ограничиваясь одними указаніями. Но несмотря на бездоказательность и порою парадоксальность утверждений, несмотря на манерность и искусственность стиля, эту дѣло его читается все-таки съ большимъ интересомъ.

Болѣе научный характеръ имѣетъ книга профессора Бауэра. Это— обстоятельный и добросовѣстный трудъ, премиранный, между прочимъ, международнымъ социологическимъ институтомъ.

Книга Бауэра распадается на три части. Первая посвящена „броженію“, т.-е. предреволюціонному періоду. Путемъ сравнительнаго изученія различныхъ революцій древней, средневѣковой и новой исторіи авторъ пытается выяснитъ природу и причины различныхъ явленій и факторовъ, дѣйствующихъ въ дореволюціонный моментъ. Мы знакомимся здѣсь съ сущностью и источникомъ индивидуальных и коллективныхъ дѣйствій, съ характеромъ и значеніемъ революціонной партіи, съ возможными причинами общественнаго недовольства, съ ролью государственной власти и зависимостью страны отъ ея международнаго положенія. Во второй части рѣчь идетъ о самомъ „кризисѣ“. Передъ нами детальный анализъ борьбы двухъ враждующихъ партій на хозяйственной, политической и религіозной аренахъ. Кромѣ того— очеркъ о роли арміи. Въ третьей части авторъ останавливается на „возрожденіи“ государства, потрясеннаго революціонной бурей. Отдѣльныя стороны этого процесса— конституція, администрація, судъ, гражданское право, финансы, армія и т. д.—рисуется въ особыхъ главахъ, независимо другъ отъ друга. Помимо того, въ этомъ отдѣлѣ имѣется глава о вліяніи революціи на умственное и моральное развитіе народа.

Вчитываясь въ порою интересныя и тонкія, всегда солидно обоснованныя замѣчанія нашего автора, нельзя отдѣлаться отъ впечатлѣнія, что въ такой формѣ сущность революціонныхъ движеній не можетъ быть выяснена, что въ самой постановкѣ вопроса лежитъ какой-то дефектъ, мѣшающій автору правильно разрѣшить задачу. Дефектомъ этимъ является, по нашему мнѣнію, лежащая въ основѣ всей работы предпосылка, что о революціи можно говорить безъ всякаго отношенія къ цѣлямъ, къ которымъ революція стремится. Уже въ самомъ опредѣленіи революціи сказывается эта ошибка. „Les révolutions sont les changements tentés ou réalisés par la force dans

la constitution des sociétés“¹⁾),—говорить Бауэръ, принимая цѣликомъ опредѣленіе, установленное жюри международного социологическаго института. Если это опредѣленіе вѣрно, то между реакціей и революціей нѣтъ никакой разницы. И тамъ и тутъ налицо всѣ признаки: и сила, и измѣненіе существующаго порядка. Болѣе того: съ точки зрѣнія Бауэра нѣтъ разницы между революціей и обычнымъ теченіемъ общественной жизни. Обычно всѣ измѣненія въ законодательствѣ, каждый новый законъ вводится при потенциальномъ или активномъ примѣненіи силы. Что представляетъ собою государственная власть, какъ не организованную силу? И развѣ всѣ измѣненія, которыя совершаются государственной властью, не покоятся на этой силѣ? Выходитъ, что всякая государственная дѣятельность есть дѣятельность революціонная и что между работой французской палаты депутатовъ и революціоннаго конвента нѣтъ въ сущности никакой разницы. Несостоятельность такого взгляда обнаруживается сама собой.

Однако, нельзя сказать, чтобы работа Бауэра была бесполезна. Въ ней много интересныхъ историческихъ параллелей и сопоставленій, знакомство съ которыми можетъ оказать немалую пользу всякому практическому общественному дѣятелю. Въ качествѣ подготовительной работы для дальнѣйшихъ изысканій по тому же вопросу книга французскаго ученаго также представляетъ значительный интересъ.

R. S—w.



¹⁾ „Революція суть перемѣны или попытки къ перемѣнамъ общественнаго строя посредствомъ примѣненія силы“.

ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ.

1 августа 1908.

Левъ Толстой и его „Не могу молчать“.—Преступныя убійства и лишеніе жизни, какъ закономѣрная кара.—Три отвѣта на одинъ вопросъ.—„Государственность“ и чрезвычайная охрана.—Напрасная тревога.—Съѣздъ печати.—Рѣшенія съѣзда и характерные эпизоды.—П. И. Вейнбергъ и К. М. Панкѣевъ †.

„Не могу молчать!“—такъ называлъ Л. Н. Толстой свою извѣстную статью противъ смертной казни, — статью, о которой уже было упомянуто у насъ выше, во „Внутреннемъ Обозрѣніи“. Всего два года назадъ о смертной казни не молчалъ никто. Тогда казни были мучительнымъ кошмаромъ, который неотступно давилъ общественное сознание, и оно вездѣ и всюду на нихъ бурно реагировало. Первая Дума чуть не ежедневно возвращалась къ казнямъ. И всякій разъ, когда она къ нимъ возвращалась, въ ней не было различія между кадетами и социаль-демократами, октябристами и трудовиками. Теперь о казняхъ молчатъ. Молчала третья Дума, изрѣдка прорѣзывая молчаніе изступленными криками: „мало!“ Молчить печать. Не говорить о казняхъ на-людяхъ, не думать на-единѣ... И всего ужаснѣе то, что это молчаніе нельзя относить всецѣло на счетъ внѣшнихъ препятствій. Внѣшнія препятствія и, несмотря ни на что, все продолжающіяся казни уже сдѣлали свое дѣло: общественное сознание притупилось...

Не то удивительно, что въ Думѣ раздавались отдѣльные крики: „мало!“ и отдѣльные призывы къ кровавой расправѣ съ „крамольниками“ и даже съ подписавшими выборгское воззваніе, а то, что Дума ни разу по поводу казней не обратилась къ правительству съ запросомъ и, заслушавъ законопроектъ объ исключеніи смертной казни изъ числа уголовныхъ каръ, спокойно отложила его разсмотрѣніе и разошлась на лѣтній отдыхъ. Не то знаменательно, что ничтожный листокъ „Русская Земля“ разразился въ отвѣтъ на статью Л. Н. Толстого неприличной бранью и обозвалъ великаго старца „полоумнымъ вѣщателемъ“, и что г. Меньшиковъ написалъ по поводу статьи длиннѣйшій вздорный фельетонъ,—а то, что „свободная“ печать (свободная отъ штрафовъ

и конфискацій), въ лицѣ „чуткаго“ „Новаго Времени“ и настаивающаго на своемъ идейномъ октябризмѣ „Голоса Москвы“, самой статьи не напечатали. Не то важно, что мы не кричимъ по поводу казней, а то, что намъ уже не нужно принуждать себя о нихъ не думать. Ужась справедливо видить Л. Н. Толстой въ томъ, что „о казняхъ, повѣшеніяхъ, убійствахъ, бомбахъ пишутъ и говорятъ теперь, какъ прежде говорили о погодѣ“...

Вѣрный принципу: „всѣ мы слабы, всѣ заблуждаемся и нельзя одному человѣку судить другого“,—Толстой пишетъ: „Я долго боролся съ тѣмъ чувствомъ, которое возбуждали и возбуждаютъ во мнѣ виновники этихъ страшныхъ преступленій; но я не могу и не хочу больше бороться съ этимъ чувствомъ“... „Вѣдь все, что дѣлается теперь въ Россіи,—продолжаетъ онъ,—дѣлается во имя общаго блага, во имя обезпеченія и спокойствія жизни людей, живущихъ въ Россіи. А если это такъ, то все это дѣлается и для меня, живущаго въ Россіи. Для меня, стало быть, и нищета народа, лишеннаго перваго, самаго естественнаго права человѣческаго,—пользованія той землей, на которой онъ родился.; для меня всѣ эти высылки людей изъ мѣста въ мѣсто, для меня эти сотни тысячъ голодныхъ, блуждающихъ по Россіи рабочихъ, для меня эти сотни тысячъ несчастныхъ, мрущихъ отъ тифа, отъ цинги, въ недостающихъ для всѣхъ крѣпостяхъ и тюрьмахъ; для меня страданія матерей, женъ, отцовъ изгнанныхъ, запертыхъ, повѣшенныхъ; для меня эти шпионы, подкупы; ...для меня закапываніе десятковъ, сотенъ разстрѣливаемыхъ, для меня эта ужасная работа трудно добываемыхъ, но теперь уже не такъ гнушающихся этимъ дѣломъ людей-палачей; для меня эти висѣлицы съ намыленными петлями, съ висящими на нихъ женщинами и дѣтьми, мужиками; для меня это страшное озлобленіе людей другъ противъ друга“... „Сознавая это, я не могу долѣе переносить этого, не могу и долженъ освободиться отъ этого мучительнаго положенія. Нельзя такъ жить. Я, по крайней мѣрѣ, не могу такъ жить, не могу и не буду“.

Этотъ крикъ наболѣвшей души исключительно силенъ своей непосредственностью и неумолимой, въ ея простотѣ, логичностью развитія мысли. Какъ ни высоко надъ частнымъ интересомъ стоитъ интересъ общій и надъ отдѣльнымъ человѣкомъ—отвлеченная совокупность миллионовъ людей, но ни частный интересъ не растворяется безъ остатка въ общемъ, ни отдѣльный человѣкъ не теряется среди миллионовъ ему подобныхъ. Единственно реально живущій, мыслящій и чувствующій, страдающій и наслаждающійся,—именно онъ, отдѣльный человѣкъ. И когда онъ отрѣшается отъ всего того безконечно сложнаго, что называется наукой и житейскимъ опытомъ, ему не можетъ не стать ясной простая истина: „для меня“ творится зло, „для меня

эти висѣлицы съ намыленными петлями“... Но какъ выйти изъ „мучительнаго положенія“? „Затѣмъ я и пишу это — говорить Толстой—и буду всѣми силами распространять то, что пишу, и въ Россіи, и внѣ ея, чтобы одно изъ двухъ: или кончились эти нечеловѣческія дѣла, или уничтожилась бы моя связь съ этими дѣлами, чтобы или посадили меня въ тюрьму, гдѣ бы я ясно сознавалъ, что не для меня уже дѣлаются всѣ эти ужасы, или же, что было бы лучше всего (такъ хорошо, что я и не смѣю мечтать о такомъ счастьѣ), надѣли на меня такъ же, какъ на тѣхъ двадцать или двѣнадцать крестьянъ, саванъ, колпакъ и такъ же столкнули съ скамейки, чтобы я своей тяжестью затянулъ на своемъ старомъ горлѣ намыленную петлю“...

Если отбросить изувѣровъ, при каждомъ напоминаніи о ежедневныхъ казняхъ въ изступленіи кричащихъ: „мало!“—то останутся люди, которые оправдываютъ казни не менѣе часто совершающимися террористическими актами. Они устанавливаютъ параллель между преступнымъ лишеніемъ жизни и лишеніемъ жизни государствомъ, по суду, и послѣднее трактуютъ какъ необходимую оборону. Пусть прекратятся революціонные убійства и грабежи, тогда „мы“ прекратимъ казни. Эта параллель была главнымъ доводомъ въ устахъ министровъ, возражавшихъ противъ отміны смертной казни въ первой Думѣ, и также въ устахъ членовъ Государственнаго Совѣта, требовавшихъ отклоненія единогласно вотированнаго Думою законопроекта: „Осудите терроръ слѣва, и мы готовы будемъ осудить казни“ — говорили во второй Думѣ представители правыхъ фракцій. Толстой еще въ статьѣ „Не убій никого“, появившейся въ печати въ сентябрѣ прошлаго года, одинаково рѣшительно обращался къ обѣимъ сторонамъ. И теперь онъ тоже останавливаетъ вниманіе не только на казняхъ, но и на преступномъ насиліи. Онъ съ осужденіемъ говоритъ объ убійцахъ, объ экспроприаторахъ и о тѣхъ, для кого „перебить крупныхъ землевладѣльцевъ, чтобы завладѣть ихъ землями, представляется самымъ вѣрнымъ разрѣшеніемъ земельного вопроса“. Но въ этомъ двойномъ осужденіи пролитія человѣческой крови тѣмъ сильнѣе выступаетъ невозможность ставить на одну доску преступниковъ и государство и сопоставлять, какъ равное съ равнымъ, убійство безправное и убійство закономѣрное, по праву.

Яркими и образными штрихами Толстой рисуетъ картину казни. „...Двѣнадцать ¹⁾ мужей, отцовъ, сыновей, тѣхъ людей, на добротѣ, трудолюбіи, простотѣ которыхъ только и держится русская жизнь, схватили, посадили въ тюрьмы, заковали въ ножные кандалы. Потому

¹⁾ Статья написана подъ впечатлѣніемъ той памятной телеграммы изъ Херсона, въ которой сообщалось о казни двадцати крестьянъ и которая потомъ была официально опровергнута съ указаніемъ, что повѣшены были не двадцать, а двѣнадцать.

связали имъ за спиной руки, чтобы они не могли хвататься за веревку, на которой ихъ будутъ вѣшать, и привели подъ висѣлицы... Палачи, — ихъ нѣсколько, одинъ, не можетъ управиться съ такимъ сложнымъ дѣломъ, — разведя мыло и намыливъ петли веревокъ, чтобы лучше затягивались, берутся за закованныхъ, надѣвають на нихъ саваны, взводятъ на помость съ висѣлицами и накладываютъ на шею намыленные веревочныя петли... И вотъ, одинъ за другимъ, живые люди сталкиваются съ выдернутыхъ изъ подъ ихъ ногъ скамеекъ и своею тяжестью сразу затягиваютъ на своей шеѣ петли и мучительно задыхаются. За минуту еще передъ этимъ живые, люди превращаются въ висяція на веревкахъ мертвыя тѣла, которыя сначала медленно покачиваются, потомъ замираютъ въ неподвижности"... „Врачъ обходитъ тѣла, ощупываетъ и докладываетъ начальству, что дѣло совершено, какъ должно: всѣ 12 человѣкъ несомнѣнно мертвы. И начальство удаляется къ своимъ обычнымъ занятіямъ съ сознаниемъ добросовѣстно исполненнаго, хотя и тяжелаго, но необходимаго дѣла. Застывшія тѣла снимаютъ и зарываютъ!..."

Это сознание исполнителей смертнаго приговора, эти предусмотрительно связанныя за спину руки, эти саваны, эти намыленные веревки и составляютъ ту пропасть, по одну сторону которой стоитъ преступное убійство, а по другую — смертная казнь. Смертная казнь есть явленіе совершенно самостоятельное, глубоко отличное отъ всѣхъ другихъ видовъ лишенія жизни. Никто не проводитъ параллели между преступнымъ лишеніемъ человѣка свободы и тюремнымъ заключеніемъ. Для всѣхъ слишкомъ очевидно, что совпаденіе во внѣшнемъ фактѣ отнюдь не означаетъ единства внутренней сути преступнаго лишенія свободы и лишенія ея въ силу закона, на строго опредѣленный срокъ, въ специально для того устроенномъ помѣщеніи и съ соблюденіемъ сложныхъ правилъ и порядка отбытія заключенія.

Также точно лишь во внѣшнемъ фактѣ смертная казнь совпадаетъ съ убійствомъ. Она есть актъ правовой, закономѣрный. Она есть актъ государственной власти, который нельзя сопоставлять ни съ преступленіемъ, ни даже съ убійствомъ на войнѣ. При смертной казни государство отнимаетъ у человѣка жизнь по праву, т. е. на основаніи холоднаго разчета и великаго ума, а не чувства, заглушающаго разсудокъ. Аналогію съ необходимой обороной имѣетъ дѣятельность государства на войнѣ или при подавленіи вооруженнаго возстанія, ибо основное условіе обороны — право противопоставлять силу силѣ или, иначе, право дѣйствовать силою, не считаясь съ послѣдствіями, въ тотъ моментъ, когда нападающій еще не прекратилъ нападенія. Смертная же казнь, какъ и всякое наказаніе, есть расправа за прошлое: Ее назначаютъ и приводятъ въ исполненіе тогда, когда винов-

ный уже ни на кого не нападаетъ и нападать не можетъ, когда онъ во власти государства, когда онъ вреда не причиняетъ въ настоящемъ и лишенъ возможности причинить въ будущемъ. Точнѣе: когда отъ государства зависитъ создать такія условія, чтобы онъ былъ лишенъ этой возможности. Въ состояніи необходимой обороны можетъ быть городской, подвергшійся нападению или встрѣтившій сопротивленіе. Но состояніе государственной власти въ ея цѣломъ, въ лицѣ сложнаго комплекса органовъ, участвующихъ въ смертной казни—полиціи, прокуратуры, суда, лица, подтверждающаго приговоръ, и физическаго исполнителя—палача,—внѣ условій войны и вооруженнаго массоваго возстанія, никогда не можетъ быть даже сходно съ состояніемъ необходимой обороны.

Какъ актъ законѣрный, смертная казнь не можетъ быть сопоставляема съ преступнымъ убійствомъ и потому, что она должна удовлетворять требованію цѣлесообразности. Дико даже на минуту подумать о возможности предъявленія такого требованія къ преступному убійцѣ. А государство ничто и никогда не освобождаетъ отъ обязанности дать отвѣтъ на вопросы: *зачѣмъ* оно примѣняетъ кару смертью и уравнивается ли вредъ, связанный съ пролитіемъ крови для нравовъ народа, достигаемой пользой терроризированія населенія—во-первыхъ, и физическаго устраненія казнаго отъ возможности дѣлать зло—во-вторыхъ. Къ этимъ вопросамъ Л. Н. Толстой подходитъ съ установленія факта, какъ легко стало находить палачей. „...Недавно еще не могли найти во всемъ русскомъ народѣ двухъ палачей. Еще недавно, въ 80-хъ годахъ,—былъ только одинъ палачъ во всей Россіи. Помню, какъ тогда Содовьевъ Владиміръ съ радостью рассказывалъ мнѣ, какъ не могли по всей Россіи найти другого палача, и одного возили съ мѣста на мѣсто. Теперь не то“... „Въ Москвѣ торговецъ-лавочникъ, разстроивъ свои дѣла, предложилъ свои услуги... и, получая по 100 рублей съ повѣшеннаго, въ короткое время такъ поправилъ свои дѣла, что скоро пересталъ нуждаться въ этомъ побочномъ промыслѣ и теперь ведетъ попрежнему торговлю. Въ Орлѣ въ прошлыхъ мѣсяцахъ, какъ и вездѣ, понадобился палачъ, и тотчасъ же нашелся человекъ, который согласился исполнить это дѣло, срядившись... за 50 рублей съ человека. Но, узнавъ уже послѣ того, какъ онъ срядился въ цѣнѣ, о томъ, что въ другихъ мѣстахъ платятъ дороже, добровольный палачъ, во время совершенія казни, надѣвъ на убиваемаго саванъ-мѣшокъ, вмѣсто того, что вести его на помость, остановился и, подойдя къ начальнику, сказалъ:— „Прибавьте, ваше превосходительство, четвертной билетъ, а не стану“.—Ему прибавили, и онъ исполнилъ... Слѣдующая казнь престоляла пятерымъ. Наканунѣ казни къ распорядителю... пришелъ г

извѣстный человѣкъ, желающій переговорить по тайному дѣлу. Распорядитель вышелъ. Неизвѣстный человѣкъ сказалъ:— „Надысь какой-то съ васъ три четвертныхъ взялъ за одного. Нынче, слышно, пятеро назначено. Прикажете всѣхъ за мной оставить, я по пятнадцати цѣлковыхъ возьму и, будьте покойны, сдѣлаю какъ должно“.

„Такъ дѣйствуетъ это—пишетъ Толстой—на худшихъ, наименѣе нравственныхъ людей народа. Но ужасныя дѣла эти не могутъ оставаться безъ вліянія и на большинство среднихъ, въ нравственномъ отношеніи, людей“... Развѣ въ этихъ словахъ не несомнѣнная истина? Развѣ неправда, что „общественное раздраженіе или спокойствіе никакъ не можетъ зависѣть отъ того, что будетъ живъ или повѣшенъ Петровъ, или что Ивановъ будетъ жить не въ Тамбовѣ, а въ Нерчинскѣ, на каторгѣ?“ Развѣ неправда, что „общественное раздраженіе или спокойствіе можетъ зависѣть только отъ того, какъ не только Петровъ или Ивановъ, но все огромное большинство людей будетъ смотрѣть на свое положеніе, отъ того, какъ большинство это будетъ относиться къ власти, къ земельной собственности, къ проповѣдуемой вѣрѣ—отъ того, въ чемъ большинство это будетъ полагать добро и въ чемъ зло?“

Если это большинство среднихъ въ нравственномъ отношеніи людей еще не считаетъ добромъ грабежъ, убійство и поджогъ, то оно уже привыкло относиться къ насилію съ безразличіемъ. Да, оно успокоилось. Но такое спокойствіе не сулитъ ничего хорошаго. Переходъ отъ безразличія при видѣ крови—къ кровожадности и безудержности въ злобѣ совсѣмъ не такъ далекъ... И, наконецъ, гдѣ непосредственный результатъ двухлѣтнихъ казней? Оффиціозное петербургское телеграфное агентство сообщило циркулярно своимъ провинціальнымъ корреспондентамъ (см. „Слово“, № 510), что число получаемыхъ имъ извѣстій о кровавыхъ событіяхъ „постепенно падало, а нынѣ ихъ можно считать почти единичными“, и это, гласитъ циркуляръ, „свидѣтельствуетъ объ измѣненіи настроенія общественной жизни и о все большемъ и большемъ переходѣ страны къ нормальному состоянію, къ здоровой и мирной жизни, свободной отъ революціонныхъ проявленій“. Такъ ли? Читателю газетъ какъ-то не бросается въ глаза, что извѣстія о кровавыхъ событіяхъ стали единичными. Не видитъ ли агентство то, что желаетъ видѣть? Но допустимъ, что такъ. Неужели тысячамъ казней общество обязано измѣненіемъ своего настроенія? Мы глубоко убѣждены, что казни, если и сыграли роль, то обратную: задержали процессъ паденія тона революціоннаго настроенія. Гдѣ истинныя причины конца русской революціи—если конецъ уже наступилъ—раскроетъ будущее. Но что онѣ не въ казняхъ—это съ положительностью можно утверждать и теперь...

На статью Толстого И. Е. Рѣпинъ отозвался слѣдующимъ письмомъ въ редакцію „Слова“ (№ 505): „Левъ Толстой въ своей статьѣ о смертной казни высказалъ то, что у всѣхъ насъ, русскихъ, накипѣло на душѣ и что мы по малодушію или неумѣнью не высказали до сихъ поръ. Правъ Левъ Толстой — лучше петля или тюрьма, нежели продолжать безмолвно ежедневно узнавать объ ужасныхъ казняхъ, позорящихъ нашу родину, и этимъ молчаніемъ какъ бы сочувствовать имъ. Милліоны, десятки милліоновъ людей, несомнѣнно, подпишутся теперь подъ письмомъ нашего великаго гения, и каждая подпись выразитъ собою какъ бы вопль измученной души. Прошу редакцію присоединить мое имя къ этому списку“.

Кромѣ подписи И. Е. Рѣпина, мы другой въ печати не встрѣчали... Но не собереть, конечно, милліона подписей, что бы ни говорили „истинно-русскіе“, и вызванное статьей „краткое поученіе о. Іоанна Кронштадтскаго“, напечатанное въ „Русскомъ Знамени“: „Господи, умиротвори Россію ради Церкви Твоей, ради нищихъ людей Твоихъ, прекрати мятежъ и революцію, возьми съ земли хульника Твоего, злѣйшаго и нераскаяннаго Льва Толстого и всѣхъ его горячихъ, закоснѣлыхъ послѣдователей, друга евреевъ Витте“. До моленія о смерти проповѣдника заповѣди „не убій“ русскій народъ не упалъ и не упадетъ никогда...

Въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“ (№ 157) г. А. Кизеветтеръ провелъ характерную параллель между тремя отвѣтами на вопросъ: какъ живетъ теперь въ Россіи? Одинъ отвѣтъ принадлежитъ Л. Н. Толстому — „философу-человѣколюбцу, который, созерцая окружающее, мучительно жаждетъ для себя висѣлицы“. Другой — дальъ министръ. Третій — губернаторъ.

Самымъ рѣшительнымъ оптимизмомъ была пронизана рѣчь В. Н. Коковцова въ засѣданіи Государственнаго Совѣта 4 іюля. Бюджетъ на 1908 г. сведенъ съ превышеніемъ обыкновенныхъ доходовъ надъ обыкновенными расходами въ 74 милліона рублей. Министръ финансовъ не подвергъ анализу составъ расходовъ, отнесенныхъ Думою и Совѣтомъ, согласно его предложенію, къ разряду чрезвычайныхъ. Онъ взялъ бюджетные заголовки и по нимъ отмѣтилъ фактъ, который „говоритъ самъ за себя“ и на которомъ „нельзя не остановиться, какъ бы ни относились мы къ нашей финансовой системѣ, какъ бы мы ни смотрѣли на наше финансовое управленіе“. И этотъ фактъ имѣетъ мѣсто въ государствѣ, „которое вынесло разорительную полторагодовую войну, которое вслѣдъ затѣмъ вынесло не менѣе разорительную внутреннюю смуту“. Въ заключеніе В. Н. Коковцовъ возславилъ Бога за наступившее успокоеніе. „Страна постепенно возвращается на

мирный путь“. „Въ сферѣ промышленной появляются свѣдѣнія о признакахъ нѣкотораго улучшенія“. Но самое важное — „то, что наступаетъ значительное оздоровленіе и успокоеніе въ рабочей средѣ“. „Остается пожелать (немногого!), чтобы наша основная сельско-хозяйственная промышленность протекала въ лучшихъ условіяхъ“. Словомъ, ничто не внушаетъ тревоги. „Страннымъ образомъ — заключаетъ г. Кизеветтеръ — какъ бы въ подтвержденіе этого заключенія, министръ указываетъ на то, что намъ необходимы и новые займы, и новые налоги. Но смущаться — продолжаетъ авторъ — нечего: третья Дума легко вотируетъ и то, и другое; главное — кругомъ полная тишина, а уже давно сказано: „молчать, значить благоденствуютъ“...

Иныя ноты прозвучали въ рѣчи вятскаго губернатора, кн. Горчакова, сказанной при открытіи губернскаго земскаго собранія („Русскія Вѣдомости“, № 155). Онъ тоже началъ съ утвержденія, что „угаръ прошелъ — тотъ угаръ, который охватилъ нашу родину въ прошлые годы“. Но тутъ же онъ раскрылъ и тайну, которая скрывается за воцарившейся тишиной, по крайней мѣрѣ въ сферѣ веденія земскаго дѣла. „Въ предыдущую сессію, — говорилъ губернаторъ, — опытной и смѣлой рукой хирурга вы отрѣзали наболѣвшіе члены обширнаго земскаго хозяйства, и въ то время это необходимо было сдѣлать. Въ этомъ — ваша заслуга. Теперь бросьте этотъ ножъ: онъ болѣе неумѣстенъ. Какъ опытный хирургъ, продѣлавъ операцію, бросаетъ ножъ, передаетъ больного терапевту для дальнѣйшаго леченія, такъ и вы бросьте этотъ ножъ. Надо лечить тѣ недуги земскаго хозяйства, которые вызвали въ васъ волненіе въ прошломъ. Бросьте негодованіе и злобу за это прошлое и не уничтожайте, а создайте“.

„Наболѣвшіе члены обширнаго земскаго хозяйства“ — это, какъ видно изъ дальнѣйшаго текста рѣчи, земскіе кустарный и книжный склады, которыми справедливо гордилось прежнее вятское земство и которые закрыло новое, реакціонное. Губернаторъ призываетъ земство — земство вятское, всегда стоявшее во главѣ губернскихъ земствъ, — отказаться отъ уничтоженія и встать на путь созиданія! Да, дѣйствительно, роковая водворилась тишина. Губернаторъ требуетъ отъ реакціоннаго земства, чтобы оно ее нарушило: ему видѣе, нежели министру, чѣмъ оплачиваетъ народъ эту тишину, по выраженію г. Кизеветтера, „разгромленнаго пепелища“.

Но если представители властей такъ настойчиво говорятъ, что успокоеніе и тишина наступили, то почему Россія продолжаетъ оставаться на положеніи чрезвычайной охраны? Почему въ Петербургѣ опять продлены на полгода чрезвычайныя полномочія градоначальника и губернатора? Намъ не разъ приходилось говорить объ исклю-

чительныхъ законахъ, и мы ничего не можемъ сказать другого, какъ повторить тѣ же мысли. Разъ введенное исключительное положеніе снятъ столь же трудно, какъ осуществить вторую половину формулы: „сперва усвоеніе—потомъ реформы“. Кто изъ представителей исполнительной власти признаетъ, что объемъ данныхъ ему полномочій слишкомъ великъ? Кому чрезмѣрно большія полномочія мѣшаютъ? „Не будетъ нужно—я не стану ихъ примѣнять, но пусть они останутся на всякій случай“. Это разсужденіе такъ просто и такъ естественно.

Вотъ почему почти тридцать лѣтъ Россія жила на положеніи усиленной охраны и теперь третій годъ живетъ на положеніи охраны чрезвычайной. „Смута“ испарилась; страшное же слово осталось. И это слово, по остроумному замѣчанію г. Кизеветтера, „такъ удобно пускать въ ходъ при испрошеніи продленія исключительныхъ положеній“. Только тогда и тамъ исключительное положеніе дѣйствительно можетъ быть мѣрой исключительной и срочной, когда и гдѣ введеніе или продленіе его подчинено порядку законодательному, а не порядку верховнаго управленія. У насъ снятія чрезвычайной охраны—не номинальнаго, а фактическаго—возможно ожидать лишь въ силу того новаго закона, который замѣнитъ правила 1881 года о мѣрахъ къ охраненію государственнаго порядка и общественнаго спокойствія и, соотвѣтственно новому строю, конкретно опредѣлитъ основанія и условія приостановки возвѣщенныхъ 17-го октября конституціонныхъ гарантій. Близокъ ли этотъ законъ? Третья Дума его разсмотрѣніе отложила на осень. Къ тому же изъ предварительныхъ работъ извѣстно, что думская коммиссія нашла проектъ министерства внутреннихъ дѣлъ слишкомъ либеральнымъ, слишкомъ полно гарантирующимъ интересы и права гражданъ и слишкомъ стѣсняющимъ свободу дѣйствій корпуса жандармовъ...

Такимъ образомъ, все говоритъ за то, что намъ долго еще предстоитъ жить въ томъ правовомъ хаосѣ, при которомъ регуляторомъ жизни являются, вмѣсто закона, темпераментъ, личныя воззрѣнія и вкусы того или другого администратора,—словомъ, жить милостью и гнѣвомъ начальства.

Уже скоро минетъ два года, какъ правительствомъ формулированъ основной политической идеаль. Этотъ идеаль — „государственность“. Нѣсколько позже къ слову „государственность“ прибавился эпитетъ „русская“. Государственность въ данную минуту—то же, что недавно были „исконныя начала“. Государственностью все опредѣляется, все объясняется и все оправдывается. Этотъ терминъ не сходитъ съ устъ публицистовъ „Россіи“. „Теперь у насъ главный вопросъ—школа,—говорилъ г-жѣ Горячковой П. А. Столыпинъ,—потому что школа

есть показатель государственности". Третья Дума—говорять про нее представители власти—стояла въ теченіе восьми мѣсяцевъ на высотѣ государственности. Петербургское телеграфное агентство, требуя отъ своихъ корреспондентовъ, въ цитированномъ выше циркулярѣ, чтобы они измѣнили тонъ присылаемыхъ телеграммъ, рекомендуетъ отмѣчать „все, что характеризуетъ укрѣпленіе религіознаго чувства, поднятіе нравственности населенія и пробужденіе въ немъ національнаго самосознанія въ духѣ русской государственности". Но что такое государственность, какая именно идея лежитъ въ корнѣ этого понятія—оставляется столь же мало выясненнымъ, какъ прежде мало выяснялась суть „исконныхъ началъ". По циркуляру агентства выходитъ, что какъ будто признаки „пробужденія въ населеніи національнаго самосознанія, въ духѣ русской государственности" должно искать „въ проявленіи со стороны общественныхъ учреждений и группъ населенія довѣрія къ правительственной власти и ея органамъ и готовности идти навстрѣчу правительственнымъ мѣропріятіямъ". Думаемъ, нѣтъ не станеть спорить, что это область чистой фантазій.

Государственность, хотя бы и русская, есть понятіе, въ которое входитъ, какъ первый признакъ, единство правового строя и правовыхъ нормъ. Что же мы видимъ въ этомъ отношеніи? Проводитъ ли правительство тотъ идеалъ, который оно поставило во главу угла внутренней политики? Можно ли говорить о государственности, когда въ Ялтѣ ген. Думбадзе отмѣнилъ всѣ законы и ежедневно доказываетъ фактическую силу афоризма: „законъ—это я". Но оставимъ ген. Думбадзе. Иллюстраціи, достаточно яркія, можно найти повсюду.

Издающіяся въ Петербургѣ „Рѣчь" и „Слово", хотя съ большими цензурными пропусками, но все-таки напечатали статью Толстого: „Не могу молчать", и за это не подверглись никакой карѣ. А въ Москвѣ „Русскія Вѣдомости" за буквальную перепечатку статьи изъ „Слова" оштрафованы на три тысячи рублей. Одно и то же дѣяніе въ Петербургѣ оказалось закономѣрнымъ, а въ Москвѣ—преступнымъ, не смотря на то, что и тутъ, и тамъ дѣйствуютъ аналогичныя для печати обязательныя постановленія. И какъ петербургскій градоначальникъ, такъ равно московскій генераль-губернаторъ, оба безусловно правы. Нѣтъ власти, къ которой „Русскія Вѣдомости" могли бы обратиться съ жалобой, и нѣтъ власти, которая могла бы принудить петербургскаго градоначальника наложить взыскаііе на „Рѣчь" и „Слово". Одинъ изъ южныхъ генераль-губернаторовъ пошелъ еще далѣе: за перепечатку той же самой статьи онъ, кромѣ штрафа, приостановилъ изданіе мѣстной газеты и закрылъ типографію. И онъ тоже безусловно правъ. Помѣщеніе въ „Рѣчи" бесѣды со Стэдому не

вызвало для газеты никакого карательнаго воздѣйствія. За перепечатку же этой бесѣды „Саратовскій Листокъ“ понесъ штрафъ.

Въ Одессѣ распоряженіемъ генераль-губернатора бывшій ректоръ новороссійскаго университета Занчевскій и профессоръ Васьковскій, Коссинскій и Ярошенко устранены отъ присутствованія въ совѣтахъ университета и факультетовъ; послѣдніе три отстранены также отъ преподаванія въ университетѣ. Изъ Томска еще въ 1905 г. былъ высланъ губернаторомъ одинъ профессоръ мѣстнаго технологическаго института. Министерство народнаго просвѣщенія не усмотрѣло въ причинахъ высылки преступности дѣйствій профессора, но ничего не могло сдѣлать другого, какъ оставить его въ званіи нигдѣ не читающаго лекцій профессора. Такъ и прожилъ онъ два года въ Петербургѣ, числясь на службѣ въ Томскѣ и исправно получая оттуда жалованье. Въ казанскомъ военномъ округѣ командующимъ войсками былъ генералъ К. Суды, какъ и вездѣ, выносили смертныя приговоры, но ни одинъ приговоръ не приводился въ исполненіе. К. смѣнили генераломъ С., и губерніи округа по числу казней заняли первое мѣсто. Корреспондентъ „Рѣчи“ изъ Иркутска (№ 159) пишетъ о любопытной правовой нормѣ, которую собирается создать генераль-губернаторъ: „Генераль Селивановъ заявилъ директорамъ мѣстныхъ учебныхъ заведеній (гимназій, семинаріи и промышленнаго), что онъ издастъ распоряженіе, въ силу котораго всѣ ученики названныхъ учебныхъ заведеній обязаны клясться не только ему, но и офицерамъ мѣстныхъ полковъ“.

Министровъ правила охраны не касаются. Тѣмъ не менѣе, они и при объединенномъ правительствѣ столь же всесильны каждый въ своемъ вѣдомствѣ, какъ были въ доконституціонное время. Былъ одинъ министръ народнаго просвѣщенія—въ университетахъ было студенческое представительство и были вольнослушательницы; по частной и общественной инициативѣ свободно открывались среднія учебныя заведенія; все было готово къ открытію университета въ Саратовѣ. Назначили другого—упразднены факультетскіе старосты—изгнаны вольнослушательницы, опять явились безчисленныя препятствія для земствъ и городовъ, желающихъ имѣть гимназій и реальныя училища; для саратовскаго университета не оказалось ни средствъ, ни профессоровъ. И все это помимо закона и на основаніи закона!.. Г. Шварцъ не сдался ни на какіе доводы и вольнослушательницъ изъ высшихъ учебныхъ заведеній *своего* вѣдомства изгналъ. А министръ торговли, г. Шиповъ, разрѣшилъ *своимъ* высшимъ учебнымъ заведеніямъ вольнослушательницъ оставить.

Какая ужъ тутъ государственность!.. Какъ мы недалеко ушли отъ исконной „истинно-русской“ конституціи! Ладятъ министръ съ мнѣ

стромъ, губернаторъ съ прокуроромъ и жандармскимъ полковникомъ, исправникъ съ предводителемъ и земскимъ начальникомъ, урядникъ со старостой — обывателю бѣда. Заспорили, поссорились — дышать легче...

Напрасно растревожились гг. объединенные дворяне и выразитель ихъ возжелѣвнй г. Гурко. Напрасно они волнуются за судьбу „съ искони сложившихся“ устоевъ. Напрасно закликаетъ въ „Свѣтъ“ г. Марковъ 2-ой своихъ товарищей по Думѣ: „И да не приеменить вѣрнопопданная Дума Государева сей ужасной печати антихристовой, ей же имя парламентъ!“ Парламентъ—форма государственнаго бытія, которая при извѣстной ловкости въ созданіи избирательнаго закона и при системѣ „разъясненій“ и охранѣ дозволяетъ ей быть пустымъ звукомъ. Дѣло не въ формахъ, а въ содержаніи государственной жизни. „Русская государственность“—идеаль удобный и уживчивый. На кого нужно, онъ направляется во всей мощи его силы: на конституціонно-демократическую партію, на вольнослушательницу, на студенческихъ старость, на евреевъ, на поляковъ, на крестьянскую общину, на членовъ первой и второй Думы. А съ правовымъ различіемъ въ Петербургѣ и въ Москвѣ, въ Одессѣ и въ Казани, въ Саратовѣ и въ Ялтѣ онъ мирно уживается. Полная зависимость правоопредѣляющихъ нормъ отъ вкусовъ и темперамента генераловъ X и Y его не нарушаетъ.

Духъ положенія о земскихъ начальникахъ—духъ попечительной властной руки, стоящей надъ закономъ,—не умиралъ. Была минута, когда видѣлась его близкая смерть, но она была, и ея нѣтъ. Такъ чего же беспокоиться объединеннымъ дворянамъ за судьбу дорогого ихъ сердцу института? Отъ той минуты остались, правда, проекты, въ которыхъ правительство шло навстрѣчу „требованіямъ общественныхъ элементовъ, враждебныхъ нашему государственному строю“. Но вѣдь проекты, во имя идеала государственности составленные, можно, во имя того же идеала, и измѣнить, а можно и вовсе отъ нихъ отказаться... Какъ будто трудно опытному бюрократу тѣми же аргументами сегодня обосновывать одинъ тезисъ, а завтра—діаметрально противоположный. Настала тишина „разгромленнаго пепелища“—значить все можно...

„Первый всероссійскій съѣздъ печати“ оставилъ, въ общемъ, тяжелое впечатлѣніе. Это былъ дѣйствительно первый съѣздъ, работавшій открыто и созданный для обсужденія профессиональных вопросовъ, ибо съѣздъ 1905 г. собирался, какъ тогда говорили, „явочнымъ порядкомъ“ и имѣлъ чисто политической характеръ. Нынѣшній

былъ съѣздомъ работниковъ печати, объявленной свободною и находящейся въ тройныхъ тискахъ: правилъ уголовного уложения, составленныхъ въ предположеніи былыхъ условий государственной жизни, чрезвычайной охраны и административныхъ каръ. И на этомъ съѣздѣ не былъ предметомъ сужденій основной профессиональный вопросъ, поглощающій всѣ остальные,—вопросъ о положеніи печати, о тискахъ, вопросъ мучительно болѣзненный, вырывающій изъ рукъ публициста перо, изъ его головы—мысли. Конечно, въ томъ нѣтъ вины ни участниковъ съѣзда, ни устроителей. Но фактъ остается фактомъ.

Устраненіе изъ программы вопроса о положеніи печати заставляло сомнѣваться во внѣшнемъ успѣхѣ съѣзда. Сомнѣнія увеличивали еще создававшаяся подъ влияніемъ тисковъ острота партійной розни и лѣтнее время. Эти сомнѣнія оправдались не вполне. Какъ-ни-какъ, въ съѣздѣ приняли участіе 98 повременныхъ изданій (въ томъ числѣ 50 внѣ-петербургскихъ), которыя прислали 133 представителя. Всего болѣе на составѣ съѣзда отразилась политически-партійная рознь. Система тисковъ раздѣлила повременныя изданія и публицистовъ на три категоріи: на привилегированныхъ, т.-е. свободныхъ отъ конфискацій и каръ—свободныхъ не потому, чтобы они не нарушали законовъ и обязательныхъ постановленій, ибо законы и постановленія таковы, что ихъ каждый день нарушаетъ каждая газета, а потому, что на то есть воля начальства; на терпимыхъ, которыхъ терпятъ, какъ неизбежное зло, и держатъ подъ мечомъ, готовымъ каждую минуту прекратить ихъ существованіе или работу, и на нетерпимыхъ. Изданія послѣдней категоріи въ короткіе „дни свободы“ выплыли было изъ подполья, но давно уже туда вернулись и, само собою разумеется, ихъ представителей не могло быть на съѣздѣ. Изданія первой категоріи въ большинствѣ не откликнулись на приглашеніе, да и не ждали, очевидно, устроители съѣзда видѣтъ въ своей средѣ представителей „Русскаго Знамени“, „Гражданина“, „Вѣча“, „Московскихъ Вѣдомостей“ или одесской „Резины“. „Новое Время“ прислало неавторитетнаго сотрудника для вида. Такимъ образомъ, на съѣздѣ была представлена, въ сущности, одна терпимая печать — „Лѣвные листки“ по терминологіи „Россіи“. Но только эти „листки“ и есть печать въ глазахъ русскаго общества, и болѣе разносторонности представительства теченій общественной мысли, при данныхъ обстоятельствахъ, не можетъ быть ни на какомъ съѣздѣ.

Непосредственная задача съѣзда была формулирована въ двухъ вопросахъ: какъ самой печати наиболѣе достойно почтить день восьмидесятилѣтія Л. Н. Толстого и какаѣя задача лежитъ на русской печати въ смыслѣ указанія наилучшихъ способовъ повсемѣстнаго ознаменованія этого радостнаго для Россіи дня, безъ нарушенія воли ве-

ликаго писателя? Оба вопроса не вызвали разногласій. По первому съѣздъ единогласно принялъ предложеніе бюро о томъ, чтобы нумера газетъ, которые выйдутъ 28 августа, и книги журналовъ, которыя выйдутъ въ ближайшіе къ этому дню сроки, были посвящены Л. Н. Толстому ¹⁾. По второму — съѣздъ призналъ наилучшимъ способомъ ознаменованія рѣдкаго юбилея повсемѣстное устройство въ одинъ опредѣленный день (день 28 августа для этого не представляется вполне удобнымъ) посвященныхъ Толстому чтеній, спектаклей и возможныхъ, по мѣстнымъ условіямъ, собраній.

На съѣздѣ подробно обсуждалась та мысль, которая была нами отмѣчена въ апрѣльской хроникѣ: путемъ сбора пожертвованій образовать фондъ и на средства этого фонда издать все, что вышло изъ-подъ пера Толстого на всѣхъ языкахъ, въ исключительно большомъ количествѣ экземпляровъ и для продажи по исключительно низкой цѣнѣ. Къ сожалѣнію, на пути осуществленія этой мысли оказалось не то одно цензурное препятствіе, которое мы имѣли въ виду, а еще и другое. Общественное достояніе составляетъ только половина произведеній Толстого. Другая половина — частная собственность его семьи, и ея выкупъ стоилъ бы колоссально большихъ денегъ. Съѣздъ призналъ желательнымъ, чтобы печать пропагандировала иное назначеніе для фонда — на домъ-музей имени Л. Н. Толстого. Это предложеніе тщательно разработалъ въ своемъ докладѣ В. Я. Богучарскій. „Въ Англіи — говорилъ онъ — есть свой Шекспиръ, въ Германіи — Гёте, у насъ — Левъ Толстой. Англія и Германія создаютъ во имя своихъ духовныхъ, — какъ когда-то говорилось и въ нашей литературѣ, — „славъ“ самыя разнообразныя учрежденія, — мы должны идти по этому же пути. Въ „увѣковѣченіи“ Левъ Толстой, конечно, не нуждается, — онъ вѣковѣченъ и безъ чьихъ бы то ни было усилій съ нашей стороны, — но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы на нашемъ обществѣ не лежало обязанности увѣковѣчить за поведѣніями настоящимъ и грядущими тѣ духовныя богатства, которыя далъ міру гений Толстого. Увѣковѣчить же ихъ — означаетъ прежде всего необходимость ихъ централизовать и систематизировать, создать учрежденіе, въ которомъ было бы собрано не только все написанное Толстымъ, но также и о немъ. А вѣдь это цѣлая бібліотека!“

Любопытный разговоръ выслушалъ съѣздъ въ первомъ засѣданіи. Разговоръ М. А. Стаховича о мытарствахъ, которыя выпали на долю учредителей задуманнаго литературнаго общества имени Л. Н. Тол-

¹⁾ Вмѣстѣ съ этимъ, съѣздомъ постановлено просить редакціи о доставленіи нумеровъ газетъ и другихъ изданій со статьями по поводу юбилея Толстого въ комитетъ съѣзда, по адресу газеты „Слово“ (Петербургъ, Невскій, 92), для будущаго Толстовскаго музея.

стого. Были они сперва у П. А. Столыпина и вынесли впечатлѣніе, что встрѣтили сочувственный приемъ. Затѣмъ началось ихъ „хождение“ въ петербургское по дѣламъ объ обществахъ присутствіе, или, попросту, въ канцелярію градоначальника. Дабы обезпечить легализацію, они не включили въ проектъ устава ни одного собственного параграфа—все взяли изъ уставовъ различныхъ легализованныхъ обществъ. И, все-таки, шесть недѣль они „ходили“ и, въ концѣ концовъ, получили отказъ. Сначала ихъ „дѣло“ все откладывали. То очередь не доходила, то М. А. Стаховичу объявили однажды, что дѣло было отложено изъ любезности къ нему: въ виду того, что онъ на день, назначенный для засѣданія присутствія, уѣзжалъ съ женою въ Москву. „Двѣ совершенно мнѣ неизвѣстныя новости узналъ я отъ чиновника градоначальства,—воскликнулъ, передавая этотъ эпизодъ, М. А. Стаховичъ:—во-первыхъ, что я женатъ, и во-вторыхъ, что я ѣздить въ Москву!“ Мотивъ отказа—отсутствіе въ „дѣлѣ“ письменнаго заявленія Л. Н. Толстого о согласіи на учрежденіе общества его имени. Въ томъ же засѣданіи присутствія—ѣдко подчеркнулъ М. А. Стаховичъ—легализованы два именныхъ союза: одинъ имени Архангела Михаила, другой—имени св. Ольги“... Учредители рѣшили принести жалобу въ сенатъ. Къ какому юбилейному сроку жизни великаго писателя русской земли состоится утвержденіе устава общества его имени?..

Въ томъ же первомъ засѣданіи, едва одинъ изъ ораторовъ въ самой объективной формѣ и мелькомъ поставилъ рядомъ съ именемъ Толстого заповѣдь „не убій“ и произнесъ роковыя слова: „смертная казнь“, — чиновникъ, командированный градоначальникомъ, потребовалъ остановить оратора. Чуть-чуть съѣздъ увисѣлъ на волоскѣ.

Обще-профессіональный положительный результатъ съѣзда, во-первыхъ, въ томъ, что съѣздъ образовалъ и выбралъ комитетъ, т.-е. поставилъ на практическую почву созывъ съѣздовъ въ будущемъ. Во-вторыхъ, въ принятіи доклада К. К. Арсеньева о литературномъ судѣ чести и въ избраніи состава этого суда. Читатели „Вѣстника Европы“ хорошо знаютъ отношеніе нашего журнала къ послѣднему вопросу. А потому мы ограничимся констатированіемъ факта столь необходимаго возрожденія института, въ теченіе четырехъ лѣтъ существовавшего при союзѣ писателей.

Члены первой Думы, осужденные за подписаніе выборгскаго воззванія и начавшіе отбывать наказаніе въ первой половинѣ мая, скоро оканчиваютъ срокъ заключенія. Къ сидящимъ въ одиночныхъ тюрьмахъ сокращеніе срока приимѣнено не было. Въ силу этого надо

думать, что подвергнутымъ заключенію въ общихъ тюрьмахъ предстоить надбавка къ назначенному приговоромъ сроку по расчету трехъ дней за четыре пребыванія въ тюрьмѣ. Какъ отражается тюрьма на заключенныхъ, объ этомъ кое-когда сообщаются въ печати самыя отрывочныя свѣдѣнія, и то только касающіяся сидящихъ въ Петербургѣ и въ Москвѣ. Изъ провинціи никакихъ извѣстій не поступаетъ. Режимъ вездѣ прижмается безъ малѣйшихъ послабленій.

Въ Москвѣ князь Петръ Дмитріевичъ Долгоруковъ подвергся дисциплинарному взысканію при болѣе чѣмъ странныхъ обстоятельствахъ. Съ нимъ имѣлъ свиданіе А. А. Стаховичъ, который напечаталъ объ этомъ въ газетахъ. Тогда московскій губернаторъ, „въ виду того, что свиданіе въ тюрьмѣ разрѣшается только ближайшимъ родственникамъ“, отдалъ приказъ о производствѣ по дѣлу подробнаго дознанія, для привлеченія къ ответственности виновныхъ лицъ тюремной администраціи, и сдѣлалъ распоряженіе начальнику губернской тюрьмы о воспрещеніи свиданій съ родственниками заключенныхъ: князю Петру Долгорукову—на одинъ мѣсяць, остальнымъ—на одну недѣлю“. Впослѣдствіи съ „остальныхъ“ взысканіе было снято; въ отношеніи князя П. Д. Долгорукова оно было оставлено. Въ письмѣ въ редакцію „Русскаго Слова“ губернаторъ высказалъ предположеніе, что А. А. Стаховичъ, „по всей вѣроятности, придя сначала въ привратническую, куда имѣють доступъ всѣ входящія въ тюрьму, отсюда незамѣтно для тюремной стражи проникъ въ комнату для свиданій и присоединился къ родственникамъ заключенныхъ, имѣвшихъ разрѣшеніе на свиданія, когда они проходили въ комнату свиданій черезъ контору“.

Подтвердило ли дознаніе это предположеніе — мы не знаемъ. Съ интересующей насъ стороны важно только то, что А. А. Стаховичъ имѣлъ свиданіе вопреки тюремнымъ правиламъ. Слѣдовательно, вина должна падать на него и на тюремную администрацію. А упала она, прежде всего, на заключеннаго, въ возможности для котораго было предотвратить свиданіе и который никакъ не могъ знать, какимъ способомъ А. А. Стаховичъ „проникъ“ въ комнату для свиданій и получилъ ли онъ на свиданіе разрѣшеніе. Гдѣ смыслъ наложенной на него кары? Гдѣ формальное основаніе для взысканія: нарушение установленнаго порядка заключеннымъ?

Кстати, характерная мелочь. Въ цитированномъ письмѣ московскій губернаторъ передъ фамиліей кн. Долгорукова поставилъ только имя безъ отчества. Между тѣмъ, въ ст. 271 уст. о содерж. подъ стражею читаемъ: „За проступки содержимыхъ въ тюрьмѣ, болѣе важные или повторенные, опредѣляется допускать для всѣхъ состоя-

ній, пола и возраста постепенно... 3) Званіе чиновныхъ однимъ только именемъ, при крещеніи даннымъ, а не по отчеству". Отсюда явствуетъ, что общій, нормальный порядокъ „званія“ чиновныхъ заключенныхъ, въ категоріи которыхъ принадлежить князь Долгоруковъ,—не однимъ именемъ, „при крещеніи даннымъ“, но и по отчеству. Уже если пунктуальная законность, то пусть бы она была во всемъ.

30-го іюня петербургская судебная палата судила тѣхъ изъ обвиняемыхъ по дѣлу о выборгскомъ воззваніи, которые по болѣзни не судились въ декабрѣ. Повторилось то же формально-пассивное отношеніе къ процессу со стороны подсудимыхъ. Опять продефилировали ничего не значащія для дѣла свидѣтели. Опять защита подчеркнула отсутствіе въ дѣлѣ инкриминируемаго документа—подлинника воззванія съ подлинными подписями. Опять палата признала наличность состава 129 ст. уголовного уложенія и опять всѣмъ назначила по три мѣсяца тюремнаго заключенія. Не повторится одного: попытки отиѣны приговора въ кассационномъ порядкѣ...

Едва-ли найдется въ Петербургѣ много людей, которые пользовались бы такой широкой извѣстностью, какъ скончавшійся 3-го іюля Петръ Исаевичъ Вейнбергъ. Его знали пишущіе,—какъ дѣятельнѣйшаго предсѣдателя литературнаго фонда, читающіе—какъ писателя, сроднившася съ перомъ и связавшаго себя съ литературой свыше полувѣка постоянной работы, слушающіе,—какъ талантливаго и неутомимаго лектора. Его близко знали театральныя сферы, круги ученыхъ, художниковъ, педагоговъ, учащіяся. Въ немъ помнили популярнаго „Гейне изъ Тамбова“, позже профессора, еще позже—директора или предсѣдателя совѣтовъ нѣсколькихъ учебныхъ заведеній. Въ немъ звали почетнаго академика, авторитетнаго критика и знатока поэзіи и художественной прозы и исключительно энергичнаго, подвижнаго и отзывчиваго на всѣ проявленія общественности чело-вѣка.

Кто изъ петербуржцевъ не видалъ стройной и характерной фигуры старца съ голымъ черепомъ, съ типичнымъ красивымъ лицомъ и съ длинной сѣдой бородой! Петръ Исаевичъ до послѣднихъ дней бывалъ, буквально, вездѣ. Но особенно сильно его влекло туда, гдѣ собирались литераторы и гдѣ дѣлалось что-либо для литераторовъ и для литературы. За много лѣтъ нельзя назвать ни одного общественно-литературнаго начинанія въ Петербургѣ, въ которомъ бы онъ не принималъ самаго живого участія. Онъ былъ душой союза писателей. Когда союзъ закрыли, онъ долго не уставалъ хлопотать о его возрожденіи. Несмотря на годы, на недавно перенесенную тя-

желую болѣзнь и на множество другихъ дѣлъ, П. И. всего себя отдавалъ литературному фонду. Онъ былъ живой исторіей фонда, его канцеляріей, его безсмѣннымъ устроителемъ спектаклей, концертовъ и лекцій. Надо было видѣть, какъ онъ радовался каждой сотнѣ рублей, поступавшей въ фондъ, и какъ горевалъ, что капиталы фонда не растутъ такъ же быстро, какъ растетъ писательская нужда. Честный, добрый и хорошій человекъ былъ покойный! Онъ оставилъ по себѣ глубокой слѣдъ въ русскомъ обществѣ ¹⁾...

Тоже крупную общественную силу представлялъ скоропостижно умершій въ Москвѣ одесситъ, Константинъ Матвѣевичъ Панкѣевъ. Вся жизнь и дѣятельность К. М. прошла на югѣ Россіи, преимущественно въ Одессѣ. Онъ началъ свое общественное служеніе въ скромной роли земскаго статистика, затѣмъ былъ гласнымъ городской думы, почетнымъ мировымъ судьей, участникомъ земскихъ сѣздовъ. Его отличали способности организатора. К. М. издавалъ въ Одессѣ одинъ изъ лучшихъ провинціальныхъ органовъ—„Южныя Записки“. Съ весны нынѣшняго года онъ предпринялъ изданіе ряда сборниковъ подъ общимъ названіемъ „Зарница“.



¹⁾ Въ „Вѣстникѣ Европы“ были напечатаны П. И. Вейнбергомъ: въ 1871 г.—Изъ Виктора Гюго и Шамиссо (январь); 1872 г.—Изъ посмертныхъ стихотвореній Гейне (ноябрь); 1873 г.—Изъ Гейбеля (сентябрь), „Воспоминаніе“, стихотв. (ноябрь); въ 1874 г.—Изъ Лонгфелло (январь), „Смерть соловья“, изъ Сироколли (іюнь); 1875 г.—„Мелодіи изъ дома сумасшедшихъ“, стих. изъ Сироколли (февраль). „Изъ Дантова ада“, пѣснь третья (май); 1897 г.—„Изъ Гюйо“, стих. (ноябрь); 1900 г.—Изъ Адольфа Беккуэра (іюнь); 1901 г.—Изъ пѣсней Гейне (іюнь); 1904 г.—„Германія“, зимняя сказка Гейне (ноябрь).

ИЗВѢЩЕНІЯ

I.—Отъ Высочайше утвержденного Комитета по устройству въ Москвѣ Музея 1812 года.

По мысли Императора Александра I-го воздвигнуть въ Москвѣ храмъ Христа Спасителя въ память двѣнадцатаго года, но до сего времени не осуществлена мысль и пожеланіе того же Императора воздвигнуть другой памятникъ, имѣющій вещественную связь съ событіями Отечественной войны.

Нынѣ съ Высочайшаго Его Императорскаго Величества соизволенія въ Москвѣ учрежденъ Комитетъ по устройству Музея 1812 года. Музей этотъ будетъ посвященъ памяти Отечественной войны. Все относящееся до участниковъ и свидѣтелей этой войны, все относящееся до пребыванія французской арміи и все связанное съ могучимъ подъемомъ народныхъ силъ въ эту знаменательную въ жизни Россіи минуту, все это должно найти себѣ мѣсто въ Москвѣ, въ стѣнахъ новаго хранилища народной славы. Прѣдки наши принесли въ 1812 году безпримѣрныя жертвы для блага и спасенія Родины. Наши жертвы должны явиться данью уваженія памяти ихъ великихъ дѣяній для увѣковѣченія славнѣйшихъ событій Русской Исторіи. Къ близящемуся столѣтію двѣнадцатаго года желательно видѣть Музей оконченнымъ, наполненнымъ и открытымъ.

Помощь нужна всѣческая. Нужны и деньги прежде всего, дорога всякая копѣйка добротная, но и нужна помощь въ собираніи всякихъ вещей, книгъ, записокъ участниковъ войны, картинъ во всѣхъ ихъ видахъ и всего имѣвшаго касательство до Отечественной войны. Если у кого лично ничего не найдется, то онъ, можетъ быть, укажетъ Комитету, гдѣ у кого что сохранилось.

Комитетъ покорнѣе проситъ всѣ послыки и сообщенія направлять непосредственно по указанному ниже адресу; туда же проситъ онъ направлять и денежныя пожертвованія. Для удобства жертвователей деньги могутъ вноситься и во всѣ мѣстныя казначейства, отдѣленія Государственнаго банка и Государственныя сберегательныя кассы, на имя Комитета.

Свѣдѣнія о пожертвованіяхъ будутъ публиковаться Комитетомъ ежемѣсячно.

Комитетъ помѣщается: Москва, Чернышевскій переулокъ, домъ Московскаго Генераль-Губернатора.

Предсѣдатель Комитета: генераль-отъ-инфантеріи Владиміръ Гавриловичъ Глазовъ.

Перечень предметовъ, особо желательныхъ для Музея 1812 года въ Москвѣ.

- 1) Портреты героевъ, военачальниковъ и дѣятелей 1812 года русскихъ и иностранныхъ.
 - 2) Бюсты, статуи отдѣльныхъ лицъ, боевыя группы и другія скульптурныя произведенія.
 - 3) Военныя карты и планы полей сраженія и похода.
 - 4) Картины: масляныя, акварели, рисунки, эстампы, гравюры, литографіи сраженій и отдѣльныхъ эпизодовъ, а также виды мѣстности.
 - 5) Манекены воиновъ двѣнадцатаго года русскихъ и иностранныхъ.
 - 6) Боевое оружіе и снаряды.
 - 7) Трофеи разнаго рода и модели памятниковъ.
 - 8) Вещественные памятники: ордена, медали, мундиры, предметы снаряженія, деньги и другіе предметы.
 - 9) Различныя воззванія, афиши и объявленія. Ассигнаціи Наполеона.
 - 10) Рукописи, мемуары, письма, документы и записки, принадлежащія участникамъ эпохи.
 - 11) Книги, брошюры, газеты русскія и иностранныя, атласы и вообще печатныя изданія эпохи.
 - 12) Каррикатуры, лубочныя изданія, игральныя карты, посуда, стекло, фарфоръ съ изображеніями лицъ 1812 года и прочіе предметы, не вошедшіе въ предшествующіе пункты, но имѣющіе отношеніе къ эпохѣ приснопамятнаго года.
- Въ Музей также принимаются предметы, относящіеся къ годамъ 1811, 1813 и 1814 и имѣющіе непосредственную связь съ Отечественной войной 1812 года.

II. — Отъ Учебно-воспитательнаго Комитета Педагогическаго Музея военно-учебныхъ заведеній.

Симъ объявляется, что по конкурсу 1907 года прѣмія имени Константина Дмитріевича Ушинскаго присуждена не была. Слѣдующій конкурсъ назначенъ въ 1910 году, на слѣдующихъ главныхъ условіяхъ:

- 1) Конкурсу подлежатъ сочиненія какъ рукописныя, представленныя для этой цѣли въ Педагогическій Музей, такъ и печатныя, вышедшія въ свѣтъ не ранѣе 1907 г.
- 2) Рукописи, представляемыя на конкурсъ въ 1910 г., доставляются въ Педагогическій Музей не позже 1-го мая того же года. Онѣ должны быть написаны на русскомъ языкѣ и четкимъ почеркомъ. Въ случаѣ желанія автора скрыть свою фамилію, дозволяется свѣзжать рукописи девизомъ и прилагать особый запечатанный пакетъ съ

тѣмъ же девизомъ и со вложеніемъ въ него записки съ обозначеніемъ фамиліи автора и его мѣстожительства.

Примѣчаніе: Представленные на конкурсъ рукописи могутъ быть взяты обратно или самими авторами, или по довѣренности, надлежащимъ образомъ засвидѣтельствованной.

3) Печатныя сочиненія разсматриваются или по просьбѣ автора, или по указанію кого-либо изъ членовъ учебно-воспитательнаго комитета.

Примѣчаніе: Время представленія ихъ авторами (не менѣе, какъ въ пяти экземплярахъ) то же, что и для рукописей.

4) Премія будетъ присуждена ко дню годовщины смерти К. Д. Ушинскаго, 21-го декабря 1910 года, за выдающійся по своимъ достоинствамъ педагогическій трудъ.

5) Размѣръ преміи составляетъ 900 рублей; премія эта можетъ быть раздѣлена на двѣ въ 600 рублей и 300 рублей.

Издатель и отвѣтственный редакторъ: М. Стасюлевичъ.

СОДЕРЖАНІЕ

ЧЕТВЕРТАГО ТОМА

Іюль — Августъ, 1908.

Книга седьмая. — Іюль.

	стр.
Ранніе годы Н. Г. Чернышевскаго. — Изъ исторіи русскаго общества и литературы. — I-IV. — В. Е. ВЪТРИНСКАГО.	5
Въ степяхъ Сѣвернаго Кавказа. — Очеркъ. — Окончаніе. — IV. У баптистовъ. — V. Въ степяхъ кара-ногайцевъ. — VI. Нѣмцы-колонисты и баптисты-собственники. — С. ВАСЮКОВА.	30
„Огненной крещеніе“. — Разказы и сцены изъ очень недавняго прошлаго. — I-XV. — В. К. ИЗМАЙЛОВА	55
Изъ дневника двоюшн „тридцатихъ годовъ“. — Сообщ. Т. СЪВЕРЦЕВЪ-ПОЛИЛОВЪ	97
Станиславъ Вышняскій. — 1869-1907. — Изъ исторіи новѣйшей польской литературы. — I-V. — ТАД. НАЛЕШИНСКАГО.	121
Наша конституція и ея особенності. — I-III. — Л. З. СЛОНИМСКАГО	145
Предки. — Романъ Джертруды Асертонъ. — „Ancestors“, by Gertrude Atherton. — Часть вторая. — I-IX. — Съ англ. О. Ч.	158
Изъ Петэои. — Стихотвореніе. — М. ВАТСОНЪ.	198
Дочь Туси. — Эскизъ по польскому роману Габріели Запольской. — I-IX. — Л. А-ВА	199
Стихотворенія. — I-II. — В. С. ЛИХАЧОВА.	249
Исторія молодой дѣвушки. — С. Fagère. Mademoiselle Dax, jeune fille. — Часть первая: I-VIII. — Часть вторая: I-XI. — Съ франц. З. В.	251
I. Надъ могилой Сюлли-Прюдома. — II. Сонетъ сну. — А. МЕЙСНЕРА.	305
Хроника. — Внутреннее Овозрѣніе. — Первое самостоятельное выступленіе крестьянъ въ третьей Думѣ. — Характерныя черты вызванныхъ имъ преній. — Крестьяне и вѣроисповѣдныя комиссіи. — Законопроектъ о назначеніи членамъ Думы постоянного содержанія. — Пренія Госуд. Думы о сибѣ министерства народнаго просвѣщенія и объ университетѣ имени А. Л. Шанявскаго. — Вопросъ о вольнослушательницахъ. — Итоги перваго періода дѣятельности третьей Думы. — М. П. Щепкинъ †. — P.-S.	307
Литературное Овозрѣніе.	328
Литературная Замѣтка. — Американецъ о русско-японской войнѣ. — П. А. ТВЕРСКОГО.	360
Иностранное Овозрѣніе. — Путешествія короля Эдуарда и обсужденіе ихъ въ палатѣ общинъ. — Протесты англійской рабочей партіи противъ сближенія съ Россіей. — Смыслъ и дѣль англо-русскаго союза. — Законопроектъ о поѣздкѣ президента Фальера въ Россію и французскіе радикалы-соціалисты. — Германская политика и прусскія дѣла. — Конецъ персидскихъ конституціонныхъ мечтаній.	365
Новости Иностранной Литературы. — I. Arthur Schnitzler. Der Weg in's Freie. Roman. 908. — II. Jakob Wassermann. Kaspar Hauser. Roman. 908. — З. В.	377
Письмо въ Редакцію. — По поводу воспоминаній А. Ф. Кони. — А. И. КАЛЮША.	393
Изъ Общественной Хроники. — „Голосъ Москвы“ о годовщинѣ закона 3-го іюня. — Забыли или отказались? — Вопросы государственной обороны въ освѣщеніи А. И. Гучкова. — „Безотвѣтственныя“ лица въ арміи. — Пренія въ Думѣ о сибскихъ отдѣленіяхъ. — Парламентская дуэль. — Какъ былъ принятъ проектъ о депутатскомъ жалованьи. — Еще о ген. Думбадзе. — Съездъ представителей печати. — Н. А. Римскій-Корсаковъ и С. И. Васюковъ †	395
Извѣщенія. — I-V.	411
Библиографическій Листокъ.	



Книга восьмая. — Августъ.

	стр.
Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ и семейство Виардо-Гарсиа. — I-XVI. — Н. ГУТЪЯРА.	417
„Огненный крещеніе“. — Разказы и сцены изъ очень недавняго прошлаго. — Окончаніе. — XVI-XXIV. — В. К. ИЗМАЙЛОВА.	461
Ранніе годы Н. Г. Чернышевскаго. — Изъ исторіи русскаго общества и литературы. — V-VII. — В. Е. ВЪТРИНСКАГО.	494
Творчество А. П. Чехова, его мотивы и идеи. — Критическій очеркъ. — I-III. — А. И. КРАСНОСЕЛЬСКАГО	529
Наши въ Парижѣ. — Разказъ. — I-XXII. — Н. СЪВЕРОВА.	558
Смертная казнь. — Разказъ. — Съ письмомъ Льва Толстого. — ЛЕОНИДА СЕМЕНОВА	599
И. В. Кирѣевскій. — Очеркъ. — I-VIII. — М. О. ГЕРШЕНЗОНА.	613
Первая Дума и идея международнаго парламента. — Проф. А. ВАСИЛЬЕВА	640
Предки. — Романъ Джертруды Асертонъ. — „Ancestors“, by Gertrude Atherton. — X-XX. — Съ англ. О. Ч.	651
Стихотворенія. — С. Д. ЛЕВКО.	693
Исторія молодой дѣвушки. — С. Fatgère. Mademoiselle Daix, jeune fille. — Часть вторая: XII-XV. — Часть третья: I-VI. — Съ франц. З. В.	697
Хроника. — Двадцать-второе августа. 1883-1908. — К. К. АРСЕНЬЕВА.	732
Внутреннее Обоврънѣ. — Третья Государственная Дума и исключительныя положенія. — Вопросъ о ссыльныхъ отдѣленіяхъ и объ административной ссылкѣ. — Неосуществленное право. — Чрезвычайная охрана и печать. — Чрезвычайная охрана и смертная казнь. — Послѣдніе дни сессіи Государственнаго Совѣта. — Гр. Н. П. Игнатьевъ и В. М. Петрово-Соловово †.	736
Литературное Обоврънѣ. — I. Ч. Вѣтринскій, „Герценъ, А. И.: Жизнь. Мысли. Дѣятельность“. — II. Д. Мережковскій, „Павелъ I“, драма. — III. „Литературно-художественные Альманахи“, изд. „Шиповникъ“, кн. 5. — IV. Сборникъ товарищества „Знаніе“, кн. 22-ая. — V. Алексій Ремизовъ, „Часы“, романъ. — М. Г. — VI. Письма К. Маркса и Фр. Энгельса къ Ник. — ону, перев. Г. Лопатина. — VII. Ж. Лескюръ. Общія и періодическіе промышленныя кризисы. Съ франц. — VIII. Потребительныя общества: исторія, теорія, практика. В. Тогоманца. — С. В. Бородавскій. Сельско-хозяйственныя коопераціи въ Германіи. — IX. В. Гриневичъ. Профессиональное движеніе рабочихъ въ Россіи. — В. В. — Новая книга и брошюра.	755
Иностранное Обоврънѣ. — Ревельскій визитъ президента Фаллера и франко-русскій союзъ. — Заботы о поддержаніи и увеличеніи военныхъ силъ во имя интересовъ мира. — Политическое безпокойство, вызываемое монархическимъ милитаризмомъ Германіи. — Культъ Бисмарка. — Революція и конституція въ Турціи. — Славянскій конгрессъ въ Прагѣ . .	785
Новости Иностранной Литературы. — I. Henri de Regnier. Les Scrupules de Sganarelle. — З. В. — II. Landauer, Gustav. Die Revolution. — Bauer, Arthur. Essai sur les révolutions. — R. S-W.	798
Изъ Овщественной Хроники. — Левъ Толстой и его „Не могу молчать“. — Преступныя убійства и лишеніе жизни, какъ закономѣрная кара. — Три отвѣта на одинъ вопросъ. — „Государственность“ и чрезвычайная охрана. — Напрасная тревога. — Съездъ печати. — Рѣшенія съезда и характерныя эпизоды. — П. И. Вейнбергъ и К. М. Пакѣевъ †.	810
Извѣщенія. — I-II	828
Библиографическій Листокъ. — Шарль Сеньбось. Политическая исторія современной Европы. Перев. съ франц. п. р. В. А. Поссе. Т. I-II. 4-е изд. — Н. И. Лазаревскій. Лекціи по русскому государственному праву. Т. I. Конституционное право. — А. А. Кауфманъ. Русская община въ вѣкъ ея зарожденія и роста. — Сергій Штейнъ. Славянскіе поэты. переводы и характеристика.	



ВИДОГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТОКЪ.

И. А. СЕДИНОВЪ. — Политическая история современной Европы. Перев. съ франц. съ р. В. А. Писев. Т. I-II. Четвертое изд. (топ. „Знамя“). Сиб. 905. Ц. за два тома 4 руб.

История Сибирских земель у нас значителнейших книжек, она разошлась въ небольших издательствахъ и приобрѣла большую популярность среди широкой читающей публики. Успѣхи эти: въ прежде всего отъ плохотворныхъ существующихъ учебниковъ, отъ скудныхъ трудовъ Сибирскихъ ученыхъ обилиемъ трактатовъ и руководствъ по политической исторіи, такъ же по содержанію, такъ и по способу обработки матеріала. Авторъ не довольствуется пересказомъ историческихъ фактовъ и не пытается свести ихъ къ случайному случаю, а старается при помощи научныхъ глубокомысленныхъ разсужденій; онъ даетъ изложеніе и ясной обзоръ фактовъ, излагаетъ официальную и внутреннюю историю государства, кратко указываетъ на главные моменты историческаго развитія политическихъ партій и ихъ вождей, обилие статистическихъ и программныхъ, экономическихъ и социальныхъ чертъ, реформъ и требованій, и финансовыхъ, законодательствъ и управленій. Вместо общихъ философскихъ характеристикъ, онъ приводитъ документальныя данныя, цифри, цитаты. По той же системѣ составленъ В. А. Писевъ обстоятельный доминантный очеркъ, обнимающій десятилѣтіе отъ 1897 до 1907 году, въ томъ изданіи: „Европа нашихъ дней“ (т. II, стр. 275—590); очеркъ этотъ, приложивъ обзоръ русской исторической библиографіи. Въ настоящемъ изданіи включены также отрывки русской и польской исторіи, который прежде считался неудобнымъ по ценуртамъ, условиямъ. Книга украшена многочисленными, хорошо исполненными портретами.

К. П. Лаватковскій. Лекція по русскому государственному праву. Т. I. Конституционное право. Сиб., 908. Ц. 2 руб.

Такая книга изъ предисловія, книга г. Лаватковскаго составляется для лекцій, читаемыхъ на юридическихъ курсахъ въ Петербургѣ съ 1906 по 1908 годъ; самъ авторъ утверждаетъ, что она „вышла изъ себя слишкомъ малымъ слухомъ городской работы“ и въ настоящемъ своемъ видѣ не заслуживала бы печатнаго изданія. „И если тѣмъ же меньше — говорить г. Лаватковскій — она выпускается въ публику, то дѣлается это исключительно въ виду того, что вообще не существуетъ ни одного учебника по русскому конституционному праву“. При отсутствіи его, настоящая книга можетъ помочь студентамъ разобраться въ новомъ нашемъ законодательствѣ и „прелотератьте жизни народа и внутреннихъ толкованій законовъ, не связанныхъ съ законами“. Между тѣмъ „русская общественная жизнь нуждается въ томъ, чтобы новое конституционное право было разработано и высказано. Эта разработка можетъ быть предпринята только при условіи совместнаго труда различныхъ ученыхъ силъ“, а „въ конституціи и законахъ, которые даны въ этой книгѣ, даны съ убѣжденіемъ въ ихъ правильности“. Мы надеемся, что такой примѣръ авторской скромности или произвольной добросовѣстности: дабы авторъ весь не предупредилъ, мы не

считали бы въ это время позволяло съдѣлать городскую работу и поэтому не признаемъ бы ее въ разряду книгъ изданій, по крайней исторически удалось бы въ особой интересной и популярной. Напротивъ, при внимательномъ просмотрѣ книги, мы только были убѣждены, что имѣемъ трудъ, заключающій въ себѣ массу общеполитическихъ сведений и разносторонній, и который служить надежнымъ пособіемъ и руководителемъ не только для студентовъ-юристовъ, но и для образованной публики вообще. По плану и разносторонности фактического содержания, такъ же по ясности изложенія, трудъ П. П. Лаватковскаго можно считать сравнительно съ другими, какъ трудомъ покойнаго Коркунова. Черезъ небольшое изданіе объ „объёмѣ конституціоннаго права и конституціоннаго государства“, книга содержитъ въ себѣ пять главъ: о раздѣленіи властей, о монархіи, и народномъ представительствѣ, о законѣ, и объ органахъ местного управленія.

А. А. Кауфманъ. Русская община изъ прошлаго ея зарожденія и роста. М., 908. Ц. 2 р. 50 к.

Историческій исследователь сибирской общины и специалистъ по деревенскому вопросу, г. А. Кауфманъ въ своей новой работѣ поддерживаетъ подробно критическому пересмотру историческаго матеріала по вопросу о происхожденіи нашей земледѣльной общины, преимущественно на основаніи данныхъ той „живой петербургской“, какъ представляется для насъ современной земледѣльческой быти крестьянъ и особенно изредка въ рѣдко-населенныхъ частяхъ Европейской и Азиатской Россіи. Исторія земельныхъ отношеній, породившихъ и обичаяхъ нашего крестьянства, такъ справедливо указываетъ авторъ, не можетъ быть восстановлена по документамъ и другимъ безспорнымъ свидѣтельствамъ, вследствие недостаточности, противорѣчивости и малой достоверности источниковъ, оттого до сихъ поръ въ нашей литературѣ относительно этого вопроса и съ одинаковымъ равнодушіемъ поддерживаются прямо противоположныя взгляды на роль историческаго развитія нашего общиннаго земледѣлія. Вузаль формы земледѣльческаго и поселенія и сибирскихъ поселенцевъ, мы имѣемъ возможность непосредственно наблюдать тотъ процессъ первоначальнаго сложения общины, который исторически типично вытекаетъ изъ общины по отрывочнымъ документальнымъ матеріаламъ; съдѣлаю этому издательскому методу, авторъ производитъ весьма интересныя выводы, приложивъ его работѣ несомненно научное значеніе.

Сергей Штайнъ. Славянскіе поэты. Переводы и характеристика. Сиб. 908.

Книжка г. Штайна знакомитъ русскихъ читателей съ произведеніями славянскихъ поэтовъ, изъ которыхъ и вторично съдѣлаю изданіе у насъ даже во имени; избранными стихотвореніями предпосланы наиболее критическо-биографическіе очерки. Наибольшею вниманіемъ удѣлено имени Николаю Чернышковскому, славянскому поэту Ашкеру и чешскому — Карлу Гаванчуду-Борислову.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПОДПИСКѢ

въ 1908 г.

(Сорокъ-третій годъ)

„ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ“

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ ИСТОРИИ, ПОЛЮВНЬИ, ЛИТЕРАТУРЫ

выходить въ первыхъ числахъ каждаго мѣсяца, 12 книгъ въ годъ,
отъ 27 до 28 листовъ обыкновеннаго журнальнаго формата.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

	На годъ	По полугодію		По четвертямъ года			
		Январь	Іюль	Январь	Апрѣль	Іюль	Октябрь
Безъ доставки въ Конторѣ журнала	15 р. 50 к.	7 р. 75 к.	7 р. 75 к.	3 р. 90 к.	3 р. 90 к.	3 р. 90 к.	3 р. 90 к.
Въ Петербургѣ, съ доставкой	16 „ —	8 „ —	8 „ —	4 „ —	4 „ —	4 „ —	4 „ —
Въ Москвѣ и другіхъ городахъ, въ переписку	17 „ —	9 „ —	8 „ —	5 „ —	4 „ —	4 „ —	4 „ —
Въ гдѣнціи, въ государственномъ почтовомъ ящикѣ	19 „ —	10 „ —	9 „ —	5 „ —	5 „ —	5 „ —	4 „ —

Отдѣльная книга журнала, съ доставкой и пересылкою — 1 р. 50 к.

Примѣчаніе. — Имѣютъ преимущество годовой подписки на журналъ, подписавшіеся въ годъ: въ январѣ и въ іюль, или четвертями года: въ январѣ, апрѣлѣ и въ октябрѣ, принимается — безъ повышенія годового дѣла подписки.

Книжные магазины, при годовой подпискѣ, пользуются обычнымъ цѣтовымъ.

ПОДПИСКА

принимается на годъ, полгода и четверть года:

ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ:

- въ Конторѣ журнала, П.-О., 5 л., 28;
- въ отдѣленіяхъ Конторы: при книжн. маг. К. Ривера, Невскій, 14; А. Ф. Цинзерлинга, Невскій, 20; Т-ва М. О. Вольфа, Невскій, 13, и въ Гос. Дворѣ.

ВЪ БИЕЛЪ:

- въ книжн. магаз. Н. Я. Ослобнина, Круштинск., 13.

ВЪ МОСКВѢ:

- въ книжномъ магазинѣ П. П. С. басинкова, на Моховой, и въ Петерб. П. Печниковаго, въ Петерб. книжныхъ лавкахъ.

ВЪ ОДЕССѢ:

- въ книжн. магазинѣ „Образованіе“ Риншольевскій, 12.

ВЪ ВАРШАВѢ:

- въ книжн. магаз. „С.-Петербургскій Книжный Складъ“ П. П. Карбасникова.

Примѣчаніе. — 1) Почтовый адресъ долженъ означать не только имя почтового ящика, но и точный областнаго губернскаго уѣзда и мѣстнаго жительства, въ которомъ находится изданіе журнала, съ (№) допустимости выдачи журналовъ, если нѣтъ данныхъ у ящика въ отношеніи мѣстности жительства — 2) Пересылка должна быть събѣ Конторѣ журнала совершена, въ установленное время и время, при чемъ журналъ долженъ переходить въ Нижегородню, доставлять 1 руб. — 3) Желобы на несправности доставки отправляются исключительно въ Редакцію Журнала, если поданная была заявка въ мѣстномъ почтовомъ ящикѣ и, согласно объявленію отъ Почтоваго Департамента, въ ящикѣ или издучемъ издучемъ ящика журнала. — 4) Выданы на получение журнала подписавшіеся Контр. только тѣмъ изъ иностранныхъ корреспондентовъ, которые доставить въ ящикѣ суммѣ 14 коп. восточнаго маркамъ.

Издатель и редакторъ М. М. Стасюлевичъ.

РЕДАКЦІЯ „ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ“:

Сиб., Галерная, 20.

ГЛАВНАЯ КОНТОРА ЖУРНАЛА:

Вас.-Остр., 3 л., 28

ЭКСПЕДИЦІЯ ЖУРНАЛА:

Петербургская-Острона, Кроуверская 28, 31.

